

ИСТОРИЯ УПАДКА И КРУШЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ



E. GIBBON

**HISTORY
OF THE DECLINE
AND FALL
OF THE ROMAN
EMPIRE**





Э. ГИББОН

**ИСТОРИЯ
УПАДКА И КРУШЕНИЯ
РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ**

МОСКВА
ОЛМА-ПРЕСС
2001

ББК 63.3 (0)3
Г 461

Перевод с английского В. Н. НЕВЕДОМСКОГО

Подготовка альбома иллюстраций — В. Е. СУСЛЕНКОВ

Внешнее оформление и макет — З. К. ГУБСКАЯ

Гиббон Э.

Г 461 История упадка и крушения Римской империи /Пер. с англ.
В. Н. Неведомского.— М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.—704 с.: 420 ил.
ISBN 5-224-02613-X

«История упадка и крушения Римской империи» Э. Гиббона — самая знаменитая книга по истории позднего Рима. Она до сих пор не утратила ценности серьезного и исчерпывающего исторического труда, ее отличают тонкий анализ, живые и образные портреты, замечательный литературный язык.

Издание текста «Истории упадка и крушения Римской империи» сопровождается альбомом иллюстраций, посвященных истории, культуре и искусству Римской империи I–V вв.

ББК 63.3(0)3



ЭДУАРД ГИББОН

27.04.1737–16.01.1794

Предисловие автора

Я вовсе не намерен утомлять читателя пространным объяснением разнообразия и важности предмета, за который я взялся, так как достоинства моего выбора только обнаружили бы с большей очевидностью недостатки моего труда и сделали бы их менее извинительными. Но так как я осмеливаюсь предложить публике лишь только первую часть «Истории упадка и крушения Римской империи», то, может быть, найдут уместным, чтобы я вкратце объяснил, в чем заключается общий план моего сочинения и какие его рамки.*

Достопамятный ряд переворотов, который в течение почти тринадцати столетий постепенно расшатывал и наконец разрушил громадное здание человеческого величия, может быть довольно удобно разделен на следующих три периода:

I. Начало первого из этих периодов может быть отнесено к веку Траяна и Антонинов — к тому времени, когда Римская империя, достигшая своего полного развития и высшего могущества, начала клониться к упадку; а простирается он до разрушения Западной империи пришедшими из Германии и Скифии варварами — этими невежественными предками самых цивилизованных народов современной нам Европы. Этот громадный переворот, отдавший Рим в руки готского завоевателя, завершился около начала шестого столетия.

II. Начало второго периода упадка и разрушения Рима можно отнести к царствованию Юстиниана, который своими законами столько же, сколько и своими победами, временно восстановил блеск Восточной империи. Этот период обнимает собой вторжение лангобардов в Италию, завоевание азиатских и африканских провинций арабами, принявшими веру Магомета, восстание римлян против слабых константинопольских императоров и возвышение Карла Великого, создавшего в 800 г. вторую Западную, или Германскую, империю.

III. Последний и самый длинный из этих периодов вмещает в себя около шести с половиной столетий, начиная с восстановления Западной империи вплоть до взятия турками Константинополя и до пре-

* Настоящий том содержит избранные главы первой части труда Э. Гиббона, посвященной истории Западной Римской империи. Нумерация глав двойная — арабской цифрой обозначен порядок глав в данном издании, римской, в скобках, — в труде Э. Гиббона (*Ред.*).

сечения выродившегося поколения монархов, не перестававших носить титулы Цезарей и Августов, после того как их владения сузились до размеров одного города, в котором уже давно были забыты и язык, и нравы древних римлян. Писатель, взявшийся за изложение событий этого периода, будет вынужден коснуться общей истории крестовых походов в той мере, в какой они содействовали падению Греческой империи, и едва ли будет в состоянии настолько сдержать свое любопытство, чтобы не заглянуть в положение города Рима во время средневекового мрака и неурядиц.

Так как я, быть может, с излишней поспешностью решил издать сочинение, заслуживающее эпитет несовершенного во всех значениях этого слова, то я считаю, что я принял на себя обязательство закончить, скорее всего, во второй части первый из этих достопамятных периодов и представить читающей публике полную историю упадка и разрушения Рима, начиная с века Антонинов и кончая падением Западной империи. Относительно следующих периодов хотя я и питаю некоторые надежды, но не беру на себя смелости давать какие-либо положительные обещания. Исполнение изложенного выше обширного плана должно связать древнюю историю мира с новой, но оно потребует многолетнего здоровья, свободного времени и терпения.

Бентинк-стрит, 1 февраля 1776 г.

Так как я только что издал полную историю упадка и крушения Западной Римской империи, то я считаю вполне исполненными мои обязательства перед публикой. Может быть, ее одобрение поощрит меня на продолжение работы, которая при всей кажущейся ее трудности составляет самое приятное для меня занятие в часы досуга.

Бентинк-стрит, 1 марта 1781 г.

Всякий автор без труда приходит к убеждению, что общественное мнение не перестает благосклонно относиться к его работе; вот почему я твердо решил продолжать мой труд до последнего периода моего первоначального плана и до последнего периода существования Римской империи, то есть до взятия турками Константинополя в 1453 г. Если самый терпеливый читатель сообразит, что в столь объемном томе изложены события только четырех столетий, он, вероятно, будет испуган длинной перспективой еще девятисот лет. Но я не имею намерения излагать историю Византии в ее мельчайших подробностях. При вступлении в этот период нам придется остановить наше внимание на царствовании Юстиниана и на магометанских завоеваниях; а последний век Константинополя (крестовые походы и турки) находится в связи с переворотами, пережитыми новейшей Европой. Темный промежуток времени между седьмым и одиннадцатым столетиями будет восполнен кратким изложением таких фактов, которые имеют или особый интерес, или особую важность.

Бентинк-стрит, 1 марта 1782 г.

**Введение. — Миротворительная система Антонинов. —
Военная система. — Общее благосостояние. —
Новые принципы управления. — Преторианская гвардия,
ее бесчинства. — Тридцать тиранов. —
Начало упадка империи**

Глава 1 (I–VII, X)

Введение

Во втором столетии христианской эры владычество Рима обнимало лучшую часть земного шара и самую цивилизованную часть человеческого рода. Границы этой обширной монархии охранялись старинной славой и дисциплинированной храбростью. Мягкое, но вместе с тем могущественное влияние законов и обычаев постепенно скрепило связь между провинциями. Их миротворительное население наслаждалось и злоупотребляло удобствами богатства и роскоши. Внешние формы свободных учреждений охранялись с приличной почтительностью: римский сенат, по-видимому, сосредоточивал в своих руках верховную власть, а на императоров возлагал всю исполнительную часть управления. В течение счастливого периода, продолжавшегося более восьмидесяти лет, делами государственного управления руководили добродетели и дарования Нервы, Траяна, Адриана и двух Антонинов. Затем, со времени смерти Марка Антонина, раскрываются главные причины упадка и разрушения империи, то есть главные причины такого переворота, который останется памятным навсегда, которые до сих пор отзываются на всех народах земного шара.

Римская военная организация

Царствования Адриана и Антонина Пия представляют приятную картину всеобщего мира. Римское имя было уважаемо у самых отдаленных народов земного шара. Самые надменные варвары нередко обращались в своих распрях к посредничеству императоров, и один из живших в то время историков сообщает нам, что он видел тех послов, которые приезжали просить о принятии их народа в римское подданство, но получили отказ.

Страх, который внушало военное могущество Рима, придавал умеренности императоров особый вес и достоинство. Они сохраняли мир тем, что были всегда готовы к войне и, руководствуясь в своих действиях справедливостью, в то же время давали чувствовать жившим вблизи от границ империи племенам, что они так же мало расположены выносить обиды, как и причинять их. Марк Аврелий употребил в дело против парфян и германцев те военные силы, которые Адриан и старший Антонин лишь держали наготове. Нападения варваров вывели из терпения этого монарха-философа: будучи вынужден

взяться за оружие для обороны империи, он частью сам, частью через своих генералов одержал несколько значительных побед на берегах Евфрата и Дуная. Здесь будет уместно изучить римскую военную организацию и рассмотреть, почему она так хорошо обеспечивала и безопасность империи, и успех военных предприятий.

Во времена республики, когда нравы были более чисты, за оружие брался тот, кого воодушевляла любовь к отечеству, кому нужно было оберегать свою собственность и кто принимал некоторое участие в издании законов, которые ему приходилось охранять ради личной пользы и по чувству долга. Но по мере того как общественную свободу поглощали обширные завоевания, военное дело постепенно возвышалось до степени искусства и постепенно унижалось до степени ремесла. Даже в то время, когда легионы пополнялись рекрутами из самых отдаленных провинций, предполагалось, что они состоят из римских граждан. Это почетное название вообще считалось или легальной принадлежностью воина, или самой приличной для него наградой; но более серьезное внимание обращалось на существенные достоинства возраста, силы и роста. При наборах рекрутов весьма основательно отдавалось предпочтение северным климатам над южными; людей, самых годных для военного ремесла, предпочтительно искали не в городах, а в деревнях, и от тех, кто занимался тяжелым кузнечным и плотничным ремеслом или охотничьим промыслом, ожидали более энергии и отваги, нежели от тех, кто вел сидячую жизнь торговца, удовлетворяющего требованиям роскоши. Даже тогда, когда право собственности перестало считаться необходимым условием для занятия военных должностей, командование римскими армиями оставалось почти исключительно в руках офицеров из хороших семейств и с хорошим образованием; но простые солдаты, подобно тем, из которых составляются наемные войска в современной нам Европе, набирались между самыми низкими и очень часто между самыми развратными классами населения.

Не одной только быстротой или обширностью завоеваний должны мы измерять величие Рима. Ведь государь, царствующий над русскими степями, имеет под своей властью еще более обширную часть земного шара. В седьмое лето после своей переправы через Геллеспонт Александр воздвигнул Македонские трофеи на берегах Гифазиса. В течение менее ста лет непобедимый Чингисхан и происходившие от одного с ним рода монгольские властители распространили свои жестокие опустошения и свое временное владычество от китайских морей до пределов Египта и Германии. Но прочное здание римского могущества и было воздвигнуто, и оберегалось мудростью многих веков. Покорные провинции Траяна и Адриана были тесно связаны между собой общими законами и наслаждались украшавшими их изящными искусствами. Им, может быть, иногда и приходилось выносить злоупотребления лиц, облаченных властью, но общие принципы управления были мудры, несложны и благотворны. Их жители могли спокойно исповедовать религию своих предков, а в том, что касается гражданских отличий и преимуществ, они постепенно приобретали одинаковые права со своими завоевателями.

Несмотря на общую всем людям склонность восхвалять прошлое и хулить настоящее, как жители провинций, так и сами римляне живо чувствовали и откровенно признавали спокойное и цветущее положение империи. «Они создавали, что правильные принципы общественной жизни, законода-

тельство, земледелие и науки, впервые выработанные мудростью афинян, теперь распространялись повсюду благодаря могуществу Рима, под благотворным влиянием которого самые лютые варвары соединены узами одного для всех правительства и одного для всех языка. Они утверждают, что вместе с распространением искусств стал заметным образом умножаться человеческий род. Они прославляют возрастающее великолепие городов, улыбающийся вид полей, возделанных и украшенных как громадный сад, и продолжительный праздник мира, которым наслаждаются столькие народы, позабывшие о своей прежней вражде и избавившиеся от страха будущих опасностей». Как бы ни казался подозрительным риторический и напыщенный тон приведенных выражений, их содержание вполне согласно с исторической истиной.

Глаз современника едва ли был способен заметить, что в этом всеобщем благосостоянии кроются зачатки упадка и разложения. А между тем продолжительный мир и однообразие системы римского управления вносили во все части империи медленный и тайный яд. Умы людей постепенно были доведены до одного общего уровня, пыл гения угас, и даже воинственный дух испарился. Европейцы были храбры и сильны. Испания, Галлия, Британия и Иллирия снабжали легионы превосходными солдатами и составляли настоящую силу монархии. Жители этих стран по-прежнему отличались личным мужеством, но у них уже не было того общественного мужества, которое питается любовью к независимости, чувством национальной чести, присутствием опасности и привычкой командовать. Они получали законы и губернаторов от своего государя, а их защита была вверена армии, состоявшей из наемников. Потомки их самых отважных вождей довольствовались положением граждан или подданных. Самые честолюбивые между ними поступали ко двору или под знамена императоров; провинции стали пустеть и, утратив политическое могущество и единство, постепенно погрузились в вялую безжизненность домашних интересов.

Если мы захотим обрисовать в немногих словах систему императорского управления в том виде, как она была установлена Августом и как она поддерживалась теми из его преемников, которые хорошо понимали и свои собственные интересы, и интересы народа, то мы скажем, что это была абсолютная монархия, прикрывшаяся республиканскими формами. Властелины римского мира окружали свой трон полумраком; они старались скрыть от своих подданных свое непреодолимое могущество и смиренно выдавали себя за ответственных уполномоченных сената, верховные декреты которого они сами и диктовали, и исполняли.

Если бы у кого-нибудь спросили, в течение какого периода всемирной истории положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен был бы без всяких колебаний назвать тот период, который протек от смерти Домициана до восшествия на престол Коммода. Римская империя на всем своем громадном пространстве управлялась абсолютной властью, руководительницами которой были добродетель и мудрость. Армии сдерживались твердой и вместе с тем мягкой рукой четырех следовавших один за другим императоров, которые внушали невольное уважение и своим характером, и своим авторитетом. Формы гражданского управления тщательно охранялись и Нервой, и Траяном, и Адрианом, и Антонинами, которые наслаждались внешним видом свободы и находили удовольствие в том, что выдавали себя за ответственных представителей за-

кона. Такие государи были бы достойны чести сделаться восстановителями республики, если бы римляне того времени были способны пользоваться разумной свободой.

Большая часть преступлений, нарушающих внутреннее спокойствие общества, происходит от того, что необходимое, но неравномерное распределение собственности налагает стеснения на вожеления человеческого рода, предоставляя лишь очень немногим пользование тем, к чему стремятся все. Из всех наших страстей и наклонностей жажда власти есть самая высокомерная и самая вредная для общества, так как она внушает человеческой гордости желание подчинять других своей воле. Среди сумятицы внутренних раздоров законы общества утрачивают свою силу, и редко случается, чтобы их заменяли законы человеколюбия. Горячность борьбы, гордость победы, отчаяние в успехе, воспоминание о прошлых унижениях и страх предстоящих опасностей — все это разгорячает ум и заглушает голос сострадания. Вот те причины, по которым почти каждая страница истории запятнана кровью междоусобицы; но ни одной из этих причин нельзя объяснить ничем не вызванных жестокостей Коммода, который мог наслаждаться всем и которому ничего не оставалось желать. Возлюбленный сын Марка Аврелия наследовал своему отцу при радостных приветствиях сената и армии, а при своем восшествии на престол этот счастливый юноша не видел вокруг себя ни соперников, которых нужно бы было устранить, ни врагов, которых нужно бы было побороть. На таком спокойном и высоком посту он натурально должен был бы предпочитать любовь человеческого рода его ненависти и добрую славу своих предшественников позорной участи Нерона и Домициана.

Преторианская гвардия

Влияние военной силы более ощутительно в обширных монархиях, нежели в мелких государственных единицах. По вычислениям самых компетентных политиков, всякое государство придет в конце концов в истощение, если оно будет держать более одной сотой части своих членов под ружьем и в праздности. Но если бы эта пропорция и была повсюду одинакова, все-таки влияние армии на остальную часть общества будет различно, смотря по тому, как велика ее действительная сила. Выгоды, доставляемые военной тактикой и дисциплиной, утрачиваются, если надлежащее число солдат не соединено в одно целое и если это целое не оживлено одним духом. В небольшой кучке людей такое единство не привело бы ни к каким серьезным результатам, а в неповоротливой громадной массе людей оно было бы практически неприменимо, так как сила этой машины одинаково уничтожается и от чрезмерной тонкости, и от чрезмерной тяжести ее пружин. Чтобы понять справедливость этого замечания, достаточно только сообразить, что не существует такого превосходства природных сил, искусственных орудий или упражнений приобретенной ловкости, которые сделали бы одного человека способным держать в постоянном подчинении целую сотню его собратьев; тиран одного города или небольшого округа скоро поймет, что сотня вооруженных приверженцев будет плохой для него охраной от десяти тысяч крестьян или граждан; но сто тысяч хорошо дисциплинированных солдат будут деспотически повелевать десятью миллионами подданных, а отряд из десяти или пятнадцати тысяч гвардейцев будет способен наводить ужас на многочисленное население громадной столицы.

Численный состав преторианской гвардии, неистовства которой были первым симптомом и главной причиной упадка Римской империи, едва ли достигал последней из вышеупомянутых цифр. Она вела свое начало от времен Августа. Этот хитрый тиран, понимавший, что законы могут только приукрасить незаконно захваченную им власть, но что одна только вооруженная сила может ее поддержать, организовал этот сильный отряд гвардейцев, всегда готовый охранять его особу, внушать страх сенату и предупреждать или подавлять всякую попытку восстания. Он отличил эти привилегированные войска от остальной армии двойным жалованьем и высшими правами, а так как их страшный вид мог встревожить и раздражить жителей Рима, то он оставил в столице только три когорты, а остальные разместил по соседним городам. Но по прошествии пятидесяти лет мира и рабства Тиберий отважился на решительную меру, навсегда заклепавшую кандалы его отечества. Под благовидным предлогом освобождения Италии от тяжелого бремени военного постоя и введения более строгой дисциплины между гвардейцами он собрал их в Риме и поместил в постоянном лагере, который был укреплен с искусным старанием и по своему положению господствовал над городом.

Император Север

Имея в виду редкие дарования Севера и его блестящий успех, один изящный историк сравнивал его с первым и величайшим из Цезарей. Но это сравнение, по меньшей мере, не полно. Разве можно отыскать в характере Севера то душевное величие, то благородное милосердие и тот обширный ум, которые умели согласовать и соединять склонность к удовольствиям, жажду знания и пыл честолюбия? Этих двух людей можно сравнивать между собой только в том, что касается быстроты их военных движений и побед, одержанных в междоусобных войнах. Менее чем в четыре года Север подчинил себе и богатый Восток, и воинственный Запад. Он осилил двух славившихся своими дарованиями соперников и разбил многочисленные армии, так же хорошо вооруженные и так же хорошо дисциплинированные, как его собственная. В то время искусство фортификации и правила тактики были хорошо знакомы всем римским генералам, а потому постоянное превосходство Севера было превосходством артиста, пользовавшегося теми же орудиями, как и его соперники, но с большим искусством и с большей предприимчивостью. Я не имею намерения подробно описывать эти военные операции; так как обе междоусобные войны — и та, которую он вел против Нигера, и та, которую он вел против Альбина, — сходны между собой и по способу их ведения, и по выдающимся фактам, и по их последствиям, то я ограничусь соединением в одно целое тех интересных обстоятельств, которые всего лучше уясняют и характер победителя, и положение империи. Хотя вероломство и неискренность кажутся несовместимыми с достоинством государственного управления, однако в этой сфере они возмущают нас менее, нежели в частной жизни. В этой последней они свидетельствуют о недостатке мужества, а в государственных делах они служат лишь признаком бессилия; но так как даже самый даровитый государственный человек не имеет достаточной личной силы, чтобы держать в повиновении миллионы подчиненных ему существ и миллионы врагов, то ему как будто с общего согласия разрешается употреблять в дело лукавство и притворство под общим названием политики. Тем не менее хитрости Севера не могут быть оправданы даже самыми широкими привиле-

гиями, обыкновенно предоставляемыми ведению государственных дел. Он давал обещания только для того, чтобы погубить, и, хотя ему случалось связывать себя клятвами и договорами, его совесть, повиновавшаяся велениям его интересов, всегда освобождала его от бремени стеснительных обязательств.

Новые принципы управления

Истинные интересы абсолютного монарха обыкновенно совпадают с интересами его подданных. Их число, богатство, спокойствие и безопасность составляют лучшую и единственную основу его настоящего величия, и, если бы даже он не был одарен никакими личными достоинствами, одно благоразумие могло бы заменить их и заставить его держаться этой точки зрения. Север смотрел на Римскую империю как на свою собственность и лишь только упрочил обладание ею, тотчас занялся разработкой и улучшением столь драгоценного приобретения. Полезные законы, исполнявшиеся с непоколебимой твердостью, скоро исправили большую часть злоупотреблений, заразивших после смерти Марка Аврелия все отрасли управления. В отправлении правосудия решения императора отличались вниманием, разборчивостью и беспристрастием; если же ему случалось уклониться от строгих правил справедливости, он делал это обыкновенно в интересах бедных и угнетенных не столько из чувства человеколюбия, сколько из свойственной деспотам склонности унижать гордость знати и низводить всех подданных до общего им всем уровня абсолютной зависимости. Его дорогие постройки и траты на великолепные зрелища, а главным образом беспрестанные и щедрые раздачи хлеба и провизии служили для него самым верным средством для приобретения привязанности римского народа. Бедствия, причиненные внутренними раздорами, были позабыты; провинции снова стали наслаждаться спокойствием и благоденствием, и многие города, обязанные своим возрождением щедротам Севера, приняли название его колоний и засвидетельствовали публичными памятниками о своей признательности и о своем благосостоянии. Слава римского оружия была восстановлена этим воинственным и счастливым во всех предприятиях императором, и он имел полное основание похвастаться тем, что, когда он принял империю, она страдала под гнетом внешних и внутренних войн, но что он прочно установил в ней всеобщий, глубокий и согласный с ее достоинством мир.

Хотя раны, нанесенные междоусобной войной, по-видимому, совершенно зажили, их нравственный яд еще тек в жилах конституции. Север был в значительной мере одарен энергией и ловкостью, но для того чтобы сдерживать наглость победоносных легионов, едва ли было бы достаточно отваги первого Цезаря или глубокой политической мудрости Августа. Из чувства ли признательности, или из ошибочных политических соображений, или вследствие кажущейся необходимости Север ослабил узы дисциплины. Он потворствовал тщеславию своих солдат, позволяя им носить в знак отличия золотые кольца, и заботился об их удобствах, позволяя им жить в лагерях в праздности вместе с женами. Он увеличил их жалованье до небывалых размеров и приучил их ожидать, а вскоре вслед за тем и требовать подарков всякий раз, как государству угрожала какая-нибудь опасность или совершалось какое-нибудь публичное празднество. Возгордившись своими отличиями, изнежившись от роскоши и возвысившись над общим уровнем подданных благодаря своим опасным привилегиям, они скоро сделались неспособными выносить трудности военной службы, обратились в бремя для страны и пере-

стали подчиняться справедливым требованиям субординации. Их офицеры заявляли о превосходстве своего звания еще более расточительной и изысканной роскошью. До нас дошло письмо Севера, в котором он жалуется на распущенность армии и советует одному из своих генералов начать необходимые реформы с самих трибунов, потому что, как он основательно замечает, офицер, утративший уважение своих солдат, не может требовать от них повиновения. Если бы император продолжил нить этих размышлений, он пришел бы к тому заключению, что эту всеобщую испорченность нравов следует приписать если не примеру, то пагубной снисходительности верховного начальника.

Преторианцы, умертвившие своего императора и продавшие империю, понесли справедливое наказание за свою измену, но необходимое, хотя и опасное, учреждение гвардии было восстановлено Севером по новому образцу, а число гвардейцев было увеличено вчетверо против прежнего числа. Первоначально эти войска пополнялись итальянскими уроженцами, а когда соседние провинции постепенно усвоили себе изнеженность столицы, их стали пополнять жителями Македонии, Норика и Испании. Взамен этих изысканных войск, более способных придавать блеск двору, нежели годных для войны, Север решил, что во всех пограничных легионах будут выбирать солдат, отличающихся силой, мужеством и верностью, и будут переводить их в знак отличия и награды на более выгодную службу в гвардии. Вследствие этого нововведения итальянская молодежь стала отвыкать от военных занятий, и множество варваров стало наводить ужас на столицу и своим внешним видом, и своими нравами. Но Север льстил себя надеждой, что легионы будут смотреть на этих отборных преторианцев как на представителей всего военного сословия и что, всегда имея наготове пятьдесят тысяч человек, более опытных в военном деле и более щедро оплачиваемых, нежели какие-либо другие войска, он навсегда оградит себя от восстаний и обеспечит престол за собой и за своим потомством.

Командование этими привилегированными и страшными войсками скоро обратилось в самый высший пост в империи. Так как система управления извратилась в военный деспотизм, то преторианский префект, вначале бывший не более как простым капитаном гвардии, был поставлен не только во главе армии, но также во главе финансов и даже юстиции. В каждом отделе администрации он являлся представителем императора и пользовался его властью. Любимый министр Севера Плавтиан был первый префект, облеченный и злоупотреблявший этой громадной властью. Его владычество продолжалось около десяти лет, пока брак его дочери со старшим сыном императора, по видимому долженствовавший упрочить его положение, не сделался причиной его гибели. Дворцовые интриги, раздражавшие честолюбие Плавтиана и внушавшие ему опасения, грозили взрывом революции; тогда Север, все еще любивший его, был вынужден согласиться на его казнь. После гибели Плавтиана многосторонние обязанности преторианского префекта были возложены на знаменитого законоведа Папиниана.

До Севера все добродетельные и даже просто здравомыслящие императоры отличались если не искренней преданностью, то наружным уважением к сенату, и относились с почтительной деликатностью к нежной ткани политических убеждений, введенных Августом. Но Север провел свою молодость в лагерях, где привык к безусловному повиновению, а в более зрелом возрасте в качестве военачальника освоил лишь деспотизм военной

власти. Его надменный и непреклонный ум не мог понять или не хотел сознаться, что для него было бы выгодно поддержать такую власть, которая могла бы быть посредницей между императором и армией, хотя бы она и была только воображаемой. Он не хотел унижаться до того, чтобы выдавать себя за покорного слугу такого собрания, которое ненавидело его и трепетало при малейшем выражении его неудовольствия; он давал приказания, когда простая просьба с его стороны имела бы точно такую же силу; он держал себя и выражался как властелин и победитель и открыто пользовался всеми правами как законодательной, так и исполнительной верховной власти.

Победа над сенатом была нетрудна и не доставляла никакой славы. Все внимание было устремлено на верховного сановника, который располагал военными силами государства и его казной и от которого зависели интересы каждого, тогда как сенат, не находивший для себя опоры ни в народном избрании, ни в военной охране, ни в общественном мнении, пользовался лишь тенью власти, основанной на непрочном и расшатанном фундаменте старых привычек. Прекрасная теория республиканского правления постепенно улетучивалась, уступая место более натуральным и более насущным влечениям, находящим для себя удовлетворение при монархической форме правления. Так как свобода и права римских граждан сделались со временем достоянием жителей провинций, или вовсе незнакомых со старой системой управления, или вспоминаявших о ней с отвращением, то республиканские традиции постепенно предавались забвению. Греческие историки, писавшие в век Антонинов, с злорадством замечают, что хотя римские государи и не называли себя королями из уважения к устарелым предрассудкам, но тем не менее пользовались всеми прерогативами королевской власти. В царствование Севера сенат наполнился образованными и красноречивыми уроженцами восточных провинций, объяснявшими свою лживую покорность теоретическими принципами рабства. Когда эти новые защитники императорских прерогатив проповедовали обязанность пассивного повиновения и объясняли неизбежность пагубных последствий свободы, при дворе их слушали с удовольствием, а среди народа с терпением. Законоведы и историки также поучали, что верховная власть не была вверена сенатом на время, а была безвозвратно передана императору, что император не обязан стесняться законами, что жизнь и имущество его подданных находятся в его безотчетной власти и что он может располагать империей как своей частной собственностью. Самые знаменитые законоведы, и в особенности Папиниан, Павл и Ульпиан, процветали при императорах из рода Севера, а римская юриспруденция, вступившая в тесную связь с монархической системой, как полагают, достигла в этот период времени своего полного развития и совершенства.

Современники Севера, наслаждавшиеся спокойствием и славой его царствования, простили ему те жестокости, путем которых он доставил им эти блага. Но потомство, познакомившееся на опыте с пагубными последствиями его принципов и указанного им примера, основательно считало его главным виновником упадка Римской империи.

И распутная тирания Коммода, и внутренние раздоры, вызванные его смертью, и новые принципы управления, установленные государями из дома Севера, — все способствовало усилению опасного могущества армии и уничтожению еще не совсем изгладившихся в душе римлян слабых следов уважения к законам и к свободе. Мы постарались с возможной после-

довательностью и ясностью объяснить причины этой внутренней перемены, расшатавшей коренные основы империи. Личный характер императоров, их победы, законы, безрассудства и судьба могут интересовать нас только в той мере, в какой они находятся в связи с общей историей упадка и разрушения монархии. Но, несмотря на то что все наше внимание сосредоточено на этом важном предмете, мы не можем пройти мимо чрезвычайно важного эдикта Антонина Каракаллы, предоставлявшего всем свободным жителям империи название и привилегии римских граждан. Впрочем, эта безмерная щедрость не была внушена великодушием, а была результатом гнусной алчности; чтобы убедиться в этом, необходимо сделать краткий обзор состояния римских финансов с блестящих времен республики до царствования Александра Севера.

С тех пор как Ромул с небольшой кучкой пастухов и разбойников укрепился на холмах подле Тибра, уже прошло десять столетий. В течение первых четырех столетий римляне приобрели в школе труда и бедности способность к войне и к управлению; благодаря энергическому применению этих способностей к делу и при помощи счастья, они в течение следующих трех столетий достигли абсолютного господства над многими странами Европы, Азии и Африки. Остальные триста лет протекли среди внешнего благоденствия и внутреннего разложения. Нация, состоявшая из солдат, должностных лиц и законодателей, делившаяся на тридцать пять триб, исчезла в общей массе человеческого рода и смешалась с миллионами раблепных провинциалов, получивших право называться римлянами, но нисколько не проникнувших духом этого народа. Продажная армия, набранная из подданных и пограничных варваров, представляла единственный класс людей, сохранивший свою самостоятельность и употреблявший ее во зло. Благодаря ее мятежным избраниям сириец, гот или араб возводился на римский престол и получал деспотическую власть и над завоеваниями Сципионов, и над их родиной.

Границы Римской империи все еще простирались от Западного океана до Тигра и от гор Атласа до Рейна и Дуная. В глазах толпы Филипп был такой же могущественный монарх, как Адриан или Август. Форма была все та же, но в ней уже не было прежнего здоровья и энергии. Длинный ряд угнетений ослабил в народе дух предприимчивости и истощил его силы. После того как исчезли всякие другие добродетели, дисциплина легионов была единственной опорой государственного величия; но и она была поколеблена честолюбием или ослаблена малодушием императоров. Безопасность границ, которую обеспечивали не столько укрепления, сколько воинские доблести, постепенно сделалась ненадежной, и самые лучшие провинции сделались жертвой алчности или честолюбия варваров, скоро приметивших упадок римского могущества.

От Столетних игр, отпразднованных Филиппом (в 248 г.), до смерти императора Галлиена прошло двадцать лет, полных позора и бедствий. В течение этого злосчастного периода каждая минута приносила с собой новую беду, и каждая провинция страдала от вторжения варваров и от деспотизма военных тиранов, так что разоренная империя, казалось, была близка к моменту своего окончательного распада. Как царившая в ту пору безурядица, так и бедность исторических сведений ставят в затруднение историка, который желал бы придать своему рассказу ясность и последовательность. Имея под рукой лишь отрывочные сведения, всегда краткие, нередко сомнительные, а иногда и противоречащие одно другому, он вынужден делать между

ними выбор, сравнивать их между собой и высказывать догадки; но хотя он и не должен был бы ставить эти догадки в один ряд с достоверными фактами, однако, зная, какое влияние производят разнузданные страсти на человеческую натуру, он в некоторых случаях может восполнять недостатки исторического материала.

В то время как Деций боролся с настигшей его грозой, его ум, остававшийся спокойным и осмотрительным среди военных тревог, доискивался общих причин, так сильно поколебавших могущество Рима со времен Антонинов. Он скоро убедился, что нет возможности восстановить это могущество на прочном фундаменте, не восстановив общественных добродетелей, старинных принципов и нравов и уважения к законам. Чтобы исполнить эту благородную, но трудную задачу, он решился прежде всего восстановить устарелую должность цензора, — ту должность, которая так много содействовала прочности государства, пока она сохраняла свою первобытную чистоту, но которую Цезари противозаконно себе присвоили и затем постепенно довели до всеобщего пренебрежения. Будучи убежден, что личное расположение государя может облекать властью, но что одно только общее уважение может придавать этой власти авторитет, он предоставил назначение цензора беспристрастному выбору сената. Единогласным решением сенаторы признали, что всех достойнее этого высокого отличия Валериан, — тот самый, который был впоследствии императором, а в ту пору с отличием служил в армии Деция. Лишь только император получил уведомление об этом избрании, он собрал в своем лагере верховный совет и, прежде чем утвердить избранного цензора в его звании, объяснил ему трудности и важное значение его высоких обязанностей. «Счастливый Валериан, — сказал монарх, обращаясь к своему знаменитому подданному, — вы заслужили общее одобрение сената и Римской республики! Примите цензорство над человеческим родом и будьте судьей над нашими нравами. Вы укажете тех, которые достойны оставаться членами сената, вы возвратите сословию всадников его прежний блеск, вы увеличите государственные доходы, стараясь вместе с тем уменьшить тяжесть налогов. Вы разделите разнородную и громадную массу граждан на правильные разряды и тщательно вникнете во все, что имеет связь с военным могуществом Рима, с его богатством, добродетелями и денежными средствами. Ваши решения будут иметь силу законов. И армия, и дворец, и органы правосудия, и высшие должностные лица империи — все будет подчинено вашему трибуналу. Никто не будет исключен, кроме обыкновенных консулов, городского префекта, верховного жреца и старшей из девственных весталок (пока она сохраняет свою девственность). И эти немногие, хотя и не будут опасаться строгости римского цензора, будут старательно искать его уважения».

Должностное лицо, облеченное столь широкими полномочиями, по-видимому, походило не столько на министра своего государя, сколько на его сотоварища. Валериан основательно опасался назначения, которое могло навлечь на него столько зависти и подозрений. Он отговаривался, скромно указывая на чрезмерно широкие полномочия, на свою собственную неспособность и на неизлечимую испорченность нравов того времени. Он ловко намекнул на то, что звание цензора нераздельно с императорским достоинством и что слабые силы подданного не в состоянии выносить такое громадное бремя забот и власти. Военные события скоро положили конец попытке осуществить проект, столь благовидный, но вместе с тем неисполнимый, и,

предохранив Валериана от опасности, избавили императора Деция от разочарования, которое, вероятно, было бы результатом его усилий. Цензор может поддержать чистоту нравов, но не в силах восстановить ее. Такое должностное лицо может употреблять в дело свою власть с пользой для общества или даже с каким-либо успехом только в том случае, если оно найдет для себя опору в сердцах граждан, проникнутых чувствами чести и добродетели, в надлежащем уважении к общественному мнению и во множестве полезных предрассудков, поддерживающих национальные нравы. В такое время, когда эти принципы уничтожены, цензорская юрисдикция неизбежно должна или снизойти до исполнения пустых формальностей, или превратиться в пристрастное орудие угнетения и деспотизма. Легче было победить готов, нежели искоренить общественные пороки, однако даже в первом из этих предприятий Деций лишился и своей армии, и своей жизни.

Валериан, руководствуясь лишь чувством отцовской привязанности или тщеславием, немедленно разделил верховную власть со своим сыном Галлиеном — молодым человеком, до тех пор скрывавшим свои порочные наклонности во мраке частной жизни. Совместное управление отца и сына продолжалось около семи лет, а управление одного Галлиена около восьми. Но весь этот период времени был непрерывным рядом беспорядков и общественных бедствий. Так как Римская империя в одно и то же время подвергалась со всех сторон яростным нападениям внешних врагов и страдала от честолюбивых покушений внутренних узурпаторов, то мы ради правильности и последовательности повествования будем придерживаться в распределении исторических событий не порядка времени, а более натуральной группировки по сюжетам. Самыми опасными врагами Рима в царствования Валериана и Галлиена были франки, алеманны, готы и персы.

Тридцать тиранов

Нет ничего удивительного в том, что когда бразды правления находились в таких слабых руках, в провинциях появлялось множество узурпаторов, не признававших над собой власти Валерианова сына. Число их доводится в «Истории эпохи Цезарей» до знаменитого числа тридцать, вероятно, из желания придать более интереса рассказу сопоставлением тридцати римских тиранов с тридцатью афинскими. Но такое сравнение во всех отношениях произвольно и неосновательно. Разве можно найти какое-нибудь сходство между советом из тридцати членов, соединившихся между собой для того, чтобы угнетать один только город, и неопределенным числом самостоятельных честолюбцев, то возвышавшихся, то погибавших без всякой правильной преемственности на обширном пространстве громадной империи? И даже чтобы достигнуть цифры тридцать, пришлось бы включить в число тиранов тех женщин и детей, которые были удостоены императорского титула. В царствование Галлиена, как оно ни было богато внутренними смутами, было только девятнадцать претендентов на престол: Кириад, Макриан, Балиста, Оденат и Зенобия на Востоке; Постумий, Лоллиан, Викторин и его мать Виктория, Марий и Тетрик в Галлии и в западных провинциях; Ингенуй, Регалиан и Авреол в Иллирии и на дунайской границе, Сатурнин в Понте, Требеллиан в Исаврии, Пизон в Фессалии, Валент в Ахайи, Эмилиан в Египте и Цельс в Африке. Если бы мы захотели изложить малоизвестные подробности о жизни и смерти каждого из этих претендентов, мы взяли бы на себя тяжелый труд, который не доставил бы нам ни пользы,

ни удовольствия. Поэтому мы ограничимся изложением тех характеристических особенностей, которые всего ярче обрисовывают условия того времени, а также нравы узурпаторов, их притязания, их мотивы, их судьбу и пагубные последствия их узурпации.

Отвратительное название «тиран», как известно, нередко употреблялось в древности для обозначения противозаконного захвата верховной власти, но под ним вовсе не подразумевалось злоупотребление этой властью. Многие из претендентов, поднявших знамя бунта против императора Галлиена, были блестящими образцами добродетели, и почти все они обладали в значительной мере и энергией, и талантами. Благодаря своим личным достоинствам они приобрели расположение Валериана и благодаря тем же достоинствам возвысились до самых важных должностей в империи. Генералы, принявшие титул Августа, или приобрели уважение своих войск искусными распоряжениями и строгой дисциплиной, или действовали на их воображение храбростью и военными успехами, или были любимы за свою щедрость и великодушие. Их нередко провозглашали императорами на том самом поле сражения, на котором была одержана победа, и даже самый ничтожный из всех этих кандидатов на престол, оружейный мастер Марий, отличался неустрашимой храбростью, необычайной физической силой и грубой честностью. Только что покинутое им низкое ремесло, правда, придавало его избранию вид чего-то смешного и странного, но его происхождение не могло быть более низко, чем происхождение большей части его соперников, которые родились в крестьянском звании и поступили в армию простыми солдатами. В эпохи внутренних неурядиц всякий деятельный ум находит для себя то место, которое указано ему самой природой, а среди смут, порождаемых всеобщей войной, военные заслуги есть тот путь, который ведет к славе и могуществу. Из девятнадцати тиранов только один Тетрик был сенатором, и только один Пизон был знатного происхождения. Кровь Нумы текла через двадцать восемь последовательных поколений, в жилах Кальпурния Пизона, который, будучи связан родством с самыми знатными родами путем брачных союзов, имел право украшать свой дом изображениями Красса и великого Помпея. Его предки неоднократно удостоивались всех тех отличий, какие могла дать республика, и из всех древних римских родов только род Кальпурниев пережил тиранию Цезарей. Личные качества Пизона придавали новый блеск его роду. Узурпатор Валент, по приказанию которого он был лишен жизни, признавался с глубоким раскаянием в душе, что даже враг должен был бы уважать святость Пизона, и несмотря на то, что он умер, сражаясь против Галлиена, сенат с великодушного разрешения императора декретировал триумфальные почести в память столь добродетельного мятежника.

Наместники Валериана, искренно привязанные к отцу, которого они уважали, не хотели служить его недостойному сыну, проводившему время в праздной роскоши. Так как власть римских императоров не имела опоры в чувстве династической преданности, то измену такому недостойному монарху можно было в некоторой мере оправдывать патриотизмом. Однако, если мы внимательно рассмотрим поведение этих узурпаторов, мы найдем, что они были вовлечены в мятежи не столько своим честолюбием, сколько страхом. Они боялись подозрительности и жестокости Галлиена, но не менее боялись своеволия своих войск и их склонности к насилиям. Если опасная преданность армии необдуманно провозглашала их достойными престола, они бы-

ли обречены на верную гибель; в таком случае даже благоразумие требовало, чтобы они, не дожидаясь смерти от руки палача, присвоили себе хоть на короткое время верховную власть и попытались удержать ее в своих руках силой оружия. Когда эти жертвы солдатского насилия были против своей воли облечены в императорское достоинство, они нередко втайне скорбели об ожидавшей их участи. «Вы лишились, — сказал Сатурнин в день своего провозглашения императором, — полезного начальника и сделали из меня очень жалкого императора».

Опасения Сатурнина оправдывались результатами происходивших на его глазах восстаний. Из девятнадцати тиранов, поднявших знамя бунта в царствование Галлиена, ни один не наслаждался спокойной жизнью и ни один не умер естественной смертью. Лишь только они были облечены в обгренную кровью императорскую мантию, они внушали своим приверженцам точно такие же опасения и такие же честолюбивые надежды, какие послужили мотивом для их собственного восстания. Окруженные домашними заговорами, военными бунтами и междоусобной войной, они с трепетом едва удерживались на краю той пропасти, в которую неизбежно должны были пасть после более или менее продолжительных тревог. Хотя армии и провинции, повиновавшиеся этим недолговечным императорам, воздавали им все должные почести, их основанные на мятеже права никогда не получали законной санкции и не заносились на страницы истории. Италия, Рим и сенат постоянно стояли за Галлиена, так как он один считался повелителем империи. Впрочем, этот государь признал военные заслуги Одената, который был достоин этого почетного отличия, потому что всегда относился с уважением к сыну Валериана. С общего одобрения римлян и с согласия Галлиена сенат дал храброму пальмирцу титул Августа и этим как бы закрепил за ним управление восточными провинциями, которыми он и без того уже заведовал с такой самостоятельностью, что передал их как частную собственность по завещанию своей знаменитой жене Зенобии. Такие быстрые и беспрестанно возобновлявшиеся переходы от хижины к престолу, а от престола к могиле могли бы казаться забавными для равнодушного философа, если бы только философ мог оставаться равнодушным при виде общих бедствий человеческого рода. И избрание этих недолговечных императоров, и их владычество, и их смерть оказывались одинаково пагубными и для их подданных, и для их приверженцев. В награду за свое возвышение они немедленно выдавали войскам громадные денежные суммы, которые вымогались из кармана и без того уже истощенного народа. Как бы ни был благороден их характер, как бы ни были чисты их намерения, они не могли избежать печальной необходимости поддерживать свою узурпацию беспрестанными актами хищничества и жестокости. Когда они гибли, они вовлекали в свою гибель и армии, и провинции. До нас дошел варварский указ, посланный Галлиеном к одному из его министров после падения Ингенуя, провозгласившего себя императором в Иллирии. «Недостаточно, — писал этот изнеженный, но бесчеловечный государь, — чтобы вы истребляли тех, кто выступал с оружием в руках; случайности войны могли бы доставить мне такую же выгоду. Мужское население всякого возраста должно быть вырвано с корнем с тем только условием, что, подвергая смертной казни детей и стариков, вы должны найти средства, чтобы спасти нашу репутацию. Пусть умирает всякий, кто проронил хоть одно слово, кто возымел хоть какую-нибудь мысль против меня, — против меня, сына

Валериана, отца и брата стольких принцев. Не забывайте, что Ингенуй был сделан императором; терзайте, убивайте, рвите на куски. Я пишу вам собственноручно и желал бы внушить вам мои собственные чувства». В то время как военные силы государства бесполезно расходовались на личные раздоры, незащищенные провинции были легкой добычей для всякого, кто хотел напасть на них. Самые храбрые из узурпаторов были вынуждаемы трудностями своего положения заключить с общим врагом унижительные мирные договоры, покупать нейтралитет или услуги варваров обременительными для народа данями и вводить независимые и враждебные племена в самое сердце римской монархии.

Таковы были варвары, и таковы были тираны, которые в царствования Валериана и Галлиена расчленили провинции и довели империю до такого унижения и разорения, от которых, казалось, она никогда не будет в состоянии поправиться. Мы постарались изложить главные события этого бедственного периода в порядке и с последовательностью, насколько это возможно при скудности исторического материала.

Бедствия римского населения

Человечество так привыкло считать свою судьбу тесно связанной с законами, управляющими Вселенной, что этому мрачному периоду истории приписывали разные наводнения, землетрясения, появления необыкновенных метеоритов, сверхъестественные затмения и массу вымышленных или преувеличенных чудес. Но продолжительный и всеобщий голод оказался серьезным бедствием. Он был неизбежным последствием хищничества и угнетений, которые уничтожали и находившиеся налицо земные продукты, и надежды на будущую жатву. Вслед за голодом почти всегда появляются эпидемические болезни, возникающие от недостаточности и недоброкачества пищи. Впрочем, вероятно, были и другие причины, содействовавшие распространению страшной моровой язвы, которая свирепствовала без перерыва с 250 по 265 г. во всех римских провинциях, во всех городах и почти во всех семьях. В течение некоторого времени в Риме умирало ежедневно по пять тысяч человек, и многие города, спасшиеся от нашествия варваров, совершенно опустели. Нам достоверно известен один интересный факт, из которого можно извлечь некоторую пользу, когда приходится подводить итоги бедствиям человечества. В Александрии аккуратно велся список всех граждан, имевших право пользоваться даровой раздачей зернового хлеба. Оказывается, что прежнее число просителей в возрасте от сорока до семидесяти лет равнялось числу всех тех просителей в возрасте от четырнадцати до восьмидесяти лет, которые остались в живых после царствования Галлиена. Применяя этот достоверный факт к самым аккуратным спискам смертности, мы, очевидно, должны прийти к тому заключению, что в Александрии вымерло более половины ее населения; если же мы позволим себе судить по аналогии о том, что должно было происходить в других провинциях, то мы должны будем допустить, что войны, моровая язва и голод истребили в несколько лет половину человеческого рода.

Общий план этого сочинения не позволяет нам входить в подробное рассмотрение действий каждого императора после их вступления на престол и еще менее позволяет нам подробно описывать их жизнь за то время, когда они были еще частными людьми.

Глава 2 (XII)

Странный спор между армией и сенатом

Таково было несчастное положение римских императоров, что, каков бы ни был их образ действий, их участь всегда была одна и та же. Все равно, проводили ли они жизнь в наслаждениях или в трудах на пользу общества, все равно, были ли они взыскательны или снисходительны, беспечны или славны своими подвигами, — их всех одинаково ожидала преждевременная могила, и почти каждое царствование оканчивалось одной и той же отвратительной сценой измены и убийства. Впрочем, смерть Аврелиана особенно замечательна по своим необыкновенным последствиям. Легионы были глубоко преданы своему победоносному вождю; они скорбели о его смерти и отомстили за него. Обман коварного секретаря был открыт и наказан. Введенные в заблуждение заговорщики присутствовали на погребении своего оклеветанного государя с раскаянием, которое, по-видимому, было искренним, и подписались под единогласным решением военного сословия, выраженным в следующем послании: «Храбрые и счастливые армии к римскому сенату и народу. Преступление одного и заблуждение многих лишили нас покойного императора Аврелиана. Уважаемые отцы-сенаторы, благоволите причислить его к богам и назначьте ему такого преемника, который, по вашему мнению, достоин императорского звания! Ни один из тех, чья вина или заблуждение были причиной понесенной нами утраты, никогда не будет царствовать над нами». Римских сенаторов вовсе не удивило известие, что еще один император был убит в своем лагере; они втайне радовались падению Аврелиана; но когда в полном собрании сената консул сообщил им содержание скромного и почтительного послания легионов, они были приятно поражены. Памяти своего умершего государя они стали щедро расточать все почести, какие только мог вынудить от них страх, а может быть, и чувство уважения; вместе с тем они выразили самую искреннюю признательность верным армиям республики, обнаружившим столь правильный взгляд на легальный авторитет сената в вопросе о выборе императора. Однако, несмотря на столь лестное для сената приглашение, самые осторожные из его членов не захотели ставить свою безопасность и свое достоинство в зависимость от каприза вооруженной толпы. Конечно, сила легионов была залогом их искренности, так как тот, кто может повелевать, редко бывает доведен до необходимости притворяться; но разве можно было ожидать, что внезапное раскаяние уничтожит закоренелые восьмидесятилетние привычки? Если же солдаты снова вовлеклись бы

в привычные для них мятежи, то их дерзость могла бы унижить достоинство сената и оказаться пагубной для предмета его выбора. Эти и другие подобные им мотивы заставили сенат издать декрет, в силу которого избрание нового императора предоставлялось военному сословию.

Возникшее отсюда препирательство представляет одно из самых достоверных и вместе с тем самых невероятных событий в истории человеческого рода. Войска, как будто пресытившиеся властью, которой они до тех пор пользовались, снова умоляли сенат возложить императорское звание на одного из его членов. Сенат упорствовал в своем отказе, а армия — в своем требовании. Обоюдное предложение было сделано и отвергнуто, по меньшей мере, три раза, а между тем, пока настойчивая скромность сената и армии непременно хотела получить повелителя от противной стороны, незаметно протекло восемь месяцев. Это был приводящий в изумление период спокойной анархии, в течение которого римский мир оставался без монарха, без узурпаторов и без мятежей. Назначенные Аврелианом генералы и должностные лица по-прежнему исполняли свои обязанности, и проконсул Азии был единственным из высших сановников, удаленным от должности в течение всего междуцарствия.

Подобное, но гораздо менее достоверное событие, как полагают, случилось после смерти Ромула, который и по своей жизни, и по своему характеру имел некоторое сходство с Аврелианом. Престол оставался вакантным в течение двенадцати месяцев, пока не был избран сабинский философ, а тем временем общественное спокойствие охранялось благодаря точно такому же единодушию между различными государственными сословиями. Но во времена Нумы и Ромула авторитет патрициев сдерживал самовластие народа, а в маленькой и добродетельной республике было не трудно сохранять надлежащее равновесие между свободными учреждениями. А римское государство уже было не таким, каким было в своем детстве, и его упадок происходил при таких условиях, которые не позволяли ожидать от междуцарствия ни общей покорности, ни общего единодушия; такой покорности и единодушию препятствовали и громадность шумной столицы, и огромный объем империи, и рабское равенство перед деспотизмом, и армия из четырехсот тысяч наемников, и привычки к беспрестанным переворотам. Однако несмотря на все эти источники беспорядка, воспоминание об Аврелиане и введенная им дисциплина сдерживали и мятежные наклонности войск, и пагубное честолюбие их вождей. Цвет легионов оставался в своем лагере на берегах Босфора, а развевавшееся над ними императорское знамя внушало страх менее сильным лагерям, расположенным в Риме и в провинциях. Военное сословие, по-видимому, было воодушевлено благородным, хотя и преходящим энтузиазмом, и следует полагать, что кучка истинных патриотов старалась поддерживать возрождавшееся согласие между армией и сенатом как единственное средство возвратить республике ее прежнее величие и силу.

Консул созывает сенат

25 сентября, то есть почти через восемь месяцев после умерщвления Аврелиана, консул созвал сенат и обратил его внимание на шаткое и опасное положение империи. Он слегка намекнул на то, что ненадежная верность солдат может каждую минуту поколебаться, так как она зависит от разных случайностей, и с убедительным красноречием указывал на различные опасности, могущие возникнуть от дальнейшей отсрочки выбора императора. Уже получено известие, говорил он, что германцы перешли через Рейн и овладели несколькими из самых сильных и самых богатых городов Галлии. Честолюбие персидского мо-

нарха постоянно держит в страхе Восток; Египет, Африка и Иллирия легко могут сделаться жертвой внешних или внутренних честолюбцев, а легкомысленные сирийцы всегда готовы предпочесть святости римских законов даже царствование женщины. Затем консул обратился к старшему из сенаторов, Тациту, и просил его высказать свое мнение по важному вопросу о выборе достойного кандидата для замещения вакантного престола.

Если нам будет дозволено отдать предпочтение личным достоинствам пред тем величием, которое зависит от случайности, то мы должны будем признать происхождение Тацита более знатным, чем происхождение королей. Он вел свой род от того историка-философа, сочинения которого будут служить поучением для самых отдаленных поколений человеческого рода. Сенатору Тациту было в то время семьдесят пять лет. Его продолжительная, безупречная жизнь была украшена богатством и почестями. Он был два раза возводим в консульское звание и в пользовании своим большим состоянием в два или три миллиона фунтов стерлингов выказывал вкус и умеренность. Опытность, приобретенная им при стольких хороших и дурных императорах в промежутки времени, начинавшийся с безрассудных выходов Гелиогабала и кончавшийся полезной строгостью Аврелиана, научила его ясно понимать обязанности, опасности и искушения их высокого звания. А из тщательного изучения сочинений своего бессмертного предка он извлек знакомство с римской конституцией и с человеческой натурой. Голос народа уже указывал на Тацита как на такого гражданина, который всех более достоин императорского звания. Когда слух об этом дошел до его сведения, он из желания уклониться от такой чести, удалился в одну из своих вилл в Кампании. Проведя два месяца в приятном уединении в Байях, он подчинился требованию консула, приглашавшего его снова занять свое почетное место в сенате и помочь своими советами республике в столь важном случае.

Он встал, чтобы говорить, когда со всех сторон сената раздались возгласы, приветствовавшие его именами Августа и императора. «Тацит Август, да сохраняют тебя боги! Мы избираем тебя нашим государем и вверяем твоим попечениям республику и весь мир. Прими верховную власть из рук сената. Тебе дают на нее право и твое высокое звание, и твое поведение, и твои нравы». Лишь только стих шум приветствий, Тацит попытался отклонить опасную честь и выразил свое удивление по поводу того, что в преемники воинственному и энергическому Аврелиану выбирают человека преклонных лет и удрученного немощами. «Разве эти ноги, отцы-сенаторы, способны выносить тяжесть вооружения или участвовать в лагерных военных упражнениях? Разнообразие климатов и лишения военной жизни скоро разрушат слабое здоровье, которое поддерживается только самым внимательным уходом. Мои ослабевшие силы едва ли достаточны для исполнения моих сенаторских обязанностей; насколько же они окажутся недостаточными для тяжелых трудов, требуемых войной и государственным управлением? Неужели вы надеетесь, что легионы будут уважать слабого старика, жизнь которого протекала в спокойствии и уединении, неужели вы желаете, чтобы я сожалел о благоприятном для меня мнении сената?»

Отказ Тацита, вероятно, вполне искренний, вызвал со стороны сенаторов настойчивые изъявления преданности. Пятьсот голосов одновременно повторяли среди общего шума, что величайшие римские монархи Нума, Траян, Адриан и Антонины вступили на престол в преклонных летах, что сенаторы выбирали ум, а не физическую силу, монарха, а не солдата, и что они ожидают от него только одного — чтобы его мудрость руководила храброс-

тью легионов. Эти настоятельные и шумные просьбы были поддержаны более правильным изложением общих желаний в речи, которую произнес Меций Фалконий, занимавший после Тацита первое место на скамье консуляров. Он напомнил сенату о тех бедствиях, в которые вовлекали Рим пороки безрассудных и своенравных юношей, поздравил его с избранием добродетельного и опытного сенатора и затем со смелой развязностью, которая, быть может, была результатом личных расчетов, увещевал Тацита припомнить причины своего избрания и найти себе преемника не в своем собственном семействе, а в республике. Речь Фалкония вызвала общее одобрение. Тогда вновь избранный император подчинился желанию своего отечества и принял от своих бывших сотоварищей добровольные уверения в подданнической преданности. Выбор сената был утвержден римским народом и преторианской гвардией.

Управление Тацита соответствовало всей его жизни и его принципам. Он был признательным слугой сената и считал это национальное собрание источником законов, а самого себя их исполнителем. Он старался залечить раны, нанесенные конституции гордостью императоров, внутренними раздорами и солдатскими насилиями, и воскресить хотя бы подобие древней республики в том виде, как оно поддерживалось политикой Августа и добродетелями Траяна и Антонинов. Считаем не лишним перечислить самые важные права, которые, как кажется, были возвращены сенату вследствие избрания Тацита. 1. Возлагать на одного из своих членов вместе с титулом императора главное начальство над армиями и управление пограничными провинциями. 2. Устанавливать список, или, как тогда выражались, коллегия консулов. Всех консулов было двенадцать, и они попарно исполняли консульские обязанности в течение двух месяцев и поддерживали достоинство этого древнего звания. Сенат пользовался при избрании консулов такой независимостью и свободой, что не уважил неосновательной просьбы императора о своем брате Флориане. «Сенат, — воскликнул Тацит с честной радостью патриота, — хорошо знает характер избранного им государя». 3. Назначать проконсулов и президентов провинций и возлагать на всех должностных лиц их гражданскую юрисдикцию. 4. Принимать через посредство городского префекта апелляции от всех трибуналов империи. 5. Придавать своими декретами силу закона тем императорским эдиктам, которые им одобрены. 6. К этим различным отраслям власти мы можем прибавить некоторые права по надзору за финансовым управлением, так как даже в царствование строгого Аврелиана сенаторы нашли возможность похитить некоторую часть доходов, которые должны были идти на удовлетворение государственных нужд.

Всем главным городам империи — Триру, Милану, Аквилее, Фессалонике, Коринфу, Афинам, Антиохии, Александрии и Карфагену — были посланы письма с требованием их покорности и с уведомлением о счастливом перевороте, возвратившем римскому сенату его прежнее значение. Два из этих посланий дошли до нас. Мы также имеем два интересных отрывка из частной корреспонденции сенаторов по этому случаю. В них видна чрезвычайная радость и проглядывают самые безграничные надежды. «Отбросьте вашу лень, — пишет один сенатор своему приятелю, — откажитесь от вашей уединенной жизни в Байях или в Путеоли. Живите в городе, посещайте сенат. Рим расцвел, и вся республика расцвела. Благодаря римской армии, которая поистине римская, мы наконец восстановили наш законный авторитет и тем достигли цели всех наших желаний. Мы здесь отправляем правосудие, назначаем проконсулов, создаем императоров; может быть, нам удастся даже ограничить их власть, —

впрочем, умному человеку достаточно и легкого намека». Но в этих блестящих ожиданиях пришлось разочароваться, да и нельзя было ожидать, чтобы армии и провинции долгое время повиновались изнеженной и вовсе не воинственной римской аристократии. Это непрочное здание ее гордости и могущества не имело фундамента и развалилось при самом легком к нему прикосновении. Издыхавший сенат внезапно ожил, на минуту засиял необыкновенным блеском и затем навсегда испустил дух.

Все, что до сих пор совершилось в Риме, было бы не более как театральным представлением, если бы не было одобрено более существенным авторитетом легионов. Предоставив сенаторам вволю предаваться их мечтам о свободе и честолюбии, Тацит отправился во фракийский лагерь и был представлен преторианским префектом собравшимся войскам как тот самый государь, которого они сами просили у сената и которого сенат им даровал. Лишь только префект умолк, император сам обратился к солдатам с речью, которая была красноречива и пристойна. Он удовлетворил их алчность щедрой раздачей денег под видом жалованья и подарков. Он также сумел внушить им уважение своим благородным заявлением, что хотя его преклонные лета не позволяют ему подавать им пример воинской доблести, его советы всегда будут достойны римского военачальника, который заменил храброго Аврелиана.

В то время как покойный император готовился к второй экспедиции на Восток, он вступил в переговоры со скифским народом — аланами, раскинувшими свои палатки неподалеку от Меотийского залива. Эти варвары прельстились обещанием подарков и субсидий и обещали вторгнуться в Персию с многочисленным отрядом легкой кавалерии. Они сдержали слово, но, когда они прибыли к римской границе, Аврелиана уже не было в живых, война с Персией была, по меньшей мере, отложена на неопределенное время, а генералы, пользовавшиеся во время междоусобия весьма непрочным авторитетом, не приготовились ни принять их, как следовало, ни отразить их. Оскорбленные таким образом действий, в котором они видели насмешку и коварство, аланы решили отомстить за эту обиду и добыть оружием ту плату, в которой им отказывали; а так как они двигались с обычной между татарами быстротой, то скоро проникли в провинции Понт, Каппадокию, Киликию и Галатию. Легионы, которые с противоположных берегов Босфора почти могли видеть пламя горевших городов и селений, настоятельно просили своего главнокомандующего, чтобы он повел их против неприятеля. Тацит поступил так, как и следовало при его летах и в его положении. Он доказал варварам как добросовестность, так и могущество империи. Значительная часть аланов удовлетворилась точным исполнением обещаний, данных им Аврелианом, отдала назад добычу и пленных и спокойно удалилась в свои степи по ту сторону Фасиса. А против тех из них, которые отказались от мирного соглашения, император предпринял успешный поход. Имея в своем распоряжении храбрых и опытных ветеранов, он в несколько недель избавил азиатские провинции от ужасов скифского нашествия.

Но слава и жизнь Тацита были недолговечны. Когда ему пришлось переселиться среди зимы из мягкого климата Кампании к подножию Кавказских гор, ему оказались не по силам непривычные для него лишения военной жизни. Физическая усталость усиливалась от душевных тревог. Влечение к гражданским доблестям лишь на короткое время заглушило в солдатах их страсти и себялюбие, которые скоро проявились наружу с удвоенной силой и не только в лагере, но даже и в палатке престарелого императора. Кротость

и приветливость Тацита не возбуждали ничего, кроме презрения, и его постоянно мучили внутренними раздорами, которых он не был в состоянии укротить, и требованиями, которых не было возможности удовлетворить. Он скоро убедился, что напрасно обманывал себя надеждой положить конец общественной неурядице и что своеволие армии нисколько не стеснялось бессильными требованиями закона. Душевные страдания и разочарования ускорили приближение смерти. Неизвестно с достоверностью, омочили ли солдаты свои руки в крови этого ни в чем не виновного государя, но положительно известно, что их наглость была причиной его смерти. Он испустил дух в Тиане, в Каппадокии, после царствования, продолжавшегося всего шесть месяцев и почти двадцать дней.

Лишь только Тацит навеки закрыл глаза, его брат Флориан, не дожидаясь согласия сената, захватил верховную власть, доказывая этой поспешностью, что он не был достоин ее. Уважение к римской конституции было еще достаточно сильно и в армии, и в провинциях, чтобы вызвать неодобрение торопливости Флориана, но оно не было достаточно сильно, чтобы вызвать сопротивление. Общее неудовольствие, вероятно, ограничилось бы бессильным ропотом, если бы командовавший на Востоке храбрый генерал Проб не взялся отомстить за неуважение к сенату. Впрочем, силы двух соперников, по-видимому, были неравны: даже самый способный генерал, находясь во главе изнеженных египетских и сирийских войск, едва ли мог рассчитывать на успех в борьбе с непобедимыми европейскими легионами, стоявшими на стороне Тацитова брата. Но счастье и предприимчивость Проба восторжествовали над всеми препятствиями. Отважные ветераны его противника, привыкшие к холодному климату, заболели и умирали от душной жары в Киликии, где лето было в том году особенно вредно для здоровья. Их число постоянно уменьшалось от частых побегов; горные проходы были слабо защищены; Тарс отворил свои ворота перед Пробом; тогда солдаты Флориана, дозволившие ему пользоваться императорским титулом около трех месяцев, избавили империю от междоусобной войны, охотно пожертвовав таким государем, которого они презирали.

Беспрестанные смены императоров до такой степени искоренили всякую мысль о наследственных правах на престол, что родственники погибшего императора не возбудили в его преемниках ни малейших опасений. Оттого-то детям Тацита и Флориана и было дозволено жить частными людьми и смешаться с общей массой подданных. К тому же их бедность служила добавочной охраной их невинности. Когда Тацит был избран сенатом в императоры, он отдал все свое огромное состояние в государственную казну; по-видимому, это был акт великодушия, но под ним скрывалось намерение передать верховную власть потомству. Единственным утешением для его обедневших родственников служило воспоминание об их мимолетном величии и основанная на каком-то предсказании надежда, что по прошествии тысячи лет взойдет на престол император из рода Тацита, который будет покровителем сената, восстановит могущество Рима и завоюет весь мир.

Иллирийские крестьяне, уже давшие разрушавшейся империи таких императоров, как Клавдий и Аврелиан, приобрели новое право на всемирную известность вследствие возвышения Проба. Лет с лишком за двадцать перед тем император Валериан со своей обычной прозорливостью заметил особые дарования в этом молодом солдате и произвел его в трибуны, несмотря на то, что он еще далеко не достиг того возраста, который требовался для этой должности военными уставами. Трибун скоро оправдал это отличие тем, что

одержал победу над многочисленным отрядом сарматов и спас в этом сражении жизнь одного из близких родственников Валериана; за это он получил из рук императора ожерелье, браслет, копье, знамя, венки, стеной и гражданский, и все те почетные отличия, которыми награждал Древний Рим за удачу и храбрость. Проб получил командование сначала третьим, а потом десятым легионом и при каждом новом повышении доказывал, что он способен занимать еще более высокие должности. Африка и Понт, Рейн, Дунай, Евфрат и Нил поочередно доставляли ему случай выказать самым блестящим образом свое личное мужество и свои воинские дарования. Аврелиан был обязан ему завоеванием Египта и еще более обязан тем, что он с честным бесстрашием нередко сдерживал жестокость своего повелителя. Тацит, желая восполнить недостававшие ему самому военные дарования талантами своих генералов, поручил Пробу главное начальство над всеми восточными провинциями, увеличил его жалованье в пять раз, обещал ему консульство и дал ему право рассчитывать на почести триумфа. Когда Проб вступил на престол, ему было около сорока четырех лет; он пользовался в ту пору заслуженной славой, любовью армии и достигшими полной зрелости умственными и физическими силами.

Благодаря всеми признанным личным достоинствам и благодаря успеху военных действий против Флориана, он не имел ни врагов, ни соперников. Однако, если верить его собственным словам, он вовсе не желал верховной власти и принял ее с самым непритворным отвращением. «Но теперь уже не в моей власти, — говорил Проб в одном частном письме, — отказаться от титула, который навлечет на меня зависть и опасности: я вынужден исполнять ту роль, которую возложили на меня солдаты». Его почтительное послание к сенату было полно таких чувств или, по меньшей мере, таких выражений, какие приличны римскому патриоту: «Отцы-сенаторы! Когда вы выбрали одного из членов вашего сословия в преемники императору Аврелиану, вы поступили согласно с вашей справедливостью и мудростью, так как вы законные повелители мира, и власть, которую вы получили от ваших предков, перейдет к вашему потомству. То было бы большое счастье, если бы Флориан, вместо того чтобы незаконно присвоить себе, точно частное наследство, звание своего брата, дождался вашего верховного решения или в его пользу, или в пользу кого-либо другого. Благоразумные солдаты наказали его за эту опрометчивость. Мне предложили они титул Августа. Но я предоставляю на ваше милостивое усмотрение и мои притязания, и мои заслуги». Когда это почтительное послание было прочитано консулом, сенаторы не были в состоянии скрыть своего удовольствия по поводу того, что Проб снизошел до такой униженной просьбы о скипетре, который уже находился в его руках. Они стали превозносить с самой горячей признательностью его добродетели, военные подвиги и главным образом его скромность. Немедленно был издан без протеста с чьей-либо стороны декрет, который утверждал выбор восточных армий и возлагал на их вождя все различные атрибуты императорского достоинства: имена Цезаря и Августа, титул отца отечества, право делать в один и тот же день три предложения сенату, звание верховного первосвященника, трибунскую власть и проконсульскую власть. Эта форма инвеституры хотя, по-видимому, и увеличивала объем императорской власти, в сущности была выражением конституции древней республики. Царствование Проба соответствовало этому прекрасному началу. Сенаторам было предоставлено заведывание делами гражданского управления. Их верный генерал поддерживал честь римского оружия и нередко клал к их стопам плоды своих многочисленных побед — золотые короны и отнятые у варваров

трофеи. Однако в то время как он льстил их тщеславию, он не мог не чувствовать втайне презрения к их беспечности и бессилию. Хотя они могли, когда только им вздумается, отменить унижительный для них эдикт Галлиена, эти гордые потомки Сципионов спокойно выносили свое исключение из всех военных должностей. Но их сыновья узнали на опыте, что тот, кто отказывается от меча, должен отказаться и от скипетра.

Победы Проба над варварами

Военное могущество Аврелиана повсюду восторжествовало над врагами Рима, но после его смерти их ярость и даже их число как будто увеличились. Они были снова побеждены деятельным и энергичным Пробом, который в свое короткое царствование, продолжавшееся около шести лет, сравнялся славой с древними героями и восстановил спокойствие и порядок во всех римских провинциях. Границы Реции он так хорошо оградил, что покинул их без малейшего опасения новых варварских нашествий. Он рассеял бродячие шайки сарматов и навел на этих варваров такой страх, что они возвратили награбленную добычу. Готская нация искала союза с таким воинственным императором. Он напал на исавров в их горных убежищах, осадил и взял некоторые из их самых сильных укрепленных замков и льстил себя надеждой, что он навсегда уничтожил внутреннего врага, независимость которого была таким глубоким оскорблением для величия империи. Смуты, возбужденные в Верхнем Египте узурпатором Фирмом, еще не были совершенно прекращены, а города Птолемаида и Коптос, опиравшиеся на союз с блеммиейми, все еще были в восстании. Наказание этих городов и помогавших им южных дикарей, как утверждают, встревожило персидское правительство, и великий король тщетно искал дружбы с Пробом. Многие из военных предприятий, ознаменовавших царствование этого императора, были окончены с успехом благодаря его личной храбрости и опытности, так что историк, описавший его жизнь, удивляется, как мог один человек в столь короткое время вести столько войн на таких громадных расстояниях. Некоторые менее важные экспедиции он поручал своим генералам, благоразумный выбор которых составляет немалую долю его славы. Кар, Диоклетиан, Максимиан, Констанций, Галерий, Асклепиодат, Ганнибалиан и множество других генералов, впоследствии или занимавших императорский престол, или служивших ему подпорой, изучали военное ремесло в суровой школе Аврелиана и Проба.

Но самой важной из всех услуг, оказанных Пробом республике, было освобождение Галлии и взятие семидесяти цветущих городов, которые находились во власти германских варваров, безнаказанно опустошавших эту обширную провинцию после смерти Аврелиана. В этой разнохарактерной массе свирепых опустошителей мы можем с некоторой ясностью различить три большие армии или, скорее, три большие нации, которые были одна вслед за другой побеждены храбрым Пробом. Он прогнал франков назад в их болота, из чего мы можем заключить, что конфедерация, известная под благородным названием вольных людей, уже занимала в то время плоскую приморскую страну, пересекаемую и почти затопляемую стоячими водами Рейна и что к этому союзу примкнули некоторые племена фриз и батавов. Он победил бургундов — значительное племя вандалской расы. Они бродили в поисках добычи от берегов Одера до берегов Сены. Они считали себя счастливыми тем, что возвратом награбленного могли купить себе позволение беспрепятственно отступить. Они попытались уклониться от исполнения этой статьи договора, и наказание их было немедленно и ужасно. Но из всех опустошителей Галлии самыми грозными были лигии — народ, владевший обширными землями на границах Польши и Силе-

зии. В лигийской нации арии занимали первое место по своей многочисленности и свирепости. «Арии (как они описаны энергическим слогом Тацита) стараются с помощью разных ухищрений усилить ужас, внушаемый их варварством. У них щиты черного цвета, а их тела также выкрашены в черный цвет. Они выбирают для сражения самый темный час ночи. Когда их войско выступает на бой, оно будто покрыто похоронным покрывалом, и они редко находят такого врага, который способен устоять против такого странного и адского зрелища, так как в битве прежде всего бывают побеждены глаза». Однако оружие и дисциплина римлян без большого труда рассеяли эти страшные призраки. Лигии были разбиты в генеральном сражении, а самый знаменитый из их вождей Семно попал живым в руки Проба. Этот благоразумный император, не желая доводить храбрый народ до отчаяния, согласился на почетные для них условия капитуляции и позволил им безопасно возвратиться на родину. Но потери, понесенные ими во время похода, в битве и во время отступления, до того ослабили их, что имя лигиев уже более не упоминается ни в истории Германии, ни в истории Римской империи. Рассказывают, что освобождение Галлии стоило жизни четыремстам тысячам варваров; если это правда, то римлянам пришлось много поработать, а императору пришлось издержать много денег, потому что он платил по золотой монете за каждую голову варвара. Но так как слава полководцев основана на истреблении человеческого рода, то весьма естественно, что в нас зарождается подозрение, не была ли эта цифра преувеличена жадностью солдат, и не была ли она принята без строгой проверки щедрым и тщеславным Пробом.

Со времени экспедиции Максимиана римские генералы ограничивали свое честолюбие оборонительной войной против германских народов, постоянно придвигавшихся к границам империи. Более смелый Проб, пользуясь одержанными в Галлии победами, перешел через Рейн и водрузил свои победоносные орлы на берегах Эльбы и Неккара. Он был вполне убежден, что варвары не будут расположены жить в мире с римлянами до тех пор, пока не испытают бедствий войны на своей собственной стране. Германия, истощившая свои силы вследствие неудачного исхода последнего нашествия, была поражена его появлением. Девять самых значительных германских князей явились в его лагерь и пали к его стопам. Они смиренно приняли все мирные условия, каких пожелал победитель. Он потребовал аккуратного возвращения всей добычи и всех пленников, забранных ими в провинциях, и заставил их собственных судей подвергать наказанию непокорных грабителей, пытавшихся удержать в своих руках какую бы то ни было часть добычи. Значительных размеров дань, состоявшая из зернового хлеба, рогатого скота и лошадей, — единственного богатства, которым обладали варвары, — была назначена на содержание гарнизонов, которые были поставлены Пробом на границах их территории. Он даже питал надежду, что заставит германцев отказаться от употребления оружия, предоставить свои споры рассмотрению римских судов и вверить охрану своей безопасности могуществу Рима. Но для достижения этих благородных целей было, безусловно, необходимо постоянное присутствие императорского наместника, опирающегося на многочисленную армию. Поэтому Проб считал за лучшее отложить до другого времени исполнение такого широкого плана, который в сущности едва ли мог принести большую пользу. Если бы Германия была доведена до положения римской провинции, римляне достигли бы ценой огромных усилий и расходов только того, что им пришлось бы защищать более обширные границы против более свирепых и более предприимчивых скифских варваров.

Вместо того чтобы низводить воинственные германские народы до положения римских подданных, Проб удовольствовался более скромной мерой — он воздвигнул оплот против их вторжений. Страна, образующая в настоящее время Швабский округ, оставалась во времена Августа незаселенной вследствие того, что ее прежние жители перекочевали в другое место. Плодородие почвы скоро привлекло туда новых поселенцев из соседних галльских провинций. Толпы авантюристов, привыкших к бродячей жизни и не имевших никаких средств существования, заняли эту местность, не составлявшую ничьей бесспорной собственности, и стали уплачивать Риму десятую часть своих доходов, признавая этим свою зависимость от империи. Чтобы охранять этих новых подданных, римляне поставили целый ряд пограничных гарнизонов, растянувшийся от Рейна до Дуная. Этот способ защиты стал входить в употребление около времени царствования Адриана; тогда для прикрытия гарнизонов и для облегчения их взаимных сношений были устроены крепкие окопы из деревьев и палисад. Взамен таких грубых укреплений император Проб построил довольно высокую каменную стену и придавал ей еще большую прочность тем, что устроил на ней башни, расположенные на самом удобном одна от другой расстоянии. От окрестностей Нюштадта и Ратисбонна на Дунае она шла через холмы, равнины, реки и болота до Вимпфена на Неккаре и наконец была доведена до берегов Рейна; ее извилистая линия имела в длину около двухсот миль. Эта сильная оборонительная линия, соединявшая между собой две огромные реки, которые считались оплотом европейских провинций, по-видимому, заграждала то пустое пространство, через которое варвары, и в особенности алеманны, могли всего легче проникать в самое сердце империи. Но опыт всех стран, начиная с Китая и кончая Британией, доказал, как тщетны все попытки укрепить границы страны на очень длинном протяжении. Деятельный неприятель, имеющий возможность выбирать и изменять по своему усмотрению пункты нападения, в конце концов непременно отыщет какое-нибудь слабое место или уловит момент оплошности. Ни силы, ни внимание защитников не могут быть сосредоточены на одном пункте, а бессознательное чувство страха так сильно действует даже на самые мужественные войска, что они почти немедленно покидают оборонительную линию, которую удалось неприятелю прорвать только в одном пункте. Судьба, которая постигла выстроенную Пробом стену, может служить подтверждением этого общего правила. Через несколько лет после его смерти она была разрушена алеманнами. Ее разбросанные развалины, обыкновенно приписываемые какой-то дьявольской силе, лишь возбуждают в наше время удивление швабских поселян.

Поселения варваров внутри империи

В числе мирных условий, наложенных Пробом на побежденных германцев, было также обязательство поставить для римской армии шестнадцать тысяч рекрутов, выбранных между самой храброй и самой сильной германской молодежью. Император рассылал этих рекрутов по всем провинциям и, разделив их на большие группы в пятьдесят или шестьдесят человек, распределял эти опасные подкрепления между римскими войсками, руководствуясь тем благоразумным правилом, что помощь, которую государство получает от варваров, должна быть ощутима, но не должна бросаться в глаза. А эта помощь была в ту пору очень нужна. Слабое, изнеженное от роскоши население Италии и внутренних провинций уже не было в состоянии выносить тяжести военной службы. Прирейнские и придунайские пограничные провинции еще доставляли бодрых духом и телом людей, которые были годны для военного ремесла,

но число их постоянно уменьшалось от непрерывных войн. Браки стали редки, земледелие пришло в совершенный упадок, а отсутствие этих главных условий размножения не только ослабляло тогдашнее население, но и не позволяло рассчитывать на силы будущих поколений. Благоразумие Проба внушило ему широкий и благотворный план оживления истощенных пограничных провинций: он стал заводить там колонии из пленных или беглых варваров, которым раздавал земли, рогатый скот, земледельческие орудия и которых он всячески поощрял на то, чтобы они разводили расу воинов, готовых служить республике. В Британию и, как кажется весьма вероятным, в Камбриджешир он переселил значительный отряд вандалов. Невозможность бежать оттуда заставила их примириться со своим положением, и во время смут, впоследствии возникших на этом острове, они оказались самыми верными слугами римского государства. Множество франков и гепидов было поселено на берегах Дуная и Рейна. Сто тысяч бастарнов, изгнанных из своего отечества, охотно поселились на предложенных им во Фракии землях и скоро усвоили себе нравы и чувства римских подданных. Но ожидания Проба слишком часто оказывались обманчивыми. Неусидчивые и склонные к праздности варвары не были годны для земледельческих работ. Их непреодолимая любовь к свободе не могла ужиться с деспотизмом и толкала их на необдуманные восстания, которые были пагубны как для них самих, так и для населенных ими провинций, так что, несмотря на усилия многих следовавших за Пробом императоров, эта искусственная помощь не возвратила пограничным галльским и иллирийским провинциям их прежней природной силы.

Из всех варваров, покидавших свои новые поселения и нарушавших общественное спокойствие, лишь очень немногие возвращались на свою родину. В течение некоторого времени они бродили по империи с оружием в руках, но в конце концов они неизбежно гибли от руки воинственного императора. Только одна смелая попытка франков имела такие достопамятные последствия, что мы не можем обойти ее молчанием. Они были поселены Пробом на побережье Понта для того, чтобы охранять эту пограничную провинцию от нашествий аланов. Флот, стоявший в одной из гаваней Эвксинского Понта, попал в их руки, и они решились пуститься в незнакомые им моря с целью пробраться от устьев Фасиса к устьям Рейна. Они без затруднений переплыли Босфор и Геллеспонт и, продолжая свое плавание по Средиземному морю, удовлетворяли свою жажду мщения и грабежа частыми высадками на берега Азии, Греции и Африки. Богатый город Сиракузы, в гавани которого когда-то были потоплены флоты Афин и Карфагена, был разграблен кучкой варваров, перебивших большую часть испуганного населения. От острова Сицилия франки направились к Геркулесовым столбам, не побоялись выйти в открытый океан, обогнули берега Испании и Галлии и, пройдя Британский канал, наконец достигли цели своего удивительного странствования, высадившись на берегах, населенных батавами и фризами. Их пример, раскрывший в глазах их соотечественников выгоды морских поездок и убедивший их в ничтожности сопряженных с этими поездками опасностей, указал этим предприимчивым народам новый путь к богатству и славе.

Несмотря на бдительность и деятельность Проба, он не был в состоянии удерживать в повиновении в одно и то же время все части своих обширных владений. Чтобы разорвать свои цепи, варвары воспользовались удобным случаем, который им представляла междоусобная война. Перед тем как выступить на защиту Галлии, император поручил Сатурнину главное начальство над восточными армиями. Этот способный и опытный ге-

нерал был вовлечен в восстание отсутствием своего государя, легкомыслием александрийского населения, настоятельными увещаниями своих друзей и своими личными опасениями; но с той минуты, как он был провозглашен императором, он потерял всякую надежду на сохранение не только императорского достоинства, но даже жизни. «Увы! — воскликнул он. — Республика лишилась полезного слуги, и опрометчивость одной минуты уничтожила многолетние заслуги. Вы не знаете, как жалок тот, в чьих руках находится верховная власть; над нашей головой постоянно висит меч. Мы боимся даже наших телохранителей, мы не можем положиться даже на самых близких к нам людей. Мы не можем ни действовать, ни отдыхать, когда этого хотим; и нет ни такого возраста, ни такого характера, ни такого поведения, которые могли бы предохранить нас от порицаний, внушаемых завистью. Возводя меня на престол, вы обрекли меня на тревожную жизнь и на преждевременную смерть. В утешение мне остается только одна уверенность, что я не погибну в одиночестве». Первую часть его предсказания оправдало его поражение, но вторая часть не сбылась благодаря милосердию Проба. Этот добрый монарх даже пытался защитить несчастного Сатурнина от ярости солдат. Он не раз убеждал узурпатора отнестись с доверием к великодушию государя, который так высоко ценил его дарования, что подвергнул наказанию доносчика, который прежде всех сообщил ему неправдоподобное известие об его измене. Может быть, Сатурнин и принял бы это великодушное предложение, если бы его не удержало упорное недоверие его приверженцев. Они были более виновны, чем их опытный вождь, и более его были уверены в успехе восстания. Лишь только было подавлено восстание Сатурнина на востоке, новые смуты возникли на Западе вследствие восстаний Боноза и Прокула в Галлии. Главные отличительные достоинства этих двух генералов заключались в том, что первый из них прославился своими подвигами на службе у Бахуса, а второй — на службе у Венеры; впрочем, у них обоих не было недостатка ни в храбрости, ни в дарованиях, оба они с честью поддерживали достоинство того сана, который приняли на себя из страха наказания, и оба пали перед военным гением Проба. Император воспользовался победой со своей обычной сдержанностью и пощадил жизнь и состояние невинных родственников этих двух бунтовщиков.

Триумф императора Проба. 281 г.

Воинские дарования Проба наконец уничтожили всех внешних и внутренних врагов государства. Его кроткое, но твердое управление содействовало восстановлению общественного спокойствия, и в провинциях уже не осталось ни одного тирана и даже ни одного грабителя, которые могли бы напоминать о прежней неурядице. Тогда настало для императора время возвратиться в Рим и отпраздновать свои собственные подвиги и общее благополучие. Триумф, приличный заслугам Проба, был устроен с таким великолепием, какое соответствовало его блестящим успехам, и народ, еще так недавно восхищавшийся трофеями Аврелиана, с меньшим удовольствием глазел на трофеи его героического преемника. Мы не можем не упомянуть по этому случаю об отчаянной храбрости почти восьмидесяти гладиаторов, которые вместе с шестьюстами другими гладиаторами были назначены для бесчеловечных забав амфитеатра. Не желая проливать свою кровь для забавы черни, они перебили своих сторожей, вырвались из места своего заключения и наполнили римские улицы сценами убийства и мятежа. После упорного сопротивления они были истреблены

регулярными войсками, но, по крайней мере, они умерли с честью, удовлетворив справедливую жажду мщения.

Военная дисциплина, господствовавшая в лагерях Проба, была менее жестока, чем при Аврелиане, но она была так же сурова и взыскательна. Последний из этих двух императоров наказывал дурное поведение солдат с немилосердной строгостью, а первый из них старался предотвратить такое поведение, употребляя легионы на постоянные и полезные работы. Когда Проб командовал в Египте, он соорудил немало больших зданий для украшения и для пользы этой богатой страны. Для плавания по Нилу, которое имело большую важность для самого Рима, было сделано немало улучшений; храмы, мосты, портики и дворцы были построены руками солдат, которые исполняли обязанности то архитекторов, то инженеров, то земледельцев. Рассказывают, будто Ганнибал, желая предохранить свои войска от пагубных последствий праздности, заставлял их заводить большие плантации оливковых деревьев вдоль берегов Африки. Руководствуясь тем же самым принципом, Проб занимал свои войска разведением виноградников на холмистых местностях Галлии и Паннонии, и нам рассказывают о двух значительных пространствах земли, которые были возделаны солдатами и засажены деревьями. Одно из этих мест, известное под именем горы Альмо, находилось подле Сирмия — местности, которая была родиной Проба, к которой он всегда сохранял особенную любовь и признательность которой он постарался приобрести тем, что превратил значительное пространство нездоровой болотистой почвы в пахотную землю. Армия, так хорошо употреблявшая свое свободное время, составляла едва ли не самую полезную и самую лучшую часть римских подданных. Но даже самые достойные люди при исполнении любимой задачи иногда до того бывают ослеплены честностью собственных намерений, что выходят из границ умеренности; и сам Проб не принял достаточно во внимание выносливости и характера гордых легионных солдат. Опасности военной профессии, как кажется, вознаграждаются лишь приятной и праздной жизнью; но если к обязанностям солдата постоянно будут прибавлять труды, свойственные земледельцам, то он, наконец, или падет под тяжестью такого бремени, или с негодованием сбросит его с себя. Неосторожность Проба, как рассказывают, воспламенила в его войсках чувства неудовольствия. Помышляя более об интересах человеческого рода, чем об интересах армии, он выразил напрасную надежду, что водворение всеобщего мира скоро избавит его от необходимости содержать постоянную армию из наемников. Эти неосторожные слова сделались причиной его гибели. В один из самых жарких летних дней он с особенной строгостью понуждал солдат, работавших над осушением вредных для здоровья болот Сирмия; изнемогавшие от усталости солдаты внезапно бросали свои рабочие инструменты, взяли за оружие и подняли страшный бунт. Сознывая угрожавшую ему опасность, император укрылся в высокой башне, выстроенной для надзора за ходом работ. Солдаты тотчас ворвались в башню, и тысяча мечей пронзили грудь несчастного Проба. Ярость солдат утихла, лишь только она была удовлетворена; тогда они стали сожалеть о своей пагубной торопливости, позабыли о строгости императора, которого они убили, и поспешили увековечить воспоминание о его добродетелях и победах, воздвигнув ему приличный памятник.

Избрание Кара

Когда легионы удовлетворили и чувство мести, и чувство раскаяния, они единогласно признали, что преторианский префект Кар всех более достоин императорского престола. Все подробности касательно этого государя представ-

ляются неясными и сомнительными. Он гордился званием римского гражданина и сравнивал чистоту своей крови с чужестранным и даже варварским происхождением предшествовавших императоров; однако те из его современников, которые делали по этому поводу самые тщательные розыски, нисколько не одобряют его притязаний и расходятся во мнениях на счет того, был ли он родом из Иллирии, из Галлии или из Африки. Хотя по своей профессии он был солдат, он был очень хорошо образован; хотя он был сенатор, он был облечен в высшее военное звание, и в таком веке, когда профессии гражданскую и военную стали резко отделять одну от другой, Кар соединял их вместе в своем лице. Несмотря на то что он подвергнул строгому наказанию убийц Проба, милостям и уважению которого он был обязан своим возвышением, он не мог избежать подозрения в содействии преступлению, открывшему для него путь к престолу. По крайней мере, до своего провозглашения императором он считался человеком добродетельным и способным; но суровость его характера постепенно перешла в угрюмость и жестокосердие, так что посредственные историки, занимавшиеся его жизнеописанием, недоумевают, не следует ли отнести его к числу римских тиранов. Когда Кар облекся в императорскую мантию, ему было около шестидесяти лет, а двое его сыновей, Карин и Нумериан, уже достигли зрелого возраста.

Влияние сената прекратилось вместе с жизнью Проба, а раскаяние солдат не выразилось в том почтительном преклонении перед гражданской властью, какое мы видели после смерти несчастного Аврелиана. Избрание Кара было решено, не дожидаясь одобрения сената, и новый император ограничился тем, что в холодном официальном письме уведомил это собрание о своем восшествии на вакантный престол. Поведение, столь противоположное любезной вежливости его предшественника, не позволяло ожидать чего-либо хорошего от нового царствования, и лишенные влияния и свободы римляне заявили мятежным ропотом о своих нарушенных правах. Однако лесть не осталась безмолвной, и до нас дошла эклога, написанная по случаю восшествия Кара на престол; несмотря на то что ее содержание возбуждает к ней презрение, ее все-таки можно прочесть с удовольствием. Два пастуха, желая укрыться от полуденного зноя, зашли в пещеру Фавна. На широко раскинувшем свои ветви букovém дереве они видят недавно написанные слова. Деревенское божество описало в пророческих стихах благополучие, ожидающее империю в царствование столь великого государя. Фавн приветствует героя, который, приняв на свои плечи тяжесть распадающегося римского мира, должен положить конец войнам и внутренним раздорам и восстановить нравственную чистоту и счастье золотого века.

Поход на Восток

Более чем вероятно, что такие изящные безделушки никогда не доходили до слуха заслуженного генерала, который готовился с согласия легионов к исполнению долга, отлагавшегося в сторону плана войны с Персией. Перед своим отъездом в эту далекую экспедицию Кар возвел в звание Цезарей обоих своих сыновей, Карина и Нумериана; первому из них он дал власть, почти равную со своей собственной, и поручил ему сначала подавить некоторые волнения, возникшие в Галлии, а потом поселиться на постоянное жительство в Риме и вступить в управление западными провинциями. Безопасность Иллирии была обеспечена достопамятной победой над сарматами; шестнадцать тысяч этих варваров легли на поле битвы, а число пленных доходило до двадцати тысяч. Престарелый император, воодушевленный славой и надеждой новой победы,

продолжал среди зимы свое наступательное движение через Фракию и Малую Азию и наконец вместе со своим младшим сыном Нумерианом достиг границ персидской монархии. Расположившись лагерем на вершине высокого холма, он указал оттуда своим войскам на богатую, погруженную в роскошь страну, которая должна сделаться их добычей.

Преемник Артаксеркса Варан (или Барам), хотя и одержал победу над одним из самых воинственных народов Верхней Азии сегестанами, однако был встревожен приближением римлян и попытался остановить их дальнейшее движение мирными переговорами. Его послы прибыли в римский лагерь при солнечном закате в то время, когда войска удовлетворяли свой голод умеренным ужином. Они изъявили желание быть представленными римскому императору. Их подвели к одному солдату, который сидел на траве. Кусок несвежего мяса и сухой горох составляли его ужин. Сшитая из грубой шерстяной материи пурпуровая мантия была единственным признаком его высокого звания. Сопровождение велось с таким же пренебрежением к внешней обстановке. Кар снял с головы шапку, которую он носил для прикрытия своей плешивой головы, и объявил послам, что если верховенство Рима не будет признано их повелителем, на персидской территории в самом непродолжительном времени не останется ни одного дерева точно так, как на его голове не осталось ни одного волоса. Несмотря на то что в этой сцене можно усмотреть некоторые признаки искусственной подготовки, она все-таки знакомит нас с привычками Кара и со строгой простотой, которую успели ввести в римских лагерях воинственные императоры, занимавшие престол после Галлиена. Послы великого короля пришли в ужас и удалились.

Победы Кара и его внезапная смерть. 282 г.

Угрозы Кара не остались тщетными. Он опустошил Месопотамию, преодолел все преграды, какие встречались на пути, овладел важными городами Селевкией и Ктезифоном (который, как кажется, сдался без сопротивления) и проник в своем победоносном шествии по ту сторону Тигра. Он выбрал для нашествия очень благоприятную минуту. Персидское правительство было раздираемо внутренними распрями, и большая часть персидских войск была задержана у пределов Индии. Рим и восточные провинции с восторгом узнали о таких важных успехах. Лесть и надежда уже изображали самыми яркими красками падение Персии, завоевание Аравии, покорение Египта и прочную безопасность от вторжений скифских народов. Но царствованию Кара было суждено доказать неосновательность этих предсказаний. Лишь только они были сделаны, их опровергла смерть самого Кара. Сведения об этом происшествии очень сбивчивы, поэтому мы и ограничимся тем, что рассказывает о нем собственный секретарь императора в письме к городскому префекту: «Наш дражайший император Кар лежал по болезни в постели, когда над лагерем разразилась страшная гроза. Небо покрылось таким густым мраком, что мы не могли узнавать друг друга, а беспрестанный блеск молнии лишил нас способности видеть все, что происходило среди общего беспорядка. Немедленно вслед за чрезвычайным сильным ударом грома мы внезапно услышали крик, что император умер! Затем мы узнали, что его придворные, придя в иступление от скорби, зажгли императорскую палатку, отчего и возник слух, будто Кар убит молнией. Но, насколько мы были в состоянии доискаться истины, его смерть была натуральным следствием его болезни».

Хотя престол и оказался вакантным, беспорядков никаких не произошло. Честолюбие тех генералов, которые втайне мечтали о верховной власти, сдер-

живалось естественно возникавшими в их уме опасениями, и юный Нумериан вместе с его отсутствующим братом Каринном были единогласно признаны римскими императорами. Все ожидали, что преемник Кара пойдет по стопам своего отца и, не давая персам времени оправиться от наведенного на них страха, дойдет с мечом в руке до дворцов Сузы и Экбатаны. Но как ни были сильны легионы и своим числом, и своей дисциплиной, они впали в уныние от самого низкого суеверного страха. Несмотря на все старания скрыть причину смерти последнего императора, оказалось, что нет возможности изменить мнение, которое составил себе о ней народ; а сила мнений непреодолима. На то место и на того человека, которые были поражены молнией, древние народы смотрели с благочестивым ужасом и считали их жертвой божеского гнева. Вспоминали также об одном оракуле, указавшем на Тигр как на предназначенный самой судьбой предел римских завоеваний. Войска, напуганные смертью Кара и ожидавшими их самих опасностями, стали настоятельно требовать от юного Нумериана, чтобы он подчинился воле богов и увел их с этого зловещего театра войны. Слабохарактерный император не был в состоянии осилить их закоренелого предубеждения, и персы были весьма поражены, узнав о неожиданном отступлении победоносного врага.

Весть о таинственной смерти императора быстро долетела от границ Персии до Рима, и как сенат, так и провинции одобрили возведение сыновей Кара на престол. Впрочем, этим счастливым юношам было совершенно чуждо то сознание превосходства рождения или заслуг, которое одно только и делает обладание верховной властью легким и, так сказать, натуральным. Они оба родились и воспитывались частными людьми и внезапно возвысились до ступеней трона благодаря избранию их отца в императоры, а случившаяся почти через шестнадцать месяцев после того смерть Кара неожиданно дала им в наследство обширную империю. Чтобы воспользоваться с умеренностью столь быстрым возвышением, нужно было иметь недюжинные личные достоинства и благоразумие, но их-то именно и недоставало старшему из двух братьев — Карину. Во время галльской войны он выказал в некоторой мере личную храбрость, но с первой минуты своего прибытия в Рим он предался столичным удовольствиям и стал злоупотреблять дарами фортуны. Он был слаб характером, но вместе с тем жесток; он любил развлечения, но вовсе не имел вкуса, и хотя был очень чувствителен ко всему, что затрагивало его тщеславие, не придавал никакой цены общественному о нем мнению. В течение нескольких месяцев он девять раз вступал в брак и девять раз разводился, почти каждый раз оставляя своих жен беременными, и, несмотря на столько законных брачных уз, находил еще время для удовлетворения множества других страстей, покрывая позором и самого себя, и самые знатные римские семьи. В нем возникла непримиримая ненависть ко всякому, кто напоминал о его скромном прошлом или осуждал его теперешнее поведение. Он отсылал в изгнание или наказывал смертью друзей и советников, которым поручил его отец руководить его неопытной юностью, и преследовал с самой низкой злобой школьных друзей и товарищей, не оказавших надлежащего уважения к будущему императору. С сенаторами Карин обращался гордо и повелительно и нередко говорил им о своем намерении раздать их имена римской черни. Среди самых подонков этой черни он выбирал своих фаворитов и даже своих министров. Не только во дворце, но даже за императорским столом можно было видеть певцов, танцовщиков, публичных женщин и представителей всякого рода пороков и дурачеств. Одному из своих привратников он поручил управление городом.

На место преторианского префекта, которого он казнил, Карин назначил одного из тех людей, которые помогали ему в его распутных наслаждениях. Другой из таких людей, имевший еще более позорные права на его признательность, был возведен им в консульское звание. Один из его личных секретарей, умевший с необыкновенной ловкостью подделываться под чужой почерк, избавил ленивого императора, конечно, с его собственного согласия от скучной необходимости подписывать свое имя.

Когда император Кар решил предпринять войну с Персией, он частью из отцовской привязанности, частью из политических расчетов обеспечил положение своего семейства тем, что оставил в руках своего старшего сына и западные армии, и западные провинции. Полученные им вскоре вслед за тем сведения о поведении Карина возбудили в нем стыд и скорбь; он не скрывал своего намерения успокоить республику строгим актом справедливости и взамен недостойного сына усыновить храброго и добродетельного Констанция, который был в то время губернатором Далмации. Но возвышение Констанция было отложено на некоторое время, и лишь только смерть отца освободила Карина от всяких стеснений, какие налагало на него чувство страха или приличия; римлянам пришлось выносить тиранию императора, соединявшего с сумасбродством Гелиогабала жестокосердие Домициана.

Единственная заслуга этого монарха, которая стоит того, чтобы быть занесенной на страницы истории или быть воспетой поэтами, заключалась в необыкновенном блеске, с которым он устроил, — от своего имени и от имени брата, — римские игры в театре, цирке и амфитеатре. Более чем через двадцать лет после того, когда царедворцы Диоклетиана указывали своему бережливому монарху на славу и популярность его расточительного предшественника, он соглашался с тем, что царствование Карина было поистине веселым царствованием. Но эта тщеславная расточительность могла внушать лишь отвращение благоразумному Диоклетиану, а в римском народе она возбуждала удивление и восторг. Старики, еще не забывшие публичных зрелищ старого времени, — триумфальных въездов Проба и Аврелиана и Столетних игр императора Филиппа, — признавали, что Карин превзошел их всех своим великолепием.

Римские зрелища

Чтобы составить себе ясное понятие о зрелищах, которые были устроены Карином, мы должны познакомиться с дошедшими до нас подробностями о тех зрелищах, которые устраивались при его предшественниках. Если мы ограничимся одними травлями диких зверей, то, как бы нам ни казались достойными порицания и основная мысль такой забавы, и жестокосердие тех, кто приводил ее в исполнение, мы все-таки должны будем сознаться, что ни прежде, ни после римлян не было потрачено столько искусства и столько денег для увеселений народа. По приказанию Проба множество деревьев были вырваны с корнем и пересажены в середину цирка. Этот обширный и тенистый лес был немедленно наполнен тысячами страусов, тысячей ланей, тысячей оленей, тысячей кабанов, и вся эта разнообразная дичь была отдана на произвол бушующей народной толпе. Трагедия следующего дня заключалась в избиении ста львов, такого же числа львиц, двухсот леопардов и трехсот медведей. Коллекция, которая была заготовлена младшим Гордианом для своего триумфа и которая фигурировала в Столетних играх, устроенных его преемником, была замечательна не столько числом животных, сколько их оригинальностью. Двадцать зебр поражали взоры римского народа изящными формами своего тела и красотой своей кожи. Десять лосей и столько же жи-

рафов — самых высоких и самых безобидных животных между всеми, какие бродят по степям Сарматии и Эфиопии, — представляли резкий контраст с тридцатью африканскими гиенами и десятью индийскими тиграми, принадлежащими к числу самых свирепых обитателей жаркого пояса. Безвредной физической силе, которой природа наделила самых больших четвероногих, публика удивлялась, глядя на носорога, на нильского гиппопотама и на величественную группу из тридцати двух слонов. В то время как чернь глазела с глупым изумлением на эту великолепную выставку, для натуралиста, конечно, представлялся удобный случай изучать внешний вид и особенности стольких различных пород, доставленных в римский амфитеатр со всех концов Древнего мира. Но случайная польза, которую наука могла извлекать из безрассудства, конечно, не могла служить достаточным оправданием для такой неразумной траты государственных доходов. Впрочем, во время первой Пунической войны был один случай, когда сенат сумел согласовать народную забаву такого рода с интересами государства. Слоны, захваченные римлянами в значительном числе при поражении карфагенской армии, были приведены в цирк несколькими рабами, которые не имели в руках никакого другого оружия, кроме тупых дротиков. Это зрелище принесло ту пользу, что внушило римским солдатам справедливое презрение к этим неуклюжим животным и они перестали их бояться, когда видели их в рядах неприятельской армии.

Травля или выставка диких зверей устраивались с великолепием, приличным для такого народа, который сам себя называл властителем мира; здание, приспособленное для этих забав, также соответствовало величии Рима. Потомство до сих пор удивляется и еще долго будет удивляться громадным развалинам амфитеатра, который был построен Титом и к которому так хорошо подходил эпитет «колоссальный». Это здание имело эллиптическую форму; в длину оно имело пятьсот шестьдесят четыре фута, а в ширину — четыреста шестьдесят семь; оно поддерживалось восьмьюдесятью арками и возвышалось четырьмя этажами до высоты ста сорока футов. Внешняя сторона здания была обложена мрамором и украшена статуями; вдоль внутренней стороны стен были расставлены шестьдесят или восемьдесят рядов стульев, сделанных из мрамора и покрытых подушками; на них могли удобно уместиться более восьмидесяти тысяч зрителей. Шестьдесят четыре vomitoria (этим именем очень удачно обозначались двери) служили выходом для громадной толпы народа, а входы, проходы и лестницы были устроены так искусно, что каждый посетитель, — все равно, будь это сенатор, всадник или плебей, — направлялся к своему месту без всякой помехи или замешательства. Не было оставлено без внимания ничто из того, что могло бы доставлять зрителям удобства или удовольствие. От солнечных лучей и от дождя их охранял огромный навес, который развешивался над их головами в случае надобности. Воздух постоянно освежался фонтанами и был наполнен благоуханием ароматов. Находившаяся в центре здания арена или сцена была усыпана самым мелким песком и по мере надобности могла принимать самые разнообразные формы. Она то поднималась из земли, как сад Гесперид, то изображала утесы и пещеры Фракии. Проведенные под землей трубы служили неистощимыми запасами воды, и местность, только что имевшая внешний вид гладкой поверхности, могла внезапно превращаться в обширное водное пространство, покрытое вооруженными судами и наполненное множеством морских чудовищ. В украшениях сцены римские императоры выказывали свое богатство и свою щедрость, и нам нередко случается читать, что все ук-

рашения амфитеатра были сделаны из серебра, или из золота, или из янтаря. Поэт, который описал устроенные Карином зрелища, назвавшись пастухом, привлеченным в столицу слухом об их великолепии, утверждает, что сети для защиты от диких зверей были из золотой проволоки, что портики были позолочены и что перегородки, отделявшие ряды зрителей один от другого, были украшены дорогими мозаиками из самых красивых камней.

Среди этой блестящей роскоши уверенный в своей фортуне император Карин наслаждался восторженными возгласами народа, лестью своих царедворцев и песнями поэтов, которые за недостатком других, более существенных достоинств должны были ограничиваться тем, что прославляли божественные прелести его особы. В это же самое время, но только на расстоянии девятисот миль от Рима его брат испустил дух, и это внезапное событие передало в руки чужестранца скипетр, принадлежавший семейству Кара.

Сыновья Кара ни разу не виделись после смерти своего отца. Их новое положение требовало взаимного соглашения, которое, вероятно, было отложено до возвращения младшего брата в Рим, где обоих императоров ожидали почести триумфа в награду за блестящий успех в персидской войне. Неизвестно, намеревались ли они разделить между собой управление провинциями, но едва ли можно поверить, чтобы согласие между ними могло быть продолжительным и прочным. Противоположность их характеров неминуемо возбудила бы между ними соперничество из-за власти. Карин был недостоин жизни даже в самые развращенные эпохи, а Нумериан был бы достоин престола даже в самые лучшие времена. Его приветливое обращение и симпатичные личные качества доставили ему общее уважение и привязанность; он был одарен поэтическими и ораторскими способностями, которые возвышают и украшают людей, как самых незнатных, так и самых высокопоставленных. Его красноречие хотя и вызывало одобрение сената, было не столько по образцу Цицерона, сколько по образцу новейших декламаторов; однако в таком веке, когда поэтические дарования не были редкостью, он состязался из-за премии с самыми знаменитыми из своих соотечественников и все-таки оставался другом своих соперников, — а это обстоятельство служит доказательством или доброты его сердца, или превосходства его ума. Но дарования Нумериана располагали его скорей к созерцательной, нежели к деятельной жизни. Когда возвышение его отца заставило его отказаться от уединенной жизни частного человека, тогда стало ясно, что ни по своему характеру, ни по своим познаниям он не годился для командования армиями. Его слабое сложение пострадало от лишений, испытанных во время персидской войны, а от чрезмерной жары у него так разболелись глаза, что во время продолжительного отступления он был принужден укрываться от дневного света или внутри своей палатки, или внутри закрытых носилок. Заведывание всеми делами, как гражданскими, так и военными, было возложено на преторианского префекта Аррия Апера, который при своей важной должности пользовался еще особым почетом в качестве Нумерианова тестя. Он поручил самым верным из своих приверженцев охрану императорской палатки и в течение многих дней передавал армии мнимые приказания ее невидимого государя.

Римская армия, возвращавшаяся медленными переходами от берегов Тигра, достигла берегов Фракийского Босфора не прежде, как через восемь месяцев после смерти Кара. Легионы остановились в Халкедоне, на азиатской территории, а двор переехал в Гераклею, на европейский берег Пропонтиды. Но в лагере скоро распространился слух, что император умер и что его самонадеянный и честолюбивый министр пользовался верховной властью от имени

государя, которого уже не было в живых. От тайных перешептываний дело дошло до громких выражений недовольства, и солдаты, наконец, уже не были в состоянии долее оставаться в недоумении. Из желания удовлетворить свое любопытство они ворвались в императорскую палатку и нашли там лишь труп Нумериана. Постепенный упадок его физических сил мог бы заставить их поверить, что его смерть была естественная; но старание скрыть эту смерть считалось за доказательство преступления, а принятые Апером меры с целью обеспечить свое избрание в императоры сделались непосредственным поводом к его гибели. Однако даже среди своих порывов ярости и гнева войска не уклонились от регулярного образа действий, что доказывает, как тверда была дисциплина, восстановленная воинственным преемником Галлиена.

Избрание императора Диоклетиана. 284 г.

В Халкедоне была собрана вся армия для совещания, и Апер был приведен в цепях как преступник. Посреди лагеря был воздвигнут трибунал и был составлен военный совет из генералов и трибунов. Они вскоре объявили армии, что их выбор пал на начальника телохранителей Диоклетиана, как на такого человека, который более всех способен отомстить за возлюбленного императора и быть его преемником. Судьба этого кандидата зависела столько же от всяких случайностей, сколько и от его собственного поведения. Сознавая, что должность, которую он занимал, могла навлечь на него подозрения, Диоклетиан взошел на трибунал и, обратив свои глаза к солнцу, торжественно поклялся в своей невинности перед лицом этого всевидящего божества. Затем, принимая тон монарха и судьи, он приказал привести Апера в цепях к подножию трибунала. «Этот человек, — сказал он, — убийца Нумериана». И не давая Аперу времени что-либо сказать в свое оправдание, вынул свой меч и вонзил его в грудь несчастного префекта. Обвинение, подкрепленное таким решительным доказательством, было принято без возражений, и легионы признали многократными возгласами и справедливость, и власть императора Диоклетиана.

Прежде чем приступить к описанию достопамятного царствования этого государя, мы должны покончить с недостойным братом Нумериана. Карин имел в своем распоряжении такие военные силы и такие сокровища, которых было вполне достаточно для поддержания его законного права на престол, но его личные пороки уничтожали все выгоды его рождения и положения. Самые преданные слуги отца презирали неспособность сына и опасались его жестокосердного высокомерия. Сердца народа были расположены в пользу его соперника, и даже сенат был готов предпочесть узурпатора тирану. Хитрости, к которым прибегал Диоклетиан, разжигали общее чувство недовольства, и зима прошла в тайных интригах и в явных приготовлениях к междоусобной войне. Весной военные силы Востока и Запада встретились на равнинах небольшого города Мезии Марга неподалеку от Дуная. Войска, еще так недавно возвратившиеся из персидского похода, покрыли себя славой в ущерб своему здоровью и своим численным силам и не были в состоянии выдержать борьбу со свежими силами европейских легионов. Их ряды были прорваны, и в течение некоторого времени Диоклетиан испытывал страх и за свою корону, и за свою жизнь. Но успех, доставленный Карину храбростью его солдат, был мгновенно уничтожен изменой его офицеров. Один трибун, жену которого соблазнил Карин, воспользовался удобным случаем для мщения и одним ударом потушил пламя междоусобной войны в крови прелюбодея.

**Царствование Диоклетиана и его трех сотоварищей,
Максимиана, Галерия и Констанция. —
Восстановление всеобщего порядка и спокойствия. —
Персидская война, победа и триумф. —
Новая форма управления. — Отречение и удаление
Диоклетиана и Максимиана.
(285—313 гг.)**

Глава 3 (XIII)

Возвышение Диоклетиана

Насколько царствование Диоклетиана было более славно, чем царствование кого-либо из его предшественников, настолько же его происхождение было более низко и незнатно. Притязания, опирающиеся на личные достоинства или на грубую силу, нередко одерживали верх над идеальными прерогативами знатности рождения, но до той поры все еще сохранялось резкое различие между свободной частью человеческого рода и той, которая жила в рабстве. Родители Диоклетиана были рабами в доме римского сенатора Аннулина, и сам он не носил другого имени, кроме того, которое было заимствовано от небольшого городка в Далмации, из которого была родом его мать. Впрочем, весьма вероятно, что его отец приобрел свободу и вскоре вслед за тем получил должность писца, которая была обыкновенным уделом людей его звания. Благоприятные предсказания или скорее сознание высших достоинств пробудили честолюбие в его сыне и внушили ему желание искать фортуны на военном поприще. Очень интересно проследить и его заслуги, и случайности, которые дали ему возможность оправдать те предсказания и выказать те достоинства перед глазами всего мира. Диоклетиан был назначен губернатором Мезии, потом был возведен в звание консула и наконец получил важную должность начальника дворцовой стражи. Он выказал свои дарования в персидской войне, а после смерти Нумериана бывший раб по решению его соперников был признан всех более достойным императорского престола. Злоба религиозных фанатиков, не щадившая необузданного высокомерия его сотоварища Максимиана, старалась набросить тень сомнения на личное мужество императора Диоклетиана. Нас, конечно, нелегко уверить в трусости счастливого солдата, умевшего приобрести и сохранить как уважение легионов, так и доверие стольких воинственных государей. Однако даже клевета достаточно рассудительна для того, чтобы нападать именно на самые слабые стороны характера. Диоклетиан всегда имел то мужество, какого требовали его обязанности или обстоятельства, но он, как кажется, не обладал той отважной и геройской неустрашимостью, которая ищет опасности и славы, никогда не прибегает к хитростям и заставляет всех невольно преклоняться перед собой. У него были скорее полезные, чем блестящие способности: большой ум, просветленный опытом и знанием человеческого сердца; ловкость и прилежание в деловых заня-

тиях; благоразумное сочетание щедрости с бережливостью, мягкости со строгостью; глубокое лицемерие, скрывавшееся под личиной воинского прямоты; упорство в преследовании своих целей; гибкость в выборе средств, а главным образом великое искусство подчинять как свои собственные страсти, так и страсти других людей интересам своего честолюбия и умение прикрывать свое честолюбие самыми благовидными ссылками на требования справедливости и общественной пользы. Подобно Августу, Диоклетиан может считаться за основателя новой империи. Подобно тем, кто был усыновлен Цезарем, он был более замечателен как государственный человек, нежели как воин; а ни один из этих государей не прибегал к силе, когда мог достигнуть своей цели политикой.

Диоклетиан воспользовался своим торжеством с необычайной мягкостью. Народ, привыкший превозносить милосердие победителя, когда обычные наказания смертью, изгнанием и конфискацией налагались хотя бы с некоторой умеренностью и справедливостью, смотрел с самым приятным удивлением на тот факт, что пламя междоусобной войны потухло на самом поле битвы. Диоклетиан оказал свое доверие главному министру семейства Кара, Ариобулу, пощадил жизнь, состояние и служебное положение своих противников и даже оставил при своих должностях большую часть служителей Карина. Нет ничего неправдоподобного в том, что не одно только человеколюбие, но также и благоразумие руководило действиями хитрого Диоклетиана: одни из этих служителей купили милостивое расположение тайной изменой, других он уважал за признательную преданность их несчастному повелителю. Благодаря благоразумной прозорливости Аврелиана, Проба и Кара различные гражданские и военные должности занимались людьми достойными, удаление которых причинило бы вред государству, но не принесло бы никакой пользы самому императору. Такой образ действий внушал всем римским подданным самые светлые надежды на новое царствование, а император постарался поддержать это благоприятное настроение умов, объявив, что из всех добродетелей его предшественников он будет всего более стараться подражать гуманной философии Марка Антонина.

Первое значительное дело его царствования, по-видимому, служило доказательством как его искренности, так и его умеренности. По примеру Марка он избрал себе сотоварища в лице Максимиана, которому он дал сначала титул Цезаря, а впоследствии и титул Августа. Но и мотивы его образа действий, и предмет его выбора несколько не напоминали его славного предшественника.

Возводя развратного юношу в императорское звание, Марк уплатил личной признательности ценой общественного благополучия. А выбирая в сотоварищи друга и сослуживца в минуту общественной опасности, Диоклетиан имел в виду оборону Востока и Запада от неприятеля. Максимиан родился крестьянином и, подобно Аврелиану, был уроженцем Сирмия. Он не получил никакого образования, относился с пренебрежением к законам и, даже достигнув самого высокого общественного положения, напоминал своей грубой наружностью и своими грубыми манерами о незнатности своего происхождения. Война была единственная наука, которую он изучал. В течение своей долгой военной карьеры он отличался на всех границах империи, и хотя по своим военным способностям он был более годен для исполнения чужих приказаний, чем для командования, хотя он едва ли когда-либо мог стать в один ряд с лучшими генералами, он был способен выполнять самые трудные поручения благодаря своей храбрости, стойкости и опытности. Пороки Максимиана были не менее

полезны для его благодетеля. Будучи недоступен для чувства сострадания и никогда не опасаясь последствий своих деяний, он был всегда готовым орудием для совершения всякого акта жестокости, на какой только угодно было хитрому Диоклетиану подстрекнуть его. В этих случаях Диоклетиан ловко отклонял от себя всякую ответственность. Если политические соображения или жажда мщения требовали кровавых жертв, Диоклетиан вовремя вмешивался в дело, спасал жизнь немногих остальных, которых он и без того не был намерен лишать жизни, слегка журил своего сурового сотоварища и наслаждался сравнениями золотого века с железным, которые обыкновенно применялись к их противоположным принципам управления. Несмотря на различие своих характеров, оба императора сохранили на престоле ту дружбу, которую они питали друг к другу, будучи частными людьми. Высокомерие и заносчивость Максимиана, оказавшиеся впоследствии столь пагубными и для него самого, и для общественного спокойствия, почтительно преклонялись перед гением Диоклетиана, признавая превосходство ума над грубой силой. Из гордости или из суеверия два императора присвоили себе титулы — первый Юпитерова сына (Jovius), а второй — Геркулесова сына (Herculius). В то время как движение мира (так выражались продажные ораторы того времени) направлялось всевидящей мудростью Юпитера, непобедимая рука Геркулеса очищала землю от чудовищ и тиранов.

Два Цезаря — Галерий и Констанций. 292 г.

Но даже могущества сыновей Юпитера и Геркулеса не было достаточно для того, чтобы выносить бремя государственного управления. Диоклетиан скоро убедился, что со всех сторон атакованная варварами империя требовала повсюду большой армии и личного присутствия императора. По этой причине он решился еще раз разделить свою громадную власть и возложить на двух самых достойных генералов вместе с менее важными титулами Цезарей одинаковую долю верховной власти. Галерий, прозванный Арментарием, потому что был сначала пастухом, и Констанций, которого прозвали Хлором по причине его бедности, — те два генерала, которые были облечены второстепенными отличиями императорского достоинства. То, что мы говорили о родине, происхождении и нравах Геркулия, может быть отнесено и к Галерию, которого нередко называли Максимианом Младшим, хотя он и по своим личным достоинствам, и по своим познаниям во многих отношениях был выше Максимиана Старшего. Происхождение Констанция не было так низко, как происхождение его сотоварищей. Его отец, Евтропий, принадлежал к числу самых знатных семейств Дардании, а его мать была племянница императора Клавдия. Хотя Констанций провел свою молодость в занятиях военным ремеслом, он был одарен мягким и симпатичным характером, и голос народа давно уже признавал его достойным того ранга, которого он, наконец, достиг. С целью скрепить политическую связь родственными узами каждый из императоров принял на себя звание отца одного из Цезарей: Диоклетиан сделался отцом Галерия, а Максимиан — отцом Констанция; сверх того, каждый из Цезарей должен был развестись со своей прежней женой и жениться на дочери того императора, который его усыновил. Эти четыре монарха разделили между собой обширную империю. Защита Галлии, Испании и Британии была возложена на Констанция; Галерий расположился лагерем на берегах Дуная, чтобы охранять иллирийские провинции; Италия и Африка считались уделом Максимиана, а Диоклетиан оставил на свою долю Фракию, Египет и богатые азиатские провинции. Каждый из них был полным хозяином на своей территории; но их со-

вокупная власть простиралась на всю монархию, и каждый из них был готов помогать своим сотоварищам своими советами или личным присутствием. Цезари при своем высоком положении не переставали чтить верховную власть императоров, и все три младших монарха, обязанные своим положением Диоклетиану, всегда относились к нему с признательностью и покорностью. Между ними вовсе не было соперничества из-за власти, и это редкое согласие сравнивали с хором, в котором единство и гармония поддерживаются искусством главного артиста.

Эта важная мера была приведена в исполнение лишь по прошествии шести лет, после того как Максимиан был принят императором в сотоварищи; этот промежуток времени не был лишен достопамятных событий, но для большей ясности мы нашли более удобным сначала описать изменения, введенные Диоклетианом в систему управления, а потом уже изложить деяния его царствования, придерживаясь более естественного хода событий, нежели весьма неверной хронологической последовательности.

Первый подвиг Максимиана, — хотя писатели того времени упоминают о нем лишь в нескольких словах, — заслуживает за свою оригинальность быть занесенным на страницы истории человеческих нравов. Он укротил галльских крестьян, которые под именем багодов подняли знамя всеобщего восстания, очень похожего на те мятежи, которые в четырнадцатом столетии волновали и Францию, и Англию. Многие из тех учреждений, которые без надлежащих исследований относятся к феодальной системе, как кажется, вели свое начало от кельтских варваров. Когда Цезарь победил галлов, эта великая нация уже разделялась на три сословия — на духовенство, дворян и простой народ. Первое из них господствовало с помощью суеверий, второе с помощью оружия, а третье и последнее не имело никакого влияния на общественные дела. Весьма естественно, что плебеи, угнетаемые долгами и притеснениями, просили защиты у какого-нибудь могущественного вождя, который приобретал над их личностью и собственностью такое же абсолютное право, какое у греков и римлян имел господин над своими рабами. Таким образом, большая часть нации была постепенно доведена до рабства, была принуждена работать на полях галльской аристократии и была прикована к почве или тяжестью настоящих цепей, или не менее жестокими и обязательными стеснениями, которые налагались на нее законами. В ходе длинного ряда мятежей, потрясших Галлию, в промежутке времени между царствованием Галлиена и царствованием Диоклетиана, положение этих крестьян-рабов было самое бедственное, и они должны были выносить тиранию и своих господ, и варваров, и солдат, и сборщиков податей.

Восстание крестьян Галлии. 287 г.

Страдания наконец довели их до отчаяния. Они стали восставать массами; вооружение их состояло из одних хозяйственных орудий, но их воодушевляла непреодолимая ярость. Землепашец становился пехотинцем, пастух садился на коня, покинутые жителями деревни и неукрепленные города предавались пламени, и опустошения, причиненные крестьянами, оказались не менее ужасными, чем те, которые совершались самими свирепыми варварами. Они требовали для себя естественных человеческих прав, но эти требования сопровождалась самыми варварскими жестокостями. Галльская аристократия, основательно боявшаяся их мщенья, или укрывалась в укрепленных городах, или покидала страну, сделавшуюся театром анархии. Крестьяне господствовали бесконтрольно, и двое самых отважных вождей были так безрассудны или так опро-

метчивы, что возложили на себя знаки императорского достоинства. При приближении легионов их господство скоро прекратилось. Сила, соединенная с дисциплиной, легко восторжествовала над своевольной и разъединенной народной массой. Те из крестьян, которые были взяты с оружием в руках, были подвергнуты строгому наказанию; остальные разошлись в испуге по домам, а их безуспешная попытка приобрести свободу лишь закрепила их рабскую зависимость. Взрыв народных страстей обыкновенно бывает так силен и вместе с тем так однообразен, что, несмотря на бедность дошедших до нас сведений, мы могли бы описать подробности этой войны; но мы никак не расположены верить, что главные вожаки восстания Элиан и Аманд были христиане или что это восстание, подобно тому, которое вспыхнуло во времена Лютера, имело причиной употребление во зло тех благотворных христианских принципов, которые клонятся к признанию естественной свободы всего человеческого рода.

Восстание Караузия в Британии. 287 г.

Лишь только Максимиан успел вырвать Галлию из рук крестьян, он лишился Британии вследствие узурпации Караузия. Со времени опрометчивого, но успешного предприятия франков в царствование Проба их смелые соотечественники построили целые эскадры легких бригантин, на которых отправлялись опустошать провинции, омываемые океаном. Для отражения этих нашествий римляне нашли нужным завести морские силы, и это благоразумное намерение было приведено в исполнение со знанием дела и с энергией. Гессориак, или Булонь, расположенная на берегу Британского канала, была избрана императором для стоянки римского флота, а начальство над этим флотом было поручено Караузию, который хотя был самого низкого происхождения, но давно уже отличался своей опытностью в качестве кормчего и храбростью в качестве солдата. Но честность нового адмирала не стояла на одной высоте с его дарованиями. Когда германские пираты выходили из своих гаваней в море для грабежа, он давал им свободный пропуск, но останавливал их на обратном пути и отбирал в свою пользу всю награбленную ими добычу. Богатства, которые накопил таким способом Караузий, весьма основательно считались доказательством его виновности, и Максимиан уже дал приказание предать его смертной казни. Но хитрец предвидел грозу и сумел избежать ожидавшей его кары. Своей щедростью он привязал к себе офицеров находившегося под его начальством флота и вошел в соглашение с варварами. Из булоньской гавани он переплыл в Британию, склонил на свою сторону легионы и вспомогательные войска, охранявшие этот остров, и, присвоив себе звание императора вместе с титулом Августа, поднял знамя мятежа против своего законного государя.

Когда Британия была таким образом оторвана от империи, римляне стали более ясно сознавать важность этой провинции и искренно сожалеть об ее утрате. Они стали превозносить и даже преувеличивать размеры этого прекрасного острова, наделенного от природы со всех сторон удобными гаванями; они стали восхвалять умеренность его климата и плодородие почвы, одинаково годной и для произрастания зерновых хлебов, и для разведения винограда, и дорогие минералы, которые там были в изобилии, и богатые пастбища, покрытые бесчисленными стадами, и леса, в которых не было ни диких зверей, ни ядовитых змей. А всего более они сожалели об огромных доходах, получавшихся из Британии, и признавались, что такая провинция стоит того, чтобы сделаться самостоятельной монархией. Семь лет она находилась во вла-

сти Караузия, и в течение всего этого времени фортуна не изменяла мятежнику, обладавшему и мужеством, и дарованиями. Британский император защитил границы своих владений от живших на севере каледонцев, выписал с континента множество искусных артистов и оставил нам медали, свидетельствующие об изяществе его вкуса и о его роскоши. Будучи родом из соседней с франками провинции, он искал дружбы этого сильного народа и старался льстить ему, перенимая его манеру одеваться и его нравы. Самых храбрых молодых людей этой национальности он принимал к себе на службу в армию и во флот, а в награду за доставляемые ему этим союзом выгоды сообщал варварам опасные познания в военном и морском деле. Караузий все еще удерживал в своей власти Булонь и окрестную страну. Его флоты победоносно разгуливали по каналу, господствовали над устьями Сены и Рейна, опустошали берега океана и распространяли славу его имени по ту сторону Геркулесовых столбов. Британия, которой было суждено сделаться в отдаленном будущем владычицей морей, уже заняла под его управлением свое естественное и почетное положение морской державы.

Тем, что Караузий захватил стоявший в Булони флот, он лишил своего повелителя возможности преследовать его и наказывать. А когда после многолетних усилий римляне спустили на воду новый флот, непривычные к этому делу императорские войска были без большого труда разбиты опытными моряками узурпатора. Эта неудачная попытка привела к заключению мирного договора. Диоклетиан и его сотоварищ, основательно опасавшиеся предприимчивости Караузия, уступили ему господство над Британией и против воли допустили этого взбунтовавшегося подданного к участию в императорских почестях. Но усыновление двух Цезарей возвратило римской армии ее прежнюю энергию, и, в то время как рейнская граница охранялась Максимяном, его храбрый сотоварищ Констанций взял на себя ведение войны с Британией. Его первые усилия были направлены на важный укрепленный город Булонь. Он соорудил громадный мол поперек входа в гавань и тем лишил осажденных всякой надежды на помощь извне. После упорного сопротивления город сдался, и значительная часть морских сил Караузия досталась победителю. В течение трех лет, употребленных Констанцием на сооружение флота, достаточно сильного для завоевания Британии, он упрочил свою власть над берегами Галлии, проник в страну франков и лишил узурпатора возможности рассчитывать на помощь этих могущественных союзников.

Констанций вновь завладел Британией. 296 г.

Прежде, нежели приготовления были окончены, Констанций получил известие о смерти тирана, которое было принято за несомненное предзнаменование предстоящей победы. Приверженцы Караузия последовали данному им самим примеру измены. Он был убит своим первым министром Аллектом, и убийце достались в наследство и его власть, и его опасное положение. Но он не имел способностей Караузия ни для пользования властью, ни для борьбы с противником. Он с беспокойством и трепетом окидывал взором противоположный берег континента, где на каждом шагу видны были военные снаряды, войска и корабли, так как Констанций имел благоразумие так рассыпать свои военные силы, что неприятель никак не мог догадаться, с какой стороны будет совершено нападение. Наконец, нападение было сделано главной эскадрой, которая находилась под начальством отличного офицера, — префекта Асклепиодата и была собрана близ устья Сены. Искусство мореплавания стояло в ту пору на такой низкой ступени, что ораторы восхваля-

ли отважное мужество римлян, пустившихся в море при боковом ветре и в бурную погоду. Но погода оказалась благоприятной для их предприятия. Под прикрытием густого тумана они увернулись от кораблей, поставленных Аллектом у острова Уайта с целью загородить им путь, высадились благополучно на западном берегу Британии и доказали ее жителям, что превосходство морских сил не всегда может предохранить их страну от неприятельского нашествия. Лишь только все императорские войска высадились на берег, Асклепиодат сжег свои корабли, а так как его экспедиция оказалась удачной, то его геройским поступком все восхищались. Узурпатор занимал позицию подле Лондона в ожидании нападения со стороны Констанция, принявшего личное начальство над булонским флотом; но высадка нового врага потребовала его немедленного присутствия на Западе. Он совершил этот длинный переход с такой торопливостью, что встретился с главными силами префекта, имея при себе лишь небольшой отряд измученных и упавших духом войск. Сражение скоро кончилось совершенным поражением и смертью Аллекта: одна битва, как это не раз случалось, решила судьбу этого обширного острова, и когда Констанций высадился на берегах Кента, он был встречен толпами послушных подданных. Их радостные возгласы были громки и единодушны, а добродетели победителя заставляют нас верить, что они искренно радовались перевороту, который после десятилетнего разъединения снова восстановил связь Британии с Римской империей.

Защита границ

Британия могла опасаться лишь внутренних врагов, и, пока ее губернаторы оставались верными императору, а войска соблюдали дисциплину, вторжения полунагих шотландских и ирландских дикарей не могли считаться серьезной угрозой для безопасности острова. Сохранение спокойствия на континенте и оборона больших рек, служивших границами для империи, были и более трудны, и более важны. Политика Диоклетиана, служившая руководством и для его сотоварищей, заключалась в том, что для сохранения общественного спокойствия он старался возбуждать раздоры между варварами и усиливал укрепления, оберегавшие римские границы. На Востоке он устроил ряд лагерей, простиравшийся от Египта до персидских владений, и для каждого лагеря назначил достаточный постоянный гарнизон, который находился под командой особого офицера и снабжался всякого рода оружием из арсеналов, только что устроенных императором в Антиохии, Эмезе и Дамаске. Не менее предусмотрительны были меры, принятые императором против столько раз испытанной на деле храбрости европейских варваров. От устья Рейна и до устья Дуная все старинные лагеря, города и цитадели были тщательно укреплены, а в самых опасных местах были с большим искусством построены новые укрепления; в пограничных гарнизонах была введена самая неусыпная бдительность и были сделаны всевозможные приспособления, чтобы придать этой длинной линии укреплений прочность и непроницаемость. Варварам редко удавалось прорваться сквозь эту сильную преграду, и они с досады нередко изливали свою ярость одни на других. Готы, вандалы, гепиды, бургунды и алеманны взаимно ослабляли друг друга непрерывными войнами, и, кто бы из них ни одерживал верх, побежденными всегда были враги Рима. Подданные Диоклетиана наслаждались этим кровавым зрелищем и поздравляли друг друга с тем, что бедствия междоусобной войны составляют удел одних только варваров.

Несмотря на свое искусное управление, Диоклетиан не всегда был в состоянии сохранить ничем не нарушаемое спокойствие в течение своего двадцати-

летнего царствования и вдоль границы, простиравшейся на несколько сот миль. Случалось, что варвары прекращали свои внутренние раздоры, случалось также, что они успевали силой или хитростью прорваться сквозь цепь укреплений вследствие оплошности гарнизонов. Всякий раз, когда они вторгались в римские провинции, Диоклетиан вел себя с тем спокойным достоинством, которое он всегда старался выказывать или которым он, может быть, и в самом деле обладал; он сам появлялся на месте действия только в тех случаях, которые были достойны его личного присутствия; он без особенной необходимости никогда не подвергал опасности ни самого себя, ни свою репутацию; он обеспечивал себе успех всеми способами, какие только могла внушать предусмотрительность, и выставлял в самом ярком свете результаты своих побед. В войнах, которые были более трудны и исход которых был более сомнителен, он употреблял в дело суровое мужество Максимиана, а этот преданный солдат приписывал свои собственные победы мудрым советам и благотворному влиянию своего благодетеля. Однако после усыновления двух Цезарей сами императоры взяли себе менее опасную сферу деятельности, а защиту Дуная и Рейна поручили усыновленным ими генералам. Бдительный Галерий ни разу не столкнулся с необходимостью побеждать варваров на римской территории. Храбрый и деятельный Констанций спас Галлию от страшного нашествия алеманнов, а его победы при Лангре и Виндониссе, как кажется, были результатом таких битв, в которых он подвергался большим опасностям и в которых он выказал большие дарования. В то время как он проезжал по открытой местности в сопровождении небольшого отряда телохранителей, он был внезапно окружен многочисленными неприятельскими силами. Он с трудом добрался до Лангра, но среди общего смятения граждане отказались отворить ворота, и раненый государь был поднят на городскую стену при помощи веревок. Но когда римские войска узнали о его затруднительном положении, они со всех сторон поспешили к нему на помощь, и в тот же день вечером он восстановил честь своего оружия и отомстил за себя, положив на поле сражения шесть тысяч алеманнов. Из дошедших до нас исторических памятников того времени, быть может, можно было бы извлечь туманные сведения о нескольких других победах над сарматскими и германскими варварами; но скучные розыски этого рода не были бы вознаграждены ни чем-либо интересным, ни чем-либо поучительным.

В том, что касалось обхождения с побежденными, и Диоклетиан, и его сотоварищи следовали примеру императора Проба. Взятых в плен варваров заставляли менять смерть на рабство: их распределяли между жителями провинций, выбирая при этом преимущественно те местности, которые обезлюдели вследствие бедствий, причиненных войной. В Галлии были назначены для них территории Амьена, Бовэ, Камбрэ, Трира, Лангра и Труа. На них обыкновенно возлагали надзор за стадами и земледельческие работы; но употребление оружия было им воспрещено, кроме тех случаев, когда находили нужным вербовать их на военную службу. Тем из варваров, которые сами искали римского покровительства, императоры давали земли на условиях менее рабской зависимости; они также отвели поселения для нескольких колоний карпов, бастарнов и сарматов и по неблагоприятной снисходительности позволили им сохранить в некоторой мере их национальные нравы и самостоятельность. Жители провинций находили лестное для себя удовольствие в том, что варвары, еще недавно внушавшие им такой страх, теперь возделывали их поля, ввели их домашний скот на соседнюю ярмарку и содействовали своим трудом развитию общего благосостояния. Они восхваляли своих правителей за столь значительное приращение подданных и солдат, но опу-

скали из виду то обстоятельство, что этим путем правительство водворяло в самом центре империи множество тайных врагов, из которых одни были заносчивы вследствие полученных ими милостей, а другие были готовы на всякое отчаянное предприятие вследствие угнетений.

Войны в Африке и Египте. 296 г.

В то время как Цезари упражняли свои военные дарования на берегах Рейна и Дуная, в южных провинциях империи потребовалось присутствие самих императоров. Вся Африка от берегов Нила до Атласских гор была охвачена восстаниями. Пять мавританских народов вышли из своих степей и соединенными силами напали на мирные провинции. Юлиан принял звание императора в Карфагене, а Ахиллей — в Александрии; даже блеммии возобновили или, вернее, продолжали свои вторжения в Верхний Египет. До нас не дошло почти никаких подробностей о военных подвигах Максимиана в западных частях Африки, но, судя по результатам его похода, можно полагать, что его успехи были быстры и решительны, что он победил самых свирепых мавританских варваров и что он вытеснил их с гор, недоступность которых внушала их обитателям безграничную самоуверенность и приучила их к грабежу и насилиям. Со своей стороны Диоклетиан открыл кампанию против Египта осадой Александрии; он пересек водопроводы, которые снабжали водами Нила каждый квартал этого огромного города, и, укрепив свой лагерь так, чтобы можно было не бояться вылазок со стороны осажденных, он повел атаку с осторожностью и с энергией. После восьмимесячной осады разоренная мечом и огнем Александрия стала молить победителя о пощаде; но его строгость обрушилась на нее всей своей тяжестью. Несколько тысяч граждан погибли среди общей резни, и во всем Египте было мало таких провинившихся в восстании людей, которые избежали бы смертного приговора, или, по меньшей мере, ссылки. Участь, постигшая Бусирис и Копт, была еще печальнее участи Александрии; эти два прекрасных города, — первый из которых отличался своей древностью, а второй обогатился благодаря тому, что через него шла торговля с Индией, — были совершенно разрушены по приказанию Диоклетиана. Для такой чрезмерной строгости можно найти оправдание только в том, что египетская нация по своему характеру не была способна ценить кроткое обхождение, но была чрезвычайно доступна чувству страха. Восстания Александрии уже много раз нарушали спокойствие самого Рима, затрудняя для него доставку получавшихся оттуда припасов. Верхний Египет, беспрестанно вовлекавшийся в восстания после узурпации Фирма, вступил в союз с эфиопскими дикарями. Блеммии, рассеянные между островом Мероэ и Красным морем, были незначительны числом, не были воинственны по своему характеру, а оружие, которое они употребляли, было грубо и не страшно. А между тем эти варвары, почти не считавшиеся древними народами за человеческие существа по причине своей уродливой наружности, постоянно принимали участие во всяких беспорядках и осмеливались причислять себя к числу врагов Рима. Таковы были недостойные союзники египтян, всегда готовые нарушить спокойствие этой провинции, в то время как внимание римского правительства было занято более серьезными войнами. С целью противопоставить блеммиям способных бороться с ними врагов Диоклетиан убедил нобатов, — одно племя, жившее в Нубии, — покинуть их прежние жилища в ливийских степях и отдал им обширную, но бесполезную для государства территорию по ту сторону города Сиены и нильских водопадов с тем условием, что они бу-

дуг охранять границы империи. Этот договор долго оставался в силе, и пока с введением христианства не распространились более определенные понятия о религиозном поклонении, он ежегодно был снова утверждаем торжественным жертвоприношением, которое совершалось на острове Элефантин и при котором римляне и варвары преклонялись перед одними и теми же видимыми или невидимыми владыками Вселенной.

В то же самое время как Диоклетиан наказывал египтян за их прошлые преступления, он обеспечивал их будущее спокойствие и благосостояние мудрыми постановлениями, которые были подтверждены и усилены в последующие царствования. Он, между прочим, издал один замечательный эдикт, который не следует осуждать как продукт боязливой тирании, а следует одобрять как полезный акт благоразумия и человеколюбия. Он приказал тщательно отобрать все старинные книги, в которых шла речь об удивительном искусстве делать золото и серебро, и без всякого милосердия предал их пламени; он, как уверяют, опасался, что богатство египтян внушит им смелость снова взбунтоваться против империи. Но если бы Диоклетиан действительно был убежден в существовании такого ценного искусства, он не стал бы уничтожать его, а обратил бы его применение на пользу государственной казны. Гораздо более правдоподобно, что его здравый смысл усмотрел безрассудство таких заманчивых притязаний, и что он хотел предохранить рассудок и состояние своих подданных от такого занятия, которое могло быть для них пагубно. Впрочем, следует заметить, что хотя эти старинные книги и приписывались или Пифагору, или Соломону, или Гермесу, они на самом деле были продуктом благочестивого подлога со стороны позднейших знатоков алхимии. Греки не увлекались ни применением химии, ни злоупотреблениями, для которых она могла служить орудием. В том огромном списке, куда Плиний внес открытия, искусства и заблуждения человеческого рода, нет ни малейшего упоминания о превращении металлов, а преследование со стороны Диоклетиана есть первый достоверный факт в истории алхимии. Завоевание Египта арабами способствовало распространению этой пустой науки по всему земному шару. Так как она была в сродстве со свойственным человеку корыстолюбием, то ее изучали с одинаковым рвением и с одинаковым успехом и в Китае, и в Европе. Средневековое невежество обеспечивало всякому неправдоподобному рассказу благоприятный прием, а возрождение наук дало новую пищу надеждам и познакомило с более благовидными способами обмана. Наконец, философия с помощью опыта положила конец изучению алхимии, а наш собственный век, хотя и жаждет к богатству, но стремится к нему более скромным путем торговли и промышленности.

Персидская война

Немедленно вслед за покорением Египта была предпринята война с Персией. Царствованию Диоклетиана суждено было сломить могущество этой нации и заставить преемников Артаксеркса преклониться перед величием Римской империи.

Мы уже имели случай заметить, что в царствование Валериана персы завладели Арменией частью коварством, частью силой оружия и что после умерщвления Хосроя малолетний наследник престола, сын его Тиридат, спасся благодаря преданности своих друзей и был воспитан под покровительством императоров. Тиридат вынес из своего изгнания такую пользу, какой он никогда не мог бы приобрести на армянском престоле, — он с ранних лет познакомился с несчастьем, с человеческим родом и с римской дисциплиной. В своей

молодости он отличался храбростью и необыкновенной ловкостью и силой как в воинских упражнениях, так и в менее достойных состязаниях Олимпийских игр. Он сделал более благородное употребление из этих достоинств, вступившись за своего благодетеля Лициния. Во время мятежа, окончившегося смертью Проба, этот офицер подвергался самой серьезной опасности, так как рассвирепевшие солдаты уже устремились к его палатке; тогда армянский принц один без посторонней помощи удержал солдат и тем спас жизнь Лициния. Вскоре вслед за тем признательность Тиридата содействовала восстановлению его права на престол. Лициний всегда был другом и товарищем Галерия, а достоинства Галерия еще задолго до его возведения в звание Цезаря обеспечили ему уважение Диоклетиана. На третьем году царствования этого императора Тиридат был возведен в звание короля Армении. Справедливость этой меры была столь же очевидна, как и ее польза. Пора уже было вырвать из рук персидского монарха важную территорию, которая со времени царствования Нерона всегда предоставлялась — под римским покровительством — во владение младшей линии рода Аршакидов.

Тиридат в Армении. 286 г.

Когда Тиридат появился на границах Армении, он был встречен непритворными выражениями радости и преданности. В течение двадцати шести лет эта страна выносила все — и настоящие, и воображаемые неприятности чужестранного господства. Персидские монархи украшали завоеванную страну великолепными зданиями; но эти здания строились на деньги народа и внушали отвращение, потому что служили свидетельством рабской зависимости. Опасение мятежа вызывало самые суровые меры предосторожности; к угнетению присоединялись оскорбления, и победитель, сознавая всеобщую к нему ненависть, принимал такие меры, которые делали эту ненависть еще более непримиримой. Мы уже говорили о духе нетерпимости, которым отличалась религия магов. Завоеватели из религиозного усердия разбили в куски статуи причисленных к богам королей Армении и священные изображения солнца и луны, а на алтаре, воздвигнутом на вершине горы Багавана, зажгли и поддерживали вечный огонь в честь Ормузда. Понятно, что народ, доведенный до отчаяния столькими оскорблениями, с жаром взялся за оружие для защиты своей независимости, своей религии и своего наследственного монарха. Поток народного восстания ниспроверг все препятствия, и персидские гарнизоны отступили перед его яростным напором. Армянская аристократия стеклась под знамена Тиридата; указывая на свои прошлые заслуги и предлагая свое содействие в будущем, она искала у нового короля тех отличий и наград, от которых ее с презрением отстраняло чужеземное правительство. Командование армией было вверено Артавасду, отец которого спас юного Тиридата и семейство которого поплатилось жизнью за этот великодушный подвиг. Брат Артавасда был назначен губернатором одной провинции. Одна из высших военных должностей была возложена на отличавшегося необыкновенным хладнокровием и мужеством сатрапа Отаса, предложившего королю свою сестру и значительные сокровища, которые он уберег от жадности персов в одной из отдаленных крепостей. В среде армянской аристократии появился еще один союзник, судьба которого так замечательна, что мы не можем не остановить на ней нашего внимания. Имя его было Мамго; по происхождению он был скиф, а орда, признававшая над собой его власть, жила за несколько лет перед тем на окраине Китайской империи, которая простиралась в то время до окрест-

ностей Согдианы. Навлекши на себя гнев своего повелителя, Мамго удалился со своими приверженцами на берега Окса и просил покровительства у Сапора. Китайский император потребовал выдачи перебежчика, ссылаясь на свои верховные права. Персидский монарх сослался на правила гостеприимства и не без труда избежал войны, дав обещание, что он удалит Мамго на самые отдаленные западные окраины, и уверяя, что такое наказание не менее страшно, чем сама смерть. Местом изгнания была выбрана Армения, и скифской орде была отведена довольно обширная территория, на которой ей было позволено пасти свои стада и переносить свои палатки с одного места на другое сообразно с переменами времен года. Ей было приказано воспротивиться вторжению Тиридата, но ее вождь, взвесив полученные им от персидского монарха одолжения и обиды, решился перейти на сторону его противника. Армянский государь, очень хорошо понимавший, какую цену имеет помощь такого способного и могущественного союзника, как Мамго, обошелся с ним чрезвычайно вежливо и, удостоив его своего доверия, приобрел в нем храброго и верного слугу, много содействовавшего возвращению ему престола.

В течение некоторого времени счастье, по-видимому, благоприятствовало предприимчивости и мужеству Тиридата. Он не только очистил всю Армению от врагов своего семейства и своей родины, но, подстрекаемый жаждой мщения, перенес войну в самое сердце Сирии, или, по меньшей мере, проник туда в своих набегах. Историк, сохранивший имя Тиридата от забвения, восхваляет с некоторой примесью национального энтузиазма его личные доблести и в духе восточных сказочников рассказывает о гигантах и слонах, павших от его непобедимой руки. Но из других источников мы узнаем, что король Армении был отчасти обязан своими успехами внутренним смутам, раздиравшим в то время персидскую монархию. Два брата оспаривали друг у друга персидский престол, а когда один из них, по имени Гормуц, убедился, что его партия недостаточно сильна для борьбы, он прибегнул к опасной помощи варваров, живших на берегах Каспийского моря. Но междоусобная война окончилась, неизвестно, победой или примирением, и всеми признанный за короля Персии Нарзес направил все свои силы против внешнего врага. Тогда борьба сделалась слишком неравной, и храбрость героя уже не могла противостоять могуществу монарха. Вторично свергнутый с престола Армении Тиридат снова нашел себе убежище при дворе римских императоров. Нарзес скоро восстановил свое господство над взбунтовавшейся провинцией и, громко жалуюсь на покровительство, оказанное римлянами бунтовщикам и перебежчикам, предпринял завоевание всего Востока.

Поражение римлян. 296 г.

Ни благоразумие, ни честь не позволяли императорам отказаться от защиты армянского короля, и потому было решено употребить в дело все силы империи для войны с Персией. Со своим обычным спокойствием и достоинством Диоклетиан избрал местом своего пребывания Антиохию, чтобы оттуда готовить и направлять военные действия. Начальство над легионами было вверено неустрашимой храбрости Галерия, который с этой целью был переведен с берегов Дуная на берега Евфрата. Обе армии скоро встретились на равнинах Месопотамии, и между ними произошли два сражения, не имевшие никакого серьезного результата; но третья встреча имела более решительные последствия, так как римская армия была совершенно разбита.

Причину этой неудачи приписывали опрометчивости Галерия, который напал с незначительным отрядом на бесчисленные полчища персов. Но знакомство с местностью, которая была сценой действия, заставляет думать, что его поражение произошло от другой причины. То самое место, на котором был разбит Галерий, уже приобрело известность тем, что там погиб Красс и были истреблены десять легионов. Это была гладкая равнина, простиравшаяся более чем на шестьдесят миль от возвышенностей Карры до Евфрата и представлявшая ровную и голую песчаную степь, на которой не было ни одного пригорка, ни одного деревца и ни одного источника свежей воды. Тяжелая римская пехота, изнемогавшая от жары и от жажды, не могла рассчитывать на победу, не покидая своих рядов; но она не могла разорвать свои ряды, не подвергая себя самой неминуемой опасности. В то время как она находилась в таком затруднительном положении, она была окружена более многочисленными неприятельскими силами; тем временем кавалерия варваров беспрестанно тревожила ее своими быстрыми эволюциями и уничтожала ее своими стрелами. Король Армении выказал в этой битве свою храбрость и среди общего несчастья покрыл себя славой. Неприятель преследовал его до Евфрата; его лошадь была ранена, и ему, по-видимому, не оставалось никакой надежды на спасение. В этой крайности Тиридат прибегнул к единственному способу спасения, какой казался возможным: он соскочил с лошади и бросился в реку. На нем были тяжелые воинские доспехи, а река была глубока и в этом месте имела в ширину по меньшей мере полмили; однако таковы были его сила и ловкость, что он благополучно достиг противоположного берега. Что касается римского генерала, то нам не известно, каким образом ему удалось спастись; но нам известно, что когда он возвратился в Антиохию, Диоклетиан принял его не с участием друга и сотоварища, а с негодованием разгневанного монарха. Этот до крайности высокомерный человек был до такой степени унижен в собственных глазах сознанием своей вины и своего несчастья, что, покоряясь воле Диоклетиана, шел в императорской мантии пешком за его колесницей более мили и таким образом выказал перед всем двором свой позор. После того как Диоклетиан удовлетворил свое личное гневное раздражение и поддержал достоинство верховной власти, он склонился на смиренные мольбы Цезаря и позволил ему попытаться восстановить как свою собственную честь, так и честь римского оружия. Изнеженные азиатские войска, которые скорее всего были задействованы в первой экспедиции, были заменены новой армией, составленной из ветеранов и из набранных на иллирийской границе рекрутов, и сверх того был принят на императорскую службу значительный отряд готских вспомогательных войск.

Во главе избранной армии из двадцати пяти тысяч человек Галерий снова перешел Евфрат; вместо того чтобы подвергать свои легионы опасностям перехода через голые равнины Месопотамии, он двинулся вперед через горы Армении, где нашел преданное Риму население и местность, столько же удобную для действий пехоты, сколько она была неудобна для действий кавалерии. Несчастье еще более укрепило римскую дисциплину, тогда как возгордившиеся своим успехом варвары сделались столь небрежны и нерадивы, что в ту минуту, когда они всего менее этого ожидали, они были застигнуты врасплох деятельным Галерием, который в сопровождении только двух кавалеристов собственными глазами осмотрел состояние и расположение их лагеря. Нападение врасплох, в особенности если оно происходило в ночное время, почти всегда оказывалось гибельным для персидской армии. Персы имели обыкновение не только привязывать своих лошадей, но также связывать им ноги для того, чтобы они не могли убежать; а когда случалась тревога, перс, прежде чем быть в состоянии сесть верхом на лошадь, должен был укрепить

на ней чепрак, надеть на нее узду, а на самого себя латы. Поэтому неудивительно, что стремительное нападение Галерия причинило в лагере варваров беспорядок и смятение. За легким сопротивлением последовала страшная резня, и среди общего смятения раненый монарх (так как Нарзес лично командовал своими армиями) обратился в бегство в направлении к мидийским степям. В его палатках и в палатках его сатрапов победитель захватил громадную добычу, и нам рассказывают один случай, доказывающий, в какой мере грубые, хотя и воинственные легионы были мало знакомы с изящными предметами роскоши. Сумка, сделанная из глянцевиной кожи и наполненная жемчугом, попала в руки простого солдата; он тщательно берегал сумку, но выбросил все, что в ней было, полагая, что то, что не годится для какого-либо употребления, не может иметь никакой стоимости. Но главная потеря Нарзеса была из числа тех, которые всего более чувствительны для человеческого сердца. Многие из его жен, сестер и детей, сопровождавших его армию, были взяты в плен победителем. Впрочем, хотя характер Галерия вообще имел очень мало сходства с характером Александра, он после своей победы принял за образец обхождения македонского героя с семейством Дария. Жены и дети Нарзеса были защищены от всякого насилия и грабежа; их отправили в безопасное место и с ними обходились с тем уважением и вниманием, какие был обязан оказывать великодушный враг их возрасту, полу и королевскому достоинству.

В то время как Восток тревожно ожидал исхода этой великой борьбы, император собрал в Сирии сильный наблюдательный корпус, сосредоточил на некотором расстоянии от театра военных действий громадные ресурсы Римской империи и берег свои силы для неожиданных случайностей войны. Получив известие о победе, он приблизился к границе с целью умерить гордость Галерия своим присутствием и своими советами. Свидание римских государей в Низибе сопровождалось всевозможными выражениями почтения с одной стороны и уважения — с другой. В этом же городе они вскоре вслед за тем давали аудиенцию послам великого короля. Могущество Нарзеса или, по меньшей мере, его высокомерие было сломлено поражением, и он полагал, что немедленное заключение мира было единственным средством, которое могло остановить дальнейшие успехи римского оружия. На пользовавшегося его милостями и доверием Афарбана он возложил поручение вести переговоры о мире или, правильнее сказать, принять все те мирные условия, какие будут предписаны победителем. Афарбан начал с того, что выразил признательность своего господина за великодушное обхождение с королевским семейством и просил об освобождении этих именитых пленников. Он восхвалял храбрость Галерия, стараясь не унижать репутации Нарзеса, и не считал за стыд признать превосходство победоносного Цезаря над таким монархом, который затмил своей славой всех других государей своего рода. Несмотря на то, сказал он, что дело персов правое, он уполномочен предоставить настоящий спор решению самих императоров и вполне убежден, что среди своего благополучия они не забудут, как превратна фортуна. Афарбан закончил свою речь аллегорией в восточном вкусе: монархии, римская и персидская, — это два oka Вселенной, которая осталась бы несовершенной и обезображенной, если бы одно из них было вырвано.

Персам не пристало (возразил Галерий в порыве гнева, от которого, по-видимому, судорожно тряслись все его члены) толковать о превратностях фортуны и спокойно наставлять нас в правила умеренности. Пусть они припомнят, с какой умеренностью они обошлись с несчастным Валерианом. Они захвати-

ли его при помощи вероломства и обходились с ним самым недостойным образом. Они держали его до последней минуты его жизни в постыдном плену, а после его смерти выставили его труп на вечный позор. Затем Галерий, смягчая тон, сказал послам, что римляне никогда не имели обыкновения попирать ногами побежденного врага и что в настоящем случае они будут руководствоваться скорее тем, чего требует их собственное достоинство, нежели тем, на что дает им право прежнее поведение персов. Он отпустил Афарбана, одевшись его, что Нарзес скоро будет уведомлен, на каких условиях он может получить от милосердия императоров прочный мир и свободу своих жен и детей. Это совещание доказывает нам, как необузданны были страсти Галерия и вместе с тем как велико было его уважение к высокой мудрости и авторитету Диоклетиана. Его честолюбие влекло его к завоеванию Востока, и он предлагал обратить Персию в римскую провинцию. Но благоразумный Диоклетиан, придерживавшийся умеренной политики Августа и Антонинов, предпочел воспользоваться удобным случаем, чтобы окончить удачную войну почетным и выгодным миром.

Во исполнение своего обещания императоры вскоре вслед за тем командировали одного из своих секретарей, Сикория Проба, с поручением сообщить персидскому двору об их окончательном решении. В качестве посла, приехавшего для мирных переговоров, он был принят со всевозможными изъявлениями внимания и дружбы, но под предлогом, что после столь длинного путешествия ему необходим отдых, аудиенция откладывалась с одного дня на другой; Проб был вынужден следовать за королем в его медленных переездах и наконец был допущен к личному с ним свиданию близ реки Аспруда в Мидии. Тайный мотив, побудивший Нарзеса так долго откладывать аудиенцию, заключался в желании выиграть время, чтобы собрать такие военные силы, которые при его искреннем желании мира, дали бы ему возможность вести переговоры с большим весом и достоинством. Только три лица присутствовали при этом важном совещании — министр Афарбан, префект гвардии и один офицер, командовавший на границах Армении. Первое условие, предложенное послом, для нас не совсем понятно: он потребовал, чтобы город Низиб был назначен местом взаимного обмена товаров, или, другими словами, чтобы он служил перевалочным пунктом для торговли между двумя империями. Нетрудно понять, что римские монархи желали увеличить свои доходы путем обложения товаров какими-нибудь пошлинами; но так как Низиб находился внутри их собственных владений и так как они были полными хозяевами и над ввозом, и над вывозом товаров, то казалось бы, что обложение пошлинами должно было составлять предмет внутреннего законодательства, а не договора с иностранным государством. Может быть, из желания придать такому обложению более целесообразности, они потребовали от персидского короля таких обязательств, которые были противны его интересам или его достоинству и которых он не соглашался взять на себя. Так как это была единственная статья, которую он не захотел подписать, то на ней и настаивали далее: императоры или предоставили торговлю ее естественному течению, или удовольствовались такими пошлинами, которые они могли налагать своей собственной властью.

Как только это затруднение было улажено, между обеими нациями был заключен формальный мирный договор. Условия трактата, столь славного для империи и столь необходимого для Персии, заслуживают особого внимания ввиду того, что история Рима представляет нам чрезвычайно мало сделок

подобного рода; ведь его войны большей частью оканчивались безусловным присоединением завоеванных стран или же велись против варваров, которым не было знакомо искусство письма. I. Река Абора, или, как ее называет Ксенофонт, Аракс, была назначена границей между двумя монархиями. Эта река, берущая свое начало неподалеку от Тигра, принимала в себя в нескольких милях ниже Низиба воды небольшой речки Мигдонии, протекала под стенами Сингары и впадала в Евфрат при Цирцезии — пограничном городе, который был очень сильно укреплен благодаря заботам Диоклетиана. Месопотамия, которая была виной стольких войн, была уступлена империи, и персы отказались по мирному договору от всяких притязаний на эту обширную провинцию. II. Они уступили римлянам пять провинций по ту сторону Тигра. Эти провинции уже по самому своему положению могли служить полезным оплотом, но их натуральная сила была вскоре еще увеличена искусством и военным знанием. Четыре из них, лежавшие к северу от реки, были малоизвестны и незначительны своим объемом, а именно: Интилина, Забдицена, Арзанена и Моксоэна; но к востоку от Тигра империя приобрела обширную и гористую территорию Кардуэна, бывшую в древности отечеством тех кардухийцев, которые в течение многих веков умели сохранить свою независимость посреди окружавших их азиатских деспотических монархий. Знаменитые десять тысяч греков проходили их страну после тяжелого семидневного отступления или, вернее, после семидневного сражения, и по признанию их вождя, так прекрасно описавшего это отступление, они пострадали от стрел кардухийцев гораздо больше, чем от всех военных сил великого короля. Их потомки курды, сохранившие лишь с небольшим изменением их имя и нравы, до сих пор пользуются свободой под номинальным верховенством турецкого султана. III. Само собой разумеется, что верный союзник римлян Тиридат был снова возведен на прародительский престол и что верховная власть императоров над Арменией была вполне обеспечена трактатом. Пределы Армении были расширены до крепости Синфы в Мидии, и это увеличение владений Тиридата было скорее актом справедливости, нежели актом великодушия. Из упомянутых уже провинций, лежавших по ту сторону Тигра, первые четыре были отторгнуты от Армении парфянами, а когда римляне приобрели их по мирному договору, они потребовали от узурпаторов, чтобы они вознаградили их союзника уступкой обширной и плодородной Атропатены. Главный город этой провинции, занимавший почти такое же положение, как новейший Таврис, нередко служил для Тиридата резиденцией, а так как он иногда назывался Экбатаной, то Тиридат стал строить там здания и укрепления по образцу великолепной столицы мидян. IV. Иберия была бесплодной страной, а ее жители были грубы и свирепы, но они были привычны к войне и отделяли империю от варваров, еще более свирепых и опасных. В их руках находились узкие ущелья Кавказских гор и от них зависело, пропускать или не пропускать кочующие сарматские племена, когда жажда добычи внушала этим варварам желание проникнуть в более богатые южные страны. Право назначать королей Иберии, предоставленное персидским монархом римским императорам, способствовало упрочению римского могущества в Азии. Восток пользовался полным спокойствием в течение сорока лет, и мирный договор между двумя монархиями-соперницами строго соблюдался до самой смерти Тиридата; тогда владычество над Древним миром перешло в руки нового поколения, руководствовавшегося иными целями и иными страстями, и тогда внук Нарзеса предпринял против государей из дома Константина продолжительную и достопамятную войну.

Таким образом, трудная задача спасения империи от тиранов и от варваров была окончательно исполнена целым рядом иллирийских крестьян, возвысившихся до императорского престола. Как только Диоклетиан вступил в двадцатый год своего царствования, он отпраздновал эту достопамятную дату и успехи своего оружия блестящим триумфом. Только один Максимиан как равный ему по положению разделил с ним славу этого дня. Два Цезаря сражались и побеждали, но достоинство их подвигов приписывалось, согласно со строгими правилами того времени, благотворному влиянию их отцов и императоров. Триумф Диоклетиана и Максимиана, быть может, был не так великолепен, как триумфы Аврелиана и Проба, но он имел преимущества более блестящей славы и более блестящего счастья. Африка и Британия, Рейн, Дунай и Нил доставили свои трофеи для триумфа, но самым лучшим его украшением была победа над персами, сопровождавшаяся важными территориальными приобретениями. Впереди императорской колесницы несли изображения рек, гор и провинций; а изображения пленных жен, сестер и детей великого короля доставляли тщеславной толпе новое для нее и приятное зрелище. Впрочем, в глазах потомства этот триумф замечателен еще другим, хотя и менее лестным отличием. Это был последний триумф, какой видели римляне. Вскоре после того императоры перестали побеждать, и Рим перестал быть столицей империи.

Место, на котором был построен Рим, было освящено старинными религиозными церемониями и воображаемыми чудесами. Каждая часть города будто одушевлялась присутствием какого-нибудь бога или воспоминанием о каком-нибудь герое, а Капитолию было обещано господство над всем миром. Римские уроженцы чувствовали на себе и сознавали влияние этой приятной иллюзии, которая досталась им от предков, укреплялась в них вместе с привычками детства и в некоторой мере поддерживалась в них убеждением в ее политической пользе. Форма правления и местопребывание правительственной власти были так тесно связаны между собой, что, казалось, невозможным изменить второе, не уничтожив первой. Но верховенство столицы постепенно уничтожалось обширностью завоеваний; провинции достигали одного с ней уровня, а побежденные народы приобретали название и привилегии римлян, не впитав в себя их местных привязанностей. Тем не менее и некоторые остатки старой конституции, и сила привычки в течение долгого времени поддерживали достоинство Рима. Даже те императоры, которые по своему происхождению были африканцы или иллирийцы, уважали в усыновившей их стране средоточие своего могущества и центр своих обширных владений. Ход военных действий нередко требовал их присутствия на границах империи, но Диоклетиан и Максимиан были первые римские монархи, избравшие в мирное время своим постоянным местопребыванием провинции, и хотя их образ действий, быть может, был внушен личными мотивами, его нетрудно было оправдать весьма вескими политическими соображениями. Двор западного императора пребывал большей частью в Милане, потому что этот город, благодаря своему положению у подошвы Альп, был более Рима удобен для наблюдения за движениями германских варваров. Милан скоро сравнялся великолепием с первоклассными городами империи; его дома были также многочисленны и хорошо построены, а его жители также благовоспитанны и образованны. Цирк, театр, монетный двор, дворец, бани, носившие имя своего основателя Максимиана, портики, украшенные статуями, и двойной ряд городских стен — все это содействовало украшению новой столицы, которая, по-видимому, не много те-

ряла даже от своей близости к Риму. Диоклетиан, желая, чтобы и его резиденция могла соперничать с Римом, употреблял свое свободное время и сокровища Востока на украшение города Никомедии, находившегося на границе между Европой и Азией почти на одинаковом расстоянии и от Дуная, и от Евфрата. По вкусу монарха и на деньги народа Никомедия достигла в несколько лет такого великолепия, которое, по-видимому, требовало вековых усилий, и уступала своим объемом и числом жителей только Риму, Александрии и Антиохии. Жизнь Диоклетиана и Максимиана была очень деятельна, и большую ее часть они провели в лагерях или в продолжительных и частых походах; но всякий раз, как им представлялась возможность отдохнуть от бремени государственных забот, они с удовольствием отправлялись в свои любимые резиденции — Никомедию и Милан. Очень сомнительно, посетил ли Диоклетиан хоть раз древнюю столицу империи до того дня, когда он праздновал там свой триумф на двадцатом году своего царствования. Даже по этому достопамятному случаю он пробыл там не более двух месяцев. Ему не нравилась своевольная фамильярность народа, и он с поспешностью покинул Рим за тринадцать дней перед тем, как он должен был явиться в сенат облеченным в отличия консульского звания.

Унижение Рима и сената

Нерасположение, которое Диоклетиан выказывал к Риму и к римской свободе, не было следствием минутного каприза, а было результатом очень хитрых политических соображений. Этот искусный монарх задумал ввести новую систему управления, которая была впоследствии усовершенствована семейством Константина, а так как сенат свято хранил призрак старой конституции, то он решился отнять у этого собрания последние остатки власти и влияния. Следует припомнить, как значительно было скоропреходящее величие сената и как велики были его честолюбивые надежды почти за восемь лет до возведения на престол Диоклетиана. Пока господствовало это увлечение, многие из членов аристократии неосторожно выказывали свое усердие к делу свободы, а когда преемники Проба перестали благоприятствовать республиканской партии, сенаторы не умели скрыть своего бессильного озлобления. На Максимиана как на правителя Италии было возложено поручение искоренить этот скорее докучливый, нежели опасный дух независимости, и такая задача была совершенно подходяща для человека с его жестоким нравом. Самые достойные члены сената, которым Диоклетиан всегда выказывал притворное уважение, были привлечены его соправителем к суду по обвинению в воображаемых заговорах, а обладание изящной виллой или хорошо устроенным имением считалось за убедительное доказательство виновности. Преторианцы, которые так долго унижали величие Рима, стали охранять его, а так как эти надменные войска сознавали упадок своего влияния, то они, естественно, были расположены соединить свои силы с авторитетом сената. Диоклетиан своими благоразумными мерами незаметным образом уменьшил число преторианцев, уничтожил их привилегии и заменил их двумя преданными ему иллирийскими легионами, которые под новым именем юпитерцев и геркулианцев исполняли обязанности императорской гвардии. Но самый губительный, хотя и малозаметный удар, нанесенный сенату Диоклетианом и Максимианом, заключался в неизбежных последствиях постоянного отсутствия императоров. Пока императоры жили в Риме, это собрание могло подвергаться угнетениям, но едва ли можно было относиться к нему с полным пренебрежением. Преемники Августа были достаточно могущественны, что-

бы вводить такие законы, какие внушала им их мудрость или их прихоть, но эти законы вступали в силу благодаря санкции сената. В его совещаниях и в его декретах соблюдались формы древних свободных учреждений, а благоразумные монархи, относившиеся с уважением к предрассудкам римского народа, были в некоторой мере вынуждены так выражаться и так себя держать, как это подобало генералу республики и ее высшему сановнику. Но среди армии и в провинциях они держали себя с достоинством монархов, и лишь только они выбрали для себя постоянное местопребывание вдалеке от столицы, они навсегда отложили в сторону то притворство, которое Август рекомендовал своим преемникам. В пользовании как законодательной, так и исполнительной властью монарх стал совещаться со своими министрами, вместо того чтобы спрашивать мнение великого национального совета. Название сената упоминалось с уважением до самого последнего периода империи, и тщеславию его членов еще льстили разными почетными отличиями; но это собрание, так долго бывшее источником власти и ее орудием, постепенно впало в окруженное почетом забвение. Утратив всякую связь и с императорским двором, и с новыми учреждениями, римский сенат оставался на Капитолийском холме почтенным, но бесполезным памятником древности.

Когда римские монархи потеряли из виду и сенат, и свою древнюю столицу, они легко позабыли происхождение и свойство власти, которой они были облечены. Гражданские обязанности консула, проконсула, цензора и трибуна, из взаимного сочетания которых составила эта власть, напоминали народу о ее республиканском происхождении. Эти скромные титулы были отложены в сторону, и если монархи обозначали свое высокое положение названием императора (Imperator), то это слово принималось в новом и более возвышенном значении: оно означало уже не генерала римских армий, а владыку Римской империи. К названию «император», которое вначале имело чисто военный характер, присоединили другое название, в котором более ярко выражалась рабская зависимость. Эпитет Dominus, или господин, в своем первоначальном значении выражал не власть государя над его подданными и не власть начальника над его солдатами, а деспотическую власть господина над его домашними рабами. В этом отвратительном смысле понимали его первые Цезари и потому с негодованием отвергали его. Их сопротивление постепенно ослабело, само название стало казаться менее отвратительным, и, наконец, выражение «наш господин и император» стало употребляться не одними только льстецами, а было внесено в законы и в официальные документы. Такие высокие эпитеты могли удовлетворять самое надменное тщеславие, и, если преемники Диоклетиана отклоняли титул короля, это, как кажется, было результатом не столько их умеренности, сколько разборчивости их вкуса. Повсюду, где был в употреблении латинский язык (а он был правительственным языком на всем пространстве империи), императорский титул, исключительно принадлежавший римским монархам, внушал более уважения, нежели титул короля, который им пришлось бы разделять с множеством варварских вождей и который они, во всяком случае, должны были бы заимствовать от Ромула или от Тарквиния. Но на Востоке господствовали другие понятия, чем на Западе. С самого раннего периода истории азиатские монархи прославлялись на греческом языке под титулом Basileus, или королей; а так как этот титул считался в тех странах за самое высокое отличие, какое существует между людьми, то его скоро стали употреблять раболепные жители восточных провинций в униженных просьбах, с которыми они обращались к римским императорам. Диоклетиан и Максимиан даже присвоили себе атрибуты или, по меньшей мере, титулы

божества и передали их своим преемникам — христианским императорам. Впрочем, эти вычурные названия скоро утратили всякий смысл, а вместе с тем и то, что в них отзывалось нечестьем, потому что когда слух свыкается с этими звуками, они перестают производить впечатление и кажутся не более как неопределенными, хотя и преувеличенными изъявлениями уважения.

Со времен Августа до времен Диоклетиана римские государи вели бесцеремонное знакомство со своими согражданами, которые относились к ним точно с таким же уважением, каким пользовались сенаторы и высшие должностные лица. Их главное отличие заключалось в императорской или военной пурпуровой мантии, тогда как сенаторское одеяние было обшито тесьмой или каймой того же цвета, а одеяние всадников было обшито каймой более узкой. Из гордости или, скорее, из политических соображений хитрый Диоклетиан ввел при своем дворе такую же пышность и великолепие, какими окружали себя персидские монархи. Он имел смелость украсить себя диадемой, которую римляне ненавидели как ненавистное отличие королевского достоинства и за ношение которой винили Калигулу как за самое отчаянное сумасбродство. Это было не что иное, как широкая белая повязка, усеянная жемчужинами и обвивавшая голову императора. Великолепные одеяния Диоклетиана и его преемников были из шелка и золота, и публика с негодованием замечала, что даже их обувь была усыпана самыми дорогими камнями. Доступ к их священной особе становился с каждым днем более затруднительным вследствие введения небывалых формальностей и церемоний. Входы во дворец строго охранялись различными классами (их называли тогда школами) офицеров. Внутренние апартаменты были поручены недоверчивой бдительности евнухов, увеличение числа и влияния которых было самым несомненным признаком усиления деспотизма.

Когда кто-нибудь из подданных был, наконец, допущен в присутствие императора, он должен был, какого бы то ни был ранга, пасть ниц и воздать, согласно с восточными обычаями, божеские почести своему господину и повелителю. Диоклетиан был человек с умом, и как в течение своей частной жизни, так и на государственном поприще он составил себе верное понятие как о себе самом, так и о человеческом роде, и мы никак не можем допустить, чтобы, заменяя римские обычаи персидскими, он руководствовался таким низким мотивом, как тщеславие. Он, несомненно, льстил себя надеждой, что блестящая внешняя обстановка поработит воображение народа, что монарх, недоступный для взоров толпы, будет лучше огражден от грубого народного и солдатского своеволия и что привычка к покорности незаметно перейдет в чувство благоговения. Точно так же, как и притворная скромность Августа, пышность Диоклетиана была театральным представлением; но следует признать, что в первой из этих двух комедий было более благородства и истинного величия, чем во второй. Одна из них имела целью прикрывать, а другая выставить напоказ неограниченную власть монарха над всей империей.

Выставка величия была первым принципом новой системы, введенной Диоклетианом. Ее вторым принципом было разделение власти. Он разделил на части империю и провинции и каждую отрасль как гражданской, так и военной администрации. Он умножил число колес правительственной машины и тем сделал ее движения менее быстрыми, но более надежными. Каковы бы ни были выгоды или невыгоды, проистекавшие из этих нововведений, они должны быть в очень значительной мере приписаны их первому изобретателю; но так как новая система государственного устройства была улучшена и доведена до совершенства при следующих императорах, то мы считаем уме-

стным отложить ее рассмотрение до той поры, когда она достигла полной зрелости и совершенства. Поэтому, откладывая до царствования Константина более точное описание заново организованной империи, мы теперь ограничимся описанием главных и характеристических особенностей плана, начертанного рукой Диоклетиана. Он разделил пользование верховной властью с тремя соправителями; а так как он был убежден, что дарований одного человека недостаточно для охранения общественной безопасности, то он считал совокупное управление четырех монархов не временной мерой, а основным законом конституции. Он предполагал, что два старших монарха будут отличаться употреблением диадемы и титулами Августа; что, руководствуясь в своем выборе или личным расположением, или уважением, они будут всегда назначать в качестве своих помощников двух подчиненных им соправителей, и что Цезари, возвышаясь, в свою очередь, до высшего ранга, образуют непрерывный ряд императоров. Империю он разделил на четыре части. Восток и Италия считались самыми почетными уделами, а управление придунайскими и прирейнскими провинциями считалось самой тяжелой задачей. Первые имели право на личное присутствие Августов, а последниеверялись Цезарям. Вся сила легионов находилась в руках четырех соправителей, и трудность победы над четырьмя могущественными соперниками была способна заглушить честолюбивые надежды всякого предприимчивого генерала. В сфере гражданского управления предполагалось, что императоры пользуются нераздельной властью монарха, а их эдикты, подписанные их четырьмя именами, принимались во всех провинциях как обнародованные с их общего согласия и в силу их общего авторитета. Однако, несмотря на все эти предосторожности, политическое единство римского мира медленно расшатывалось, и в него проник тот принцип разделения власти, который по прошествии немногих лет сделался причиной окончательного отделения Восточной империи от Западной.

Система Диоклетиана породила другую очень важную невыгоду, которую даже теперь мы не можем оставить без внимания, а именно увеличение расходов на управление и вследствие этого увеличение налогов и угнетение народа. Вместо скромной домашней обстановки, в которой не было другой прислуги, кроме рабов и вольноотпущенных, но которой довольствовалось безыскусственное величие Августа и Траяна, были организованы в различных частях империи три или четыре великолепных двора, и столько же римских королей соперничали и друг с другом, и с персидским монархом из-за тщеславного превосходства в блеске и пышности. Число министров, должностных лиц, офицеров и низших служителей, наполнявших различные департаменты государственного управления, никогда еще не было так велико, а (если нам будет дозволено выразиться живописным языком одного современного писателя) «когда число тех, кто получает, стало превышать число тех, кто платит, провинции стали изнемогать под бременем налогов». С этого периода и вплоть до окончательного разрушения империи нетрудно проследить непрерывный ряд громких протестов и жалоб. Каждый писатель сообразно со своими убеждениями и со своим положением избирал предметом своих сатирических нападок или Диоклетиана, или Константина, или Валента, или Феодосия; но все они единогласно отзывались о бремени государственных налогов и в особенности о податях, поземельной и подушной, как о невыносимом и постоянно возраставшем бедствии, составлявшем отличительную особенность их времени. Когда беспристрастный историк, обязанный извлекать истину как из сатир, так и из панегириков,

прислушивается к этим единогласным мнениям, он готов признать одинаково достойными порицания всех государей, на которых нападают те писатели, и готов приписать их вымогательства не столько их личным порокам, сколько однообразной системе их управления. Настоящим творцом этой системы был Диоклетиан, но в течение его царствования зарождавшееся зло не выходило за пределы умеренности и благоразумия, и он заслуживает порицания не столько за угнетение своих подданных, сколько за поданный им пагубный пример. К этому следует присовокупить, что он распоряжался государственными доходами с благоразумной бережливостью и что за покрытием всех текущих расходов в императорской казне всегда оставались значительные суммы как на щедрые императорские милости, так и на непредвиденные государственные нужды.

Отречение Диоклетиана и Максимиана. 303 г.

На двадцать первом году своего царствования Диоклетиан привел в исполнение свое намерение отречься от престола, — поступок, которого можно бы было ожидать скорее от старшего или от младшего Антонина, нежели от такого государя, который никогда не руководствовался поучениями философии ни в том, как он достиг верховной власти, ни в том, как он ею пользовался. Диоклетиану принадлежит та честь, что он дал всему миру первый пример отречения, который не часто находил подражателей между монархами позднейших времен. Впрочем, нашему уму натурально представляется по этому поводу сравнение с Карлом V не потому только, что красноречие одного из новейших писателей сделало это имя столь хорошо знакомым английскому читателю, но потому, что мы замечаем поразительное сходство между характерами двух императоров, политические дарования которых были выше их военного гения и отличительные достоинства которых были не столько даром природы, сколько плодом искусства. Отречение Карла V, как кажется, было вызвано превратностями фортуны: неудача в проведении в жизнь его любимых планов побудила его отказаться от власти, которую он находил неудовлетворительной для своего честолюбия. Напротив того, царствование Диоклетиана ознаменовалось непрерывным рядом успешных предприятий, и он стал серьезно помышлять об отречении от престола, как кажется, лишь после того, как он восторжествовал над всеми своими врагами и привел в исполнение все свои предначертания. Ни Карл V, ни Диоклетиан еще не достигли глубокой старости, когда отказались от верховной власти, так как первому из них было только пятьдесят пять лет, а второму не более пятидесяти девяти; но их деятельная жизнь, их войны, путешествия, государственные заботы и деловые занятия расстроили их здоровье, и они преждевременно познакомились с недугами старческой дряхлости.

Несмотря на суровость очень холодной и дождливой зимы, Диоклетиан покинул Италию вскоре после церемонии своего триумфа и направился на Восток через иллирийские провинции. От дурной погоды и от усталости он впал в изнурительную болезнь, и, несмотря на то что он делал лишь небольшие переезды и что его постойно несли в закрытых носилках, когда он достиг в конце лета Никомедии, его нездоровье сделалось весьма серьезным и опасным. В течение всей зимы он не выходил из своего дворца; его опасное положение внушало общее и непритворное участие; но народ мог узнавать о происходивших в его здоровье переменах лишь по тем выражениям радости или отчаяния, которые он читал на лицах придворных. В течение некоторого времени упорно держался слух о его смерти, и многие думали,

что ее скрывают с целью предотвратить беспорядки, которые могли бы возникнуть в отсутствие Цезаря Галерия. Впрочем, в день 1 марта Диоклетиан показал себя народу, но таким бледным и истощенным, что его с трудом могли бы узнать даже те, кому была хорошо знакома его наружность. Наконец, пора было положить конец тяжелой борьбе, которую он выносил более года, разделяя свое время между заботами о своем здоровье и исполнением своего долга; здоровье требовало ухода и покоя, а чувство долга заставляло его руководить, преодолевая физические страдания, управлением великой империей. Поэтому он решил провести остаток своих дней в почетном покое, сделать свою славу недостижимой для превратностей фортуны и предоставить мировую сцену действия своим более молодым и более бодрым соправителям.

Церемония отречения совершилась на обширной равнине почти в трех милях от Никомедии. Император взошел на высокий трон и в речи, полной здравого смысла и достоинства, объявил о своем решении и народу, и солдатам, собравшимся по этому чрезвычайному случаю. Лишь только он сложил с себя пурпуровую мантию, он удалился от взоров толпы и, проехав через город в закрытом экипаже, немедленно отправился в Далмацию на свою родину, которую он избрал местом своей уединенной жизни. В тот же день, то есть 1 мая, Максимиан во исполнение предварительного уговора отказался от императорского достоинства в Милане. Еще в Риме, среди пышности своего триумфа, Диоклетиан помышлял об отречении от верховной власти. Он уже в ту пору позаботился о том, чтобы не встретить противодействия со стороны Максимиана: по его настоянию, Максимиан дал ему или общее обещание подчинять свои действия воле своего благодетеля, или специальное обещание отказаться от престола, как только Диоклетиан этого потребует или подаст ему пример. Хотя это обязательство было подтверждено торжественной клятвой перед алтарем Юпитера Капитолийского, оно едва ли могло служить серьезным стеснением для высокомерного Максимиана, который страстно любил власть и который не искал ни покоя в этой жизни, ни славы в будущей. Но он, хотя и неохотно, подчинился влиянию, которое имел на него более благоразумный сотоварищ, и немедленно вслед за отречением Диоклетиана удалился в одну виллу в Лукании, где он при своей неусидчивости, конечно, не мог найти прочного спокойствия.

Диоклетиан, возвысившийся из своего рабского происхождения до престола, провел последние девять лет своей жизни частным человеком. Рассудок внушил ему намерение отказаться от власти, и он не раскаивался в этом, живя в уединении и пользуясь уважением тех монархов, которым он передал всемирное владычество. Редко случается, чтобы человек, в течение долгого времени употреблявший свои умственные способности на занятие государственными делами, был способен оставаться наедине с самим собой; отсутствие занятий обыкновенно является главной причиной его сожалений об утраченной власти. Занятия литературой или делами благочестия, доставляющие столько ресурсов в уединенной жизни, не могли иметь привлекательности для Диоклетиана; но он сохранил или, по меньшей мере, снова почувствовал расположение к самым невинным и самым естественным удовольствиям: его часы досуга были достаточно заняты строительством, разведением растений и садоводством. Его ответ Максимиану заслуживает той славы, которую он приобрел. Этот неутомимый старик упрашивал его снова взять в свои руки бразды правления и облечься в пурпуровую мантию. Он отверг это предложение с улыбкой соболезнования и спокойно прибавил, что если бы он мог показать

Максимиану капусту, посаженную его собственными руками в Салоне, его перестали бы упрашивать отказаться от наслаждения счастьем для того, чтобы гоняться за властью. В беседах с друзьями он нередко сознавался, что из всех искусств самое трудное искусство царствовать, и он обыкновенно выражался об этом любимом предмете разговоров с таким жаром, который может истекать только из опытности. Как часто случается (говаривал он), личные интересы четырех или пяти министров побуждают их войти между собой в соглашение, чтобы обманывать своего государя! Будучи отделен от всего человеческого рода своим высоким положением, он не в состоянии узнать правду; он может видеть только их глазами и он ничего не слышит, кроме того, что они сообщают ему в искаженном виде. Он поручает самые высшие должности людям порочным и неспособным и удаляет самых добродетельных и самых достойных между своими подданными. Путем таких низких ухищрений (прибавлял Диоклетиан) самые лучшие и самые мудрые монархи делаются орудиями продажной безнравственности своих царедворцев. Верное понятие об истинном величии и уверенность в бессмертной славе увеличивают в наших глазах привлекательность уединения; но римский император играл такую важную роль в мире, что он мог без всякой помехи наслаждаться комфортом и спокойствием частной жизни. Он не мог не знать, какие смуты волновали империю после его отречения, и не мог оставаться равнодушным к их последствиям. Опасения, заботы и неприятности нередко нарушали его спокойную жизнь в Салоне. Он был глубоко оскорблен в своих сердечных привязанностях или, по меньшей мере, в своей гордости теми несчастьями, которые постигли его жену и дочь, а его последние минуты были отравлены оскорблениями, от которых Лициний и Константин должны были бы избавить отца стольких императоров и главного виновника их собственного величия. Некоторые утверждали, впрочем, без достаточных на то доказательств, — будто он избежал преклонения перед их властью, добровольно лишив себя жизни. Прежде чем покончить с описанием жизни и характера Диоклетиана, мы намерены остановить на минуту наше внимание на том месте, которое он избрал для своего уединения. Главный город его родины Далмации Салона находился почти в двухстах римских милях (по измерению содержавшихся за счет государства больших дорог) от Аквилеи и границ Италии и почти в двухстах семидесяти милях от Сирмия, служившего обычной резиденцией для императоров, когда они посещали иллирийскую границу. Жалкая деревушка до сих пор сохранила название Салоны; но еще в шестнадцатом столетии о ее прежнем великолепии свидетельствовали разбросанные в беспорядке обломки арок и мраморных колонн. В шести или семи милях от города Диоклетиан построил великолепный дворец, и по величине этого сооружения мы можем судить о том, как давно он обдумывал свой план отречения от императорской власти. Не одно только пристрастие местного уроженца могло заставить Диоклетиана выбрать эту местность, соединявшую в себе все благоприятные условия для здоровья и для роскоши. Почва была там сухая и плодородная, воздух был чистый и здоровый, и, хотя летняя жара была очень сильна, туда редко проникали те душные и вредные для здоровья ветры, которые дуют на берегах Истрии и в некоторых частях Италии. Виды из дворца так же красивы, как привлекательны почва и климат. К западу от него лежат плодородные берега, которые тянутся вдоль Адриатического моря, а множество разбросанных маленьких островов придают в этом месте морю вид большого озера. К северу лежит залив, который вел к древнему городу Салоне, а местность, которая видна по ту сторону города, представляет приятный контраст с обширным водным пространством, которое открывается перед глаза-

ми с юга и востока. К северу перспектива замыкается высокими неправильными горами, которые тянутся на приятном для глаз расстоянии и во многих местах покрыты деревнями, лесами и виноградниками.

Хотя Константин, по легко понятному мотиву, отзывается о дворце Диоклетиана с презрением, однако один из его преемников, видевший этот дворец в заброшенном состоянии, говорит с восторгом о его великолепии. Это здание занимало пространство в девять или десять английских акров. Его форма была четырехугольной и по его бокам возвышалось шестнадцать башен. Две его стороны имели почти по шестьсот футов в длину, а другие две — почти по семисот футов. Все здание было выстроено из превосходного плитняка, который добывался в соседних каменоломнях близ Трау, или Трагуция, и немногим уступал мрамору. Четыре улицы, пересекавшие одна другую под прямыми углами, разделяли различные части этого огромного здания, а перед входом в главные апартаменты был великолепный подъезд, который до сих пор носит название Золотых ворот. Лестница вела в *peristylum* (перистиль. — *Ред.*) из гранитных колонн; по одну сторону от него находился четырехугольный храм Эскулапа, а по другую восьмиугольный храм Юпитера. В последнем из этих богов Диоклетиан чтит виновника своей счастливой судьбы, а в первом — охранителя своего здоровья. Применяя к уцелевшим остаткам дворца архитектурные правила, преподанные Витрувием, мы приходим к убеждению, что различные его части, как-то: бани, спальня, атриум, базилика, залы, кизикский, коринфский и египетский, — были описаны с достаточной точностью или, по меньшей мере, с достаточным правдоподобием. Их формы были разнообразны, их размеры правильны, но в них поражают нас два недостатка, с которыми не могут примириться наши новейшие понятия об изяществе вкуса и удобствах. В этих великолепных апартаментах не было ни оконных рам, ни печей. Они освещались сверху (так как дворец, как кажется, был выстроен только в один этаж) и нагревались трубами, проведенными вдоль стен. Ряд главных апартаментов замыкался с юго-западной стороны портиком, который имел пятьсот семнадцать футов в длину и, должно быть, служил чрезвычайно приятным местом для прогулок, когда к наслаждению открывавшимся оттуда видом присоединялось наслаждение произведениями живописи и скульптуры.

Если бы это великолепное здание было воздвигнуто в какой-нибудь безлюдной местности, оно, может быть, пострадало бы от руки времени, но, вероятно, не сделалось бы жертвой хищнической предприимчивости человека. Из его развалин возникли деревня Аспалаф и много времени спустя после того провинциальный город Спалатро. Золотые ворота ведут теперь к рыночной площади. Иоанн Креститель присвоил себе почести, которые прежде воздавались Эскулапу, а храм Юпитера обращен под покровительство Пресвятой Девы в кафедральный собор. Этими подробностями о дворце Диоклетиана мы более всего обязаны одному современному нам английскому художнику, который из похвальной любознательности проник внутрь Далмации. Но мы имеем некоторые основания подозревать, что изящество его рисунков и гравюр преувеличило красоты тех предметов, которые он желал изобразить. Один из позднейших и весьма здравомыслящих путешественников уверяет нас, что громадные развалины в Спалатро свидетельствуют столько же об упадке искусства, сколько о величии Римской империи во времена Диоклетиана. Если в действительности таково было низкое состояние архитектуры, то мы естественно должны полагать, что живопись и скульптура находились еще в более сильном упадке. Произведения архитектуры подчиняются немногим общим и даже механическим правилам. Но скульптура и в особенности живопись задаются це-

люю изображать не только формы, существующие в природе, но также характеры и страсти человеческой души. В этих высоких искусствах ловкость руки не принесет большой пользы, если эта рука не будет воодушевляться фантазией и если ею не будут руководить самый изящный вкус и наблюдательность.

Почти нет надобности доказывать, что внутренние раздоры и своеволие солдат, вторжения варваров и усиление деспотизма были весьма неблагоприятны для гения и даже для знания. Ряд иллирийских монархов восстановили империю, но не восстановили наук. Их военное образование не было рассчитано на то, чтобы внушать им любовь к литературе, и даже столь деятельный и столь способный к деловым занятиям ум Диоклетиана был совершенно лишен всяких научных или философских познаний. Профессии юристов и докторов удовлетворяют такой общей потребности и доставляют такие верные выгоды, что всегда будут привлекать к себе значительное число людей, обладающих в известной мере и способностями, и знанием; но в описываемый нами период времени ни в одной из этих сфер деятельности не появилось ни одного знаменитого специалиста. Голос поэзии умолк. История превратилась в сухие и бессмысленные перечни событий, не представлявшие ничего ни интересного, ни поучительного. Вялое и приторное красноречие все еще состояло на жалование у императоров, поощрявших только те искусства, которые содействовали удовлетворению их высокомерия или поддержанию их власти.

Однако этот век упадка знаний и упадка человеческого рода ознаменовался возникновением и успешным распространением неоплатоников. Александрийская школа заставила умолкнуть школы афинские, и древние секты стали под знамя более модных наставников, привлекавших к своей системе новизной своего метода и строгостью своих нравов. Некоторые из этих наставников, как, например Аммоний, Плотин, Амелий и Порфирий, были одарены глубиной мысли и необыкновенным прилежанием, но так как они неправильно понимали настоящую цель философии, то их труды способствовали не столько усовершенствованию, сколько извращению человеческого разума. Неоплатоники пренебрегали и нравственными, и естественными, и математическими науками, то есть всеми теми познаниями, которые применимы к нашему положению и к нашим способностям; а между тем они истощали свои силы в спорах о метафизике, касавшихся лишь формы выражения, пытались проникнуть в тайны невидимого мира, старались примирить Аристотеля с Платоном в таких вопросах, о которых оба эти философа имели так же мало понятия, как и все остальное человечество. В то время как они тратили свой рассудок на такие глубокие, но химерические размышления, их ум увлекался иллюзиями фантазии. Они воображали, что обладают искусством освобождать душу из ее темной тюрьмы; они уверяли, что находятся в близких сношениях с демонами и духами, и таким образом превращали путем весьма своеобразного переворота изучение философии в изучение магии. Древние мудрецы осмеивали народные суеверия, а ученики Плотина и Порфирия, прикрыв сумасбродство этих суеверий легким покровом аллегорий, сделались самыми усердными их защитниками. Так как они сходились с христианами в некоторых таинственных пунктах их веры, то они напали на все остальные части их богословской системы с такой же яростью, с какой обыкновенно ведутся междоусобные войны. Неоплатоники едва ли имеют право на то, чтобы им уделяли какое-либо место в истории человеческих знаний, но в истории церкви о них придется упоминать очень часто.

**Смуты после отречения Диоклетиана. —
Смерть Констанция. — Возведение на престол
Константина и Максенция. — Шесть императоров
в одно и то же время. — Смерть Максимиана и Галерия. —
Победы Константина над Максенцием и Лицинием. —
Соединение империи под властью Константина.
(305—324 гг.)**

Глава 4 (XIV)

Период междоусобных войн

Равновесие властей, установленное Диоклетианом, существовало до тех пор, пока его не перестала поддерживать твердая и ловкая рука его изобретателя. Оно требовало такого удачного согласования различных характеров и способностей, которое едва ли могло повториться и на которое едва ли можно было рассчитывать, — оно требовало, чтобы между двумя императорами не было взаимной зависти, чтобы оба Цезаря не увлекались честолюбием и чтобы все эти четыре самостоятельных монарха неизменно имели в виду одни и те же общие интересы. За отречением Диоклетиана и Максимиана от престола следовали восемнадцать лет раздоров и смут: империя была потрясена пятью междоусобными войнами, а остальное время прошло не столько в спокойствии, сколько во временном перемирии между несколькими враждовавшими один против другого императорами, которые, следуя друг за другом со страхом и ненавистью, старались увеличивать свои военные силы за счет своих подданных.

Лишь только Диоклетиан и Максимиан сложили с себя императорское звание, их место, согласно с правилами новой конституции, было занято двумя Цезарями — Констанцием и Галерием, которые немедленно приняли титул Августов. Право старшинства было предоставлено первому из этих монархов, и он продолжал под своим новым названием управлять своим прежним уделом — Галлией, Испанией и Британией. Владычество над этими обширными провинциями представляло достаточное поле деятельности для его дарований и вполне удовлетворяло его честолюбие. Мягкость, кротость и умеренность были отличительными чертами симпатичного характера Констанция, и его счастливые подданные часто имели случай сравнивать добродетели своего государя с необузданными страстями Максимиана и даже с лукавством Диоклетиана. Вместо того чтобы подражать восточной пышности и блеску этих императоров, Констанций придерживался простоты римских монархов. Он с непритворной искренностью утверждал, что его самое ценное сокровище заключается в любви его подданных и в том, что он мог с уверенностью рассчитывать на их признательность и щедрость всякий раз, как достоинства престола или угрожающая государству опасность требовали экстраординарных ресурсов. Жители Галлии, Испании и Британии, хорошо сознававшие и его достоинства, и свое собственное счастье, с тревогой помы-

шляли о расстроенном здоровье императора Констанция и о нежном возрасте детей, прижитых в его втором браке с дочерью Максимиана.

Суровый нрав Галерия был совершенно другого закала: имея все права на уважение своих подданных, этот император не снисходил до того, чтобы искать их привязанности. Его военная слава и в особенности его успех в персидской войне усилили его природное высокомерие, не выносившее, чтобы кто-нибудь мог быть выше его или даже равен ему. Если бы мы могли положиться на пристрастное свидетельство одного неразборчивого писателя, мы могли бы приписать отречение Диоклетиана угрозам Галерия и могли бы сообщить подробности секретного разговора между этими двумя монархами, в котором первый из них выказал столько же малодушия, сколько второй выказал неблагодарности и надменности. Стоит только беспристрастно вникнуть в характер и поведение Диоклетиана, чтобы убедиться, что подобные анекдоты не заслуживают доверия. Каковы бы ни были намерения этого государя, его здравый смысл указал бы ему, каким путем можно было избежать такой постыдной ссоры, если бы он действительно мог чего-либо опасаться от насилий со стороны Галерия; а так как он всегда с честью держал в своих руках скипетр, он не захотел бы сойти с престола с унижением своего достоинства.

При возведении Констанция и Галерия в звание Августов новая система императорского управления требовала, чтобы на их места были назначены два новых Цезаря. Диоклетиан искренно желал удалиться от света, а так как он считал женатого на его дочери Галерия за самую надежную опору и своего семейства, и империи, то он охотно предоставил своему преемнику лестное и опасное право этого важного назначения. Галерий воспользовался этим правом, не справившись ни с интересами, ни с сердечными привязанностями западных монархов. Эти последние имели уже достигших возмужалости сыновей, которые, по-видимому, и были самыми естественными кандидатами на открывшиеся вакансии. Но бессильная досада Максимиана уже не могла внушать никаких опасений, а скромный Констанций, хотя и не был доступен чувству страха, но из чувства человеколюбия не стал бы подвергать своих подданных бедствиям междоусобной войны. Поэтому Галерий возвел в звание Цезарей таких двух людей, которые подходили для его честолюбивых целей и главное достоинство которых, как кажется, заключалось в отсутствии всяких достоинств или личного значения. Первым из них был Даза, или, как он был впоследствии назван, Максимин, мать которого была родной сестрой Галерия. Этот неопытный юноша обнаружил грубость своего воспитания и в своих манерах, и в своих выражениях даже в то время, когда он к своему собственному удивлению и к удивлению всего мира был облечен Диоклетианом в пурпуровую мантию, возведен в звание Цезаря и назначен верховным правителем Египта и Сирии. В то же самое время один из верных слуг Галерия Север, человек, проводивший свою жизнь в удовольствиях, но не лишенный способности к деловым занятиям, был послан в Милан для того, чтобы принять из рук Максимиана цезарские украшения и главное начальство над Италией и Африкой. Согласно конституции, Север признал над собой верховенство западного императора, но он был безусловным исполнителем приказаний своего благодетеля Галерия, который, оставив за собой все страны, лежащие между пределами Италии и пределами Сирии, крепко утвердил свое владычество над тремя четвертями монархии. В полной уверенности, что приближающаяся смерть Констанция оставит его одного полным хозяином всей Римской империи, он, как уверяют, уже составил в своем уме длинный список будущих монархов и по-

мышлял о своем удалении от дел, лишь только завершатся двадцать лет его славного царствования.

Но в течение менее чем восемнадцати месяцев два неожиданных переворота разрушили честолюбивые замыслы Галерия. Его надежда присоединить к своей империи западные провинции оказалась несбыточной вследствие возведения на престол Константина, а Италии и Африки он лишился вследствие успешного восстания Максенция.

Слава Константина придавала мельчайшим подробностям касательно его жизни и образа действий особый интерес в глазах потомства. Место его рождения и положение матери его Елены были предметом споров не только между учеными, но и между целыми народами. Несмотря на то что позднейшие предания дают ей в отцы британского короля, мы вынуждены сознаться, что Елена была дочерью содержателя гостиницы, но вместе с тем мы в состоянии огрadyть законность ее брака от тех, кто выдавал ее за наложницу Констанция. Константин Великий родился, вероятно, в Нэссе, в Дакии, и нас не может удивлять тот факт, что юноша, вышедший из такого семейства и из такой провинции, которые отличались лишь воинскими доблестями, обнаруживал очень мало склонности к развитию своего ума путем приобретения знаний. Ему было около восемнадцати лет, когда его отец был возведен в звание Цезаря, но это счастливое событие сопровождалось разводом с его матерью, а блеск брачного союза с дочерью императора низвел сына Елены до жалкого и униженного положения. Вместо того чтобы последовать за Констанцием на Запад, он остался на службе у Диоклетиана, отличился своей храбростью в войнах с Египтом и Персией и постепенно возвысился до почетного звания трибуна первого разряда. Константин был высок ростом и имел величавую наружность; он был ловок во всех физических упражнениях, неустрашим в войне и приветлив в мирное время; во всех его действиях пыл юности умерялся благоразумием, и пока все его помыслы были сосредоточены на честолюбии, он относился холодно и равнодушно ко всем приманкам наслаждений. Любовь народа и солдат, указывавшая на него как на достойного кандидата для звания Цезаря, привела лишь к тому, что возбудила зависть в Галерии, и хотя благоразумие не позволяло Галерии прибегать к явному насилию, он в качестве абсолютного монарха легко мог найти способ для верного и покрытого тайной отмщения. С каждым часом росли и опасность Константина, и беспокойство его отца, настоятельно выражавшего в своих письмах желание обнять своего сына. В течение некоторого времени хитрый Галерий отсылался отсрочками и извинениями, но он не мог долго отказываться от исполнения столь естественного желания своего соправителя, если не был намерен поддерживать такой отказ оружием. Он, наконец, дал против воли позволение на отъезд, и если правда, что он при этом принял некоторые меры с целью задержать Константина, возвращения которого к отцу он не без основания опасался, то все его планы были разрушены необычайной торопливостью Константина. Покинув дворец в Никомедии ночью, он быстро проехал Вифинию, Фракию, Дакию, Паннонию, Италию и Галлию и среди радостных приветствий народа достиг булоньского порта в ту самую минуту, когда его отец готовился к отплытию в Британию.

Британская экспедиция и легкая победа над варварами Каледонии были последними подвигами Констанция. Он кончил жизнь в императорском дворце в Йорке через пятнадцать месяцев после того, как получил титул Августа, и почти через четырнадцать с половиной лет после того, как был возведен в звание Цезаря. Немедленно после его смерти состоялось возведение на пре-

стол Константина. Идеи наследования и преемничества так свойственны нашему уму, что большинство человеческого рода считает их основанными не только на здравом смысле, но и на самой природе вещей. Наше воображение охотно переносит эти принципы с частной собственности на управление государством, и всякий раз, как добродетельный отец оставляет после себя сына, оправдывающего своими личными достоинствами уважение или надежды народа, в пользу этого сына действует с непреодолимой силой совокупное влияние предрассудка и привязанности. Цвет западных армий сопровождал Констанция в Британию, и сверх того национальная армия была усилена многочисленным отрядом алеманнов, находившихся под начальством одного из своих наследственных вождей, — Крока. Приверженцы Константина старались внушить легионам высокое мнение об их силе и убеждение, что Британия, Галлия и Испания одобряют их выбор. Они спрашивали солдат, неужели можно хоть одну минуту колебаться, и вместо того чтобы признать своим вождем достойного сына их возлюбленного императора, с позорной покорностью ожидать прибытия какого-нибудь никому не известного иностранца, на которого угодно будет государю Азии возложить главное начальство над армиями и провинциями Запада? Вместе с тем им намекали на то, что признательность и щедрость занимают выдающееся место между добродетелями Константина. Этот хитрый принц не хотел показываться войскам прежде, нежели они будут готовы приветствовать его как Августа и императора. Престол был целью его желаний, и даже если бы честолюбие менее влияло на его действия, он должен был бы стремиться к этой цели как к единственному средству спасения. Будучи хорошо знаком и с характером, и с чувствами Галерия, он очень хорошо знал, что, для того чтобы жить, ему необходимо царствовать. Приличное и даже упорное сопротивление, которое он притворно выказал по этому случаю, было рассчитано на то, чтобы оправдать его узурпацию, и он тогда только уступил перед громкими возгласами армии, когда у него накопилось достаточно приличного материала для письма, которое он немедленно отправил к восточному императору. Константин уведомлял Галерия о горестной кончине своего отца, скромно заявлял о своем естественном праве наследовать Констанцию и почтительно сожалел о том, что вызванное привязанностью к нему насилие со стороны армии не позволило ему искать императорского достоинства правильным и конституционным путем. Первыми душевными движениями Галерия были удивление, разочарование и ярость, а так как он редко мог сдерживать свои страсти, то он громко пригрозил, что предаст огню и письмо, и посланца. Но его гнев скоро утих, а когда он размыслил о сомнительных шансах войны и взвесил личные достоинства и силы своего соперника, он согласился на сделку, которую Константин имел благоразумие ему предложить. И не порицая, и не одобряя выбора британской армии, Галерий признал сына своего умершего соправителя государем провинций, лежащих по ту сторону Альп, но дал ему только титул Цезаря и четвертое место между римскими монархами, а вакантное место Августа предоставил своему любимцу Северу. Таким образом, внешнее единство империи осталось ненарушенным, а Константин, уже обладавший сущностью верховной власти, стал без нетерпения дожидаться случая, чтобы приобрести и ее внешние отличия.

У Констанция было от второго брака шестеро детей — трое мужского пола и трое женского; благодаря своему высокому происхождению они могли бы заявить свое право на предпочтение перед менее знатным по рождению сыном Елены. Но Константину был тридцать второй год, и он был в полном цвете своих умственных и физических сил, тогда как старшему из его бра-

тьев не могло быть более тринадцати лет. Его притязания на высшие личные достоинства были одобрены умирающим императором. В последние минуты своей жизни Констанций поручил своему старшему сыну заботы как о безопасности, так и о величии всего семейства и умолял его относиться к детям Феодоры с авторитетом и с чувствами отца. Их прекрасное воспитание, выгодные браки, спокойная и окруженная почестями жизнь и высшие государственные должности, которые были их уделом, — все это свидетельствовало о братских чувствах Константина, а так как эти принцы были кроткого нрава и склонны к признательности, то они охотно подчинились превосходству его ума и счастья.

Едва успел Галерий примириться с мыслью, что он должен отказаться от своих честолюбивых видов на галльские провинции, как неожиданная потеря Италии нанесла и его гордости, и его могуществу еще более чувствительный удар. Продолжительное отсутствие императоров возбуждало в Риме всеобщее неудовольствие и негодование, и римляне постепенно пришли к убеждению, что предпочтение, которое оказывалось Никомедии и Милану, следует приписывать не личной склонности Диоклетиана, а установленной им постоянной форме правления. Хотя преемники этого императора и выстроили от его имени через несколько месяцев после его отречения те великолепные бани, развалины которых послужили и местом, и материалом для стольких церквей и монастырей, — спокойствие этих изящных приютов неги и роскоши было нарушено ропотом негодования римлян, между которыми распространился слух, что суммы, истраченные на постройку этого здания, скоро будут взысканы с них самих. Около того времени жадность или, может быть, государственные потребности побудили Галерию предпринять очень тщательное и строгое собрание справок о собственности его подданных с целью обложения налогами как их земельных владений, так и их личности. Осмотр поместий, как кажется, производился с самой мелочной аккуратностью, а когда возникало малейшее подозрение в укрывательстве движимой собственности, то, чтобы вынудить правдивое ее указание, правительство, не стесняясь, прибегало к пытке. На привилегии, возвысившие Италию над всеми провинциями империи, уже перестали обращать внимание, а чиновники государственного казначейства уже начали производить перепись римского населения и определять размеры новых налогов. Даже там, где дух свободы совершенно угас, самые смиренные подданные иногда осмеливались защищать свою собственность от таких посягательств, которым еще не было примера в прошлом; но в настоящем случае к обиде присоединялось оскорбление, а сознание личных интересов было усилено чувством национального достоинства. Завоевание Македонии, как мы уже имели случай заметить, избавило римских жителей от тяжести личных налогов. Хотя они испытали на себе всевозможные формы деспотизма, они не переставали пользоваться этой привилегией около пятисот лет и никак не могли вынести, чтобы дерзкий иллирийский крестьянин мог из своей отдаленной азиатской резиденции причислить Рим к тем городам его империи, которые обложены податями. Эти первые проявления народного негодования нашли если не поощрение, то потачку со стороны сената, а незначительные остатки преторианской гвардии, имевшие полное основание опасаться, что их скоро распустят, воспользовались этим приличным предлогом и заявили о своей готовности обнажить меч на защиту своего угнетенного отечества. Всех граждан воодушевляла мысль, скоро превратившаяся в надежду, что им удастся изгнать из Италии иностранных тиранов и избрать такого монарха, который и по выбору своей резиденции, и по принципам своего управления будет достоин звания

римского императора. Как само имя Максенция, так и его положение направили энтузиазм народа в его пользу.

Максений был сын императора Максимиана и был женат на дочери Галерия. Его происхождение и родственные связи, по-видимому, давали ему право надеяться, что он получит в наследство от своего отца императорское достоинство, но его пороки и неспособность послужили предлогом для того, чтобы лишить его звания Цезаря, в котором было отказано Константину по причине его выдающихся личных достоинств. Из политических соображений Галерий предпочитал таких соправителей, которые не способны ни позорить выбор своего благодетеля, ни противиться его приказам. Поэтому на итальянский престол был возведен ничем не прославившийся чужестранец, а сыну бывшего западного императора было дозволено наслаждаться всеми выгодами его личного богатства на вилле в нескольких милях от столицы. Мрачные страсти его души — стыд, досада и гнев — воспламенились от зависти, которую возбудило в нем известие об успехе Константина; но общее неудовольствие оживило надежды Максенция, и его без труда убедили соединить его личную обиду и его притязания вместе с интересами римского народа. Два преторианских трибуна и один провиантский интендант взялись руководить заговором, а так как люди всех сословий сходились в своих желаниях, то успех предприятия не был ни сомнителен, ни труден. Городской префект и несколько должностных лиц, оставшихся верными Северу, были умерщвлены гвардейцами, а облеченного в императорскую мантию Максенция и сенат, и народ признали за охранителя римской свободы и римского достоинства. Неизвестно, был ли Максимиан заранее уведомлен о том, что замышлялось, но лишь только зная восстания было поднято в Риме, престарелый император покинул уединение, в котором он влачил по воле Диоклетиана свое жалкое существование и постарался скрыть снова заговорившее в нем честолюбие под личиной отцовской привязанности. Уступая просьбам своего сына и сената, он согласился снова принять на себя императорское звание. Его прежнее высокое положение, его опытность и военная слава придали партии Максенция и силу, и блеск.

Поражение и смерть Севера

Император Север, следуя совету или, скорее, исполняя приказание своего соправителя, немедленно направился к Риму в полной уверенности, что своим неожиданным появлением он без труда подавит мятеж робкого населения, руководимого распутным юношей. Но по прибытии на место он нашел, что городские ворота заперты, что городские стены покрыты людьми и военными машинами, что во главе бунтовщиков находится опытный генерал, а что у его собственных войск нет ни бодрости, ни рвения. Значительный отряд мавров, прельстившись обещанной ему щедрой денежной наградой, перешел на сторону неприятеля, и — если правда, что он был организован Максимианом во время его африканской экспедиции, — предпочел естественные чувства признательности искусственным узам обещанной под присягой верности. Преторианский префект Анулин объявил, что принимает сторону Максенция и увлек вслед за собой большую часть тех войск, которые привыкли исполнять его приказания. Рим, по выражению одного оратора, снова призвал к себе свои армии, а несчастный Север, у которого не было ни достаточных военных сил для нападения, ни умения взяться за дело, поспешно отступил или, скорее, бежал в Равенну. Здесь он мог некоторое время считать себя в безопасности. Укрепления Равенны были достаточно сильны, чтобы выдержать нападения итальянской армии,

а окружавшие город болота могли воспрепятствовать ее приближению. Море, над которым господствовал Север благодаря находившемуся в его распоряжении могущественному флоту, обеспечивало ему неистощимый подвоз провианта и свободный доступ для легионов, которые пришли бы к нему на помощь с наступлением весны и из Иллирии, и с Востока. Максимиан, лично руководивший осадой, скоро убедился, что он напрасно будет тратить и свое время, и силы своей армии на бесплодное предприятие и что нет надежды взять город ни силой, ни голодом. С хитростью, более свойственной характеру Диоклетиана, нежели его собственному, он направил свое нападение не столько на городские стены Равенны, сколько на ум Севера. Измена, с которой этот несчастный монарх познакомился на своем собственном опыте, внушала ему недоверие к самым искренним его друзьям и приверженцам. Поэтому лазутчики Максимиана, пользуясь его легковерием, без большого труда уверили его, что против него составлен заговор с целью сдать город осаждающим; а пользуясь его трусливостью, они убедили его, что он поступит гораздо благоразумнее, если положится на условия приличной капитуляции, вместо того чтобы попасть в руки раздраженного победителя. Сначала с ним обошлись мягко и почтительно. Максимиан отвез пленного императора в Рим и самым положительным образом уверял его, что он спас свою жизнь тем, что отказался от императорского достоинства. Но Север достиг этим путем только более легкой смерти и императорских похорон. Когда ему был объявлен смертный приговор, ему было предоставлено выбрать способ его исполнения: он предпочел, по примеру древних, вскрыть вены, и лишь только он испустил дух, его труп был перенесен в склеп, устроенный для семейства Галлиена.

Хотя между характерами Константина и Максенция было очень мало сходства, положение этих монархов и их интересы были одни и те же, и благоразумие, по-видимому, требовало, чтобы они соединили свои силы против общего врага. Неутомимый Максимиан, несмотря на то что он был старше и по своим летам, и по своему рангу, перешел через Альпы, чтобы искать личного свидания с повелителем Галлии и предложить ему свою дочь Фаусту в залог предлагаемого союза. Бракосочетание было отпраздновано в Арелате с необыкновенной пышностью, и старый соправитель Диоклетиана, снова заявивший свои права на Западную империю, возвел своего зятя и союзника в звание Августа. Тем, что Константин согласился принять это отличие от Максимиана, он как будто принял сторону Рима и сената, но все его заявления были двусмысленными, а оказанное им содействие было и неторопливо и нерешительно. Он со вниманием следил за приготовлениями к борьбе между повелителями Италии и восточным императором и готовился поступить в ее исходе сообразно с требованиями своей собственной безопасности или своего честолюбия.

Важность предстоявшей войны требовала личного присутствия Галерия и употребления в дело всех его материальных средств. Во главе громадной армии, набранной в Иллирии и на Востоке, он вступил в Италию с намерением отомстить за смерть Севера и наказать мятежных римлян, или, по собственному выражению этого свирепого варвара, с целью истребить сенаторов и предать мечу весь римский народ. Но искусный Максимиан задумал очень благоразумный план обороны. Вторгнувшийся в Италию неприятель нашел все города укрепленными и неприступными, и хотя он проник до Парни на расстояние шестидесяти миль от Рима, его господство над Италией ограничивалось узкими пределами его лагеря. Сознывая возрастающие трудности предприятия, надменный Галерий сделал первые шаги к примирению. По его поручению двое из

самых высших его генералов предложили от его имени римским монархам личное свидание; они постарались также уверить Максенция, что Галерий питает к нему отеческое расположение и что он может получить от великодушия монарха гораздо более выгод, нежели от сомнительных случайностей войны. Предложения Галерия встретили решительный отказ, а его коварная дружба была отвергнута с презрением, и ему скоро пришлось убедиться что, если он не поспешит вовремя спастись отступлением, его может постигнуть такая же участь, какая выпала на долю Севера. Чтобы ускорить его гибель, римляне охотно тратили те богатства, которые им удалось уберечь от его хищнической тирании. И слава Максимиана, и популярность его сына, и тайная раздача больших денежных сумм, и обещание еще более щедрых наград — все это способствовало тому, чтобы ослабить рвение иллирийских легионов и поколебать их преданность Галерию, так что, когда Галерий наконец подал сигнал к отступлению, он не без труда убедил своих ветеранов не покидать знамени, которое так часто указывало им путь к победе и славе. Один писатель того времени указывает на другие две причины неудачного исхода этой экспедиции, но обе они таковы, что осмотрительный историк едва ли решится придать им серьезное значение. Нам рассказывают, будто Галерий составил себе весьма неверное понятие о величине Рима, потому что судил о ней по тем восточным городам, которые были ему знакомы, а когда он увидел свою ошибку, он понял, что его военные силы недостаточны для осады такой обширной столицы. Но обширность города лишь облегчает доступ к нему для неприятеля; к тому же Рим давно уже привык сдаваться при приближении неприятеля, а скоропреходящий народный энтузиазм едва ли мог бы долго бороться с дисциплиной и храбростью легионов. Нам также рассказывают, будто сами легионы были поражены ужасом и угрызениями совести, и что эти преданные сыны республики не захотели оскорблять святость своей общей матери. Но когда мы вспоминаем, с какой легкостью в самые отдаленные эпохи междоусобных войн усердие партий и привычки военного повиновения превращали уроженцев Рима в самых беспощадных его врагов, нам кажется неправдоподобной такая необыкновенная деликатность со стороны чужестранцев и варваров, ни разу не видавших Италии до той минуты, когда они вступили в нее врагами. Если бы их не удерживали другие, более эгоистические соображения, они, вероятно, ответили бы Галерию словами Цезаревых ветеранов: «Если нашему генералу угодно вести нас на берега Тибра, мы готовы раскинуть там наш лагерь. Какие бы стены он ни пожелал сравнять с землей, наши руки готовы пустить в ход военные машины; мы не стали бы колебаться даже в том случае, если бы имя этого города было Рим». Правда, это сказал поэт, но этот поэт отличался тем, что строго держался исторической истины и даже навлек на себя обвинения в том, что не позволял себе уклоняться от нее.

О том, какими чувствами были воодушевлены легионы Галерия, можно было судить по тем опустошениям, которые совершались ими во время их отступления. Они убивали, разоряли, грабили и угоняли стада италийцев. Они жгли селения, через которые проходили, и старались разорить страну, которую не были в состоянии поработить. Во время их отступления Максенций постоянно следовал по пятам за их арьергардом, но благоразумно уклонялся от решительного сражения с этими храбрыми и свирепыми ветеранами. Его отец предпринял вторичную поездку в Галлию в надежде, что Константин, собравший армию на границе, согласится принять участие в преследовании неприятеля и довершить победу. Но действиями Константина руководил рассудок, а не жажда мщения. Он не захотел отступить от благоразумной решимости

поддерживать равновесие между враждующими монархами и перестал ненавидеть Галерия с той минуты, как этот честолюбивый государь сделался неспособным наводить страх.

Шесть императоров

Хотя душа Галерия была в высшей степени доступна для самых свирепых страстей, в ней все-таки оставалось место для чувства искренней и прочной привязанности. Лициний, отчасти походивший на него и наклонностями, и характером, как кажется, пользовался его дружбой и уважением. Их дружеская связь зародилась, быть может, в более счастливые для них времена юности и политического ничтожества; ее скрепили фамильярные отношения и опасности военной жизни; они почти равными шагами возвышались по лестнице служебных отличий, и лишь только Галерий был возведен в звание императора, он, как кажется, задумал возвысить своего товарища до одинакового с ним самим положения. В течение непродолжительного периода своего могущества он считал звание Цезаря не достаточно высоким для лет и достоинств Лициния и предназначил для него место Константина и Западную империю. В то время как он сам был занят италийской войной, он поручил своему приятелю оборону Дуная, а немедленно после своего возвращения из этой неудачной экспедиции возвел Лициния на императорский престол, оказавшийся вакантным со смертью Севера, предоставив ему вместе с тем непосредственное начальство над иллирийскими провинциями. Лишь только известие о возвышении Лициния достигло Востока, Максимин, который управлял Египтом и Сирией или, вернее, угнетал эти страны, обнаружил зависть и неудовольствие, не захотел довольствоваться более скромным положением Цезаря и, несмотря ни на просьбы, ни на убеждения Галерия, почти силой заставил этого последнего дать ему также титул Августа. Таким образом, в первый раз и, как впоследствии оказалось, в последний раз Римская империя управлялась шестью императорами. На Западе Константин и Максенций делали вид, будто преклоняются перед верховенством своего отца Максимиана. На Востоке Лициний и Максимин чтили с большей искренностью своего благодетеля Галерия. Противоположность интересов и воспоминание о недавней войне разделяли империю на два громадных и враждебных один другому лагеря; но взаимные опасения соперников привели к кажущемуся спокойствию и даже к притворному примирению, пока смерть старших императоров — Максимиана и в особенности Галерия, не дала нового направления целям и страстям оставшихся в живых их соправителей.

Когда Максимиан поневоле отказался от престола, продажные ораторы того времени восхваляли его философскую умеренность. Когда его честолюбие вызвало или, по меньшей мере, поддержало междоусобную войну, они благодарили его за великодушный патриотизм и слегка упрекали за ту склонность к спокойствию и уединению, которая отвлекла его от общественной деятельности. Но от таких людей, как Максимиан и его сын, нельзя было ожидать, чтобы при пользовании нераздельной властью они долго жили во взаимном согласии. Максенций считал себя законным государем Италии, избранным римским сенатом и народом, и не хотел выносить контроля со стороны своего отца, который надменно уверял, что только благодаря его имени и дарованиям удалось безрассудному юноше достигнуть престола. Этот спор был предоставлен на решение преторианской гвардии, а так как эти войска боялись строгости старого императора, то они приняли сторону Максенция. Впрочем, ни на жизнь, ни на свободу Максимиана не было сделано никакого посягательства; он удалился из Италии в Иллирию, притворяясь, будто сожалеет о своем прошлом поведении,

и втайне замышлял новые заговоры. Но Галерий, хорошо зная его характер, заставил его удалиться из своих владений; тогда для обманутого в своих надеждах Максимиана не осталось другого убежища, кроме двора его зятя Константина. Этот хитрый государь принял его с уважением, а императрица Фауста — с выражениями дочерней привязанности. Чтобы отстранить от себя всякие подозрения, он вторично отрекся от престола, уверяя, что он наконец убедился в суете честолюбия и земного величия. Если бы он не изменил этого решения, он, может быть, кончил бы свою жизнь, правда, с меньшим достоинством, нежели в своем первом уединении, но, во всяком случае, среди комфорта и без позора. Но вид престола, к которому он был так близок, напоминал ему о том высоком положении, которое он утратил, и он решился на последнюю отчаянную попытку с тем, чтобы или царствовать, или погибнуть. Вторжение франков заставило Константина отправиться на берега Рейна с одной частью его армии; остальные войска были расположены в южных провинциях Галлии с целью охранения их от всяких попыток со стороны италийского императора, а в городе Арелате было сложено значительное сокровище. Максимиан или коварно выдумал, или торопливо поддержал неосновательный слух о смерти Константина. Не колеблясь ни минуты, он вступил на престол, захватил сокровища и, рассыпая их со своей обычной расточительностью между солдатами, постарался оживить в их умах воспоминания о своем прежнем величии и о своих прежних подвигах. Но прежде чем он успел прочно утвердить свою власть и окончить переговоры, которые он, как кажется, завел со своим сыном Максенцием, все его надежды были разрушены быстрым появлением Константина. При первом известии о его вероломстве и неблагодарности Константин возвратился усиленными переходами от берегов Рейна к берегам Сены, сел на суда в Шалонне, достиг Лиона и, вверившись быстрому течению Роны, прибыл к воротам Арелата с такими военными силами, против которых Максимиан не был в состоянии бороться и от которых он едва успел укрыться в соседнем городе Марселе. Узкая полоса земли, соединявшая этот город с континентом, была защищена от осаждающих укреплениями, а море оставалось открытым или для бегства Максимиана, или для прибытия подкреплений от Максенция в случае, если бы этот последний вздумал вторгнуться в Галлию под благовидным предлогом защитить своего отца от беды или от оскорблений. Предвидя, что всякая проволочка может иметь пагубные последствия, Константин дал приказание взять город приступом; но штурмовые лестницы оказались слишком короткими сравнительно с высотой стен, и Марсель мог бы выдержать такую же длинную осаду, какую он уже выдержал против армии Цезаря, если бы гарнизон из сознания или своей вины, или своей опасности не купил себе помилование тем, что сдал город и выдал самого Максимиана. Против узурпатора был произнесен тайный, но безапелляционный смертный приговор; ему оказана была только такая же милость, какую он сам оказал Северу, а в общее сведение было объявлено, что, мучимый раскаянием в своих многочисленных преступлениях, он задушил себя своими собственными руками. После того как он лишился поддержки Диоклетиана и стал пренебрегать его благоразумными советами, его жизнь была рядом общественных бедствий и личных для него унижений, окончившихся почти через три года позорной смертью. Он был достоин такой участи, но мы имели бы еще более оснований одобрять человеколюбие Константина, если бы он пощадил старика, который был благодетелем его отца и отцом его жены. Во время всех этих печальных происшествий Фауста, как кажется, приносила в жертву своим супружеским обязанностям природное чувство дочерней привязанности.

Последние годы Галерия были менее позорны и менее несчастны, и, хотя он приобрел более славы на второстепенном посту Цезаря, нежели на верховном посту Августа, он сохранил до самой смерти первое место между римскими монархами. После своего отступления из Италии он прожил около четырех лет; благоразумно отказавшись от своих видов на всемирное владычество, он посвятил остальные дни своей жизни наслаждениям и некоторым предприятиям, задуманным для общественной пользы; между прочим, он устроил спуск в Дунай излишних вод озера Нельсо и приказал срубить окружавшие это озеро громадные леса; это было предприятие, достойное монарха, так как этим способом он доставил своим паннонийским подданным громадные пространства земли, годной для земледелия. Его смерть была последствием очень мучительной и продолжительной болезни. Его тело, раздувшееся до уродливой толщины вследствие его невоздержанного образа жизни, было покрыто язвами и бесчисленным множеством тех насекомых, по имени которых называется одна из самых отвратительных болезней; но так как Галерий оскорбил своих подданных в лице одной очень деятельной и очень сильной партии, то его страдания, вместо того чтобы возбуждать в них сожаление, выдавались ими за наказание, ниспосланное божеским правосудием. Лишь только он испустил дух в своем дворце, в Никомедии, оба императора, обязанные ему своим возвышением, стали собирать свои военные силы с целью оспаривать или разделить владения, которые он оставил без повелителя. Впрочем, их убедили отказаться от первого из этих намерений и удовольствоваться вторым. Азиатские провинции выпали на долю Максимиана, а европейские увеличили удел Лициния. Геллеспонт и Фракийский Босфор образовали границу их владений, и потому берега этих узких проливов, находившихся в самом центре Римской империи, покрылись солдатами, оружием и укреплениями. Со смертью Максимиана и Галерия число императоров уменьшилось до четырех. Общие интересы скоро сблизили Лициния с Константином, между Максимином и Максенцием был заключен тайный союз, а их несчастные подданные с ужасом ожидали кровавых последствий неизбежных между ними раздоров, которые уже не могли сдерживаться тем страхом или тем уважением, которые внушал этим императорам Галерий.

Управление Константина в Галлии

Среди стольких преступлений и бедствий, вызванных страстями римских монархов, приятно найти хоть один поступок, который можно приписать их добродетелям. На шестом году своего царствования Константин посетил город Отён и великодушно простил податную недоимку, вместе с тем облегчив тяжесть податного обложения: число лиц, уплачивавших налоги на недвижимые имущества и поголовную подать, было уменьшено с двадцати пяти до восемнадцати. Впрочем, даже эта снисходительность служит самым неоспоримым доказательством общей нищеты. Этот налог был так обременителен или сам по себе, или по способу его взимания, что, в то время как правительство старалось увеличить свои доходы путем насилия, они уменьшались вследствие отчаянного положения, в котором находилось население: значительная часть отэнской территории оставалась невозделанной, а население предпочитало жить в изгнании и отказаться от покровительства законов, нежели выносить бремя общественных обязанностей. Этим частным актом благотворительности великодушный император, по всей видимости, только облегчил одно из многочисленных зол, которые были последствием общих принципов его управления. Но даже эти принципы были внушены скорее необходимостью, чем предпо-

чением, и если исключить смерть Максимиана, то царствование Константина в Галлии окажется самым невинным и даже добродетельным периодом его жизни. Провинции охранялись его присутствием от вторжений варваров, которые или боялись его предприимчивого мужества, или уже испытали его на себе. После одной решительной победы над франками и алеманнами попавшие в плен варварские князья были отданы по его приказанию на съедение диким зверям в трирском амфитеатре, а народ, как кажется, наслаждался этим зрелищем, не замечая в таком обхождении со знатными пленниками ничего несогласного с правами народов или с законами человеколюбия.

Тирания Максенция в Италии и Африке

Добродетели Константина приобрели особый блеск благодаря порокам Максенция. В то время как галльские провинции наслаждались таким благоденствием, какое только было возможно в условиях того времени, Италия и Африка страдали под управлением тирана, внушавшего и презрение, и отвращение. Правда, усердие льстецов и дух партий слишком часто жертвовали репутацией побежденных для возвеличения их счастливых соперников; но даже те писатели, которые без всякого стеснения и с удовольствием подмечали ошибки Константина, единогласно сознавались, что Максенций был жестокосерден, жаден и развратен. Фортуна доставила ему случай подавить незначительное восстание в Африке. Единственными виновными были губернатор и несколько человек из числа его приверженцев, но за их преступление поплатилась вся провинция. Цветущие города Цирта и Карфаген, а вместе с ними и вся эта плодородная страна были опустошены огнем и мечом. За злоупотреблением победой последовало злоупотребление законами и справедливостью. Многочисленная армия наушников и доносчиков нахлынула на Африку; люди, богатые и знатные, были без труда изобличены в сообщничестве с бунтовщиками, а те из них, которым император оказал свое милосердие, были наказаны только конфискацией их имений. Столь блестящая победа была отпразднована великолепным триумфом, и Максенций выставил перед народом военную добычу и пленников из римской провинции. Положение столицы было не менее достойно сожаления, чем положение Африки. Богатства Рима служили неисчислимым запасом для его безрассудной расточительности, а его чиновники, заведывавшие государственной казной, были очень искусны в деле обирания его подданных. В его царствование был впервые выдуман способ вымогать от сенаторов добровольные приношения, а так как размер этих приношений незаметным образом все увеличивался, то и поводы для их взимания, как-то: победа, рождение принца, бракосочетание или консульство монарха, умножались в такой же пропорции. Максенций питал к сенату такую же непримиримую ненависть, какая была отличительной чертой у большинства римских тиранов; к тому же его неблагодарное сердце было неспособно простить сенату ту великодушную преданность, которая возвела его на престол и помогла ему устоять против всех его врагов. Жизнь сенаторов зависела от его придиричливой подозрительности, а бесчестие их жен и дочерей придавало в его глазах особую прелесть удовлетворению его чувственных влечений. Нетрудно поверить, что влюбленному императору редко приходилось вздыхать понапрасну; но всякий раз, как убеждения оказывались недействительными, он прибегал к насилию, и в истории упоминается только об одном достопамятном примере благородной матроны, сохранившей свое целомудрие добровольной смертью. Солдаты составляли единственный разряд людей, к которому он, по-видимому, питал уважение или которому он старался нравиться. Он наполнил Рим и Италию

войсками, втайне поощрял их буйства, не мешал им безнаказанно грабить и даже убивать беззащитных жителей, и, позволяя им такие же беспутства, какие совершал сам, нередко награждал своих любимцев или великолепной виллой, или красивой женой какого-нибудь сенатора. Государь с таким характером, одинаково неспособный повелевать и в мирное время, и на театре войны, мог купить преданность армии, но никак не мог приобрести ее уважения. А между тем его гордость ни в чем не уступала другим его порокам. В то время как он влачил свою праздную жизнь или внутри своего дворца, или в соседних садах Саллюстия, он неоднократно утверждал, что он один — император, а что остальные монархи не более как его наместники, которым он поручил охрану пограничных провинций для того, чтобы сам он мог без всякой помехи наслаждаться удобствами столичной жизни. Рим, так долго сожалевший об отсутствии своего государя, считал это присутствие величайшим для себя несчастьем в течение всех шести лет царствования Максенция.

Междоусобная война между Константином и Максенцием

Хотя Константин, быть может, и смотрел на поведение Максенция с отвращением, а на положение римлян с состраданием, мы не имеем никакого основания предполагать, что он взялся бы за оружие с целью наказать первого и облегчить участь последних. Но тиран Италии опрометчиво дерзнул вызвать на бой сильного врага, честолюбие которого до тех пор сдерживалось скорей внушениями благоразумия, чем принципами справедливости. После смерти Максимиана все его титулы, согласно с установленным обыкновением, были уничтожены, а все его статуи были с позором низвергнуты. Его сын, преследовавший его и покинувший его во время его жизни, стал выказывать самое благоговейное уважение к его памяти и дал приказание, чтобы точно так же было поступлено со всеми статуями, воздвигнутыми в Италии и Африке в честь Константина. Этот благоразумный государь, искренно желавший избежать войны, трудности и важность которой он очень хорошо понимал, сначала скрывал нанесенное ему оскорбление и попытался добиться удовлетворения путем переговоров; но он скоро убедился, что враждебные и честолюбивые замыслы итальянского императора ставят его в необходимость взяться за оружие для своей собственной защиты. Максенций, открыто заявлявший свои притязания на всю западную монархию, уже приготовил значительные военные силы, чтобы напасть на галльские провинции со стороны Реции, и, хотя он не мог ожидать никакого содействия со стороны Лициния, он льстил себя надеждой, что иллирийские легионы, прельстившись его подарками и обещаниями, покинут знамена этого государя и единодушно станут в ряды его солдат и подданных. Константин не колебался более. Он все взвесил с осмотрительностью и стал действовать с энергией. Он дал частную аудиенцию послам, приехавшим умолять его от имени сената и народа об избавлении Рима от ненавистного тирана, и, не вникая робким возражениям своих советников, решил предупредить врага и перенести войну в сердце Италии.

Насколько успех такого предприятия мог быть блестящим, настолько были велики и сопряженные с ним опасности, а неудачный исход двух прежних вторжений внушал самые серьезные опасения. В этих двух войнах ветераны, чтившие имя Максимиана, перешли на сторону его сына, а теперь и чувство чести, и личные интересы отстраняли от них всякую мысль о вторичной измене своему знамени. Максенций, считавший преторианскую гвардию за самую надежную опору своего престола, увеличил ее численный состав до его старинных размеров, так что в совокупности с другими итальянцами, поступившими

к нему на службу, она составляла сильную армию из восьмидесяти тысяч человек. Со времени подчинения Африки там были набраны сорок тысяч мавров и карфагенян. Даже Сицилия доставила свою долю военных сил, и размеры армии Максенция в конце концов достигли ста семидесяти тысяч пехоты и восемнадцати тысяч кавалерии. Богатства Италии покрывали расходы войны, а соседние провинции были истощены поборами для устройства громадных запасов хлеба и провианта всякого рода. Все силы Константина заключались в девяносто тысяч пехоты и восьми тысячах кавалерии, а так как защита Рейна требовала чрезвычайного внимания во время отсутствия императора, то он не мог вести в Италию более половины своих войск, если только не хотел приносить общественную безопасность в жертву своей личной ссоре. Во главе почти сорока тысяч солдат он выступил против такого врага, силы которого превышали его собственные, по меньшей мере, вчетверо. Но римские армии несли службу вдали от опасностей и были обессилены распущенностью дисциплины и роскошью. Привыкшие пользоваться римскими банями и театрами, они выступили в поход неохотно, а состояли они большей частью или из ветеранов, почти совершенно отвыкших от употребления оружия, или из молодых рекрутов, и прежде никогда не умевших им владеть. Напротив того, бесстрашные галльские легионы долго обороняли границы империи от северных варваров и, неся эту тяжелую службу, упражняли свое мужество и укрепляли свою дисциплину. Вожди отличались друг от друга тем же, чем отличались одна от другой их армии. Прихоть и лень навели Максенция на мысль о завоеваниях, но эти честолюбивые надежды скоро уступили место привычке к наслаждениям и сознанию своей неопытности, а неустрашимый Константин с юношеских лет привык к войне, к деятельной жизни и к военному командованию.

Когда Ганнибал двинулся из Галлии в Италию, он должен был сначала отыскать, а затем расчистить путь в горы, в которых жили дикие племена, никогда не дававшие прохода регулярным армиям. В то время Альпы охранялись самой природой; теперь они укреплены искусством. Форты, на сооружение которых потрачено не менее искусства, чем труда и денег, господствуют над каждым из выходов на равнину и делают Италию со стороны Франции почти недоступной для врагов короля Сардинии. Но до того времени, когда были приняты такие предосторожности, генералы, пытавшиеся перейти горы, редко встречали какое-либо затруднение или сопротивление. Во времена Константина жившие в горах крестьяне принадлежали к числу цивилизованных и покорных подданных, страна доставляла в изобилии съестные припасы, а великолепные большие дороги, проведенные римлянами через горы, открывали несколько путей для сообщений между Галлией и Италией. Константин избрал дорогу через Коттийские Альпы, или, как их теперь называют, Мон-Сени, и повел свои войска с такой быстротой, что ему удалось спуститься в Пьемонтскую равнину прежде, нежели при дворе Максенция было получено положительное известие о том, что он покинул берега Рейна. Впрочем, лежащий у подножия Мон-Сени город Сузы был обнесен стенами и снабжен гарнизоном, который был достаточно многочислен, чтобы остановить дальнейшее движение неприятеля; но войска Константина не имели достаточно терпения, чтобы заниматься скучными формальностями осады. В тот же день, как они появились перед Сузами, они подожгли городские ворота, приставили к стенам лестницы и, бросившись на приступ среди града камней и стрел, проникли в город с мечом в руке и перерезали большую часть гарнизона. По приказанию Константина пламя было потушено и то, что уцелело от пожара, было спасено от неминуемого разрушения. Почти в сорока милях оттуда его ожидала более трудная

борьба. Генералы Максенция собрали в равнинах близ Турина многочисленную армию, состоявшую из италийцев. Ее главная сила заключалась в тяжелой кавалерии, организацию которой римляне со времени упадка у них военной дисциплины заимствовали от восточных народов. И лошади, и люди были покрыты с головы до ног броней, составные части которой были так искусно связаны между собой, что она не стесняла свободы движений. Эта кавалерия имела очень грозный внешний вид, и казалось, что нет возможности устоять против ее нападения; ее начальники выстроили ее на этот раз густой колонной или клином, с острой вершиной и с далеко распространяющимися по бокам крыльями, и воображали, что они легко сомнут и растопчут армию Константина. Их план, может быть, и увенчался бы успехом, если бы их опытный противник не придерживался такого же способа обороны, к какому прибегнул в подобных обстоятельствах Аврелиан. Искусные маневры Константина заставили эту массивную колонну кавалерии разделиться на части и привели ее в расстройство. Войска Максенция бежали в беспорядке к Турину, а так как они нашли городские ворота закрытыми, лишь небольшая их часть спаслась от меча победителей. В награду за эту важную услугу Константин мягко обошелся с Турином и даже выказал ему свое милостивое расположение. Затем он вступил в миланский императорский дворец, и почти все города Италии, лежащие между Альпами и По, не только признали над собой его власть, но и с усердием приняли его сторону.

Дороги Эмилиева и Фламиниева представляли удобный путь из Милана в Рим длиной почти в четыреста миль; но хотя Константин и горел нетерпением сразиться с тираном, благоразумие заставило его направить военные действия против другой италийской армии, которая и по своей силе, и по своему положению была способна или остановить его наступательные движения, или, в случае неудачи, пресечь ему путь к отступлению. Храбрый и даровитый генерал Руриций Помпейян начальствовал над городом Вероной и над всеми войсками, расположенными в Венецианской провинции. Лишь только он узнал, что Константин выступил против него, он отрядил большой отряд кавалерии, который был разбит подле Бресшии и который галльские легионы преследовали до самых ворот Вероны. Проницательный ум Константина тотчас понял и необходимость, и важность, и трудность осады Вероны. Город был доступен только через узкий полуостров, находившийся на западной его стороне, так как три другие его стороны были защищены Адиджем — быстрой рекой, прикрывавшей Венецианскую провинцию, которая служила для осажденных неистощимым запасом людей и съестных припасов. Только с большим трудом и после нескольких бесплодных попыток удалось Константину перейти реку в некотором расстоянии от города и в таком месте, где течение было менее быстро. Вслед за тем он окружил Верону сильными окопами, повел атаку с благоразумной энергией и отразил отчаянную вылазку Помпейяна. Когда этот неустрашимый генерал истощил все средства для обороны, какие доставляла ему сила крепости и гарнизона, он тайне покинул Верону не ради своей личной безопасности, а для общей пользы. С невероятной скоростью он собрал такую армию, которая была в состоянии сразиться с Константином в случае, если бы он вышел в открытое поле, или напасть на него в случае, если бы он упорно не выходил из своих окопов. Император внимательно следил за всеми движениями столь опасного врага и, узнав о его приближении, оставил часть своих легионов для продолжения осадных работ, а сам выступил навстречу к генералу Максенция во главе тех войск, на мужество и преданность которых он мог всего более полагаться. Галль-

ская армия выстроилась в две линии, согласно с общепринятыми правилами военной тактики; но ее опытный начальник, заметив, что итальянская армия многочисленнее его собственной, внезапно изменил расположение своих войск и, укоротив вторую линию, расширил фронт первой линии до одинакового размера с неприятельским. Такие эволюции могут быть без замешательства исполнены в минуту опасности только самыми испытанными войсками и обыкновенно имеют решающее влияние на исход битвы; но так как сражение началось к концу дня и продолжалось с большим упорством в течение всей ночи, то его исход зависел не столько от искусства генералов, сколько от храбрости солдат. Первые лучи восходящего солнца осветили победу Константина и поле резни, покрытое несколькими тысячами побежденных итальянцев. Генерал Помпейян оказался в числе убитых, Верона немедленно сдалась на произвол победителя, а гарнизон был взят в плен. Когда генералы победоносной армии приносили своему повелителю поздравления с этим важным успехом, они позволили себе почтительно выразить такие сетования, которые мог бы выслушать без неудовольствия самый заботливый о своем достоинстве монарх. Они упрекнули его за то, что, не довольствуясь исполнением всех обязанностей главнокомандующего, он подвергал опасности свою жизнь с такой чрезмерной храбростью, которая почти переходила в опрометчивость, и умоляли его впредь более заботиться о сохранении жизни, которая была необходима для блага Рима и всей империи.

В то время как Константин выказывал на поле брани свое искусство и мужество, итальянский монарх, по-видимому, оставался равнодушным к бедствиям и опасностям междоусобной войны, свирепствовавшей в самом центре его владений. Наслаждения были по-прежнему единственным занятием Максенция. Скрывая или, по крайней мере, стараясь скрыть от публики несчастья, постигшие его армию, он предавался ни на чем не основанному чувству самоуверенности и откладывал меры предосторожности против приближавшейся беды, нисколько не замедляя этим наступления самой беды. Быстрое приближение Константина едва могло пробудить его из пагубного усыпления: он льстил себя надеждой, что хорошо известная его щедрость и величие римского имени, уже спасшие его от двух неприятельских нашествий, по-прежнему без всяких затруднений рассеют мятежную галльскую армию. Опытные и искусные офицеры, служившие под начальством Максимиана, наконец были вынуждены сообщить его изнеженному сыну о неизбежной опасности, которая ему угрожала; выражаясь с такой свободой, которая и удивила его, и убедила, они настаивали на том, чтобы он предотвратил свою гибель, с энергией употребив в дело все силы, какими мог располагать. Ресурсы Максенция и в солдатах, и в деньгах еще были очень значительны. Преторианская гвардия сознавала, как крепко связаны ее собственные интересы и безопасность с судьбой ее повелителя. Сверх того скоро была собрана третья армия, более многочисленная, чем те, которые были потеряны в битвах при Турине и Вероне. Император и не думал принимать личное начальство над своими войсками. Так как он не имел никакой опытности в военном деле, то он дрожал от страха при одной мысли о такой опасной борьбе, а так как страх обыкновенно внушает склонность к суеверию, то он с грустным вниманием прислушивался к предзнаменованиям, которые, по-видимому, грозили опасностью для его жизни и для его империи. Наконец, стыд заменил ему мужество и заставил его взяться за оружие. Он был не в состоянии выносить от римского населения выражений презрения. Цирк оглашался криками негодования, а народ, шумно окружавший ворота дворца, жаловался на малодушие своего беспечного государя и превозносил геройское

мужество Константина. Перед своим отъездом из Рима Максенций обратился за советами к сибилле. Хранители этого древнего оракула были столько же опытни в мирских делах, сколько они были несведущи в том, что касается тайн человеческой судьбы, а потому они и дали Максенцию такой ловкий ответ, который можно было применить к обстоятельствам и который не мог уронить их репутации, каков бы ни был исход войны.

Победа Константина

Быстроту успехов Константина сравнивали с быстрым завоеванием Италии первым из Цезарей; это лестное сравнение не противоречит исторической истине, так как между взятием Вероны и окончательной развязкой войны прошло не более пятидесяти восьми дней. Константин постоянно опасался, чтобы тиран не послушался внушений страха или благоразумия и не заперся в Риме, вместо того чтобы возложить свои последние надежды на успех генерального сражения; в таком случае обильные запасы провианта оградили бы Максенция от опасности голода, а Константин, вынужденный по своему положению спешить с окончанием войны, был бы поставлен в печальную необходимость разрушать огнем и мечом столицу, которую он считал высшей наградой за свою победу и освобождение которой послужило мотивом или, по правде сказать, скорее предлогом для междоусобной войны. Поэтому, когда он достиг Красных скал (*Saxa Rubra*), находящихся почти в девяти милях от Рима, и увидел армию Максенция, готовую вступить с ним в бой, он был столько же удивлен, сколько обрадован. Широкий фронт этой армии занимал обширную равнину, а ее глубокие колонны достигали берегов Тибра, который защищал ее тыл и препятствовал ее отступлению. Нас уверяют, и нам нетрудно поверить, что Константин расположил свои войска с замечательным искусством и что он выбрал для самого себя почетный и опасный пост. Отличаясь от всех блеском своего вооружения, он лично атаковал кавалерию своего противника, и эта страшная атака решила исход сражения. Кавалерия Максенция состояла преимущественно или из неповоротливых латников, или из легко вооруженных мавров и нумидийцев. Она не могла выдержать натиска галльских кавалеристов, которые превосходили первых своей изворотливостью, а вторых — своей тяжестью. Поражение обоих флангов оставило пехоту без всякого прикрытия, и недисциплинированные итальянцы стали охотно покидать знамена тирана, которого они всегда ненавидели и которого перестали бояться. Преторианцы, сознававшие, что их преступления не из таких, которые прощаются, были воодушевлены желанием мщения и отчаянием. Но, несмотря на неоднократно возобновляемые усилия, эти храбрые ветераны не могли вернуть победу; однако они умерли славной смертью, и было замечено, что их трупы покрывали то самое место, на котором были выстроены их ряды. Тогда смятение сделалось всеобщим, и преследуемые неумолимым врагом войска Максенция стали тысячами бросаться в глубокие и быстрые воды Тибра. Сам император попытался вернуться в город через Мильвийский мост, но масса людей, теснившихся в этом узком проходе, толкнула его в реку, где он тотчас утонул от тяжести своих лат. Его труп, очень глубоко погружившийся в тину, был с трудом отыскан на следующий день. Когда его голова была выставлена перед глазами народа, все убедились в своем избавлении и стали встречать с выражениями преданности и признательности счастливого Константина, таким образом завершившего, благодаря своему мужеству и дарованиям, самое блестящее предприятие своей жизни.

В том, как воспользовался Константин своей победой, нет основания ни восхвалять его милосердие, ни порицать его за чрезмерную жестокость. Он поступил с побежденными точно так же, как было бы поступлено и с его семейством, если бы он потерпел поражение: он казнил смертью двух сыновей тирана и позаботился о совершенном истреблении его рода. Самые влиятельные приверженцы Максенция должны были ожидать, что им придется разделить его участь точно так же, как они делили с ним его наслаждения; но когда римский народ стал требовать новых жертв, победитель имел достаточно твердости и человеколюбия, чтобы устоять против раболепных требований, внушенных столько же лостью, сколько жаждой мщения. Доносчики подвергались наказаниям и должны были умолкнуть, а люди, невольно пострадавшие при тиране, были возвращены из ссылки и обратно получили свои поместья. Общая амнистия успокоила умы и обеспечила пользование собственностью и в Италии, и в Африке. Когда Константин в первый раз почтил сенат своим присутствием, он в скромной речи указал на свои собственные заслуги и военные подвиги, уверял это высокое сословие в своем искреннем уважении и обещал возратить ему прежнее значение и старинные привилегии. Признательный сенат отблагодарил за эти ничего не стоящие заявления пустыми почетными титулами, какие только он был еще вправе раздавать, и без всякого намерения утверждать своим одобрением воцарение Константина издал декрет, которым возводил его на первое место между тремя Августами, управлявшими Римской империей. Чтобы увековечить славу одержанной победы, были учреждены игры и празднества, а некоторые здания, воздвигнутые на счет Максенция, были посвящены его счастливому сопернику. Триумфальная арка Константина до сих пор служит печальным доказательством упадка искусств и оригинальным свидетельством самого вульгарного тщеславия. Так как в столице империи нельзя было найти скульптора, способного украсить этот публичный памятник, то пришлось позаимствовать самые изящные фигуры от арки Траяна, — без всякого уважения и к памяти этого государя, и к требованиям благопристойности. При этом не было обращено никакого внимания на различия во времени, в лицах, в действиях и характерах. Пленные парфяне оказались распростертыми у ног такого монарха, который никогда не вел войн по ту сторону Евфрата, а любознательные антикварии и теперь еще могут видеть голову Траяна на трофеях Константина. Новые украшения, которыми пришлось наполнить пустые места между старинными скульптурными произведениями, исполнены чрезвычайно грубо и неискусно.

Окончательная ликвидация преторианской гвардии была внушена столько же благоразумием, сколько мстительностью. Эти надменные войска, численный состав и привилегии которых были не только восстановлены, но даже увеличены Максенцием, были распущены Константином навсегда. Их укрепленный лагерь был разрушен, а немногие преторианцы, спасшиеся от ярости победителей, были распределены между легионами и отправлены на границы империи, где они могли быть полезны для службы, но уже не могли сделаться опасными. Распуская войска, которые обыкновенно стояли в Риме, Константин нанес смертельный удар достоинству сената и народа, так как ничто уже не могло охранять обезоруженную столицу от оскорблений или от пренебрежения живших вдалеке от нее императоров. Следует заметить, что римляне сделали последнюю попытку восстановить свою умирающую свободу и возвели Максенция на престол из опасения быть обложенными налогом. Максенций взыскал этот налог с сената под видом добровольных приношений. Они стали молить о помощи Константина. Константин низверг

тирана и превратил добровольные приношения в постоянный налог. От сенаторов потребовали указания размеров их состояния и соответственно этим размерам разделили их на несколько классов. Самые богатые из них должны были платить ежегодно по восьми фунтов золота, следующий за тем класс платил четыре фунта, самый низкий — два, а те из них, которые по своей бедности могли бы ожидать совершенного освобождения от налога, все-таки были обложены семью золотыми монетами. Кроме самих членов сената, их сыновья, потомки и даже родственники пользовались пустыми привилегиями сенаторского сословия и несли его тяжести; поэтому нас не должен удивлять тот факт, что Константин тщательно старался увеличивать число лиц, входивших в столь доходный для него разряд. После поражения Максенция победоносный император провел в Риме не более двух или трех месяцев и в течение всей остальной своей жизни посетил его только два раза для того, чтобы присутствовать на торжественных празднествах по случаю вступления в десятый и двадцатый годы своего царствования. Константин почти постоянно был в разъездах, то для упражнения легионов, то для осмотра положения провинций. Трир, Милан, Аквилея, Сирмий, Нэсса и Фессалоника служили для него временными резиденциями, пока он не основал Новый Рим на границе между Европой и Азией.

Перед своим походом в Италию Константин заручился дружбой или, по меньшей мере, нейтралитетом иллирийского императора Лициния. Он обещал выдать за этого государя свою сестру Констанцию, но торжество бракосочетания было отложено до окончания войны; назначенное с этой целью свидание двух императоров в Милане, по-видимому, скрепило связь между их семьями и их интересами. Среди публичных празднеств они неожиданно были вынуждены расстаться. Вторжение франков заставило Константина поспешить на Рейн, а враждебное движение азиатского монарха потребовало немедленного отъезда Лициния. Максимин был тайным союзником Максенция и, не падая духом от печальной участи, постигшей этого государя, решился попытать счастья в междоусобной войне. В самой середине зимы он выступил из Сирии по направлению к границам Вифинии. Погода была холодная и бурная; множество людей и лошадей погибли в снегах, а так как дороги были испорчены непрерывными дождями, то он был вынужден оставить позади значительную часть тяжелого обоза, неспособного следовать за ним при его быстрых форсированных переходах. Благодаря такой чрезвычайной торопливости он прибыл с измученной, но все еще сильной армией на берега Фракийского Босфора прежде, нежели генералы Лициния узнали о его враждебных намерениях. Византия сдалась Максиминому после одиннадцатидневной осады. Он был задержан несколько дней под стенами Гераклеи, но лишь только успел овладеть этим городом, к нему пришло тревожное известие, что Лициний раскинул свой лагерь на расстоянии только восемнадцати миль. После бесплодных переговоров, во время которых каждый из этих монархов пытался склонить к измене приверженцев своего противника, они прибегли к оружию. Восточный император имел под своим начальством дисциплинированную и испытанную в боях армию более чем из семидесяти тысяч человек; Лициний, успевший собрать около тридцати тысяч иллирийцев, был сначала подавлен многочисленностью неприятеля. Но его воинское искусство и стойкость его войск загладили первую неудачу и доставили ему решительную победу. Невероятная быстрота, которую Максимин проявил в своем бегстве, восхвалялась гораздо более, нежели его храбрость во время сражения. Через двадцать четыре часа после его поражения его видели блед-

ным, дрожащим от страха и без императорских украшений в Никомедии, в ста шестидесяти милях от поля битвы. Богатства Азии еще не были истощены, и, хотя цвет его ветеранов пал в последнем сражении, он мог бы еще собрать многочисленных рекрутов из Сирии и Египта, если бы имел на то достаточно времени. Но он пережил свое несчастье только тремя или четырьмя месяцами. Его смерть, приключившуюся в Тарсе, приписывают различным причинам — отчаянию, отравлению и божескому правосудию. Так как у Максимиана не было ни особых дарований, ни добродетелей, то о нем не жалели ни солдаты, ни народ. Восточные провинции, избавившись от ужасов междоусобной войны, охотно признали над собой власть Лициния. После побежденного императора осталось двое детей — мальчик, которому было около восьми лет, и девочка, которой было около семи. Их невинный возраст мог бы возбудить к ним сострадание; но сострадание Лициния было плохой опорой; оно не помешало ему искоренить потомство его соперника. Казнь сына Севера еще менее извинительна, так как она не была вызвана ни жаждой мщения, ни политическими соображениями. Победитель никогда не терпел никаких обид от отца этого несчастного юноши, а непродолжительное и ничем не прославившееся царствование Севера над отдаленной частью империи уже было всеми позабыто. Но казнь Кандидиана была актом самой низкой жестокости и неблагодарности. Он был незаконный сын Лициниева друга и благодетеля Галерия. Благоразумный отец считал его слишком юным для того, чтобы выносить тяжесть императорской диадемы, но надеялся, что Кандидиан проведет свою жизнь в безопасности и почете под покровительством тех государей, которые были обязаны ему императорским званием. В ту пору Кандидиану было около двадцати лет и, хотя знатность его происхождения не поддерживалась ни личными достоинствами, ни честолюбием, она оказалась вполне достаточной для того, чтобы возбудить зависть в душе Лициния. К этим невинным и знатым жертвам его тирании мы должны присовокупить жену и дочь императора Диоклетиана. Когда этот монарх возвел Галерия в звание Цезаря, он вместе с тем дал ему в супружество свою дочь Валерию, печальная судьба которой могла бы послужить интересным сюжетом для трагедии. Она честно исполняла обязанности жены и даже делала более того, что требуется этими обязанностями. Так как у нее не было собственных детей, она согласилась усыновить незаконного сына своего мужа и всегда относилась к несчастному Кандидиану с нежностью и заботливостью настоящей матери. После смерти Галерия ее богатые поместья возбудили жадность в его преемнике Максимине, а ее привлекательная наружность возбудила в нем страсть. Его собственная жена еще была жива, но развод дозволялся римскими законами, а бешеные страсти тирана требовали немедленного удовлетворения. Ответ Валерии был такой, какой был приличен дочери и вдове императоров, но он был смягчен той сдержанностью, на которую ее вынуждало ее незащищенное положение. Тем, кто обратился к ней с предложениями от имени Максимиана, она сказала, что «даже если бы честь позволяла женщине с ее характером и положением помышлять о втором браке, то, по меньшей мере, чувство приличия не позволило бы ей принять эти предложения в такое время, когда прах ее мужа еще не остыл и когда скорбь ее души еще выражается в ее траурном одеянии». К этим словам она осмелилась присовокупить, что она не может относиться с полным доверием к уверениям человека, который так жестокосерден в своем непостоянстве, что способен развестись с верной и преданной женой. При этом отказе страсть Максимиана перешла в ярость, а так как свидетели и судьи всегда были в пол-

ном его распоряжении, то ему не трудно было прикрыть свой гнев внешними формами легального образа действий и посягнуть на репутацию и на благосостояние Валерии. Ее имущества были конфискованы, ее евнухи и прислуга были подвергнуты самым жестоким истязаниям, а некоторые добродетельные и почтенные матроны, которых она удостаивала своей дружбы, были лишены жизни вследствие ложного обвинения в прелюбодеянии. Сама императрица и ее мать Приска были осуждены на изгнание, а так как прежде, нежели их заперли в уединенной деревне среди сирийских степей, их с позором влачили из одного города в другой, то им пришлось выказывать свой позор и свое бедственное положение перед теми восточными провинциями, которые в течение тридцати лет чтит их высокое звание. Диоклетиан несколько раз безуспешно пытался облегчить несчастную участь своей дочери; наконец он стал просить, чтобы Валерии было дозволено разделить с ним его уединенную жизнь в Салоне и закрыть глаза своему огорченному отцу; это была единственная благодарность, которой он считал себя вправе ожидать от государя, возведенного им в императорское достоинство. Он просил, но так как он уже не был в состоянии угрожать, то его просьбы были приняты с равнодушием и с пренебрежением, а между тем гордость Максимиана находила для себя удовлетворение в том, что он мог обращаться с Диоклетианом как с просителем, а с его дочерью как с преступницей. Смерть Максимиана, по-видимому, обещала обеим императрицам счастливую перемену в их судьбе. Общественная неурядица ослабила бдительность их стражей, так что они легко нашли возможность бежать из места своего изгнания и, переодевшись, наконец, успели укрыться при дворе Лициния. Его поведение в первые дни его царствования и почетный прием, оказанный им молодому Кандидиану, наполнили сердце Валерии тайной радостью: она полагала, что ей уже не придется трепетать ни за свою собственную судьбу, ни за судьбу усыновленного ею юноши. Но эти приятные ожидания скоро уступили место чувствам ужаса и удивления, и страшные казни, обагрившие кровью дворец Никомедии, убедили ее, что трон Максимиана занят тираном еще более бесчеловечным, чем каким был сам Максимиан. Из чувства самосохранения Валерия поспешила бежать и по-прежнему не разлучалась со своей матерью Приской, блуждала в течение почти пятнадцати месяцев по провинциям, переодевшись в плебейское платье. Наконец, они были задержаны в Фессалонике, а так как над ними уже состоялся смертный приговор, то они были немедленно обезглавлены, а их трупы были брошены в море. Народ с удивлением смотрел на это печальное зрелище, но страх военной стражи заглушал в нем чувство скорби и негодования. Такова была жалкая судьба жены и дочери Диоклетиана. Мы оплакиваем их несчастья, не будучи в состоянии понять, в чем заключались их преступления, и, каково бы ни было наше мнение о жестокосердии Лициния, мы не можем не удивляться тому, что он не удовольствовался каким-нибудь более тайным и более приличным способом мщения.

Римский мир оказался теперь разделенным между Константином и Лицинием, из которых первый был повелителем Запада, а второй — повелителем Востока. По-видимому, можно было ожидать, что эти завоеватели, утомившись междоусобными войнами и будучи связаны между собой и узами родства, и трактатами, откажутся от всяких дальнейших честолюбивых намерений или, по крайней мере, отложат их на время в сторону; а между тем едва прошел один год со времени смерти Максимиана, как эти победоносные императоры уже обратили свое оружие друг против друга. Гений, успехи

и предприимчивый характер Константина могли бы заставить думать, что он был виновником разрыва, но вероломство Лициния оправдывает самые неблагоприятные для него подозрения, и при слабом свете, который бросает история на эти события, мы в состоянии усмотреть признаки заговора, который был составлен коварным Лицинием против его соправителя. Незадолго перед тем Константин выдал свою сестру Анастасию замуж за знатного и богатого Бассиана и возвел своего нового родственника в звание Цезаря. Согласно с установленной Диоклетианом системой управления, Италия и, может быть, также Африка должны бы были составлять удел нового государя. Но исполнение обещанной милости замедлялось такими отсрочками или сопровождалось такими невыносимыми условиями, что оказанное Бассиану лестное отличие скорее поколебало, чем упрочило его преданность. Его титул был утвержден одобрением Лициния, и этот коварный государь скоро успел войти через посредство своих эмиссаров в тайные и опасные сношения с новым Цезарем, постарался раздражить в нем чувство неудовольствия и внушил ему опрометчивую решимость исторгнуть силой то, чего он тщетно ожидал от справедливости Константина. Но бдительный император открыл заговор прежде, нежели все было готово для приведения его в исполнение, и, торжественно отказавшись от союза с Бассианом, лишил его императорского звания и подвергнул его измену и неблагодарность заслуженному наказанию. Дерзкий отказ Лициния выдать скрывшихся в его владениях преступников подтвердил подозрения насчет его вероломства, а оскорбления, которым подверглись статуи Константина в Эмоне, на границе Италии, послужили сигналом для разрыва между двумя монархами.

Первое сражение произошло подле города Кибалиса, лежащего в Паннонии на берегу Савы почти в пятидесяти милях от Сирмия. Незначительность военных сил, выведенных в поле в этой важной борьбе двумя столь могущественными монархами, заставляет думать, что один из них был неожиданно вызван на бой, а что другой был застигнут врасплох. У западного императора было только двадцать тысяч человек, а у восточного — не более тридцати пяти тысяч. Но сравнительная малочисленность армии Константина возмещалась выгодами занятых ею позиций. Константин занял между крутой горой и глубоким болотом ущелье, имевшее около полумили в ширину, и в этой позиции с твердостью выжидал и отразил первое нападение противника. Пользуясь своим успехом, он вывел свои войска на равнину. Но состоявшие из ветеранов иллирийские легионы снова собрались под знаменами вождя, учившегося военному ремеслу в школе Проба и Диоклетиана. Метательные снаряды скоро истощились с обеих сторон, и обе армии, воодушевляясь одинаковым мужеством, вступили в рукопашный бой с мечами и дротиками в руках; бой продолжался от рассвета до позднего часа ночи и кончился тем, что предводимое самим Константином правое крыло сделало решительное нападение на противника. Благоразумное отступление Лициния спасло остатки его армии от совершенного истребления, но, когда он подсчитал свои потери, превосходившие двадцать тысяч человек, он счел небезопасным проводить ночь в присутствии предприимчивого и победоносного неприятеля. Покинув свой лагерь и свои укрепления, он скрытно и поспешно удалился во главе большей части кавалерии и скоро был вне опасности от преследования. Его торопливость спасла жизнь его жены и сына, а также сокровища, сложенные им в Сирмии. Лициний прошел через этот город и, разрушив мост на Саве, поспешил собрать новую армию в Даккии и Фракии. Во время своего бегства он дал звание Цезаря Валенту — одному из его генералов, командовавших на иллирийской границе.

Мардийская равнина во Фракии была театром второй битвы, не менее упорной и кровопролитной, чем первая. Обе армии показали одинаковую храбрость и дисциплину, и победа еще раз была одержана превосходством воинских дарований Константина, по приказанию которого отряд из пяти тысяч человек занял выгодную позицию на высотах и, устремившись оттуда в самом разгаре сражения на неприятельский арьергард, нанес ему очень чувствительные потери. Однако войска Лициния, представлявшие двойной фронт, не покинули поля сражения до тех пор, пока наступление ночи не положило конец битве и не обеспечило их отступление к горам Македонии. Потери двух сражений и гибель самых храбрых между его ветеранов заставили надменного Лициния просить мира. Его посол Мистриан был допущен на аудиенцию к Константину; он высказал много общих мест об умеренности и человеколюбии, которые обыкновенно служат сюжетом для красноречия побежденных, и затем в самых вкрадчивых выражениях указывал на то, что исход войны еще сомнителен, тогда как неразлучные с ней бедствия одинаково пагубны для обеих воюющих стран; в заключение он объявил, что он уполномочен предложить прочный и почетный мир от имени обоих императоров, его повелителей. При упоминании о Валенте Константин выразил негодование и презрение. «Мы пришли сюда, — грозно возразил он, — от берегов Западного океана, после непрерывного ряда сражений и побед, вовсе не для того, чтобы принять в соправители презренного раба, после того как мы отвергли неблагодарного родственника. Отречение Валента должно быть первой статьей мирного договора». Необходимость заставила Лициния принять это унижительное условие, и несчастный Валент, процарствовавший лишь несколько дней, был лишен и императорского достоинства, и жизни. Лишь только было устранено это препятствие, уже нетрудно было восстановить спокойствие в Римской империи. Если следовавшие одно за другим поражения, понесенные Лицинием, истощили его силы, зато они обнаружили все его мужество и все его дарования. Его положение было почти отчаянное, но усилия, внушаемые отчаянием, иногда бывают грозны, и здравый смысл Константина заставил его предпочесть важные и верные выгоды неверному успеху третьей битвы. Он согласился оставить под властью своего соперника, или, как он стал снова называть Лициния, своего друга и брата, Фракию, Малую Азию, Сирию и Египет; но Паннония, Далмация, Дакия, Македония и Греция были присоединены к Западной империи, так что владения Константина простирались с тех пор от пределов Каледонии до окончности Пелопоннеса. Тем же мирным договором было условлено, что три царственных юноши, сыновья императоров, будут назначены преемниками своих отцов. Вскоре вслед за тем Крисп и молодой Константин были провозглашены Цезарями на Западе, а молодой Лициний был возведен в то же звание на Востоке. Этим двойным размером почестей победитель заявлял о превосходстве своих военных сил и своего могущества.

Общий мир и законы Константина. 305–323 гг.

Хотя примирение между Константином и Лицинием было отравлено злобой и завистью, воспоминанием о недавнем унижении и опасениями за будущее, однако оно поддержало в течение более восьми лет внутреннее спокойствие в империи. Так как с этого времени ведет свое начало правильный ряд изданных императором законов, то нам было бы нетрудно изложить гражданские постановления, занимавшие Константина в часы его досуга. Но самые важные из его постановлений тесно связаны с новой политической и религиоз-

ной системой, которая была вполне введена в действие лишь в последние мирные годы его царствования. Между изданными им законами есть много таких, которые касаются прав и собственности частных лиц и судебной практики, а потому должны быть отнесены к частной юриспруденции, а не к общественному управлению империи; сверх того, он издал много эдиктов, имевших такой местный и временный характер, что они не заслуживают упоминания во всеобщей истории. Впрочем, из этой массы законоположений мы выберем два закона — один ради его важности, другой ради его оригинальности, один ради его замечательного человеколюбия, а другой ради его чрезмерной строгости.

1. Свойственное древним отвратительное обыкновение подкидывать или убивать новорожденных детей с каждым днем все более и более распространялось в провинциях и в особенности в Италии. Оно было результатом нищеты, а нищета происходила главным образом от невыносимой тяжести налогов и от придирчивых и жестоких угнетений, которым сборщики податей подвергали несостоятельных должников. Самые бедные или самые нетрудолюбивые члены человеческой семьи, вместо того чтобы радоваться приращению своего семейства, считали за доказательство своей отеческой нежности то, что они избавляли своих детей от таких лишений, которых сами они не были в состоянии выносить. Движимый чувством человеколюбия или, может быть, растроганный какими-нибудь новыми и поразительными случаями отчаяния родителей, Константин обратился с эдиктом ко всем городам сначала Италии, а потом и Африки, предписывая подавать немедленную и достаточную помощь родителям, являющимся к магистрату с ребенком, которого они по своей бедности не в состоянии воспитать. Но обещание было так щедро, а средства для его исполнения были так неопределенны, что этот закон не мог принести никакой общей пользы; хотя бы он и заслуживал в некотором отношении похвалы, он не столько облегчил, сколько обнаружил общую нищету. Он до сих пор служит достоверным опровержением и уликой тех продажных ораторов, которые были так довольны своим собственным положением, что не допускали, чтобы порок и нищета могли существовать под управлением столь великодушного монарха.

2. Законы Константина касательно наказания тех, кто провинился в изнасиловании женщины, доказывают слишком мало снисходительности к одной из самых увлекательных слабостей человеческой природы, так как под признаки этого преступления подводилось не только грубое насилие, но и любезное ухаживание, путем которого удалось склонить еще не достигшую двадцатипятилетнего возраста незамужнюю женщину покинуть родительский дом. Счастливого любовника наказывали смертью и, как будто находя, что за такое страшное преступление недостаточно простой смертной казни, его или жгли живого, или отдавали на растерзание диким зверям в амфитеатре. Заявление девушки, что она была увезена с ее собственного согласия, вместо того чтобы спасти ее возлюбленного, подвергало и ее одной с ним участи. Обязанности публичного обвинения возлагались на родителей виновной или несчастной девушки, если же над ними брали верх чувства, внушаемые самой природой, и они или скрывали преступное деяние, или восстанавливали честь семьи бракосочетанием, их самих наказывали ссылкой и отобранием их имений в казну. Рабов обоего пола, уличенных в содействии изнасилованию или похищению, сжигали живыми или лишали жизни с более замысловатыми истязаниями: им вливали в рот растопленный свинец. Так как преступление считалось публичным, то обвинять дозволялось даже посторонним людям. Возбуждение судебного преследования не было ограничено никаким числом лет, а результаты приговора простирались на невинных детей, родившихся от такой незаконной

связи. Но всякий раз, как преступление внушает менее отвращения, чем наказание, жестокость уголовного закона бывает вынуждена преклоняться перед теми чувствами, которые сама природа вложила в человеческое сердце. Самые возмутительные статьи этого эдикта были ослаблены или отменены при следующих императорах, и даже сам Константин очень часто смягчал отдельными актами милосердия суровость своих узаконений. Действительно, таков был странный нрав этого императора, что он был столько же снисходителен и даже небрежен в применении своих законов, сколько он был строг и даже жесток при их составлении. Едва ли можно подметить более решительный признак слабости в характере монарха или в системе управления.

Занятия делами гражданского управления временами прерывались военными экспедициями, предпринимавшимися для защиты империи. Юный и одаренный от природы самым симпатичным характером Крисп, получив вместе с титулом Цезаря главное командование на Рейне, выказал свои способности и свое мужество в нескольких победах, одержанных им над франками и алеманнами, и заставил живших вблизи от этой границы варваров бояться старшего сына Константина и внука Констанция. Сам император взял на себя более трудную и более важную оборону придунайских провинций. Готы, испытывавшие на себе силу римского оружия во времена Клавдия и Аврелиана, не посягали на внутреннее спокойствие империи даже во время раздиравших ее междоусобиц. Но продолжавшийся около пятидесяти лет мир восстановил силы этой воинственной нации, а новое поколение позабыло о прошлых бедствиях: жившие на берегах Меотийского залива сарматы стали под знамя готов или в качестве подданных, или в качестве союзников, и эти соединенные силы варваров обрушились на иллирийские провинции. Кампона, Марг и Бонония, как кажется, были местом нескольких важных осад и сражений, и, хотя Константин встретил упорное сопротивление, он в конце концов одержал верх, и готы были вынуждены заплатить за право постыдного отступления возвращением взятых ими пленников и добычи. Этот успех не мог удовлетворить раздраженного императора. Он хотел не только отразить, но и наказать дерзких варваров, осмелившихся вторгнуться на римскую территорию. С этой целью он перешел во главе своих легионов Дунай, предварительно исправив мост, который был построен Траяном; затем он проник в самые неприступные части Дакии и, жестоко отомстив готам, согласился на мир с тем условием, чтобы они доставляли ему сорокатысячный отряд войск всякий раз, как он этого потребует. Такие подвиги, бесспорно, делали честь Константину и были полезны для государства, но они едва ли оправдывают преувеличенное утверждение Евсевия, будто вся Скифия, которая была в то время разделена между столькими народами, носившими различные имена и отличавшимися самыми разнообразными и самыми дикими нравами, была до самых северных своих пределов присоединена к Римской империи вследствие побед Константина.

Понятно, что достигший столь блестящего величия Константин не захотел долее выносить раздела верховной власти с каким-либо соправителем. Полагаясь на превосходства своего гения и военного могущества, он без всякого вызова со стороны противника решился воспользоваться этими преимуществами для низвержения Лициния, который и по причине своих преклонных лет, и по причине внушавших к нему отвращение пороков, казалось, не был в состоянии оказать серьезного сопротивления. Но престарелый император, пробужденный из своего усыпления приближающейся опасностью, обманул ожидания и своих друзей, и своих врагов. Снова призвав к себе на помощь то мужество и те военные дарования, которые доставили ему друж-

бу Галерия и императорское звание, он приготовился к борьбе, собрал все силы Востока и скоро покрыл равнины Адрианополя своими войсками, а пролив Геллеспонта своими флотами. Его армия состояла из ста пятидесяти тысяч пехоты и пятнадцати тысяч конницы, а так как его кавалерия была организована большей частью в Фригии и Каппадокии, то нам нетрудно составить себе более благоприятное мнение о красоте ее лошадей, нежели о храбрости и ловкости самих всадников. Его флот состоял из трехсот пятидесяти трехвесельных галер; из них сто тридцать были доставлены Египтом и соседним с ним африканским побережьем; сто десять прибыли из портов Финикии и острова Кипр, а приморские страны Вифинии, Ионии и Карики были обязаны доставить также сто десять галер. Войскам Константина была назначена сборным пунктом Фессалоника; они состояли более чем из ста двадцати тысяч конницы и пехоты. Император остался доволен их воинственной внешностью, и, хотя они уступали восточной армии числом людей, в них было более настоящих солдат. Легионы Константина были набраны в воинственных европейских провинциях; войны укрепили их дисциплину, прежние победы внушали им бодрость, и в их среде было немало таких ветеранов, которые после семнадцати славных кампаний под начальством одного и того же вождя готовились выказать в последний раз свое мужество, чтобы этим заслужить право на почетную отставку. Но морские приготовления Константина не могли ни в каком отношении равняться с приготовлениями Лициния. Приморские города Греции прислали в знаменитую Пирейскую гавань столько людей и кораблей, сколько могли, но их соединенные морские силы состояли не более как из двухсот мелких судов; это были весьма незначительные сооружения в сравнении с теми страшными флотами, которые снарядила и содержала Афинская республика во время Пелопоннесской войны. С тех пор как Италия перестала быть местопребыванием правительства, морские заведения в Мизене и Равенне стали постоянно приходить в упадок, а так как мореплавание и знание морского дела поддерживались в империи не столько войнами, сколько торговлей, то весьма естественно, что они процветали преимущественно в промышленных провинциях Египта и Азии. Можно только удивляться тому, что восточный император не воспользовался превосходством своих морских сил для того, чтобы перенести войну в самый центр владений своего противника.

Вместо того чтобы принять такое решение, которое могло бы дать войне совершенно другой оборот, осторожный Лициний ожидал приближения своего соперника в устроенном близ Адрианополя лагере, который он укрепил с напряженным старанием, ясно свидетельствовавшим о его опасениях насчет исхода борьбы. Константин вел свою армию из Фессалоники в эту часть Фракии, пока не был остановлен широкой и быстрой рекой Гебр и пока не увидел, что многочисленная армия Лициния расположилась на крутом скате горы от реки и до самого города Адрианополя. Несколько дней прошли в мелких стычках, происходивших на значительном расстоянии от обеих армий; но неустрашимость Константина наконец устранила препятствия, мешавшие переходу через реку и нападению на неприятельскую армию. В этом месте мы должны рассказать о таком удивительном подвиге Константина, с которым едва ли могут равняться вымыслы поэтов и романистов и который восхваляется не каким-нибудь преданным Константину продажным оратором, а историком, относившимся к нему с особенным недоброжелательством. Нас уверяют, будто храбрый император устремился в реку Гебр в сопровождении только двенадцати всадников и что силой или страхом своей непобедимой руки он опрокинул, искрошил и об-

ратил в бегство стоятидесятитысячную массу людей. Легковерие Зосима до такой степени взяло верх над его нерасположением к Константину, что из всех подробностей достопамятной Адрианопольской битвы он, как будто нарочно, выбрал и разукрасил не самую важную, а самую удивительную. О храбрости Константина и об опасности, которой он себя подвергал, свидетельствует легкая рана, которую он получил в бедро; но даже из этого неполного описания и несмотря на то что его текст, как кажется, был извращен, мы можем усмотреть, что победа была одержана столько же искусством полководца, сколько храбростью героя, что пятитысячный отряд стрелков из лука сделал обход для занятия густого леса в тылу у неприятеля, внимание которого было отвлечено постройкой моста, и что Лициний, сбитый с толку столькими хитрыми приемами, счел нужным покинуть свои выгодные позиции и сразиться на равнине, на гладкой почве. Тогда условия борьбы перестали быть равными. Беспорядочная масса набранных Лицинием молодых рекрутов была без большого труда разбита опытными западными ветеранами. На месте полегли, как уверяют, тридцать четыре тысячи человек. Укрепленный лагерь Лициния был взят приступом вечером того дня, когда происходила битва; большая часть беглецов, укрывшихся в горах, сдалась на следующий день на произвол победителя, а его соперник, уже не имевший возможности продолжать кампанию, заперся в стенах Византии.

Немедленно вслед за тем Константин предпринял осаду Византии, требовавшую больших усилий, успех которых нисколько не был обеспечен. Во время последних междоусобных войн укрепления этого города, по справедливости считающегося ключом Европы и Азии, были исправлены и усилены, и пока Лициний оставался властителем на море, голода могли опасаться гораздо более осаждающие, нежели осажденные. Константин призвал в свой лагерь начальников своего флота и дал им положительное приказание прорваться через Геллеспонт, так как флот Лициния, вместо того чтобы преследовать и уничтожить своего слабого противника, стоял в бездействии в узких проливах, где его численное превосходство не могло принести ему никакой пользы. Старшему сыну императора, Криспу, была поручена главная роль в этом смелом предприятии, и он привел его в исполнение с таким мужеством и успехом, что заслужил уважение своего отца и даже, похоже, возбудил в нем зависть. Сражение продолжалось два дня; в конце первого дня оба флота, потерпевшие значительные потери, удалились в свои гавани — один к берегам Европы, другой к берегам Азии. На другой день поднявшийся около полудня сильный южный ветер понес корабли Криспа на неприятеля, а так как этим случайным преимуществом Крисп сумел воспользоваться с большим искусством и неустрашимостью, то скоро была одержана полная победа. Сто тридцать кораблей были уничтожены, пять тысяч человек были убиты, а адмирал азиатского флота Аманд лишь с величайшим трудом успел достичь берегов Халкедона. Лишь только был открыт свободный проход через Геллеспонт, огромный обоз со съестными припасами был доставлен в лагерь Константина, который между тем уже успел подвинуть вперед осадные работы. Он соорудил искусственную земляную насыпь высотой с вал, которым была обнесена Византия; на этой насыпи он устроил высокие башни, откуда военные машины метали в осажденных огромные камни и стрелы, а с помощью таранов он во многих местах разрушил городские стены. Если бы Лициний долее упорствовал в сопротивлении, он мог бы сам погибнуть под развалинами города. Поэтому прежде, нежели город был окружен со всех сторон, он имел благоразумие перенести вместе со своими сокровищами в Азию, в Халкедон, а так как он всегда любил делить с каким-нибудь соправителем свои надежды и опасности, он возвел в звание Цезаря одного из самых высших своих сановников — Мартиниана.

Несмотря на столько поражений, еще так велики были ресурсы, которыми располагал Лициний, и так велика была его личная энергия, что в то время как Константин был занят осадой Византии, он собрал в Вифинии новую армию в пятьдесят или шестьдесят тысяч человек. Бдительный император не пренебрег этими последними усилиями своего противника. Значительная часть его победоносной армии была перевезена через Босфор на мелких судах, и вскоре после высадки их на берег решительная битва произошла на высотах Хризополя, или, как его теперь называют, Скутари. Хотя войска Лициния состояли из плохо вооруженных и еще хуже дисциплинированных новобранцев, они дрались с бесплодной, но отчаянной храбростью, пока полное поражение и потери двадцати пяти тысяч человек не порешили безвозвратно судьбу их вождя. Он удалился в Никомедию скорее с целью выиграть время для переговоров, чем с надеждой найти средства для обороны. Его жена Констанция обратилась к своему брату Константину с ходатайством за мужа и, благодаря не столько состраданию императора, сколько его политическим расчетам, получила от него торжественное обещание, подкрепленное присягой, что, если Лициний пожертвует Мартинианом и сам сложит с себя императорское достоинство, ему будет дозволено провести остаток своей жизни в спокойствии и достатке. Поведение Констанции и ее родственные связи с двумя враждующими монархами напоминают нам о той добродетельной матроне, которая была сестрой Августа и женой Антония. Но с тех пор нравы успели измениться, и для римлянина уже не считалось позором пережить утрату своей чести и независимости. Лициний просил и принял прощение своих преступлений; он сложил свою императорскую мантию и сам пал к стопам своего государя и повелителя, а после того как Константин поднял его с оскорбительным для него соболезнованием, он был в тот же самый день допущен к императорскому столу и вскоре вслед за тем сослан в Фессалонику, которая была назначена местом его заключения. Его ссылка скоро окончилась смертью, но нам неизвестно положительно, что послужило мотивом для его казни, — бунт ли солдат или сенатский декрет. Согласно с принципами тирании, он был обвинен в составлении заговора и в предательской переписке с варварами; но так как он никогда не мог быть в этом уличен ни его собственным поведением, ни какими-либо легальными доказательствами, то ввиду его слабости мы позволяем себе думать, что он был невинен. Память Лициния была заклеяна позором, его статуи были низвергнуты, а в силу незрело обдуманного декрета, который был так вреден по своим последствиям, что почти немедленно был изменен, все его законы и все судебные постановления его царствования были отменены.

Воссоединение империи 324 г.

Этой победой Константина римский мир был снова соединен под властью одного императора через тридцать семь лет после того, как Диоклетиан разделил свою власть и провинции со своим соправителем Максимианом.

Мы с подробностью и точностью описали постепенное возвышение Константина, начиная с того времени, как он принял императорское звание в Йорке, и кончая отречением Лициния в Никомедии; мы сделали это не потому только, что эти события сами по себе и интересны, и важны, но еще более потому, что они содействовали упадку империи тем, что истощали ее физические силы и сокровища и постоянно требовали увеличения как налогов, так и военных сил. Основание Константинополя и введение христианской религии были непосредственными и достопамятными последствиями этого переворота.

Глава 5 (xv)

Причины успехов христианства

Беспристрастное, но вместе с тем и рациональное исследование успехов и утверждения христианства можно считать весьма существенной частью истории Римской империи. В то время как явное насилие раздирало это громадное политическое тело, а тайные причины упадка подтачивали его силы, чистая и смиренная религия тихо закралась в человеческую душу, выросла в тишине и неизвестности, почерпнула свежие силы из встреченного ею сопротивления и наконец водрузила победоносное знамение креста на развалинах Капитолия. Ее влияние не ограничилось ни продолжительностью существования, ни пределами Римской империи. После стольких переворотов, совершавшихся в течение тринадцати или четырнадцати столетий, эту религию все еще исповедуют те европейские нации, которые как в искусствах и науках, так и в военном деле опередили все другие народы земного шара. Благодаря предприимчивости и усердию европейцев она широко распространилась до самых отдаленных берегов Азии и Африки, а путем заведения европейских колоний она прочно утвердилась от Канады до Чили в таких странах, которые были вовсе неизвестны древним.

Но как бы ни было полезно и интересно такое исследование, оно сопряжено с двумя значительными затруднениями. Скучное и подозрительное содержание церковной истории редко дает нам возможность разгонять густой мрак, который висит над первым веком христианской церкви; с другой стороны, великий закон беспристрастия слишком часто заставляет нас указывать несовершенства тех христиан, которые проповедовали Евангелие или уверовали в него, не получив вдохновения свыше, а в глазах невнимательного наблюдателя их недостатки могут набросить тень на веру, которую они исповедовали. Но и негодование благочестивого христианина, и воображаемое торжество нечестивца прекратятся, лишь только они припомнят не только кем, но и кому было ниспослано божественное откровение. Теолог может предаваться удовольствию изображать религию в той первобытной ее чистоте, с которой она снизошла с небес. Но на историке лежит более грустная обязанность. Он должен указать ту неизбежную примесь заблуждений и искажений, которая вкралась в эту религию во время ее долгого пребывания на земле среди слабых и выродившихся существ.

Естественно, что наша любознательность внушает нам желание исследовать, какими способами христианская вера одержала столь замечательную по-

беду над религиями, установленными на земле. На этот вопрос можно дать ясный и удовлетворительный ответ: этой победой христианская религия обязана неопровержимой ясности самой доктрины и верховному промыслу ее Творца. Но так как истина и доводы рассудка редко находят благосклонный прием в этом мире и так как благодать Провидения часто нисходит до того, что пользуется страстями человеческого сердца и общими условиями человеческого существования как орудиями для достижения своих целей, то да будет нам дозволено задаться с должным смирением вопросом не о том, конечно, какие были главные причины быстрых успехов христианской церкви, а о том, какие были их второстепенные причины. Тогда мы, может быть, найдем, что следующие пять причин, как кажется, были теми, которые всего более благоприятствовали и содействовали ее успехам. I. Непокколебимое и, если нам будет дозволено так выразиться, нетерпящее противоречия усердие христиан; правда заимствованное из иудейской религии, но очищенное от тех низких неуживчивых наклонностей, которые, вместо того чтобы привлекать язычников к вере Моисея, отталкивали их от нее. II. Учение о будущей жизни, усовершенствованное всякого рода добавочными соображениями, способными придать этой важной истине вес и действительную пользу. III. Способность творить чудеса, которую приписывали первобытной церкви. IV. Чистая и строгая нравственность христиан. V. Единство и дисциплина христианской республики, постепенно образовавшей самостоятельное и беспрестанно расширявшееся государство в самом центре Римской империи.

Мы уже говорили о том, какая религиозная гармония царствовала в Древнем мире и с какой легкостью самые несходные между собой и даже враждовавшие друг с другом народы заимствовали один у другого или, по меньшей мере, взаимно уважали суеверия друг друга. Только один народ не захотел примкнуть к этому безмолвному соглашению всего человеческого рода. Иудеи, томившиеся в течение многих веков под владычеством ассирийских и персидских монархов в самом низком рабстве, вышли из своей неизвестности под управлением преемников Александра, а так как они размножались с поразительной быстротой сначала на Востоке, а потом и на Западе, то они скоро возбудили любопытство и удивление и других народов. Непреклонное упорство, с которым они держались своих религиозных обрядов, и необщительность их нравов заставляли видеть в них особую породу людей, явно выдававшихся или весьма слабо скрывавших свою непримиримую ненависть ко всему человеческому роду. Ни насилия Антиоха, ни ухищрения Ирода, ни пример соседних наций никогда не могли склонить иудеев к тому, чтобы они присоединили к учреждениям Моисея изящную мифологию греков. Придерживаясь принципов всеобщей религиозной терпимости, римляне охраняли суеверия, к которым чувствовали презрение. Снисходительный Август дал приказание, чтобы в Иерусалимском храме были совершены жертвоприношения и вознесены молитвы о благополучии его царствования, тогда как самый последний из потомков Авраама сделался бы предметом отвращения и для самого себя, и для своих соотечественников, если бы воздал такую же почесть Капитолийскому Юпитеру. Но умеренность завоевателей не в состоянии была заглушить щекотливых предрассудков их подданных, которых тревожили и оскорбляли языческие понятия, неизбежно проникавшие в находившуюся под римским владычеством провинцию. Безрассудная попытка Калигулы поставить свою собственную статую в Иерусалимском храме не удалась вследствие единодушного сопротивления народа, который боялся такого поругания святыни гораздо более, нежели смерти. Привязанность этого народа к Моисее-

ву закону была так же сильна, как и его ненависть к иностранным религиям, а так как его благочестивые влечения наталкивались на стеснения и сопротивление, то они с особым напряжением расчищали себе путь и превращались по временам в бешеный поток.

Это непреклонное упорство, казавшееся древним столь отвратительным или столь смешным, получило более возвышенный характер с тех пор, как Провидение поведало нам таинственную историю избранного народа. Но благочестивая и даже требовательная привязанность, которую обнаруживали к Моисеевой религии иудеи, жившие после сооружения второго храма, покажется еще более удивительной, если мы сравним ее с упорным неверием их предков. В то время как закон был ниспослан на горе Синай при раскатах грома, как волны океана и течение планет были приостановлены для удобства израильтян, а мирские награды и наказания были непосредственными последствиями их благочестия или их неповиновения, они беспрестанно бунтовали против очевидного величия их божественного монарха, ставили идолов различных наций в святилище Иеговы и даже перенимали фантастические обряды, совершавшиеся в палатках арабов или в городах Финикии. По мере того как Небо справедливо отказывало в своем покровительстве столь неблагодарной расе, ее вера постепенно крепла и очищалась. Современники Моисея и Иисуса Навина взирали с беспечным равнодушием на самые удивительные чудеса. А в менее отдаленные времена, в то время как иудеи терпели страшные бедствия, вера в эти чудеса спасала их от всеобщего заражения язычеством, так что этот оригинальный народ в нарушение общеизвестных принципов человеческого ума, по-видимому, с большей твердостью и с большей готовностью верил традициям своих дальних предков, чем свидетельствам своих собственных чувств.

Иудейская религия была удивительно хорошо приспособлена для обороны, но никогда не была годна для завоеваний, и число новообращенных, как кажется, никогда не превышало в значительной мере числа вероотступников. Божеские обещания были первоначально даны одному семейству, и только этому семейству был предписан отличительный обряд обрезания. Когда потомство Авраама умножилось как песчинки на дне морском, Божество, из уст которого оно получило систему законов и обрядов, объявило себя собственным и как бы национальным Богом Израиля и с самой тщательной заботливостью отделило свой любимый народ от остального человеческого рода. Завоевание Ханаанской земли сопровождалось столькими чудесами и таким кровопролитием, что победоносные иудеи оказались в непримиримой вражде со всеми своими соседями. Им было приказано истребить некоторые из самых преданных идолопоклонству племен, и исполнение этой божеской воли редко замедлялось слабостью человеколюбия. Им было запрещено вступать в браки или союзы с другими нациями, а запрещение принимать иностранцев в свою конгрегацию, которое в некоторых случаях было пожизненным, почти всегда распространялось до третьего, до седьмого и даже до десятого поколения. Обязанность проповедовать язычникам религию Моисея никогда не предписывалась законом, а иудеи никогда не были расположены налагать ее на себя добровольно.

В вопросе о приеме новых граждан этот необщительный народ руководствовался себялюбивым тщеславием греков, а не великодушной политикой Рима. Потомки Авраама ласкали себя мыслью, что к ним одним перешел по наследству завет, и боялись уменьшить цену этого наследства беспрепятственным его дележом с разными чужеземцами. Расширившиеся сношения

с другими народами расширили сферу их знаний, но не ослабили их предрассудков, и всякий раз, как Бог Израилев приобретал новых поклонников, он был этим обязан гораздо более непостоянному характеру политеизма, нежели деятельному усердию своих собственных миссионеров. Религия Моисея, по-видимому, была установлена для одной только страны и только для одного народа, и если бы в точности исполнялось предписание, что каждое лицо мужского пола должно три раза в году предстать перед лицом Иеговы, то иудеи никогда не могли бы распространиться далее узких пределов обетованной земли. Правда, это препятствие было устранено разрушением Иерусалимского храма, но самая значительная часть иудейской религии была вовлечена в это разрушение, и язычники, долго дивившиеся странным рассказам о пустом святилище, никак не могли понять, что могло быть предметом и что могло быть орудием такого богослужения, у которого не было ни храмов, ни алтарей, ни священников, ни жертвоприношений. Однако даже во времена своего упадка иудеи не переставали заявлять притязания на лестные для их гордости исключительные привилегии, вместо того чтобы искать общения с чужеземцами; они не переставали держаться с непреклонной твердостью тех постановлений своей религии, исполнение которых на практике еще было в их власти. Различия, установленные между днями и между кушаньями, а также множество других мелочных, но вместе с тем стеснительных постановлений их религии были диаметрально противоположны привычкам и предрассудкам других народов и потому внушали этим последним отвращение и презрение. Уже только один мучительный и даже опасный обряд обрезания мог оттолкнуть от дверей синагоги того, кто пожелал бы обратиться в иудейскую веру.

При таких-то условиях появилось на свет христианство, опиравшееся на влияние Моисеева закона, но высвободившееся из-под тяжести его оков. Как старая система, так и новая требовала исключительной преданности истине религии и единству Божию, и все, чему стали с тех пор поучать человечество касательно свойств и предназначений Высшего Существа, усиливало уважение к этому таинственному учению. Божественный авторитет Моисея и пророков был не только признан, но и упрочен как самая солидная основа христианства. С самого начала мира непрерывный ряд предсказаний предвещал и подготовлял давно ожидавшееся пришествие Мессии, которого, в угоду грубым понятиям иудеев, изображали чаще в виде короля или завоевателя, нежели в виде пророка, мученика и Сына Божьего. Его очистительная жертва и довершила, и упразднила неудовлетворительные жертвоприношения, совершавшиеся в иудейском храме. Прежние обряды, состоявшие только из типов и фигур, были заменены чистым и духовным культом, одинаково приспособленным и ко всем климатам, и ко всяким положениям человеческого рода, а посвящение посредством крови было заменено более невинным способом посвящения посредством воды. Обещание божеских милостей, вместо того чтобы ограничиваться исключительно потомством Авраама, могло распространяться на всех — на свободных людей и на рабов, на греков и на варваров, на иудеев и на язычников. Одним только членам христианской церкви были предоставлены разного рода привилегии, способные вознести новообращенного с земли на небо, способные усилить его благочестие, обеспечить его благополучие и даже удовлетворить то тайное чувство гордости, которое под видом благочестия вкрадывается в человеческую душу; но вместе с тем всему человеческому роду дозволяли и даже предлагали приобретать это славное отличие, которое не только раздавалось в виде милости, но и налагалось в виде долга. Самая священная

обязанность новообращенного заключалась в том, чтобы распространять между его друзьями и родственниками неоценимые дары, которые он получил, и в том, чтобы предостерегать их от отказа, который был бы строго наказан как преступное нежелание подчиниться воле хотя и благого, но грозного по своему всемогуществу божества.

Впрочем, церковь высвободилась из оков синагоги не вдруг и не без затруднений. Иудейские новообращенные, признававшие Иисуса за того Мессию, пришествие которого было предсказано их древними оракулами, уважали его как пророка, учившего добродетели и религии, но они упорно держались обрядов своих предков и желали подчинить этим обрядам язычников, которые беспрестанно увеличивали число верующих. Эти иудействующие христиане, по-видимому, не без основания ссылались на божественное происхождение Моисеева закона и на неизменные совершенства его великого Творца. Они утверждали, что если бы Высшее Существо, которое вечно пребывает неизменным, вознамерилось отменить те священные обряды, которые служили отличием избранного им народа, то их отмена была бы не менее ясна и торжественна, чем их первоначальное установление, что вместо частых заявлений, предполагавших или подтверждавших вечность Моисеевой религии, на эту религию смотрели бы как на временную систему, долженствующую существовать только до пришествия Мессии, который даст человеческому роду более совершенную веру и более совершенный культ; что сам Мессия и беседовавшие с ним на земле его ученики не стали бы поощрять своим примером самое точное соблюдение Моисеева закона, а объявили бы перед целым миром об отмене этих бесполезных и устарелых обрядов и не допустили бы, чтобы христианство в течение стольких лет бесславно смешивалось с различными сектами иудейской церкви. Таковы, как кажется, были аргументы, к которым прибегали для защиты приходившей в совершенный упадок Моисеевой религии, но трудолюбие наших ученых-богословов вполне объяснило двусмысленные выражения Ветхого Завета и двусмысленное поведение апостольских проповедников. Систему Евангелия следовало постепенно развивать и нужно было с большой сдержанностью и деликатностью произносить обвинительный приговор, столь несогласный с наклонностями и предрассудками новообращенных иудеев.

История иерусалимской церкви служит убедительным доказательством того, как были необходимы такие предосторожности и как было глубоко впечатление, произведенное иудейской религией на умы ее последователей. Первые пятнадцать иерусалимских епископов были все без исключения иудеями, над которыми был совершен обряд обрезания, а конгрегация, в которой они председательствовали, соединяла закон Моисея с учением Христа. Понятно, что первоначальные традиции церкви, основанной только через сорок дней после смерти Христа и управлявшейся почти столько же лет под непосредственным руководством его апостолов, считались за образец правоверия. Дальние церкви очень часто прибегали к авторитету своей почтенной матери и помогали ей в нужде сборами добровольных пожертвований. Но когда многочисленные и богатые общины образовались в больших городах империи — в Антиохии, Александрии, Эфесе, Коринфе и Риме, — уважение, которое внушал Иерусалим всем христианским колониям, стало незаметным образом ослабевать. Положившие основу церкви иудейские новообращенные, или, как их впоследствии называли, — назареи, скоро были подавлены всевозрастающей массой новообращенных, переходивших под знамя Христа из различных религий политеизма, а язычники, сбросившие с себя с одобрения

своего особого апостола невыносимое бремя Моисеевых обрядов, в конце концов стали отказывать своим более взыскательным собратьям в такой же терпимости, какой они вначале смиренно просили для самих себя. Назареи сильно пострадали от гибели храма, города и общественной религии иудеев, так как, хотя они и отказались от религии своих предков, они были тесно связаны своими нравами со своими нечестивыми соотечественниками, несчастья которых язычники приписывали презрению Высшего божества, а христиане более основательно приписывали его гневу. Назареи удалились из развалин Иерусалима на другую сторону Иордана в небольшой городок Неллу, где старая церковь томилась более шестидесяти лет в одиночестве и неизвестности. Они находили для себя некоторое утешение в частых посещениях священного города в надежде, что они когда-нибудь снова поселятся в тех местах, к которым и природа, и религия внушали им и любовь, и благоговение. Но в конце концов свирепый фанатизм иудеев был причиной того, что в царствование Адриана чаша их бедствий переполнилась: римляне, выведенные из терпения их беспрестанными возмущениями, воспользовались правами победы с необычайной строгостью. Император основал на горе Сион новый город под названием *Aelia Capitolina* (Иерусалим. — *Ред.*), дал ему привилегии колонии и, запретив иудеям приближаться к нему под страхом самых строгих наказаний, поставил там гарнизоном римскую когорту для наблюдения над исполнением его приказаний. Назареем представлялся только один способ избежать окончательной гибели, и в этом случае сила истины нашла для себя подпору во влиянии мирских интересов. Они выбрали своим епископом духовного сановника языческого происхождения Марка, который, вероятно, был уроженцем Италии или какой-нибудь из латинских провинций. По его настоянию самая значительная часть конгрегации отказалась от Моисеева закона, которого она постоянно держалась в течение более ста лет. Этим принесением в жертву своих привычек и привилегий назареи купили свободный доступ в колонию Адриана и более прочно скрепили свою связь с Католической Церковью.

Когда имя и почетные отличия иерусалимской церкви были перенесены на гору Сион, тогда жалкие остатки назареев, отказавшихся следовать за своим латинским епископом, подверглись обвинениям в ереси и расколе. Они по-прежнему жили в Нелле, распространились оттуда по селениям, находившимся в окрестностях Дамаска, и основали незначительную церковь в Сирии, в городе Берое, или, как его теперь называют, в Алеппо. Название назареев скоро стали находить слишком почетным для этих христианских иудеев и дали им презрительный эпитет евионитов, обозначавший предполагаемую бедность их ума, как и их положения.

Через несколько лет после восстановления иерусалимской церкви возникли сомнения о том, может ли надеяться быть спасенным тот, кто искренно признает Иисуса за Мессию, но все-таки не перестает соблюдать закон Моисея. Человеколюбивый характер Юстина Мученика заставил его ответить на этот вопрос утвердительно, и, хотя он выражался с самой сдержанной скромностью, он высказался в пользу таких несовершенных христиан, если только они будут довольствоваться исполнением Моисеевых обрядов и не будут настаивать на их всеобщем исполнении или на их необходимости. Но когда от Юстина настоятельно потребовали, чтобы он сообщил мнение церкви, он признался, что между православными христианами много таких, которые не только отказывают своим иудействующим собратьям в надежде спасения, но даже уклоняются от всякого с ними обмена дружеских услуг, гостеприимства и приличий обще-

жития. Более суровое мнение, как и следовало ожидать, одержало верх над более мягким, и последователи Моисея навсегда отделились от последователей Христа. Несчастные евиониты, отвергнутые одной религией как вероотступники, а другой как еретики, были вынуждены принять более определенный характер, и, хотя некоторые члены этой устарелой секты встречаются даже в четвертом столетии, они постепенно слились частью с христианской церковью, частью с синагогой.

В то время как Православная Церковь держалась середины между чрезмерным уважением к закону Моисея и незаслуженным презрением к нему, различные еретики, впадая в противоположные крайности, вовлеклись в заблуждения и сумасбродства.

Удостоверенная истина иудейской религии привела евионитов к тому заключению, что она никогда не может быть уничтожена, а из ее предполагаемых несовершенств гностики опрометчиво заключили, что она никогда не была установлена божественной мудростью. Против авторитета Моисея и пророков можно сделать некоторые возражения, которые сами собой возникают в скептическом уме, хотя они и могут происходить от нашего незнакомства с отдаленной древностью и из нашей неспособности составить себе правильное понятие о божественных предначертаниях. Гностики горячо взялись за эти возражения и смело доказывали их основательность, опираясь на свои шаткие научные познания. Так как эти еретики большей частью отвергали чувственные наслаждения, то они с негодованием нападали и на многоженство патриархов, и на любовные похождения Давида, и на сераль Соломона. Они не знали, как согласовать завоевание Ханаанской земли и истребление доверчивых туземцев с обыкновенными понятиями о человеколюбии и справедливости. Но когда они вспоминали о длинном ряде убийств, экзекуций и поголовных истреблений, запятнавших почти каждую страницу иудейских летописей, они признавали, что палестинские варвары относились к своим врагам-язычникам с таким же жестокосердием, с каким они относились к своим друзьям и соотечественникам. Переходя от приверженцев закона к самому закону, они утверждали, что религия, которая состоит только из кровавых жертвоприношений и мелких обрядов и в которой как награды, так и наказания носят исключительно плотский и мирской характер, не может внушать любви к добродетели и не может сдерживать пылкость страстей. Гностики относились с нечестивой насмешкой к повествованию Моисея о сотворении мира и грехопадении человека; они не могли с терпением выслушивать рассказы об отдохновении божества после шестидневного труда, о ребре Адама, о садах Эдема, о древе жизни и древе познания добра и зла, о говорящем змее, о запрещенном плоде и об обвинительном приговоре, произнесенном над всем человеческим родом в наказание за легкий проступок, совершенный его первыми прародителями. Бога Израилева гностики нечестиво выдавали за такое существо, которое доступно страстям и заблуждениям, которое прихотливо в раздаче своих милостей, неумолимо в своем мщении, низко подозрительно во всем, что касается его суеверного культа, и ниспосылает свое покровительство только одной нации, ограничивая его пределами земной временной жизни. В таком характере они не могли найти ни одной черты, характеризующей премудрого и всемогущего Отца Вселенной. Они допускали, что религия иудеев была в некоторой мере менее преступна, нежели идолопоклонство язычников, но их основным учением было то, что Христос, которому они поклонялись как первой и самой блестящей эманацией божества, появился на земле для того, чтобы спас-

ти человеческий род от его различных заблуждений, и для того, чтобы поведать новую систему истины и совершенства. Самые ученые отцы церкви по какой-то странной снисходительности имели неосторожность одобрить лже-мудрствование гностиков. Сознывая, что буквальное толкование Священного Писания противно всем принципам и веры, и разума, они воображали, что гарантированы от всяких нападков и неуязвимы под прикрытием того широкого аллегорического забрала, которым они старательно прикрыли все самые слабые стороны Моисеевых законов.

Один писатель сделал более простодушное, чем правдивое, замечание, что девственная чистота церкви ни разу не была нарушена расколом или ересью до царствования Траяна или Адриана, то есть в течение почти ста лет после смерти Христа. Мы, со своей стороны, сделаем гораздо более основательное замечание, что в течение этого периода последователи Мессии пользовались и для своих верований, и для своих обрядов более широкой свободой, чем какая когда-либо допускалась в следующие века. Когда условия вступления в христианское общество постепенно сузились, а духовная власть господствующей партии сделалась более требовательной, от многих из самых почтенных последователей христианского учения стали требовать, чтобы они отказались от своих личных мнений; но это привело лишь к тому, что они стали заявлять эти мнения более решительно, стали делать выводы из своих ложных принципов и, наконец, открыто подняли знамя бунта против единства церкви. Гностики были самыми образованными, самыми учеными и самыми богатыми из всех, кто назывался христианином, а их прозвище, обозначающее превосходство знаний, или было принято ими самими из гордости, или было дано им в насмешку их завистливыми противниками. Они почти все без исключения происходили от языческих семейств, а главные основатели секты, по-видимому, были родом из Сирии или из Египта, где теплый климат располагает и ум, и тело к праздности и к созерцательному благочестию. Гностики примешивали к христианской вере множество заимствованных от восточной философии или даже от религии Зороастра возвышенных, но туманных идей касательно вечности материи, существования двух принципов и таинственной иерархии невидимого мира. Лишь только они углубились в эту обширную пропасть, у них не оказалось другого руководителя, кроме необузданной фантазии, а так как стези заблуждений разнообразны и бесконечны, то гностики незаметным образом разделились более чем на пятьдесят различных сект, между которыми самыми известными были базилидиане, валентиниане, маркиониты и в более позднюю эпоху манихеи. Каждая из этих сект могла похвастаться своими епископами и конгрегациями, своими учеными-богословами и мучениками, а вместо признанных церковью четырех Евангелий еретики пустили в ход множество повествований, в которых деяния и слова Христа и его апостолов были приспособлены к их учениям. Гностики имели быстрый и обширный успех. Они наводнили Азию и Египет, утвердились в Риме и проникали иногда в западные провинции империи. Они стали размножаться преимущественно во втором столетии; третье столетие было эпохой их процветания, а в четвертом и пятом они были подавлены преобладающим интересом более модных сюжетов полемики и мощным влиянием господствовавшей власти. Хотя они беспрестанно нарушали спокойствие церкви и нередко унижали ее достоинство, они не замедляли распространения христианства, а скорее содействовали ему. Самые резкие возражения и предубеждения новообращенных язычников были направлены против Моисеева закона, но им был открыт доступ во многие

христианские общины, не требовавшие от их неразвитых умов веры в предварительное откровение. Их верования постепенно крепили и расширялись, а церковь в конце концов обращала в свою пользу завоевания самых заклятых своих врагов.

Но как бы ни были различны мнения православных, евионитов и гностиков касательно божественности или обязательности Моисеева закона, все они были в одинаковой мере одушевлены тем исключительным религиозным рвением и тем отвращением к идолопоклонству, которыми иудеи отличались от других народов Древнего мира. Философ, считавший систему многобожия за составленную руками человека смесь обмана с заблуждениями, мог скрывать свою презрительную улыбку под маской благочестия, не опасаясь, чтобы его насмешка или его одобрение могли подвергнуть его мщению какой-нибудь невидимой силы, так как подобные силы были в его глазах не более как созданиями фантазии. Но языческие религии представлялись глазам первобытных христиан в гораздо более отвратительном и гораздо более страшном виде. И церковь, и еретики были одного мнения насчет того, что демоны были и творцами, и покровителями, и предметами идолопоклонства. Этим разжалованным из звания ангелов и низвергнутым в адскую пропасть мятежным духам было дозволено бродить по земле для того, чтобы мучить тело грешных людей и соблазнять их душу. Демоны скоро подметили в человеческом сердце природную склонность к благочестию, стали ею злоупотреблять и, коварным образом отклонив человеческий род от поклонения его Создателю, присвоили себе и место, и почести, принадлежащие Верховному Божеству. Благодаря успеху своих злонамеренных замыслов они удовлетворили свое собственное тщеславие и свою жажду мщения и вместе с тем вкусили единственного наслаждения, какое еще было им доступно, — получили надежду сделать человеческий род соучастником в своем преступлении и в своем бедственном положении. Тогда утверждали или, по меньшей мере, воображали, что эти мятежные духи распределили между собой самые важные роли политеизма, что один демон присвоил себе имя и атрибуты Юпитера, другой — Эскулапа, третий — Венеры, быть может, четвертый — Аполлона и что благодаря своей опытности и воздушной натуре они исполняли с искусством и достоинством принятые на себя роли. Скрываясь в храмах, они устраивали празднества и жертвоприношения, выдумывали басни, произносили изречения оракулов и нередко даже творили чудеса. Христиане, которые могли так легко объяснять все неестественные явления вмешательством злых духов, без труда и даже охотно принимали самые нелепые вымыслы языческой мифологии. Но к их вере в эти вымыслы примешивалось чувство отвращения. В их глазах даже самое легкое изъятие уважения к национальному культу было бы непосредственным преклонением перед демоном и мятежом против величия Божьего.

Вследствие таких понятий, самая существенная и самая трудная обязанность христианина заключалась в том, чтобы не запятнать себя исполнением какого-нибудь языческого обряда. Религия древних народов не была лишь умозрительной доктриной, преподаваемой в школах или проповедуемой в храмах. Бесчисленные божества и обряды политеизма были тесно связаны со всеми деловыми занятиями и со всеми удовольствиями и общественной, и частной жизни; по-видимому, не было возможности уклониться от их исполнения, не отказавшись вместе с тем от всяких сношений с другими людьми, от всяких общественных обязанностей и развлечений. Важные вопросы касательно заключения мира или объявления войны рассматривались и решались при жертвоприношениях, на которых обязаны были присутствовать

и должностные лица, и сенаторы, и солдаты: одни в качестве председателей, а другие — в качестве участвующих лиц. Общественные зрелища составляли существенную принадлежность приятного на взгляд благочестия язычников, которые были убеждены, что боги смотрят как на самое приятное для них приношение, на те игры, которые праздновались государем и народом в установленные в их честь торжественные дни. Христианин, с благочестивым отвращением избегавший гнусных зрелищ цирка и театра, попадался в адскую ловушку всякий раз, как за приятельской пирушкой происходили возлияния вина с призыванием богов-покровителей и с пожеланиями друг другу счастья. Когда невеста, сопровождаемая свадебным кортежем, с притворным нежеланием переступала порог своего нового жилища или когда печальная похоронная процессия медленно двигалась в направлении к костру, христианин покидал тех, кто был для него всех дороже, из опасения сделать соучастником в преступлении, которое сопряжено с исполнением этих нечестивых обрядов. Всякое искусство и всякое ремесло, имевшее малейшую связь с сооружением или с украшением идолов, считалось оскверненным грязью идолопоклонства, а результатом этого строгого приговора было то, что большинство членов общины, занимавшееся либеральными или ремесленными профессиями, было осуждено на вечную нищету. Если мы остановим наше внимание на многочисленных остатках древности, то мы найдем, что, кроме изображений богов и священных культовых орудий, и дома, и одежда, и мебель язычников были обязаны самым роскошным из своих украшений тем изящным формам и привлекательным вымыслам, которым фантазия греков придала такую долговечность. Даже такие искусства, как музыка и живопись, как красноречие и поэзия, брали начало из того же нечистого источника. В глазах отцов церкви Аполлон и музы были органами адского духа, Гомер и Вергилий — самыми высшими из их служителей, а великолепная мифология, наполняющая и одушевляющая произведения их гения, имела назначением превозносить славу демонов. Даже в общепотребительном языке Греции и Рима было множество таких привычных нечестивых выражений, которые осторожный христианин мог по нечаянности произнести или выслушать без протеста.

Опасные искушения, со всех сторон подстерегавшие неосторожного верующего, делались для него вдвое более опасными в дни торжественных празднеств. Эти празднества были так искусно организованы и так искусно распределены по различным временам года, что суеверие всегда принимало внешний вид удовольствия, а иногда и вид добродетели. Некоторые из самых священных праздников римского календаря имели назначение: встречать новые январские календы торжественными мольбами о благополучии всего общества и каждого из граждан; предаваться благочестивым воспоминаниям об умерших и о живых; подтверждать ненарушимость границ поземельной собственности; приветствовать при наступлении весны жизненные силы, дающие плодородие; увековечить воспоминание о двух самых достопамятных эрах Рима, об основании города и об основании республики и восстановить во время гуманной разнужданности Сатурналий первобытное равенство человеческого рода. О том, какое отвращение внушали христианам эти нечестивые церемонии, можно составить себе некоторое понятие по той тонкой разборчивости, которую они выказывали в одном, гораздо менее тревожном случае. В дни общего веселья древние имели обыкновение украшать двери своих домов фонарями и лавровыми ветвями и надевать на головы гирлянды из цветов. С этим невинным и приятным для глаз обычаем, пожалуй, можно бы было примириться, если бы

можно было смотреть на него как на чисто гражданское установление. Но, к несчастью, оказывалось, что двери находились под покровительством домашних богов, что лавровое дерево посвящено любовнику Дафны и что гирлянды из цветов, хотя и употреблялись часто как символы радости или печали, первоначально назначались на служение суеверию. Те из христиан, которые из страха соглашались сообразоваться в этом случае с обычаями своей родины и с требованиями начальства, мучили себя самыми мрачными мыслями; они боялись и упреков своей собственной совести, и порицаний со стороны церкви, и угроз Божеского мщения.

Вот какое заботливое внимание было нужно для того, чтобы охранить чистоту Евангелия от заразительного духа идолопоклонства. Последователи установленной религии бессознательно исполняли и в общественной, и в частной жизни суеверные религиозные обряды, к которым их привязывали воспитание и привычка. Но всякий раз, как совершались эти обряды, они давали христианам повод заявлять против них горячий протест. Благодаря таким часто повторявшимся протестам в христианах постоянно укреплялась привязанность к их вере, а по мере того как росло их усердие, и принятая ими против господства демонов война велась с большим одушевлением и с большим успехом.

Учение о бессмертии души

Сочинения Цицерона выставляют в самом ярком свете невежество, заблуждения и сомнения древних философов касательно вопроса о бессмертии души. Когда они хотели научить своих последователей не бояться смерти, они внушали им ту простую и вместе с тем печальную мысль, что роковой удар, прекращающий нашу жизнь, избавляет нас от житейских невзгод и что не может более страдать тот, кто перестал существовать. Однако в Греции и Риме были некоторые мудрецы, составившие себе более возвышенное и в некоторых отношениях более основательное понятие о человеческой натуре, хотя и следует сознаться, что в таких отвлеченных исследованиях их разум часто руководствовался их воображением, а их воображение повиновалось голосу их тщеславия. Когда они с удовольствием обозревали обширность своих умственных способностей, когда они прилагали разнообразные способности памяти, фантазии и рассудка к самым глубоким умозрениям или к изучению самых важных вопросов и когда они воодушевлялись желанием славы, переносившим их в будущее века далеко за пределы смерти и могилы, — тогда они не могли допускать, чтобы их смешивали с живущими в полях животными, и не могли верить, чтобы то существо, к достоинствам которого они питали самое искреннее уважение, должно было довольствоваться небольшим местом на земле и немногими годами жизни. Задавшись такой благоприятной для человеческого рода мыслью, они призвали к себе на помощь науку или, скорее, язык метафизики. Они скоро пришли к убеждению, что так как ни одно из свойств материи не может быть применено к деятельности ума, то, стало быть, человеческая душа есть такая субстанция, которая отлична от тела, чиста, несложна и духовна, что она не может подвергаться разложению и доступна для гораздо более высокой степени добродетели и счастья после того, как она освободится от своей телесной тюрьмы. Из этих ясных и возвышенных принципов философы, шедшие по стопам Платона, вывели весьма неосновательное заключение: они стали утверждать не только то, что человеческая душа бессмертна в будущем, но и то, что она существовала вечно, и стали смотреть на нее как на часть того бесконечного и существую-

щего самим собой духа, который наполняет собой и поддерживает Вселенную. Учение, до такой степени выходившее за пределы человеческих понятий и человеческого опыта, могло служить для философов развлечением в часы досуга; оно могло в тиши уединения приносить падающей духом добродетели луч надежды, но слабое впечатление, которое оно производило в школах, скоро изглаживалось развлечениями и деловыми занятиями обыденной жизни. Нам достаточно хорошо известны действия, характеры и мотивы самых выдающихся людей, живших во времена Цицерона и первых Цезарей, так что мы можем положительно утверждать, что они никогда не руководствовались в своих поступках сколько-нибудь серьезной уверенностью в наградах или в наказаниях будущей жизни. И в судах, и в римском сенате самые даровитые ораторы не боялись оскорбить своих слушателей, называя эту доктрину пустым и нелепым мнением, которое с презрением отвергается всяким, кто не лишен образования и рассудка.

Так как, несмотря на самые благородные усилия, философия оказалась способной лишь слегка выразить желание, надежду или вероятие будущей жизни, то одно только божественное откровение могло удостоверить существование и описать положение той невидимой страны, которая должна принимать души людей после их отделения от тела. Впрочем, в популярных религиях Греции и Рима мы усматриваем несколько существенных недостатков, которые делали их неспособными к разрешению такой трудной задачи. 1. Общая система их мифологии не опиралась ни на какие солидные доказательства, и самые умные между язычниками уже не подчинялись ее незаконно захваченному авторитету. 2. Описание ада было предоставлено фантазии живописцев и поэтов, которые населяли его столькими призраками и чудовищами и распределяли награды и наказания с таким неуважением к законам справедливости, что самая близкая человеческому сердцу истина была заглушена и обезображена нелепой примесью самых сумасбродных вымыслов. 3. Благочестивые политеисты Греции и Рима едва ли считали учение о будущей жизни за одно из основных положений своей религии. Поскольку провидение богов касалось скорее целых обществ, чем частных лиц, то оно проявлялось преимущественно на видимом театре здешнего мира. Мольбы, с которыми язычники обращались к алтарям Юпитера и Аполлона, выражали их заботу о мирском благополучии и невежестве или равнодушие касательно будущей жизни. Важная истина бессмертия души проповедовалась и с большим старанием, и с большим успехом в Индии, Ассирии, Египте и Галлии, а так как мы не можем приписывать это различие превосходству знаний у варваров, то мы должны приписать его влиянию лиц духовного звания, которые умели обращать мотивы добродетели в орудия честолюбия.

Казалось бы, что столь существенный для религии принцип мог быть поведен путем откровения избранному народу Палестины в самых ясных выражениях и что он мог бы быть безопасно вверен наследственной священнической расе Аарона. Но мы должны преклоняться перед таинственными декретами Провидения, когда усматриваем, что учение о бессмертии души опущено в Моисеевом законе: на него делают неясные намеки пророками, а в течение длинного периода времени, отделяющего египетское пленение от вавилонского, как упования, так и опасения иудеев, по-видимому, ограничивались тесными рамками земной жизни. После того как Кир дозволил изгнанной нации возвратиться в обетованную землю и после того как Эздра восстановил древние памятники ее религии, в Иерусалиме образовались две знаменитые

секты — саддукеи и фарисеи. Первые из них, состоявшие из самых зажиточных и самых выдающихся членов общества, строго придерживались буквального смысла Моисеева закона и из чувства благочестия отвергали бессмертие души как учение, которое не имеет поддержки в содержании священных книг, считавшихся ими за единственное основание их веры. А фарисеи присовокупляли к авторитету Св. Писания авторитет преданий и под именем преданий принимали некоторые умозрительные положения, заимствованные от философии или от религии восточных народов. Учение о судьбе или предопределении, об ангелах и духах и о наградах и наказаниях в будущей жизни было в числе этих новых догматов веры, а так как фарисеи благодаря строгости своих нравов успели привлечь на свою сторону большинство иудейского народа, то бессмертие души сделалось преобладающим убеждением синагоги под управлением государей и первосвященников из рода Маккавеев. По своему характеру иудеи не были способны ограничиться таким холодным и вялым одобрением, какое могло удовлетворить ум политеиста, и лишь только они допустили мысль о будущей жизни, они взялись за нее с тем рвением, которое всегда было отличительной чертой всей нации. Впрочем, их усердие ничего не прибавило ни к ее очевидности, ни даже к ее правдоподобию; поэтому, хотя догмат загробной жизни и бессмертия души и был внушен человеку природой, одобрен рассудком и принят суеверием, он мог получить санкцию божественной истины только от авторитета и примера Христа.

Когда обещание вечного блаженства было предложено человеческому роду с тем условием, чтобы он уверовал в Евангелие и подчинился его заповедям, неудивительно, что столь выгодное предложение было принято огромным числом людей всяких религий, всякого звания и из всех провинций Римской империи. Древние христиане были воодушевлены таким презрением к своему земному существованию и такой твердой уверенностью в бессмертии души, о которых не может дать нам сколько-нибудь правильного понятия шаткая и неполная вера новейших веков. В первобытной церкви влияние этой истины приобретало громадную силу благодаря одному ожиданию, которое хотя и не оправдалось на деле, но имеет право на уважение по своей практической пользе и по своей древности. В то время существовало общее убеждение, что близок конец мира и что затем наступит царствие небесное. Приближение этого чудесного события было предсказано апостолами; предание о нем было сохранено их первыми учениками; а те, кто принимали в буквальном смысле слова самого Христа, были обязаны ожидать второго и славного пришествия Сына Человеческого среди облаков прежде, нежели совершенно исчезнет то поколение, которое видело его скромное положение на земле и которое еще могло быть свидетелем бедствий иудеев в царствования Веспасиана и Адриана. Прошедшие с тех пор семнадцать столетий научили нас, что не следует придавать слишком ясный смысл таинственному языку пророчеств и откровений, но пока мудрые цели Провидения позволяли церкви держаться этого заблуждения, оно имело самое благотворное влияние на верования и поведение христиан, живших в благоговейном ожидании той минуты, когда весь земной шар и все разнообразные племена человеческого рода задрожат от появления их божественного Судии.

Учение о тысячелетнем царствии

Древнее и очень распространенное учение о тысячелетнем царствии было тесно связано с ожиданием второго пришествия Христа. Так как сотворение мира было окончено в шесть дней, то его продолжительность в настоящем его

положении была определена в шесть тысяч лет, согласно преданию, которое приписывалось пророку Илии. Путем точно такой же аналогии было сделано заключение, что за этим длинным периодом тяжелых усилий и споров, уже почти закончившимся, наступит полный радостей тысячелетний отдых и что Христос, окруженный торжествующим сонмом святых и избранных, спасшихся от смерти или чудным образом воскресших, будет царствовать на земле до того времени, которое назначено для последнего и общего воскресения мертвых. Эта надежда была так привлекательна для верующих, что они поспешили разукрасить столицу этого благословенного царства — Новый Иерусалим — самыми яркими красками фантазии. Так как предполагалось, что его обитатели не утратят своей человеческой натуры и своих чувственных влечений, то для них было бы слишком утонченно благополучие, состоящее из одних чистых и духовных наслаждений. Сады Эдема с их удовольствиями пастушеской жизни уже не годились для того развитого состояния, которого достигло общество времен Римской империи. Поэтому был воздвигнут город из золота и драгоценных камней; окружающая его местность была с избытком наделена земными продуктами и вином, а в пользовании всеми этими благами добродушные жители не должны были стесняться никакими недоверчивыми постановлениями об исключительном праве собственности. Веру в такое тысячелетнее царствие тщательно поддерживали все отцы церкви, начиная с Юстина Мученика и Ириния, который беседовал с непосредственными учениками апостолов, и кончая Лактанцием, который был наставником сына Константина. Если эта вера и не была принята повсюду, она все-таки была господствующим чувством у православных верующих, а так как она очень хорошо согласовалась с желаниями и опасениями человеческого рода, то она в значительной мере содействовала распространению христианской веры. Но когда церковь получила довольно прочную организацию, эта временная подпора была отложена в сторону. Учение о царствии Христа на земле было сначала отнесено к числу глубокомысленных аллегорий, потом постепенно было низведено в разряд сомнительных и бесполезных верований и наконец было отвергнуто как нелепая выдумка еретиков и фанатиков. Это таинственное предсказание, до сих пор входящее в состав священных книг, а в ту пору считавшееся благоприятным для общераспространенного мнения, едва не подверглось церковной опале.

В то время как последователям Христа были обещаны благоденствие и слава мирского владычества, неверующим грозили самыми страшными бедствиями. Сооружение Нового Иерусалима должно было подвигаться вперед вместе с постепенным разрушением мистического Вавилона, а пока царствовавшие до Константина императоры упорствовали в привязанности к идолопоклонству, название Вавилон применялось к Риму и к Римской империи. Для него был приготовлен целый ряд всевозможных нравственных и физических несчастий, какие только могут обрушиться на благоденствующую нацию, — внутренние раздоры и вторжение самых свирепых варваров из самых отдаленных северных стран, моровая язва и голод, кометы и солнечные затмения, землетрясения и наводнения. Все это были лишь подготовительные тревожные предзнаменования той великой катастрофы, когда родину Сципионов и Цезарей должен был истребить нисшедший с неба огонь и когда город семи холмов вместе со своими дворцами, храмами и триумфальными арками должен был погрузиться в огромное море пылающей серы. Впрочем, тщеславие римлян могло находить некоторое для себя утешение в том, что с концом их владычества должно было окончиться и существование всего ми-

ра, который, уже испытав однажды гибель от воды, должен был подвергнуться вторичному и быстрому истреблению от огня. Уверенность христиан в таком всеобщем пожаре удачно согласовалась и с восточными преданиями, и со стоической философией, и с явлениями природы; даже та страна, которой, по религиозным мотивам, было предназначено сделаться первоначальной причиной и главной сценой пожара, была лучше всех приспособлена для такой роли по своей природе и по своим физическим условиям, так как в ней находились и глубокие пещеры, и пласты серы, и многочисленные огнедышащие горы, о которых нам дают лишь весьма слабое понятие вулканы Этны, Везувия и Липарских островов. Даже самые спокойные и самые неустрашимые скептики не могли сознаться, что уничтожение тогдашней системы мира посредством огня было само по себе чрезвычайно правдоподобно. А христианин, опиравшийся в своем веровании не столько на обманчивые доводы рассудка, сколько на авторитет традиций и на толкование Св. Писания, с ужасом ожидал события, которое он считал несомненным и близким, и так как его ум был постоянно занят этой мыслью, то в каждом бедствии, обрушивавшемся на империю, он видел верный признак наступающего разрушения мира.

Осуждение на вечную гибель самых мудрых и самых добродетельных язычников за то, что им была неизвестна божественная истина, или за то, что они не верили в нее, кажется в наше время оскорблением здравого смысла и чувства человеколюбия. Но первобытная церковь, будучи более тверда в своей вере, без колебаний обрекала большую часть человеческого рода на вечные мучения. Из милосердия, быть может, и дозволялось надеяться на спасение Сократа или некоторых других древних мудрецов, руководствовавшихся светом разума прежде, нежели воссиял свет Евангелия; но относительно тех, кто после рождения или смерти Христа упорно держался прежней привычки поклоняться демонам, единогласно утверждали, что ни один из них не может ожидать помилования от справедливости прогневанного Божества. Эти суровые идеи, с которыми Древний мир был вовсе незнаком, по-видимому, внесли дух озлобления в такую систему, которая была основана на любви и согласии. Узы родства и дружбы нередко разрывались из-за различия религиозных верований, а христиане, томившиеся в этом мире под гнетом язычников, нередко до того увлекались жаждой мщенья и сознанием своего духовного превосходства, что с наслаждением сравнивали свое будущее торжество с мучениями, которые ожидали их противников. «Вы любите зрелища, — восклицает суровый Тертуллиан, — ожидайте же величайшего из всех зрелищ — последнего и неизменного суда над всей Вселенной. Как я буду любоваться, как я буду смеяться, как я буду радоваться, как я буду восхищаться, когда я увижу, как гордые монархи и воображаемые боги будут стонать в самых глубоких пропастях преисподней; как сановники, преследовавшие имя Господа, будут жариться в более жарком огне, чем тот, что они когда-либо зажигали для гибели христиан; как мудрые философы вместе с введенными в заблуждение учениками будут делаться красными среди пламени; как прославленные поэты будут трепетать перед трибуналом не Миноса, а Христа; как трагические актеры будут более обыкновенного возвышать свой голос для выражения своих собственных страданий; как плясуны..!» Но человеколюбивый читатель, надеюсь, позволит мне задернуть завесу над остальной частью этой страшной картины, которую усердный африканец дорисовывает с большим разнообразием натянутых и безжалостных острот.

Между первыми христианами, без сомнения, было не мало таких, характер которых более согласовался со смирением и милосердием той веры, которую

они исповедовали. Многие из них искренно сожалели об опасностях, которые угрожали их друзьям и соотечественникам, и выказывали самое добросердечное усердие в своих стараниях спасти этих несчастных от ожидавшей их гибели. Беспечный политеист, напуганный новыми и неожиданными опасностями, от которых не могли доставить ему надежной защиты ни его священники, ни его философы, очень часто приходил в ужас от угрозы вечных мучений и покорялся. Его опасения содействовали успехам его веры и разума, и как только в его уме зарождалось подозрение, что христианская религия, может быть, и есть та религия, которая истинна, его уже нетрудно было убедить в том, что он поступит самым предусмотрительным и самым благоразумным образом, если перейдет в нее.

Сверхъестественные дарования, которые приписывались христианам даже в этой жизни и которые ставили их выше всего остального человеческого рода, конечно, служили утешением для них самих и вместе с тем очень часто способствовали убеждению неверующих. Кроме случайных чудес, которые иногда могли совершаться благодаря непосредственному вмешательству божества, приостанавливавшего действие законов природы для пользы религии, христианская церковь со времен апостолов и первых их учеников заявляла притязание на непрерывный ряд сверхъестественных способностей: она приписывала себе дар языкознания, видений и пророчеств, способность изгонять демонов, исцелять страждущих и воскрешать мертвых. Знание иностранных языков нередко сообщалось современникам Ириней, хотя сам Ириней должен был бороться с трудностями варварского диалекта в то время, как он проповедовал Евангелие жителям Галлии. Божественное вдохновение, сообщалось ли оно в форме видений во время бдения или в форме видений во время сна, было, как рассказывают, щедро изливаемо на верующих всякого разряда, как на женщин, так и на старцев, как на молодых мальчиков, так и на епископов. Когда их благочестивые души были подготовлены молитвами, постом и бдениями к восприятию сверхъестественного импульса, они утрачивали чувство самосознания и в экстазе высказывали то, что им было внушено, делаясь в этом случае простыми орудиями святого духа точно так, как труба или флейта служит орудием для того, кто на ней играет. Следует прибавить, что видения большей частью имели целью или разоблачить будущую судьбу церкви, или руководить ее тогдашней администрацией. Изгнание демонов из тела тех несчастных, которых им было дозволено мучить, считалось за замечательное, хотя и весьма обыкновенное, торжество религии, а древние поборники христианства часто ссылались на него как на самое убедительное доказательство истины христианской религии. Эта внушительная церемония обыкновенно совершалась публично в присутствии многочисленных зрителей; страждущий исцелялся благодаря могуществу или искусству заклинателя, а побежденный демон громко сознавался, что он был из числа баснословных богов древности, незаконно присвоивших себе право быть предметами поклонения для человеческого рода. Но чудесное исцеление самых застарелых или даже самых сверхъестественных недугов не может возбуждать в нас удивления, когда мы припоминаем, что во времена Ириней, то есть около конца второго столетия, воскрешение из мертвых вовсе не считалось необыкновенным происшествием, что это чудо часто совершалось в случае надобности путем продолжительного поста и совокупных молитв всех верующих данной местности и что воскресшие впоследствии жили довольно долго среди тех, чьим молитвам они были обязаны своим воскрешением. В такую эпоху, когда вера могла похвастаться столькими удивительными победами

над смертью, по-видимому, трудно было найти оправдание для скептицизма тех философов, которые, несмотря ни на что, отвергали или осмеивали учение о воскрешении мертвых. Один знатный грек свел всю религиозную полемику к этому важному пункту и дал антиохийскому епископу Феофилу слово, что немедленно перейдет в христианскую религию, если хоть один человек восстанет из мертвых на его глазах. Довольно странно то, что высшее духовное лицо главной восточной церкви, несмотря на горячее желание обратить своего друга в христианскую религию, отклонило этот прямой и разумный вызов.

Несмотря на то что чудеса первобытной церкви приобрели санкцию стольких веков, на них недавно сделано было нападение в одном смелом и остроумном исследовании, которое хотя и нашло у публики самый благосклонный прием, но, как кажется, произвело общий скандал как в среде наших отечественных богословов, так и в среде богословов других протестантских церквей. В нашем противоположном взгляде на этот предмет мы руководствуемся не какими-либо особыми аргументами, а нашей манерой смотреть на вещи и мыслить, главным образом тем, что мы привыкли требовать известной степени достоверности от доказательств сверхъестественных происшествий. На историке вовсе не лежит обязанность высказывать свое личное мнение об этом щекотливом и важном спорном вопросе; но он не должен умалчивать о том, как трудно отыскать такую теорию, которая могла бы согласовать интересы религии с интересами разума, как трудно с точностью определить границы того счастливого периода, которому не были знакомы заблуждение и обман и за которым можно признать дар сверхъестественных способностей. Начиная с первого из отцов церкви и кончая последним из пап, идет непрерывный ряд епископов, святых, мучеников и чудес, а развитие суеверий совершается так постепенно и почти незаметно, что мы не знаем, на каком из звеньев мы должны прервать цепь традиции. Каждый век свидетельствует о достоверности ознаменовавших его сверхъестественных событий, и его свидетельство, по-видимому, не менее веско и не менее достойно уважения, чем свидетельство предшествующего поколения; таким образом, мы незаметно доходим до того, что сами сознаем нашу непоследовательность, если жившим в восьмом и двенадцатом столетиях почтенному Беду и святому Бернару отказываем в такой же доверии, какое так охотно оказывали жившим во втором столетии Юстину и Иринею. Если бы достоверность каких-либо из этих чудес могла быть основана на их явной пользе и уместности, то всегда находились бы достаточные мотивы для вмешательства свыше, так как в каждом веке были неверующие, которых нужно было убедить, были еретики, которых нужно было обратить в истинную веру. А между тем, так как всякий верующий в откровение убежден в достоверности чудес, а всякий здравомыслящий человек убежден в том, что они прекратились, то неизбежно следует допустить существование такого периода времени, в течение которого способность творить чудеса была отнята у христианской церкви или внезапно, или постепенно. Все равно, какая бы ни была избрана для этой цели эра — смерть ли апостолов, введение ли в Римской империи христианства, уничтожение ли ереси Ария, — мы во всяком случае должны удивляться равнодушию живших в то время христиан. Они не переставали поддерживать свои притязания и после того, как утратили дар. Легковерие стало заменять веру, фанатизму дозволили выражаться языком вдохновения, а то, что было плодом случайности или хитрости, стали объяснять сверхъестественными причинами. Недавние примеры настоящих чудес должны были ознакомить христиан с путями Провидения и должны были приучить их (если нам

будет дозволено употребить весьма неудовлетворительное выражение) распознать манеру божественного Художника. Если бы самый даровитый из новейших итальянских живописцев вздумал украсить свои слабые подражания именами Рафаэля или Корреджо, такой дерзкий обман был бы немедленно разоблачен и возбудил бы сильнейшее негодование.

Польза чудес

Независимо от того или другого мнения о чудесах первобытной церкви после времен апостольских послушный и мягкий характер верующих во втором и третьем столетиях случайно оказался полезным делу истины и религии. В новейшие времена тайный и даже невольный скептицизм уживается с самым сильным расположением к благочестию. Чувство, допускающее веру в сверхъестественные истины, является не столько активным убеждением, сколько холодным и пассивным согласием. Так как наш разум или, по меньшей мере, наше воображение давно уже привыкли соблюдать и уважать неизменный порядок природы, то они недостаточно подготовлены к тому, чтобы выдерживать видимое действие Божества. Но в первые века христианства положение человеческого рода было совершенно иное. Самые любознательные или самые легковверные язычники нередко склонялись к убеждению вступить в такое общество, которое заявляло притязание на способность творить чудеса. Первобытные христиане постоянно держались на мистической почве, а их умы приучились верить в самые необыкновенные происшествия. Они чувствовали или воображали, что на них беспрестанно нападают со всех сторон демоны, что их подкрепляют видения, что их поучают пророчества и что молитвы церкви чудным образом спасают их от опасностей, болезней и даже от смерти. Действительные или воображаемые чудеса, для которых они, по убеждению, так часто служили целью, орудием или зрителями, к счастью, так же легко, но с гораздо большим основанием располагали их верить в подлинные чудеса евангельской истории; таким образом, те сверхъестественные происшествия, которые не переходили за границы их собственного опыта, внушали им самую твердую уверенность в таких таинственных событиях, которые, по их собственному сознанию, выходили за пределы их понимания. Это-то глубокое убеждение в сверхъестественных истинах и было так прославляемо под именем веры, то есть под именем того умственного настроения, которое выдавалось за самый верный залог божественной благодати и будущего блаженства и считалось за главное или даже за единственное достоинство христианина. По мнению самых строгих христианских наставников, те православные добродетели, которыми могут отличаться и неверующие, не имеют никакого значения или влияния в деле нашего спасения.

Нравы ранних христиан

Но первобытный христианин доказывал истину своей веры своими добродетелями, и многие не без основания полагали, что божественное учение, просвещавшее или подчинявшее себе разум, вместе с тем очищало сердца верующих и руководило их действиями. И первые поборники христианства, свидетельствовавшие о душевной чистоте своих собратьев, и позднейшие писатели, прославлявшие святость своих предков, описывают самыми яркими красками улучшение нравов, происшедшее в мире благодаря проповедованию Евангелия. Так как я намерен останавливаться только на тех человеческих мотивах, которые содействовали влиянию откровения, то я слегка упомяну о двух

причинах, по которым жизнь первых христиан естественно должна была сделаться более чистой и более строгой, нежели жизнь их языческих современников или их выродившихся преемников, а именно — об их раскаянии в прежних прегрешениях и об их похвальном желании поддержать хорошую репутацию общества, к которому они принадлежали.

То был очень старый, внушенный невежеством или злобой неверующих упрек, будто христиане привлекали на свою сторону самых ужасных преступников, которые при малейшем расположении к раскаянию легко склонялись к убеждению смыть водой крещения преступность своего прошлого поведения, для искупления которого им не давали никаких средств храмы языческих богов. Но если мы очистим это обвинение от всяких искажений, мы найдем, что оно делает церкви столько же чести, сколько оно содействовало увеличению числа верующих. Приверженцы христианства могут не краснеть сознаться, что многие из самых знаменитых святых были до своего крещения самыми отъявленными грешниками. Кто ведет жизнь сколько-нибудь согласную с правилами милосердия и честности, тот извлекает из убеждения в своей правоте такое чувство спокойного самодовольства, что становится нелегко доступным для тех внезапных эмоций стыда, скорби и ужаса, которые были причиной стольких удивительных обращений в христианство. Но проповедники Евангелия, следуя примеру своего божественного Учителя, не пренебрегали обществом таких мужчин и в особенности таких женщин, которые были подавлены сознанием, а нередко и последствиями своих пороков. Так как эти несчастные переходили от грехов и суеверий к славной надежде бессмертия, то они принимали решение посвятить свою жизнь не только добродетелям, но и покаянию. Желание совершенства делалось в их душе господствующей страстью, а всем хорошо известно, что, когда рассудок обрекает себя на холодное воздержание, наши страсти с быстротой и стремительностью переносят нас через те пространства, которые лежат между самыми противоположными крайностями.

После того как новообращенные поступили в число верующих и были допущены к пользованию таинствами христианской церкви, их стало удерживать от возвращения к прежней порочной жизни другое соображение, хотя и менее возвышенное, но весьма честное и почтенное. Всякое отдельное общество, оторвавшееся от той нации или той религии, к которой прежде принадлежало, немедленно делается предметом общих и завистливых наблюдений. В особенности когда число его членов незначительно, на его характер могут влиять добродетели и пороки лиц, входящих в его состав; тогда каждый из его членов вынужден следить с самым напряженным вниманием и за своим собственным поведением, и за поведением своих собратьев, потому что он имел бы свою долю как в общем позоре, так и в приобретенной обществом хорошей репутации. Когда жившие в Вифинии христиане были приведены на суд к Плинию Младшему, они уверяли проконсула, что не только не вступали ни в какой заговор, но даже были связаны торжественным обязательством воздерживаться от таких преступлений, которые нарушают частное или общественное спокойствие, — от воровства, грабежа, прелюбодеяния, клятвопреступления и мошенничества. Почти через сто лет после этого Тертуллиан мог с благородной гордостью похвастаться тем, что очень немногие христиане подвергались уголовным наказаниям не иначе, как за свою религию. Их серьезный и уединенный образ жизни, не допускавший свойственных тому веку развлечений и роскоши, приучал их к целомудрию, воздержанию, бережливости и ко всем скромным семейным добродетелям. Так как они

большей частью занимались какой-нибудь торговлей или каким-нибудь ремеслом, то лишь благодаря самой строгой честности и самому приветливому обхождению могли устранять недоверие, которое так легко возникает в нечестивых людях ко всему, что имеет внешний вид святости. Презрение к свету развивало в них привычки к кротости, смирению и терпению. Чем более их преследовали, тем более они сближались друг с другом. Их любовь к ближнему и великодушная доверчивость были подмечены неверующими и очень часто употреблялись во зло их вероломными друзьями.

Нравственность отцов церкви

Нравственности первых христиан делает большую честь тот факт, что даже их ошибки или, правильнее сказать, их заблуждения происходили от излишка добродетели. Епископы и ученые-богословы, которые свидетельствуют нам о том, каковы были верования, принципы и даже житейские правила их современников, и которые могли влиять на них своим авторитетом, изучали Св. Писание не столько со знанием дела, сколько с благочестием и нередко принимали в самом буквальном смысле те суровые правила Христа и апостолов, к которым благоразумие позднейших комментаторов применяло более свободный и более иносказательный способ объяснений. Стараясь превознести совершенства Евангелия над мудростью философии, ревностные отцы церкви довели обязанности умерщвления своей плоти, нравственной чистоты и терпения до такой высокой степени, которой едва ли можно достигнуть и которую еще труднее сохранить при нашей теперешней слабости и развращенности. Такая необыкновенная и возвышенная доктрина неизбежно должна была внушать народу уважение, но она не могла располагать к себе тех светских философов, которые в этой временной жизни принимают в руководство лишь чувства, внушаемые природой, и интересы общества.

В самых добродетельных и самых благородных натурах мы усматриваем две совершенно естественные наклонности — влечение к удовольствию и влечение к деятельности. Если первое из этих влечений облагорожено искусством и наукой, если оно украшено тем, что есть привлекательного в светской жизни, и если оно очищено от всего, что несогласно с требованиями бережливости, здоровья и репутации, оно служит главным источником счастья в частной жизни. Влечение к деятельности — более могущественный принцип, но его плоды более сомнительного характера. Оно часто ведет к гневной раздражительности, к честолюбию и к жажде мщенья, но когда им руководят честность и благотворительность, оно делается источником всех добродетелей; а когда к этим добродетелям присоединяются равные им дарования, то может случиться, что семейство, государство или империя обязаны своей безопасностью и своим благосостоянием неустрашимому мужеству одного человека. Поэтому влечению к удовольствиям мы можем приписать все, что есть самого приятного в жизни, а влечению к деятельности — все, что в ней есть полезного и достойного уважения. Такой характер, в котором оба эти влечения соединяются и действуют сообща, по-видимому, дает самое законченное понятие о человеческой натуре. Равнодушный и не предприимчивый характер, лишенный этих обоих влечений, был бы всеми единогласно признан за такой, который совершенно неспособен ни доставлять индивидуальное счастье, ни приносить какую-либо общественную пользу. Но первые христиане желали быть приятными или полезными не в этом мире.

Приобретение знаний, упражнение нашего ума или нашего воображения и приятное течение ничем не стесняемой беседы могут занимать просвещен-

ного человека в часы досуга. Но суровые отцы церкви или с отвращением отвергали подобные развлечения, или допускали их с крайней осмотнительностью, потому что презирали знания, которые не вели к спасению, и видели во всяком легком разговоре преступное злоупотребление даром слова. При теперешних условиях нашего существования тело так неразрывно связано с душой, что, казалось бы, наш собственный интерес требует, чтобы мы умеренно и без вреда для себя вкушали те наслаждения, которые доступны этому верному нашему товарищу. Но наши благочестивые предки рассуждали иначе: тщетно стараясь подражать совершенству ангелов, они пренебрегали или делали вид, будто пренебрегают всеми земными и телесными наслаждениями. Некоторые из наших чувств необходимы для нашего сохранения, некоторые — для нашего пропитания и некоторые — для приобретения познаний; в этих случаях не было возможности запрещать пользование ими, но первое приятное ощущение считалось за тот момент, с которого начиналось употребление их во зло. От бесчувственного кандидата на звание небожителя требовали, чтобы он не только не поддавался грубым приманкам вкуса или обоняния, но даже чтобы он старался не слышать нечестивой гармонии звуков и чтобы он смотрел с равнодушием на самые законченные произведения человеческого искусства. Нарядные одежды, великолепные дома и изящная обстановка считались вдвойне преступными, так как в них выражались и гордость, и чувственность; внешняя простота и выражение скорби на лице были более приличны для христианина, уверенного в своей греховности, но неуверенного в своем спасении. В своих порицаниях роскоши отцы церкви чрезвычайно мелочны и входят в малейшие подробности; в числе различных предметов, возбуждающих их благочестивое негодование, мы находим: фальшивые волосы, одежды всех цветов, кроме белого, музыкальные инструменты, золотые и серебряные вазы, мягкие подушки (так как голова Иакова покоилась на камне), белый хлеб, иностранные вина, публичные приветствия, пользование теплыми банями и привычка брить бороды, которая, по выражению Тертуллиана, есть ложь на нашу собственную наружность и нечестивая попытка улучшить произведение Создателя. Когда христианство проникло в сферы людей, богатых и образованных, исполнение этих странных требований было предоставлено (точно так же, как оно было бы предоставлено в наше время) тем немногим людям, которые желали достигнуть высшей степени святости. Впрочем, для низших слоев человеческого общества и нетрудно, и вместе с тем приятно заявлять притязания на особые достоинства, основанные на презрении к той роскоши и к тем наслаждениям, которые фортуна сделала недоступными для них. Добродетель первобытных христиан, подобно добродетели первых римлян, очень часто охранялась бедностью и невежеством.

Целомудренная строгость отцов церкви в том, что касалось взаимных отношений между лицами обоего пола, истекала из того же принципа — из их отвращения ко всем наслаждениям, которые, удовлетворяя чувственные влечения людей, унижают их духовную природу. Они охотно верили, что, если бы Адам не вышел из повиновения Создателю, он жил бы вечно в состоянии девственной чистоты, а какой-нибудь неоскорбительный для целомудрия способ размножения населил бы рай породой невинных и бессмертных существ. Брак был дозволен его падшим потомкам только как необходимое средство для продолжения человеческого рода и как узда, хотя и не вполне удовлетворительная, для сдерживания природной распущенности чувственных влечений. В нерешительности, с которой православные казуисты относятся к это-

му интересному вопросу, видно замешательство людей, неохотно одобряющих такое учреждение, которое они допускают по необходимости. Перечисление весьма причудливых и входящих в мелкие подробности законов, которыми они обставили брачное ложе, вызвало бы улыбку на устах юноши и краску на лице девушки. Они единогласно держались того мнения, что первого брака вполне достаточно для всех целей природы и общества. Чувственная супружеская связь была доведена до такой чистоты, которая делала ее похожей на мистическую связь Христа с его церковью, и она признавалась нерасторжимой ни разводом, ни смертью. Вторичный брак был клеймен названием законного прелюбодеяния, и те, которые оказывались виновными в таком нарушении христианской чистоты, скоро лишались и покровительства церкви, и ее подаваний. Так как чувственные влечения считались преступными, а брак допускался лишь ради человеческой немощи, то отцы церкви поступали согласно с этими принципами, считая безбрачное состояние за самое близкое к божескому совершенству. Древний Рим с трудом поддерживал учреждение шести весталок, а первобытная церковь была наполнена множеством лиц обоего пола, обрекших себя на вечное целомудрие. Немногие из числа этих последних, и между прочими ученый Ориген, нашли более благоразумным обезоружить искусителя. Одни из них были вовсе нечувствительны к плотским вожделениям, а другие всегда одерживали над ними победу. Девы, родившиеся в жгучем африканском климате, презирая постыдное бегство перед врагом, вступали с ним в борьбу лицом к лицу; они позволяли священникам и дьяконам разделять с ними ложе и среди любовного пламени гордились своей незапятнанной чистотой. Но оскорбленная натура иногда вступала в свои права, и этот новый вид мученичества привел лишь к тому, что послужил поводом для нового скандала в недрах церкви. Впрочем, между христианскими аскетами (это название они заимствовали от своих мучительных упражнений) были и такие, которые благодаря тому, что были менее самонадеянны, вероятно, имели больший успех. Утрата чувственных наслаждений возмещалась и вознаграждалась сознанием своего духовного превосходства. Даже язычники были склонны оценить достоинства самопожертвования сообразно с его бросающимися в глаза трудностями, а отцы церкви изливали бурные потоки своего красноречия для прославления этих целомудренных невест Христовых. Таковы были первые зачатки тех монашеских принципов и учреждений, которые в следующие века перевесили все мирские достоинства христианства.

Деловые занятия были противны христианам не менее, чем удовольствия земной жизни. Они не знали, как согласовать защиту своей личности и собственности с той смиренной доктриной, которая велит забывать прошлые обиды и напрашиваться на новые. Их душевная простота была оскорблена употреблением клятв, пышной обстановкой суда и оживленными прениями общественных собраний; их человеколюбивое невежество не могло понять, чтобы можно было законным образом проливать кровь наших братьев мечом правосудия или мечом войны даже в тех случаях, когда их преступные или враждебные попытки угрожают спокойствию и безопасности всего общества. Они признавали, что при менее совершенном иудейском законодательстве свыше вдохновенные пророки и короли — помазанники Божьи — пользовались с дозволения Небес всеми правами, какие предоставляла им иудейская конституция. Христиане понимали и признавали, что такие учреждения могли быть необходимы для тогдашней системы мира, и охотно подчинялись власти языческих правителей. Но в то время как они проповедовали правила пассивного повиновения,

они отказывались от всякого деятельного участия в гражданском управлении или в военной защите империи. Может быть, и допускалась некоторая снисходительность по отношению к тем, кто еще прежде своего обращения в христианство предавался таким свирепым и кровожадным занятиям, но христианин не мог принять на себя звание воина, должностного лица или государя, не отказавшись от своих более священных обязанностей. Это холодное или даже преступное пренебрежение к общественному благосостоянию навлекало на них презрение и упреки язычников, которые часто задавались вопросом, какова была бы участь империи, со всех сторон атакованной варварами, если бы весь человеческий род стал придерживаться малодушных чувств новой секты? На этот оскорбительный вопрос защитники христианства давали неясные и двусмысленные ответы, так как они не желали раскрывать тайную причину своей беспечности, — ожидание, что прежде, нежели совершится обращение всего человеческого рода в христианство, перестанут существовать и войны, и правительства, и Римская империя, и сам мир. Следует также заметить, что в этом случае положение первых христиан весьма удачно согласовалось с их религиозной разборчивостью и что их отвращение к деятельной жизни содействовало скорее их освобождению от службы, нежели их устранению от гражданских и военных отличий.

Устройство христианской общины

Но человеческий характер, как бы он ни возвышался или как бы он ни унижался под влиянием временного энтузиазма, непременно постепенно возвратится к своему настоящему и натуральному уровню и снова проявит те страсти, которые, по-видимому, всего лучше согласуются с его настоящим положением. Первобытные христиане отказались от мирских забот и удовольствий, но в них не могло совершенно заглухнуть влечение к деятельности; оно скоро ожило и нашло для себя новую пищу в церковном управлении. Самостоятельное общество, восставшее против установленной в империи религии, было вынуждено принять какую-нибудь форму внутреннего устройства и назначить в достаточном числе должностных лиц, которым было вверено не только исполнение духовных обязанностей, но и светское управление христианской общиной. Безопасность этой общины, ее достоинство и ее расширение порождали даже в самых благочестивых людях такое же чувство патриотизма, какое римляне питали к республике, а по временам такую же, как у римлян, неразборчивость средств, которые могли бы привести к столь желанной цели. Честолюбивое желание возвыситься самим или возвысить своих друзей до церковных отличий и должностей прикрывалось похвальным намерением употребить на общую пользу ту власть и то влияние, которых они считали себя обязанными добиваться единственно для этой цели. При исполнении их обязанностей им нередко приходилось разоблачать заблуждения еретиков и изгонять их из лона того общества, спокойствие и благосостояние которого они пытались нарушить. Правителей церкви учили соединять мудрость змея с невинностью голубя, но от привычки начальствовать первое из этих качеств изощрилось, а последнее постепенно подверглось нравственной порче. Достижение какого-либо общественного положения христиане приобретали и в церковной, и в мирской сфере влиянием своим красноречием и твердостью, своим знанием людей и своими деловыми способностями; а в то время как они скрывали от других и, может быть, от самих себя тайные мотивы своих действий, они слишком часто увлекались всеми буйными

страстями деятельной жизни, получавшими добавочный отпечаток озлобления и упорства благодаря примеси религиозного рвения.

Управление церковью часто было как предметом религиозных споров, так и наградой за них. Богословы — римские, парижские, оксфордские и женеvские — враждовали и спорили друг с другом из-за того, чтобы низвести первоначальный апостольский образец до одного уровня с их собственной системой управления. Немногие писатели, изучавшие этот предмет добросовестно и с беспристрастием, держатся того мнения, что апостолы отклоняли от себя роль законодателей и предпочитали выносить частные случаи скандалов и раздоров, нежели лишать христиан будущих веков возможности, ничем не стесняясь, изменять формы церковного управления сообразно с изменениями времени и обстоятельств. Из того, как управлялись церкви в Иерусалиме, Эфесе и Коринфе, можно составить себе понятие о той системе управления, которая с их одобрения была принята в первом столетии. Христианские общины, образовавшиеся в ту пору в городах Римской империи, были связаны только узами веры и милосердия. Независимость и равенство служили основой для их внутренней организации. Недостаток дисциплины и познания восполнялся случайным содействием пророков, которые призывались к этому званию без различия возраста, пола и природных дарований и которые, лишь только чувствовали божественное вдохновение, изливали внушения Св. Духа перед обществом верующих. Но пророческие наставники нередко употребляли во зло эти необыкновенные способности или делали из них дурное применение. Они обнаруживали их некстати, самонадеянно нарушали порядок службы в собраниях и своей гордостью, и ложно направленным усердием возбудили, в особенности в апостольской церкви в Коринфе, множество прискорбных раздоров. Так как существование пророков сделалось бесполезным и даже вредным, то у них были отняты их полномочия, и самое звание было уничтожено. Публичное отправление религиозных обязанностей было возложено лишь на установленных церковно-должностных лиц, на епископов и пресвитеров, и оба эти названия по своему первоначальному происхождению обозначали одну и ту же должность, и один и тот же разряд личностей. Название пресвитеров обозначало их возврат или, скорее, их степенность и мудрость. Титул епископа обозначал надзор над верованиями и нравами христиан, вверенных их пастырскому попечению. Соразмерно с числом верующих более или менее значительное число таких епископальных пресвитеров руководило каждой зародившейся конгрегацией с равной властью и с общего согласия.

Но и самое полное равенство свободы нуждается в руководстве высшего должностного лица, а порядок публичных совещаний скоро создает должность председателя, облеченного, по меньшей мере, правом отбирать мнения и исполнять решения собрания. Ввиду того что общественное спокойствие часто нарушалось бы ежегодными или происходящими по мере надобности выборами, первые христиане учредили почетную и постоянную должность и стали выбирать одного из самых мудрых и самых благочестивых пресвитеров, который должен был в течение всей своей жизни исполнять обязанности их духовного руководителя. При таких-то условиях пышный титул епископа стал возвышаться над скромным названием пресвитера, и тогда как это последнее название оставалось самым натуральным отличием членов каждого христианского сената, титул епископа был присвоен званию председателя этих собраний. Польза такой епископской формы управления, введенной, кажется, в конце первого столетия, была так очевидна и так важна как для бу-

дущего величия, так и для тогдашнего спокойствия христиан, что она была немедленно принята всеми христианскими общинами, разбросанными по империи, приобрела весьма скоро санкцию древности и до сих пор уважается самыми могущественными церквями, и восточными, и западными, как первобытное и даже как божественное установление. Едва ли нужно упоминать о том, что благочестивые и смиренные пресвитеры, впервые удостоившиеся епископского титула, не имели и, вероятно, не пожелали бы иметь той власти и той пышной обстановки, которые в наше время составляют принадлежность тиары римского первосвященника или митры немецкого прелата. Нетрудно в немногих словах обрисовать тесные рамки их первоначальной юрисдикции, которая имела главным образом духовный характер и только в некоторых случаях простиралась на светские дела. Она заключалась в заведовании церковными таинствами и дисциплиной, в надзоре за религиозными церемониями, которые незаметно делались более многочисленными и разнообразными, в посвящении церковных должностных лиц, которым епископ указывал их сферу деятельности, в распоряжении общественной казны и в разрешении всех тех споров, которых верующие не желали предавать на рассмотрение языческих судей. В течение непродолжительного периода епископы пользовались этими правами по совещании с пресвитерской коллегией и с согласия и одобрения собравшихся христиан. Первые епископы считались не более как первыми из равных и почетными служителями свободного народа. Когда епископская кафедра делалась вакантной вследствие смерти, новый президент избирался из числа пресвитеров голосованием всей конгрегации, каждый член которой считал себя облеченным в священническое достоинство.

Провинциальные соборы

Таковы были мягкие и основанные на равенстве учреждения, которыми управлялись христиане в течение более ста лет после смерти апостолов. Каждая община составляла сама по себе отдельную и независимую республику, и, хотя самые отдаленные из этих маленьких государств поддерживали взаимные дружеские сношения путем переписки и через посредство особых депутатов, христианский мир еще не был в ту пору объединен каким-либо верховным авторитетом или законодательным собранием. Но по мере того как увеличивалось число верующих, они все более и более сознавали выгоды более тесной связи между их взаимными интересами и целями. В конце второго столетия церкви, возникшие в Греции и в Азии, приняли полезное учреждение провинциальных соборов, и есть основание думать, что они заимствовали образец таких представительных собраний от знаменитых учреждений своего собственного отечества, — от Амфикионов, от Ахейского союза или от собраний ионических городов. Скоро вошло в обычай, а затем и был издан закон, что епископы самостоятельных церквей должны собираться в главном городе провинции в назначенное время весной или осенью. В своих совещаниях они пользовались советами выдающихся пресвитеров и сдерживались в пределах умеренности присутствием слушающей их толпы. Их декреты, получившие название канонов, разрешали все важные споры касательно верований и дисциплины, и они весьма естественно пришли к убеждению, что Святой Дух будет щедро изливать свои дары на собрание представителей христианского народа. Учреждение соборов до такой степени соответствовало и влечениям личного честолюбия, и общественным интересам, что в течение немногих лет было принято на всем пространстве империи.

Кроме того, была заведена постоянная корреспонденция между провинциальными соборами, которые сообщали один другому и взаимно одобряли свои распоряжения; таким образом, Католическая Церковь скоро приняла форму и приобрела силу большой федеративной республики. Так как законодательный авторитет отдельных церквей был постепенно заменен авторитетом соборов, то епископы, благодаря установившейся между ними связи, приобрели более широкую долю исполнительной и неограниченной власти, а лишь только они пришли к сознанию общности своих интересов, они получили возможность напасть соединенными силами на первобытные права своего духовенства и своей паствы. Прелаты третьего столетия незаметно перешли от увещаний к повелительному тону, стали сеять семена будущих узурпаций и восполняли свои недостатки силы и ума заимствованными из Св. Писания аллегориями и напыщенной риторикой. Они превозносили единство и могущество церкви, олицетворявшиеся в епископском звании, в котором каждый из епископов имел равную и нераздельную долю. Они нередко повторяли, что монархи и высшие сановники могут гордиться своим земным и временным величием, но что одна только епископская власть происходит от Бога и простирается на жизнь в другом мире. Епископы были наместниками Христа, преемниками апостолов и мистическими заместителями первосвященника Моисеевой религии. Их исключительное право посвящать в духовный сан стесняло свободу и клерикальных, и народных выборов; если же они в управлении церковью иногда сообразовались с мнениями пресвитеров или с желаниями народа, они самым тщательным образом указывали на такую добровольную снисходительность как на особую с их стороны заслугу. Епископы признавали верховную власть собраний, составленных из их собратьев, но в управлении своими отдельными приходами каждый из них требовал от своей паствы одинакового слепого повиновения, как будто эта любимая их атмосфера была буквально верна и как будто пастух был по своей природе выше своих овец. Впрочем, обязательность такого повиновения установилась не без некоторых усилий с одной стороны и не без некоторого сопротивления с другой. Демократическая сторона церковных учреждений во многих местностях горячо поддерживалась ревностной или себялюбивой оппозицией низшего духовенства. Но патриотизму этих людей дано было позорное название крамолы и раскола, а епископская власть была обязана своим быстрым расширением усилиям многих деятельных прелатов, умевших, подобно Киприану Карфагенскому, соединять хитрость самых честолюбивых государственных людей с христианскими добродетелями, по-видимому, подходившими к характеру святых и мучеников.

Те же самые причины, которые вначале уничтожили равенство между пресвитерами, ввели и между епископами превосходство ранга, а вслед за тем и превосходство юрисдикции. Всякий раз, как они собирались весной или осенью на провинциальные соборы, различие личных достоинств и репутаций между членами собрания было очень заметно, а толпа управлялась мудростью и красноречием немногих из них. Но для порядка публичных совещаний нужны были более постоянные и менее внушающие зависть отличия, поэтому обязанности всегдашнего председательства на соборах каждой провинции были возложены на епископов главных городов, а эти честолюбивые прелаты, вскоре получившие высокие титулы митрополитов и первосвященителей, втайне готовились присвоить себе над своими сотоварищами, епископами, такую же власть, какую епископы только что присвоили себе над коллегией пресвитеров. Вскоре и между самими митрополитами возникло

соперничество из-за первенства и из-за власти; каждый из них старался описать в самых пышных выражениях мирские отличия и преимущества того города, в котором он председательствовал, многочисленность и богатство христиан, вверенных его пастырскому попечению, появившихся в их среде святых и мучеников и неприкосновенность, с которой они оберегали предания и верования в том виде, как они дошли до них через целый ряд православных епископов от того апостола или от того из апостольских учеников, который считался основателем их церкви. По всем, как светским, так и церковным мотивам превосходства нетрудно было предвидеть, что Рим будет пользоваться особым уважением провинций и скоро заявит притязание на их покорность. Общество верующих в этом городе было соразмерно по своей многочисленности со значением столицы империи, а римская церковь была самая значительная, самая многочисленная и по отношению к Западу самая древняя из всех христианских учреждений, из которых многие были организованы благочестивыми усилиями ее миссионеров. Тогда как Антиохия, Эфес и Коринф могли похвастаться тем, что основателем их церквей был один из апостолов, берега Тибра считались прославленным местом проповеднической деятельности и мученичества двух самых великих апостолов, и римские епископы были так предусмотрительны, что заявляли притязание на наследование каких бы то ни было прерогатив, приписывавшихся личности или сану Св. Петра. Итальянские и провинциальные епископы были готовы предоставить им первенство звания и ассоциации (такова была их осторожная манера выражаться) в христианской аристократии. Но власть монарха была отвергнута с отвращением, и честолюбие Рима встретило со стороны народов Азии и Африки такое энергичное сопротивление его духовному владычеству, какого не встречало в более ранние времена его светское владычество. Патриотический Киприан, управлявший с самой абсолютной властью карфагенской церковью и провинциальными соборами, с энергией и с успехом восстал против честолюбия римского первосвященника, искусным образом связал свои интересы с интересами восточных епископов и, подобно Ганнибалу, стал искать новых союзников внутри Азии. Если эта Пуническая война велась без всякого кровопролития, то причиной этого была не столько умеренность, сколько слабость борющихся прелатов. Их единственным оружием были брань и отлучения от церкви, и эти средства они употребляли друг против друга в течение всего хода борьбы с одинаковой яростью и с одинаковым благочестием. Грустная необходимость порицать какого-нибудь папу, святого или мученика приводит в замешательство новейших католиков всякий раз, как им приходится рассказывать подробности таких споров, в которых поборники религии давали волю страстям, более уместным в сенате или в военном лагере.

Миряне и клир

Развитие церковного влияния породило то достопамятное различие между мирянами и клиром, которое не было знакомо ни грекам, ни римлянам. Первое из этих названий обозначало вообще всех христиан, а второе, согласно с самым значением этого слова, было усвоено избранными людьми, которые, отделившись от толпы, посвящали себя религиозному служению и образовали знаменитый класс людей, доставивший для новейшей истории самые важные, хотя и не всегда самые назидательные, сюжеты рассказа. Их взаимная вражда по временам нарушала спокойствие церкви в ее младенческом возрасте, но их усердие и деятельность были направлены к одной об-

щей цели, а жажда власти, вкрадывавшаяся (под самой искусной личиной) в душу епископов и мучеников, поощряла их к увеличению числа их подданных и к расширению пределов христианской империи. У них не было никакой светской силы, и в течение долгого времени гражданские власти не помогали им, а отталкивали их и притесняли; но они уже приобрели и употребляли в подчиненной им среде два самых могущественных орудия управления — награды и наказания, извлекая первое из благочестивой щедрости верующих, а второе — из их религиозных убеждений.

Доходы церкви

Общность имуществ, которая так приятно ласкала воображение Платона и которая существовала в некоторой степени в суровой секте эссениан, была на короткое время принята первоначальной церковью. Усердие первых новообращенных заставляло их продавать те земные имущества, к которым они питали презрение, класть к стопам апостолов полученную за них сумму и довольствоваться равной со всеми долей в общем дележе. Распространение христианской религии ослабило и постепенно совсем уничтожило это великодушное обыкновение, которое в руках менее чистых, чем апостольские, очень скоро было бы извращено и дало бы повод к злоупотреблениям благодаря свойственному человеческой натуре эгоизму; поэтому тем, кто обращался в новую веру, было дозволено сохранять их родовые имущества, делать новые приобретения путем завещаний и наследств и увеличивать свое личное состояние всеми законными путями торговли и промышленности. Вместо безусловного самопожертвования проповедники Евангелия стали принимать умеренные приношения, а верующие на своих ежедневных или ежемесячных собраниях вносили в общий фонд добровольные даяния сообразно с временными нуждами и соразмерно со своим достатком и благочестием. Никакие, даже самые незначительные, приношения не отвергались, но верующим старательно внушали, что Моисеев закон не утратил своей божественной обязательной силы в том, что касается десятинной подати, и что поскольку иудеи при менее совершенном законодательстве были обязаны платить десятую часть всего своего состояния, то последователям Христа следует отличить себя более широкой щедростью и приобрести некоторые преимущества отказом от тех излишних сокровищ, которые так скоро должны быть уничтожены вместе с самой Вселенной. Едва ли нужно упоминать о том, что неверные и колеблющиеся доходы каждой отдельной церкви изменялись сообразно с бедностью или богатством верующих и с тем, были ли эти последние рассеяны по ничтожным деревушкам или сосредоточивались в каком-нибудь из больших городов империи. Во времена императора Деция должностные лица были того мнения, что жившие в Риме христиане обладали весьма значительными богатствами, что при исполнении своих религиозных обрядов они употребляли золотые и серебряные сосуды и что многие из их новообращенных продавали свои земли и дома для увеличения общественного фонда секты, — конечно, в ущерб своим несчастным детям, которые обращались в нищих благодаря тому, что их родители были святые люди. Вообще не следует относиться с доверием к подозрениям, которые высказываются чужестранцами и недоброжелателями, но в настоящем случае такие подозрения приобретают весьма определенный отпечаток правдоподобия благодаря следующим двум фактам, которые предпочтительно перед всеми дошедшими до нас сведениями указывают нам на определенные цифры или вообще дают возможность составить себе ясное понятие об этом предмете. В царствование импе-

ратора Деция епископ Карфагенский, обратившийся к верующим с приглашением выкупить их нумидийских единоверцев, захваченных в плен степными варварами, собрал сто тысяч сестерций (более 850 фунт. ст.) с такой христианской общины, которая была менее богата, нежели римская. Почти за сто лет до вступления на престол Деция римская церковь получила в дар двести тысяч сестерций от одного чужестранца родом из Понта, пожелавшего переселиться в столицу. Приношения делались большей частью деньгами, а христианские общины и не желали, и не могли приобретать сколько-нибудь значительную земельную собственность, которая была бы для них обременительна. Несколькими законами, изданными с такой же целью, как и наши статуты о неотчуждаемой недвижимой собственности, никаким корпорациям не дозволялось приобретать недвижимые имущества путем пожертвований или завещаний без особой на то привилегии или без особого разрешения от императора или от сената, редко расположенным давать такие разрешения секте, которая сначала была предметом их презрения, а потом стала внушать им опасения и зависть. Впрочем, до нас дошли сведения об одном происшедшем в царствование Александра Севера факте, который доказывает, что указанные ограничения иногда можно было обходить или что они иногда отменялись, и христианам было дозволено владеть землями в пределах самого Рима. С одной стороны, успехи христианства, а с другой, — междоусобные войны, раздиравшие империю, ослабили строгость этих постановлений, и мы видим, что в конце третьего столетия много значительных недвижимых имений перешло в собственность к богатым церквям Рима, Милана, Карфагена, Антиохии, Александрии и других больших итальянских и провинциальных городов.

Епископ был поверенным церкви; общественные капиталы были вверены его попечению без всякой отчетности или контроля; пресвитерам он предоставлял лишь исполнение духовных обязанностей, а более зависимым по своему положению дьяконам поручал лишь заведование церковными доходами и их распределение. Если верить заносчивым декламациям Киприана, между его африканскими собратьями было слишком много таких, которые при исполнении своих обязанностей нарушали все правила не только евангелического совершенства, но даже нравственности. Некоторые из этих нечестивых церковных поверенных расточали церковные богатства на чувственные наслаждения, некоторые другие употребляли их на цели личного обогащения и на мошеннические предприятия или давали их взаймы под хищнические проценты. Но пока денежные взносы христиан были добровольными, злоупотребление их доверием не могло часто повторяться, и вообще, то употребление, которое делалось из их щедрых пожертвований, делало честь обществу. Приличная часть откладывалась на содержание епископа и его духовенства; значительная сумма назначалась на расходы публичного богослужения, очень приятную часть которого составляли братские трапезы, называвшиеся азорас. Все остальное было священной собственностью бедных. По благоусмотрению епископа она расходовалась на содержание вдов и сирот, увечных, больных и престарелых членов общества, на помощь чужестранцам и странникам и на облегчение страданий заключенных и пленников особенно в тех случаях, когда причиной их страданий была их твердая преданность делу религии. Великодушный обмен подаяний соединял самые отдаленные одну от другой провинции, а с самыми мелкими конгрегациями охотно делились собранными пожертвованиями их более богатые собратья. Это учреждение, обращающее внимание не столько на достоинства нуждаю-

щихся, сколько на их бедственное положение, весьма существенно содействовало распространению христианства. Те из язычников, которые были доступны чувствам человеколюбия, хотя и осмеивали учение новой секты, не могли не признавать ее благотворительности. Перспектива немедленной материальной помощи и покровительства в будущем привлекала в ее гостеприимное лоно многих из тех несчастных существ, которые вследствие общего к ним равнодушия сделались бы жертвами нужды, болезни и старости. Также есть некоторое основание думать, что множество детей, брошенных их родителями согласно бесчеловечному обыкновению того времени, нередко были спасаемы от смерти благочестивыми христианами, которые крестили их, воспитывали и содержали на средства общественной казны.

Отлучение от церкви

Каждое общество, бесспорно, имеет право удалять из своей среды и от участия в общих выгодах тех из своих членов, которые отвергают правила, установленные с общего согласия. В пользовании этим правом христианская церковь направляла свою кару преимущественно на самые позорные преступления, в особенности на убийства, мошенничества и невоздержание, а также на авторов или приверженцев каких-либо еретических мнений, осужденных приговором епископов, и на тех несчастных, которые или по собственному влечению, или под гнетом насилия запятнали себя после крещения каким-нибудь актом идолопоклонства. Последствия отлучения от церкви имели частью светский и частью духовный характер. Христианин, против которого оно было произнесено, лишался права что-либо получать из приношений верующих; узы как религиозного общества, так и личной дружбы разрывались; он делался нечестивым предметом отвращения для тех, кого он более всего уважал, или для тех, кто его более всего любил, и его исключение из общества достойных людей налагало на его личность такую печать позора, что все отворачивались от него или относились к нему с недоверием. Положение этих несчастных отлученных было само по себе очень неприятно и печально, но, как это обыкновенно случается, их опасения далеко превосходили их страдания. Выгоды христианского общения касались вечной жизни, и отлученные не могли изгладить из своего ума страшную мысль, что осудившим их церковным правителям божество вверило ключи от ада и от рая. Правда, еретики, которые находили для себя опору в сознании честности своих намерений и в лестной надежде, что они одни открыли настоящий путь к спасению, старались в своих отдельных собраниях снова приобрести те мирские и духовные выгоды, в которых им отказывало великое христианское общество. Но почти все те, которые бессознательно впали в пороки и идолопоклонство, сознавали свое жалкое положение и горячо желали быть снова восстановленными в правах членов христианского вероисповедания.

Касательно того, как следовало обходиться с этими кающимися грешниками, в первобытной церкви существовали два противоположных мнения: одно — основанное на справедливости, другое — основанное на милосердии. Самые суровые и непреклонные казуисты лишали их навсегда и без всяких исключений даже самого низкого места в среде того святого общества, которое было опозорено ими или покинуто, и, обрекая их на угрызения совести, оставляли им лишь слабый луч надежды, что раскаяние в течение их жизни и перед смертью, быть может, будет принято Верховным Существом. Но самые безупречные и самые почтенные представители христианских церквей придерживались и на практике, и в теории более умеренного мнения. Двери,

ведущие к примирению и на небеса, редко запирались перед раскаивающимся грешником, но при этом соблюдались строгие и торжественные формы дисциплины, которые служили очищением от преступления и вместе с тем, сильно действуя на воображение, могли предохранить зрителей от желания подражать примеру виновного. Униженный публичным покаянием, изнуренный постом и одетый в власяницу, кающийся падал ниц перед входом в собрание, слезно молил о прощении его преступлений и просил верующих помолиться за него. Если вина была из самых гнусных, целые годы раскаяния считались недостаточным удовлетворением божеского правосудия, и, только пройдя постепенный ряд медленных и мучительных испытаний, грешник, еретик или вероотступник снова принимался в лоно церкви. Впрочем, приговору вечного отлучения от церкви подвергались некоторые важные преступления, в особенности непростительные вторичные отпадения от церкви со стороны тех кающихся, которые уже имели случай воспользоваться милосердием своих церковных начальников, но употребили его во зло. Сообразно с обстоятельствами или с числом виновных применение христианской дисциплины изменялось по усмотрению епископов. Анкирский и Иллиберийский соборы состоялись почти в одно и то же время, один — в Галатии, а другой — в Испании, но дошедшие до нас их постановления, по-видимому, проникнуты совершенно различным духом. Житель Галатии, многократно совершавший после своего крещения жертвоприношения идолам, мог достигнуть прощения семилетним покаянием, а если он вовлек других в подражание его примеру, прибавлялось только три года к сроку его отлучения от церкви. Но несчастный испанец, совершивший точно такое же преступление, лишался надежды на примирение с церковью даже в случае предсмертного раскаяния, а его идолопоклонство стояло во главе списка семнадцати других преступлений, которые подвергались не менее страшному наказанию. В числе этих последних находилось неизгладимое преступление клеветы на епископа, пресвитера или даже дьякона.

Земное могущество церкви было основано на удачном сочетании милосердия со строгостью и на благоразумном распределении наград и наказаний, согласном с требованиями как политики, так и справедливости. Епископы, отеческая заботливость которых распространялась на управление и здешним миром, и загробным, сознавали важность этих прерогатив и, прикрывая свое честолюбие благовидным предлогом любви к порядку, тщательно устранили всяких соперников, которые могли бы помешать исполнению правил церковного благочиния, столь необходимых, чтобы предотвратить дезертирство в войсках, ставших под знамя креста и с каждым днем увеличивавшихся числом. Из высокомерных декламаций Киприана мы делаем заключение, что учение об отлучении от церкви и о покаянии составляло самую существенную часть религии и что для последователей Христа было гораздо менее опасно пренебрежение к исполнению нравственных обязанностей, чем неуважение к мнениям и авторитету их епископов. Иногда нам кажется, что мы слышим голос Моисея, приказывающего земле разверзнуться и поглотить в своем всепожирающем пламени мятежную расу, отказывавшую в повиновении священству Аарона; а иногда мы могли бы подумать, что мы слышим, как римский консул поддерживает величие республики и как он заявляет о своей непреклонной решимости усилить строгость законов. «Если такие нарушения будут допускаться безнаказанно, — так порицает карфагенский епископ снисходительность одного из своих собратьев, — то настанет конец силе епископов, настанет конец высокому и божественному праву управлять церковью, наста-

нет конец самому христианству». Киприан отказался от тех светских отличий, которых он, вероятно, никогда бы не достиг; но приобретение безусловной власти над совестью и умом целого общества, как бы это общество ни было в глазах света ничтожно и достойно презрения, более удовлетворяет человеческую гордость, нежели обладание самой деспотической властью, наложенной оружием и завоеванием на сопротивляющийся народ.

Выводы

В этом, быть может, и скучном, но важном исследовании я постарался раскрыть второстепенные причины, так сильно содействовавшие истине христианской религии. Если в числе этих причин мы и нашли какие-нибудь искусственные украшения, какие-нибудь побочные обстоятельства или какую-нибудь примесь заблуждений и страстей, нам не может казаться удивительным то, что на человечество имели чрезвычайно сильное влияние мотивы, подходящие к его несовершенной натуре. Христианство так успешно распространилось в Римской империи благодаря содействию именно таких причин: благодаря исключительному усердию, немедленному ожиданию жизни в другом мире, притязанию на совершение чудес, строгой добродетельной жизни и организации первобытной церкви. Первой из них христиане были обязаны своим непреодолимым мужеством, никогда не слагавшим оружия перед врагом, которого они решились победить. Три следующие затем причины снабжали их мужество самыми могущественными орудиями. Последняя из этих причин объединяла их мужество, направляла их оружие и придавала их усилиям ту непреодолимую энергию, благодаря которой незначительные отряды хорошо дисциплинированных и неустрашимых волонтеров так часто одерживали верх над недисциплинированной массой людей, незнакомых с целью борьбы и равнодушных к ее исходу.

Слабость политеизма

Когда в мире появилось христианство, даже эти слабые и неполные впечатления в значительной мере утратили свое первоначальное влияние. Человеческий разум, неспособный без посторонней помощи усваивать тайны религии, уже успел одержать легкую победу над безрассудством язычества, и, когда Тертуллиан или Лактанций старались доказать его ложь и нелепость, они были вынуждены заимствовать у Цицерона его красноречие, а у Лукиана его остроты. Зараза от сочинений этих скептиков распространялась не на одних только читателей. Мода неверия перешла от философов и к тем, кто проводит жизнь в удовольствиях, и к тем, кто проводит ее в деловых занятиях; от аристократов она перешла к плебеям, а от господина — к домашним рабам, которые служили ему за столом и с жадностью прислушивались к вольностям его разговора. В торжественных случаях вся эта мыслящая часть человеческого рода делала вид, будто относится с уважением и с должным приличием к религиозным установлениям своего отечества, но ее тайное презрение сквозило сквозь тонкую и неуклюжую личину ее благочестия; даже простой народ, замечая, что его богов отвергают или осмеивают те, кого он привык уважать за их общественное положение или за их умственное превосходство, начинал сомневаться в истине того учения, которого он держался со слепым доверием. Упадок старых предрассудков ставил весьма многочисленную часть человеческого рода в тяжелое и безотрадное положение. Скептицизм и отсутствие положительных верований могут удовлетворять лишь очень немногих людей, одаренных пытливым умом, но народной массе

до такой степени свойственны суеверия, что, когда ее пробуждают из заблуждения, она сожалеет об утрате своих приятных иллюзий. Ее любовь к чудесному и сверхъестественному, ее желание знать будущее и ее склонность переносить свои надежды и опасения за пределы видимого мира были главными причинами, содействовавшими введению политеизма. В простом народе так сильна потребность верить, что вслед за упадком какой-либо мифологической системы, вероятно, немедленно возник бы какой-нибудь другой вид суеверия. Какие-нибудь более новые и более модные божества очень скоро поселились бы в покинутых храмах Юпитера и Аполлона, если бы мудрость Провидения не ниспослала в эту решительную минуту подлинное откровение, которое было способно внушать самое разумное уважение и убеждение и которое в то же время было украшено всем, что могло привлекать любознательность, удивление и уважение народов. Так как при господствовавшем в ту пору настроении умов многие почти совсем отбросили свои искусственные предрассудки, а между тем по-прежнему были способны к религиозной привязанности и даже чувствовали в ней потребность, то даже менее достойный благоговения предмет был бы способен занять вакантное место в их сердцах и удовлетворить беспокойный пыл их страстей. Всякий, кто стал бы развивать далее нить этих размышлений, не стал бы дивиться быстрым успехам христианства, а, напротив, может быть, подивился бы тому, что его успехи не были еще более быстры и еще более всеобщими.

Весьма верно и уместно было замечено, что завоевания римлян подготовили и облегчили успехи христианства. Жившие в Палестине иудеи, с нетерпением ожидавшие земного избавителя, отнеслись с такой холодностью к чудесам божественного Пророка, что не было нужным обнародовать или, по меньшей мере, сохранять какое-либо еврейское Евангелие. Достоверные рассказы о жизни Христа были написаны на греческом языке в значительном отдалении от Иерусалима после того, как число новообращенных язычников сделалось чрезвычайно значительным. Лишь только эти рассказы были переведены на латинский язык, они сделались вполне понятными для всех римских подданных, за исключением только сирийских и египетских крестьян, для которых впоследствии были сделаны особые переложения. Построенные для передвижения легионов большие общественные дороги открывали христианским миссионерам легкий способ переезда от Дамаска до Коринфа и от Италии до оконечностей Испании и Британии; к тому же эти духовные завоеватели не встречали на своем пути ни одного из тех препятствий, которые обыкновенно замедляют или затрудняют введение чужестранной религии в отдаленной стране. Есть полное основание думать, что прежде царствований Диоклетиана и Константина христианскую веру уже проповедовали во всех провинциях и во всех больших городах империи; но время основания различных конгрегаций, число входивших в их состав верующих и пропорциональное отношение этого числа к числу неверующих — все это прикрито непроницаемым мраком или извращено вымыслом и декламацией. Впрочем, мы постараемся собрать и изложить дошедшие до нас неполные сведения касательно распространения христианской веры в Азии и в Греции, в Египте, Италии и на Западе, и при этом мы не оставим без внимания действительных или воображаемых приобретений, сделанных христианами вне пределов Римской империи.

Богатые провинции, простиравшиеся от Евфрата до Ионического моря, были главным театром, на котором апостол христианства проявлял свое усердие и свое благочестие. Семена Евангелия, посеянные им на плодородную

почву, нашли тщательный уход со стороны его учеников, и в течение двух первых столетий самое значительное число христиан, как кажется, находилось именно в этих странах. Между общинами, организовавшимися в Сирии, не было более древних или более знаменитых, чем те, которые находились в Дамаске, в Берое, или Алеппо, и в Антиохии. Пророческое введение к Апокалипсису описало и обессмертило семь азиатских церквей, находившихся в Эфесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардах, Лаодиксе и Филадельфии, а их колонии скоро рассеялись по этой густонаселенной стране. В самую раннюю пору острова Крит и Кипр, провинции Фракия и Македония охотно приняли новую религию, а в городах Коринфе, Спарте и Афинах скоро возникли христианские республики. Благодаря своей древности греческие и азиатские церкви имели достаточно времени для своего расширения и размножения, и даже огромное число гностиков и других еретиков служит доказательством цветущего состояния Православной Церкви, так как название еретиков всегда давалось менее многочисленной партии. К этим свидетельствам верующих мы можем присовокупить признания, жалобы и опасения самих язычников. Из сочинений Лукиана — философа, изучавшего человеческий род и описывавшего его нравы самыми яркими красками, — мы узнаем, что в царствование Коммода его родина Понт была наполнена эпикурейцами и христианами. Через восемьдесят лет после смерти Христа человеколюбивый Плиний оплакивал громадность зла, которое он тщетно старался искоренить. В своем крайне интересном послании к императору Траяну он утверждает, что храмы почти никем не посещаются, что священные жертвы с трудом находят покупателей и что суеверие не только заразило города, но даже распространилось по деревням и по самым глухим местам Понта и Вифинии.

Не желая подробно рассматривать ни выражения, ни мотивы тех писателей, которые или воспевали, или оплакивали успехи христианства на Востоке, мы ограничимся замечанием, что ни один из них не оставил нам таких сведений, по которым было бы можно составить себе понятие о действительном числе верующих в тех провинциях. Впрочем, до нас, к счастью, дошел один факт, бросающий более яркий свет на этот покрытый мраком, но интересный предмет. В царствование Феодосия, после того как христианство пользовалось в течение более шестидесяти лет блеском императорских милостей, к древней и знаменитой антиохийской церкви принадлежали сто тысяч человек, из которых три тысячи жили общественными подающими. Блеск и величие этой царицы Востока, всем известная многочисленность населения Кесарии, Селевкии и Александрии и гибель двухсот пятидесяти тысяч человек от землетрясения, разрушившего Антиохию во времена старшего Юстина, — все эти факты доказывают нам, что число жителей этого последнего города доходило не менее чем до полумиллиона и что, стало быть, христиане составляли только пятую его часть, несмотря на то что благодаря своему религиозному рвению и влиянию они очень умножились. Насколько изменится эта пропорция, когда мы сравним угнетаемую церковь с торжествующей, Запад с Востоком, отдаленные деревни с многолюдными городами и страны, недавно обращенные в христианскую веру, с той местностью, где верующие впервые получили название христиан! Впрочем, не следует умалчивать и о том, что Иоанн Златоуст, которому мы обязаны этим полезным сведением, утверждает в другом месте, что число верующих даже превышало число иудеев и язычников. Но объяснение этого кажущегося противоречия не трудно и представляется само собой. Красноречивый проповедник проводит параллель между гражданскими и церковными учреждениями Антиохии,

между числом христиан, открывших себе крещением путь в царство небесное, и числом граждан, имевших право на известную долю в общественных подавниях. Рабы, иностранцы и дети входят в число первых, но исключены из числа последних.

Обширная торговля Александрии и близость этого города к Палестине облегчали туда доступ для новой религии. Она была первоначально принята множеством терапевтов или эссениан с озера Мареотиса — иудейской сектой, в значительной мере утратившей прежнее уважение к Моисеевым церковным обрядам. Строгий образ жизни эссениан, их посты и отлучения от церкви, общность имущества, склонность к безбрачию, расположение к мученичеству и если не чистота, то пылкость веры — все это представляло живой образчик первоначального церковного благочиния христиан. Именно в александрийской школе христианская теология, по-видимому, получила правильную и научную форму, и когда Адриан посетил Египет, церковь, состоявшая из иудеев и греков, уже приобрела такое значение, что обратила на себя внимание этого любознательного государя. Но распространение христианства долгое время ограничивалось пределами одного города, который сам был иностранной колонией, и до самого конца второго столетия предшественники Деметрия были единственными верховными сановниками египетской церкви. Три епископа были посвящены в этот сан Деметрием, а его преемник Геракл увеличил их число до двадцати. Туземное население, отличавшееся суровой непреклонностью характера, относилось к новому учению с холодностью и несочувствием, и даже во времена Оригена редко случалось встретить такого египтянина, который преодолел бы свои старинные предубеждения в пользу священных животных своей родины. Но лишь только христианство возшло на трон, религиозное усердие этих варваров подчинилось внушениям свыше; тогда египетские города наполнились епископами, а в пустынях Фиваиды появились массы отшельников.

В обширное вместилище Рима постоянно стремился поток чужестранцев и провинциалов. Все, что было оригинально или отвратительно, все, что было преступно или внушало подозрения, могло надеяться, что увернется от бдительности закона благодаря той неизвестности, в которой так легко прожить в громадной столице. Среди этого стечения разнородных национальностей всякий проповедник истины или лжи, всякий основатель добродетельного общества или преступной ассоциации легко находил средства увеличивать число своих последователей или своих сообщников. По словам Тацита, жившие в Риме христиане уже представляли во времена непродолжительных гонений со стороны Нерона очень значительную массу людей, а язык этого великого историка почти совершенно сходен со способом выражения Ливия, когда этот последний описывает введение и уничтожение обрядов поклонения Бахусу. После того как вакханалии вызвали строгие меры со стороны сената, возникло опасение, что значительное число людей, как бы составляющее иной народ, было посвящено в эти отвратительные таинства. Более тщательное исследование скоро доказало, что число виновных не превышало семи тысяч, и эта цифра действительно страшна, когда она обозначает число тех, кто подлежит каре законов. С такой же оговоркой мы должны объяснять неопределенные выражения Тацита и ранее приведенные слова Плиния, в которых они преувеличивают число тех впадших в заблуждение фанатиков, которые отказались от установленного поклонения богам. Римская церковь, бесспорно, была главная и самая многочисленная в империи, и до нас дошел один подлинный документ, который знакомит нас с положением

религии в этом городе в первой половине третьего столетия после тридцативосьмилетнего внутреннего спокойствия. В эту пору духовенство состояло из одного епископа, сорока шести пресвитеров, семи дьяконов, стольких же помощников дьяконов, сорока двух церковных прислужников и пятидесяти чтецов, заклинателей и привратников. Число вдов, увечных и бедных, содержавшихся на приношения верующих, доходило до тысячи пятисот. Основываясь на этих данных и применяясь к цифровым выводам касательно Антиохии, мы позволяем себе определить число живших в Риме христиан приблизительно в пятьдесят тысяч человек. Населенность этой великой столицы едва ли может быть определена с точностью, но, по самому умеренному расчету, она едва ли была ниже миллиона жителей, среди которых христиане составляли по меньшей мере двадцатую часть.

Западные провинции познакомились с христианством, как кажется, из того же источника, из которого они заимствовали язык и нравы римлян. В этом гораздо более важном случае и Африка, и Галлия постепенно последовали примеру столицы. Однако, несмотря на то что римским миссионерам нередко представлялись благоприятные условия для посещения латинских провинций, прошло много времени, прежде чем они проникли по ту сторону моря и по ту сторону Альп, и мы не находим в этих обширных странах никаких ясных следов ни христианской веры, ни гонений ранее царствования Антонинов. Медленные успехи евангельской проповеди в холодном климате Галлии резко отличаются от того пылкого увлечения, с которым, как кажется, была принята эта проповедь среди жгучих песков Африки. Составленное африканскими христианами общество скоро сделалось одним из главных членов первобытной церкви. Введенное в эту провинцию обыкновение назначать епископов в самые незначительные города и очень часто в самые ничтожные деревни способствовало усилению блеска и значения религиозных общин, которые в течение третьего столетия одушевлялись усердием Тертуллиана, управлялись дарованиями Киприана и украшались красноречием Лактанция. Напротив того, если мы обратим наши взоры на Галлию, мы должны будем довольствоваться тем, что найдем во времена Марка Антонина незначительные конгрегации в Лионе и Виенне, соединенные в одно общество, и даже позднее, в царствование Деция, лишь в немногих городах — в Арелате, Нарбонне, Тулузе, Лиможе, Клермоне, Туре и Париже — были, как уверяют, разбросаны церкви, существовавшие на благочестивые приношения небольшого числа христиан. Молчание легко совмещается с благочестием, но так как оно редко уживается с религиозным рвением, то нам приходится указать и посотовать на немощное положение христианства в тех провинциях, которые сменили кельтский язык на латинский, потому что в течение первых трех столетий они не дали нам ни одного церковного писателя. Из Галлии, которая и по своей образованности, и по своему влиянию основательно претендовала на первое место между всеми странами, лежащими по ту сторону Альп, свет Евангелия более слабо отразился на отдаленных испанской и британской провинциях, и, если можно верить горячим уверениям Тертуллиана, их уже осветили первые лучи христианской веры в то время, как он обратился со своей апологией к магистратам императора Севера. Но неясные и неполные сведения о происхождении западных церквей Европы дошли до нас в таком неудовлетворительном виде, что если бы мы захотели указать время и способ их основания, мы должны были бы восполнить молчание древних писателей теми легендами, которые были много времени спустя внушены алчностью или суеверием монахам, проводившим жизнь в праздности и невеже-

стве своих монастырей. Среди этих священных рассказов есть один, который благодаря своей оригинальной нелепости стоит того, чтобы мы упоминали о нем, а именно — рассказ об апостоле Иакове. Из мирного рыбака, жившего на Генисаретском озере, он превращен в храброго рыцаря, который в сражениях с маврами бросается в атаку во главе испанской кавалерии. Самые серьезные историки прославляли его подвиги; чудотворная рака в Компостелле обнаружила его могущество, а меч военного сословия в соединении с ужасами инквизиции устранил всякие возражения со стороны светской критики.

Распространение христианства не ограничивалось пределами Римской империи, и, по словам первых отцов церкви, объяснявших все факты на основании пророчеств, новые религии успели проникнуть во все уголки земного шара в течение ста лет после смерти ее божественного основателя. Юстин Мученик говорит: «Нет такого народа, греческого, или варварского, или принадлежащего к какой-нибудь другой расе, отличающегося каким бы то ни было названием и какими бы то ни было нравами, хотя бы даже совершенно незнакомого с искусством земледелия, хотя бы живущего под шалашами или перекочевывающего с места на место в закрытых кибитках, среди которого не возносились бы молитвы к Отцу и Создателю всех вещей во имя распятого Иисуса». На это блестящее преувеличение, которое даже в настоящее время было бы крайне трудно согласовать с действительным положением человеческого рода, можно смотреть только как на опрометчивую выходку благочестивого и небрежного писателя, регулирующего свои верования своими желаниями. Но ни верования, ни желания отцов церкви не в состоянии извратить историческую истину. Все-таки остается несомненным тот факт, что скифские и германские варвары, впоследствии низвергнувшие римскую монархию, были погружены во мрак идолопоклонства и что даже старания обратить в христианство Иберию, Армению и Эфиопию не имели почти никакого успеха до тех пор, пока скипетр не оказался в руках православного императора. До этого времени, быть может, различные случайности войн и торговых сношений действительно разливали поверхностное знание Евангелия между племенами Каледонии и между народами, жившими по берегам Рейна, Дуная и Евфрата. Находившаяся по ту сторону последней, Эдесса отличалась твердой и ранней преданностью к христианской вере. Из Эдессы принципы христианства легко проникали в греческие и сирийские города, находившиеся под властью преемников Артаксеркса; но они, как кажется, не произвели глубокого впечатления на умы персов, религиозная система которых благодаря усилиям хорошо дисциплинированного священнического сословия была построена с большим искусством и с большей прочностью, нежели изменчивая мифология греков и римлян.

Из этого беспристрастного, хотя неполного очерка распространения христианства, по-видимому, можно заключить, что число его приверженцев было чрезвычайно преувеличено, с одной стороны, страхом, а с другой, — благочестием. По безукоризненному свидетельству Оригена, число верующих было очень незначительно в сравнении с массой неверующих, но, вследствие недостатка каких-либо положительных сведений, нет возможности с точностью определить действительное число первых христиан и даже нет возможности высказать на этот счет сколько-нибудь правдоподобное предположение. Впрочем, самый благоприятный расчет, какой можно сделать на основании примера Антиохии и Рима, не позволяет нам допустить, чтобы более чем двадцатая часть подданных империи поступила под знамя креста до обращения Константина

в христианство. Но характер их веры, их усердие и единодушие, по-видимому, увеличивали их число, и по тем же самым причинам, которые способствовали впоследствии их размножению, их тогдашняя сила казалась более очевидной и более значительной, чем была на самом деле.

Организация цивилизованных обществ такова, что лишь немногие из их членов отличаются богатствами, почестями и знаниями, а народная масса обречена на ничтожество, невежество и бедность. Поэтому христианская религия, обращавшаяся ко всему человеческому роду, должна была приобретать гораздо более последователей в низших классах общества, нежели в высших.

На основании этого простого факта было возведено гнусное обвинение, которое, кажется, опровергалось защитниками христианства не с таким рвением, с каким оно поддерживалось его противниками, — обвинение в том, что будто новая секта состояла исключительно из подонков простонародья, из крестьян и ремесленников, из мальчишек и женщин, из нищих и рабов, и что она нередко с помощью этих последних вводила своих миссионеров в богатые и знатные семьи, при которых они состояли в услужении. «Эти низкие наставники, — так выражались злоба и неверие, — так же молчаливы в публике, как они красноречивы и самоуверенны в частной беседе. Осторожно избегая встреч с философами, они смешиваются с грубой и необразованной толпой и вкрадываются в душу к тем, кто по своему возрасту, полу или воспитанию всего легче воспринимает впечатления суеверных ужасов».

Мрачные краски и искаженные контуры этого портрета, впрочем, не лишнего некоторого сходства, изобличают работу врага. Когда скромная религия Христа разлилась по всему миру, она была принята многими людьми, одаренными природой или фортуной различными преимуществами. Аристид, представивший императору Адриану красноречивую апологию христианства, был афинским философом. Юстин Мученик искал высших познаний в школах Зенона, Аристотеля, Пифагора и Платона, прежде нежели перед ним явился старец, или скорее ангел, направивший его ум на изучение иудейских пророков. Климент Александрийский приобрел много сведений, читая греческих писателей, а Тертуллиан — латинских. Юлий Африкан и Ориген обладали весьма значительной долей тогдашней учености, и хотя стиль Киприана весьма отличен от стиля Лактанция, однако нетрудно догадаться, что оба эти писателя были публичными преподавателями риторики. Даже изучение философии в конце концов было введено между христианами, но оно не всегда приносило полезные плоды; знания были так же часто источником ереси, как и источником благочестия, и то описание, которое относилось к последователям Артемона, может быть, с такой же основательностью отнесено к различным сектам, восстававшим против преемников апостолов. «Они позволяют себе извращать Св. Писание, отказываться от древних правил веры и основывать свои мнения на утонченных требованиях логики. Они пренебрегают наукой церкви ради изучения геометрии и, занимаясь измерением земли, теряют из виду небеса. Сочинения Евклида постоянно у них в руках. Аристотель и Теофраст служат для них предметами удивления, и они выказывают необыкновенное уважение к сочинениям Галена. Их заблуждения проистекают из злоупотребления искусствами и науками неверующих, и они извращают простоту Евангелия ухищрениями человеческого разума».

Нельзя утверждать, чтобы с исповедованием христианской веры никогда не соединялись выгоды знатного происхождения и богатства. Многие римские граждане были приведены на суд к Плинию, и он скоро убедился, что в Вифинии множество лиц всякого звания отказалось от религии своих предков.

В этом случае его неоспоримое свидетельство имеет больший вес, чем смелая выходка Тертуллиана, когда он старается возбудить в проконсуле Африки и страх, и чувство человеколюбия, уверяя его, что, если он не откажется от своих жестоких намерений, он опустошит Карфаген и что между виновными он найдет много людей одного с ним звания, сенаторов и матрон самого знатного происхождения, друзей и родственников самых близких к нему людей. Впрочем, лет через сорок после того император Валериан, по-видимому, был убежден в справедливости этих слов, так как в одном из своих рескриптов он предполагает, что к христианской секте принадлежали сенаторы, римские всадники и знатные дамы. Церковь не переставала увеличивать свой внешний блеск по мере того, как она утрачивала внутреннюю чистоту, так что в царствование Диоклетиана и дворец, и судебные места, и даже армия укрывали в своей среде множество христиан, старавшихся примирить интересы настоящей жизни с интересами будущей.

Однако эти исключения так немногочисленны или относятся к эпохе, столь отдаленной от первых времен христианства, что не могут совершенно устранить обвинения в невежестве и незнатности, которое было так высокомерно брошено в лицо первым последователям христианского учения. Вместо того чтобы пользоваться для защиты нашего мнения вымыслами позднейших веков, мы поступим более благоразумно, если из повода к скандалу сделаем предмет назидания. Вдумываясь глубже в этот предмет, мы заметим, что сами апостолы были избраны Провидением между галилейскими рыбаками и что чем ниже было мирское положение первых христиан, тем более основания удивляться их достоинствам и успехам. Мы, главным образом, не должны забывать того, что царствие небесное было обещано нищим духом и что люди, страдающие под гнетом лишений и презрения со стороны всего человечества, охотно внимают божескому обещанию будущего блаженства, тогда как, напротив того, люди, живущие в счастье, довольствуются благами этого мира, а люди ученые бесполезно тратят на сомнения и пререкания превосходство своего ума и своих знаний.

Без этих утешительных соображений нам пришлось бы оплакивать участь некоторых знаменитых людей, которые кажутся нам самыми достойными небесной награды. Имена Сенеки, Старшего и Младшего Плиния, Тацита, Плутарха, Галена, раба Эпиктета и императора Марка Антонина служат украшением для того века, в котором они жили, и возвышают достоинство человеческой натуры. Каждый из них с честью исполнял обязанности своего положения как в деятельной, так и в созерцательной жизни; их превосходные умственные способности были усовершенствованы приобретением познаний; философия очистила их умы от предрассудков народного суеверия, а их жизнь прошла в искании истины и в делах добродетели. А между тем все эти мудрецы (и это возбуждает в нас не менее удивления, чем скорби) не сознавали совершенств христианской системы или отвергали их. И их слова, и их молчание одинаково обнаруживают их презрение к зародившейся секте, которая в их время уже распространилась по всей Римской империи. Те из них, кто нисходит до упоминания о христианах, видят в них не более как упорных и впавших в заблуждение энтузиастов, которые требуют слепого подчинения их таинственным учениям, не будучи в состоянии привести ни одного аргумента, способного остановить на себе внимание людей, здравомыслящих и образованных.

По меньшей мере, сомнительно, чтобы кто-либо из этих философов внимательно рассмотрел апологии, которые много раз издавались первыми христианами в защиту самих себя и своей религии; но нельзя не пожалеть о том, что та-

кое дело не имело более способных адвокатов. Они указывают с избытком остроумия и красноречия на нелепости политеизма; они возбуждают в нас сострадание, описывая невинность и страдания своих угнетенных единоверцев; но когда они хотят доказать божественность происхождения христианства, они гораздо более настаивают на пророчествах, предвещавших пришествие Мессии, нежели на чудесах, которыми сопровождалось это пришествие. Их любимый аргумент может служить к назиданию христианина или к обращению в христианство еврея, так как и тот и другой признает авторитет пророчеств и оба они обязаны отыскивать с благочестивым уважением их смысл и их осуществление. Но этот способ убеждения утрачивает в значительной мере свой вес и свое влияние, когда с ним обращаются к тем, кто и не понимает и не уважает ни Моисеевых законов, ни пророческого стиля. В неискусных руках Юстина и следовавших за ним апологетов возвышенный смысл еврейских оракулов испаряется в слабых типах, в натянутых идеях и холодных аллегориях, и даже подлинность этих оракулов становится в глазах непросвещенного язычника подозрительной вследствие примеси благочестивых подлогов, которые вкрадывались в них под именами Орфея, Гермеса и сивилл, будто они имели такое же достоинство, как подлинные внушения небес. Эта манера прибегать для защиты откровения к обманам и софизмам похожа на неблагоприятные приемы тех поэтов, которые обременяют своих неуязвимых героев бесполезной тяжестью стеснительного и ненадежного оружия.

Но как объяснить совершенное невнимание и язычников, и философов к тем свидетельствам, которые исходили от самого Всемогущего и были обращены не к их разуму, а к их чувствам? Во время Христа, его апостолов и первых апостольских учеников истина учения, которое они проповедовали, была подтверждена бесчисленными чудесами. Хромые начинали ходить, слепые делались зрячими, больные исцелялись, мертвые воскресали, демоны были изгоняемы, и законы природы часто приостанавливались для блага церкви. Но греческие и римские мудрецы отворачивали свои взоры от этого внушительного зрелища и, не изменяя своего привычного образа жизни и своих ученых занятий, как будто не примечали никаких перемен ни в нравственном, ни в физическом управлении этим миром. В царствование Тиберия вся земля, или, по меньшей мере одна знаменитая провинция Римской империи была погружена в сверхъестественный мрак в течение трех часов. Даже это чудесное происшествие, которое должно было бы возбудить удивление, любопытство и благочестие человеческого рода, прошло незамеченным в таком веке, когда люди занимались науками и когда было столько знаменитых историков. Оно случилось при жизни Сенеки и Плиния Старшего, которые или должны были бы испытать на самих себе влияние этого чуда, или получить прежде других уведомление о нем. Каждый из этих философов перечислил в тщательно обработанном сочинении все великие явления природы, землетрясения, метеоры, кометы и затмения, о каких только могла собрать сведения их неутомимая любознательность. Но ни тот ни другой не упоминают о величайшем явлении природы, какое когда-либо мог видеть смертный со времени сотворения земного шара. У Плиния отведена особая глава для необыкновенных и необычайно продолжительных затмений, но он ограничивается описанием странного ослабления света, когда в течение большей части года после умерщвления Цезаря солнечная орбита казалась бледной и лишенной блеска. Этот полумрак, который, конечно, нельзя сравнивать со сверхъестественной тьмой евангельского рассказа о страданиях Спасителя, был прославлен почти всеми поэтами и историками того достопамятного времени.

**Образ действий римского правительства
по отношению к христианам, с царствования Нерона
до царствования Константина**

Глава 6 (xvi)

Гонения на христиан

Если мы серьезно взвесим чистоту христианской религии, святость ее нравственных правил и безупречный и суровый образ жизни большинства тех, кто в первые века нашей эры уверовал в Евангелие, то будет естественно предположить, что даже неверующие должны были относиться с должным уважением к столь благотворному учению, что ученые и образованные люди должны были ценить добродетели новой секты, как бы ни казались им смешны чудеса, и что должностные лица, вместо того чтобы преследовать, должны были поддерживать такой класс людей, который оказывал законам самое беспрекословное повиновение, хотя и уклонялся от деятельного участия в работах военных и административных. Если же, с другой стороны, мы припомним, как всеобщая религиозная терпимость политеизма неизменно поддерживалась и убеждениями народа, и неверием философов, и политикой римского сената и императоров, нам станет трудно понять, какое новое преступление совершили христиане, какая новая обида могла раздражить кроткое равнодушие древних и какие новые мотивы могли заставить римских монархов, всегда равнодушно относившихся к множеству религиозных форм, спокойно существовавших под их кроткой державой, — подвергать строгим наказаниям тех подданных, которые приняли форму верований и культа, хотя и странную, но безобидную.

Религиозная политика Древнего мира приняла характер суровости и нетерпимости для того, чтобы воспротивиться распространению христианства. Почти через восемьдесят лет после смерти Христа его невинных последователей казнили смертью по приговору такого проконсула, который отличался самым любезным и философским нравом, и в силу законов, установленных таким императором, который отличался мудростью и справедливостью общей системы своего управления. Апологии, которые неоднократно подавались преемникам Траяна, были наполнены самыми трогательными жалобами на то, что христиане, повинующиеся внушениям своей совести и просящие о даровании им свободы исповедовать свою религию, единственные из всех подданных Римской империи, которые лишены благоденствий своего мудрого правительства. При этом делались указания на некоторых выдающихся мучеников; но с тех пор как христианство было облечено верховной властью, правители

церкви старались выставлять наружу жестокости своих языческих соперников с таким же усердием, с каким они старались подражать их примеру. Мы намерены в настоящей главе выделить (если это возможно) из безобразной массы вымыслов и заблуждений немногие достоверные и интересные факты и изложить с ясностью и последовательностью причины, размер, продолжительность и самые важные подробности гонений, которым подвергались первые христиане.

Приверженцы преследуемой религии, будучи обескуражены страхом, одушевлены жадой мести и, может быть, воспламенены энтузиазмом, редко бывают в таком душевном настроении, при котором можно спокойно исследовать или добросовестно взвешивать мотивы своих врагов, нередко не поддающиеся беспристрастному и проницательному исследованию даже тех, кто огражден расстоянием от преследователей. Образ действий императоров по отношению к первым христианам объясняется таким мотивом, который кажется очевидным и правдоподобным тем более потому, что он основан на всеми признанном духе политеизма. Мы уже ранее заметили, что существовавшая в римском мире религиозная гармония поддерживалась главным образом тем, что древние народы относились с безусловным уважением к своим взаимным религиозным преданиям и обрядам. Поэтому следовало ожидать, что они с негодованием соединятся вместе против такой секты или такого народа, которые выделятся из общения со всем человечеством, и, заявляя притязание на исключительное обладание божественным знанием, будут с презрением смотреть как на нечестивую и идолопоклонническую на всякую форму богослужения, кроме их собственной. Права, основанные на веротерпимости, опирались на взаимную уступчивость, и понятно, что их лишился тот, кто отказывался от уплаты установленной обычаями дани. Так как иудеи, и только они одни, упорно отказывались от уплаты этой дани, то мы рассмотрим, как обходилось с ними римское правительство: это поможет нам уяснить, насколько поведение этого правительства оправдывалось фактами, и поможет нам раскрыть настоящие причины преследования христиан.

Не находя нужным повторять то, что мы уже ранее говорили об уважении римских монархов и губернаторов к Иерусалимскому храму, мы ограничимся замечанием, что и при разрушении этого храма, и самого города происходили такие события, которые должны были вывести из терпения завоевателей и которые оправдывали религиозное преследование самыми основательными ссылками на требования политики, справедливости и общественной безопасности. Со времен Нерона и до времен Антонина Пия иудеи выносили владычество римлян с пылким нетерпением, которое много раз раздражалось самыми неистовыми убийствами и восстаниями. Чувство человеческого возмущается при чтении рассказов об отвратительных жестокостях, совершенных ими в городах Египта, Кипра и Кирены, где они под видом дружбы коварным образом употребили во зло доверие туземных жителей, и мы склонны одобрять римские легионы, жестоко отомстившие расе фанатиков, которые вследствие своих свирепых и легкомысленных предрассудков, по-видимому, сделались непримиримыми врагами не только римского правительства, но и всего человеческого рода. Энтузиазм иудеев был основан на убеждении, что закон не позволяет им уплачивать налоги идолопоклонническому повелителю, и на лестном обещании, данном их старинными оракулами, что скоро появится победоносный Мессия, которому предназначено ра-

зорвать их цепи и доставить этим избранникам небес земное владычество. Если знаменитый Бар-Кохба мог собрать значительную армию, в течение двух лет устоявшую против могущества императора Адриана, это удалось ему потому, что он выдавал себя за давно ожидаемого освободителя и призвал всех потомков Авраама к осуществлению надежд Израиля.

Несмотря на неоднократные мятежи, гнев римских монархов стихал после победы, а их опасения прекращались вместе с войной и опасностью. Благодаря свойственной политеизму снисходительности и благодаря мягкому характеру Антонина Пия, иудеи снова получили свои старинные привилегии и им снова было дозволено совершать над их детьми обряд обрезания лишь с тем легким ограничением, что они не должны накладывать этого отличительного признака еврейской расы на тех иностранцев, которые обратятся в их веру. Хотя многочисленные остатки этого народа все еще не допускались внутрь Иерусалима, однако им было дозволено заводить и поддерживать значительные поселения и в Италии, и в провинциях; им было дозволено приобретать право римского гражданства, пользоваться муниципальными отличиями и вместе с тем освобождаться от обременительных и сопряженных с большими расходами общественных должностей. Умеренность или презрение римлян придало легальную санкцию той форме церковного управления, которая была установлена побежденной сектой. Патриарх, избравший своим местопребыванием Тибериаду, получил право назначать подчиненных ему церковных служителей и апостолов, пользоваться домашней юрисдикцией и собирать со своих рассеянных повсюду единоверцев ежегодную дань. В главных городах империи нередко воздвигались новые синагоги, а субботний день, посты и праздники, предписанные законом Моисея или установленные преданиями раввинов, соблюдались и праздновались самым торжественным и публичным образом. Это кроткое обхождение постепенно смягчило суровый характер иудеев. Они отказались от своих мечтаний об осуществлении пророчеств и о завоеваниях и стали вести себя как мирные и трудолюбивые подданные. Их непримиримая ненависть к человеческому роду, вместо того чтобы разгораться до убийств и насилий, испарилась в менее опасном способе самодовольствования. Они стали пользоваться всяким удобным случаем, чтобы обманывать язычников в торговле и стали втайне произносить двусмысленные проклятия в адрес надменного Эдомского царства.

Так как иудеи, с отвращением отвергавшие богов, которым поклонялись и их государи, и все другие подданные Римской империи, тем не менее могли свободно исповедовать свою необщительную религию, то следует полагать, что была какая-нибудь другая причина, по которой последователей Христа подвергали таким строгостям, от которых были освобождены потомки Авраама. Различие между ними несложно и очевидно, но, по господствовавшим в древности взглядам, оно было в высшей степени важно. Иудеи были нацией, а христиане были сектой, и если считалось естественным, что каждое общество уважает религиозные установления своих соседей, то на нем лежала обязанность сохранять религиозные установления своих предков. И голос оракулов, и правила философов, и авторитет законов единогласно требовали исполнения этой национальной обязанности. Своими высокомерными притязаниями на высшую святость иудеи могли заставить политеистов считать их за отвратительную и нечестивую расу; своим нежеланием смешиваться с другими народами они могли внушить политеистам презрение. Законы Моисея могли быть большей частью пустыми или нелепыми, но так как они были исполняемы в течение многих веков многочисленным общест-

вом, то их приверженцы находили для себя оправдание в примере всего человеческого рода, и все соглашались в том, что они имели право держаться такого культа, отказаться от которого было бы с их стороны преступлением. Но этот принцип, служивший охраной для иудейской синагоги, не доставлял для первобытной христианской церкви никаких выгод и никакого обеспечения. Принимая веру в Евангелие, христиане навлекали на себя обвинение в противоестественном и непростительном преступном деянии. Они разрывали священные узы обычая и воспитания, нарушали религиозные постановления своего отечества и самонадеянно презирали то, что их отцы считали за истину и чтили как святыню. И это вероотступничество (если нам будет дозволено так выразиться) не имело частного или местного характера, так как благочестивый дезертир, покинувший храмы, египетские или сирийские, одинаково отказался бы с презрением от убежища в храмах, афинских или карфагенских. Каждый христианин с презрением отвергал суеверия своего семейства, своего города и своей провинции. Все христиане без исключения отказывались от всякого общения с богами Рима, империи и человеческого рода. Угнетаемый верующий тщетно заявлял о своем неотъемлемом праве располагать своей совестью и своими личными мнениями. Хотя его положение и могло возбуждать сострадание философов или идолопоклонников, его аргументы никак не могли проникнуть до их разума. Эти последние не понимали, что в ком-либо могло зародиться сомнение насчет обязанности сообразоваться с установленным способом богослужения, и находили это так же удивительным, как если бы кто-нибудь внезапно почувствовал отвращение к нравам, одежде или языку своей родины.

Удивление язычников скоро уступило место негодованию, и самые благочестивые люди подверглись несправедливому, но вместе с тем опасному обвинению в нечестии. Злоба и предрассудок стали выдавать христиан за общество атеистов, которые за свои дерзкие нападки на религиозные учреждения империи должны быть подвергнуты всей строгости законов. Они отстранялись (в чем с гордостью сами сознавались) от всякого вида суеверий, введенного в каком бы то ни было уголке земного шара изобретательным гением политеизма, но никому не было ясно, каким божеством или какой формой богослужения заменили они богов и храмы древности. Их чистое и возвышенное понятие о Высшем Существо было недоступно грубым умам языческих народов, не способных усвоить себе понятие о таком духовном и едином Божестве, которое не изображалось ни в какой телесной форме или видимом символе и которому не поклонялись с обычной помпой возлияний и пиршеств, алтарей и жертвоприношений. Греческие и римские мудрецы, возвысившиеся своим умом до созерцания существования и атрибутов Первопричины, повиновались или голосу рассудка, или голосу тщеславия, когда приберегали привилегию такого философского благочестия лишь для самих себя и для своих избранных учеников. Они были далеки от того, чтобы принимать предрассудки человеческого рода за мерило истины, но полагали, что они истекают из коренных свойств человеческой природы, и думали, что всякая народная форма верований и культа, отвергающая содействие чувств, будет не способна сдерживать бредни фантазии и увлечения фанатизма, по мере того как она будет отдаляться от суеверий. Когда умные и ученые люди снисходили до того, что останавливали свое внимание на христианском откровении, они еще более укреплялись в своем опрометчивом убеждении, что способный внушить им уважение принцип единства Божия был обезображен

сумасбродным энтузиазмом новых сектантов и уничтожен их химерическими теориями. Когда автор знаменитого диалога, приписываемого Лукиану, говорит с насмешкой и презрением о таинственном догмате Троицы, он этим лишь обнаруживает свое собственное непонимание слабости человеческого разума и непроницаемого свойства божеских совершенств.

Менее удивительным могло казаться то, что последователи христианства не только чтили основателя своей религии как мудреца и пророка, но и поклонялись ему как Богу. Политеисты были готовы принять всякое верование, по-видимому, представлявшее некоторое сходство с народной мифологией, хотя бы это сходство и было отдаленно и неполно, а легенды о Бахусе, Геркулесе и Эскулапе в некоторой степени подготовили их воображение к появлению Сына Божия в человеческом обличье. Но их удивляло то, что христиане покинули храмы тех древних героев, которые в младенческую пору мира изобрели искусства, ввели законы и одолели опустошавших землю тиранов или чудовищ для того, чтобы изобразить исключительным предметом своего религиозного поклонения незнатного проповедника, который в неотдаленные времена и среди варварского народа пал жертвой или злобы своих собственных соотечественников, или подозрительности римского правительства. Идолопоклонники, ценившие лишь мирские блага, отвергали неоценимый дар жизни и бессмертия, который был предложен человеческому роду Иисусом из Назарета. Его кроткая твердость среди жестоких и добровольных страданий, его всеобъемлющее милосердие и возвышенная простота его действий и характера были в глазах этих чувственных людей неудовлетворительным вознаграждением за недостаток славы, могущества и успеха; а поскольку они не хотели признавать его изумительного торжества над силами мрака и могилы, они вместе с тем выставляли в ложном свете или с насмешкой двусмысленное рождение, странническую жизнь и позорную смерть основателя христианства.

Ставя свои личные мнения выше национальной религии, каждый христианин совершал преступление, которое увеличивалось в очень значительной мере благодаря многочисленности и единодушию виновных. Всем хорошо известно и нами уже было замечено, что римская политика относилась с крайней подозрительностью и недоверием ко всякой ассоциации, образовавшейся в среде римских подданных, и что она неохотно выдавала привилегии частным корпорациям, как бы ни были невинны или благотворны их цели. Религиозные собрания христиан, отстранившихся от общественного культа, казались еще менее невинными: они были по своему принципу противозаконны, а по своим последствиям могли сделаться опасными; со своей стороны, императоры не сознавали, что они нарушают правила справедливости, запрещая ради общественного спокойствия такие тайные и нередко происходившие по ночам сборища. Вследствие благочестивого неповиновения христиан их поступки или, может быть, даже их намерения представлялись еще в более серьезном и преступном свете, а римские монархи, которые, может быть, смягчили бы свой гнев ввиду готовности повиноваться, считали, что их честь задета неисполнением их предписаний, и потому нередко старались путем строгих наказаний укротить дух независимости, смело заявлявший, что над светской властью есть иная высшая власть. Размеры и продолжительность этого духовного заговора, по-видимому, с каждым днем делали его все более и более достойным монаршего негодования. Мы уже ранее заметили, что благодаря деятельному и успешному рвению, христиане постепенно распространились по всем провинциям и почти по всем городам империи. Новообра-

ценные, по-видимому, отказывались от своей семьи и от своего отечества для того, чтобы связать себя неразрывными узами со странным обществом, повсюду принимавшим такой характер, который отличал его от всего остального человеческого рода. Их мрачная и суровая внешность, их отвращение от обычных занятий и удовольствий и их частые предсказания предстоящих бедствий заставляли язычников опасаться какой-нибудь беды от новой секты, которая казалась тем более страшной, чем более была непонятной. Каковы бы ни были правила их поведения, говорит Плиний, их непреклонное упорство, как кажется, заслуживает наказания.

Предосторожности, с которыми последователи Христа исполняли свои религиозные обязанности, были первоначально внушены страхом и необходимостью, но впоследствии употреблялись добровольно. Подражая страшной таинственности элевсинских мистерий, христиане льстили себя надеждой, что их священные постановления приобретут в глазах язычников более права на их уважение. Но, как это часто случается с тонкими политическими расчетами, результат не оправдал их желаний и надежд. Возникло убеждение, что они лишь стараются скрыть то, в чем они не могли бы сознаться не краснея. Их ложно истолкованная осторожность дала злобе повод выдумывать отвратительные сказки, которые принимались подозрительностью и легковерием за истину и которые изображали христиан самыми порочными членами человеческого рода, совершающими в своих мрачных пристанищах всякие гнусности, какие только может придумать развратное воображение, и испрашивающими милостей у своего неизвестного Бога путем принесения в жертву всех нравственных добродетелей. Многие даже утверждали, будто они в состоянии описать религиозные обряды этого отвратительного общества. Новорожденного ребенка, совершенно покрытого мукой, говорили они, подставляли в качестве мистического символа посвящения под нож новообращенного, который по невежеству наносил несколько тайных и смертельных ран невинной жертве своего заблуждения; лишь только было совершено это преступление, сектанты пили кровь, с жадностью отрывали трепещущие члены и, будучи связаны между собой сознанием общей виновности, взаимно обязывались вечно хранить все случившееся в тайне. С одинаковой уверенностью рассказывали, что за этим бесчеловечным жертвоприношением следовало такое же отвратительное развлечение, в котором страсти служили поводом к удовлетворению скотской похоти, что в назначенный момент они внезапно потухали, чувство стыда изгонялось, законы природы забывались, и мрак ночи осквернялся кровосмесительной связью сестер с братьями, сыновей с матерями.

Но чтения древних апологий было бы вполне достаточно для того, чтобы в уме беспристрастного противника не осталось даже самых слабых подозрений. Чтобы опровергнуть распускаемые молвой слухи, христиане с неустрашимой самонадеянностью невинности обращались к чувству справедливости должностных лиц. Они сознавали, что, если бы были представлены какие-либо доказательства возводимых на них клеветой преступлений, они заслуживали бы самого строгого наказания. Они накликали на себя наказание и требовали улик. В то же время они весьма основательно и уместно настаивали на том, что обвинения столько же неправдоподобны, сколько бездоказательны; неужели, спрашивали они, кто-нибудь может серьезно верить тому, что чистые и святые правила Евангелия, столь часто сдерживавшие влечение к самым невинным наслаждениям, могут вовлекать в самые отвратительные преступления, что обширное общество решится бесчестить себя в глазах своих соб-

ственных членов и что огромное число людей обоого пола, всякого возраста и общественного положения, сделавшись недоступными страху смерти или позора, дозволят себе нарушать те самые принципы, которые глубже всего запечатлелись в их умах от природы и от воспитания.

История, задача которой заключается в том, чтобы собрать сведения о деяниях прошлого для назидания будущих веков, оказалась бы недостойной такой почтенной роли, если бы она снизошла до того, что стала бы вступаться за тиранов или оправдывать принципы гонения. Впрочем, следует признать, что поведение тех императоров, которые, по-видимому, были менее всех других благосклонны к первобытной церкви, никоим образом не было столь преступно, как поведение тех новейших монархов, которые употребляли орудия насилия и страха против религиозных мнений какой-либо части своих подданных. Какой-нибудь Карл V или Людовик XIV мог бы почерпнуть из своего ума или даже из своего собственного сердца правильное понятие о нравах совести, об обязанностях веры и о невинности заблуждения. Но монархам и сановникам Древнего Рима были чужды те принципы, которыми вдохновлялось и оправдывалось непреклонное упорство христиан в деле истины, а в своей собственной душе они не могли бы отыскать никакого мотива, который мог бы заставить их отказаться от легального и, так сказать, естественного подчинения священным установлениям их родины. Та же самая причина, которая ослабляет тяжесть их виновности, неизбежно ослабляла и жестокость их гонений. Так как они действовали под влиянием не бешеного усердия ханжей, а умеренной политики, приличной законодателям, то понятно, что их презрение нередко ослабляло, а их человеколюбие очень часто приостанавливало исполнение тех законов, которые они издавали против смиренных и незнатных последователей Христа. Принимая во внимание характер и мотивы римских правителей, мы естественно приходим к следующим выводам. I. Что прошло довольно много времени, прежде чем они пришли к убеждению, что новые сектанты заслуживают внимания правительства. II. Что они действовали осторожно и неохотно, когда дело шло о наказании кого-либо из римских подданных, обвинявшихся в столь странном преступлении. III. Что они были сдержанны в применении наказаний. IV. Что угнетаемая церковь наслаждалась несколькими промежутками мира и спокойствия. Несмотря на то что самые плодотворные и вдававшиеся в самые мелочные подробности языческие писатели относились с самым беспечным невниманием ко всему, что касалось христиан, мы все-таки в состоянии подтвердить каждое из этих правдоподобных предположений ссылками на достоверные факты.

Благодаря мудрой предусмотрительности Провидения, прежде, чем успела созреть вера христиан, и прежде, чем они успели размножиться, детство церкви было прикрыто таинственным покровом, не только охранявшим ее от злобы язычников, но и совершенно скрывавшим ее от их глаз. Так как установленные Моисеем религиозные обряды выходили из употребления медленно и постепенно, то, пока они еще существовали, в них самые ранние приверженцы Евангелия находили для себя безопасное и невинное прикрытие. А так как эти приверженцы принадлежали большей частью к потомству Авраама, то они носили отличительный знак обрезания, возносили свои молитвы в Иерусалимском храме до его окончательного разрушения и считали законы Моисея и писания пророков за подлинное вдохновение Божества. Новообращенные язычники, приобщившиеся путем духовного усыновления к надеждам Израиля, также смешивались с иудеями, на которых походили

и одеждой, и внешним видом, а так как политеисты обращали внимание не столько на статьи веры, сколько на внешнюю сторону культа, то новая секта, тщательно скрывавшая или лишь слегка заявлявшая свои надежды на будущее величие и свое честолюбие, могла пользоваться общей веротерпимостью, которая была дарована древнему и знаменитому народу, входившему в число подданных Римской империи. Одушевленные более пылким религиозным рвением и более заботливые насчет чистоты своей веры, иудеи, может быть, скоро заметили, что их назаретские единоверцы постепенно отклоняются от учения синагоги и готовы потопить опасную ересь в крови ее приверженцев. Но воля небес уже обезоружила их злобу, и, хотя они еще не были лишены возможности заявлять по временам протест путем восстаний, они были лишены заведования уголовной юстицией, а вдохнуть в душу хладнокровных римских судей такое же чувство ненависти, какое питали в них самих религиозное рвение и суеверие, было бы делом вовсе не легким. Губернаторы провинций заявили о своей готовности выслушивать обвинения в таких преступлениях, которые могли угрожать общественной безопасности, но лишь только они узнавали, что дело идет не о фактах, а о словах, что им предлагают разрешить спор касательно смысла иудейских законов и пророчеств, они находили унижительным для римского величия серьезное обсуждение ничтожных разногласий, возникавших в среде варварского и суеверного народа. Невинность первых христиан охранялась невежеством и презрением, и трибунал языческого судьи нередко служил для них самым безопасным убежищем от ярости синагоги. Если бы мы приняли на веру предания не в меру легкомысленной древности, мы были бы в состоянии описать далекие странствия, удивительные подвиги и различные виды смерти двенадцати апостолов; но более тщательное исследование заставит нас усомниться, действительно ли хоть один из тех людей, которые были очевидцами чудес Христа, мог вне пределов Палестины запечатлеть своей кровью истину своего свидетельства. Если мы примем в соображение обыкновенную продолжительность человеческой жизни, мы, естественно, должны будем предположить, что их большей частью уже не было в живых в то время, как неудовольствие иудеев разразилось жестокой войной, окончившейся лишь разрушением Иерусалима. В течение длинного периода времени от смерти Христа до этого достопамятного возмущения мы не находим никаких следов римской религиозной нетерпимости, за исключением внезапного, непродолжительного, хотя и жестокого преследования, которому Нерон подверг живших в столице христиан через тридцать пять лет после первого из этих великих событий и только за два года до второго. Уже одного имени историка-философа, которому мы обязаны сведениями об этом странном происшествии, достаточно для того, чтобы заставить нас остановиться на этом предмете все наше внимание.

Пожар Рима в царствование Нерона

На десятом году царствования Нерона столица империи пострадала от пожара, свирепствовавшего с такой яростью, какой никто не мог запомнить, и какому не было примера в прежние времена. Памятники греческого искусства и римских добродетелей, трофеи Пунических и галльских войн, самые священные храмы и самые роскошные дворцы — все сделалось жертвой общего разрушения. Из четырнадцати округов, или кварталов, на которые был разделен Рим, только четыре остались совершенно невредимы, три были

уничтожены до основания, а остальные семь представляли после пожара печальную картину разорения и опустошения. Бдительность правительства, как кажется, не пренебрегла никакими мерами, чтобы смягчить последствия столь страшного общественного бедствия. Императорские сады были открыты для огромной массы пострадавших, временные здания были воздвигнуты для предоставления ей убежища, громадные запасы хлеба и провизии раздавались ей за очень умеренную цену. По-видимому, самая великодушная политика диктовала те эдикты, которые регулировали новое расположение улиц и застройку частных домов, и, как это обыкновенно случается в века материального благосостояния, из пепла старого Рима возник в течение пяти лет новый город, более правильно построенный и более красивый. Но как ни старался Нерон выказать по этому случаю свое благоразумие и человеколюбие, он этим не мог оградить себя от возникших в народе подозрений. Не было такого преступления, в котором нельзя было бы заподозрить того, кто убил свою жену и свою мать, а такой монарх, который унижал на театральных подмостках и свою личность, и свое звание, считался способным на самые безумные сумасбродства. Голос народной молвы обвинял императора в поджоге его собственной столицы, а так как доведенный до отчаяния народ всего охотнее верит самым неправдоподобным слухам, то иные серьезно рассказывали, а иные твердо верили, что Нерон наслаждался созданным им общественным бедствием, воспевая под аккомпанемент своей лиры разрушение древней Трои. Чтобы отклонить от себя подозрение, которого не способна заглушить никакая деспотическая власть, император решился сложить свою собственную вину на каких-нибудь вымышленных преступников.

«В этих видах, — продолжает Тацит, — он подвергнул самым изысканным истязаниям тех людей, которые уже были заклеены заслуженным позором под общим названием христиан. Они производили свое имя и вели свое начало от Христа, который в царствование Тиберия был подвергнут смертной казни по приговору прокуратора Понтия Пилата. Это пагубное суеверие было на некоторое время подавлено, но потом снова появилось и не только распространилось по Иудее, которая была местом рождения этой вредной секты, но даже проникло в Рим, в это общее убежище, принимающее и охраняющее все, что есть нечистого, все, что есть отвратительного. Признания тех из них, которые были задержаны, указали на множество их сообщников, и все они были уличены не столько в поджоге города, сколько в ненависти к человеческому роду. Они умирали от истязаний, а их истязания становились еще более мучительными от примеси оскорблений и насмешек. Одни из них были пригвождены к кресту, другие были зашиты в кожи диких зверей и в этом виде растерзаны собаками, третьи были намазаны горячими веществами и служили факелами для освещения ночного мрака. Сады Нерона были назначены для этого печального зрелища, сопровождавшегося конскими скачками и удостоенного присутствием самого императора, который смешивался с народной толпой, одевшись в кучерское платье и управляя колесницей. Преступление христиан действительно заслуживало примерного наказания, но всеобщее к ним отвращение перешло в сострадание благодаря убеждению, что эти несчастные создания приносились в жертву не столько общественному благу, сколько жестокосердию подозрительного тирана». Кто с интересом следит за переворотами, совершающимися в человеческом роде, тот, может быть, остановит свое внимание на том факте, что запятнанные кровью первых христиан сады и цирк Нерона в Ватикане

сделались еще более знаменитыми вследствие торжества преследуемой религии и вследствие ее злоупотреблений своими победами. Храм, далеко превосходящий древнее величие Капитолия, был впоследствии воздвигнут на этом месте христианскими первосвященниками, которые, основывая свои притязания на всемирное владычество на том, что им было завещано смиренным галилейским рыбаком, успели воссесть на троне Цезарей, дали законы варварским завоевателям Рима и распространили свою духовную юрисдикцию от берегов Балтийского моря до берегов Тихого океана.

Но прежде, чем покончить с этим рассказом о гонениях со стороны Нерона, мы считаем нужным сделать несколько замечаний, которые помогут нам устранить затруднения, возникающие в нашем уме при чтении этого рассказа, и которые бросают некоторый свет на последующую историю церкви.

1. Самая недоверчивая критика вынуждена признать достоверность этого необыкновенного происшествия и неподдельность знаменитых слов Тацита. Первая подтверждается усидчивым и аккуратным Светонием, упоминающим о наказании, которому Нерон подвергнул христиан, — эту секту людей, усвоивших новое и преступное суеверие. А вторая доказывается согласием слов Тацита с самыми древними рукописями, неподражаемым характером стиля этого писателя, его репутацией, предохранившей текст его сочинений от искажений в интересах благочестия, и, наконец, самим содержанием его повествования, обвиняющего первых христиан в самых ужасных преступлениях, но не делающего намеков на то, чтобы обладание какой-либо чудотворной или даже магической силой ставило их выше остального человеческого рода.

2. Тацит, вероятно, родился за несколько лет до римского пожара и только из чтений и разговоров мог узнать о событии, случившемся во время его детства. Прежде, нежели выступить перед публикой, он спокойно дожидался, чтобы его ум достиг своей полной зрелости, и ему было более сорока лет, когда признательность и уважение к памяти добродетельного Агриколы побудили его написать самое раннее из тех исторических сочинений, которые будут служить наслаждением и назиданием для самого отдаленного потомства. После того как он испробовал свои силы на биографии Агриколы и на описании Германии, он задумал и в конце концов привел в исполнение план более трудного произведения, а именно, написал в тридцати книгах историю Рима с падения Нерона до вступления на престол Нервы. С царствования этого императора начинался век справедливости и общественного благосостояния, из которого Тацит предполагал сделать предмет занятий для своей старости, но когда он ближе познакомился с этим предметом, он, кажется, понял, что более прилично и менее опасно описывать пороки умерших тиранов, нежели воспевать добродетели царствующего монарха, и потому остановился на изложении в форме летописей деяний четырех непосредственных преемников Августа. Собрать, расположить и описать события восьмидесятилетнего периода времени в бессмертном произведении, в котором каждая фраза полна самой глубокой наблюдательности и самой живой картинности, — такого предприятия было достаточно, чтобы занять ум даже такого человека, как Тацит. В последние годы царствования Траяна, в то время как этот победоносный монарх распространял владычество Рима вне его старинных пределов, историк занимался описанием тирании Тиберия во второй и четвертой книгах своих Летописей, а император Траян возшел на престол, вероятно, прежде, чем Тацит дошел в своем изложении до пожара столицы и до описания жестокого обращения Нерона с несчастными христианами. Будучи отделен от описываемых событий шестидесятилетним

промежутком времени, летописец был вынужден повторять рассказы современников, но в качестве философа он занялся описанием происхождения, распространения и характера новой секты, руководствуясь при этом сведениями или предубеждениями не столько времен Нерона, сколько времен Адриана.

3. Тацит очень часто предоставляет любознательности или догадливости своих читателей восполнять те промежуточные подробности или размышления, которые он при чрезвычайной сжатости своего изложения счел уместным опустить. Поэтому нам позволительно предположить существование какой-нибудь правдоподобной причины, побудившей Нерона обращаться так жестоко с римскими христианами, ничтожество и невинность которых должны были бы служить охраной от его гнева и даже от его внимания. Иудеи, которых было очень много в Риме и которые подвергались угнетениям на своей родине, по-видимому, гораздо легче могли бы навлечь на себя подозрения императора и народа, и никому не показалось бы неправдоподобным, что побежденная нация, уже заявившая о своем отвращении к римскому игу, прибегает к самым ужасным средствам для удовлетворения своей непримиримой ненависти. Но у иудеев были могущественные заступники во дворце и даже в сердце тирана — его жена и повелительница прекрасная Пoppея и любимый актер из рода Авраама, уже обратившиеся к нему с ходатайством за этот ненавистный народ. Вместо них необходимо было найти какие-нибудь другие жертвы, и вовсе нетрудно было навести императора на ту мысль, что хотя настоящие последователи Моисея и не были виновны в поджоге Рима, но именно в их среде возникла новая и вредная секта галилеян, способная на самые ужасные преступления. Под именем галилеян смешивали два разряда людей, совершенно противоположных один другому и по своим правам, и по своим принципам, а именно: учеников, принявших веру Иисуса Назаретского, и фанатиков, ставших под знамя Иуды Гавлонита. Первые были друзьями человеческого рода, вторые были его врагами, а единственное между ними сходство заключалось в одинаковой непреклонной твердости, благодаря которой они в защите своего дела обнаруживали совершенное равнодушие к смерти и к пыткам. Последователи Иуды, вовлекшие своих соотечественников в бунт, скоро были погребены под развалинами Иерусалима, тогда как последователи Иисуса, сделавшиеся известными под более знаменитым названием христиан, распространились по всей Римской империи. Разве естественно, что во времена Адриана Тацит отнес к христианам преступление и наказание, которое он мог бы с гораздо большим основанием отнести к той секте, ненавистное воспоминание о которой уже почти совершенно изгладилось?

4. Что бы ни думали об этой догадке (ведь это не более как догадка), для всякого очевидно, что как последствия, так и причины гонений Нерона ограничивались только Римом, что религиозные догматы галилеян или христиан никогда не служили поводом ни для наказаний, ни даже для судебного следствия и что так как воспоминание об их страданиях долгое время соединялось с воспоминанием о жестокостях и несправедливостях, то умеренность следующих императоров заставила их щадить секту, вынесшую угнетения от такого тирана, ярость которого обыкновенно обрушивалась на добродетель и невинность. Достоин внимания то, что пламя войны уничтожило почти в одно и то же время и храм в Иерусалиме, и Капитолий в Риме; не менее странно и то, что налоги, назначенные благочестием на первое из этих зданий, были обращены победителем на восстановление и украшение второго. Императоры обложили иудеев поголовным налогом, и хотя на

долю каждого приходилось уплачивать весьма незначительную сумму, этот налог считался иудеями невыносимым бременем как по причине того употребления, на которое он назначался, так и по причине строгости, с которой он взыскивался.

5. Так как сборщики податей распространяли свои несправедливые требования на многих людей, которые не были ни одной крови, ни одной религии с иудеями, то и христиане, столь часто укрывавшиеся под тенью синагоги, не могли избежать таких корыстных преследований. Они тщательно избегали всего, что хотя слегка отзывалось идолопоклонством, а потому их совесть воспрещала им содействовать возвеличению того демона, которого боготворили под именем Юпитера Капитолийского. Так как в среде христиан была многочисленная, хотя и постоянно ослабевавшая, партия, которая все еще держалась Моисеевых законов, то она всячески старалась скрыть свое иудейское происхождение; но ее уличали неоспоримым свидетельством обрезания, а в отличительные особенности ее религиозных верований римские судьи не имели времени вникать. Между христианами, которые были приведены к трибуналу императора или, более правдоподобно, к трибуналу прокуратора Иудеи, было, как рассказывают, два человека, отличавшихся происхождением, которое поистине было более знатно, чем происхождение могущественнейших монархов. Это были внуки апостола Св. Иуды, который был братом Иисуса Христа. Их естественные права на престол Давида, быть может, могли бы расположить в их пользу народ и возбудить опасения в губернаторе, но их мизерная внешность и наивность их ответов скоро убедили этого последнего, что они и не намерены, и не способны нарушать спокойствие Римской империи. Они откровенно признали свое царственное происхождение и свое близкое родство с Мессией, но отказывались от всяких мирских целей и утверждали, что то царство, которого они с благочестием ожидают, чисто духовного и ангельского характера. Когда их стали расспрашивать об их состоянии и занятиях, они показали свои руки, огрубевшие от ежедневной работы, и объявили, что извлекают все свои средства существования из обрабатывания фермы, которая находится близ деревни Кокаба, включает в себя около двадцати четырех английских акров и стоит девятьсот драхм, или 300 фунт. ст. Внуков Св. Иуды освободили от суда с состраданием и с презрением.

Но если ничтожество потомков Давида могло служить для них охраной от подозрительности тирана, то величие собственного семейства внушало малодушному Домициану опасения, которые он мог заглушать лишь пролитием крови тех римлян, которых он или боялся, или ненавидел, или уважал. Из двух сыновей его дяди Флавия Сабина старший был уличен в изменнических замыслах, а младший, носивший имя Флавия Климента, был обязан своим спасением недостатку мужества и дарования. Император в течение долгого времени отличал столь безвредного родственника своими милостями и покровительством, дал ему в жены свою племянницу Домициллу, обещал назначить своими преемниками родившихся от этого брака детей и облек их отца консульским достоинством. Но лишь только этот последний успел окончить срок своей годовой должности, его предали суду по какому-то ничтожному поводу и казнили; Домицилла была отправлена в изгнание на пустынный остров близ берегов Кампании, и множество лиц, замешанных в том же обвинении, или были приговорены к смертной казни, или лишились своих имений. Их обвиня-

ли в атеизме и в иудейских нравах, то есть в таком странном сочетании идей, которое всего естественнее можно бы было приписать христианам, так как и должностные лица, и писатели того времени имели о них весьма неясные и неполные сведения. Христианская церковь, слишком охотно принявшая подозрительность тирана за доказательство столь почтенного преступления, поместила на основании приведенного правдоподобного предположения и Климента, и Домициллу в число первых своих мучеников и заклеила жестокосердие Домициана названием второго гонения. Но это гонение (если оно действительно заслуживает такого названия) было непродолжительным. Через несколько месяцев после казни Климента и изгнания Домициллы император был убит в своем дворце одним из вольноотпущенных Домициллы Стефеном, который пользовался милостивым расположением своей госпожи, но, конечно, не принял ее веры. Память Домициана была осуждена сенатом, его указы были отменены, изгнанники были возвращены из ссылки, а при мягком правлении Нервы невинно пострадавшим вернули их общественное положение и состояние и даже действительно виновные или получили помилование, или избавились от наказаний.

Плиний о христианах

Почти через десять лет, в царствование Траяна, Плиний Младший был возведен своим другом и повелителем в звание правителя Вифинии и Понта. Он скоро пришел в недоумение насчет того, какими правилами справедливости или какими законами должен он руководствоваться при исполнении обязанностей, совершенно несовместимых с его человеколюбием. Плиний ни разу не присутствовал при судебном разбирательстве обвинений против христиан и даже, кажется, никогда не слышал их имен; он не имел никакого понятия ни о характере их виновности, ни о системе их учения, ни о степени заслуженного ими наказания. В этом затруднительном положении он прибегнул в своему обычному средству: он представил на усмотрение Траяна беспристрастное и в некоторых отношениях благоприятное описание нового суеверия и просил разрешить его недоумения и научить его, как поступать. Плиний провел свою жизнь в приобретении познаний и в деловых занятиях. С девятнадцатилетнего возраста он уже отличался искусной защитой тяжб в римских судах; впоследствии он был членом сената, был облечен отличиями консульского звания и поддерживал многочисленные дружеские связи с людьми всяких званий как в Италии, так и в провинциях. Поэтому из его совершенного незнакомства с существованием христианства можно извлечь некоторые полезные указания, и мы можем сделать следующие выводы: что в то время, когда он принял на себя управление Вифинией, еще не было ни общих законов, ни сенатских декретов, направленных против христиан; что ни сам Траян, ни кто-либо из его добродетельных предшественников, эдикты которых вошли в гражданское и уголовное судопроизводство, не объявляли публично своих намерений по отношению к новой секте и что, каковы бы ни были меры, принимавшиеся против христиан, они не имели такого веса и авторитета, чтобы могли служить прецедентом для руководства римских правителей.

Ответ, который был дан Траяном и на который впоследствии так часто ссылались христиане, обнаруживает такое уважение к справедливости и такое человеколюбие, какое только могло совмещаться с ошибочным взглядом этого императора на дела религиозного управления. Вместо того чтобы обнаружить неукротимое рвение инквизитора, тщательно отыскивающего малей-

шие признаки ереси и радующегося многочисленности погубленных им жертв, император обнаруживает гораздо более заботливости о том, чтобы не пострадали невинные, нежели о том, чтобы не избежали наказания виновные. Он признает, что очень трудно установить общий план действий; но он устанавливает два благотворных правила, в которых угнетенные христиане часто находили для себя утешение и опору. Хотя он и предписывает должностным лицам наказывать тех, кто признан виновным на основании законов, он впадает в противоречие с самим собой, когда из чувства человеколюбия запрещает им производить какие-либо расследования о тех, кто навлек на себя подозрение в преступном деянии; он также не позволяет чинить преследования без разбора по всяким доносам. Император отвергает анонимные доносы как несогласные со справедливостью его управления и требует, чтобы для осуждения людей, провинившихся в том, что они христиане, были налицо положительные доказательства, представленные явным и публичным обвинителем. Тот, кто брал на себя эту ненавистную роль, вероятно, был обязан объяснить основания своих подозрений, назвать время и место тайных собраний, посещавшихся их христианскими противниками, и вывести наружу множество таких подробностей, которые скрывались от глаз неверующих с самой бдительной заботливостью. Если их обвинение судебным порядком оказывалось успешным, они навлекали на себя ненависть значительной и деятельной партии, порицание со стороны более просвещенной части общества и тот позор, который во все века и во всех странах падал на доносчиков. Если же, напротив того, их доказательства оказывались недостаточными, они подвергались строгому наказанию и, может быть, даже смертной казни в силу изданного императором Адрианом закона против тех, кто ложно обвинял своих сограждан в принадлежности к христианству. Конечно, личная ненависть и основанная на суеверии вражда могли иногда заглушать самые естественные опасения беды и позора; но невозможно допустить, чтобы языческие подданные Римской империи охотно и часто бросали обвинения при таких неблагоприятных для них условиях.

Способы, к которым прибегали враги христиан, чтобы уклониться от благоразумных требований закона, служат достаточным доказательством того, что этот закон действительно обезоруживал личную злобу и суеверное усердие; но страх и стыд, которые так сильно сдерживают увлечения отдельных личностей, утрачивают большую часть своего влияния в многочисленных и шумных собраниях. Благочестивые христиане, — желали ли они достигнуть славы мученичества или желали избежать ее, — ожидали или с нетерпением, или ужасом возобновлявшихся в установленные сроки общественных игр и празднеств. В эти дни жители больших городов империи собирались в цирках или театрах, где все представлявшиеся их глазам предметы и все совершавшиеся обряды разжигали в них чувство благочестия и заглушали чувство человеколюбия. В то время как многочисленные зрители, украсив свои головы венками, надушившись фимиамом и очистившись кровью жертв, предавались среди алтарей и статуй своих богов-заступников наслаждению такими удовольствиями, на которые они смотрели как на существенную часть своего культа, они вспоминали, что только одни христиане ненавидят богов человеческого рода и своим отсутствием или своим мрачным видом как будто издеваются над общим счастьем или оплакивают его. Если империю постигло какое-нибудь общественное бедствие, моровая язва, голод или неудачная война; если Тибр вышел из своих берегов, а Нил еще нет; если произошло

землетрясение или было нарушено правильное течение времен года, — суеверные язычники были убеждены, что это божеское наказание вызвано преступлениями и нечестием христиан, которых щадила чрезмерная снисходительность правительства. Конечно, не от буйной и раздраженной черни можно было бы ожидать соблюдения форм легальной процедуры и не в амфитеатре, обогренном кровью диких зверей и гладиаторов, можно было бы услышать голос сострадания. Нетерпеливые возгласы народной толпы называли христиан врагами и богов, и людей, обрекали их на самые ужасные мучения и, осмеливаясь обвинять поименно некоторых из самых выдающихся приверженцев новой секты, повелительно требовали, чтобы они немедленно были схвачены и брошены на съедение львам. Губернаторы провинций и должностные лица, председательствовавшие на публичных зрелищах, обыкновенно были склонны удовлетворять желания народа и укрощать его ярость принесением в жертву нескольких ненавистных ему людей. Но мудрость императоров охраняла церковь от этих буйных требований и противозаконных обвинений, которые она справедливо считала несовместимыми с твердостью и справедливостью императорского управления. Эдикты Адриана и Антонина Пия заявляли, что голос народной толпы никогда не будет принят за легальное основание для осуждения или наказания тех несчастных людей, которые увлеклись энтузиазмом христиан.

Наказание не было неизбежным последствием обвинительного приговора, и, когда виновность христианина была самым очевидным образом доказана свидетельскими показаниями или даже собственным признанием, все-таки в его власти оставался выбор между жизнью и смертью. Судью приводило в негодование не столько прошлое преступление, сколько обнаруженное в его присутствии упорство. Он был убежден, что дает обвиняемому легкий способ избежать наказания, так как последний мог освободиться от суда и даже вызвать общее одобрение, если только соглашался бросить на алтарь несколько кусочков ладана. Считалось, что человеколюбивый судья обязан скорее исправлять, чем наказывать этих впавших в заблуждение энтузиастов. Изменяя свой тон сообразно с возрастом, полом или общественным положением обвиняемых, он нередко снисходил до того, что рисовал перед их глазами все, что есть самого привлекательного в жизни и самого ужасного в смерти, и просил, даже умолял их быть хоть сколько-нибудь сострадательными к самим себе, к своим семействам и своим друзьям. Если угрозы и убеждения оказывались недействительными, он нередко прибегал к насилию; тогда бичевание и пытка восполняли несостоятельность аргументов, и самые жестокие истязания употреблялись в дело с целью сломить столь непреклонное и, как думали язычники, столь преступное упорство. Древние защитники христианства с большим основанием и такой же строгостью порицали неправильный образ действий гонителей, допускавших наперекор всем принципам судопроизводства употребление пытки с целью добиться не признания, а отрицания того преступления, которое было предметом их расследования. Монахи последующих веков, занимавшиеся в своих мирных уединениях тем, что разнообразили смерть и страдания первых христианских мучеников, нередко изобретали гораздо более утонченные и замысловатые истязания. Они, между прочим, уверяли, будто римские судьи, пренебрегая всеми требованиями нравственности и общественных приличий, старались вовлечь в соблазн тех, кого они не были в состоянии подчинить своей воле, и что по их приказанию совершались самые грубые насилия над теми, кто не

подавался соблазну. Рассказывали, что благочестивые женщины, готовые умереть за свою веру, иногда подвергались более тяжелому испытанию: им предоставлялось решить, что ценят они дороже, — свою религию или свое целомудрие. Судья поощрял молодых людей к любовному уходу за ними и обращался к этим орудиям своего насилия с формальным приглашением употребить самые настоятельные усилия, чтобы охранять честь Венеры от этих неблагочестивых девственниц, отказывающихся возжигать фимиам перед ее алтарем. Впрочем, эти пытки обыкновенно оказывались безуспешными, и своевременное вмешательство какой-нибудь чудотворной силы предохраняло целомудренных жен Христа от позора даже невольного унижения. Мы не можем, однако, не заметить, что самые древние и самые достоверные письменные памятники христианской церкви редко обезображиваются такими нелепыми и непристойными вымыслами.

Совершенное пренебрежение к истине и к правдоподобию, замечаемое в описании этих первых мученичеств, было результатом одного весьма естественного заблуждения. Церковные писатели четвертого и пятого столетий приписывали римским судьям такое же безжалостное и непреклонное религиозное рвение, каким были наполнены их собственные сердца в борьбе с еретиками и идолопоклонниками их времени. Нет ничего неправдоподобного в том, что между лицами, занимавшими высшие должности в империи, были такие, которые впитали в себя предрассудки народной толпы, и были такие, которые прибегали к жестоким мерам из алчности или из личной неприязни. Но положительно известно, — и в этом случае мы можем сослаться на признательные заявления первых христиан, — что должностные лица, которые управляли провинциями от имени императоров или сената и которым вверено было исключительное право суда над уголовными преступниками, большей частью вели себя как люди благовоспитанные и образованные, уважающие требования справедливости и знакомые с принципами философии. Нередко случалось, что они отклоняли от себя отвратительную роль гонителей, с презрением отвергали обвинение или научали подсудимых христиан какой-нибудь легальной увертке, с помощью которой можно было избежать строгости законов. Всякий раз, когда они бывали облечены неограниченной властью, они употребляли ее не столько на угнетение, сколько на облегчение и пользу страждущей церкви. Они были далеки от того, чтобы приговаривать к наказанию всякого христианина, уличенного в упорной привязанности к новому суеверию. Большей частью ограничиваясь менее жестокими наказаниями, — тюремным заключением, ссылкой или невольнической работой в рудниках, — они оставляли несчастным жертвам своего правосудия некоторую надежду, что какое-нибудь счастливое событие — восшествие нового императора на престол, его вступление в брак или военный триумф — возвратят им путем всеобщей амнистии их прежнее положение. Те мученики, которых римские судьи обрекали на немедленную казнь, кажется, выбирались из двух самых противоположных разрядов обвиняемых. Это были епископы и пресвитеры, то есть такие люди, которые были самыми выдающимися между христианами по своему положению и влиянию, и примерное наказание которых могло наводить ужас на всю секту, или это были самые низкие и самые презренные члены секты, в особенности рабы, так как их жизнь ценилась очень низко, а на их страдания древние смотрели с чрезмерным равнодушием. Ученый Ориген, который был хорошо знаком с историей христиан и по опыту и из книг, объявляет в самых положительных выражениях, что число мучеников было очень незначительным. Одно

его авторитета достаточно для того, чтобы уничтожить громадную армию тех мучеников, чьи мощи извлекались большей частью из римских катакомб для наполнения стольких церквей и чьи чудесные деяния служили сюжетом для стольких томов священных рассказов. Впрочем, это утверждение Оригена объясняется и подтверждается свидетельством его друга Дионисия, который, живя в огромном городе Александрии во время жестоких преследований Деция, насчитал только десять мужчин и семь женщин, пострадавших за то, что исповедовали христианскую религию.

Во время того же самого периода гонений усердный, красноречивый и честолюбивый Киприан управлял церковью не только в Карфагене, но и во всей Африке. Он обладал всеми теми качествами, которые могли внушать верующим уважение и возбуждать в языческих правителях подозрительность и неприязнь. И его характер, и его положение, по-видимому, указывали на святого прелата как на самый достойный предмет зависти и преследования. Однако жизнь Киприана служит достаточным доказательством того, что наша фантазия преувеличила трудности положения христианских епископов и что опасности, которым они подвергались, были менее неизбежны, чем те, с которыми всегда готов бороться честолюбец, преследующий мирские цели. Четыре римских императора вместе со своими семействами, фаворитами и приверженцами пали под ударами меча в течение тех десяти лет, во время которых епископ Карфагенский руководил с помощью своего влияния и красноречия делами африканской церкви. Только на третьем году своего правления он имел в течение нескольких месяцев основание опасаться строгих эдиктов Деция, бдительности судей и криков народной толпы, настоятельно требовавшей, чтобы вождь христиан Киприан был отдан на съедение львам. Благоразумие требовало, чтобы он на время удалился, и он внял его голосу. Он нашел приют в уединенном убежище, из которого мог поддерживать постоянную переписку с карфагенским духовенством и верующими; таким образом укрывшись от грозы, пока она не прошла, он сохранил свою жизнь, не утратив ни своей власти, ни своей репутации. Впрочем, эта чрезмерная осторожность навлекла на него порицания и со стороны самых суровых христиан, и со стороны его личных врагов; первые укоряли его, а вторые оскорбляли за такое поведение, которое было в их глазах малодушием и преступным уклонением от самых священных обязанностей. Он ссыался в свое оправдание на желание сохранить себя для будущего служения церкви на примере нескольких святых епископов и на внушения свыше, которые, по его словам, он часто получал во время своих видений и экстазов. Но самым лучшим для него оправданием может служить то мужество, с которым через восемь лет он отдал свою жизнь в защиту религии. Достоверная история его мученичества была написана с редкой добросовестностью и беспристрастием. Поэтому краткое изложение заключающихся в ней самых важных подробностей даст нам самое ясное понятие о духе и формах римских гонений.

В то время как Валериан был консулом в третий раз, а Галлиен в четвертый, Киприан получил от африканского проконсула Патерна приказание явиться в залу его тайного совета. Там проконсул сообщил ему только что полученное императорское повеление, которое предписывало всем покинувшим римскую религию немедленно возвратиться к исполнению обрядов, установленных их предками. Киприан без колебания возразил, что он христианин и епископ, посвятивший себя служению истинному и единому Богу,

к которому он ежедневно обращается с молитвами о безопасности и благоденствии обоих императоров, своих законных государей. Он со скромной уверенностью сослался на привилегии гражданина в оправдание своего отказа отвечать на некоторые коварные и действительно не дозволенные законом вопросы, с которыми обратился к нему проконсул. В наказание за свое неповиновение Киприан был присужден к ссылке и немедленно был отправлен в Курубис — свободный приморский город Зевгитании, находившийся в приятной местности и на плодородной территории, на расстоянии почти сорока миль от Карфагена. Изгнанный епископ наслаждался там удобствами жизни и сознанием, что исполнил свой долг.

Слава о нем распространилась по Африке и Италии, рассказ о его поведении был опубликован для назидания всех христиан, а его уединение часто прерывалось письмами, посещениями и поздравлениями верующих. С прибытием в провинцию нового проконсула положение Киприана, по-видимому, сделалось на некоторое время еще более сносным. Он был вызван из ссылки, и, хотя ему еще не позволили возвратиться в Карфаген, ему были назначены местом пребывания его собственные сады, находившиеся в недалеком расстоянии от столицы.

Наконец, ровно через год после того, как Киприан был задержан в первый раз, африканский проконсул Галерий Максим получил от императора приказание казнить тех, кто проповедовал христианское учение. Епископ Карфагенский понимал, что он будет одной из первых жертв, и по свойственной человеческой природе слабости попытался спастись бегством от опасности и чести погибнуть мученической смертью; но он скоро воодушевился тем мужеством, какое было прилично его положению, возвратился в свои сады и стал спокойно ожидать исполнителей казни. Два офицера высшего ранга, на которых было возложено это поручение, поместили Киприана на колеснице промеж их обоих и, так как проконсул был в ту минуту чем-то занят, отвезли его не в тюрьму, а в один частный дом в Карфаген, принадлежавший одному из них. Епископу был подан изящный ужин, и его христианским друзьям было дозволено насладиться в последний раз его беседой; в это время улицы были наполнены множеством верующих, встревоженных опасениями за участь, ожидавшую их духовного отца. Утром он предстал перед трибуналом проконсула, который, осведомившись об имени и положении Киприана, приказал ему совершить жертвоприношение и настоятельно убеждал его размыслить о последствиях его неповиновения. Отказ Киприана был тверд и решителен; тогда судья, справившись с мнением состоявшего при нем совета, произнес с некоторой неохотой смертный приговор, который был изложен в следующих выражениях: «Фасций Киприан будет немедленно обезглавлен как враг римских богов и как начальник и зачинщик преступной ассоциации, которую он вовлек в нечестивое неповиновение законам священных императоров Валериана и Галлиена». Способ казни был такой мягкий и немучительный, какому только можно было подвергать человека, уличенного в уголовном преступлении, и епископа Карфагенского не подвергали пытке, чтобы вынудить от него отречение от его принципов или указание на его сообщников.

Лишь только приговор был объявлен, между столпившимися у входа в здание суда христианами раздался крик: «Мы хотим умереть вместе с ним!». Их великодушные изъявления усердия и преданности не принесли никакой пользы Киприану, но и не причинили никакого вреда им са-

мим. Он был отведен под охраной трибунов и центурионов без сопротивления и без оскорблений к месту казни, находившемуся на обширной и гладкой равнине около города и уже покрытому множеством зрителей. Его верным пресвитерам и дьяконам было дозволено сопровождать их святого епископа. Они помогли ему снять его облачение, разложили на земле белое, чтобы собрать драгоценные капли его крови, и получили от него приказание выдать палачу двадцать пять золотых монет. Тогда мученик закрыл руками свое лицо, и его голова была отделена одним ударом от туловища. Его труп был в течение нескольких часов оставлен на месте казни для удовлетворения любопытства язычников, а потом был перенесен на христианское кладбище с триумфальной процессией и иллюминацией. Похороны Киприана были совершены публично без всякой помехи со стороны римских должностных лиц, а те из числа верующих, которые отдали этот последний долг его заслугам и его памяти, не подверглись ни преследованиям, ни наказаниям. Достоин внимания тот факт, что из множества находившихся в африканской провинции епископов Киприан был прежде всех признан достойным мученического венца.

Рвение первых христиан

Свойственная нашему времени сдержанная осмотрительность готова скорее хулить, чем превозносить, и скорее превозносить, чем принимать за образец рвение тех первых христиан, которые, по живописному выражению Сульпиция Севера, искали мученичества с большей настойчивостью, чем его собственные современники добивались епископских должностей. Письма, которые писал Игнатий, в то время как его владели в цепях по городам Азии, дышат такими чувствами, которые совершенно противоположны обыкновенным чувствам, свойственным человеческой натуре. Он настоятельно упрашивает римлян, чтобы в то время когда он будет выставлен в амфитеатре, они не лишили его венца славы своим добросердечным, но неуместным заступничеством, и объявляет о своей решимости возбуждать и раздражать диких зверей, которые будут орудиями его смертной казни. До нас дошло несколько рассказов о неустрашимости мучеников, которые исполнили на самом деле то, что намеревался делать Игнатий, которые приводили львов в ярость, торопили палачей в исполнении их обязанности, охотно бросались в огонь, разведенный для их сожжения, и выражали чувства радости и удовольствия среди самых ужасных страданий. Были также примеры такого усердия, которое не выносило преград, поставленных императорами для охранения церкви. Случалось, что христиане восполняли отсутствие обвинителя добровольными признаниями, грубо прерывали общественное богослужение идолопоклонников и, собираясь толпами вокруг судейского трибунала, требовали обвинительного приговора и установленного законом наказания. Поведение христиан было так замечательно, что не могло не обратить на себя внимания древних философов, но они, кажется, смотрели на него не столько с восторгом, сколько с удивлением. Так как они не были способны уяснить себе мотивы, иногда увлекавшие множество верующих за пределы осторожности и благоразумия, то они считали такое пылкое желание смерти за странный результат упорного отчаяния, бессмысленной апатии или суеверного безумия. «Несчастные люди! — восклицал проконсул Антонин, обращаясь к азиатским христианам, — если вам так надоела жизнь, разве вам трудно найти веревку или пропасть?» Он (как это заметил один ученый и благочестивый историк) с чрезвычайной осмотрительностью подвергал наказаниям людей,

у которых не было других обвинителей, кроме их самих, так как императорскими законами не был предусмотрен такой необыкновенный случай; поэтому он произносил обвинительные приговоры лишь над немногими для предостережения их единоверцев, а остальных освобождал от суда с негодованием и презрением. Несмотря на это искреннее или притворное пренебрежение, неустрашимая твердость верующих производила благотворное впечатление на умы тех, кого природа или благодать предрасполагала к принятию религиозной истины. Случалось, что язычники, присутствовавшие на тех печальных зрелищах, чувствовали сострадание или приходили в восторг и затем обращались в христианскую веру. Благородный энтузиазм сообщался от страдальцев к зрителям, и кровь мучеников, по хорошо всем известному выражению одного наблюдателя, обращалась в семена христианства.

Но хотя благочестие превозносило эту душевную горячку, а красноречие постоянно возбуждало ее, она стала постепенно уступать место более свойственным человеческому сердцу чувствам надежды и страха, привязанности к жизни, опасению физических страданий и отвращению к смерти. Самые благоразумные правители церкви были вынуждены сдерживать нескромную горячность своих приверженцев и не доверять твердости, слишком часто изменявшей им в минуты тяжелых испытаний. Когда верующие стали реже умерщвлять свою плоть и стали вести менее суровый образ жизни, в них стало с каждым днем ослабевать честолюбивое влечение к почестям мученичества, и Христовы воины, вместо того чтобы отличаться добровольными героическими подвигами, стали часто покидать свой пост и обращаться в беспорядочное бегство перед врагом, сопротивляться которому они были обязаны. Впрочем, можно было спастись от гонений тремя способами, преступность которых не была одинакова: первый способ вообще признавался совершенно невинным, второй — был сомнительного характера, или, по меньшей мере, не был непростителен; но третий — предполагал прямое и преступное отречение от христианской веры.

I. Инквизиторы новейших времен пришли бы в удивление, если бы узнали, что всякий раз, как римский судья получал донос на кого-либо перешедшего в христианскую секту, содержание обвинения сообщалось обвиняемому и последнему давалось достаточно времени, чтобы привести в порядок свои домашние дела и приготовить ответ на взводимое на него преступление. Если он питал малейшее недоверие к своей собственной твердости, эта отсрочка давала ему возможность сохранить свою жизнь и свою честь посредством бегства, давала ему возможность удалиться в какое-нибудь тайное убежище или в какую-нибудь дальнюю провинцию и там терпеливо выжидать восстановления спокойствия и безопасности. Мера, столь согласная с требованиями благоразумия, скоро была одобрена и поучениями, и примером самых святых прелатов, и, как кажется, ее порицали лишь немногие, если не считать монтанистов, которые были вовлечены в ересь своей суровой и упорной привязанностью к строгостям старой дисциплины.

II. Те губернаторы провинций, в которых алчность пересиливала чувство долга, ввели в обыкновение продажу свидетельств (называвшихся *libellus*), удостоверявших, что названное в них лицо подчинялось требованиям закона и принесло жертву римским богам. С помощью этих ложных удостоверений богатые и трусливые христиане могли заглушать злобные наветы доносчиков и в некоторой мере примирять свою безопасность со своей религией. Легкая эпитимья заглаживала это нечестивое лицемерие.

III. При всех гонениях оказывалось множество недостойных христиан, публично отвергавших или покидавших свою веру и подтверждавших искренность своего отречения каким-нибудь легальным актом — тем, что жгли фимиам, или тем, что совершали жертвоприношение. Некоторые из этих вероотступников покорялись при первой угрозе или при первом увещании судьи, а терпеливость некоторых других одолевалась посредством продолжительных и не раз возобновлявшихся пыток. Последние приближались к алтарям богов с трепетом, в котором сказывались угрызения совести, а первые подходили с уверенностью и бодростью. Но личина, надетая из страха, спадала, лишь только проходила опасность. Когда строгость гонителей ослабевала, двери церквей осаждались массой кающихся грешников, которые с отвращением помышляли о своем идолопоклонническом смирении и молили с одинаковой настойчивостью, но с разным успехом о принятии их вновь в общество христиан.

IV. Хотя и были установлены общие правила для суда и наказания христиан, участь этих сектантов при обширной и произвольной системе управления должна была в значительной мере зависеть от их собственного поведения, от условий, времени и характера их высших и низших правителей. Усердие могло усиливать суеверную ярость язычников, а благоразумие могло обезоруживать ее или смягчать. Множество разнообразных мотивов заставляли губернаторов провинций или усиливать, или ослаблять применение законов, и самым сильным из этих мотивов было их желание сообразоваться не только с публичными эдиктами, но и с тайными намерениями императоров, одного взгляда которых было достаточно, чтобы раздуть или погасить пламя преследования. Всякий раз, как в какой-либо части империи принимались против них строгие меры, первые христиане оплакивали и, может быть, преувеличивали свои страдания; но знаменитое число десяти гонений было установлено церковными писателями пятого столетия, которые имели более полное понятие и об успехах, и о бедствиях церкви со времен Нерона до времен Диоклетиана. Это вычисление было им внушено замысловатым сравнением с десятью египетскими язвами и с десятью рогами Апокалипсиса, а применяя внушенную пророчествами веру к исторической истине, они тщательно выбирали те царствования, которые действительно были самыми пагубными для христиан. Но эти временные гонения лишь разжигали усердие верующих и укрепляли среди них дисциплину, а времена чрезвычайных строгостей вознаграждались гораздо более продолжительными промежутками спокойствия и безопасности. Одни императоры из равнодушия, а другие из снисходительности позволяли христианам пользоваться хотя и не легальной, но зато действительной и публичной терпимостью их религии.

Эдикты Тиберия и Марка Антонина

Апология Тертуллиана включает в себя два очень древних, очень странных и в то же время очень сомнительных примера императорского милосердия, а именно: эдикты, изданные Тиберием и Марком Антонином и имевшие целью не только охранять невинность христиан, но даже опубликовать те поразительные чудеса, которыми засвидетельствована истина их учения. Первый из этих примеров представляет некоторые затруднения, способные привести скептика в недоумение. Нас хотят уверить, что Понтий Пилат уведомил императора о несправедливом смертном приговоре, который был им произнесен над невинной и, по-видимому, божественной личностью, что, не приобретая заслуги му-

ченичества, он подвергал сам себя его опасностям; что Тиберий, выразивший презрение ко всяким религиям, немедленно возымел намерение поместить иудейского Мессию среди римских богов; что его раболепный сенат осмелился не исполнить приказания своего повелителя; что Тиберий вместо того чтобы обидеться этим отказом, удовольствовался тем, что оградил церковь от строгости законов за много лет перед тем, как эти законы были изданы, и прежде, нежели церковь успела получить особое название и самостоятельное существование; и наконец, что воспоминание об этом необыкновенном происшествии сохранилось в публичных и самых достоверных регистрах, которые ускользнули от внимания греческих и римских историков и сделались известны лишь африканскому христианину, писавшему свою апологию через сто шестьдесят лет после смерти Тиберия. Эдикт Марка Антонина будто бы был результатом его уважения и признательности за то, что он чудесным образом спасся во время войны с маркоманами. Бедственное положение легионов, буря, кстати разразившаяся дождем и градом, громом и молнией, страх и поражение варваров — все это было прославлено красноречием нескольких языческих писателей. Если в этой армии были христиане, то они придавали некоторое значение горячим молитвам, которые они воссылали в минуту опасности и о своем собственном спасении, и о спасении всех остальных. Но памятники из бронзы и мрамора, императорские медали и колонна Антонина также уверяют нас, что ни монарх, ни народ не сознавали такой важной услуги, так как они единогласно приписывали свое спасение промыслу Юпитера и заступничеству Меркурия. В течение всего своего царствования Марк презирал христиан как философ и наказывал их как государь.

По какой-то странной игре случая, угнетения, которые они выносили под управлением добродетельного монарха, немедленно прекратились с восшествием на престол тирана, и как никто, кроме них, не пострадал от несправедливости Марка, так никто, кроме них, не нашел себе охраны в снисходительности Коммода. Знаменитая Марция, которая была его любимой наложницей, а в конце концов способствовала умерщвлению своего царственного любовника, питала странную склонность к угнетаемой церкви, и хотя она, конечно, не могла бы согласовать свою порочную жизнь с принципами Евангелия, однако, могла надеяться искупить слабости своего пола и своей профессии тем, что объявила себя покровительницей христиан. Под благосклонным заступничеством Марции они провели в безопасности тринадцать лет жестокой тирании, а когда императорская власть перешла в род Севера, они завели семейную и более уважительную связь с новым двором. Император был убежден, что во время опасной болезни ему принес некоторую пользу — духовную или физическую — святой елей, которым его помазал один из его рабов. Он всегда относился с особым отличием к некоторым лицам обоего пола, принявшим новую религию. И кормилица Каракаллы, и его наставник были из христиан, и, если этому юному монарху однажды случилось выразить чувство человеколюбия, поводом для этого послужило обстоятельство, ничтожное само по себе, но имевшее некоторую связь с христианством. В царствование Севера неистовства черни были обузданы, суровость старых законов была на некоторое время отложена в сторону и губернаторы провинций довольствовались тем, что находившиеся в их ведомстве церкви ежегодно делали им подарки в уплату или в награду за их умеренность. Споры о том, когда именно следует праздновать Пасху, настроившие азиатских и итальянских епископов друг против друга, считались за самое важ-

ное из всех дел, возникавших в этот период отдыха и спокойствия. И до тех пор не было нарушено внутреннее спокойствие церкви, пока все увеличивавшееся число новообращенных не обратило на себя внимания Севера и не внушило ему нерасположения к христианам. Для того чтобы приостановить распространение христианства, он издал декрет, который хотя и был направлен против одних новообращенных, но не мог быть в точности приводим в исполнение без того, чтобы не подвергать опасности и наказаниям самых усердных из христианских наставников и миссионеров. В этой смягченной форме гонения мы усматриваем кроткий дух Рима и политеизма, охотно допускавший всякое облегчение в пользу тех, кто придерживался религиозных обрядов своих предков.

Но законы, изданные Севером, скоро исчезли вместе с властью этого императора, и вслед за этой случайной бурей настало для христиан тридцативосьмилетнее спокойствие. До этого времени они обыкновенно собирались в частных домах и уединенных местах, а теперь им позволили воздвигать и освящать здания, приспособленные для богослужения, покупать, даже в самом Риме, земли для общественного пользования и публично выбирать церковных должностных лиц, причем они вели себя таким примерным образом, что даже обратили на себя почтительное внимание язычников. Во время этого продолжительного спокойствия церковь держала себя с достоинством. Царствования тех монархов, которые были родом из азиатских провинций, оказались самыми благоприятными для христиан; выдающиеся представители секты, вместо того чтобы вымаливать покровительство рабов и налогоплательщиков, допускались во дворец в качестве священнослужителей и философов, а их таинственное учение, уже успевшее распространиться в народе, постепенно привлекло к себе внимание их монарха.

Среди частых переворотов, потрясавших империю, христиане не переставали процветать в мире и благоденствии, и, несмотря на знаменитую эру мученичества, начало которой ведут с восшествия на престол Диоклетиана, новая система управления, введенная и поддержанная мудростью этого монарха, отличалась мягким и самым либеральным духом религиозной терпимости в продолжение более восемнадцати лет. Ум самого Диоклетиана был менее годен для спекулятивных исследований, нежели для деятельных занятий войной и управлением. Его осмотрительность внушала ему нерасположение к каким бы то ни было обширным нововведениям, и хотя по своему характеру он был мало доступен религиозному рвению или энтузиазму, он всегда поддерживал установленное обычаями уважение к древним божествам империи. Но две императрицы, его жена Приска и дочь Валерия, имели более свободного времени для того, чтобы вникнуть с большим вниманием и уважением в истины христианства, которое во все века признавало важность услуг, оказанных ему женским благочестием. Главные внуки Лукиан и Дорофей, Горгоний и Андрей, состоявшие при Диоклетиане, пользовавшиеся его милостивым расположением и заведовавшие его домашним хозяйством, охраняли своим могущественным влиянием принятую ими веру. Их примеру следовали многие из самых важных дворцовых офицеров, которые сообразно с обязанностями своей должности заведовали или императорскими украшениями, или гардеробом, или экипажами, или драгоценнейшими камнями, или даже личной казной; хотя им иногда и приходилось сопровождать императора, отправлявшегося в храм для жертвоприношений, они пользовались вместе со своими женами, детьми и рабами свободным исповедованием христианской

религии. Диоклетиан и его соправители нередко возлагали самые важные должности на тех, кто выказывал отвращение к поклонению богам, но по своим дарованиям мог быть полезным слугой государства. Епископы занимали в своих провинциях почетное положение, и не только народ, но даже должностные лица оказывали им отличия и уважение. Почти в каждом городе старые церкви оказывались слишком тесными для постоянно возраставшего числа новообращенных, и вместо них были выстроены для публичного богослужения верующих более великолепные и более просторные здания. Развращение нравов и принципов, на которые так сильно жаловался Евсевий, может считаться не только последствием, но и доказательством свободы, которой пользовались и которой злоупотребляли христиане в царствование Диоклетиана. Благоденствие ослабило узы дисциплины. Во всех конгрегациях господствовали обман, зависть и злоба. Пресвитеры добивались епископского звания, которое становилось с каждым днем все более достойным их честолюбия. Епископы спорили между собой из-за первенства, и по их образу действий можно было заключить, что они стремились к захвату светской и тиранической власти над церковью, а живая вера, все еще отличавшая христиан от язычников, отражалась не столько в их образе жизни, сколько в их полемических сочинениях.

Несмотря на эту кажущуюся безопасность, внимательный наблюдатель мог бы подметить некоторые симптомы, грозившие церкви более жестоким гонением, чем какие-либо из тех, которым она подвергалась прежде. Усердие и быстрые успехи христиан пробудили язычников из их беспечного равнодушия к интересам тех богов, которых они научились чтить и по привычке, и по воспитанию. Оскорбления, которые сыпались с обеих сторон во время религиозной борьбы, длившейся уже более двухсот лет, довели до ожесточения взаимную ненависть борющихся партий. Язычники были раздражены смелостью новой и ничтожной секты, позволявшей себе обвинять их соотечественников в заблуждении и обрекать их предков на вечные мучения. Привычка защищать народную мифологию от оскорблений неумолимого противника возбудила в их душе преданность и уважение к той системе, к которой они привыкли относиться с самым беспечным легкомыслием. Сверхъестественные способности, которые приписывала себе церковь, возбуждали и ужас, и соревнование. Приверженцы установленной религии также устроили себе оплот из чудес, стали придумывать новые способы жертвоприношений, очищений и посвящений, попытались восстановить кредит своих издыхавших оракулов и с жадным легковерием внимали всякому обманщику, льстившему их предрассудкам диковинными рассказами. Каждая сторона, по-видимому, признавала истину чудес, на которые заявляли притязание ее противники, а в то время как обе они довольствовались тем, что приписывали эти чудеса искусству чародейства или дьявольской силе, они общими силами способствовали восстановлению и упрочению господства суеверия. Самый опасный его враг — философия — обратилась в самого полезного для него союзника. Рощи Академии, сады Эпикура и даже портик Стоиков были почти совершенно покинуты, потому что считались школами скептицизма или нечестия, и многие из римлян желали, чтобы сочинения Цицерона были осуждены и уничтожены властью сената. Самая влиятельная из философских сект — неоплатоники — вступили из предосторожности в союз с языческим духовенством, которое они, быть может, презирали, для того чтобы действовать сообща против христиан, которые внушали им основательные опасения. Эти

философы, бывшие в ту пору в моде, задались целью извлечь аллегорическую мудрость из вымыслов греческих поэтов; они ввели таинственные обряды благочестия для своих избранных учеников, рекомендовали поклонение прежним богам как эмблемам или служителям Верховного Божества и сочинили против веры в Евангелие много тщательно обработанных трактатов, которые впоследствии были преданы пламени предусмотрительными православными императорами.

Хотя Диоклетиан из политических соображений, а Констанций из честолюбия были расположены не нарушать принципов веротерпимости, скоро стало ясно, что их два соправителя, Максимиан и Галерий, питают самое непреодолимое отвращение к имени и религии христиан. Умы этих монархов никогда не были просвещены знанием, а их характеры не были смягчены воспитанием. Они были обязаны своим величием мечу, и, достигнув самого высокого положения, какое может дать фортуна, они сохранили свои солдатские и крестьянские суеверные предубеждения. В общем управлении провинциями они подчинялись законам, которые были установлены их благодетелем, но внутри своих лагерей и дворцов они часто находили удобные случаи для тайных гонений, для которых иногда служило благовидным поводом неосторожное рвение христиан. Один молодой африканец, по имени Максимилиан, будучи представлен своим родным отцом императорскому чиновнику как удовлетворяющий всем требованиям закона для поступления на военную службу, упорно настаивал на том, что его совесть не позволяет ему заниматься военным ремеслом, и был за это казнен. Едва ли найдется такое правительство, которое оставило бы безнаказанным поступок центуриона Марцелла. Во время одного публичного празднества этот офицер, бросив в сторону свою перевязь, свое оружие и знаки своего звания, объявил во всеуслышание, что он впредь не будет повиноваться никому, кроме вечно-го царя Иисуса Христа, и что он навсегда отказывается от употребления светского оружия и от служения языческому повелителю. Лишь только солдаты пришли в себя от изумления, они тотчас арестовали Марцелла. Он был подвергнут допросу в городе Тинжи президентом этой части Мавритании, и так как он был уличен своим собственным признанием, то был осужден и обезглавлен за дезертирство. Случаи этого рода служат свидетельством не столько религиозных гонений, сколько применением военных или даже гражданских законов; но они настраивали императоров против христиан, оправдывали строгость Галерия, удалившего многих христианских офицеров от их должностей, и поддерживали мнение, что секта энтузиастов, открыто признававшая столь несовместимые с общественной безопасностью принципы, или должна считаться бесполезной для империи, или скоро сделается для нее опасной.

Когда успешный исход персидской войны возвысил надежды и репутацию Галерия, он провел зиму вместе с Диоклетианом в его дворце в Никомедии, и судьба христиан сделалась предметом их тайных совещаний. Император как человек опытный все еще был склонен к кротким мерам, и, хотя он охотно соглашался на то, чтобы христиане не допускались на придворные и военные должности, он указывал в самых энергичных выражениях на то, что было бы опасно и жестоко проливать кровь этих ослепленных фанатиков. В конце концов Галерий вырвал у него позволение собрать совет, составленный из немногих, самых выдающихся гражданских и военных сановников империи. Им предложен был на разрешение этот важный во-

прос, и эти честолюбивые царедворцы тотчас поняли, что они должны поддерживать своим красноречием настоятельное желание Цезаря употребить в дело насилие. Следует полагать, что они настаивали на всех тех соображениях, которые затрагивали гордость, благочестие или опасения их монарха и должны были убедить его в необходимости истребить христианство. Может быть, они доказывали ему, что славное дело освобождения империи от всех ее врагов остается недоконченным, пока в самом сердце римских провинций дозволено независимому народу существовать и размножаться. Они могли в особенности настаивать на том, что христиане, отказавшись от римских богов и от римских учреждений, организовали отдельную республику, которую еще можно было бы уничтожить, пока она еще не имеет в своем распоряжении никакой военной силы; что эта республика уже управляется своими собственными законами и должностными лицами, что у нее есть общественная казна и что все ее составные части тесно связаны между собой благодаря частым собраниям епископов, декретам которых слепо подчиняются их многочисленные и богатые конгрегации. Аргументы этого рода могли повлиять на ум Диоклетиана и заставить его принять новую систему гонений; мы можем угадывать, но мы не в состоянии подробно описать секретные дворцовые интриги, личные соображения и личную вражду, зависть женщин и евнухов и вообще все те мелочные, но очень важные мотивы, которые так часто влияют на судьбу империй и на образ действий самых мудрых монархов.

Решение императоров было, наконец, объявлено христианам, которые в течение всей этой печальной зимы со страхом ожидали результата стольких тайных совещаний. День 23 февраля, совпадавший с римским праздником Терминамит, был назначен (случайно или намеренно) для того, чтобы положить предел распространению христианства. Лишь только стало рассветать, преторианский префект, сопровождаемый несколькими генералами, трибунами и чиновниками казначейства, направился к главной церкви в Никомедии, выстроенной на высоком месте в самой населенной и самой красивой части города. Взломав двери, они устремились в святилище, но они тщетно искали видимых предметов культа и должны были удовольствоваться тем, что предали пламени книги Св. Писания. Исполнителей воли Диоклетиана сопровождал многочисленный отряд гвардейцев и саперов, который шел в боевом порядке и был снабжен всякого рода инструментами, какие употребляются для разрушения укрепленных городов. Их усиленными стараниями было в несколько часов срыто до основания священное здание, возвышавшееся над императорским дворцом и долго возбуждавшее в язычниках негодование и зависть.

Первый эдикт против христиан

На следующий день был опубликован общий эдикт о гонении, и хотя Диоклетиан, все еще желавший избежать пролития крови, сдерживал ярость Галерия, предлагавшего сжигать живым всякого, кто откажется от жертвоприношений, все-таки наказания, назначавшиеся за упорство христиан, покажутся очень суровыми. Было решено, что их церкви во всех провинциях империи будут срыты до основания, а те из них, кто осмелятся устраивать тайные сборища для отправления богослужения, будут подвергаемы смертной казни. Философы, принявшие на себя в этом случае низкую обязанность руководить слепым рвением гонителей, тщательно изучили свойство

и дух христианской религии; а так как им было известно, что спекулятивные догматы веры были изложены в писаниях пророков, евангелистов и апостолов, то, вероятно, по их наущению епископам и пресвитерам было приказано передать все их священные книги в руки чиновникам, которым было предписано под страхом самых строгих наказаний публично и торжественно сжигать эти книги. Тем же самым эдиктом были конфискованы все церковные имущества; они были частью проданы с публичного торга, частью присоединены к императорским поместьям, частью розданы городам и корпорациям и частью выпрошены жадными царедворцами. После того как были приняты столь энергичные меры, чтобы уничтожить богослужение христиан и прекратить деятельность их правительственной власти, было решено подвергать самым невыносимым стеснениям положение тех непокорных, которые все еще будут отвергать религию природы, Рима и своих предков. Люди благородного происхождения были объявлены неспособными пользоваться какими-либо отличиями или занимать какие-либо должности; рабы были навсегда лишены надежды сделаться свободными, и вся масса верующих была лишена покровительства законов. Судьям было дано право принимать и решать всякого рода иски, предъявленные к христианам, но христианам было запрещено жаловаться на какие-либо обиды, которые они потерпели; таким образом, эти несчастные сектанты подвергались всем строгостям общественного правосудия, но не могли пользоваться его выгодами. Этот новый вид мученичества, столь мучительный и томительный, столь бесславный и позорный, был едва ли не самым действенным способом преодолеть упорство верующих, и нет никакого основания сомневаться в том, что в этом случае и страсти, и интересы человечества были готовы поддерживать цели императоров. Но политика благоустроенного государства неизбежно должна была по временам вступаться за угнетенных христиан, и сами римские монархи не могли совершенно устранить страх наказаний за мошенничества и насилия, не могли потакать подобным преступлениям, не подвергая самым серьезным опасностям и свой собственный авторитет, и остальных своих подданных.

Лишь только эдикт был выставлен для общего сведения на одном из самых видных мест Никомедии, какой-то христианин разорвал его и вместе с тем выразил самыми резкими бранными словами свое презрение и отвращение к столь нечестивым и тираническим правителям. Даже по самым мягким законам его преступление было государственной изменой и вело к смертной казни; если же он был знатного происхождения и человеком образованным, то эти обстоятельства могли лишь увеличить степень его виновности. Он был сожжен или, вернее сказать, изжарен медленным огнем, а его палачи, горевшие желанием отомстить за нанесенное императорам личное оскорбление, истощили над ним самые утонченные жестокости, но не могли изменить спокойной презрительной улыбки, которая не покидала его уст даже в минуты предсмертных страданий. Хотя христиане и сознавались, что его поведение не было согласовано с правилами благоразумия, однако они восхищались божественным пылом его религиозного рвения, а чрезмерные похвалы, которыми они осыпали память своего героя и мученика, наполнили душу Диоклетиана глубоким чувством ужаса и ненависти.

Его раздражение еще больше усилилось при виде опасности, от которой он едва спасся. В течение двух недель два раза горел дворец, в котором он жил в Никомедии, и даже горела его спальня, и хотя оба раза по-

жар был потушен, не причинив значительного вреда, странное повторение этого несчастья основательно считалось за очевидное доказательство того, что оно произошло не от случайности и не от небрежности. Подозрение пало на христиан, и не без некоторого основания возникло убеждение, что эти отчаянные фанатики, будучи раздражены постигшими их страданиями и опасаясь в будущем новых бедствий, вступили в заговор со своими единовверцами, дворцовыми евнухами, с целью лишить жизни обоих императоров, которых они ненавидели как непримиримых врагов церкви Божьей. Недоверие и злоба закрались в душу каждого и в особенности в душу Диоклетиана. Множество людей, выделявшихся из массы или тем, что занимали значительные должности или тем, что пользовались особыми милостями, были заключены в тюрьму. Всякого рода пытки были употреблены в дело, и как двор, так и город были запятнаны многими кровавыми казнями; но так как оказалось невозможным добиться каких-либо разъяснений этого таинственного происшествия, то нам приходится или предположить, что пострадавшие были невинны, или удивляться их твердости характера. Через несколько дней Галерий поспешно выехал из Никомедии, объявив, что, если бы он оставался дольше в этом проклятом дворце, он непременно сделался бы жертвой ненависти христиан. Церковные историки, оставившие нам лишь пристрастные и неполные сведения об этом гонении, не знают, как объяснить опасения императоров и причину опасности, которая будто бы им угрожала. Двое из этих писателей, один принц и один ритор, были очевидцами пожара в Никомедии; один из них приписывает этот пожар молнии и божескому гневу, а другой утверждает, что виновником его было коварство самого Галерия.

Так как эдикт против христиан должен был иметь силу закона для всей империи и так как Диоклетиан и Галерий были уверены в содействии западных монархов, в согласии которых на эту меру они и не нуждались, то, по нашим понятиям об администрации, следовало бы полагать, что все губернаторы получили секретные приказания обнародовать это объявление войны в подведомственных им провинциях в один и тот же день. По меньшей мере, можно думать, что удобства больших дорог и правильно устроенных почт давали императорам возможность рассылать свои приказания с самой большой скоростью из дворца в Никомедии до крайних пределов империи и что они не потерпели бы, чтобы до обнародования эдикта в Сирии протекло пятьдесят дней, а до извещения о нем городов Африки — около четырех месяцев. Это замедление, быть может, следует приписать осмотрительности Диоклетиана, который неохотно дал свое согласие на строгие меры против христиан и желал собственными глазами видеть их применение на деле, прежде чем вызывать беспорядки и неудовольствия, которые они неизбежно должны были возбудить в отдаленных провинциях. Действительно, вначале должностным лицам было запрещено проливать кровь, но им было дозволено и даже приказано употреблять всякие другие меры строгости; христиане, со своей стороны, хотя и были готовы без сопротивления отказаться от всего, что служило украшением для их церквей, но не могли решиться на то, чтобы были прекращены их религиозные собрания, и не отдавали своих священных книг на сожжение. Благочестивое упорство африканского епископа Феликса, кажется, привело в замешательство низших правительственных агентов. Городской куратор послал его в цепях к проконсулу. Проконсул переслал его к преторианскому префекту в Италию, и Феликс, который даже в своих ответах

не хотел прибегать ни к каким уловкам, был наконец обезглавлен в Венузии, в Лукании, — городе, прославившемся тем, что был родиной Горация. Этот прецедент и, может быть, также какой-нибудь изданный по этому поводу императорский рескрипт уполномочили губернаторов провинций подвергать смертной казни тех христиан, которые отказывались от выдачи своих священных книг. Не подлежит сомнению, что многие из христиан воспользовались этим случаем, чтобы удостоиться мученического венца, но между ними было много и таких, кто покупал позорную безопасность тем, что отыскивал книги Св. Писания и передавал их в руки неверующих. Даже очень многие епископы и пресвитеры приобрели путем этой преступной услужливости позорное прозвище изменников; их преступление произвело в ту пору большой скандал в недрах африканской церкви, а впоследствии сделалось источником многих раздоров.

Списки и переводы Св. Писания уже до того размножились в империи, что самые строгие розыски не могли иметь пагубных последствий, и даже уничтожение тех экземпляров, которые хранились в каждой конгрегации для общего употребления, могло произойти не иначе как при содействии каких-нибудь вероломных и недостойных христиан. Но разрушение церквей совершилось легко по распоряжению правительства и усилиями язычников. Впрочем, в некоторых провинциях правительственные власти ограничивались тем, что запирали места богослужения. Но в иных местах они исполняли требования эдикта в более буквальном смысле и, приказав вынести вон двери, скамейки и кафедру, устраивали из них нечто вроде погребального костра, предавали их пламени и затем совершенно уничтожали само здание. Полагаем, что здесь будет уместно напомнить о той весьма замечательной истории, которую рассказывали с такими разнообразными и невероятными подробностями, что она скорее возбуждает, нежели удовлетворяет наше любопытство. В одном небольшом фригийском городке, о названии и положении которого нам ничего не сообщают, и правительственные власти, и все население приняли христианскую веру, и так как можно было ожидать, что приведение эдикта в исполнение встретит сопротивление, то губернатор провинции взял себе на помощь многочисленный отряд солдат. При их приближении граждане бросились внутрь церкви с твердой решимостью или защитить оружием это священное здание, или погибнуть под его развалинами. Они с негодованием отвергли предложение и дозволение разойтись по домам; тогда раздраженные их упорством солдаты зажгли здание со всех сторон, и множество фригийцев вместе со своими женами и детьми погибли среди пламени необычайно мученической смертью. Некоторые незначительные беспорядки в Сирии и на границах Армении, подавленные почти немедленно вслед за тем, как они возникли, дали врагам церкви весьма благовидный повод утверждать, что эти волнения были тайным образом возбуждены интригами епископов, уже забывших о своих пышных изъятиях безусловной и безграничной покорности. Мстительность Диоклетиана или его опасения наконец увлекли его за пределы той умеренности, от которой он до тех пор не отклонялся, и он объявил в целом ряде бесчеловечных эдиктов о своем намерении уничтожить само имя христиан. Первым эдиктом было предписано губернаторам провинций арестовать всех, кто принадлежал к духовному званию, и назначенные для самых гнусных преступников тюрьмы скоро наполнились множеством епископов, пресвитеров, дьяконов, чтецов и заклинателей. Вторым эдиктом должностным лицам было предписано употреблять

всякие меры строгости для того, чтобы заставить христиан отказаться от их отвратительных суеверий и для того, чтобы принудить их возвратиться к служению богам. Это суровое предписание было распространено следующим эдиктом на всех христиан, которые, таким образом, подверглись жестокому и всеобщему гонению. Спасительные стеснения, требования непосредственного и формального свидетельства со стороны обвинителя были отложены в сторону, и императорские чиновники как по долгу, так и из собственного интереса стали уличать, преследовать и мучить самых упорных верующих. Тяжелые наказания грозили всякому, кто пытался спасти опального сектанта от заслуженного гнева богов и императоров. Однако, несмотря на строгость законов, многие язычники укрывали своих друзей и родственников с благородным мужеством, которое служит почтенным свидетельством того, что ярость суеверия не заглушила в их душе тех чувств, которые внушаются природой и человеколюбием.

Немедленно вслед за обнародованием своих эдиктов против христиан Диоклетиан, как будто желая передать в другие руки дело гонения, сложил с себя императорское достоинство. Его соправители и преемники сообразно со своим характером и положением то усиливали, то ослабляли исполнение этих жестоких законов, и мы тогда только получим основательное и ясное понятие об этом важном периоде церковной истории, когда рассмотрим положение христианства отдельно в различных частях империи в течение тех десяти лет, которые протекли между изданием первых эдиктов Диоклетиана и окончательным водворением спокойствия в недрах церкви.

Мягкий и человеколюбивый характер Констанция не терпел угнетения какой-либо части его подданных. Высшие должности в его дворце были заняты христианами. Он питал к ним личное расположение, уважал их за честность и не чувствовал никакого отвращения к их религиозным принципам. Но пока Констанций занимал подначальный пост Цезаря, он не был вправе открыто отвергать эдикты Диоклетиана или не исполнять приказаний Максимиана. Впрочем, он был в состоянии облегчать страдания, внушавшие ему сострадание и отвращение. Он неохотно подчинился приказанию разрушать церкви, но осмелился охранять самих христиан от ярости черни и от строгости законов. Галльские провинции (к числу которых, пожалуй, можно отнести и Британию) были обязаны замечательным спокойствием, которым они наслаждались, благосклонному заступничеству своего государя. Но президент или губернатор Испании Дациан, действуя под влиянием или своего усердия, или политических расчетов, предпочел исполнять публичные эдикты императоров, а не сообразовываться с тайными намерениями Констанция, и потому едва ли можно сомневаться в том, что его провинциальное управление было запятнано кровью нескольких мучеников. Возведение Констанция в высшее и самостоятельное звание Августа дало полный простор его добродетельным наклонностям, а непродолжительность его царствования не помешала ему установить систему терпимости, принципы и образец которой он оставил в наследство своему сыну Константину. Этот счастливый сын, объявивший себя покровителем церкви немедленно вслед за своим вступлением на престол, заслужил в конце концов название первого императора, публично исповедовавшего и утвердившего христианскую религию. Одна очень интересная и чрезвычайно важная глава этой истории будет посвящена изложению мотивов его обращения в христианство, вытекавших или из его благочестия, или из его политики, или из его убеждений, или из его угрозы-

ний совести, а также изложению хода того переворота, который под его мощным влиянием и под влиянием его сыновей сделал из христианства господствующую религию Римской империи. Но сейчас достаточно будет заметить, что каждая победа Константина доставляла церкви какое-нибудь облегчение или какую-нибудь пользу.

Итальянские и африканские провинции вынесли непродолжительное, но жестокое гонение. Строгие эдикты Диоклетиана в точности и охотно исполнялись его соправителем Максимианом, который давно уже ненавидел христиан и который находил наслаждение в пролитии крови и в насилиях. Осенью первого года гонений оба императора съехались в Рим, чтобы праздновать свой триумф; издание новых притеснительных законов было результатом их тайных совещаний, а усердие чиновников поощрялось присутствием монархов. После того как Диоклетиан сложил с себя императорское достоинство, Италия и Африка поступили под управление Севера и сделались беззащитной жертвой неумолимого жестокосердия его повелителя Галерия. Между римскими мучениками Адавкт заслуживает того, чтобы его имя не было забыто потомством. Он принадлежал к одному знатному итальянскому семейству и, пройдя различные придворные должности, достиг важного звания казначея собственной императорской казны. Его личность тем более достойна внимания, что он был единственным знатным и выдающимся человеком, претерпевшим смерть в течение того времени, как продолжалось это общее гонение.

Восстание Максенция немедленно возвратило спокойствие церквям Италии и Африки, и тот же самый тиран, который угнетал все другие классы своих подданных, оказался справедливым, человеколюбивым и даже пристрастным к несчастным христианам. Он рассчитывал на их признательность и любовь и ожидал, что обиды, которые они претерпели от самого закоренелого из его врагов, и опасности, которые угрожали им от него в будущем, доставят ему преданность партии, которая уже была в ту пору сильна и числом своих приверженцев, и своим богатством. Даже то, как обошелся Максенций с епископами Римским и Карфагенским, может считаться за доказательство его терпимости, так как самые православные государи, вероятно, приняли бы точно такие же меры по отношению к установленным духовным властям. Первый из этих прелатов, по имени Марцелл, возбудил в столице смятение тем, что наложил строгую эпитимию на множество христиан, которые во время последнего гонения отреклись от своей религии или скрыли свою привязанность к ней. Неистовство враждебных партий разразилось частыми и бурными восстаниями; верующие обагрили свои руки в крови своих единоверцев, и было признано, что нет другого средства восстановить спокойствие в римской церкви, как изгнать Марцелла, который отличался более рвением, чем благоразумием. Поведение карфагенского епископа Менсурия было еще более предосудительно. Один из местных дьяконов написал пасквиль на императора. Преступник укрылся в епископском дворце, и, хотя еще не настало время для предъявления притязаний на привилегии духовенства, епископ отказался выдать его представителям правосудия. За это изменническое сопротивление Менсурий был предан суду, но вместо того чтобы выслушать приговор к смертной казни или к ссылке, получил после непродолжительного допроса позволение возвратиться в свою епархию. Христианские подданные Максенция находились в таком счастливом положении, что, когда кто-нибудь из них желал приобрести для себя мощи муче-

ника, приходилось покупать их в самых отдаленных восточных провинциях. Об одной знатной римской даме, по имени Аглая, рассказывают следующую историю. Она происходила из консульской семьи и владела такими обширными поместьями, что для управления ими нужно было семьдесят три эконома. В числе этих последних находился и ее фаворит Бонифаций; а так как Аглая смешивала любовь с благочестием, то она, как полагают, разделяла с ним свое ложе. Ее состояние давало ей возможность удовлетворить благочестивое желание приобрести какие-нибудь святые мощи с Востока. Она дала Бонифацию значительную сумму денег и огромное количество благовонных веществ, и ее любовник предпринял в сопровождении двенадцати конных спутников и трех крытых повозок далекое странствие до города Тарса в Киликии.

Кровожадный нрав Галерия, этого первого и главного виновника гонений, был страшен для тех христиан, которые имели несчастье жить в пределах его владений, и есть полное основание полагать, что многие из людей среднего сословия, не привязанных в своей родине ни богатством, ни бедностью, часто покидали свое отечество и искали убежища в более теплых западных странах. Пока Галерий был только начальником иллирийских армий и провинций, ему было нелегко найти или создать многих мучеников в воинственной стране, относившейся к проповедникам Евангелия более холодно и неприязненно, чем какая-либо другая часть империи. Но когда он получил верховную власть на Востоке, он дал самый полный простор своему усердию и жестокосердию не только в провинциях Фракии и Азии, находившихся под его непосредственным управлением, но также в Сирии, Палестине и Египте, где Максимин удовлетворял свои собственные наклонности, исполняя со всей строгостью суровые требования своего благодетеля. Частые разочарования, испытанные Галерием в его честолюбивых замыслах, а также опыт, вынесенный из пятилетних гонений, и благотворные размышления, возбужденные в его уме продолжительной и мучительной болезнью, наконец убедили его, что самые напряженные усилия деспотизма не в состоянии истребить целый народ или искоренить его религиозные предрассудки. Желая загладить причиненное им зло, он издал от своего собственного имени и также от имени Лициния и Константина эдикт, который после пышного перечисления императорских титулов гласил следующее: «Среди важных забот, которыми мы были заняты для блага и безопасности империи, мы имели в виду все исправить и восстановить согласно с древними законами и древним общественным благочинием римлян. Мы особенно желали возвратить на путь разума и природы впавших в заблуждение христиан, которые отказались от религии и обрядов, установленных их предками, и, самонадеянно отвергая старинные обычаи, сочинили нелепые законы и мнения по внушению своей фантазии и организовали разнообразные общества в различных провинциях нашей империи. Так как эдикты, изданные нами с целью поддержать поклонение богам, подвергли многих христиан опасностям и бедствиям, так как многие из них претерпевали смерть, а многие другие, в более значительном числе, до сих пор упорствуя в своем нечестивом безрассудстве, лишены всякого публичного религиозного культа, то мы желаем распространить и на этих несчастных людей наше обычное милосердие. Поэтому мы дозволяем им свободно исповедовать их собственное учение и собираться на сходки без опасений и препятствий лишь с тем условием, чтобы они всегда оказывали должное уважение установленным законам и правительству. Другим рескриптом

мы сообщим нашу волю судьям и должностным лицам, и мы надеемся, что наша снисходительность побудит христиан возносить к Божеству, которому они поклоняются, молитвы о нашей безопасности и нашем благополучии, а также о их собственном благоденствии и благоденствии республики». Конечно, не в выражениях эдиктов и манифестов следует искать указания настоящего характера монархов и их секретных мотивов, но так как это были выражения умирающего императора, то его положение может считаться залогом его искренности.

Когда Галерий подписывал этот эдикт о религиозной терпимости, он был уверен, что Лициний охотно подчинится воле своего друга и благодетеля и что всякая мера в пользу христиан будет одобрена Константином; но император не решился внести в предисловие к эдикту имя Максимиана, согласие которого было бы в высшей степени важно и который через несколько дней после того вступил в управление Азией. Впрочем, в первые шесть месяцев своего нового царствования Максимиан делал вид, будто одобряет благоразумные решения своего предшественника, и, хотя он никогда не снисходил до того, чтобы обеспечить спокойствие церкви публичным эдиктом, его преторианский префект Сабин разослал ко всем губернаторам провинций и должностным лицам циркуляр, в котором восхвалял императорское милосердие, признавал за христианами непоколебимое упорство и предписывал чинам судебного ведомства прекратить их бесплодные преследования и смотреть сквозь пальцы на тайные сборища этих энтузиастов. Вследствие этих распоряжений огромное число христиан было освобождено из тюрем и избавлено от ссылки в рудники. Духовники возвратились домой с пением торжественных гимнов, а те из христиан, которые не устояли против свирепости грозы, стали со слезами раскаяния молить о принятии их снова в лоно церкви.

Но это обманчивое спокойствие было непродолжительным; к тому же восточные христиане не могли иметь никакого доверия к характеру своего государя. Жестокосердие и суеверие были господствующими страстями в душе Максимиана. Первая из них указала ему на способы гонений, а вторая наметила жертвы. Император усердно поклонялся богам, изучал магию и верил в оракулы. Пророков или философов, которых он чтил как любимцев небес, он часто возвышал до управления провинциями и делился с ними своими самыми тайными намерениями. Они без труда убедили его, что христиане были обязаны своими успехами своей строгой дисциплине и что слабость политеизма проистекала главным образом из недостатка единства и субординации между служителями религии. Поэтому была введена такая система управления, которая, очевидно, была копией с церковной администрации. Во всех больших городах империи храмы были отремонтированы и украшены по приказанию Максимиана, а жрецы, совершавшие обряды поклонения различным божествам, были подчинены старшему первосвященнику, назначение которого заключалось в соперничестве с епископом и в поддержании идолопоклонства. Эти первосвященники в свою очередь были подчинены верховной власти митрополитов, или главных жрецов провинции, которые действовали в качестве непосредственных заместителей самого императора. Белое одеяние было отличительным признаком их достоинства, и эти новые прелаты тщательно избирались из представителей самых знатных и самых богатых семейств. По внушению должностных лиц и жреческого сословия язычники, и в особенности жители Никомедии, Антиохии и Тира, обратились к императору с почтительными адресами, в которых они выдавали хорошо всем из-

вестные намерения правительства за общие желания всего населения, просили императора сообразоваться с требованиями справедливости, а не с чувством милосердия, выражали свое отвращение к христианам и униженно молили об удалении этих нечестивых сектантов за пределы их территории. До нас дошел ответ Максимиана на адрес, полученный им от граждан Тира. Максимин восхваляет усердие и благочестие просителей в таких выражениях, из которых видно, что он ими в высшей степени доволен; затем он распространяется касательно упорного нечестия христиан и соглашается на их изгнание с такой готовностью, из которой видно, что он считает себя одолженным, а не сам делает одолжение. И жрецам, и должностным лицам было дано право следить за точным исполнением его эдиктов, которые были вычеканены на медных табличках, и хотя им советовали избегать пролития крови, упорствующие христиане были подвергнуты самым жестоким и позорным наказаниям.

Жившие в Азии христиане могли всего опасаться от вставшего на ханжество монарха, который готовил свои жестокие меры с такой обдуманной расчетливостью. Но едва прошло несколько месяцев, как изданные двумя западными императорами декреты заставили Максимиана приостановить исполнение его намерений: междоусобная война, которую он так опрометчиво предпринял против Лициния, сосредоточила все его внимание, а его поражение и смерть скоро избавили церковь от последнего и самого непримиримого из ее врагов.

В этом общем обзоре гонений, впервые дозволенных эдиктами Диоклетиана, я намеренно воздержался от подробного описания страданий и смерти христианских мучеников. Было бы вовсе нетрудно извлечь из истории Евсевия, из декламации Лактанция и из самых древних письменных документов длинный ряд страшных и отвратительных сцен и наполнить целые страницы описанием орудий пытки и бичеваний, железных крючьев и докрасна раскаленных кроватей, всякого рода истязаний человеческого тела при помощи огня и меча, диких зверей и еще более диких палачей. Эти печальные сцены можно бы было оживить множеством видений и чудес, назначением которых было или замедлить смерть, или прославить торжество, или открыть мощи тех признанных церковью святых, которые пострадали за веру в Христа. Но я не буду в состоянии решить, что должен я заимствовать от этих писателей, пока не буду знать, в какой мере я должен им верить. Даже самый серьезный из церковных историков Евсевий косвенно сознается, что он записывал все, что могло способствовать увеличению славы христианской религии, но умалчивал обо всем, что могло ее унижить. Такое сознание натурально возбуждает в нас подозрение, что писатель, столь явно нарушавший один из двух основных законов истории, не обращал большого внимания на соблюдение и второго; этому подозрению придает еще более веса знакомство с характером Евсевия, который был менее заражен легковерием и более опытен в придворных интригах, чем кто-либо из его современников. В некоторых случаях, когда должностное лицо было раздражено какими-нибудь мотивами, истекавшими из его личных интересов или из его мстительности, или когда увлекшиеся своим усердием христиане, забыв все правила благоразумия и даже приличия, опрокидывали алтари, осыпали бранными словами императоров или наносили удары судьбе, в то время как он заседал на своем трибунале, нетрудно поверить, что этих несчастных подвергали всякого рода истязаниям, какие только может придумать жестокосердие или какие толь-

ко может вынести человеческое мужество. Однако нам по неосторожности сообщают два факта, которые заставляют думать, что вообще обхождение с христианами, арестованными по распоряжению судебной власти, было не так невыносимо, как обыкновенно воображали. 1. Духовникам, осужденным на работы в рудниках, было дозволено, — благодаря или человеколюбию или небрежности сторожей, — устраивать внутри этих печальных жилищ часовни и свободно исповедовать свою религию. 2. Епископы были вынуждены сдерживать и осуждать отважное рвение тех христиан, которые добровольно отдавали себя в руки правосудия. Некоторые из последних, страдая под бременем нищеты и долгов, с отчаяния искали случая окончить свое жалкое существование славной смертью. Другие льстили себя надеждой, что непродолжительное тюремное заключение загладит грехи всей их жизни; наконец, были в числе их и такие, кто действовал под влиянием менее честных мотивов и надеялся извлечь средства существования и даже, может быть, значительные выгоды из добровольных приношений, которыми осыпало арестантов милосердие верующих. После того как церковь восторжествовала над всеми своими врагами, и личный интерес, и тщеславие христиан, вынесших гонение, заставляли их преувеличивать свои заслуги, преувеличивая испытанные ими страдания. Отдаленность времени и места страданий давала широкий простор вымыслам, а чтобы устранить всякие затруднения и заглушить все возражения, стоило указать на многочисленные примеры таких мучеников, у которых раны внезапно залечивались, силы восстанавливались и оторванные члены чудесным образом снова оказывались на своих местах. Самые нелепые легенды, если только они делали честь церкви, с восторгом повторялись легковерной толпой, поддерживались влиянием духовенства и удостоверялись сомнительным свидетельством церковной истории.

Для искусного оратора так легко преувеличивать или смягчать описание ссылок и тюремных заключений, страданий и пыток, что в нас натурально возникает желание исследовать такой факт, который более явствен и менее доступен для искажений, а именно: как велико было число лиц, подвергшихся смертной казни вследствие эдиктов, изданных Диоклетианом, его соправителями и его преемниками. Новейшие легенды рассказывают о целых армиях и целых городах, стертых с лица земли неразборчивой яростью гонителей. Более древние писатели довольствуются тем, что изливают потоки несвязных и патетических ругательств, но не нисходят до того, чтобы в точности определить число тех, кто мог запечатлеть своей кровью свою веру в Евангелие. Впрочем, из истории Евсевия можно извлечь то сведение, что только девять епископов были казнены, а из его подробного перечисления палестинских мучеников мы заключаем, что не более как девяносто два христианина имели право на это почетное название. Так как нам неизвестно, в какой мере отличались в ту пору епископы своим усердием и мужеством, то мы не в состоянии сделать какой-либо полезный вывод из первого факта; но второй факт может служить основанием для очень важного и правдоподобного вывода. Судя по распределению римских провинций, можно полагать, что Палестина составляла шестнадцатую часть восточной империи; а так как были такие губернаторы, которые из искреннего или притворного чувства сострадания не хотели марать своих рук в крови верующих, то есть основание думать, что страна, где родился Христос, дала, по меньшей мере, шестнадцатую часть тех мучеников, которые приняли смерть в пределах владений Галерия

и Максимиана. Стало быть, общая цифра должна дойти почти до тысячи пяти сот человек; если же мы разделим ее поровну между десятью годами гонений, то найдем, что ежегодно умирало по сто пятьдесят мучеников. Если мы применим этот расчет к провинциям, италийским, африканским и даже испанским, где по прошествии двух или трех лет действие строгих уголовных законов было или приостановлено, или отменено, то мы найдем, что число христиан в Римской империи, приговоренных судами к смертной казни, едва ли доходит до двух тысяч. Так как не подлежит сомнению, что во времена Диоклетиана христиане были более многочисленны, а их враги более ожесточенны, нежели во время какого-либо из прежних гонений, то это правдоподобное и умеренное вычисление может дать нам верное понятие о числе самых древних святых и мучеников, пожертвовавших своей жизнью для распространения в мире христианства.

Мы должны закончить эту главу печальной истиной, которая насильно навязывается нашему уму, несмотря на то что она ему крайне неприятна, — что, даже допуская без колебаний и проверки все, что нам сообщила история, или все, что выдумало благочестие касательно мучеников, мы должны сознаться, что во время своих внутренних раздоров христиане причинили гораздо более зла друг другу, чем претерпели от усердия неверующих. В течение веков невежества, следовавших за разрушением Римской империи на Западе, епископы царственного города распространили свое господство и на мирян, и на духовенство латинской церкви. На здание суеверий, которое они воздвигли и которое могло бы еще долго противостоять слабым усилиям разума, наконец напала масса смелых фанатиков, принимавших на себя с двенадцатого по шестнадцатое столетие популярную роль реформаторов. Римская церковь охраняла насилием то владычество, которое она приобрела обманом; система мира и милосердия скоро была запятнана ссылками, войнами, убийствами и учреждением инквизиционного суда, а так как реформаторов воодушевляла любовь как к гражданской, так и к религиозной свободе, то католические государи связали свои собственные интересы с интересами духовенства и усилили с помощью огня и меча тот ужас, который внушали церковные кары. Только в одних Нидерландах, как рассказывают, погибло от руки палача более ста тысяч подданных Карла V. Об этой громадной цифре свидетельствует Гроций — человек гениальный и ученый, который сохранил спокойствие духа среди неистовств враждовавших сект и написал летописи своего века и своего отечества в такое время, когда изобретение книгопечатания увеличило средства добывания знаний и усилило опасность быть уличенным в неправде. Если мы обязаны подчинить наши мнения авторитету Гроция, то мы должны признать, что число протестантов, казненных только в одной провинции и только в одно царствование, далеко превосходит число древних мучеников, пострадавших в течение трех столетий на пространстве всей Римской империи. Если же неправдоподобие самого факта должно иметь перевес над убедительностью свидетельства, если Гроция можно уличить в преувеличении заслуг и страданий реформаторов, то перед нами возникает вопрос, как можно доверять подозрительным и неполным памятникам древнего легковерия, в какой мере можно полагаться на епископа-царедворца и на страстного декламатора, пользовавшихся под покровительством Константина исключительным правом описывать гонения, которым подвергали христиан побежденные соперники или презираемые предшественники их всемилостивейшего государя?

**Основание Константинополя. —
Политическая система Константина
и его преемников. — Военная дисциплина. —
Дворец. — Финансы.
(300—500 гг.)**

Глава 7 (XVII)

Век Великого Константина

Несчастный Лициний был последним соперником, противостоявшим величию Константина, и последним пленником, украсившим его триумф. После спокойного и счастливого царствования победитель оставил своему семейству в наследство Римскую империю с новой столицей, с новой политикой и новой религией, а установленные им нововведения были усвоены и упрочены следующими поколениями. Век великого Константина и его сыновей полон важных событий, но историк был бы подавлен их числом и разнообразием, если бы он не постарался тщательно отделять одни от других те факты, которые связаны между собой только тем, что совершались одни за другими. Он опишет политические учреждения, давшие империи силу и прочность, прежде чем приступить к описанию войн и переворотов, ускоривших ее падение. Он будет придерживаться неизвестного древним отделения светских дел от церковных. Наконец, торжество христиан и их внутренние раздоры доставят обильные и ясные материалы и для назидания, и для скандала.

После поражения Лициния и его отречения от престола его победоносный соперник приступил к основанию столицы, которой было суждено сделаться впоследствии царицей Востока и пережить и империю Константина, и его религию. Из гордости или из политических расчетов Диоклетиан впервые покинул древнее местопребывание правительства, а руководившие им мотивы приобрели еще больший вес благодаря примеру его преемников и сорокалетней привычке. Рим постепенно слился с теми подчиненными государствами, которые когда-то признавали над собой его верховенство, и родина Цезарей не возбуждала ничего, кроме холодного равнодушия в воинственном государе, который родился на берегах Дуная, воспитался при азиатских дворах и в азиатских армиях и был возведен в императорское достоинство британскими легионами. Жители Италии, приветствовавшие в Константине своего избавителя, с покорностью выполняли эдикты, которыми ему случалось почитать римский сенат и народ, но они редко устаивались присутствия своего нового монарха. Когда Константин был в расцвете лет, он или с полной достоинства медлительностью, или с торопливой деятельностью объезжал границы своих обширных владений, чего требовали разнообразные мирные или военные предприятия, и всегда был готов двинуться и против внешних врагов, и против внутренних. Но когда он постепенно достиг вершины своего благополучия, а жизнь его ста-

ла клониться к закату, он стал помышлять об избрании более постоянного местонахождения для могущества и величия императорского престола. При выборе выгодного местоположения он предпочел пограничный рубеж между Европой и Азией, так как оттуда он мог сдерживать своей мощной рукой варваров, живших между Дунаем и Танаисом, и мог бдительно следить за поведением персидского монарха, с нетерпением несшего иго, наложенное унижительным мирным договором. Диоклетиан избрал и украсил свою резиденцию в Никомедии, но память о нем была по справедливости ненавистна для покровителя церкви. Константин честолюбиво намеревался основать город, который мог бы увековечить славу его собственного имени. Во время последних военных действий против Лициния он не раз имел возможность оценить и как воина, и как государственный человек бесподобное положение Византии и мог заметить, как сильно она оберегается самой природой от неприятельских нападений, между тем как она со всех сторон доступна для выгодных торговых сношений. Еще за несколько веков до Константина один из самых здравомыслящих древних историков описал выгоды этого положения, благодаря которому одна небольшая греческая колония приобрела господство на морях и сделалась цветущей и независимой республикой.

Если мы посмотрим на Византию тех размеров, которые она приобрела вместе со славным названием Константинополя, этот царственный город представится нам в форме неправильного треугольника. Тупой угол, выдвигающийся к востоку и к берегам Азии, встречает и отталкивает волны Фракийского Босфора. Северная часть города граничит с гаванью, а южная — омывается Пропонтидой, или Мраморным морем. Основание треугольника обращено к западу; им оканчивается европейский континент. Впрочем, без более подробного объяснения невозможно составить себе ясное и удовлетворительное понятие о превосходствах внешней формы и распределения окружающих этот город земель и вод.

Извилистый канал, сквозь который воды Эвксинского Понта текут с постоянной быстротой к Средиземному морю, получил название Босфор — название, прославленное историей не менее, чем вымыслами древности. Множество храмов и искупительных алтарей, разбросанных вдоль его крутых и лесистых берегов, свидетельствовали о неопытности, боязливости и благочестии тех греческих мореплавателей, которые, по примеру аргонавтов, пускались в опасное плавание по негостеприимному Эвксинскому Понту. На этих берегах предание долго сохраняло воспоминания о дворце Финея, опустошаемом отвратительными гарпиями, и о лесном царстве Амика, вызвавшего сына Леды на бой в железных перчатках. Пролив Босфор оканчивается Кианейскими утесами, которые, по описанию поэтов, когда-то плавали на поверхности вод и были предназначены богами для охранения входа в Эвксинский Понт от нечестивого любопытства. От Кианейских утесов до оконечности Византии и ее гавани извилистая длина Босфора простирается почти на шестнадцать миль, а его среднюю ширину можно определить почти в полторы мили. Новые европейские и азиатские форты воздвигнуты на обоих континентах на фундаменте двух знаменитых храмов Сераписа и Юпитера Урийского. Старые форты, построенные греческими императорами, господствуют над самой узкой частью канала в таком месте, где противоположные берега приближаются один к другому на расстояние пятисот шагов. Эти укрепления были исправлены и усилены Магомедом II, когда он замыслил осаду Константинополя; но турецкий завоеватель, вероятно, не знал, что почти за две тысячи лет до его царствования Дарий выбрал то же самое место для соединения двух континентов плашкот-

ным мостом. На небольшом расстоянии от старых фортов находится небольшой городок Кризополь, или Скутари, который можно считать почти азиатским предместьем Константинополя. В том месте, где Босфор начинает расширяться в Пропонтиду, он протекает между Византией и Халкедоном. Последний из этих городов был построен греками за несколько лет до основания первого, а ослепление основателя, не заметившего выгод, которые представлял противоположный берег, было заклеено презрительным выражением, перешедшим в пословицу.

Константинопольская гавань, которую можно считать за один из рукавов Босфора, получила в очень отдаленные от нас времена название Золотого Рога. Кривую линию, которую она описывает, можно сравнить с рогом оленя или скорее с рогом быка. Эпитет «золотой» обозначал богатства, которые каждый попутный ветер приносил из самых отдаленных стран в безопасную и просторную константинопольскую гавань. Река Лик, образовавшаяся от слияния двух небольших потоков, постоянно изливает в гавань свежую воду, которая очищает ее дно и привлекает в это удобное убежище периодически появляющиеся стаи рыб. Так как приливы и отливы почти не заметны в тех морях, то постоянно глубокая вода внутри гавани позволяет выгружать товары прямо на набережную без помощи лодок; даже было замечено, что в некоторых местах самые большие корабли могут упираться своим носом в дома, в то время как их корма держится на воде. От устья Лика до входа в гавань этот рукав Босфора имеет более семи миль в длину. Вход в гавань имеет около пятисот ярдов в ширину, и поперек его может быть протянута крепкая цепь, если нужно предохранить гавань и город от нападения неприятельского флота.

Между Босфором и Геллеспонтом раздвигающиеся с обеих сторон берега Европы и Азии обнимают Мраморное море, которое было известно древним под названием Пропонтиды. Расстояние от выхода из Босфора до входа в Геллеспонт простирается почти на сто двадцать миль. Кто плывет в направлении к западу, держась середины Пропонтиды, тот может в одно и то же время любоваться гористыми берегами Фракии и Вифинии и ни разу не терять из виду величавую вершину горы Олимп, покрытую вечными снегами; он минует с левой стороны глубокий залив, внутри которого находилась резиденция Диоклетиана Никомедия, и проедет мимо маленьких островов Кизика и Проконнеса прежде, чем бросит якорь в Галлиполи, где море, отделяющее Азию от Европы, снова сжимается в узкий канал.

Географы, с самым большим вниманием и точностью изучившие форму и размеры Геллеспонта, определяют длину извилистого пути через знаменитый пролив почти в шестьдесят миль, а среднюю ширину самого пролива — почти в три мили. Но самая узкая часть пролива находится к северу от старинных турецких фортов, между городами Сестом и Абидосом. Здесь отважный Леандр переплыл пролив, рискуя своей жизнью из-за обладания своей возлюбленной. Здесь же, в том месте, где расстояние между противоположными берегами не превышает пятисот шагов, Ксеркс устроил удивительный плашкотный мост с целью переправить в Европу сто семьдесят мириад варваров. Заключенное в такие узкие границы море, по-видимому, вовсе не заслуживает странного эпитета «широкий», который нередко придавали Геллеспонту и Гомер, и Орфей. Но наши понятия о величине имеют относительное значение, а путешественник, и в особенности поэт, державшийся во время плаванья по Геллеспонту извилин потока и любовавшийся сельскими видами, со всех сторон закрывавшими горизонт, постепенно забывал о море; его воображение рисовало ему этот знаменитый пролив со всеми атрибутами величественной реки, ко-

торая быстро протекала по лесистой местности и наконец впадала через широкое устье в Эгейское море, или Архипелаг. Из древней Трои, лежавшей на возвышении у подножия горы Иды, открывался вид на Геллеспонт, который едва ли делался более глубоким от вливавшихся в него бессмертных ручейков Симоиса и Скамандра. Греческий лагерь был раскинут на двенадцать миль вдоль берега, от мыса Сигейского до мыса Ретийского, а фланги армии охранялись самыми храбрыми из всех вождей, какие сражались под знаменами Агамемнона. Первый мыс был занят Ахиллом с его непобедимыми мирмидонами, а на другом раскинул свои палатки неустрашимый Аякс. Когда Аякс погиб жертвой своей обманутой гордости и неблагодарности греков, его гробница была воздвигнута на том месте, где он защищал флот от ярости Юпитера и Гектора, а граждане строящегося в ту пору города Рета стали воздавать его памяти божеские почести. Прежде чем Константин отдал справедливое предпочтение положению Византии, он задумал воздвигнуть столицу империи на том знаменитом месте, из которого римляне вели свое баснословное происхождение. Обширная равнина, расстилающаяся от подножия древней Трои в направлении к Ретийскому мысу и к гробнице Аякса, была сначала им выбрана для новой столицы, и хотя он скоро отказался от этого намерения, величественные остатки недостроенных стен и башен долго привлекали внимание всякого, кому приходилось плавать по Геллеспонту.

Теперь мы уже в состоянии оценить выгоды положения Константинополя, из которого как будто сама природа хотела сделать центр и столицу великой монархии. Находясь на сорок первом градусе широты, царственный город господствовал с высоты своих семи холмов над противоположными берегами Европы и Азии; климат был здоров и умерен, почва плодородна, гавань безопасна и просторна, а доступ со стороны континента не широк и удобен для обороны. Босфор и Геллеспонт образуют, так сказать, ворота для входа в Константинополь, и тот монарх, в руках которого находятся эти важные проходы, всегда может закрывать их для неприятельского флота и открывать для флота торгового. Восточные провинции были в некоторой степени обязаны политике Константина своим спасением, так как варварские обитатели берегов Эвксинского Понта, проникавшие в предшествовавшие века в самую средину Средиземного моря, скоро прекратили свои хищнические набеги вследствие невозможности прорваться сквозь эту непреодолимую преграду. Когда ворота Геллеспонта и Босфора были заперты, столица от этого не страдала, так как внутри своей обширной окружности она находила все, что было нужно для удовлетворения ежедневных потребностей и требований роскоши ее многочисленного населения. Побережье Фракии и Вифинии, томящееся под гнетом турецкого деспотизма, до сих пор представляет роскошную картину виноградников, садов и обилия земных продуктов, а Пропонтида всегда славилась громадным количеством самых лучших рыб, которых можно ловить в известные времена года не только без особенной ловкости, но даже почти без всяких усилий. Но когда проходы через проливы были открыты для торговли, через них привозили из Эвксинского Понта и Средиземного моря всякого рода натуральные и искусственные богатства и с севера, и с юга. И разные грубые продукты, добывавшиеся среди лесов Германии и Скифии до самых устьев Танаиса и Борисфена, и все, что создала промышленная деятельность Европы и Азии, и египетский хлеб, и доставлявшиеся из самых отдаленных частей Индии драгоценные камни и пряности — все приносилось попутными ветрами в константинопольскую гавань, привлекавшую к себе в течение многих столетий торговлю Древнего мира.

Такого соединения в одном пункте красоты, безопасности и богатства было достаточно для того, чтобы оправдать выбор Константина. Но так как во все века некоторая примесь чудесного и баснословного придавала надлежащее величие происхождению больших городов, то император желал, чтобы его решение было приписано не столько ненадежным доводам человеческого разума, сколько непреложным и неизменным велениям божеской мудрости. В одном из изданных им законов он позаботился о том, чтобы потомство знало, что он заложил незыблемый фундамент Константинополя в исполнение воли Божьей, и хотя он не снизошел до того, чтобы сообщить нам, каким путем он получил это внушение свыше, его скромное молчание было с избытком восполнено изобретательностью писателей следующего столетия, которые описали ночное видение, представившееся Константину в то время, когда он спал внутри стен Византии. Гений — покровитель этого города, под видом почтенной матроны, изнемогавшей под тяжестью своих лет и недугов, внезапно превратился в цветущую девушку, которую император собственными руками украсил всеми символами императорского величия. Монарх проснулся, объяснил смысл счастливого предзнаменования и без колебаний подчинился воле небес. День основания какого-либо города или колонии праздновался у римлян с теми церемониями, какие были установлены щедрым суеверием, и хотя Константин, может быть, опустил некоторые обряды, слишком сильно отзывавшиеся своим языческим происхождением, однако он сделал все, что мог, чтобы возбудить в душе зрителей глубокое чувство надежды и благоговения. Пешком и с копьем в руке шел император во главе торжественной процессии и затем наметил черту, которая должна была обозначать границы будущей столицы; он вел эту черту так долго, что удивленные зрители наконец осмелились заметить, что она уже превышает самые широкие размеры большого города. «Я все-таки буду двигаться вперед, — возразил Константин, — пока шествующий впереди меня незримый руководитель не найдет нужным остановиться». Так как мы не беремся расследовать свойства и мотивы этого необыкновенного путеводителя, то мы ограничимся более скромной задачей и опишем размеры и пределы Константинополя.

При теперешнем состоянии этого города дворец и сады сераля занимают восточный мыс, то есть первый из семи холмов, и покрывают пространство почти в сто пятьдесят современных акров. Седалище турецкой бдительности и турецкого деспотизма воздвигнуто на фундаменте одной греческой республики, но можно предполагать, что византийцы, прельщаясь удобствами гавани, пытались распространить с этой стороны свои жилища далее теперешних пределов сераля. Новые стены Константинополя тянулись от гавани до Пропонтиды поперек раздвинувшейся ширины треугольника на расстоянии пятнадцати стадий от старых укреплений, а вместе с городом Византией они вмещали в себя пять из тех семи холмов, которые в глазах того, кто приближается к Константинополю, как будто возвышаются один над другим с величественной регулярностью. Почти через сто лет после смерти основателя новые здания, с одной стороны, достигавшие гавани, а с другой, тянувшиеся вдоль Пропонтиды, уже покрывали узкую вершину шестого холма и широкую поверхность седьмого. Необходимость защитить эти предместья от непрерывных нашествий варваров заставила Младшего Феодосия обнести свою столицу прочной оградой на всем ее протяжении. От восточного мыса до Золотых ворот самая большая длина Константинополя достигала почти трех миль; его окружность имела от десяти до одиннадцати миль, а все занимаемое им пространство можно определить почти в две тысячи английских акров. Нет возможности оправ-

дать ни на чем не основанные и легковверные преувеличения новейших путешественников, которые иногда включают в пределы Константинополя соседние деревни не только европейского, но даже азиатского побережья. Но предместья Пера и Галата, хотя и находятся по ту сторону гавани, может быть, и заслуживают того, чтобы их считали за часть города, а эта прибавка, пожалуй, может служить оправданием для того византийского историка, который определяет окружность своего родного города в шестнадцать греческих (то есть почти в четырнадцать римских) миль. Такие размеры, по-видимому, достойны императорской резиденции. Однако Константинополь уступает в этом отношении Вавилону и Фивам, древнему Риму, Лондону и даже Парижу.

Повелитель римского мира, пожелавший воздвигнуть вечный памятник славы своего царствования, мог употребить на исполнение этого великого предприятия богатство, труд и все, что еще оставалось от гения миллионов его покорных подданных. О том, как громадны были сокровища, издержанные с императорской щедростью на основание Константинополя, можно судить по той сумме почти в 2 500 000 фунт. ст., которая была назначена на сооружение стен, портиков и водопроводов. Леса, покрывавшие берега Эвксинского Понта и знаменитые каменоломни белого мрамора, находившиеся на небольшом острове Проконнесе, служили неистощимым запасом строительных материалов, которые было нетрудно перевозить коротким морским путем в византийскую гавань. Множество работников и ремесленников непрестанно трудились над окончанием этого предприятия, но нетерпение Константина скоро заставило его убедиться, что вследствие упадка, в котором находились в ту пору искусства, ни знания, ни число его архитекторов не соответствовали величии его предначертаний. Поэтому он предписал правителям самых отдаленных провинций учреждать школы, назначать преподавателей и привлекать обещаниями наград и привилегий к изучению в теории и на практике архитектуры достаточное число способных молодых людей, получивших хорошее образование. Здания нового города были воздвигнуты такими ремесленниками, каких можно было добыть в царствование Константина, но они были украшены руками самых знаменитых художников времен Перикла и Александра. Могущество римского императора не было в состоянии воскресить гений Фидия и Лизиппа, но завещанные ими потомству бессмертные произведения ничем не были защищены от склонного к хищничеству тщеславия деспота. По его приказанию у городов Греции и Азии были отобраны их самые ценные украшения. Трофеи достопамятных войн, предметы религиозного поклонения, самые лучшие статуи богов и героев, мудрецов и поэтов древности содействовали блестящему украшению Константинополя и дали историку Седрену повод с восторгом заметить, что, по-видимому, не доставало только душ тех знаменитых мужей, в честь которых были воздвигнуты эти удивительные памятники. Но не в городе Константина и не в периоде упадка империи, когда человеческий ум находился под гнетом гражданского и религиозного рабства, можно бы было найти душу Гомера или Демосфена.

Во времена осады Византии завоеватель раскинул свою палатку на вершине второго холма, господствующей над окружающей местностью. Чтобы увековечить память о своей победе, он избрал это же выгодное положение для главного форума, который имел кругообразную или, скорее, эллиптическую форму. Входы с двух противоположных сторон образовали триумфальные арки; портики, окружавшие его со всех сторон, были наполнены статуями, а центр форума был занят высокой колонной, от которой сохранился безобразный обломок, носящий презрительное название обгорелого столба. Эта колон-

на была воздвигнута на пьедестале из белого мрамора вышиной в двадцать футов и состояла из десяти кусков порфира, из которых каждый имел около десяти футов в высоту и около тридцати трех в окружности. На вершине колонны, на высоте более ста двадцати футов, была поставлена колоссальная статуя Аполлона. Она была из бронзы, была перевезена или из Афин, или из одного из фригийских городов и считалась за произведение Фидия. Скульптор изобразил тогдашнего бога, или, как впоследствии уверяли, самого императора Константина со скипетром в правой руке, с глобусом в левой и с короной из блестящих лучей на голове. Цирк, или ипподром, представлял собой великолепное здание, имевшее около четырехсот шагов в длину и сто шагов в ширину. Пространство между двумя *metae*, или целями ристалища, было наполнено статуями и обелисками, и до сих пор еще можно видеть оригинальный остаток древности — трех переплетающихся змей, образующих медный столб. Их тройная голова когда-то поддерживала золотой треножник, который после поражения Ксеркса был посвящен в дельфийском храме победоносными греками. Уже давно красота ипподрома была обезображена грубыми руками турецких завоевателей, но он до сих пор служит местом для выездки лошадей и называется Атмеиданом. От трона, с которого император смотрел на игры в цирке, выходящая лестница вела во дворец. Это великолепное здание едва ли уступало римской императорской резиденции; вместе с примыкавшими к нему дворами, садами и портиками оно покрывало значительное пространство по берегу Пропонтиды между ипподромом и церковью Св. Софии. Мы могли бы также похвалить бани, которые носили имя Зевксиппа даже после того, как великодушные Константина украсило их высокими колоннами, различными произведениями из мрамора и более чем шестьюдесятью бронзовыми статуями. Но мы уклонились бы от цели этого исторического повествования, если бы стали подробно описывать различные здания и кварталы столицы. Достаточно будет заметить, что внутри Константинополя было все, что могло способствовать красоте и великолепию большой столицы и что могло доставлять благосостояние и удовольствие ее многочисленному населению. В описание этого города, составленное почти через сто лет после его основания, вошли: капитолий, или школа для изучения наук, цирк, два театра, восемь водопроводов, или водоемов, четыре обширные залы для заседаний сената или судебных палат, четырнадцать церквей, четырнадцать дворцов и четыре тысячи триста восемьдесят восемь домов, которые по своим размерам и красоте выделялись из множества жилищ простонародья.

Привилегии

После основания этого щедро одаренного судьбой города его многолюдность сделалась главным и в высшей степени серьезным предметом забот Константина. В века невежества, следовавшие за перемещением столицы империи, отдаленные и непосредственные последствия этого достопамятного события были странным образом извращены тщеславием греков и легковерием латинян. Одни утверждали, а другие верили, что все знатные римские семьи, сенат и сословие всадников последовали вместе со своими бесчисленными домохозяевами за своим императором на берега Пропонтиды, что низкому племени чужестранцев и плебеев было предоставлено населять опустевшую древнюю столицу и что земли в Италии, давно уже превратившиеся в сады, были внезапно лишены и обработки, и населения. При дальнейшем ходе этого повествования выяснится вся несостоятельность таких преувеличений. Однако так как процветание Константинополя нельзя приписывать вообще размножению челове-

ческого рода и развитию промышленной деятельности, то следует полагать, что эта искусственная колония возникла в ущерб старинным городам империи. Очень вероятно, что многие богатые римские сенаторы и сенаторы из восточных провинций были приглашены Константином переселиться в то счастливое место, которое он избрал для своей собственной резиденции. Приглашения повелителя едва ли чем-либо отличаются от приказаний, а щедрость императора вызывала скорое и охотное повиновение. Он раздарил своим любимцам дворцы, которые были им выстроены в различных частях города, раздал им земли, назначил пенсии для того, чтобы они могли жить прилично своему званию, и образовал из государственных земель Понта и Азии наследственные имения, которые раздавал им с легким условием содержать дом в столице. Но эти поощрения и милости скоро сделались излишними и постепенно прекратились. Где бы правительство ни утвердило свое местопребывание, значительная часть государственных доходов будет тратиться там самим монархом, его министрами, представителями судебного ведомства и дворцовой прислугой. Самых богатых жителей провинций будут привлекать в столицу могущественные мотивы, основанные на личных интересах и на чувстве долга, на склонности к развлечениям и на любопытстве. Третий и более многочисленный класс населения образуется там постепенно из слуг, из ремесленников и купцов, извлекающих свои средства существования из своего собственного труда и из потребностей или из роскоши высших классов. Таким образом, менее чем в одно столетие Константинополь стал оспаривать даже у Рима первенство в богатстве и многолюдстве. Новые здания, скученные между собой без всякого внимания к здоровью или удобствам жителей, едва оставляли достаточно места для узких улиц, по которым непрерывно двигались массы людей, лошадей и экипажей. Место, предназначенное для построек, оказалось недостаточным для увеличивавшегося населения, и дополнительные здания, которые были построены с обеих сторон вплоть до самого моря, одни могли бы образовать весьма значительный город.

Частые и регулярные раздачи вина и масла, зерна или хлеба, денег или провизии почти совершенно освобождали самых бедных римских граждан от необходимости работать. Великодушие первых Цезарей в некоторой мере подражал и основатель Константинополя, но, хотя его щедрость и вызывала одобрение народа, потомство отнеслось к ней с порицанием. Нация законодателей и завоевателей могла заявлять притязания на африканскую жатву, которая была куплена ее кровью, а Августом руководило коварное намерение доставить римлянам такое довольство, которое заставило бы их позабыть о прежней свободе. Но расточительность Константина нельзя было оправдать ни общественными, ни личными интересами, и ежегодная дань зерном, которую Египет должен был уплачивать его новой столице, имела назначением кормить праздную и ленивую чернь за счет земледельцев трудолюбивой провинции. Некоторые другие распоряжения этого императора менее достойны порицания, но и менее достойны внимания. Он разделил Константинополь на четырнадцать частей, или кварталов, почтил общественный совет названием Сената, дал гражданам привилегии италийцев и украсил возникающий город титулом колонии, старшей и любимой дочери Древнего Рима. Но почтенная родительница все-таки удержала за собой легальное и всеми признанное первенство, на которое ей давали право ее возраст, ее достоинство и воспоминания о ее прежнем величии.

Так как Константин торопил производство работ с нетерпением влюбленного, то постройка стен, портиков и главных зданий была окончена в несколько лет или, если верить другому рассказу, в несколько месяцев; но эта чрезы-

чайная скорость не должна нас удивлять, так как многие здания были выстроены с такой торопливостью и так неудовлетворительно, что в следующее царствование их с трудом предохранили от угрожавшего им разрушения. Но пока они еще сохраняли крепость и свежесть юности, основатель приготовился отпраздновать освящение своей столицы. Нетрудно представить, какие общественные увеселения и какие щедрые даяния увенчали великолепие этого достопамятного торжества; но мы не должны опускать из виду другой церемонии, которая имела более оригинальный и более постоянный характер. Всякий раз, как наступала годовщина основания города, на триумфальную колесницу ставилась статуя Константина, которая была сделана по его приказанию из позолоченного дерева и держала в своей правой руке небольшое изображение местного гения. Гвардейцы, державшие в руках зажженные свечи из белого воска и одетые в свои самые дорогие мундиры, сопровождали торжественную процессию, в то время как она проходила через ипподром. Когда она останавливалась напротив трона царствующего императора, он вставал со своего места и с признательным уважением воздавал честь памяти своего предшественника. Во время празднества освящения вырезанный на мраморной колонне эдикт дал городу Константина титул Второго, или Нового Рима. Но название Константинополя одержало верх над этим почетным эпитетом и по прошествии сорока четырех столетий все еще напоминает о величии его основателя.

Основание новой столицы связано с введением новой формы гражданского и военного управления. Подробное изложение сложной административной системы, введенной Диоклетианом, усовершенствованной Константином и дополненной его непосредственными преемниками, не только способно заинтересовать наше воображение своеобразной картиной великой империи, но и способно объяснить нам тайные внутренние причины ее быстрого упадка. Изучение какого бы то ни было замечательного учреждения империи заставит нас часто обращаться то к самым ранним, то к самым поздним временам римской истории, но действительные пределы этого исследования будут ограничены почти столетичным периодом времени от восшествия на престол Константина до обнародования Кодекса Феодосия, из которого, равно как и из *Notitia* (кодексы. – *Ред.*), восточных и западных, мы извлекаем самые подробные и самые достоверные сведения о положении империи. Это разнообразие сюжетов на время приостановит ход нашего повествования, но этот перерыв мог бы вызвать порицание только со стороны тех читателей, которые, не сознавая важного значения законов и нравов, сильно интересуются только преходящими придворными интригами или случайным исходом сражений.

Иерархия государственных должностей

Благородная гордость римлян, довольствуясь сущностью власти, предоставляла восточному тщеславию формы и церемонии чванного величия. Но когда они утратили даже подобие тех добродетелей, источником которых была их старинная свобода, то простота римских нравов постепенно заразилась влиянием блестящей вычурности азиатской придворной обстановки. Основанные на личном достоинстве и влиянии отличия, которые так ярко бросаются в глаза в республиках, но так слабы и незаметны в монархиях, были уничтожены деспотизмом императоров, которые заменили их строгой субординацией чинов и должностей, начиная с титулованных рабов, восседавших на ступенях трона, и кончая самыми низкими орудиями неограниченной власти. Множество презренных слуг было заинтересовано в поддержании существующего правительства из страха революции, которая могла разом уничтожить их надежды и ли-

шить их наград за их услуги. В этой божественной иерархии (так ее часто называют) всякому чину было указано место с самой пунктуальной точностью, а его значение проявлялось во множестве мелочных и торжественных церемоний, которые было нелегко заучить и нарушение которых считалось святотатством. Латинский язык утратил свою чистоту вследствие того, что, с одной стороны, гордость, а с другой, лесть ввели в него множество таких эпитетов, которые Цицерон едва ли был бы в состоянии понять и которые Август отверг бы с негодованием. Главных сановников империи все — и даже сам император — величали следующими обманчивыми титулами: Ваше Чистосердечие, Ваша Степенность, Ваше Превосходительство, Ваше Высокопреосвященство, Ваше высокое и удивительное Величие, Ваше знаменитое и великолепное Высочество. Документы или патенты на их звание были украшены такими эмблемами, которые всего лучше уясняли его характер и высокое значение, как-то: изображением или портретом царствующего императора; торжественной колесницей; книгой указов, положенной на столе, покрытом богатым ковром и освещенном четырьмя светильниками; аллегорическим изображением провинций, которыми они управляли, или названиями и знаменами войск, которыми они командовали. Некоторые из этих официальных знаков отличия выставлялись в их приемных залах, другие украшали их парадное шествие всякий раз, как они появлялись перед публикой; а все подробности касательно их манеры себя держать, касательно их одежды, украшений и свиты были рассчитаны на то, чтобы внушать глубокое уважение к представителям верховной власти. Наблюдатель-философ мог бы принять систему римского управления за великолепный театр, наполненный актерами всякого рода и всякого достоинства, которые повторяют выражения и подражают страстям изображаемых ими личностей.

Все должностные лица, достаточно значительные для того, чтобы занимать какое-нибудь место в общем штате империи, были аккуратно разделены на три класса: 1. *Illustres* (знаменитые. — *Ред.*); 2. *Spectabiles*, или Достопочтенные; и 3. *Clarissimi*, что можно перевести как Почтенные. Во времена римской простоты последний из этих эпитетов употреблялся только как неопределенное выражение почтения, но потом сделался специальным титулом всякого, кто был членом сената, и, следовательно, всякого, кто выбирался из этого почтенного собрания для управления провинциями. Много времени спустя после того новое название *Spectabiles* было придумано для удовлетворения тщеславия тех, кто по своему рангу или должности мог заявлять притязание на такое отличие, которое ставило бы его выше остальных лиц сенаторского звания; но титул *Illustres* всегда предоставлялся каким-нибудь особенно важным особам, к которым лица двух низших разрядов относились с покорностью или уважением. Он давался только: 1) консулам и патрициям; 2) преторианским префектам и префектам, римскому и константинопольскому; 3) главным начальникам кавалерии и пехоты и 4) семи дворцовым министрам, исполнявшим свои священные обязанности при особе императора. Между этими знаменитыми сановниками, считавшимися равными собой, старшинство назначения уступало первое место соединению нескольких должностей в одном лице. Те императоры, которые любили раздавать милости, иногда удовлетворяли путем особых почетных рескриптов если не честолюбие, то тщеславие своих жадных до отличий царедворцев.

Пока римские консулы были первыми сановниками свободного государства, они были обязаны своей властью народному избранию. Пока императоры снисходили до того, что старались прикрывать наложенное ими рабство, консулы избирались действительным или воображаемым голосованием сена-

та. С царствования Диоклетиана даже эти следы свободы были уничтожены, и те счастливые кандидаты, которые были облечены на один год в консульское звание, высказывали соболезнования об унижительном положении своих предместников. Сципионы и Катоны были вынуждены подчиняться утомительным и дорогостоящим формальностям народных выборов и подвергать свое личное достоинство стыду публичного отказа, тогда как благодаря их собственной счастливой судьбе им пришлось жить в таком веке и при таком правительстве, когда награды за добродетель назначаются непогрешимой мудростью милостивого монарха. В письмах, которые император писал двум консулам после их избрания, говорилось, что они возводятся в это звание одной его властью. Их имена и изображения, вырезанные на позолоченных дощечках из слоновой кости, рассылались по всей империи в подарок провинциям, городам, должностным лицам, сенату и народу. Их торжественное вступление в должность происходило там, где была императорская резиденция, и Рим был в течение ста двадцати лет постоянно лишен присутствия своих старинных сановников. Утром 1 января консулы облакались в отличия своего звания. Их одевание состояло из пурпуровой мантии, вышитой шелком и золотом, а иногда и украшенной дорогими камнями. В этих торжественных случаях их сопровождали самые высшие гражданские и военные сановники в сенаторских одеяниях, а ликторы несли впереди них бесполезные пучки палок (*fascies*) и когда-то наводившие страх секиры. Процессия двигалась от дворца к форуму, или главной городской площади; там консулы всходили на свой трибунал и садились на курульное седалище (*sella curulis*), которое было сделано по древнему образцу. Немедленно вслед за тем они совершали акт правосудия, давая свободу рабу, которого приводили нарочно для этой цели, а вся эта церемония должна была напоминать знаменитый поступок творца свободы и консульского звания Брута, когда он принял в число своих сограждан верного Виндекса, обнаружившего заговор Тарквиниев. Публичные празднества продолжались несколько дней во всех главных городах империи — в Риме по старому обычаю, а в Константинополе, Карфагене, Антиохии и Александрии из любви к развлечениям и из излишка богатств. В двух столицах империи ежегодные зрелища в театрах, цирке и амфитеатре стоили четыре тысячи фунтов золота, то есть около ста шестидесяти тысяч фунтов стерлингов, и если сами должностные лица не могли или не хотели брать на себя таких больших расходов, то нужные суммы отпускались из императорского казначейства. Лишь только консулы исполнили эти обычные обязанности, они могли спокойно жить в неизвестности как частные люди и без всякой помехи наслаждаться в течение всего года созерцанием своего собственного величия. Они уже не председательствовали на народных совещаниях и не приводили в исполнение решений касательно мира или войны. Их дарования (если только они не занимали каких-нибудь других, более серьезных должностей) оказывались ненужными, а их имена служили только легальным обозначением того года, в котором они восседали на месте Мариев и Цицеронов. Однако даже в самый последний период римского рабства все чувствовали и сознавали, что это бессодержательное название можно не только сравнивать с обладанием действительной властью, но даже предпочесть его. Титул консула все еще был самой большой целью для честолюбия и самой благородной наградой за добродетели и верность. Сами императоры, пренебрегавшие слабыми отблесками республиканских учреждений, сознавали, что они усиливают свой блеск и величие, возлагая на себя годичные отличия консульского звания.

Существовавшее в первые века Римской республики различие между патрициями и плебеями представляет самый надменный и самый цельный способ отделения знати от простого народа, какой только можно найти в каком-либо другом веке или в какой-либо другой стране. Богатства и почести, государственные должности и религиозные церемонии были почти исключительно в руках патрициев, которые, сохраняя чистоту своей крови с самой надменной заботливостью, держали своих клиентов в полном порабощении. Но эти различия, столь несовместимые с духом свободного народа, были отменены после продолжительной борьбы настойчивыми усилиями трибунов. Самые деятельные и самые счастливые из плебеев стали накапливать богатства, стремиться к почестям, удостаиваться триумфов, вступать в брачные союзы с патрициями и после нескольких поколений усваивали себе спесь древней знати. С другой стороны, патрицианские роды, первоначальное число которых никогда не увеличивалось до самого падения республики, или вымирали сами собой, или прекращались во время стольких внешних и внутренних войн, или же по недостатку достоинств или состояния постепенно смешивались с народной массой. Из них оставалось очень немного таких, которые могли ясно доказать, что ведут свое начало с первых времен республики, когда Цезарь и Август, Клавдий и Веспасиан создали из некоторых сенаторских семей новые патрицианские роды в надежде навсегда продолжить существование такого сословия, которое все еще считалось почтенным и священным. Но эти искусственные подпоры (в число которых всегда включали и царствующий дом) были очень скоро уничтожены яростью тиранов, частыми переворотами, изменением нравов и смешением национальностей. Когда Константин вступил на престол, от них оставалось не более, чем смутное предание, что патриции когда-то были первыми римлянами. Намерение создать сословную аристократию, которая, поддерживая своим влиянием власть монарха, может вместе с тем ограничивать ее, было бы совершенно несовместимо с характером и с политикой Константина; но если бы даже он серьезно задался такой целью, он был бы не в состоянии создать посредством исходящего из его личной воли закона такое учреждение, для которого нужна санкция времени и общественного мнения. Он, правда, воскресил титул патрициев, но лишь как личное, а не как наследственное отличие. Признавая над собой только временное превосходство годичных консулов, они пользовались правами старшинства над всеми государственными сановниками и имели всегда свободный доступ к особе монарха. Это почетное звание давалось им пожизненно, а так как они обыкновенно принадлежали к числу любимцев и министров, посевших на службе при императорском дворе, то настоящая этимология этого слова была извращена невежеством и лестью, и патрициев Константина стали чтить как приемных отцов императора и республики.

Преторианский префект

Судьба преторианских префектов была совершенно иной, чем судьба консулов и патрициев. Древнее величие этих последних превратилось в пустые титулы, а первые, возвышаясь шаг за шагом из самого скромного положения, наконец достигли того, что были поставлены во главе гражданского и военного управления Римской империи. С царствования Севера до царствования Диоклетиана их высшему попечению поручались гвардия и дворец, законы и финансы, армии и провинции, и, подобно восточным визирям, они держали в одной руке государственную печать империи, а в другой — ее знамя. Честолюбие

префектов, которое было всегда опасно, а иногда и пагубно для повелителей, которым они служили, опиралось на силу преторианских отрядов; но после того как эти надменные войска были ослаблены Диоклетианом и окончательно уничтожены Константином, пережившие их падение префекты были без труда низведены до положения полезных и послушных министров. Когда с них сложили ответственность за безопасность особы императора, они лишились той юрисдикции над всеми частями дворцового управления, на которую они до сих пор заявляли притязания и которой действительно пользовались. Константин отнял у них все высшие военные должности, лишь только они перестали командовать на поле битвы избранными римскими войсками, и в конце концов, вследствие какого-то странного переворота, бывшие начальники гвардии преобразились в гражданских начальников провинций. Согласно с системой управления, введенной Диоклетианом, каждый из четырех монархов имел при себе своего преторианского префекта, а после того как монархия снова объединилась в лице Константина, этот император по-прежнему назначал четырех префектов и вверял их попечению те самые провинции, которыми управляли их предшественники.

После того как преторианские префекты были лишены всех высших военных должностей, вверенное им гражданское управление столькими подчиненными нациями могло вполне удовлетворять честолюбие и упражнять дарования самых способных министров. Им было поручено высшее заведование юстицией и финансами, а эти два предмета обнимали в мирное время почти все взаимные обязанности монарха и народа — обязанности монарха охранять граждан, подчиняющихся законам, и обязанности граждан уделять часть своей собственности на покрытие государственных расходов. Чеканка монеты, пути сообщения, почты, хлебные магазины, мануфактуры — одним словом, все, что могло иметь какую-либо связь с общественным благосостоянием, находилось под властью преторианских префектов. В качестве непосредственных представителей императорского величия они были уполномочены объяснять, усиливать и в некоторых случаях изменять общие эдикты путем прокламаций, содержание которых зависело от их личного усмотрения. Они наблюдали над поведением провинциальных губернаторов, удаляли от должности нерадивых и подвергали наказаниям виновных. Перед трибуналом префекта можно было приносить апелляции на все низшие ведомства по всем важным делам как гражданским, так и уголовным; но его решение было окончательное и вполне самостоятельное, и сами императоры отказывались от принятия жалоб на приговоры или на пристрастные действия такого должностного лица, которое они почтили столь неограниченным доверием. Его жалованье соответствовало его высокому званию, а если корыстолюбие было его господствующей страстью, то он часто имел случай удовлетворять ее, собирая обильную жатву взятками, подарками и случайными доходами. Хотя императоры уже не имели основания опасаться честолюбия своих префектов, они все-таки старались найти противовес этой важной должности в неопределенности и непродолжительности срока, на который назначались префекты.

Благодаря своей особенной важности и своему величию Рим и Константинополь были единственными городами, не подчинявшимися юрисдикции преторианского префекта. Обнаруженное практикой слишком медленное и безуспешное действие законов в столь обширных городах послужило для политики Августа поводом к назначению нового должностного лица, которое было бы способно сдерживать раблепную и буйную чернь сильной рукой произвольной власти. Первым римским префектом был назначен Валерий Мессалла по при-

чине того, что его прекрасная репутация могла смягчить то, что было возмутительного в этой мере; но по прошествии нескольких дней, этот превосходный гражданин отказался от своей должности, объявив, как это было прилично другу Брута, что он считает себя неспособным пользоваться такой властью, которая несовместима с общественной свободой. По мере того как угасало чувство свободы, сильнее сознавались выгоды порядка, и префект, по-видимому, назначенный сначала для того, чтобы наводить страх только на рабов и бродяг, получил право распространить свою гражданскую и уголовную юрисдикцию на сословие всадников и на знатные римские семьи. Преторы, ежегодно назначавшиеся, для того чтобы решать дела по законам и по справедливости, не могли оспаривать обладания форумом у могущественного и постоянного должностного лица, которое обыкновенно пользовалось личным доверием монарха. Места их судебных заседаний опустели; их число, когда-то колебавшееся между двенадцатью и восемнадцатью, было сокращено до двух или трех, а их важные функции были ограничены дорогостоящей обязанностью устраивать публичные зрелища для забавы народа. После того как звание римских консулов было изменено на пустую выставку пышности, редко происходившую в самой столице, префекты заняли их вакантные места в сенате и скоро вслед за тем были признаны обычными президентами этого почтенного собрания. Они получали апелляции из мест, отдаленных на сто миль, и было признано за принцип юриспруденции, что всякая муниципальная власть исходит от них одних.

В исполнение его трудных обязанностей римскому губернатору помогали пятнадцать чиновников. Главными предметами их деятельности были: командование многочисленной стражей, учрежденной для предупреждения пожаров, разбоев и ночных беспорядков; сбережение и распределение назначенного для раздачи народу хлеба и провизии; надзор над пристанью, водопроводами, водосточными трубами, плаванием по Тибру и руслу этой реки; надзор над рынками, театрами, общественными и частными сооружениями. Их бдительность простиралась на три главных цели всякой правильно организованной полиции: на безопасность, на снабжение города съестными припасами и на чистоту, а в доказательство заботливости правительства о поддержании великолепия и украшений столицы был назначен особый инспектор для статуй; он был как бы стражем над этим бездушным населением, которое, по преувеличенным расчетам одного древнего писателя, не уступало своим числом живым обитателям Рима. Почти через тридцать лет после основания Константинополя в этой расширявшейся метрополии была учреждена такая же должность для таких же целей и с такими же полномочиями. Полное равенство было установлено между должностями обоих муниципальных префектов и должностями четырех преторианских префектов.

Те, кто в государственной иерархии отличались титулом *Spectabiles*, составляли промежуточный класс между префектами, носившими титул *Illustres*, и провинциальными должностными лицами, называвшимися *Clarissimi*. Проконсулы Азии, Ахайи и Африки заявляли притязание на старшинство в этом разряде, которое и было им дано в воспоминание их прежнего высокого положения, а право апеллировать на их решения префектам было почти единственным признаком их зависимости. Гражданское управление империи было разделено на тринадцать больших диоцезов (*dioceses*), каждый из которых равнялся своими размерами могущественному королевству. Первый из этих диоцезов был подчинен юрисдикции восточного графа; мы можем составить себе некоторое понятие о важности и разнообразии его функций из того факта, что в его собственной канцелярии работали шестьсот чиновников, которых

можно бы было по-нашему назвать секретарями, клерками, приставами, рассыльными. Место августального египетского префекта уже более не замещалось одним из римских всадников, но его название все еще сохранялось, и тамошним губернаторам все еще давались те чрезвычайные полномочия, которые когда-то были необходимы ввиду исключительного положения страны и особого характера ее жителей. Остальные одиннадцать диоцезов — Азии, Понта и Фракии; Македонии, Дакии и Паннонии или Западной Иллирии; Италии и Африки; Галлии, Испании и Британии — управлялись наместниками, или вице-префектами, название которых достаточно ясно указывает на характер и зависимость их должности. К этому можно присовокупить, что наместники, командовавшие римскими армиями, военные графы и герцоги, о которых будет говориться далее, пользовались рангом и титулом *Spectabiles*.

Так как в высших сферах управления господствовали зависть и тщеславие, то императоры спешили дробить власть и умножать титулы. Обширные страны, которые были объединены римскими завоевателями под одной и той же несложной формой управления, постепенно раздробились на мелкие части, так что наконец вся империя разделилась на сто шестнадцать провинций, из которых каждая должна была содержать дорогостоящий и блестящий штат чиновников. Три из них управлялись проконсулами, тридцать семь — консулярами, пять — корректорами и семьдесят одна — президентами. Названия этих должностных лиц были различны; по своему рангу они шли одни вслед за другими; знаки их достоинства видоизменялись очень странным образом, а их положение могло быть, вследствие разных случайных причин, более или менее приятным или выгодным. Но все они (за исключением только проконсулов) были включены в разряд *Clarissimi*, все они смещались по воле монарха, и все в правлении правосудия и заведования финансами зависели от префектов или от их депутатов. Огромные томы кодексов и пандектов могут доставить нам обильный материал для подробного изучения системы провинциального управления в том виде, как она была в течение шести столетий усовершенствована мудростью римских государственных людей и законоведов. Но для историка достаточно остановить свое внимание на двух замечательных и благотворных мерах предосторожности, которые имели назначением сдерживать злоупотребление властью. 1. Для поддержания спокойствия и порядка губернаторы провинций были вооружены мечом правосудия. Они присуждали к телесным наказаниям, а за уголовные преступления имели право подвергать смертной казни. Но они не имели права позволять осужденному преступнику выбор рода казни и не имели права произносить более мягкого и менее позорного приговора о ссылке. Эти прерогативы были предоставлены префектам; они одни могли налагать тяжелую пеню в пятьдесят фунтов золота, а их заместители могли налагать только ничтожную пеню в несколько унций. Это различие, которое, по-видимому, давало более значительную власть и отказывало в менее значительной, было основано на очень здравом соображении. Менее значительная власть могла несравненно чаще вызывать злоупотребления. Страсти провинциального должностного лица могли часто вовлекать его в угнетения, направленные лишь против свободы или имущественных интересов управляемых, тогда как из осторожности или из человеколюбия он не решился бы проливать кровь невинных. Сверх того, следует заметить, что ссылка, значительные денежные пени и выбор более легкого способа смертной казни относились преимущественно к людям богатым и знатым; таким образом те, которые могли всего более опасаться корыстолюбия или мстительности провинциального должностного лица, были избавлены от его притеснений и обращались к более высокому и бо-

лее беспристрастному трибуналу преторианского префекта. 2. Так как можно было опасаться, что бескорыстие судьи может пострадать от влияния его личных интересов или его родственных привязанностей, то были изданы самые строгие постановления, предписывавшие без особого на то разрешения от императора, никого не назначать губернатором той провинции, где он родился, и запрещавшие губернаторам и их сыновьям вступать в браки с женщинами, родившимися или жившими на управляемой ими территории, или покупать там рабов, земли и дома. Но несмотря на эти энергичные меры предосторожности, император Константин после двадцатипятилетнего царствования сожалел о том, что отправление правосудия продажно и притеснительно, и выражал самое горячее негодование по поводу того, что и аудиенции судьи, и его торопливое окончание дел, и его отсрочка разбирательства, и его окончательные решения продавались публично или им самим, или подчиненными ему чиновниками. Повторение бессильных законов и бесполезных угроз доказывает, что эти преступления не прекращались, а может быть, и то, что они оставались безнаказанными.

Так как все гражданские должности замещались людьми, избравшими своей профессией законоведение, то знаменитые Институты Юстиниана были адресованы к юношеству, посвятившему себя изучению римской юриспруденции; император поощрял их прилежание обещанием, что их знание и опытность будут со временем вознаграждены соразмерным участием в управлении республикой. Начала этой доходной науки преподавались во всех значительных городах Востока и Запада, но всех более славилась школа в Берите, на берегу Финикии; она процветала в течение более трех столетий со времен Александра Севера, который, может быть, был основателем столь полезного для его родины заведения. Пройдя курс наук, продолжавшийся пять лет, студенты рассеивались по провинциям в погоне за фортуной и отличиями и находили неистощимый источник деловых занятий в огромной империи, уже развратившейся от множества законов, профессий и пороков. При одном только трибунале восточного преторианского префекта были занятия для ста пятидесяти адвокатов, из числа которых шестьдесят четыре были отличены особыми привилегиями, а двое ежегодно избирались для защиты интересов казны с жалованьем в шестьдесят фунтов золота. Для испытания юридических дарований претендентов их сначала назначали на время помощниками к судьям, а потом нередко возводили в президенты того самого трибунала, перед которым они ходатайствовали по судебным делам. Они достигали звания губернаторов провинций и при помощи личных достоинств, хорошей репутации или связей постепенно возвышались до тех государственных должностей, с которыми был связан титул *Illustres*. Эти люди, привыкшие в своей адвокатской практике считать разум за орудие спора и истолковывать законы сообразно со своими личными интересами, едва ли могли отстать от этих вредных привычек, когда превращались в администраторов. Конечно, и в древние, и в новые времена было немало таких адвокатов, которые делали честь своей профессии, занимая самые важные должности с безупречным бескорыстием и с замечательным знанием своего дела, но во время упадка римской юриспруденции обычные повышения законоведов порождали лишь вред и позор. Благородное искусство, когда-то считавшееся за священное наследственное достояние патрициев, попало в руки вольноотпущенников и плебеев, которые не столько при помощи искусства, сколько при помощи ловкости сделали из него предмет грязной и вредной торговли. Некоторые из них втирались в семейства для того, чтобы сеять раздоры, поощрять подачу исков и таким образом готовить обильную

жатву для себя самих или для своих собратьев. Другие, запершись в кабинете, поддерживали свое достоинство как знатоков юриспруденции тем, что снабжали богатых клиентов такими хитрыми уловками, которые могли затемнить самую очевидную истину, и такими аргументами, которыми можно было прикрасить самые несправедливые иски. Между этими адвокатами самыми блестящими и самыми популярными были те, которые оглашали форум своей напыщенной и болтливой риторикой. Не заботясь ни о своей репутации, ни о справедливости, они, как рассказывают, были большей частью невежественными и жадными руководителями, вовлекавшими своих клиентов в лабиринт расходов, отсрочек и разочарований, из которого тем наконец удавалось выпутаться лишь после многолетних хлопот и после того, как они почти совершенно истощили и свое терпение, и свои денежные средства.

Военные должностные лица

В политической системе, введенной Августом, все губернаторы, или, по меньшей мере, те из них, которые управляли императорскими провинциями, были облечены всеми правами самого монарха. И в мирное время, и во время войны от них зависели все дела управления; они одни раздавали награды и налагали наказания и то всходили на трибунал в мантии гражданского сановника, то появлялись в полном вооружении во главе римских легионов. Совокупное влияние больших денежных средств, авторитета законов и военного командования делало их власть абсолютной, и всякий раз, как они пытались свергнуть с себя зависимость, вовлеченная ими в восстание провинция едва ли чувствовала какую-либо перемену в системе своего управления. Со времен Коммода до царствования Константина можно насчитать до ста губернаторов, которые с различным успехом поднимали знамя мятежа, и хотя недоверчивое жестокосердие их повелителей слишком часто приносило в жертву невинных, оно, быть может, нередко предотвращало преступные попытки. Чтобы предохранить и свой престол, и общественное спокойствие от честолюбивых замыслов этих могущественных слуг, Константин решился отделить военное управление от гражданского и обратить в постоянную и самостоятельную профессию то, что на практике было лишь временной должностью. Он назначил двух главнокомандующих — одного над конницей, а другого над пехотой — и передал им ту верховную власть над армиями, которая находилась в руках преторианских префектов; хотя каждый из этих *Illustres* — генералов был в особенности ответствен за дисциплину тех войск, которые находились под его непосредственным начальством, однако каждый из них командовал во время войны как конными, так и пешими отрядами, входившими в состав одной армии. Их число было вскоре удвоено вследствие отделения Востока от Запада, а так как особые генералы такого же ранга и с такими же титулами были назначены для охранения четырех важных границ на Рейне, на Верхнем и Нижнем Дунае и на Евфрате, то охрана Римской империи была в конце концов поручена восьми главнокомандующим кавалерии и пехоты. Под их начальством состояли тридцать пять военных командиров, из которых трое имели постоянное местопребывание в Британии, шестеро — в Галлии, один — в Испании, один — в Италии, пятеро — на Верхнем Дунае и четверо — на Нижнем; в Азии их было восемь, в Египте — три и в Африке — четыре. Титулы графов и герцогов, которыми их обыкновенно обозначали, получили на новейших языках столь различное значение, что их употребление у римлян может возбуждать некоторое недоразумение. Но не следует забывать, что второе из этих названий есть не что иное, как извращенное латинское слово *dux*, которое применялось

безразлично ко всяким военным начальникам. Поэтому все эти провинциальные генералы назывались герцогами, но только десятеро из них были удостоены ранга графов (*comites*) или товарищей, — нового титула, придуманного при дворе Константина и дававшегося в знак отличия или скорее в знак монаршей милости. Золотая перевязь была отличительным знаком графов и герцогов, а кроме своего жалованья они получали еще щедрое пенсии, дававшие им возможность содержать по сто девяносто служителей и по сто пятьдесят восемь лошадей. Им было строго запрещено вмешиваться во все, что касалось отправления правосудия и заведования государственными доходами, но их власть над вверенными им войсками не зависела от гражданских должностных лиц. Константин установил точное равновесие между властями гражданской и военной почти в то самое время, как он дал легальную санкцию церковной организации. Соревнование, а иногда и раздоры, господствовавшие между двумя профессиями, столь противоположными одна другой и по своим интересам, и по своему характеру, привели отчасти к благотворным и отчасти к пагубным последствиям. Трудно было ожидать, что провинциальный генерал и местный гражданский губернатор стали действовать сообща с целью возбудить восстание или с целью принести пользу своей провинции. В то время как один из них медлил своим содействием, которого другой не хотел просить из опасения себя унижить, войска нередко оставались без приказаний или без припасов; интересы общественной безопасности были нарушены, и беззащитные подданные делались жертвой ярости варваров. Введенное Константином разделение администрации ослабило энергию государства, обеспечив спокойствие монарха.

Константина основательно осуждали и за другое нововведение, извратившее военную дисциплину и подготовившее гибель империи. Девятнадцать лет, предшествовавшие его окончательной победе над Лицинием, были периодом своеволия и внутренних междоусобиц. Соперники, боровшиеся из-за обладания империей, отозвали большую часть военных сил, охранявших общие границы империи, вследствие чего главные города, служившие пограничным оплотом владений каждого из них, наполнились солдатами, которые смотрели на своих соотечественников как на самых непримиримых своих врагов. Когда употребление таких внутренних гарнизонов прекратилось вместе с междоусобной войной, у победителя не достало мудрости или твердости для того, чтобы восстановить строгую дисциплину Диоклетиана и уничтожить пагубную распущенность, к которой военное сословие успело привыкнуть и которую оно едва ли не считало за свое право. С царствования Константина было введено популярное и даже легальное различие между так называемыми палатинскими корпусами (*Palatines*) и пограничными, — между дворцовыми войсками, как их неуместно называли, и теми, которые стояли на границах. Первые из них, гордившиеся более значительным жалованьем и особыми привилегиями, занимали спокойные стоянки внутри провинций, если только этому не препятствовали требования военного времени. Самые цветущие города с трудом выносили тягостное бремя военного постоя. Солдаты постепенно отвыкли от доблестей своей профессии и заимствовали от городской жизни лишь ее пороки. Они или унижались до занятия разными ремеслами, или расслабляли себя, наслаждаясь банями и театрами. Они стали небрежно относиться к военным упражнениям, стали не в меру заботиться о своем столе и туалете и, наводя страх на подданных империи, сами стали дрожать при приближении варваров. Ряд укрепленных, возведенных Диоклетианом и его соправителями вдоль берегов больших рек, уже не поддерживался с прежней заботливостью и не охранялся с прежней бдительностью. Войска, носившие название пограничных, были бы достаточны

по своей численности для охранения границ в обыкновенное время, но они были обескуражены оскорбительным для них соображением, что, подвергая себя лишениям и опасностям непрерывных военных действий, они вознаграждаются за это лишь двумя третями жалованья и наград, раздаваемых дворцовым войскам. Даже те отряды или легионы, которые были возвышены почти до одного уровня с этими недостойными фаворитами, были оскорблены присвоенным последним почетным названием. Напрасно Константин не раз грозил самыми страшными наказаниями огнем и мечом тем пограничным воинам, которые осмелятся покидать свои знамена, содействовать вторжениям варваров или принимать участие в дележе добычи. Вред, который проистекает из неблагоразумных мероприятий, редко можно поправить частными мерами строгости, и, хотя следующие императоры всеми силами старались восстановить силу и число пограничных гарнизонов, империя до последнего момента своего распада не переставала изнемогать от смертельной раны, нанесенной ей столь опрометчиво или столь слабохарактерно рукой Константина.

Эта боязливая политика, заключающаяся в том, чтобы разъединять то, что объединено, чтобы низводить то, что возвышенно, чтобы опасаться всякой деятельности силы и ожидать, что самые слабые окажутся самыми покорными, по-видимому, отразилась в постановлениях многих монархов, и в особенности в постановлениях Константина. Воинственная гордость легионов, чьи победоносные лагеря так часто бывали сценой мятежа, питалась воспоминанием об их прошлых подвигах и сознанием их настоящей силы. Пока они сохраняли свою старинную организацию из шести тысяч человек, каждый из них еще не переставал играть в царствование Диоклетиана важную роль в военной истории Римской империи. Через несколько лет после того они были низведены до крайне уменьшенных размеров, и, когда семь легионов вместе с некоторыми вспомогательными войсками защищали город Амиду от персов, весь гарнизон вместе с жителями обоего пола и крестьянами, бежавшими из деревень, не превышал двадцати тысяч человек. Из этого факта и из некоторых других подобных примеров можно заключить, что организация, которой были отчасти обязаны легионы своим мужеством и своей дисциплиной, была уничтожена Константином и что отряды римской пехоты, все еще носившие их название и пользовавшиеся их отличиями, состояли только из тысячи или тысячи пяти-сот человек. Нетрудно бы было подавить заговор между столькими отдельными отрядами, из которых каждый был лишен бодрости вследствие сознания своего бессилия, а между тем преемники Константина могли удовлетворять свое тщеславие тем, что повелевали ста тридцатью двумя легионами, числившимися в списках их многочисленных армий. Их остальные войска были разделены на несколько сот пехотных когорт и кавалерийских эскадронов. Оружия, титулы и знамена этих войск были рассчитаны на то, чтобы внушать страх и выставять на вид разнообразие наций, служивших под императорскими знаменами. Уже не оставалось никаких признаков той строгой простоты, которая в века свободы и побед отличала римскую армию от разнохарактерного сброда, составлявшего армии азиатских монархов. Антиквариий может извлечь из *Notitia* более подробные сведения об этом предмете, но историк может довольствоваться замечанием, что число постоянных военных постов, или гарнизонов, расположенных на границах империи, доходило до пятисот восьмидесяти трех, а при преемниках Константина все военные силы состояли из шестисот сорока пяти тысяч солдат. Эти громадные усилия превышали бы в более отдаленные времена империи, ее нужды а в более поздний ее период они превышали ее средства.

При различных положениях общества и мотивы, привлекающие в армию новых рекрутов, бывают различны. Варвары идут на войну по склонности; граждане свободной республики берутся за оружие из чувства долга; подданные монарха или, по меньшей мере, его аристократия воодушевляются чувством чести, но боязливые и изнеженные обитатели разрушающейся империи привлекаются на службу надеждой личных выгод или же поступают в нее из страха наказания. Ресурсы римской казны были истощены увеличением жалования, частой раздачей подарков и назначением новых пенсий и привилегий, которые могли бы считаться провинциальной молодежью достаточным вознаграждением за лишения и опасности военного ремесла. Однако, несмотря на то, что размер роста, установленного для новобранцев, был понижен, несмотря на то, что правительство смотрело сквозь пальцы на поступление в армию рабов, непреодолимая трудность пополнять армию достаточным числом добровольцев заставила императора прибегнуть к более действенным и более принудительным мерам. Земли, которые сначала раздавались без всяких ограничений ветеранам в награду за их храбрость, стали раздаваться под таким условием, которое содержит в себе первоначальные основы ленной зависимости: сыновья этих ветеранов, получив отцовское наследство, должны были посвящать себя военному ремеслу, лишь только они достигали возмужалости, а за малодушное неповиновение наказывались лишением чести, состояния и даже жизни. Но так как число таких рекрутов далеко не удовлетворяло потребностей военной службы, то нередко производили наборы в провинциях и обязывали каждого землевладельца или лично поступить на службу, или поставить вместо себя заместителя, или купить освобождение от службы взносом тяжелой денежной пени. Сумма в сорок две золотых монеты, до которой была низведена эта пеня, доказывает, как дорого стоили добровольцы и как неохотно прибегало правительство к этой альтернативе. Военное ремесло внушало выродившимся римлянам такое отвращение, что в Италии и в провинциях многие из молодых людей отрезали себе пальцы правой руки для того, чтобы избавиться от принудительного поступления на военную службу, и этот странный способ вошел в такое всеобщее употребление, что он вызвал строгие предостережения со стороны законодательства и получил на латинском языке особое название.

Допущение варваров в римские армии становилось с каждым днем все более всеобщим, более необходимым и более пагубным. Самые отважные между скифами, готами и германцами, считавшие войну за наслаждение и находившие более выгодным защищать провинции, чем опустошать их, поступали не только во вспомогательные войска, состоявшие из их соотечественников, но даже в легионы и в избранные Палатинские корпуса. Так как они могли свободно знакомиться с подданными империи, то они постепенно научились презирать их нравы и подражать их искусствам. Они утрачивали то слепое уважение, которым римская гордость была обязана их невежеству, а между тем изучали и усваивали те преимущества, которыми только и поддерживалось ее клонившееся к упадку величие. Варварские солдаты, обнаружившие военные дарования, достигали без всяких исключений самых важных военных должностей, и имена трибунов, графов и герцогов и даже генералов обнаруживали их иностранное происхождение, которого они даже не трудились скрывать. Им очень часто поручалось ведение войны против их соотечественников, и хотя они большей частью предпочитали узы верноподданства узам кровного родства, они не всегда избегали основательного обвинения или, по меньшей мере, подозрения в том, что они вели изменническую переписку с неприятелем, поощряли его вторжения или щадили его при отступлении. И лагерь, и дворец сына Константина уп-

равлялись могущественной партией франков, которые поддерживали самую крепкую связь друг с другом и со своим отечеством и считали всякую личную обиду за оскорбление всей нации. Когда тиран Калигула был заподозрен в намерении возложить отличия консульского звания на крайне необыкновенного кандидата, это святотатство едва возбудило бы более сильное удивление, если бы вместо лошади предметом его выбора был какой-нибудь из самых благородных германских или британских вождей. Перевороты, происходившие в течение трех столетий, произвели такую замечательную перемену в народных предрассудках, что Константин, с общего одобрения, показал своим преемникам пример возведения в консульское звание тех варваров, которые по своим личным достоинствам и заслугам стоили того, чтобы стоять наряду с самыми лучшими из римлян. Но так как эти отважные ветераны были воспитаны в незнании законов и в презрении к ним, то они были неспособны занимать какие-либо гражданские должности; таким образом, способности человеческого ума были сужены непримиримым разъединением как дарований, так и профессий. А те образцовые граждане республик, греческой и римской, способности которых обнаруживались одинаково и в адвокатуре, и в сенате, и в лагере, и в школах, умели и писать, и говорить, и действовать с одинаковой энергией и с одинаковым искусством.

Семь дворцовых министров

Кроме сановников и генералов, которые вдалеке от двора пользовались вверенной им властью над провинциями и армиями, император пожаловал звание *Illustres* семерым из своих самых близких служителей, преданности которых он вверил свою личную безопасность, свои тайные предначертания и свою казну.

1. Внутренние апартаменты дворца находились в заведовании одного из любимых евнухов, который на языке того времени носил название *Praepositus*, или префекта священной опочивальни. Он был обязан сопровождать императора в часы его официальной деятельности и в часы его развлечений и должен был исполнять при его особе все те лакейские обязанности, которые приобретают некоторый блеск только благодаря престижу верховной власти. При таком монархе, который достоин престола, обер-камергер (так как к нему идет это название) был не более как полезным и смиренным слугой; но хитрый слуга, пользующийся всяким удобным случаем, чтобы втереться в доверие монарха, может постепенно приобрести над слабохарактерным повелителем такое влияние, какого редко достигают суровая мудрость или неподатливая добродетель. Недостойные внуки Феодосия, которые были незримы для своих подданных и презренны в глазах врагов, возвысили префекта своей опочивальни над всеми дворцовыми министрами, и даже заместитель этого префекта, занимавший первое место в блистательных рядах рабов, которые прислуживали своему повелителю, был признан достойным более высокого ранга, чем проконсулы Греции и Азии, носившие титул *Spectabiles*. Под ведомством обер-камергера состояли графы или смотрители над двумя важными отделами — над великолепным императорским гардеробом и над роскошной императорской кухней.

2. Главное управление общественными делами было поручено усердию и искусству так называемого *Magister officiorum*. Он был во дворце высшим должностным лицом, наблюдал за дисциплиной гражданских и военных школ и принимал апелляции из всех частей империи по делам, касавшимся той многочисленной армии привилегированных особ, которые в качестве придворных чиновников получили для себя самих и для своих семейств право не подчиняться власти обыкновенных судей. Переписка между монархом и его подданными производилась через посредство четырех *scrinia*, или канцелярий, этого государст-

венного министра. Первая из этих канцелярий ведала мемуарами, вторая — письмами, третья — прошениями, а четвертая — бумагами и распоряжениями смешанного характера. Каждой из них управлял *Magister* низшего разряда с титулом *Spectabiles*, а все дела велись ста сорока восемью секретарями, которые большей частью выбирались из законоведов, так как им приходилось при исполнении их разнообразных обязанностей составлять множество различных извлечений, донесений и справок. Вследствие снисходительности, которая в прежние времена считалась бы оскорбительной для римского достоинства, был назначен особый секретарь для греческого языка, а для приема варварских послов существовали особые переводчики. Впрочем, департамент иностранных дел, составляющий в наше время столь важную отрасль государственного управления, редко привлекал на себя внимание министра двора. Его ум был более серьезно занят главным управлением имперских почт и арсеналов. В тридцати четырех городах, пятнадцати восточных и девятнадцати западных, правильно организованные компании рабочих постоянно занимались фабрикацией всякого рода оружия для защиты и для нападения и сооружением военных машин; все это складывалось в арсеналы и в случае надобности выдавалось войскам.

3. В течение девяти столетий должность квестора испытала на себе самые странные изменения. Во времена младенчества Рима народ ежегодно выбирал двух низших должностных лиц, для того чтобы освобождать консулов от неприятной обязанности заведовать общественной казной; такие же помощники были назначены каждому проконсулу и каждому претору, которым было вверено начальство над войсками или над провинциями; с расширением завоеваний число квесторов было увеличено с двух до четырех, до восьми, до двадцати и в течение непродолжительного времени, быть может, до сорока; самые знатные граждане искали из честолюбия этого звания, дававшего им место в сенате и надежду достигнуть высших должностей республики. Пока Август делал вид, будто желает сохранить свободу выборов, он соглашался пользоваться ежегодно привилегией рекомендовать или, вернее, назначать нескольких кандидатов на эту должность и имел обыкновение выбирать одного из этих выдающихся юношей, чтобы читать его речи или послания в заседаниях сената. Обыкновению Августа стали подражать его преемники; тогда временное поручение превратилось в постоянную должность, и излюбленный квестор, усвоив себе новый и более важный характер, один пережил уничтожение своих старинных и бесполезных сотоварищей. Так как речи, которые он сочинял от имени императора, приобрели значение, а в конце концов и форму абсолютных эдиктов, то его стали считать за представителя законодательной власти, за оракула в государственных делах и за первоначальный источник гражданского законодательства. Его иногда приглашали заседать в верховный суд имперской консистории вместе с преторианскими префектами и с *Magister officiorum* и к нему нередко обращались за разрешениями недоумений, возникавших между низшими судьями; но так как он не был обременен разнообразием менее важных деловых занятий, то он употреблял свои досуги и свои дарования на упражнения в том стиле возвышенного красноречия, в котором, даже несмотря на тогдашнюю испорченность вкуса и языка, отразилось величие римского законодательства. Должность имперского квестора можно в некоторых отношениях сравнить с должностью канцлеров нашего времени, но государственная печать, как кажется, бывшая в употреблении у необразованных варваров, никогда не употреблялась для скрепления публичных актов императоров.

4. Необыкновенный титул графа священных щедрот (*Comes Sacrarum Largitionum*) был дан лицу, заведовавшему государственными финансами, мо-

жет быть, с целью внушить, что всякая уплата истекает из добровольной щедрости монарха. Самое сильное воображение было бы не в состоянии обнять бесконечных мелочей ежегодных трат на гражданское и военное управление всех частей громадной империи. Одна отчетность велась семьями чиновниками, распределенными между одиннадцатью различными конторами, которые были так искусно организованы, что могли проверять операции одна у другой. Число этих агентов имело наклонность к возрастанию, и не раз оказывалось нужным отсылать на родину бесполезных сверхштатных, которые, покинув свои честные земледельческие занятия, слишком необдуманно вступали в выгодную профессию финансовых чиновников. С государственным казначеем находились в постоянных письменных сношениях двадцать девять провинциальных сборщиков податей, из которых восемнадцать были отличены графским титулом; под его ведомством находились и рудники, из которых добывались драгоценные металлы, и монетные дворы, где они превращались в ходячую монету, и общественные казначейства самых важных городов, где они хранились на государственные нужды. Этот министр также заведовал иностранной торговлей и фабрикацией полотняных и шерстяных изделий, в которой все последовательные операции прядения, тканья и окрашивания исполнялись преимущественно женщинами рабского состояния для удовлетворения нужд дворца и армии. Таких заведений насчитывалось двадцать шесть на Западе, куда искусства проникли гораздо позже, а в промышленных восточных провинциях их, конечно, было еще больше.

5. Кроме государственных доходов, которые абсолютный монарх мог собирать и тратить по своему произволу, императоры в качестве богатых граждан владели очень обширными поместьями, которые управлялись графом или казначеем частной собственности. Некоторая ее часть, быть может, состояла из старинной собственности королей и покоренных республик; некоторые к ней прибавки, вероятно, были сделаны теми семействами, членам которых удавалось достигать престола, но самая значительная ее часть истекала из грязного источника конфискации и штрафов. Императорские поместья были разбросаны по разным провинциям от Мавритании до Британии, но богатая и плодородная почва Каппадокии побудила Константина приобрести в этой стране самые обширные из всех его поместий, и он сам или его преемники воспользовались удобным случаем, чтобы прикрыть свое корыстолюбие религиозным усердием. Они уничтожили богатый храм в Комане, где верховный жрец богини войны жил настоящим монархом, и присвоили себе освященные земли, на которых жили шесть тысяч подданных, или рабов богини, и ее священнослужителей. Но люди не были самыми ценными обитателями этой местности; на равнинах, простирающихся от подножия горы Аргей до берегов реки Сар, выводилась порода лошадей, которая ценилась в Древнем мире выше всех других за их великолепные формы и несравненную быстроту. Эти священные животные назначались для дворца и для императорских игр, и закон запрещал предоставлять их в собственность какому-либо вульгарному хозяину. Поместья в Каппадокии были достаточно значительны для того, чтобы быть предоставленными в заведование графа; чиновники низшего ранга заведовали поместьями в других частях империи, а заместители как частных императорских, так и государственных казначеев пользовались самостоятельностью при исполнении своих обязанностей и наблюдали за деятельностью провинциальных чиновников.

6, 7. Избранные отряды кавалерии и пехоты, охранявшие особу императора, находились под непосредственным начальством двух графов дворцовой

стражи. Они состояли из трех тысяч пятисот человек, разделенных на семь школ, или отрядов, в пятьсот человек каждый, а на Востоке эту почетную службу почти исключительно присвоили себе армяне. Когда во время публичных церемоний они выстраивались на дворе и в портиках дворца, их высокий рост, дисциплина и великолепное вооружение из серебра и золота представляли великолепное зрелище, достойное римского величия. Из семи школ выбирались в два отряда конницы и пехоты так называемые протекторы, или охранители, выгодное положение которых было целью и наградой самых заслуженных солдат. Они держали караулы во внутренних апартаментах, а иногда посылались в провинции для исполнения с быстротой и энергией приказаний своего повелителя. Графы дворцовой стражи заменили преторианских префектов и, подобно им, стремились перейти от дворцовой службы к командованию армиями.

Агенты, или официальные шпионы

Постоянные сношения между двором и провинциями были облегчены сооружением больших дорог и учреждением почт. Но к выгодам, которые доставлялись этими благотворными улучшениями, присоединилось пагубное и невыносимое злоупотребление. Под ведомством *Magister officiorum* состояли от двухсот до трехсот агентов, или гонцов, которые рассылались по провинциям для извещения об именах годовичных консулов и об эдиктах и победах императоров. Они постепенно присвоили себе право доносить обо всем, что им удавалось приметить касательно поведения должностных лиц и частных граждан, и на них скоро стали смотреть как на око монарха и как на бич народа. Под согревающим влиянием бесхарактерного монарха они размножились до невероятного числа десяти тысяч, пренебрегали частыми, хотя и мягкими, выговорами и совершали в доходной сфере почтовой администрации разные вымогательства и притеснения. Этих официальных шпионов, находившихся в постоянной переписке с дворцом, поощряли милостями и наградами за то, чтобы они тщательно отслеживали возникновение каких-либо изменнических замыслов, начиная со слабых и тайных выражений неудовольствия и кончая деятельными приготовлениями к открытому восстанию. Их небрежное или преступное нарушение правды и справедливости прикрывалось обычной личиной усердия, и они могли безопасно направлять свои отравленные стрелы в грудь и виновных, и невинных людей, навлекших на себя их нерасположение или не захотевших купить их молчание. Всякий верноподданный — все равно, жил ли он в Сирии или в Британии, — находился в опасности или, по меньшей мере, в страхе, что его отправят в цепях в миланский или в константинопольский суд для того, чтобы он защищал там свою жизнь и свое состояние против коварного обвинения этих привилегированных сыщиков. Обыденная администрация прибегала к этим средствам, которые могут находить для себя оправдание лишь в крайней необходимости, а недостаток улик с усердием восполнялся употреблением пытки.

Обманчивое и опасное применение к уголовным делам пытки (для которой было придумано выразительное название *quaestion*) было скорей терпимо, чем дозволено юриспруденцией римлян. Они применяли этот бесчеловечный способ расследования только к рабам, страдания которых редко взвешивались этими гордыми республиканцами на весах справедливости и человеколюбия; но они ни за что не согласились бы употребить насилие над священной личностью гражданина, если не имели самых ясных доказательств его виновности. Летописи тирании от царствования Тиберия до царствования Домициана подробно рассказывают о казнях многих невинных жертв, но, пока сохранялись хотя бы самые слабые воспоминания о народной свободе и народном достоинстве, последние

часы римлянина были ограждены от опасности позорной пытки. Однако провинциальные должностные лица не руководствовались в своем образе действий ни обычаями, установившимися в столице, ни строгими принципами юристов. Они нашли употребление пытки, установившимся не только между раболепными подданными восточных деспотов, но также между македонянами, жившими под ограниченной монархией, между родосцами, процветавшими благодаря свободе торговли, и даже между мудрыми афинянами, поддержавшими и возвысившими достоинство человеческого рода. Губернаторы, поощряемые одобрением жителей провинций, испросили себе или, может быть, незаконно присвоили неограниченное право употреблять орудия пытки для того, чтобы вынуждать от совершивших преступление бродяг или плебеев признание их виновности, но затем они постепенно стали смешивать различия общественного положения и перестали обращать внимание на привилегии римских граждан. Опасения подданных заставляли их испрашивать, а интересы монарха заставляли его разрешать изъятия, которые ограждали от пытки, но которые давались в такой форме, что в ней подразумевалось и даже дозволялось всеобщее ее употребление. Эти изъятия ограждали всех, кто принадлежал к рангу *Illustres* и *Spectabiles*, епископов и их пресвитеров, профессоров свободных искусств, солдат и их семейства, муниципальных чиновников и их потомства до третьего поколения и всех детей, еще не достигших возмужалости. Но в новую юриспруденцию империи вкрался пагубный принцип, что в делах о государственных преступлениях, — обнимавших собой всякие преступления, какие только могла усмотреть мелочная придирчивость юристов, во враждебных намерениях против монарха или республики, — все привилегии приостанавливаются и люди всех званий подводятся под один и тот же унижительный уровень. Так как личная безопасность императора открыто ставилась выше всяких соображений справедливости и человеколюбия, то от самых жестоких пыток не спасали ни преклонные лета, ни нежный юношеский возраст, и над головой самых выдающихся римских граждан постоянно висела опасность, что какой-нибудь доносчик укажет на них как на соучастников или даже как на свидетелей воображаемого преступления.

Финансы

Однако, как бы ни казалось ужасно это зло, оно ограничивалось небольшим числом римских подданных, опасное положение которых вознаграждалось в некоторой мере пользованием теми выгодами общественного положения и богатства, которые навлекали на них недоверие монарха. Но для населяющих обширную империю миллионов простого народа страшно не столько жестокосердие, сколько корыстолюбие их повелителей, и их скромное благополучие страдает главным образом от чрезмерных налогов, которые, слегка скользя по богачам, падают с усиленной тяжестью на низшие и самые бедные классы населения. Один остроумный философ нашел, что общий размер общественных налогов измеряется степенью свободы или рабства, и позволил себе утверждать, что, в силу неизменяемого закона природы, он всегда увеличивается вместе с первой и уменьшается до соразмерности со вторым. Но это соображение, клонящееся к тому, чтобы ослабить вред деспотизма, по меньшей мере, опровергается историей Римской империи, свидетельствующей о том, что одни и те же императоры отняли у сената его права, а у провинций их богатства. Не уничтожая различных пошлин и налогов с товаров, незаметным образом уплачиваемых покупателями в виде добровольной дани, Константин и его преемники предпочли им простой и непосредственный способ обложения, более согласный с духом самовластного правительства.

Название и употребление индиктов (indiction), которыми пользуются для уяснения хронологии средних веков, истекали из обычного способа взимания римских налогов. Император собственноручно подписывал красными чернилами публичный эдикт, или индикт, который выставлялся для общего сведения в главных городах каждой провинции в течение двух месяцев, предшествующих первому дню сентября. Вследствие весьма естественной связи понятий название индикт было перенесено на размер установленного им налога и на срок, назначенный для уплаты. Эта общая смета доходов была соразмерна с действительными или воображаемыми государственными нуждами, но всякий раз, когда расходы превышали доходы или когда доходы не поступали в предполагаемых размерах, на народ налагали дополнительную подать под названием *superindiction*, и этот самый дорогой из атрибутов верховной власти передавался преторианским префектам, которым дозволялось в некоторых случаях принимать по своему усмотрению меры для удовлетворения непредвиденных и чрезвычайных общественных нужд. Исполнение этих законов (изложение которых со всеми их мелочными и сложными подробностями показалось бы слишком утомительным) состояло из двух различных операций — из разложения общей суммы налогов на ее составные части, которые распределялись между провинциями, городами и отдельными обитателями Римской империи, и из собирания отдельных долей налога с частных лиц, городов и провинций, пока все собранные суммы не будут сданы в императорскую казну. Но так как счета между монархом и подданными никогда не заканчивались и так как возобновление требований предшествовало полному выполнению прежней обязанности, то тяжелая финансовая машина приводилась в движение в течение всего годового оборота одними и теми же руками. Все, что было достойного и важного в заведовании государственными доходами, поручалось мудрости префектов и их провинциальных представителей; прибыльных должностей искала масса низших чиновников, которые зависели частью от главного казначея, частью от губернатора провинции и которые при неизбежных столкновениях смешанной юрисдикции нередко имели случай оспаривать друг у друга собранную с народа добычу. Трудные должности, которые вели лишь к ненависти и упрекам, к расходам и опасностям, налагались на декурионов, из которых составлялись в городах корпорации и которые в силу строгих императорских законов должны были выносить на своих плечах все бремя гражданского управления. Вся земельная собственность империи (не исключая и вотчинных императорских поместий) была обложена обыкновенными налогами, и всякий новый покупатель принимал на себя обязательства прежнего собственника. Составление точного ценза, или кадастра, было единственным справедливым способом определить, в какой мере каждый гражданин должен был содействовать удовлетворению государственных нужд, и есть основание полагать, что с самого начала хорошо известного периода индиктов эта трудная и дорогостоящая операция повторялась регулярно через каждые пятнадцать лет. Земли измерялись рассылавшимися по провинциям надсмотрщиками, распределялись по разрядам, смотря по тому, были ли они пахотные или сенокосные, были ли они под виноградниками или под лесами, и затем их ценность определялась по средней доходности за пять лет. Число рабов и скота составляло существенную часть описи; владельцы должны были приносить клятву в том, что раскроют настоящее положение своих хозяйственных дел, а всякая с их стороны уловка или попытка уклониться от требований закона строго наказывалась как уголовное преступление, в котором государственная

измена соединялась со святотатством. Самая значительная часть податей уплачивалась деньгами, а из ходячей в империи монеты закон позволял принимать только золотую. Остальная часть податей в том размере, какой был назначен ежегодным индиктом, собиралась еще более прямым и еще более отяготительным способом. Смотря по свойству земель, их продукты, состоявшие в вине или оливковом масле, во ржи или ячмене, в лесе или железе, перевозились усилиями или за счет жителей провинций в императорские магазины, откуда они по мере надобности употреблялись на удовлетворение нужд двора, армии и двух столиц — Рима и Константинополя. Комиссарам казначейства так часто приходилось покупать различные продукты в больших размерах, что им было строго запрещено чем-либо заменять натуральные повинности или брать деньгами цену тех запасов, которые взыскивались натурой. При первобытной простоте небольших государств этот способ может быть удобен для сбора приношений, которые делаются народом почти добровольно, но при его применении возможны в одно и то же время и крайняя нестесняемость, и крайняя точность, а в нравственно испорченной и абсолютной монархии это неизбежно должно порождать постоянную борьбу между склонностью к притеснениям и ухищрениям плутовства. Земледелие в римских провинциях стало постепенно приходить в упадок, а при дальнейшем развитии деспотизма, постоянно стремящегося к своей собственной гибели, императоры были вынуждены ставить себе в заслугу прощение долгов и отмену налогов, которых решительно были не в состоянии уплатить их подданные. Плодородная и счастливая провинция Кампания, бывшая сценой первых римских побед и местом отдыха и наслаждений для римских граждан, занимала по новому разделению Италии пространство между морем и Апенниннами от Тибра до Силара. Через шестьдесят лет после смерти Константина вследствие произведенного освидетельствования были освобождены от налогов триста тридцать тысяч английских акров незаселенной и невозделанной земли, которые составляли одну восьмую часть всей провинции. Так как в ту пору варвары еще не ступили на землю Италии, то причину такого поразительного разорения, засвидетельствованного законодательством того времени, можно приписать нечему иному, как администрации римских императоров.

Поголовная подать

Намеренно или случайно законодатель установил такой способ податного обложения, в котором существенные условия поземельной подати, по-видимому, соединились с формами поголовного налога. В отчетах, присылавшихся из каждой провинции или из каждого округа, обозначалось число лиц, подлежащих податному обложению, и размер общего обложения. Последняя сумма делилась на первую, и не только по общепринятому обыкновению, но и по официальным выкладкам считалось, что в такой-то провинции столько-то *capita*, или голов, подлежащих податному обложению, и что на каждую голову приходится такая-то сумма налогов. Цена податной головы, конечно, изменялась сообразно с разными случайными или изменчивыми условиями, но до нас дошел очень интересный факт, которому мы придаем большую важность потому, что он касается одной из самых богатых римских провинций, составляющей в наше время одно из самых цветущих государств в Европе. Жадные министры Констанция истощили богатства Галлии вымогательством с каждой податной головы ежегодной уплаты двадцати пяти золотых монет. Человеколюбивая политика его преемника уменьшила поголовную подать до семи монет. Средний размер между этими противоположными крайностями, между чрезмерным угнетением и временной снисходительностью может быть определен в шестнад-

цать золотых монет, или почти в 9 фунт. ст., которые, вероятно, и составляли обыкновенный размер податного обложения Галлии. Но это вычисление или те факты, на которых оно основано, неизбежно должны возбудить два недоразумения в каждом мыслящем человеке, который должен быть поражен и равенством поголовной подати, и ее громадностью. Попытка объяснить эти недоразумения, быть может, прольет некоторый свет на положение, в котором находились финансы приходившей в упадок империи.

1. Очевидно, что пока неизменные свойства человеческой природы будут порождать и поддерживать неравное распределение собственности, равное между всеми распределение налогов лишило бы самую многочисленную часть населения всяких средств существования, а монарху доставило бы лишь очень ничтожный доход. Такова, быть может, была и теория римского поголовного обложения податями, но на практике это несправедливое равенство исчезало, и налог изыскивался так, как будто он был не личный, а имущественный. Несколько бедных граждан составляли все вместе одну податную голову, а богатый житель провинции, соразмерно со своим состоянием, один был представителем нескольких воображаемых существ этого рода. В поэтическом прошении к одному из последних и самых лучших римских монархов, царствовавших над Галлией, Сидоний Аполлинарий олицетворяет свою долю налога в виде тройного чудовища, изображенного в греческих баснословных сказаниях под именем Гериона, и просит нового Геркулеса оказать ему милость — спасти ему жизнь, отрубив его три головы. Состояние Сидония далеко превышало обыкновенные денежные средства поэтов, но если бы он развивал далее свою аллегорию, он мог бы изобразить многих галльских аристократов в виде стоглавой гидры, которая опустошала страну и поглощала достояние сотни семейств.

2. Трудно допустить, чтобы 9 фунт. ст. составляли средний размер ежегодной поголовной подати, уплачивавшейся Галлией, и это всего яснее будет видно из сравнения с теперешним положением этой страны в том виде, как она управляется абсолютным монархом промышленного, богатого и преданного народа. Ни страх, ни лезть не в состоянии увеличить размер ежегодно собираемых с Франции податей свыше 18 млн. фунт. ст., которые приходится разложить, быть может, на двадцать четыре миллиона жителей. Из них семь миллионов в качестве отцов, братьев или мужей уплачивают подати за остальное население, состоящее из женщин и детей; однако причитающаяся на каждого из этих плательщиков сумма налогов едва ли превысит пятьдесят шиллингов на наши деньги и будет почти вчетверо менее той суммы, которая взыскивалась с их галльских предков. Причину этой разницы следует искать не столько в сравнительном недостатке или изобилии золота или серебра, сколько в различном положении общества в древней Галлии и в новейшей Франции. Там, где личная свобода составляет привилегию каждого подданного, вся масса налогов — все равно, взыскивается ли она с собственников или потребителей, — может быть разложена на всю нацию. Но самая значительная часть земель и в древней Галлии, и в других римских провинциях возделывалась рабами или крестьянами, зависимое положение которых было лишь менее суровым рабством. При таких условиях бедные содержались на счет своих хозяев, пользовавшихся плодами их труда, а так как в списки плательщиков податей вносились имена лишь тех граждан, которые обладали широкими или, по меньшей мере, приличными средствами существования, то их сравнительной малочисленностью объясняется и оправдывается высокий размер их поголовного обложения. Основательность этого вывода может быть подтверждена следующим примером. Эдуи — одно из са-

мых могущественных и образованных племен, или гражданских общин Галлии, — занимали территорию, которая образует в настоящее время две церковных епархии, Отёнскую и Неверскую, и имеет более пятисот тысяч жителей, а если мы прибавим сюда Шалон и Массон, которые, вероятно, также входили в ее состав, то мы найдем население в восемьсот тысяч человек. Во времена Константина территория эдуев доставляла не более двадцати пяти тысяч податных голов, из которых семь тысяч были освобождены этим монархом от налога, которого они не были в состоянии уплачивать. Эти соображения, по-видимому, подтверждают путем аналогии мнение одного остроумного историка, что число свободных и облагаемых налогом граждан в Галлии не превышало полумиллиона, а если можно полагать, что при обыкновенной системе управления их ежегодные взносы простирались приблизительно до четырех с половиной миллионов фунтов стерлингов, то отсюда можно заключить, что хотя доля каждого плательщика была вчетверо более теперешней, тем не менее Галлия уплачивала лишь четвертую часть того, что теперь получается с Франции. Вымогательства Константина можно определить в 7 млн. фунт. ст., которые были уменьшены человеколюбием и мудростью Юлиана до 2 млн. фунт. ст.

Но это поголовное обложение землевладельцев не касалось одного богатого и многочисленного класса свободных граждан. Желая получить свою долю из того вида богатства, которое имеет своим источником искусство и труд и которое заключается в деньгах и товарах, императоры наложили особую личную подать на промышленный класс своих подданных. В пользу тех владельцев, которые продавали продукты своих собственных имений, были допущены некоторые изъятия, очень строго ограниченные и в отношении их продолжительности, и в отношении места; некоторое снисхождение было также оказано тем, кто посвящал себя свободным искусствам, но все другие отрасли торговли и промышленности подходили под строгость закона. И почтенный александрийский купец, привозивший из Индии для употребления западных жителей драгоценные камни и пряности, и ростовщик, втихомолку извлекавший из своих денег позорный доход, и искусный фабрикант, и трудолюбивый ремесленник, и даже самый ничтожный лавочник в какой-нибудь уединенной деревушке — все должны были делиться своими барышами со сборщиками податей, и, кроме того, государь римской империи, допускавший профессию публичной проституции, соглашался брать свою долю из ее позорных доходов. Так как общий налог на промышленность собирался раз в четыре года, то он был назван очистительным налогом, и историк Зосим скорбит о том, что приближение этого рокового срока возвещалось слезами и отчаянием тех граждан, которые из страха наказания были вынуждены прибегать к самым отвратительным и неестественным средствам, чтобы добыть необходимую сумму денег. Правда, нельзя сказать, чтобы свидетельство Зосима не отзывалось раздражительностью и предубеждением, но из самого свойства этого налога, как кажется, можно заключить, что он был произвольным в том, что касалось его распределения, и крайне стеснительным по способу его собирания. Тайные богатства торговли и непрочные доходы искусства и труда доступны лишь для произвольной оценки, которая редко бывает невыгодна для казны; а так как личность торговца заменяет видимое и постоянное обеспечение уплаты налога, который всегда может быть взыскан с землевладельца путем конфискации его земельной собственности, то против торговца не было другой принудительной меры, кроме телесных наказаний. Жестокое обхождение с несостоятельными государственными должниками было засвидетельствовано и, может быть,

смягчено очень человеколюбивым эдиктом Константина, который отменил употребление пыток и плети и отвел для содержания должников просторные и доступные для свежего воздуха тюрьмы.

Добровольные подарки

Эти общие подати налагались и взыскивались абсолютной властью монарха; но случайные приношения коронного золота все еще сохраняли название и внешнюю форму добровольных даяний. В силу старинного обычая, и союзники республики, приписывавшие свою безопасность или свое спасение успехам римского оружия, и итальянские города, восхищавшиеся доблестями своих победоносных генералов, украшали их триумф добровольными приношениями золотых венков, которые по окончании церемонии складывались в храме Юпитера для того, чтобы навсегда служить напоминанием о совершенных подвигах. Развитие усердия и лести скоро увеличило число и расширило размеры этих народных приношений, так что триумф Цезаря был украшен двумя тысячами восьмьюстами двадцатью двумя массивными золотыми венками, весившими около двадцати тысяч четырехсот четырнадцати фунтов. Благоразумный диктатор немедленно приказал обратить это сокровище в слитки в той уверенности, что его солдатам оно будет более полезно, чем богам; его примеру стали следовать его преемники, и скоро вошло в обычай заменять эти роскошные украшения более полезным приношением чеканной золотой монеты. В конце концов добровольных приношений стали требовать как исполнения долга, и вместо того чтобы ограничить их церемониями триумфа, стали взыскивать их с различных городов и провинций империи всякий раз, как император удостоивал их извещением о своем вступлении на престол, о принятии консульского звания, о рождении сына, о назначении нового Цезаря, о победе над варварами или о каком-либо другом действительном или мнимом событии, способном украсить летописи его царствования. Добровольное приношение римского сената было установлено обычаем в тысячу шестьсот фунтов золота, или почти в 64 тыс. фунт. ст. Угнетенные подданные выражали свою радость по поводу того, что их государь милостиво соглашался принять это слабое, но добровольное доказательство их преданности и признательности.

Народ, который напыщен гордостью, точно так же, как и тот, который ожесточен от страданий, не в состоянии верно оценить своего действительного положения. Подданные Константина не были способны сознавать того упадка гениальности и благородных доблестей, который низвел их на столь низкое положение в сравнении с тем, чем были их предки; но они были в состоянии чувствовать и оплакивать ярость тирании, распущенность дисциплины и увеличение налогов. Беспристрастный историк, признающий основательность их жалоб, усмотрит некоторые благоприятные обстоятельства, клонившиеся к тому, чтобы облегчить их горестное положение. Грозные нашествия варваров, которые так скоро вслед за тем разрушили фундамент римского величия, все еще отражались или сдерживались на границах империи. Искусства и науки делали успехи, и обитатели значительной части земного шара наслаждались изящными удовольствиями общественной жизни. Формы, роскошь и расходы гражданского управления способствовали тому, чтобы сдерживать своеволие солдат, и, хотя законы нарушались деспотизмом или извращались лукавством, мудрые принципы римской юриспруденции все еще поддерживали понятия о порядке и справедливости, незнакомые деспотическим правительствам Востока. Права человечества находили для себя некоторую защиту в религии и философии, а слово «свобода», уже не наводившее никакого страха на преемников Августа, могло напоминать им, что они царствуют не над рабами и не над варварами.

**Характер Константина. — Его преемники. —
Мотивы и последствия обращения Константина
в христианство. — Устройство христианской
или Католической Церкви.
(306–408 гг.)**

Глава 8 (XVIII–XX)

Характер государя, переместившего столицу империи и внесшего столь важные изменения в гражданские и религиозные учреждения своей страны, обратил на себя общее внимание и вызвал самые противоположные отзывы. Признательное усердие христиан украсило освободителя церкви всеми атрибутами героя и даже святого, тогда как ненависть побежденной партии сравнивала его с самыми отвратительными из тех тиранов, которые бесчестили императорское звание своими пороками и слабостями. Такое же пристрастие в суждениях сохранилось в некоторой степени у следующих поколений, так что даже в наше время личность Константина служит предметом или сатиры, или панегириков. Мы постараемся беспристрастно указать и те недостатки, которые находят в нем даже самые горячие из его почитателей, и те добродетели, которые признают в нем даже самые непримиримые его враги; тогда нам, может быть, удастся нарисовать такой верный портрет этого необыкновенного человека, который мог бы быть одобрен не краснея беспристрастной и правдивой историей. Но с первого же шага нам становится ясно, что тщетная попытка сочетать столь несходные между собой черты и согласить столь несовместимые одно с другим свойства должны создать скорее чудовищный, нежели человеческий образ, если мы не выставим его в надлежащем свете посредством тщательного разъединения различных периодов царствования Константина.

Природа украсила самыми лучшими своими дарами и наружность, и ум Константина. Он был высок ростом, его осанка была величественна, его манеры были изящны, его сила и ловкость обнаруживались во всех физических упражнениях, и с самой ранней молодости до самого преклонного возраста он сохранил крепость своего сложения тем, что строго держался добродетелей семейной жизни, — целомудрия и воздержанности. Он находил удовольствие в интимной беседе, и хотя он иногда увлекался своей склонностью к насмешкам, забывая, что при его высоком положении необходимо быть сдержанным, тем не менее вежливость и любезность его обхождения располагали в его пользу всех, кто имел к нему доступ. Его обвиняли в том, что в его дружбе не было искренности, однако в некоторых случаях он доказал, что был способен к горячей и прочной привязанности. Его недостаточное образование не мешало ему понимать всю цену знания, и его щедрое покровительство не оставляло без поощрений ни искусств, ни наук. В деловых занятиях его деятельность была неутомима, и он почти непрерывно упражнял активные способности своего

ума чтением, письмом, размышлением, аудиенциями, которые давал послам, и рассмотрением жалоб своих подданных. Даже те, кто порицали его распоряжения, были вынуждены сознаться, что он имел достаточно умственного величия, чтобы замышлять самые трудные предприятия, и достаточно терпения, чтобы приводить их в исполнение, не останавливаясь ни перед предрассудками, внушенными ему воспитанием, ни перед криками толпы. На поле сражения он умел сообщать свою собственную неустрашимость войскам, которыми он командовал с искусством самого опытного полководца, и скорей его дарованиям, чем его счастью, должны мы приписывать славные победы, одержанные им над внешними и внутренними врагами республики. Он любил в славе награду и, может быть, мотив понесенных им трудов. Безграничное честолюбие, которое с момента принятия им императорского звания в Йорке, по-видимому, было господствующей страстью его души, может быть оправдано и опасностями его собственного положения, и характером его соперников, и сознанием своих превосходств, и надеждой, что успех даст ему возможность восстановить спокойствие и порядок в расшатанной империи. Во время своих войн с Максенцием и Лицинием он умел расположить в свою пользу народ, сравнивавший наглые пороки этих тиранов с благоразумием и справедливостью, которые, по-видимому, руководили управлением Константина.

Такое или почти такое понятие составило бы себе потомство о характере Константина, если бы он пал на берегах Тибра или даже позднее на равнинах близ Адрианополя. Но остальные годы его царствования (по умеренному и поистине снисходительному приговору одного писателя того же века) низвели его с того высокого положения, которое он мог бы занимать наряду с самыми лучшими римскими монархами. В жизни Августа мы видим тирана республики, почти незаметным образом превращающегося в отца своего отечества и всего человеческого рода. А в жизни Константина мы видим героя, который в течение долгого времени внушал своим подданным любовь, а своим врагам — страх, но затем превратился в жестокосердного деспота, или развратившегося вследствие избытка счастья, или полагавшего, что его величие освобождает его от необходимости лицемерить. Всеобщий мир, который он поддерживал в последние четырнадцать лет своего царствования, был периодом скорее наружного блеска, чем действительного благосостояния, а его старость была опозорена двумя пороками, которые хотя и противоположны один другому, но совместимы один с другим, — жадностью и расточительностью. Огромные сокровища, найденные в дворцах Максенция и Лициния, были израсходованы с безрассудной нерасчетливостью; различные нововведения, придуманные завоевателем, сопровождалось увеличением расходов; новые постройки, содержание двора и празднества безотлагательно требовали огромных денежных средств, а угнетение народа было единственным фондом, из которого могла питаться императорская роскошь. Недостойные любимцы Константина, обогатившиеся безграничной щедростью своего повелителя, безнаказанно присваивали себе право грабить и развращать граждан. Во всех сферах общественного управления чувствовалось незаметное, но всеобщее распадение, и, хотя сам император все еще находил в своих подданных готовность к повиновению, он постепенно утрачивал их уважение. Одежда и манера себя держать, усвоенные им в конце его жизни, только унижали его в глазах каждого. Азиатская пышность, усвоенная гордостью Диоклетиана, приобрела в лице Константина отпечаток мягкости и изнеженности. Его изображают с фальшивыми волосами различных цветов, тщательно при-

чесанными каким-нибудь искусным парикмахером того времени; на нем диадема, нового и дорогого фасона, множество драгоценных камней и жемчуга, ожерельев и браслетов и длинное пестрое шелковое одеяние, искусно вышитое золотыми цветами. Под таким нарядом, который едва ли можно было бы извинить молодостью и безрассудством Гелиогабала, мы напрасно стали бы искать мудрости, приличной престарелому монарху, и простоты, приличной римскому ветерану. Его душа, расслабевшая от избытка счастья и от потворства, была не способна возвышаться до того великодушия, которое гнушается подозрениями и осмеливается прощать. Казнь Максимиана и Лициния, пожалуй, можно оправдывать теми политическими принципами, которым учат в школах тиранов; но беспристрастное повествование о казнях или, скорее, об убийствах, запятнавших последние годы Константина, даст читателю понятие о таком монархе, который для удовлетворения своих страстей и своих интересов охотно приносил им в жертву и законы справедливости, и чувства, внушаемые природой.

Такое же счастье, какое не изменяло Константину в его военных предприятиях, по-видимому, обеспечивало будущность его рода и осыпало его всеми радостями семейной жизни. Те из его предшественников, которые наслаждались самым продолжительным и благополучным царствованием, — Август, Траян и Диоклетиан — не оставили после себя потомства, а частые перевороты не дали ни одному императорскому семейству достаточно времени, чтобы успеть разрастись и умножиться под сенью престола. Но царственный род Флавиев, впервые облагороженный Клавдием Готским, поддерживался в течение нескольких поколений, и сам Константин унаследовал от своего отца те царственные отличия, которые он оставил своим детям. Император был женат два раза. Минервина — незнатный, но законный предмет его юношеской привязанности — оставила ему только одного сына по имени Крисп. От дочери Максимиана Фаусты у него было три дочери и три сына, известных под именами Константина, Констанция и Константа. Лишенным честолюбия братьям Константина Великого — Юлию Констанцию, Далмацию и Аннибалиану — было дозволено пользоваться самым почетным рангом и самым огромным состоянием, какие только совместимы с положением частных людей. Младший из трех братьев жил в неизвестности и умер, не оставив потомства. Его старшие братья женились на дочерях богатых сенаторов и расплодили новые ветви императорского дома. Галл и Юлиан сделались впоследствии самыми знаменитыми из детей Юлия Констанция, патриция. Два сына Далмация, украшенного пустым титулом цензора, звались Далмацием и Аннибалианом. Две сестры Константина Великого, Анастасия и Евтропия, были замужем за Оптатом и Непоцианом — двумя сенаторами знатного происхождения и консульского звания. Его третья сестра Констанция отличалась от остальных блеском своего положения и постигшими ее впоследствии несчастьями. Она оставалась вдовой побежденного Лициния, от которого имела одного сына; благодаря ее мольбам этот невинный ребенок сохранил на некоторое время жизнь, титул Цезаря и сомнительную надежду наследовать императорский престол. Кроме этих женщин и дальних родственников рода Флавиев, было еще десять или двенадцать лиц мужского пола, которых, по принятому при новейших дворах способу выражения, можно было бы назвать принцами крови и которые были, по-видимому, предназначены по порядку своего рождения наследовать или поддерживать трон Константина. Но менее чем через тридцать лет от этого многочисленного и по-

стоянно увеличивавшегося семейства остались только Констанций и Юлиан, пережившие ряд таких же преступлений и бедствий, какие оплакивали трагические поэты, говоря о потомках Пелопа и Кадма.

Смерть Константина. 337 г.

Достигнув шестидесятичетырехлетнего возраста, Константин после кратковременной болезни окончил свою достопамятную жизнь в Аквирионском дворце, в одном из предместий Никомедии, куда он переехал, чтобы пользоваться здоровым воздухом и в надежде восстановить свои истощенные силы употреблением теплых ванн. Необыкновенные выражения общественной скорби или, по меньшей мере, печали превзошли все, что прежде делалось в подобных случаях. Несмотря на требования сената и народа древнего Рима, тело умершего императора было перенесено, согласно с его предсмертной волей, в тот город, которому было суждено увековечить имя и память своего основателя. Труп Константина, украшенный бесполезными символами величия, багрянницей и диадемой, был положен на золотом ложе в одном из апартаментов дворца, великолепно по этому случаю убранном и освещенном. Правила придворного этикета строго соблюдались. Каждый день в назначенные часы главные государственные, военные и придворные сановники приближались к особе своего государя, преклоняли колена и выражали ему свою почтительную преданность так же серьезно, как если бы он был еще в живых. Из политических расчетов это театральное представление продолжалось в течение некоторого времени, а лезть не преминула воспользоваться этим удобным случаем, чтобы утверждать, что вследствие особой милости Провидения только один Константин еще царствовал после своей смерти.

Но это посмертное царствование было лишь кажущимся, и скоро пришлось убедиться, что воля самого неограниченного монарха редко исполняется, когда его подданные уже не могут ожидать от него никаких новых милостей и перестали бояться его гнева. Те же самые министры и генералы, которые преклонялись перед бездыханным трупом своего умершего государя с таким почтительным благоговением, вступили в тайные между собой переговоры с целью лишить двух племянников Константина, Далмация и Аннибалиана, той доли, которую он им назначил в наследство. Мы слишком мало знакомы со двором Константина, чтобы быть в состоянии составить себе какое-нибудь понятие о мотивах, влиявших на вожаков заговора; мы можем только предполагать, что ими руководили зависть и ненависть к префекту Аблавию — этому надменному фавориту, так долго заведовавшему делами управления и злоупотреблявшему доверием покойного императора. Но нам нетрудно догадаться, с помощью каких аргументов они старались приобрести содействие солдат и народа: они могли, не нарушая приличий и не оскорбляя справедливости, настоятельно указывать на более высокое положение детей Константина, на то, как опасно увеличивать число монархов, и на угрожавшие республике неизбежные бедствия, которые должны были произойти от раздоров между столькими монархами, не связанными между собой нежными узами братской привязанности. Интрига велась с усердием и оставалась в тайне до той минуты, когда войска громко и единодушно объявили, что они не допустят, чтобы кто-нибудь царствовал над Римской империей, кроме сыновей их оплакиваемого монарха. Юный Далмаций был связан со своими двоюродными братьями узами дружбы и общности интересов и, как уверяют, унаследовал в значительной мере дарования Константина Великого, но в настоящем случае он, как кажется, не принял никаких мер, чтобы поддержать силой оружия права, кото-

рые и он сам, и его царственный брат получили от своего щедрого дяди. Они были до того озадачены и подавлены взрывом народной ярости, что, будто лишившись и способности бежать, и способности сопротивляться, отдались в руки своих непримиримых врагов. Их участь оставалась нерешенной до прибытия Констанция — второго и, как кажется, самого любимого сына Константина.

На сыновнюю привязанность Констанция император возложил перед смертью заботу о своем погребении, а этот принц, благодаря близости своей восточной резиденции, легко мог предупредить приезд своих братьев, из которых один жил в Италии, а другой в Галлии. Когда он поселился в константинопольском дворце, его первой заботой было устранить опасения своих родственников и дать им торжественную клятву, служившую ручательством за их безопасность. Его следующей заботой было нахождение какого-нибудь благовидного предложения, чтобы освободить свою совесть от бремени необдуманного обещания. Коварство сделалось орудием его жестокосердных замыслов, и подлинность явно подложного документа была удостоверена лицом, облеченным в самое священное звание. Из рук епископа Никомедии Констанций принял роковой сверток, будто бы заключающий в себе подлинное завещание его отца; в этом документе покойный император высказывал подозрение, что он был отравлен своими братьями, и умолял своих сыновей отомстить за его смерть и обеспечить свою собственную безопасность наказанием виновных. Каковы бы ни были резоны, на которые могли бы сослаться эти несчастные принцы в защиту своей жизни и чести против столь невероятного обвинения, они должны были умолкнуть перед неистовыми криками солдат, взявших на себя роль и их врагов, и их судей, и их палачей. И дух законов, и даже легальные формы судопроизводства были неоднократно нарушены при этой всеобщей резне, в которой погибли двое дядей Констанция, семеро его двоюродных братьев (между которыми самыми выдающимися были Далмаций и Аннибалиан), патриций Опат, женатый на сестре покойного императора, и префект Аблавий, который, полагаясь на свое могущество и свое богатство, возымел надежду достигнуть престола. Если бы мы хотели усилить ужас этой кровавой сцены, мы могли бы прибавить ко всему сказанному, что сам Констанций был женат на дочери своего дяди Юлия и что он отдал свою сестру в супружество своему двоюродному брату Аннибалиану. Эти родственные связи между различными ветвями царствующего дома, устроенные Константином из политических расчетов без всякого внимания к народному предрассудку, послужили лишь доказательством того, что эти принцы были столько же равнодушны ко всему, что есть привлекательного в супружеской привязанности, сколько они были нечувствительны к узам кровного родства и к трогательным мольбам юности и невинности. Из столь многочисленного семейства только два меньших сына Юлия Констанция — Галл и Юлиан — укрывались от руки убийц до тех пор, пока их ярость, насытившись кровью, несколько стихла. Император Констанций, который в отсутствие своих братьев, по-видимому, был более всех виновен в том, что случилось, впоследствии иногда обнаруживал слабое и преходящее раскаяние в тех жестокостях, на которые вынудили его неопытную юность коварные советы его министров и непреодолимое насилие войск.

Разделение империи

За избиением рода Флавиев последовало новое разделение провинций, утвержденное на личном совещании между тремя братьями. Старший из Цезарей Константин получил вместе с некоторыми преимуществами ранга обладание новой столицей, носившей и его собственное имя, и имя его отца.

Разрозненные провинции империи снова соединились в одно целое благодаря победам Констанция; но так как этот слабодушный монарх не имел никаких личных дарований ни для мирных, ни для военных занятий, так как он боялся своих генералов и не доверял своим министрам, то успехи его оружия привели лишь к тому, что утвердили над римским миром господство евнухов. Эти несчастные существа — старинный продукт восточной ревности и восточного деспотизма — были введены в Грецию и Рим заразой азиатской роскоши. Их успехи были очень быстры; во времена Августа на них смотрели с отвращением как на уродливую свиту египетской королевы, но после того они постепенно втерлись в семьи матрон, сенаторов и самих императоров.

Строгие эдикты Домициана и Нервы препятствовали их размножению, гордость Диоклетиана благоприятствовала им, а благоразумие Константина низвело их до очень скромного положения; но в дворцах недостойных сыновей Константина они скоро размножились и постепенно приобрели сначала знакомство с тайными помыслами Констанция, а потом и управление ими. Отвращение и презрение, с которыми все относились к этому уродливому разряду людей, будто развратили их и придали им ту неспособность ко всякому благородному чувству или благородному поступку, которую им приписывало общее о них мнение. Но евнухи были искусны в лести и в интригах, и они управляли Констанцием то при помощи его трусливости, то при помощи его лености, то при помощи его тщеславия. В то время как обманчивое зеркало представляло его взорам приятную картину общественного благополучия, он из небрежности не мешал им перехватывать жалобы угнетенных провинций, накапливать огромные богатства продажей правосудия и почестей, унижать самые важные должности раздачей их тем, кто покупал у них деспотическую власть, и удовлетворять свою ненависть к тем немногим самостоятельным людям, которые из гордости не искали покровительства рабов. Между этими рабами самым выдающимся был камергер Евсевий, управлявший и монархом, и дворцом с такой неограниченной властью, что, по саркастическому выражению одного беспристрастного историка, Констанций пользовался некоторым кредитом у своего надменного фаворита. Благодаря его коварным внушениям император согласился утвердить смертный приговор над несчастным Галлом и прибавить новое преступление к длинному списку бесчеловечных убийств, запятнавших честь Константинова рода.

Воспитание Галла и Юлиана

Когда два племянника Константина, Галл и Юлиан, были спасены от ярости солдат, первому из них было около двенадцати лет, а второму — около шести; а так как старший, по общему мнению, был слабого сложения, то Констанций из притворного сострадания не лишил их обоих права на ничем не обеспеченное и зависимое существование, сознавая, что казнь этих беззащитных сирот считалась бы всеми за самый отвратительный акт предумышленной жестокости. Местом их ссылки и воспитания были назначены различные города, для одного — в Ионии, для другого — в Вифинии; но лишь только они достигли такого возраста, который мог возбуждать опасения, император счел более благоразумным принять против этих несчастных юношей меры предосторожности и приказал заключить их в крепость Мацеллум, вблизи от Кесарии. С ними обходились в течение их шестилетнего заключения частью так, как мог бы обходиться заботливый попечитель, и частью так, как мог бы обходиться недоверчивый тиран. Тюрьмой для них служил старинный дворец,

бывший резиденцией королей Каппадокии; положение было красиво, здания великолепны, а огороженное место обширно. Их учебными занятиями и физическими упражнениями руководили самые искусные наставники, а многочисленная свита, назначенная для того, чтобы состоять при племянниках Константина, или, скорее, для того, чтобы стеречь их, не была недостойна их высокого происхождения. Но они не могли не сознавать, что они были лишены и своего состояния, и свободы, и безопасности, что они были удалены от общества всех тех, к кому они могли питать доверие и уважение, и что они были вынуждены проводить свою печальную жизнь в обществе рабов, готовых исполнять приказания тирана, который причинил им так много зла, что примирение с ним было невозможно. Впрочем, государственные соображения в конце концов принудили императора, или, верней, его евнухов, возвести двадцатичетырехлетнего Галла в звание Цезаря и упрочить этот политический союз бракосочетанием Галла с принцессой Константиной. После официального свидания, на котором оба монарха взаимно обязались никогда ничего не предпринимать во вред один другому, они немедленно разъехались в разные стороны: Констанций продолжал свой поход на запад, а Галл избрал своим местопребыванием Антиохию, откуда стал управлять пятью большими диоцезами восточной префектуры в качестве императорского делегата. При этой счастливой перемене новый Цезарь не позабыл и о своем брате Юлиане, который получил подобающие его положению отличия, внешний вид свободы и значительное родовое состояние. И те писатели, которые были особенно снисходительны к памяти Галла, и сам Юлиан, старавшийся скрыть слабости своего брата, — все были вынуждены сознаться, что новый Цезарь был не способен царствовать. Перейдя прямо из тюрьмы на престол, он не принес с собой ни ума, ни прилежания, ни понятливости, которые могли бы восполнить недостаток знаний и опытности. Одиночество и несчастье, вместо того чтобы смягчить его характер, от природы угрюмый и свирепый, еще более ожесточили его; воспоминания о том, что он претерпел, располагали его скорее к мстительности, нежели к состраданию, и необузданные взрывы его гнева нередко бывали губительны для тех, кто имел к нему доступ или кто зависел от его власти. Жена его Константина, как говорят, была похожа не на женщину, а на одну из адских фурий, мучимых неутолимой жаждой человеческой крови. Вместо того чтобы пользоваться своим влиянием на мужа для внушения ему кротости и человеколюбия, она раздражала его пылкие страсти, а так как она отказалась от свойственного ее полу мягкосердечия, но не отказалась от свойственного ему тщеславия, то у нее можно было купить за жемчужное ожерелье смертную казнь одного невинного, отличавшегося и знатностью своего происхождения, и своими добродетелями. Жестокосердие Галла иногда выражалось открыто в избиении народа или в казнях лиц военного звания, а иногда оно прикрывалось употреблением во зло законов и формальностями судопроизводства. В Антиохии и дома частных лиц, и места общественных увеселений осаждались шпионами и доносчиками, и сам Цезарь, переодевшись в плебейское платье, очень часто принимал на себя эту отвратительную роль. Все дворцовые апартаменты были украшены орудиями смертной казни и пытки, и вся столица Сирии была объята ужасом. Как будто сознавая, как опасно его положение и как он мало достоин верховной власти, восточный монарх избирал жертв своей ярости или между жителями провинций, обвиненными в каком-нибудь вымышленном государственном преступлении, или между своими собственными царедворцами, которых он не без основания

подозревал в том, что своей секретной перепиской они раздражают робкого и недоверчивого Констанция. Но при этом он забывал, что он лишил себя своей единственной опоры — народной привязанности, тогда как своим врагам он давал в руки орудие истины, а императору доставлял самый благовидный предлог, для того чтобы лишить его и короны, и жизни.

Пока междоусобная война оставляла нерешенной судьбу римского мира, Констанций притворялся, будто ничего не знает о слабостях и жестокосердии правителя, которому он поручил восточные провинции, а поимка нескольких убийц, подсланных в Антиохию галльским тираном, распространила общее убеждение, что императора и Цезаря соединяют одни и те же интересы и что у них одни и те же враги. Но когда победа склонилась на сторону Констанция, его зависимый соправитель сделался и менее полезным, и менее опасным. Все подробности его поведения были исследованы со строгостью и с недоверием, и было втайне решено или лишить Галла власти, или, по меньшей мере, переместить его из Азии, где он жил среди бездействия и роскоши, в Германию, где он был бы окружен лишениями и опасностями военной жизни. Смерть консулара сирийской провинции Феофила, убитого во время голода жителями Антиохии с одобрения или почти по подстрекательству Галла, была вполне основательно признана не только за акт безрассудной жестокости, но и за опасное оскорбление верховного величия Констанция. Два уполномоченных высшего ранга, восточный префект Домициан и дворцовый квестор Монтий, были командированы с поручением ревизовать восточную администрацию и провести в ней нужные реформы. Им было приказано обходиться с Галлом вежливо и почтительно и путем кротких убеждений склонить его к исполнению желаний его брата и соправителя. Опрометчивость префекта пренебрегла такими благоразумными приемами и ускорила как его собственную гибель, так и гибель его врага. Прибыв в Антиохию, Домициан презрительно проехал мимо ворот дворца и, ссылаясь на легкое нездоровье, провел несколько дней в уединении, составляя полную раздражения записку, которую он отослал императорскому правительству. Наконец, уступая настоятельным просьбам Галла, префект согласился занять свое место в его совете; он начал с того, что предъявил Цезарю в кратких и заносчивых выражениях требование немедленно отправиться в Италию, предупреждая его, что накажет за медленность или колебания прекращением выдачи его придворному штату жалованья. Племянник и дочь Константина, будучи не в состоянии вынести такую дерзость от подданного, выразили свой гнев тем, что приказали своей страже немедленно арестовать Домициана. Эта ссора еще могла окончиться примирением, но примирение сделалось невозможным вследствие неблагоразумной выходки Монтия, государственного человека, даровитого и опытного, но не всегда умевшего владеть самим собой. Квестор надменным тоном заметил Галлу, что принц, едва имеющий право сместить какого-нибудь муниципального чиновника, не смеет подвергать аресту преторианского префекта; затем он созвал гражданских чиновников и офицеров и потребовал от имени их государя, чтобы они защитили особу и достоинства его представителей. Это опрометчивое объявление войны вывело из терпения раздражительного Галла и заставило его прибегнуть к самым крайним мерам. Он приказал своей гвардии взяться за оружие, созвал жителей Антиохии и поручил им охрану своей особы и отмщение за нанесенную ему обиду. Его приказания были исполнены с немилосердной точностью. Толпа схватила префекта и кве-

стора, связала их ноги веревками, потащила их по улицам, нанося им тысячи оскорблений и ран, и, наконец, бросила их изуродованными и бездыханными в реку Оронт.

Каковы бы ни были замыслы Галла, но после такого деяния он мог бы защищать свою невинность с какой-нибудь надеждой на успех только на поле битвы. Но характер этого принца был равномерным сочетанием запальчивости и слабодушия. Вместо того чтобы принять титул Августа и воспользоваться для своей защиты войсками и сокровищами Востока, он положился на притворное спокойствие Констанция, который, не мешая ему по-прежнему содержать великолепный двор, постепенно отозвал из азиатских провинций испытанные в войне легионы. Но так как все еще считалось опасным арестовать Галла в его столице, то против него было с успехом употреблено медленное, но более верное орудие лицемерия. Констанций часто присылал ему письма с выражениями доверия и дружбы, настоятельно убеждая его исполнить обязанности своего высокого звания, сложить со своего соправителя хоть некоторую долю государственных забот и помочь ему в управлении западом и своим присутствием, и своими советами, и своими военными силами. После стольких взаимных оскорблений Галл имел полное основание опасаться и не доверять. Но он не воспользовался удобными случаями для бегства и для сопротивления; его увлекли лстивые уверения трибуна Скудилы, который скрывал под маской сурового солдата самую хитрую вкрадчивость, и он рассчитывал на влияние своей жены Константины, пока ее преждевременная смерть не довершила гибели, в которую он был вовлечен ее буйными страстями.

Опала и смерть Галла

После долгой нерешительности Цезарь наконец отправился в императорскую резиденцию. От Антиохии до Адрианополя он ехал по своим обширным владениям с многочисленной и блестящей свитой, а так как он старался скрывать тревожившие его опасения от всех и, может быть, от самого себя, то он устроил для увеселения константинопольского населения игры в цирке. Впрочем, при своем дальнейшем следовании он мог догадаться об угрожавшей ему опасности. Во всех главных городах он находил императорских уполномоченных, которым было поручено брать в свои руки местное управление, следить за каждым его шагом и наблюдать за тем, чтобы он не пустился с отчаяния на какие-нибудь безрассудства. Лица, командированные с поручением вступить в управление покинутыми им провинциями, холодно приветствовали его при встрече или же относились к нему с пренебрежением, а войска, стоявшие на пути, тщательно отводились в сторону при его приближении из опасения, чтобы они не предложили ему своих услуг для междоусобной войны. После того как Галлу было дозволено отдохнуть несколько дней в Адрианополе, он получил написанное самым высокомерным и повелительным тоном приказание, оставить в этом городе свою блестящую свиту и поспешить в миланскую императорскую резиденцию только с десятью почтовыми каретами. Во время этого быстрого переезда глубокое уважение, с которым прежде относилась к брату и соправителю Констанция, постепенно перешло в грубую фамильярность, а Галл, заметивший из обхождения окружающих, что они уже считают себя его стражами и что они могут скоро сделаться его палачами, начал обвинять себя в пагубной опрометчивости и вспоминать с ужасом и с угрызениями совести о тех поступках, которыми он подготовил себе такую участь. Соблюдавшиеся до тех пор внешние приличия были отложе-

ны в сторону по прибытии в Петовию в Паннонии. Его отвезли в загородный дворец, где ожидал его прибытия генерал Барбацио с отрядом избранных солдат, которые не были доступны ни чувству сострадания, ни подкупу. С наступлением ночи он был арестован; с него позорным образом сорвали внешние отличия цезарьского звания и отвезли в Полу, в Истрии, — в уединенную тюрьму, так еще недавно запятнанную царской кровью. Овладевший им ужас скоро еще усилился при появлении его непримиримого врага евнуха Евсевия, который при помощи одного нотариуса и одного трибуна приступил к его допросу касательно управления восточными провинциями. Цезарь, подавленный тяжестью своей вины и своего позора, признался во всех своих преступлениях и во всех изменнических замыслах, в которых его обвиняли, а тем, что он приписал их советам своей жены, он усилил негодование Констанция, который стал рассматривать произведенное следствие с неблагоприятным для него пристрастием. Император легко убедился, что его собственная безопасность несовместима с жизнью его двоюродного брата: смертный приговор был подписан, отправлен и приведен в исполнение; племянник Константина со связанными сзади руками был обезглавлен в тюрьме как самый низкий злодей. Те, которые стараются оправдать жестокосердие Констанция, утверждают, что он скоро одумался и отменил кровавое приказание, но что его гонец, посланный с приказанием не исполнять приговора, был задержан евнухами, боявшимися мстительности Галла и желавшими присоединить к своим владениям богатые восточные провинции.

Кроме царствующего императора, из многочисленного потомства Констанция Хлора оставался в живых один Юлиан. Так как он имел несчастье принадлежать к царскому роду, то и на нем отразилось несчастье, постигшее Галла. Из своего уединения в счастливой Ионии он был отправлен под сильным конвоем в миланскую резиденцию и томился там более семи месяцев в постоянном опасении подвергнуться такой же позорной казни, какой ежедневно подвергали, почти перед его глазами, друзей и приверженцев его семейства. За его взглядами, за его телодвижениями, за его молчанием следили с недоброжелательным любопытством, и он должен был постоянно бороться с такими врагами, которых он никогда ничем не обидел, и с такими хитростями, с которыми он никогда не был знаком. Но в школе несчастья Юлиан постепенно приобрел твердость и самообладание. Он защищал и свою честь, и свою жизнь против коварных пронырств евнухов, которые всячески старались выведать его намерения, а благоразумно сдерживая свою скорбь и ожесточение, он не унижался до того, чтобы льстить тирану притворным одобрением казни своего брата. Юлиан из чувства благочестия приписывал свое чудесное спасение покровительству богов, исключивших его, ради его невинности, из смертного приговора, который они произнесли в своей справедливости над нечестивым семейством Константина. За самое действительное орудие их покровительства он считал неизменную и великодушную благосклонность императрицы Евсевии — женщины, отличавшейся красотой и личными достоинствами и пользовавшейся влиянием, которое она имела на своего мужа, для того чтобы в некоторой мере противодействовать совокупным усилиям евнухов. Благодаря ходатайству своей покровительницы Юлиан был допущен в присутствие императора; он защищал себя с развязностью, не выходившей из пределов приличия; Констанций выслушал его благосклонно и, несмотря на усилия его врагов, доказывавших, что было бы опасно щадить в лице Юлиана будущего мстителя за смерть Галла, кроткие внушения

Евсевии одержали верх. Но так как евнухи опасались последствий вторичного свидания, то по их совету Юлиан удалился на время в окрестности Милана и пробыл там до тех пор, пока император не назначил город Афины местом его ссылки. Так как он с ранней молодости обнаруживал влечение или, скорее, страсть к языку, нравам, наукам и религии греков, то он с радостью подчинился приказанию, столь соответствовавшему его вкусам. Вдали от военных тревог и придворных интриг он провел шесть месяцев среди рощ Академии в ничем не стесняемых беседах с философами того времени, старавшимися развить ум, возбудить тщеславие и воспламенить благочестие в своем царственном ученике. Их усилия не остались бесплодными, и Юлиан всегда неизменно сохранял такую нежную привязанность к Афинам, какая почти всегда возникает в благородном уме при воспоминаниях о том месте, где он впервые сознал и проявил свои дарования. Его вежливое и приветливое обхождение, которое частью проистекало из его темперамента, частью требовалось его исключительным положением, постепенно расположило в его пользу и чужестранцев, и местных жителей, с которыми ему приходилось вести знакомство. Может быть, некоторые из его товарищей по занятиям и смотрели на его манеру себя держать глазами предубеждения и недоброжелательства, но Юлиан, благодаря своим достоинствам и дарованиям, снискал в афинской школе общее уважение, и хорошая о нем молва скоро распространилась по всей империи.

В то время как он проводил часы своего уединения в занятиях, императрица, решавшаяся довершить начатое ею благородное дело, не переставала заботиться о его судьбе. После смерти последнего Цезаря Констанций один оставался во главе управления и стал тяготиться бременем, которое налагала на него столь обширная империя. Прежде нежели успели залечиться раны междоусобной войны, на галльские провинции устремился целый поток варваров. Сарматы перестали уважать дунайскую границу. Безнаказанность грабежей усилила отвагу и число диких исавров: эти хищники спустились со своих утесистых гор для того, чтобы опустошать окрестные страны, и даже попытались, хотя и без успеха, осадить важный город Селевкию, которую защищал гарнизон из трех римских легионов. Кроме того, возгордившийся своими победами персидский монарх снова стал угрожать азиатским провинциям, так что присутствие императора оказывалось необходимым и на Западе, и на Востоке. Тогда Констанций искренно сознался, что его личные силы были недостаточны для таких разнообразных забот и для таких обширных владений. Не внимая голосу льстецов, уверявших его, что его всемогущие добродетели и покровительство небес будут по-прежнему торжествовать над всеми препятствиями, он стал охотно выслушивать советы Евсевии, которые удовлетворяли его склонность к лени, не оскорбляя его недоверчивой гордости. Заметив, что воспоминания о Галле все еще тревожат императора, она очень ловко обратила его внимание на противоположные характеры двух братьев, которых еще с детства сравнивали с Домицианом и Титом. Она приучила своего супруга смотреть на Юлиана как на кроткого и нечестолюбивого юношу, которого будет нетрудно привязать к себе узами признательности, если возложить на него корону, и который способен с честью занимать второстепенное положение, не стараясь оспаривать власть или омрачать славу своего государя и благодетеля. После упорной, хотя и втайне веденной борьбы любимые евнухи должны были преклониться перед влиянием императрицы, и было решено, что Юлиан, отпраздновав свое бракосочетание с сестрой Констанция Еленой, будет назначен с титулом Цезаря правителем всех стран по ту сторону Альп.

Хотя приказание прибыть в императорскую резиденцию, вероятно, сопровождалось какими-нибудь предувещаниями об ожидавшем его высоком назначении, Юлиан призвал афинских жителей в свидетели своей непритворной скорби и своих слез, когда его заставили покинуть против воли его любимое уединение. Он трепетал за свою жизнь, за свою репутацию и даже за свои добродетели и находил единственное утешение в убеждении, что Минерва руководила всеми его действиями и что его охраняла невидимая охрана из ангелов, которых эта богиня позаимствовала для этой цели от Солнца и от Луны. Он с отвращением подъехал к миланскому дворцу и при своей юности и чистосердечии не был в состоянии скрыть своего негодования, когда убийцы его родственников встретили его с притворными и раболепными изъявлениями своего уважения. Евсевия, радовавшаяся успеху своих добрых намерений, обняла его с любовью сестры и постаралась при помощи самых нежных ласк разогнать его страх и примирить его с блестящим возвышением. Но когда ему пришлось переменить плащ греческого философа на военное одеяние римского принца, когда он стал брить свою бороду и приводить в порядок свою неуклюжую внешность, он в течение нескольких дней служил забавой для легкомысленного императорского двора.

Царствовавшие в веке Константина императоры уже не снисходили до того, чтобы спрашивать мнение сената при выборе своих соправителей, но они заботились о том, чтобы их выбор был одобрен армией. По этому торжественному случаю были собраны гвардейцы вместе с другими войсками, стоявшими в окрестностях Милана, и Констанций вошел на высокую эстраду, держа за руку своего двоюродного брата Юлиана, которому минуло в этот день двадцать четыре года. В тщательно обработанной речи, составленной и произнесенной с большим достоинством, император сообщил войскам о различных опасностях, грозивших благосостоянию республики, о необходимости назначить Цезаря для управления Западом и о своем намерении — если только оно будет ими одобрено — наградить порфирой многообещающие добродетели Константинова племянника. Солдаты почтительно выразили вполголоса свое одобрение: не сводя глаз с мужественной наружности Юлиана, они с удовольствием заметили, что блиставший в его глазах огонь умеряла выступившая на его лице краска от того, что он в первый раз в своей жизни выступил перед публикой. Лишь только окончилась церемония его инвеституры, Констанций обратился к нему с речью, сказанной с тем тоном авторитета, на который ему давали право и его лета, и его положение; он убеждал нового Цезаря доказать своими геройскими подвигами, что он достоин этого священного и бессмертного имени, и давал своему соправителю самые энергичные уверения в дружбе, которую не будут в состоянии ослабить ни время, ни их пребывание в самых отдаленных одна от другой странах. Когда окончилась эта речь, войска в знак одобрения стали стучать своими щитами о свои колени, а окружавшие эстраду офицеры стали выражать с приличной сдержанностью свое уважение к достоинствам представителя Констанция.

Победы Юлиана в Галлии

При таких условиях неопытному юноше было поручено защищать галльские провинции и управлять ими, или, как он сам выражался, ему было поручено выставить напоказ тщеславное подобие императорского величия. Уединенное, схоластическое образование Юлиана, знакомившее его не

с военным искусством, а с книгами и не столько с живыми людьми, сколько с мертвыми, оставило его в глубоком невежестве касательно практических приемов войны и управления, а когда он неуклюже повторял некоторые военные упражнения, которые ему было необходимо знать, он со вздохом восклицал: «О Платон, Платон, какое занятие для философа!». Однако даже та спекулятивная философия, которую так склонны презирать деловые люди, наполнила ум Юлиана самыми благородными принципами и самыми достойными подражания образцами — она внушила ему любовь добродетели, жажду славы и презрение к смерти. Воздержная жизнь, к которой приучают в школах, еще более необходима при строгой лагерной дисциплине. Количество пищи и сна Юлиан соразмерял с безыскусственными требованиями природы. Отвергая с негодованием изысканные кушанья, которые подавались за его столом, он удовлетворял свой аппетит грубой и простой пищей, которую ели простые солдаты. Во время суровой галльской зимы он никогда не позволял разводить огонь в своей спальне, а после непродолжительного и по временам прерываемого сна он нередко вставал среди ночи с разложенного на полу ковра для того, чтобы сделать какое-нибудь неотложное распоряжение, для того, чтобы обойти патрули, или для того, чтобы уловить несколько минут для своих любимых занятий. Правила красноречия, которые он до сих пор применял к вымышленным сюжетам декламации, он стал теперь с большой пользой употреблять на то, чтобы возбуждать или сдерживать страсти вооруженной массы людей, и, хотя привычки молодости и литературные занятия познакомили Юлиана ближе всего с красотами греческого языка, он научился хорошо владеть и латинским языком. Так как Юлиан не готовил себя с молодости к роли законодателя или судьи, то следует полагать, что он не занимался серьезным изучением гражданского законодательства римлян; но из своих философских занятий он извлек непоколебимую любовь к справедливости, смягчавшуюся его естественной склонностью к милосердию, — он извлек знакомство с общими принципами беспристрастия и проверки доказательств, равно как способность с терпением вникать в самые сложные и трудные вопросы, какие только ему приходилось разрешать. Успех политических и военных предприятий зависит в значительной мере и от различных случайностей, и от тех, с кем приходится иметь дело; поэтому лишенный опытности образованный человек нередко затрудняется в применении к делу своих самых лучших теорий. Но в приобретении этих важных познаний Юлиану помогали как энергия его собственного ума, так и благоразумие и опытность офицера высшего ранга Саллюстия, который скоро искренно привязался к принцу, столь достойному его дружбы, и который вместе с неподкупной честностью обладал талантом высказывать самые резкие истины, не оскорбляя деликатности монаршего слуха.

Немедленно вслед за тем, как Юлиан облекся в Милане в звание Цезаря, он был отправлен в Галлию со слабым конвоем из трехсот шестидесяти солдат. В Виенне, где он провел мучительную и тревожную зиму под надзором тех министров, которым Констанций поручил руководить его действиями, Цезарь был извещен об осаде и освобождении Отёна. Этот большой и старинный город, охранявшийся только развалившейся стеной и малодушным гарнизоном, спасся благодаря великодушию нескольких ветеранов, взявшихся за оружие для защиты своей родины. Подвигаясь далее из Отёна внутрь галльских провинций, Юлиан поспешил воспользоваться первым удобным

случаем, чтобы выказать свое мужество. Во главе небольшого отряда стрелков из лука и тяжелой кавалерии он избрал самую короткую, но самую опасную дорогу, и, то избегая, то отражая варваров, в руках которых находилась страна, он удачно и с честью достиг лагеря около Реймса, куда было приказано собираться римским войскам. Вид юного принца ободрил упавших духом солдат, и они выступили из Реймса в погоню за неприятелем с такой самоуверенностью, которая едва не сделалась причиной их гибели. Алеманны, успевшие хорошо изучить местность, втайне собрали свои разбросанные силы и, воспользовавшись пасмурным и дождливым днем, неожиданно устремились на римский арьергард. Прежде чем Юлиан успел принять меры против неизбежного в таких случаях смятения, два легиона были совершенно разбиты, и Юлиан узнал по опыту, что осторожность и бдительность составляют самые важные правила военного искусства. Во втором, более удачном сражении он восстановил и упрочил свою воинскую репутацию, но так как проворство варваров спасло их от преследования, то его победа не была ни кровопролитна, ни решительна. Впрочем, он дошел до берегов Рейна, осмотрел развалины Кельна, убедился в трудностях войны и с наступлением зимы возвратился назад, недовольный и своим двором, и своей армией, и своими собственными военными успехами. Силы врага еще не были надломлены, и лишь только Цезарь разделил свои войска и расположился со своей главной квартирой в Сенсе, в центре Галлии, он был окружен и осажден многочисленными толпами германцев. Принужденный в этой крайности рассчитывать лишь на ресурсы своего собственного гения, он выказал благоразумную неустрашимость и тем восполнил все недостатки укрепления и гарнизона; по прошествии тридцати дней варвары удалились, раздраженные своей неудачей.

Горделивое сознание Юлиана, что он обязан своим спасением лишь своему мечу, было отравлено убеждением, что те самые люди, которые по всем правилам чести и верности были обязаны помогать ему, изменяли ему и, может быть, замыслили его гибель. Главный начальник кавалерии в Галлии, Марцелл, придавая слишком большой смысл инструкциям, полученным от недоверчивого императорского правительства, смотрел с беспечным равнодушием на затруднительное положение Юлиана и не позволил находившимся под его начальством войскам идти на помощь Сенсу. Если бы Цезарь сделал вид, будто не обращает никакого внимания на столь опасное оскорбление, он навлек бы общее презрение и на самого себя, и на свою власть, а если бы такой преступный образ действий остался безнаказанным, император подкрепил бы те подозрения, которые возбуждал его прежний образ действий по отношению к принцам из рода Флавиев. Марцелл был отозван и деликатно устранен от своей должности. На его место был назначен начальником кавалерии Север; это был старый воин испытанной храбрости и преданности, способный давать почтительные советы и вместе с тем способный исполнять с усердием приказание; он охотно подчинился Юлиану, получившему наконец главное начальство над галльскими армиями благодаря ходатайству своей покровительницы Евсевии. Для следующей кампании был принят очень благоразумный план военных действий. Юлиан во главе остатков старой армии и новых отрядов, которые ему было дозволено организовать, смело проник внутрь той местности, где стояли германцы, и тщательно исправил укрепления Саверна, который занимал такое выгодное положение, что мог или препятствовать вторжениям неприятеля, или отрезать ему отступление. В то

же самое время пехотный генерал Барбацио выступил из Милана с тридцатитысячной армией и, перейдя через горы, стал готовиться к постройке моста через Рейн в окрестностях Базеля. Можно было ожидать, что, теснимые со всех сторон римскими армиями, алеманны будут вынуждены очистить галльские провинции и поспешить на защиту своей родины. Но все надежды на успех кампании были разрушены или неспособностью, или завистью, или секретными инструкциями генерала Барбацио, который действовал так, что его можно было бы принять за врага Цезаря и за тайного союзника варваров. Небрежность, с которой он позволял шайкам грабителей беспрепятственно проходить и возвращаться почти перед самыми воротами его лагеря, могла бы быть приписана его неспособности; но коварство, заставившее его сжечь суда и излишки провизии, в которой так нуждалась галльская армия, было явным доказательством его враждебных и преступных намерений. Германцы презирали противника, который, по-видимому, не мог или не хотел нападать на них, а постыдное отступление генерала Барбацио лишило Юлиана ожидаемой помощи и заставило его собственными средствами выпутываться из затруднительного положения, в котором он не мог более оставаться, не подвергаясь серьезной опасности, и из которого трудно было выйти с честью.

Лишь только алеманны избавились от угрожавшего им неприятельского нашествия, они решились наказать юного римлянина, вздумавшего оспаривать у них обладание страной, которую они считали своей собственностью и по праву завоевания, и на основании мирных трактатов. Они употребили три дня и три ночи на то, чтобы перевести свою армию на другую сторону Рейна. Свирепый Хнодомар, потрясая тяжелым копьем, которым он успешно действовал против брата Магненция, вел авангард варваров и умерял своей опытностью воинственный пыл, который он внушал своим примером. За ним следовали шесть других королей, десять принцев королевского происхождения, многочисленный отряд из воинственной германской знати и тридцать пять тысяч самых храбрых солдат. Его уверенность в своих собственных силах еще более увеличилась вследствие доставленного одним перебежчиком известия, что Цезарь со слабой тринадцатитысячной армией занял позиции в двадцати одной миле от их страсбургского лагеря. С этими неравными силами Юлиан решился идти навстречу варварам и сразиться с ними: он предпочитал риск генерального сражения утомительным и нерешительным стычкам с отдельными отрядами германской армии. Римляне двинулись сомкнутыми рядами в двух колоннах; по правой стороне шла кавалерия, а по левой — пехота. День уже клонился к концу, когда они появились в виду неприятеля, и Юлиан намеревался отложить нападение до следующего дня для того, чтобы дать своим войскам время восстановить свои истощенные силы сном и пищей. Но уступая не совсем охотно требованиям солдат и даже мнению военного совета, он обратился к ним с увещанием оправдать своей храбростью свое горячее нетерпение, которое в случае поражения считалось бы всеми за опрометчивость и неосновательную самоуверенность. Раздались звуки труб, воинственные крики огласили равнину, и обе армии устремились одна на другую с одинаковой яростью. Цезарь, лично командовавший правым крылом, рассчитывал на ловкость своих стрелков и на тяжесть своих кирасир. Но его ряды были тотчас прорваны беспорядочной смесью легкой кавалерии с легкой пехотой, и он со скорбью видел, как обратились в бегство шестьсот самых лучших из его кирасир. Беглецы были ос-

тановлены и снова выстроены благодаря личному присутствию и влиянию Юлиана, который, не заботясь о своей собственной безопасности, бросился вперед и, увлекая их за собой напоминанием о заслуженном ими позоре и о долге чести, снова повел их против победоносного врага. Борьба между двумя линиями пехоты была и упорна, и кровопролитна. На стороне германцев были преимущества физической силы и высокого роста, на стороне римлян были преимущества дисциплины и хладнокровия, а так как служившие под знаменами империи варвары соединяли в себе отличительные достоинства обеих сторон, то их упорные усилия, руководимые искусным вождем, наконец доставили римлянам победу. Римская армия лишилась четырех трибунов и двухсот сорока трех солдат в этой достопамятной битве при Страсбурге, которая покрыла Цезаря такой славой и была так спасительна для разоренных галльских провинций. Шесть тысяч алеманнов легли на поле битвы кроме тех, которые потонули в Рейне или были поражены стрелами в то время, как пытались переплыть через реку. Сам Хнодомар был окружен и взят в плен вместе с тремя из своих храбрых товарищей, поклявшихся разделять и в жизни, и в смерти судьбу своего вождя. Юлиан принял его с военной помпой, окруженный своими генералами, и выражая великодушное сострадание к его жалкой участи, скрыл то внутреннее презрение, которое внушал ему пленник своим гнусным унижением. Вместо того чтобы доставить удовольствие галльским городам и выставить перед ними напоказ побежденного короля алеманнов, он почтительно представил императору этот блестящий трофей своей победы. С Хнодомаром обошлись очень внимательно, но гордый варвар недолго пережил свое поражение, свой плен и свою ссылку. После того как Юлиан отразил алеманнов от провинций Верхнего Рейна, он обратил свое оружие против франков, которые жили ближе к океану на границах Галлии и Германии и которые по своей многочисленности и в особенности по своей неустрашимой храбрости всегда считались за самых страшных между всеми варварами. Хотя они сильно увлекались приманкой добычи, они питали бескорыстную любовь к войне, которую считали за высшее отличие и высшее счастье человеческого рода. И душой, и телом они были так закалены непрерывной деятельностью, что, по живописному выражению одного оратора, зимние снега были так же для них приятны, как и весенние цветы. В декабре, наступившем после битвы при Страсбурге, Юлиан напал на отряд шестисот франков, которые укрылись в двух крепостях на Массе. Во время этого сурового времени года они выдержали с непоколебимой твердостью пятидесятичетырехдневную осаду; наконец, истощившись от голода и убедившись, что бдительность, с которой неприятель прорубает на реке лед, не оставляет им никакой надежды на спасение, они впервые уклонились от старинного правила, которое предписывало им или победить, или умереть. Цезарь немедленно отослал своих пленников ко двору Констанция, который принял их за ценный подарок и был рад случаю пополнить столькими героями избранные войска, составлявшие его домашнюю стражу. Упорное сопротивление этой небольшой кучки франков объяснило Юлиану, какие трудности ожидают его в той экспедиции, которую он намеревался предпринять следующей весной против всей нации франков. Благодаря быстроте своих движений он захватил врасплох и привел в изумление отличавшихся своим проворством варваров. Приказав своим солдатам запастись сухарями на двадцать дней, он неожиданно раскинул свои палатки около Тонгра, тогда как неприятель предполагал, что он стоит на своих зимних квартирах в Париже

и ждет прибытия из Аквитании медленно подвигавшихся вперед обозов. Он не дал франкам времени ни собраться, ни одуматься, искусно растянул свои легионы от Кельна до океана и частью наведенным страхом, частью успехами своего оружия скоро заставил неприятеля молить о пощаде и исполнять приказания победителя. Хамавы покорно удалились в свои прежние поселения по ту сторону Рейна, но салиям было дозволено оставаться в их новых поселениях в Токсандрии в качестве подданных и союзников Римской империи. Мирный договор был скреплен торжественными клятвами, и были назначены особые инспекторы, которые должны были жить среди франков и наблюдать за точным исполнением мирных условий. Нам рассказывают один анекдот, который интересен сам по себе и нисколько не противоречит характеру Юлиана, искусно подготовившего и завязку, и развязку этой маленькой трагедии. Когда хамавы стали просить мира, он потребовал выдачи сына их короля как единственного заложника, который мог внушить ему доверие. Грустное молчание, прерываемое слезами и стонами, было красноречивым выражением того тяжелого положения, в котором находились варвары, а их престарелый вождь объявил дрожащим от скорби голосом, что его сына уже нет в живых и что эта личная утрата обратилась теперь в общественное бедствие. В то время как хамавы лежали расprostертыми у подножия Юлианова трона, царственный пленник, которого они считали убитым, неожиданно предстал перед ними и, лишь только стихли шумные выражения радости, Цезарь обратился к собравшимся со следующими словами: «Вот тот сын и тот принц, которого вы оплакивали. Вы потеряли его по вашей вине. Бог и римляне возвращают его вам. Я оставлю при себе и воспитаю этого юношу скорее в доказательство моей собственной добродетели, чем как залог вашей искренности. Если вы осмелитесь нарушить данную вами клятву, оружие республики отомстит за такое вероломство не на невинном, а на виновных». Затем варвары удалились, проникнутые чувствами самой горячей признательности и удивления.

Юлиан не удовольствовался тем, что избавил галльские провинции от германских варваров. Он захотел сравняться славой с первым и самым знаменитым из императоров, по примеру которого он написал свои собственные комментарии о галльской войне. Цезарь с гордостью рассказывает нам о том, как он два раза переходил через Рейн, а Юлиан мог похвастаться, что прежде, нежели он принял титул Августа, он переходил с римскими орлами по ту сторону великой реки в трех удачных кампаниях. Страх, который навела на германцев битва при Страсбурге, поощрил его предпринять первую из этих кампаний, а ропот войск скоро умолк перед убедительным красноречием вождя, разделявшего с простыми солдатами те лишения и опасности, которых он требовал от них. Селения по обеим сторонам Майна, в которых находились большие запасы хлеба и рогатого скота, испытали на себе все бедствия неприятельского нашествия. Главные дома, построенные по образцу римских с некоторым изяществом, были преданы пламени, и Цезарь смело прошел далее еще десять миль, пока его дальнейшее движение не было остановлено мрачным и непроходимым лесом, под которым были прокопаны подземные ходы, угрожавшие нападающим на каждом шагу какой-нибудь западней или засадой. Земля уже была покрыта снегом, и Юлиан, исправив старинную крепость, построенную Траяном, даровал покорившимся варварам десятилетнее перемирие. По истечении этого срока он предпринял вторую кампанию по ту сторону Рейна с целью смирить гордость Сурмара и Гортера — двух

алеманнских королей, присутствовавших при страсбургской битве. Они дали обещание возвратить всех римских пленников, еще оставшихся в живых, а так как Цезарь вытребовав из галльских городов и деревень точные сведения о всех потерянных ими жителях, то он выводил наружу всякую попытку его обмануть с такой легкостью и точностью, которые внушили варварам веру в его сверхъестественные дарования. Его третья экспедиция была еще более блестяща и важна, чем две первые. Германцы собрали свои военные силы и двинулись вдоль противоположного берега реки с намерением разрушить мост и помешать переправе римлян. Но этот благоразумный план обороны был разрушен искусной диверсией. Триста легко вооруженных и ловких солдат были отправлены на сорока маленьких судах с приказанием молча спуститься вниз по реке и высадиться на небольшом расстоянии от неприятельских постов. Они исполнили это поручение с такой смелостью и быстротой, что едва не захватили варварских вождей, возвращавшихся ночью с праздника с бесстрашной беззаботностью людей, напившихся допьяна. Не считая нужным воспроизводить однообразные и отвратительные картины кровопролития и опустошения, мы ограничимся замечанием, что Юлиан предписал свои собственные мирные условия шестерым из самых надменных королей алеманнов и что троим из них было дозволено лично ознакомиться со строгой дисциплиной и воинственным блеском римского лагеря. В сопровождении двадцати тысяч пленных, освобожденных из рук варваров, Цезарь перешел обратно через Рейн и закончил войну, успех которой сравнивали со знаменитыми победами, одержанными Римом в войнах с карфагенянами и кимврами.

Лишь только мужество и искусство Юлиана обеспечили внутреннее спокойствие, он предался занятиям, более соответствовавшим его человеколюбивым и философским наклонностям. Он с усердием занялся приведением в прежний вид тех городов Галлии, которые пострадали от вторжений варваров, и нам в особенности указывают на семь важных постов между Ментцем и устьем Рейна, которые были заново выстроены и укреплены по приказанию Юлиана. Побежденные германцы подчинились справедливому, но унижительному для них требованию приготовить и доставить на место нужные для постройки материалы. Деятельность и рвение Юлиана ускорили исполнение этих работ, и таков был дух, внушенный им всей армии, что вспомогательные войска сами не захотели оставаться в стороне от тяжелых обязанностей службы и стали соперничать с усердием римских солдат в самых низких работах. На Цезаре лежала забота как о безопасности городских жителей и гарнизонов, так и об их продовольствии. Бегство первых и мятеж последних были бы пагубным и неизбежным последствием голода. Возделывание земель в галльских провинциях было прервано бедствиями войны, но отеческая заботливость Юлиана восполнила скудость урожая на континенте избытком, оказавшимся на соседнем острове. Шестьсот больших судов, построенных в лесах Арденнских гор, совершили несколько поездок к берегам Британии и, возвращаясь оттуда с грузом зернового хлеба, поднимались вверх по Рейну и распределяли свою кладь между различными городами и крепостями вдоль берегов реки. Военные успехи Юлиана восстановили свободу и безопасность плаванья по Рейну, которые Констанций намеревался купить ценой своего достоинства и ежегодной данью в две тысячи фунтов серебра. Скупость императора отказывала солдатам в деньгах, которые он раздавал щедрой и дрожащей рукой

варварам. Искусство и мужество Юлиана подверглись тяжелому испытанию, когда он выступил в поход с недовольной армией, уже прослужившей в двух кампаниях без постоянного жалования и без всяких экстренных денежных наград.

Нежная заботливость о спокойствии и счастье его подданных была тем главным принципом, которым Юлиан действительно или по-видимому руководствовался в своем управлении. Во время своего пребывания на зимних квартирах он употреблял часы досуга на дела гражданского управления и, по-видимому, исполнял с большим удовольствием обязанности высшего гражданского сановника, нежели обязанности генерала. Перед тем как выступать в поход, он поручал губернаторам провинций большую часть тех общественных и частных спорных дел, разрешение которых зависело от его трибунала; но после своего возвращения он тщательно просматривал всю процедуру, смягчал строгость законов и произносил вторичный приговор над самими судьями. Возвышаясь над той единственной слабостью, какая свойственна добродетельным людям, — над невоздержанной и безграничной любовью к справедливости, — он со спокойствием и достоинством сдержал горячность одного адвоката, обвинявшего президента Нарбоннской провинции в лихоимстве. «Разве можно будет доказать чью-либо виновность, — воскликнул пылкий Делфидий, — если мы будем довольствоваться одним отрицанием?» — «А кого же можно будет признать невинным, — возразил Юлиан, — если мы будем довольствоваться одним утверждением?» Вообще, в делах как мирного, так и военного управления интересы монарха обыкновенно бывают тождественны интересам его народа; но Констанций счел бы себя глубоко обиженным, если бы добродетели Юлиана лишили его хотя бы малейшей части тех доходов, которые он извлекал из угнетенной и истощенной страны. Принц, на которого были возложены внешние отличия верховной власти, по временам осмеливался сдерживать хищническую дерзость своих низших агентов, выводил наружу их низкие проделки и вводил более справедливые и более удобные способы собирания налогов. Но Констанций нашел более надежным оставить финансовое управление в руках преторианского префекта Галлии Флоренция — изнеженного тирана, не способного ни к состраданию, ни к урызникам совести; этот высокомерный министр громко жаловался на самые вежливые и деликатные возражения со стороны Юлиана, тогда как сам Юлиан упрекал себя в слабости своего собственного поведения. Цезарь с отвращением отказался утвердить распоряжение о сборе одного чрезвычайного налога, которое предложил ему подписать префект, а верное описание общей нищеты, которое он был вынужден сделать для того, чтобы оправдать этот отказ, возбудило крайнее неудовольствие при дворе Констанция. Нам приятно познакомиться с чувствами Юлиана, выраженными с горячностью и без всяких стеснений в письме к одному из самых интимных его друзей. Описав свой образ действий, он продолжает так: «Разве последователь Платона и Аристотеля мог бы поступать иначе, чем я поступал? Разве я мог покинуть несчастных подданных, вверенных моему попечению? Разве я не был обязан защищать их от беспрестанных притеснений со стороны этих бесчувственных грабителей? Трибун, покинувший свой пост, наказывается смертью и лишается погребальных почестей. На каком основании я мог бы произнести его смертный приговор, если бы в минуту опасности я сам пренебрег обязанностью гораздо более священной и гораздо более важной? Бог возвел меня в это высокое звание; его провидение будет охранять и поддерживать меня. Если

я буду обречен на страдания, я буду находить утешение в свидетельстве чистой и безупречной совести. Ах, если бы небу угодно было не лишать меня такого советника, каким был Саллюстий! Если найдут нужным прислать мне преемника, я подчинюсь без сожаления и охотнее готов воспользоваться несколькими удобными минутами, чтобы делать добро, нежели пользоваться продолжительной и обеспеченной безнаказанностью зла». Непрочное и зависимое положение Юлиана обнаруживало его личные достоинства и прикрывало его недостатки. Юному герою, поддерживавшему в Галлии трон Констанция, не было дозволено исправлять правительственные злоупотребления, но он имел достаточно мужества для того, чтобы облегчать страдания народа и сожалеть о них. Пока он не был в состоянии вновь оживить в римлянах воинственный дух или ввести между их дикими противниками искусства, промышленность и разные улучшения, он не мог питать сколько-нибудь основательной надежды, что мир с германцами или даже завоевание Германии обеспечит общественное спокойствие. Тем не менее победы Юлиана приостановили на короткое время вторжения варваров и отсрочили падение Западной империи.

Его благотворное влияние оживило те города Галлии, которые так долго испытывали на себе бедствия внутренних раздоров, войн с варварами и внутренней тирании; а вместе с надеждой на лучшую жизнь оживился и дух предприимчивости. Земледелие, фабричная промышленность и торговля стали снова расцветать под покровительством законов; так называемые *civitates*, или гражданские корпорации, снова наполнились полезными и достойными уважения членами; молодежь перестала уклоняться от вступления в браки, а женатые люди перестали опасаться того, что у них будет потомство; общественные и частные празднества совершались с обычной пышностью, а частые и безопасные сообщения между провинциями свидетельствовали о развитии народного благосостояния. Человек с такими душевными качествами, какими обладал Юлиан, должен был находить наслаждение в общем благополучии, которое было делом его собственных рук; но он в особенности взирал с удовольствием и отрадой на город Париж, служивший для него зимней резиденцией и даже внушавший ему пристрастную привязанность. Эта великолепная столица, занимающая в настоящее время обширную местность по обеим сторонам Сены, первоначально умещалась на маленьком острове среди реки, снабжавшей ее жителей чистой и здоровой водой. Река омывала подножие городских стен, а доступ в город был возможен только по двум деревянным мостам. Лес покрывал северную сторону Сены, но на южной ее стороне та местность, которая носит теперь название университета, постепенно покрывалась домами и украсилась дворцом и амфитеатром, банями, водопроводом и Марсовым полем для военных упражнений римской армии. Суровость климата умерялась близостью океана, а благодаря некоторым предосторожностям, которые были указаны опытом, там с успехом возделывали виноград и фиговые деревья. Но когда зимы были особенно холодны, Сена глубоко замерзала, и азиатский уроженец мог бы сравнить пльвишие вниз по течению громадные льдины с теми глыбами белого мрамора, которые добывались из каменоломен Фригии. Распушенность и развращенность нравов в Антиохии впоследствии напомнили Юлиану о строгих и простых нравах его возлюбленной Лютенции, где театральные увеселения или вовсе были незнакомы, или внушали презрение. Он с негодованием противопоставлял изнеженности сирийцев храбрость и честную простоту галлов и почти

готов был извинить страсть к спиртным напиткам, которая была единственным пятном на характере кельтов. Если бы Юлиан мог теперь снова посетить столицу Франции, он нашел бы в ней ученых и гениальных людей, способных понимать и поучать воспитанника греков; он, вероятно, извинил бы игривые и привлекательные безрассудства нации, в которой любовь к наслаждениям никогда не ослабляла воинственного духа, и, конечно, порадовался бы успехам того нецененного искусства, которое смягчает, улучшает и украшает общественную жизнь.

Обращение Константина в христианство. 306–333 гг.

На публичное утверждение христианства можно смотреть как на один из тех важных внутренних переворотов, которые способны возбуждать самое живое любопытство и вместе с тем в высшей степени поучительны. Победы и внутренняя политика Константина уже не оказывают никакого влияния на положение Европы, но значительная часть земного шара до сих пор сохраняет впечатление, произведенное на нее обращением этого монарха в христианскую веру, а церковные учреждения его царствования до сих пор еще связаны неразрывной цепью с мнениями, страстями и интересами теперешнего поколения.

При изучении этого предмета, к которому можно относиться с беспристрастием, но нельзя относиться с равнодушием, немедленно возникает затруднение совершенно неожиданного характера — когда именно состоялось обращение Константина в христианство? Живший при его дворе красноречивый Лактанций, по-видимому, спешит возвестить миру о славном примере монарха Галлии, который с первого момента своего воцарения признал величие истинного и единого Бога и стал поклоняться ему. Ученый Евсевий приписывает веру Константина чудесному знамению, появившемуся на небе в то время, как он замышлял и приготавливал экспедицию в Италию. Историк Зосим с коварством утверждает, что император обагрил свои руки кровью своего старшего сына, прежде чем публично отречься от богов Рима и своих предков. Затруднение, в которое нас ставят эти противоречивые свидетельства, происходит от поведения самого Константина. Согласно с точностью церковного языка, первый из христианских императоров был недостоин этого названия до самой своей смерти, так как только во время своей последней болезни он получил в качестве оглашенного возложение рук и затем был принят в число верующих путем вступительного обряда крещения. Обращение Константина в христианство следует понимать в гораздо более неопределенном и ограниченном смысле, и нужна самая разборчивая точность, чтобы проследить медленные и почти незаметные шаги, которые привели монарха к тому, что он объявил себя покровителем и в конце концов приверженцем церкви. Ему было нелегко искоренить в себе привычки и предрассудки своего воспитания, для того чтобы признать божественную власть Христа и понять, что истина его откровения была несовместима с поклонением богам. Препятствия, с которыми, вероятно, боролся его собственный ум, научили его с осторожностью подвигаться вперед в таком важном деле, как перемена национальной религии, и он обнаруживал свои новые убеждения по мере того, как представлялась возможность поддерживать их с безопасностью и с успехом. В течение всего его царствования поток христианства разливался с умеренной, хотя и ускоренной постепенностью, но в своем главном направлении он иногда задерживался, а иногда отводился в сторону случайными

условиями времени и благоразумием или, может быть, прихотью монарха. Константин позволял своим министрам выражать волю своего повелителя таким языком, какой всего лучше подходил к их собственным принципам, и он искусно уравнивал надежды и опасения своих подданных, издавая в течение одного и того же года два эдикта, из которых первым предписывалось соблюдать празднование воскресных дней, а вторым приказывалось регулярно совещаться с ауспциями. В то время как этот важный переворот еще находился в состоянии зародыша, и христиане, и язычники следили за действиями своего государя с одинаковым беспокойством, но с противоположными чувствами. И усердие, и тщеславие заставляли первых преувеличивать признаки его милостивого к ним расположения и доказательства его веры, а вторые — до тех пор, пока их основательные опасения не перешли в отчаяние и жажду мщения, — старались скрывать от всех и даже от самих себя, что боги Рима уже не могут считать императора в числе своих почитателей. Точно такие же страсти и предубеждения заставляли пристрастных писателей того времени ставить публичное обращение Константина в связи или с самыми славными эпохами его царствования, или с самыми позорными.

Какие бы признаки христианского благочестия ни обнаруживались в речах и действиях Константина, он почти до сорокалетнего возраста держался обрядов установленной религии, и то самое поведение, которое во время его пребывания при дворе в Никомедии можно было бы приписать его опасениям, может быть приписано, в то время как он управлял Галлией, лишь его наклонностям или политическим расчетам. Его щедрость обновила и обогатила храмы богов; на медалях, которые чеканились на императорском монетном дворе, находились фигуры и атрибуты Юпитера и Аполлона, Марса и Геркулеса, а его сыновняя привязанность увеличила сонм Олимпийских богов торжественной апофеозой его отца Констанция. Но с особым чувством благочестия Константин относился к гению Солнца — Аполлону греческой и римской мифологии — и любил, чтобы его самого изображали с символами бога света и поэзии. Меткие стрелы этого божества, блеск его глаз, его лавровый венок, бессмертная красота и изящные совершенства как будто указывали на него как на покровителя юного героя. Алтари Аполлона были покрыты приношениями, которые Константин присылал в исполнение данных обетов, а левоверную толпу постарались уверить, что император мог созерцать своими смертными очами видимое величие ее божественного покровителя и что или во время бдения, или в ночном видении имел счастье получить от него благоприятные предсказания продолжительного и победоносного царствования. Вообще Солнцу поклонялись как непобедимому руководителю и покровителю Константина, и язычники могли основательно предполагать, что оскорбленный Бог будет с неумолимой мстительностью преследовать своего неблагодарного любимца за его нечестие.

Пока Константин пользовался лишь ограниченной властью над галльскими провинциями, его христианские подданные охранялись авторитетом и, может быть, законами государя, который благоразумно предоставлял богам заботу оберегать свою собственную честь. Если можно верить словам самого Константина, то он с негодованием взирал на варварские жестокости, совершавшиеся римскими солдатами над теми гражданами, единственное преступление которых заключалось в их религии. На Востоке и на Западе он имел случай наблюдать различные последствия строгости и снисходитель-

ности, а тогда как первая была для него особенно отвратительна на примере его непримиримого врага Галерия, вторую ему рекомендовали авторитет и советы умирающего отца. Сын Констанция немедленно приостановил или совсем отменил декреты о преследовании; все те, которые уже признавали себя членами христианской церкви, получили от него дозволение свободно совершать свои религиозные церемонии и скоро убедились, что могут полагаться как на милостивое расположение, так и на справедливость своего государя, проникнувшегося тайным и искренним уважением к имени Христа и к Богу христиан.

Миланский эдикт 313 г.

Почти через пять месяцев после завоевания Италии император торжественным и несомненным образом заявил о своих чувствах изданием знаменитого миланского эдикта, снова даровавшего мир Католической Церкви. Во время личного свидания между двумя монархами Константин благодаря влиянию своего гения и могущества убедил своего соправителя Лициния оказать ему содействие; их совокупный авторитет обезоружил ярость Максимиана, и после смерти восточного тирана миланский эдикт был признан за общий и основной закон для всего римского мира.

Благоразумие императоров позаботилось о восстановлении всех гражданских и религиозных прав, которые были так несправедливо отняты у христиан. Постановили, что церкви получают обратно без всяких споров, отлагательств и расходов все места богослужения и земли, которые были у них конфискованы, и это строгое распоряжение сопровождалось милостивым обещанием, что те покупатели, которые приобрели упомянутые земли за настоящую цену, будут вознаграждены из императорской казны. Благотворные распоряжения с целью охраны будущего спокойствия верующих проникнуты принципами широкой и равной для всех терпимости, а такое равенство прав должно было считаться юной сектой за выгодное и почетное отличие. Два императора объявляли перед целым миром, что они даруют христианам и всем другим ничем не стесняемое и безусловное право исповедовать ту религию, какая кажется им лучшей, какая им по душе и какую они считают более всего для себя подходящей. Они тщательно объясняют всякое двусмысленное слово, устраняют всякие исключения и требуют от губернаторов провинций строгого подчинения настоящему и ясному смыслу эдикта, имеющего целью установить и обеспечить без всяких ограничений права религиозной свободы. Они снисходят до того, что указывают на веские мотивы, побудившие их допустить эту всеобщую терпимость, — на человеколюбивое желание доставить спокойствие и счастье их народу и на благочестивую надежду, что таким образом действий они умилоостивят и расположат к себе Божество, восседающее на небесах. Они с признательностью сознают, что уже получили многие явные доказательства божеской милости, и они надеются, что то же Провидение никогда не перестанет охранять благоденствие монарха и народа. Из этих неясных и неопределенных выражений благочестия можно вывести три предположения, которые хотя и различны одно от другого, но совместимы одно с другим. Может быть, ум Константина колебался между языческой и христианской религиями. Согласно с широкими и снисходительными идеями политеизма, он мог признавать христианского бога за одно из многих божеств, составляющих небесную иерархию. Или, может быть, он придерживался философской и привлекательной идеи, что, несмотря на разно-

образе имен, обрядов и мнений, все секты и все народы соединяются в поклонении Общему Отцу и Создателю Вселенной.

Но монархи в своем образе действий руководствуются чаще соображениями о временной пользе, чем отвлеченными философскими истинами. Постоянно усиливавшееся расположение Константина к христианам объясняется весьма естественно уважением, которое он питал к их нравственным достоинствам, и убеждением, что с распространением Евангелия люди сделаются более добродетельными и в своей частной, и в общественной жизни. Какой бы свободой ни пользовался неограниченный монарх в своем собственном образе жизни, как бы он ни был снисходителен к своим собственным страстям, он, бесспорно, должен находить свой интерес в том, чтобы все его подданные подчинялись естественным законам и гражданским обязанностям общественной жизни. Но влияние самых мудрых законов слабо и непрочно. Они редко внушают склонность к добродетели и не всегда в состоянии обуздывать пороки. Их авторитет не в силах запретить то, что они осуждают, и они не всегда в состоянии наказывать те действия, которые они воспрещают. Древние законодатели призвали к себе на помощь все силы воспитания и общественного мнения, но все те принципы, которые когда-то поддерживали величие и нравственное достоинство Рима и Спарты, уже давно исчезли в разрушавшейся деспотической империи. Философия еще оказывала некоторое влияние на умы, но дело добродетели находило лишь весьма слабую опору в господстве языческих суеверий. При таких печальных условиях благоразумный правитель должен был с удовольствием взирать на успехи религии, распространявшей в народе такую чистую, благотворную и всеобщую систему нравственности, которая была применима ко всем обязанностям и ко всем условиям действительной жизни, которая выдавалась за выражение воли и разума Верховного Божества и которая опиралась на санкцию вечных наград или наказаний. Из опыта, пережитого греками и римлянами, мир не мог узнать, в какой мере система национальной нравственности могла бы быть преобразована и улучшена божественным откровением, и потому весьма естественно, что Константин с некоторым доверием внимал лестным и поистине разумным уверениям Лактанция. Этот красноречивый апологист, по-видимому, был твердо уверен и почти готов был ручаться, что введение христианства восстановит невинность и счастье первых веков человечества; что поклонение истинному Богу уничтожит войны и раздоры между людьми, которые будут взаимно считать друг друга детьми одного общего отца; что все нечистые желания, все гневные или себялюбивые страсти будут сдерживаться познанием Евангелия и что судьям придется вложить в ножны меч правосудия среди такого народа, который будет руководствоваться в своих действиях чувствами справедливости и благочестия, равенства и умеренности, общего согласия и взаимной любви.

Пассивное повиновение, преклоняющееся без всякого сопротивления под игом власти или даже угнетения, должно было казаться абсолютному монарху самой выдающейся и самой полезной из всех евангельских добродетелей. Первобытные христиане держались того мнения, что гражданская система управления не зависит от согласия народа, а устанавливается декретами Провидения. Хотя царствовавший в то время император и достиг престола коварством и убийствами, он немедленно принимал священный характер наместника Божества. Одному Божеству он был обязан отдавать отчет в злоупотреблениях своей властью, а его подданные были неразрывно связаны своей присягой в верности с таким тираном, который нарушил все законы природы и челове-

ческого общества. Смиренные христиане были посланы в этот мир, точно овцы в стадо волков, а так как им не позволялось прибегать к силе даже для защиты их религии, то они были бы еще более преступны, если бы вздумали проливать кровь своих ближних в борьбе из-за суетных привилегий или ничтожных благ этой временной жизни. Верные учению апостолов, проповедовавших в царствование Нерона обязанность безусловного повиновения, христиане первых трех столетий сохранили свою совесть чистой от всяких обвинений в тайных заговорах или открытых восстаниях. В то время как они выносили жестокие преследования, они никогда не пытались противиться своим тиранам с оружием в руках или искать от них спасения в каком-нибудь отдаленном и уединенном уголке земного шара. Протестанты Франции, Германии и Британии, отстаивавшие с таким непреклонным мужеством свою гражданскую и религиозную свободу, оскорблялись обидным для них сравнением поведения первых христиан с поведением христиан реформатской церкви. Но скорее следует хвалить, чем порицать, высокий разум и мужество наших предков, умевших понять, что религия не может уничтожать неотъемлемые права человеческой природы. Может быть, терпеливость первобытной церкви следует приписать столько же ее добродетелям, сколько ее слабости. Секта, состоявшая из невоинственных плебеев, не имевшая ни вождей, ни оружия, ни крепостей, подверглась бы неизбежному истреблению в опрометчивом и бесплодном сопротивлении повелителю римских легионов. Но и тогда, когда христиане старались смягчить гнев Диоклетиана, и тогда, когда они искали милостивого расположения Константина, они могли искренно и с уверенностью утверждать, что они не уклонялись от принципа пассивного повиновения и что в течение трех столетий их поведение всегда было согласно с их принципами. Они могли бы к этому присовокупить, что трон императоров утвердился бы на прочном и неизменном фундаменте, если бы все их подданные, приняв христианское учение, научились терпеть и повиноваться.

Общий эдикт о веротерпимости. 324 г.

Завоевание Италии привело к изданию всеобщего эдикта о терпимости, и лишь только поражение Лициния сделало Константина единственным повелителем римского мира, он немедленно обратился ко всем своим подданным с циркулярными посланиями, в которых увещевал их безотлагательно последовать примеру своего государя и принять божественную истину христианства.

Уверенность, что возвышение Константина находилось в тесной связи с целями Провидения, внушила христианам два убеждения, которые способствовали различными путями исполнению их предсказаний. Их горячая и деятельная преданность истощила в его пользу все ресурсы человеческой предприимчивости, и они с уверенностью ожидали, что их напряженные усилия найдут поддержку в какой-нибудь божественной и сверхъестественной помощи. Враги Константина приписывали эгоистическим мотивам союз, в который он вступил с Католической Церковью и который, по-видимому, содействовал успеху его честолюбивых замыслов. В начале четвертого столетия число христиан было еще очень незначительно в сравнении с цифрой населения империи; но среди безнравственного народа, смотревшего на перемену своих повелителей с равнодушием рабов, мужественная и сплоченная религиозная партия могла оказать существенную помощь вождю, для пользы которого она из убеждения готова была жертвовать и жизнью, и состоянием.

Пример отца научил Константина ценить и награждать услуги христиан, и при раздаче общественных должностей он укреплял свое правительство назначением таких министров и генералов, на преданность которых он мог полагаться с основательным и безграничным доверием. Благодаря влиянию этих высокопоставленных миссионеров число приверженцев нового учения должно было увеличиваться и при дворе, и в армии; германские варвары, наполнявшие ряды легионов, были беззаботного характера, без сопротивления подчинявшегося религии их военачальника, и можно основательно предполагать, что, когда эти легионы перешли через Альпы, значительное число солдат уже посвятило свой меч на служение Христу и Константину. Обычаи всего человеческого рода и интересы религии постепенно ослабили то отвращение к войне и кровопролитию, которое так долго господствовало между христианами, а на соборах, которые собирались под благосклонным покровительством Константина, авторитет епископов был очень кстати употреблен на то, чтобы утвердить обязанности, налагаемые воинской присягой, и чтобы подвергнуть отлучению от церкви солдат, бросавших военную службу во время господствующего внутри церкви спокойствия. В то время как Константин увеличивал внутри своих собственных владений число и усердие своих верных приверженцев, он мог также рассчитывать на поддержку со стороны влиятельной партии в тех провинциях, которые еще не находились под властью или под незаконным захватом его противников. Тайное неудовольствие распространилось между христианскими подданными Максенция и Лициния, а злоба, которую последний не старался скрывать, привела лишь к тому, что еще более расположила христиан в пользу его соперника. Постоянная переписка между епископами самых отдаленных провинций давала им возможность свободно сообщать друг другу свои желания и намерения и безопасно пересылать полезные сведения или благочестивые приношения Константину, который публично объявил, что взялся за оружие для освобождения церкви.

Энтузиазм, одушевлявший войска и, может быть, самого императора, придавал им необычайную бодрость духа и вместе с тем удовлетворял их совесть. Они шли на бой с полной уверенностью, что тот самый Бог, который когда-то открыл израильтянам путь через воды Иордана и низверг стены Иерихона при звуке труб Иисуса Навина, выкажет наглядным образом свое величие и могущество в пользу Константина. По свидетельству церковных писателей, эти ожидания оправдались замечательным чудом, которому все почти единогласно приписывают обращение первого императора в христианство. Действительная или воображаемая причина столь важного события заслуживает и требует внимания потомства, и я постараюсь беспристрастно оценить знаменитое видение Константина; для этого я рассмотрю отдельно знамя, сон и небесное знамение и выделю из этой необыкновенной истории ее исторические, натуральные и чудесные составные части, которые при составлении из них благовидного аргумента были искусно смешаны в одну блестящую и хрупкую массу.

I. Орудие пыток, которым подвергали только рабов и иностранцев, сделалось в глазах римских граждан предметом отвращения, и с понятием о кресте были тесно связаны понятия о преступлении, страданиях и позоре. Не столько человеколюбие, сколько благочестие Константина скоро уничтожило в его владениях то наказание, которое угодно было претерпеть Спасителю человеческого рода, но император должен был научиться презирать

предрассудки и своего воспитания, и своего народа, прежде чем воздвигнуть среди Рима свою собственную статую с крестом в правой руке и с надписью, которая приписывала торжество его оружия и освобождение Рима достоинству этого благотворного знамения — настоящего символа силы и мужества. Тот же символ осенил оружие солдат Константина; крест блеснул на их шлемах, был вырезан на их щитах, был нашит на их знаменах, а священные эмблемы, украшавшие особу самого императора, отличались только богатым материалом и более изящной работой. Но главное знамя, свидетельствовавшее о торжестве креста, называлось *Labogum* — непонятым, хотя и знаменитым именем, корень которого тщетно искали почти во всех языках земного шара. Это, как рассказывают, была длинная пика, пересеченная поперечной перекладиной. На шелковой ткани, висевшей с перекладины, были искусно вытканы изображения царствующего монарха и его детей. Верхняя оконечность пики поддерживала золотую корону с таинственной монограммой, представлявшей в одно и то же время и форму креста, и начальные буквы имени Христа. Охрана Лаборума была вверена пятидесяти гвардейцам испытанной храбрости и преданности; их служба доставляла особые отличия и денежные выгоды, а некоторые счастливые случайности упрочили мнение, что, в то время как хранители Лаборума находятся при исполнении своих обязанностей, их жизнь в безопасности от неприятельских стрел.

II. В опасностях и в несчастьях первобытные христиане имели обыкновение подкреплять свои душевные и физические силы знаменем креста, которое они употребляли во всех своих церковных обрядах и при всех житейских затруднениях как верное предохранительное средство от всяких духовных и мирских невзгод. Было бы вполне достаточно одного авторитета церкви, чтобы объяснить такое благочестивое обыкновение в Константинополе, который с одинаковым благоразумием и одинаковой постепенностью усвоил и истины христианства, и его символ. Но свидетельство одного современного писателя, уже в сочиненном прежде того трактате вступавшего за дело религии, придает благочестию императора более внушительный и возвышенный характер. Он с полной уверенностью утверждает, что в ночь, которая предшествовала последней битве с Максенцием, Константин получил во время сновидения приказание надписать на щитах своих солдат небесное знамение Бога, священную монограмму имени Христа, что он исполнил эту волю небес и что его мужество и повиновение были награждены решительной победой на Мильвийском мосту. Но некоторые соображения дают скептическому уму основание заподозрить прозорливость или правдивость ратора, который из усердия или из личных интересов посвятил свое перо служению господствовавшей партии. Он издал в Никомедии свое сочинение о смерти гонителей церкви, как кажется, почти через три года после победы под стенами Рима; но промежуток в тысячу миль и в тысячу дней представлял широкое поле для выдумок декламаторов, для легковерия торжествующей партии и для безмолвного одобрения самого императора, который мог без негодования внимать чудесному рассказу, увеличивавшему его славу и способствовавшему успеху его замыслов. Лициния, еще скрывавшего в то время свою вражду к христианам, тот же автор снабдил подобным видением в форме молитвы, которая была сообщена ангелом и повторялась всей армией перед ее вступлением в бой с легионами тирана Максимиана. Частое повторение чудес раздражает человеческий разум, когда оно не в состоянии поработить его; но если мы рассмотрим, в частности, сновидение

Константина, мы найдем, что его можно объяснить или политикой, или энтузиазмом императора. В то время как заботы о завтрашнем дне, долженствовавшем решить судьбу империи, были прерваны непродолжительным и беспокойным сном, внушительный вид Христа и хорошо знакомый символ его религии могли сами собой представиться возбужденному воображению монарха, чтившего имя христианского Бога и, может быть, втайне взывавшего к Нему о помощи. Искусный политик также мог употребить в дело одну из тех военных хитростей, один из тех благочестивых обманов, к которым прибегали с таким искусством и успехом Филипп и Серторий. В сверхъестественное происхождение сновидений верили все древние народы, и значительная часть галльской армии уже была подготовлена к тому, чтобы возложить свои упования на спасительный символ христианской религии. Тайное видение Константина могло быть опровергнуто лишь несчастным исходом войны, а неустранимый герой, перешедший и Альпы, и Апеннины, мог относиться с беспечностью отчаяния к последствиям поражения под стенами Рима. Сенат и народ, ликовавшие по случаю своего избавления от ненавистного тирана, признавали, что победа Константина превосходила подвиги смертных, но не решались утверждать, что она была одержана благодаря покровительству богов. Триумфальная арка, которая была воздвигнута почти через три года после этого события, возвещает в двусмысленных выражениях, что Константин спас Римскую республику и отомстил за нее благодаря величию своей собственной души и внушению или импульсу, исходившему от Божества. Языческий оратор, ранее других воспользовавшийся удобным предлогом, чтобы восхвалять добродетели завоевателя, полагает, что он один был допущен к тайным и интимным сношениям с Высшим Существом, которое возложило заботу об остальных смертных на подчиненные ему божества; этим путем он дает подданным Константина весьма благовидный предлог, чтобы отказаться от принятия новой религии своего государя.

III. Философ, рассматривающий с хладнокровным недоверием сновидения и предзнаменования, чудеса и диковины светской или даже церковной истории, вероятно, придет к тому заключению, что, если глаза зрителей иногда были вводимы в заблуждение обманом, рассудок читателей был гораздо чаще оскорбляем вымыслами. Каждое происшествие, каждое явление и каждая неожиданная случайность, по-видимому, отклонявшиеся от обычного порядка природы, опрометчиво приписывались непосредственному действию божества, а пораженное удивлением воображение толпы иногда придавало определенную форму и цвет, голос и сознательное направление пролетающим в воздухе необыкновенным метеорам. Назарий и Евсевий были те два самых знаменитых оратора, которые в тщательно обработанных панегириках старались возвеличить славу Константина. Через девять лет после победы под стенами Рима Назарий описывал армию божественных воинов, как будто бы внезапно снизошедших с небес; он говорил об их красоте, об их мужестве, об их гигантских формах, о потоке света, лившегося с их божественных лат, о терпении, с которым они разговаривали со смертными и позволяли осматривать себя, и, наконец, об их заявлении, что они были посланы и прилетели на помощь великому Константину. В доказательство достоверности этого чуда языческий оратор ссылается на всех галлов, в присутствии которых он тогда говорил, и, по-видимому, надеется, что это недавнее и публичное происшествие заставит верить и в древние видения.

Более правильной и более изящной формой отличается христианская фабула Евсевия, появившаяся через двадцать шесть лет после сновидения, из которого, быть может, она и возникла. Он рассказывает, что во время одного из своих походов Константин увидел собственными глазами в воздухе над полуденным солнцем блестящее знамение креста со следующей надписью: «Этим победи». Это поразительное небесное явление привело в изумление и всю армию, и самого императора, который еще колебался в выборе религии; но его удивление перешло в веру вследствие видения следующей ночи. Перед ним явился Христос и, показывая такое же знамение креста, какое Константин видел на небесах, сказал ему, чтобы он сделал такое знамя и шел с уверенностью в победе против Максенция и всех своих врагов.

Протестанты и философы нашего времени, быть может, найдут, что в деле своего обращения в христианство Константин подкрепил предумышленную ложь явным и сознательным клятвопреступлением. Они, быть может, без колебаний будут утверждать, что в выборе религии Константин руководствовался лишь своими интересами и что, по выражению одного нечестивого поэта, он сделал из алтарей подножие к императорскому трону. Но такой строгий и безусловный приговор не подтверждается ни свойствами человеческой природы, ни характером Константина, ни характером христианской религии. Не раз было замечено, что в века религиозного одушевления самые искусные политики сами отчасти увлекались тем энтузиазмом, который они старались внушать, и что самые благочестивые люди присваивали себе опасную привилегию защищать дело истины при помощи хитростей и обмана. Личные интересы так же часто служат руководством для наших верований, как и для нашего образа действий, и те же самые мирские расчеты, которые могли влиять на публичные деяния и заявления Константина, могли незаметным образом расположить его к принятию религии, столь благоприятной и для его славы, и для его возвышения. Его тщеславие было удовлетворено лестным уверением, что он был избран небесами для того, чтобы царствовать над землей; успех оправдал божественное происхождение его прав на престол, а эти права были основаны на истине христианского откровения. Как действительная добродетель иногда зарождается от незаслуженных похвал, так и благочестие Константина, быть может, лишь вначале было притворным, но потом постепенно созрело в серьезную веру и в пылкую ей преданность под влиянием похвал, привычки и примера.

Внушающая благоговение таинственность христианской веры и христианского богослужения скрывалась от глаз чужестранцев и даже от глаз оглашенных с притворной скромностью, возбуждавшей в них удивление и любопытство. Но строгие правила дисциплины, установленные благоразумием епископов, ослаблялись по внушению того же благоразумия в пользу венценосного последователя, которого так необходимо было привлечь в лоно церкви какими бы то ни было снисходительными уступками, и Константину было дозволено, — по меньшей мере, путем молчаливого разрешения, — пользоваться большей частью привилегий христианина, прежде, нежели он принял на себя какие-либо обязанности этого звания. Вместо того чтобы выходить из собрания верующих, когда голос дьякона приглашал всех посторонних удалиться, он молился вместе с верующими, входил в споры с епископами, говорил проповеди на самые возвышенные и самые запутанные богословские темы, исполнял священные обряды кануна Светлого Воскресения и публично признавал себя не только участником в христианских мис-

териях, но и в некоторой мере даже их священнослужителем и первосвященником. Гордость Константина, быть может, требовала чрезвычайных отличий, на которые ему давали право оказанные им христианской церкви услуги; неуместная изыскательность могла бы совершенно уничтожить еще не совсем созревшие плоды его обращения в христианство, а если бы ворота церкви были плотно заперты перед монархом, покинувшим алтари богов, то повелитель империи остался бы без всякой формы религиозного культа. Во время своего последнего пребывания в Риме он из благочестия отвергнул и оскорбил суеверие своих предков, отказавшись идти во главе военной процессии всаднического сословия и публично принести мольбы Юпитеру Капитолийскому. За много лет до своего крещения и своей смерти Константин объявил во всеуслышание, что никогда никто не увидит ни его особы, ни его изображения внутри стен языческого храма; вместе с тем он приказывал раздавать в провинциях различные медали и портреты, на которых император был изображен в смиренной и умоляющей позе христианского благочестия.

Нелегко объяснить или оправдать то чувство гордости в Константине, которое побуждало его отказываться от привилегий оглашенного; но отлагательство крещения легко объясняется древними церковными принципами и обычаями. Таинство крещения обыкновенно совершалось самими епископами и состоявшим при них духовенством в епархиальной кафедральной церкви в течение пятидесяти дней, которые отдают торжественное празднование Пасхи от Троицы, и в этот священный промежуток времени церковь принимала в свое лоно значительное число детей и взрослых. Осмотрительные родители нередко откладывали крещение своих детей до той поры, когда они будут в состоянии понимать принимаемые на себя обязательства; строгость древних епископов требовала от новообращенных двух- или трехлетней подготовки, и сами оглашенные — по различным мирским или духовным мотивам — редко спешили усваивать характер людей, вполне посвященных в христианство. Таинство крещения, как полагали, вело к полному и безусловному очищению от грехов; оно мгновенно возвращало человеческой душе ее первобытную чистоту и давало ей право ожидать вечного спасения. Среди последователей христианства было немало таких, кто находил неблагоприятным спешить совершением спасительного обряда, который не мог повторяться, находили неблагоприятным лишать себя неоцененного права, которое уже никогда не могло быть восстановлено. Откладывая свое крещение, они могли удовлетворять свои страсти в мирских наслаждениях, а между тем в их собственных руках всегда было верное и легкое средство получить отпущение всех своих грехов. Высокое евангельское учение произвело гораздо более слабое впечатление на сердце Константина, нежели на его ум. Он стремился к главной цели своего честолюбия темными и кровавыми путями войны и политики, а после победы стал неумеренно злоупотреблять своим могуществом. Вместо того чтобы выказать свое бесспорное превосходство над недостигшим совершенства героизмом и над мирской философией Траяна и Антонинов, Константин в своих зрелых годах не поддержал той репутации, какую приобрел в своей молодости. По мере того как он преуспевал в познании истины, он отклонялся от правил добродетели, и в том самом году своего царствования, когда он созвал собор в Никее, он запятнал себя казнью или, вернее, убийством своего старшего сына. Одного этого сопоставления годов достаточно, чтобы опровергнуть невежественные и злонамеренные намеки Зосима, который утверждает, что будто после смерти Криспа угрызения совести за-

ставили его отца принять от служителей христианской церкви то очищение от греха, которого он тщетно просил у языческих первосвященников. Во время смерти Криспа император уже не мог долее колебаться в выборе религии; в то время он уже не мог не знать, что церковь обладает верным средством очищения, хотя он и предпочитал отложить употребление этого средства до тех пор, пока приближение смерти не устранил соблазнов и опасности новых грехопадений. Епископы, которые были призваны во дворец в Никомедии во время его последней болезни, были вполне удовлетворены рвением, с которым он пожелал принять и принял таинство крещения торжественным заявлением, что остальная его жизнь будет достойна последователя Христа, и его смиренным отказом носить императорскую багряницу после того, как он облекся в белое одеяние новообращенного. Пример и репутация Константина, по-видимому, поддерживали обыкновение отлагать крещение и внушали царствовавшим после него тиранам убеждение, что невинная кровь, которую они будут проливать в течение продолжительного царствования, будет мгновенно смыта с них водами возрождения; так злоупотребление религией опасным образом подкапывало основы нравственности и добродетели.

Признательность церкви превознесла добродетели и извинила слабости великодушного покровителя, вознесшего христианство до господства над римским миром, а греки, празднующие день святого императора, редко произносят имя Константина без придаточного титула «Равноапостольный». Если бы такое сравнение было намеком на характер этих божественных проповедников, то его следовало бы приписать сумасбродству нечестивой лести. Но если сравнение ограничивается размером и числом их евангелических побед, то успехи Константина, быть может, могут равняться с успехами самих апостолов. Своими эдиктами о терпимости он устранил мирские невыгоды, до той поры замедлявшие успехи христианства, а деятельные и многочисленные проповедники нового учения получили неограниченное дозволение и великодушное поощрение распространять спасительные истины откровения при помощи всех тех аргументов, какие могут влиять на ум или на благочестие человеческого рода.

Непреодолимое могущество римских императоров обнаружилось в важной и опасной перемене национальной религии. Страх, который внушали их военные силы, заглушил слабый и никем не поддержанный ропот язычников, и было полное основание ожидать, что готовность к повиновению будет результатом сознания своего долга и признательности со стороны как христианского духовенства, так и самих христиан. В римской конституции издавна было установлено основное правило, что все разряды граждан одинаково подчинены законам и что заботы о религии составляют и право, и обязанность высшего гражданского должностного лица. Константина и его преемников не легко было убедить, что своим обращением в христианство они лишили себя одной части своих императорских прерогатив или что они не имели права предписывать законы такой религии, которую они протезировали и проповедовали. Императоры не переставали пользоваться верховной юрисдикцией над духовенством, и шестнадцатая книга Кодекса Феодосия описывает под различными титулами присвоенное ими влияние на управление Католической Церковью.

Но различие между властями, духовной и светской, с которым никогда не был вынужден знакомиться независимый ум греков и римлян, было введено и упрочено легальным утверждением христианства. Должность главно-

го первосвященника, которая со времен Нумы и до времен Августа всегда исполнялась одним из самых достойных сенаторов, была в конце концов соединена со званием императора. Прежде первый сановник республики исполнял собственноручно священнические обязанности всякий раз, как этого требовало суеверие или политика, и ни в Риме, ни в провинциях не было никакого духовного сословия, которое заявляло бы притязания на более священный характер между людьми или на более тесное общение с богами. Но в христианской церкви, возлагающей служение перед алтарями на непрерывный ряд особо посвященных лиц, монарх, который по своему духовному рангу ниже последнего из дьяконов, восседал подле решетки святилища и смешивался с массой остальных верующих. Император мог считаться отцом своего народа, но он был обязан оказывать сыновнее повиновение и уважение отцам церкви, и гордость епископского сана скоро стала требовать от Константина таких же знаков почтения, какие он оказывал святым и духовникам. Тайная борьба между юрисдикциями, гражданской и церковной, затрудняла действия римского правительства, а благочестивый император не допускал преступной и опасной мысли, чтобы можно было наложить руку на кивот завета. В действительности разделение людей на два разряда, на духовенство и мирян, существовало у многих древних народов, и священнослужители в Индии, Персии, Ассирии, Иудее, Эфиопии, Египте и Галлии приписывали божественное происхождение и приобретенной ими светской власти, и приобретенным ими имуществам. Эти почтенные учреждения постепенно приспособились к местным нравам и формам правления; но порядки первобытной церкви были основаны на сопротивлении гражданской власти или на пренебрежении к ней. Христиане были обязаны избирать своих собственных должностных лиц, собирать и расходовать свои особые доходы и регулировать внутреннее управление своей республики сводом законов, который был утвержден согласием народа и трехсотлетней практикой. Когда Константин принял христианскую веру, он будто заключил вечный союз с отдельным и самостоятельным обществом, а привилегии, которые были дарованы или подтверждены этим императором и его преемниками, были приняты не за свидетельства непрочного милостивого расположения двора, а за признание справедливых и неотъемлемых прав духовного сословия.

Глава 9

Католическая Церковь управлялась духовной и легальной юрисдикцией тысячи восьмисот епископов, из числа которых тысяча имели пребывание в греческих провинциях империи, а восемьсот — в латинских. Пространство и границы их епархии изменялись сообразно с усердием и успехами первых миссионеров, сообразно с желаниями народа и с распространением Евангелия. Епископские церкви были расположены на близком одна от другой расстоянии вдоль берегов Нила, на африканском побережье, в азиатском проконсульстве и в южных провинциях Италии. Епископы Галлии и Испании, Фракии и Понта заведовали обширными территориями и возлагали на своих сельских викариев исполнение второстепенных обязанностей пастырского звания. Христианская епархия могла обнимать целую провинцию или ограничиваться одной деревушкой, но все епископы пользовались одинаковыми правами, нераздельными с их саном: все они получали одинаковую власть и одинаковые привилегии от апостолов, от народа и от законов. В то время как политика Константина отделяла гражданские профессии от военных, и в церкви, и в государстве возникло новое и постоянное сословие церковных должностных лиц, всегда почтенных, а иногда и опасных.

**Галльские легионы провозглашают
Юлиана императором. — Его поход и успехи. —
Смерть Констанция. —
Гражданское управление Юлиана.
(360–361 гг.)**

Глава 9 (XXII)

В то время как римляне томились под позорной тиранией евнухов и епископов, похвалы Юлиану с восторгом повторялись во всех частях империи, только не во дворце Констанция. Германские варвары, испытывавшие на себе военные дарования юного Цезаря, боялись его; его солдаты разделяли с ним славу его побед; признательные провинции наслаждались благодеяниями его царствования; но фавориты, противившиеся его возвышению, были недовольны его доблестями и не без основания полагали, что друг народа должен считаться врагом императорского двора. Пока слава Юлиана еще не упрочилась, дворцовые буффоны, искусно владевшие языком сатиры, испробовали пригодность этого искусства, так часто употреблявшегося ими с успехом. Они без большого труда открыли, что простота Юлиана не была лишена некоторой аффектации, и стали называть этого воина-философа оскорбительными прозвищами косматого дикаря и обезьяны, одевшейся в пурпуровую мантию, а его скромные депеши они клеймили названием пустых и натянутых выдумок болтливового грека и философствующего солдата, изучавшего военное искусство в рощах Академии. Но голос злобы и безрассудства наконец должен был умолкнуть перед победными возгласами; того, кто одолел франков и алеманнов, уже нельзя было выдавать за человека, достойного одного презрения, и сам монарх оказался настолько низким в своем честолюбии, что постарался обманчивым образом лишить своего заместителя почетной награды за его заслуги. В украшенных лаврами письмах, с которыми император по старому обычаю обращался к провинциям, имя Юлиана было опущено. Они извещали, что Констанций лично распоряжался приготовлениями к бою и выказал свою храбрость в самых передовых рядах армии, что его воинские дарования обеспечили победу и что взятый в плен король варваров был представлен ему на поле сражения, от которого Констанций находился в это время на расстоянии почти сорока дней пути. Однако эта нелепая выдумка не могла ни ввести в заблуждение публику, ни удовлетворить тщеславие самого императора. Так как Констанций вполне сознавал, что одобрение и расположение римлян были на стороне Юлиана, то его недовольный ум был подготовлен к тому, чтобы впитывать тонкий яд от тех коварных наушников, которые прикрывали свои пагубные замыслы под благовидной личиной правдолюбия и чистосердечия. Вместо того чтобы умалять достоинства Юлиана, они стали признавать и даже преувеличивать его популярность, необыкновенные дарования и важные заслуги. Но вместе с этим

они слегка намекали на то, что доблести Цезаря могут мгновенно превратиться в самые опасные преступления, если непостоянная толпа предпочтет свою сердечную привязанность своему долгу или если начальник победоносной армии, забыв о своей присяге, увлечется желанием отомстить за себя и сделаться независимым.

Советники Констанция выдавали его личные опасения за похвальную заботливость об общественной безопасности, а в интимных беседах и, может быть, в своей собственной душе он прикрывал менее отвратительным названием страха те чувства ненависти и зависти, которые он втайне питал к недостижимым для него доблестям Юлиана.

Кажущееся спокойствие Галлии и неминуемая опасность, грозившая восточным провинциям, послужили благовидным предлогом для исполнения тех планов, которые были искусно задуманы императорскими министрами. Они решились обезоружить Цезаря, отозвать преданные войска, охранявшие его особу и его достоинство, и употребить для войны с персидским монархом тех храбрых ветеранов, которые одолели на берегах Рейна самые свирепые германские племена. В то время как Юлиан, зимовавший в Париже, проводил свое время в административных трудах, которые в его руках были делами добродетели, он был удивлен торопливым приездом одного трибуна и одного нотариуса с положительными предписаниями императора, которые им велено было привести в исполнение и которым Юлиан должен был не противиться. Констанций приказывал, чтобы четыре полных легиона — кельты, петулань, герулы и батавы — покинули знамена Юлиана, под которыми они приобрели и свою славу, и свою дисциплину, чтобы в каждом из остальных легионов было выбрано по триста самых молодых и самых храбрых солдат и чтобы весь этот многочисленный отряд, составлявший главную силу галльской армии, немедленно выступил в поход и употребил всевозможные усилия, чтобы прибыть на границы Персии до открытия кампании. Цезарь предвидел последствия этого пагубного приказа и скорбел о них. Вспомогательные войска состояли большей частью из людей, добровольно поступивших на службу с тем условием, что их никогда не поведут за Альпы. Честь Рима и личная совесть Юлиана были ручательством того, что это условие не будет нарушено. В этом случае обман и насилие уничтожили бы доверие и возбудили бы мстительность в независимых германских воинах, считавших добросовестность за самую главную из своих добродетелей, а свободу за самое ценное из своих сокровищ. Легионные солдаты, пользовавшиеся именем и привилегиями римлян, поступили в военную службу вообще для защиты республики, но эти наемные войска относились к устарелым названиям республики и Рима с холодным равнодушием. Будучи привязаны и по рождению, и по долгой привычке к климату и правам Галлии, они любили и уважали Юлиана; они презирали и, может быть, ненавидели императора; они боялись и трудностей похода, и персидских стрел, и жгучих азиатских степей. Они считали своим вторым отечеством страну, которую они спасли, и оправдывали свой недостаток усердия священной и более непосредственной обязанностью охранять свои семейства и своих друзей. Опасения самих жителей Галлии были основаны на сознании немедленной и неизбежной опасности; они утверждали, что, лишь только их провинция лишится своих военных сил, германцы нарушат договор, на который они были вынуждены страхом, и что, несмотря на дарования и мужество Юлиана, начальник армии, существующий лишь по имени, будет признан виновным во всех общественных бедствиях и после тщетного сопротивления очутится или пленником в лагере варваров, или преступником во дворце Констанция. Если бы Юлиан

исполнил полученные им приказания, он обрек бы на неизбежную гибель и самого себя, и ту нацию, которая имела права на его привязанность. Но положительный отказ был бы мятежом и объявлением войны. Неумолимая зависть императора и не допускавший никаких возражений и даже лукавый тон его приказаний не оставляли никакого места ни для чистосердечных оправданий, ни для каких-либо объяснений, а зависимое положение Цезаря не позволяло ему ни медлить, ни колебаться. Одиночество усиливало замешательство Юлиана; он уже не мог обращаться за советами к преданному Саллюстию, который был удален от своей должности расчетливой злобой евнухов; он даже не мог подкрепить свои возражения одобрением министров, которые не осмелились бы или постыдились бы подписывать гибель Галлии. Нарочно была выбрана такая минута, когда начальник кавалерии Лупиций был командирован в Британию для отражения скоттов и пиктов, а Флоренций был занят в Виенне раскладкой податей. Последний, принадлежащий к разряду хитрых и нечестных государственных людей, старался отклонить от себя всякую ответственность в этом опасном деле и не обращал внимания на настоятельные и неоднократные приглашения Юлиана, который объяснял ему, что, когда идет речь о важных правительственных мерах, присутствие префекта необходимо на совещаниях, происходящих у государя. Между тем императорские уполномоченные обращались к Цезарю с грубыми и докучливыми требованиями и позволяли себе намекать ему на то, что, если он будет дожидаться возвращения своих министров, вина в промедлении падет на него, а министрам будет принадлежать заслуга исполнения императорских приказаний. Не будучи в состоянии сопротивляться, а вместе с тем не желая подчиниться, Юлиан очень серьезно высказывал желание и даже намерение отказаться от власти, которую он не мог удерживать с честью, но от которой он и не мог отказаться, не подвергая себя опасности.

После тяжелой внутренней борьбы Юлиан был вынужден сознаться, что повиновение есть первый долг самого высокопоставленного из подданных и что один только монарх имеет право решать, что необходимо для общественного блага. Он дал необходимые приказания для исполнения требований Констанция: часть войск выступила в поход в направлении к Альпам, а отряды от различных гарнизонов направились к назначенным сборным пунктам. Они с трудом прокладывали себе дорогу сквозь толпы дрожащих от страха провинциальных жителей, старавшихся возбудить в них сострадание своим безмолвным отчаянием или своими громкими воплями; а жены солдат, держа на руках детей, укоряли своих мужей за то, что они остаются покинутыми, и выражали свои упреки то со скорбью, то с нежностью, то с негодованием. Эти сцены всеобщего отчаяния огорчали человеколюбивого Цезаря; он дал достаточное число почтовых экипажей для перевозки солдатских жен и детей, постарался облегчить страдания, которых он был невольным виновником, и при помощи самых похвальных политических хитростей увеличил свою собственную популярность и усилил неудовольствие отправляемых в ссылку войск. Скорбь вооруженной массы людей легко превращается в ярость; их вольнодумный ропот, переходивший из одной палатки в другую, становился все более и более смелым и сильным, подготавливая умы к самым отважным мятежным поступкам, а распространенный между ними с тайного одобрения их трибунов пасквиль описывал яркими красками опалу Цезаря, угнетение галльской армии и низкие пороки азиатского тирана. Служители Констанция были удивлены и встревожены быстрым распространением таких слухов. Они настаивали, чтобы Цезарь ускорил отправку войск, но они неблагоприятно отвергли добросовестный

и основательный совет Юлиана, предлагавшего не проводить войска через Париж и намекавшего, что было бы опасно подвергать их соблазнам последнего свидания с их бывшим главнокомандующим.

Лишь только известили Цезаря о приближении войск, он вышел к ним на встречу и взошел на трибунал, который был воздвигнут в равнине перед городскими воротами. Оказав отличие тем офицерам и солдатам, которые по своему рангу или по своим заслугам были достойны особого внимания, Юлиан обратился к окружавшим его войскам с заранее приготовленной речью; он с признательностью восхвалял их военные подвиги, убеждал их считать за особую честь службу на глазах у могущественного и великодушного монарха и предупреждал их, что приказания Августа должны исполняться немедленно и охотно. Солдаты из опасения оскорбить своего генерала неуместными возгласами и из нежелания прикрывать свои настоящие чувства притворными выражениями удовольствия упорно хранили молчание и после непродолжительного общего безмолвия разошлись по своим квартирам. Цезарь пригласил к себе на пир высших офицеров и в самых горячих дружеских выражениях уверял их в своем желании и в своей неспособности наградить своих товарищей в стольких победах соразмерно с их заслугами. Они удалились с празднества со скорбью и тревогой в душе и горевали о своей несчастной судьбе, отрывавшей их и от любимого генерала, и от родины. Единственный способ избежать этой разлуки был смело подвергнут обсуждению и одобрен; всеобщее раздражение постепенно приняло формы правильного заговора; основательные причины неудовольствия были преувеличены от разгорячения умов, а умы разгорячились от вина, так как накануне своего выступления в поход войска предавались необузданному праздничному веселью. В полночь эта буйная толпа, держа в руках мечи, луки и факелы, устремилась в предместья, окружила дворец и, не заботясь о будущих опасностях, произнесла роковые и неизгладимые слова: «Юлиан Август!».

Тревожные думы, в которые был погружен в это время Юлиан, были прерваны их шумными возгласами; он приказал запереть двери и, насколько это было в его власти, уберег и свою личность, и свое достоинство от случайностей ночной суматохи. Солдаты, усердие которых усилилось от встреченного ими сопротивления, на другой день утром силой вошли во дворец, схватили с почтительным насилием того, на ком остановился их выбор, охраняли его с обнаженными мечами во время проезда по парижским улицам, возвели его на трибунал и громко приветствовали его как своего императора. И благоразумие, и долг преданности заставляли Юлиана сопротивляться их преступным намерениям и подготовить для своей угнетенной добродетели благовидную ссылку на насилие. Обращаясь то к толпе, то к отдельным личностям, он то умолял их о пощаде, то выражал им свое негодование; настоятельно просил не пятнать славу их бессмертных побед и осмелился обещать им, что, если они немедленно возвратятся к своему долгу, он постарается ходатайствовать у императора не только неограниченное и милостивое помилование, но даже отмену тех приказаний, которые вызвали их неудовольствие. Но сознававшие свою вину солдаты предпочитали положить скорее на признательность Юлиана, чем на милосердие императора. Их усердие постепенно перешло в нетерпение, а их нетерпение перешло в исступление. Непреклонный Цезарь выдерживал до третьего часа дня их мольбы, их упреки и их угрозы и уступил только тогда, когда ему неоднократно повторили, что, если он желает сохранить свою жизнь, он должен согласиться царствовать. Его подняли на щит в присутствии войск и среди единогласных одобрительных возгласов; случайно отыскавшееся бога-

тое военное ожерелье заменило диадему; эта церемония окончилась обещанием скромной денежной награды, и удрученный действительной или притворной скорбью новый император удалился в самые уединенные из своих внутренних апартаментов.

Скорбь Юлиана могла происходить только от его невинности, но его невинность должна казаться чрезвычайно сомнительной тем, кто научился не доверять мотивам и заявлениям царствующих династий. Его живой и деятельный ум был доступен для разнообразных впечатлений надежды и страха, признательности и мстительности, долга и честолюбия, желания славы и страха упреков. Но мы не в состоянии определить относительный вес и влияние этих чувств и не в состоянии уяснить мотивы, которые руководили Юлианом или, вернее, толкали его вперед, так как, может быть, и сам он не отдавал себе в них отчета. Неудовольствие войск было вызвано коварной злобой его врагов; их буйство было натуральным последствием нарушения их интересов и раздражения их страстей; а если бы Юлиан старался скрыть свои тайные замыслы под внешним видом случайности, он употребил бы в дело самые ловкие приемы лицемерия без всякой надобности и, вероятно, без всякого успеха. Он торжественно заявил перед лицом Юпитера, Солнца, Марса, Минервы и всех других богов, что до конца того дня, который предшествовал его возведению на престол, ему были совершенно неизвестны намерения солдат, а с нашей стороны было бы невеликодушием не доверять честности героя и искренности философа. Однако вследствие суеверной уверенности, что Констанций был врагом богов, а сам он был их любимцем, он, может быть, желал, чтобы скорее наступил момент его собственного воцарения, и, может быть, старался ускорить наступление этого момента, так как он был уверен, что его царствованию было предназначено восстановить древнюю религию человеческого рода. Когда Юлиана уведомили о заговоре, он лег на короткое время уснуть и впоследствии рассказывал своим друзьям, что он видел Гения империи, который с некоторым нетерпением стоял у его двери, настаивал на позволении войти и упрекал его в недостатке мужества и честолюбия. Удивленный и встревоженный, он обратился с мольбами к великому Юпитеру, который немедленно объяснил ему путем ясных и очевидных предзнаменований, что он должен подчиниться воле небес и армии. Образ действий, отвергающий обыкновенные принципы рассудка, возбуждает в нас подозрения и не поддается нашим исследованиям. Когда такой легковверный и вместе с тем такой изворотливый дух фанатизма вкрадывается в благородную душу, он постепенно уничтожает в ней все принципы добродетели и правдолюбия.

Первые дни своего царствования новый император провел в заботах о том, чтобы умерить рвение своих приверженцев, охранить личную безопасность своих врагов и разрушить тайные замыслы, направленные против его жизни и его власти. Хотя он твердо решился сохранить принятый им титул, он все-таки желал предохранить страну от бедствий междоусобной войны, желал уклониться от борьбы с превосходящими военными силами Констанция и оградить самого себя от упреков в вероломстве и неблагодарности. Украшенный внешними отличиями военной и императорской власти, Юлиан появился на Марсовом поле перед солдатами, которые встретили с самым пылким восторгом того, кого они считали своим воспитанником, своим вождем и своим другом. Он перечислил их победы, выразил сожаление о вынесенных ими лишениях, похвалил их за мужество, воодушевил их надеждами и сдержал их нетерпение; он распустил собравшиеся войска только после того, как получил от них торжественное обещание, что в случае, если бы восточный император подписал спра-

ведливый мирный договор, они откажутся от всякой мысли о завоеваниях и удовлетворятся спокойным обладанием галльскими провинциями. На основании этого обещания он написал от своего собственного имени и от имени армии приличное и умеренное послание и передал его своему министру двора Пентадию и своему камергеру Евтерию — это были два посла, которым он поручил принять от Констанция ответ и вывести его намерения. Это послание было подписано скромным титулом Цезаря, но Юлиан решительным, хотя и почтительным тоном просил утвердить за ним титул Августа. Он сознавал неправильность своего избрания, но старался в некоторой мере оправдать раздражение и насилие войск, вырвавших у него невольное согласие на то, чего они желали. Он объявлял, что готов признать верховную власть своего брата Констанция, и обещал присылать ему ежегодно в подарок испанских коней, пополнять его армию отборными молодыми варварами и принять выбранного им преторианского префекта, испытанной опытности и преданности. Но он оставлял за собой назначение других гражданских и военных должностных лиц, главное начальство над армией, заведование доходами и верховную власть над провинциями, лежащими по эту сторону Альп. Он убеждал императора сообразоваться с требованиями справедливости, не полагаться на тех продажных льстецов, которые питаются только раздорами правителей, и принять предложение справедливого и почетного договора, одинаково выгодного и для республики, и для царствующего дома Константина. В этих переговорах Юлиан требовал только того, что уже ему принадлежало. Та зависимая власть, которой он долго пользовался над провинциями Галлии, Испании и Британии, теперь уже признавалась под более самостоятельным и более высоким титулом. Солдаты и народ радовались перевороту, который даже не был запятнан кровью виновных. Флоренций спасся бегством; Лупициний содержался в заключении. Люди, питавшие нерасположение к новому правительству, были обезоружены и лишены возможности сделаться опасными, а вакантные должности были замещены лишь людьми, способными по выбору монарха, ненавидевшего дворцовые интриги и солдатские мятежи.

Переговоры о мире сопровождались и поддерживались самыми энергичными приготовлениями к войне. Смуты, раздравшие так долго империю, доставили Юлиану возможность пополнить и увеличить ту армию, которую он держал наготове для немедленного выступления против неприятеля. Жестокое гонение, возбужденное против приверженцев Магненция, наполнили Галлию многочисленными шайками, которые состояли из людей, лишенных покровительства законов и занимавшихся разбоями. Они охотно приняли предложение помилования от такого государя, на слово которого они могли положиться, подчинились всем требованиям военной дисциплины и сохранили только свою непримиримую ненависть к особе и правительству Констанция. Лишь только настало время года, удобное для военных действий, Юлиан выступил в поход во главе своих легионов, перекинул через Рейн мост вблизи от Клеве и приготовился наказать вероломство атуариев — одного франкского племени, вообразившего, что оно может безнаказанно опустошать границы разделившейся империи. И трудности, и слава этого предприятия заключались в преодолении препятствий, мешавших движению вперед, и Юлиан победил врага, лишь только успел проникнуть в страну, которую прежние императоры считали недоступной. Даровав варварам мир, император тщательно осмотрел укрепления на Рейне от Клеве до Базеля, объехал с особым вниманием территорию, которую он отвоевал у алеманнов, посетил сильно пострадавший от их ярости Безансон и назначил Виенну местом своей главной квартиры на следу-

ющую зиму. Прибавив к охранявшим границы Галлии крепостям новые укрепления, Юлиан питал некоторую надежду на то, что побежденных столько раз германцев будет сдерживать в его отсутствие страх его имени. Вадомарий был единственным из князей алеманнов, которого он уважал и опасался; а в то время как этот хитрый варвар делал вид, будто соблюдает условия мирных трактатов, успех его военных предприятий грозил империи войной, которая при тогдашних обстоятельствах была бы крайне несвоевременна. Политика Юлиана снизошла до того, что прибегла к таким же хитростям, какие употреблял алеманнский принц: Вадомарий, неосторожно принявший в качестве друга приглашение римских губернаторов, был арестован во время пиршества и отправлен пленником внутрь Испании. Прежде чем варвары успели опомниться от удивления, император появился во главе своих войск на берегах Рейна и, еще раз перейдя через реку, освежил глубокие впечатления ужаса и уважения, произведенные четырьмя предшествовавшими экспедициями.

Послам Юлиана было приказано исполнить данное им поручение с самой большой поспешностью. Но во время их проезда через Италию и Иллирию местные губернаторы задерживали их под разными вымышленными предлогами; от Константинополя до Кесарии, в Каппадокии, их везли с большой медленностью, а когда они были наконец допущены в присутствии Констанция, император уже составил себе из депеш своих собственных чиновников самое неблагоприятное мнение о поведении Юлиана и галльской армии. Он выслушал с признаками нетерпения содержание писем, отпустил дрожавших от страха послов с негодованием и презрением, а его взгляды, телодвижения и гневные возгласы свидетельствовали о происходившем в его душе волнении. Родственная связь могла бы облегчить примирение между братом и мужем Елены, но она была незадолго перед тем расторгнута смертью этой принцессы, беременность которой несколько раз была бесплодна, а в конце концов сделалась гибельной для нее самой. Императрица Евсевия сохранила до последних минут своей жизни ту горячую и даже ревнивую привязанность, которую она питала к Юлиану; но ее кроткое влияние уже не могло сдерживать раздражительности монарха, который сделался со времени ее смерти рабом своих собственных страстей и коварства своих евнухов. Однако страх, который внушало ему нашествие внешнего врага, заставил его на время отложить наказание врага внутреннего; он продолжал подвигаться к границам Персии и счел достаточным указать на те условия, исполнения которых могло дать Юлиану и его преступным сообщникам право на милосердие со стороны их оскорбленного государя. Он потребовал, чтобы самонадеянный Цезарь самым решительным образом отказался от звания и ранга Августа, принятых им от бунтовщиков; чтобы он снизошел на прежнее положение ограниченного в своих правах и зависимого правителя; чтобы он передал гражданскую и военную власть в руки лиц, которые будут назначены императорским двором, и чтобы он положился в том, что касается его личной безопасности, на уверения в помиловании, которые будут переданы ему одним из арианских епископов Галлии — Эпиктетом, который был любимцем Констанция. Несколько месяцев прошли в бесплодных переговорах, которые велись на расстоянии трех тысяч миль, отделявших Париж от Антиохии, и лишь только Юлиан заметил, что его скромный и почтительный образ действий только усиливал высокомерие непримиримого соперника, он смело решился верить свою жизнь и свою судьбу случайностям междоусобной войны. Он принял квестора Леона в публичной аудиенции в присутствии войск; высокомерное письмо Констанция было прочитано перед внимательной толпой, и Юлиан заявил в самых льстивых выра-

жениях о своей готовности отказаться от титула Августа, если получит на это согласие от тех, кого он признает виновниками своего возвышения. Это предложение, сделанное нерешительным тоном, было с горячностью отвергнуто, и возгласы: «Юлиан Август, продолжайте царствовать по воле армии, народа и республики, которых вы спасли» — разразились как гром по всему полю и привели в ужас бледного посла Констанция. Затем была прочитана та часть письма, где император укорял в неблагодарности Юлиана, которого он облек отличиями верховной власти, которого он воспитал с такой заботливостью и нежностью и которого он охранял в детстве, в то время как он оставался беспомощным сиротой. «Сиротой! — воскликнул Юлиан, увлекшийся из желания оправдать себя чувством ненависти. — Разве тот, кто умертвил всех членов моего семейства, может ставить мне в упрек, что я остался сиротой? Он принуждает меня мстить за те обиды, которые я долго старался забыть». Собрание было распушено, и Леон, которого с трудом оградили от народной ярости, был отослан к своему повелителю с письмом, в котором Юлиан выражал с пылким и энергическим красноречием презрение, ненависть и жажду мщения, доведенной до ожесточения вынужденной двадцатилетней сдержанностью. После отправки этого послания, равносильного с объявлением войны на жизнь или на смерть, Юлиан, за несколько недель перед тем праздновавший христианский праздник Богоявления, сделал публичное заявление, что он вверяет заботу о своей безопасности бессмертным богам и таким образом публично отрекается и от религии, и от дружбы Констанция.

Положение Юлиана требовало, чтобы он немедленно принял какое-нибудь энергическое решение. Из перехваченных писем он узнал, что его противник, жертвуя интересами государства для своих личных интересов, возбуждал варваров к вторжению в западные провинции. Положение двух складов провианта, из которых один был устроен на берегах Констанского озера, а другой — у подножия Коттийских Альп, указывало направление двух неприятельских армий, а размер этих складов, в каждом из которых было по шестьсот тысяч четвертей пшеницы, или, скорее, пшеничной муки, был грозным свидетельством силы и многочисленности врага, который готовился окружить его. Но императорские легионы находились еще на своих отдаленных стоянках в Азии, Дунай охранялся слабо, и если бы Юлиан мог, благодаря внезапности своего вторжения, занять важные иллирийские провинции, он мог бы надеяться, что множество солдат станет под его знамена и что богатые золотые и серебряные руды покроют расходы на междоусобную войну. Он предложил собравшимся солдатам решиться на это важное предприятие, внушил им основательное доверие и к их генералу, и к самим себе и убеждал их поддержать приобретенную ими репутацию, что они страшны врагам, скромны в обхождении со своими согражданами и послушны своим офицерам. Его воодушевленная речь была принята с самым громким одобрением, и те самые войска, которые восстали против Констанция, потому что он вызвал их из Галлии, теперь с горячностью заявили, что они готовы следовать за Юлианом на край Европы и Азии. Солдаты принесли присягу в верности; бряцая своими щитами и приложив к своему горлу обнаженные мечи, они со страшными заклинаниями обрекли себя на службу вождю, которого они превозносили как освободителя Галлии и как победителя германцев. Это торжественное обязательство, внушенное, по-видимому, не столько чувством долга, сколько личной привязанностью, встретило противодействие лишь со стороны Небридия, незадолго перед тем назначенного преторианским префектом. Этот честный министр осмелился вступить без всякой посторон-

ней помощи за права Констанция посреди вооруженной и возбужденной толпы людей и едва не сделался почтенной, но бесполезной жертвой ее ярости. Лишившись одной руки от удара меча, он пал к стопам государя, которого оскорбил. Юлиан прикрыл префекта своей императорской мантией и, защитив его от усердия своих приверженцев, отправил его домой с меньшим уважением, чем какого заслуживало мужество врага. Высокая должность Небридия была передана Саллюстию, и галльские провинции, освободившиеся теперь от невыносимой тяжести налогов, стали наслаждаться мягким и справедливым управлением друга Юлиана, который получил возможность применять к делу те добродетели, которые он влил в душу своего воспитанника.

Надежды Юлиана были основаны не столько на многочисленности его войск, сколько на быстроте его движений. Пускаясь на такое отважное предприятие, он принимал все меры предосторожности, какие только могло внушить благоразумие, а когда не было возможности поступать так, как требовало благоразумие, он полагался на свое мужество и на свою фортуна. Он собрал свою армию в окрестностях Базеля и там же разделил ее на части. Отряд из десяти тысяч человек под предводительством кавалерийского генерала Невитты должен был направиться внутрь Реции и Норика. Другой такой же отряд под начальством Иовия и Иовина приготовился к выступлению кривым путем больших дорог через Альпы и северные границы Италии. Генералам были даны ясные инструкции: быстро подвигаться вперед густыми и сомкнутыми колоннами, которые сообразно с расположением местности могли бы быть легко выстроены в боевом порядке; предохранять себя от нечаянных ночных нападений сильными патрулями и бдительными часовыми; предотвращать сопротивление неожиданностью своего появления, уклоняться от расспросов быстрым удалением из занятой местности, распространять слухи о своей силе и внушать страх к имени Юлиана; присоединиться к своему государю под стенами Сирмия. Самому себе Юлиан предоставил исполнение самой трудной и самой блестящей части общего плана. Он выбрал три тысячи храбрых и ловких волонтеров, отказавшихся, подобно своему вождю, от всякой надежды на отступление; во главе этого преданного отряда он бесстрашно устремился в самую глубь Маркианского, или Черного, леса, скрывающего в своих недрах истоки Дуная, и в течение некоторого времени никто ничего не знал о том, где находится Юлиан. Таинственность его похода, его быстрота и энергия преодолели все препятствия; он прокладывал себе путь через горы и болота, овладевал мостами или переправлялся через реки вплавь, подвигался вперед по прямому направлению, не обращая никакого внимания на то, через какую территорию ему приходится переходить, через римскую или через варварскую, и наконец появился между Ратисбоном и Веной в том самом месте, откуда он предполагал спустить свою армию вниз по Дунаю. Благодаря искусно задуманной хитрости он захватил стоявший на якоре флот из легких бригаantin, запаса плохой провизией, способной удовлетворять неразборчивый, но ненасытный аппетит галльской армии, и смело пустился вниз по течению Дуная. Благодаря неутомимым усилиям его гребцов и постоянно благоприятному попутному ветру его флот проплыл в одиннадцать дней более семисот миль, и он высадил свои войска в Бононии, всего лишь в девятнадцати милях от Сирмия, прежде, нежели до неприятеля дошло известие о том, что он покинул берега Рейна. Во время этого далекого и быстрого плавания Юлиан не уклонялся от главной цели своего предприятия, и, хотя он принимал депутации от некоторых городов, спешивших приобрести своей торопливой покорностью его милостивое расположение, он проезжал, не останавливаясь мимо неприятельских постов,

расположенных вдоль реки, и не увлекался соблазном выказать бесполезную и несвоевременную храбрость. Берега Дуная были с обеих сторон покрыты толпами любопытных, которые глазели на пышность военной обстановки, предчувствовали важность предстоящих событий и распространяли по окрестным странам славу юного героя, подвигающегося вперед с нечеловеческой скоростью во главе бесчисленных военных сил Запада. Луцилиан, соединявший с рангом кавалерийского генерала главное начальство над военными силами Иллирии, был встревожен и смущен неопределенными донесениями, которых он не мог опровергнуть, но которым трудно было верить. Он принял некоторые медленные и нерешительные меры с целью собрать войска, когда был застигнут врасплох Дагалефом — деятельным офицером, которого Юлиан послал вперед с небольшим отрядом легкой кавалерии немедленно вслед за своей высадкой в Бононии. Взятый в плен генерал, не знавший, что его ожидает, был тотчас посажен на лошадь и отправлен к Юлиану, который милостиво поднял его и разогнал чувства страха и удивления, по-видимому, совершенно притупившие его умственные способности. Но лишь только Луцилиан пришел в себя, он позволил себе обратиться к победителю с неуместным замечанием, что он поступил опрометчиво, появившись среди своих врагов с небольшой кучкой людей. «Поберегите эти трусливые замечания для вашего повелителя Констанция, — возразил Юлиан с презрительной улыбкой, — дозволяя вам поцеловать полу моей мантии, я принял вас не как советника, а как просителя». Сознывая, что только успех может оправдать его попытку и что только смелость может доставить успех, он немедленно предпринял во главе трех тысяч солдат нападение на самый сильно укрепленный и самый населенный город иллирийских провинций. Когда он вступил в длинное предместье Сирмия, он был встречен радостными криками армией и народом, которые, украсившись венками из цветов и держа в руках зажженные свечи, проводили его как своего государя в императорскую резиденцию. Два дня были проведены среди общей радости, которая была отпразднована играми цирка; но на третий день рано утром Юлиан выступил в поход с целью занять узкие проходы Sicci в ущельях горы Гемус, которая, находясь почти на полпути между Сирмием и Константинополем, отделяет Фракию от Дакии, представляя со стороны первой из этих провинций крутой склон, а со стороны второй — легкую покатость. Защита этого важного пункта была поручена храброму Невитте, который точно так же, как и генералы итальянского отряда, успешно исполнил план похода и соединения, так искусно задуманный его повелителем.

Отчасти благодаря страху, который наводил имя Юлиана, отчасти благодаря сочувствию, которое он внушал населению, его власть распространилась гораздо далее тех пределов, которыми ограничивались его военные успехи. Префектуры, итальянская и иллирийская, управлялись Тавром и Флоренцием, соединявшими со своей важной должностью пустые отличия консульского звания; а так как эти сановники поспешно удалились к императорскому двору в Азию, то Юлиан, не всегда умевший сдерживать свою склонность к насмешкам, заклеил их бегство тем, что во всех публичных актах того года прибавлял к именам двух консулов эпитет «беглые». Покинутые своими высшими должностными лицами провинции признали над собой власть такого императора, который, соединяя в себе достоинства воина с достоинствами философа, внушал одинаковое к себе уважение и в расположенных на Дунае лагерях, и в греческих школах. Из своего дворца или, вернее говоря, из своей главной квартиры, находившейся то в Сирмие, то в Нэссе, он разослал главным городам империи тщательно изложенную апологию своего поведения, опубликовал се-

кретные депеши Констанция и приглашал все человечество сделать выбор между двумя соперниками, из которых один прогнал варваров, а другой поощрял их вторгнуться внутрь империи. Глубоко оскорбленный упреком в неблагодарности, Юлиан хотел доказать справедливость своего дела как силой оружия, так и силой аргументов, хотел выказать не только свои военные, но и свои литературные дарования. Его послание к афинскому сенату и народу, по-видимому, было внушено сильным влечением к изящному, заставившим его представить свои действия и свои мотивы на суд выродившимся афинянам своего времени с такой смиренной почтительностью, что он как будто защищался, в дни Аристида, перед трибуналом Ареопага. Его обращение к римскому сенату, которому все еще дозволяли утверждать права на императорскую власть, было согласно с обычаями издыхавшей республики. Городской префект Тертулл созвал сенат: там было прочитано послание Юлиана, а так как он, по-видимому, был властителем Италии, то его притязания были уважены, и ни один голос не нарушил общего единодушия. Его косвенное порицание нововведений Константина и его страстные нападки на пороки Констанция были выслушаны с меньшим удовольствием, и как будто Юлиан лично присутствовал на заседании, сенаторы единогласно воскликнули: «Просим вас, уважайте виновника вашей собственной фортуны». Это было двусмысленное выражение, допускавшее различные толкования, смотря по тому, каков будет исход войны; оно могло быть принято и за смелый упрек узурпатору в неблагодарности или за льстивое признание, что Констанций загладил все свои ошибки тем, что возвысил Юлиана.

Известие о движении и быстрых успехах Юлиана дошло до его соперника, в то время как отступление Сапора дало ему возможность отложить на время заботы о войне с Персией. Скрывая свою душевную тревогу под маской презрения, Констанций выражал намерение возвратиться в Европу и заняться погоней за Юлианом, так как он никогда не говорил об этой экспедиции иначе, как об охотничьей прогулке. В своем лагере близ Гиерополя, в Сирии, он сообщил об этом намерении своим войскам, слегка упомянул о виновности и опрометчивости Цезаря и уверял, что, если галльские мятежники осмелятся померяться в открытом поле с императорской армией, они будут неспособны выдержать огня ее глаз и падут от одних ее воинственных возгласов. Речь императора вызвала одобрение солдат, и президент Гиеропольского совета Феодот из лести умолял со слезами, чтобы голова побежденного бунтовщика была назначена на украшение его города. Избранный отряд был отправлен в почтовых экипажах, чтобы занять, если еще было возможно, проход *Succi*; рекруты, лошади, оружие и магазины, приготовленные для войны с Сапором, получили новое назначение согласно с требованиями междоусобной войны, а победы, одержанные Констанцием над его внутренними врагами, внушали его приверженцам полную уверенность в успехе. Нотариус Гауденций, принявший от его имени управление африканскими провинциями, пресек доставку съестных припасов в Рим, а затруднения Юлиана еще увеличились вследствие одного неожиданного события, которое могло иметь для него самые пагубные последствия. Юлиан принял изъявления покорности от стоявших в Сирмии двух легионов и одной когорты стрелков; он не без основания не полагался на преданность этих войск, получивших некоторые отличия от императора, и под предлогом, что границы Галлии охраняются слишком слабо, удалил их от главного театра военных действий. Они неохотно выступили в поход и дошли до границ Италии; а так как их пугали и дальность пути, и дикая отвага германцев, то они решились по наущению одного из своих трибунов остановиться

в Аквиле и водрузить знамя Констанция на стенах этой непреступной крепости. Бдительный Юлиан тотчас понял, как велика угрожавшая ему опасность и как необходимо немедленно принять против нее меры. По его приказанию Иовин отвел часть армии в Италию, предпринял осаду Аквилеи и вел ее с энергией. Но легионные солдаты, по-видимому, сбросившие с себя иго дисциплины, обороняли крепость с искусством и упорством; они пригласили остальную Италию последовать данному ими примеру мужества и преданности своему государю и грозили отрезать отступление Юлиана в случае, если бы он не устоял против численного превосходства восточных армий.

Смерть Констанция. 361 г.

Но человеколюбие Юлиана было избавлено от печальной необходимости, от которой он скорбел в таких трогательных выражениях; ему не пришлось делать выбора между гибелью других и своей собственной, так как, кстати, приключившаяся смерть Констанция предохранила Римскую империю от бедствий междоусобной войны. Приближение зимы не помешало императору покинуть Антиохию, а его приближенные не осмелились противиться его нетерпеливой жажде мщения. Легкая лихорадка, которая, быть может, была вызвана его душевной тревогой, усилилась от утомительного путешествия, и Констанций был вынужден остановиться в небольшом городке Монсукрене, в двенадцати милях по ту сторону Тарса, где он и умер после непродолжительной болезни на сорок пятом году от рождения и на двадцать четвертом году своего царствования. Из предшествующего изложения мирских и церковных событий уже можно было составить себе ясное понятие о его характере, представлявшем смесь гордости с малодушием и суеверий с жестокостью. Долгое злоупотребление властью придало его личности высокое значение в глазах его современников, но так как одни только личные достоинства имеют значение в глазах потомства, то мы ограничимся замечанием, что последний из сыновей Константина унаследовал лишь недостатки своего отца, но не обладал ни одним из его дарований. Утверждают, будто Констанций перед смертью назначил Юлиана своим преемником, и мы не находим ничего неправдоподобного в том, что его заботливость об участии молодой и нежно любимой жены, которую он оставлял беременной, могла в последние минуты его жизни одержать верх над его более грубыми страстями, над ненавистью и жаждой мщения. Евсевий вместе со своими преступными сообщниками сделал слабую попытку продолжить владычество евнухов путем избрания нового императора; но их заискивания были с негодованием отвергнуты армией, которой была отвратительна мысль о междоусобице, и два офицера высшего ранга были немедленно отправлены к Юлиану с уверением, что ни один меч в империи не будет вынут из своих ножен иначе, как по его приказанию. Это счастливое событие предотвратило исполнение военных планов Юлиана, задумавшего напасть на Фракию с трех различных сторон. Без пролития крови своих сограждан он избежал опасностей борьбы, исход которой был сомнителен и приобрел все выгоды полной победы. Горя нетерпением посетить место своего рождения и новую столицу империи, он направился туда из Несса через Гемские горы и через города Фракии. Когда он прибыл в Гераклею, находившуюся от Константинополя на расстоянии шестидесяти миль, все население столицы высыпало к нему навстречу, и он совершил свой торжественный въезд при громких изъявлениях преданности со стороны солдат, народа и сената. Бесчисленная толпа теснилась вокруг него с почтительным любопытством и, может быть, была обманута в своих ожиданиях, когда увидела небольшого ростом и просто одетого героя, который

в пору своей неопытной юности одолел германских варваров, а теперь совершил удачный поход через весь европейский континент от берегов Атлантического моря до берегов Босфора. Через несколько дней после того, когда прибыли в гавань смертные останки покойного императора, подданные Юлиана восхищались искренней или притворной чувствительностью своего государя. Пешком, без диадемы и одетый в траурное платье сопровождал он погребальное шествие до церкви Св. Апостолов, где было положено тело усопшего, и если эти доказательства уважения могли бы быть истолкованы как себялюбивая дань, принесенная высокому происхождению и положению его родственника, то слезы Юлиана свидетельствовали перед всем миром о том, что он позабыл нанесенные ему Констанцием оскорбления и помнил лишь сделанное ему добро. Лишь только стоявшие в Аквилее легионы убедились, что император действительно умер, они отворили городские ворота и, принеся в жертву своих преступных вождей, без труда получили прощение от благоразумия и снисходительности Юлиана, который на тридцать втором году своей жизни получил бесспорную власть над всей Римской империей.

Философия научила Юлиана сравнивать выгоды деятельной жизни с выгодами уединения, но знатность его рождения и случайности его жизни никогда не давали ему свободы выбора. Он, может быть, искренно предпочел бы рощи Академии и афинское общество; но сначала воля, а впоследствии несправедливость Констанция заставили его подвергнуть свою личность и свою репутацию опасностям, сопряженным с императорским величием, и принять на себя перед целым миром и перед потомством ответственность за благополучие миллионов людей. Юлиан со страхом припоминал замечание своего любимого философа Платона, что заботы о нашем скоте и стадах всегда поручаются существам более высокого разряда и что управление народами требует небесных дарований богов или гениев. Отправляясь от этого принципа, он основательно приходил к заключению, что тот, кто хочет царствовать, должен стремиться к божественным совершенствам; что он должен очищать свою душу от всего, что в ней есть смертного и земного; что он должен подавлять свои плотские вожделения, просвещать свой ум, управлять своими страстями и укрощать в себе дикого зверя, которому, по живописному выражению Аристотеля, редко не удастся воссесть на трон деспота. Но трон Юлиана, утвердившийся вследствие смерти Констанция на самостоятельном фундаменте, был седалищем разума, добродетели и, может быть, тщеславия. Юлиан презирал почести, отказывался от удовольствий, исполнял с непрестанным старанием обязанности своего высокого сана, и между его подданными нашлось бы немного таких, которые захотели бы его избавить от тяжести диадемы, если бы они были обязаны подчинить свое распределение времени и свои действия тем суровым законам, которые наложил сам на себя этот император-философ. Один из самых близких его друзей, с которым он нередко делил свой скромный и простой обед, высказал замечание, что его легкая и необильная пища, обыкновенно состоявшая из различных овощей, никогда не отнимала у его ума и у его тела той свободы и той способности к деятельности, которые необходимы для разнообразных и важных занятий писателя, первосвященника, судьи, генерала и монарха. В один и тот же день он давал аудиенции нескольким послам и писал или диктовал множество писем к своим генералам, гражданским сановникам, личным друзьям и к различным городам империи. Он выслушивал чтение присланных ему заметок, рассматривал содержание прошений и диктовал решения так быстро, что его секретари едва успевали вкратце их записывать. Его ум был так ги-

бок, а его внимание так сосредоточенно, что он мог пользоваться своей рукой для того, чтобы писать, своими ушами для того, чтобы слушать, своим голосом для того, чтобы диктовать, и таким образом одновременно следовать за тремя различными нитями идей без колебаний и без ошибок. В то время как его министры отдыхали, монарх быстро переходил от одной работы к другой и после торопливо съеденного обеда удалялся в свою библиотеку; там он оставался до тех пор, пока назначенные им на вечер деловые занятия не заставляли его прервать его научные занятия. Ужин императора был еще менее обилен, чем обед; его сон никогда не отягощался трудным пищеварением, и за исключением небольшого промежутка времени после его бракосочетания, которое было результатом не столько сердечной склонности, сколько политических расчетов, целомудренный Юлиан никогда не разделял своего ложа с подругой женского пола. Его будили рано утром входившие в его комнату секретари, которые запаслись свежими силами, отдыхая в течение предшествующего дня, а его слуги дежурили попеременно, в то время как для их неутомимого повелителя главный способ отдохновения заключался в перемене занятий. Предшественники Юлиана, и его дядя, и его родной брат, и его двоюродный брат, удовлетворяли свою ребяческую склонность к играм цирка под благовидным предлогом, что они желают сообразоваться с вкусами народа, и они нередко проводили большую часть дня как праздные зрители блестящего представления или как участники в нем до тех пор, пока не был закончен полный комплект двадцати четырех бегов. В торжественные праздники Юлиан снисходил до того, что появлялся в цирке, несмотря на то что чувствовал и высказывал несогласное с господствовавшей модой отвращение к таким пустым забавам; но, просидев с равнодушным невниманием в течение пяти или шести бегов, он удалялся с торопливостью философа, считающего потерянной каждую минуту, которая не была посвящена общественной пользе или обогащению его собственного ума. Благодаря такой бережливой трате своего времени он как будто удлинил свое непродолжительное царствование, и, если бы все числа не были с точностью определены, мы отказались бы верить, что шестнадцать месяцев отделяли смерть Констанция от выступления его преемника в поход против персов. История может сохранить воспоминание лишь о деяниях Юлиана; но до сих пор сохранившаяся часть его объемистых сочинений служит памятником как трудолюбию императора, так и его гения. «Мизопогон», «Цезари», некоторые из его речей и его тщательно обработанное сочинение против христианской религии были написаны во время длинных вечеров двух зим, из которых первую он провел в Константинополе, а вторую — в Антиохии.

Дворцовые преобразования

Преобразование императорского двора было одним из первых самых необходимых дел Юлианова управления. Вскоре после его прибытия в константинопольский дворец Юлиану понадобился брадобрей. Перед ним тотчас явился великолепно разодетый сановник. «Я требовал брадобрея, — воскликнул император с притворным удивлением, — а не главного сборщика податей». Он стал расспрашивать этого человека о выгодах, доставляемых его должностью, и узнал, что, кроме большого жалованья и некоторых значительных побочных доходов, он получал суточное продовольствие для двадцати слуг и столько же лошадей. Тысяча брадобреев, тысяча виночерпиев, тысяча поваров были распределены по разным заведениям, созданным роскошью, а число евнухов можно было сравнить лишь с числом насекомых в летний день. Монарх, охотно

предоставлявший своим подданным превосходства заслуг и добродетели, отличался от них разорительным великолепием своей одежды, своего стола, своих построек и своей свиты. Роскошные дворцы, воздвигнутые Константином и его сыновьями, были украшены разноцветными мраморами и орнаментами из массивного золота. Не столько для удовлетворения вкуса, сколько для удовлетворения тщеславия ко двору доставлялись самые изысканные съестные припасы — птицы из самых отдаленных стран, рыбы из самых дальних морей, плоды не по времени года, розы зимой и лед в летнюю пору. Содержание бесчисленной дворцовой прислуги стоило дороже, чем содержание легионов, но лишь весьма незначительная ее часть употреблялась на служение монарху или хотя бы на увеличение блеска его власти. На стыд монарху и на разорение народу было учреждено бесчисленное множество неважных и даже только номинальных должностей, которые можно было приобретать покупкой, так что самый последний из подданных мог купить за деньги право существовать за счет государственной казны без всякой обязательной работы. Эта надменная челядь быстро обогащалась остатками расходов от такого громадного хозяйства, увеличением подарков и наград, которых она скоро стала требовать как долга, и взятками, которые она вымогала от тех, кто боялся ее вражды или искал ее дружбы. Она расточала эти богатства, забывая о своей прежней нищете и не заботясь о том, что ожидает ее в будущем, и одна только безрассудная ее расточительность могла стоять на одном уровне с ее хищничеством и продажностью. Ее шелковые одеяния были вышиты золотом, ее стол был изящен и обилен; дома, которые она строила для своего собственного употребления, занимали такое же пространство, как мыза иного древнего консула, и самые почтенные граждане были обязаны сходить с лошади, чтобы почтительно поклониться встреченному ими на большой дороге евнуху. Дворцовая роскошь возбуждала отвращение и негодование в Юлиане, который имел обыкновение спать на полу, неохотно подчинялся самым неизбежным требованиям человеческой натуры и находил удовлетворение своего тщеславия не в старании превзойти царственную пышность своих предшественников, а в презрении к ней. Он поспешил совершенно искоренить зло, которому общественное мнение придавало еще более обширные размеры, чем те, какие оно имело на самом деле, и горел нетерпением облегчить положение и прекратить ропот народа, который легче выносит тяжесть налогов, когда уверен, что плоды его труда употребляются на нужды государства. Но Юлиана обвиняют в том, что при исполнении этой благотворной задачи он поступал с торопливой и неосмотрительной строгостью. Изданием только одного эдикта он превратил константинопольский дворец в обширную пустыню и с позором распустил весь штат рабов и служителей, не сделав ни из чувства справедливости, ни даже из милосердия никаких исключений в пользу старости, заслуг или бедности преданных служителей императорского семейства. Таков в действительности был нрав Юлиана, часто забывавшего основной принцип Аристотеля, что истинная добродетель находится между двумя противоположными пороками на одинаковом от них расстоянии. Великолепные и приличествующие женщинам одеяния азиатов, завитые локоны и румяна, ожерелья и браслеты, казавшиеся столь смешными на Константине, были вполне основательно отвергнуты заменившим его на троне философом. Но вместе с щегольством Юлиан, по-видимому, отвергал и необходимость быть прилично одетым; он будто гордился своим пренебрежением к требованиям чистоплотности. В сатирическом произведении, назначенном для публики, император с удовольствием и даже с гордостью говорит о длине своих ногтей и о том, что его руки всегда выпачканы в чернилах; он утверждает

ет, что, хотя большая часть его тела покрыта волосами, бритва бреет только то, что у него на голове, и с очевидным удовольствием восхваляет свою косматую и густонаселенную бороду, которую он, по примеру греческих философов, нежно лелеет. Если бы Юлиан руководствовался простыми требованиями здравого смысла, то первый римский сановник не унился бы в его лице ни до жеманства Диогена, ни до жеманства Дария.

Но дело общественного преобразования оставалось бы недоконченным, если бы Юлиан только уничтожил злоупотребления предшествовавшего царствования, оставив безнаказанными его преступления. «Мы теперь избавились, — говорит он в фамильярном письме к одному из своих близких друзей, — мы удивительным образом избавились от ненасытной пасти гидры. Я отношу это название вовсе не к брату моему Констанцию. Его уже нет в живых; пусть будет ему легка та земля, которая лежит над его головой! Но его коварные и жестокосердные любимцы старались обманывать и раздражать монарха, отличавшегося таким мягкосердечием, которое нельзя хвалить, не впадая в лесть. Впрочем, даже этих людей я не намерен притеснять: их обвиняют и они должны пользоваться благоденствиями справедливого и беспристрастного суда». Для разбирательства этих дел Юлиан назначил шесть судей из лиц, занимавших высшие должности на государственной службе и в армии, а так как он желал отклонить от себя упрек в наказании своих личных врагов, то местом заседаний этого чрезвычайного трибунала он назначил Халкедон, на азиатском берегу Босфора, и дал судьям безусловное право постановлять и приводить в исполнение свои окончательные приговоры без всяких отсрочек и без апелляций. Звание председателя было возложено на почтенного восточного префекта, второго Саллюстия, добродетели которого одинаково ценились и греческими софистами, и христианскими епископами. Ему дан был в помощники один из выбранных консулов — красноречивый Мамертин, достоинства которого громко превозносились на основании сомнительного свидетельства тех похвал, которые он расточал сам себе. Но гражданская мудрость этих двух сановников перевешивалась свирепой запальчивостью четырех генералов, Невитты, Агило, Иовина и Арбецио. Публика была бы менее удивлена, если бы увидела Арбецио не на судейском кресле, а на скамье подсудимых; тем не менее, существовало общее убеждение, что ему одному была известна тайная задача комиссии; начальники отрядов юпитерцев и геркулианцев гневно стояли с оружием в руках вокруг трибунала, и судьи подчинялись в своих решениях то законам справедливости, то громким требованиям крамолы.

Камергер Евсевий, так долго злоупотреблявший милостивым расположением Констанция, поплатился позорной смертью за наглость, безнравственность и жестокости своего рабского владычества. Казнь Павла и Аподемия (из которых первый был сожжен живым) была неудовлетворительным наказанием в глазах вдов и сирот стольких сот римлян, на которых донесли и которых погубили эти легальные тираны. Но сама справедливость (по живописному выражению Аммиана) проливала слезы над участью имперского казначея Урсула; его смерть была свидетельством неблагодарности Юлиана, который несколько раз выпутывался из затруднительного положения благодаря неустрашимой щедрости этого честного министра. Причиной и оправданием его казни была ярость солдат, которых он раздражал своими разоблачениями, и Юлиан, глубоко потрясенный и угрызениями своей совести, и ропотом публики, постарался утешить семейство Урсула тем, что возвратил ему его конфискованное имущество. Прежде, нежели истек год, в течение которого Тавр и Флоренций были возведены в звание префектов и кон-

сулов, они были вынуждены обратиться с мольбами о помиловании к безжалостному халкедонскому трибуналу. Первый из них был сослан в город Верчелли, в Италию, а над вторым был произнесен смертный приговор. Мудрый монарх наградил бы Тавра за то, что считалось его преступлением: этот верный министр, не будучи в состоянии воспротивиться наступательному движению бунтовщика, укрылся при дворе своего благодетеля и своего законного государя. Но преступление Флоренция оправдывало строгость судей, а его бегство доставило Юлиану случай высказать свое великодушие: император обуздал себялюбивое усердие одного доносчика и не захотел знать, в каком месте этот несчастный беглец скрывается от его справедливого гнева. Через несколько месяцев после того как халкедонский трибунал был закрыт, в Антиохии были казнены заместитель африканского префекта нотариус Гауденций и египетский герцог Артемий. Последний властвовал над обширной провинцией как жестокий и развратный тиран, а Гауденций долго занимался клеветническими доносами на невинных и добродетельных граждан и даже на самого Юлиана. Однако разбирательство их дела велось так неумело, что в общественном мнении составилось убеждение, будто они пострадали за непоколебимую преданность, с которой они защищали интересы Констанция. Остальные виновные спаслись благодаря всеобщей амнистии и могли безнаказанно пользоваться взятками, которые они брали или за то, чтобы защищать угнетенных, или за то, чтобы угнетать беззащитных. Эта мера, которая достойна одобрения, если смотреть на нее с точки зрения здравых политических принципов, была приведена в исполнение таким способом, который унижал величие императорского престола. Множество просителей, в особенности египтян, докучали Юлиану настойчивыми требованиями, чтобы им были возвращены назад подарки, розданные ими или по неблагоразумию, или противозаконно; он предвидел бесконечный ряд утомительных процессов и дал просителям слово, которое должен был бы считать священным, что, если они отправятся в Халкедон, он сам приедет туда, чтобы лично рассмотреть их жалобы и принять решение. Но лишь только они высадились на противоположном берегу, он запретил лодочникам перевозить кого-либо из египтян в Константинополь и таким образом задержал своих разочарованных клиентов на азиатской территории до тех пор, пока они, истощив и свое терпение, и свои денежные средства, поневоле возвратились на родину с ропотом негодования.

Многочисленная армия шпионов, агентов и доносчиков, набранная Константином для того, чтобы обеспечить спокойствие одного человека и нарушить спокойствие миллионов людей, была немедленно распущена его великодушным преемником. Юлиан был не легко доступен подозрениям и не был жесток в наказаниях: его пренебрежение к измене было результатом здравого смысла, тщеславия и мужества. Из сознания своего нравственного превосходства он был убежден, что между его подданными нашлось бы немного таких, которые осмелились бы или открыто восстать против него, или посягнуть на его жизнь, или занять в его отсутствие вакантный престол. Как философ, он мог извинять опрометчивые выходки недовольных; как герой, он мог относиться с пренебрежением к честолюбивым замыслам, для успешного осуществления которых у опрометчивых заговорщиков не достало бы ни авторитета, ни дарований. Какой-то житель Анкиры сделал для своего собственного употребления пурпуровую одежду, благодаря докучливому заискиванию одного из его личных врагов, Юлиан узнал об этом неосторожном поступке, который был бы признан в царствование Констанция за уголовное преступле-

ние. Собрав сведения о ранге и характере своего соперника, монарх послал ему через доносчика в подарок пару пурпуровых туфель, чтобы довершить великолепие его императорского одеяния. Более опасный заговор был составлен десятью состоявшими при нем гвардейцами, которые вознамерились убить Юлиана на поле близ Антиохии, где происходили военные упражнения. Они раскрыли свою тайну в то время, как были пьяны; их привели закованными в цепи к оскорбленному монарху, который с одушевлением объяснил им преступность и безрассудство их замысла, и затем, вместо того чтобы подвергнуть их пытке и смертной казни, которой они и заслуживали, и ожидали, он произнес приговор о ссылке двух главных виновных. Только в одном случае Юлиан, по-видимому, отступился от своего обычного милосердия, — когда он приказал казнить опрометчивого юношу, задумавшего захватить своей слабой рукой бразды правления. Но этот юноша был сын того кавалерийского генерала Марцелла, который в первую кампанию против галлов покинул знамена Цезаря и республики. Вовсе не из желания удовлетворить свою личную жажду мщения Юлиан мог легко смешать преступление сына с преступлением отца; но он был тронут скорбью Марцелла, и щедрость императора постаралась залечить рану, нанесенную рукой правосудия.

Юлиан не был равнодушен к выгодам, доставляемым общественной свободой. Из своих ученых занятий он впитал в себя дух древних мудрецов и героев; и его жизнь, и его судьба зависели от каприза тирана, и когда он вступил на престол, его гордость нередко бывала унижена той мыслью, что рабы, которые не осмелились бы порицать его недостатки, неспособны ценить его добродетелей. Он питал искреннее отвращение к восточному деспотизму, установленному в империи Диоклетианом, Константином и восьмидесятилетней привычкой к покорности. Основанный на суеверии мотив не позволял Юлиану исполнить нередко возникавшее в его уме намерение избавить свою голову от тяжести дорогой диадемы, но он решительно отказался от титула *Dominus*, или Господин, с которым уже так свыкся слух римлян, что они совершенно забыли о его рабском и унижительном происхождении. Должность или, скорей, название консула было приятно для монарха, с уважением взиравшего на все, что оставалось от республики, и он по сознательному выбору и по склонности держался той политики, которую Август принял из предусмотрительности. В январские календы, лишь только рассвело, новые консулы Мамертин и Невитта поспешили во дворец, чтобы приветствовать императора. Когда его уведомили об их приближении, он встал со своего трона, поспешил к ним навстречу и заставил сконфуженных сановников принять изъявления его притворной покорности. Из дворца они отправились в сенат. Император шел пешком впереди их носилок, и глазевшая толпа любовалась зрелищем, напоминавшим старые времена, или втайне порицала образ действий, унижавший в ее глазах императорское достоинство. Впрочем, Юлиан во всех своих действиях неизменно держался одних и тех же принципов. Во время происходивших в цирке игр он по неосмотрительности или с намерением отпустил на волю одного раба в присутствии консула. Лишь только ему напомнили, что он присвоил себе право, принадлежащее другому сановнику, он присудил самого себя к уплате пени в десять фунтов золота и воспользовался этим случаем, чтобы публично заявить, что он точно так же, как и все его сограждане, обязан соблюдать законы и даже формы республики. Согласно с общим духом своего управления и из уважения к месту своего рождения, Юлиан предоставил константинопольскому сенату такие же отличия,

привилегии и власть, какими еще пользовался сенат древнего Рима. Была введена и постепенно упрочилась легальная фикция, что половина национального собрания переселилась на Восток, а деспотические преемники Юлиана, приняв титул сенаторов, признали себя членами почтенного собрания, которому было дозволено считать себя представителем величия римского имени. Заботливость монарха, не ограничиваясь Константинополем, распространилась и на муниципальные сенаты провинций. Он несколькими эдиктами уничтожил несправедливые и вредные льготы, устранявшие стольких досужих граждан от службы их родине, а благодаря справедливому распределению общественных обязанностей он возвратил силу, блеск и (по живописному выражению Либания) душу издыхавшим городам своей империи. Древние времена Греции возбуждали в душе Юлиана нежное соболезнование, воспламенявшееся до восторженности, когда он вспоминал о богах и героях и о тех людях, возвышавшихся над богами и героями, которые завещали самому отдаленному потомству памятники своего гения и пример своих добродетелей. Он облегчил стесненное положение городов Эпира и Пелопоннеса и возвратил им их прежний блеск. Афины признавали его своим благодетелем, а Аргос — своим избавителем. Гордый Коринф, снова восставший из своих развалин с почетными отличиями римской колонии, требовал от соседних республик дани для покрытия расходов на публичные зрелища, которые устраивались на перешейке и заключались в том, что в амфитеатре травили медведей и барсов. Но города Элида, Дельфы и Аргос, унаследовавшие от дальних предков священную обязанность поддерживать Олимпийские, Пифийские и Немейские игры, основательно требовали для себя освобождения от этого налога. Привилегии Элиды и Дельф были уважены коринфянами, но бедность Аргоса внушила смелость угнетателям, и слабый протест его депутатов был заглушен декретом провинциального сановника, заботившегося, как кажется, лишь об интересах столицы, в которой находилась его резиденция. Через семь лет после того как состоялось это решение, Юлиан позволил принести на него апелляцию в высший трибунал и употребил свое красноречие, вероятно, с успехом на защиту города, который был резиденцией Агамемнона, и дал Македонии целое поколение царей и завоевателей.

Юлиан употреблял свои дарования на дела военного и гражданского управления, увеличивавшиеся числом соразмерно с расширением империи, но он сверх того нередко принимал на себя обязанности оратора и судьи, с которыми почти вовсе незнакомы новейшие европейские монархи. Искусство убеждать, которое так тщательно изучали первые Цезари, было оставлено в совершенном пренебрежении воинственным невежеством и азиатской гордостью их преемников; если же они снисходили до того, что обращались с речами к солдатам, которые внушали им страх, зато они относились с безмолвным пренебрежением к сенаторам, которые внушали им презрение. Заседания сената, которых избегал Констанций, считались Юлианом за самое удобное место, где он мог высказывать свои республиканские принципы и выказывать свои ораторские способности. Там, точно в школе декламации, он изощрялся попеременно то в похвалах, то в порицаниях, то в увещаниях, а его друг Либаний заметил, что изучение Гомера научило его подражать и безыскусственному сжатому стилю Менелая, и многоречивости Нестора, из уст которого слова сыпались как хлопья снега, и столько же трогательному, сколько энергическому красноречию Улисса. Обязанности судьи, не всегда совмещающиеся с обязанностями монарха, исполнялись Юлианом не только по чувству долга, но и ради развлечения, и хотя он мог бы полагаться на чест-

ность и прозорливость своих преторианских префектов, он нередко садился рядом с ними за судейским столом. Его проникательный ум находил приятное для себя занятие в том, что старался разоблачать и опровергать придирки адвокатов, старавшихся скрыть правду и извратить смысл законов. Он иногда забывал о своем высоком положении, делал нескромные и неуместные вопросы и обнаруживал громкими возгласами и оживленными жестами горячее убеждение, с которым он отстаивал свои мнения против судей, адвокатов и их клиентов. Но сознание своих собственных недостатков заставляло его поощрять и даже просить своих друзей и министров, чтобы они сдерживали его увлечения, и всякий раз, как эти последние осмеливались возражать на его страстные выходки, зрители могли заметить выражение стыда и признательности на лице своего монарха. Декреты Юлиана почти всегда были основаны на принципах справедливости, и он имел достаточно твердости, чтобы противостоять двум самым опасным соблазнам, осаждающим трибунал монарха под благовидными формами сострадания и справедливости. Он решал тяжбы без всякого внимания к положению судящихся, и бедняк, участь которого он желал бы облегчить, присуждался им к удовлетворению справедливых требований знатного и богатого противника. Он тщательно отделял в себе судью от законодателя, и, хотя он замышлял необходимую реформу римского законодательства, он поставлял свои решения согласно со строгим и буквальным смыслом тех законов, которые судья был обязан исполнять и которым подданный был обязан подчиняться.

Если бы монархам пришлось лишиться своего высокого положения и остаться без всяких денежных средств, они большей частью немедленно низшли бы в низшие классы общества без всякой надежды выйти из неизвестности. Но личные достоинства Юлиана были в некоторой мере независимы от фортуны. Какую бы он ни избрал карьеру, он достиг бы или, по меньшей мере, оказался бы достойным высших отличий своей профессии благодаря своему непреклонному мужеству, живости ума и усидчивому прилежанию; он мог бы возвыситься до звания министра или начальника армии в той стране, где он родился простым гражданином. Если бы завистливая прихоть правителя обманула его ожидания или если бы он из благоразумия не захотел идти по тому пути, который ведет к величию, он стал бы упражнять те же дарования в уединенных занятиях, и власть королей не могла бы влиять ни на его земное благополучие, ни на его бессмертную славу. Кто будет рассматривать портрет Юлиана с мелочным или, быть может, недоброжелательным вниманием, тот найдет, что чего-то недостает для изящества и красоты его наружности. Его гений был менее могуч и менее высок, чем гений Цезаря, и он не обладал высокой мудростью Августа. Добродетели Траяна кажутся более надежными и естественными, а философия Марка Аврелия более проста и последовательна. Однако и Юлиан выносил несчастья с твердостью, а в счастье был воздержан. После ста двадцатилетнего промежутка времени, истекшего со смерти Александра Севера, римляне созерцали деяния такого императора, который не знал других удовольствий, кроме исполнения своих обязанностей, который трудился с целью облегчить положение своих подданных и вдохнуть в них бодрость и который старался всегда соединять власть с достоинством, а счастье с добродетелью. Даже крамола, и даже религиозная крамола, была вынуждена признать превосходство его гения и в мирных, и в военных делах управления и с прискорбием сознаться, что вероотступник Юлиан любил свое отечество и был достоин всемирного владычества.

Религия Юлиана. — Всеобщая веротерпимость. — Он пытается восстановить и преобразовать языческое богослужение. — Он хочет вновь построить Иерусалимский храм. — Коварство, с которым он преследует христиан. — Фанатизм и несправедливость обеих партий. (351–363 гг.)

Глава 10 (XXIII)

Название вероотступника запятнало репутацию Юлиана, а фанатизм, старавшийся запятнать его добродетели, преувеличил действительную или мнимую важность его недостатков. С другой стороны, те, кто предубеждены в его пользу, считают его за монарха-философа, старавшегося в равной мере покровительствовать всем религиозным партиям, какие существовали в империи, и ослабить богословскую горячку, воспалявшую умы народа со времени Диоклетиановых эдиктов до изгнания Афанасия. Более тщательное исследование его характера и образа действий устранило столь благоприятное предубеждение в пользу монарха, который не избежал общей заразы своего времени. При этом мы можем пользоваться тем редко встречающимся удобством, что можем сравнивать портреты, нарисованные самыми страстными его поклонниками, с теми, которые нарисованы его непримиримыми врагами. Деяния Юлиана верно описаны здравомыслящим и прямодушным историком, который был беспристрастным свидетелем и его жизни, и его смерти. Единогласные отзывы его современников подтверждаются публичными и частными заявлениями самого императора, а в его разнообразных сочинениях высказываются всегда одни и те же религиозные убеждения, которые он должен был из политических расчетов скорее скрывать, чем высказывать слишком явно. Благоговейная и искренняя привязанность к богам Афин и Рима была господствующей страстью Юлиана; влияние суеверных предрассудков вовлекло в заблуждение и извратило его просвещенный ум, а призраки, существовавшие лишь в воображении императора, имели действительное и пагубное влияние на управление империей. Пылкое усердие христиан, презиравших культ и ниспровергавших алтари баснословных богов, вовлекало Юлиана в непримиримую вражду с весьма многочисленной частью его подданных, а желание победы и стыд поражения иногда вовлекали его в нарушение требований не только благоразумия, но и справедливости. Торжество партии, которую он покинул и с которой он боролся, наложило пятно позора на имя Юлиана, и на не достигшего своих целей отступника полился целый поток благочестивой брани, для которой подала сигнал звучная труба Григория Назианзина. Интересный характер событий, накопившихся в непродолжительное царствование этого деятельного императора, достоин точного и подробного описания. Поэтому мы посвятим настоящую гла-

ву изложению его мотивов, замыслов и деяний в той мере, в какой они находятся в связи с историей религии.

Причину его странного и пагубного вероотступничества следует искать в раннем периоде его жизни, когда он остался сиротой в руках убийц своего семейства. Имена Христа и Констанция, понятия о рабстве и о религии смешались в юношеском воображении, которое было доступно для самых живых впечатлений. Заботы о его детстве были возложены на епископа Никомедии Евсевия, который приходился ему родственником с материнской стороны, и пока он не вступил в двадцатый год своей жизни, он получал от своих христианских наставников воспитание не героя, а святого. Император, заботившийся не столько о небесном венце, сколько о земном, довольствовался для самого себя неполными достоинствами оглашенного, тогда как племянникам Константина доставлял все выгоды крещения. Они даже допускались к исполнению низших обязанностей лиц духовного звания, и Юлиан публично читал Св. Писание в никомедийской церкви. Изучение религии, которой они прилежно занимались, по-видимому, приносило самые обильные плоды веры и благочестия. Они молились, постились, раздавали милостыню бедным, делали подарки духовенству и клали приношения на могилы мучеников, а великолепный памятник Св. Мамасу в Кесарии был воздвигнут или, по меньшей мере, был начат постройкой благодаря совокупному усердию Галла и Юлиана. Они почтительно беседовали с епископами, отличавшимися особенной святостью, и подходили под благословение к монахам и отшельникам, познакомившим Каппадокию с добровольными лишениями аскетической жизни. Когда эти два принца стали приближаться к зрелому возрасту, различие их характеров обнаружилось в различии их религиозных убеждений. Тяжелый и упорный ум Галла предался со слепым усердием христианскому учению, которое никогда не оказывало влияния на его поведение и никогда не сдерживало его страстей. Мягкий нрав младшего брата был менее неподходящ к принципам Евангелия, а его деятельная любознательность могла бы найти для себя удовлетворение в такой богословской системе, которая объясняет таинственную сущность Божества и открывает в будущем беспредельную перспективу невидимых миров. Но самостоятельный ум Юлиана не мог подчиниться тому пассивному и беспрекословному повиновению, которого требовали от имени религии высокомерные представители церкви. Их философские мнения возводились ими в положительные законы, охранявшиеся страхом вечных наказаний; но в то время как они составляли суровые правила для руководства молодого принца в его мнениях, словах и действиях, в то время как они не хотели слушать его возражений и строго порицали его за свободу его исследований, они бессознательно возбуждали в его спокойном уме желание отвергнуть авторитет его духовных наставников. Он воспитывался в Малой Азии посреди скандалов, вызванных полемикой по поводу учения Ария. Горячие споры восточных епископов, беспрестанные изменения в их символике веры и мирские мотивы, по-видимому, руководившие их действиями, постепенно укрепили в уме Юлиана убеждение, что они и не понимали той религии, из-за которой так горячо спорили и даже не верили в нее. Вместо того чтобы выслушивать доказательства христианских догматов с тем благосклонным вниманием, которое придает вес самым почтенным свидетельствам, он принимал с недоверием и оспаривал с упорством и придиристской учение, к которому он уже питал непреодолимое отвращение. Всякий раз, как молодым принцам задавали сочинение публичной речи касательно происходивших в ту пору богословских споров, Юлиан всегда брал

на себя защиту язычества под тем благовидным предлогом, что защита самой слабой стороны дает его знаниям и его искусству возможность упражняться и выказывать себя с самой выгодной стороны.

Лишь только Галл был облечен в порфиру, Юлиан получил возможность дышать воздухом свободы, литературы и язычества. Софисты, которых привлекали к их царственному ученику его литературные наклонности и его щедрость, установили тесную связь между литературой Греции и ее религией, и Гомеровы поэмы, вместо того чтобы возбуждать удивление в качестве оригинального произведения человеческого гения, серьезно приписывались небесному вдохновению Аполлона и муз. Олимпийские боги в том виде, как они описаны бессмертным певцом, сами собой запечатлеваются в умах всего, менее склонных к суеверной мнительности. Наше близкое знакомство с их именами и характерами, с их формами и атрибутами как будто придает этим химерическим созданиям действительное и телесное существование, а восхищение, в которое они нас приводят, заставляет наше воображение на минуту верить тем басням, с которыми никак не могут примириться ни наш разум, ни наш опыт. Во времена Юлиана все содействовало тому, чтобы продлить и упрочить эту иллюзию, — и великолепные храмы Греции и Азии, и произведения тех художников, которые выразили божественные мысли поэта в живописи или ваянии, и пышность празднеств и жертвоприношений, и успешные хитрости прорицателей, и народные предания об оракулах и чудесах, и старинная двухтысячелетняя привычка. Слабость политеизма в некоторой мере объяснялась умеренностью его притязаний, и благочестие язычников не было несовместимо с самым необузданным скептицизмом. Мифология греков не представляла неразделенной и правильной системы, способной подчинить себе все умственные способности верующего, а состояла из тысячи отдельных и гибких частиц, так что поклонник богов мог по своему произволу определять степень и меру своих религиозных верований. Вера, которую избрал Юлиан для своего собственного употребления, была самых широких размеров, и по какому-то странному противоречию он отвергал спасительное иго Евангелия, тогда как добровольно приносил в жертву свой разум на алтарях Юпитера и Аполлона. Одна из речей Юлиана написана в честь матери богов Кибелы, требовавшей от своих изнеженных жрецов той кровавой жертвы, которая была так опрометчиво принесена безрассудным фригийским юношей. Благочестивый император снисходит до того, что без краски на лице и без улыбки на устах описывает путешествие богини от берегов Пергама до устьев Тибра и удивительное чудо, убедившее римский сенат и народ, что кусок глины, перевезенный через моря их посланцами, одарен жизнью, умом и божественной силой. В удостоверение этого чуда он ссылается на публичные памятники столицы и с некоторой язвительностью порицает дурной и испорченный вкус тех, кто дерзко осмеивал священные предания своих предков.

Но благочестивый философ, искренно принявший и горячо поощрявший народные суеверия, предоставил самому себе привилегию свободного толкования и молча удалился от подножия алтарей в само святилище храма. Сумасбродная греческая мифология провозглашала ясным и громким голосом, что благочестивый исследователь ее мистерий, вместо того чтобы находить в их буквальном смысле или повод к скандалу, или полное удовлетворение, должен старательно доискиваться сокровенной мудрости, которую древние из предосторожности прикрыли маской безрассудства и вымысла. Философы Платоновой школы, Плотин, Порфирий и божественный Ямвлихий, счита-

лись самыми искусными знатоками этой аллегорической науки, старавшейся смягчить и согласовать между собой безобразные части язычества. Сам Юлиан, изучавший эту таинственную науку под руководством почтенного преемника Ямвлихия, Эдезия, стремился к приобретению сокровища, которое, если верить его формальным уверениям, он ценил гораздо дороже, чем владычество над всем миром. В действительности это было такое сокровище, цена которого зависела лишь от личной точки зрения, и каждый художник, льстивший себя мыслью, что ему удалось извлечь драгоценный металл из окружающей его массы мусора, требовал для себя равного со всеми права отчеканить на нем такое имя и такую фигуру, какие более всего приятны для его личной фантазии. Басня об Аттисе и Кибеле уже была объяснена Порфирием, но его труд лишь воодушевил благочестивое усердие Юлиана, который придумал и опубликовал свое собственное аллегорическое объяснение этого древнего и мистического рассказа. Эта свобода толкований могла удовлетворять тщеславие последователей Платона, но она вместе с тем выставила наружу бессодержательность их искусства. Нам пришлось бы входить в очень скучные подробности, если бы мы захотели дать читателю нашего времени ясное понятие о странных намеках, натянутых словопроизводствах, напыщенной болтовне и непроницаемой неясности этих мудрецов, воображавших, что они раскрывают систему Вселенной. Так как традиции языческой мифологии были изложены в разнообразных видах, то их священные истолкователи могли по своему произволу выбирать самые удобные для них рассказы, а так как они переводили на общепонятный язык произвольно взятый шрифт, то они могли извлекать из всякой басни всякий смысл, какой только мог подходить к их излюбленной религиозной или философской системе. В сладострастных позах обнаженной Венеры они старались отыскать какое-нибудь нравственное правило или какую-нибудь физическую истину, а в оскотлении Аттиса они усматривали или прохождение Солнца между тропиками, или освобождение человеческой души от порока и заблуждения.

Богословская система Юлиана, как кажется, заключала в себе возвышенные и важные принципы натуральной религии. Но так как вера, не основанная на откровении, лишена всякой твердой опоры, то последователь Платона неосторожно вовлекся в привычки, свойственные вульгарному суеверию, так что народные и философские понятия о Божестве смешались между собой и в практической жизни Юлиана, и в его сочинениях, и даже в его уме. Благочестивый император признавал и боготворил Вечную Причину Вселенной, приписывая ей все совершенства бесконечной природы, невидимые для глаз и недоступные для разума слабых смертных. Верховный Бог создал или — согласно со способом выражения последователей Платона — породил постепенную последовательность зависимых духов, богов, демонов, героев и людей, и каждое из существ, получивших жизнь непосредственно от Первопричины, получило вместе с тем и врожденный дар бессмертия. Для того чтобы столь ценное благо не доставалось тем, кто его недостоин, Создатель возложил на искусство и могущество низших богов обязанность организовать человеческое тело и привести в прекрасный стройный порядок царства животное, растительное и ископаемое. Руководству этих божественных министров он поручил временное управление нашим ничтожным миром, но их несовершенное управление не обходится без раздоров и заблуждений. Они разделили между собой землю и ее обитателей, так что в законах и нравах их поклонников можно ясно различать характеры Марса или Минервы, Мер-

курия или Венеры. Пока наша бессмертная душа заключена в свою смертную оболочку, и наш интерес, и наш долг требуют, чтобы мы искали милостивого расположения и избегали гнева небесных сил, которые находят в благочестии человеческого рода удовлетворение своей гордости и, может быть, питают самую грубую часть своего существа дымом жертвоприношений. Низшие боги иногда снисходят до того, что одушевляют статуи и поселяются на жилище в храмах, воздвигнутых в их честь. Они временами посещают Землю, но небеса — их настоящий трон и символ их величия. Неизменный порядок, которому подчинены Солнце, Луна и звезды, был неосмотрительно принят Юлианом за доказательство их вечности, а эта вечность была принята им за достаточное доказательство того, что они были творением не какого-либо низшего божества, а Всемогущего Царя. По системе последователей Платона, видимый мир служит первообразом для мира невидимого. Оживленные божественным духом небесные тела можно считать за самые достойные предметы религиозного поклонения. Солнце, животворное влияние которого проникает и поддерживает Вселенную, имеет основательное право на обожание со стороны всего человеческого рода как блестящий представитель Логоса, этого одушевленного, разумного и благотворного изображения духовного Отца.

Во все века недостаток неподдельного вдохновения возмещался могущественными иллюзиями энтузиастов и ловкими плутнями обманщиков. Если бы во времена Юлиана одни языческие жрецы прибегали к этим уловкам для поддержания своего ослабевавшего авторитета, то их, может быть, можно было бы в некоторой мере извинить ради интересов и привычек жреческого сословия. Но нас и удивляет, и оскорбляет тот факт, что сами философы употребляли во зло суеверное легковерие человеческого рода и что они старались поддерживать греческие мистерии при помощи магии или теургии позднейших платоников. Они нагло хвастались тем, что могут влиять на установленный в природе порядок, проникать в тайны будущего, требовать услуг от низших демонов, наслаждаться лицемерием высших богов и беседой с ними и, освободив душу от ее материальных оков, соединять эту бессмертную частичку с Бесконечным и Божественным Духом.

Благочестивая и отважная любознательность Юлиана обещала философам легкую победу, которая могла иметь чрезвычайно важные последствия благодаря высокому положению их юного приверженца. Юлиан усвоил начальные правила Платоновской философии от Эдезия, который перенес в Пергам свою блуждающую и гонимую школу. Но так как по своим преклонным летам этот почтенный мудрец не годился для такого пылкого, деятельного и сметливого ученика, то, по собственному желанию Юлиана, его престарелый наставник был заменен двумя из самых искусных своих учеников — Хризанфием и Евсеваем. Эти философы, как кажется, распределили между собой роли и подготовились к ним; возбудив в искателе истины нетерпеливые надежды путем темных намеков и притворных споров, они передали его на руки своего сообщника Максима, который был самым смелым, самым искусным мастером в теургии. Его руками Юлиан и был тайне посвящен в Эфесе, когда ему был двадцатый год от роду. Его пребывание в Афинах скрепило этот неестественный союз философии с суеверием. Он получил право торжественного посвящения в элевсинские таинства, еще сохранившие некоторые признаки своей первобытной святости, и таково было усердие Юлиана, что он впоследствии пригласил элевсинского первосвященника прибыть к галльскому двору для того только, чтобы довершить великое

дело его посвящения посредством мистических обрядов и жертвоприношений. Так как эти обряды совершались в глубине пещер и среди ночной тишины и так как сдержанность новообращенных никогда не выдавала тайны этих мистерий, то я не могу братья за описание тех страшных звуков и окруженных пламенем привидений, которые действовали на чувства и на воображение легковверного новообращенного до тех пор, пока не являлись перед ним утешительные и поучительные видения, окруженные блеском небесного сияния. В пещерах Эфеса и Элевсина душа Юлиана прониклась искренним, глубоким и неизменным энтузиазмом, что, однако, не мешало ему иногда прибегать к тем благочестивым подлогам и к тому лицемерию, в которых можно уличить или, по меньшей мере, в которых можно заподозрить таких фанатиков, которые кажутся самыми добросовестными. С этого момента он посвятил свою жизнь служению богам, и в то время как военные, правительственные и научные занятия, по-видимому, совершенно поглощали все его внимание, он постоянно уделял несколько часов ночи на исполнение своих религиозных обязанностей. К скромным привычкам, украшавшим суровый нрав этого солдата-философа, присоединялись некоторые строгие и мелочные правила воздержания из религиозных мотивов: в честь Пана или Меркурия, Геракла или Изиды Юлиан отказывался в известные дни от употребления некоторых видов пищи, которые могли быть неприятны для его богов-покровителей. Этими добровольными постами он приготавливал свои чувства и свой ум к частым и фамильярным посещениям, которыми его удостаивали небесные силы. Несмотря на скромное молчание самого Юлиана, мы знаем от его верного друга оратора Либания, что он жил в постоянных сношениях с богами и богинями, что они сходили на землю для того, чтобы наслаждаться беседой со своим любимым героем, что они деликатно прерывали его сон, прикасаясь к его руке или к его волосам, что они предупреждали его о всякой приближающейся опасности и своей непогрешимой мудростью направляли все действия его жизни и что он так близко ознакомился со своими небесными посетителями, что без труда различал голос Юпитера от голоса Минервы и формы Аполлона от наружности Геркулеса. Эти сны или видения, являющиеся обычным последствием поста и фанатизма, могли бы низвести императора на один уровень с любым из египетских монахов. Но бесполезная жизнь Антония или Пахомия была всецело посвящена этим пустым занятиям. А Юлиан был способен оторваться от иллюзий суеверия для того, чтобы готовиться к бою и, победив в открытом поле врагов Рима, спокойно удалялся в свою палатку для того, чтобы диктовать мудрые и благотворные законы для империи или для того, чтобы удовлетворять влечения своего ума занятиями литературой и философией.

Важная тайна Юлианова вероотступничества была вверена посвященным, с которыми его связывали священные узы дружбы и религии. Эта приятная весть была с осторожностью распущена между приверженцами старого культа, и будущее возвышение Юлиана сделалось предметом надежд, молитв и предсказаний язычников во всех провинциях империи. От усердия и добродетелей этого царственного новообращенного они с уверенностью ожидали избавления от всех зол и возвращения им всех благ, а Юлиан, вместо того чтобы порицать горячность их благочестивых ожиданий, чистосердечно сознавался, что желал бы достигнуть такого положения, в котором мог бы быть полезным своему отечеству и своей религии. Но к этой религии относился враждебно преемник Константина, капризные страсти которого то спа-

сали жизнь Юлиана, то грозили ему гибелью. Искусства магии и прорицания были строго запрещены при деспотическом правительстве, которое унижалось до того, что боялось их, и хотя язычникам неохотно позволяли совершать их суеверные обряды, Юлиану, вследствие его высокого положения, не было дозволено пользоваться всеобщей веротерпимостью. Вероотступник скоро сделался вероятным наследником престола, и только его смерть могла бы успокоить основательные опасения христиан. Но молодой принц, мечтавший не столько о славе мученика, сколько о славе героя, скрывал свою религию ради своей личной безопасности, а податливый характер политеизма позволял ему присутствовать при публичном богослужении секты, которую в глубине своей души он презирал. Либаний считал такое лицемерие со стороны своего друга достойным не порицания, а похвалы. «Подобно тому, — говорит этот оратор, — как статуи богов, которые когда-то были запачканы в грязи, снова ставятся в великолепном храме, и в уме Юлиана утвердилась полная красоты истина, после того как она очистилась от заблуждений и безрассудства его воспитания. Его убеждения изменились, но так как было бы опасно их высказывать, то он ничего не переменял в своем образе действий. В противоположность Эзопу ослу, спрятавшемуся под львиной шкурой, наш лев был вынужден спрятаться под ослиной шкурой, и хотя он принял те мнения, какие предписывал рассудок, он счел нужным подчиниться требованиям благоразумия и необходимости». Притворство Юлиана продолжалось более десяти лет — со времени его тайного посвящения в Эфесе и до начала междоусобной войны, когда он публично признал себя непримиримым врагом и Христа, и Констанция. Это стесненное положение, может быть, содействовало усилению его благочестия, и, после того как он исполнял свою обязанность присутствовать в торжественные праздники на христианских собраниях, он с нетерпением влюбленного спешил домой, чтобы добровольно жечь в своей домашней капелле ладан перед Юпитером и Меркурием. Но так как всякое притворство тяжело для добросовестного человека, то исполнение христианских обрядов усиливало отвращение Юлиана к религии, отнимавшей свободу у его ума и заставлявшей его держаться образа действий, несогласного с самыми благородными свойствами человеческой природы, — искренностью и мужеством.

Ничто не мешало Юлиану предаваться своим влечениям и отдавать предпочтение богам Гомера и Сципионов перед новой религией, которую его дядя ввел в Римской империи и в которую он сам был посвящен таинством крещения. Но в качестве философа он сознавал свою обязанность оправдать свое отпадение от христианства, для которого служили опорой огромное число новообращенных, ряд пророчеств, блеск чудес и множество свидетельств. В тщательно обработанном сочинении, которое он писал среди приготовлений к войне с Персией, он изложил сущность тех аргументов, которые он долго взвешивал в своем уме. Некоторые отрывки из этого сочинения, дошедшие до нас благодаря тому, что были спрятаны его противником, запальчивым Кириллом Александрийским, представляют странную смесь остроумия и учености, лжемудрствования и фанатизма. Изящество слога и высокое положение автора рекомендовали его вниманию публики, и в списке нечестивых врагов христианства знаменитое имя Порфирия стерлось перед превосходствами личных достоинств и репутации Юлиана. Умы верующих были или увлечены, или скандализированы, или встревожены, а язычники, иногда пускавшиеся в эту неравную борьбу, стали заимствовать из популярного произведения своего царственного миссионера неистощимый запас обманчивых

возражений. Но усидчиво предаваясь этим богословским занятиям, римский император впитал в себя низкие предубеждения и страсти, свойственные тем, кто занимается богословской полемикой; он проникся непоколебимым убеждением, что на нем лежит обязанность поддерживать и распространять свои религиозные мнения, и, в то время как он втайне оставался доволен силой и ловкостью, с которыми он владел орудиями полемики, он начинал не доверять искренности своих противников и презирать их слабоумие, если они упорно сопротивлялись силе его доводов и его красноречия.

Христиане, взиравшие на отступничество Юлиана с ужасом и негодованием, боялись не столько его аргументов, сколько его могущества. Язычники, видя его пылкое усердие, ожидали, быть может, с нетерпением, что против тех, кто отвергает богов, зажгутся костры гонения и что изобретательная ненависть Юлиана придумает какие-нибудь усовершенствованные способы казней и пыток, с которыми была незнакома грубая и неопытная ярость его предшественников. Но ни надежды, ни опасения религиозных партий, по-видимому, не сбылись благодаря благоразумию и человеколюбию монарха, заботившегося и о своей собственной репутации, и об общественном спокойствии, и о правах человеческого рода. И история, и собственные размышления научили Юлиана что, если спасительное насилие и может иногда излечивать телесные недуги, ошибочных мнений не могут вырвать из ума ни железо, ни огонь. Сопrotивляющуюся жертву можно силой притащить к подножию алтаря, но ее сердце будет протестовать против невольно совершенного ею святотатства. От угнетения религиозное упорство лишь укрепляется и доводится до ожесточения, а лишь только гонение прекращается, тот, кто не устоял против него, восстанавливается в своих прежних правах в качестве раскаявшегося грешника, а того, кто был непоколебим, чтут как святого и мученика. Юлиан сознавал, что, если он будет держаться безуспешной жестокой политики Диоклетиана и его соправителей, он запятнает свою память именем тирана и лишь увеличит славу Католической Церкви, приобретшей новые силы и новых последователей благодаря строгости языческих судей. Руководствуясь этими соображениями и опасаясь нарушить спокойствие еще не упрочившегося царствования, Юлиан удивил мир изданием эдикта, который не был недостоин ни государственного человека, ни философа. Он распространил на всех жителей Римской империи благодеяния равной для всех веротерпимости, и единственное стеснение, наложенное им на христиан, заключалось в том, что он лишил их права мучить тех из своих собратьев, которых они клеймили гнусными названиями идолопоклонников и еретиков. Язычники получили милостивое дозволение, или скорей положительное приказание, открыть все свои храмы и разом избавились от притеснительных законов и самоуправных угнетений, которым они подвергались в царствование Константина и его сыновей. Вместе с тем были возвращены из ссылки и снова вступили в заведование своими церквями те епископы и лица духовного звания, которые были сосланы арианским монархом; такой же милостью воспользовались донатисты, новациане, македонийцы, евномииане и те, кто имели счастье придерживаться догматов Никейского собора. Юлиан, хорошо понимавший, в чем заключалась сущность их богословских споров, и находивший ее достойной смеха, пригласил к себе во дворец вожakov враждующих сект для того, чтобы насладиться приятным зрелищем их яростных пререканий. Их шумные споры иногда заставляли императора обращаться к ним со словами: «Выслушайте же, что я хочу сказать! Ведь меня слушали и франки, и алеманны»; но он скоро убеждался, что имел дело с врагами бо-

лее упорными и более непримиримыми, и хотя он употреблял все ресурсы своего красноречия, чтобы внушить им желание жить в согласии или, по меньшей мере, в мире, он, распуская их, ясно видел, что ему нет никакого основания опасаться единодушия христиан. Беспристрастный Аммиан приписывал это притворное милосердие желанию разжигать внутренние раздоры церкви, а коварное намерение подкопаться под самые основы христианства было неразрывно связано с горячим желанием Юлиана восстановить древнюю религию империи.

Восстановление язычества. 361–363 гг.

Немедленно вслед за своим вступлением на престол он, по обычаю своих предшественников, принял на себя звание верховного первосвященника не только как самый почетный из всех императорских титулов, но как священную и важную должность, обязанности которой он намеревался исполнять с благочестивым усердием. Так как дела управления не позволяли императору ежедневно присутствовать вместе со своими подданными при исполнении обрядов богослужения, то он посвятил домашнюю капеллу своему богу-покровителю Солнцу; его сады наполнялись статуями богов и их алтарями, и каждый апартамент его дворца стал походить на великолепный храм. Каждое утро он приветствовал жертвоприношением появление источника света; кровь другой жертвы он проливал в ту минуту, когда солнце скрывалось за горизонтом; сверх того неутомимое благочестие Юлиана воздавало в назначенные часы приличные почести Луне, звездам и гениям ночи. В торжественные праздники он регулярно посещал храм того бога или той богини, чествованию которой был посвящен тот день, и старался возбудить своим примером религиозное усердие в должностных лицах и в народе. Вместо того чтобы сохранять величественную обстановку монарха, отличающегося блеском своей пурпуровой мантии и окруженного золотыми щитами своих гвардейцев, Юлиан с почтительным рвением просил, чтобы ему поручили одну из самых низших должностей при отправлении богослужения. Среди священной, но бесчинной толпы жрецов, низших служителей и посвященных на служение в храме танцовщиц император занимался тем, что приносил дрова, разводил огонь, вонзал в жертву нож, всовывал свои окровавленные руки во внутренности издыхающего животного, вынимал из него сердце или печень и с искусством самого опытного ауспиция читал на них воображаемые предзнаменования будущих событий. Самые благоразумные между язычниками порицали это чрезмерное суеверие, доходившее до пренебрежения к требованиям благоразумия и приличия. В царствование монарха, державшегося самых строгих правил бережливости, на расходы для богослужения тратилась весьма значительная часть государственных доходов; самые редкие и самые красивые птицы привозились из отдаленных стран для того, чтобы проливать свою кровь на алтарях богов; нередко случалось, что Юлиан приносил в жертву в один и тот же день по сто быков, и в народе вошла в обыкновение поговорка, что, если Юлиан возвратится с войны против персов победителем, порода рогатого скота неизбежно должна будет прекратиться. Однако эти расходы могли казаться незначительными в сравнении с великолепными подарками, которые раздавались или рукой императора, или по его приказанию всем знаменитым местам благочестия в Римской империи, и в сравнении с теми суммами, которые назначались на восстановление и украшение древних храмов, пострадавших или от разрушительного влияния времени, или от хищничества христиан. Поощряемые примером,

увещаниями и щедростью своего благочестивого государя, и целые города, и отдельные семьи снова принялись за исполнение впавших в пренебрежение обрядов. «Все части света, — восклицает с благочестивым восторгом Либаний, — свидетельствовали о торжестве религии и представляли приятную картину пылающих алтарей, окровавленных жертв, дымящегося фимиама и великолепных шествий жрецов и пророков, избавившихся от всякого страха и всяких опасностей. С вершин самых высоких гор можно было слышать голоса молящихся и звуки музыки, а те самые быки, которые приносились в жертву богам, служили вечером пищей для весело пирующих поклонников этих богов».

Но Юлианова гения и могущества было недостаточно для восстановления религии, у которой не было ни богословских принципов, ни нравственных правил, ни церковной дисциплины, которая быстро приходила в упадок и которая была недоступна ни для каких прочных или серьезных преобразований. Юрисдикция верховного первосвященника, в особенности после того как это звание было соединено с императорским достоинством, обнимала всю Римскую империю. Юлиан назначил своими заместителями в различных провинциях тех жрецов и философов, которых он считал более способными содействовать исполнению его великих замыслов, а его пастырские послания — если можно их так назвать — представляют весьма интересный очерк его желаний и намерений. Он требовал, чтобы в каждом городе жреческое сословие составлялось без всяких преимуществ в пользу знатности рождения и богатства из тех лиц, которые более всех отличаются любовью к богам и к людям. «Если они провинятся, — продолжает он, — в каком-нибудь скандальном поступке, верховный первосвященник или накажет их, или сменил, но, пока они состоят в своем звании, они имеют право на уважение должностных лиц и народа. Их смирение должно выражаться в простоте их домашней одежды, а их достоинство — в пышности их священных облачений. Когда наступает их очередь служить перед алтарем, они не должны в течение определенного числа дней удаляться из пределов храма и не должны проводить ни одного дня без молитв и жертвоприношений за благоденствие всего государства и отдельных лиц. Исполнение их священных обязанностей требует безукоризненной чистоты, и душевной и телесной, и даже тогда, когда они оставляют храм для обыденных житейских занятий, они должны превосходить остальных своих сограждан и благопристойностью, и добродетелями. Служитель богов не должен никогда показываться ни в театрах, ни в питейных домах. Его разговор должен отличаться скромностью, его образ жизни — воздержанностью, а его друзья — хорошей репутацией; он может иногда посещать форум или дворец, но не иначе как в качестве защитника тех, кто тщетно искал или правосудия, или милосердия. Его литературные занятия должны соответствовать святости его профессии. Безнравственные рассказы, комедии и сатиры не должны находить места в его библиотеке, которая должна состоять только из исторических сочинений, имеющих основой истину, и из философских, находящихся в связи с религией. Нечестивые мнения эпикурейцев и скептиков должны внушать ему отвращение и презрение; но он должен тщательно изучать системы Пифагора, Платона и стоиков, которые единогласно поучают, что есть боги, что мир управляется их промыслом, что их благодать есть источник всякого мирского благополучия и что они приготовили для человеческой души будущую жизнь или в награду, или в наказание». Царственный первосвященник в самых убедительных выражениях внушает обязанность быть благосклонным и гостеприимным, убеждает низшее

духовенство всем рекомендовать исполнение этой обязанности, обещает выдавать из государственной казны вспомоществование тем из них, которые впадут в бедность, и объявляет о своем намерении устроить во всех городах госпитали, в которых будут принимать бедных без всяких различий происхождения или религии. Юлиан с завистью смотрел на мудрые и человеколюбивые церковные постановления и откровенно высказывал свое намерение лишить христиан похвал и выгод, приобретенных ими благодаря тому, что они одни посвящали себя на дела милосердия и благотворительности. Из той же самой склонности к подражанию император мог бы позаимствовать от церкви многие учреждения, польза и важность которых были доказаны успехами его противников. Но если бы он осуществил эти фантастические планы реформ, получилась неудовлетворительная копия, которая сделала бы много чести христианству, но принесла бы мало пользы язычеству. Идолопоклонники, спокойно державшиеся обычаев своих предков, были скорее удивлены, чем порадованы введением чуждых для них нравов, и Юлиан в свое короткое царствование часто имел повод жаловаться на недостаток рвения со стороны тех, кто принадлежал к его партии.

Фанатизм Юлиана заставлял его смотреть на друзей Юпитера как на своих личных друзей и братьев, и хотя он из пристрастия не отдавал должной справедливости постоянству христиан, он хвалил и награждал благородную твердость тех язычников, которые предпочли благосклонность богов благосклонности императора. Если же они любили не только религию, но и литературу греков, они приобретали новые права на дружбу Юлиана, который относил муз к числу своих богов-покровителей. В религии, которую он исповедовал, благочестие и ученость были почти синонимами, и множество поэтов, риторов и философов спешили к императорскому двору, чтобы занять вакантные места тех епископов, которые злоупотребляли легковерием Констанция. Преемник этого императора считал религиозные узы более священными, нежели узы кровного родства, и выбирал своих любимцев между мудрецами, обладавшими самой большой опытностью в магии и ворожбе, так что всякий обманщик, приписывавший себе умение угадывать тайны будущего, мог быть уверен, что на него тотчас польются почести и богатства. Между философами Максим был тот, кто занимал первое место в сердце своего царственного ученика, который в тревожное время междоусобной войны общал ему с полным доверием о своих действиях и о своих чувствах, и о своих религиозных замыслах. Лишь только Юлиан вступил в обладание константинопольским дворцом, он стал настоятельно звать к себе Максима, жившего в то время в Сардах, в Ливадии, и Хрисанфия, помогавшего Максиму в его искусстве и занятиях. Осторожный и суеверный Хрисанфий отказался от поездки, которая, по всем правилам ворожбы, грозила самыми страшными и пагубными последствиями; но его товарищ, отличавшийся фанатизмом более крепкого закала, не переставал допрашивать богов до тех пор, пока они не дали ему мнимого согласия на исполнение его желаний и желаний императора. Путешествие Максима через города Малой Азии было триумфом философского тщеславия, и должностные лица старались превзойти один другого торжественностью приема, который они готовили для своего государя. Юлиан произносил перед сенатом речь в то время, как его уведомили о прибытии Максима. Император тотчас прервал свою речь, пошел к нему навстречу, нежно обнял его и, введя его за руку в собрание, публично заявил о пользе, которую он извлек из поучений этого философа. Максим, скоро приобретший доверие Юлиана и влияние на дела управления,

постепенно вовлекся в соблазны, окружающие двор. Он стал одеваться роскошнее прежнего, стал держать себя гордо, а в следующее царствование подвергся унижительному расследованию, какими способами последователь Платона, так недолго пользовавшийся милостями своего государя, мог нажить такое громадное состояние. Из других философов и софистов, которые были привлечены в императорскую резиденцию приглашениями Юлиана или успехами Максима, лишь немногие сохраняли свою нравственную чистоту и свою хорошую репутацию. Щедрые подарки деньгами, землями и домами не могли насытить их хищнической алчности, и народ основательно приходил в негодование, вспоминая их прежнюю крайнюю бедность и их протесты о бескорыстии их убеждений. Прозорливость Юлиана не всегда вдавалась в обман; но ему не хотелось обнаруживать своего презрения к характеру людей, внушавших ему уважение своими дарованиями; он желал избежать двойного упрека в неосмотрительности и в непоследовательности и опасался унижить в глазах неверующих честь языческой литературы и религии.

Милости Юлиана распределялись почти равномерно между язычниками, твердо державшимися богослужения своих предков, и христианами, принявшими из предусмотрительности религию своего государя. Приобретение новых приверженцев удовлетворяло главные страсти его души — суеверие и тщеславие, и он с энтузиазмом миссионера открыто заявлял, что, если бы он сделал каждого из своих подданных более богатым, чем Мидас, и каждый город более обширным, чем Вавилон, он не считал бы себя благодетелем человеческого рода, если бы в то же время не положил конец нечестивому восстанию своих подданных против бессмертных богов. Монарх, изучивший человеческую натуру и имевший в своем распоряжении сокровища Римской империи, мог влиять своими аргументами, обещаниями и наградами на все разряды христиан, а заслуга своевременного обращения в язычество восполняла в его глазах недостатки кандидата и даже заглаживала его преступления. Так как армия есть самое могущественное орудие абсолютной власти, то Юлиан с особенным усердием старался извратить религию своих войск, без добровольного содействия которых все принимаемые им меры оказались бы опасными и безуспешными; но благодаря натуральным наклонностям солдат эта победа оказалась столько же легкой, сколько она была важна. Галльские легионы связали себя с религией и с судьбой своего победоносного вождя, и еще прежде смерти Констанция он с удовольствием сообщал своим друзьям, что они присутствовали с пылким благочестием и с ненасытным аппетитом на неоднократно совершавшихся в его лагере жертвоприношениях целых гекатомб жирных быков. Для восточных армий, привыкших сражаться под знаменем креста и Констанция, требовался более искусный и более дорогостоящий способ убеждения. В дни торжественных и публичных празднеств император принимал от своих войск выражения преданности и раздавал награды за их заслуги. Его трон был окружен военными знаменами Рима и республики; священное имя Христа было стерто с Лабарума, а символы войны, императорского величия и языческого суеверия были так искусно перемешаны между собой, что христианские подданные императора навлекли на себя упрек в идолопоклонстве, когда почтительно преклонялись перед собой или изображением своего государя. Солдаты проходили один за другим перед Юлианом, и каждый из них, прежде чем получить из рук императора подарок, соответствующий их рангу и их заслугам, должен был бросить несколько крупинок фимиама в горевшее перед алтарем пламя. Некоторые из христиан не подчинялись этому требованию, некоторые другие потом раскаи-

вались в своей уступчивости, но большей частью они увлекались приманкой золота и страхом, который внушало им присутствие императора, и вступали в преступную сделку со своей совестью; а в будущем за их привязанность к культу богов ручались все соображения, основанные на чувстве долга и на личном интересе. Частым повторением этих хитростей и тратой таких денежных сумм, на которые можно было бы купить службу половины живших в Скифии народов, Юлиан постепенно приобрел для своих войск воображаемое покровительство богов, а для самого себя — прочную и не воображаемую, а действительную преданность римских легионов. Впрочем, более чем вероятно, что восстановление и поощрение язычества обнаружили существование множества мнимых христиан, которые из мирских выгод присоединились к религии предшествовавшего царствования, а впоследствии возвратились с такой же гибкостью совести к религии, которую исповедовали преемники Юлиана.

В то время как набожный монарх непрестанно хлопотал о восстановлении и распространении религии своих предков, в его уме возникла необычайная мысль снова выстроить Иерусалимский храм. В публичном послании к иудейской нации или общине, рассеянной по различным провинциям, он выражает сожаление о ее несчастьях, осуждает ее притеснителей, хвалит ее постоянство, объявляет себя ее благосклонным покровителем и высказывает благочестивую надежду, что по возвращении с персидской войны ему будет дозволено с признательностью преклониться перед Всемогущим в святом городе Иерусалиме. Слепое суеверие и низкое раболепие этих несчастных изгнанников должны были возбуждать в императоре-философе презрение, но они заслужили милостивое расположение Юлиана своей непримиримой ненавистью к последователям Христа. Бесплодная синагога питала ненависть и зависть к плодovitости мятежной церкви; материальные силы иудеев не стояли на одном уровне с их зложелательством, но самые серьезные из их раввинов одобряли тайное убийство вероотступников, а их мятежные крики нередко пробуждали языческие правительственные власти из их усыпления. В царствование Константина иудеи сделались подданными своих взбунтовавшихся детей, а вскоре за тем им пришлось испытать горечь домашней тирании. Гражданские привилегии, дарованные им или подтвержденные Севером, были постепенно уничтожены христианскими монархами, а опрометчивый мятеж, возбужденный палестинскими иудеями, по-видимому, оправдывал доходные способы угнетения, которые были придуманы епископами и евнухами Констанциева двора. Иудейский патриарх, которому еще дозволялось пользоваться непрочной властью, имел свою резиденцию в Тибериаде, а соседние города Палестины были наполнены остатками народа, нежно привязанного к обетованной земле. Но эдикт Адриана был подтвержден и даже усилен, и этот народ лишь издали мог смотреть на стены священного города, которые были профанированы в его глазах торжеством креста и благочестием христиан.

Расположенный среди утесистой и бесплодной местности, Иерусалим вмещает внутри своих стен две горы, Сион и Акру, образуя овальную фигуру, внешнее очертание которой имеет в длину около трех английских миль. Верхняя часть города и крепость Давида находились на южной стороне, на высокой покатости горы Сион; на северной стороне здания нижнего города покрывали широкую вершину горы Акры, а часть холма, которая носила название Мориа и была выровнена усилиями человеческих рук, была увенчана великолепным храмом иудейской нации. После окончательного разру-

шения храма Титом и Адрианом священная почва была вспахана в знак того, что она навсегда лишается своего священного характера. Сион опустел, а там где прежде был нижний город, были выстроены публичные и частные здания Элианской колонии, распространившиеся и на соседнюю гору Голгофу. Эти священные места были осквернены языческими памятниками, и с намерением или случайно капелла в честь Венеры была воздвигнута на том самом месте, которое было освящено смертью и воскресением Христа. Почти через триста лет после этих изумительных событий осквернительная капелла Венеры была разрушена по приказанию Константина, и при очистке этого места от мусора и камней взорам человеческого рода представился гроб Господень. Первый христианский император воздвиг на этой мистической почве великолепную церковь, и его благочестивая щедрость распространилась на все места, освященные присутствием патриархов, пророков и Сына Божия.

Страстное желание видеть подлинники своего искупления привлекало в Иерусалим толпы богомольцев, стекавшихся от берегов Атлантического океана и из самых отдаленных стран Востока, а их набожность находила для себя поощрение в примере императрицы Елены, которая, как кажется, соединяла легковерие преклонных лет с пылким рвением новообращенной. Мудрецы и герои, которым случалось посещать места, прославленные мудростью или величием древних, сознавали, что местный гений вдохновлял их, а христианин, преклонявший свои колена перед гробом Господним, приписывал свою пылкую веру и свою горячую набожность более непосредственному влиянию Святого Духа. Усердие, а может быть, и корыстолюбие иерусалимского духовенства поощряло эти выгодные для него посещения и старалось сделать их более многочисленными. Оно с точностью определило на основании неоспоримых преданий сцену каждого достопамятного события. Оно выставило напоказ орудия, с помощью которых подвергали Христа страданиям, — гвозди и копье, которыми были проколоты его руки, ноги и ребро; терновый венец, который был надет на его голову; столб, у которого он был подвергнут бичеванию, и в особенности крест, на котором он выпустил дух и который был вырыт из земли в царствование тех монархов, которые поместили символ христианства на знаменах римских легионов. Рассказы о чудесах, считавшиеся необходимыми для того, чтобы объяснить, каким образом он так удивительно сохранился и так своевременно отыскился, постепенно распространились повсюду, не встречая возражений. Охрана подлинного креста, который торжественно показывали народу в Светлое Воскресенье, была вверена иерусалимскому епископу: он один мог удовлетворять любознательное благочестие пилигримов раздачей маленьких кусочков дерева, которые они отделяли золотом или драгоценными камнями и с торжеством увозили к себе домой. Но так как эта прибыльная отрасль торговли должна была скоро истощиться, то нашли удобным предположить, что это удивительное дерево обладало тайной растительной силой и что его субстанция хотя и уменьшалась постоянно, но все-таки оставалась цельной и неизменной. Можно было бы ожидать, что впечатление, производимое этими местами, и вера в беспрестанно возобновлявшееся чудо окажут благотворное влияние не только на верования народа, но и на его нравственность. Однако самые почтенные из церковных писателей были вынуждены сознаться, что не только улицы Иерусалима были наполнены непрерывной суматохой деловых занятий и веселья, но что даже постоянные обитатели святого города осквернились пороками всякого рода, — с прелюбодеяниями, воровством, идоло-

поклонством, отравлениями и убийствами. Богатство и первенство иерусалимской церкви возбуждали честолюбие как в арианских, так и в православных кандидатах, а добродетели Кирилла, который после смерти был почтен титулом святого, обнаружились скорее в исполнении им епископских обязанностей, чем в том, как он достиг этого звания.

И тщеславие, и честолюбие Юлиана могли внушать ему желание восстановить древнюю славу Иерусалимского храма. Так как христиане были твердо уверены, что приговор вечного разрушения был произнесен над всей системой Моисеева законодательства, то царственный софист мог бы обратить успех своего предприятия в благовидный аргумент против веры в пророков и истины откровения. Ему не нравился духовный культ синагоги, но он одобрял учреждения Моисея, который не гнушался заимствованием многих египетских обрядов и церемоний. Местное и национальное божество иудеев было предметом искреннего поклонения со стороны политеиста, заботившегося лишь об увеличении числа богов, и Юлиан был так жаден до кровавых жертвоприношений, что в нем могло быть возбуждено желание соревнования с благочестием Соломона, принесшего в жертву в день освящения храма двадцать две тысячи быков и сто двадцать тысяч баранов. Эти соображения могли повлиять на его замыслы, но перспектива немедленной и важной выгоды не позволяла нетерпеливому монарху ожидать отдаленного и неверного исхода войны с Персией. Он решился без всяких отлагательств воздвигнуть на господствующем над окружающей местностью холме Мориа великолепный храм, который затмил бы своим блеском выстроенную на соседней горе Голгофе церковь Воскресения, учредить духовное сословие, которое из личных интересов старалось бы разоблачить хитрости и сдерживать честолюбие своих христианских соперников, и поселить там многочисленную колонию иудеев, которые, благодаря своему суровому фанатизму, были бы всегда готовы поддерживать враждебные меры языческого правительства и даже предупреждать их. Между друзьями императора (если слова «император» и «друг» не несовместимы одно с другим) самим Юлианом было назначено первое место добродетельному и ученому Алинию. Человеколюбие Алиния умерялось строгой справедливостью и мужественной твердостью, и в то время как он применял свои дарования к гражданскому управлению Британией, он подражал в своих поэтических произведениях гармонии и нежности од Сафо. Этому министру, которому Юлиан сообщал и все свои самые легкомысленные фантазии, и все свои самые серьезные замыслы, было поручено восстановить Иерусалимский храм в его первобытной красоте, а усердие Алиния нашло деятельную поддержку в палестинском губернаторе. На зов своего могущественного освободителя Иудеи стали стекаться на священную гору своих предков из всех провинций империи, а их дерзкое ликование встревожило и раздражило живших в Иерусалиме христиан. Желание вновь выстроить храм всегда было господствующей страстью детей Израиля. В эту счастливую минуту мужчины отложили в сторону свое корыстолюбие, а женщины свою деликатность; серебряные лопаты и заступы были доставлены тщеславием богачей, а мусор переносился в шелковых и пурпуровых мантиях. Все кошельки открылись для щедрых пожертвований, все руки хотели участвовать в этой благочестивой работе, и приказания великого монарха исполнялись с энтузиазмом целого народа.

Однако соединенные усилия могущества и энтузиазма оказались в этом случае безуспешными, и назначенное для иудейского храма место, занятое в настоящее время магометанской мечетью, по-прежнему представляло нази-

дательное зрелище разорения и опустошения. Отсутствие и смерть императора и новые принципы христианского царствования, по-видимому, служат удовлетворительным объяснением того, почему были прерваны трудные работы, предпринятые лишь в последние шесть месяцев жизни Юлиана. Но христиане питали естественную и благочестивую надежду, что в этой важной борьбе какое-нибудь замечательное чудо отомстит за честь религии. Современные и достойные уважения писатели рассказывают с различными вариациями, как землетрясение, вихрь и внезапно вспыхнувший огонь разрушили и разбросали по сторонам новый фундамент храма. Это событие описано миланским епископом Амвросием в письме к императору Феodosию, оно должно было возбудить в иудеях сильнейшее негодование; красноречивым Златоустом, который мог сослаться на воспоминания старожилов своей антиохийской епархии, и Григорием Назиaziном, который обнародовал свой рассказ о чуде в конце того года, в котором оно случилось. Последний из этих писателей смело утверждал, что этого сверхъестественного происшествия не отрицали неверующие; а его слова, как бы ни казались они нелепы, подтверждаются неопровержимым свидетельством Аммиана Марцеллина. Этот солдат-философ, ценивший добродетели своего повелителя, но не заражавшийся его предрассудками, рассказал в написанной им дельной и добросовестной истории своего времени, какие необычайные препятствия остановили постройку Иерусалимского храма. «В то время как Алиний при содействии местного губернатора руководил работами с энергией и усердием, страшные огненные шары стали лопаться вблизи от фундамента и своими часто повторяющимися взрывами иногда делали это место недоступным для рабочих, которых они опаляли и убивали; а так как эта непреодолимая сила не переставала упорно и решительно действовать описанным образом, как будто с целью держать рабочих в отдалении, то предприятие было отложено в сторону». Такой авторитет должен был удовлетворить тех, кто верует, и привести в изумление тех, кто не верует. Но философ все-таки потребует подлинного свидетельства беспристрастных и интеллигентных очевидцев. Во время этого важного кризиса всякое необычайное натуральное явление было бы принято за действительное чудо. Это славное освобождение было разукрашено и преувеличено благочестивыми хитростями иерусалимского духовенства и легковерием христиан, а по прошествии двадцати лет один римский историк, стоявший вне богословских распрей, мог украсить свое произведение этим необыкновенным и блестящим чудом.

Реставрация иудейского храма имела тайную связь с разрушением христианской церкви. Юлиан все еще поддерживал свободу вероисповеданий, оставляя всех в неизвестности насчет того, истекает ли эта всеобщая веротерпимость из его справедливости или из его милосердия. Он делал вид, будто жалеет несчастных христиан, заблуждающихся насчет того, что всего важнее в человеческой жизни, но к его состраданию примешивалось презрение, а его презрение отзывалось ненавистью, и его мысли выражались в сарказмах, которые наносят глубокую и смертельную рану, когда они исходят из уст монарха. Так как ему было известно, что христиане гордятся тем, что носят имя своего Искупителя, то он одобрил и, может быть, предписал употребление менее почетного названия галилеян. Он объявил, что безрассудство галилеян — этой секты фанатиков, презираемых людьми и ненавидимых богами, — привело империю на край гибели, а в одном публичном эдикте он намекает, что спасительное насилие может иногда излечивать бешеных пациентов. И в своем уме, и в своем образе действий Юлиан допускал то невеликодуш-

ное различие, что, смотря по своим религиозным верованиям, одна часть его подданных достойна его милостей и дружбы, а другая имеет право только на те общие выгоды, в которых его справедливость не может отказывать покорным гражданам. Согласно с этим принципом, источником раздоров и угнетений, император передал первосвященнику своей собственной религии заведение значительной долей государственных доходов, которая была предоставлена христианской церкви благочестием Константина и его сыновей. Воздвигнутая с таким искусством и с таким трудом, система клерикальных отличий и привилегий была скрыта до основания; строгие законы положили конец надеждам на щедрость завещателей, и священнослужители христианской секты смешались с самым низким и самым презренным классом населения. Те из этих постановлений, которые, по-видимому, были необходимы для того, чтобы сдерживать честолюбие и корыстолюбие духовенства, были вскоре одобрены мудростью православного монарха. Особые отличия, которыми политика и суеверие щедро наделили церковнослужителей, должны были ограничиваться теми лицами духовного звания, которые исповедовали государственную религию. Но воля законодателя не была свободна от предубеждений и страстей, и коварная политика Юлиана имела целью лишить христиан всех тех мирских отличий и преимуществ, которые делали их почтенными в глазах народа.

Справедливое и строгое порицание вызвал закон, запрещавший христианам преподавать грамматику и риторику. Мотивы, на которые ссылался император в оправдание этой пристрастной и притеснительной меры, могли в течение его жизни налагать печать молчания на уста рабов и вызывать одобрение из уст льстецов. Юлиан употребляет во зло двоякое значение слова, которое может быть безразлично отнесено и к языку, и к религии греков: он с презрением замечает, что люди, восхваляющие достоинство слепой веры, неспособны искать и достигать выгод знания, и полагает, что, если они отказываются от поклонения богам Гомера и Демосфена, они должны довольствоваться изложением в галилейских церквях Евангелий Луки и Матфея. Во всех городах Римской империи воспитание юношества было поручено преподавателям грамматики и риторики, избравшимся правительственными властями, содержавшимся за счет государства и отличавшимся многими выгодными и почетными привилегиями. Эдикт Юлиана, как кажется, обнимал докторов и преподавателей всех свободных искусств; таким образом император, удержавший за самим собой право утверждать кандидатов, был уполномочен законами развращать или наказывать религиозную твердость самых ученых среди христиан. Лишь только увольнение самых непокорных христианских преподавателей обеспечило за языческими софистами беспспорное господство, Юлиан обратился к молодому поколению с приглашением посещать публичные школы, будучи вполне уверен, что мягкий ум юношей проникнется там духом языческой литературы и религии. Если бы христианское юношество, повинувшись голосу своей собственной совести или советам родителей, отказалось от такой опасной системы воспитания, оно лишило бы себя выгод хорошего образования. Юлиан основательно надеялся, что по прошествии нескольких лет христианская церковь возвратится к своей первобытной простоте и что христианских богословов, стоящих по своей учености и по своему красноречию на одном уровне с лучшими учеными и ораторами своего времени, заменит поколение слепых и невежественных фанатиков, не способных ни доказывать истину своих собственных принципов, ни разоблачать различные безрассудства политеизма.

Юлиан, без сомнения, желал и намеревался отнять у христиан все выгоды богатства, знания и власти; но их несправедливое удаление от всех должностей, соединенных с общественным доверием и с денежными выгодами, было, как кажется, скорее результатом его общей политической системы, чем непосредственным последствием какого-либо положительного закона. В пользу выдающихся личных достоинств, быть может, делались некоторые редкие исключения; но большая часть христианских должностных лиц была постепенно удалена из государственной службы, из армии и из службы в провинциях. Надежды молодого поколения были уничтожены явным пристрастием монарха, коварно напоминавшего ему, что христианам не дозволено употреблять в дело ни меч судьбы, ни меч воина и тщательно окружавшего лагеря и трибуналы внешними признаками идолопоклонства. Правительственная власть вверялась язычникам, обнаруживавшим пылкую преданность религии их предков, а так как в своем выборе император часто руководствовался указаниями ворожбы, то фавориты, которые были, по его мнению, всех более приятны богам, не всегда пользовались общественным уважением. Тяжелы были страдания христиан под управлением их врагов, но еще более тяжелы были их опасения. По своему характеру Юлиан не был склонен к жестокосердию, а забота о том, чтобы его деяния, совершавшиеся перед глазами всего мира, не повредили его репутации, удерживала этого монарха-философа от нарушения тех законов справедливости и веротерпимости, которые еще так недавно были им самим установлены. Но провинциальные представители его власти занимали менее видное положение. В пользовании своей неограниченной властью они сообразовались не столько с предписаниями, сколько с желаниями своего государя, и позволяли себе подвергать тайным и придиричвым притеснениям тех сектантов, которых им не дозволялось почтить отличиями мученичества. Император, старавшийся как можно долее скрывать, что ему известны совершающиеся от его имени несправедливости, выражал в легких упреках и в щедрых наградах свой настоящий взгляд на поведение своих представителей.

Самым целесообразным орудием угнетения служил для них закон, обязывающий христиан вполне восстанавливать разрушенные ими в предшествовавшее царствование языческие храмы. Усердие торжествующей церкви не всегда дожидалось разрешения местных властей, и уверенные в безнаказанности епископы нередко нападали во главе своих прихожан на крепости сатаны и разрушали их. Всем были известны размеры освященных участков земли, увеличивших наследственные владения монарха или духовенства, и возвратить их было нетрудно. Но на этих участках земли и на развалинах языческого суеверия христиане часто воздвигали свои собственные религиозные здания, а так как, прежде чем приступить к постройке языческого храма, было необходимо снести христианскую церковь, то одна партия превозносила справедливость и благочестие императора, а другая оплакивала и проклинала это святотатственное насилие. После того как почва была очищена, обязанность снова соорудить громадные здания, которые были срыты до основания, и возвратить драгоценные украшения, которые были употреблены для христианского богослужения, превращалась в длинный список убытков, подлежащих вознаграждению. Виновники зла не имели ни средств, ни желания уплачивать эти накопившиеся долги, и законодатель доказал бы свое беспристрастие и свое благоразумие, если бы употребил свое справедливое и хладнокровное посредничество на то, чтобы уравновесить притязания и протесты противников. Но вся империя, и в особенности Восток, при-

шла в смятение вследствие опрометчивых эдиктов Юлиана, и языческие должностные лица, воспламеняясь рвением и жадой мщения, стали злоупотреблять предоставленным им римскими законами правом заменять недостаточную для уплаты долга собственность личностью несостоятельного должника. В предшествовавшее царствование епископ Аретузы Марк обращал народ в христианскую веру таким способом, который более действителен, чем убеждения. Должностные лица потребовали всей стоимости храма, разрушенного его нетерпящим иноверия усердием, но так как им была известна его бедность, то они хотели только получить от этого непреклонного человека обещание самого незначительного вознаграждения. Они схватили престарелого прелата, бесчеловечно били его и вырвали ему бороду; его тело, намазанное медом и повешенное в сетке между небом и землей, было изъедено насекомыми и обожжено жгучими лучами сирийского солнца. С этой вышины Марк не переставал хвастаться своим преступлением и издеваться над бессильной яростью своих гонителей. Он был наконец вырван из их рук и мог насладиться славой своего необычайного триумфа. Ариане превозносили доблести своего благочестивого единоверца; католики из честолюбия заявляли притязания на то, что он принадлежит к их партии, а те из язычников, которые были доступны для стыда и угрызений совести, теряли охоту повторять такие бесполезные жестокости. Юлиан пощадил его жизнь; но если правда, что епископ Аретузы спас Юлиана в детстве, то потомство вместо того, чтобы хвалить милосердие императора, будет порицать его неблагодарность.

На расстоянии пяти миль от Антиохии македонские цари Сирии посвятили Аполлону одно из самых привлекательных мест благочестия в языческом мире. Был воздвигнут великолепный храм в честь бога света, а его колоссальная фигура почти совершенно наполняла обширное святилище, блескующее золотом и драгоценными камнями и украшенное произведениями греческих художников. Бог был изображен слегка наклонившимся вперед и держал в руке золотую чашу, из которой лилось на землю вино, будто он умолял эту почтенную родительницу возратить в его объятия холодную и прекрасную Дафну, так это место было прославлено вымыслами фантазии, и воображение сирийских поэтов перенесло эту любовную историю с берегов Пенея на берега Оронта. Царственная антиохийская колония придерживалась древних греческих обрядов. Из Кастельского источника Дафны вытекал поток пророчеств, соперничавших по своей достоверности и знаменитости с предсказаниями Дельфийского оракула. На смежных полях было устроено ристалище, благодаря особой привилегии, купленной у Элиды. Олимпийские игры проходили за счет города, и доход в тридцать тысяч фунт. ст. ежегодно употреблялся на общественные удовольствия. Постоянный прилив богомольцев и зрителей постепенно образовал в соседстве с храмом обширное и многолюдное селение Дафну, которое могло соперничать своим великолепием с любым провинциальным городом, хотя и не носило этого названия. И храм, и селение были со всех сторон окружены рощей из лавровых и кипарисовых деревьев, которая имела в окружности десять миль и доставляла в самые знойные летние дни прохладную и непроницаемую для солнечных лучей тень. Множество сбегавших с холмов ручейков самой чистой воды сохраняли свежесть зелени и благорастворение воздуха; гармонические звуки и ароматические запахи очаровывали слух и обоняние, и эта мирная роща была посвящена здоровью и радости, наслаждению и любви. Пылкая юность преследовала там, подобно Аполлону, предмет своих желаний, а судьба Даф-

ны предупреждала стыдливых девушек о неблагоразумии неуместной застенчивости. Солдаты и философы благоразумно избегали этого чувственного рая, где удовольствие, принимавшее характер религии, незаметным образом ослабляло мужественные доблести. Но рощи Дафны не переставали в течение многих веков пользоваться уважением и туземцев, и чужестранцев; привилегии священной почвы были расширены щедростью императоров, и каждое поколение прибавляло к великолепию храма новые украшения.

Когда Юлиан спешил к Аполлону Дафны, чтобы поклониться ему в день его ежегодного празднования, его благочестие дошло до высшей степени горячности и нетерпения. Его пылкое воображение заранее наслаждалось пышностью жертвоприношений, возлияний и курения фимиама; оно рисовало ему длинную процессию юношей и дев, одетых в белые одеяния, — этот символ их невинности, — и шумное сборище бесчисленных посетителей. Но со времени водворения христианства религиозное рвение Антиохии приняло иное направление. Император жалуется на то, что вместо целых гекатомб жирных быков, принесенных в жертву местному божеству богатыми горожанами, он нашел только одного гуся, доставленного за свой собственный счет жрецом, — бледным и одиноким обитателем этого пришедшего в упадок храма. Алтарь был покинут, оракул умолк, а священная почва была осквернена введением мрачных христианских обрядов. После того как Вавила (антиохийский епископ, умерший в тюрьме во время гонений Деция) пролежал в своем гробу около ста лет, его тело было перенесено по приказанию Цезаря Галла внутрь рощи Дафны. Над его смертными останками была воздвигнута великолепная церковь; часть освященной земли была захвачена для содержания духовенства и для погребения антиохийских христиан, желавших покоиться у ног своего епископа, а служители Аполлона удалились вместе со своими испуганными и негодующими приверженцами. Лишь только новый переворот, по-видимому, возвратил язычеству его прежнее могущество, церковь Св. Вавилы была разрушена и новые постройки были прибавлены к полуразрушенному зданию, воздвигнутому благочестием сирийских монархов. Но первая и самая важная забота Юлиана заключалась в том, чтобы освободить его угнетенного бога от ненавистного присутствия мертвых и живых христиан, так успешно заглушивших голос обмана и энтузиазма. Место заразы было очищено по всем формам древней обрядности; тела усопших были приличным образом перенесены в другое место, и служителям христианской церкви было дозволено сопровождать бранные останки Св. Вавилы до их прежнего жилища внутрь стен Антиохии. В этом случае усердие христиан пренебрегло таким скромным поведением, которое могло бы смягчить недоброжелательство правительства, враждебно относившегося к их религии. Высокую колесницу, на которой перевозили тело Вавилы, сопровождала и встречала бесчисленная толпа, распевавшая с оглушительными возгласами те псалмы Давида, в которых всего резче выражалось ее презрение к идолам и к идолопоклонникам. Возвращение святого было триумфом, а этот триумф был оскорблением для религии императора, из гордости скрывавшего свое негодование. В течение ночи храм Дафны был объят пламенем, статуя Аполлона сгорела, и от здания остались лишь голые стены, как будто в память его страшного разрушения. Антиохийские христиане с религиозной уверенностью утверждали, что могущественное заступничество Св. Вавилы направило молнию на проклятое здание, а так как Юлиану приходилось делать выбор между верой в преступление и верой в чудо, то он без колебаний и без доказательств, на основании не лишенной правдоподобия догадки, приписал по-

жар Дафны мстительности галилеян. Если бы их преступление было вполне доказано, оно могло бы служить оправданием для приведенного немедленно в исполнение приказания Юлиана запереть в отшельники христианам двери антиохийского собора и конфисковать его богатства. Чтобы открыть виновников мятежа и поджога и тех, кто скрыл церковные сокровища, некоторые лица духовного звания были подвергнуты пытке, а один пресвитер, по имени Феодорет, был обезглавлен по приговору восточного графа. Однако этот опрометчивый поступок вызвал порицание со стороны императора, который с искренней или притворной скорбью сожалел о том, что неблагоприятное усердие его министров может омрачить блеск его царствования религиозным гонением.

Министры Юлиана стали сдерживать свое рвение, лишь только они заметили, что их государь нахмурился; но когда отец своего отечества объявляет себя вождем партии, он лишается возможности обуздывать народную ярость и поступил бы непоследовательно, если бы стал ее наказывать. В написанном для публики сочинении Юлиан хвалит благочестие и преданность священных городов Сирии, набожные жители которых разрушили по первому сигналу гробницы галилеян, и слегка сожалеет о том, что они отомстили за нанесенные богам оскорбления не с такой умеренностью, какой он от них ожидал. Это неполное и нерешительное признание, по-видимому, подтверждает рассказы церковных писателей, что в городах Газе, Аскалоне, Кесарии, Гелиополе и некоторых других язычники злоупотребляли своим минутным преобладанием без всякой осмотрительности и без угрызений совести, что несчастные жертвы их жестокосердия избавлялись от пытки только смертью, что, в то время как искалеченные тела этих жертв владелись по улицам, повара вонзали в них свои вертела, а рассвирепевшие женщины свои прялки (так сильно было общее ожесточение), и что эти кровожадные фанатики, отведав внутренностей христианских церковнослужителей и девственников, смешивали их с ячменем и презрительно бросали на съедение нечистым животным. Такие сцены религиозного иступления обнаруживают самые презренные и самые отвратительные стороны человеческого характера, но избиение, происшедшее в Александрии, еще более достойно внимания вследствие достоверности факта, общественного положения жертв и блеска египетской столицы.

Георгий, прозванный Каппадокийским или по происхождению своих родителей, или по месту своего воспитания, родился в городе Эпифании, в Киликии, в лавке сукновала. Благодаря дарованиям спекулянта он, несмотря на свое незнатное и рабское происхождение, сумел выйти в люди; его покровители, которым он усердно льстил, доставили ему выгодную комиссию: он взял на себя поставку ветчины для армии. Его занятие было низко, но он сделал его позорным. Он накопил богатства путем самых бесчестных подлогов и подкупов, но его лихоимство сделалось настолько гласным, что он был вынужден спасаться бегством от преследований правосудия. После этого несчастья, как кажется, не помешавшего ему сохранить свои богатства в ущерб своей чести, он с искренним или с притворным усердием принял арианскую веру. Из склонности или из желания выказать свою ученость он собрал ценную библиотеку из исторических, риторических, философских и богословских сочинений, и, благодаря выбору господствующей партии, Георгий Каппадокийский был возведен на вакантный епископский трон Афанасия. Вступление в должность нового архиепископа было похоже на вступление варварского завоевателя, и каждый момент его владычества был запятнан актами жесто-

косердия и корыстолюбия. Александрийские и египетские католики попали под власть тирана, который по своей природе и по своему воспитанию был годен только на то, чтобы играть роль гонителя; но он угнетал без разбора всех жителей своей обширной епархии. Египетский первосвященник усвоил себе роскошь и высокомерие, соответственные его высокому положению, но это не мешало ему обнаруживать пороки, свойственные людям его низкого и рабского происхождения. Александрийские торговцы обеднели вследствие приобретенной им несправедливой и почти всеобщей монополии на селитру, соль, бумагу, похороны и пр., и духовный отец великого народа унизили до того, что взял на себя гнусную роль доносчика. Жители Александрии никогда не могли позабыть и никогда не могли простить ему того, что по его совету были обложены налогом все городские дома под тем устарелым предлогом, что основатель города передал вечное право собственности на эту землю своим преемникам, — Птолемам и Цезарям. Язычники, льстившие себя надеждой, что для них настали времена свободы и терпимости, возбудили в нем набожное корыстолюбие, и богатые храмы Александрии были или ограблены, или осквернены надменным прелатом, восклицавшим громким и угрожающим голосом: «Долго ли будет дозволено стоять здесь этим гробницам?». В царствование Констанция он был изгнан яростью или скорей справедливостью населения, и только после упорной борьбы удалось гражданским и военным властям восстановить его владычество и дать ему возможность удовлетворить жажду мщения. Посланец, известивший Александрию о восшествии на престол Юлиана, объявил об увольнении архиепископа. Георгий и вместе с ним двое из его услужливых помощников, граф Диодор и начальник монетного двора Драконций, были с позором отведены в тюрьму закованными в цепи. По прошествии двадцати четырех дней в тюрьму ворвалась яростная и суеверная толпа, которой наскучило ждать исполнения утомительных формальностей судебного разбирательства. Эти враги богов и людей испустили дух в жестоких истязаниях; бездыханные тела архиепископа и его сообщников были с торжеством провезены по улицам на спине верблюда, а бездеятельность партии Афанасия была принята за блестящий пример евангелической терпеливости. Бренные останки этих низких преступников были брошены в море, а популярные вожаки мятежа объявили, что они решились воспротивиться проявлениям христианского благочестия и не допускать, чтобы воздавались какие-либо почести этим мученикам, которые, подобно их предшественникам были казнены врагами их религии. Опасения язычников были основательны, но принятые ими предосторожности оказались недействительными. Достойная смерть архиепископа изгладил воспоминания о его жизни. Соперник Афанасия был дорог и свят для ариан, а кажущееся обращение этих сектантов в православие ввело в Католическую Церковь поклонение Георгию. Скрыв все обстоятельства, касающиеся времени и места его смерти, на этого отвратительного чужестранца надели маску мученика, святого и христианского героя, и гнусный Георгий Каппадокийский преобразился в знаменитого Св. Георгия Английского — патрона воинства, рыцарства и ордена Подвязки.

Почти в то самое время как Юлиан известили о смутах в Александрии, он получил известие из Эдессы, что гордая и богатая арианская партия оскорбила слабых валентиниан и учинила такие беспорядки, которые не могут оставаться безнаказанными в благоустроенном государстве. Отложив в сторону медленные порядки правосудия, раздраженный монарх обратился к должностным лицам Эдессы с предписанием конфисковать всю церковную

собственность; деньги были розданы солдатам, земли были присоединены к государственным имуществам, и этот акт угнетения был усилен самой безжалостной иронией. «Я выказал себя, — пишет Юлиан, — самым искренним другом галилеян. Их превосходный закон обещает беднякам царствие небесное, и они скорей подвинутся вперед по пути добродетели и вечного спасения, когда освободятся при моем содействии от бремени мирских благ». «Постарайтесь, — продолжает монарх более серьезным тоном, — не выводить меня из терпения и не заставляйте меня прибегать к строгим мерам. Если эти беспорядки будут продолжаться, я накажу представителей власти за преступления народа, и тогда вам придется опасаться не только конфискации и ссылки, но огня и меча». Смуты, происходившие в Александрии, конечно, были более кровопролитны и более опасны; там погиб от руки язычников христианский епископ, и публичное послание Юлиана представляет очень яркое доказательство того, как он был пристрастен в делах управления. Упреки, с которыми он обращается к жителям Александрии, перемешаны с выражениями уважения и благосклонности, и он сожалеет о том, что в этом случае они уклонились от мягкости и великодушия, свидетельствовавших об их греческом происхождении. Он строго порицает их за нарушение законов справедливости и человеколюбия, но с видимым удовольствием перечисляет невыносимые обиды, которые они так долго терпели от нечестивой тирании Георгия Каппадокийского. Юлиан допускает, что мудрое и сильное правительство должно наказывать дерзость народа, но из уважения к основателю города Александру и к богу-покровителю Серапису он вполне и милостиво прощает провинившихся жителей, к которым он снова будет питать братскую привязанность.

Когда в Александрии утихли смуты, Афанасий снова воссел среди общих выражений радости на трон, с которого был низвергнут его недостойный соперник; а так как рвение архиепископа умерялось сдержанностью, то он стал пользоваться своим влиянием не для того, чтобы воспламенять умы народа, а для того, чтобы склонять их к примирению. Его пастырские заботы не ограничились узкими пределами Египта. Его деятельный и обширный ум имел в виду положение всего христианского мира, а преклонные лета, личные достоинства и репутация Афанасия делали его способным принять на себя в минуту опасности роль церковного диктатора. Еще не прошло трех лет с тех пор, как большинство западных епископов по незнанию или против воли подписалось под символом веры, установленным в Римини. Они раскаивались и верили в православный символ веры, но опасались неуместной взыскательности своих православных единоверцев; а если бы их гордость была сильнее их верований, они могли бы броситься в объятия ариан во избежание позора публичного покаяния, которое низвело бы их до положения незнатных мирян. Между тем в среде католических ученых обсуждались с некоторой горячностью различные мнения касательно единства и различия лиц Св. Троицы, и эта метафизическая полемика, по-видимому, угрожала явным и окончательным разрывом между церквями, греческой и латинской. Благодаря мудрости избранного собора, которому имя и личное присутствие Афанасия придали авторитет Вселенского Собора, неосмотрительно впавшие в заблуждение епископы были приняты в лоно церкви на том нестеснительном условии, что они подчинятся Никейскому символу веры без всякого формального сознания в своих прежних заблуждениях и без всякого подробного изложения своих религиозных убеждений. Советы египетского архиепископа уже подготовили духовенство, галльское и испанское, итальянское

и греческое, к одобрению этой благотворной меры, и, несмотря на сопротивление некоторых пылких умов, страх перед общим врагом восстановил между христианами мир и согласие.

Египетский архиепископ искусно и деятельно воспользовался непродолжительным спокойствием, прежде чем оно было нарушено враждебными эдиктами императора. Презиравший христиан Юлиан почтил Афанасия своей искренней ненавистью. Только ради Афанасия он дозволил себе произвольное толкование, несогласное, по меньшей мере, с духом его прежних заявлений. Он стал утверждать, что вызванные им из ссылки галилеяне не уполномочены этим общим помилованием вступать в управление своими церквями, и выразил свое удивление по поводу того, что преступник, неоднократно осужденный императорами, осмелился издеваться над святостью законов и дерзко присвоить себе архиепископский престол Александрии, не дождавшись приказаний своего государя. В наказание за это воображаемое преступление он снова изгнал Афанасия из города и воображал, что этот акт правосудия будет чрезвычайно приятен его благочестивым подданным. Настоятельные просьбы народа скоро убедили его, что большинство жителей Александрии состояло из христиан и что большая часть христиан была очень привязана к своему угнетенному архиепископу. Но знакомство с настроением умов населения, вместо того чтобы вызвать отмену его предписания, побудило его изгнать Афанасия из пределов Египта. Рвение народной толпы сделало Юлиана еще более неумолимым; он был встревожен мыслью, что было бы опасно оставлять во главе мятежного населения отважного и популярного руководителя, а из выражений его гнева видно, какого он был мнения о мужестве и дарованиях Афанасия. Исполнение приговора было замедлено осторожностью или небрежностью египетского префекта Экиция, который был наконец пробужден из своей летаргии строгим выговором. «Хотя вы и не находили нужным, — говорил Юлиан, — писать мне о других делах, вы были обязаны, по меньшей мере, уведомить меня о вашем образе действий по отношению к Афанасию, этому недругу богов. Я давно уже сообщил вам мою волю. Клянусь великим Сераписом, что если в декабрьские календы Афанасий еще не покинет Александрии и даже Египта, служащие у вас чиновники заплатят пеню в сто фунтов золота. Вам известен мой нрав: я не легко произношу обвинительный приговор, но еще менее легко прощаю». Это послание было усилено коротенькой прибавкой, написанной собственной рукой императора: «Презрение, которое выказывают ко всем богам, наполняет мое сердце скорбью и негодованием. Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем извещение об изгнании Афанасия из Египта. Какой отвратительный негодяй! В мое царствование результатом его угнетений было крещение нескольких греческих дам самого высшего ранга». Смертная казнь Афанасия не была положительно предписана, но египетский префект понял, что более безопасно преувеличивать приказания разгневанного повелителя, чем относиться к ним с невниманием. Архиепископ благоразумно удалился в монастыри пустыни, избежал со своей обычной ловкостью ловушек, расставленных врагами, и дожил до того, что восторжествовал над прахом монарха, выразившего в многознаменательных словах свое желание, чтобы весь яд галилейской школы был сосредоточен в одном лице Афанасия.

Я постарался верно описать коварную систему, с помощью которой Юлиан предполагал достигнуть результатов гонения, не навлекая на себя обвинений или подозрений в этом преступлении. Но если пагубный дух фанатизма

развратил сердце и разум добродетельного монарха, следует сознаться, что и действительные страдания христиан были раздуты и преувеличены человеческими страстями и религиозным энтузиазмом. Смирение и покорность, которыми отличались первые последователи Евангелия, служили для их преемников скорей предметом похвал, чем предметом подражания. Христиане, уже более сорока лет руководившие гражданским и церковным управлением империи, впали в наглые пороки, порождаемые удачей, и привыкли верить, что они святые и имеют право господствовать над землей. Лишь только неприязнь Юлиана лишила духовенство тех привилегий, которые были ему предоставлены благосклонностью Константина, оно стало жаловаться на самые жестокие угнетения, а веротерпимость по отношению к идолопоклонникам и к еретикам сделалась для православной партии предметом скорби и скандала. Насилия, которым перестали благоприятствовать должностные лица, все еще совершались усердием народа. В Пессине алтарь Кибелы был ниспровергнут почти на глазах императора, а в городе Кесарии, в Каппадокии, храм Фортуны — единственное место, оставленное язычникам для богослужения, — был разрушен яростью народного мятежа. В этих случаях монарх, страдавший душой за честь богов, не был расположен мешать действию правосудия, а его раздражение еще более усиливалось, когда он видел, что фанатики, подвергнутые наказанию за поджигательство, вознаграждались почестями мученичества. Христианским подданным Юлиана были известны враждебные замыслы их государя, и для их недоверчивого беспокойства все дела его управления служили предлогом для неудовольствий и подозрений. При обыкновенном отправлении правосудия христиане должны были нередко подвергаться обвинительным приговорам, так как они составляли столь значительную часть населения; но их снисходительные единоверцы, не вникая в суть дела, считали их невиновными, признавали их жалобы основательными и приписывали строгость их судей пристрастной злобе религиозного гонения. Эти притеснения, какими бы невыносимыми они ни казались, выдавались за легкую прелюдию к предстоящим бедствиям. Христиане считали Юлиана жестоким и лукавым тираном, откладывавшим исполнение своих планов мщения до того времени, когда он возвратится победителем из похода в Персию; они полагали, что, когда он восторжествует над внешними врагами Рима, он сбросит с себя несносную маску притворства, что тогда в амфитеатрах польется кровь пустынных и епископов и что христиане, непоколебавшиеся в своей вере, будут лишены всех прав, и человеческих, и общественных. Страх и ненависть заставляли противников вероотступника верить всякой клевете, которая могла уронить его репутацию, а их нескромные жалобы раздражали монарха, которого они были обязаны уважать и которому, ради своих интересов, они должны были льстить. Они все еще заявляли, что молитвы и слезы были их единственным оружием против нечестивого тирана, на голову которого они призывали правосудие оскорбленных небес. Но они тоном зловещей решимости намекали, что их покорность не следует приписывать их бессилию и что при несовершенстве человеческой добродетели терпение, истекающее из принципа, может истощиться от притеснений. Нет возможности решить, в какой мере фанатизм Юлиана мог взять верх над его здравым смыслом и человеколюбием, но если мы серьезно размыслим о том, каковы были силы и мужество церкви, то мы придем к убеждению, что прежде, чем искоренять религию Христа, императору пришлось бы навлечь на свое отечество ужасы междоусобной войны.



Восточный поход Юлиана. — Он смертельно ранен. — Кончина Юлиана. — Размышления по поводу его смерти и погребения. — Управление и кончина Иовиана. — Избрание Валентиниана. — Он берет в соправители брата Валента и отделяет Восточную империю от Западной. — Восстание Прокопия. — Светское и церковное управление. — Смерть Валентиниана. — Его два сына, Грациан и Валентиниан II, получают в наследство Западную империю. (314–390 гг.)

Глава 11 (XXIV–XXV)

Восточный поход Юлиана

Юлиан выступил в поход в начале весны... После утомительного двухдневного перехода он остановился на третий день в Берое, или Алеппо, где, к своему прискорбию, нашел состоявший почти исключительно из христиан сенат, который отвечал на красноречивое приветствие проповедника язычества холодными и церемонными изъявлениями своего уважения...

Гиерополь, лежащий почти у самых берегов Евфрата, был назначен общим сборным местом для римских войск, которые немедленно перешли через эту великую реку по заранее устроенному плашкотному мосту. Не теряя времени, Юлиан направился в Карры — очень древний город Месопотамии, находившийся на расстоянии восьмидесяти миль от Гиерополя. Храм Луны привлекал к себе благочестивого Юлиана; однако несколько дней, проведенных там императором, были употреблены на довершение громадных приготовлений к войне с Персией. До той поры Юлиан никому не сообщал, какая была цель этой экспедиции; но так как в Каррах расходятся в разные стороны две большие дороги, то он уже не мог более скрывать, с какой стороны он намеревался напасть на владения Сапора — со стороны ли Тигра или со стороны Евфрата. Император отрядил тридцатитысячную армию, под начальством своего родственника Прокопия и бывшего египетского герцога Себастьяна, с приказанием направиться к Низибу и, прежде чем попытаться перейти Тигр, охранить границу от неприятельских вторжений. Ее дальнейшие действия были предоставлены на усмотрение генералов; но Юлиан надеялся, что, опустошив огнем и мечом плодородные округа Мидии и Адабены, он прибудет к стенам Ктезифона почти в то самое время, как он сам, продвигаясь вдоль берегов Евфрата, прибудет туда, чтобы предпринять осаду персидской монархии.

Юлиан смертельно ранен

Юлиан, всегда появлявшийся в самом опасном месте, поощрял и голосом и жестах преследование неприятеля. Его испуганные телохранители, чувствуя невозможность устоять против теснившей их смешанной толпы друзей и врагов, напомнили своему бесстрашному государю, что на нем нет лат, и стали умолять его не подвергать себя неминуемой опасности. В эту самую минуту один обращенный в бегство персидский эскадрон осыпал их градом дротиков и стрел, а одно копьё, оцарапав руку Юлиана, пронзило ему ребро

и засело в нижней части печени. Юлиан попытался вытащить из своего тела смертоносное орудие, но обрезал себе пальцы о его острие и упал без чувств с лошади. Его телохранители поспешили к нему на помощь; они осторожно подняли с земли раненого императора и перенесли его с места сражения в самую близкую палатку. Слух об этом печальном происшествии пролетел по рядам войск, но скорбь римлян воодушевила их непреодолимым мужеством и жадной мщеницей. Кровопролитный и упорный бой продолжался до тех пор, пока ночной мрак не заставил сражающихся разойтись. Персы могли похвастаться успехом своего нападения на левое крыло, где был убит министр двора Анатолий, а префект Саллюстий спасся с большим трудом. Но исход боя не был благоприятен для варваров. Они оставили на поле сражения двух своих генералов, пятьдесят знатных людей, или сатрапов, и множество самых храбрых из своих солдат; если бы Юлиан остался жив, этот успех римлян мог бы иметь последствия решительной победы... Таков был конец этого необыкновенного человека на тридцать втором году жизни, после царствования, продолжавшегося от смерти Констанция один год и около восьми месяцев. В свои последние минуты он высказал, может быть не без некоторой доли тщеславия, свою любовь к добродетели и славе, которая была его господствующей страстью в течение всей его жизни.

Тело Юлиана было перевезено из Низиба в Тарс; погребальное шествие двигалось так медленно, что оно достигло Тарса лишь через две недели, а когда оно проходило через восточные города, враждебные партии встречали его или выражением скорби, или шумной бранью. Язычники уже ставили любимого героя наряду с теми богами, поклонение которым он восстановил, между тем как брань христиан преследовала душу Отступника до дверей ада, а его тело — до могилы. Одна партия скорбела о предстоящем разрушении ее алтарей, а другая — прославляла чудесное избавление церкви. Христиане превозносили в возвышенных и двусмысленных выражениях божеское мщение, так долго висевшее над преступной головой Юлиана. Они утверждали, что в ту минуту, как тиран испустил дух по ту сторону Тигра, о его смерти было поведено свыше святым египетским, сирийским и каппадокийским, а вместо того, чтобы считать его погибшим от персидских стрел, их нескромность приписывала его смерть героическому подвигу какого-то смертного или бессмертного поборника христианской веры. Эти неосторожные заявления были приняты на веру зложелательством или легковерием их противников, которые стали или втайне распускать слух, или с уверенностью утверждать, что правители церкви и разожгли, и направили фанатизм домашнего убийцы. С лишком через шестнадцать лет после смерти Юлиана это обвинение было торжественно и с горячностью высказано в публичной речи, с которой Либаний обратился к императору Феодосию. Высказанные Либанием подозрения не опирались ни на факты, ни на аргументы, и мы можем выразить наше уважение к благородному рвению, с которым антиохийский софист вступился за холодный и всеми позабытый прах своего друга.

Существовал старинный обычай, что как при похоронах римлян, так и на их триумфах голос похвалы находил противовес в голосе сатиры и насмешки, и что среди пышных зрелищ, которые устраивались в честь живых или мертвых, несовершенства этих людей не оставались скрытыми от глаз всего мира. Этого обычая придерживались и на похоронах Юлиана. Комедианты, желая отплатить ему за его презрение и отвращение к театру, изобразили и преувеличили, при рукоплесканиях христианских зрителей, заблуждения и безрассудства покойного императора. Его причуды и странности давали ши-

рокий простор шуткам и насмешкам. В пользовании своими необыкновенными дарованиями он нередко унижал величие своего звания. В нем Александр превращался в Диогена, а философ снисходил до роли жреца. Чистота его добродетелей была запятнана чрезмерным тщеславием; его суеверия нарушили спокойствие и скомпрометировали безопасность могущественной империи, а его причудливые остроты имели тем менее права на снисходительность, что в них были заметны напряженные усилия искусства и даже жеманства. Смертные останки Юлиана были преданы земле в Тарсе, в Киликии; но его великолепная гробница, воздвигнутая в этом городе на берегу холодных и светлых вод Кидна, не нравилась верным друзьям, питавшим любовь и уважение к памяти этого необыкновенного человека. Философы выражали весьма основательное желание, чтобы последователь Платона покоился среди рощ Академии, а солдаты заявляли более громкое требование, что смертные останки Юлиана были преданы земле рядом с останками Цезаря на Марсовом поле, среди древних памятников римской доблести. В истории царствования государей не часто встречаются примеры подобного разномыслия.

Смерть Юлиана оставила общественные дела империи в очень сомнительном и опасном положении. Римская армия была спасена постыдным, хотя, быть может, и необходимым, мирным договором, а первые минуты после его заключения были посвящены благочестивым Иовианом восстановлению внутреннего спокойствия и в церкви и в государстве. Его опрометчивый предметник разжигал религиозную вражду, которую он лишь с виду как будто старался утишить, а его кажущееся старание сохранить равновесие между враждующими партиями лишь поддерживало борьбу, внушая попеременно то надежды, то опасения, то поощряя притязания, основанные на древности прав, то поощряя те, которые основывались на монаршей милости. Христиане позабыли о настоящем духе Евангелия, а язычники впитали в себя дух христианской церкви. В семьях частных людей природные чувства были заглушены слепой яростью фанатизма и мстительности; законы или нарушались, или употреблялись во зло; восточные провинции были запятнаны кровью, и самыми непримиримыми врагами империи были ее собственные граждане. Иовиан был воспитан в христианской вере, и во время его перехода из Низиба в Антиохию во главе легионов был снова развернут Лабарум Константина со знаменем креста, возвещавшим народу о религии его нового императора. Тотчас после вступления на престол он обратился ко всем губернаторам провинций с циркулярным посланием, в котором признавал себя приверженцем евангельского учения и обеспечивал легальное утверждение христианской религии. Коварные эдикты Юлиана были отменены; церковные привилегии были восстановлены и расширены, и Иовиан снизошел до выражения сожалений, что стеснительные обстоятельства заставляют его уменьшить размеры общественных подаяний. Христиане были единодушны в громких и искренних похвалах, которыми они осыпали благочестивого Юлианова преемника. Но они еще не знали, какой символ веры или какой собор будет им избран за образец для православия, и безопасность церкви немедленно снова оживила те горячие споры, которые замолкли в эпоху гонения. Епископы, стоявшие во главе враждующих между собой сект, зная по опыту в какой степени их судьба будет зависеть от первых впечатлений, которые будут произведены на ум необразованного солдата, спешили ко двору в Эдессу или в Антиохию. Большие дороги восточных провинций были покрыты толпами епископов — и приверженцев Номооусиона, и приверженцев

Евномия, и арианских, и полуарианских, — старавшихся опередить друг друга в этом благочестивом состязании; дворцовые апартаменты огласились их громкими спорами, и слух монарха был обеспокоен и, может быть, удивлен странною смесью метафизических аргументов с горячей бранью. Умеренность Иовиана, советовавшего им жить в согласии, заниматься делами милосердия, ждать разрешения спорных вопросов от будущего собора, была принята за доказательство его равнодушия; но его привязанность к Никейскому символу веры в конце концов явно обнаружилась в его уважении к небесным добродетелям великого Афанасия. Этот неустрашимый ветеран христианской веры, уже будучи семидесятилетним старцем, вышел из своего убежища при первом известии о смерти тирана. Он снова вступил, при радостных криках народа, на свой архиепископский трон и имел благоразумие принять или предупредить приглашение Иовиана. Почтенная наружность Афанасия, его хладнокровное мужество и вкрадчивое красноречие оправдали репутацию, которую он прежде того приобрел при дворах четырех царствующих один вслед за другим монархов. Лишь только он успел приобрести доверие и укрепить религиозные верования христианского императора, он возвратился с торжеством в свою епархию и еще в течение десяти лет руководил, с зрелую мудростью и неослабной энергией, духовным управлением Александрии, Египта и Католической Церкви. Перед своим отъездом из Антиохии он уверял Иовиана, что за свое православие император будет награжден продолжительным и мирным царствованием. Афанасий имел основание надеяться, что случится одно из двух: или признают за ним заслугу удачного предсказания, или, в случае ошибки, ему извинят ее ради его внушенных признательностью, хотя и безуспешных, молитв. Когда самая незначительная сила толкает и направляет предмет по той покатости, по которой его заставляют стремиться вниз его физические особенности, эта сила действует с неотразимым могуществом, а Иовиан имел счастье усвоить именно те религиозные мнения, которые поддерживались и духом времени и усердием многочисленных приверженцев самой могущественной секты. В его царствование христианство одержало легкую и прочную победу, и лишь только гений язычества, восстановленный в своих правах и поддержанный безрассудными хитростями Юлиана, перестал быть предметом нежной монаршей заботливости, он безвозвратно превратился в прах. Во многих городах языческие храмы или были заперты, или опустели; философы, злоупотреблявшие кратковременным монаршим благоволением, сочли благоразумным сбрить свои бороды и не обнаруживать своей профессии, а христиане радовались тому, что теперь они могут или прощать обиды, вынесенные в предшествовавшее царствование, или мстить за них. Иовиан рассеял страх язычников изданием благоразумного и милостивого эдикта о терпимости, в котором объявил, что, хотя будет строго наказывать за святотатственное искусство магии, его подданные могут свободно и безопасно исполнять обряды старинного богослужения. Этот закон дошел до нас благодаря оратору Фемистию, который был послан депутатом от константинопольского сената, чтобы выразить его преданность новому императору. В своей речи Фемистий распространялся о том, что милосердие есть атрибут божественной натуры, а заблуждение свойственно человеку; он говорил о правах совести, о независимости ума и с некоторым красноречием излагал принципы философской терпимости, к которым не стыдится обращаться за помощью само суеверие в минуты несчастья. Он основательно замечал, что во время недавних перемен обе религии бывали унижены кажу-

щимся приобретением таких недостойных последователей, таких почитателей господствующей власти, которые способны, без всякого основания и не краснея, переходить из христианской церкви в языческий храм и от алтарей Юпитера к священной трапезе христиан.

Возвратившиеся в Антиохию римские войска совершили в течение семи месяцев переход в тысячу пятьсот миль, во время которого они выносили все лишения, каким могут подвергаться война, голод и жаркий климат. Несмотря на их заслуги, на их усталость и на приближение зимы, трусливый и нетерпеливый Иовиан дал людям и лошадям только шестинедельный отдых. Император не мог выносить нескромных и коварных насмешек со стороны антиохииского населения. Ему хотелось как можно скорее вступить в обладание константинопольским дворцом и предотвратить честолюбивые попытки соперников, которые могли бы захватить в его отсутствие власть над европейскими провинциями. Но он скоро получил приятное известие, что его власть признана на всем пространстве между Фракийским Босфором и Атлантическим океаном. Первым письмом, отправленным из лагеря в Месопотамии, он поручил военное командование в Галлии и Иллирии Маларику — храброму и преданному генералу из нации франков — и своему тестю графу Люциллиану, оказавшему свое мужество и искусство при защите Низиба. Маларик отклонил от себя это назначение, находя, что оно ему не по силам, а Люциллиан был убит в Реймсе во время неожиданно вспыхнувшего мятежа батавских когорт. Но умеренность главного начальника кавалерии Иовиана, позабывшего о намерении императора устранить его от службы, скоро смирила мятежников и упрочила поколебленную покорность солдат. Присяга в верности была принесена при громких изъявлениях преданности, и депутаты от западных армий приветствовали своего нового государя, в то время как он спускался с Тавра, направляясь в город Тиану, в Каппадокию. Из Тианы Иовиан продолжал свое торопливое шествие в главный город провинции Галатии Анкиру, где он принял, вместе со своим малолетним сыном, титул и отличия консульского звания. Незначительный город Дадазтана, находившийся почти на одинаковом расстоянии от Анкиры и от Никеи, сделался роковым пределом и его путешествия, и его жизни. После сытного и, может быть, не в меру обильного ужина он лег спать, а на следующий день его нашли мертвым в его постели. Причину этой внезапной смерти объясняли различно. Одни приписывали ее расстройству желудка, происшедшему или от чрезмерного количества вина, выпитого им накануне, или от дурного качества съеденных им грибов. По словам других, он задохся во время сна от чада, который производили вредные испарения, выходившие из сырой штукатурки стен той комнаты, где он спал. Подозрения в отравлении и убийстве были основаны лишь на том факте, что не было произведено правильного следствия о смерти монарха, царствование и имя которого были скоро забыты. Тело Иовиана было отправлено в Константинополь для погребения рядом с его предшественниками; эту печальную процессию повстречала на пути находившаяся в супружестве с Иовианом дочь графа Люциллиана Харитона, которая еще оплакивала недавнюю смерть своего отца и спешила осушить свои слезы в объятиях своего царственного супруга. К ее отчаянию и скорби присоединились заботы, внушаемые материнской привязанностью. За шесть недель перед смертью Иовиана ее малолетний сын был посажен в курульные кресла, украшен титулом *Nobilissimus* (знатнейший. — *Ред.*) и облечен в пустые отличия консульского звания. Царственный юноша, получивший от своего деда имя Варрона, не успел насладиться выпав-

шим на его долю счастьем, и только недоверчивость правительства напомнила ему, что он был сыном императора. Через шестнадцать лет после того он еще был жив, но его уже лишили одного глаза, а его огорченная мать ежеминутно ожидала, что из ее рук вырвут эту невинную жертву и, предав ее смерти, успокоят подозрительность царствующего государя.

Междоцарствие

После смерти Иовиана Римская империя оставалась в течение десяти дней без повелителя. Министры и генералы по-прежнему собирались на совещания, исполняли свои обычные обязанности, поддерживали общественный порядок и спокойно довели армию до города Никеи в Вифинии, где должно было происходить избрание нового императора. На торжественном собрании гражданских и военных сановников империи диадема была еще раз единогласно предложена префекту Саллюстию. Ему принадлежит та слава, что он вторично отказался; а когда добродетели отца послужили предлогом для подачи голосов в пользу его сына, он с твердостью бескорыстного патриота объявил избирателям, что отец по причине своих преклонных лет, а сын по причине своей юношеской неопытности одинаково неспособны нести тяжелое бремя управления. Было предложено несколько других кандидатов, и все они были поочередно отвергнуты, потому что или их характер, или их положение вызывали возражения; но лишь только было произнесено имя Валентиниана, достоинства этого генерала соединили в его пользу все голоса, и его избрание было одобрено самим Саллюстием. Валентиниан был сыном графа Грациана, который был родом из Кибалиса, в Паннонии, и, благодаря своей необычной физической силе и ловкости, возвысился из низкого звания до военного командования в Африке и Британии, а затем оставил службу с большим состоянием и с сомнительным бескорыстием. Впрочем, высокое положение и заслуги Грациана облегчили его сыну первые шаги на служебном поприще и доставили ему с ранних лет возможность выказать те солидные и полезные качества, которые возвысили его над обыкновенным уровнем его сослуживцев. Валентиниан был высок ростом и имел приятную и величественную наружность. Его мужественная осанка, в которой отражались и ум, и душевная бодрость, внушала его друзьям уважение, а его врагам — страх, и вдобавок к своей неустрашимости он унаследовал от отца крепкое и здоровое телосложение. Благодаря привычке к целомудрию и умеренности, которая сдерживает физические влечения и усиливает умственные способности, Валентиниан умел сохранить уважение к самому себе и внушить уважение другим. Свойственные людям военной профессии развлечения отклонили его в молодости от занятий литературой; он не был знаком ни с греческим языком, ни с правилами риторики; но так как его уму была несвойственна робкая нерешительность, то он был способен, в случае надобности, выражать свои твердые убеждения с легкостью и уверенностью. Он не изучал никаких законов, кроме законов военной дисциплины, и скоро обратил на себя внимание неумолимым усердием и непреклонною строгостью, с которыми он исполнял и заставлял исполнять других воинские обязанности. В царствование Юлиана он рисковал впасть в немилость, открыто выражая свое презрение к господствующей в то время религии, а из того, как он вел себя впоследствии, кажется, можно заключить, что его нескромность и неуместная нестесняемость были последствием не столько его преданности христианству, сколько его воинской смелости. Юлиан прощал ему это и оставлял его на службе, потому что ценил его личные достоинст-

ва, а во время столь разнообразных событий персидской войны он еще упрочил хорошую репутацию, уже приобретенную им на берегах Рейна. Быстрота и успех, с которым он исполнил одно важное поручение, доставили ему расположение Иовиана и почетное начальство над второй школой или взводом щитоносцев, входивших в состав дворцовой стражи. После выступления с армией из Антиохии Валентиниан прибыл на стоянку в Анкиру, когда к нему пришло неожиданное приглашение — без всякого с его стороны преступления или интриги — принять на себя, на сорок третьем году от рождения, абсолютное владычество над Римской империей.

Приглашение от собравшихся в Никее министров и генералов не имело большого значения, пока оно не было одобрено армией. Престарелый Саллюстий, знавший по опыту, что решения многочисленных соборщ нередко бывают прихотливы и совершенно неожиданны, предложил, чтобы всем тем, кто по своему рангу мог бы набрать за себя целую партию, было запрещено, под страхом смерти, появляться на публике в день возведения нового императора на престол. А между тем сила старинных суеверий еще была так велика, что к этому опасному промежутку времени был добровольно прибавлен целый день, оттого что это был добавочный день високосного года. Наконец, когда настал такой час, который находили благоприятным, Валентиниан появился на высоком трибунале; собравшиеся одобрили столь благоразумный выбор, и новый монарх был торжественно облечен в диадему и порфиру среди радостных возгласов войск, расставленных в правильном порядке вокруг трибунала. Но когда он простер свою руку, чтобы дать знать, что хочет обратиться с речью к армии, в рядах послышался оживленный ропот, который постепенно разросся до громкого и повелительного требования, чтобы он безотлагательно выбрал соправителя. Неустрашимое хладнокровие Валентиниана восстановило тишину и заставило почтительно выслушать следующие слова, с которыми он обратился к собравшимся: «Несколько минут тому назад от вас, мои ратные товарищи, зависело оставить меня в моей скромной неизвестности. Заключив по моей прошлой жизни, что я достоин верховной власти, вы возвели меня на престол. Теперь уже не на ком другом, как на мне, лежит обязанность заботиться о безопасности и интересах республики. Владычество над целым миром есть, бесспорно, слишком тяжелое бремя для слабого смертного. Я сознаю, что моим способностям есть предел и что моя жизнь не обеспечена, и потому я не только не буду отклонять содействие достойного соправителя, но буду с нетерпением искать его. Однако в тех случаях, когда раздоры могут быть губительны, выбор верного товарища требует зрелого и серьезного обсуждения; оно и будет предметом моей заботливости. А вы должны вести себя с покорностью и благоразумием. Идите же вы по вашим квартирам, освежите ваш ум и ваши физические силы и ожидайте обычных подарков по случаю восшествия на престол нового императора». Удивленные войска были проникнуты разнообразными чувствами гордости, удовольствия и страха; они по тону узнали в Валентиниане своего повелителя. Их гневные возгласы перешли в безмолвную покорность, и, окруженный орлами легионов и знаменами кавалерии и пехоты, Валентиниан отправился с воинственной пышностью в никейский императорский дворец. Однако, так как он сознавал необходимость предотвратить всякое опрометчивое заявление со стороны солдат, он созвал начальников армии на совещание; их действительные чувства были вкратце выражены Дагалефом с благородной откровенностью. «Великий Государь, — сказал он, — если вы заботи-

тесь только о вашем семействе, то у вас есть брат; если же вы любите республику, то поищите между теми, кто вас окружает, самого достойного из римлян». Император, скрыв свое неудовольствие, но не изменив своих намерений, направился медленными переездами из Никеи в Никомедию и Константинополь. В одном из предместий этой столицы он через тридцать дней после своего собственного возвышения дал титул Августа своему брату Валенту, а так как самые отважные патриоты были уверены, что их сопротивление, не доставив никакой пользы их отечеству, окажется лишь гибельным для них самих, то его безусловное приказание было принято с безмолвной покорностью. Валенту было в ту пору тридцать пять лет, но он еще не имел случая выказать своих дарований ни на военном, ни на гражданском поприще, а его характер не обещал ничего хорошего. Он обладал только одним качеством, которое располагало к нему Валентиниана и которое поддерживало внутреннее спокойствие империи, — искренней и признательной привязанностью к своему благодетелю, превосходство ума и авторитет которого он смиренно и охотно признавал при всех обстоятельствах своей жизни.

Прежде чем приступить к дележу провинций, Валентиниан ввел преобразования в управлении империей. Подданные всех званий, претерпевшие обиды или притеснения в царствование Юлиана, получили дозволение публично заявлять свои жалобы. Всеобщее молчание засвидетельствовало о незапятнанной честности префекта Саллюстия, и его настоятельные просьбы о дозволении удалиться от государственных дел были отвергнуты Валентинианом с самыми лестными выражениями дружбы и уважения. Но между любимцами покойного императора было немало таких, которые употребляли во зло его легковерие или суеверие и которые уже не могли ожидать защиты ни от монаршего благоволения, ни от суда. Дворцовые министры и губернаторы провинций были большей частью уволены от своих должностей, но из толпы виновных Валентиниан выделил тех генералов, которые отличались выдающимися достоинствами, и вообще вся эта реформа, несмотря на протесты, вызванные рвением и личной злобой, была исполнена с надлежащим благоразумием и умеренностью. Празднества по случаю нового воцарения были на короткое время прерваны внезапной и внушавшей подозрения болезнью обоих монархов, но лишь только их здоровье поправилось, они выехали в начале весны из Константинополя. В замке, или дворце, Медианском, только в трех милях от Нэсса, они совершили формальное и окончательное разделение Римской империи. Валентиниан предоставил своему брату богатую восточную префектуру от нижнего Дуная до границ Персии, а под своим непосредственным управлением оставил воинственные префектуры Иллирийскую, Италийскую и Гальскую от оконечностей Греции до Каледонского вала и от этого последнего до подножия Атласских гор. Провинциальное управление было оставлено на прежних основаниях, но для двух верховных советов и двух дворцов пришлось удвоить число генералов и должностных лиц; при распределении должностей были приняты в соображение личные достоинства и положение кандидатов, и вскоре вслед за тем были учреждены семь должностей главных начальников как в кавалерии, так и в пехоте. Когда это важное дело было дружески улажено, Валентиниан и Валент обнялись в последний раз. Западный император избрал для своей временной резиденции Милан, а восточный император возвратился в Константинополь, чтобы вступить в управление пятьюдесятью провинциями, говорившими на языках, совершенно ему непонятных.

Спокойствие Востока скоро было нарушено восстанием, и могущество Валента было поколеблено смелой попыткой соперника, единственное достоинство и единственное преступление которого заключались в его родстве с императором Юлианом. Прокопий быстро возвысился из скромного звания трибуна до главного начальства над всей армией, стоявшей в Месопотамии; общественное мнение уже указывало на него как на преемника монарха, у которого не было наследников по рождению, а его друзья или его враги распустили необоснованный слух, будто Юлиан возложил на Прокопия императорскую порфиру перед алтарем Луны, в городе Карры. Он постарался обезоружить недоверчивость Иовиана своей почтительностью и покорностью, сложил с себя, без всякого протеста, военное командование и удалился с женой и семейством в обширное поместье, которым владел в Каппадокийской провинции. Его полезные и невинные хозяйственные занятия были прерваны появлением офицера с отрядом солдат, которому было приказано от имени его новых монархов Валентиниана и Валента отправить несчастного Прокопия или в вечное тюремное заключение, или на позорную смерть. Присутствие ума доставило ему возможность отсрочить свою гибель и умереть более славной смертью. Не дозволяя себе никаких возражений против императорского приказания, он попросил на несколько минут свободы, чтобы проститься с плачущей семьей, и в то время как роскошное угощение усыпило бдительность его сторожей, он ловко ускользнул от них, добрался до берегов Эвксинского Понта, а оттуда достиг провинции Босфора. В этой отдаленной стране он провел несколько месяцев, вынося все страдания, причиняемые ссылкой, одиночеством и нуждой; его склонность к меланхолии увеличивала тягость его положения, а его ум волновали основательные опасения, что в случае, если бы как-нибудь сделалось известным его настоящее имя, вероломные варвары нарушат правила гостеприимства без всяких угрызений совести. В минуту раздражения и отчаяния Прокопий сел на купеческий корабль, отправляющийся в Константинополь, и смело решился заявить притязание на императорское звание, потому что ему не дозволяли пользоваться безопасностью в звании подданного. Сначала он бродил по деревням Вифинии, постоянно меняя места убежища и свой костюм. Потом он стал все чаще и чаще пробираться в столицу, вверил свою жизнь и свою судьбу преданности двух друзей, одного сенатора и одного евнуха, и начал питать некоторые надежды на успех, когда узнал, в каком положении находились в ту пору общественные дела. В массе населения распространился дух недовольства: оно сожалело о неблагоприятном увольнении Саллюстия от управления восточной префектурой, так как ценило его беспристрастие и дарования. Оно питало презрение к характеру Валента, который был суров без энергии и слаб без человеколюбия. Оно опасалось влияния его тестя, патриция Петрония, жестокого и жадного министра, строго взыскивающего все недоимки, какие оставались неуплаченными со времени царствования императора Аврелиана. Все благоприятствовало замыслам узурпатора. Неприязненные действия персов потребовали личного присутствия Валента в Сирии; от Дуная до Евфрата войска были в движении, и столица была постоянно наполнена солдатами, то направлявшимися за Фракийский Босфор, то возвращавшимися оттуда. Две галльские когорты склонились на тайные предложения заговорщиков, поддержанные обещанием щедрой награды, и, так как между ними еще сохранялось уважение к памяти Юлиана, охотно согласились поддерживать наследственные права его обиженного родственника. На рассвете они

выстроились в боевом порядке вблизи от бань Анастасии, и Прокопий, одетый в пурпуровую мантию, которая была более прилична для гаера, чем для монарха, как будто восстал из мертвых, появившись во главе их в самом центре Константинополя. Солдаты, уже подготовленные к его встрече, приветствовали своего дрожащего от страха монарха радостными возгласами и клятвами в преданности. Их число скоро увеличилось толпой грубых крестьян, собранных из окрестностей города, и охраняемый своими приверженцами Прокопий направился сначала к трибуналу, потом в сенат и наконец в императорский дворец. В первые минуты своего бурного царствования он был удивлен и испуган мрачным безмолвием народа, который или не понимал причины этой перемены, или опасался ее последствий. Но в ту минуту его военных сил было достаточно для того, чтобы сломить всякое сопротивление; недовольные стали массами стекаться под знамя мятежа. Бедных воодушевляла надежда, а богатых пугала опасность всеобщего грабежа, и неисправимое легкоеверие толпы было еще раз введено в заблуждение обещаниями выгод, которые она получит от революции. Должностные лица были арестованы; двери тюрем и арсеналов были взломаны; заставы и вход в гавань были заняты бунтовщиками, и в несколько часов Прокопий сделался абсолютным, хотя и непрочным хозяином императорской столицы. Узурпатор воспользовался таким неожиданным успехом с некоторым мужеством и ловкостью. Он стал искусно распространять слухи и мнения, которые были более всего благоприятны для его интересов, и обманывал население, часто давая аудиенции мнимым послам от самых отдаленных наций. Значительные отряды войск, стоявшие в городах Фракии и в крепостях нижнего Дуная, были постепенно вовлечены в восстание, а начальники готов согласились доставить константинопольскому монарху подкрепление из нескольких тысяч вспомогательных войск. Его генералы переправились через Босфор и без больших усилий подчинили ему безоружные, но богатые провинции Вифинии и Азии. Город и остров Кизик подпал под его власть после приличной обороны; знаменитые легионы юпитерцев и геркулианцев перешли на сторону узурпатора, которого они были обязаны низвергнуть, а так как к ветеранам постоянно присоединялись вновь набранные рекруты, то Прокопий скоро очутился во главе такой армии, которая по своей храбрости и по своей многочисленности казалась способной выдержать предстоящую борьбу. Сын Гормизда, храбрый и даровитый юноша, согласился обнажить свой меч против законного повелителя Востока, и этот персидский принц был немедленно облечен старинными и чрезвычайными полномочиями римского проконсула. Брачный союз с вдовой императора Констанция Фаустиной, вверившей узурпатору и свою собственную судьбу, и судьбу своей дочери, придал партии мятежников вес и достоинство в глазах народа. Принцесса Констанция, которой в ту пору было около пяти лет, следовала за армией на носилках. Ее приемный отец показывал ее толпе, держа на своих руках, и всякий раз, как ее проносили по рядам армии, нежная преданность солдат воспламенялась до того, что переходила в воинственное одушевление; они вспоминали о славе Константинова рода и с шумными выражениями преданности заявляли, что готовы пролить последнюю каплю своей крови на защиту царственного ребенка.

Между тем Валентиниан был встревожен и испуган неопределенными слухами о восстании на Востоке. Война, которую он вел с германцами, заставила его ограничиться безотлагательной заботой о безопасности своих собственных владений, а так как все способы сообщений были прерваны, то он

с нерешительностью и беспокойством прислушивался к усердно распускаемым слухам, будто поражение и смерть Валента оставили Прокопия единственным хозяином восточных провинций. Валент был жив; но когда он получил из Кесарии известие о восстании, он пришел в отчаяние за свою жизнь и свою судьбу, вознамерился вступить в переговоры с узурпатором и обнаружил тайное намерение отречься от престола. Трусливый монарх был спасен от унижения и гибели твердостью своих министров, а их дарования скоро покончили междоусобную войну в его пользу. В эпоху внутреннего спокойствия Саллюстий безропотно отказался от своей должности, но лишь только стала грозить государству опасность, он из благородного честолюбия пожелал принять деятельное участие в трудах и опасностях, и возвращение этому добродетельному министру звания восточного префекта было первым шагом, засвидетельствовавшим раскаяние Валента и удовлетворившим общественное мнение. Владычество Прокопия, по-видимому, опиралось на могущественные армии и покорные провинции. Но многие из высших должностных лиц, как военных, так и гражданских, устранились от преступного предприятия или из чувства долга, или из личных интересов, или же с целью выждать удобную минуту, чтобы выдать узурпатора. Люпициний спешил усиленными переходами во главе сирийских легионов на помощь к Валенту. Аринфей, превосходивший всех героев того времени физической силой, красотой и мужеством, напал с небольшим отрядом на превосходящие силы бунтовщиков. Когда он увидел в рядах неприятеля солдат, когда-то служивших под его начальством, он громким голосом приказал им схватить и выдать их мнимого начальника, и таково было влияние его гения, что это необыкновенное приказание было немедленно исполнено. Почтенный ветеран времен Константина Великого Арбецио, который был почтен отличиями консульского звания, склонился на убеждения покинуть свое уединение и еще раз вести армию на поле брани. В пылу сражения он спокойно снял свой шлем, прикрывавший седую голову и почтенную наружность, обратился к солдатам Прокопия с нежными названиями детей и товарищей и стал убеждать их покинуть преступное дело презренного тирана и последовать за своим старым начальником, так часто водившим их к славе и победе. В двух сражениях при Фиатире и Накосии несчастный Прокопий был покинут своими войсками, которые увлеклись советами и примером своих вероломных офицеров. Пробродив некоторое время по лесам и горам Фригии, он был выдан своими упавшими духом приверженцами, отправлен в императорский лагерь и немедленно обезглавлен. Его постигла обычная участь не имевших удачи узурпаторов; но жестокости, совершенные победителем под внешней формой правосудия, возбудили общее сострадание и негодование.

Преследование чародейства. 373 г.

Таковы обыкновенные и естественные последствия деспотизма и мятежа. Но расследование преступлений чародейства, которое так строго преследовалось в Риме и в Антиохии в царствование двух братьев, было принято за роковое свидетельство или небесного гнева, или развращенности человеческого рода. Мы можем с благородной гордостью утверждать, что в наше время просвещенная часть Европы отвергла ужасное и отвратительное суеверие, господствовавшее во всех странах земного шара и уживавшееся со всякими религиозными системами. Народы и секты Римской империи допускали с одинаковым легковерием и с одинаковым ужасом существование этого адского

искусства, которое было способно изменять течение планет и направлять самопроизвольную деятельность человеческого ума. Они боялись таинственной силы чар и колдовства, сильных трав и отвратительных обрядов, с помощью которых можно было отнимать или снова давать жизнь, воспламенять душевные страсти, уничтожать творения Создателя и исторгать у сопротивляющихся демонов тайны будущего. Они с самой нелепой непоследовательностью верили, что это сверхъестественное владычество над небом, землей и адом могло принадлежать каким-нибудь старым ведьмам или бродячим колдунам, которые в пользовании им руководствовались самыми низкими мотивами злобы или денежной выгоды, и проводили свою жалкую жизнь в нищете и презрении. Искусство чародейства было осуждено у римлян и общественным мнением и законами, но так как оно имело целью удовлетворять самые непреодолимые страсти человеческого сердца, то оно постоянно запрещалось и постоянно было в употреблении. Воображаемая причина может порождать самые серьезные и самые пагубные последствия. Тайные предсказания смерти императора или успеха заговора делались только с той целью, чтобы ободрить надежды честолюбия и ослабить узы преданности, и эти преступные попытки чародейства вызывали действительные преступления и святотатства. Такие воображаемые ужасы нарушали спокойствие общества и благополучие граждан, и невинное пламя, заставлявшее постепенно таять восковую фигуру, приобретало очень большую и пагубную силу благодаря напуганному воображению того, кто был изображен этой фигурой. От употребления тех трав, которым приписывали сверхъестественное действие, уже невелик был шаг до употребления более сильных отрав, и людское безрассудство нередко делалось орудием и прикрытием самых ужасных преступлений. Лишь только министры Валента и Валентиниана стали поощрять усердие доносчиков, им пришлось выслушивать обвинения и в преступлениях иного рода, слишком часто отравляющих семейную жизнь, — в тех преступлениях, которые по своему характеру более мягки и менее зловредны и за которые благочестивая и чрезмерная строгость Константина установила смертную казнь. Эта отвратительная и нелепая смесь государственной измены с чародейством, отравлений с прелюбодеяниями представляла бесконечное множество различных степеней виновности и невинности, смягчающих и усиливающих вину обстоятельств, которые давали судьям возможность вносить в производство этих дел свои личные чувства и свои безнравственные расчеты. Они скоро заметили, что императорский двор измерял степень их усердия и проницательности числом постановленных их трибуналами смертных приговоров. Они крайне неохотно постановляли оправдательные приговоры, а в таких показаниях, которые носили явные признаки клеветы или были добыты посредством пытки, они жадно искали улики в самых невероятных преступлениях против самых почтенных граждан. Расследования постоянно обнаруживали новые поводы для обвинений судебным порядком: смелый доносчик, лживость которого была обнаружена, оставался безнаказанным, но несчастная жертва, выдававшая своих действительных или мнимых сообщников, редко награждалась за свою гнусность помилованием. Из самых отдаленных частей Италии и Азии и молодые люди, и старцы приводились закованными в цепи в трибуналы римские и антиохийские. Сенаторы, матроны и философы умирали в позорных и жестоких пытках. Солдаты, поставленные на страже у тюрем, заявляли с ропотом сострадания и негодования, что по своей малочисленности они не в состоянии препятствовать бегству или неповиновению такого множества арестантов. Самые богатые семьи были разорены денежны-

ми штрафами и конфискациями; самые невинные граждане боялись за свою жизнь, и мы можем составить себе некоторое понятие о размерах этого бедствия из преувеличенного утверждения одного древнего писателя, что в провинциях, более всего пострадавших, арестанты, ссыльные и беглецы составляли большую часть населения.

Когда Тацит описывает смерть невинных и знаменитых римлян, принесенных в жертву жестокосердию первых Цезарей, частью красноречие историка, частью личные достоинства страдальцев возбуждают в нашей душе самые сильные ощущения ужаса, удивления или сострадания, а резкое и неразборчивое перо Аммиана Марцеллина нарисовало нам кровавые сцены с утомительной и отвратительной точностью. Но так как наше внимание уже не поддерживается контрастом свободы и рабства, недавнего величия и заменившего его унижения, то мы с отвращением отворачиваемся от беспрестанных казней, позоривших Рим и Антиохию в царствование двух братьев. Валент был характера робкого, а Валентиниан — желчного. Руководящим принципом в управлении Валента была тревожная заботливость о его личной безопасности. Когда он был простым подданным, он готов был целовать руку притеснителя с полным страха благоговением, а когда он вступил на престол, он считал себя вправе ожидать, что тот же самый страх, который порабощал его собственный ум, доставит ему терпеливую покорность его народа. Любимцы Валента, пользуясь правом хищения и конфискации, нажили такие богатства, в которых им отказала бы его бережливость. Они с убедительным красноречием доказывали ему, что когда идет речь о государственной измене, подозрение равносильно доказательству, что способность совершить преступление заставляет предполагать намерение совершить его, что такое намерение не менее преступно, чем самое действие, и что подданный недостоин жизни, если его жизнь может угрожать безопасности или нарушать спокойствие его государя. Валентиниана нетрудно было вовлечь в заблуждение, а его доверием часто злоупотребляли; но он ответил бы презрительной улыбкой на изветы доносчиков, если бы они вздумали поколебать его мужество указанием на опасность. Они восхваляли его непоколебимую любовь к справедливости, но при своем старании быть справедливым император был склонен считать милосердие за слабодушие, а гневную раздражительность — за добродетель. В то время как он соперничал с равными себе на поприще честолюбия, Валентиниан редко оставлял безнаказанной обиду, но никогда не оставлял безнаказанным оскорбление; его могли упрекать в неблагоразумии, но все отдавали справедливость его мужеству, и самые гордые и влиятельные генералы боялись прогневить этого бесстрашного солдата. После того как он сделался повелителем всего мира, он, к несчастью, позабыл, что там, где не встречается никакого сопротивления, нет никакой надобности в храбрости, и вместо того, чтобы руководствоваться правилами здравого смысла и великодушия, он давал волю своим бешеным страстям в такое время, когда они были унижительны для него самого и пагубны для беззащитных предметов его гнева. Как в делах своего домашнего управления, так и в управлении империей он немедленно наказывал смертным приговором за самую легкую или даже только воображаемую обиду, за одно опрометчивое слово, за случайную оплошность или невольное замедление. Из уст императора все чаще слышались слова: «Отрубите ему голову; сожгите его живьем; бейте его, пока не издохнет». А его любимые министры скоро поняли, что опрометчивая попытка отклонить или приостановить исполнение его кровавых приказаний навлекла бы на них самих обвинение в преступлении и наказание.

Частое удовлетворение такой свирепой любви к справедливости до того очерстило душу Валентиниана, что ей сделались недоступны чувства сострадания и жалости, а от привычки к жестокостям его гневные выходки сделались еще более свирепыми. Он мог с хладнокровным удовольствием смотреть на судорожные страдания, причиняемые пыткой или приближением смерти, и устаивал своей дружбы только тех преданных служителей, характер которых был всего более сходен с его собственным. Заслуги Максимиана, умертвившего многих из самых знатных римских граждан, были награждены императорским одобрением и должностью галльского префекта. Только два свирепых и громадных медведя, из которых одного называли Невинность, а другого Миса Ауреа (Золотая Крошка. — *Ред.*), оказались достойными разделять вместе с Максимом милостивое расположение монарха. Клетки этих надежных охранителей всегда находились вблизи от спальни Валентиниана, который нередко с удовольствием смотрел, как они разрывали на части и пожирали окровавленные члены преступников, отданных им на съедение. Римский император внимательно следил за тем, чтобы их хорошо кормили и заставляли делать нужный моцион, а когда Невинность длинным рядом важных заслуг приобрела право на отставку, ее выпустили на свободу в тот самый лес, где она родилась.

Но в минуты спокойного размышления, когда ум Валента не был волнуем страхом, а ум Валентиниана — яростью, эти тираны обнаруживали такие чувства или по меньшей мере так себя вели, что заслуживали названия отцов своего отечества. Тогда западный император был способен ясно понимать и как следует удовлетворять и свои собственные интересы, и интересы общественные; а император восточный, во всем следовавший с неизменной покорностью примеру своего старшего брата, был иногда руководим мудростью и добродетелями префекта Саллюстия. Оба монарха неизменно держались на престоле той целомудренной и воздержанной простоты, которая была украшением их частной жизни, и во все время их царствования дворцовые развлечения никогда не вызывали краски стыда на лицах их подданных и не стоили этим последним ни одного вздоха. Они постепенно уничтожили многие из злоупотреблений, вкравшихся в царствование Константина, с большим здравомыслием усвоили и усовершенствовали проекты Юлиана и его преемника и вложили в изданные ими новые законы такой дух и такое направление, которые были способны внушить потомству самое благоприятное мнение об их характере и системе управления. Конечно, не от хозяина Невинности можно было ожидать той нежной заботливости о благе подданных, которая побудила Валентиниана запретить подкидывание новорожденных детей и назначить в каждый из четырнадцати римских кварталов по одному искусному медику, с предоставлением ему определенного жалованья и особых привилегий. У невежественного солдата оказалось достаточно здравого смысла, чтобы основать полезные и либеральные учреждения для образования юношества и для поддержания приходившей в упадок науки. Он желал, чтобы в главном городе каждой провинции риторика и грамматика преподавались на греческом и латинском языках, а так как размеры и привилегии школы обыкновенно соизмерялись с важностью города, то римская и константинопольская Академии заявили основательные притязания на особые преимущества. Отрывки из эдиктов Валентиниана по этому предмету дают нам некоторое понятие о константинопольской школе, которая была постепенно улучшена путем позднейших постановлений. Эта школа состояла из тридцати одного профессора по различным отраслям знаний — из одного фи-

лософа, двух юристов, пяти софистов и десяти грамматиков для греческого языка, из трех ораторов и десяти грамматиков для латинского языка, кроме семи писарей, или, как их тогда называли, антиквариев, снабжавших публичную библиотеку чистыми и верными копиями классических произведений. Правила надзора, которым должны были подчиняться студенты, тем более интересны для нас, что они были зародышем тех порядков и дисциплинарных требований, которые существуют в новейших университетах. Студент должен был представить надлежащее свидетельство от должностных лиц той провинции, где он родился. Его имя и место жительства аккуратно заносились в публичные регистры. Учащемуся юноше было строго запрещено тратить свое время на увеселения или театры, и его образование оканчивалось, когда он достигал двадцатилетнего возраста. Городскому префекту было дано право подвергать ленивых и непослушных телесным наказаниям и исключать их из заведения; ему было также предписано ежегодно доставлять министру двора отчет об успехах и дарованиях учащихся для того, чтобы можно было с пользой помещать их на государственную службу. Учреждения Валентиниана не способствовали тому, чтобы население наслаждалось благоденствиями мира и достатка, а для охранения городских интересов была учреждена должность защитников, которые в качестве народных трибунов и адвокатов назначались по выбору самих граждан; они защищали права этих граждан и излагали их жалобы перед трибуналами гражданских должностных лиц и даже у подножия императорского трона. Оба монарха, так давно привыкшие к строгой бережливости в управлении своим личным состоянием, относились с большой заботливостью к управлению государственными финансами; но в собирании и расходовании государственных доходов нетрудно было заметить некоторое различие между системами управления восточной и западной. Валент был того убеждения, что щедрость монарха неизбежно влечет за собою всеобщее угнетение, и потому не обременил народ налогами с целью доставить ему в будущем могущество и благосостояние. Он не только не увеличил налоги, которые в течение последних сорока лет почти удвоились, но в первые годы своего царствования уменьшил податное обложение востока на одну четверть. Валентиниан, по-видимому, не обращал такого же внимания на лежавшее на народе бремя и не старался облегчить его. Он уничтожал злоупотребления в управлении финансами, но без всяких колебаний отбирал весьма значительную долю частной собственности, будучи убежден, что те суммы, которые расходуются частными лицами на роскошь, могут быть с большей пользой употреблены на оборону государства и на разные улучшения. Восточные жители, пользовавшиеся немедленным увеличением своих денежных средств, одобряли снисходительность своего государя; но солидная, хотя и менее блестящая заслуга Валентиниана принесла свои плоды и была оценена по достоинству лишь при следующем поколении.

Но самой достойной уважения чертой в характере Валентиниана было непоколебимое и хладнокровное беспристрастие, с которым он относился к религиозным распрям в такую эпоху, когда эти распри были всего более сильны. Его разум, непросвещенный, но и не испорченный образованием, с почтительным равнодушием отклонял от себя мелкие вопросы, о которых спорили богословы. Управление землей поглощало всю его заботливость и удовлетворяло его честолюбие, и, в то время как он вспоминал, что он принадлежит к христианской церкви, он никогда не забывал, что он государь для духовенства. В царствование Отступника он выказал свою преданность к хри-

стианству; своим подданным он предоставил такое же право, какое присвоил самому себе, и они могли с признательностью и доверием пользоваться всеобщей веротерпимостью, дарованной таким монархом, который хотя и увлекался своими страстями, но не был доступен ни для страха, ни для притворства. Язычники, иудеи и все разнообразные секты, признававшие над собой божественную власть Христа, были ограждены законами от произвола властей и от оскорблений со стороны народной толпы; никакая форма богослужения не была воспрещена Валентинианом, за исключением тех тайных и преступных обрядов, при которых употреблялось во зло название религии для темных целей порока и бесчиния. Искусство колдовства еще более строго преследовалось, так как оно более жестоко наказывалось; но император допускал исключение в пользу одобренных сенатом старинных способов возрождения, которые употреблялись тосканскими ауспициями. Он запретил, с одобрения самых благоразумных людей между язычниками, предаваться бесчинствам ночных жертвоприношений, но он немедленно удовлетворил просьбу ахайского проконсула Претекстата, объяснявшего ему, что лишить греков неоценимого наслаждения Элевсинскими таинствами было бы то же, что отнять у них все житейские радости и утешения. Только одна философия может похвастаться (и, может быть, с ее стороны это было бы не более чем хвастовство), что ее благодетельная рука способна с корнем вырвать из человеческого ума тайные и пагубные принципы фанатизма. Но двенадцатилетнее перемирие, которое поддерживалось мудрым и энергическим управлением Валентиниана, на время удержало религиозные партии от взаимных оскорблений и тем способствовало смягчению их нравов и ослаблению их предрассудков.

К сожалению, приверженец веротерпимости был слишком далек от той сцены, где происходили самые жестокие распри. Лишь только западные христиане выпутались из сетей символа веры, установленного на соборе в Римини, они благополучно погрузились в дремоту православия, а незначительные остатки арианской партии, еще существовавшие в Сирмии и Милане, могли возбуждать скорее презрение, чем ненависть. Но в восточных провинциях, от Эвксинского Понта до крайних пределов Фиваиды, сила и число приверженцев враждебных партий были распределены более равномерно, а это равенство вместо того, чтобы внушать желание жить в согласии, лишь мешало прекращению ужасов религиозной борьбы. Монахи и епископы поддерживали свои аргументы бранью, а за их бранью иногда следовала драка. Афанасий еще владел в Александрии; епископские должности в Константинополе и Антиохии были заняты арианскими прелатами, и всякая вновь открывавшаяся епископская вакансия была поводом для народных волнений.

Оба брата, будучи частными людьми, оставались в положении оглашенных; но Валент, из чувства благочестия, пожелал креститься прежде, нежели подвергать свою жизнь опасности в войне с готами. Он обратился к епископу императорской столицы Евдоксию, и если невежественный монарх был научен этим арианским пастырем принципам неправославного богословия, то не столько его виновность, сколько его несчастье было неизбежным последствием ошибочного выбора. Впрочем, каков бы ни был выбор императора, он непременно оскорбил бы значительную часть его христианских подданных. После того как император сделал этот решительный шаг, ему уже чрезвычайно трудно сохранить добродетель или репутацию беспристрастия. Он никогда не добивался, подобно Констанцию, репутации знатока богосло-

вия; но так как он с чистосердечием и уважением принял догматы Евдоксия, то он подчинил свою совесть руководству своих духовных наставников и стал употреблять влияние своей власти на то, чтобы присоединить следовавших за Афанасием еретиков к составу Католической Церкви. Сначала он оплакивал их ослепление; потом постепенно стал раздражаться от их упорства и наконец стал ненавидеть этих сектантов, для которых он сам был предметом ненависти. Слабый ум Валента всегда находился под влиянием тех, кто был к нему близок, а ссылка или заключение в тюрьму частного человека есть такая милость, которой всего легче добиться от деспота. Во всех столкновениях католики (если нам будет дозволено заранее употребить это название) должны были платить и за свои собственные ошибки, и за ошибки своих противников. Во всех выборах арианскому кандидату отдавалось предпочтение; если же большинство избирателей было не за него, его поддерживали влиянием гражданских должностных лиц или даже страхом вмешательства военной силы. Враги Афанасия пытались отравить последние годы жизни почтенного старца, и его временное удаление к месту погребения его отца считалось его приверженцами за его пятую ссылку. Но фанатизм многочисленного населения, немедленно взявшегося за оружие, устранил префекта, и архиепископу позволили окончить свою жизнь в спокойствии и славе после сорокасемилетнего владычества. Смерть Афанасия послужила сигналом к угнетению Египта, и языческий министр Валента, силой возведший недостойного Люция на архиепископский престол, купил расположение господствующей партии кровью и страданиями ее христианских братьев. Полная нетерпимость, с которой правительство относилось к культам языческому и иудейскому, возбуждала сильное неудовольствие между католиками и считалась ими за такой факт, который усиливает и тягость их положения, и виновность нечестивого восточного тирана.

Торжество православной партии запятнало память Валента названием гонителя христиан, а характер этого монарха, добродетели и пороки которого проистекали из его слабоумия и малодушия, едва ли заслуживает того, чтобы искать для него оправданий. Однако беспристрастное исследование дает некоторое основание подозревать, что духовные руководители Валента нередко заходили далее того, что приказывал или даже что имел в виду их повелитель и что настоящие размеры фактов были очень щедро преувеличены пылкими декламациями и послушным легковерием его врагов. 1. Молчание Валентиниана заставляет с большим правдоподобием полагать, что строгие меры, принятые от имени и его соправителя в провинциях, ограничивались лишь несколькими не доходившими до общего сведения и незначительными отклонениями от установленной системы религиозной терпимости; а здравомыслящий историк, хваливший неизменное беспристрастие старшего брата, не нашел основания противопоставлять спокойствие Запада жестокому гонению, будто бы происходившему на Востоке. 2. Независимо от степени доверия, внушаемого столь неточными и отдаленными от нас по времени рассказами, мы можем составить себе очень ясное понятие о характере или, по меньшей мере, об образе действий Валента из его обхождения с кесарийским архиепископом, красноречивым Василием, заменившим Афанасия в руководстве партией триипостасников. Подробный рассказ об этом был написан друзьями и поклонниками Василия; тем не менее стоит только отбросить все, что есть в нем риторического и сверхъестественного, чтобы прийти в удивление от неожиданного мягкосердия арианского тирана, который восхищался твердостью Василия и опасался, чтобы насильственные меры не вы-

звали общего восстания в Каппадокийской провинции. Архиепископ, оставивший с непреклонным высокомерием основательность своих убеждений и достоинство своего звания, сохранил и свободу своей совести и свою должность. Император с благоговением присутствовал на торжественном богослужении в соборе и вместо того, чтобы подписать приговор о ссылке Василия, пожаловал значительное имение в пользу госпиталя, только что основанного архиепископом неподалеку от Кесарии. 3. Я не мог отыскать между изданными Валентом законами ни одного, который был бы направлен против последователей Афанасия и имел бы какое-либо сходство с тем, который был впоследствии издан Феодосием против ариан; а тот эдикт, который вызвал самые неистовые протесты, как кажется, не заслуживал такого сильного порицания. Император заметил, что некоторые из его подданных, удовлетворяя под маской религии свои склонности к лени, пристали к египетским монахам; поэтому он приказал управляющему восточными провинциями графу вытащить их силой из их уединения и заставить этих отказавшихся от общества людей выбирать одно из двух — или отказаться от всякой собственности, или исполнять общественные обязанности людей и граждан. Министры Валента, как кажется, расширили цель этой карательной меры, так как они позволили себе вербовать молодых и здоровых монахов в императорскую армию. Отряд из кавалерии и пехоты, состоявший из трех тысяч солдат, двинулся из Александрии в соседнюю Нитрийскую степь, в которой жили пять тысяч монахов. Солдатам проводниками служили арианские священники, и, как рассказывают, произошла довольно сильная резня в тех монастырях, которые не подчинились требованиям своего государя.

Император Валентиниан подал первый пример тех строгих постановлений, с помощью которых мудрость новейших законодателей пыталась положить пределы богатству духовенства и сдерживать его корыстолюбие. Эдикт, с которым он обратился к римскому епископу Дамазу, был публично прочтен в городских церквях. Он убеждал духовенство и монахов не посещать дома вдов и девиц и грозил в случае неповиновения подвергать их наказаниям через посредство гражданских судей. Духовникам было запрещено принимать от их духовных дочерей какие-либо подарки путем завещаний или наследств; всякое завещание, составленное в нарушение этого эдикта, признавалось не имеющим силы, а противозаконный дар отбирался в пользу государственной казны. Таким же ограничениям, как кажется, были подвергнуты последующими постановлениями монахини и епископы; всем лицам духовного звания было запрещено что-либо получать по завещаниям, и они были обязаны довольствоваться естественными и легальными правами наследования. Валентиниан, считавший своей обязанностью охранять семейное счастье и семейные добродетели, прибегнул к этому сильному средству против распространения зла. В столице империи женщины из знатных и богатых семейств нередко получали по наследству значительные состояния, которыми распоряжались совершенно самостоятельно; многие из них переходили в христианство не только с хладнокровием убеждения, но даже с пылкостью сердечного влияния и, может быть, из желания не отставать от моды. Они приносили в жертву удовольствия, доставляемые нарядами и роскошью, и, из желания похвалиться своим целомудрием, отказывались от радостей супружеской жизни. Лица духовного звания, отличавшиеся действительной или мнимой святостью, избирались ими для того, чтобы руководить их пугливой совестью и доставлять развлечение для праздной нежности их сердца, а безграничное до-

верие, которым они спешили наградить своих наставников, нередко употреблялось во зло теми плутами и энтузиастами, которые спешили туда с самых отдаленных концов востока с целью насладиться, на более блестящем поприще, привилегиями монашеской профессии. Благодаря тому, что эти люди отрекались от мирских благ, они незаметным образом приобретали все эти блага — и горячую привязанность молодой и красивой женщины, и изысканную роскошь домашней обстановки, и почтительную услужливость рабов, вольноотпущенных и клиентов сенаторской семьи. Громадные состояния знатных римлянок постепенно растрчивались на щедрые подаяния и дорого стоящие странствования по святым местам, и хитрый монах, удержавший за собой первое или, быть может, даже единственное место в завещании своей духовной дочери, имел смелость заявлять, с лстивой вкрадчивостью лицемерия, что он был лишь орудием благотворительности и экономом бедняков. Доходное, но грубое ремесло, которым занималось духовенство с целью обирать законных наследников, возбудило общее негодование даже в веке суеверий, и двое самых почтенных отцов латинской церкви были достаточно честны для того, чтобы признаться, что унижительный для них эдикт Валентиниана был справедлив и необходим и что христианское духовенство заслуживает потери такой привилегии, которой еще пользовались комедианты, возницы и служители идолов. Но мудрость и авторитет законодателя редко одерживают верх в борьбе с бдительной изворотливостью личных интересов, а потому и Иероним, и Амвросий могли спокойно одобрять справедливость закона, который хотя и был благотворен, но был неисполним. Если бы духовенство в погоне за своими личными выгодами действительно натолкнулось на непреодолимые препятствия, оно, вероятно, занялось бы более похвальной деятельностью — увеличением богатств самой церкви — и стало бы прикрывать свое корыстолюбие благовидными названиями благочестия и патриотизма.

Когда воля генералов и армии вручила скипетр Римской империи Валентиниану, его репутация, военные дарования и опытность, а также его непреклонная привязанность и к формам, и к духу старинной дисциплины были главными мотивами этого благоразумного выбора. Настойчивость, с которой войска требовали от него назначения соправителя, была вызвана опасным положением общественных дел, и сам Валентиниан сознавал, что дарований самого деятельного ума было недостаточно для обороны отдаленных одна от другой границ империи, которая со всех сторон подвергалась нападениям. Лишь только смерть Юлиана избавила варваров от страха, который внушало им одно его имя, они поднялись и с востока, и с севера, и с юга с целью грабежа и завоеваний. Их вторжения причиняли много беспокойств, а иногда даже были очень грозны, но в течение двенадцатилетнего царствования Валентиниана его твердость и бдительность охраняли его собственные владения, а его могучий гений как будто вдохновлял его слабого брата и руководил его действиями. Если бы мы стали излагать факты в хронологическом порядке, мы дали бы читателю более ясное понятие о настоятельных и разнообразных заботах двух императоров, но тогда его вниманию мешали бы сосредоточиваться скучные и отрывочные подробности. Поэтому мы более наглядно изобразим военное положение империи в царствование Валентиниана и Валента, если будем говорить отдельно о каждом из пяти главных театров войны: 1. Германии; 2. Британии; 3. Африке; 4. Востоке; 5. Дунае...

1. В то время как алеманны были, по-видимому, обескуражены понесенными поражениями, гордость Валентиниана была унижена неожиданным на-

падением варваров на главный город Верхней Германии Могонтиак, или Майнц. В ту минуту, как ничего не подозревавшие христиане справляли один из своих праздников, смелый и хитрый варварский вождь Рондо, уже давно замышлявший эту попытку, внезапно перешел через Рейн, вступил в незащищенный город и увел оттуда множество пленных обоего пола. Валентиниан решил выместить это на всей нации. Графу Себастьяну было приказано вторгнуться с итальянскими и иллирийскими войсками на неприятельскую территорию, вероятно, со стороны Реции. Сам император в сопровождении своего сына Грациана перешел через Рейн во главе многочисленной армии, которую поддерживали с обоих флангов главные начальники западной кавалерии и пехоты Иовин и Север. Алеманны, не будучи в состоянии воспрепятствовать опустошению своих селений, расположились лагерем на высокой и почти неприступной горе, в теперешнем герцогстве Вюртембергском, и бесстрашно ожидали приближения римлян. Жизнь Валентиниана подверглась крайней опасности вследствие неустрашимой любознательности, с которой он пробирался вперед по одной секретной и ничем не защищенной тропинке. Отряд варваров внезапно выскочил из засады, и император, сильно пришпорив свою лошадь, быстро спустился с горы по крутой и скользкой покатоности, оставив позади себя своего оруженосца и свой великолепный шлем, украшенный золотом и драгоценными камнями. Когда был подан сигнал для приступа, римские войска окружили гору Солиций и стали взбираться на нее с трех различных сторон. Каждый шаг вперед усиливал их пыл и ослаблял сопротивление врага, а когда их соединенные силы заняли верхушку горы, они стремительно погнали варваров вниз с северного спуска навстречу графу Себастьяну, который должен был пресечь им отступление. После этой блистательной победы Валентиниан возвратился в Трир на свои зимние квартиры и там дозволил населению выразить радость в великолепных торжественных играх. Но благоразумный монарх, вместо того чтобы помышлять о завоевании Германии, ограничил свои планы важной и трудной заботой об обороне галльской границы от неприятеля, силы которого постоянно освежались приливом отважных добровольцев, беспрестанно стекавшихся туда от самых отдаленных северных племен. Берега Рейна от его истока до пролива, образуемого океаном, были усеяны укрепленными замками и башнями; новые способы укрепления и новые орудия были придуманы изобретательным монархом, который был очень сведущ в механических искусствах, а многочисленные рекруты, набранные между римской и варварской молодежью, были строго обучаемы всем военным упражнениям. Эти работы, встречавшие со стороны варваров сопротивление иногда в форме скромных протестов, а иногда и в форме неприязненных попыток, обеспечивали спокойствие Галлии в течение девяти следующих лет Валентинианова управления.

Этот предусмотрительный император, старательно придерживавшийся правил Диоклетиана, поддерживал и возбуждал внутренние раздоры между германскими племенами. Страны, лежащие по обеим сторонам Эльбы, — быть может, те самые, которые впоследствии назывались Лузацией и Тюрингией, — находились в первой половине четвертого столетия под непрочным владычеством бургундов — воинственного и многочисленного племени вандальской расы, малоизвестное название которого постепенно разрослось в название могущественного королевства и окончательно упрочилось за цветущей провинцией. Различие между системами управления гражданской и церковной, как кажется, было самой выдающейся особенностью старинных

нравов бургундов. Их король или генерал носил название Hendinos, а верховный первосвященник назывался Sinistus. Особа первосвященника была священна, а его должность пожизненна; но король пользовался крайне непрочной властью. Если исход войны давал повод обвинять короля в недостатке храбрости или в ошибках, его немедленно низлагали, а несправедливость его подданных даже возлагала на него ответственность за плодородие почвы и правильное течение времен года, что, казалось бы, должно принадлежать к ведомству священнослужителей. Обладание какими-то соляными копиями часто вызывало споры между алеманнами и бургундами; последние соблазнились тайными предложениями и щедрыми обещаниями императора, а их баснословное происхождение от римских солдат, когда-то поставленных гарнизонами в крепостях Друза, было признано с обоюдным легковерием, так как оно было согласно с интересами обеих сторон. Восьмидесятитысячная бургундская армия скоро появилась на берегах Рейна и стала с нетерпением требовать обещанных Валентинианом подкреплений и субсидий; но ее убаюкивали извинениями и отсрочками, и после бесполезных ожиданий она наконец была вынуждена отступить. Гарнизоны и укрепления, охранявшие галльскую границу, сдерживали ярость ее озлобления, а то, что она умертвила пленных, лишь разожгло наследственную вражду между бургундами и алеманнами. Такое непостоянство со стороны столь мудрого монарха, быть может, следует приписать изменившимся обстоятельствам, или, быть может, Валентиниан имел в виду только пострадать германцев, а не обессиливать их, так как истребление какой-либо из этих наций уничтожило бы между ними то равновесие, которое желал поддерживать император. Между алеманнскими князьями нашелся один, которого он счел достойным своей ненависти и своего уважения; это был Макриан, усвоивший вместе с римским именем дарования воина и государственного человека. Сам император, во главе легкого и легковооруженного отряда, снизошел до того, что пустился за ним в погоню, перешел через Рейн, проник на пятьдесят миль в глубь страны и непременно захватил бы Макриана, если бы нетерпение его солдат не расстроило его хорошо задуманного плана. Впоследствии Макриан был удостоен чести личных совещаний с императором, и благодаря оказанным ему милостям он до самой смерти остался верным и искренним союзником римлян.

Укреплениями Валентиниана была усеяна внутренность континента, но морские берега Галлии и Британии ничем не были защищены от хищнических набегов саксов. Это знаменитое название, возбуждающее в нас столь сильное национальное участие, ускользнуло от внимания Тацита, а на географических картах Птолемея это племя занимало узкий перешеек Кимврского полуострова и три небольших острова у устьев Эльбы. Эта небольшая территория, составляющая в настоящее время герцогство Шлезвигское или, может быть, Голштинское, не могла высылать те бесчисленные сонмища саксов, которые господствовали над океаном, распространили по всей Великобритании свой язык, законы и колонии и так долго охраняли свободу севера от военных предприятий Карла Великого. Но это затруднение легко устраняется тем соображением, что германские племена имели схожие нравы и непрочное внутреннее устройство и потому смешивались с другими при различных и неприязненных и дружеских сношениях. Положение настоящих саксов располагало их к рискованным занятиям рыбной ловлей и морскими разбоями, а успех их первых предприятий должен был возбудить соревнование в тех из их храбрых соотечественников, которым наскучило мрачное од-

нообразие их лесов и гор. Каждый морской отлив мог спустить вниз по Эльбе целый флот лодок, наполненных отважными и неустрашимыми ратными товарищами, которые горели нетерпением полюбоваться беспредельностью океана и познакомиться с богатствами и роскошью неведомого для них мира. Впрочем, есть основание думать, что самых многочисленных союзников доставляли саксам те народы, которые жили вдоль берегов Балтийского моря. Они обладали оружием и кораблями, были искусны в мореплавании и были привычны к морским сражениям; но трудность пробраться через северные Геркулесовы столбы (которые заграждались льдами в течение нескольких месяцев в году) стесняла их ловкость и мужество в пределах обширного озера. Слух об успехах экспедиций, отправлявшихся из устьев Эльбы, скоро заставил их перебраться через узкий Шлезвигский перешеек и пуститься на своих судах в открытое море. Различные отряды морских разбойников и искателей приключений, сражавшихся под одним общим знаменем, постепенно соединились в одно постоянное общество, связывавшее их сначала узами грабежа, а впоследствии и узами правительственными. Эта военная конфедерация постепенно образовала из себя одну нацию благодаря нежному влиянию супружеских и родственных связей, а соседние племена, искавшие доступа в этот союз, получали от саксов и их название, и их законы. Если бы рассказываемые нами подробности не были удостоверены самыми неопровержимыми свидетельствами, читатель мог бы подумать, что мы употребляем во зло его доверие, описывая те корабли, на которых саксонские пираты отваживались бороться с волнами Немецкого моря, Британского канала и Бискайского залива. Киль их широких плоскодонных лодок был сделан из легкого дерева, но борты и верх состояли лишь из плетеных прутьев, покрытых толстыми кожами. Во время своих медленных и продолжительных морских переездов они неизбежно должны были часто подвергаться опасностям и бедствиям кораблекрушений, и морские летописи саксов, без сомнения, были наполнены рассказами о потерях, понесенных ими у берегов Британии и Галлии. Но эти отважные пираты смело шли навстречу и тем опасностям, которые ожидали их на море, и тем, которые ожидали их при высадке на берег; их ловкость развивалась от привычки к предприятиям этого рода; самые последние из их моряков были одинаково способны и работать веслами, и поднимать паруса, и направлять корабль; к тому же саксы радовались буре, которая прикрывала их замыслы и разгоняла неприятельские суда. Когда они хорошо познакомились с приморскими провинциями запада, они расширили сцену своих грабежей, и самые отдаленные местности уже не могли быть уверенными в своей безопасности. Саксонские лодки так неглубоко сидели в воде, что легко могли подниматься вверх по течению больших рек миль на восемьдесят или на сто; их тяжесть была так невелика, что их можно было перевозить на колесах от одной реки до другой, так что пираты, проникшие в устье Сены или Рейна, могли спуститься по быстрому течению Роны в Средиземное море. В царствование Валентиниана приморские провинции Галлии много терпели от саксов; одному военному графу была поручена защита морского побережья или границ Арморики, но он нашел, что его силы и дарования недостаточны для выполнения такой задачи, и обратился с просьбой о помощи к главному начальнику пехоты Северу. Саксы, будучи со всех сторон окружены римлянами, которые превосходили их числом, были вынуждены возвратить добычу и выдать своих самых рослых и самых сильных юношей для службы в императорской армии. Они только выговорили себе право удалиться в безопасности и с честью; на это условие охот-

но согласился римский генерал, замышлявший вероломство, которое было столько же бесчеловечно, сколько оно было неблагоприятно, пока оставался в живых и с оружием в руках хоть один сакс, чтобы отомстить за гибель своих соотечественников. Преждевременная горячность пехоты, втайне поставленной в глубокой долине, выдала тайну засады, и римляне, может быть, сами пали бы жертвами своего низкого обмана, если бы значительный отряд кирасир, встревоженный шумом сражения, не поспешил на выручку к своим товарищам и не одолел неустранимой храбрости саксов. Острие меча пощадило жизнь некоторых пленников для того, чтобы пролить их кровь в амфитеатре, а оратор Симмах выражал сожаление по поводу того, что двадцать девять из этих отчаянных дикарей задушили себя своими собственными руками и тем лишили публику ожидаемой забавы. Однако образованные и знакомые с философией римские граждане были до глубины души объаты ужасом, когда узнали, что саксы посвящают богам десятую часть своей человеческой добычи и что они решают по жребию, кто именно должен быть предметом этого варварского жертвоприношения.

2. Баснословные колонии египтян и троянцев, скандинавов и испанцев, льстившие гордости наших необразованных предков и удовлетворявшие их склонность к легковерию, постепенно утратили весь свой блеск при свете наук и философии. Наш век довольствуется безыскусным и здравым мнением, что острова Великобритании и Ирландии были постепенно населены выходцами из Галлии. От берегов Кента и до оконечностей Кезнесса и Ульстера ясно заметны следы кельтского происхождения и в языке, и в религии, и в нравах населения, а отличительные особенности британских племен могут быть натурально приписаны влиянию случайных или местных причин. Эта римская провинция была поставлена в положение цивилизованного и безмятежного рабства, а права дикой свободы были ограничены узкими пределами Каледонии. Жители этой северной страны еще во времена Константина делились на два главных племени — на скоттов и пиктов, судьба которых впоследствии была совершенно различна. Могущество пиктов, и почти само воспоминание о них, было уничтожено их счастливыми соперниками, а скотты, в течение многих веков поддерживавшие достоинство независимого королевства, увеличили славу английского племени путем равноправного и добровольного объединения. Рука самой природы обозначила старинное различие между скоттами и пиктами. Первые жили в горах, вторые — на равнинах. Восточный берег Каледонии можно считать за плоскую и плодородную площадь, которая могла производить в значительном количестве зерновой хлеб даже при грубом состоянии земледелия, а название *cruitnich* (люди, питающиеся пшеницей) выражало презрение или зависть питавшихся мясом горцев. Возделывание полей могло привести к более точному распределению земельной собственности и развить привычку оседлой жизни, но войны и хищничество все еще были господствующей страстью пиктов, а их воины, сражавшиеся нагими, обращали на себя внимание римлян странной манерой раскрашивать свое голое тело пестрыми красками и фантастическими фигурами. Западная часть Каледонии возвышается в форме беспорядочно разбросанных диких гор, которые не могли бы вознаградить труд земледельца и гораздо более удобны для пастбищ. Горцы должны были поневоле заниматься лишь разведением скота и охотой, а так как они редко держались постоянного места жительства, то им было дано выразительное название скоттов, что, как говорят, значило на кельтском языке «странники» или «бродяги». Обитатели неплодородной почвы были вынуждены искать в воде добавки к сво-

им средствам продовольствия. Разбросанные по их стране глубокие озера и бухты были наполнены рыбой, и они постепенно приобрели смелость забрасывать свои сети в волны океана. Соседство Гебридских островов, разбросанных в таком большом числе вдоль западного берега Шотландии, возбудило их любознательность и развило в них способность к мореплаванию; они постепенно приобрели умение, или, скорее, привычку, управлять своими лодками на бурном море и руководствоваться в своих ночных морских поездках течением звезд. Два выдвигающихся далеко вперед каледонских мыса почти соприкасаются с берегами обширного острова, который, благодаря своей роскошной растительности, получил эпитет «зеленый» и до сих пор сохранил его с небольшим изменением в названии Эрина, или Иерна, или Ирландии. Есть основание считать, что в какой-нибудь очень отдаленный период древности на плодородных равнинах Ульстера поселилась колония голодных скотов и что эти северные пришельцы, осмеливавшиеся вступать в борьбу с римскими легионами, расширили свои завоевания на этом уединенном острове, населенном миролюбивыми дикарями. Но точно известно, что во времена упадка Римской империи Каледония, Ирландия и остров Мэн были населены скоттами и что эти родственные племена, нередко соединявшиеся вместе для военных предприятий, принимали живое участие в судьбе друг друга. Они долго дорожили преданиями касательно общности их имени и происхождения, а пролившие свет христианства на северную Британию миссионеры с острова Святых поддерживали необоснованное мнение, будто их ирландские соотечественники были настоящими предками и духовными прародителями шотландской расы. Это неопределенное и темное предание сохранил почтенный Беда, который пролил немного света на мрак восьмого столетия. На этом легком фундаменте была нагромождена масса басен бардами и монахами — двумя разрядами людей, в одинаковой мере употреблявшими во зло привилегию вымысла. Шотландская нация из ложной гордости признала свое ирландское происхождение, а летописи длинного ряда воображаемых королей были украшены фантазией Боэция и классическим изяществом Бьюкенена.

Через шесть лет после смерти Константина опустошительные вторжения скотов и пиктов потребовали личного присутствия его младшего сына, царствовавшего над западной империей. Констант посетил свои британские владения; о важности совершенных им подвигов мы можем составить себе некоторое понятие по содержанию панегириков, прославлявших лишь его торжество над стихиями или, другими словами, его удачный и беспрепятственный переезд из Булонской гавани в гавань Сандвичскую. Бедственное положение, в которое были поставлены жители этой провинции внешними войнами и внутренней тиранией, еще ухудшилось вследствие слабого и безнравственного управления евнухов Констанция, а временное облегчение, доставленное им добродетелями Юлиана, скоро прекратилось вследствие отсутствия и смерти их благодетеля. Золото и серебро, с большим трудом собранные внутри страны или великодушно доставленные двором для уплаты жалованья войскам, задерживались жадностью начальников; увольнения или, по меньшей мере, освобождения от военной службы продавались публично; бедственное положение солдат, несправедливо лишенных своих законных и скудных средств существования, заставляло их покидать свои знамена; энергия дисциплины ослабела, а на больших дорогах не было проезда от разбойников. Угнетение честных людей и безнаказанность негодяев в одинаковой мере содействовали распространению на всем острове духа недовольства и мя-

тежа, так что всякий честолюбивый подданный, всякий доведенный до отчаяния изгнанник мог питать основательную надежду, что ему удастся ниспровергнуть слабое и безрассудное британское правительство. Северные племена, ненавидевшие гордость и могущество повелителя всего мира, прекратили свои внутренние раздоры; тогда варвары, нападавшие и с суши и с моря, — и скотты, и пикты, и саксы — с непреодолимой стремительностью разлились по всей стране от стены Антонина до берегов Кента. В богатой и плодородной британской провинции были накоплены всякого рода предметы комфорта и роскоши, которых варвары не способны были создавать собственным трудом или добывать торговлей. Философ может оплакивать беспрестанные раздоры человечества, но он должен сознаться, что жажда добычи есть более разумный повод к войне, чем тщеславие завоевателей. Со времен Константина до времен Плантагенетов этот дух хищничества постоянно воодушевлял бедных и отважных каледонцев, но тот же самый народ, благородное человеколюбие которого, по-видимому, вдохновляло Оссиана, запятнал себя отсутствием мирных доблестей и незнанием законов войны. Южные соседи скотов и пиктов, быть может, преувеличивали жестокие опустошения, которые им приходилось выносить от этих варваров, а одно храброе каледонское племя — атакоты, бывшие одно время врагами Валентиниана, а потом поступившие к нему на службу, — подверглось со стороны одного очевидца обвинению в том, что оно с наслаждением ело человеческое мясо. Когда они рыскали по лесам в поисках добычи, они, как уверяют, нападали предпочтительно на пастухов, а не на стада и выбирали как у мужчин, так и у женщин самые нежные и самые мясистые части тела, которые предназначались для их отвратительных пиршеств. Если действительно когда-то существовала в окрестностях торгового и образованного города Глазго раса людоедов, то нам представляются в истории Шотландии две крайних противоположности дикой жизни и цивилизованной, а такие сопоставления расширяют круг наших идей и дают нам приятную надежду, что и Новая Зеландия когда-нибудь произведет Юма южного полушария.

Всякий, кому удавалось перебраться через Британский канал, приносил Валентиниану самые печальные и тревожные известия, и императора скоро уведомили, что два военных начальника этой провинции подверглись неожиданному нападению со стороны варваров, которые отрезали им сообщения. Находившийся в Трире двор поспешно откомандировал туда графа дворцовой прислуги Севера и так же поспешно отозвал его назад. Представления Иовина привели лишь к тому, что обнаружили настоящие размеры зла; наконец, после продолжительных и серьезных совещаний защита, или, скорее, обратное завоевание, Британии была поручена деловитому и храброму Феодосию. Подвиги этого генерала, который впоследствии сделался родоначальником целого ряда императоров, были с особенной услужливостью воспеты писателями того времени, но его действительные достоинства заслуживали их похвал, а его назначение было принято британской армией и населением за верное предзнаменование скорой победы. Он воспользовался благоприятной для переезда минутой и благополучно высадил на британский берег многочисленные и испытанные в боях отряды герулов, батавов, иовианцев и викторцев. Во время своего перехода из Сандвича в Лондон Феодосий разбил несколько отрядов варваров, освободил множество пленных и, раздав своим солдатам небольшую часть добычи, приобрел репутацию бескорыстного и справедливого начальника тем, что приказал возвратить остальную добычу ее законным владельцам. Лондонские граждане, уже почти утратившие на-

дежду спастись от варваров, отворили перед ним свои ворота, и, лишь только Феодосий получил себе в помощь от трирского двора военного заместителя и гражданского губернатора, он с благоразумием и энергией принялся за выполнение трудной задачи — освободить Британию от варваров. Праздношатавшиеся солдаты были снова призваны на службу; эдикт об амнистии рассеял опасения жителей, а пример самого Феодосия облегчил суровые требования военной дисциплины. Так как варвары, предаваясь грабежу и на море и на суше, делились на множество отдельных отрядов, то Феодосий был лишен возможности одержать над ними решительную победу; но благоразумие и искусство римского генерала обнаружили в двух кампаниях, во время которых он постепенно вырвал все части британской провинции из рук жестокого и жадного к грабежу врага. Прежнее величие городов и прочность их укреплений были восстановлены отеческою заботливостью Феодосия, который своей мощной рукой заставил объятых страхом каледонцев не выходить из северного уголка острова и увековечил славу Валентинианова царствования, дав вновь организованной им провинции название Валенсия. Голос поэтов и панегиристов мог к этому прибавить, — быть может, не без некоторой доли правды, — что малоизвестная страна Фулэ (Thule) была обрызгана кровью пиктов, что весла Феодосиева флота разбивали волны Гиперборейского моря и что отдаленные Оркадские острова были свидетелями его морской победы над сакскими пиратами. Он покинул эту провинцию с незапятнанной и блестящей репутацией и немедленно был возведен в звание главного начальника кавалерии таким монархом, который мог без зависти награждать заслуги своих генералов. Будучи назначенным на важный пост начальника на Верхнем Дунае, освободитель Британии остановил и разбил армии алеманнов перед тем, как ему было поручено подавить восстание в Африке.

3. Монарх, который отказывается быть судьей над своими министрами, становится в глазах народа их сообщником. Военное командование в Африке долго находилось в руках графа Романа, дарования которого соответствовали важности занимаемого им поста; но так как он руководствовался в делах управления лишь своими личными корыстолюбивыми расчетами, то он нередко действовал так, как если бы был недругом своей провинции и другом живших в степи варваров. Три цветущих города, Оза (Oea), Лепт и Сабрата, уже давно составлявшие конфедерацию под именем Триполи, были в первый раз вынуждены затворить свои ворота перед неприятельским вторжением; некоторые из их достойнейших граждан были застигнуты врасплох и убиты; селения и даже городские предместья были ограблены, а виноградники и плодовые деревья этой богатой территории были с корнем уничтожены злыми дикарями Гетулии. Несчастные жители молили Романа о помощи, но они скоро убедились, что их военный губернатор был не менее жестокосерд и жаден, чем варвары. Так как они не были в состоянии доставить четыре тысячи верблюдов и громадные подарки, которые он требовал, прежде чем двинуться к ним на помощь, то его требование было равносильно отказу, и его можно было основательно считать за виновника общественного бедствия. На ежегодном собрании представителей трех названных городов жители выбрали двух депутатов с поручением положить к стопам Валентиниана обычный дар, состоявший из золотого венка и служивший выражением не столько признательности, сколько сознания долга; вместе с этим они поручили этим депутатам изложить императору их почтительную жалобу, что, в то время как они терпят разорение от врага, им отказывает в защи-

те их губернатор. Если бы строгость Валентиниана была направлена как следовало, она обрушилась бы на голову виновного Романа. Но Роман, давно уже изощрившийся в искусстве подкупа, поспешно отправил верного гонца, чтобы заручиться продажной дружбой государственного министра Ремигия. Мудрый император был введен в заблуждение коварными интригами, а его честное негодование охладело вследствие разных отлагательств. Наконец, когда основательность новых жалоб была подтверждена непрекращавшимися общественными бедствиями, трирский двор командировал Палладия с поручением расследовать положение дел в Африке и поведение Романа. Суровое беспристрастие Палладия было легко обезоружено: он соблазнился возможностью присвоить себе часть тех сумм, которые привез с собой для уплаты жалованья войскам, а с той минуты, как он сам сделался преступником, он уже не мог отказаться от засвидетельствования невинности и заслуг Романа. Обвинение, заявленное населением Триполи, было признано неосновательным и легкомысленным, и сам Палладий был снова послан из Трира в Африку со специальным поручением открыть и предать суду зачинщиков этого нечестивого заговора против представителей монарха. Он вел следствие с такой ловкостью и с таким успехом, что заставил граждан Лепта, только что выдержавших восьмидневную осаду, признать неосновательность своих собственных декретов и осудить образ действий своих собственных депутатов. Опрометчивое и непреклонное жестокосердие Валентиниана побудило его утвердить без колебаний смертный приговор. Президент триполийской провинции, осмелившийся скорбеть об общественном бедствии, был публично казнен в Утике; четверо знатнейших граждан были лишены жизни как участники мнимого обмана, а у двух других по особому приказанию императора вырезали язык. Возгордившийся от безнаказанности и раздраженный сопротивлением Роман остался главным начальником края до тех пор, пока выведенные из терпения его алчностью жители Африки не присоединились к восстанию мавританского уроженца Фирма.

Отец Фирма, Набал, был одним из самых богатых и самых могущественных мавританских принцев, признававших над собою верховенство Рима. Но так как его жены или его наложницы дали ему многочисленное потомство, то его богатое наследство вызвало горячие споры, и один из его сыновей, Замма, был убит во время семейной ссоры своим братом Фирмом. Непреклонное усердие, с которым Роман добивался законного наказания за это убийство, может быть приписано лишь мотивам корыстолюбия или личной ненависти, но в этом случае его требования были основательны, его влияние было очень сильно, и Фирм ясно понял, что ему предстоит одно из двух, — или подставить свою шею под нож палача, или апеллировать на приговор императорского суда к своему мечу и к народу. Он был принят как освободитель страны, и, лишь только стало очевидным, что Роман мог быть страшен только для тех, кто ему покорно подчинялся, тиран Африки сделался предметом общего презрения. Гибель Кесарии, которая была ограблена и сожжена недисциплинированными варварами, находившимися под начальством Фирма, убедила остальные города в опасности сопротивления; власть Фирма прочно утвердилась по меньшей мере над провинциями мавританской и нумидийской, и он, по-видимому, колебался лишь насчет того, следует ли ему надеть на себя диадему мавританского короля или порфиру римского императора. Но неосмотрительные и несчастные африканцы скоро убедились, что, опрометчиво вовлекаясь в восстание, они недостаточно взвесили свои собственные силы и дарования своего вождя. Фирм еще ничего не знал о том,

что западный император остановил свой выбор на опытном генерале и что у устьев Роны собраны транспортные суда, когда он был поражен известием, что великий Феодосий с небольшим отрядом ветеранов высадился на африканском берегу вблизи от Игилгилиса, или Гигери, и робкий узурпатор почувствовал свое бессилие перед военными доблестями и гением. Хотя у Фирма были и войска, и сокровища, он утратил всякую надежду на победу и прибегнул к таким же хитростям, к каким прибегал в той же самой стране и точно в таком же положении коварный Югурта. Он попытался обмануть бдительность римского генерала притворным изъявлением покорности, стараясь поколебать верность его войск и продлить войну, склоняя независимые африканские племена помочь ему в борьбе или укрыть его в случае бегства. Феодосий последовал примеру своего предшественника Метелла и достиг такого же, как он, успеха. Когда Фирм явился к нему в качестве просителя, сознался в своей собственной опрометчивости и униженно молил о милосердии, наместник Валентиниана принял его и отпустил с дружескими объятиями, но настоятельно потребовал необходимых и существенных залогов его искреннего раскаяния и, несмотря ни на какие миролюбивые заявления, не приостановил ни на минуту военных действий. Благодаря своей прозорливости Феодосий открыл составленный против него заговор и довольно охотно удовлетворил общественное негодование, которое он втайне сам возбудил. Некоторые из сообщников Фирма были, согласно с установленным исстари обыкновением, предоставлены солдатской расправе; у многих других были отрезаны обе руки, и они были оставлены в живых для того, чтобы служить предметом назидания. К ненависти, которую возбуждал Феодосий в мятежниках, присоединился страх, а к тому страху, который он внушал римским солдатам, присоединилась почтительная преданность. Среди беспредельных равнин Гетулии и бесчисленных долин Атласских гор не было возможности воспрепятствовать бегству Фирма, а если бы узурпатору удалось истощить терпение своего противника, он укрылся бы в каком-нибудь уединенном убежище и стал бы выжидать благоприятной минуты для нового восстания. Он был побежден настойчивостью Феодосия, который принял непоколебимое решение, что война должна окончиться лишь со смертью тирана и что все африканские племена, осмелившиеся принять его сторону, должны погибнуть вместе с ним. Во главе небольшого отряда, редко превышавшего три с половиной тысячи человек, римский генерал проник внутрь страны с той непреклонной осмотрительностью, которая одинаково не знакома ни с опрометчивостью, ни с робостью. Там ему приходилось выдерживать нападения двадцатитысячной мавританской армии, но смелость его атак приводила в замешательство недисциплинированных варваров; их сбивали с толку его отступления, которые он всегда совершал своевременно и в надлежащем порядке; их беспрестанно вводили в заблуждение незнакомые им ресурсы военного искусства, и они невольно сознавали, что притязания вождя цивилизованной нации на верховенство вполне основательны. Когда Феодосий вступил в обширные владения короля изафлензов Игмазена, этот надменный дикарь спросил у него дерзким тоном, как его имя и какова цель его экспедиции. «Я — генерал повелителя мира Валентиниана, который прислал меня сюда для того, чтобы поймать и наказать отъявленного разбойника», — отвечал ему граф резким и презрительным тоном. «Немедленно передай его в мои руки и будь уверен, что, если ты не исполнишь приказаний моего непобедимого государя, и ты и народ, над которым ты царствуешь, погибнете безвозвратно». Лишь только Игмазен убедился, что у его противника доста-

точно силы и решимости, чтобы привести в исполнение эту страшную угрозу, он согласился купить необходимый для него мир принесением в жертву преступного беглеца. Стража, приставленная к Фирму, отняла у него всякую надежду на спасение бегством, а когда вино заглушило в мавританском тиране сознание опасности, он избегнул оскорбительного торжества римлян, задушив себя ночью собственными руками. Его труп — этот единственный подарок, которым Игмазен мог почтить победителя, — был небрежно взвален на верблюда, и Феодосий отвел назад свои победоносные войска в Зитифи, где его встретили с самыми пылкими выражениями радости и преданности.

Африка была потеряна римлянами вследствие пороков Романа; ее возвратили им доблести Феодосия, и мы не можем с пользой удовлетворить нашу любознательность, если посмотрим, как обошлись при императорском дворе с этими генералами. С прибытием Феодосия граф Роман был устранен от должности и отдан до окончания войны под стражу, впрочем, с подобающим ему почетом. Его преступления были доказаны самым очевидным образом, и публика с некоторым нетерпением ожидала строгого и справедливого приговора. Но, опираясь на пристрастное покровительство Меллобода, он не устрасился своих законных судей, беспрестанно испрашивал отсрочки, чтобы вызывать целые толпы свидетелей, и в конце концов прикрыл свое преступление добавочным преступлением обмана и подлога. Почти в то же самое время был позорным образом обезглавлен в Карфагене освободитель Британии и Африки вследствие смутного подозрения, что его слава и заслуги выше того, что может быть дозволено подданному. Валентиниана уже не было в ту пору в живых, и как казнь Феодосия, так и безнаказанность Романа следует приписать коварству министров, употреблявших во зло доверие и неопытность его юных сыновей.

Если бы Аммиан Марцеллин приложил свою географическую аккуратность к описанию военных подвигов Феодосия в Африке, мы охотно проследили бы за каждым шагом этого генерала. Но скучное перечисление никому не известных и никого не интересующих африканских народов может быть сведено к общему замечанию, что все они принадлежали к смуглой мавританской расе, что они жили позади мавританской и нумидийской провинций, в стране, которую арабы впоследствии прозвали родиной фиников и саранчи, и что по мере того, как римское владычество в Африке приходило в упадок, там постепенно суживались пределы цивилизованных нравов и возделанной земли. За крайними пределами мавританских стран тянется с лишком на тысячу миль до берегов Нигера обширная и негостеприимная южная степь. Древние, имевшие весьма поверхностное и неполное знакомство с великим африканским полуостровом, иногда бывали расположены верить, что в жарком поясе не могут жить люди, а иногда забавляли свою фантазию тем, что наполняли это пустое пространство безголовыми людьми или, верней, чудовищами, сатирами с рогами и раздвоенными копытами, баснословными центavraми и пигмеями, которые были так смелы, что вступали в борьбу с журавлями. Карфаген пришел бы в ужас от неожиданной новости, что страны по обеим сторонам экватора населены бесчисленными народами, отличающимися от обыкновенных человеческих существ только цветом своей кожи, а подданные Римской империи могли бы со страхом ожидать, что сонмища варваров, выходящих с севера, скоро встретятся с идущими с юга новыми сонмищами варваров, не менее свирепых и не менее страшных. Конечно, такие мрачные опасения рассеялись бы при более близком знакомстве с характером африканцев. Бездействие негров, по-видимому, не происходит ни от их

добродетелей, ни от их малодушия. Они, подобно остальному человеческому роду, предаются своим страстям и чувственным влечениям, а соседние с ними племена нередко вступают между собой в борьбу. Но их грубое невежество никогда не изобретало никаких орудий, действительно годных для обороны или для нападения; они, по-видимому, неспособны задумать никакого обширного плана управления или завоеваний, а очевидная ограниченность их умственных способностей была подмечена и употреблена во зло жителям умеренного пояса. Шестьдесят тысяч негров ежегодно увозятся морем с берегов Гвинеи для того, чтобы никогда более не возвращаться на свою родину; их увозят закованными в цепи, и это постоянное переселение, которое в течение двух столетий могло бы составить громадные армии, достаточные для завоевания всего земного шара, свидетельствует о преступном образе действий европейцев и о бессилии африканцев.

4. Позорный мирный договор, спасший армию Иовиана от гибели, был в точности исполнен со стороны римлян, а так как они формально отказались от верховенства над Арменией и Иберией и от союза с ними, то эти два слабых государства сделались беззащитными жертвами предприимчивости персидского монарха. Сапор вступил в Армению во главе сильного отряда, состоявшего из кирасир, стрелков из лука и наемной пехоты; но он никогда не отступал от своего обыкновения соединять военные действия с мирными переговорами и считать обман и клятвопреступление за самые могущественные орудия царской политики. Он притворился будто очень ценит осторожный и умеренный образ действий государя Армении, а легковверный Тигран, положившись на неоднократные уверения в дружбе, сам себя предал в руки вероломного и жестокого врага. Среди роскошного пира на него надели серебряные цепи в знак уважения к тому, что в его жилах текла кровь Аршакидов, и, после непродолжительного заключения в Башне Забвения, в Экбатане, он или сам себя избавил от житейских невзгод, или был избавлен рукою убийцы. Армения была обращена в персидскую провинцию; управление было разделено между одним сатрапом высшего ранга и одним из любимых евнухов Сапора, который немедленно после того выступил в поход против воинственных жителей Иберии. Савромак, царствовавший в этой стране с утверждения римских императоров, был вынужден бежать, и царь царей, как будто в насмешку над величием Рима, возложил диадему на самого презренного из своих вассалов Аспакура. Из всех городов Армении только один Артогерасса осмелился сопротивляться. Сокровища, сложенные в этой сильной крепости, возбуждали жадность в Сапоре, но опасное положение жены или вдовы царя Армении Олимпиады возбудило всеобщее к ней сострадание и вдохнуло в ее подданных и солдат отчаянное мужество. Персы были застигнуты врасплох и отброшены от стен Артогерассы смелой и хорошо задуманной вылазкой осажденных. Но силы Сапора освежались и увеличивались новыми подкреплениями; отчаянное мужество гарнизона истощилось; стены не выдержали приступа, и гордый победитель, опустошив мятежный город огнем и мечом, увел в плен несчастную царицу, которая в более счастливую эпоху своей жизни была нареченной невестой одного из сыновей Константина. Однако, хотя Сапор и завоевал без больших усилий два слабых государства, он скоро понял, что их нельзя считать окончательно покоренными, пока их население проникнуто духом ненависти и сопротивления. Сатрапы, которым он, по необходимости, вверил дела управления, воспользовались первым удобным случаем, чтобы снова приобрести расположение своих соотечественников и выказать свою непримиримую ненависть к персам. С тех пор как жители Армении и Иберии приняли христианскую веру, они считали хри-

стиан любимцами Верховного Существа, а магов — его противниками; влияние, которым пользовалось духовенство над суеверным народом, постоянно употреблялось в дело в пользу Рима, и, в то время как преемники Константина боролись с преемниками Артаксеркса из-за обладания провинциями, разделявшими их владения, основанные на религии узы братства всегда доставляли императорам решительный перевес. Многочисленная и деятельная партия признала Тигранова сына Пару законным государем Армении, и его право на престол имело глубокие корни в пятисотлетнем переходе власти по наследованию. Благодаря единодушному желанию жителей Иберии два государя-соперника поровну разделили между собой страну, и Аспакур, который был обязан своей диадемой выбору Сапора, был вынужден заявить, что лишь по причине того, что его дети находятся заложниками в руках тирана, он не может открыто отказаться от союза с Персией. Император Валент, уважавший условия мирного договора и не желавший вовлекать Восток в опасную войну, решил лишь с большой медлительностью и осторожностью поддерживать римскую партию в Иберии и Армении. Двенадцать легионов утвердили владычество Савромака на берегах Кира. Евфрат охранялся храбрым Аринфеем. Сильная армия, под начальством графа Траяна и короля алеманнов Вадомэра, расположилась лагерем на границах Армении. Но всем им было строго приказано не предпринимать никаких неприязненных действий, которые могли бы быть приняты за нарушение мирного договора, и таково было слепое повиновение одного из римских генералов, что он с примерным терпением отступил под градом персидских стрел, в ожидании, что ему наконец дадут основательный повод отомстить за себя честной и законной победой. Однако эти предзнаменования скорой войны постепенно уступили место бесплодным и утомительным переговорам. Обе стороны поддерживали свои притязания взаимными обвинениями в вероломстве и честолюбии, и первоначальный трактат, как кажется, был написан в очень неясных выражениях, так как пришлось обратиться за разъяснениями к пристрастному свидетельству генералов обеих наций, присутствовавших при переговорах. Вторжение готов и гуннов, которое вскоре вслед за тем потрясло Римскую империю в самом ее основании, передало азиатские провинции в руки Сапора. Однако преклонные лета и, может быть, неудачи этого монарха заставили его держаться новых для него принципов спокойствия и умеренности. Его смерть, наступившая после семидесятилетнего царствования, все изменила и при персидском дворе, и в персидской политике, с тех пор внимание персов, вероятно, более всего было обращено на внутренние смуты и на отдаленный театр войны в Кармании. Воспоминания о старых обидах угасли в мирных наслаждениях. Армения и Иберия возвратились с взаимного, хотя и молчаливого, согласия обеих империй в свое прежнее положение сомнительного нейтралитета. В первые годы царствования Феодосия приезжал в Константинополь персидский посол для того, чтобы извиниться в непростительных делах предшествовавшего царствования и поднести императору в знак дружбы, или даже уважения, великолепные подарки, состоявшие из драгоценных камней, шелковых тканей и индийских слонов.

Приключения Пары составляют один из самых поразительных и самых своеобразных эпизодов в общем ходе восточных дел в царствование Валента. Этот высокородный юноша, по совету своей матери Олимпиады, пробрался сквозь персидские войска, осаждавшие Артагерассу, и обратился с просьбой о помощи к восточному императору. Трусливый Валент то поддерживал Пару, то отзывал его из Армении, то восстанавливал его на престоле, то изменял ему.

Надежды жителей Армении иногда оживлялись присутствием их законного государя, а министры Валента были довольны тем, что их нельзя было упрекнуть в нарушении мирного договора, пока их вассалу не дозволялось надеть на себя диадему и принять титул царя. Но им скоро пришлось раскаиваться в своей собственной опрометчивости. Персидский монарх разразился упреками и угрозами, и сами они убедились, что нельзя полагаться на склонного к жестокости и непостоянного Пару, который из самых легких подозрений жертвовал жизнью самых преданных своих слуг и вел тайную и постыдную переписку с убийцей своего отца и врагом своей родины. Под благовидным предлогом личного свидания с императором для совещаний об их общих интересах Пару убедили спуститься с гор, где он был окружен своими вооруженными приверженцами, и вверить свою самостоятельность и личную безопасность произволу вероломного двора. Царь Армении — ибо он был царем и в своих собственных глазах, и в глазах всего народа — был принят с надлежащим почетом губернаторами тех провинций, через которые проезжал; но когда он достиг Тарса, в Киликии, его дальнейшее следование было приостановлено под разными предложениями; за каждым его шагом стали следить с почтительной бдительностью, и он постепенно пришел к убеждению, что находится пленником в руках римлян. Пара подавил в себе чувство негодования, скрыл свои опасения и, втайне приготовившись к бегству, ускакал в сопровождении трехсот верных приверженцев. Офицер, стоявший на страже у дверей его комнаты, тотчас известил о его бегстве консуляра Киликии, который настиг Пару в городских предместьях и безуспешно пытался отговорить от его опрометчивой и опасной попытки. Один легион был отправлен в погоню за царственным беглецом; но преследование со стороны пехотинцев не могло быть страшно для легкого кавалерийского отряда, и, лишь только этот последний пустил тучу стрел, пехотинцы поспешили отступить к воротам Тарса. После двух дней и двух ночей, проведенных в безостановочном движении вперед, Пара достиг со своими приверженцами берегов Евфрата, но переправа, которую им пришлось совершать вплавь, заставила их потерять много времени и была причиной гибели нескольких людей. О его бегстве было дано знать местному начальству, и две большие дороги, отделявшиеся одна от другой лишь промежутком в три мили, были заняты тысячью конных стрелков из лука, под начальством одного графа и одного трибуна. Пара не мог бы устоять против столь превосходных сил, если бы случайно встретившийся доброжелательный путешественник не уведомил его об опасности и не указал ему средства к спасению. Кучка армянских всадников пробралась сквозь лесную чащу по узкой и почти непроходимой тропинке, и Пара оставил позади себя графа и трибуна, терпеливо ожидавших его на большой дороге. Они возвратились к императорскому двору, чтобы извиниться в своей оплошности и неудаче, и серьезно утверждали, что опытный в искусстве колдовства армянский царь прошел перед ними незамеченным благодаря тому, что и себя, и своих приверженцев превратил в невидимок. По возвращении на родину Пара не переставал выдавать себя за друга и союзника римлян, но римляне нанесли ему такое глубокое оскорбление, которого нельзя было забыть, и его смертная казнь была втайне решена Валентом. Исполнение этого кровавого приговора было поручено вкрадчивой предусмотрительности графа Траяна, который сумел втереться в доверие к легковерному монарху, чтобы выждать удобного случая, когда можно будет вонзить кинжал в его сердце. Пара был приглашен на римский банкет, устроенный с восточной роскошью и сластолюбием; стены зала оглашались приятной музыкой, и гости уже разгорячились от вина, когда граф удалился на одно мгновение; воз-

вратившись, он обнажил свой меч и подал сигнал к убийству. Один здоровый и сильный варвар тотчас устремился на армянского царя, и несмотря на то, что этот последний храбро защищал свою жизнь первым орудием, какое попало ему под руку, стол императорского генерала обагрился царственной кровью гостя и союзника. Таковы были малодушные и низкие принципы римского управления; для достижения двусмысленной цели своей политики оно бесчеловечно нарушало в глазах всего мира и правила международных сношений, и священные правила гостеприимства.

5. В мирный тридцатилетний промежуток времени римляне укрепили свои границы, а готы расширили свои владения. Победы короля остготов* и самого благородного из представителей рода Амалов, великого Германариха, сравнивались его восторженными соотечественниками с подвигами Александра с тем странным и почти невероятным различием, что воинственный гений готского героя, вместо того чтобы находить опору в энергии юности, обнаружился во всем своем блеске и с полным успехом лишь в самом последнем периоде человеческой жизни — между восьмьюдесятью и сто десятью годами. Независимые племена, частью склоняясь на убеждения, частью преклоняясь перед силой, признали короля остготов за государя готской нации; вожди визиготов, или фервингов, отказались от царского титула и приняли более скромное название судей, а между этими судьями Атанарих, Фритигерн и Алавив славились всех более как по своим личным достоинствам, так и потому, что жили в соседстве с римскими провинциями. Эти домашние завоевания, увеличившие военное могущество Германариха, расширили его честолюбивые замыслы. Он напал на соседние северные страны, и двенадцать значительных племен, имена и места жительства которых не могут быть с точностью указаны, преклонились одно вслед за другим перед военным могуществом готов. Герулы, жившие на болотистых землях подле Меотийского озера, славились своей силой и ловкостью, и варвары во всех своих войнах призывали к себе на помощь их легкую пехоту, достоинства которой ценились очень высоко. Но и храбрость герулов должна была преклониться перед непреклонной и упорной настойчивостью готов, и после кровопролитного сражения, в котором был убит их король, остатки этого воинственного племени перешли под знамя Германариха. Тогда он устремился на венедов, которые были неопытны в военном деле и были сильны только своим числом, так как покрывали обширные равнины современной нам Польши. Победоносные готы, не уступавшие им числом, одержали над ними верх благодаря решительным превосходствам военной опытности и дисциплины. После покорения венедов завоеватель дошел, не встречая сопротивления, до границ страны эстов — древнего народа, имя которого сохранилось до сих пор в названии Эстонии. Эти отдаленные обитатели берегов Балтийского моря процветали благодаря своим земледельческим занятиям, обогащались торговлей янтарем и посвятили себя странному поклонению матери богов. Но редкость железа заставляла эстских воинов довольствоваться деревянными дубинами, и покорение этой богатой страны приписывают не столько победам, сколько благоразумию Германариха. Его владения, простиравшиеся от Дуная до Балтийского моря, заключали в себе как первые поселения готов, так и их недавние приобретения, и он властвовал над большею частью Германии и Скифии с авторитетом завоевателя, а иногда и с жестокостью тирана. Но под его владичеством находилась такая часть земного шара, которая была неспособна

*Остготы — то же, что остготы; визиготы — то же, что вестготы.

увековечивать и прославлять величие своих героев. Имя Германариха почти совершенно предано забвению; о его подвигах знают очень немного, и сами римляне, как кажется, ничего не знали о расширении честолюбивой власти, которая была угрозой для свободы севера и для спокойствия империи.

Готы питали наследственную привязанность к дому Константина, могущество и щедрость которого они не раз испытали на самих себе. Они не нарушали мирных трактатов, и, если какой-нибудь из их отрядов осмеливался перейти через римскую границу, они откровенно приписывали такой противозаконный поступок буйству варварской молодежи. Презрение к двум незнатного происхождения императорам, возведенным на престол по выбору, воодушевило готов смелыми надеждами, и, в то время как они помышляли о соединении всех союзных племен под одним национальным знаменем для нападения на империю, они охотно согласились принять сторону Прокопия, чтобы разжечь возникшие между римлянами внутренние распри. В силу заключенного договора от них можно было требовать не более десяти тысяч вспомогательных войск, но вожди визиготов с такой горячностью одобрили задуманный план, что перешедшая Дунай готская армия достигла тридцати тысяч человек. Она подвигалась вперед с гордой уверенностью, что ее непреодолимое мужество решит судьбу Римской империи, а фракийские провинции стонали под гнетом варваров, которые вели себя с наглостью повелителей и с необузданностью врагов. Но невоздержанность, с которой они удовлетворяли свои страсти, замедлила их движение, и, прежде нежели до них дошло положительное известие о поражении и смерти Прокопия, они заметили из неприязненного к ним отношения местного населения, что и гражданская и военная власть снова перешла в руки его счастливого соперника. Цепь военных постов и укреплений, искусно расположенных Валентом или его генералами, остановила их движение, отрезала им отступление и пресекла им доставку продовольствия. Свирепость варваров стихла от голода; они с негодованием побросали свое оружие к ногам победителя, предложившего им пищу и цепи; многочисленные пленные были размещены по всем восточным городам, и жители провинций, скоро свыкшиеся с их дикой наружностью, постепенно осмелились меряться силами с этими страшными врагами, одно имя которых так долго внушало им ужас. Скифский царь (а только один Германарих мог быть достоин столь высокого титула) был столько же огорчен, сколько раздражен этим национальным бедствием. Его послы громко жаловались при дворе Валента на нарушение старинного и формального союза, так долго существовавшего между римлянами и готами. Они утверждали, что в точности исполнили обязанности союзников, придя на помощь к родственнику и преемнику императора Юлиана; они требовали немедленного возвращения их знатных соотечественников, взятых в плен, и заявили весьма странное притязание, что их генералы, проходя по территории империи во главе армии и с неприязненными намерениями, имели право на неприкосновенность и на привилегии послов. Вежливый, но решительный отказ на эти безрассудные требования был передан варварам главным начальником кавалерии Виктором, который при этом выразил с энергией и достоинством основательные жалобы восточного императора. Переговоры были прерваны, и полные мужества убеждения Валентиниана побудили его робкого брата отомстить за оскорбленное достоинство империи.

Блеск и важность подвигов, совершенных в этой войне с готами, прославлены одним современным историком; но эти события едва ли были достойны внимания потомства, если бы они не были предвестниками приближавшегося упадка и разрушения империи. Вместо того чтобы вести германские и скиф-

ские племена к берегам Дуная или даже к воротам Константинополя, престарелый готский монарх отказался в пользу храброго Атанариха от опасностей и славы оборонительной войны с врагом, который такой слабой рукой управлял столь могущественным государством. Через Дунай был перекинут плашкотный мост; присутствие Валента одушевляло войска, а его неопытность в военном деле возмещалась личной храбростью и благоразумным уважением к советам главных начальников кавалерии и пехоты — Виктора и Аринфея. Их искусство и опытность руководили военными действиями, но они не нашли возможности вытеснить готов из их сильных позиций в горах, а опустошение равнин заставило самих римлян с наступлением зимы уйти обратно за Дунай. Непрерывные дожди, от которых вода в реке поднялась чрезвычайно высоко, сделали необходимым прекращение военных действий и принудили императора Валента в течение всего следующего лета не выходить из своего лагеря в Маркианополе. Третий год войны был более благоприятен для римлян и более несчастлив для готов. Прекращение торговых сношений лишило варваров возможности получать предметы роскоши, которые уже сделались для них необходимостью, а опустошение очень значительного пространства территории грозило им ужасами голодной смерти. Атанарих — потому ли, что был на это вызван, или потому, что его к этому принудили, — рискнул дать сражение в равнине и проиграл его, а преследование побежденных отличалось особенным ожесточением вследствие того, что победоносные генералы обещали щедрую награду за каждую голову гота, которая будет принесена в императорский лагерь. Изъявление варварами покорности смягчило гнев Валента и его советников; император с удовольствием выслушал льстивые и красноречивые представления константинопольского сената, который в первый раз принял участие в публичных прениях, и те же самые генералы, Виктор и Аринфей, которые так успешно руководили военными действиями, были уполномочены установить мирные условия. Свобода торговли, которой до тех пор пользовались готы, была оставлена лишь за двумя придунайскими городами; опрометчивость их вождей была строго наказана прекращением выдачи им пенсий и субсидий, а исключение, которое было сделано в пользу одного Атанариха, было более выгодно, чем лестно, для вождя визиготов. Атанарих, как кажется, руководствовавшийся в этом случае своими личными соображениями, не дожидаясь приказаний своего государя, поддержал свое собственное достоинство и достоинство своего племени, когда министры Валента предложили ему личное с ними свидание. Он настаивал на своем заявлении, что не может, без нарушения своей клятвы, когда-либо ставить ногу на территорию империи, и вероятно, что его уважение к святости клятвы подкреплялось недавними и пагубными примерами римского вероломства. Дунай, разделявший владения двух независимых наций, был избран местом для совещаний. Восточный император и визиготский вождь подъехали на своих шлюпках к середине реки в сопровождении одинаково многочисленной вооруженной свиты. После утверждения мирного договора и выдачи заложников Валент возвратился с триумфом в Константинополь, а готы оставались в покое около шести лет — до тех пор, пока их не заставили устремиться на Римскую империю бесчисленные сонмища скифов, по-видимому, вышедших из холодных северных стран.

Западный император, предоставив своему брату нижнедунайские провинции, взял на себя оборону провинций рецийских и иллирийских, лежавших на протяжении стольких сот миль вдоль самой большой из европейских рек. Действенная политика Валентиниана была постоянно направлена на то, чтобы воздвигать новые укрепления для защиты границ, но злоупотребление этой поли-

тикой возбудило в варварах основательное раздражение. Квады стали жаловаться на то, что для постройки одной новой крепости была отведена земля, находившаяся на их территории, и эта жалоба была заявлена с такими благоразумными доводами и с такой умеренностью, что военный начальник Иллирии Эквиций согласился приостановить работы, пока не получит более точных приказаний от своего государя. Префект или, вернее, тиран Галлии, бесчеловечный Максимин, воспользовался этим удобным случаем, чтобы нанести вред своему сопернику и выдвинуть по службе своего сына. Вспыльчивый Валентириан не выносил возражений и потому охотно поверил своему фавориту, что, если управление Валерией и производство работ будут поручены его сыну Марцеллину, императору уже не будут надоедать дерзкими протестами варваров. И римские подданные, и германские туземцы были оскорблены заносчивостью молодого и неспособного министра, считавшего свое быстрое возвышение по службе за доказательство и награду своих высоких заслуг. Он принял скромную просьбу короля квадов Габиния, по-видимому, с некоторым вниманием, но под этой коварной учтивостью скрывался низкий и кровавый замысел, и легковверный король принял настоятельное приглашение Марцеллина приехать к нему на пир. Я решительно не знаю, как разнообразить описание подобных преступлений, или, вернее, не знаю, какими словами рассказать, что в течение одного и того же года в двух отдаленных одна от другой частях империи, негостеприимный обеденный стол двух императорских генералов был обрызган царской кровью двух гостей и союзников, безжалостно умерщвленных по приказанию этих генералов и в их присутствии. И Габиния и Пару постигла одна и та же участь; но вольные и отважные германцы отплатили за ужасную смерть своего государя совершенно иначе, чем раболепные армяне. Квады уже в значительной степени утратили то могущество, которое во времена Марка Антонина распространяло ужас до самых ворот Рима. Но у них еще не было недостатка ни в оружии, ни в храбрости, а их храбрость воодушевлялась отчаянием, и они получили в подкрепление от своих сарматских союзников отряд кавалерии. Убийца Марцеллин был так непредусмотрителен, что выбрал для совершения преступления ту минуту, когда самые храбрые ветераны были отозваны для подавления восстания Фирма и в провинции оставалось очень мало войск для защиты ее от ярости рассвирепевших варваров. Они вторглись в Паннонию во время уборки хлеба, безжалостно уничтожили все, чего не могли унести с собой, и частью не обратили никакого внимания на укрепления без солдат, частью разрушили их. Дочь императора Констанция и внучка великого Константина, принцесса Констанция, с трудом успела спастись. Эта высокородная девушка, в своем детстве безвинно поддерживавшая восстание Прокопия, была теперь невестой наследника Западной империи. Она проезжала через мирные провинции с блестящей, но безоружной свитой. Деятельное усердие местного губернатора Мессалы спасло ее от опасности, а республику от позора. Лишь только он узнал, что селение, в котором она остановилась для обеда, почти со всех сторон окружено варварами, он поспешно посадил ее на свою собственную колесницу и гнал лошадей во весь опор, пока не достиг ворот Сирмия, находившегося на расстоянии двадцати шести миль. Даже в Сирмие нельзя было бы найти верного убежища, если бы квады и сарматы поспешили напасть на него, в то время как и среди должностных лиц, и среди населения господствовало общее смятение. Их медленность дала преторианскому префекту Пробу достаточно времени, чтобы собраться с духом и ободрить граждан. Он искусно направил их ревностные усилия на исправление и увеличение укреплений, и благодаря его заботливости отряд стрелков из лу-

ка прибыл для защиты столицы иллирийских провинций. Испытав неудачу под стенами Сирмия, варвары обратили свое оружие против главного начальника границы, которому они неосновательно приписывали умерщвление их короля. Эквиций мог вывести в поле только два легиона, но эти легионы состояли из ветеранов мизийских и паннонийских отрядов. Упорство, с которым они оспаривали друг у друга пустые отличия ранга и старшинства, было причиной их истребления, так как, в то время как они действовали отдельно один от другого, сарматская конница напала на них врасплох и совершенно их уничтожила.

Живший в ту пору в Трире Валентиниан был глубоко огорчен постигшими Иллирию бедствиями, но позднее время года заставило его отложить до следующей весны исполнение его планов. Во главе почти всех галльских войск он двинулся от берегов Мозеля и на мольбы встретивших его на пути сарматских послов дал двусмысленный ответ, что лишь только прибудет на место действия, рассмотрит в чем дело и решит. По прибытии в Сирмий он принял в аудиенции депутатов от иллирийской провинции, которые выразили ему свою признательность за счастье, которым наслаждались под прекрасным управлением преторианского префекта Проба. Польщенный этими изъявлениями преданности и признательности, Валентиниан имел неосторожность спросить у депутата от Эпира, философа-циника, отличавшегося неустрашимой искренностью, действительно ли он прислан по свободному выбору населения. «Меня неохотно прислал сюда со слезами и стонами народ», — отвечал Ификлес. Император ничего не возразил; но безнаказанность его министров установила пагубный принцип, что они могут угнетать подданных, не нарушая своих служебных обязанностей по отношению к самому монарху. Строгое расследование их образа действий успокоило бы умы недовольных. Но высокомерному монарху не было знакомо то великодушие, которое осмеливается сознавать ошибки. Он забыл о преступлении, которое вызвало вторжение квадов, помнил только обиду, нанесенную ему самому, и вступил на неприятельскую территорию с неутомимой жадной крови и мщения. Страшные опустошения и неразборчивая резня, свойственные дикарям, оправдывались и в глазах императора, и, может быть, в глазах всего мира ужасным правом возмездия, и такова была дисциплина римлян, таков был ужас, овладевший варварами, что Валентиниан обратно перешел Дунай, не потеряв ни одного солдата. Так как он решился предпринять вторую кампанию для окончательного истребления квадов, то он избрал для своих зимних квартир Брегецию, на берегу Дуная, неподалеку от венгерского города Пресбурга. В то время как военные действия были приостановлены по причине суровых холодов, квады смиренно попытались смягчить гнев победителя, и вследствие настоятельной просьбы Эквиция их послы были допущены к императору. Они приблизились к императорскому трону в смиренной позе просителей и, не осмеливаясь жаловаться на умерщвление их короля, клятвенно уверяли, что последнее вторжение было преступлением со стороны недисциплинированных негодяев, за которых не отвечает и которыми гнушается вся нация. Ответ императора был таков, что они не могли рассчитывать на его милосердие или сострадание. Он порицал в самых невоздержанных гневных выражениях их низость, неблагодарность и наглость. И в его глазах, и в его голосе, и в цвете его лица, и в его жестах выражалась его необузданная запальчивость, и, в то время как все его тело судорожно тряслось от гнева, один из кровеносных сосудов лопнул в его груди, и Валентиниан безмолвно упал на руки окружающих. Они постарались скрыть его положение от глаз толпы, но через несколько минут он испустил

дух в мучительной агонии, сохраняя сознание до последней минуты и безуспешно пытаясь объявить свою последнюю волю генералам и министрам, окружавшим его ложе. Валентиниану было почти пятьдесят четыре года, и он процарствовал двенадцать лет без ста дней.

Один церковный историк серьезно уверяет, что Валентиниан был многоженцем. «Императрица Севера, — как гласит эта басня, — приняла к себе в дом прекрасную Юстину, дочь одного итальянского губернатора; ее восхищение обнаженными прелестями Юстины, которую она часто видела в бане, было выражено в таких неумеренных и неосторожных похвалах, что император не устоял против желания ввести в свое брачное ложе вторую супругу и в публичном эдикте распространил на всех жителей империи ту же семейную привилегию, какую присвоил самому себе». Но и здравый смысл и свидетельство истории убеждают нас в том, что два брака Валентиниана, с Северой и с Юстиной, были заключены один после другого и что он воспользовался старинным разрешением развода, который еще допускался законами, хотя и был осужден церковью. Севера была матерью Грациана, который, по-видимому, соединял в своем лице все права на то, чтобы сделаться преемником Валентиниана. Он был старшим сыном монарха, славное царствование оправдало свободный и достойный выбор его ратных товарищей. Когда ему было около девяти лет, царственный ребенок получил из рук своего нежного отца порфиру и диадему с титулом Августа; это избрание было торжественно утверждено согласием и одобрением галльских армий, и имя Грациана присовокуплялось к именам Валентиниана и Валента на всех правительственных актах. Своим бракосочетанием с внучкой Константина сын Валентиниана приобрел все наследственные права рода Флавиев, которые, в ряду трех императорских поколений, были освящены временем, религией и народной преданностью. Когда умер его отец, Грациан был шестнадцатилетним юношей, и его личные достоинства уже оправдывали благоприятное о нем мнение армии и народа. Но Грациан спокойно жил в трирском дворце, в то время как Валентиниан неожиданно умер в лагере под Брегецио, на расстоянии нескольких тысяч миль. Страсти, так долго сдерживавшиеся в присутствии повелителя, немедленно ожили между приближенными покойного императора. Императрица Юстина, жившая в каком-то дворце почти в ста милях от Брегецио, была почтительно приглашена в лагерь со вторым сыном покойного императора. На шестой день после смерти Валентиниана этот малолетний принц, носивший одно имя с отцом и бывший в ту пору только четырехлетним ребенком, был представлен легионам матерью, которая держала его на руках, и при радостных возгласах армии был торжественно облечен титулами и отличиями верховной власти. Опасность неизбежной междоусобицы была устранена разумным и умеренным образом действий императора Грациана. Он охотно одобрил выбор армии, объявил, что всегда будет считать сына Юстины за брата, а не за соперника, и посоветовал императрице поселиться вместе с ее сыном Валентинианом в Милане, в прекрасной и мирной итальянской провинции, между тем как сам он примет на себя более трудную обязанность управления заальпийскими странами. Грациан скрывал свою досаду до тех пор, пока не нашел возможности безопасно наказать или удалить зачинщиков заговора, и хотя он всегда обходился со своим малолетним соправителем с нежностью и вниманием, он постепенно соединил, при управлении западной империей, обязанности опекуна с авторитетом монарха. Римский мир управлялся от имени Валента и двух его племянников, но слабый восточный император, унаследовавший первостепенное положение своего старшего брата, никогда не мог приобрести никакого влияния на управление Западом.

**Грациан возводит Феодосия в звание
восточного императора. — Происхождение
и характер Феодосия. — Смерть Грациана. — Св. Амвросий. —
Первая междоусобная война с Максимом. — Характер,
управление и покаяние Феодосия. —
Смерть Валентиниана II. — Вторая междоусобная
война с Евгением. — Смерть Феодосия.
(340–397 гг.)**

Глава 12 (XXVII)

Слава, приобретенная Грацианом, когда ему еще не было двадцати лет, не уступала славе самых знаменитых монархов. Его кротость и доброта доставили ему искренне преданных друзей; мягкая приветливость его обхождения доставила ему привязанность народа; литераторы, пользовавшиеся щедростью императора, прославляли его изящный вкус и красноречие; его храбрость и ловкость в военных упражнениях вызывали похвалы со стороны солдат, а духовенство считало смиренное благочестие Грациана за главную и самую полезную из его добродетелей. Победа при Кольмаре избавила Запад от грозного нашествия, а признательные восточные провинции приписывали заслуги Феодосия тому, кто был виновником его возвышения и тем обеспечил общественное спокойствие. Грациан пережил эти достопамятные события только четырьмя или пятью годами; но он также пережил свою собственную славу, и, прежде нежели он пал жертвой восстания, он в значительной мере утратил уважение и доверие своих подданных.

Замечательная перемена, происшедшая в его характере и в его поведении, не может быть приписана ни коварству льстецов, которыми сын Валентиниана был окружен с самого детства, ни сильным страстям, с которыми, по видимому, была незнакома его юношеская кротость. Более внимательное изучение жизни Грациана, быть может, обнаружит нам настоящую причину того, что он не оправдал общих ожиданий. Его кажущиеся добродетели были не теми устойчивыми доблестями, которые создаются опытом и борьбой с невзгодами, а незрелыми искусственными плодами царственного воспитания. Заботливая нежность его отца была постоянно направлена к развитию в нем тех качеств, которые Валентиниан, может быть, тем более ценил, что сам был лишен их, и самые искусные преподаватели во всех науках и искусствах трудились над развитием умственных и физических способностей юного принца. Знания, которые они передали ему с большим трудом, выставлялись наружу с хвастовством и прославлялись с неумеренными похвалами. Его мягкий и податливый нрав легко воспринимал впечатления их разумных советов, а отсутствие в его душе страстей легко могло быть принято за силу ума. Его наставники постепенно возвысились до знания и влияния министров, а так как они благоразумно скрывали свое тайное влияние, то он, по видимому, действовал с твердостью и благоразумием в самых трудных обстоятельствах своей жизни и своего царствования. Но влияние этого старательного обу-

чения не проникало далее поверхности, и искусные профессора, с таким тщанием руководившие каждым шагом своего царственного воспитанника, не могли влить в его слабую и нерадивую душу тот самостоятельный принцип деятельности, в силу которого напряженное стремление к славе существенно необходимо для счастья и даже для существования героя.

Лишь только время и обстоятельства удалили от его трона этих преданных советников, западный император постепенно низошел до уровня своих врожденных способностей, отдал бразды правления в руки честолюбцев, старавшихся их захватить, и стал проводить свое время в самых пустых развлечениях. И при дворе и в провинциях была введена публичная продажа милостей и правосудия в пользу недостойных представителей его власти, и всякое сомнение в их заслугах считалось за святотатство. Совестью легковверного монарха руководили святые и епископы, заставившие его подписать эдикт, который наказывал за нарушение, неуважение и даже незнание божеских законов, как за уголовное преступление. Из различных искусств, в которых Грациан упражнялся в своей молодости, он выказывал особенную склонность и способность к верховой езде, к стрельбе из лука и к метанию дротика; эти способности могли бы быть полезными для воина, но они были употреблены на низкие занятия звериной травлей. Обширные парки были обнесены стенами для императорских развлечений и были наполнены различными породами животных, а Грациан, пренебрегая своими обязанностями и даже достоинством своего звания, проводил целые дни в том, что выказывал на охоте свою ловкость и отвагу. Тщеславное желание римского императора отличиться в таком искусстве, в котором его мог бы превзойти самый последний из его рабов, напоминало многочисленным зрителям его забав о Нероне и Коммодe, но у целомудренного и воздержанного Грациана не было их чудовищных пороков, и его руки обагрлялись только кровью животных.

Поведение Грациана, унижавшее его в глазах всего человечества, не мешало бы ему спокойно царствовать, если бы он не возбудил неудовольствия в армии. Пока юный император руководствовался внушениями своих наставников, он выдавал себя за друга и питомца солдат, проводил с ними целые часы в фамильярных беседах и, по-видимому, относился с внимательной заботливостью к здоровью, благосостоянию, наградам и отличиям своих верных войск. Но с тех пор как Грациан предался своей страсти к охоте и стрельбе из лука, он стал проводить свое время в обществе тех, кто был всех искуснее в его любимых развлечениях. Отряд аланов был принят на военную и внутреннюю дворцовую службу, а удивительная ловкость, которую эти варвары привыкли выказывать на беспредельных равнинах Скифии, нашла для себя более узкое поприще в парках Галлии и в отведенных для охоты огороженных местах. Грациан, восхищавшийся дарованиями и обычаями этих любимых телохранителей, вверил им одним охрану своей особы и, как будто нарочно стараясь оскорбить общественное мнение, часто появлялся перед солдатами и народом в одеянии и вооружении скифского воина — с длинным луком, гремучим колчаном и меховыми обшивками. Унизительный вид римского монарха, отказавшегося от одеяния и нравов своих соотечественников, возбуждал в душе солдат скорбь и негодование. Даже германцы, входившие в столь значительном числе в состав римских армий, обнаруживали презрение при виде странных и отвратительных северных дикарей, которые в течение нескольких лет перекочевали с берегов Волги к берегам Сены. Громкий и вольнодумный ропот стал раздаваться в лагерях и в западных гарнизонах, а так как Грациан, вследствие своей кротости и беспечности, не постарался

подавить первые проявления недовольства, то недостаток привязанности и уважения не был восполнен влиянием страха. Но ниспровержение установленного правительства всегда бывает результатом каких-нибудь более существенных и более наглядных причин, а трон Грациана охранялся и привычками, и законами, и религией, и тем аккуратным равновесием между властями гражданской и военной, которое было введено политикой Константина. Нам нет надобности доискиваться, какие причины вызвали восстание в Британии. Беспорядки обыкновенно возникают от какой-нибудь случайности, а случилось так, что семя мятежа упало на такую почву, которая чаще, чем другая, производила тиранов и узурпаторов, что легионы этого отдаленного острова давно были известны своей самонадеянностью и высокомерием и что имя Максима было провозглашено шумными, но единодушными возгласами и солдат, и жителей провинции. Этот император, или, вернее, мятежник (так как его титул еще не был утвержден фортуной), был родом из Испании; он был соотечественником, боевым товарищем и соперником Феодосия, к возвышению которого он отнесся не без некоторой зависти и недоброжелательства; уже задолго перед тем обстоятельства заставили его поселиться в Британии, и я был бы очень рад найти какое-нибудь подтверждение слухов, что он был женат на дочери богатого лорда Кернарвонширского. Но на положение, которое он занимал в провинции, нельзя смотреть иначе, как на положение ссыльного и совершенно ничтожное, и если он занимал какую-либо гражданскую или военную должность, то, во всяком случае, не был облечен ни властью губернатора, ни властью генерала. Его дарования и даже его честность были признаны пристрастными писателями того времени, а только самые неоспоримые достоинства могли вынудить от них такое сознание в пользу побежденного Феодосиева врага. Быть может, недовольствие Максима побуждало его порицать поведение его государя и поощрять, без всяких честолюбивых замыслов, ропот войск. Но, среди общего смятения, он из хитрости или из скромности отказывался от престола, и, как кажется, многие верили его положительному заявлению, что он против воли принял опасный подарок императорской порфиры.

Но и отказаться от верховной власти было бы не менее опасно, а с той минуты, как Максим нарушил клятву верности своему законному государю, он не мог бы ни удержаться на престоле, ни даже сохранить свою жизнь, если бы ограничил свое скромное честолюбие узкими пределами Британии. Он принял отважное и благоразумное решение предупредить Грациана; британское юношество стало толпами стекаться под его знамена, и он предпринял со своим флотом и армией нападение на Галлию, о котором впоследствии долго вспоминали как о переселении значительной части британской нации. Император, спокойно живший в Париже, был встревожен приближением бунтовщиков и мог бы с большей славой употребить против них те стрелы, которые бесполезно тратил на львов и медведей. Но его слабые усилия обнаружили упадок его духа и безнадежность его положения и лишили его тех ресурсов, которые он мог бы найти в содействии своих подданных и своих союзников. Галльские армии, вместо того чтобы воспротивиться наступлению Максима, встретили его радостными возгласами и изъявлениями преданности, а упрек в позорной измене своему долгу упал не на народ, а на самого монарха. Войска, на которых непосредственно лежала служба во дворце, покинули знамя Грациана, лишь только оно было развернуто вблизи Парижа. Западный император бежал в направлении к Лиону в сопровождении только трехсот всадников, а лежавшие на его пути города, в которых он надеял-

ся найти убежище или по меньшей мере свободный пропуск, познакомили его на опыте с той горькой истиной, что перед несчастливцами запираются все ворота. Впрочем, он еще мог бы безопасно добраться до владений своего брата и вскоре возвратиться с военными силами Италии и Востока, если бы не послушался коварных советов губернатора лионской провинции. Грациан положился на изъявления сомнительной преданности и обещания помощи, которая не могла быть достаточной; наконец прибытие Андрагафия, командовавшего кавалерией Максима, положило конец его недоумениям. Этот решительный генерал исполнил, без угрызений совести, приказания или желания узурпатора. Когда Грациан окончил свой ужин, его предали в руки убийцы и даже не отдали его труп, несмотря на настоятельные просьбы его брата Валентиниана. За смертью императора последовала смерть одного из самых влиятельных его генералов — Меллобода, короля франков, сохранившего до конца своей жизни двусмысленную репутацию, которую он вполне заслужил своей хитрой и вкрадчивой политикой. Быть может, эти казни были необходимы для общественного спокойствия; но счастливый узурпатор, власть которого была признана всеми западными провинциями, мог с гордостью ставить себе в заслугу тот лестный для него факт, что за исключением тех, кто погиб от случайностей войны, его торжество не было запятнано кровью римлян.

Заключение мира между Максимом и Феодосием

Этот переворот совершился с такой быстротой, что Феодосий узнал о поражении и смерти своего благодетеля, прежде нежели успел выступить к нему на помощь. В то время как восточный император предавался или искренней скорби, или только официально исполнению траурных обрядов, он был извещен о прибытии главного камергера Максима, а выбор почтенного старца для такого поручения, которое обыкновенно исполнялось евнухами, служил для константинопольского правительства доказательством степенного и воздержанного характера британского узурпатора. Посол старался оправдать или извинить поведение своего повелителя и настоятельно утверждал, что Грациан был убит без его ведома или одобрения, вследствие опрометчивого усердия солдат. Но затем он с твердостью и хладнокровием предложил Феодосию выбор между миром и войной. В заключение посол заявил, что хотя Максим, как римлянин и отец своего народа, предпочел бы употребить свои военные силы на защиту республики, он готов состязаться из-за всемирного владычества на поле брани, если его дружба будет отвергнута. Он требовал немедленного и решительного ответа; но в этом критическом положении Феодосию было чрезвычайно трудно удовлетворить и чувства, наполнявшие его собственное сердце, и ожидания публики. Повелительный голос чести и признательности громко требовал мщения. От Грациана он получил императорскую диадему; его снисходительность заставила бы полагать, что он помнит старые обиды, забывая об оказанных ему впоследствии одолжениях, а если бы он принял дружбу убийцы, он считался бы участником в его преступлении. Даже принципам справедливости и интересам общества был бы нанесен губительный удар безнаказанностью Максима, так как пример успешной узурпации расшатал бы искусственное здание правительственной власти и еще раз навлек бы на империю преступления и бедствия предшествовавшего столетия. Но чувства признательности и чести должны неизменно руководить действиями граждан, а в душе монарха они иногда должны уступать место сознанию более важных обязанностей: и принципы справедливости, и принципы человеколюбия допу-

скают безнаказанность самого ужасного преступника, если его наказание неизбежно влечет за собою гибель невинных. Убийца Грациана незаконно захватил власть над самыми воинственными провинциями империи, но эти провинции действительно находились в его власти; Восток был истощен неудачами и даже успехами войны с готами, и можно было серьезно опасаться, что когда жизненные силы республики окончательно истощатся в продолжительной и губительной междоусобной войне, тот, кто выйдет из нее победителем, будет так слаб, что сделается легкой жертвой северных варваров. Эти веские соображения заставили Феодосия скрыть свой гнев и принять предложенный тираном союз. Но он потребовал, чтобы Максим довольствовался властью над странами, лежащими по ту сторону Альп. Брату Грациана было обеспечено обладание Италией, Африкой и западной Иллирией, и в мирный договор были включены некоторые особые условия с целью поддержать уважение к памяти и к законам покойного императора. Согласно с обычаями того времени, изображения трех императоров-соправителей были публично выставлены для внушения должного к ним уважения, но нет никакого серьезного основания предполагать, что в момент этого торжественного примирения Феодосий втайне помышлял о вероломстве и мщении.

Пренебрежение Грациана к римским солдатам было причиной того, что он сделался жертвой их раздражения. Но за свое глубокое уважение к христианскому духовенству он был вознагражден одобрением и признательностью могущественного сословия, которое во все века присваивало себе исключительное право раздавать отличия и на земле и на небесах. Православные епископы оплакивали и его смерть, и понесенную ими самими невознаградимую потерю; но они скоро утешились, убедившись, что Грациан отдал точный скипетр в руки такого монарха, в котором смиренная вера и пылкое религиозное рвение опирались на более обширный ум и более энергичный характер. Между благодетелями церкви Феодосий может считаться столь же знаменитым, как и Константин. Если последний имеет то преимущество, что он впервые водрузил знамение креста, то его преемнику принадлежит та заслуга, что он уничтожил арианскую ересь и во всей Римской империи положил конец поклонению идолам. Феодосий был первым императором, принявшим крещение с надлежащей верой в Троицу. Хотя он родился в христианском семействе, принципы или, по меньшей мере, обычаи того времени побудили его откладывать церемонию своего посвящения до тех пор, пока ему не напомнила об опасности дальнейшего отлагательства серьезная болезнь, грозившая его жизни в конце первого года его царствования. Прежде чем снова выступить в поход против готов, он принял таинство крещения от православного епископа Фессалоники Ахолия, и в то время как император выходил из священной купели с пылким сознанием совершившегося в нем обновления, он диктовал торжественный эдикт, в котором объявлял, какие его собственные догматы веры, и предписывал, какую религию должны исповедовать его подданные. «Нам угодно, — такова императорская манера выражаться, — чтобы все народы, управляемые нашим милосердием и умеренностью, твердо держались той религии, которой поучал римлян Св. Петр, которая верно сохранилась преданием и которую в настоящее время исповедуют первосвященник Дамаз и александрийский епископ Петр — человек апостольской святости. Согласно с учением апостолов и правилами Евангелия, будем верить в единственную божественность Отца, Сына и Святого Духа, соединяющихся с равным величием в благочестивой Троице. Последователям этого учения мы дозволяем принять название католических христиан, а так как

всех других мы считаем за сумасбродных безумцев, то мы клеймим их позорным названием еретиков и объявляем, что их сборища вперед не должны присваивать себе почетное название церквей. Кроме приговора божественного правосудия, они должны будут понести строгие наказания, каким заблагорассудит подвергнуть их наша власть, руководимая небесной мудростью». Верования воина бывают чаще плодом полученных им внушений, нежели результатом его собственного исследования; но так как император никогда не переступал за ту грань православия, которую он так благоразумно установил, то на его религиозные мнения никогда не имели никакого влияния ни благовидные ссылки на подлинный текст Св. Писания, ни вкрадчивые аргументы, ни двусмысленные догматы арианских законоучителей. Правда, он однажды выразил робкое желание побеседовать с красноречивым и ученым Эвномием, жившим в уединении неподалеку от Константинополя. Но его удержали от этого опасного свидания просьбы императрицы Флакиллы, которая страшилась за спасение души своего супруга, а его убеждения окончательно окрепли благодаря такому богословскому аргументу, который не мог бы не подействовать даже на самую грубую интеллигенцию. Незадолго перед тем он дал своему старшему сыну Аркадию титул и внешние отличия Августа и оба монарха воссели на великолепном троне для того, чтобы принимать от своих подданных изъявления преданности. Епископ Икония Амфилохий приблизился к трону и, поклонившись с должным почтением своему государю, обошелся с царственным юношей с такой же фамильярной нежностью, с какой стал бы обходиться с сыном какого-нибудь плебея. Оскорбленный таким дерзким поступком, монарх приказал немедленно вывести вон неблаговоспитанного епископа. Но в то время как телохранители выталкивали его, этот ловкий богослов успел выполнить свой план, громко воскликнув: «Таково, Государь, обхождение, предназначенное Царем Небесным для тех нечестивых людей, которые поклоняются Отцу, но не хотят признавать такого же величия в его Божественном Сыне». Феодосий тотчас обнял епископа города Икония и никогда не забывал важного урока, преподанного ему в этой драматической притче.

Арианство в Константинополе. 340–380 гг.

Константинополь был главным центром и оплотом арианства, и в течение длинного сорокалетнего промежутка времени вера монархов и епископов, господствовавших в столице Востока, отвергалась более чистыми христианскими школами, римской и александрийской. Архиепископский трон Македония, обрызганный столь огромным количеством христианской крови, был занят сначала Эвдоксием, а потом Демофилом. В их епархию свободно стекались пороки и заблуждения из всех провинций империи; горячие религиозные споры доставляли новое развлечение для праздной лени столичных жителей, и мы можем поверить рассказу одного интеллигентного наблюдателя, который описывает шутивым тоном последствия их болтливости и усердия. «Этот город, — говорит он, — наполнен мастеровыми и рабами, из которых каждый обладает глубокими богословскими познаниями и занимается проповедью и в лавке и на улицах. Если вы попросите одного из них разменять серебряную монету, он расскажет вам, чем отличается Сын от Отца; если вы спросите о цене хлеба, вам на это ответят, что Сын ниже Отца, а когда вы спросите, готова ли баня, вам ответят, что Сын создан из ничего». Еретики различных наименований жили спокойно под покровительством константинопольских ариан, которые старались привязать к себе этих ничтожных сек-

тантов, между тем как с непреклонной строгостью употребляли во зло победу, одержанную над приверженцами Никейского собора. В царствование Констанция и Валента незначительные остатки приверженцев Номооусиона были лишены права исповедовать свою религию и публично и частным образом; один писатель заметил в трогательных выражениях, что это рассыпавшееся стадо, оставшись без пастуха, бродило по горам, рискуя быть съеденным хищными волками. Но так как их усердие, вместо того чтобы ослабевать, извлекало из угнетений новые силы и энергию, то они воспользовались первыми минутами некоторой свободы, наступившими со смертью Валента, для того чтобы образовать правильную конгрегацию под руководством епископа. Два каппадокийских уроженца, Василий и Григорий Назианзин, отличались от всех своих современников редким сочетанием светского красноречия и православным благочестием. Эти ораторы, которые сравнивали сами себя, а иногда были сравниваемы публикой с самыми знаменитыми из древних греческих ораторов, были связаны друг с другом узами самой тесной дружбы. Они с одинаковым усердием изучали в афинских школах одни и те же науки; они с одинаковым благочестием вместе удалились в пустыни Понта, и, по-видимому, последняя искра соревнования или зависти угасла в святых и благородных сердцах Григория и Василия. Но возвышение Василия из положения частного человека в звание архиепископа Кесарийского обнаружило в глазах всех и, может быть, в его собственных высокомерие его характера, и первая милость, которой он удостоил своего друга, была принята за жестокое оскорбление и, быть может, была оказана именно с целью оскорбить. Вместо того чтобы воспользоваться высокими дарованиями Григория для замещения какой-нибудь важной должности, высокомерный Василий выбрал для него между пятьюдесятью епископствами своей обширной провинции ничтожную деревушку Зазиму, в которой не было ни воды, ни зелени, ни общества, в которой скрещивались три большие дороги и через которую не было других проезжих, кроме грубых и крикливых подводчиков. Григорий неохотно подчинился этой унижительной ссылке и был посвящен в звание Зазимского епископа, но он публично заявил, что никогда не совершал этого духовного бракосочетания с такой отвратительной супругой. Впоследствии он согласился принять на себя управление церковью на своей родине, в городе Назианзе, где его отец был епископом в течение более сорока пяти лет. Но так как он считал себя достойным иных слушателей и иной сферы деятельности, то из честолюбия, которое нельзя назвать неосновательным, принял лестное приглашение, с которым обратилась к нему константинопольская православная партия. Прибыв в столицу, он поселился в доме одного благочестивого и благотворительного родственника; ему была отведена большая комната для совершения богослужебных обрядов, а название Анастасия было выбрано для того, чтобы обозначать восстановление Никейского символа веры. Из этих тайных сходов впоследствии образовалась великолепная церковь, а легкомыслие следующего столетия охотно верило чудесам и видениям, свидетельствовавшим о присутствии или по меньшей мере о покровительстве Матери Божией. Кафедра Анастасии была сценой трудов и триумфов Григория Назианзина, и в течение двух лет он прошел через все испытания, которые составляют торжество или неудачу миссионеров. Раздраженные смелостью его предприятия, ариане стали обвинять его в том, что будто он проповедует учение о трех различных и равных божествах, и подстрекнули благочестивую чернь силою воспротивиться противозаконным собраниям еретиков Афанасиева учения. Из храма Св. Софии вышла пестрая толпа «простых ни-

щих, которые утратили всякое право на сострадание монахов, которые имели вид козлов или сатиров, и женщин, которые ужаснее иных Иезавелей». Взломав двери Анастасии и вооружившись палками, камнями и головнями, они причинили немало вреда и пытались поступить еще хуже; а так как в этой свалке один человек лишился жизни, то Григорий был вызван на другой день к судье и утешал себя мыслью, что он публично засвидетельствовал о своей вере во Христа. После того как его зарождавшаяся церковь избавилась от страха и опасности внешних врагов, ее стали позорить и тревожить внутренние раздоры. Один чужеземец, назвавшийся Максимом и облегшийся в плащ философа-циника, вкрался в доверие к Григорию, употребил во зло его благосклонное расположение и, вступив в тайные сношения с некоторыми египетскими епископами, попытался, путем тайного посвящения в епископский сан, занять место своего покровителя. Эти огорчения, быть может, иногда заставляли каппадокийского миссионера сожалеть о его прежнем скромном уединении. Но его труды вознаграждались ежедневно увеличивавшейся славой и расширением его конгрегации; он с удовольствием замечал, что его многочисленные слушатели удалялись с его проповедей или довольными красноречием проповедника, или убежденными в несовершенствах своих верований и обрядов.

Крещение Феодосия и его эдикт воодушевили константинопольских католиков радостными надеждами, и они с нетерпением ожидали результатов его милостивых обещаний. Их ожидания скоро оправдались. Лишь только император окончил кампанию, он совершил торжественный въезд в столицу во главе своей победоносной армии. На другой день после своего прибытия он вызвал к себе Демофила и предложил этому арианскому епископу выбрать одно из двух — или принять Никейский символ веры, или немедленно уступить православному духовенству свой епископский дворец, собор Св. Софии и все константинопольские церкви. Религиозное усердие Демофила, которое вызвало бы заслуженные похвалы, если бы проявилось в каком-нибудь из католических святых, заставило его без колебаний предпочесть жизнь в бедности и в изгнании, и немедленно вслед за его удалением был совершен обряд очищения императорской столицы. Ариане могли, по-видимому, не без основания жаловаться на то, что незначительная конгрегация сектантов завладела сотней церквей, которые она не могла наполнить молящимися, между тем как для большей части населения был безжалостно закрыт доступ во все места, назначенные для богослужения. Феодосий не тронулся этими жалобами, а так как ангелы, охранявшие интересы католиков, были видимы только для тех, кто верил, то он из предосторожности подкрепил эти небесные легионы более надежным оружием мирской власти, приказав значительному отряду императорской гвардии занять церковь Св. Софии. Если бы душа Григория была доступна для тщеславия, он должен был бы считать себя вполне счастливым, когда император повез его с триумфом по городским улицам и сам почтительно возвел его на архиепископский трон Константинополя. Но этот святой (еще не очистившийся от всех несовершенств человеческой природы) был глубоко огорчен, когда убедился, что он вступал в управление своей паствой скорее как волк, чем как пастырь, что окружавший его блеск оружия был необходим для его личной безопасности и что на него одного сыпались проклятия многочисленных сектантов, которые как люди и граждане не могли считаться достойными его презрения. Он видел бесчисленные массы людей обоих полов и всякого возраста, теснившихся на улицах, в окнах и на крышах домов; до его слуха долетали громкие выражения ярости, скорби, удивления и отчаяния, и он сам искренно сознался,

что в достопамятный день его вступления в управление епархией столица Востока имела внешний вид города, взятого приступом и находящегося во власти варварского завоевателя. Почти через шесть недель после того Феодосий объявил о своей решимости изгнать во всех своих владениях из церквей тех епископов и подчиненных им лиц духовного звания, которые будут упорно отказываться верить в догматы Никейского собора или, по меньшей мере, не захотят исповедовать их. С этой целью он дал своему заместителю Сапору самые широкие права, опиравшиеся и на общий закон, и на специально возложенное на него доверие, и на военные силы, и этот церковный переворот был совершен с такой осмотрительностью и с такой энергией, что религия императора была введена, без всяких смут и кровопролитий, во всех восточных провинциях. Если бы произведения арианских писателей не были истреблены, мы, вероятно, прочли бы в них печальную историю гонения, которой подверглась церковь в царствование нечестивого Феодосия, а страдания ее святых мучеников, вероятно, возбудили бы сострадание в беспристрастном читателе. Но есть основание полагать, что при отсутствии всякого сопротивления не было надобности прибегать к насилию и что ариане выказали в несчастье гораздо менее твердости, чем православная партия в царствования Констанция и Валента. На характер и образ действий двух враждовавших между собою сект, как кажется, влияли одни и те же принципы, внушаемые природой и религией, но нетрудно заметить, что в их богословских понятиях было одно различие, от которого происходило различие в стойкости их религиозных верований. И в школах и в храмах обе партии признавали божественность Христа и поклонялись ему; а так как в людях всегда существует склонность приписывать Божеству свои собственные чувства и страсти, то должно было казаться более благоразумным и почтительным преувеличивать, а не урезывать восхитительные совершенства Сына Божия. Последователи Афанасия с гордой самоуверенностью полагали, что они приобрели права на божеское милосердие, тогда как приверженцы Ария должны были тайне мучиться опасениями, что они провинились, быть может, в непростительном преступлении, не воздавая Спасителю Мира всех должных ему почестей. Мнения ариан могли удовлетворять холодный и философский ум, но Никейский догмат, носивший на себе печать более пылкой веры и благочестия, должен был одержать верх в таком веке, когда религиозное усердие было так сильно.

Собор в Константинополе. 381 г.

В надежде, что на собраниях православного духовенства будет раздаваться голос истины и мудрости, император созвал в Константинополь собор из ста пятидесяти епископов, которые без большого труда и без колебаний дополнили богословскую систему, установленную на Никейском соборе. Горячие споры четвертого столетия имели предметом преимущественно свойства Сына Божия, а разнообразные мнения касательно второго лица Троицы распространялись путем аналогии и на третье лицо. Однако победоносные противники арианства нашли нужным объяснить двусмысленные выражения некоторых уважаемых законоучителей, поддерживать верования католиков и осудить непопулярную и безрассудную секту Македония, которая охотно допускала, что Сын единосущен с Отцом, а между тем опасалась, чтобы ее не обвинили в признании существования трех Богов. Окончательным и единогласным решением была признана равная божественность Святого Духа; это таинственное учение приняли все христианские народы и все христианские церкви, а их признательное уважение предоставило собравшимся по зо-

ву Феодосия епископам второе место среди вселенских соборов. Знание религиозной истины могло дойти до этих епископов по преданию или могло быть сообщено им путем вдохновения, но трезвая историческая осмотрительность не позволяет нам придавать большой вес личному авторитету собиравшихся в Константинополе отцов церкви. В такую эпоху, когда духовенство позорно отклонилось от примерной нравственной чистоты апостолов, самые недостойные из его членов и самые безнравственные усерднее всех посещали епископские собрания и вносили в них смуту. Столкновение и брожение стольких противоположных интересов и характеров воспламеняли страсти епископов, а их главными страстями были влечение к золоту и склонность к спорам. Многие из тех самых епископов, которые теперь одобряли православное благочестие Феодосия, не раз уже меняли свои верования и убеждения с предусмотрительной податливостью, и во время разнообразных переворотов, происходивших и в церкви и в государстве, религия монарха служила руководством для их раболепной совести. Лишь только императоры переставали употреблять в дело свое преобладающее влияние, буйные члены соборов слепо увлекались нелепыми или эгоистичными мотивами гордости, ненависти и жадности. Смерть, постигшая Мелетия во время заседаний Константинопольского собора, представляла чрезвычайно удобный случай для того, чтобы положить конец антиохийскому расколу, оставив его престарелого соперника Павлина спокойно окончить жизнь в епископском звании. И верования и добродетели Павлина были ничем не запятнаны. Но его поддерживали западные церкви; поэтому присутствовавшие на соборе епископы решились продлить раздор торопливым посвящением клятвoprеступного кандидата для того, чтобы не унижать мнимого достоинства Востока, который был возвеличен рождением и смертью Сына Божия. Такой несправедливый и неправильный образ действий вызвал протест со стороны самых почтенных членов собрания и заставил их удалиться, а шумное большинство, за которым осталось поле битвы, можно бы было сравнить с осами или с сороками, со стаей журавлей или со стадом гусей.

Иной мог бы подумать, что это неблагоприятное изображение церковного собора нарисовано пристрастной рукою какого-нибудь упорного еретика или какого-нибудь зложелательного неверующего. Но при имени чистосердечного историка, передавшего потомству эти поучительные факты, должен умолкнуть бессильный ропот суеверия и ханжества. Это был один из самых благочестивых и самых красноречивых епископов того времени; это был святой и ученый богослов; это был бич ариан и столп православия; это был один из достойнейших членов Константинопольского собора, на котором он исполнял, после смерти Мелетия, обязанности председателя; одним словом, это был сам Григорий Назианзин. Тот факт, что с ним обошлись грубо и неблагородно, несколько не ослабляет доверия к его свидетельству, а, напротив того, еще с большей ясностью доказывает, каков был дух соборных совещаний. Всеми были единогласно признаны права Константинопольского епископа, основанные на народном избрании и на одобрении императора. Тем не менее Григорий скоро сделался жертвой злобы и зависти. Его ревностные приверженцы, восточные епископы, будучи недовольные его умеренным образом действий по отношению к антиохийским делам, оставили его без поддержки в борьбе с партией египтян, которые оспаривали законность его избрания и упорно ссылались на вышедший из употребления церковный закон, запрещавший епископам переходить из одной епархии в другую. Из гордости или из смирения Григорий уклонился от борьбы, которая могла бы быть приписана его честолюбию или корыстолю-

бию, и публично предложил, не без чувства негодования, отказаться от управления церковью, которая была восстановлена и почти создана его усилиями. Его отставка была принята собором и императором с такой готовностью, какой он, по-видимому, не ожидал. В такое время, когда он мог надеяться, что скоро будет наслаждаться плодами своей победы, его епископский трон был занят сенатором Нектарием, который был случайно выбран только благодаря своему податливому характеру и своей почтенной наружности; новый архиепископ должен был отложить церемонию своего посвящения до тех пор, пока не был торопливо совершен над ним обряд крещения. После того как Григорий познакомился на опыте с неблагодарностью монархов и епископов, он снова удалился в свое каппадокийское уединение, где провел остальные восемь лет своей жизни в занятиях поэзией и в делах благочестия. Его имя было украшено титулом святого, но чувствительность его сердца и изящество его гения озаряют более приятным блеском память Григория Назианзина.

Эдикты Феодосия против еретиков. 380–394 гг.

Феодосий не удовольствовался тем, что ниспроверг наглое владычество ариан и отомстил за обиды, причиненные католикам религиозным усердием Констанция и Валента. Православный император видел в каждом еретике бунтовщика против небесной и земной верховной власти и полагал, что каждая из этих властей имеет право суда над душой и телом виновных. Декреты Константинопольского собора установили правила веры, а духовенство, руководившее совестью Феодосия, научило его самым действенным способом религиозного гонения. В течение пятнадцати лет он обнародовал не менее пятнадцати эдиктов против еретиков, в особенности против тех из них, которые отвергали учение о Троице; а для того чтобы отнять у них всякую надежду избежать наказания, он строго предписал, что в случае ссылки на какой-либо благоприятный для них закон или рескрипт судьи должны считать такие законы за противозаконные продукты или обмана, или подлога. Уголовные наказания были направлены против духовенства еретиков, против их собраний и них лично, а раздражительность законодателя обнаруживалась в витиеватости и несдержанности его выражений. 1. Еретические законоучители, присвоившие себе священные титулы епископов или пресвитеров, не только лишались привилегий и жалованья, предоставленных православному духовенству, но подвергались сверх того ссылке и конфискации имущества, если осмеливались проповедовать учение или исполнять обряды своих проклятых сект. Денежному штрафу в десять фунтов золота (около 400 фунт. стерл.) подвергали всякого, кто осмелился бы совершать, принимать или поощрять еретическое посвящение в духовное звание, и правительство Феодосия основательно надеялось, что, когда будет истреблена раса пастырей, их беззащитная паства или по невежеству, или с голода возвратится в лоно Католической Церкви. 2. Строгое запрещение сходок было тщательно распространено на все те случаи, когда еретики могли бы собираться для поклонения Богу и Христу согласно с внушениями своей совести. Их религиозные сборища — все равно, происходили ли они публично или втайне, днем или ночью, в городах или селениях, — были запрещены эдиктами Феодосия, а здание или почва, служившие для этой противозаконной цели, отбирались и присоединялись к императорским поместьям. 3. Предполагалось, что заблуждения еретиков могут происходить только от их упорного характера и что это упорство достойно строгого наказания. К церковным проклятиям присовокуплялось нечто вроде гражданского отлучения от общества, которое отделя-

ло еретиков от их сограждан, налагая на них пятно позора, а такое различие, будучи установлено верховной властью, оправдывало или по меньшей мере извиняло оскорбления, которые они терпели от фанатической черни. Сектанты были постепенно лишены права занимать почетные или выгодные должности, и Феодосий полагал, что он поступил согласно с правилами справедливости, когда декретировал, что последователи Эвномия, признавшие различие между свойствами Отца и свойствами Сына, не могут делать никаких завещаний и сами не могут ничего получать по завещаниям. Принадлежность к ереси манихеев считалась за такое ужасное преступление, которое могло быть искуплено только смертью преступника, и на такое же наказание смертной казнью осуждали авдиан или квартодециман, которые доходили до таких ужасов, что праздновали Пасху не в указанное время. Каждый римлянин имел право выступить публичным обвинителем, но должность инквизитора, внушающая нам столь заслуженное отвращение, была впервые установлена в царствование Феодосия. Впрочем, нас уверяют, что его уголовные законы редко применялись со всей строгостью и что благочестивый монарх, по-видимому, желал не столько наказывать своих провинившихся подданных, сколько исправлять их и действовать на них запугиванием.

Теория гонений была установлена Феодосием, правосудие и благочестие которого восхвалялись святыми отцами христианской церкви; но применение этой теории к практике, в самом полном ее объеме, было делом его соперника и соправителя Максима, который был первым христианским монархом, проливавшим кровь своих христианских подданных за их религиозные мнения. Дело о присциллианистах — новой еретической секте, вносившей смуту в испанские провинции, — было перенесено по апелляции из бордоского собора в императорскую консисторию, находившуюся в Трире, и по приговору преторианского префекта семь человек были преданы пытке и казнены. Первым среди них был сам Присциллиан, епископ города Авилы в Испании, украшавший преимущества рождения и богатства ораторскими дарованиями и ученостью. Два пресвитера и два дьякона были казнены вместе со своим возлюбленным учителем, в котором они видели славного мученика; число жертв было еще увеличено казнью поэта Латрониана, слава которого могла равняться со славой древних писателей, и казнью благородной бордоской матроны, вдовы оратора Делфидия, Евхрокии. Два епископа, принявшие мнения Присциллиана, были осуждены на далекую и печальную ссылку, а некоторая снисходительность была оказана менее важным преступникам за то, что они поспешили раскаяться в своем заблуждении. Если можно верить признаниям, которые были исторгнуты при помощи страха и физических мучений, и неопределенным слухам, которые распространялись злобой и легковерием, то ересь присциллианистов была сочетанием всякого рода гнусностей — и магии, и нечестия, и разврата. Присциллиана, странствовавшего по свету в обществе своих духовных сестер, обвиняли в том, что он молится совершенно голым посреди своей конгрегации, и с уверенностью утверждали, что плод его преступной связи с дочерью Евхрокии был уничтожен еще более отвратительным и преступным образом. Но тщательное, или, вернее, беспристрастное, исследование откроет нам, что если присциллианисты и нарушали законы природы, то вовсе не распущенностью своего образа жизни, а его суровостью. Они безусловно отвергали наслаждения брачного ложа, вследствие чего спокойствие семейств нередко нарушалось разводами. Они предписывали или рекомендовали полное воздержание от всякой мясной пищи, а их беспрестанные молитвы, посты и всенощные бдения приучили их к строго-

му исполнению всех требований благочестия. Отвлеченные догматы секты касательно личности Христа и свойств человеческой души были заимствованы от гностиков и манихеев; но эта бесплодная философия, перенесенная из Египта в Испанию, не годилась для более грубых умов западного населения. Незнатные последователи Присциллиана страдали, влачили жалкое существование и постепенно исчезли; его учение было отвергнуто и духовенством и народом, но его смерть была предметом продолжительных и горячих споров, так как одни одобряли его смертный приговор, а другие находили его несправедливым. Мы с удовольствием можем остановить наше внимание на человеколюбивой непоследовательности двух самых знаменитых святых и епископов — Амвросия Миланского и Мартина Турского, вступившихся в этом случае за религиозную терпимость. Они сожалели о казненных в Трире несчастных; они отказывались от всяких сношений с осудившими их епископами, и если Мартин впоследствии уклонился от такого благородного решения, зато его мотивы были похвальны, а его раскаяние было примерным. Епископы Турский и Миланский без колебаний осуждали еретиков на вечные мучения, но были поражены и возмущены кровавым зрелищем их земной казни, и искусственные богословские предрассудки не могли заглушить в них честных чувств, внушаемых самой природой. Скандальная неправильность, с которой велось дело о Присциллиане и его приверженцах, еще более расшевелила в душе Амвросия и Мартина чувства человеколюбия. Представители властей гражданской и церковной вышли из пределов своего ведомства. Светский судья позволил себе принять апелляцию и постановить окончательный приговор по такому делу, которое касалось религии и потому подлежало ведомству суда церковного. Епископы унизили самих себя, приняв на себя обязанности обвинителей в уголовном деле. Жестокосердие Ифация, который присутствовал при пытке еретиков и требовал их смертной казни, возбуждало всеобщее и основательное негодование, а пороки этого развратного епископа считались за доказательство того, что в своем усердии он руководствовался низкими мотивами, основанными на его личных интересах. После казни Присциллиана грубые попытки религиозных гонений были заменены усовершенствованными приемами инквизиционного суда, который распределил между властями церковной и светской предметы их ведомства. Обреченную на смерть жертву священники стали правильным порядком выдавать судье, который передавал ее палачу, а безжалостный приговор церкви, объяснявший духовное преступление виновного, священники стали излагать мягким языком сострадания и заступничества.

Между лицами духовного звания, прославившими царствование Феодосия, Григорий Назианзин отличался дарованиями красноречивого проповедника; репутация человека, одаренного способностью творить чудеса, придавала вес и достоинство монашеским добродетелям Мартина Турского; но энергия и ловкость неустрашимого Амвросия давали ему пальму первенства над остальными епископами. Он происходил из знатной римской семьи; его отец занимал в Галлии важную должность преторианского префекта, а сын после окончания курса наук постепенно прошел через все степени гражданских отличий и наконец был назначен консуляром лигурийской провинции, которая заключала в своих пределах и императорскую миланскую резиденцию. Когда ему было тридцать четыре года и когда еще не было совершено над ним таинство крещения, Амвросий, и к своему собственному удивлению, и к удивлению всех, был внезапно превращен из губернатора в архиепископа. Без помощи, как уверяют, каких-либо хитростей или интриг все народо-

население единогласно приветствовало его титулом епископа; единодушие и настойчивость народных рукоплесканий приписывались сверхъестественному импульсу, и гражданский чиновник был вынужден принять на себя духовную должность, к которой он не был подготовлен ни привычками, ни занятиями своей прежней жизни. Но благодаря энергии своего ума, он скоро сделался способным исполнять с усердием и благоразумием обязанности своей церковной юрисдикции, и, между тем как он охотно отказывался от пустых и блестящих декораций земного величия, он для блага церкви снизошел до того, что согласился руководить совестью императоров и направлять администрацию империи. Грациан любил его и уважал, как родного отца, а тщательно обработанный трактат о вере в Троицу был написан для назидания юного монарха. После его трагической смерти, в то время как императрица Юстина трепетала и за свою собственную безопасность, и за безопасность своего сына Валентиниана, миланский архиепископ два раза ездил к трирскому двору с особыми поручениями. Он обнаружил одинаковую твердость и ловкость и в церковных, и в политических делах и благодаря своему влиянию и своему красноречию, как кажется, успел обуздать честолюбие Максима и обеспечить спокойствие Италии. Амвросий посвятил свою жизнь и свои дарования на служение церкви. Богатства внушали ему презрение; он отказался от своей личной собственности и без колебаний продал освященную церковную посуду для выкупа пленных. И духовенство и жители Милана были привязаны к своему архиепископу, и он умел снискать уважение слабых императоров, не гоняясь за их милостями и не страшась их нерасположения.

Управление Италией и опекунская власть над юным императором перешли в руки его матери Юстины, отличавшейся и своей красотой, и своим умом; но она имела несчастье исповедовать арианскую ересь, живя среди православного населения, и старалась внушить своему сыну те же заблуждения. Юстина была убеждена, что римский император имеет право требовать, чтобы в его владениях публично исповедовали его религию, и полагала, что поступила очень умеренно и благоразумно, предложив архиепископу уступить ей пользование только одной церковью или в самом Милане, или в одном из его предместий. Но Амвросий принял за руководство совершенно иные принципы. Он признавал, что земные дворцы принадлежат Цезарю, но на церкви смотрел как на дворцы Божьи и в пределах своей епархии считал себя законным преемником апостолов и единственным орудием воли Божьей. Привилегии христианства, как мирские, так и духовные, составляли исключительное достояние истинных верующих, а Амвросий считал свои богословские мнения за мерило истины и православия. Он отказался от всяких переговоров или сделок с приверженцами сатаны и со скромной твердостью заявил о своей решимости скорее умереть мученической смертью, чем согласиться на святотатство, а оскорбленная его отказом Юстина, считая такой образ действий за дерзость и бунт, опрометчиво решила опереться на императорские prerogatives своего сына. Желая публично совершить обряды говения перед наступающим праздником Пасхи, она вызвала Амвросия на заседание императорского совета. Он явился на это требование с покорностью верноподданного, но его сопровождала, без его согласия, бесчисленная толпа народа, которая стала шумно выражать свое религиозное рвение у входа во дворец; тогда испуганные министры Валентиниана, вместо того чтобы произнести приговор о ссылке миланского архиепископа, стали униженно просить его воспользоваться своим влиянием для того, чтобы оградить личную безопасность императора и восстановить спокой-

ствие в столице. Но обещания, которые были даны Амвросию и о которых он сообщил во всеобщее сведение, были скоро нарушены вероломным двором, и в течение тех шести самых торжественных дней, которые обыкновенно посвящаются христианами исключительно на дела благочестия, город судорожно волновался от взрывов мятежа и фанатизма. Дворцовым чиновникам было приказано приготовить для приема императора и его матери сначала Порцию базилику, а потом ту, которая была только что выстроена. Они поставили там, по обыкновению, императорский трон с великолепным балдахином и занавесами, но, чтобы оградить себя от оскорблений черни, они нашли нужным окружить себя сильной стражей. Арианские священнослужители, осмеливавшиеся показываться на улицах, подвергались неминуемой опасности лишиться жизни, а Амвросию принадлежала та заслуга и честь, что он спасал своих личных врагов из рук разъяренной толпы.

Но в то самое время, как он старался сдерживать взрывы религиозного рвения, горячность его проповедей постоянно воспламеняла мятежный нрав миланского населения. Он непристойно применял к матери императора сравнения с характерами Евы, жены Иова, Иезавели и Иродиады, а ее желание получить церковь для ариан он сравнивал с самыми ужасными гонениями, каким подвергалось христианство во времена господства язычников. Меры, которые были приняты императорским двором, привели только к тому, что обнаружили зло во всем его объеме. На общества купцов и фабрикантов был наложен денежный штраф в двести фунтов золота; всем должностным лицам и низшим чиновникам судебного ведомства было приказано от имени императора не выходить из своих домов, пока не прекратятся беспорядки, и министры Валентиниана имели неосторожность публично признаться, что самые почтенные из миланских граждан привязаны к религии своего архиепископа. К нему еще раз обратились с просьбой восстановить спокойствие в стране благовременным исполнением воли своего государя. Ответ Амвросия был изложен в самых скромных и почтительных выражениях, но эти выражения можно было принять за объявление междоусобной войны: «Его жизнь и его судьба находятся в руках императора, но он никогда не изменит Христовой церкви и не унижит епископского достоинства. За такое дело он готов претерпеть все, чему бы ни подвергла его злоба демона, и он только желает, чтобы ему пришлось умереть в присутствии его верной паствы и у подножия алтаря; он не старался возбуждать народную ярость, но только один Бог мог бы смирить ее; он опасался сцен кровопролития и смут, которые казались неизбежными, и молил Бога, чтобы ему не пришлось быть свидетелем гибели цветущего города, которая, может быть, распространилась бы на всю Италию». Упорное ханжество Юстины могло бы пошатнуть трон ее сына, если бы в этой борьбе с миланской церковью и миланским населением она могла положиться на слепое повиновение дворцовых войск. Значительный отряд гóтов получил приказание занять базилику, которая была предметом спора, а от арианских принципов и варварских нравов этих наемных чужеземцев можно было ожидать, что они будут готовы, не колеблясь, исползовать самые безжалостные приказания. Архиепископ встретил их у дверей храма и, грозно объявив приговор об их отлучении от церкви, спросил у них тоном отца и повелителя, для того ли, чтобы вторгаться в храмы Божьи, молили они республику о гостеприимном покровительстве. Варвары остановились в нерешительности; несколько часов перерыва были употреблены на переговоры, и императрица, склоняясь на убеждения самых благоразумных своих советников, согласилась оставить в руках католиков распо-

ряжение всеми миланскими церквями и скрыть до более благоприятного времени свои планы мщения. Мать Валентиниана никогда не могла простить Амвросию этого триумфа, а юный император гневно воскликнул, что его собственные служители готовы предать его в руки дерзкого попа.

Законы империи, из числа которых некоторые были подписаны именем Валентиниана, осуждали арианскую ересь и, по-видимому, оправдывали сопротивление католиков. По внушению Юстины был издан эдикт о религиозной терпимости, который был обнародован во всех провинциях, подчиненных миланскому правительству: тем, кто держался догматов, установленных в соборе в Римини, было дозволено свободно исповедовать свою религию, и император объявлял, что всякий, кто не захочет подчиняться этому священному и благотворному постановлению, будет наказан смертью как нарушитель общественного спокойствия. Характер миланского архиепископа и его манера выражаться заставляют думать, что он скоро доставил арианским министрам достаточное основание или, по меньшей мере, благовидный предлог, чтобы обвинить его в нарушении закона, о котором он отзывался как о законе кровожадном и тираническом. Ему был вынесен мягкий приговор о ссылке; ему было приказано немедленно выехать из Милана, но вместе с тем было дозволено избрать для себя место изгнания и взять с собою известное число приверженцев. Но авторитет тех святых, которые проповедовали и применяли на деле принципы пассивного повиновения, не имел в глазах Амвросия обязательной силы, когда церкви угрожала крайняя и неминуемая опасность. Он смело отказался повиноваться, а его отказ был единогласно одобрен верующими. Они поочередно охраняли особу своего архиепископа; они обнесли укреплениями собор и епископский дворец, а императорские войска, блокировавшие эти здания, не решились напасть на такие неприступные крепости. Масса бедных, живших щедрыми подаяниями Амвросия, воспользовалась этим удобным случаем, чтобы выказать свое усердие и свою признательность, а для того, чтобы терпение его приверженцев не истощилось от продолжительности и однообразия ночных бдений, он ввел в миланских церквях громкое и правильное пение псалмов. В то время как он вел эту ожесточенную борьбу, ему дан был в сновидении совет: взрыть землю на том месте, где более чем за триста лет перед тем были погребены смертные останки двух мучеников, Гервасия и Протасия. Под мостовой подле церкви тотчас были отрыты два цельных скелета с отделенными от туловищ головами и с большим количеством вытекшей из них крови. Эти святые мощи были с большой торжественностью выставлены на поклонение народа, и все подробности этого счастливого открытия были удивительно хорошо приспособлены к задуманному Амвросием плану. Уверяли, что и кости мучеников, и их кровь, и их одежда были одарены способностью исцелять страждущих и что их сверхъестественная сила передавалась самым отдаленным предметам, ничего не утрачивая из своих первоначальных свойств. Необыкновенное исцеление одного слепого и вынужденные признания некоторых людей, одержимых бесом, по-видимому, служили доказательствами истинной веры и святости Амвросия, а достоверность этих чудес была засвидетельствована самим Амвросием, его секретарем Павлином и его последователем, знаменитым Августином, занимавшимся в ту пору в Милане изучением риторики. Здравый смысл нашего времени, быть может, одобрит неверие Юстины и арианского двора, подсмеивавшихся над театральными представлениями, которые устраивались по указаниям архиепископа и на его счет. Однако влияние этих чудес на умы народа было так быстро и так непреодолимо, что слабый итальянский монарх

сознался в своей неспособности бороться с любимцем небес. Земные власти также вступились за Амвросия; бескорыстный совет Феодосия был внушен благочестием и дружбой, а галльский тиран скрыл под маской религиозного усердия свои враждебные и честолюбивые замыслы,

Максим мог бы спокойно царствовать до конца своей жизни, если бы он удовольствовался владычеством над тремя обширными странами, составляющими в наше время три самых цветущих королевства в Европе. Но жадный узурпатор, честолюбие которого не облагораживалось жаждою славы и военных подвигов, смотрел на свое могущество только как на орудие своего будущего величия, а его первые успехи сделались непосредственной причиной его гибели. Сокровища, исторгнутые им из угнетенных провинций, галльских, испанских и британских, были употреблены на организацию и содержание многочисленной армии, набранной большей частью между самыми свирепыми германскими племенами. Завоевание Италии было целью его надежд и военных приготовлений, и он втайне замыслил гибель невинного юноши, управление которого внушало его католическим подданным и отвращение и презрение. Но так как Максим желал занять без сопротивления альпийские проходы, то он принял с коварной благосклонностью Валентинианова посла Домнина Сирийского и убедил его взять из Галлии в помощь значительный отряд войск для участия в войне, которая велась в Паннонии. Прозорливый Амвросий понимал, что этими изъявлениями дружбы прикрывались враждебные замыслы, но Домнин был или подкуплен, или введен в заблуждение щедрыми милостями трирского двора, а миланское правительство упорно отклоняло всякие подозрения со слепой уверенностью, происходившей не от бодрости духа, а от страха. Походом союзных войск руководил посол, и он ввел их, без малейшего недоверия, внутрь альпийских крепостей. Но коварный тиран втихомолку следовал за ними со своей армией, и так как он старательно скрывал все свои движения, то блестящее от солнечных лучей оружие его воинов и пыль, которую поднимала его кавалерия, были первыми вестниками о приближении неприятеля к воротам Милана. В этом критическом положении Юстине и ее сыну не оставалось ничего другого, как скорбеть о своей собственной непредусмотрительности и обвинять в коварстве Максима, так как у них не было ни времени, ни средств, ни мужества, чтобы вступить в борьбу с галлами и германцами в открытом поле или внутри стен большого города, наполненного недовольными подданными. Бегство было единственным для них спасением. Аквилея была их единственным убежищем, а так как Максим уже вполне обнаружил свое врожденное коварство, то брат Грациана мог ожидать одинаковой с ним участи от руки того же убийцы. Максим с торжеством вступил в Милан, и хотя благоразумный архиепископ отказался от опасной и преступной дружбы с узурпатором, он косвенным образом содействовал успехам его оружия, внушая с церковной кафедры обязанность повиновения, а не сопротивления. Несчастная Юстина благополучно достигла Аквилеи, но она не полагалась на неприступность укреплений; она боялась осады и решилась искать покровительства великого Феодосия, славившегося во всех западных странах своим могуществом и своими доблестями. Императорское семейство село на тайно приготовленный для них корабль в одной из небольших гаваней Венецианской или Истрийской провинции, переплыло всю длину Адриатического и Ионического морей, обогнуло южную оконечность Пелопоннеса и после продолжительного, но благополучного плаванья нашло отдых в Фессалоникской гавани. Все подданные Валентиниана отказались от такого монарха, который своим отречением от престола снял с них клятву в верности, и если бы маленький городок

Эмона, лежащий на окраине Италии, не дерзнул прервать ряд бесславных побед Максима, узурпатор достиг бы без всякой борьбы единоличного обладания всей Западной империей.

Вместо того чтобы пригласить своих царственных гостей переехать в Константинопольский дворец, Феодосий по каким-то неизвестным для нас соображениям, назначил им резиденцией Фессалонику; впрочем, эти соображения не проистекали ни из презрения, ни из равнодушия, так как он поспешил посетить их в этом городе в сопровождении большей части двора и сената. После первых нежных уверений в дружбе и сочувствии благочестивый восточный император вежливо заметил Юстине, что преступная привязанность к ереси иногда наказывается не только в будущей, но и в здешней жизни и что публичное исповедание Никейского догмата было бы самым верным шагом к восстановлению ее сына на престоле, так как оно было бы одобрено и на земле и на небесах. Важный вопрос о мире и войне был передан Феодосием на рассмотрение состоявшего при нем совета, и те аргументы, в которых говорил голос чести и справедливости, приобрели со времени смерти Грациана новый вес и силу. Новые и многочисленные обиды присоединились к изгнанию императорского семейства, которому сам Феодосий был обязан своим возвышением. Безграничного честолюбия Максима нельзя было обуздать ни клятвами, ни трактатами, и всякая отсрочка энергичных и решительных мер, вместо того чтобы упрочить благодеяния мира, лишь подвергла бы восточную империю опасности неприятельского нашествия. Перешедшие через Дунай варвары хотя и приняли на себя в последнее время обязанности солдат и подданных, но все еще отличались своей врожденной свирепостью, а военные действия, доставляя им случай выказать свою храбрость, вместе с тем уменьшили их число и избавили бы провинции от их невыносимого гнета. Несмотря на то что эти благовидные и солидные резоны были одобрены большинством императорского совета, Феодосий все еще не решался обнажить меч для такой борьбы, которая не допускала никакого мирного соглашения; его благородная душа могла, без унижения для себя, тревожиться за безопасность его малолетних сыновей и за благосостояние его разоренного народа. Во время этих тревожных колебаний, в то время как судьба Римской империи зависела от решимости одного человека, прелести принцессы Галлы оказались чрезвычайно влиятельными ходатаями за его брата Валентиниана. Сердце Феодосия тронулось слезами красавицы; его очаровали прелести юности и невинности; Юстина искусно воспользовалась зародившейся в нем страстью, и празднование императорской свадьбы сделалось залогом и сигналом междоусобной войны. Бессердечные критики, полагающие, что всякое любовное увлечение налагает неизгладимое пятно на память великого и православного императора, готовы в этом случае оспаривать сомнительное свидетельство историка Зосима. С моей стороны я должен откровенно сознаться, что с удовольствием нахожу или даже ищу в великих переворотах каких-нибудь следов кротких и нежных семейных привязанностей, а в толпе свирепых и честолюбивых завоевателей с особенным удовольствием отличаю того чувствительного героя, который принял свои воинские доспехи из рук любви. Союз с персидским царем был обеспечен мирным договором; воинственные варвары согласились служить под знаменем предприимчивого и щедрого монарха или, по меньшей мере, не переходить через границы его империи, и владения Феодосия огласились от берегов Ефрата до берегов Адриатического моря шумом военных приготовлений и сухопутных и морских. Благодаря искусному распределению сил восточной империи они казались еще более многочисленными и отвлекали в разные стороны внимание Максима. Он

имел основание опасаться, что отряд войск под предводительством неустрашимого Арбогаста направится вдоль берегов Дуная и смело проникнет сквозь Рецийские провинции в самый центр Галлии. В гаванях Греции и Эпира был снаряжен сильный флот, по-видимому, с той целью, что, лишь только победа на море откроет свободный доступ к берегам Италии, Валентиниан и его мать высадутся на этих берегах, немедленно вслед за тем направятся в Рим и вступят в обладание этим главным центром и религии и империи. Между тем сам Феодосий выступил во главе храброй и дисциплинированной армии навстречу своему недостойному сопернику, который после осады Эмоны раскинул свой лагерь в Паннонии, неподалеку от города Сискии, сильно защищенного широким и быстрым течением Савы.

Поражение и смерть Максима. 388 г.

Ветераны, еще не забывшие того, как долго сопротивлялся тиран Максенций и какими большими он располагал средствами, могли ожидать, что им предстоят три кровопролитные кампании. Но борьба с узурпатором, захватившим, подобно Магненцию, верховную власть над Западом, окончилась без больших усилий в два месяца и на расстоянии только двухсот миль. Гений восточного императора должен был одержать верх над слабодушным Максимом, который в этом важном кризисе обнаружил полное отсутствие воинских дарований и личного мужества; впрочем, Феодосий имел и то преимущество, что он располагал многочисленной и хорошо обученной кавалерией. Из гуннов, аланов, а по их примеру и из готов были организованы эскадроны стрелков из лука, которые сражались сидя на конях и приводили в замешательство стойких галлов и германцев той быстротой движений, которой отличаются татары. После утомительного длинного перехода в знойный летний день они устремились на покрытых пеной конях вплавь через Саву, переплыли реку на глазах неприятеля, тотчас вслед за тем напали на войска, защищавшие противоположный берег, и обратили их в бегство. Брат тирана Марцеллин пришел на помощь к побежденным с отборными когортами, считавшимися за самую надежную силу западной армии. Прерванное наступлением ночи сражение возобновилось на следующий день, и после упорного сопротивления остатки самых храбрых войск Максима сложили свое оружие к ногам победителя. Феодосий не приостановил своего наступательного движения, чтобы выслушивать изъявления преданности от граждан Эмоны, а быстро продвигался вперед, чтобы окончить войну смертью или взятием в плен своего соперника, который бежал от него с быстротою страха. С вершины Юлийских Альп Максим спустился в итальянскую равнину с такой невероятной быстротой, что достиг Аквилеи в тот же день вечером; окруженный со всех сторон врагами, он едва успел запереть за собою городские ворота. Но эти ворота не могли долго противиться усилиям победоносного врага, а равнодушие, нерасположение и отчаяние солдат и населения ускорили гибель несчастного Максима. Его стащили с трона, сорвали с него императорские украшения, мантию, диадему и пурпуровые сандалии и препроводили его как преступника в лагерь Феодосия, находившийся почти в трех милях от Аквилеи. Император вовсе не желал подвергать западного тирана оскорблениям и даже обнаружил некоторое сострадание к нему и склонность к помилованию, так как Максим никогда не был его личным врагом, а теперь внушал ему лишь презрение. Несчастья, которые могут постигнуть и нас самих, всего сильнее возбуждают наше сочувствие, и при виде распростертого у его ног гордого соперника победоносный император должен был серьезно и глубоко

призадуматься. Но слабую эмоцию невольной жалости заглушили в нем требования справедливости и воспоминания о Грациане, и он предоставил эту жертву усердию солдат, которые увели Максима силой с глаз императора и немедленно отрубили ему голову. Известие о его поражении и смерти было повсюду принято с искренней или с притворной радостью; его сын Виктор, получивший от него титул Августа, был лишен жизни по приказанию или, быть может, рукою отважного Арбогаста, и все военные планы Феодосия были приведены в исполнение с полным успехом. Окончив междоусобную войну с меньшими затруднениями и меньшим кровопролитием, чем можно было ожидать, он провел зимние месяцы в своей миланской резиденции, занимаясь восстановлением порядка в опустошенных провинциях, а затем, в начале весны, совершил по примеру Константина и Констанция свой торжественный въезд в древнюю столицу Римской империи.

Оратор, который может, не подвергая себя опасности, хранить молчание, может также хвалить без затруднений и без отвращения. Потомство, конечно, отдаст Феодосию справедливость в том, что его характер может служить предметом для искреннего и обширного панегирика. Благоразумие изданных им законов и его военные успехи внушали уважение к его управлению и его подданным, и его врагам. Он отличался семейными добродетелями, которые так редко поселяются в царских дворцах. Феодосий был целомудрен и воздержан; он наслаждался, не впадая в излишества, удовольствиями роскошного стола и приятного общества, и пыл его любовных страстей никогда не искал для себя удовлетворения вне его законных привязанностей. Его пышные императорские титулы украшались нежными названиями верного супруга и снисходительного отца; из почтительной привязанности к своему дяде Феодосий дал ему такое положение при дворе, которое могло бы принадлежать его отцу; он любил детей своего брата и своей сестры, как своих собственных, и его заботливое внимание распространялось на самых отдаленных и незнатных родственников. Своих близких друзей он выбирал между теми людьми, которых он хорошо знал, в то время как жил частным человеком; сознание своих личных достоинств делало его способным пренебрегать случайными отличиями императорского величия, и он доказал на деле, что забыл все обиды, нанесенные ему до его вступления на престол, но с признательностью вспоминал все оказанные ему услуги и одолжения. Он придавал своему разговору то игривый, то серьезный тон сообразно с возрастом, рангом или характером тех, кого он допускал в свое общество, а его приветливость в обхождении была отблеском его души. Феодосий уважал простоту хороших и добродетельных людей, щедро награждал за искусства и таланты, если они были полезны или даже только невинны, и, за исключением еретиков, которых он преследовал с неумолимой ненавистью, обширная сфера его благодеяний ограничивалась лишь пределами человеческой расы. Управления огромной империей, конечно, достаточно для того, чтобы занимать время и упражнять дарования смертного; тем не менее деятельный монарх, вовсе не искавший репутации ученого, постоянно уделял несколько минут досуга на поучительное чтение. История, расширявшая приобретенные им на собственном опыте познания, была любимым предметом его занятий. Летописи Рима представляли ему в длинный период тысячи ста лет разнообразную и поразительную картину человеческой жизни, и было в особенности замечено, что когда ему приходилось читать описание жестокостей Цинны, Мария или Суллы, он горячо высказывал свое благородное отвращение к этим врагам человечества и свободы. Его беспристрастное суждение о прошлых событиях служило руководством для его собственного образа дей-

ствий, и он отличался тем редким достоинством, что его добродетели как будто умножались вместе с дарами, которыми его осыпала фортуна; эпоха его блестящих успехов была вместе с тем эпохой его умеренности, и его милосердие обнаружилось в самом ярком свете после опасностей и успешного исхода междоусобной войны. В первом пылу победы были перерезаны мавританские телохранители тирана, а некоторые из самых преступных его сообщников погибли от меча правосудия. Но император заботился не столько о наказании виновных, сколько о спасении невинных. Пострадавшие от восстания западные жители, которые сочли бы себя совершенно счастливыми, если бы получили обратно отнятые у них земли, были удивлены выдачей им таких сумм, которые покрывали понесенные ими убытки, и великодушный победитель позаботился даже о средствах существования престарелой матери Максима и о воспитании его дочерей. Такие нравственные совершенства почти оправдывают нелепое предположение оратора Паката, что, если бы старший Брут мог снова взглянуть на этот мир, этот суровый республиканец отрекся бы у ног Феодосия от своей ненависти к царям и искренно сознался бы, что такой монарх был самым надежным блюстителем благосостояния и достоинства римского народа.

Однако проницательный взор основателя республики заметил бы два существенных недостатка, которые, вероятно, заглушили бы в нем эту минутную склонность к деспотизму. Прекрасные душевные качества Феодосия нередко расплывались от лени, а иногда воспалялись до гневного раздражения. Когда он стремился к какой-нибудь важной цели, его деятельность и мужество были способны к самым усиленным напряжениям, но лишь только цель была достигнута или опасность была устранена, герой впадал в бесславное бездействие и, забывая, что время монарха принадлежит его подданным, предавался невинным, но пустячным удовольствиям роскошной дворцовой жизни. Феодосий был от природы нетерпелив и вспыльчив, а на таком посту, на котором он не мог встречать сопротивления пагубным последствиям своей раздражительности и даже едва ли мог услышать от кого-либо отсоветования, человеколюбивый монарх основательно тревожился сознанием и своих слабостей, и своего могущества. Он постоянно старался сдерживать или направлять взрывы своих страстей, и успех его усилий увеличивал достоинства его милосердия. Но с трудом достигаемая добродетель, которая заявляет притязание на победу, может потерпеть и поражение, и царствование мудрого и милосердного монарха опозорилось таким актом жестокости, который запятнал бы летописи Нерона или Домициана. Историк приходится отметить два случившихся в течение трех лет и, по-видимому, противоречащих одно другому деяния Феодосия — великодушное помилование антиохийских граждан и бесчеловечное избиение фессалоникского населения.

Восстание в Антиохии. 387 г.

Жители Антиохии были такого беспокойного характера, что никогда не были довольны ни своим собственным положением, ни характером и управлением своих государей. Арианские подданные Феодосия сожалели о том, что у них отняли их церкви, а так как звание Антиохийского епископа оспаривали друг у друга три соперника, то приговор, положивший конец их притязаниям, возбудил ропот в среде тех двух конгрегаций, которые не имели успеха. Требования войны с готами и неизбежные расходы, сопровождавшие заключение мира, заставили императора увеличить бремя налогов, а так как азиатские провинции не подвергались тем бедствиям, которые выпали на долю Европы, то они неохотно принимали участие в расходах. С наступлением десятого года царствования Феодосия готовилось обычное празднество, которое было более

приятно для солдат, получавших щедрые подарки, чем для подданных, добровольные приношения которых уже давно были превращены в чрезвычайный и обременительный налог. Эдикты о распределении этого налога прервали спокойствие и развлечения жителей Антиохии, и толпа просителей стала осаждать судейский трибунал, требуя в трогательных, но вначале почтительных выражениях удовлетворение ее жалоб. Она постепенно дошла до раздражения вследствие высокомерия правителей, называвших ее жалобы преступным сопротивлением; ее сатирическое остроумие перешло в резкую и оскорбительную брань, а эта брань постепенно перешла с низших правительственных агентов на священную особу самого императора. Ее ярость, усилившаяся вследствие слабого сопротивления властей, обрушилась на изображения императорского семейства, выставленные на самых видных местах для народного поклонения. Толпа стащила с пьедесталов статую Феодосия, его отца, его жены Флакиллы и двух его сыновей, Аркадия и Гонория, разбила их вдребезги или с презрением тащила по улицам; эти оскорбления императорского достоинства достаточно ясно обнаруживали преступные намерения черни. Смятение было тотчас прекращено прибытием отряда стрелков, и жители Антиохии имели достаточно времени размыслить о важности своего преступления и о его последствиях. Местный губернатор, по обязанности своего звания, послал в Константинополь подробное описание случившегося, а дрожавшие от страха граждане, желая заявить константинопольскому правительству о сознании своей вины и о своем раскаянии, положились в этом на усердие своего епископа Флавиана и на красноречие сенатора Гилария — друга и, по-видимому, ученика Либания, гений которого оказался в этом печальном случае небеспользным для его страны. Но две столицы, Антиохия и Константинополь, были отделены одна от другой расстоянием в восемьсот миль, и, несмотря на быстроту почтовых сообщений, виновный город был наказан уже тем, что долго оставался в страшной неизвестности насчет ожидавшего его наказания. Доходившие до антиохийцев слухи возбуждали в них то надежды, то опасения; их приводили в ужас рассказы, что будто император, раздраженный оскорблением, которое было нанесено его собственным статуям и в особенности статуям горячо любимой им императрицы, решился стереть с лица земли дерзкий город и истребить без различия возраста и пола его преступных жителей, из которых многие уже попытались из страха укрыться в городах Сирии и в соседних степях. Наконец, через двадцать четыре дня после восстания, генерал Геллебик и министр двора Цезарий обнародовали волю императора и приговор над Антиохией. Эта гордая столица была лишена звания города; у нее отняли ее земли, привилегии и доходы и подчинили ее, под унижительным названием деревни, юрисдикции Лаодикеи. Бани, цирк и театры были закрыты, и, чтобы лишить жителей Антиохии не только развлечений, но и достатка, Феодосий строго приказал прекратить раздачу хлеба. Затем его уполномоченные приступили к расследованию виновности отдельных лиц — как тех, кто разрушал священные статуи, так и тех, кто этому не препятствовал. Окруженные солдатами трибуны Геллебика и Цезария были поставлены посреди площади. Самые знатные и самые богатые антиохийские граждане приводились к ним закованными в цепи; производство следствия сопровождалось пытками, и приговоры постановлялись по личному усмотрению этих экстраординарных судей. Дома преступников были назначены для публичной продажи; их жены и дети внезапно перешли от избытка и роскоши к самой крайней нищете, и все ожидали, что кровавые казни завершат те ужасы, в которых антиохийский проповедник, красноречивый Златоуст, видел верное изображение последнего и всеобщего суда. Но уполномоченные

Феодосия неохотно исполняли возложенное на них жестокое поручение; бедствия народа вызывали из их глаз слезы сострадания, и они с уважением выслушивали настоятельные мольбы монахов и пустынников, толпами спустившихся со своих гор. Геллебика и Цезария убедили приостановить исполнение их приговора, и было решено, что первый из них останется в Антиохии, а второй отправится со всевозможной поспешностью в Константинополь и осмелится еще раз испросить инструкций у своего государя. Гнев Феодосия уже стих; и епископ и оратор, которые были отправлены народом в качестве депутатов, были благосклонно приняты императором, который высказал упреки, более похожие на жалобы оскорбленной дружбы, нежели на суровые угрозы гордости и могущества. И городу, и гражданам Антиохии было даровано полное прощение; двери тюрем растворились; сенаторы, трепетавшие за свою жизнь, снова вступили в обладание своими домами и поместьями, и столица востока снова стала наслаждаться прежним величием и блеском. Феодосий удостоил своих похвал Константинопольский сенат, великодушно ходатайствовавший за своих антиохийских собратьев; он наградил Гилария за его красноречие званием губернатора Палестины и отпустил антиохийского епископа с самыми горячими выражениями своего уважения и признательности. Тысяча новых статуй были воздвигнуты милосердию Феодосия; одобрения его поданных были согласны с голосом его собственного сердца, и император признавался, что если отправление правосудия есть самая важная из обязанностей монарха, право миловать есть самое изысканное из его наслаждений.

Восстание в Фессалонике. 390 г.

Мятеж в Фессалонике приписывают более позорной причине, а его последствия были гораздо более ужасны. Этот главный город всех иллирийских провинций охраняли от опасностей войны с готами сильные укрепления и многочисленный гарнизон. У главного начальника этих войск Боферика, который, судя по его имени, был из варваров, находился в числе его рабов красивый мальчик, возбудивший грязные желания в одном из наездников цирка. Дерзкий и грязный любовник был заключен в тюрьму по приказанию Боферика, который сурово отверг неотступные просьбы толпы, сожалевшей в день общественных игр об отсутствии своего любимца и полагавшей, что в наезднике искусство нужнее добродетели. Старые причины неудовольствия усилили раздражение народа, а так как гарнизон был ослаблен отправкой некоторых отрядов на театр итальянской войны и частыми дезертирствами, то он не был в состоянии защитить несчастного генерала от ярости народа. Боферик был умерщвлен вместе с несколькими из своих высших офицеров; народ тащил их обезображенные трупы по улицам, и живший в то время в Милане император был поражен известием о дерзости и жестокостях фессалоникского населения. Самый хладнокровный судья приговорил бы виновников такого преступления к строгому наказанию, а заслуги Боферика, быть может, еще усилили в его государе чувства скорби и негодования. При горячности и вспыльчивости Феодосия, ему казался слишком медлительным обычный ход судебного производства, и он торопливо решил, что кровь его представителя должна быть искуплена кровью виновного населения. Однако он еще колебался в выборе между милосердием и мщением, а епископ почти успел вымолить у него обещание общего помилования; но лстынные подстрекания его министра Руфина снова разожгли его гнев, и, когда он после отправки гонца с кровавыми приказами попытался приостановить исполнение своего приговора, уже было поздно. Наказание римского города было безрассудно предоставлено неразборчи-

вой ярости варваров, а приготовления к нему были сделаны с коварной хитростью тайного заговора. Жители Фессалоники были вероломным образом приглашены от имени императора на игры цирка, и такова была неутолимая жажда к развлечениям этого рода, что многочисленные зрители не обратили внимания на те факты, которые должны бы были внушать им опасения и подозрения. Лишь только публика оказалась в полном сборе, солдатам, поставленным в засаде вокруг цирка, был подан сигнал не к началу игр, а к общей резне. Они в течение трех часов убивали всех без разбора, не делая никакого различия между иностранцами и туземцами, между лицами различного возраста и пола, между невинными и виновными; число убитых, по самому умеренному расчету, определяют в семь тысяч, а некоторые писатели утверждают, что для успокоения души Боферика было принесено в жертву более пятнадцати тысяч человек. Один заезжий торговец, вероятно, не принимавший никакого участия в убийстве этого генерала, предлагал собственную жизнь и все свое состояние за пощаду одного из двух своих сыновей; но, в то время как нежный отец колебался в выборе, не решаясь обречь другого сына на гибель, солдаты вывели его из этого затруднения, пронзив своими мечами разом обоих незащитных юношей. Оправдание убийц, что они были обязаны представить предписанное число голов, только усиливает ужас совершенной по приказанию Феодосия резни, придавая ей внешний вид чего-то заранее хладнокровно обдуманного. Вина императора была тем более велика, что он подолгу и часто жил в Фессалонике. И положение несчастного города, и внешний вид его улиц и зданий, и даже одежда, и черты лица многих из его жителей были ему хорошо знакомы, так что он мог живо представить себе то население, которое он приказал истребить.

Из почтительной привязанности к православному духовенству император питал любовь и уважение к Амвросию, который соединял в своем лице все епископские добродетели в их высшей степени. И друзья, и министры Феодосия подражали примеру своего государя, и он заметил, скорее с удивлением, чем с неудовольствием, что о всех его тайных решениях немедленно извещают архиепископа, который руководствовался похвальным убеждением, что всякое распоряжение гражданской власти имеет какое-либо соотношение со славой Божьей и с интересами истинной религии. В Каллинике — незначительном городке, лежащем на границе Персии, — монахи и чернь, разгоряченные и собственным фанатизмом, и фанатизмом своего епископа, сожгли дом, в котором собирались валентиниане, и еврейскую синагогу. Местный судья приговорил мятежного епископа к постройке новой синагоги или к уплате всех убытков, и этот умеренный приговор был утвержден императором. Но он не был утвержден миланским архиепископом. Амвросий продиктовал послание к императору, наполненное такими порицаниями и упреками, которые были бы более уместны, если бы над Феодосием был совершен обряд обрезания и если бы он отказался от религии, принятой вместе со святым крещением. Он находил, что терпимость по отношению к иудейской вере есть то же, что гонение на христианскую религию, смело заявлял, что и сам он и всякий истинно верующий охотно присвоил бы себе и заслугу подвига, совершенного епископом города Каллиника, и его мученический венец, и высказывал в самых трогательных выражениях сожаления, что исполнение приговора будет пагубно и для репутации, и для спасения души Феодосия. Так как это интимное увещание не произвело того впечатления, какого ожидал архиепископ, то он обратился к императору публично с церковной кафедры и объявил, что не будет совершать служение перед алтарем до тех пор, пока не получит от Феодосия торже-

ственного и положительного обещания оставить безнаказанными епископа и монахов Каллиника. Отречение Феодосия от его первого решения было искреннее, а во время его пребывания в Милане его привязанность к Амвросию постоянно усиливалась вследствие привычки проводить свое время вместе с ним в благочестивых и фамильярных беседах.

Когда Амвросий узнал о фессалоникской резне, его душа наполнилась ужасом и скорбью. Он удалился в деревню, чтобы на свободе предаваться своей грусти и чтобы избежать встречи с Феодосием. Но так как архиепископ понимал, что робкое молчание сделает его сообщником преступления, он объяснил в частном письме к императору всю гнусность преступления, которое могло бы быть заглажено только слезами раскаяния. Епископская энергия Амвросия сдерживалась благоразумием, и он удовлетворялся чем-то вроде косвенного отлучения от церкви, заявив императору, что вследствие полученного им в сновидении предостережения он впредь не будет совершать жертвоприношений ни от имени Феодосия, ни в его присутствии; вместе с тем он посоветовал императору ограничиваться одними молитвами и не приближаться к алтарю Христа или к Св. Причастию с руками, еще запятанными кровью невинного населения. Император был глубоко потрясен и угрызениями своей совести, и упреками своего духовного отца и, оплакав пагубные и неизгладимые последствия своей опрометчивой запальчивости, отправился, по своему обыкновению, в большой Миланский собор, чтобы исполнить обряд говенья. Архиепископ, остановив его на паперти, объявил своему государю тоном и языком небесного посланца, что тайное раскаяние недостаточно для того, чтобы загладить публичное преступление и удовлетворить правосудие оскорбленного Божества. Феодосий со смирением возразил, что хотя он и провинился в человекоубийстве, но Давид, человек по сердцу Божьему, провинился не только в смертоубийстве, но и в прелюбодеянии. «Вы подражали Давиду в его преступлении, подражайте же ему и в его покаянии», — отвечал непреклонный Амвросий. Суровые условия примирения и помилования были приняты, и публичное покаяние императора Феодосия внесено в летописи церкви как одно из самых славных для нее событий. В силу самых мягких правил церковного благочиния, какие были установлены в четвертом столетии, преступление человекоубийства заглаживалось двадцатилетним покаянием, а так как человеческая жизнь недостаточно продолжительна для того, чтобы можно было таким образом очиститься от всех убийств, совершенных в Фессалонике, то пришлось бы не допускать убийцу до Св. Причастия до самой его смерти. Но архиепископ, руководствуясь соображениями религиозной политики, обнаружил некоторую снисходительность к высокому сану кающегося, который готов был смиренно сложить к его стопам свою диадему, а назидание публики также могло считаться веским мотивом в пользу того, чтобы сократить срок наказания. Поэтому было признано достаточным, чтобы римский император, сняв с себя все внешние отличия верховной власти, появился посреди миланской церкви в плачевной позе просителя и униженно молил со вздохами и слезами о прощении его грехов.

В этом духовном врачевании Амвросий попеременно употреблял то мягкие приемы, то строгие. По прошествии почти восьми месяцев Феодосий был снова принят в общество верующих, а эдикт, устанавливающий тридцатидневный промежуток между постановлением смертного приговора и его исполнением, может считаться за ценный результат его покаяния. Потомство одобрило доблестную твердость архиепископа, и пример Феодосия может служить доказательством того, как благотворно влияние тех принципов, в силу которых

монарха, не признающего над собою власти земных судей, можно заставить уважать законы и представителей невидимого Судии. «Монарха, — говорит Монтескье, — который подчиняется влиянию надежд и опасений, внушаемых религией, можно сравнить со львом, который знает только голос своего сторожа и послушен только ему одному». Поэтому действия царственных животных зависят от склонностей и интересов тех людей, которые приобрели такую опасную над ним власть, и то духовное лицо, которое держит в своих руках совесть монарха, может или воспламенить, или сдерживать его кровожадные страсти. Таким образом, Амвросий с одинаковой энергией и с одинаковым успехом отстоял и принцип человеколюбия, и принцип религиозных гонений.

После поражения и смерти галльского тирана вся Римская империя оказалась во власти Феодосия. Над Востоком он властвовал по выбору Грациана, а над Западом — по праву завоевания, и проведенные им в Италии три года были с пользой употреблены на восстановление авторитета законов и на уничтожение тех злоупотреблений, которые безнаказанно совершались при узурпаторе Максиме и во время малолетства Валентиниана. Имя Валентиниана постоянно выставлялось на официальных актах, но нежный возраст и сомнительные религиозные верования сына Юстины, по-видимому, требовали от православного опекуна особой предусмотрительности и заботливости. Феодосий мог бы устранить этого несчастного юношу от управления империей и даже лишить его наследственных прав на престол, не подвергая себя опасностям борьбы и даже, быть может, не вызывая ропота неудовольствия. Если бы Феодосий принял в руководство свои личные интересы и политические расчеты, его друзья нашли бы оправдания для такого образа действий, но выказанное им в этом достопамятном случае великодушие вызвало горячее одобрение даже со стороны самых непримиримых его врагов. Он снова возвел Валентиниана на миланский престол и, ничего не требуя для самого себя ни в настоящем, ни в будущем, возвратил ему абсолютное владычество над всеми провинциями, которые были отобраны у него Максимом, прибавив к этим обширным наследственным владениям страны по ту сторону Альп, которые он отнял, вследствие успешной войны, у убийцы Грациана. Довольный той славой, которую он приобрел, отомстив за смерть своего благодетеля и освободив Запад от ига тирана, император возвратился из Милана в Константинополь и в спокойном обладании Востоком постепенно предался своей прежней склонности к роскоши и бездействию. Феодосий исполнил свои обязанности по отношению к брату Валентиниана и все, что внушала ему супружеская привязанность к его сестре, и потомство, восхищаясь чистым и необыкновенным блеском его царствования, должно также восхищаться беспримерным великодушием, с которым он воспользовался своей победой.

Императрица Юстина не надолго пережила свое возвращение в Италию, и, хотя она была свидетельницей торжества Феодосия, была лишена всякого влияния на управление своего сына. Пагубная привязанность к арианской секте, впитанная Валентинианом из ее примера и ее наставлений, была скоро изглажена наставлениями более православного воспитателя. Его усилившееся усердие к Никейскому догмату и его сыновняя почтительность к достоинствам и авторитету Амвросия внушили католикам самое благоприятное мнение о добродетелях юного повелителя Запада. Они восхищались его целомудрием и воздержностью, его презрением к мирским развлечениям, его склонностью к деловым занятиям и его нежной привязанностью к двум его сестрам, которая, однако, оставляла неприкосновенной его беспристрастную справедливость и не вовлекала его в постановление несправедливых приговоров даже над са-

мыми последними из его подданных. Но этот прекрасный юноша, еще не достигнув двадцатилетнего возраста, сделался жертвой измены, которая снова вовлекла империю в ужасы междоусобной войны. Храбрый воин из племени франков Арбогаст занимал второстепенный пост на службе у Грациана. После смерти своего государя он поступил на службу Феодосия, способствовал своей храбростью и воинскими дарованиями низвержению тирана и после окончательной победы был назначен главным начальником галльских армий. Его замечательные дарования и кажущаяся преданность доставили ему доверие и монарха и народа; его безграничная щедрость подкупила в его пользу войска, и, в то время как все считали его за опору государства, этот смелый и вероломный варвар втайне решил или сделаться главою Западной империи, или разрушить ее. Главные должности в армии были розданы франкам; приверженцы Арбогаста пользовались всеми отличиями и должностями гражданского управления; развитие заговора удалило от Валентиниана всех преданных ему служителей, и слабый император, будучи лишен возможности получать извне какие-либо сведения, постепенно низошел до зависимого и опасного положения пленника. Хотя его негодование могло бы быть приписано опрометчивости и нетерпению юности, оно происходило скорей от благородного мужества монарха, создававшего, что он достоин престола. Он втайне пригласил миланского архиепископа принять на себя роль посредника, который был бы порукой за его искренность и за его личную безопасность. Он известил Восточного императора о своем беспомощном положении и объявил, что, если Феодосий не поспешит к нему на помощь, он будет принужден спасаться бегством из своего дворца, или, скорее, из своего тюремного заключения в Виенне, в Галлии, где он имел неосторожность поселиться посреди приверженцев враждебной партии. Но помощь была сомнительна, и ждать ее пришлось бы очень долго; а так как император терпел каждый день новые обиды и ни от кого не получал ни помощи, ни доброго совета, то он опрометчиво решился немедленно вступить в борьбу со своим всемогущим генералом. Он принял Арбогаста, сидя на своем троне, и, когда граф приблизился к нему с некоторой почтительностью, вручил ему бумагу, которая увольняла его от всех его должностей. «Моя власть, — возразил Арбогаст с дерзким хладнокровием, — не зависит от улыбки или от нахмуренных бровей монарха», — и презрительно бросил бумагу на пол. Разгневанный монарх, ухватившись за меч одного из своих телохранителей, старался вытащить его из ножен, и пришлось прибегнуть к некоторому насилию, чтобы помешать ему употребить это оружие против своего врага или против самого себя. Через несколько дней после этой необыкновенной ссоры, ясно обнаружившей и раздражительность, и бессилие несчастного Валентиниана, он был найден задушенным в своей комнате, а Арбогаст постарался прикрыть свою явную виновность и распространить слух, что юный император сам с отчаяния лишил себя жизни. Тело Валентиниана было перевезено с приличной пышностью в миланский склеп, а архиепископ произнес надгробную речь, в которой восхвалял его добродетели и оплакивал его несчастья. В этом случае Амвросий из человеролюбия дозволил себе странное нарушение своей богословской системы: желая утешить плачущих сестер Валентиниана, он положительно уверял их, что их благочестивый брат без всяких затруднений допущен в жилище вечного блаженства, несмотря на то что над ним не было совершено таинство крещения.

Арбогаст предусмотрительно подготовил успех своих честолюбивых замыслов, и провинциальные жители, в груди которых угасло всякое чувство патриотизма и преданности, ожидали со смиренной покорностью нового повелителя,

который будет возведен, по выбору франка, на императорский престол. Возвышению самого Арбогаста препятствовали сохранившиеся в его душе предрассудки, и этот здравомыслящий варвар нашел более удобным властвовать от имени какого-нибудь покорного римлянина. Он возложил императорскую мантию на ритора Евгения, которого он уже прежде того возвысил из звания своего домашнего секретаря в звание министра двора. Состоя на частной службе при графе и занимая государственную должность, Евгений умел заслужить его одобрение своей преданностью и своими дарованиями; его ученость и красноречие в соединении с чистотою его нравов внушали к нему уважение в народе, а то, что он, по-видимому, неохотно вступил на престол, могло считаться за доказательство его душевных качеств и умеренности. Послы от нового императора были немедленно отправлены к Феодосию, чтобы сообщить ему с притворной скорбью о неожиданно приключившейся смерти Валентиниана; не называя имени Арбогаста, они просили восточного императора признать своим законным соправителем почтенного гражданина, единогласно призванного на престол и западными армиями, и западными провинциями. Феодосий был основательно возмущен вероломством варвара, в один момент уничтожившего плоды его усилий и одержанной перед тем победы, а слезы страстно любимой супруги побуждали его отомстить за смерть ее несчастного брата и еще раз восстановить силою оружия поправленное величие императорского престола. Но так как вторичное завоевание запада было делом трудным и опасным, то он отпустил Евгениевых послов с великолепными подарками и с двусмысленным ответом и затем употребил почти два года на приготовления к междоусобной войне. Прежде чем принять какое-либо окончательное решение, благочестивый император пожелал узнать волю небес, а так как распространение христианства наложило печать молчания на прорицалища Дельфийское и Додонское, то он обратился за советом к одному египетскому монаху, который славился тем, что творил чудеса и предсказывал будущее. Один из любимых евнухов Константинопольского дворца, Евтропий, отправился морем в Александрию, а оттуда поднялся вверх по Нилу до города Ликополя, или города Волков, внутрь Фиваиды. Неподалеку от этого города, на вершине высокой горы, святой Иоанн построил собственными руками скромную келью, в которой прожил более пяти лет, ни разу не отворив своей двери, ни разу не видев ни одной женщины и ни разу не поев такой пищи, которая готовится на огне или каким-либо другим искусственным способом. Пять дней в неделю он проводил в молитвах и размышлениях, но по субботам и воскресеньям он отворял небольшое окно и давал аудиенцию толпе просителей, стекавшихся туда со всех концов христианского мира. Феодосиев евнух почтительно подошел к этому окну, предложил вопросы касательно исхода междоусобной войны и скоро возвратился в Константинополь с благоприятным предсказанием, воодушевившим императора уверенностью в кровопролитной, но неминуемой победе. Исполнению этого предсказания способствовали все средства, какие только может подготовить человеческая предусмотрительность. Деятельность двух высших генералов, Стилихона и Тимазия, была направлена на пополнение римских легионов рекрутами и на восстановление в них дисциплины. Сильные отряды варваров приготовились к выступлению под знаменами своих национальных вождей. Иберы, арабы и готы, с удивлением поглядывавшие друг на друга, стали под знамена одного и того же монарха, и знаменитый Аларих приобрел в школе Феодосия те военные познания, которые он впоследствии употребил на разрушение Рима.

Западный император, или, правильнее говоря, его генерал Арбогаст, знал по ошибкам и по неудаче Максима, как опасно растягивать линию обороны пе-

ред искусным противником, который может по своему произволу усиливать или приостанавливать свои нападения, направлять их на один пункт или разом на несколько пунктов. Арбогаст занял позицию на границе Италии; войскам Феодосия он позволил без сопротивления занять паннонийские провинции до подножия Юлийских Альп и даже оставил незащищенными горные проходы или по небрежности, или, быть может, с коварным расчетом. Спустившись с гор, Феодосий не без удивления увидел сильную армию из галлов и германцев, покрывавшую своими палатками равнину, которая простирается до стен Аквилеи и до берегов Фригида, или холодной реки. На узком театре войны, окаймленном Альпами и Адриатическим морем, не было достаточно места для искусных военных эволюций; Арбогаст был слишком горд, чтобы просить помилования; его преступление не допускало надежды на примирение, а Феодосий горел нетерпением поддержать свою военную славу и наказать убийц Валентиниана. Не взвесив естественных и искусственных препятствий, которые ему приходилось преодолеть, восточный император немедленно напал на укрепления своего противника и, предоставив готам самый опасный пост, считавшийся вместе с тем и самым почетным, втайне желал, чтобы кровопролитная битва уменьшила и заносчивость, и число этих завоевателей. Десять тысяч варварских союзников вместе с генералом иберов Бакурием храбро пали на поле битвы. Но кровь не дала победы; галлы удержались на своих позициях, и наступившая ночь прикрыла беспорядочное бегство или отступление войск Феодосия. Император удалился на соседние горы, где провел тревожную ночь без сна, без провизии и без всякой надежды на успех, кроме той, которую дает решительным людям в самые критические минуты презрение к фортуне и к жизни. Победа Евгения праздновалась в его лагере с дерзким и разнузданным весельем, между тем как деятельный и бдительный Арбогаст втайне отрядил значительный отряд войск с приказанием занять горные проходы в тылу у восточной армии с целью окружить ее со всех сторон. На рассвете Феодосий понял, как опасно и безвыходно его положение; но его опасения рассеялись с получением от начальника этих войск уведомления, что они не желают более служить под знаменем тирана. Император без всяких колебаний согласился на все те почетные и выгодные отличия, которые они выговорили себе в награду за свое вероломство, а так как трудно было достать чернил и бумаги, то он утвердил этот договор подписью в своей собственной записной книжке. Это временное подкрепление ободрило его солдат, и они с уверенностью снова напали на лагерь тирана, на права и военные успехи которого, по-видимому, не полагались высшие из его генералов. В то время как битва была в самом разгаре, внезапно поднялась с востока одна из тех свирепых бурь, которые так часты в Альпах, армия Феодосия занимала такую позицию, что была защищена от ярости ветра, который нес облака пыли в лицо неприятеля, расстраивал его отряды, вырывал его дротики. Этим случайным преимуществом искусно воспользовался Феодосий; суеверный страх галлов увеличил в их глазах свирепость бури, и они, не краснея, преклонились перед невидимой небесной силой, по-видимому, ратававшей за благочестивого императора. Его победа была решительна, а смерть двух его соперников соответствовала различию их характеров. Ритор Евгений, едва не достигший всемирного владычества, был вынужден молить императора о пощаде, и, в то время как он лежал распростертым у ног Феодосия, безжалостные солдаты отрубили ему голову. Арбогаст, проиграв сражение, в котором он исполнял обязанности и солдата и генерала, бродил несколько дней по горам. Но когда он убедился, что его дело проиграно и что нет возможности спастись бегством, этот неустрашимый варвар последовал

примеру древних римлян и вонзил свой меч в собственную грудь. Судьба империи была решена в небольшом уголке Италии; законный представитель Валентинианова рода обнял миланского архиепископа и милостиво принял от западных провинций изъявления покорности. Эти провинции участвовали в преступном восстании, между тем как один только неустрашимый Амвросий не признавал власти счастливого узурпатора. Он отверг подарки Евгения с такой смелостью, которая была бы гибельна для всякого другого, не захотел вступать с ним ни в какие сношения и удалился из Милана, чтобы избежать отвратительного лицемерия тирана, падение которого он предсказывал в сдержанных и двусмысленных выражениях. Заслуги Амвросия были оценены по достоинству победителем, которому союз с церковью обеспечивал преданность народа, и милосердие Феодосия приписывают человеколюбивому посредничеству миланского архиепископа.

После поражения Евгения и заслуги, и власть Феодосия были охотно признаны всеми жителями Римской империи. Все, что он до тех пор сделал, внушало самые приятные надежды на будущее, а возраст императора, еще не перешедший за пятьдесят лет, по-видимому, расширял перспективу общего благополучия. Поэтому его смерть, приключившаяся лишь через четыре месяца после его победы, считалась за неожиданное и пагубное событие, одним разом разрушившее надежды подраставшего поколения. Зародыш болезни втайне развивался от его склонности к удобствам жизни и к роскоши. Он не был в состоянии вынести внезапного и резкого перехода от дворцовой жизни к лагерной, и усиливавшиеся симптомы водяной болезни предвещали скорый конец императора. Мнения, а может быть, и интересы публики одобряли разделение империи на восточную и западную, и два царственных юноши, Аркадий и Гонорий, уже получившие от своего отца титул Августа, должны были занять престолы константинопольский и римский. Эти принцы не принимали никакого участия ни в опасностях междоусобной войны, ни в доставленной ею славе, но лишь только Феодосий восторжествовал над своим недостойным соперником, он призвал своего младшего сына к пользованию плодами победы, и Гонорий получил из рук своего умирающего отца скипетр Запада. Прибытие Гонория в Милан праздновалось великолепными играми в цирке, и, хотя сам император сильно страдал от постигшей его болезни, он захотел содействовать своим присутствием общему веселью. Но его силы окончательно истощились от сделанного им усилия, чтобы присутствовать на утреннем представлении. В течение остальной части дня Гонорий занимал место своего отца, а в следовавшую затем ночь великий Феодосий испустил дух. Несмотря на вражду, возбужденную недавней междоусобицей, его смерть оплакивали все. Варвары, которых он победил, и духовенство, которое подчинило его своему влиянию, превозносили в громких и искренних похвалах те достоинства покойного императора, которые были самыми ценными в их глазах. Римлян пугала перспектива слабого и обуреваемого раздорами управления, и все печальные события, случившиеся в царствование Аркадия и Гонория, напоминали им о понесенной ими невозвратимой утрате.

Отдавая полную справедливость добродетелям Феодосия, мы вместе с тем не скрывали и его недостатков — его склонности к лени и того жестокосердного деяния, которое омрачило славу одного из величайших римских монархов. Но тот историк, который постоянно старался запятнать репутацию Феодосия, преувеличил и его недостатки, и их вредные последствия; он смело утверждает, что все классы подданных подражали изнеженности своего государя; что всякого рода разврат пятнал и общественную, и частную жизнь

и что слабых преград, устанавливаемых законами и приличиями, было недостаточно для того, чтобы сдерживать развитие нравственной распущенности, приносившей, не краснея, в жертву все требования долга и личной пользы для удовлетворения низкой склонности к праздности и к чувственным наслаждениям. Жалобы писателей на происшедшее в их время усиление роскоши и безнравственности обыкновенно служат выражением их собственного характера и положения. Немного таких наблюдателей, которые смотрят на общественные перевороты ясным и широким взглядом и которые способны раскрыть тонкие и тайные пружины, дающие однообразное направление слепым и причудливым страстям множества отдельных личностей. Если действительно есть основание утверждать, что сластолюбие римлян было более постыдно и безнравственно в царствование Феодосия, нежели во времена Константина или Августа, то эту перемену нельзя приписывать каким-либо полезным улучшениям, постепенно увеличившим сумму национального богатства. Длинный период общественных бедствий и упадка должен был приостановить развитие промышленности и уменьшить народное богатство, и безнравственная роскошь могла быть лишь последствием той отчаянной беспечности, которая наслаждается настоящим, устраняя от себя заботу о будущем. Необеспеченность собственности отнимала у подданных Феодосия охоту браться за те трудные предприятия, которые требуют немедленных расходов, но доставляют выгоды лишь в более или менее отдаленном будущем. Частые случаи гибели и разорения побуждали их не заботиться о сбережении наследственного достояния, которое ежеминутно могло сделаться добычей хищных готов. Безрассудная расточительность, которой люди предаются среди общего смятения, возбуждаемого кораблекрушением или осадой, может служить объяснением развития роскоши среди бедствий и тревог приходившей в упадок нации.

Изнеженность и сластолюбие, развратившие нравы при дворе и в городах, влили тайный и пагубный яд в лагеря легионов, на распущенность которых указывает военный писатель, тщательно изучивший основные принципы старинной римской дисциплины. Вегеций делает основательное и важное замечание, что со времен основания Рима до царствования императора Грациана пехота всегда носила латы. Вследствие ослабления дисциплины и отвычки от военных упражнений солдаты утратили и способность, и охоту выносить лишения военной службы; они стали жаловаться на тяжесть лат, которые редко надевали, и постепенно добились разрешения отложить в сторону и свои кирасы, и свои шлемы. Тяжелое оружие их предков — коротенький меч и страшный *pilum* (копье. — *Ред.*), подчинивший им весь мир, — выпало из их слабых рук. Так как с употреблением лука несовместимо пользование щитом, то они нехотно выходили на поле битвы; им приходилось или выносить страдания от множества ран, или избегать их постыдным бегством, и они всегда были расположены отдавать предпочтение тому, что было всего более позорно. Кавалерия готов, гуннов и аланов поняла выгоды кирас и ввела их у себя в употребление, а так как она отличалась необыкновенной ловкостью в употреблении метательного оружия, то она легко одерживала верх над обнаженными и дрожащими от страха легионными солдатами, у которых голова и грудь ничем не были защищены от стрел варваров. Потеря армий, разрушение городов и унижение римского имени тщетно напоминали преемникам Грациана о необходимости вернуть пехоте шлемы и кирасы. Изнеженные солдаты пренебрегали и своей собственной обороной, и защитой своего отечества; их малодушную небрежность можно считать за непосредственную причину разрушения империи.



Глава 13 (XXVIII)

Уничтожение язычества в веке Феодосия представляет едва ли не единственный пример совершенного искоренения древних и общепринятых суеверий, а потому должно считаться за весьма замечательное явление в истории человеческого ума. Христиане, и в особенности христианское духовенство, с нетерпением выносили безжалостные проволоочки Константина и равную для всех веротерпимость старшего Валентиниана; они не могли считать свое торжество полным и обеспеченным, пока их противникам еще было дозволено существовать. Влияние, которое было приобретено Амвросием и его собратьями на юность Грациана и на благочестие Феодосия, было употреблено на то, чтобы влить принципы религиозного гонения в душу их царственных приверженцев. Они установили следующие два благовидных принципа религиозной юриспруденции, из которых сделали прямой и немилосердный вывод, направленный против тех подданных империи, которые не переставали держаться религиозных обрядов своих предков: что судья в некоторой степени виновен в тех преступлениях, которые он не старается запрещать или наказывать; и что идолопоклонническое поклонение баснословным богам и настоящим демонам есть самое ужасное преступление против верховного величия Создателя. Духовенство необдуманно и, может быть, ошибочно применяло законы Моисея и примеры из иудейской истории к кроткому и всемирному господству христианства. Оно внушило императорам желание поддерживать и свое собственное достоинство, и достоинство Божества, и римские храмы были разрушены почти через шестьдесят лет после обращения Константина в христианскую веру.

Язычество в Риме

Со времен Нумы до царствования Грациана у римлян непрерывно сохранялись различные коллегии жреческого сословия. Верховной юрисдикции пятнадцати понтификсов были подчинены все предметы и лица, посвященные на служение богам, и этот священный трибунал разрешал разнообразные вопросы, беспрестанно возникавшие в такой религиозной системе, которая не имела точной определенности и основывалась лишь на традициях. Пятнадцать важных и ученых авгуров наблюдали за течением планет и направляли деятельность героев сообразно с полетом птиц. Пятнадцать хранителей сивиллиных книг (их название *Quindecimvir* происходило от их числа) иногда

читали в этих книгах историю будущего и, как кажется, совещались с ними насчет таких событий, в которых главную роль играла случайность. Шесть весталок посвящали свою девственность на охрану священного огня и никому не известных залогов прочного существования Рима, которых ни один смертный не мог созерцать безнаказанно. Семь эпулонов готовили столы для богов, руководили торжественной процессией и наблюдали за обрядами ежегодного празднества. Три фламينا Юпитера, Марса и Квирина считались специальными служителями трех самых могущественных богов, пекшихся о судьбах Рима и Вселенной. Царь жертвоприношений был представителем Нумы и его преемников при исполнении тех религиозных обязанностей, которые могут быть совершаемы не иначе как царственными руками. Братства салиев, луперкалов и др. исполняли, с полной уверенностью заслужить милость бессмертных богов, такие обряды, которые не могли не вызывать улыбки на устах всякого здравомыслящего человека. Приобретенное римскими жрецами влияние на дела государственного управления постепенно исчезло с утверждением монархии и с перенесением столицы империи в другое место. Но достоинство их священного характера еще охранялось местными законами и нравами; в столице, а иногда и в провинциях они (в особенности те из них, которые принадлежали к коллегии понтификсов) по-прежнему пользовались правами своей церковной и гражданской юрисдикции. Их пурпуровые одеяния, парадные колесницы и роскошные пиры возбуждали удивление в народе; освященные земли и государственная казна доставляли им достаточные средства и для роскоши, и для покрытия всех расходов религиозного культа. Так как служба перед алтарями была несовместима с командованием армиями, то римляне после своего консульства и после своих триумфов искали звания понтификсов или авгуров; места Цицерона и Помпея были заняты в четвертом столетии самыми влиятельными членами сената, а знатность их происхождения придавала новый блеск их жреческому званию. Пятнадцать священнослужителей, составляющих коллегию понтификсов, пользовались более высшим рангом, потому что считались товарищами своего государя, а императоры все еще снисходили до того, что облакались в одеяния, присвоенные званию верховного понтифика. Но когда на престол вступил Грациан, потому ли, что он был добросовестнее своих предшественников, или потому, что был просвещеннее их, — он решительно отказался от этих символов нечестия, стал употреблять доходы жрецов и весталок на нужды государства или на нужды церкви, отменил их почетные отличия и привилегии и окончательно разрушил старинное здание римских суеверий, которое поддерживали убеждения и привычки одиннадцати столетий. Язычество все еще было государственной религией для сената. Зала или храм, где он собирался, была украшена статуей и алтарем Победы — величественной женщины, которая стояла на шаре в развевающемся одеянии, с распущенными крыльями и с лавровым венком в протянутой вперед руке. Сенаторы давали на алтаре этой богини клятву, что будут соблюдать законы императора и империи, и приносили ей в жертву вино и ладан, прежде чем приступать к публичным совещаниям. Удаление этого древнего монумента было единственной обидой, нанесенной Констанцием суеверию римлян. Алтарь Победы был восстановлен Юлианом; Валентиниан выносил его присутствие, но Грациан из религиозного усердия снова приказал вынести его из сената. Однако император все еще падал статуи богов, которые служили предметом поклонения для народа; для удовлетворения народного благочестия еще существовали четыреста двадцать четыре храма, или капеллы, и не

было в Риме такого квартала, в котором деликатность христиан не была бы оскорбляема дымом идолопоклоннических жертвоприношений.

Но в римском сенате христиане составляли самую малочисленную партию и только своим отсутствием могли выражать свое неодобрение хотя и легальных, но нечестивых решений большинства. В этом собрании последняя искра свободы на минуту ожила и разгорелась под влиянием религиозного фанатизма. Четыре депутации были посланы одна вслед за другой к императорскому двору с поручением изложить жалобы жрецов и сената и просить о восстановлении алтаря Победы. Руководство этим важным делом было возложено на красноречивого Симмаха — богатого и знатного сенатора, соединявшего в своем лице священный характер понтифекса и авгура с гражданскими должностями африканского проконсула и городского префекта. Симмаха воодушевляло самое пылкое усердие к интересам издыхавшего язычества, и его религиозные противники сожалели о том, что он тратил напрасну свой гений и ронял цену своих добродетелей. До нас дошла петиция, которую подал императору Валентиниану этот оратор, хорошо сознававший трудность и опасность принятого им на себя поручения. Он тщательно старается не касаться таких предметов, которые могли бы иметь какую-нибудь связь с религией его государя, смиренно заявляет, что его единственное оружие — просьбы и мольбы, и искусно заимствует свои аргументы скорее из школ риторики, чем из школ философии. Симмах старается пленить воображение юного монарха описанием атрибутов богини Победы: он намекает на то, что конфискация доходов, посвященных служению богам, была мерой, недостойной его великодушия и бескорыстия, и утверждает, что римские жертвоприношения утратят свою силу и влияние, если не будут совершаться и на счет республики, и от ее имени. Оратор находит опору для суеверия даже в скептицизме. Великая и непостижимая тайна Вселенной, говорит он, не поддается человеческим исследованиям. Но там, где разум не в состоянии руководить нами, следует брать в руководители обычай; оттого-то каждая нация, по-видимому, удовлетворяет требованиям благоразумия, неизменно придерживаясь тех обрядов и убеждений, которые уже освящены веками. Если эти века были увенчаны славой и благоденствием, если благочестивые люди нередко получали те блага, которых они просили у алтарей богов, то тем более представляется уместным твердо держаться таких же благотворных обычаев и не подвергать себя неизвестным опасностям, которые могут быть последствием всякого опрометчивого нововведения. Доказательства, основанные на древности и на успехе, красноречиво говорили в пользу той религии, которая была установлена Нумой, а затем оратор выводит на сцену самый Рим или тот небесный гений, который был его хранителем, и заставляет его защищать свое собственное дело перед трибуналом императоров: «Великие государи и отцы отечества! Пожалейте и пощадите мои преклонные лета, которые до сих пор непрерывно текли в благочестии. Так как я в этом не раскаиваюсь, то позвольте мне не отказываться от моих старинных обрядов. Так как я родился свободным, то позвольте мне наслаждаться моими домашними учреждениями. Моя религия подчинила весь мир моей власти. Мои обряды удалили Ганнибала от стен города и галлов из Капитолия. Неужели моим седым волосам будет суждено выносить такое ужасное унижение? Мне неизвестно новое учение, которое меня заставляет принять, но я хорошо знаю, что тот, кто берется исправлять старость, принимает на себя неблагоприятный и бесславный труд». Опасения народа добавили к этой речи то, о чем оратор умолчал из осторожности, и те бедствия, которые постигли разрушав-

шуюся империю или угрожали ей в будущем, единогласно приписывались язычниками новой религии Христа и Константина.

Решительное и искусное противодействие миланского архиепископа расстроило планы Симмаха и предохранило императоров от обманчивого красноречия римского оратора. В этой полемике Амвросий снисходил до того, что говорил языком философа и спрашивал с некоторым презрением, почему находят нужным приписывать победы римлян воображаемой и невидимой силе, тогда как для них служат удовлетворительным объяснением храбрость и дисциплина легионов. Он основательно подсмеивается над нелепым уважением к старине, которое клонится лишь к тому, чтобы отнять всякую охоту к улучшениям и чтобы снова ввергнуть человеческий род в его первоначальное варварство. Постепенно переходя от этих соображений к более возвышенному богословскому стилю, он объявляет, что одно христианство есть учение истинное и ведущее к вечному спасению и что все виды политизма влекут их обманутых последователей, путями заблуждения, в пропасть вечной гибели.

Эти аргументы оказались в устах любимого прелата достаточно убедительными для того, чтобы предотвратить восстановление алтаря Победы, но в устах завоевателя они оказались гораздо более сильными и успешными, и богам древности пришлось цепляться за колеса триумфальной колесницы Феодосия. В полном собрании сената император, согласно с древними республиканскими порядками, предложил на разрешение важный вопрос: поклонение ли Юпитеру или поклонение Христу должно быть религией римлян? Допущенная им с виду свобода мнений была уничтожена надеждами и опасениями, которые внушало его личное присутствие, а самоправная ссылка Симмаха служила предостережением, что было бы опасно противиться желаниям монарха. После отобрания голосов оказалось, что Юпитер был осужден и низложен очень значительным большинством, и можно только удивляться тому, что нашлись такие смелые сенаторы, которые заявили своими речами и подачей своих голосов о своей привязанности к интересам уволенного божества. Торопливый переход сената в новую веру следует приписать или сверхъестественным причинам, или низким личным расчетам, и многие из этих невольных новообращенных обнаружили при всяком удобном случае свое тайное желание сбросить с себя маску гнусного лицемерия. Но по мере того, как судьба древней религии становилась все более и более безнадежной, они постепенно укреплялись в новых верованиях; они преклонялись перед авторитетом императора, следовали за модой того времени и сдавались на просьбы своих жен и детей, совестью которых руководили римские священники и восточные монахи. Назидательному примеру рода Анициев скоро последовала и остальная знать; Басси, Павлины, Гракхи приняли христианскую веру, а «...светила мира, члены почтенного собрания Катонов (таковы высокопарные выражения Пруденция), горели нетерпением снять с себя свои жреческие одеяния и сбросить с себя кожу древнего змия для того, чтобы облечься в белые как снег одеяния невинности, готовой принять крещение, и для того, чтобы унижить гордость консульских *fascies* перед гробницами мучеников». И граждане, жившие плодами своего труда, и чернь, жившая общественными подаяниями, стали наполнять церкви Латерана и Ватикана беспрестанным наплывом усердных новообращенных. Сенатские декреты, которыми воспрещалось поклонение идолам, были утверждены общим согласием римлян; блеск Капитолия угас, и пустые языческие храмы были обречены на разрушение и пренебрежение. Рим преклонялся перед Евангелием, а его пример

увлек за собой завоеванные им провинции, еще не утратившие уважение к его имени и авторитету.

В своих стараниях изменить религию вечного города императоры, из сыновней преданности, действовали с некоторой осторожностью и мягкостью. Но к предрассудкам провинциальных жителей эти абсолютные монархи относились с такой же деликатностью. Усердие Феодосия снова с энергией принялось за благочестивые труды, которые были прерваны в течение почти двадцати лет со смерти Констанция, и довело их до конца. В то время как этот воинственный государь еще боролся с готами не для славы, а для спасения республики, он позволил себе оскорбить значительную часть своих подданных такими деяниями, которые, быть может, доставляли ему покровительства Небес, но которые, с точки зрения человеческого благоразумия, должны казаться опрометчивыми и неуместными. Успех его первой попытки против язычников поощрил благочестивого императора возобновить и усилить его эдикты о гонениях: те же самые законы, которые сначала были обнародованы в восточных провинциях, были распространены после поражения Максима на всю Западную империю, и каждая из побед православного Феодосия содействовала торжеству христианской и католической веры. Он напал на суеверия в самом их основании, запретив употребление жертвоприношений, которое он признавал столько же преступным, сколько гнусным, и хотя его эдикты с особой строгостью осуждали лишь нечестивую любознательность, которая рассматривает внутренности жертв, но все его дальнейшие разъяснения клонились к тому, чтобы отнести к тому же разряду преступлений общее употребление заклятий, составлявшее сущность языческой религии. Так как храмы были воздвигнуты для совершения жертвоприношений, то на хорошем монархе лежала обязанность удалить от своих подданных опасный соблазн, который мог вовлекать их в нарушение изданных им законов. На восточного преторианского префекта Цинегия, а впоследствии и на двух высших должностных лиц Западной империи, Иовия и Гауденция, было возложено поручение закрывать храмы, отбирать или уничтожать орудия идолопоклонства, отменять привилегии жрецов и конфисковывать освященную собственность в пользу императора, церкви или армии. На этом пункте могло бы остановиться дело разрушения, и обнаженные здания, уже более не употреблявшиеся на поклонение идолам, могли бы быть защищены от разрушительной ярости фанатизма. Многие из этих храмов были самыми великолепными памятниками греческой архитектуры, и сам император был заинтересован в том, чтобы его города не утрачивали своего прежнего блеска и чтобы его собственность не уменьшалась в цене. Эти величественные здания могли бы быть оставлены неприкосновенными, как прочные трофеи торжества христианства. При упадке искусств, они могли бы быть с пользой превращены в магазины, в мануфактуры или в места публичных собраний, а после того как их стены были бы очищены священными обрядами, в них можно бы было допустить поклонение истинному Божеству, чтобы загладить грехи идолопоклонства. Но пока они существовали, язычники ласкали себя тайной надеждой, что какой-нибудь новый Юлиан восстановит алтари богов, а настоятельные просьбы, с которыми они беспрестанно обращались к императору, усиливали усердие, с которым христианские реформаторы безжалостно вырывали самые корни суеверий. Законы, издававшиеся императорами, обнаруживают некоторые признаки более мягких чувств, но их хладнокровных и вялых усилий было недостаточно для того, чтобы остановить поток энтузиазма и хищничества, ярость которого направляли или, скорее, усиливали духов-

ные начальники церкви. В Галии Турский епископ Св. Мартин, став во главе своих преданных монахов, уничтожал идолы, храмы и освященные деревья в своей обширной епархии, а здравомыслящий читатель сам в состоянии решить, совершал ли Мартин эту тяжелую работу при помощи какой-нибудь чудотворной силы или при помощи земных орудий. В Сирии божественный и восхитительный Марцелл, как называет его Феодорет, воодушеваясь апостольским рвением, решился скрыть до основания великолепные храмы в диоцезе Апамеи. Искусство и прочность, с которыми был построен храм Юпитера, сначала не поддавались его усилиям; это здание стояло на возвышении; с каждой из четырех его сторон высокие своды поддерживались пятнадцатью массивными колоннами, имевшими в окружности по шестнадцати футов, а огромные камни, из которых были сложены эти колонны, были крепко связаны между собой свинцом и железом. Чтобы разрушить храм, были безуспешно употреблены в дело самые крепкие и самые острые орудия. Наконец нашли нужным подвести подкоп под колонны, которые разрушились, лишь только были уничтожены огнем временные деревянные подпорки в вырытом подземелье, а трудности этого предприятия описаны в аллегорическом рассказе о мрачном демоне, который замедлял работы христианских инженеров, но не был в состоянии им воспрепятствовать. Возгордившись этой победой, Марцелл лично выступил на бой с силами ада; многочисленный отряд солдат и гладиаторов шел под знаменем епископа и разрушал один вслед за другим деревенские храмы в диоцезе Апамеи. Всякий раз, как встречалось сопротивление или угрожала опасность, этот поборник религии, не бывший в состоянии, по причине своей хромоты, ни сражаться, ни спастись бегством, укрывался в таком месте, до которого не долетали стрелы. Но именно такая предусмотрительность и была причиной его смерти: он был застигнут врасплох и убит отрядом доведенных до отчаяния поселян, а провинциальный собор без всяких колебаний решил, что святой Марцелл пожертвовал своею жизнью на служение Богу. Монахи, с неистовым бешенством стремившиеся из своих пустынь для участия в этой работе, отличались и своим усердием, и своей исправностью. Они навлекли на себя ненависть язычников, а некоторые из них подверглись заслуженным упрекам в корыстолюбии и невоздержности, в корыстолюбии, которое они удовлетворяли благочестивым грабежом, и в невоздержности, которой они предавались за счет населения, безрассудно восхищавшегося лохмотьями, в которые они были одеты, их громким пением псалмов и искусственной бледностью. Только немногие храмы уцелели благодаря или опасениям, или продажности, или изящному вкусу, или благоразумию гражданских и церковных правителей. Храм небесной Венеры в Карфагене, занимавший вместе с отведенной для него освященной почвой округность в две мили, был благоразумно превращен в христианскую церковь, и такое же посвящение спасло от разрушения величественное здание римского Пантеона. Но почти во всех римских провинциях армия фанатиков без авторитета и дисциплины нападала на мирных жителей, и развалины самых красивых памятников древности до сих пор свидетельствуют об опустошениях, причиненных теми варварами, которые одни только имели время и желание совершать опустошения, требовавшие стольких усилий.

Храм Сераписа в Александрии

Окидывая взором эту обширную картину разрушения, зритель останавливает свое внимание на развалинах храма Сераписа в Александрии. Серапис, как кажется, не принадлежал к числу туземных богов или чудовищ, вы-

росших из плодородной почвы суеверного Египта. Первый из Птолемеев получил в сновидении приказание перевезти этого таинственного иностранца с берегов Понта, где он долго служил предметом поклонения для жителей Синопа; но понятия о его атрибутах и власти были так неточны, что возник спор о том, что он изображал, блестящее ли светило дня или же мрачного повелителя подземных стран. Египтяне, будучи упорно привязаны к религии своих предков, не захотели впускать это чужеземное божество внутрь своих городов. Но услужливые жрецы, прельстившись щедрыми подарками Птолемея, без сопротивления признали над собою власть понтийского бога; они снабдили его почетной и национальной генеалогией, и этот счастливый узурпатор занял свое место на престоле и в ложе Осириса, супруга Изиды и небесного египетского монаха. Александрия, заявлявшая притязания на особое с его стороны покровительство, гордилась названием города Сераписа. Его храм, соперничавший своим великолепием и роскошью с Капитолием, был воздвигнут на широкой вершине искусственного холма, возвышавшегося на сто шагов над уровнем соседних частей города, а пустое пространство внутри холма охранялось прочными арками и разделялось на склепы и подземные апартаменты. Освященное здание было окружено четырехугольным портиком; великолепные залы и изящные статуи свидетельствовали об успехах искусств; а сокровища древней учености хранились в знаменитой Александрийской библиотеке, восставшей из пепла с новым блеском. После того как языческие жертвоприношения были строго запрещены эдиктами Феодосия, они все еще дозволялись в городе и храме Сераписа, а эта странная снисходительность опрометчиво приписывалась суеверному страху самих христиан, будто бы опасавшихся уничтожения тех старинных обрядов, которые одни могли обеспечивать разлитие Нила, плодородие Египта и снабжение Константинополя хлебом.

В эту пору архиепископский престол Александрии был занят постоянным врагом спокойствия и добродетели Феофилом; это был дерзкий и злой человек, руки которого пачкались попеременно то в золоте, то в крови. Почести, которые воздавались Серапису, возбудили в нем благочестивое негодование, а оскорбления, которые он нанес старинной капелле Бахуса, убедили язычников, что он замышляет более важное и более опасное предприятие. В шумной столице Египта самого незначительного повода было достаточно для того, чтобы вызвать междоусобную войну. Приверженцы Сераписа, которые были гораздо слабее и малочисленнее своих противников, взяли за оружие по наущению философа Олимпия, убеждавшего их пожертвовать своею жизнью для защиты алтарей богов. Эти языческие фанатики засели в храме, или, вернее, в крепости, Сераписа, отразили осаждающих смелыми вылазками и энергическим сопротивлением и нашли в своем отчаянном положении утешение в том, что совершали страшные жестокости над своими христианскими пленниками. Благодаря благоразумным усилиям местных властей было заключено перемирие до получения от Феодосия ответа, который должен был решить судьбу Сераписа. Обе партии собрались безоружными на главной площади, и там был публично прочитан рескрипт императора. Когда был объявлен приговор о разрушении александрийских идолов, христиане стали громко выражать свою радость, а несчастные язычники, перешедшие от ярости к упадку духом, торопливо и молча удалились и стали искать в бегстве и в неизвестности средства укрыться от мстительности своих врагов. Феофил приступил к разрушению храма Сераписа, не встречая никаких других препятствий, кроме тех, которые находил в тяжести и прочности материалов,

из которых был выстроен храм; однако эти препятствия оказались до такой степени непреодолимыми, что он был вынужден оставить в целости фундамент и довольствоваться обращением верхней части здания в груды развалин, которые вскоре после того были частью свезены для того, чтобы очистить место для церкви, воздвигнутой в честь христианских мучеников. Драгоценная Александрийская библиотека была частью расхищена, частью уничтожена, и лет через двадцать после того вид пустых полок возбуждал сожаление и негодование в тех посетителях, у которых ум еще не был совершенно омрачен религиозными предрассудками. Произведения древних писателей, частью погибшие безвозвратно, конечно, могли бы быть изъяты из гибели язычества для наслаждения и назидания потомства, а религиозное усердие или корыстолюбие архиепископа могло бы удовольствоваться богатой добычей, которая была наградой за его победу. Между тем как золотые и серебряные изображения богов и сосуды обращались в слитки, а менее ценные предметы с презрением разбивались в куски и выбрасывались на улицу, Феофил старался вывести наружу плутни и пороки служителей идолов, их ловкость в употреблении магнита, их тайные способы вводить людей внутрь пустой статуи и их скандальное злоупотребление доверием благочестивых мужей и легковерием женщин. Обвинения этого рода, по-видимому, заслуживают некоторого доверия, так как их нельзя назвать несовместимыми с коварным и корыстным духом суеверия. Но тот же дух одинаково склонен к низкой привычке оскорблять павшего врага и клеветать на него, а наше доверие естественным образом сдерживается тем соображением, что гораздо легче сочинить скандальную историю, чем обманывать людей постоянно повторяющейся плутней. Колоссальная статуя Сераписа была вовлечена в гибель его храма и его религии. Множество искусственно прикрепленных одна к другой досок из различных металлов составляли величественную фигуру божества, с обеих сторон касавшегося стен святилища. Внешний вид Сераписа, его сидячее положение и скипетр, который он держал в левой руке, представляли большое сходство с обыкновенными изображениями Юпитера. Он отличался от Юпитера тем, что у него на голове была корзина, или хлебная мера, и тем, что он держал в правой руке аллегорическое чудовище, имевшее голову и туловище змея с тремя хвостами, на конце которых были собачья, львиная и волчья головы. Существовало общее убеждение, что, если бы чья-либо нечестивая рука осмелилась оскорбить величие этого бога, и небо и земля мгновенно превратились бы в первобытный хаос. Один неустрашимый солдат, воодушеваясь религиозным усердием и вооружившись тяжелой боевой секирой, влез по лестнице, и даже собравшаяся толпа христиан с тревогой ожидала исхода этой борьбы. Солдат направил сильный удар в щеку Сераписа; щека, отвалившись, упала, но гром не грянул, и как на небесах, так и на земле все оставалось в прежнем порядке и спокойствии. Победоносный солдат повторил удары; громадный идол упал и разбился в куски, и его члены народ с позором потащил по улицам Александрии. Его изуродованный остов был сожжен в амфитеатре при радостных криках черни, и многие язычники обратились в христианство от того, что убедились в бессилии своего бога-покровителя. Самые популярные религии, доставляющие народу видимые и материальные предметы для поклонения, имеют то достоинства, что они приспособляются к чувствам человеческого рода и усваивают их себе; но это достоинство находит противовес в разнообразных и неизбежных случайностях, которым подвергается вера идолопоклонника. Почти невозможно, чтобы при всяком расположении ума он сохранял свое безотчетное уважение к идо-

лам или к мощам, которых нельзя отличать ни зрением, ни осязанием от самых обыкновенных произведений искусства или природы; если же в минуту опасности их тайная и чудотворная сила не в состоянии спасти их самих, он не обращает никакого внимания на пустые оправдания священнослужителей и сам смеется и над предметом своей суеверной привязанности, и над своим собственным безрассудством. После гибели Сераписа язычники еще питали надежду, что Нил откажет нечестивым повелителям Египта в ежегодном разлитии своих вод, а чрезвычайное замедление этого разлития, по-видимому, свидетельствовало о гневе речного бога. Но вслед за этим замедлением последовало быстрое возвышение воды. Она внезапно поднялась до такой необыкновенной высоты, что недовольная партия с радостью ожидала наводнения; но вода постепенно снова понизилась до того уровня, который необходим для оплодотворения почвы, т. е. до шестнадцати локтей, или почти до тридцати английских футов.

Языческие храмы во всей Римской империи или были покинуты, или были разрушены, но изобретательное суеверие язычников все еще старалось уклоняться от исполнения тех законов Феодосия, которыми строго запрещались все жертвоприношения. Деревенские жители, пользуясь тем, что они были далеко от глаз недоброжелателей и любопытных, скрывали свои религиозные сходки под видом увеселительных собраний. В дни торжественных праздников они собирались в большом числе под широкой тенью каких-нибудь освященных деревьев; там убивались и жарились овцы, и эти деревенские удовольствия освящались курением фимиама и пением гимнов в честь богов. Но так как при этом никакая часть животных не сжигалась, так как тут не было алтаря, чтобы принимать кровь жертв, не было ни предварительного принесения в жертву соленых пирогов, ни заключительной церемонии возлияний, то язычники утверждали, что, присутствуя на таких празднествах, они не заслуживают ни упрёка, ни наказания за совершение запрещенных жертвоприношений. Но какова бы ни была достоверность этих фактов или основательность приводимых в их пользу аргументов, все эти пустые отговорки должны были умолкнуть перед последним эдиктом Феодосия, который нанес суеверию язычников смертельный удар. Этот запретительный закон изложен в самых безусловных и ясных выражениях. «Нам желательно и угодно, — говорит император, — чтобы никто из наших подданных — все равно, будь он должностное лицо или простой гражданин, будь он высокого ранга или самого низкого ранга и положения, — не позволял себе в городах или в каких-либо других местах поклоняться неодушевленным идолам, закалывая в их честь невинные жертвы». Совершение жертвоприношений и гадание по внутренностям жертв были признаны (каков бы ни был их мотив) государственными преступлениями, которые может заглавить только смерть преступника. Те из языческих обрядов, которые казались менее кровавыми и менее отвратительными, были запрещены как в высшей степени оскорбительные для истины и чести религии; в особенности осуждались освещение храмов, гирлянды, курение ладана и возлияния вина, и такое же строгое запрещение было наложено на безвредные притязания домашних гениев и пенатов. Совершение какого-либо из этих нечестивых и противозаконных обрядов подвергало виновного отобранию дома или имени, где они были совершены; если же он для избежания конфискации выбирал чужую собственность театром своих нечестивых дел, с него безотлагательно взыскивали тяжелую пеню в двадцать пять фунтов золота, или более чем в тысячу фунтов стерлингов. Не менее значительная пеня налагалась за потворство тай-

ным врагам христианской религии, которые небрежно исполняли свою обязанность обнаруживать или наказывать тех, кто провинился в идолопоклонстве. Таким духом нетерпимости были проникнуты законы Феодосия, которые нередко применялись со всей строгостью его сыновьями и внуками при громких и единодушных одобрениях всех христиан.

При таких жестоких императорах, как Деций и Диоклетиан, христианство преследовалось как восстание против древней и наследственной религии империи, а неразрывное единство и быстрые успехи Католической Церкви усиливали неосновательные подозрения, что это была тайная и опасная политическая партия. Но для оправдания тех христианских императоров, которые нарушали и законы человеколюбия, и законы евангельские, нельзя ссылаться на такие же опасения и такое же невежество. Опыт многих веков уже обнаружил и бессилие и безрассудство язычества; свет разума и веры уже доказал большей части человеческого рода негодность идолов, и тем, кто еще не отказывался от приходившей в упадок секты, можно бы было позволить наслаждаться в спокойствии и неизвестности исполнением религиозных обрядов их предков. Если бы язычники были воодушевлены таким же непреклонным рвением, каким отличались первые верующие, то торжествующей церкви пришлось бы запятнать себя кровью, а мученики Юпитера и Аполлона, быть может, воспользовались бы удобным случаем, чтобы со славой принести у подножия их алтарей в жертву и свою жизнь, и свое состояние. Но такое непреклонное рвение не было свойственно развязному и беспечному характеру политеизма. Жестокие удары, которыми православные монархи не раз поражали язычество, оказывались бесполезными вследствие мягкости и податливости тех, в кого они были направлены, и готовность язычников к повиновению предохранила их от уголовных наказаний и денежных штрафов, установленных кодексом Феодосия. Вместо того чтобы заявлять, что власть их богов выше власти императора, они с жалобным ропотом отказывались от тех священных обрядов, которые были осуждены их государем. Если в порыве страсти или в надежде, что их никто не выдаст, они увлекались желанием удовлетворить свое любимое суеверие, их смиренное раскаяние обезоруживало строгость христианских судей, и, чтобы загладить свою опрометчивость, они редко отказывались подчиняться правилам Евангелия, хотя и делали это с тайным отвращением. Церкви стали наполняться все увеличивающимися толпами таких недостойных новообращенных, принявших господствующую веру из мирских побуждений. В то время как они благочестиво подражали позам верующих и читали одни с ними молитвы, они удовлетворяли свою совесть молчаливым и искренним взыванием к богам древности. Если у язычников не было достаточно терпения, чтобы страдать, то у них также не было достаточно мужества, чтобы сопротивляться, и рассеянные по империи миллионы людей, оплакивавших разрушение своих храмов, преклонились перед фортуной своих противников. Имени императора и его авторитета было достаточно для того, чтобы смирить сирийских крестян и александрийскую чернь, возбужденных к восстанию яростью нескольких фанатиков. Западные язычники не принимали никакого участия в возведении на престол Евгения, но их пристрастная привязанность к этому узурпатору причинила ему вред, возбудив отвращение к его личности. Духовенство горячо напало на него за то, что к преступлению восстания он присовокупил преступление вероотступничества, что он дозволил восстановить алтарь Победы и что он выставил на поле битвы идолопоклоннические символы Юпитера и Геркулеса против непобедимого знамени креста. Но тщет-

ные надежды язычников были скоро разрушены поражением Евгения, и они сделались жертвами гнева победителя, который старался заслужить милость небес искоренением идолопоклонства.

Нация рабов всегда готова восхвалять милосердие своего повелителя, если в злоупотреблении абсолютной властью он не доходит до крайних пределов несправедливости и угнетения. Феодосий, бесспорно, мог предложить своим языческим подданным выбор между крещением и смертью, и красноречивый Либаний восхвалял умеренность монарха, который никогда не предписывал своим подданным положительным законом принять и исповедовать религию своего государя. Исповедование христианства не считалось необходимым условием для пользования гражданскими правами, и не было наложено никаких особых стеснений на тех, кто легковерно принимал вымыслы Овидия и упорно отвергал чудеса Евангелия. И дворец, и школы, и армия, и сенат были наполнены явными и усердными язычниками; они безразлично удостаивались всех, как гражданских, так и военных отличий. Феодосий доказал свое благородное уважение к добродетели и гению тем, что возвел Симмаха в консульское звание, питал личную привязанность к Либанию и от этих двух красноречивых защитников язычества никогда не требовал ни того, чтобы они изменили свои религиозные убеждения, ни того, чтобы они их скрывали. Язычники пользовались самой неограниченной свободой в устном и письменном выражении своих мнений; дошедшие до нас отрывки исторических и философских сочинений Евнапия, Зосима и фанатических проповедников Платонова учения содержат самые яростные нападки на убеждения и образ действий их победоносных противников. Если эти смелые пасквилы пользовались публичностью, то мы должны рукоплескать здравому смыслу христианских монархов, смотревших с презрительной улыбкой на эти последние усилия суеверия и отчаяния. Но императорские законы, запрещавшие совершение языческих жертвоприношений и обрядов, приводились в исполнение с суровой строгостью, и с каждым часом ослабевало влияние религии, опиравшейся скорее на обычаи, чем на аргументы. Благочестие поэта или философа может втайне питаться молитвами, размышлениями и научными занятиями, но публичное богослужение, по-видимому, служит единственным прочным фундаментом для религиозных чувств народа, извлекающих свою силу из подражания и из привычки. Прекращение этого публичного богослужения может долго сохраняться без искусственной помощи священнослужителей, храмов и священных книг. Невежественная народная масса, постоянно волнуемая безотчетными надеждами и опасениями суеверия, легко поддается влиянию своих начальников, которые советуют ей обращаться с своими мольбами к богам нового времени, и она постепенно проникается пылким усердием к поддержанию и распространению нового учения, которое она сначала приняла лишь из настоятельной потребности в какой-нибудь религии. Поколение, выросшее после издания императорских законов, было привлечено в лоно Католической Церкви, и падение язычества совершилось так быстро и так спокойно, что только через двадцать восемь лет после смерти Феодосия его слабые и ничтожные остатки уже не были заметны для глаз законодателя.

Поклонение христиан святым и мученикам

Софисты описывают гибель языческой религии как страшное и поразительное чудо, которое покрыло землю мраком и восстановило древнее господство хаоса и ночи. Они рассказывают торжественным и патетическим слогом, что храмы превратились в гробницы и что святые места, украшенные

статуями богов, были осквернены мощами христианских мучеников. «Монахи — эта раса грязных животных, которым Евнапий хотел бы отказать в названии людей, — были творцами нового богослужения, которое заменило постигаемые умом божества самыми низкими и презренными рабами. Посоланные и маринованные головы этих гнусных негодяев, подвергшихся за свои многочисленные преступления заслуженной и позорной смертной казни, их тела, еще носящие на себе следы плетей и пыток, которым они подвергались по приговорам судей, — таковы те боги, которых производит земля в наше время, таковы те мученики и высшие посредники, передающие Божеству наши молитвы и просьбы; их гробницы считаются теперь священными предметами народного поклонения». Не сочувствуя злорадству софиста, мы все-таки находим естественным его удивление при виде переворота, вследствие которого эти низкие жертвы римских законов были возведены в звание небесных и невидимых покровителей Римской империи. Время и успех превратили признательное уважение христиан к мученикам за веру в религиозное поклонение, и такие же почести воздавались самым знаменитым святым и пророкам. Через сто пятьдесят лет после славной смерти Св. Петра и Св. Павла могилы, или, вернее, трофеи, этих религиозных героев украшали Ватикан и дорогу в Остию. В том веке, который следовал за обращением Константина в христианство, и императоры, и консулы, и начальники армий с благочестием посещали могилы людей, из которых один делал палатки, а другой был рыбак, а кости этих людей были почтительно сложены под алтарями Христа, на которых епископы царственного города постоянно совершали бескровные жертвоприношения. Новая восточная столица, у которой не было своих собственных старинных трофеев, присвоила себе те, которые нашла в подчиненных ей провинциях. Тела Св. Андрея, Св. Луки и Св. Тимофея, покоившиеся в неизвестности в течение почти ста лет, были с торжественной пышностью перевезены в церковь Апостолов, построенную Константином на берегу Фракийского Босфора. Почти через пятьдесят лет после того те же берега были удостоены присутствия израильского судьи и пророка Самуила. Его прах, положенный в золотую вазу и прикрытый шелковым покрывалом, переходил из рук одних епископов в руки других. Народ встретил его мощи с такой же радостью и почтительностью, с какой встретил бы самого пророка, если бы он был жив; толпа зрителей образовала непрерывную процессию от Палестины до ворот Константинополя, и сам император Аркадий, во главе самых знатных членов духовенства и сената, выехал навстречу своему необыкновенному гостю, всегда заявлявшему основательное притязание на царские почести. Пример Рима и Константинополя укрепил верования и правила благочиния Католической Церкви. Поклонение святым и мученикам после слабого и бесплодного ропота со стороны нечестивого рассудка утвердилось повсюду, и во времена Амвросия и Иеронима сложилось убеждение, что для святости христианских церквей всегда будет чего-то недоставать, пока они не будут освящены какой-нибудь частичей мощей, способных укреплять и воспламенять благочестие верующих. В длинный тысячедвухсотлетний период времени, протекший с воцарения Константина до реформации Лютера, поклонение святым и мощам исказило чистую цельную простоту христианской религии, и некоторые признаки нравственной испорченности можно заметить даже в первых поколениях, усвоивших и лелеявших это вредное нововведение.

Духовенство знало по опыту, что мощи святых были более ценны, чем золото и драгоценные камни; поэтому оно старалось размножить эти цер-

ковные сокровища. Без всякого уважения к правде или к правдоподобию оно стало придумывать имена для скелетов и подвиги для имен. Славу апостолов и святых людей, подражавших их добродетелям, оно омрачило религиозными вымыслами. К непобедимому сонму настоящих и первобытных мучеников оно присовокупило мириады мнимых героев, которые существовали только в воображении лукавых или легковверных составителей легенд, и есть основание подозревать, что не в одной только Турской епархии поклонялись праху преступника, принимая его за прах какого-то святого. Суеверное обыкновение, клонившееся к тому, чтобы умножать соблазны для плутов и для людей легковверных, постепенно затмило в христианском мире и свет истории, и свет разума.

Но распространение суеверий было бы менее быстро и менее успешно, если бы духовенство не прибегало для укрепления веры в народе к помощи видений и чудес, удостоверявших подлинность и чудотворную силу самых подозрительных мощей. В царствование Феодосия Младшего Лукиан, бывший пресвитером в Иерусалиме и священником в деревне Кафартамал, почти в двадцати милях от города, рассказал странный сон, который заглушил в нем все сомнения, повторившись кряду три субботы. Среди ночной тишины перед ним предстал почтенный старец с длинной бородой, в белом одеянии и с золотым посохом в руке; он назвал себя Гамалиелем и поведал удивленному пресвитеру, что его собственное тело было втайне погребено на соседнем поле вместе с телами его сына Абиба, его друга Никодема и первого христианского мученика знаменитого Стефана. К этому он присовокупил с некоторым нетерпением, что пора освободить и его самого, и его товарищей из их мрачной тюрьмы, что их появление облегчит постигшие мир бедствия и что они поручают Лукиану известить иерусалимского епископа об их положении и желаниях. Сомнения и затруднения, замедлявшие исполнение этого важного предприятия, были постепенно устранены новыми видениями, и указанное место было взрыто епископом в присутствии бесчисленного множества зрителей. Гробы Гамалиеля, его сына и его друга были найдены один подле другого; но когда был вынут четвертый гроб, заключавший в себе смертные останки Стефана, земля затряслась и распространился запах, похожий на тот, который бывает в раю, и мгновенно излечивший различные недуги, которыми страдали семьдесят три из присутствовавших. Товарищей Стефана оставили в их мирной резиденции в Кафаргамале, но мощи первого мученика были перенесены с торжественной процессией в церковь, построенную в честь его на горе Сион, а мельчайшим частицам этих мощей, каплям крови или оскребкам костей стали приписывать почти во всех римских провинциях божественную и чудотворную силу. Серьезный и ученый Августин, в оправдание которого ввиду превосходств его ума едва ли можно ссылаться на легковерие, удостоверял бесчисленные чудеса, которые совершались в Африке мощами св. Стефана, и этот удивительный рассказ вставлен в тщательно обработанное сочинение гиппонского епископа о Граде Божьем, которое должно было служить прочным и бессмертным доказательством истины христианства. Августин торжественно заявляет, что он выбрал только те чудеса, которые были публично удостоверены или теми, кто испытал на самих себе чудотворную силу мученика, или теми, кто видел ее собственными глазами. Многие из чудес были опущены или забыты, а на долю Гиппона их досталось менее, нежели на долю других провинциальных городов. Тем не менее епископ перечисляет более семидесяти чудес, из которых три заключались в воскрешении мертвых, происшедшем в течение двух

лет в пределах его собственной епархии. Если бы мы приняли в расчет все епархии и всех святых христианского мира, нам было бы нелегко подвести итог вымыслам и заблуждениям, вытекавшим из этого неисчерпаемого источника. Но нам, конечно, будет дозволено заметить, что в этом веке суеверий и легковерия чудеса утрачивали право и на это название, и на какое-либо достоинство, так как совершались слишком часто и потому едва ли могли считаться за уклонения от общих неизменных законов природы.

Возрождение политеизма

Бесчисленные чудеса, для которых постоянно служили театром могилы мучеников, разоблачали в глазах благочестивого верующего действительное положение и устройство невидимого мира, и его религиозные теории, по-видимому, были построены на прочном фундаменте фактов и опыта. Каково бы ни было положение, в котором находились души обыкновенных смертных в длинный промежуток времени между разложением и воскресением их тел, для всякого было очевидно, что более возвышенные души святых и мучеников не проводят этот период своего существования в безмолвном и бесславном усыплении. Для всякого было очевидно, что эти святые и мученики наслаждаются живым и деятельным сознанием своего блаженства, своих добродетелей и своего могущества и что они уже уверены в получении вечной награды (хотя при этом не осмеливались с точностью обозначать ни место их пребывания, ни характер их блаженства). Обширность их умственных способностей превосходила все, что доступно для человеческого воображения, так как было доказано на опыте, что они были способны слышать и понимать различные просьбы своих многочисленных поклонников, которые в один и тот же момент, но из самых отдаленных одна от другой частей света зывали о помощи к Стефану или к Мартину. Доверие тех, кто обращался к ним с мольбами, было основано на убеждении, что святые, царствовавшие вместе с Христом, взирали с состраданием на землю, что они были горячо заинтересованы в благополучии Католической Церкви и что всякий, кто подражал им в вере и в благочестии, был для них предметом самой нежной заботливости. Правда, иногда случалось, что их доброжелательство бывало внушено соображениями менее возвышенными: они с особенной любовью взирали на те места, которые были освящены их рождением, их пребыванием, их смертью, их погребением или обладанием их мощами. Такие низкие страсти, как гордость, корыстолюбие и мстительность, казалось бы, должны быть недоступны для небесных духов; тем не менее сами святые снисходили до того, что с признательностью одобряли щедрые приношения своих поклонников и грозили самыми страшными наказаниями тем нечестивцам, которые что-нибудь похищали с великолепных раковин или не верили в их сверхъестественную силу. Действительно, со стороны этих людей было бы ужасным преступлением и вместе с тем весьма странным скептицизмом, если бы они упорно отвергали доказательства такой божественной силы, которой были вынуждены подчиняться все элементы, все виды животного царства и даже едва уловимые и невидимые для глаз движения человеческой души. И молитвы, и оскорбления имели, по убеждению христиан, немедленные и даже мгновенные последствия; это служило для них вполне достаточным доказательством милостей и авторитета, которыми пользовались святые перед лицом верховного Бога, и, по-видимому, было бы совершенно излишним допытываться, были ли они обязаны всякий раз ходатайствовать перед престолом Всеблагого, или же им было дозволено пользоваться вверенною им властью по внушениям своей собственной благодати и справедливости. Воображение, достигшее

путем тяжелых усилий до созерцаний и обожания Всеобщей Причины, с жадностью ухватывалось за более низкие предметы обожания, так как они более соразмерны с грубостью его понятий и с ограниченностью его способностей. Возвышенное и безыскусственное богословие первых христиан постепенно извратилось, и небесная монархия, уже опутанная разными метафизическими тонкостями, была обезображена введением популярной мифологии, клонившейся к восстановлению многобожия.

Введение языческих обрядов

Так как предметы религиозного поклонения постепенно низводились до одного уровня с воображением, то были введены такие обряды и церемонии, которые всего сильнее действовали на чувства толпы. Если бы в начале пятого столетия Тертуллиан и Лактанций могли восстать из мертвых и присутствовать при праздновании дня какого-нибудь популярного святого или мученика, они были бы поражены удивлением и негодованием при виде тех нечестивых зрелищ, которые заменили чистое и духовное богослужение христианских конгрегаций. Лишь только растворились бы церковные двери, они были бы поражены курением ладана, ароматом цветов и блеском лампад и восковых свеч, разливавших среди белого дня роскошный, вовсе ненужный и, по их мнению, святотатственный свет. Если бы они направились к балюстраде алтаря, им пришлось бы проходить сквозь распростертую толпу молящихся, состоящую большей частью из чужеземцев и пилигримов, которые приходили в город накануне праздников и уже находились в состоянии опьянения от фанатизма, а может быть, и от вина. Эти благочестивые люди осыпали поцелуями стены и пол священного здания, а их горячие мольбы, независимо от того, какие слова произносились в ту минуту священнослужителями, были обращены к костям, к крови или праху святого, по обыкновению прикрытому от глаз толпы полотняным или шелковым покрывалом. Христиане посещали могилы мучеников в надежде получить, благодаря их могущественному заступничеству, разного рода духовные, но в особенности мирские блага. Они молили о сохранении их здоровья или об исцелении их недугов, о том, чтобы их жены родили им детей, или о том, чтобы их дети были здоровы и счастливы. Когда они пускались в далекое или опасное странствование, они просили святых мучеников быть их руководителями и покровителями во время пути, а если они возвращались домой, не претерпев никаких бед, они снова спешили к могилам мучеников для того, чтобы выразить свою признательность мощам этих небесных патронов. Стены были увешаны символами полученных ими милостей — сделанными из золота или серебра глазами, руками и ногами, а назидательные произведения живописи, которые неизбежно должны были скоро сделаться предметами неблагоразумного поклонения, представляли фигуру, атрибуты и чудеса святого. Один и тот же первообразный дух суеверия должен был наводить, в самые отдаленные один от другого века и в самых отдаленных одна от другой странах, на одни и те же способы обманывать людей легковерных и действовать на чувства толпы; но следует чистосердечно сознаться, что священнослужители Католической Церкви подражали тому нечестивому образцу, который они старались уничтожить. Самые почтенные епископы пришли к тому убеждению, что невежественные поселяне охотнее откажутся от языческих суеверий, если найдут какое-нибудь с ними сходство и какую-нибудь на них замену в христианских обрядах. Религия Константина менее чем в одно столетие довершила завоевание всей Римской империи, но сами победители были постепенно порабощены коварством своих побежденных соперников.



**Окончательное разделение Римской империи
между сыновьями Феодосия. —
Царствование Аркадия и Гонория. — Управление
Руфина и Стилихона. — Восстание и поражение
Гильдона в Африке.
(395–398 гг.)**

Глава 14 (XXIX)

Гений Рима умер вместе с Феодосием, который был последним из преемников Августа и Константина, появлявшихся на полях брани во главе своих армий, и власть которого была всеми признана на всем пространстве империи. Однако память о его доблестях некоторое время охраняла слабую и неопытную юность двух его сыновей. После смерти своего отца Аркадий и Гонорий были провозглашены, с единодушного одобрения всего мира, законными императорами Востока и Запада, и клятва в верности была с жаром принесена лицами всех званий — и сенаторами старого и нового Рима, и духовенством, и судьями, и солдатами, и народом. Аркадий, которому было в ту пору почти восемнадцать лет, родился в Испании, в скромном жилище частного человека. Но он получил царское воспитание в константинопольском дворце, и вся его бесславная жизнь прошла в этой мирной и великолепной столице, из которой он, по-видимому, царствовал над Фракией, Малой Азией, Сирией и Египтом, от Нижнего Дуная до пределов Персии и Эфиопии. Его младший брат Гонорий принял на одиннадцатом году от рождения номинальное управление Италией, Африкой, Галлией, Испанией и Британией, а войска, охранявшие границы его владений, имели дело, с одной стороны, с каледонцами, а с другой — с маврами. Обширная и населенная воинственным народом иллирийская префектура была разделена между двумя братьями; провинции Иорика, Паннония и Далмация по-прежнему входили в состав Западной империи, но два больших округа, дакийский и македонский, охрана которых была поручена Грацианом Феодосию, были навсегда присоединены к Восточной империи. Граница Европы немногим отличалась от той, которая отделяет в настоящее время германцев от турок, и при этом окончательном и неизменном разделении Римской империи были добросовестно взвешены и уравновешены выгоды территории, богатства, населенности и военной силы. Наследственный скипетр сыновей Феодосия, по-видимому, принадлежал им по праву рождения и по воле их отца; и генералы и министры уже привыкли чтить в лице двух царственных юношей императорское достоинство, а опасный пример нового избрания не напоминал армии и народу об их правах и могуществе. Ни неспособность Аркадия и Гонория к делам управления, ни общественные бедствия их царствования не могли заглушить в сердцах их подданных глубоко запечатлевшиеся чувства преданности. Римские подданные, не переставая

читать личность или, скорее, имена своих государей, обратили свою ненависть на бунтовщиков, восставших против верховной власти и министров, которые ею злоупотребляли.

Характер и правление Руфина. 386–395 гг.

Феодосий омрачил блеск своего царствования возвышением Руфина — отвратительного фаворита, который даже в веке гражданских и религиозных раздоров заслужил от всех партий обвинение во всевозможных преступлениях. Движимый сильным честолюбием и корыстолюбием, Руфин покинул свою родину в глухом уголке Галлии, чтобы искать счастья в столице Востока; будучи одарен бойким и находчивым красноречием, он с успехом подвизался на адвокатском поприще, а успех в этой профессии открыл ему доступ к самым почетным и важным государственным должностям. Он достиг шаг за шагом звания министра двора. При исполнении своих разнообразных обязанностей, столь существенно связанных со всей системой гражданского управления, он приобрел доверие монарха, который скоро заметил его усердие и деловые способности, но долго ничего не знал о его гордости, злости и сребролюбии. Эти пороки были скрыты под маской глубокого лицемерия; его страсти умолкали лишь для того, чтобы потакать страстям его повелителя; однако при страшном избиении жителей Фессалоники жестокосердый Руфин разжигал гнев Феодосия, но не последовал примеру императора и не раскаялся. Он смотрел на все человечество с высокомерным презрением и никогда не прощал самой легкой обиды; а тот, кто был его личным врагом, утрачивал в его мнении все права, приобретенные своими заслугами. Главный начальник пехоты Промот спас империю от вторжения остроготов, но Руфин с негодованием выносил первенство соперника, к характеру и убеждениям которого он питал презрение, и в публичном заседании совета выведенный из терпения воин нанес фавориту удар в наказание за его непристойное высокомерие. Об этом акте насилия было доложено императору как о таком оскорблении, которого он не мог простить из уважения к собственному достоинству. Промот подвергся опале и ссылке; ему было приказано немедленно отправиться на службу на берега Дуная, а смерть этого генерала (хотя он был убит в стычке с варварами) приписывалась коварству Руфина. Принесением в жертву героя Руфин удовлетворил свою жажду мщения, а отличия консульского звания еще более раздули его тщеславие; но его могущество было и неполно и непрочно, пока важные должности префектов восточного и константинопольского были заняты Тацианом и его сыном Проклом, которые своим совокупным влиянием некоторое время сдерживали притязания и влияние министра двора. Оба префекта были обвинены в хищничестве и лихоимстве во время заведования министерствами юстиции и финансов. Суд над этими высокими преступниками император поручил особой комиссии; несколько судей были назначены для того, чтобы можно было разделить между ними виновность и порицания в несправедливости, но право постановить приговор было предоставлено одному председателю комиссии, а этим председателем был сам Руфин. Отставленный от должности восточного префекта отец был заключен в тюрьму; но его сын спасся бегством, зная, что немного найдется министров, способных доказать свою невинность, когда судьей над ними назначен их недруг; тогда Руфин, не довольствуясь гибелью того из двух министров, который был менее для него ненавистен, прибегнул к самым низким и неблагородным хитростям. Следствие произ-

водилось, по-видимому, с таким беспристрастием и такой мягкостью, что Тациан льстил себя надеждой на благоприятный исход дела; его уверенность была усилена формальными заявлениями и вероломными клятвами председателя, который дозволил себе замешать в это дело священное имя самого Феодосия, и несчастный отец наконец склонился на убеждения вызвать частным письмом бежавшего сына. Прокул был тотчас арестован и с такой торопливостью подвергнут допросу, осужден и обезглавлен в одном из константинопольских предместий, что не успел прибегнуть к милосердию императора. Без всякого сострадания к сенатору-консуляру жестокосердые судьбы Тациана заставили его присутствовать при казни сына; на его собственную шею была надета роковая веревка, но в ту минуту, когда он ожидал и, может быть, желал смерти, чтобы скорее избавиться от своих страданий, ему было дозволено провести остальные годы старости в бедности и в изгнании. Для наказания двух префектов, быть может, и нашлось бы какое-нибудь оправдание в их собственных ошибках или заблуждениях, а неприязнь, которую питал к ним Руфин, можно приписать свойственной всем честолюбцам зависти и недоверчивости. Но Руфин обнаружил мстительность, не совместимую ни с благоразумием, ни со справедливостью, когда лишил их родину Ликию ранга римской провинции, заклеил позором ее невинное население и объявил, что соотечественники Тациана и Прокула всегда будут считаться неспособными занимать какие-либо почетные или выгодные должности под императорским управлением. Впрочем, самые преступные предприятия не могли отвлечь нового восточного префекта (так как Руфин тотчас заменил своего соперника в его почетных должностях) от исполнения религиозных обязанностей, которое считалось в ту пору существенно необходимым для спасения души. В одном из предместий Халкедона, прозванном Дубом, он построил роскошную виллу и рядом с нею великолепную церковь, которая была освящена во имя апостолов Св. Петра и Св. Павла и в которой правильно организованное общество монахов постоянно занималось молитвами и покаянием. Почти все восточные епископы были созваны для того, чтобы торжественно совершить и освящение церкви, и крещение ее основателя. Эта двойная церемония отличалась необыкновенной пышностью, и, когда Руфин очистился в купели от всех совершенных им до той поры преступлений, какой-то почтенный египетский отшельник опрометчиво предложил высокомерному и честолюбивому министру принять на себя обязанности его крестного отца.

Личные достоинства Феодосия налагали на его министра обязанность лицемерить, которая иногда прикрывала, а иногда и сдерживала злоупотребление властью, и Руфин опасался вывести из усыпления нерадивого монарха, который еще был способен проявить те дарования и добродетели, которым он был обязан императорским престолом. Но сначала отсутствие, а потом смерть императора укрепили абсолютную власть Руфина над личностью и владениями Аркадия — слабого юноши, к которому надменный префект относился не как к своему государю, а как к своему воспитаннику. Не обращая никакого внимания на общественное мнение, он с тех пор стал предаваться своим страстям без угрызений совести и без всякого с чьей-либо стороны сопротивления, а его злобная и корыстолюбивая душа была недоступна для тех страстей, которые могли бы содействовать его собственной славе или счастью народа. Его алчность, по-видимому, преобладавшая в его развратной душе над всеми другими чувствами, притягивала в его ру-

ки богатства Востока при помощи разнообразных вымогательств, как частных так и общих, — при помощи притеснительных налогов, позорных взятков, чрезмерных денежных штрафов, несправедливых конфискаций, принудительных или подложных завещаний, отнимавших законное наследство у детей чужеземцев или его личных врагов, и заведенной им в константинопольском дворце публичной продажи правосудия и милостей. Честолюбец жертвовал большей частью своего наследственного состояния, чтобы купить этой ценой почетную и выгодную должность губернатора какой-нибудь провинции; жизнь и состояние несчастных жителей предоставлялись произволу того, кто давал высшую цену, а чтобы успокоить общее раздражение, иногда приносился в жертву какой-нибудь непопулярный преступник, наказание которого было выгодно только для его сообщника и его судьи — восточного префекта. Если бы алчность не была самая слепая из всех человеческих страстей, мотивы такого образа действий Руфина могли бы возбудить в нас любопытство, и мы постарались бы доискаться, с какой целью он нарушал все принципы человеколюбия и справедливости, накапливая такие громадные богатства, которых он не мог бы истратить на себя, если бы не совершал никаких безрассудств, и которых он не мог бы сохранить, не подвергаясь опасности. Быть может, он воображал, что делает это для пользы своей единственной дочери, которую он намеревался выдать замуж за своего царственного воспитанника и сделать восточной императрицей. Быть может, он обманывал самого себя, думая, что его алчность доставит ему средства для удовлетворения его честолюбия. Он желал утвердить свое высокое положение на таком прочном и самостоятельном фундаменте, который не зависел бы от прихоти юного императора, а между тем он не старался приобрести любовь солдат и народа щедрой раздачей тех сокровищ, которые он накопил таким трудом и такими преступлениями. Чрезмерная бережливость Руфина лишь навлекла на него зависть и обвинения в том, что его богатства нечестно нажиты; его подчиненные служили ему без преданности, и общая к нему ненависть сдерживалась лишь раболепным страхом. Участь, постигшая Лукиана, дала знать всему Востоку, что, хотя его префект стал менее усердно заниматься делами, он еще был неутомим в удовлетворении своей мстительности. Сын префекта Флоренция, тирана Галлии и Юлианова врага, Лукиан употребил значительную часть своего наследственного состояния, нажитого хищничеством и лихоимством, на то, чтобы купить дружбу Руфина и важную должность восточного графа. Но новый сановник имел неосторожность уклониться от принципов двора и того времени; он оскорбил своего благодетеля контрастом справедливой и воздержанной администрации и не захотел совершить одной несправедливости, которая могла бы доставить выгоды дяде императора. Аркадия было нетрудно убедить, что ему нанесено оскорбление, которое нельзя оставлять безнаказанным, и восточный префект решился лично привести в исполнение жестокое отмщение, которое он задумал против неблагодарного делегата, которому он уделил часть своей власти. Он проехал, не останавливаясь, семьсот или восемьсот миль, отделяющих Константинополь от Антиохии, прибыл в столицу Сирии во время мертвой ночной тишины и навел страх на жителей, не знавших цели его приезда, но хорошо знавших его характер. Графа пятнадцати восточных провинций притащили, как самого низкого преступника, на суд к Руфину. Несмотря на самые ясные доказательства его бескорыстия и несмотря на то что не нашлось ни одного человека, ко-

торый обвинил бы его в противном, Лукиан был приговорен, почти без всякого судебного разбирательства, к жестокому и позорному наказанию. По приказанию и в присутствии тирана исполнители его воли били Лукиана по шее кожаными ремнями, на конце которых был прикреплен свинец, а когда этот несчастный упал от боли в обморок, его унесли на закрытых носилках для того, чтобы негодующее население не могло видеть его агонии. Лишь только Руфин совершил этот бесчеловечный поступок, который был единственной целью его поездки, он возвратился из Антиохии в Константинополь, сопровождаемый тайными и безмолвными проклятиями испуганного народа, а его торопливость была усилена надеждой, что можно будет немедленно приступить к бракосочетанию его дочери с императором Востока. Но Руфин скоро узнал по опыту, что предусмотрительный министр должен постоянно опутывать своего царственного пленника крепкими, хотя и незаметными для глаз узами привычки и что его достоинства, а тем более оказанное ему милостивое доверие очень скоро изглаживаются в его отсутствие из памяти слабого и своенравного государя. В то время как префект удовлетворял в Антиохии свою жажду мщения, заговор любимых евнухов под руководством главного камергера Евтропия поколебал его влияние в константинопольском дворце. Заговорщики убедились, что Аркадий не чувствовал любовного влечения к дочери Руфина, которая была избрана ему в невесты без его согласия, и постарались заменить ее прекрасной Евдокией, дочерью состоявшего на римской службе франкского генерала Бото, которая воспитывалась, после смерти своего отца, в семействе сыновей Промота. Юный император, целомудрие которого строго охранялось заботливыми попечениями его воспитателя Арсения, с жадностью прислушивался к лукавым и льстивым описаниям прелестей Евдокии: он с пылом страсти любовался на ее портрет и понимал необходимость скрывать свои любовные замыслы от министра, так сильно заинтересованного в том, чтобы они не были приведены в исполнение. Вскоре после возвращения Руфина о предстоящей церемонии императорского бракосочетания было объявлено жителям Константинополя, которые приготовились приветствовать возвышение дочери префекта притворными выражениями радости. Блестящие ряды евнухов и придворных вышли со свадебной пышностью из ворот дворца, неся на руках диадему, одеяния и драгоценные украшения будущей императрицы. Торжественная процессия шла по улицам, которые были украшены гирляндами и наполнены зрителями; но, когда она поравнялась с домом сыновей Промота, главный евнух почтительно вошел в него, надел на прекрасную Евдокию императорские одеяния и с торжеством проводил ее до дворца и до спальни Аркадия. Тайна и успех, с которыми был веден этот заговор против Руфина, сделались неисчерпаемым источником насмешек над министром, который не сумел уберечься от обмана, находясь на таком посту, где искусство обманывать и притворяться считается самым выдающимся достоинством. С негодованием и страхом смотрел он на торжество честолюбивого евнуха, втайне снискавшего милостивое расположение его государя, а унижение его дочери, интересы которой были неразрывно связаны с его собственными, оскорбляло отцовскую нежность или, по меньшей мере, гордость Руфина. В ту самую минуту, когда он надеялся сделаться родоначальником длинного ряда монархов, посторонняя девушка, воспитанная в доме его непримиримых врагов, делается супругой императора; к тому же Евдокия скоро проявила такой здравый смысл и такую энергию,

которые упрочили влияние ее красоты на ум ее молодого и влюбленного супруга. Император, конечно, скоро стал бы ненавидеть, бояться и стараться погубить могущественного подданного, которого он оскорбил, а сознание своих преступлений лишало Руфина надежды найти безопасность или спокойствие в уединенной жизни частного человека. Однако в его руках еще была такая сила, что он мог бы отстоять свое достоинство и даже раздавить своих врагов. Префект еще пользовался неограниченной властью над гражданским и военным управлением Востока, а если бы он решился употребить в дело свои сокровища, они могли бы доставить ему надлежащие средства для исполнения самых преступных замыслов, какие только могут быть внушены доведенному до отчаяния министру гордостью, честолюбием и желанием отомстить за себя. Характер Руфина, по-видимому, придавал вероятие обвинениям, что он замышлял гибель своего государя с целью занять после его смерти вакантный престол и что он втайне поощрял гуннов и готов вторгнуться в империю, чтобы этим усилить внутреннюю неурядицу. Хитрый префект, прошедший всю свою жизнь в дворцовых интригах, отражал коварные происки евнуха Евтропия таким же оружием, но он совершенно оробел при известии о приближении более грозного соперника — генерала, или, скорее, повелителя, Западной империи великого Стилихона.

Высокое счастье быть прославленным поэтом, способным воспевать подвиги героев, выпало на долю Ахилла и возбуждало зависть в Александре, а Стилихон наслаждался им в такой мере, которой едва ли можно было ожидать при упадке творческого гения и искусства. Преданная ему муза Клавдиана всегда была готова клеймить вечным позором его врагов Руфина и Евтропия и описывать самыми блестящими красками победы и доблести своего могущественного благодетеля. При обзоре такого периода, который беден достоверными историческими источниками, мы вынуждены освещать летописи царствования Гонория сатирами или панегириками современного писателя; но так как Клавдиан, как кажется, пользовался самыми широкими привилегиями и поэта и царедворца, то мы должны прибегнуть к помощи критики, чтобы перевести язык вымысла и преувеличения на правдивую и безыскусственную историческую прозу. Его молчание касательно рода Стилихона может быть принято за доказательство того, что его патрон и не мог, и не желал хвастаться длинным рядом знаменитых предков, а легкое упоминание о том, что отец Стилихона был офицером варварской кавалерии, находившейся на службе у Валента, по-видимому, подтверждает мнение, что генерал, так долго командовавший римскими армиями, происходил от дикого и вероломного племени вандалов. Если бы Стилихон на самом деле не обладал внешними отличиями физической силы и высокого роста, самый льстивый бард не осмелился бы утверждать в присутствии стольких очевидцев, что он был выше древних полубогов и что, когда он величаво проходил по улицам столицы, удивленная толпа сторонилась перед чужеземцем, который, будучи частным человеком, держал себя с величием героя. С ранней молодости он посвятил себя военному ремеслу; он скоро отличился на поле битвы своим благоразумием и мужеством; восточные всадники и стрелки из лука восхищались его необыкновенной ловкостью, и при каждом повышении его по службе общее мнение предупреждало и одобряло выбор монарха. Феодосий возложил на него заключение мирного договора с персидским монархом; при исполнении этого важного поручения он поддержал достоинство римского имени, а когда он возвратился в Константинополь, его заслуги были на-

граждены близким родственным союзом с императорским семейством. Феодосий, из братской привязанности, принял на себя обязанности родного отца по отношению к дочери своего брата Гонория; красота и совершенства Серены были предметом общих похвал при раболепном дворе, и Стилихон был предпочтен всем соперникам, из честолюбия добивавшимся руки принцессы и милостивого расположения ее приемного отца. Уверенность, что муж Серены будет верным слугой монарха, принявшего его в свое родство, побудила императора возвысить положение Стилихона и употребить в дело его благородие и неустрашимость. Пройдя должности начальника кавалерии и графа дворцовой прислуги, Стилихон возвысился до звания главного начальника всей кавалерии и пехоты римской или, по меньшей мере, Западной империи, и даже его враги признавались, что он никогда не продавал на вес золота наград, принадлежавших заслугам, и никогда не присваивал жалованья и денежных раздач, которые назначались солдатам. Мужество и искусство, с которыми он впоследствии защищал Италию от нападений Алариха и Радагэза, оправдали славу его ранних подвигов, и в таком веке, который был менее нашего взыскателен в вопросах чести и личного достоинства, римские генералы могли охотно уступить первенство ранга превосходству гения. Стилихон оплакивал смерть своего соперника и друга Промота и отомстил за нее, а умерщвление нескольких тысяч спасавшихся бегством бастарнов выдается поэтом за кровавую жертву, которую римский Ахилл принес манам другого Патрокла. Доблести и победы Стилихона навлекли на него ненависть Руфина, и клевета, быть может, достигла бы своей цели, если бы нежная и бдительная Серена не оберегала своего супруга от внутренних врагов, в то время как он побеждал на поле битвы врагов империи. Феодосий не переставал поддерживать недостойного министра, усердию которого он поручил управление дворцом и всем Востоком; но когда он выступил в поход против тирана Евгения, он захотел разделить со своим преданным генералом труды и трофеи междоусобной войны, а в последние минуты своей жизни умирающий монарх возложил на Стилихона заботу о своих сыновьях и о республике. Ни честолюбие, ни дарования Стилихона не были ниже такой важной задачи, и он заявил притязание на звание регента обеих империй на время малолетства Аркадия и Гонория. Первые дела его управления, или, вернее, его царствования, обнаружили энергию и предприимчивость человека, достойного верховной власти. Он перешел через Альпы среди зимы, спустился по Рейну от крепости Базеля до болот Батавии, осмотрел положение гарнизонов, сдержал предприимчивость германцев и, утвердив вдоль берегов реки прочный и почетный мир, возвратился с невероятной быстротой в миланский дворец. И личность, и двор Гонория подчинялись главному начальнику Запада, а европейские армии и провинции без колебаний повиновались законной власти, которой Стилихон пользовался от имени их юного государя. Только два соперника не признавали прав Стилихона и вызывали его на мщение. В Африке мавр Гильдон удерживал надменную и опасную независимость, а константинопольский министр присвоил себе такую же власть над восточным императором и Восточной империей, какая принадлежала Стилихону на Западе.

Беспристрастие, которого желал держаться Стилихон в качестве опекуна над обоими монархами, заставило его поровну разделить оставшиеся после покойного императора оружие, драгоценные камни, мебель и великолепный гардероб. Но самую важную часть наследства составляли

многочисленные легионы, когорты и римские или варварские эскадроны, соединившиеся под знаменем Феодосия вследствие успешного окончания междоусобной войны. Эти разнохарактерные отряды европейцев и азиатов, еще так недавно воспламенявшиеся взаимной враждой, преклонились перед авторитетом одного человека, а введенная Стилихоном строгая дисциплина оберегала граждан от хищничества своевольных солдат. Однако, желая как можно скорее избавить Италию от присутствия этих страшных гостей, которые могли бы сделаться полезными лишь на границах империи, он уважил основательные требования Аркадиева министра, объявил о своем намерении лично отвести на место восточные войска и ловко воспользовался слухами о мятеже готов, чтобы скрыть свои тайные замыслы, внушенные и честолюбием, и жадной мщеньем. Преступная душа Руфина была встревожена приближением воина и соперника, ненависть которого он вполне заслужил; его страх все усиливался; он соображал, как мало времени ему остается жить и наслаждаться своим величием, и прибегнул как к последнему средству спасения к вмешательству императора Аркадия. Стилихон, как кажется, подвигавшийся вперед вдоль берегов Адриатического моря, уже был недалеко от города Фессалоники, когда получил безусловные приказания императора, который отзывал восточные войска и объявлял ему, что, если он сам приблизится к столице, византийский двор сочтет это за неприязненное действие. Поспешное и неожиданное повиновение западного генерала убедило всех в его преданности и умеренности, а так как он уже заручился привязанностью восточных войск, то он поручил им исполнение своего кровавого замысла, который мог быть осуществлен в его отсутствие с меньшей опасностью и, быть может, с меньшим позором. Стилихон передал главное начальство над восточными войсками готу Гайне, на преданность которого он твердо полагался, и был по меньшей мере уверен, что смелый варвар не откажется от своего намерения из страха или от угрызений совести. Солдат было нетрудно склонить к наказанию того, кто был врагом Стилихона и Рима, и такова была общая ненависть, которую внушил к себе Руфин, что роковая тайна, вверенная тысячам солдат, хранилась в продолжение длинного перехода от Фессалоники до ворот Константинополя. Лишь только они решились убить Руфина, они стали льстить его гордости; честолюбивый префект увлекся надеждой, что эти могущественные союзники, быть может, согласятся возложить на его голову диадему, а сокровища, которые он стал раздавать слишком поздно и не совсем охотно, принимались этими негодующими людьми скорее за оскорбление, чем за подарок. Войска остановились на расстоянии одной мили от столицы, на Марсовом поле, перед Гебдомонским дворцом, и, согласно со старинным обыкновением, император появился в сопровождении своего министра для того, чтобы почтительно приветствовать силу, поддерживавшую его трон. В то время как Руфин проезжал вдоль рядов, скрывая под притворной приветливостью свое врожденное высокомерие, правое и левое крыло постепенно сомкнулись, так что обреченная на смерть жертва оказалась окруженной со всех сторон. Руфин еще не успел сообразить, как опасно его положение, когда Гайна подал сигнал к убийству; один из самых смелых и на все готовый солдат вонзил свой меч в грудь преступного префекта; Руфин со стоном упал к ногам испуганного императора и испустил дух. Если бы минутные предсмертные страдания могли искупать преступления всей жизни или если бы оскорбления, наносимые бездыханному трупу, могли

возбуждать в нас сострадание, наше человеколюбие, быть может, было бы возмущено отвратительными сценами, которыми сопровождалось умерщвление Руфина. Его изуродованное тело было предоставлено зверской ярости жителей обоего пола, которые толпами стекались из всех частей города для того, чтобы попирать ногами бранные останки надменного министра, так еще недавно наводившего на них страх одним своим взглядом. Его правую руку отрезали и в насмешку несли по улицам Константинополя как будто для сбора пожертвований в пользу алчного тирана, голова которого была надета на длинное копьё и выставлена перед публикой. По бесчеловечным правилам, существовавшим в греческих республиках, его невинное семейство должно бы было понести вместе с ним наказание за его преступления. Но жена и дочь Руфина были обязаны своим спасением влиянию религии. Ее святилище охранило их от яростного бешенства народа, и им было дозволено провести остальную жизнь в делах христианского благочестия в мирном убежище Иерусалима.

Распри между двумя империями. 395 г.

Раболепный панегирист Стилихона превозносит со свирепым восторгом отвратительное дело, которое хотя, быть может, и удовлетворяло требованиям справедливости, но нарушало все законы природы и общества, унижало величие монарха и снова подавало опасный пример солдатского своеволия. Созерцание порядка и гармонии, господствующих во всей Вселенной, убедило Клавдиана в существовании Божества, но безнаказанность порока, по-видимому, была несовместима с нравственными атрибутами этого Божества, и одна только гибель Руфина была способна рассеять религиозные сомнения поэта. Но если умерщвление префекта и могло считаться отмщением за честь Провидения, оно не много содействовало благосостоянию народа. Менее чем через три месяца после того принципы нового управления сказались в странном эдикте, который отбирал в государственную казну все состояние Руфина и под страхом строгих наказаний запрещал поданным Восточной империи предъявлять какие-либо иски к имуществу грабившего их тирана. Даже Стилихон не извлек из умерщвления своего соперника той пользы, какую ожидал, и, хотя он удовлетворил свою жажду мщения, он обманулся в своих честолюбивых расчетах. Слабому Аркадию нужен был властелин, носящий название фаворита; но он предпочитал раболепное ухаживанье евнуха Евтропия, успевшего внушить ему доверие, в том, что касалось его домашней жизни, а суровый гений чужеземного генерала внушал императору страх и отвращение. Меч Гайны и прелести Евдокии поддерживали влияние главного камергера до тех пор, пока их не разъединила борьба за власть; вероломный гот, получив главное военное командование на Востоке, изменил без угрызений совести интересам своего благодетеля, и те же самые войска, которые незадолго перед тем убили Стилихонова врага, стали защищать против того же Стилихона самостоятельность константинопольского престола. Фавориты Аркадия стали вести тайную и непримиримую войну против грозного героя, который хотел быть правителем и защитником обеих римских империй и обоих сыновей Феодосия. Путем тайных и коварных интриг они постоянно старались лишить его доверия монарха, уважения народа и дружбы варваров. На жизнь Стилихона не раз покушались наемные убийцы, а константинопольский сенат склонился на убеждения издать декрет, который объявлял его врагом госу-

дарства и приказывал конфисковать его обширные поместья в восточных провинциях. В такое время, когда разрушение Римской империи могло бы быть приостановлено лишь прочным согласием и взаимным содействием всех народов, постепенно вошедших в ее состав, подданные Аркадия и Гонория научились от своих правителей относиться друг к другу безучастно и даже враждебно, научились радоваться бедствиям других и считать своими верными союзниками варваров, которых они подстрекали к вторжению на территорию своих соотечественников. Итальянские уроженцы делали вид, будто презирают раболепных и изнеженных византийских греков, которые усвоили себе одеяние и незаконно присвоили звание римских сенаторов, а греки со своей стороны еще не забыли, с какой ненавистью и каким презрением долго относились их образованные предки к грубым жителям Запада. Разъединение между двумя правительствами, которое скоро привело к разъединению между двумя нациями, дает мне право приостановить на время изложение византийской истории и описать без перерыва постыдное, но достопамятное царствование Гонория.

Восстание Гильдона в Африке. 386–398 гг.

Осторожный Стилихон, вместо того чтобы навязываться со своим покровительством к монарху и к народу, которые отталкивали его от себя, благоразумно оставил Аркадия на произвол его недостойных фаворитов, а его нежелание вовлекать две империи в междоусобную войну свидетельствует о сдержанности министра, так часто выказывавшего в блестящем свете свое мужество и свои воинские дарования. Но если бы Стилихон долее оставлял безнаказанным восстание Африки, он рисковал бы безопасностью столицы и унизил бы величие западного императора перед своенравной наглостью мавританского бунтовщика. Брат тирана Фирма Гильдон получил в награду за свою притворную преданность огромное состояние, которое было отобрано у его семейства в наказание за измену; продолжительная и полезная служба в римских армиях возвысила его до звания военного графа; близорукая политика Феодосиева двора усвоила вредный принцип опираться на интересы влиятельных семейств для того, чтобы поддерживать легальное правительство, и брат Фирма был назначен главным начальником войск в Африке. Из честолюбия он присвоил себе безотчетное и бесконтрольное заведование юстицией и финансами и в течение своего двенадцатилетнего управления удерживал за собою должность, с которой нельзя было его сместить, не подвергаясь опасностям междоусобной войны. В течение этих двенадцати лет африканская провинция стонала под владычеством тирана, по видимому, соединявшего в себе бесчувственность иностранца с пристрастием и мстительностью, которые бывают последствием внутренних раздоров. Исполнение законов часто заменялось употреблением яда, а если дрожащие от страха гости, приглашенные к столу Гильдона, позволяли себе обнаружить свои опасения, такая дерзкая подозрительность лишь разжигала его ярость, и он громко призывал палачей. Гильдон удовлетворял попеременно то свое корыстолюбие, то свои похоти, и если его дни были страшны для богачей, его ночи были не менее страшны для мужей и отцов семейств. Самые красивые из их жен и дочерей, удовлетворив страсть тирана, делались жертвами отряда свирепых варваров и убийц, набранных между черными или смуглыми жителями пустыни, которых Гильдон считал единственной опорой своей власти. Во время междоусобной войны между Феодосием и Евгени-

ем граф, или, вернее, государь Африки, держался гордого и подозрительного нейтралитета, отказал обеим борющимся сторонам в помощи войсками или кораблями, выжидал приговора фортуны и поберег для победителя свои притворные уверения в преданности. Такие уверения не удовлетворили бы повелителя Римской империи, но смерть Феодосия, а затем слабость и раздоры его сыновей упрочили власть мавра, который снизошел до того, что в доказательство своей умеренности воздержался от употребления диадемы и не переставал доставлять в Рим обычную подать, заключающуюся в хлебных запасах. При всяком дележе империи пять африканских провинций всегда присоединялись к владениям западного императора, и Гильдон изъявил готовность управлять этой обширной страной от имени Гонория; но, когда он ознакомился с характером и намерениями Стилихона, он решился признать над собою верховную власть более отдаленного от него и более слабого монарха. Министры Аркадия приняли сторону вероломного мятежника, а обманчивая надежда присоединить к восточной империи многочисленные африканские города побудила их заявить такие притязания, которых они не были в состоянии поддержать ни аргументами, ни оружием.

Стилихон твердо и решительно отверг притязания византийского двора и затем предал африканского тирана суду того трибунала, который когда-то был судьей над царями и народами всего мира; таким образом, после продолжительного перерыва снова ожило в царствование Гонория воспоминание о республике. Император сообщил римскому сенату подробное и пространное описание жалоб местного населения и преступлений Гильдона и предложил членам этого почтенного собрания произнести приговор над бунтовщиком. Они единогласно признали Гильдона врагом республики, и сенатский декрет придал законную санкцию римскому оружию. Народ, еще не забывший, что его предки были властителями всего мира, порадовался бы с сознательной гордостью этому напоминанию о старинных вольностях, если бы давно уже не привык предпочитать обеспеченную доставку хлеба мимолетным мечтам о свободе и величии. Но продовольствие Рима зависело от урожая в Африке, а объявление войны, очевидно, привело бы к голоду. Председательствовавший на сенатских совещаниях префект Симмах сообщил министру свои основательные опасения, что, лишь только мстительный мавр запретит вывоз хлеба, спокойствию и, быть может, безопасности столицы будет угрожать ярость мятежной черни, раздраженной голодом. Предусмотрительный Стилихон немедленно принял самые действенные меры для удовлетворения народных нужд. Обильные запасы хлеба, заготовленные внутри галльских провинций, были нагружены на суда, спущены вниз по быстрому течению Роны и затем доставлены морем из Роны в Тибр. В течение всей африканской войны хлебные магазины Рима были постоянно наполнены, его достоинство было избавлено от унижительной зависимости и умы громадного населения были успокоены уверенностью в безопасности и достатке.

Стилихон возложил защиту римских интересов и ведение африканской войны на предприимчивого генерала, горевшего нетерпением выместить на тиране свои личные обиды. Дух раздора, господствовавший в семействе Набала, возбудил непримиримую вражду между двумя его сыновьями, Гильдоном и Маскецелом. Узурпатор преследовал с неумолимой яростью своего младшего брата, наводившего на него страх своим мужеством

и дарованиями, и Маскецель, не будучи в состоянии бороться с ним, искал убежища при миланском дворе; там получил он страшное известие, что двое его невинных и беззащитных детей были умерщвлены их бесчеловечным дядей. Горесть отца умолкла только перед жадной мщенья. Бдительный Стилихон уже собирал морские и военные силы Западной империи и решился лично выступить против тирана в случае, если бы он был способен оказать упорное сопротивление. Но так как Италия требовала его присутствия и так как было бы опасно ослаблять пограничные гарнизоны, он нашел более уместным, чтобы Маскецель попытался исполнить трудную задачу во главе отборного отряда галльских ветеранов, служивших незадолго перед тем под знаменем Евгения. Эти войска, призванные доказать перед целым миром, что они способны ниспровергнуть трон узурпатора точно так же, как они были способны его поддерживать, состояли из легионов Юпитерского, Геркулианского и Августова, из нервийских союзников, из солдат, выставлявших на своих знаменах изображение льва, и из тех отрядов, которые носили многообещающие названия Счастливых и Непобедимых. Но так был незначителен их состав или так велика была трудность пополнять их новыми рекрутами, что эти семь отрядов, пользовавшихся на римской службе большими отличиями и прекрасной репутацией, представляли не более пяти тысяч человек. Флот, состоявший из галер и транспортных судов, вышел в бурную погоду из гавани Пизы, в Тоскане, и направился к маленькому острову Капрарии, получившему это название от своих первоначальных обитательниц, диких коз, место которых было в ту пору занято новой колонией, имевшей странную и дикую внешность. «Весь этот остров, — говорит один остроумный путешественник того времени, — наполнен или, скорее, осквернен людьми, которые избегают дневного света. Они сами себя называют монахами или отшельниками, потому что живут в уединении и не хотят, чтобы кто-нибудь был свидетелем того, чем они занимаются. Они не ищут даров фортуны из опасения утратить их и, чтобы избежать несчастий, добровольно обрекают себя на жизнь в нищете. Как нелеп их вкус! Как извращен их разум! Разве может бояться несчастий тот, кто не способен наслаждаться радостями человеческой жизни. Или это меланхолическое сумасбродство происходит от физической болезни, или же сознание своей виновности заставляет этих несчастных людей подвергать себя тем мучениям, на которые правосудие обрекает беглых рабов». Таково было презрение светского должностного лица к монахам Капрарии, в которых благочестивый Маскецель видел избранных служителей Божьих. Некоторые из них согласились на его просьбу — отплыть вместе и ним, и, в похвалу римскому генералу, было замечено, что он проводил дни и ночи в молитвах, посте и пении псалмов. Благочестивый военачальник, которому такие подкрепления, по-видимому, внушали уверенность в победе, обошел опасные скалы Корсики, проплыл вдоль восточного берега Сардинии и уберег свои суда от стремительности южных ветров, бросив якорь в безопасной и обширной гавани Кальяри, на расстоянии ста сорока миль от берегов Африки.

Гильдон приготовился отразить нападение со всеми военными силами Африки. Щедрыми подарками и обещаниями он старался укрепить сомнительную преданность римских солдат и в то же время привлекал под свои знамена семидесятитысячной армии, и хвастался с той опрометчивой самоуверенностью, которая служит предвестницей беды, что его многочисленная

кавалерия растопчет войска Маскецеля под ногами своих коней и засыпет тучами жгучего песка уроженцев холодных стран Галлии и Германии. Но мавр, командовавший легионами Гонория, был хорошо знаком с нравами своих соотечественников и потому не боялся бесчинных скопищ полуодетых варваров, у которых левая рука была прикрыта, вместо шлема, одним плащом, которые оставались совершенно безоружными после того, как они пустили правой рукой свои дротики, и у которых лошади не были приучены выносить стеснение узды или повиноваться ее движением. Со своими пятью тысячами веретанов он стал лагерем на виду более многочисленного неприятеля и после трехдневного отдыха подал сигнал к решительной битве. Выехав вперед с предложениями мира и помилования, Маскецель повстречался с одним из передовых африканских знаменосцев и на его отказ подчиниться ударил его мечом по руке.

Удар был так силен, что рука и знамя опустились, и это воображаемое изъявление покорности было поспешно повторено всеми знаменосцами вдоль неприятельских рядов. По этому сигналу недовольные когорты провозгласили имя своего законного государя; варвары, пораженные удивлением при виде измены своих римских союзников, обратились в бегство и рассеялись по своему обыкновению в совершенном беспорядке, и Маскецель одержал легкую победу почти без пролития крови. Тиран бежал с поля битвы к морскому берегу и бросился на небольшой корабль в надежде безопасно добраться до какого-нибудь из портов дружески расположенной к нему Восточной империи; но сильный ветер загнал его назад в гавань города Табраки, признавшего вместе с остальной провинцией верховенство Гонория и власть его заместителя. В доказательство своего раскаяния и преданности жители задержали Гильдона и заключили его в тюрьму, а его собственное отчаяние спасло его от невыносимого унижения предстать перед оскорбленным и победоносным братом. И пленники и добыча были отправлены к императору; но Стилихон, умеренность которого всего ярче обнаруживалась в счастии, все еще хотел сообразоваться с законами республики и предоставил римскому сенату и народу постановление приговора над самыми знатными преступниками. Их суд производился публично и торжественно, но при пользовании своим устарелым и непрочным правом судьи заботились главным образом о том, чтобы не остались безнаказанными африканские чиновники, прекратившие доставку хлеба в Рим. Богатая и преступная провинция испытала на себе всю строгость императорских министров, которые, очевидно, находили свой интерес в том, чтобы увеличивать число сообщников Гильдона, и хотя один из эдиктов Гонория, по-видимому, сдерживал злобное усердие сыщиков, другой эдикт, изданный через десять лет после того, приказывал продолжать и возобновлять судебное преследование за преступления, которые были совершены во время общего восстания. Те из приверженцев тирана, которые спаслись от ярости и солдат и судей, могли находить для себя утешение в участии, постигшей его брата, которому римское правительство никогда не могло простить оказанной им государству громадной услуги. После того как Маскецель окончил важную войну в одну зиму, он был принят при миланском дворе с громкими выражениями одобрения, с притворной признательностью и с тайной завистью, а его смерть, происшедшая, быть может, от какого-нибудь несчастного случая, приписывалась преступлению Стилихона. Мавританский принц, сопровождая главного повелите-

ля Запада при переезде через один мост, был внезапно сброшен со своей лошади в реку; услужливая торопливость лиц его свиты была сдержана безжалостной и коварной улыбкой, которую они заметили на лице Стилихона, и, в то время как они медлили поданием помощи, несчастный Маскецель утонул.

Радость, доставленная африканской победой, сопровождалась бракосочетанием императора Гонория с его двоюродной сестрой, дочерью Стилихона Марией, и этот почетный родственный союз, по-видимому, давал могущественному министру отцовские права над покорным юношей, который находился под его опекой. Муза Клавдиана не молчала по случаю этого счастливого события: он с жаром воспевал на различные тона и счастье царственных супругов, и величие героя, устроившего их брак и поддерживавшего их трон. Старинные греческие басни, уже не внушавшие почти никакого религиозного уважения, были спасены от забвения гением поэзии. И описание Кипрской рощи, служившей приютом для гармонии и любви, и торжественное шествие Венеры по ее родным волнам, и кроткое влияние, разливавшееся от ее присутствия в миланском дворце, — все это выражало понятные для всех веков естественные сердечные чувства приятным языком аллегорического вымысла. Но любовное нетерпение, которое Клавдиан приписывает молодому императору, должно было вызывать улыбку на устах царедворцев, а прекрасной императрице (если допустить, что она действительно была прекрасна) страстность ее любовника не могла внушать ни сильных опасений, ни больших надежд. Гонорию было только тринадцать лет; мать его супруги Серена успела при помощи хитростей или убеждений отсрочить довершение этого брака; Мария умерла девственницей после того, как провела десять лет в замужестве, а целомудрие императора охранялось холодностью его темперамента или, быть может, слабостью его сложения. Его подданные, внимательно изучавшие характер своего юного монарха, пришли к убеждению, что у Гонория не было страстей, а следовательно, не было и дарований и что его слабый и вялый нрав делал его неспособным и к исполнению обязанностей его высокого положения, и к наслаждению удовольствиями его возраста. В ранней молодости он упражнялся с некоторым успехом в верховой езде и в стрельбе из лука, но он скоро отказался от этих утомительных занятий, и откармливание домашних птиц сделалось серьезной и ежедневной заботой западного монарха, передавшего бразды правления в твердые и опытные руки своего опекуна Стилихона. История всей его жизни подтверждает подозрение, что этот родившийся на ступенях трона принц был воспитан хуже самого последнего из живших в его владениях крестьян и что его честолюбивый министр не пытался пробудить в нем мужество или просветить его разум даже тогда, когда он пережил годы юности. Предместники Гонория имели обыкновение воодушевлять мужество легионов своим примером или по меньшей мере своим присутствием, а места, которыми помечены их декреты, свидетельствуют о том, что они беспрестанно разъезжали по всем провинциям своей империи. Но сын Феодосия провел свою сонливую жизнь пленником в своем дворце, чуждавшимся всего, что касалось его отчизны, и терпеливо, даже равнодушно взиравшим на бедствия западной империи, на которую беспрестанно нападали варвары и которую они в конце концов разрушили. В богатой событиями истории его двадцатилетнего царствования нам редко представится необходимость называть имя императора Гонория.

Вторжение Алариха в Италию. — Нравы римского сената и народа. — Рим осажден три раза и наконец разграблен готами. — Смерть Алариха. — Готы удаляются из Италии. — Падение Константина. — Варвары занимают Галлию и Испанию. — Независимость Британии. (408–449 гг.)

Глава 15 (XXXI)

Неспособность слабого и сбившегося с толку правительства нередко принимает такой же внешний вид и порождает такие же последствия, как изменнические сношения с общественным врагом. Если бы сам Аларих участвовал в совещаниях, которые происходили между министрами Гонория, он, вероятно, присоветовал бы им те самые меры, которые были ими приняты. Даже весьма вероятно, что царь готов не совсем охотно согласился бы на казнь грозного противника, одержавшего над ним верх и в Италии, и в Греции. Но их предприимчивая и корыстная ненависть напрягла все свои усилия к тому, чтобы достигнуть опалы и гибели великого Стилихона. Храбрость Сара, его воинская репутация и личное или наследственное влияние, которым он пользовался между варварскими союзниками, служили для него рекомендацией лишь в глазах тех патриотов, которые питали презрение или ненависть к таким низким людям, какими были Турпилион, Варан и Вигиланций. Но хотя эти генералы выказали себя недостойными названия воинов, настоятельные просьбы новых фаворитов Гонория доставили им места начальников кавалерии, пехоты и дворцовых войск. Готский царь охотно подписался бы под эдиктом, который был внушен простодушному и благочестивому императору религиозным фанатизмом Олимпия. Гонорий устранил от всех государственных должностей противников Католической Церкви, отверг услуги тех, кто не придерживался его религии, и опрометчиво разжаловал многих из своих самых храбрых и самых способных офицеров за то, что они исповедовали языческую религию, или за то, что они разделяли убеждения ариан. Аларих одобрил бы и, быть может, присоветовал бы эти меры, столь выгодные для врагов империи; но можно усомниться в том, согласился ли бы этот варвар, из личных интересов, на то бесчеловечное и безрассудное дело, которое было совершено по инициативе императорских министров или, по меньшей мере, с их одобрения. Те из чужеземных союзников, которые были лично преданы Стилихону, оплакивали его смерть; но их жажда мщения сдерживалась основательными опасениями за безопасность их жен и детей, живших заложниками в укрепленных городах Италии, где были также сложены самые ценные их пожитки. В один и тот же час и как бы по данному сигналу города Италии были опозорены одними и теми же отвратительными сценами убийства и грабежа, причем были истреблены и семейства, и имущество варваров. Доведенные до отчаяния такой обидой, которая могла бы

вывести из терпения самых кротких и смиренных людей, они с негодованием и надеждой обратили свои взоры на лагерь Алариха и единодушно поклялись довести до конца справедливую и неутомимую борьбу с вероломной нацией, так бессовестно нарушившей законы гостеприимства. Безрассудное поведение Гонориевых министров не только лишило республику тридцати тысяч самых храбрых ее солдат, но обратило их в ее врага; таким образом, эта грозная армия, которая была способна одна обеспечить успешный исход войны, доставила военным силам готов перевес над военными силами римлян.

Аларих идет на Рим. 408 г.

В умении вести переговоры точно так же, как и в умении руководить военными действиями, Аларих обнаруживал свое превосходство над противником, который беспрестанно колебался в своих намерениях по недостатку определенной цели и последовательности. Из своего лагеря на границе Италии Аларих внимательно следил за дворцовыми переворотами, наблюдал за тем, как усиливался дух крамолы и общего недовольства, и старался выдавать себя не за варварского завоевателя, а за друга и союзника великого Стилихона, доблестям которого он мог воздать заслуженную дань похвал и сожалений с тех пор, как перестал его бояться. Недовольные неотступно убеждали готского царя вторгнуться в Италию, а их настояния подкреплялись его желанием отомстить за нанесенные ему личные обиды, так как он имел полное основание быть недовольным императорскими министрами, которые уклонялись от уплаты четырех тысяч фунтов золота, назначенных римским сенатом частью в виде награды за его заслуги, частью для того, чтобы укротить его ярость. При своей сдержанности и твердости он выражался с притворной умеренностью, которая содействовала успеху его замыслов. Он требовал только того, на что имел полное право; но он самым решительным образом утверждал, что лишь только будет удовлетворен, немедленно удалится. Он не полагался на честное слово римлян, если не будут присланы в его лагерь заложниками сыновья двух высших государственных сановников Эция и Язона, но взамен их предлагал выдать несколько самых знатных готских юношей. Скромность Алариха была принята равеннскими министрами за несомненное доказательство его слабости и трусливости. Они не нашли нужным ни вступать в переговоры о мирном трактате, ни готовиться к войне и с опрометчивой самонадеянностью, истекавшей лишь из совершенного непонимания угрожавшей государству неминуемой опасности, пропустили те решительные минуты, когда еще можно было сделать выбор между миром и войной. В то время как они упорно бездействовали в ожидании удаления варваров из Италии, Аларих смело и быстро перешел через Альпы и через По, мимоходом ограбил города Аквилею, Алтинум, Конкордию и Кремону, усилил свою армию присоединением к ней тридцати тысяч союзников и, не встречая никакого сопротивления, дошел до тех болот, которые охраняли неприступную резиденцию западного императора. Вместо того чтобы бесполезно тратить свое время на осаду Равенны, благоразумный готский военачальник дошел до Римини, распространил свои опустошения вдоль берегов Адриатического моря и задумал овладеть древней повелительницей мира. Один итальянский отшельник, который даже между варварами снискал себе уважение своим религиозным рвением и святостью, вышел навстречу победоносному монарху и смело объявил ему, что небесный гнев разразится над тем, кто угнетает эту землю; но сам святой был приведен в замешательство заявлением Алариха,

что какая-то непонятная сверхъестественная сила заставляет его идти на Рим. Он чувствовал, что у него достаточно гения и фортуны для самых трудных предприятий, а энтузиазм, который он внушал готам, заглушал народное и почти суеверное уважение к величию римского имени. Его войска, воодушевившись надеждой добычи, прошли по Фламиниевой дороге, заняли незащищенные проходы Апеннин, спустились в богатые равнины Умбрии и, в то время как они стояли лагерем на берегах Клитумна, могли вволю закалывать и пожирать белых как молоко быков, которые в течение стольких веков предназначались исключительно на жертвоприношения по случаю римских триумфов. Маленький городок Нарни спасся благодаря своему положению на высокой горе и буре, кстати разразившейся громом и молнией; готский царь пренебрег этой ничтожной добычей, продолжал с неослабной энергией свое наступательное движение, и, пройдя под великолепными арками, украшенными отнятой у варваров добычей, стал лагерем под стенами Рима.

В течение шестисот девяноста лет столица империи ни разу не была оскорблена присутствием чужеземного врага. Неудачная экспедиция Ганнибала лишь выказала во всем его блеске мужество сената и народа — того сената, который был скорее унижен, чем возвеличен, когда его сравнивали с собранием царей, и того народа, которому посол Нирра приписывал неистощимые ресурсы Гидры. Во время Пунических войн каждый сенатор должен был предварительно прослужить известное число лет в армии или на второстепенных, или на высших должностях, а потому те декреты, которые возлагало временное командование армией на бывших консулов, цензоров или диктаторов, доставляли республике храбрых и опытных генералов. В начале этих войн римский народ состоял из двухсот пятидесяти тысяч граждан, достигших того возраста, когда человек способен носить оружие. Пятьдесят тысяч уже лишились жизни, защищая отечество, а для двадцати трех легионов, стоявших лагерями в Италии, Греции, Сардинии, Сицилии и Испании, требовалось около ста тысяч человек. Но в Риме и на прилегающей к нему территории еще было налицо такое же число граждан, одушевленных таким же неустрашимым мужеством и с ранней молодости освоившихся и с военной дисциплиной, и с военными упражнениями. Ганнибал был удивлен твердостью сената, который ожидал его приближения, не делая никаких распоряжений ни о прекращении осады Капуи, ни об отозвании рассеянных вне Рима отрядов. Он расположился лагерем на берегах Аниона, на расстоянии трех миль от города, и вскоре вслед за тем узнал, что земля, на которой он раскинул свою палатку, была продана с публичного торга по обыкновенной цене и что в противоположные ворота вышел из города отряд войск, посланный на подкрепление легионов в Испанию. Он довел своих африканцев до ворот Рима, где нашел готовые его встретить три армии; но Ганнибал побоялся вступить в битву, из которой мог бы выйти победителем только в том случае, если бы истребил всю неприятельскую армию до последнего человека, и его торопливое отступление было признанием непреодолимого мужества римлян.

Нравы римского сената и народа

С тех пор непрерывавшийся ряд сенаторов сохранял название и призрак республики, и выродившиеся подданные Гонория из честолюбия вели свое происхождение от тех героев, которые отразили нападение Ганнибала и подчинили себе все народы земного шара. Иероним, руководивший совестью бла-

гочестивой Павлы и описавший ее жизнь, тщательно перечисляет мирские отличия, которые достались ей по наследству и к которым она относилась с пренебрежением. Генеалогия ее отца Рогата, восходившая до Агамемнона, по-видимому, доказывала ее греческое происхождение; но ее мать Безилла включала в список своих предков Сципионов, Павла Эмилия и Гракхов, а ее муж Токсотий вел свое царственное происхождение от родоначальника Юлиев Энея. Тщеславие богачей, желавших принадлежать к знати, удовлетворялось этими надменными притязаниями. Поощряемые одобрением своих паразитов, они без большого труда вводили в заблуждение толпу и находили для себя некоторую поддержку в издавна установившемся обыкновении вольноотпущенных и клиентов знатных семейств присваивать себе имена патронов. Но многие из этих семейств постепенно вымерли или вследствие внешних насилий, или вследствие внутреннего упадка, и нисходящее в прямой линии потомство двадцати поколений было бы легче отыскать среди Альпийских гор или в мирной уединенной Апулии, чем в Риме, который постоянно был театром славы, опасностей и непрерывных переворотов. Во все царствования и из всех провинций империи отважные искатели приключений стекались в Рим, достигали высокого положения своими талантами или своими пороками, захватывали римские богатства, почетные отличия и дворцы и обращались или в притеснителей, или в покровителей тех жалких и смиренных потомков консульских родов, которые, быть может, ничего не знали о том, как были славны их предки.

Во времена Иеронима и Клавдиана сенаторы единогласно признавали первенство за родом Анициев, а беглый обзор его истории уяснит нам, какова была древность тех знатных семейств, которые заявляли притязания лишь на второстепенное положение. В первые пять столетий существования Рима имя Анициев было неизвестно; они, как кажется, были родом из Пренеста, и честолюбие этих новых граждан долго удовлетворялось плебейскими отличиями народных трибунов. За сто шестьдесят восемь лет до начала христианской эры этот род был облагорожен возведением в преторианское звание Аниция, который со славою окончил иллирийскую войну покорением всей нации и взятием в плен ее короля. После триумфа этого генерала консульское звание три раза отмечало преемственность рода Анициев в отдаленные одна от другой эпохи. Со времен Диоклетиана и вплоть до окончательного разрушения Западной империи блеск этого имени не уступал в мнении народа блеску императорского достоинства. Различные отрасли, к которым оно перешло, соединяли путем бракосочетаний или по наследству богатства и титулы родов Аничиева, Петрониева и Олибриева, и в каждом поколении число лиц, удостаивавшихся консульского звания, увеличивалось благодаря завещанным предками притязаний. Аниции отличались и своим благочестием, и своим богатством; они прежде всех других римских сенаторов перешли в христианство, и есть основание полагать, что Аниций Юлиан, бывший впоследствии консулом и римским префектом, загладил свою привязанность к партии Максенция тем, что поспешил принять религию Константина. Родоначальник Анициев Проб увеличил своей предприимчивостью доставшееся ему по наследству большое состояние; он разделял с Грацианом отличия консульского звания и четыре раза занимал важную должность преторианского префекта. Его огромные поместья были разбросаны по всему обширному пространству римских владений, и, хотя способ их приобретения мог вызывать подозрения и порицания, щедрость и пышность этого счастливо-го сановника внушали его клиентам признательность, а иностранцам удив-

ление. Уважение римлян к памяти Пропа было так велико, что по желанию сената двое его сыновей были в ранней молодости назначены консулами; летописи Рима не представляют другого примера таких необыкновенных отличий.

Богатство и великолепие мраморов, украшавших дворец Анициев, вошли в пословицу, а римские аристократы и сенаторы старались по мере сил подражать этому знаменитому роду. В подробном описании Рима, составленном в царствование Феодосия, значатся тысяча семьсот восемьдесят домов, служивших постоянным местопребыванием для богатых и знатных граждан. Многие из этих великолепных жилищ почти оправдывали преувеличенное выражение поэта, что Рим вмещал в себя бесчисленное множество дворцов и что каждый дворец был величиною с целый город, так как внутри его можно было найти все, что удовлетворяло требованиям пользы и роскоши, — и рынки, и ипподромы, и храмы, и фонтаны, и бани, и портики, и тенистые рощи, и птичники. Историк Олимпиодор, описывая положение Рима, в то время как он был осажден готами, замечает, что некоторые из самых богатых сенаторов получали со своих поместий ежегодный доход в четыре тысячи фунтов золота, то есть более чем в сто шестьдесят тысяч фунтов стерлингов, не считая запасов хлеба и вина, которые равнялись своей стоимостью третьей части названной суммы. В сравнении с такими громадными состояниями средний доход сенаторов в тысячу или в полторы тысячи фунтов золота мог считаться едва достаточным для поддержания достоинства их ранга, которое требовало больших расходов на общественные нужды и на представительство. В царствование Гонория были примеры таких тщеславных и гонявшихся за популярностью аристократов, которые устраивали в годовщину своего преторства празднества, продолжавшиеся целую неделю и стоившие более ста тысяч фунтов стерлингов. Имена римских сенаторов, до такой степени превышавшие размеры частных владений нашего времени, находились не в одной Италии. Их владения простирались далеко за моря Ионическое и Эгейское и достигали самых отдаленных провинций; так, например, город Никополь, основанный Августом с целью увековечить воспоминание о победе при Акциуме, составлял собственность благочестивой Павлы, а Сенека замечает, что реки, когда-то служившие границами между враждующими нациями, теперь протекают по владениям простых граждан. Римляне, смотря по вкусу или по обстоятельствам, или обрабатывали свои земли руками своих рабов, или отдавали их в аренду за условленную цену. Древние экономисты настоятельно рекомендовали употреблять первый из этих двух способов повсюду, где он применим на практике; если же сам владелец не мог наблюдать за своими имениями по причине их отдаленности или обширности, то они отдавали предпочтение привязавшемуся к почве и заинтересованному в хорошем урожае наследственному арендатору над наемником, который относится к делу небрежно, а иногда и недобросовестно.

Богатая аристократия громадной столицы, никогда не гонявшаяся за военной славой и редко занимавшаяся делами гражданского управления, естественно, посвящала свой досуг домашним занятиям и развлечениям. На занятие торговлей римляне всегда смотрели с презрением; но начиная с первых веков республики сенаторы стали увеличивать и свои состояния, и число своих клиентов благодаря тому, что стали заниматься выгодным ремеслом ростовщиков, а устарелые законы, которыми запрещался этот способ наживы, или обходились, или не исполнялись по взаимному согласию и в интересах обеих сторон. В Риме, должно быть, всегда находились огромные сокровища

или в ходячей монете, или в форме золотой и серебряной посуды, а во времена Илиния там было немало таких буфетов, в которых было больше массивного серебра, чем было привезено Сципионом из завоеванного им Карфагена. Аристократы, тратившие свои состояния на чрезмерную роскошь, большей частью считали себя бедняками среди окружавшего их блеска и жили в праздности среди непрерывных удовольствий. Их желания постоянно удовлетворялись усилиями тысяч рук, трудами многочисленных домашних рабов, работавших из страха наказания, и различных мастеровых и торговцев, находивших для себя более сильное поощрение в надежде наживы. Древним были незнакомы многие из тех удобств жизни, которые были введены или усовершенствованы благодаря успехам промышленности, а изобилие стекла и белья доставило новейшим народам Европы более существенный комфорт, чем тот, который доставляла римским сенаторам вся их утонченная или сластолюбивая роскошь. Их расточительность и их нравы были предметом подробного и тщательного исследования; но так как это исследование надолго отклонило бы меня от цели этого сочинения, то я ограничусь достоверным описанием Рима и его жителей, которое относится преимущественно к периоду готских нашествий. Аммиан Марцеллин, имевший благоразумие поселиться в столице империи как в самом удобном месте для того, кто пишет историю своего собственного времени, примешивал к рассказу о публичных событиях живое описание тех сцен, которые беспрестанно происходили перед его глазами. Здравомыслящий читатель не всегда будет доволен резкостью его порицаний, выбором подробностей и способом выражения; он, может быть, подметит тайные предубеждения и личную неприязнь, вредно влиявшие на характер самого Аммиана; но он, без сомнения, прочтет с философской любознательностью интересное и оригинальное описание римских нравов.

«Величие Рима (так выражается историк) было основано на редком и почти невероятном сочетании добродетели и счастья. Длинный период его младенчества прошел в трудной борьбе с италийскими племенами, которые жили в соседстве с возникавшим городом и в постоянной с ним вражде. В период юношеской силы и горячности он выдержал бурю войн, перенес свое победоносное оружие за моря и горы и с торжеством возвратился домой украшенный лаврами, которые были собраны со всех стран земного шара. Наконец, приближаясь к старости и по временам побеждая одним страхом, который наводило его имя, он стал искать счастья в удобствах и покое. Почтенный город, попиравший самые гордые нации и установивший такую систему законов, которая должна была вечно быть на страже справедливости и свободы, удовольствовался тем, что, подобно предусмотрительному и зажиточному отцу, возложил на своих любимых сыновей — Цезарей — заботу об управлении своей обширной отчиной. Прочное и глубокое спокойствие — такое, каким наслаждались в царствование Нумы, — наступило вслед за смутами республики. Перед Римом все еще преклонялись, как перед царем всего мира, а покоренные народы все еще чттили имя римского народа и величие сената. Но это старинное величие (продолжает Аммиан) унижено и запятнано поведением некоторых аристократов, которые, не заботясь ни о своем собственном достоинстве, ни о достоинстве своего отечества, предаются без всякой меры порокам и безрассудствам. Они соперничают друг с другом в пустом чванстве титулами и прозвищами и выбирают для себя или придумывают самые пышные и звучные названия, Ребурра или Фабуния, Пагония или Тарразия, с целью внушать простолюдинам удивление и уваже-

ние. Из тщеславного желания увековечить память о себе они изображают себя в бронзовых и мраморных статуях и только тогда бывают довольны, когда эти статуи обкладываются досками из золота, а это почетное отличие было впервые оказано консулу Ацилию после того, как он одолел царя Антиоха благодаря своему мужеству и благоразумию. Тщеславие, с которым они стараются выказывать и, быть может, преувеличивать громадность доходов со своих имений, разбросанных по всем провинциям востока и запада, возбуждает основательное негодование во всяком, кто еще не забыл, что их бедные и непобедимые предки не отличались от самых простых солдат ни изяществом своего стола, ни пышностью своих одеяний. Но теперешняя знать измеряет величие своего положения и свое значение вышиной своих колесниц и тяжестью своих великолепных уборов. Ее длинные шелковые и пурпуровые одежды развеваются от ветра, а в то время как они распахиваются искусственно или случайно, они открывают нашим взорам нижнюю часть платья, состоящую из богатых туник, на которых вышиты фигуры различных животных. В сопровождении свиты из пятидесяти слуг они проезжают по улицам с такой скоростью, с какой ездят на почтовых, и так, что мостовая трясется, а примеру сенаторов смело следуют матроны и знатные дамы, беспрепятственно разъезжающие в закрытых колесницах по громадному пространству, занимаемому городом и предместьями. Когда эти знатные особы удостоивают своим посещением общественные бани, они при самом входе туда принимают громкий и дерзкий повелительный тон и захватывают в свое исключительное пользование те удобства, которые предназначены для римского народа. Если в тех местах, куда сходятся люди всякого звания, они встречают одного из тех презренных людей, которые служат для них орудиями для их развлечений, они выражают им свое милостивое расположение нежным обниманием; но они надменно уклоняются от приветствий тех сограждан, которые допускаются лишь к целованию их руки или их колен. Лишь только они освежились ванной, они снова надевают свои кольца и другие внешние отличия своего звания, выбирают по своему вкусу одежды из такого гардероба, которого было бы достаточно для двенадцати человек, и сохраняют до самого отъезда тот надменный тон, который, пожалуй, можно бы было извинить в великом Марцелле после того, как он овладел Сиракузами. Правда, эти герои иногда совершают более трудные подвиги; они посещают свои имения в Италии и доставляют себе удовольствия охоты, причем труд и усталость выпадают лишь на долю их рабов. Если им случится в жаркий день переплыть на их раскрашенных галерах через Лукринское озеро до их роскошных вилл, расположенных на берегу моря близ Путеولي и Каеты, они сравнивают эту экспедицию с походами Цезаря и Александра. Однако если муха осмелится сесть на шелковые складки их позолоченных балдахинов, если луч солнца случайно проникнет в какую-нибудь едва заметную скважину, они жалуются на свое невыносимое положение и в трогательных выражениях сожалеют о том, что не родились в стране киммерийцев, где царствует вечный мрак. Во время этих загородных поездок вся домашняя прислуга сопровождает своего господина. Подобно тому как искусный военачальник распределяет по местам кавалерию и пехоту, тяжело вооруженные войска и те, которые вооружены легко, и назначает, кому быть в авангарде, кому в арьергарде, начальники домашней прислуги, вооруженные хлыстом в знак предоставленной им власти, расставляют и приводят в порядок многочисленную свиту рабов и служителей. Багаж и гардероб едут впереди, а непосредственно вслед за ними идет масса поваров и низших должностных лиц, состоящих

при кухне или прислуживающих за столом. Главный отряд состоит из массы рабов, к которой присоединяются праздные плебеи и клиенты. Шествие замыкается отрядом евнухов, которые расставлены по старшинству лет, начиная со старых и кончая молодыми. Их многочисленность и уродство возбуждают отвращение в зрителях, которые готовы проклинать память Семирамиды, придумавшей это бесчеловечное средство заглушать требования природы и уничтожать в самом зародыше надежды будущих поколений. В отправлении домашнего правосудия римские аристократы обнаруживают необыкновенную чувствительность ко всему, что касается их собственной личности, но к остальным представителям человеческого рода относятся с презрительным равнодушием. Если они прикажут принести теплой воды, а раб замешкается в исполнении этого приказа, его тотчас наказывают тремястами ударами плети; но если раб совершит предумышленное убийство, его повелитель кротко заметит ему, что он большой негодяй и что ему не избежать наказания, если такое преступление повторится. Гостеприимство когда-то принадлежало к числу римских добродетелей, и каждый чужеземец находил помощь в несчастьи и щедрые награды, если отличался личными достоинствами. А в настоящее время, если какой-нибудь чужеземец, даже из тех, которые занимают не последнее место в обществе, входит в первый раз в дом одного из высокомерных и богатых сенаторов, его сначала принимают с такими дружескими приветствиями и с таким сердечным участием, что он уходит очарованным приветливостью своего знатного друга и жалеет только о том, что так долго откладывал свою поездку в Рим — этот центр не только верховной власти, но и хороших манер. Будучи уверен в хорошем приеме, он повторяет свое посещение на следующий день и с прискорбием замечает, что хозяин дома уже забыл и его личность, и его имя, и название того места, откуда он прибыл. Если, несмотря на это, он будет настойчиво продолжать свои посещения, он постепенно поступит в разряд клиентов и получит дозволение усердно и бесполезно ухаживать за надменным патроном, которому незнакомо чувство признательности или дружбы и который едва снисходит до того, чтобы замечать его прибытие, уход или возвращение. Когда богач устраивает публичное увеселение для народа или готовит с чрезмерной и вредной роскошью банкет у себя дома, выбор гостей составляет предмет серьезных забот. Люди скромные, воздержанные и ученые редко предпочитают, а те, кому поручено составлять списки приглашенных, обыкновенно руководствуются личными интересами и вносят в эти списки неизвестные имена самых недостойных людей. Но самыми обыкновенными и самыми интимными собеседниками вельмож бывают те паразиты, которые занимаются самым выгодным из всех ремесел — ремеслом льстецов, которые горячо одобряют каждое слово и каждый шаг своего бессмертного патрона, которые с восторгом осматривают его мраморные колонны и разноцветные полы его апартаментов и усердно прославляют роскошь и изящество, которые он привык считать неотъемлемой частью своих личных достоинств. За столом римлян птицы, squirrels (белки) и рыбы необыкновенной величины обращают на себя общее внимание; чтобы удостовериться их вес, приносят весы, и, в то время как более рассудительные гости отворачиваются от этой скучной сцены, нарочно приглашенные нотариусы составляют акт в удостоверение такого необыкновенного события. Другой способ втираться в дома и в общество знати заключается в специальном занятии игрой, которой дают более приличное название забавы. Сообщников соединяют прочные и неразрывные узы дружбы или, вернее, заговора, а высшая ловкость в метании *tesseraria* или ко-

стей (почти то же, что игра в шашки или в триктрак), открывает верный путь к богатству и известности. Если знатоку этой высокой науки приходится сидеть за ужином или в обществе ниже какого-нибудь должностного лица, он обнаруживает в манере себя держать такое же удивление и негодование, какое мог бы выразить Катон, когда прихотливый народ не захотел выбрать его в преторы. Приобретение знаний редко интересует аристократов, ненавидящих все, что может причинять им усталость, и пренебрегающих выгодами образования; сатиры Ювенала и многоречивые баснословные рассказы Мариа Максима — единственные книги, которые ими читаются. Библиотеки, доставшиеся им в наследство от предков, всегда закрыты как гробницы, и в них никогда не проникает дневной свет. Но дорогие театральные инструменты — флейты, громадные лиры и гидравлические органы — фабрикуются для их употребления, и в римских дворцах постоянно слышится гармония вокальной и инструментальной музыки. В этих дворцах звукам отдается предпочтение перед здравым смыслом, а заботы о теле считаются более важными, чем заботы об уме. Всеми считается за благотворное правило, что самое легкое подозрение в прилипчивой болезни освобождает от обязанности посещать самых близких друзей и даже служители, посылаемые из приличия справиться о положении больного, возвращаются домой не иначе как после предварительного очищения ванной. Однако эта себялюбивая и малодушная деликатность совершенно исчезает, когда разыгрывается более сильная страсть любостяжания. Ради денежной выгоды богатый и страдающий подагрой сенатор готов доехать даже до Сполето; и высокомерие, и чувство собственного достоинства откладывается в сторону, когда является надежда получить что-либо по наследству или даже по завещанию, а богатый бездетный гражданин — самый могущественный человек во всем Риме. Эти люди очень хорошо владеют искусством добиваться подписания выгодного для них завещания, а иногда и искусством ускорять наступление того момента, когда оно приводится в исполнение; случалось даже, что в одном и том же доме, но в различных комнатах муж и жена, с похвальным желанием пережить один другого, призывали своих поверенных и в одно и то же время делали совершенно противоположные распоряжения на случай своей смерти. Нужда в деньгах, которая бывает неизбежным следствием чрезмерной роскоши и как бы наказанием за нее, нередко заставляет вельмож прибегать к самым унижительным приемам. Когда им нужно сделать заем, они выражаются тем низким и умоляющим тоном, каким выражаются рабы в комедиях; но, когда от них требуют возврата ссуды, они принимают царственный трагический тон, приличный потомкам Геркулеса. Если это требование повторяется, они поручают одному из своих самых надежных льстецов обвинить докучливого кредитора в отравлении или в занятиях магией, и этому несчастному редко удастся избежать тюрьмы, если он не распишется в получении всего долга. К этим порокам, унижающим нравственный характер римлян, присоединяется ребяческая склонность к суевериям, унижающая их разум. Они с доверием выслушивают предсказания аруспициев, которые находят во внутренностях убитых животных указания на ожидающее их в будущем величие и благосостояние, и между ними найдется немало таких, которые не войдут в ванну, не сядут за стол и не поедут в гости, не справившись, по всем правилам астрологии, с положением Меркурия и с внешним видом Луны. Нелзя не подивиться тому, что это странное легкоеверие нередко встречается у таких нечестивых скептиков, которые или сомневаются в существовании небесной силы, или совершенно его отвергают».

В многолюдных городах, служащих центром для торговли и промышленности, средние классы населения, которые добывают средства существования ловкостью или трудом своих рук, обыкновенно составляют всех быстрее размножающуюся, самую полезную и в этом смысле самую почтенную часть городской общины. Но римские плебеи, гнушавшиеся такими сидячими и низкими занятиями, с самых древних времен изнемогали под бременем долгов и лихвенных процентов, а землепашцы были вынуждены прекращать возделывание своих полей, в то время как несли военную службу. Итальянские земли были первоначально разделены между семействами свободных и бедных владельцев, но затем постепенно перешли в руки аристократов или путем покупки, или путем самовольного захвата, и в том веке, который предшествовал падению республики, насчитывалось только две тысячи граждан, обладавших независимыми средствами существования. Тем не менее, пока от выбора народа зависели раздача государственных должностей и назначение как начальников легионов, так и администраторов богатых провинций, чувство гордости в некоторой мере облегчало гнет материальных лишений, а народные нужды удовлетворялись честолюбивыми кандидатами, старавшимися закупить продажное большинство голосов в тридцати пяти трибах или ста девяноста трех центуриях, на которые делилось римское население. Но когда расточительное простонародье неблагоразумно выпустило из своих рук не только пользование своим правом, но и передачу его по наследству, оно низшло под управлением Цезарей до положения низкой и презренной черни, которая совершенно вымерла бы очень скоро, если бы она беспрестанно не пополнялась отпущенными на волю рабами и приливом чужеземцев. Еще во времена Адриана римские уроженцы основательно жаловались на то, что в столицу стекались пороки со всего мира и нравы самых несхожих между собой народов. Невоздержанность галлов, лукавство и непостоянство греков, дикая закоснелость египтян и иудеев, раболепие азиатов и разнузданное распутство сирийцев перемешивались в разнохарактерной толпе, которая под высокопарным и ложным наименованием римлян осмеливалась презирать своих сограждан и даже своих монархов за то, что они жили вне пределов вечного города.

Но имя этого города все еще произносилось с уважением, частые бесчинства его своенравного населения оставались безнаказанными, а преемники Константина, вместо того чтобы раздавить последние остатки демократии под тяжестью военного деспотизма, держались кроткой политики Августа, стараясь облегчать нужды бесчисленных бедняков и доставлять им развлечения. I. Чтобы доставить праздным плебейм более удобств, ежемесячная раздача хлеба в зерне была заменена ежедневной раздачей печеного хлеба; было устроено множество печей, которые содержались за счет казны, и каждый гражданин, снабженный особым билетом, входил в назначенный час по ступенькам той лестницы, которая была назначена для жителей его квартала или его участка, и получал даром или за самую низкую цену кусок хлеба весом в три фунта для прокормления своего семейства. II. Леса Лукании, кормившие своими желудями огромный стада диких свиней, доставляли, в виде подати, обильные запасы дешевого и питательного мяса. В течение пяти месяцев в году самым бедным гражданам постоянно раздавали соленую свинину, и ежегодное потребление этого мяса в такую эпоху, когда столица империи уже утратила свой прежний блеск, было определено эдиктом Валентиниана III в три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч фунтов. III. В силу укоренившихся у древних народов обычаев растительное масло требовалось не

только для ламп, но и для бань, и ежегодная подать, которая была наложена на Африку в пользу Рима, достигала трех миллионов фунтов, что составляло на английскую меру до трехсот тысяч галлонов. IV. Заботливость, с которой Август старался снабжать столицу достаточными запасами зернового хлеба, ограничивалась этим необходимым для человеческого пропитания продуктом, а когда народ стал громко жаловаться на дороговизну и недостаток вина, прокламация, изданная этим серьезным реформатором, напомнила его подданным, что нет никакого основания жаловаться на жажду, с тех пор как водопроводы Агриппы стали доставлять в город столько обильных потоков чистой и здоровой воды. Эта суровая воздержанность постепенно исчезла, и, хотя великодушное намерение Аврелиана, как кажется, не было приведено в исполнение во всем своем объеме, употребление вина сделалось для всех доступным на очень легких условиях. Заведование общественными винными погребами было возложено на высокопоставленное должностное лицо, и сбор винограда в Кампании был в значительном размере предназначен для счастливых обитателей Рима.

Великолепные водопроводы, основательно заслуживавшие похвал самого Августа, снабжали в громадном изобилии водой построенные им во всех частях города Thermal, или бани. Насчитывалось более тысячи шестисот мраморных скамеек в банях Антонина Каракаллы, которые были открыты в назначенные часы для всех без разбора — и для сенаторов, и для простолюдинов, а в банях Диоклетиана насчитывали таких скамеек более трех тысяч. Стены высоких апартаментов были покрыты мозаиками, подражавшими живописи, изяществом рисунка и разнообразием красок; так, обращали на себя внимание инкрустации египетского гранита на дорогом зеленом мраморе, получавшемся из Нумидии; непрерывная струя горячей воды лилась в обширные бассейны через широкие отверстия, сделанные из массивного серебра, и самый последний из римлян мог ежедневно покупать за небольшую медную монету пользование такой роскошью и такими удобствами, которые могли бы возбудить зависть в азиатских монархах. Из этих великолепных дворцов толпами выходили грязные и оборванные плебеи, у которых не было ни башмаков, ни плащей, которые шатались целые дни по улицам и на форуме, чтобы собирать новости и заводить споры, которые проматывали на игру скудные средства существования своих жен и детей и проводили ночи в трактирах и непотребных домах, предаваясь самому грубому разврату.

Но самыми приятными и самыми роскошными забавами служили для праздной толпы публичные игры и зрелища. Христианские императоры отменили бесчеловечные бои гладиаторов, но для римского населения цирк все еще был чем-то вроде его собственного дома; оно все еще смотрело на цирк как на храм и как на седалище республики. Нетерпеливые толпы спешили занимать места, лишь только начинало рассветать, и многие проводили бессонные и тревожные ночи под соседними портиками. Зрители, иногда доходившие числом до четырехсот тысяч человек, с напряженным вниманием следили с утра до вечера за лошадьми и колесницами, не обращая никакого внимания на то, что их печет солнце или мочит дождь; они волновались то надеждами, то страхом в ожидании, что успех выпадет на долю тех, кому они доброжелательствуют, и можно было подумать, что от исхода скачек зависит благополучие Рима. Такое же чрезмерное увлечение вызывало их возгласы и рукоплескания, когда они смотрели на травлю диких зверей и на какое-нибудь другое театральное представление. В наших столицах такие представле-

ния заслуживают того, чтобы их считали за школу изящного вкуса и даже добродетели. Но трагическая и комическая муза римлян, почти всегда стремившаяся лишь к подражанию аттическому гению, почти совершенно умолкла со времени падения республики, и ее место было занято непристойными фарсами, сладострастной музыкой и роскошной сценической обстановкой. Пантомимы, сохранявшие свою известность со времен Августа вплоть до шестого столетия, выражали без употребления слов баснословные предания о богах и героях древности, а совершенства, до которых было доведено это искусство, иногда обезоруживали суровую взыскательность философа и всегда вызывали со стороны народа одобрения и восторг. Обширные и роскошные римские театры содержали три тысячи танцовщиц и три тысячи певцов вместе с начальниками различных хоров. Эти артисты пользовались таким общим сочувствием, что в неурожайные годы, когда из города высылали всех чужеземцев, они награждались за доставляемое публике удовольствие тем, что не подчинялись закону, строго применявшемуся ко всем профессорам свободных искусств.

Рассказывают, что сумасбродная любознательность Гелиогабала попыталась доискаться настоящей цифры римского населения по количеству паутины. Более рациональный метод исследования не был бы недостойн самых мудрых императоров, которые легко могли бы разрешить вопрос, столь важный для римского правительства и столь интересный для следующих поколений. Рождение и смерть граждан аккуратно записывались в регистрах, и, если бы какой-нибудь из древних писателей сообщил нам результаты этих ежегодных отчетов или только среднюю цифру, мы были бы в состоянии сделать удовлетворительный расчет, который уничтожил бы преувеличения критиков и, может быть, подтвердил бы умеренные и правдоподобные догадки философов. Самые старательные исследования доставили нам лишь следующие сведения, которые, несмотря на свою поверхностность и неполноту, бросают некоторый свет на вопрос о населенности древнего Рима. I. Когда столица империи была осаждена готами, окружность стен была аккуратно измерена математиком Аммонием и определена им в двадцать одну милю. Не следует забывать, что город имел форму почти правильного круга, а эта геометрическая фигура, как известно, включает внутри себя более широкие пространства, чем всякая другая. II. Славившийся во времена Августа архитектор Витрувий, свидетельство которого имеет в настоящем случае особый вес и авторитет, замечает, что бесчисленные жилища римского населения непременно распространились бы далеко за пределы города, но что недостаток свободной для возведения построек земли, со всех сторон окруженной садами и виллами, внушил очень простую, но не совсем удобную на практике мысль делать на домах надстройки. Но высота этих зданий, нередко строившихся на скорую руку и из плохого материала, была причиной частых несчастий, и потому эдиктами Августа и Нерона неоднократно было предписано, чтобы строившиеся внутри римских стен частные дома не возвышались над землею более, чем на семьдесят футов. III. Ювенал, как кажется на основании собственного опыта, скорбел о лишениях бедных граждан и давал им благотворный совет как можно скорее бежать от римской копоты, так как в небольших итальянских городах можно купить красивый и удобный домик за ту самую цену, которую они ежегодно платят за темную и скверную квартиру. Отсюда следует заключить, что наемная плата за квартиры была чрезмерно велика; богачи приобретали за огромные суммы землю, на которой строили свои дворцы и разводили сады, но главная масса римского насе-

ния теснилась на небольшом пространстве, и, подобно тому как это делается в наше время в Париже и в других городах, в различных этажах и квартирах одного и того же дома размещалось по нескольку плебейских семейств. IV. В описании Рима, составленном в царствование Феодосия, число домов во всех четырнадцати городских кварталах определено в сорок восемь тысяч триста восемьдесят два. Они делились на два разряда — на *domus* и *insulae*, которые вмещали в себя все столичные жилища всякого рода, начиная с мраморного дворца Анициев с многочисленными помещениями для вольноотпущенных и рабов и кончая высоким и узким домиком, в котором поэт Кодр и его жена нанимали чердак под самой крышей. Если мы примем ту же среднюю цифру, которая, при таких же условиях, была принята для вычисления парижского населения, и если мы допустим, что на каждый дом приходилось круглым числом по двадцать пять жителей, то население Рима определится в миллион двести тысяч человек, и эта цифра не покажется нам чрезмерной для столицы могущественной империи, хотя бы она и превышала число населения в самых больших городах современной нам Европы.

Осада Рима готами

Таково было положение Рима в царствование Гонория, в то время как готская армия предприняла осаду, или, вернее, блокаду, города. Благодаря искусному распределению своих многочисленных отрядов, с нетерпением ожидавших той минуты, когда их поведут на приступ, Аларих окружил со всех сторон городские стены, прервал всякие сообщения с окрестностями и бдительно наблюдал за прекращением плавания по Тибру, так как этим путем римляне получали самые обильные запасы съестных припасов. В первую минуту и знать, и простой народ были поражены удивлением и негодованием при мысли, что низкий варвар осмеливается так дерзко поступать со столицей мира, но несчастье скоро смирило их гордость, а их малодушная ярость обрушилась не на неприятеля, стоявшего с оружием в руках, а не беззащитную и невинную жертву. В лице Серены римляне могли бы уважать племянницу Феодосия и тетку царствующего императора, одно время заменявшую ему родную мать; но они ненавидели вдову Стилихона и с легковерным пристрастием поверили клеветникам, обвинявшим ее в тайной и преступной переписке с готским полководцем. Движимые такой же безрассудной яростью, какая овладела народом, или увлеченные ею против воли, сенаторы осудили Серену на смерть, не потребовав никаких доказательств ее виновности. Серену с позором удавили, а ослепленный народ дивился тому, что эта жестокая несправедливость не имела немедленным последствием отступление варваров и освобождение города. Этот несчастный город испытал на себе сначала недостаток в съестных припасах, а в конце концов и все ужасы голода. Ежедневная раздача трех фунтов печеного хлеба была уменьшена до полуфунта, до третьей доли фунта и, наконец, совершенно прекратилась, а цена на зерновой хлеб все росла, быстро увеличиваясь в ужасающей пропорции. Самые бедные из граждан, не будучи в состоянии приобрести покупкой необходимое пропитание, обращались к ненадежной благотворительности богачей, и в течение некоторого времени общественные нужды облегчались человеколюбием вдовы императора Грациана Леты, постоянно жившей в Риме и употреблявшей на вспоможение несчастным царские доходы, которые она ежегодно получала от признательных преемников ее супруга. Но этих частных и временных пожертвований не было достаточно для прокормления многочисленного населения, и голод наконец проник в мраморные дворцы самих

сенаторов. Привыкшие к удобствам и роскоши, богачи обоего пола поняли тогда, как мало нужно человеку, чтобы удовлетворять требования природы, и стали расточать свои бесполезные сокровища на добывание такого грубого и скудного продовольствия, от которого в прежнее время отвернулись бы с презрением. Пища, самая отвратительная на вкус и на вид, продукты, самые нездоровые и вредные, пожирались с жадностью и были предметом ожесточенных споров между людьми, доведенными голодом до исступления. Существовало подозрение, что некоторые несчастные с отчаяния питались мясом убитых товарищей, и ходили рассказы о том, что даже матери ели мясо своих убитых детей (какая страшная борьба должна была происходить между двумя самыми могущественными инстинктами, вложенными природой в человеческую душу). Много тысяч римских жителей погибло в своих домах или на улицах от недостатка пищи, а так как находившиеся вне городских стен общественные кладбища были в руках неприятеля, то воздух заразился от зловония, которое издавали гнившие и остававшиеся без погребения трупы, и к бедствиям, происходившим от голода, присоединилась зараза от прилипчивых болезней. Неоднократно получавшиеся от равеннского двора обещания скорой помощи в течение некоторого времени поддерживали в римлянах бодрость, но когда исчезла последняя надежда на человеческую помощь, они соблазнились предложениями сверхъестественного избавления. Тосканские прорицатели, движимые или лукавством, или фанатизмом, уверили городского префекта Помпейяна, что при помощи таинственных заклинаний и жертвоприношений они могут вызвать из туч молнию и направить этот небесный огонь на лагерь варваров. Об этом важном секрете сообщили римскому епископу Иннокентию, и на преемника Св. Петра пало, быть может, совершенно неосновательное обвинение, что он предпочел спасение республики строгому соблюдению правил христианской религии. Но когда этот вопрос поступил на рассмотрение сената и когда было поставлено неременным условием, чтобы жертвоприношения совершались в Капитолии под руководством и в присутствии должностных лиц, большинство членов этого почтенного собрания, из опасения прогневить Бога или императора, отказались от участия в таком деянии, которое, по-видимому, было бы почти равносильно с публичным восставлением язычества.

Римлянам не оставалось ничего другого, как положиться на милосердие или, по меньшей мере, на умеренность готского царя. Сенат, взявший при таких критических обстоятельствах бразды правления в свои руки, назначил двух послов для ведения переговоров с неприятелем. Это важное поручение было возложено на испанского уроженца сенатора Василия, выказавшего свои дарования в качестве провинциального администратора, и на главного трибуна нотариусов Иоанна, отличавшегося ловкостью дельца и давнишними близкими сношениями с готским царем. Когда их допустили до личного свидания с Аларихом, они объявили — более высокомерным тоном, чем какой был приличен в их жалком положении, — что римляне твердо решились не унижать своего достоинства ни в мире, ни в войне и что, если Аларих откажет им в личной капитуляции, он может подать сигнал для приготовления к борьбе с бесчисленным населением, которое привыкло владеть оружием и воодушевлено мужеством отчаяния. «Чем гуще трава, тем легче ее косить» — таков был краткий ответ варвара, а эта грубая метафора сопровождалась громким презрительным смехом, выражавшим пренебрежение к угрозам народа, который уже был расслаблен роскошью, прежде нежели зачах от голода. Затем он со-

благоволил определить размер выкупа за то, что удалится от стен Рима: он потребовал все золото и серебро, которое находится в городе, все равно, составляет ли оно собственность государства или частных лиц; всю ценную движимость и всех рабов, которые в состоянии доказать, что имеют право называться варварами. Уполномоченные сената позволили себе спросить скромным и умоляющим тоном: «Если таковы, о царь! ваши требования, то что же намерены вы оставить нам самим?» «Вашу жизнь», — отвечал надменный завоеватель. Они содрогнулись от ужаса и удалились. Однако, прежде чем они удалились, победитель согласился на непродолжительное перемирие, которое дало возможность вести переговоры с большим хладнокровием. Суровость Алариха постепенно смягчилась; он значительно уменьшил свои немилосердные требования и в конце концов согласился снять осаду, если ему немедленно доставят пять тысяч фунтов золота, тридцать тысяч фунтов серебра, четыре тысячи шелковых одеяний, три тысячи кусков тонкого алого сукна и три тысячи фунтов перца. Но общественная казна была истощена; ежегодные доходы с больших поместий, находившихся частью в Италии, частью в провинциях, задерживались вследствие войны; золото и драгоценные камни были отданы во время голода в обмен за самые грубые съестные припасы; скупцы все еще упорно скрывали свои сокровища, и единственным ресурсом для спасения города от неминуемой гибели оказались некоторые остатки военной добычи, посвященной на богослужебные обряды. Лишь только римляне удовлетворяли хищнические требования Алариха, они получили возможность снова наслаждаться спокойствием и изобилием съестных припасов. Некоторые из городских ворот были отворены с надлежащими предосторожностями; готы перестали препятствовать доставке съестных припасов водою и сухим путем; граждане толпами устремились на вольный рынок, который был открыт в предместьях в течение трех дней; а в то время как торговцы, задумавшие это выгодное дело, наживали значительные барыши, продовольствие городского населения было обеспечено на будущее время обширными запасами, сложенными и в общественные, и в частные хлебные амбары. В лагере Алариха соблюдалась более строгая дисциплина, чем этого можно было ожидать, и сей благоразумный варвар доказал свое уважение к трактатам тем, что подвергнул строгому наказанию отряд своевольных готов, которые оскорбили нескольких римских граждан на дороге в Остию. Его армия, обогатившись собранной со столицы данью, медленно направилась в красивую и плодородную тосканскую провинцию, где он предполагал провести зиму, и под его знаменами нашли для себя убежище сорок тысяч варваров, только что высвободившихся из своих цепей и горевших нетерпением отомстить, под предводительством своего великого освободителя, за оскорбления и унижения, вынесенные во время их тяжелого рабства. Почти в то же самое время он получил более лестные для него подкрепления, состоявшие из готов и гуннов, которых брат его жены Адольф привел вследствие его настоятельных требований от берегов Дуная к берегам Тибра и которые не без усилий и не без потерь проложили себе путь сквозь более многочисленные императорские войска. Победоносный полководец, соединявший отвагу варвара с искусством и дисциплиной римского военачальника, очутился во главе стотысячной армии, и в Италии стали произносить со страхом и с уважением грозное имя Алариха.

Говоря о военных подвигах завоевателя Рима, от которых нас отделяют четырнадцать столетий, мы могли бы довольствоваться их описанием, не вдаваясь в исследование их политических мотивов. Хотя Алариху, по-видимому, все удавалось, он как будто сознавал в себе какую-то тайную слабость

или какой-то внутренний недостаток, или, быть может, он обнаруживал притворную сдержанность с целью ввести в заблуждение и обезоружить легковверных министров Гонория. Готский царь неоднократно заявлял, что желал бы, чтобы его считали за друга мира и римлян. По его настоятельному требованию три сенатора были отправлены к равеннскому двору для того, чтобы ходатайствовать о взаимной выдаче заложников по заключении мирного договора, а условия, которые он определил с достаточной ясностью во время ведения переговоров, могли внушить недоверие к его искренности только потому, что могли казаться не соответствующими его блестящей фортуне. Варвар все еще добивался звания главного начальника западных армий, требовал ежегодной субсидии зерновым хлебом и деньгами и включал Далмацию, Норик и Венецию в пределы своего нового царства, которое господствовало бы над важными сообщениями между Италией и Дунаем. На случай, если бы эти скромные условия были отвергнуты, Аларих обнаруживал готовность отказаться от своих денежных требований и даже довольствоваться одной истощенной и обедневшей провинцией Норик, которая постоянно подвергалась нашествиям германских варваров. Но надежды на мир были уничтожены безрассудным упорством или корыстолюбивыми расчетами министра Олимпия. Не обратив никакого внимания на спасительные советы сената, он отослал послов с военным конвоем, который был слишком многочислен для почетной охраны и слишком слаб для обороны. Шесть тысяч далматов, составлявшие цвет императорских легионов, двинулись по его приказанию из Равенны в Рим по открытой местности, усеянной мириадами варваров. Эти храбрые войска были изменническим образом окружены со всех сторон и поплатились своей жизнью за безрассудство министра; их генерал Валент спасся бегством с поля битвы в сопровождении сотни солдат, а один из послов, уже не имевший права ставить себя под охрану международных законов, был вынужден заплатить за свою свободу выкуп в тридцать тысяч золотых монет. Однако Аларих, вместо того чтобы оскорбиться этим проявлением бессильной ненависти, немедленно возобновил свои мирные предложения, а отправленное сенатом второе посольство, отличавшееся особым авторитетом и достоинством благодаря участию в нем римского епископа Иннокентия, охранялось от могущих встретиться на пути опасностей отрядом готских солдат.

Олимпий, может быть, еще долго издевался бы над основательным негодованием народа, громко называвшего его виновником общественных бедствий; но под его влияние подкопалась дворцовая интрига. Любимые евнухи вручили власть над Гонорием и над империей в руки преторианского префекта Иовия — недостойного министра, не искупившего ошибок и несчастий своего управления даже личной привязанностью к императору. Изгнание или бегство преступного Олимпия сохранило его жизнь для новых превратностей фортуны: он пережил в неизвестности все неудобства бродячей жизни, еще раз достиг власти и вторично впал в немилость; ему отрезали уши, и он испустил дух под ударами плети, а его позорная смерть доставила приятное зрелище друзьям Стилихона. После удаления Олимпия, отличавшегося сильным религиозным фанатизмом, язычники и еретики избавились от бестактного закона, устранявшего их от государственных должностей. Храбрый Генерид, который был родом варвар и держался религии своих предков, был вынужден снять с себя воинскую перевязь, и, хотя сам император неоднократно уверял его, что под тот закон не подходят люди его звания и с его достоинствами, он не захотел воспользоваться сделанным в его пользу изъяти-

ем и оставался в немилости до тех пор, пока не добился от доведенного до крайности римского правительства общей меры, удовлетворявшей требования справедливости. Когда он снова был назначен главным начальником войск в Далмации, Паннонии, Норике и Реции, под его управлением точно будто снова ожили и дисциплина, и дух республики. Его войска, привыкшие к праздности и к нужде, снова принялись за военные упражнения и стали получать достаточное содержание, а его личная щедрость нередко доставляла средства для наград, в которых отказывала жадность или бедность равеннского двора. Храбрость Геннерида, наводившая страх на соседних варваров, была самым надежным оплотом иллирийской границы, а его бдительная заботливость доставила империи подкрепление из десяти тысяч гуннов, которые прибыли к границам Италии с таким запасом съестных припасов и с такими стадами овец и волов, которых было бы достаточно не только на время похода, но и для заведения колонии. Но двор Гонория и высшие правительственные сферы были по-прежнему сценой бессилия и раздоров, лихоимства и анархии. По внушению префекта Иовия гвардейцы взбунтовались и потребовали казни двух генералов и двух главных евнухов. Генералы, положившиеся на вероломное обещание, что их жизнь находится вне всякой опасности, были посажены на корабль и тайным образом умерщвлены, а наказание евнухов, благодаря милостивому к ним расположению императора, ограничилось их безопасной ссылкой в Милан и в Константинополь. Евнух Евсевий и варвар Аллобих вступили в заведование императорской опочивальней и в командование гвардией, а взаимная зависть этих двух второстепенных должностных лиц сделалась причиной гибели и того и другого. По приказанию графа дворцовой прислуги первый камергер был забит до смерти палками в присутствии удивленного императора, а когда Аллобих был вскоре вслед за тем умерщвлен во время публичной процессии, Гонорий в первый раз в своей жизни выказал некоторые признаки мужества и гнева. Однако перед своим падением Евсевий и Аллобих имели свою долю участия в разрушении империи, так как противились заключению договора, о котором Иовий — из личных, а может быть, и из преступных расчетов — вел переговоры с Аларихом на свидании под стенами Римини. В отсутствие Иовия императора уговорили принять надменный тон непоколебимого мужества, который не соответствовал ни его положению, ни его характеру, и подписанное именем Гонория письмо было немедленно отправлено к преторианскому префекту с дозволением свободно располагать средствами государственной казны, но с решительным запрещением унижать военное достоинство Рима перед надменными требованиями варвара. Содержание этого письма было по неосмотрительности сообщено Алариху, и готский царь, державший себя во время переговоров сдержанно и прилично, высказал в самых оскорбительных выражениях свое негодование против тех, кто без всякой причины оскорблял и его самого, и его нацию. Происходившие в Римини переговоры были тотчас прерваны, а префект Иовия по возвращении в Равенну нашел вынужденным одобрять и даже поддерживать господствовавшие при дворе мнения. По его совету и по его примеру главные гражданские и военные сановники должны были приносить клятву, что при каких бы то ни было обстоятельствах и при каких бы то ни было предложениях они будут вести постоянную и непримиримую войну против врага республики. Это опрометчивое обязательство сделалось непреодолимой преградой для каких бы то ни было новых переговоров. Министры Гонория, как рассказывают, громко заявляли, что, если бы они клялись одним именем Божества, они могли бы сообразо-

ваться с требованиями общественной безопасности и положиться в спасении своей души на небесное милосердие; но они клялись над священной головой самого императора, они прикасались во время торжественной церемонии до августейшего седалища величия и мудрости, и нарушение их клятвы навлекло бы на них мирские наказания за святотатство и мятеж.

Вторая осада Рима. 409 г.

В то время как император и его двор наслаждались с упорным высокомерием безопасностью, которую доставляли им равеннские болота и укрепления, они оставляли Рим почти совершенно беззащитным перед разгневанным Аларихом. Однако он все еще обнаруживал такую искреннюю или притворную умеренность, что, в то время как подвигался со своей армией по Фламиниевой дороге, посылал одного вслед за другим епископов с новыми мирными предложениями и умолял императора спасти столицу от огня и меча варваров. Впрочем, это неминуемое общественное бедствие было предотвращено не мудростью Гонория, а благоразумием или человеколюбием готского царя, который прибегнул к более мягкому, хотя и одинаково успешному способу завоевания. Вместо того чтобы нападать на столицу, он направил свои усилия на пристань Остию, которая была одним из самых смелых и самых удивительных произведений римского великолепия. Случайности, от которых постоянно зависело ничем не обеспеченное продовольствие столицы во время зимней навигации, внушили гению первого Цезаря полезную мысль, которая была приведена в исполнение в царствование Клавдия. Искусственные молы, образуя узкий вход в гавань, выдвигались далеко в море и отталкивали яростно набегавшие волны, между тем как самые большие корабли безопасно стояли на якоре внутри глубокого и обширного бассейна, в который вливался северный рукав Тибра почти в двух милях от древней колонии Остии. Римский порт постепенно разросся до размеров епископской столицы, где африканский зерновой хлеб складывался в обширные магазины для прокормления столичного населения. Лишь только Аларих овладел этим важным пунктом, он потребовал от столицы безусловной сдачи и подкрепил свое требование положительным заявлением, что в случае отказа или даже замедления немедленно будут уничтожены запасы, от которых зависит жизнь римского населения. Гордость сенаторов должна была смириться перед воплями этого населения и перед страхом голода; они без сопротивления согласились на предложение посадить нового императора на престол недостойного Гонория, а выбор готского завоевателя облек в порфиру городского префекта Атталы. Признательный монарх немедленно назначил своего покровителя главным начальником западных армий; Адольфу, возведенному в звание графа дворцовой прислуги, было поручено охранять особу Атталы, и два враждебных народа, по-видимому, соединились самыми тесными узами дружбы и союзничества.

Городские ворота отворились, и новый римский император, окруженный со всех сторон отрядом готов, направился с шумною торжественностью во дворец Августа и Траяна. Распределив между своими любимцами и приверженцами гражданские и военные должности, Аттал созвал сенат и объявил ему в пышной и цветистой речи о своей решимости восстановить величие республики и снова присоединить к империи Египет и восточные провинции, когда-то признававшие над собою верховную власть Рима. Эти нелепые обещания внушали всякому благоразумному гражданину основательное презрение к личности узурпатора, который не обнаружил никаких воинских даро-

ваний и возвышение которого было самой глубокой и самой позорной раной, какую когда-либо наносила республике дерзость варваров. Но чернь со своим обычным легкомыслием радовалась перемене повелителя. Общее неудовольствие было благоприятно для Гонориева соперника, и те сектанты, которые были угнетены притеснительными императорскими эдиктами, ожидали некоторой поддержки или, по меньшей мере, терпимости со стороны такого монарха, который был воспитан на своей родине, в Ионии, в языческих суевериях и впоследствии получил таинство крещения из рук арианского епископа. Первые дни царствования Атталы были ясны и счастливы. Доверенное лицо было послано с незначительным отрядом войск в Африку, чтобы увериться в покорности этой провинции; большая часть Италии преклонила из страха перед могуществом готов, и если Болонья оказала энергическое и успешное сопротивление, зато миланское население, быть может недовольное отсутствием Гонория, громко одобрило выбор римского сената. Аларих во главе сильной армии довел своего царственного пленника почти до самых ворот Равенны, и торжественное посольство, в состав которого входили главные министры — преторианский префект Иовий, начальник кавалерии и пехоты Валент, квестор Потамий и главный нотариус Юлиан, — было допущено с воинственной пышностью внутрь готского лагеря. От имени своего государя эти послы соглашались признать законность избрания его соперника и разделить как итальянские, так и западные провинции между двумя императорами. Их предложения были отвергнуты с презрением, и к этому отказу присоединилось оскорбительное милосердие Атталы, благоволившего обещать, что, если Гонорий немедленно сложит с себя порфиру, ему будет дозволено провести остальную жизнь в спокойной ссылке на каком-нибудь отдаленном острове. Действительно, таково было отчаянное положение Феодосиева сына в глазах тех, кому всего лучше были знакомы его силы и ресурсы, что его министр Иовий и его генерал Валент не оправдали возложенного на них доверия, бесчестно покинули знамя своего несчастного благодетеля и посвятили свою изменническую преданность служению его более счастливому сопернику. Пораженный известием о такой домашней измене, Гонорий стал дрожать от страха при приближении каждого слуги и при приезде каждого гонца. Он опасался, чтобы какие-нибудь тайные враги не скрывались в его столице, в его дворце и даже в его спальне, и в равеннской гавани были заготовлены суда для перевозки уволенного от должности императора во владения царствовавшего на востоке его малолетнего племянника.

Но есть Провидение (по крайней мере так думает историк Прокопий), которое печется о простаках и безумцах, а за Гонорием, конечно, нельзя было не признать особых прав на его покровительство. В то время как он, по неспособности принять какое-либо благоразумное и отважное решение, готовился с отчаяния к постыдному бегству, в равеннскую гавань неожиданно прибыло подкрепление из четырех тысяч ветеранов. Император поручил охрану городских стен и ворот этим храбрым чужеземцам, преданность которых не была поколеблена придворными интригами, и с той минуты его сон уже не прерывался тревожными мыслями об опасности, которой угрожали ему внутренние враги. Полученные из Африки благоприятные известия произвели внезапный переворот и в общественном мнении, и в положении дел. Войска, посланные в эту провинцию Атталой, были разбиты; их начальники были умерщвлены, а деятельное усердие Гераклиана доказало и его собственную преданность императору, и преданность населения. Он прислал значи-

тельную сумму денег, с помощью которой была упрочена привязанность императорской гвардии, а благодаря предусмотрительности, с которой он прекратил вывоз зернового хлеба и оливкового масла, среди римского населения стал чувствоваться голод, возникли волнения и обнаружилось общее неудовольствие. Неудачный исход африканской экспедиции сделался источником взаимных жалоб и пререканий между приверженцами Аттала, и его покровитель постепенно охладил к интересам такого монарха, у которого не было ни умения повелевать, ни готовности повиноваться. Самые неблагоприятные меры принимались без ведома Алариха или наперекор его указаниям, а упорный отказ сената допустить участие хотя бы только пятисот готов в морской экспедиции обнаружил такую подозрительность и такое недоверие, которые были и неблагоприятны, и неблагоприятны. Неудовольствие готского царя было усилено коварными происками Иовия, который был возведен в звание патриция и впоследствии оправдывал свою двойную измену бесстыдным заявлением, что он притворным образом покинул Гонория только для того, чтобы вернее погубить узурпатора. На обширной равнине подле Римини в присутствии бесчисленного сборища римлян и варваров с недостойного Аттала были публично сняты диадема и порфира, и Аларих отослал эти царские отличия к сыну Феодосия как залог мира и дружбы. Возвратившиеся к своему долгу офицеры были восстановлены в своих должностях, и даже самое позднее раскаяние милостиво награждалось, а разжалованный римский император, заботившийся не столько о своем достоинстве, сколько о сохранении своей жизни, вымолил позволение следовать за готским лагерем в свите высокомерного и своенравного варвара.

Третья осада и разграбление Рима готами. 410 г.

Низложением Аттала было устранено единственное серьезное препятствие к заключению мира, и Аларих приблизился к Равенне на расстояние трех миль с целью положить конец нерешительности императорских министров, которые стали держать себя с прежней самоуверенностью с той минуты, как им снова улыбнулась фортуна. Его негодование воспламенилось от полученного им известия, что один из соперничавших с ним готских вождей — Сар, личный враг Адольфа и наследственный недоброжелатель рода Балтиев, был принят в императорском дворце. Этот бесстрашный варвар вышел из ворот Равенны во главе трехсот приверженцев, напал врасплох на значительный отряд готов, разбил его, возвратился в город с триумфом и позволил себе оскорбить своего противника, выслав герольда, который публично объявил, что преступление Алариха сделало его навсегда недостойным дружбы императора и союза с ним. За свои заблуждения и безрассудство равеннский двор заплатился в третий раз бедствиями, обрушившимися на Рим. Готский царь, уже не скрывавший своей жажды грабежа и мщения, появился во главе своей армии под стенами столицы, и объятый ужасом сенат, не рассчитывавший ни на какую помощь извне, приготовился к отчаянному сопротивлению в надежде по крайней мере замедлить гибель города. Но он был не в состоянии уберечься от заговора рабов и слуг, которые желали успеха варварам или потому, что были одного с ними происхождения, или потому, что находили в этом свой интерес. В полночь Салаирские ворота были тайком открыты, и жители проснулись при страшном звуке готских труб. Через тысячу сто шестьдесят три года после основания Рима этот царственный город, подчинивший себе и просветивший значительную часть человеческого рода, сделался жертвой необузданной ярости германских и скифских варваров.

Впрочем, прокламация, изданная Аларихом при вступлении в завоеванный город, обнаруживает некоторое уважение к законам человеколюбия и к религии. Он поощрял своих солдат не стесняясь забирать сокровища, составлявшие награду за их храбрость, и обогащаться добычей, собранной с привыкшего к роскоши и изнеженного народа; но вместе с тем он убеждал их щадить жизнь тех, кто не оказывает никакого сопротивления, и относиться с уважением к храмам апостолов Св. Петра и Св. Павла как к неприкосновенным святыням. Среди ужасов ночной сумятицы некоторые из исповедовавших христианскую религию готов выказали религиозное усердие новообращенных, а некоторые примеры необыкновенного с их стороны благочестия и воздержанности рассказаны и, быть может, разукрашены усердием церковных писателей. В то время как варвары бродили по городу в поисках добычи, один из их вождей вломился в скромное жилище одной престарелой девы, посвятившей свою жизнь делу христианского благочестия. Он тотчас потребовал — впрочем, вежливым тоном, — чтобы она принесла ему все золото и серебро, которое находится в ее доме, и был крайне удивлен готовностью, с которой она привела его в великолепный склад дорогих вещей из массивного серебра самой изящной работы. В то время как варвар любовался этим ценным приобретением, его восторг был прерван следующим строгим предостережением: «Эти освященные сосуды, принадлежащие Св. Петру; если вы осмелитесь прикоснуться к ним, вы совершите святотатство, которое останется на вашей совести. А что касается меня, то я не должна братья за хранение того, чего не в состоянии защищать». Пораженный религиозным страхом, готский вождь отправил к Алариху гонца с известием о найденном сокровище и получил в ответ приказание перенести в церковь апостола все освященные сосуды и украшения в целости и немедленно. Вдоль всего расстояния, отделяющего оконечность Квиринальского холма от Ватикана, многочисленный отряд готов в боевом порядке и с блескующим на солнце оружием сопровождал по главным улицам своих благочестивых соотечественников, которые несли на своих головах священные золотые и серебряные сосуды, а к воинственным возгласам варваров присоединялось пение псалмов. Из соседних домов толпы христиан присоединялись к этой религиозной процессии, и множество беглецов всякого возраста и звания и даже различных сект воспользовались этим случаем, чтобы укрыться в безопасном и гостеприимном святилище Ватикана. Ученое сочинение о Граде Божьем было, по признанию самого Св. Августина, написано для того, чтобы объяснить цели Провидения, допустившего разрушение римского величия. Он с особым удовольствием превозносит это достопамятное торжество Христа и глумится над своими противниками, требуя, чтобы они указали другой подобный пример взятого приступом города, в котором баснословные боги древности оказались бы способными защитить или самих себя, или своих заблуждавшихся поклонников.

Несколько редких и необыкновенных примеров варварской добродетели во время разграбления Рима вполне достойны вызванных ими похвал. Но в священном вместилище Ватикана и апостольских церквей могла укрыться лишь очень небольшая часть римского населения; многие тысячи варваров, и в особенности служившие под знаменами Алариха гунны, были незнакомы с именем Христа или по меньшей мере с его религией, и мы вправе полагать, без нарушения любви к ближнему и беспристрастия, что в те часы дикой разнузданности, когда все страсти воспаляются и всякие стеснения устраняются, поведение исповедовавших христианство готов редко подчиня-

лось правилам Евангелия. Те писатели, которые были особенно склонны преувеличивать их человеколюбие, откровенно признаются, что они безжалостно убивали римлян и что городские улицы были усеяны мертвыми телами, оставшимися без погребения во время всеобщего смятения. Отчаяние граждан иногда переходило в ярость, а всякий раз, как варвары были раздражены сопротивлением, они убивали без разбора и слабых, и невинных, и беззащитных. Сорок тысяч рабов удовлетворяли свою личную злобу без всякой жалости или угрызений совести и когда-то сыпавшиеся на них позорные удары плети были смыты кровью виновных и ненавистных семейств. Римские женщины и девушки подвергались пыткам, более страшным для их целомудрия, чем сама смерть, и благородное мужество одной из них описано церковным историком для назидания потомства. Одна знатная римлянка, отличавшаяся необыкновенной красотой и православием своих религиозных убеждений, возбудила страсть в одном молодом готе, о котором предусмотрительный Созомен поспешил заметить, что он был привязан к арианской ереси. Выведенный из терпения ее упорным сопротивлением, он обнажил свой меч и с запальчивостью влюбленного слегка ранил ее в шею. При виде крови героиня не смутилась и по-прежнему отталкивала его от себя так, что он наконец прекратил свои безуспешные усилия, с уважением отвел ее в ватиканское святилище и дал шесть золотых монет церковным сторожам с тем условием, чтобы они возвратили ее мужу, не подвергая никаким оскорблениям. Но такие примеры мужества с одной стороны и великодушия с другой встречались не часто. Грубые солдаты удовлетворяли свои чувственные влечения, не справляясь с желаниями или с обязанностями попавших в их руки женщин, и впоследствии казуисты серьезно занимались разрешением щекотливого вопроса: утратили ли свою девственность те несчастные жертвы, которые упорно сопротивлялись совершенному над ними насилию? Впрочем, римлянам пришлось выносить и такие потери, которые были более существенны и имели более общий характер. Нельзя предполагать, чтобы все варвары были во всякое время способны совершать такие любовные преступления, а недостаток юности, красоты или целомудрия охранял большую часть римских женщин от опасности сделаться жертвами насилия. Но корыстолюбие — страсть ненасытная и всеобщая, так как богатство доставляет обладание почти всеми предметами, которые могут служить источником наслаждения для самых разнообразных человеческих вкусов и наклонностей. При разграблении Рима отдавалось основательное предпочтение золоту и драгоценным камням как таким предметам, которые имеют самую высокую цену при самом незначительном объеме и весе; но когда самые торопливые из грабителей завладели этими удобопереносимыми сокровищами, тогда очередь дошла до роскошной и дорогой утвари римских дворцов. Посуда из массивного серебра и пурпуровые и шелковые одежды складывались грудami на повозки, которые всегда следовали за готской армией во время похода; самые изящные произведения искусства уничтожались или по небрежности, или с намерением; статуи растапливались для того, чтобы можно было унести драгоценный металл, из которого они были вылиты, и нередко случалось, что при дележе добычи сосуды разбивались на куски ударом боевой секиры. Приобретение богатств только разжигало алчность варваров, прибегавших то к угрозам, то к ударам, то к пыткам, чтобы вынудить от своих пленников указание тех мест, где они скрыли свои сокровища. Бросавшиеся в глаза роскошь и расточительность принимали за доказательства большого состояния; наружная бедность приписывалась скупости, а упорство, с которым иные

скряги выносили самые жестокие мучения, прежде чем указать свое тайное казнохранилище, было гибельно для бедняков, которых забивали до смерти плетью за то, что они не хотели указать, где находятся их мнимые сокровища. Римские здания потерпели некоторые повреждения от готов, но эти повреждения были очень преувеличены. При своем вступлении в город через Салаирские ворота они зажгли соседние дома для того, чтобы осветить себе путь и отвлечь внимание жителей; пламя, которое некому было тушить среди ночной суматохи, уничтожило несколько частных домов и публичных зданий, а развалины Саллюстиева дворца еще во времена Юстиниана служили величественным памятником готского нашествия. Однако один из современных историков заметил, что огонь едва ли мог уничтожить громадные балки из литой меди и что человеческих усилий было недостаточно для того, чтобы разрушить фундамент древних построек. Впрочем, может быть, и была некоторая доля правды в его благочестивом утверждении, что небесный гнев восполнил то, чего не в состоянии была довершить ярость варваров, и что молния обратила в прах и римский форум, и украшавшие его статуи богов и героев.

Каково бы ни было число всадников и плебеев, погибших во время всеобщей резни, нас уверяют, что только один сенатор лишился жизни от неприятельского меча. Но было бы нелегко определить число людей знатных и богатых, которые были внезапно низведены до жалкого положения рабов и изгнанников. Так как варвары нуждались не столько в рабах, сколько в деньгах, то они довольствовались умеренным выкупом за своих небогатых пленников, а этот выкуп нередко уплачивался добрыми друзьями или сострадательными чужеземцами. Пленники, проданные с публичного торга или по частным сделкам, имели законное право снова пользоваться той прирожденной свободой, которую граждане не могли ни утрачивать, ни отчуждать. Но так как они скоро поняли, что отстаивание свободы поставило бы их жизнь в опасность, потому что готы стали бы убивать бесполезных пленников, которых нельзя продать, то благоразумное изменение, внесенное в гражданское законодательство, обязывало их исполнять рабские обязанности в течение умеренного пятилетнего срока и зарабатывать те деньги, которые были заплачены за их выкуп. Народы, вторгнувшиеся в Римскую империю, загнали в Италию целые толпы голодных и напуганных провинциальных жителей, боявшихся не столько рабства, сколько голодной смерти. Бедствия, постигшие Рим и Италию, заставили жителей искать для себя самых привлекательных, самых безопасных и самых отдаленных убежищ. В то время как готская кавалерия распространяла ужас и опустошения вдоль морского побережья Кампании и Тосканы, маленький островок Игилий, отделявшийся от Аргентарийского мыса узким каналом, успел или отразить их враждебные попытки, или уклониться от них; таким образом, неподалеку от Рима, в густых лесах этой уединенной местности, нашли себе безопасное убежище многие из римских граждан. Сенаторские семьи, владевшие большими поместьями в Африке, укрывались в этой гостеприимной провинции, если только они имели достаточно благоразумия, чтобы заблаговременно спастись от гибели, постигшей их родину. В числе самых замечательных беглецов была благочестивая вдова префекта Петрония Проба. После смерти своего мужа, который был в свое время самым могущественным из всех римских подданных, она осталась во главе рода Анициев и из своего личного состояния покрыла расходы, с которыми было сопряжено последовательное возведение трех ее сыновей в консульское звание. Когда столица была осаждена и взя-

та готами, Проба с христианской покорностью вынесла потерю своих громадных богатств, села на небольшой корабль, с которого видела, как горел ее дворец, и высадилась на африканском берегу вместе со своей дочерью Лэтой и своей внучкой, знаменитой девицей Деметрией. Благосклонная щедрость, с которой эта матрона раздавала доход со своих поместьев и вырученные от их продажи суммы, облегчала страдания изгнанников и пленников. Однако семейство самой Пробы не избегло хищнических притеснений со стороны графа Гераклиана, который удовлетворял сластолюбие или корыстолюбивые расчеты сирийских купцов, продавая им в супружество девишек из самых знатных римских семей. Итальянские беглецы рассеялись по различным провинциям вдоль берегов Египта и Азии до Константинополя и Иерусалима, и деревня Вифлием, служившая уединенным местопребыванием для Св. Иеронима и его послушниц, наполнилась нищими обоего пола и всех возрастов, возбуждавшими общее сострадание напоминанием о своем прежнем достатке. Страшная катастрофа, постигшая Рим, поразила всю империю удивлением, к которому примешивались скорбь и ужас. При виде такого резкого перехода от величия к разорению все оплакивали и даже преувеличивали бедствия, постигшие царственный город, а духовенство, применявшее к этим событиям возвышенные метафоры восточных пророчеств, нередко пыталось выдавать гибель столицы за разрушение всего земного шара.

Люди от природы очень склонны не ценить преимуществ настоящего времени и преувеличивать его дурные стороны. Однако, когда первые впечатления сгладились и действительным размерам бедствия была сделана правильная оценка, самые ученые и самые здравомыслящие современники были вынуждены сознаться, что зло, которое причинили Риму в его юности галлы, было более существенно, чем то, которое причинили ему на склоне его лет готы. Опыт одиннадцати столетий доставил потомству возможность сделать гораздо более интересное сравнение и с уверенностью утверждать, что опустошения, которые были причинены варварами, приведенными Аларихом с берегов Дуная, были менее пагубны, чем неприязненные действия войск Карла V, который был католиком и сам себя называл императором римлян. Готы очистили город через шесть дней, а империалисты хозяйничали в Риме в течение девяти с лишним месяцев, и каждый час их пребывания был запятнан каким-нибудь отвратительным актом жестокости, разврата и хищничества. Своим личным влиянием Аларих поддерживал до некоторой степени порядок и воздержанность в среде свирепой толпы, признававшей его за своего вождя и монарха; но коннетабль Бурбон со славой пал при атаке городских стен, а со смертью главнокомандующего совершенно исчезли узы дисциплины в армии, состоявшей из трех различных национальностей, из итальянцев, испанцев и германцев. В начале шестнадцатого столетия нравы итальянцев представляли замечательный образчик нравственной испорченности, до которой может дойти человечество. Это было сочетание тех кровавых преступлений, которые свойственны обществу в его диком состоянии, с теми утонченными пороками, которые происходят от злоупотребления искусствами и роскошью; а те удалцы, которые, отложив в сторону и чувство патриотизма, и религиозные предрассудки, напали на дворец римского первосвященника, заслуживают того, чтобы их считали за самых распутных между итальянцами. В ту же пору испанцы были предметом страха и для Старого Света, и для Нового, но их пылкое мужество было запятнано свирепой кичливостью, хищнической жадностью и неумолимым жестокосердием. Не-

утомимые в погоне за славой и золотом, они доискались на практике до самых утонченных и самых успешных способов пытать своих пленников; между грабившими Рим кастильянцами было немало таких, которые были офицерами священной инквизиции, и, вероятно, было немало волонтеров, только что возвратившихся из завоеванной ими Мексики. Германцы были менее развратны, чем итальянцы, и менее жестокосердны, чем испанцы, а под грубой и даже дикой внешностью этих пришедших с севера воинов нередко скрывались добродушие и сострадание. Но под первыми впечатлениями религиозного рвения, внушенного Реформацией, они впитали в себя как дух, так и принципы Лютера. Их любимой забавой было поругание или истребление священных предметов католического культа; они без жалости и без угрызений совести удовлетворяли свою благочестивую ненависть к духовенству всяких названий и всякого разряда, составляющему столь значительную часть населения современного нам Рима, а их фанатическое усердие доходило до того, что могло внушить им намерение низвергнуть престол Антихриста и смыть кровью и огнем гнусности духовного Вавилона.

Аларих опустошает Италию. 408–410 гг.

Отступление победоносных готов, очистивших Рим на шестой день, могло быть результатом благоразумия, но, конечно, оно не было вызвано страхом. Во главе армии, обремененной богатой и грузной добычей, их неустрашимый вождь направился по Аппиевой дороге в южные провинции Италии, уничтожая на своем пути все, что осмеливалось препятствовать его движению, и довольствуясь разграблением страны, не оказывавшей никакого сопротивления. Нам неизвестно, какая судьба постигла Капую, эту гордую и роскошную метрополию Кампании, даже в эпоху своего упадка считавшуюся за восьмой город империи; но соседний с нею город Нола был по этому случаю прославлен святостью Павлина, бывшего сначала консулом, потом монахом и наконец епископом. Когда ему было сорок лет, он отказался от всех удовольствий, доставляемых богатством и почестями, отказался и от общества, и от занятий литературой для того, чтобы жить в уединении и заниматься делами благочестия, а громкое одобрение со стороны духовенства внушило ему достаточно смелости, чтобы пренебрегать упреками его светских приятелей, приписывавших этот странный образ действий какому-нибудь умственному или физическому расстройству. Давнишнее и страстное влечение побудило его избрать для своего скромного жилища одно из предместий Нола, вблизи от чудотворной гробницы Св. Феликса, вокруг которой благочестивое население уже успело построить пять больших и многопосещаемых церквей. Остатки своего состояния и своих дарований Павлин посвятил служению этому знаменитому мученику, день его чествования всегда праздновал торжественным гимном и построил в честь его шестую церковь, отличавшуюся особым изяществом и великолепием и украшенную многими картинами из истории Ветхого и Нового Завета. Это неусыпное усердие доставило ему благосклонное расположение если не самого святого, то, по меньшей мере, местного населения, и после пятнадцатилетней уединенной жизни бывший римский консул был вынужден принять на себя звание епископа Нола; это случилось за несколько месяцев перед тем, как город был осажден готами. Во время осады некоторые благочестивые жители были убеждены, что им являлась во сне или в видении божественная фигура их святого патрона; однако на деле оказалось, что Феликс или не был в состоянии, или не хотел спасти стадо, над которым он когда-то состоял пастырем. Нола не из-

бежала общего опустошения, а взятый в плен епископ нашел для себя охрану лишь в своей репутации человека и невинного, и бедного. Со времени успешного вторжения Алариха в Италию до добровольного удаления готов под предводительством его преемника Адольфа прошло более четырех лет, в течение которых готы бесконтрольно господствовали над страной, соединявшей, по мнению древних, все, что могут дать природа и искусство. На самом деле, то благосостояние, которого достигла Италия в счастливом веке Антонинов, постепенно падало вместе с упадком империи. Под грубой рукою варваров погибли плоды продолжительного спокойствия, и сами они не были способны оценить тех изящных утонченностей роскоши, которые предназначались для изнеженных и цивилизованных итальянцев. Тем не менее каждый солдат требовал себе крупной доли из тех обильных запасов хлеба, говядины, оливкового масла и вина, которые ежедневно стекались и поглощались в готском лагере, а начальники опустошали разбросанные вдоль живописного берега Кампании виллы и сады, где когда-то жили Лукулл и Цицерон. Попавшие в плен сыновья и дочери римских сенаторов, дрожа от страха, подавали надменным победителям в золотых и украшенных драгоценными камнями кубках фалернское вино, в то время как те лежали растянувшись под тенью чинар, ветви которых были искусно переплетены так, что защищали от палящих солнечных лучей, а вместе с тем не лишали возможности наслаждаться животворной солнечной теплотой. Этим наслаждениям придавало особую цену воспоминание о вынесенных лишениях: сравнение с родиной, с мрачными и бесплодными холмами Скифии и с холодными берегами Эльбы и Дуная, придавало в глазах варваров новую прелесть итальянскому климату.

Смерть Алариха. 410 г.

Искал ли Аларих славы, завоеваний или богатства, он, во всяком случае, стремился к одной из этих целей с таким неутомимым рвением, которого не могла охладить никакая неудача и не мог вполне удовлетворить никакой успех. Как только он достиг самой отдаленной из итальянских провинций, его прельстил находившийся неподалеку плодородный и мирный остров. Но и обладание Сицилией было в его глазах лишь первым шагом к задуманной им экспедиции на Африканский континент. Пролив между Регием и Мессиной имеет в длину двенадцать миль; его ширина в самых узких местах не доходит до полутора миль, а баснословные морские чудовища, утесы Сциллы и водовороты Харибды могли быть страшны только для самых робких и неопытных моряков. Однако лишь только первый отряд готов пустился в море, внезапно поднявшаяся буря потопила или рассеяла много транспортных судов; готы оробели при виде незнакомого им элемента, а преждевременная смерть, постигшая Алариха после непродолжительной болезни, положила конец и задуманной им экспедиции, и его завоеваниям. Свирепый нрав варваров сказался в погребении героя, которого они прославляли своими заунывными похвалами за его мужество и счастье. Они заставили своих многочисленных пленников отклонить в сторону течение Бузентина — маленькой речки, омывающей стены города Консенции. Царская гробница, украшенная великолепными римскими трофеями, была сооружена на высохшем дне реки; затем вода была спущена в свое прежнее русло, а для того, чтобы то место, где были сложены смертные останки Алариха, оставалось навсегда неизвестным, были безжалостно умерщвлены все пленники, участвовавшие в этой работе.

Под гнетом необходимости стихли и личные ссоры, и наследственные распри варварских вождей, и зять умершего монарха храбрый Адольф был единогласно избран ему в преемники. Характер и политическая система нового готского царя всего яснее выразились в его собственном разговоре с одним знатным нарбонским гражданином, который во время своего странствования к Святым Местам рассказал содержание этой беседы Св. Иерониму в присутствии историка Орозия. «В самоуверенности, внушаемой храбростью и успехом, я когда-то замышлял, — говорил Адольф, — изменить внешний вид всего мира, стереть с лица земли имя Рима, утвердить на его развалинах владычество готов и стяжать, подобно Августу, бессмертную славу основателя новой империи. Но многократный опыт постепенно привел меня к убеждению, что законы существенно необходимы для поддержания порядка в хорошо устроенном государстве и что свирепый несговорчивый характер готов не способен подчиняться благотворным стеснениям, налагаемым законами и гражданским управлением. С этой минуты я избрал иную цель для славы и честолюбия и теперь искренно желаю одного — чтобы признательность будущих поколений оценила по достоинству заслуги чужеземца, употребившего меч готов не на разрушение Римской империи, а на восстановление и поддержание ее благосостояния». С этими миролюбивыми целями преемник Алариха приостановил военные действия и вступил в серьезные переговоры с императорским правительством о заключении договора, основанного на взаимной дружбе и союзе. Министры Гонория, освободившиеся со смертью Алариха от стеснений, которые налагало на них их безрассудное клятвенное обещание, обрадовались возможности избавить Италию от невыносимого владычества готов и охотно приняли предложение их услуг для борьбы с тиранами и варварами, разорявшими заальпийские провинции. Адольф, приняв на себя звание римского военачальника, направился от крайних пределов Кампании в южные провинции Галлии. Его войска — частью силой, частью без всякого сопротивления — немедленно заняли города Нарбонну, Тулузу и Бордо, и, хотя граф Бонифаций отразил их от стен Марселя, они скоро рассеялись по всему пространству от берегов Средиземного моря до океана. Несчастное население имело полное основание жаловаться, что эти мнимые союзники безжалостно отбирали у них те ничтожные остатки их имущества, которые уцелели от жадности врагов; однако не было недостатка и в благовидных мотивах, извинявших или оправдывавших насилия готов. Города Галлии, на которые они нападали, можно считать восставшими против правительства Гонория; статьи договора или секретные инструкции равеннского двора могли служить оправданием для Адольфа в тех случаях, когда его образ действий с виду походил на захват не принадлежащей ему власти; а всякое уклонение от правильного способа ведения войны, не увенчавшееся успехом, могло быть, не без некоторого основания, приписано буйному характеру варваров, не подчинявшихся требованиям порядка и дисциплины. Роскошь, которой готы наслаждались в Италии, не столько смягчила их нравы, сколько ослабила их мужество, и они впитали в себя пороки цивилизованного общества, ничего не усвоив из его искусств и учреждений.

Адольф, вероятно, был чистосердечен в своих заявлениях, а его преданность интересам республики была обеспечена влиянием, которое приобрела над сердцем и умом варварского царя одна римская принцесса. Дочь великого Феодосия от его второй жены Галлы, Платидия получила царское воспитание в константинопольском дворце; но полная приключений история ее

жизни тесно связана с переворотами, волновавшими Западную империю в царствование ее брата Гонория. Когда Рим был в первый раз осажден Аларихом, Платидия, которой в ту пору было около двадцати лет, жила в этом городе, а ее беспрекословное согласие на смертную казнь ее двоюродной сестры Серены имеет вид такого жестокосердия и такой неблагодарности, для которых ее молодость может служить или извинением, или усиливающим ее виновность соображением, смотря по обстоятельствам, при которых она так поступила. Победоносные варвары задержали сестру Гонория в качестве заложницы или пленницы; однако, несмотря на то что ей пришлось следовать по всей Италии за передвижениями готского лагеря, с ней обходились прилично и почтительно. Авторитету Иорнанда, который восхваляет красоту Платидии, можно противопоставить красноречивое молчание ее льстецов; однако ее знатное происхождение, цвет молодости, изящество манер и вкрадчивое заискивание, до которого она снисходила, произвели глубокое впечатление на сердце Адольфа, и готский царь пожелал называться братом императора. Министры Гонория с пренебрежением отвергли предложение родственного союза, столь оскорбительного для римской гордости, и неоднократно требовали освобождения Платидии, считая его необходимым условием для заключения мирного договора. Но дочь Феодосия без сопротивления подчинилась желаниям победителя, который был молод и храбр и если не был так же высок ростом, как Аларих, зато обладал более привлекательными достоинствами грации и красоты. Бракосочетание Адольфа и Платидии совершилось прежде удаления готов из Италии, и они впоследствии отпраздновали этот день или, быть может, его годовщину в доме Ингенуя — одного из самых знатных граждан Нарбонны, в Галлии. В таком же роскошном одеянии, какое носили римские императрицы, Платидия воссела на великолепном троне, а готский царь, одевшийся по этому случаю римлянином, удовольствовался менее почетным местом подле нее. Свадебный подарок, который был поднесен Платидии согласно с обычаями готов, состоял из самых редких и самых дорогих вещей, награбленных на ее родине. Пятьдесят красивых юношей в шелковых одеяниях несли по чаше в каждой руке; одни из этих чаш были наполнены золотыми монетами, а другие драгоценными камнями, которым не было цены. Атталу, который так долго был игрушкой фортуны и готов, было поручено руководить хором, исполнявшим брачный гимн, и этот разжалованный император, быть может, желал прослыть хорошим музыкантом. Варвары надменно наслаждались своим триумфом, а провинциальные жители радовались этому родственному союзу, смягчавшему свирепость их повелителя кротким влиянием любви и рассудка.

Сто чаш с золотом и драгоценными камнями, поднесенных Платидии в день брачного празднества, составляли незначительную часть готских сокровищ; о них можно составить себе некоторое понятие по тем редким образчикам, о которых упоминает история преемников Адольфа. В шестом столетии, когда их нарбоннский дворец был разграблен франками, там было найдено много редких и дорогих вещей из чистого золота, украшенных драгоценными камнями, и между прочим: шестьдесят чаш, или потиров; пятнадцать дисков, употреблявшихся при приобщении Св. Тайн; двадцать ящиков или футляров, в которых хранились книги Св. Писания. Эти священные сокровища были распределены сыном Хлодвиг между находившимися в его владениях церквями, а под его благочестивой щедростью, как кажется, скрывался упрек за какое-то святотатство, совершенное готами. Они с более спо-

койной совестью владели знаменитым missorium, или большим блюдом, на котором подавались кушанья; оно было сделано из массивного золота, весило пятьсот фунтов и ценилось чрезвычайно дорого благодаря украшавшим его драгоценным камням, изящной работе и преданию, что оно было поднесено патрицием Аэцием готскому царю Торизмунду. Один из преемников Торизмунда купил помощь франкского короля обещанием отдать ему этот великолепный подарок. В то время как он царствовал в Испании, он неохотно отдал это блюдо послам Дагоберта; потом отнял его у них на обратном пути; затем, после продолжительных переговоров, условился заплатить за это блюдо не соответствующий его стоимости выкуп в двести тысяч золотых монет, и, таким образом, missorium остался украшением готских сокровищ. Когда арабы после завоевания Испании разграбили эти сокровища, они нашли там еще более замечательную вещь, которую они очень восхищались и хвастались, — а именно: значительной величины стол из цельного изумруда, который был окружен тремя рядами жемчужин, имел триста шестьдесят пять ножек из драгоценных камней и массивного золота и ценился в пятьсот тысяч золотых монет. Некоторая часть готских сокровищ, быть может, состояла из подарков друзей или из дани побежденных, но гораздо более значительная их часть была плодом войны и хищничества и состояла из добычи, награбленной в империи и в самом Риме.

Эдикты об Италии и Риме. 410–447 гг.

Когда Италия избавилась от тягостного владычества готов, какому-то тайнственному советнику было дозволено заняться среди дворцовых интриг залечиванием ран разоренной страны. В силу благоразумных и человеколюбивых узаконений в уплате податей было сделано на пять лет облегчение для тех провинций, которые всех более пострадали, — для Кампании, Тосканы, Пизцены, Самнии, Апулии, Калабрии, Бруттия и Лукани; обыкновенный размер податей был уменьшен до одной пятой, и даже эта пятая часть была назначена на устройство и поддержание полезного учреждения публичных почтовых сообщений. В силу другого узаконения, земли, оставшиеся незаселенными или невозделанными, раздавались, с некоторым облегчением налогов, соседям и чужеземцам, заявлявшим о желании поселиться на них; а права этих новых собственников были ограждены на будущее время от всяких притязаний со стороны бежавших землевладельцев. Почти в то же самое время была обнародована от имени Гонория всеобщая амнистия, предававшая забвению все невольные преступления, которые были совершены его несчастными подданными в эпоху беспорядков и общественных бедствий. Было также обращено должное внимание на приведение столицы в прежний вид; ее жителей поощряли к перестройке зданий, разрушенных или поврежденных пожаром, и огромные запасы зернового хлеба были привезены из Африки. Надежда найти в Риме и достаток, и удовольствия снова привлекла туда толпы граждан, спасавшихся бегством от меча варваров, и римский префект Албин донес правительству с некоторой тревогой и с удивлением, что он был извещен о прибытии в течение одного дня четырнадцати тысяч чужеземцев. Менее чем в семь лет следы готского нашествия почти совершенно изгладились, и столица, по-видимому, снова зажила с прежним блеском и спокойствием. Эта почтенная матрона снова украсила себя лавровым венком, который был сорван с ее головы вихрем войны, и до самой минуты своего окончательного падения убаюкивала себя предсказаниями отмщения, победы и вечного всемирного владычества.

Это наружное спокойствие было скоро нарушено приближением неприятельского флота из той страны, которая доставляла римскому населению его ежедневное пропитание. Граф Африки Гераклиан, деятельно и честно служивший Гонорию при самых трудных и бедственных обстоятельствах, вовлекся в том году, когда был консулом, в мятеж и принял титул императора. Африканские порты тотчас наполнились военными судами, во главе которых он готовился напасть на Италию, а когда его флот стал на якорь у устьев Тибра, он был многочисленнее флотов Ксеркса и Александра, если можно верить тому, что все его корабли, со включением императорской галеры и самой ничтожной шлюпки, действительно доходили числом до невероятной цифры трех тысяч двухсот. Однако, несмотря на то, что такие морские силы были бы способны ниспровергнуть или восстановить самую обширную империю в мире, африканский узурпатор не навел большого страха на владения своего противника. В то время как он шел по дороге, ведущей из гавани к воротам Рима, один из императорских военачальников вышел к нему навстречу, навел на него страх своим появлением и разбил его наголову; тогда начальник этих громадных военных сил утратил всякую надежду на успех, покинул своих друзей и постыдным образом бежал с одним кораблем. Когда Гераклиан высадился в карфагенской гавани, он узнал, что вся провинция, проникнувшись презрением к такому малодушному повелителю, снова признала над собой власть Гонория. Мятежник был обезглавлен в старинном храме Мемории; его консульство было уничтожено, а остатки его личного состояния, не превышавшие скромной суммы в четыре тысячи фунтов золота, были отданы храброму Констанцию, который в ту пору поддерживал верховную власть своего слабого государя, а в последствии разделил ее с ним. Гонорий относился с беспечным равнодушием к бедствиям, постигшим Рим и Италию; но угрожавшие его личной безопасности мятежнические попытки Атталы и Гераклиана на минуту расшевелили онемелые инстинкты его натуры. Он, вероятно, не знал ни причин, ни подробностей тех событий, благодаря которым он спасся от неминуемой опасности, а так как Италия уже не подвергалась нападению ни внешних, ни внутренних врагов, то сын Феодосия спокойно прозябал в равеннском дворце, в то время как по ту сторону Альп его генералы одерживали от его имени победы над узурпаторами. При изложении этих разнообразных и интересных событий я мог бы забыть упомянуть о смерти такого монарха; поэтому я из предосторожности считаю нужным без отлагательства отметить, что он пережил последнюю осаду Рима почти на тринадцать лет.

Узурпация Константина, получившего императорскую мантию от британских легионов, была успешна и, по-видимому, была вполне обеспечена. Его титул был признан на всем пространстве от стены Антонина до Геркулесовых столбов, и среди общей неурядицы он грабил Галлию и Испанию вместе с варварскими племенами, которых уже не удерживали в их опустошительных нашествиях ни Рейн, ни Пиренеи. Запятнав себя кровью одного из родственников Гонория, он добился того, что равеннский двор, с которым он находился в тайной переписке, одобрил его мятежнические притязания. Константин дал торжественное обещание освободить Италию от готов, дошел до берегов По и, не оказав никакой существенной помощи своему малодушному союзнику, а только наведя на него страх, торопливо возвратился в свой дворец в Арле для того, чтобы отпраздновать там с неимоверной роскошью свой тщетный и мнимый триумф. Но это временное благополучие было пре-

рвано и разрушено восстанием самого храброго из его генералов, графа Геронтия, которому было поручено главное начальство над испанскими провинциями на время отсутствия Константинова сына Констанса, уже возведенного в звание императора. По какой-то причине, которая нам неизвестна, Геронтий, вместо того чтобы надеть на себя императорскую диадему, возложил ее на голову своего друга Максима, который избрал своей резиденцией Таррагону, между тем как деятельный граф спешил перейти Пиренеи, чтобы застигнуть врасплох двух императоров, Константина и Констанса, прежде нежели они успеют приготовиться к обороне. Сын был взят в плен в Виенне и немедленно казнен; этот несчастный юноша даже не имел времени оплакивать возвышение своего семейства, которое убеждениями или силой заставило его совершить святотатство и отказаться от мирного уединения монашеской жизни. Отец был осажден в Арле; но стены Арля не устояли бы против нападений осаждающих, если бы город не был неожиданно спасен приближением итальянской армии. Имя Гонория и прокламация законного императора поразили удивлением мятежников и той, и другой партии. Покинутый своими войсками, Геронтий бежал к испанской границе и спас свое имя от забвения благодаря тому поистине римскому мужеству, которое он выказал в последние минуты своей жизни. Значительный отряд изменивших ему солдат напал ночью на его дом, который он окружил сильными баррикадами. При помощи своей жены, одного храброго приятеля родом из алан и нескольких преданных рабов он воспользовался большим запасом дротиков и стрел с таким искусством и мужеством, что триста нападающих поплатились жизнью за свою попытку. На рассвете, когда истощился запас метательных снарядов, его рабы спаслись бегством; сам Геронтий мог бы последовать их примеру, если бы его не удерживала супружеская привязанность; наконец раздраженные таким упорным сопротивлением солдаты зажгли его дом со всех сторон. В этом безвыходном положении он по настоятельной просьбе своего варварского приятеля отсек ему голову. Жена Геронтия, умолявшая мужа не обречь ее на жалкое и бедственное существование, подставила свою шею под его меч, и вся эта трагическая сцена закончилась смертью самого графа, который безуспешно нанес себе три удара и затем, вынув коротенький кинжал, вонзил его себе прямо в сердце. Максим, лишившийся покровителя, который возвел его в императорское звание, остался жив благодаря презрению, с которым относились и к его могуществу, и к его дарованиям. Прихоть опустошавших Испанию варваров еще раз возвела на престол этого призрачного императора; но они скоро предали его на суд Гонория, и после того, как тиран Максим был выставлен на показ перед жителями Равенны и Рима, над ним публично совершили смертную казнь.

Генерал по имени Констанций, который заставил своим приближением снять осаду Арля и разогнал войска Геронтия, был родом римлянин, а это редкое отличие доказывает, в какой степени подданные империи утратили прежний воинственный дух. Благодаря необыкновенной физической силе и величавой наружности этот генерал считался в общем мнении за достойного кандидата на престол, на который он впоследствии и вступил. В частной жизни он был приветлив и любезен, а на приятельских пирушках иногда даже вступал в состязание с пантомимами, подражая им в их странном ремесле. Но когда звуки военной трубы призывали его к оружию, когда он садился на коня и, согнувшись так, что почти совсем ложился на шею лошади (такова была его странная привычка), свирепо поводил кругом своими большими, полными огня глазами, Констанций наводил ужас на врагов

и внушал своим солдатам уверенность в победе. На него было возложено равеннским двором важное поручение подавить мятеж в западных провинциях, и мнимый император Константин после непродолжительной и полной тревог передышки был снова осажден в своей столице более страшным врагом. Впрочем, он воспользовался промежутком времени между двумя осадами для ведения увенчавшихся успехом переговоров с франками и алеманнами, и его посол Эдобик скоро возвратился во главе армии с целью воспрепятствовать осаде Арля. Римский генерал, вместо того чтобы ожидать нападения на своих позициях, имел смелость и, может быть, благоразумие перейти Рону и выступить навстречу варварам. Его распоряжения были сделаны с таким искусством и с такой скрытностью, что, в то время как варвары напали на пехоту Констанция с фронта, они были внезапно атакованы, окружены и разбиты кавалерией его помощника Ульфилы, занявшего выгодную позицию у них в тылу. Остатки армии Эдобика спаслись частью бегством, частью изъявлением покорности, а их вождь укрылся в доме одного вероломного приятеля, который слишком хорошо понимал, что голова его гостя была бы для императорского главнокомандующего приятным и очень выгодным подарком. По этому случаю Констанций поступил с благородством настоящего римлянина. Заглушив в себе чувство зависти, он публично признал достоинство и заслуги Ульфилы, но с отвращением отвернулся от убийцы Эдобика и отдал строгое приказание не бесчестить римский лагерь присутствием неблагодарного негодяя, нарушившего законы дружбы и гостеприимства. Узурпатор, видевший со стен Арля, как разрушались его последние надежды, решился вверить свою судьбу столь великодушному победителю. Он потребовал торжественного обещания, что его жизнь не подвергнется никакой опасности, и, получив путем рукоположения священный характер христианского пресвитера, отворил городские ворота. Но он скоро узнал по опыту, что принципы чести и прямоты, которыми обыкновенно руководствовался Констанций, уступали место сбивчивым теориям политической нравственности. Римский главнокомандующий действительно не захотел пятнать свои лавры кровью Константина, но отослал низвергнутого императора и его сына Юлиана под сильным конвоем в Италию, а прежде чем они достигли равеннского дворца, их встретили на пути исполнители смертного приговора.

В такую пору, когда существовало общее убеждение, что едва ли не каждый из жителей империи превосходил своими личными достоинствами монархов, достигавших престола лишь благодаря случайным преимуществам своего происхождения, беспрестанно появлялись новые узурпаторы, не обращавшие никакого внимания на то, какая печальная участь постигла их предшественников. Это зло всего сильнее чувствовалось в провинциях испанских и галльских, где принципы порядка и повиновения были уничтожены войнами и восстаниями. На четвертом месяце осады Арля, прежде нежели Константин сложил с себя пурпуровую мантию, в императорском лагере было получено известие, что в Меце, в Верхней Германии, Иовин возложил на себя диадему по наущению царя аланов Гоара и короля бургундов Гунтиария и что этот новый кандидат на императорское звание подвигался во главе громадного сборища варваров от берегов Рейна к берегам Роны.

В истории непродолжительного царствования Иовина все подробности и неясны, и необычны. Можно было ожидать, что находившийся во главе победоносной армии храбрый и искусный генерал постарается отстоять на поле битвы законные права Гонория. Поспешное отступление Констанция, быть

может, оправдывалось вескими мотивами; но он уступил без борьбы обладание Галлией, а преторианский префект Дардан был единственный из высших должностных лиц, отказавшийся от повиновения узурпатору. Когда готы перенесли свой лагерь в Галлию, через два года после осады Рима, было естественно предполагать, что их симпатии будут делиться только между императором Гонорием, с которым они незадолго перед тем вступили в союз, и низвергнутым Атталом, которого они держали в своем лагере для того, чтобы поручать ему, смотря по надобности, то роль музыканта, то роль монарха. Однако по какому-то капризу (неизвестно, чем и когда вызванному) Адольф вступил в сношения с галльским узурпатором и возложил на Аттала позорное поручение вести переговоры о мирном трактате, закреплявшем собственную отставку этого последнего. Нас также удивляют те факты, что Иовин, вместо того чтобы считать союз с готами за самую прочную опору своего престола, порицал в неясных и двусмысленных выражениях услужливую надоедливость Аттала, что наперекор советам своего могущественного союзника возвел в императорское звание своего брата Себастьяна и что он поступил с крайним неблагоразумием, приняв услуги Сара, когда этот храбрый генерал Гонория был вынужден покинуть двор такого монарха, который не умел ни награждать, ни наказывать. Адольф, воспитанный в среде таких воинов, которые считали мщение самой дорогой и самой священной из всех перешедших к ним по наследству обязанностей, выступил с отрядом из десяти тысяч готов навстречу наследственному врагу рода Балтиев. Он неожиданно напал на Сара в такую минуту, когда тот имел при себе лишь восемнадцать или двадцать своих самых храбрых приверженцев. Эта кучка героев, связанных между собой узами дружбы, воодушевленных отчаянием, но в конце концов изнемогших в борьбе с более многочисленным неприятелем, внушила своим врагам уважение, но не внушила им сострадания, и лишь только лев попался в сети, его тотчас лишили жизни. Смерть Сара разорвала слабые узы, все еще связывавшие Адольфа с галльским узурпатором. Он снова внял голосу любви и благоразумия и дал брату Плацидии обещание, что немедленно доставит в равеннский дворец головы двух тиранов, Иовина и Себастьяна. Готский царь исполнил свое обещание без затруднений и без отлагательств; беспомощные братья, не опиравшиеся в своих притязаниях ни на какие личные достоинства, были покинуты своими варварскими союзниками, а один из самых красивых городов Галлии, Валенция, поплатился совершенным разрушением за свое непродолжительное сопротивление. Избранный римским сенатом император, которого возвели на престол и снова низвергли и оскорбляли, а потом снова возвели на престол и снова низвергли и оскорбляли, был наконец предоставлен своей участи; но, когда готский царь лишил его своего покровительства, он из сострадания или из презрения не совершил никакого насилия над личностью Аттала. Оставшись без подданных и без союзников, несчастный Аттал сел в одном из испанских портов на корабль с целью найти для себя какое-нибудь безопасное и уединенное убежище; но его перехватили во время морского переезда, привезли к Гонорию, провели с триумфом по улицам Рима и Равенны и публично выставили для потехи черни на второй ступени трона его непобедимого повелителя. Аттала подвергли такому же наказанию, каким он, как уверяли, грозил своему сопернику в дни своего величия; ему отрезали два пальца и затем отправили на вечную ссылку на остров Линари, где его снабдили приличными средствами существования. Остальные годы Гонориева царствования прошли без восстаний, и мы только можем заметить, что в течение пяти лет семь узур-

паторов не устояли против фортуны такого монарха, который сам не был способен ни давать приказания, ни действовать.

Географическое положение Испании, со всех сторон отделявшейся от врагов Рима морем, горами и промежуточными провинциями, обеспечивало продолжительное спокойствие этой отдаленной и уединенной страны, и как на неоспоримое доказательство ее внутреннего благосостояния можно указать на тот факт, что в течение четырехсот лет Испания доставляла очень мало материалов для истории Римской империи. Стезя, которую проложили варвары, проникшие в царствование Галлиена по ту сторону Пиренеев, была скоро изглажена восстановлением спокойствия, а города Эмерита, или Мерида, Кордова, Севилья, Бракара и Таррагона принадлежали в четвертом столетии христианской эры к числу самых лучших городов империи. Разнообразие и изобилие произведений царства животного, растительного и ископаемого поддерживались искусством трудолюбивого населения, а то преимущество, что Испания располагала необходимыми условиями для развития мореплавания, способствовало развитию обширной и выгодной торговли. Искусства и науки процветали под покровительством императоров, и хотя мужество испанцев ослабело от привычки к миру и рабству, оно, по-видимому, снова воодушевилось воинственным пылом при приближении германцев, распространявших ужас и опустошение от Рейна до Пиренеев. Пока защита горных проходов лежала на храброй и преданной милиции, состоявшей из туземцев, эта милиция успешно отражала неоднократные нападения варваров. Но лишь только национальные войска были принуждены уступить свои посты гонориевым отрядам, служившим под начальством Константина, ворота Испании были изменнически открыты для общественного врага почти за десять месяцев до разграбления Рима готами. Сознание своей вины и жажда грабежа побудили продажных охранителей Пиренеев покинуть свои посты, призвать к себе на помощь свевов, вандалов и аланов и своим содействием усилить опустошительный поток, который с непреодолимой стремительностью разлился от границ Галлии до моря, омывающего берега Африки. Постигшие Испанию несчастья можно рассказать словами самого красноречивого из ее историков, изложившего в сжатом виде страстные и, быть может, преувеличенные декламации современных писателей: «Вторжение этих народов сопровождалось самыми страшными бедствиями, так как варвары обходились с одинаковым жестокосердием и с римлянами, и с испанцами и с одинаковой свирепостью опустошали и города, и селения. Голод довел несчастных жителей до того, что они стали питаться мясом своих ближних; даже беспрепятственно размножавшиеся дикие звери, расшвиравшиеся при виде крови и мучимые голодом, стали смело нападать на людей и пожирать их. Скоро появилась и чума — этот неразлучный спутник голода; множество людей погибло от нее, и стоны умирающих возбуждали лишь зависть в тех, кто оставался в живых. В конце концов варвары, насытившись убийствами и грабежом и страдая от заразы, виновниками которой были они сами, поселились на постоянное жительство в обезлюдевшей стране. Древняя Галиция, заключавшая в своих пределах королевство Старой Кастилии, была разделена между свевами и вандалами; аланы рассеялись по провинциям Карфагенской и Лузитанской от Средиземного моря до Атлантического океана, а плодородная территория Бетики досталась в удел силингам, составлявшим особую ветвь вандалской нации. Совершив этот раздел, завоеватели заключили со своими новыми подданными обоюдные условия о покровительстве и покорности: попавшиеся в неволю жители снова принялись за возделыва-

ние земель и снова населили города и деревни. Большая часть испанцев даже готова была отдавать предпочтение этим новым условиям бедственного и варварского существования над суровым гнетом римского правительства; однако многие из них не переставали заявлять свои права на свободу, и в особенности те, которые жили в горах Галисии, не преклонялись под иго варваров».

Адольф доказал свою привязанность к своему брату Гонорию, прислав ему в подарок головы Иовина и Себастьяна и снова утвердив его власть над Галлией. Но мирная жизнь не была совместима ни с положением, ни с характером готского царя. Он охотно принял предложение обратить свое победоносное оружие против водворившихся в Испании варваров: войска Констанция отрезали ему сообщение с приморскими портами Галлии и без всяких насилий заставили его ускорить свое движение к Пиренеям; он перешел горы и от имени императора овладел врасплох городом Барселоной. Ни время, ни обладание не могли охладить привязанности Адольфа к его жене, а рождение сына, названного в честь его великого деда Феодосием, по-видимому, навсегда упрочивало преданность готского царя интересам республики. Смерть этого ребенка, труп которого был положен в серебряный гроб и похоронен в одной из церквей близ Барселоны, огорчил его родителей; но скорбь готского царя была заглушена военными заботами, а ряд его побед был скоро прерван домашней изменой. Он неосторожно принял к себе на службу одного из приверженцев Сара; этот отважный варвар задумал отомстить за смерть своего возлюбленного патрона, а его нескромный повелитель беспрестанно раздражал его своими насмешками над его маленьким ростом. Адольф был умерщвлен в барселонском дворце; законы о наследовании престола были нарушены партией мятежников, и на готский престол был возведен брат Сара Сингерих, вовсе не состоявший в родстве с царствующей династией. Первым делом его царствования было безжалостное умерщвление шестерых детей, которые были прижиты Адольфом в первом браке и которых пришлось силой вырывать из слабых рук епископа. С несчастной Плацидией обошлись не с тем почтительным состраданием, которое она могла бы возбудить даже в самых черствых сердцах, а с безжалостной и бесстыдной наглостью. Дочь императора Феодосия должна была смешаться с толпой пленников низкого звания и пройти более двенадцати миль пешком впереди лошади варвара, убившего ее мужа, которого она любила и о котором горевала.

Но Плацидия скоро насладилась мщением; быть может, при виде ее унижения и страданий негодующий народ восстал против тирана, который был умерщвлен на седьмой день своей узурпации. После смерти Сингериха свободный выбор народа вручил готский скипетр Валлии, который отличался своим воинственным и честолюбивым характером и в начале своего царствования, по-видимому, относился очень враждебно к республике. Он двинулся со своей армией из Барселоны к берегам Атлантического океана, на который древние смотрели с уважением и страхом как на предел вселенной. Но когда Валлия достиг южной оконечности Испании и с вышины утеса, на котором теперь стоит крепость Гибралтар, окинул взором плодородный берег Африки, он задумал осуществить проект завоевания, исполнение которого было прервано смертью Алариха. Ветер и волны еще раз разрушили замыслы готов, и на воображение этого суеверного народа произвели глубокое впечатление частые несчастья от бурь и кораблекрушений. При таком настроении умов преемник Адольфа перестал отказываться от переговоров с римским по-

слов, предложения которого были поддержаны действительным или мнимым приближением многочисленной армии под предводительством храброго Констанция. Мирный договор был формально заключен и верно соблюдался; Платидия была с почетом отправлена к своему брату; голодным готам были выданы шестьсот тысяч мер пшеницы, и Валлия обязался обратить свое оружие против врагов империи. Немедленно вслед за тем вспыхнула между утвердившимися в Испании варварами кровопролитная война, и соперничавшие между собой варварские князья, как рассказывают, отправили к западному императору письма, послов и заложников с просьбой оставаться спокойным зрителем их борьбы, исход которой, во всяком случае, был бы благоприятен для римлян, так как их враги стали бы взаимно истреблять одни других. Война в Испании поддерживалась с обеих сторон в течение трех кампаний с отчаянным мужеством и с переменчивым успехом, а военные подвиги Валлии распространили по всей империи славу готского героя. Он истребил силингов, совершенно разоривших прекрасную и плодородную Бетику. Он убил в сражении царя аланов; а спасшиеся с поля битвы остатки этих скифских бродяг, вместо того чтобы выбрать себе нового вождя, смиренно искали убежища под знаменем вандалов, с которыми они впоследствии всегда смешивались. Даже вандалы и свевы не устояли против непобедимых готов. Смешанной толпе варваров было отрезано отступление, и ее загнали в горы Галиции, где она по-прежнему предавалась своим внутренним непримиримым распрям на более узком пространстве и на неплодородной почве. В блеске славы Валлия не позабыл принятых на себя обязательств: он восстановил в завоеванных им испанских провинциях власть Гонория, а тирания императорских правителей скоро заставила угнетенный народ сожалеть о том времени, когда он жил под игом варваров. В то время как исход войны еще был сомнителен, равеннский двор воспользовался первыми военными успехами Валлии для того, чтобы почтить своего слабого монарха почестями триумфа. Император въехал в Рим с таким же торжеством, с каким въезжали древние завоеватели, и, если бы все, что говорила об этом событии раболепная лесть, не было уже давно предано заслуженному забвению, мы, вероятно, узнали бы, что толпа поэтов и ораторов, высших сановников и епископов рукоплескала фортуне, мудрости и непреодолимому мужеству императора Гонория.

На такой триумф мог бы заявить основательные притязания союзник римлян, если бы до обратного перехода через Пиренеи Валлия уничтожил в самом зародыше причины испанской войны. Через сорок три года после своего перехода через Дунай его победоносные готы вступили в силу заключенного договора в обладание второй Аквитанией — приморской провинцией, которая простиралась от Гаронны до Луары и была подчинена гражданской и церковной юрисдикции города Бордо. Эта метрополия пользовалась выгодами своего географического положения для ведения морской торговли; она была обустроена правильно и изящно, а ее многочисленное население отличалось от галлов своим богатством, просвещением и благовоспитанностью. Смежная провинция, которую снисходительно сравнивали с земным раем, была одарена плодородной почвой и умеренным климатом; внешний вид страны доказывал, как были велики успехи промышленности и доставляемые ею выгоды, и после понесенных ими военных трудов готы могли в избытке наслаждаться роскошными винами Аквитании. Пределы их владений были расширены в виде подарка присоединением нескольких соседних диоцезов, и преемники Алариха избрали своей резиденцией Тулузу, которая заключа-

ла внутри своих обширных стен пять многолюдных кварталов или городов. Почти в то же время, а именно в последнем году Гонориева царствования, готы, бургунды и франки получили в свое владение земли в галльских провинциях для постоянного жительства. Щедрая уступка, сделанная узурпатором Иовином его бургундским союзникам, была утверждена законным императором; этим грозным варварам были даны земли в Первой, или Верхней, Германии, и они постепенно заняли, путем завоевания или мирных договоров, те две провинции, которые до сих пор сохранили национальное название Бургундии, с титулами герцогства и графства. Храбрые и верные союзники Римской республики франки скоро вовлеклись в подражание тем узурпаторам, с которыми они так мужественно боролись. Столица Галлии, Трир, была ограблена их недисциплинированными шайками, а скромная колония, которую они так долго поддерживали в округе Токсандрии, в Брабанте, постепенно расширилась вдоль берегов Мааса и Шельды, пока не утвердила своего господства на всем пространстве Второй, или Нижней, Германии. Достоверность этих фактов может быть подтверждена историческими доказательствами, но основание французской монархии Фарамундом, завоевания, законы и самое существование этого героя были основательно заподозрены беспристрастной взыскательностью новейшей критики. Разорение самых богатых галльских провинций начинается с того времени, как там поселились эти варвары, так как вступать с ними в союз было опасно и невыгодно, а их интересы или страсти беспрестанно вовлекали их в нарушение общественного спокойствия. Тяжелый выкуп был наложен на оставшихся в живых провинциальных жителей, спасшихся от бедствий войны; самые красивые поместья и самые плодородные земли были розданы жадным иностранцам, которые селились там со своими семьями, рабами и домашним скотом, а дрожавшие от страха туземцы со вздохом покидали отцовское наследство. Впрочем, эти бедствия, редко выпадающие на долю побежденных народов, были лишь повторением того, что испытали и чему подвергали других сами римляне не только вслед за своими победами, но и среди разгара междоусобиц. Триумвиры лишили покровительства законов восемнадцать из самых цветущих итальянских колоний и роздали их земли и жилища ветеранам, которые отомстили за смерть Цезаря и отняли у своей родины свободу. Два поэта, пользовавшиеся не одинаковой славой, оплакивали в подобных обстоятельствах утрату своего наследственного достояния; но легионы Августа, как кажется, превосходили в несправедливостях и насилиях тех варваров, которые вторглись в Галлию в царствование Гонория. Вергилий с большим трудом спасся от меча того центуриона, который завладел его фермой близ Мантуи; но бордоский уроженец Павлин получил от поселившегося в его имении гота сумму денег, которую он принял с удовольствием и с удивлением, и хотя она была гораздо ниже стоимости его собственности, этот хищнический захват был отчасти прикрашен умеренностью и справедливостью. Ненавистное название завоевателей было заменено более мягким и дружелюбным названием римских гостей, и галльские варвары, в особенности готы, неоднократно заявляли, что они связаны с местным населением узами гостеприимства, а с императором узами долга и военной службы. В галльских провинциях, отданных римлянами во власть их варварских союзников, все еще уважался титул Гонория и его преемников, все еще уважались римские законы и римские должностные лица, а варварские князья, пользовавшиеся верховной и самостоятельной властью над своими подданными, из честолюбия добивались более почетного звания генералов

римской армии. Таково было невольное уважение к римскому имени со стороны тех самых воителей, которые с триумфом унесли с собою добычу, награбленную в Капитолии.

Независимость Британии

В то время как готы опустошали Италию, а ряд слабых тиранов угнетал заальпийские провинции, британский остров выделился из состава Римской империи. Регулярные войска, охранявшие эту отдаленную провинцию, были постепенно отозваны, и Британия была оставлена без всякой защиты от саксонских пиратов и от ирландских и каледонских дикарей. Доведенные до такой крайности британцы перестали рассчитывать на несвоевременную и сомнительную помощь, которую могла доставить им разрушавшаяся империя. Они взялись за оружие, отразили варваров и были обрадованы важным открытием, что могут рассчитывать на свои собственные силы. Точно такие же бедствия внушили жителям Армориканских провинций (в состав которых входили приморские части Галлии между Сеной и Луарой) решимость последовать примеру соседнего острова. Они выгнали римских чиновников, распорядившихся от имени узурпатора Константина, и среди народа, так долго жившего под властью неограниченного монарха, ввели свободные учреждения. Независимость Британии и Арморики скоро была признана самим законным повелителем Запада Гонорием, а письма, в которых он возлагал на эти новые государства заботу об их собственной безопасности, можно объяснять в том смысле, что Гонорий безусловно и навсегда отрекся от пользования верховной властью и от ее прав. Это объяснение в некоторой степени оправдывается последующими событиями. После того как галльские узурпаторы были низвергнуты один вслед за другим, приморские провинции были снова присоединены к империи. Однако их подчинение было неполное и непрочное; тщеславный, непостоянный и мятежный нрав населения не уживался ни со свободой, ни с рабством, и хотя Арморика не могла долго сохранять республиканскую форму правления, ее часто волновали разорительные восстания, а Британия была безвозвратно утрачена. Но так как императоры имели благоразумие признать независимость этой отдаленной провинции, то ее отделение от империи не сопровождалось ни упреками в тирании, ни упреками в мятеже, и притязания с одной стороны на преданность, а с другой — на покровительство уступили место взаимным и добровольным предложениям национальной дружбы.

Этот переворот разрушил искусственное здание гражданского и военного управления, и эта независимая страна жила до прибытия саксов, в течение сорока лет, под властью духовенства, дворянства и муниципальных городов. I. Зосим, который был единственный историк, сохранивший воспоминания об этом странном происшествии, не оставил без внимания того обстоятельства, что Гонорий обратился со своими письмами к британским городам. Под покровительством римлян в различных частях этой обширной провинции возникли девяносто два значительных города, в числе которых тридцать три отличались от остальных своими привилегиями и значением. Подобно тому как это делалось во всех других провинциях империи, каждый из этих городов организовал легальную корпорацию для заведования делами внутреннего управления, а полномочия муниципального правительства распределялись между назначавшимися на один год должностными лицами, выборным сенатом и народным собранием, по образцу основной римской конституции. Эти маленькие республики распоряжались общественными доходами, ведали дела-

ми гражданскими и уголовными и решали все вопросы, касавшиеся внешней политики; а когда им приходилось защищать свою независимость, юношество городское и из соседних округов, естественно, должно было стекаться под знамя высшего сановника. Но желание приобрести все выгоды политического общества и уклониться от налагаемых им тяжелых обязанностей служит постоянным и неистощимым источником раздоров, и мы не имеем никакого основания предполагать, что восстановление британской свободы обошлось без внутренних волнений и интриг. Преимущества рождения и богатства, должно быть, часто нарушались смелыми и популярными гражданами, а высокомерная знать, жаловавшаяся на то, что она подпала под власть своей собственной прислуги, быть может, сожалела об управлении неограниченного монарха. II. Юрисдикция каждого города над окружающей местностью поддерживалась влиянием знатных сенаторов на их родовые поместья, а менее значительные города, селения и землевладельцы ради собственной безопасности искали покровительства этих зарождавшихся республик. Сфера их влияния определялась степенью их богатства и многолюдности; но те наследственные владельцы обширных поместий, которых не стесняло соседство какого-нибудь сильного города, заявляли притязание на звание независимых владетелей и смело присваивали себе право мира и войны. Сады и виллы, в которых можно было найти слабое подражание итальянскому изяществу, скоро превращались в укрепленные замки, где окрестные жители могли находить для себя убежище в минуты опасности, доходы с имений употреблялись на приобретение оружия и лошадей, на содержание армий, состоявших из рабов, крестьян и искателей приключений, а сам начальник этой армии, вероятно, присваивал себе внутри своих владений права гражданского сановника. Многие из этих британских вождей, вероятно, были настоящими потомками древних королей; но между ними было еще более таких, которые произвольно присваивали себе такое почетное происхождение, чтобы с большим успехом отстаивать те наследственные права, которые временно отменила узурпация Цезарей. Их положение и их честолюбивые надежды, вероятно, заставляли их придерживаться манеры одеваться, языка и обычаев их предков. Если же британские князья снова впадали в варварство, тогда как города тщательно сохраняли римские законы и нравы, то все население острова, должно быть, постепенно разделилось на две национальные партии, которые в свою очередь распадалась на тысячу подразделений под влиянием личных интересов и вражды. Народные силы, вместо того чтобы сосредоточиться для борьбы с внешним врагом, тратились на внутренние распри, а личные достоинства, возвышавшие счастливого вождя над его равными, давали ему возможность распространять свое господство на соседние города и требовать для себя одинакового ранга с теми тиранами, которые разоряли Британию после упадка римского владычества. III. Британская церковь, как кажется, состояла из тридцати или сорока епископов с соответствующим числом священнослужителей низшего ранга, а за неимением богатств (так как она, как кажется, была бедна) эти епископы были вынуждены снискивать общее уважение безупречным и примерным поведением. Личные интересы духовенства, точно так же как и его характер, благоприятствовали внутреннему спокойствию и объединению их отечества; благотворные поучения в этом смысле часто высказывались в его публичных проповедях, а епископские соборы были единственными собраниями, которые могли заявлять притязания на значение и авторитет народных представительств. На этих соборах, на которых рядом с епископами заседали князья и должностные лица, можно бы-

ло свободно обсуждать важные дела, касавшиеся как церкви, так и государства; там разрешались спорные вопросы, составлялись союзы, распределялись налоги, нередко принимались и приводились в исполнение благоразумные решения, и есть основание полагать, что в минуты крайней опасности избирался с общего согласия британцев *pendragon*, или диктатор. Впрочем, эти пастырские заботы, так хорошо подходящие к характеру епископов, прерывались из религиозного усердия и из суеверия; так, например, британское духовенство непрестанно старалось искоренить Пелагиеву ересь, которую оно ненавидело и считало за позор для своего отечества.

Достоин внимания или, вернее, совершенно естествен тот факт, что вследствие восстания Британии и Арморики в покорных галльских провинциях было введено нечто, имевшее внешний вид свободы. В публичном эдикте, наполненном самыми горячими уверениями в отеческой привязанности, которую монархи так часто выражают и так редко чувствуют, император Гонорий объявил о своем намерении ежегодно собирать представителей семи провинций; это относилось преимущественно к Аквитании и древней Нарбоннской провинции, давно уже променявшим свойственную кельтам грубость нравов на полезные и изящные искусства Италии. Центр управления и торговли Арль был назначен местом собрания, заседания которого происходили ежегодно в течение четырех недель с 15 августа по 13 сентября. Оно составлялось из преторианского префекта Галлии, из семи провинциальных губернаторов — одного консуляра и шести президентов, из должностных лиц и, может быть, из епископов почти шестидесяти городов и из достаточного, хотя и неопределенного числа самых почтенных и богатых землевладельцев, которые могли считаться за представителей страны. Они были уполномочены объяснять и обнародовать законы своего государя, излагать жалобы и желания своих доверителей, уменьшать чрезмерные или несправедливые налоги и обсуждать все вопросы местного или государственного управления, разрешение которых могло содействовать спокойствию и благосостоянию семи провинций. Если бы такое же учреждение, дававшее населению право участия в его собственном управлении, было повсюду введено Траяном или Антонинами, семена общественной мудрости и добродетели могли бы пустить корни по всей Римской империи. Тогда привилегии подданных укрепили бы трон монарха; тогда злоупотребления самовольной администрации могли бы быть предотвращены или в некоторой мере заглажены вмешательством этих представительных собраний и местное население бралось бы за оружие для защиты страны от внешних врагов. Под благотворным и благородным влиянием свободы Римская империя могла бы сделаться непобедимой и бессмертной; если же ее громадные размеры и непрочность всего, что создается человеческими руками, воспрепятствовали бы такой неизменной прочности, то ее составные части могли бы сохранить отдельно одна от другой свою живучесть и самостоятельность. Но при дряхлости империи, когда уже иссякли все источники здоровья и жизни, запоздалое употребление этого лекарства уже не могло дать никаких значительных или благотворных результатов. Император Гонорий выражал свое удивление по поводу того, что ему приходилось понуждать провинции к пользованию такой привилегией, которой они должны были настоятельно добиваться. Пеня в три и даже в шесть фунтов золота была наложена на не явившихся в собрания представителей, которые, как кажется, отклоняли от себя это мнимое дарование свободных учреждений как последнее и самое ужасное оскорбление со стороны их притеснителей.

**Смерть Гонория. — Западный император
Валентиниан III. — Управление его матери Плацидии. —
Аэций и Бонифаций. —
Завоевание Африки вандалами.
(423–455 гг.)**

Глава 16 (XXXIII)

В течение своего продолжительного и постыдного двадцативосьмилетнего царствования повелитель Запада Гонорий жил в постоянной вражде со своим родным братом, а потом со своим племянником, царствовавшими на Востоке, и в Константинополе смотрели на бедствия Рима с притворным равнодушием и с тайным удовольствием. Странные похождения Плацидии постепенно восстановили и скрепили родственную связь между двумя империями. Дочь великого Феодосия была сначала пленницей, а потом царицей готов; она лишилась нежно любящего ее супруга, была закована в цепи его наглым убийцей, наслаждалась мщением и по мирному договору была выменена на шестьсот тысяч мер пшеницы. После своего возвращения из Испании в Италию Плацидия подверглась новому притеснению в недрах своего семейства: она не хотела брака, который был условлен без ее согласия, и храбрый Констанций в награду за то, что одолел тиранов, получил от самого Гонория руку, которую протянула ему против воли вдова Адольфа. Но ее сопротивление прекратилось с окончанием брачного обряда; она сделалась матерью Гонория и Валентиниана III и присвоила себе абсолютное владычество над умом своего признательного супруга. Храбрый солдат, до тех пор деливший свое время между удовольствиями общественной жизни и военной службой, научился у нее корыстолюбию и честолюбию; он добился титула Августа и таким образом слуга Гонория сделался его соправителем. Смерть Констанция, приключившаяся в седьмом месяце его царствования, вместо того чтобы уменьшить влияние Плацидии, по-видимому, усилила его, а непристойные фамильярности ее брата, которые, вероятно, были не более как выражением ребяческой привязанности, были всеми приняты за доказательство кровосмесительной связи. Эта чрезмерная привязанность внезапно перешла в непримиримую вражду вследствие каких-то низких интриг управляющего и кормилицы; ссоры между императором и его сестрой нашли себе отголосок вне стен императорского дворца, и так как солдаты готского происхождения вступались за свою бывшую царицу, то Равенна сделалась театром кровавых и опасных смут, которые прекратились только вслед за вынужденным или добровольным удалением Плацидии и ее детей. Эти царственные изгнанники прибыли в Константинополь вскоре после бракосочетания Феодосия, в то время как там праздновались одержанные над персами победы. Им оказали радушный и пышный прием, но так как статуи императора Констанция были отвергнуты восточным двором, то его вдове нельзя было дозво-

литель носить титул Августа. Через несколько месяцев после прибытия Платидии гонец привез известие о смерти Гонория, происшедшей от водянки; но эта важная новость держалась в секрете до тех пор, пока не были отправлены приказания о выступлении значительного отряда войск к морскому побережью Далмации. Константинопольские лавки и дома оставались закрытыми в течение целой недели, и по случаю смерти иностранного монарха, которого никто не уважал и о котором никто не жалел, были совершены торжественные обряды, сопровождавшиеся громкими и притворными выражениями общей скорби.

В то время как константинопольские министры совещались о том, что делать, вакантным престолом Гонория завладел честолюбивый иноземец. Этого мятежника звали Иоанном: он занимал основанный на доверии пост *primicerius*, или главного секретаря, а история приписывает ему более личных достоинств, чем сколько можно совместить с нарушением самого священного долга. Возгордившись тем, что Италия подчинилась его власти, и рассчитывая на союз с гуннами, Иоанн позволил себе оскорбить достоинство восточного императора отправкой к нему послов; но когда он узнал, что их заключили в тюрьму и в конце концов выгнали с заслуженным позором, он приготовился отстаивать свои несправедливые притязания с оружием в руках. В этом случае внук великого Феодосия должен был лично стать во главе своей армии; но доктора без труда отклонили юного императора от столь опрометчивого и опасного намерения, и ведение итальянской экспедиции было возложено на Ардабурия и его сына Аспара, уже выказавших свое мужество в войне с персами. Было решено, что Ардабурий отправится с пехотой морем, а Аспар во главе кавалерии будет сопровождать Платидию и ее сына Валентиниана вдоль берега Адриатики. Кавалерия совершила свой переход с такой быстротой, что напала врасплох на важный город Аквилею и овладела им без всякого сопротивления; но надежды Аспара мгновенно рухнули при известии, что буря рассеяла императорский флот и что его отец, имевший при себе только две галеры, взят в плен и отправлен в равеннскую гавань. Но эта с виду неблагоприятная случайность облегчила завоевание Италии. Ардабурий воспользовался или злоупотребил великодушно предоставленной ему личной свободой для того, чтобы пробудить в войсках чувство долга и признательности, и, лишь только заговор достаточно созрел, он послал к Аспару гонцов с приглашением поспешить своим приближением к Равенне. Один пастух, из которого народное легкоеверие сделало ангела, провел восточную кавалерию по тайной и, как полагали, непроходимой тропинке сквозь болота, окружающие берега реки По; ворота Равенны растворились после непродолжительной борьбы, и беззащитный тиран принужден был положиться на милосердие или, вернее, на жестокосердие победителя. Сначала ему отрезали правую руку, а после того, как он был выставлен верхом на осле на публичное осмеяние, ему отрубили голову в аквилейском цирке. Когда император Феодосий получил известие об этой победе, он прервал скачки и, распевая псалмы, провел своих подданных по городским улицам из ипподрома до собора, в котором провел остальную часть дня, выражая свою признательность в делах благочестия.

Валентиниан III. 425–455 г.

В такой монархии, которую, судя по ее разнообразным прецедентам, можно было считать то за избирательную, то за наследственную, то за основанную на вотчинном праве, нельзя было ожидать ясного определения наследственных прав женских и боковых линий, и Феодосий мог бы царствовать в качестве единственного законного императора римлян и по праву рождения, и по праву

завоевания. В первую минуту он, быть может, и прельстился перспективой беспредельного владычества, но его бесстрастный характер постепенно преклонился перед требованиями здоровой политики. Удовольствовавшись неограниченной властью над Востоком, он благоразумно отклонил от себя тяжелую обязанность вести на далеком расстоянии опасную войну с заальпийскими варварами и удерживать в повиновении итальянцев и африканцев, которых отталкивало от Востока непримиримое различие языка и интересов. Вместо того чтобы внимать голосу честолюбия, Феодосий решился последовать примеру воздержности, преподанному его дедом, и возвести на западный престол своего двоюродного брата Валентиниана. Во время пребывания этого царственного ребенка в Константинополе ему дан был титул *Nobilissimus*; перед своим отъездом из Фессалоники он был возведен в звание Цезаря, а после завоевания Италии патриций Гелион приветствовал Валентиниана III, по умолчанию Феодосия в присутствии сената, именем Августа и торжественно возложил на него диадему и императорскую порфиру. Управлявшие римским миром три женщины помолвили сына Платидии с дочерью Феодосия и Афинаиды Евдокией, и, лишь только жених и невеста достигли возмужалости, брак был совершен согласно с данным обещанием. В то же самое время западная Иллирия была отделена от итальянских владений и присоединена к владениям константинопольского монарха, быть может, в вознаграждение за военные расходы. Восточный император приобрел полезное владычество над богатой приморской провинцией Далмацией, и опасное господство над Паннонией и Нориком, которые в течение более двадцати лет беспрестанно опустошались смешанными толпами гуннов, остроготов, вандалов и баварцев. Феодосий и Валентиниан не переставали исполнять обязательства, наложенные на них и политическим и родственным союзом, но единство римского управления было окончательно уничтожено. В силу принятого обоими правительствами решения действие всякого нового закона должно было впредь ограничиваться владениями того монарха, который его издал; но этот последний мог, если хотел, сообщить собственноручно им подписанный новый закон на одобрение другого монарха, который со своей стороны мог или принять его, или отвергнуть.

Когда Валентиниану был дан титул Августа, ему было не более шести лет, и его продолжительное малолетство было вверено опекунской заботливости матери, которая сама имела некоторые права на престол. Платидия завидовала репутации и добродетелям жены и сестры Феодосия, изяществу гения Евдокии, мудрой и удачной политике Пульхерии, но не могла сравняться ни с одной из них. Мать Валентиниана старалась удержать в своих руках такую власть, которою она не была способна пользоваться: она царствовала двадцать пять лет именем своего сына, и характер этого недостойного императора постепенно оправдал подозрение, что Платидия расслабила его юность, приучая его к нравственной разнузданности и старательно отвлекая его внимание от всяких благородных и честных занятий. При общем упадке воинственного духа ее армиями командовали два генерала, Аэций и Бонифаций, которые достойны названия последних римлян. Их единодушие могло бы поддержать разваливавшуюся империю; их раздоры оказались пагубной и непосредственной причиной утраты Африки. Нашествие Атилы и его поражение увековечили славу Аэция, и хотя время набросило некоторую тень на подвиги Аэциева соперника Бонифация, о военных дарованиях этого последнего свидетельствуют защита Марселя и освобождение Африки. И на поле битвы, и в частных стычках, и в рукопашных схватках он наводил ужас на варваров; духовенство, и в особенности его друг Августин, восхваляли его христианское благочестие, когда-то внушившее ему

намерение удалиться от света; народ уважал его за незапятнанную честность, а солдаты боялись его неумолимой справедливости, о которой можно составить себе понятие из следующего замечательного случая. Один крестьянин, предъявивший жалобу на преступную связь между его женой и одним готским солдатом, получил приказание явиться на следующий день перед трибуналом Бонифация; старательно разузнав, когда и где происходили свидания между двумя любовниками, граф сел вечером на коня, проехал десять миль, застал виновных врасплох, немедленно казнил солдата смертью и удовлетворил оскорбленного мужа, предъявив ему на следующее утро голову прелюбодея. Дарования Аэция и Бонифация могли бы быть с пользой употреблены против общественных врагов, если бы каждому из них поручали какое-нибудь отдельное командование, а из прошлого опыта Плацидия должна бы была знать, который из них более достоин ее милостей и доверия. В печальную эпоху ее ссылки и ее несчастий один Бонифаций поддерживал ее с непоколебимой преданностью, а африканские войска и сокроища много способствовали подавлению восстания. Это же восстание поддерживалось усердием и деятельностью Аэция, который привел от берегов Дуная к границам Италии армию из шестидесяти тысяч гуннов на помощь к узурпатору. Неожиданная смерть Иоанна заставила Аэция согласиться на выгодные мирные условия, но, и в то время как он считался подданным и слугой Валентиниана, он не прекращал тайной и, быть может, изменнической переписки с своими варварскими союзниками, отступление которых было куплено щедрыми подарками и еще более щедрыми обещаниями. Но Аэций обладал одним достоинством, которое при владычестве женщины имеет особую важность, — он находился рядом: он стал осаждать равеннский двор коварными ухаживаниями, скрыл свои преступные намерения под маской преданности и доброжелательства и в конце концов обманул и свою повелительницу, и своего отсутствующего соперника при помощи ловко задуманной интриги, от которой трудно было убеждаться слабой женщине и честному человеку.

Восстание Бонифация в Африке. 427 г.

Он втайне убедил Плацидию отозвать Бонифация из Африки и втайне присоветовал Бонифацию не исполнять императорского приказа; Бонифацию он доказывал, что его отзывание — то же, что смертный приговор, а в глазах Плацидии он выставлял неповиновение графа за приготовление к восстанию; когда же легковверный и ничего не подозревавший правитель Африки приступил к вооружениям с целью защитить себя, Аэций стал хвастаться тем, что предвидел восстание, которое было возбуждено его собственным вероломством. Если бы в ту пору правительство постаралось осторожно разведать, какие были мотивы образа действий Бонифация, оно могло бы снова направить его на путь долга и сохранить для государства преданного слугу; но коварный Аэций не переставал обманывать и раздражать, и выведенный из терпения граф принял самое отчаянное решение. Успех, с которым он или уклонился от первых нападений, или отразил их, не мог внушить ему неосновательной уверенности в успехе, так как он очень хорошо понимал, что во главе не привыкших к порядку и дисциплине африканцев не было возможности бороться с хорошо организованными западными армиями, предводимыми таким соперником, военными дарованиями которого нельзя было пренебрегать. После некоторых колебаний, вызванных борьбой с требованиями благоразумия и чувством долга, Бонифаций отправил ко двору или, вернее, в лагерь вандалского короля Гондериha надежного друга с предложениями тесного союза и выгодных мест для постоянного поселения.

После удаления готов над Испанией снова утвердилась непрочная власть Гонория, за исключением одной Галисийской провинции, где свевы и вандалы укрепились в своих лагерях и жили в постоянной взаимной вражде. Вандалы одержали верх, а их противники были осаждены среди Нервасийских холмов, между Леоном и Овиедо, до тех пор пока приближение графа Астерия не заставило победоносных варваров перенести сцену военных действий на равнины Бетики. Быстрые успехи вандалов скоро потребовали более энергичного сопротивления, и против них выступил Кастин во главе многочисленной армии, состоявшей из римлян и готов. Разбитый менее многочисленной неприятельской армией, Кастин с позором бежал в Таррагону, а это достопамятное поражение выдавалось за наказание его опрометчивой самоуверенности, тогда как, скорее всего, было ее последствием. Севилья и Карфаген сделались наградой или, скорее, добычей свирепых завоевателей, а найденные ими в карфагенской гавани суда легко могли бы перевезти их на острова Майорку и Минорку, где спасшиеся бегством испанцы надеялись найти безопасное убежище для своих семейств и для своих сокровищ. Так как они уже были знакомы по опыту с мореплаванием, а берега Африки, вероятно, манили их к себе, то они приняли предложение графа Бонифация, а смерть Гондериха лишь ускорила исполнение этого смелого предприятия. Вместо государя, не отличавшегося никакими ни умственными, ни телесными превосходствами, они приобрели в лице Гондерихова незаконнорожденного брата, грозного Гензериха, такого монарха, имя которого достойно стоять в истории разрушения Римской империи наряду с именами Алариха и Аттилы. Вандальский король, как рассказывают, был среднего роста и хромал на одну ногу, которая была короче другой вследствие падения с лошади. Его растянутая и сдержанная речь редко обнаруживала замыслы, таившиеся в глубине его души; он не хотел подражать роскоши побежденных, но предавался более суровым страстям — гневу и мстительности. Честолюбие Гензериха не знало границ и не стеснялось угрызениями совести; при своих воинских дарованиях он умел искусно владеть и тайными орудиями политики для того, чтобы приобретать полезных союзников, или для того, чтобы сеять между своими врагами семена ненависти и вражды. Почти в минуту своего отъезда он узнал, что король свевов Германарих стал опустошать ту испанскую территорию, которую он намеревался покинуть. Раздраженный таким оскорблением, Гензерих отправился в погоню за быстро отступавшими свевами, преследовал их до Мерида, заставил их короля и их армию искать спасения в волнах реки Аны и спокойно возвратился к морскому берегу, чтобы посадить свои победоносные войска на суда. Корабли, на которых вандалы переехали через пролив, имеющий в ширину только двенадцать миль и носящий в наше время название Гибралтарского, были доставлены частью испанцами, горячо желавшими их отъезда, и частью африканским генералом, обратившимся к ним за помощью.

Наше воображение так давно привыкло преувеличивать многочисленность варварских сонмищ, по-видимому, стремившихся с севера, что многим должна показаться невероятной незначительность тех военных сил, с которыми Гензерих высадился на берегах Мавритании. Вандалы, в течение двадцати лет проникшие от берегов Эльбы до Атласских гор, соединились под верховною властью своего воинственного короля, и с такою же властью этот король царствовал над аланами, которые на глазах одного и того же поколения переселились из холодной Скифии в жгучий африканский климат. Возбужденные этой смелой экспедицией надежды привлекли под его знамена много готских

удальцов, и немало доведенных до отчаянного положения провинциальных жителей попыталось поправить свое расстроенное состояние таким же способом, каким оно было разорено. Однако все это разнохарактерное сборище не превышало пятидесяти тысяч человек, и хотя Гензерих постарался придать ему более грозный внешний вид, назначив восемьдесят килиархов, или тысячников, обманчивое зачисление в эту армию стариков, детей и рабов едва ли доводило ее численный состав до восьмидесяти тысяч. Но и собственная ловкость Гензериха, и недовольство африканского населения скоро увеличили силы вандалов, доставив им многочисленных и деятельных союзников. Те части Мавритании, которые граничат с великой степью и с Атлантическим океаном, были населены свирепой породой людей, в которой страх римского оружия скорее усилил, чем смягчил, ее природную необузданность. Бродячие мавры, постепенно осмелившиеся приблизиться к морскому берегу и к лагерю вандалов, вероятно, были поражены страхом и удивлением при виде одеяний, вооружений, воинственной гордости и дисциплины незнакомых им чужестранцев, высадившихся на их берег, а красивый цвет лица голубооких германских воинов представлял странный контраст со смуглым или желтоватым цветом кожи, свойственным всем тем народам, которые живут неподалеку от жаркого пояса. После того как были в некоторой степени устранены первые затруднения, возникавшие из взаимной неспособности понимать друг друга, мавры вступили в союз с врагами Рима, нисколько не заботясь о последствиях такого образа действий, и толпы голых дикарей устремились из лесов и долин Атласских гор для того, чтобы досыта насладиться мщением над теми цивилизованными тиранами, которые несправедливо присвоили себе верховную власть над их родиной.

Гонение донатистов было не менее благоприятно для замыслов Гензериха. За семнадцать лет перед тем, как он высадился в Африке, в Карфагене собралась по распоряжению местных властей публичная конференция. Католики пришли к убеждению, что после приведенных ими неопровержимых аргументов упорство еретиков должно считаться неизвинительным и лишенным всякого основания, а императора Гонория склонили к изданию самых строгих законов против крамольников, так долго употреблявших во зло его терпение и милосердие. Триста епископов вместе с несколькими тысячами представителей низшего духовенства были отторгнуты от своих церквей, лишены церковной собственности, сосланы на острова и лишены покровительства законов в случае, если бы осмелились скрываться в африканских провинциях. Их многочисленные конгрегации, как городские так и сельские, лишились гражданских прав и возможности совершать религиозные обряды. В наказание за участие в еретических сборищах были установлены денежные штрафы, возвышавшиеся с тщательно определенной постепенностью от десяти до двухсот фунтов серебра сообразно с общественным положением и состоянием виновных; если же еретик, пять раз подвергшийся взысканию штрафа, все еще упорствовал в своих заблуждениях, то его наказание предоставлялось впредь произволу императорского двора. Благодаря этим строгостям, вызвавшим со стороны Св. Августина самое горячее одобрение, множество донатистов примирились с Католической Церковью; но те фанатики, которые не переставали оказывать сопротивление, были доведены этими строгостями до иступления и отчаяния; раздираемая отрядами циркумцеллионов изливала свою ярость то на самих себя, то на своих противников, и списки мучеников обеих партий значительно расширились. Понятно, что при таких обстоятельствах донатисты смотрели на Гензериха, который был христианином, но врагом православного вероисповедания, как на

могущественного избавителя, от которого они могли ожидать отмены ненавистных и притеснительных эдиктов римских императоров. Завоеванию Африки способствовало деятельное усердие или тайное сочувствие внутренней крамолы; поругание церквей и оскорбления духовенства, в которых обвиняли вандалов, могут быть с большим основанием приписаны фанатизму их союзников; таким образом, запятнавший торжество христианства дух религиозной нетерпимости был одной из главных причин утраты самой важной из западных провинций.

И двор и народ были поражены удивлением при странном известии, что доблестный герой, получивший столько наград и оказавший столько услуг, нарушил долг верноподданничества и призвал варваров на разорение вверенной его управлению провинции. Друзья Бонифация, все еще державшиеся того мнения, что его преступный образ действий вызван какими-нибудь честными мотивами, испросили, в отсутствие Аэция, позволения вступить в переговоры с правителем Африки, и с этим важным поручением был отправлен один из высших сановников по имени Дарий. На их первом свидании в Карфагене выяснились причины воображаемых взаимных обид, были предъявлены и сходны между собою противоречивые письма Аэция, и подлог был без труда обнаружен. И Плацидия и Бонифаций оплакивали свое пагубное заблуждение, и граф имел достаточно великодушия для того, чтобы положиться на милость своей государыни и рискнуть своей головой в случае, если бы она захотела выместить на нем свою досаду. Его раскаяние было пылко и чистосердечно, но он скоро пришел к убеждению, что уже не в его власти восстановить здание, которое он потряс в самом его основании. Карфаген и римские гарнизоны вместе со своим генералом признали над собою верховную власть Валентиниана, но остальная часть Африки все еще была жертвою войны и раздоров, а неутомимый король вандалов, не соглашавшийся ни на какие сделки, решительно отказался выпустить из рук свою добычу. Отряд ветеранов, выступивший в поход под знаменем Бонифация, и собранные на скорую руку провинциальные войска были разбиты со значительными потерями; победоносные варвары стали опустошать ничем не защищенную страну, и единственными городами, повидимому спасшимися от общей гибели, были Карфаген, Цирта и Гиппон Царский (Hippo Regius).

Длинное и узкое африканское побережье было усеяно памятниками римского искусства и великолепия, и степень цивилизации каждого округа можно было с точностью измерять расстоянием, в котором он находился от Карфагена и от Средиземного моря. О плодородии и цивилизации страны нетрудно составить себе самое ясное понятие; она была густо населена; жители не только добывали для самих себя обильные средства пропитания, но ежегодно отправляли за границу такое огромное количество зернового хлеба, и в особенности пшеницы, что Африка основательно считалась житницей и Рима, и всего человеческого рода. Но все семь плодородных провинций, лежавшие между Танжером и Триполи, были внезапно залиты потоком вандалов, разрушительная ярость которых, быть может, была преувеличена раздражением местного населения религиозным рвением и нелепыми декламациями. Война, даже в самой мягкой своей форме, влечет за собою беспрестанное нарушение правил человеколюбия и справедливости, а войны, которые ведутся варварами, всегда отличаются той свирепостью и тем непризнанием никаких законов, которые даже в мирное время беспрестанно нарушают спокойное течение их домашней жизни. Вандалы редко оказывали пощаду тем, кто оказывал им сопротивление, а за смерть своих храбрых соотечественников они отомстили разорением городов,

под стенами которых те лишились жизни. Не обращая никакого внимания на различия возраста, пола и общественного положения, они совершали над своими пленниками всякие гнусности и пытки, чтобы вынудить от них указание места, где скрыты их сокровища. Суровая политика Гензериха оправдывала в его глазах частые военные экзекуции; он не всегда умел владеть своими собственными страстями и страстями своих приверженцев, а бедствия, причиненные войной, еще усиливались от разнузданности мавров и от фанатизма донатистов. Тем не менее меня нелегко заставить верить, что вандалы имели обыкновение с корнем вырывать оливковые и другие плодовые деревья в стране, где они намеревались поселиться на постоянное жительство; также не могу я верить тому, что к числу их обыкновенных военных хитростей принадлежало умерщвление значительного числа пленников под стенами осажденных городов с целью заразить воздух и вызвать моровую язву, первыми жертвами которой сделались бы они сами.

Благородная душа графа Бонифация терзалась невыразимой скорбью при виде опустошений, причиною которых был он сам и остановить которые он был не в силах. После потери сражения он удалился в Гиппон Царский, где тотчас был осажден врагом, считавшим его за настоящий оплот Африки. Приморская колония Гиппон, находившаяся почти в двухстах милях к западу от Карфагена, получила название Царской благодаря тому, что когда-то служила резиденцией для Нумидийских царей, а ее торговля и многолюдность отчасти сохранились за новейшим городом, известным в Европе под искаженным названием Боны. Среди своих военных трудов и тревожных размышлений граф Бонифаций находит некоторое утешение в назидательных беседах со своим другом Св. Августином, пока этот епископ, считавшийся светилom и опорой Католической Церкви, не нашел для себя в спокойной смерти, случившейся в третьем месяце осады и семьдесят шестом году его жизни, спасения от угрожавших его отечеству бедствий. Юность Августина была запятнана пороками и заблуждениями, как он сам чистосердечно в этом сознался; но с той минуты, как он обратился на истинный путь, и до самой смерти он отличался чистотой и суровостью своих нравов, а самой выдающеюся из его добродетелей была пылкая ненависть к еретикам всех наименований — и к манихеям, и к донатистам, и к последователям Пелагия, с которыми он вел непрерывную полемику. Когда город был сожжен вандалами через несколько месяцев после его смерти, удалось спасти его библиотеку, в которой находились его многотомные произведения; там были найдены двести тридцать два отдельных тома, или трактата, написанных на богословские темы, кроме обширных толкований Псалтыря и Евангелия и множества посланий и проповедей. По мнению самых беспристрастных критиков, поверхностная ученость Августина ограничивалась знанием латинского языка, а его слог, хотя по временам и оживлявшийся пылким красноречием, большей частью страдает избытком лишенных вкуса риторических прикрас. Но он был одарен умом энергичным, обширным и способным отстаивать то, во что верил; он смело углублялся в мрачные бездны благодати, предопределения, свободной воли и первородного греха, а установленные им суровые принципы христианства были усвоены латинской церковью с общего одобрения и с тайной неохотой. Благодаря искусству Бонифация или, быть может, благодаря невежеству вандалов осада Гиппона длилась более четырнадцати месяцев; сообщения морем оставались открытыми, а когда вся окрестная страна была истощена безрассудным хищничеством, голод заставил самих осаждающих отказаться от их предприятия. Правительница запада вполне сознавала и важность обладания Африкой, и опасное положение этой провин-

ции, Платидия обратилась к своему восточному союзнику с просьбой о помощи, и на подкрепление итальянского флота и армии явился Аспар, отплывший из Константинополя со значительными военными силами. Лишь только войска двух империй соединились под предводительством Бонифация, он смело выступил против вандалов, но потеря второго сражения безвозвратно решила судьбу Африки. Он сел на корабль с той торопливостью, которая внушается отчаянием, а жителям Гиппона было дозволено вместе с их семействами и пожитками занять на корабле вакантное место солдат, которые были большей частью или убиты, или взяты в плен вандалами. Бонифаций, нанесший республике своим пагубным легкомыслием неизлечимую рану, не мог войти в равеннский дворец без тревожных опасений, но эти опасения были рассеяны приветливым обхождением Платидии. Бонифаций с признательностью принял звание патриция и должность главного начальника римских армий, но он не мог не краснеть при виде медалей, на которых его изображали с атрибутами Победы. Высокомерный и вероломный Аэций был крайне раздражен разоблачением его хитростей, неудовольствием императрицы и милостями, оказанными его сопернику. Он торопливо вернулся из Галлии в Италию со свитой или, вернее, с целой армией, состоявшей из преданных ему варваров, и таково было бессилие правительства, что эти два генерала покончили свою личную ссору кровопролитной битвой. Бонифаций имел успех; но во время сражения его соперник нанес ему копьем смертельную рану, от которой он умер через несколько дней в таком христианском и человеколюбивом душевном настроении, что убеждал свою жену, ожидавшую богатого наследства в Испании, выйти вторично замуж за Аэция. Но Аэций не мог извлечь никакой непосредственной пользы из великодушия своего умирающего врага; Платидия объявила его бунтовщиком, и, хотя он попытался защищать сильные укрепления, воздвигнутые в его наследственных поместьях, он был вынужден удалиться в Паннонию, в лагерь своих верных гуннов. Таким образом, республика лишилась двух самых знаменитых своих полководцев вследствие их взаимной вражды.

Вандалы в Африке. 431–439 гг.

Можно было ожидать, что после удаления Бонифация вандалы беспрепятственно и быстро довершат завоевание Африки. Однако со времени очищения императорскими войсками Гиппона до взятия Карфагена прошло восемь лет. В этот промежуток времени честолюбивый Гензерих, по-видимому достигший вершины человеческого благополучия, заключил с западным императором мирный договор, в силу которого отдавал ему в заложники своего сына Гуннериха и предоставлял в его владение три мавританские провинции. Такую умеренность следует приписывать не чувству справедливости, а политике завоевателя. Его трон был окружен внутренними врагами, которые ставили ему в упрек незнатность его происхождения и вступались за законные права его племянников, сыновей Гондериха. Этих племянников он принес в жертву своей личной безопасности и приказал утопить в реке Ампсаге их мать — вдову покойного царя. Но общее неудовольствие проявлялось в опасных и частых заговорах, и воинственный тиран, как полагали, пролил более вандальской крови рукой палача, чем на полях сражений. Те самые внутренние раздоры, которые способствовали его вторжению в Африку, препятствовали упрочению его власти, а беспрестанные мятежи мавров и германцев, донатистов и католиков грозили неустановившемуся господству завоевателя постоянными опасностями. Чтобы напасть на Карфаген, ему пришлось вывести свои войска из западных провинций; морское побережье подвергалось нападениям со стороны римлян,

приходивших и из Испании, и из Италии, а находившийся в самом центре Нумидии город Цирта все еще упорно отстаивал свою независимость. Эти затруднения были постепенно преодолены мужеством, настойчивостью и жестокосердием Гензериха, попеременно прибегавшего для упрочения своего владычества то к хитростям, то к насилию. Он подписал формальный договор в надежде извлечь для себя некоторые выгоды смотря по обстоятельствам и из соблюдения его условий и из их нарушения. Он усыпил бдительность своих врагов уверениями в дружбе, прикрывавшими его враждебные замыслы, и в конце концов Карфаген был застигнут врасплох и взят вандалами через пятьсот восемьдесят пять лет после разрушения этого города и республики Сципионом Младшим.

Из его развалин возник новый город с титулом колонии, и хотя Карфаген не пользовался такими прерогативами, как Константинополь, не вел такой обширной торговли, как Александрия, и не отличался таким великолепием, как Антиохия, однако он считался вторым городом западных провинций и современники называли его африканским Римом. Эта богатая и великолепная метрополия, несмотря на свое зависимое положение, имела внешний вид цветущей республики. В ней сосредоточивались мануфактуры, военные запасы и сокровища шести провинций. Ряд гражданских отличий постепенно восходил от заведования городскими улицами и кварталами до звания высшего сановника, который, под именем проконсула, напоминал своим высоким рангом и значением консулов древнего Рима. Для образования африканского юношества были учреждены школы и гимназии, а свободные искусства, грамматика, риторика и философия публично преподавались на греческом и латинском языках. Карфагенские здания отличались и своим однообразием, и своим великолепием; в самой середине столицы была разведена тенистая роща; новая гавань, вполне безопасная и обширная, облегчила торговые предприятия местного населения и иностранцев, а великолепные игры в цирке и театре устраивались почти перед глазами варваров. Репутация самих карфагенян не была так блестяща, как репутация их города, а их вкрадчивость и двоедушие все еще навлекали на них обвинения в пуническом вероломстве. От привычек, свойственных торгашам, и от злоупотребления роскошью их нравы развратились, а их нечестивое презрение к монахам и бесстыдная склонность к противоестественному удовлетворению похоти возбуждали благочестивое негодование в проповеднике того времени Сальвиане. Вандальский король строго преследовал пороки развратного населения, и древняя, благородная, простодушная свобода Карфагена (эти слова Виктора не лишены выразительности) была низведена Гензерихом до позорного рабства. После того как его необузданные солдаты удовлетворили и свою ярость, и свою жадность, он ввел более правильную систему хищничества и угнетения. Был обнародован эдикт, которым предписывалось без утайки и немедленно передать вандальским чиновникам все золото, серебро, драгоценные камни, ценную мебель и платье, а попытка утаить какую-либо часть своей собственности безжалостно наказывалась смертью и пыткой как государственная измена. Земли проконсульской провинции, составлявшие примыкавший к Карфагену округ, были аккуратно измерены и разделены между варварами, а в свою личную собственность завоеватель отвел плодородную территорию Бизация и смежные части Нумидии и Гетулии.

Весьма естественно, что Гензерих ненавидел тех, кого он оскорблял: карфагенская знать и сенаторы сделались жертвами его подозрений и озлобления, и арианский тиран осуждал на вечное изгнание всякого, кому честь и ре-

лигия не позволяли соглашаться на его унижительные требования. В Риме, Италии и в восточных провинциях появились толпы ссыльных, беглецов и знатных изгнанников, просивших подаяния, а чувствительные послания Феодорета познакомили нас с именами и с злоключениями Целестиана и Марии. Сирийский епископ оплакивает несчастья знатного и богатого карфагенского сенатора Целестиана, который вместе со своей женой, своим семейством и своей прислугой был доведен до того, что должен был жить на чужбине подаяниями; но епископ превозносит покорность и философское настроение ума этого христианского изгнанника, благодаря которым он мог, несмотря на постигшие его невзгоды, наслаждаться более существенным счастьем, чем то, которое выпадает на долю богачей. История дочери богача Евдемона Марии еще более оригинальна и интересна. Во время разграбления Карфагена она была куплена у вандалов сирийскими купцами, которые впоследствии перепродали ее в качестве рабыни ее соотечественникам. Одна из прежних служанок Марии, проданная тому же лицу и ехавшая на том же корабле, не переставала оказывать уважение своей прежней госпоже, низведенной несчастьями до одного с нею уровня рабыни, и дочь Евдемона получала от ее признательности и преданности те самые домашние услуги, которые когда-то оказывались ей по долгу повиновения. Это обхождение обнаружило знатность происхождения Марии, и в отсутствие Киррского епископа гарнизонные солдаты из великодушия выкупили ее из рабства. Щедрость Феодорета доставила ей приличные средства существования, и она провела десять месяцев в обществе церковных диаконов, как вдруг неожиданно узнала, что ее отец спасся от Карфагенской резни и получил почетную должность в одной из западных провинций. Благочестивый епископ постарался удовлетворить ее нетерпеливое желание свидеться с отцом: в дошедшем до нас письме к епископу Эги (приморского города Киликии, куда часто приходили с запада корабли во время ежегодной ярмарки) Феодорет рекомендует ему Марию и настоятельно просит его обходиться с нею с тем вниманием, на которое ей дает право ее знатное происхождение, и поручить ее таким надежным купцам, которые сочтут себя достаточно вознагражденными тем, что возвратят огорченному отцу дочь, которую он считает безвозвратно погибшей.

Сказание о Семи Спящих Отроках

Между нелепыми легендами церковной истории я не могу пройти молчанием достопамятную басню о Семи Спящих Отроках, воображаемое существование которых совпадает с царствованием Феодосия Младшего и завоеванием Африки вандалами. В то время как император Деций гнал христиан, семь знатных эфесских юношей укрылись в обширной пещере под соседней горой; желая, чтобы они там погибли, тиран приказал завалить вход в пещеру громадными камнями. Юноши немедленно впали в глубокий сон, чудесным образом не прерывавшийся, без всякого вреда для их жизненных сил, в течение ста восьмидесяти семи лет. По прошествии этого времени рабы Адолия, которому эта гора досталась в собственность по наследству, увезли камни, оказавшиеся нужными для постройки какого-то деревенского здания; тогда солнечный свет проник в пещеру и Семь Спящих Отроков проснулись. После усыпления, продолжавшегося, как им казалось, лишь несколько часов, они почувствовали голод и решили, что один из них, по имени Ямвлихий, тайком проберется в город, чтобы купить хлеба для своих товарищей. Этот юноша (если к нему все еще шло это название) не узнал когда-то так хорошо ему знакомого родного города, а его удивление еще усилилось при виде большого креста, водруженного над

главными воротами Эфеса. Его странная одежда и устарелый разговорный язык смутили булочника, которому он подал старинную медаль Деция за ходячую в империи монету; Ямвлихия заподозрили в открытии спрятанного сокровища и отвели к судье. На допросе выяснился тот поразительный факт, что уже прошло около двухсот лет с тех пор, как Ямвлихий и его товарищи спаслись от ярости языческого тирана. И епископ Эфесский, и духовенство, и должностные лица, и народ, и, как утверждают, даже сам Феодосий — все поспешили посетить пещеру Семи Спящих Отроков, которые дали всем свое благословение, рассказали свою историю и тотчас вслед за тем спокойно испустили дух. Происхождение этой чудесной басни не может быть приписано благочестивому подлогу или легковерию новейших греков, так как достоверные о ней предания можно проследить в течение тех пятидесяти лет, которые непосредственно следовали за этим мнимым чудом. Сирийский епископ Иаков Заругский, родившийся только через два года после смерти Феодосия Младшего, посвятил одну из своих двухсот тридцати проповедей на восхваление Эфесских отроков. В конце шестого столетия их легенда была переведена с сирийского языка на латинский по заказу Григория Турского. На востоке люди разных вероисповеданий чтят их память с одинаковым благоговением, и их имена упоминаются с почетом в календарях римском, абиссинском и русском. Их известность даже не ограничилась пределами христианского мира. Магомет, вероятно познакомившийся с этой популярной сказкой, в то время как водил своих верблюдов по сирийским ярмаркам, внес ее в Коран в качестве божественного откровения. История Семи Спящих Отроков была усвоена и разукрашена исповедующими магометанскую религию народами от Бенгалии до Африки, и некоторые следы такого же предания были найдены на самых отдаленных окраинах Скандинавии. Это скоро и повсюду распространившееся верование было отголоском чувств всего человеческого рода и может быть приписано неподдельному достоинству самого вымысла. Мы подвигаемся от юности к старости, не примечая постепенного, но непрерывного изменения в условиях человеческого существования, и даже в более широкой сфере опыта, доставляемой изучением истории, воображение приучается соединять между собою самые отдаленные по времени перевероты путем постоянного указания причин и последствий. Но если бы можно было внезапно уничтожить промежуток времени между двумя достопамятными эрами, если бы можно было показать новый мир такому зрителю, который после двухсотлетнего усыпления еще живо помнит, каков был старый мир, — тогда удивление этого зрителя и его размышления могли бы послужить интересным сюжетом для философского романа. Для такой сцены нельзя бы было найти более удобного времени, чем те два столетия, которые отделяли царствование Деция от царствования Феодосия Младшего. В этот период времени центр правительственной власти был перенесен из Рима в новый город, основанный на берегах Фракийского Босфора, а злоупотребление воинственной отвагой уступило место искусственной системе прикрытого этикетом раболепия. Трон гонителя христиан Деция был занят непрерывным рядом христианских и православных монархов, которые стерли с лица земли баснословных богов древности, а народное благочестие того времени спешило ставить на алтарях Дианы и Геркулеса изображения святых и мучеников Католической Церкви. Единство Римской империи было уничтожено; ее величие было унижено до того, что обратилось в прах, и вышедшие из холодных северных стран толпы неведомых варваров утвердили свое владычество над самыми цветущими провинциями Европы и Африки.

**Характер, завоевания и двор царя гуннов Аттилы. —
Смерть Феодосия Младшего. —
Возведение Маркиана
в звание восточного императора.
(376–453 гг.)**

Глава 17 (XXXIV)

Гунны. 376–433 гг.

Западный мир страдал под гнетом готов и вандалов, бежавших перед гуннами, но подвиги самих гуннов не соответствовали их могуществу и блеску первых успехов. Их победоносные орды рассеялись от Волги до Дуная; но их силы истощались от вражды между самостоятельными вождями, их мужество бесполезно тратилось на незначительные хищнические набеги, и они нередко унижали свое национальное достоинство, становясь под знамена своих побежденных врагов из жадности к добыче. В царствование Аттилы гунны снова стали наводить ужас на весь мир, и я теперь должен заняться описанием характера и подвигов этого грозного варвара, нападавшего попеременно то на восточные, то на западные провинции и ускорившего быстрое разрушение Римской империи.

Среди потока переселенцев, стремительно катившегося от пределов Китая к пределам Германии, самые могущественные и самые многочисленные племена обыкновенно останавливались на границе римских владений. Их напор на время сдерживался искусственными преградами, а снисходительность императоров не удовлетворяла, а поощряла наглые требования варваров, успевших приобрести сильное влечение к удобствам цивилизованной жизни. Венгры, с гордостью вносящие имя Аттилы в список своих туземных королей, могут основательно утверждать, что орды, признавшие над собою власть его дяди Роаса, или Ругиласа, стояли лагерем в теперешней Венгрии, на такой плодородной территории, которая в избытке удовлетворяла нужды народа, состоявшего из охотников и пастухов. Занимая такое выгодное положение, Ругилас и его храбрые братья постоянно что-нибудь прибавляли к своему могуществу и к своей славе и могли по своему произволу то вступать в мирные переговоры с двумя империями, то предпринимать против них войны. Его союз с Западной империей был скреплен его личною дружбой с знаменитым Аэцием, который был уверен, что всегда найдет в лагере варваров гостеприимство и сильную поддержку. По просьбе Аэция шестьдесят тысяч гуннов приблизились к границам Италии, чтобы поддержать узурпатора Иоанна; и их приближение, и их отступление дорого стоили империи, и Аэций из признательности предоставил своим верным союзникам обладание Паннонией. Для Восточной империи были не менее страшны военные предприятия Ру-

гиласа, угрожавшие не только провинциям, но даже столице. Некоторые церковные историки пытались истребить варваров молнией и моровой язвой, но Феодосий был вынужден прибегнуть к более скромным мерам: он обязался выплачивать им ежегодно по триста пятьдесят фунтов золота и прикрыл эту постыдную дань званием генерала, которое соблаговолил принять царь гуннов. Общественное спокойствие часто нарушалось буйством варваров и коварными интригами византийского двора. Четыре подчиненных нации, в числе которых мы можем отметить баварцев, отвергли верховенство гуннов, а римляне поощряли и поддерживали это восстание своим содействием, пока грозный Ругилас не заявил своих основательных притязаний через посредство своего посла Эслава. Сенаторы единогласно высказались за мир; их декрет был утвержден императором, и были назначены два посла — генерал скифского происхождения, но консульского ранга, Плинтас, и опытный государственный деятель квестор Эпиген, который был выбран по рекомендации своего честолюбивого сотоварища.

Смерть Ругиласа прервала ход мирных переговоров. Два его племянника, Атилла и Бледа, занявшие престол своего дяди, согласились на личное свидание с константинопольскими послами, но так как они из гордости не хотели сходить с коней, то переговоры велись в обширной равнине подле города Марга, в Верхней Мезии. Цари гуннов присвоили себе как все почетные отличия, так и все существенные выгоды состоявшейся сделки. Они продиктовали мирные условия, и каждое из этих условий было оскорблением достоинства империи. Кроме пользования безопасным и обильным рынком на берегах Дуная, они потребовали, чтобы ежегодная дань была увеличена с трехсот пятидесяти до семисот фунтов золота, чтобы за каждого римского пленника, спасавшегося бегством от своего варварского повелителя, уплачивался денежный штраф или выкуп в размере восьми золотых монет, чтобы император отказался от союза и всяких сношений с врагами гуннов и чтобы все беглецы, укрывшиеся при дворе или во владениях Феодосия, были отданы на суд своего оскорбленного государя. Этот суд постановил свой безжалостный приговор над несколькими несчастными юношами царского происхождения: по требованию Атиллы они были распяты на кресте на имперской территории, и лишь только царь гуннов заставил римлян трепетать при его имени, он оставил их на короткое время в покое и занялся покорением мятежных или независимых племен Скифии и Германии.

Атилла. 433–453 гг.

Сын Мундзука Атилла вел свое знатное и, быть может, царское происхождение от древних гуннов, когда-то воевавших с китайскими монархами. Черты его лица, по замечанию одного готского историка, носили на себе отпечаток национального происхождения, и наружность Атиллы отличалась всеми особенностями, свойственными современным нам калмыкам. У него была большая голова, смуглый цвет лица, маленькие, глубоко ввалившиеся глаза, приплюснутый нос, несколько волос вместо бороды, широкие плечи и коротенькое толстое туловище, одаренное сильными мускулами, хотя и непропорциональное по своим формам. В гордой походке царя гуннов и манере себя держать выражалось сознание его превосходства над всем человеческим родом, и он имел обыкновение свирепо поводить глазами, как будто желая насладиться страхом, который он наводил на окружающих. Однако

этот дикий герой не был недоступен чувству сострадания: враги, молившие его о пощаде, могли положиться на его обещания мира или помилования, и подданные Аттилы считали его за справедливого и снисходительного повелителя. Он находил наслаждение в войне; но после того как он вступил на престол в зрелых летах, завоевание севера было довершено не столько его личной храбростью, сколько его умом, и он с пользою для себя променял репутацию отважного воина на репутацию предусмотрительного и счастливого полководца. Личная храбрость дает блестящие результаты только в поэзии и в романах, и даже у варваров победа зависит от умения возбуждать и направлять страсти толпы на пользу одного человека. Скифские завоеватели Аттила и Чингис возвышались над своими грубыми соотечественниками не столько своей храбростью, сколько своим умом, и можно заметить, что монархия гуннов, точно так же как и монархия монголов, была основана на фундаменте народных суеверий. Чудесное зачатие, которое приписывалось девственной матери Чингиса обманом или легковерием, возвысило его над уровнем человеческой природы, а голый пророк, провозгласивший его от имени божества повелителем вселенной, воодушевил монголов непреодолимым энтузиазмом. Аттила прибегнул к религиозному подлогу, который был также хорошо приспособлен к характеру его времени и его отечества. Нетрудно понять, что скифы должны были чтить бога войны с особым благоговением; но так как они не были способны ни составить себе отвлеченное о нем понятие, ни изобразить его в осязаемой форме, то они поклонялись своему богу-покровителю под символическим изображением железного палаша. Один из гуннских пастухов заметил, что одна из телок, которые паслись на лугу, ранила себя в ногу; он пошел по оставленным следам крови и нашел в высокой траве острый конец меча, который он выкопал из земли и поднес Аттиле. Этот великодушный или, вернее, хитрый царь принял сей небесный дар с благочестивой признательностью и в качестве законного обладателя меча Марса заявил свои божественные и неопровержимые права на всемирное владычество. Если в этом торжественном случае были исполнены скифские обряды, то на обширной равнине был поставлен высокий алтарь или, вернее, навалена груда хворосту длиной и шириной в триста ярдов, и меч Марса был поставлен стоймя на вершине этого жертвенника, ежегодно освящавшегося кровью овец, лошадей и сотого из пленных. Входили ли человеческие жертвоприношения в состав религиозного поклонения Аттилы, или же он умилялся богу войны теми жертвами, которые беспрестанно приносил ему на полях сражений, — во всяком случае, фаворит Марса скоро приобрел священный характер, благодаря которому его завоевания сделались более легкими и более прочными, а варварские князья, из благочестия или из лести, стали сознаваться, что их глаза не могли пристально смотреть на божественное величие царя гуннов. Его брат Бледа, царствовавший над значительной частью нации, был вынужден отказаться от скипетра и был лишен жизни. Но даже этот бесчеловечный поступок приписывался сверхъестественному внушению, и энергия, с которой Аттила употреблял в дело меч Марса, распространила общее убеждение, что этот меч был предназначен только для его непобедимой руки. Но обширность его владений служит единственным доказательством многочисленности и важности его побед, и хотя скифский монарх не был способен понимать цену наук и философии, он, может быть, сожалел о том, что его необразованные подданные не владели такими ис-

кусствами, с помощью которых можно бы было увековечить воспоминание о его подвигах.

Если бы мы отделили чертой цивилизованные страны земного шара от тех, которые находились в диком состоянии, а занимавшихся возделыванием земли городских жителей от охотников и пастухов, живших в палатках, то Аттиле можно бы было дать титул верховного и единственного монарха варваров. Из всех завоевателей древних и новых времен он один соединял под своей властью обширные страны Германии и Скифии, а эти неопределенные названия в применении к тому времени, когда он царствовал, должны быть принимаемы в самом широком значении. Тюрингия, простиравшаяся вне своих теперешних пределов до берегов Дуная, была в числе его владений; в качестве могущественного соседа он вмешивался во внутренние дела франков, а один из его военачальников наказал и почти совершенно истребил живших на берегах Рейна бургундов. Он подчинил своей власти острова океана и скандинавские государства, окруженные водами Балтийского моря и отделенные этими водами от европейского материка, и гунны могли собирать мехами подати с тех северных стран, которые до тех пор были защищены от всяких завоевательных попыток суровостью своего климата и храбростью своего населения. С восточной стороны трудно установить пределы владычества Аттилы над скифскими степями; однако нам известно, что он владычествовал на берегах Волги, что царя гуннов боялись не только как воина, но и как волшебника, что он победил хана грозных геугов и что он отправил послов для ведения с китайской империей переговоров о союзе на равных с обеих сторон правах. Между народами, признававшими над собою верховную власть Аттилы и при его жизни никогда не пытавшимися возвратить свою самостоятельность, гениды и остроготы отличались своей многочисленностью, мужеством и личными достоинствами своих вождей. Знаменитый царь гепидов Ардарих был преданным и прозорливым советником монарха, который уважал его неустрашимость, хотя в то же время питал сочувствие к кротким и скромным достоинствам царя остроготов благородного Валамира. Толпа менее важных царей, владычествовавших над теми воинственными племенами, которые служили под знаменем Аттилы, теснилась вокруг своего повелителя, занимая при нем различные должности телохранителей и служителей. Они следили за каждым его движением, дрожали от страха, когда он хмурил свои брови, и по первому сигналу исполняли его грозные и безусловные приказания без ропота и без колебаний. В мирное время подчиненные ему цари поочередно дежурили в его лагере со своими национальными войсками; но когда Аттила собирал все свои военные силы, он мог выставить в поле армию из пятисот тысяч варваров, а по мнению иных, даже из семисот тысяч.

Послы гуннов могли встревожить Феодосия напоминанием, что они были его соседями и в Европе и в Азии, так как их владения простирались с одной стороны до Дуная, а с другой — до Танаиса. В царствование его отца Аркадия, отряд гуннских удалцов опустошил восточные провинции и ушел оттуда с богатой добычей и с множеством пленников. Они пробрались по секретной тропинке вдоль берегов Каспийского моря, перешли покрытые снегом горы Армении, переправились через Тигр, через Евфрат и через Галий, пополнили ряды своей тяжелой кавалерии превосходной породой каппадокийских коней, заняли гористую Киликию и прервали веселые песни и танцы антиохийских граждан. Египет трепетал от страха при их при-

ближении, а монахи и пилигримы приготовились покинуть Святые Места и сели на корабли, чтобы спастись от их ярости. Воспоминание об этом нашествии было еще свежо в умах восточных жителей. Подданные Атиллы могли с более значительными силами осуществить предприятие, так смело начатое этими удалцами, и вопрос о том, обрушится ли буря на римские или на персидские владения, скоро сделался предметом тревожных догадок. Некоторые из главных вассалов царя гуннов, сами принадлежавшие к числу могущественных царей, были посланы с поручением заключить союз и военный договор с западным императором, или, вернее, с генералом, который управлял Западом. Во время своего пребывания в Риме они рассказывали подробности экспедиции, которую они предпринимали незадолго перед тем на восток. Пройдя степи и болота, которые, по мнению римлян, были не что иное, как Меотийское озеро, они перешли через горы и через две недели достигли пределов Мидии; там они проникли до неизвестных городов Базика и Курсика. Они встретились с персидской армией на равнинах Мидии, и, по их собственному выражению, воздух омрачился тучей стрел. Но гунны были вынуждены отступить перед многочисленными неприятельскими силами. Их трудное отступление было совершено другим путем; они лишились большей части собранной добычи и наконец возвратились в царский лагерь с некоторым знанием местности и с нетерпеливым желанием отмщения. В интимной беседе императорских послов, рассуждавших во время своего пребывания при дворе Атиллы о характере и планах их грозного врага, константинопольские уполномоченные выразили надежду, что можно бы было отвлечь его силы, вовлекая их в продолжительную и сомнительную борьбу с монархами из дома Сассана. Более прозорливые итальянцы уверяли своих восточных товарищей, что исполнение такого намерения было бы и безрассудно и опасно, что мидяне и персы были неспособны сопротивляться гуннам и что это легкое и важное приобретение увеличило бы и гордость, и могущество завоевателя. Вместо того чтобы довольствоваться умеренной данью и военным титулом, который ставил его на одну ногу только с генералами Феодосия, Атила наложил бы унижительное и невыносимое иго на опозоренных и поработанных римлян, владения которых были бы окружены со всех сторон гуннами.

Во время как правители и Европы и Азии заботились о предотвращении угрожавшей опасности, союз с Атилой обеспечил вандалам обладание Африкой. Дворы равеннский и константинопольский вошли в соглашение с целью отнять у варваров эту важную провинцию, и в портах Сицилии уже собрались военные и морские силы Феодосия. Но хитрый Гензерих, повсюду заводивший переговоры, уничтожил их замысел, убедив царя гуннов вторгнуться во владения восточного императора, а одно ничтожное происшествие сделалось мотивом или предлогом опустошительной войны. В силу заключенного в Марге договора на северной стороне Дуная был открыт вольный рынок, который охранялся римской крепостью, носившей название Констанции. Отряд варваров нарушил безопасность торговли, частью умертвил, частью разогнал купцов и разрушил крепость до основания. Гунны оправдывали это оскорбление тем, что будто оно было вызвано жаждой мщения; они утверждали, что епископ Марга, пробравшись на их территорию, открыл и похитил спрятанное сокровище их царей, и грозно требовали возвращения сокровища и выдачи как преступного епископа, так и подданных Атиллы, спасшихся бегством от его правосудия. Отказ византийского двора послужил

сигналом для войны. Жители Мезии сначала одобряли благородную твердость своего государя, но оробели при известии о разрушении Виминиака и соседних с ним городов и решились придерживаться более выгодного принципа, что для безопасности страны следует жертвовать жизнью частного человека, как бы он ни был невинен и достоин уважения. Епископ Марга, не отличавшийся самоотверженностью мучеников, догадался об их замысле и решился предупредить его исполнение. Он не побоялся вступить в переговоры с вождями гуннов, обеспечил себе путем торжественных клятвенных обещаний помилование и награду, поставил многочисленный отряд варваров в засаде у берегов Дуная и в условленный час собственноручно отворил ворота своей епископской резиденции. Этот достигнутый путем вероломства успех послужил прелюдией для более честных и решительных побед. Иллирийская граница была прикрыта рядом замков и укреплений, которые хотя и состояли большею частью из одной башни, занятой небольшим гарнизоном, однако вообще были достаточны для отражения и для пресечения отступления такого неприятеля, который не был знаком с искусством ведения правильной осады или не имел достаточно терпения для предприятий этого рода. Но эти легкие преграды были мгновенно разрушены напором гуннов. Варвары опустошили огнем и мечом многолюдные города Сирмий и Сингидун, Ратиарию и Маркианополь, Нэсс и Сардику, в которых и воспитание населения и постройка зданий были постепенно приспособлены к одной цели — к отражению внешнего нападения. Мириады варваров, предводимых Атилией, внезапно наводнили и опустошили Европу на пространстве более пятисот миль, отделяющих Эвксинский Понт от Адриатического моря. Однако ни общественная опасность, ни общественные бедствия не заставили Феодосия прервать его развлечения и подвиги благочестия или лично стать во главе римских легионов. Но войска, посланные против Гензериха, были торопливо отозваны из Сицилии; гарнизоны, стоявшие на персидской границе, были уменьшены до крайности, и в Европе были собраны военные силы, которые были бы страшны и своей храбростью, и своей многочисленностью, если бы генералы умели командовать, а солдаты повиноваться. Армии восточного императора были разбиты в трех следовавших одна вслед за другою битвах, и движение Атилы можно проследить по полям сражений. Два первых сражения происходили на берегах Ута и под стенами Маркианополя, на обширной равнине, лежащей между Дунаем и Гемскими горами. Теснимые победоносным неприятелем римляне имели неосторожность постепенно отступить к Херсонесу Фракийскому, и этот узкий полуостров, составляющий крайнюю оконечность материка, сделался сценой их третьего и непоправимого поражения. С уничтожением этой армии Атила сделался полным хозяином над всеми странами от Геллеспонта до Фермопил и до предместий Константинополя и стал опустошать их беспрепятственно и без всякого милосердия. Гераклея и Адрианополь, быть может, спаслись от страшного нашествия гуннов; но мы не преувеличим бедствий, постигших семьдесят городов Восточной империи, если скажем, что эти города были совершенно уничтожены и стерты с лица земли. Феодосия, его двор и трусливое население столицы охраняли константинопольские городские стены; но эти стены были расшатаны недавним землетрясением, и от разрушения пятидесяти восьми башен образовалась широкая и наводившая ужас брешь. Это повреждение, правда, было торопливо исправлено; но этому несчастному случаю придавало особую важность суеверное опасение, что само небо предавало

императорскую столицу в руки скифских пастухов, не знакомых ни с законами, ни с языком, ни с религией римлян.

Скифские, или татарские, войны

При всех нашествиях скифских пастухов на цивилизованные южные страны их толкала вперед лишь дикая страсть разрушения. Законы войны, удерживающие от грабежа и убийств, основаны на двух принципах личного интереса — на сознании прочных выгод, доставляемых воздержным пользованием своей победой, и на основательном опасении, что за опустошение неприятельской страны нам могут отплатить опустошением нашей собственной. Но эти соображения, основанные, с одной стороны, на ожидании будущих благ, а с другой — на опасении будущих бедствий, почти вовсе незнакомы народам, живущим пастушеской жизнью. Гуннов Аттилы можно, без оскорбления для них, сравнить с монголами и татарами, прежде чем первобытные нравы этих последних были изменены религией и роскошью; а свидетельство восточной истории бросает некоторый свет на краткие и неполные летописи Рима. После того как монголы завоевали северные провинции Китая, было серьезно предложено — и не в момент победы и раздражения, а в минуту спокойного размышления — истребить всех жителей этой многолюдной страны для того, чтобы можно было обратить свободные земли в пастбища для скота. Твердость китайского мандарина, умевшего внушить Чингису некоторые принципы более здоровой политики, отклонила завоевателя от исполнения этого ужасного замысла. Но в азиатских городах, подпавших под власть монголов, бесчеловечное злоупотребление правами победителя совершалось с правильными формами дисциплины, и можно полагать — хотя на это и нет столь же убедительных доказательств, — что точно так же поступали и победоносные гунны. Жителям безусловно сдавшегося города приказывали очистить их дома и собраться на прилегающей к городу равнине, где и разделяли побежденных на три разряда. Первый разряд состоял из гарнизонных солдат и из молодых людей, способных к военной службе; их судьба решалась немедленно: или их завербовывали в службу к монголам, или же их умерщвляли на месте войска, которые окружали массу пленников с направленными на них копьями и с натянутыми луками. Второй разряд, состоявший из молодых и красивых женщин, из ремесленников всякого ранга и всяких профессий и из самых богатых или знатных граждан, от которых можно было ожидать выкупа, делился между варварами или на равные части, или соразмерно со служебным положением каждого из них. Остальные жители, и жизнь и смерть которых была одинаково бесполезна для победителей, получали дозволение возвратиться в город, из которого уже было вывезено все, что имело какую-нибудь цену, и этих несчастных облагали налогом за дозволение дышать их родным воздухом. Таково было поведение монголов, когда они не находили надобности прибегать к чрезвычайным мерам строгости. Но самое ничтожное раздражение, самый пустой каприз или расчет нередко служили поводом к избиению всех жителей без разбора, а разрушение некоторых цветущих городов было совершено с таким непреклонным ожесточением, что, по собственному выражению варваров, лошадь могла пробежать не спотыкаясь по тому месту, на котором прежде стояли эти города. Три большие столицы Хорасана, Мару, Нейзабур и Герат, были разрушены армиями Чингиса, и было с точностью вычислено, что при этом было убито четыре миллиона триста сорок семь тысяч человек. Тимур, или Тамерлан, родился

в менее варварском веке и был воспитан в магометанской религии; однако если Аттила только равнялся с ним жестокостью и опустошениями, то прозвище Бич Божий одинаково идет и к татарину, и к гунну.

Можно смело утверждать, что население римских провинций очень уменьшилось вследствие того, что гунны увели множество римских подданных в плен. В руках мудрого правителя такая трудолюбивая колония могла бы распространить в степях Скифии зачатки полезных наук и искусств; но эти захваченные на войне пленники распределялись случайным образом между ордами, признававшими над собою верховную власть Атилы. Оценку их достоинств делали непросвещенные варвары со своей наивной простотой и без всяких предубеждений. Они не могли ценить достоинств богослова, изощрившегося в спорах о Троице и Воплощении, но они уважали священнослужителей всех религий. Хотя предприимчивое усердие христианских миссионеров не находило доступа к особе или во дворец монарха, они успешно распространяли знание Евангелия. Пастушеские племена, незнакомые с распределением земельной собственности, не могли понимать ни пользы гражданской юриспруденции, ни ее злоупотреблений, и искусство красноречивого юриста могло возбуждать в них лишь презрение или отвращение. Находившиеся в постоянных между собою сношениях гунны и готы передавали одни другим знакомство с двумя национальными диалектами, и варвары старались научиться латинскому языку, который был военным языком даже в Восточной империи. Но они пренебрегали языком и научными познаниями греков, и тщеславный софист или серьезный философ, наслаждавшийся в школах лестными рукоплесканиями, был глубоко оскорблен при виде того, что варвары отдавали предпочтение физической силе находившегося вместе с ним в плену его прежнего раба. Механические искусства поощрялись и уважались, так как они удовлетворяли нужды гуннов. Архитектор, состоявший в услужении у одного из фаворитов Атилы, Онегезия, построил баню; но это сооружение было редким образчиком роскоши частного человека, и для кочующего народа были гораздо более полезны кузнецы, слесари и оружейные мастера, снабжавшие его и орудиями для мирных занятий, и оружием для войны. Но знания доктора пользовались всеобщим сочувствием и уважением; варвары, презиравшие смерть, боялись болезней, и надменный завоеватель дрожал от страха в присутствии пленника, которому он приписывал, быть может, воображаемую способность продолжить или сохранить его жизнь. Гунны могли дурно обходиться с прогневившими их рабами, над которыми они пользовались деспотической властью; но их нравы не допускали утонченной системы угнетения, и нередко случалось, что рабы награждались за свое мужество и усердие дарованием свободы. К историку Приску, посольство которого служит источником интересных сведений, подошел в лагере Атилы иностранец, приветствовавший его на греческом языке, но по своему одеянию и внешнему виду походивший на богатого скифа. Во время осады Виминиака этот иностранец — как он сам рассказывал — лишился и своего состояния, и свободы: он сделался рабом Онегезия; но за заслуги, оказанные им в делах с римлянами и с акатцирами, он был постепенно поставлен на одну ногу с гуннскими уроженцами, с которыми он связал себя семейными узами, взяв среди них жену и прижив нескольких детей. Благодаря военной добыче он восстановил и улучшил свое личное состояние; он садился за столом своего прежнего господина, и этот отрекшийся от своей веры грек благословлял тот час, когда попал

в плен, так как это привело его к тому счастливому и самостоятельному положению, которое он приобрел, заняв почетную военную должность. Это соображение вызвало спор о хороших и дурных сторонах римского управления, которое вероотступник горячо порицал, а Приск защищал многословной и пустой болтовней. Вольноотпущенник Онегезия описал верными и яркими красками пороки разрушавшейся империи, от которых он сам так долго страдал, — бесчеловечное безрассудство римских монархов, неспособных защитить своих подданных от общественного врага и не позволяющих им браться за оружие для своей собственной обороны; чрезвычайную тяжесть налогов, сделавшуюся еще более невыносимой благодаря запутанной или произвольной системе их взыскания; сбивчивость бесчисленных и противоречивых законов; утомительные и дорогостоящие формальности судебного производства; пристрастное отправление правосудия и всеобщую нравственную испорченность, усиливавшую влияние богачей и подвергавшую бедняков новым лишениям. В конце концов чувство патриотизма заговорило в душе счастливого изгнанника, и он пролил потоки слез, скорбя о преступности или бессилии должностных лиц, извративших самые мудрые и самые благодетельные учреждения.

Заключение мира между Аттилой и Восточной империей. 446 г.

Трусливая или себялюбивая политика западных римлян предоставила Восточную империю во власть гуннов. Потеря армии и отсутствие дисциплины или воинских доблестей не возмещались личными достоинствами монарха. Феодосий мог по-прежнему принимать и тон, и титул Непобедимого Августа; тем не менее он нашел вынужденным просить пощады у Аттилы, который повелительно продиктовал ему следующие тяжелые и унижительные мирные условия. I. В силу письменного договора или молчаливого согласия император уступил ему обширную и важную территорию, простиравшуюся вдоль южных берегов Дуная от Сингидуна, или Белграда, до Нов во Фраккийском диоцезе. Ширина этой территории была определена неточным размером пятнадцатидневного пути; но из сделанного Аттилой предположения перенести национальный рынок в другое место скоро обнаружилось, что он включал в пределы своих владений разоренный город Нэсс. II. По требованию царя гуннов получавшаяся им ежегодная дань, или субсидия, была увеличена с семисот фунтов золота до двух тысяч ста, и он выговорил немедленную уплату шести тысяч фунтов золота на покрытие расходов войны или в наказание за то преступление, которым она была вызвана. Можно было бы подумать, что такое требование, едва ли превышавшее денежные средства некоторых частных лиц, будет легко удовлетворено богатой Восточной империей; но вызванные им затруднения служат замечательным доказательством обеднения или, по меньшей мере, расстроенного положения финансов. Налоги, которые взыскивались с народа, большей частью задерживались или перехватывались во время своего течения по разным грязным каналам в направлении к константинопольскому казначейству. Доходы тратились Феодосием и его фаворитами на тщеславную и безрассудную роскошь, прикрытую названиями императорского великолепия и христианского милосердия. Наличные денежные средства были истощены непредвиденными расходами на военные приготовления. Чтобы немедленно удовлетворить нетерпеливую жадность Аттилы, не оставалось другого способа, как обложить членов сена-

торского сословия тяжелым и произвольным налогом, а бедность аристократов заставила их прибегнуть к позорной продаже с публичного торгового драгоценных камней их жен и доставшегося им по наследству роскошного убранства их дворцов. III. Царь гуннов, как кажется, принял за основное правило национальной юриспруденции, что он никогда не может утратить однажды приобретенного им права собственности над лицами, добровольно или поневоле подчинившимися его власти. Из этого основного принципа он выводил то умозаключение — а все умозаключения Атиллы были непреложными законами, — что гунны, попавшие в плен во время войны, должны быть отпущены на свободу немедленно и без всякого выкупа, что каждый римский военнопленный, осмелившийся искать спасения в бегстве, должен купить свое право на свободу ценой двенадцати золотых монет и что все варвары, покинувшие знамена Атиллы, должны быть возвращены без всяких обещаний или условий помилования. При исполнении этого бесчеловечного и позорного договора императорские офицеры были вынуждены лишить жизни многих преданных империи знатных дезертиров, не желавших обречь себя на верную смерть, и римляне лишили себя всяких прав на доверие со стороны которого-либо из скифских племен вследствие этого публичного признания, что у них не было ни достаточно добросовестности, ни достаточно силы, чтобы охранять жизнь тех, кто прибегал к покровительству Феодосия.

Непоколебимое мужество одного города — столь незначительного, что историки и географы упоминают о нем только по этому случаю, — выставило в ярком свете унижительное положение императора и империи. Азим, или Азимунций, — небольшой фракийский городок, лежавший на иллирийской границе, — отличался воинственным духом своей молодежи, искусством и прекрасной репутацией избранных этой молодежью вождей и ее блестящими подвигами в борьбе с бесчисленными толпами варваров. Вместо того чтобы трусливо ожидать неприятельского приближения, жители Азимунция часто делали удачные вылазки против гуннов, которые стали избегать этого опасного соседства; они отняли у гуннов добычу и пленников и пополнили свои ряды добровольным вступлением в них беглецов и дезертиров. После заключения мирного договора Атила не переставал грозить империи беспощадной войной, если жителей Азимунция не уговорят или не заставят подчиниться тем мирным условиям, которые были приняты их государем. Министры Феодосия со стыдом чистосердечно сознались, что они утратили всякую власть над людьми, так мужественно отстаивавшими свою независимость, и царь гуннов согласился вступить в переговоры с гражданами Азима об обмене пленниками. Они потребовали выдачи нескольких пастухов, случайно захваченных вместе со скотом. Было дозволено строгое расследование, оказавшееся бесплодным; но, прежде чем возвратить варварам двух их соотечественников, задержанных в качестве заложников за безопасность пропавших пастухов, они заставили гуннов поклясться, что между их пленниками нет ни одного жителя Азимунция. Атила со своей стороны был удовлетворен и вовлечен в заблуждение их торжественным уверением, что все остальные пленники были лишены жизни и что они постоянно держатся правила немедленно отсылать римлян и дезертиров, обращающихся к ним за покровительством. Эта вызванная человеколюбивою предусмотрительностью ложь может быть предметом или порицания, или одобрения со стороны казуистов, смотря по тому, придерживаются ли они строгих правил Св. Августина или более мягких мнений Св. Иеронима и Св. Златоуста; но всякий военный че-

ловек и всякий государственный деятель должны сознаться, что если бы раса азимунцийских граждан сохранилась и размножилась, варвары перестали бы попираť величие империи.

Действительно, было бы странно, если бы Феодосий купил ценой своей чести безопасное и прочное спокойствие или если бы его трусость не вызвала новых оскорблений. К византийскому двору были отправлены одно вслед за другим пять или шесть унижительных для него посольств; уполномоченные Атилы настаивали на скором и точном исполнении условий последнего договора, требовали поименного списка беглецов и дезертиров, все еще пользовавшихся покровительством империи, и объявляли с притворной скромностью, что если их государь не получит полного и немедленного удовлетворения, он не будет в состоянии — даже если бы захотел — сдерживать раздражение своих воинственных народов. Кроме гордости и личного интереса, заставлявших царя гуннов не прерывать этих переговоров, им также руководило постыдное желание обогатить своих фаворитов за счет врага. Императорская казна истощала свои денежные средства на приобретение дружеской услужливости послов и главных членов их свиты, так как от содержания их донесений зависело сохранение мира. Варварский монарх был польщен тем, что его послы были приняты с большим почетом, с удовольствием взвешивал ценность и великолепие полученных ими подарков, строго требовал исполнения всех обещаний, которые могли доставить им какую-либо выгоду, и заботился о бракосочетании своего секретаря Констанция как о важном государственном деле. Этот искатель приключений был родом из Галлии; его рекомендовал царю гуннов Аэций, и он обещал константинопольским министрам свое содействие с тем условием, чтобы его наградили за это богатой и знатной женой. Дочь графа Сатурнина была выбрана для исполнения лежавшего на ее отечестве обязательства. Ее сопротивление, семейные раздоры и несправедливые конфискации ее состояния охладили любовный пыл корыстолюбивого Констанция; но он потребовал от имени Атилы другой богатой невесты, и после разных отговорок и отлагательств византийский двор был вынужден принести этому наглому иноземцу в жертву вдову Армация, которая по своему происхождению, богатству и красоте принадлежала к числу самых знатных римских дам. Атила потребовал, чтобы в отплату за эти докучливые и взыскательные посольства и к нему были присланы послы; он с недоверчивым высокомерием взвешивал личные достоинства и общественное положение императорских уполномоченных, но снизошел до того, что обещал выехать до Сардики навстречу к таким послам, которые облечены консульским званием. Советники Феодосия отклонили это предложение под тем предлогом, что Сардика находится в печальном положении совершенно разоренного города, и даже позволили себе заметить, что всякий офицер, служащий в императорской армии или при императорском дворе, занимает достаточно высокое положение для того, чтобы вести переговоры с самыми могущественными скифскими князьями. Всеми уважаемый царедворец Максимин, выказавший свои дарования и на гражданской, и на военной службе, неохотно принял на себя трудное и даже опасное поручение смягчить гневное настроение царя гуннов. Его друг, историк Приск, воспользовался этим случаем, чтобы ознакомиться с характером варварского героя в мирной домашней жизни; но тайная цель посольства, цель пагубная и преступная, была вверена только переводчику Вигилию. Два последних гуннских посла — знатный уроженец паннонийской провинции Орест и храбрый вождь племе-

ни скирров Эдекон — возвращались в то же время из Константинополя в царский лагерь. Их негромкие имена впоследствии приобрели громкую известность благодаря блистательной судьбе и противоположности характеров их сыновей; один из этих слуг Аттилы сделался отцом последнего римского императора, царствовавшего на Западе, а другой — отцом первого варварского короля Италии.

Послы, имевшие при себе множество людей и лошадей, сделали первый привал в Сардики, на расстоянии трехсот пятидесяти миль, или тринадцати дней пути, от Константинополя. Так как уцелевшая часть Сардики находилась внутри пределов империи, то на римлянах лежали обязанности гостеприимства. При помощи жителей провинции они доставили гуннам достаточное число баранов и быков и пригласили их на роскошный или по меньшей мере обильный ужин. Но обоюдные предубеждения и нескромность скоро нарушили общее веселье. Величие императора и империи горячо отстаивалось представителями Феодосия, а гунны с такой же горячностью отстаивали превосходства своего победоносного монарха: ссора разгорелась от опрометчивой и неуместной лстивости Вигилия, презрительно отвергнувшего всякие сравнения между простым смертным и божественным Феодосием, и лишь после больших усилий Максимины и Приску удалось обратить разговор на другой предмет и успокоить раздраженных варваров. Когда встали из-за стола, императорский посол поднес Эдекону и Оресту в подарок богатые шелковые одежды и нитки индийского жемчуга, которые они приняли с признательностью. Но Орест не мог воздержаться от того, чтобы не заметить, что с ним не всегда обходились с таким уважением и с таким великодушием, а оскорбительное различие, с которым относились к его гражданской должности и к наследственному рангу его сотоварища сделало Эдекона ненадежным другом, а Ореста непримиримым врагом. После упомянутого угощения послы проехали около ста миль, отделяющих Сардику от Нэсса. Этот когда-то цветущий город, бывший родиной великого Константина, был разрушен до основания; его жители частью погибли, частью разбежались, а вид нескольких больных, которым позволяли жить среди развалин церквей, лишь увеличивал ужас, который внушало это зрелище. Вся страна была усеяна костями убитых, и послы, направлявшиеся к северо-западу, были вынуждены перебраться через горы современной нам Сербии, прежде чем спуститься на плоскую и болотистую местность, оканчивающуюся Дунаем. Гунны были хозяевами великой реки; они совершили переправу на больших лодках, из которых каждая была выдолблена из ствола одного дерева; Феодосиевы уполномоченные благополучно высадились на противоположном берегу, а их варварские спутники тотчас отправились в лагерь Аттилы, устроенный так, что он был приспособлен и к охотничьим забавам, и к требованиям войны. Едва успел Максимин отъехать около двух миль от Дуная, как ему пришлось испытать на себе прихотливую наглость победителя. Ему было строго запрещено раскинуть его палатки в красивой долине из опасения, чтобы он этим не нарушил издали уважения к царскому жилищу. Министры Аттилы настоятельно требовали, чтобы он познакомил их с целью своей поездки и с содержанием инструкции, которые он намеревался сообщить лишь самому царю. Когда Максимин стал в сдержанных выражениях ссылаться на то, что это было бы несогласно с принятыми у всех народов правилами, он с удивлением узнал, что какой-то изменник уже сообщил общественному врагу постановления Тайного Совета — те секретные постановления, которых (по словам Приска)

не следовало бы разоблачать даже перед богами. Вследствие его отказа подчиниться таким унижительным требованиям императорскому послу было приказано немедленно отправиться домой; это приказание было отменено, затем еще раз повторено, и гунны не раз возобновляли эти бесплодные попытки сломить терпеливое упорство Максимиана. В конце концов благодаря посредничеству Онегезиева брата Скотты, дружба которого была приобретена щедрыми подарками, Максимин был допущен в присутствие царя; но, вместо того чтобы получить какой-нибудь решительный ответ, был вынужден предпринять далекое путешествие на север для того, чтобы Атила мог удовлетворить свою гордость приемом в одном и том же лагере и послов Восточной империи, и послов Западной. Его поездкой руководили проводники, которые заставляли его то останавливаться, то ускорять свое движение вперед, то уклоняться в сторону от прямой дороги, сообразно с тем, как это было угодно царю. Римляне полагали, что, когда они проезжали через равнины Венгрии, им приходилось переправляться через несколько судоходных рек или в лодках, или на шлюпках, которые переносились на руках; но есть основание подозревать, что извилистое течение Тиссы, или Тибиска, встречалось ими несколько раз под различными названиями. Из соседних деревень им постоянно доставлялись обильные запасы провианта — мед вместо вина, пшено вместо хлеба и какой-то напиток, который назывался самиг и, по словам Приска, выкуривался из ячменя. Такая пища, вероятно, казалась грубой и невкусной тем, кто привык к столичной роскоши; но среди этих временных лишений послы находили утешение в любезности и гостеприимстве тех самых варваров, которые были так страшны и беспощадны на войне. Они расположились лагерем на краю обширного болота. Сильная буря с вихрем и дождем, с громом и молнией опрокинула их палатки, залила их багаж и домашнюю утварь и рассеяла их свиту, которая бродила среди ночного мрака, сбившись с дороги и опасаясь какой-нибудь беды, пока ее жалобные крики не были услышаны жителями соседней деревни, принадлежавшей вдове Бледы. Услужливые поселяне осветили им путь и зажгли костер, около которого они могли согреться; не только нужды, но все малейшие желания римлян были предупредительно удовлетворены, и их смутила странная любезность вдовы Бледы, приславшей им если не в подарок, то по меньшей мере для временного пользования достаточное число красивых и услужливых девушек. Следующий день послы употребили на отдых; они собрали и высушили свой багаж, освежили силы прислуги и лошадей, а вечером, перед выступлением в дальнейший путь, выразили щедрой владелице селения свою признательность тем, что прислали ей в подарок серебряные чаши, выкрашенную в красный цвет шерсть, сухие фрукты и индийский перец. Вскоре после этого приключения они догнали свиту Атилы, с которым не имели никакой связи в течение почти шести дней, и затем стали медленно подвигаться к столице такой империи, на которой не встречалось ни одного города на протяжении нескольких тысяч миль.

Из неясных и сбивчивых географических сведений, доставленных нам Приском, можно заключить, что эта столица находилась между Дунаем, Тиссой и Карпатскими горами в равнинах Верхней Венгрии и, скорее всего, неподалеку от Язберина, Атрии или Токая. В своем первоначальном виде это, вероятно, было не что иное, как случайно раскинутый лагерь, который вследствие продолжительного и частого пребывания Атилы постепенно разросся в большое селение для помещения его двора, состоявших при его особе войск

и пестрой толпы частью праздных, частью деятельных рабов и прислужников. Там не было ни одного каменного здания, кроме построенных Онегезием бань, для которых были доставлены материалы из Паннонии; а так как в окрестностях не было крупного строевого леса, то следует полагать, что здания, служившие жилищами для низшего люда, строились из соломы, глины или хвороста. Деревянные жилища более знатных гуннов были построены и убраны с грубым великолепием, смотря по рангу, состоянию или вкусу владельцев. Они были расположены в некотором порядке и с симметрией, и занимаемое ими место считалось тем более почетным, чем ближе оно было к жилищу монарха. Дворец Аттилы, превосходивший своими размерами все другие здания, был весь построен из дерева и покрывал большое пространство. Внешней оградой служила высокая стена или забор, сделанный из обтесанных четырехугольных бревен и пересекавшийся высокими башнями, предназначенными не столько для обороны, сколько для украшения. Внутри этой стены, опоясывавшей скат холма, было множество различных деревянных зданий, приспособленных к царским нуждам. Каждая из многочисленных жен Аттилы имела отдельный дом, и, вместо того чтобы томиться в суровом затворничестве, которому азиаты подвергают своих жен из ревности, они любезно принимали римских послов в своем обществе, приглашали их на обеды и даже дарили их невинными поцелуями. Когда Максимин был принят главной царицей Черкой для поднесения ей подарков, он восхищался странной архитектурой ее дома, вышиной круглых колонн, размерами и красотой украшений из резного, точеного или полированного дерева и его внимательные взоры были способны подметить некоторый вкус в убранстве и некоторую правильность в размерах. Пройдя мимо стоявшей у дверей стражи, посланники вступили во внутренние апартаменты Черки. Жена Аттилы приняла их сидя, или, вернее, лежа, на мягкой софе; пол был покрыт коврами; прислуга стояла вокруг царицы, а состоявшие при ней девушки сидели на полу, занимаясь различными вышиваниями, которые служили украшением для одеяний варварских воинов. Гунны из честолюбия выставляли на вид те богатства, которые были плодом или доказательством их побед: на сбруе их лошадей, на их мечях и даже на их обуви были украшения из золота и драгоценных камней, а на их столах были расставлены тарелки, стаканы и сосуды, сделанные греческими мастерами из золота и серебра. Один монарх из гордости придерживался простоты своих скифских предков. И одежда Аттилы, и его оружие, и сбруя его коня были просты, без всяких украшений и одного цвета. За царским столом напитки и кушанья подавались в деревянных чашах и на деревянных блюдах; мясо было его единственной пищей, и роскошь завоевателя севера никогда не доходила до употребления хлеба.

Когда Аттила в первый раз давал римским послам аудиенцию на берегах Дуная, его палатка была наполнена многочисленной стражей. Сам монарх сидел на деревянном стуле. Его суровый вид, гневные жесты и звучащее в голосе раздражение поразили мужественного Максимиана удивлением; но Вигилий имел более оснований дрожать от страха, когда услышал из уст царя угрозу, что если бы Аттила не уважал международных законов, он распял бы на кресте вероломного переводчика и оставил бы его труп на съедение ястребам. Варварский монарх сообразовался предъявить тщательно составленный список, которым доказывалась наглая ложь Вигилия, утверждавшего, что нельзя было отыскать более семнадцати дезертиров. Но он высокомерно за-

явил, что опасался лишь одного унижения — необходимости вступать в борьбу с беглыми рабами, так как презирал их бессильные старания защищать вверенные их оружию Феодосиевы провинции. «Разве на обширном пространстве Римской империи, — присовокупил Аттила, — найдется такая крепость или такой город, который мог бы положиться на свою безопасность и считать себя неприступным в том случае, если бы я захотел стереть его с лица земли?» Впрочем, он отпустил переводчика, который отправился обратно в Константинополь с решительным от имени Аттилы требованием возвратить всех беглецов и прислать более блестящее посольство. Гнев Аттилы постепенно стих, а домашнее счастье, которое он вкусил благодаря отпразднованному на пути бракосочетанию с дочерью Эслама, вероятно, смягчило природную свирепость его характера. Въезд Аттилы в его царскую деревню ознаменовался очень оригинальной церемонией. Многочисленная толпа женщин вышла навстречу к своему герою и царю. Они вышли впереди его длинными и правильными рядами; промежутки между этими рядами были прикрыты покрывалами из тонкого полотна, которые поддерживались с обеих сторон поднятыми кверху руками женщин и составляли нечто вроде балдахина над хором молодых девушек, распевавших гимны и стихотворения на скифском языке. Жена царского фаворита Онегезия в сопровождении своей женской прислуги приветствовала Аттилу у дверей своего дома, в то время как он направлялся ко дворцу, и по местному обычаю выразила ему почтительную преданность тем, что предложила ему отведать приготовленных для его приема вина и мяса. Лишь только монарх милостиво принял ее гостеприимное предложение, его слуги подняли небольшой серебряный столик на одну вышину с его лошадью; Аттила поднес ко рту стакан с вином, еще раз поклонился жене Онегезия и поехал далее. Во время своего пребывания в столице империи он не тратил своего времени на праздное затворничество в серале; напротив, царь гуннов был в состоянии поддерживать свое достоинство, не скрывая свою особу от глаз публики. Он часто созывал своих приближенных на совещания и давал аудиенции послам, а его подданные могли обращаться к его суду, который он совершал в определенные эпохи перед главным входом в свой деревянный дворец. Римские послы, и восточные, и западные были два раза приглашены на банкеты, на которых Аттила угощал скифских князей и вельмож. Максимин и его сотоварищи были остановлены на пороге, пока не совершили благоговейного возлияния вина за здоровье и благополучие царя гуннов, и после этой церемонии были отведены на свои места в обширной зале. Царский стол и царское ложе, покрытые коврами и тонким холстом, были поставлены в середине залы, на возвышении в несколько ступенек; один из его сыновей и один из его дядей или, может быть, один из его любимых князей разделяли с Аттилой его простой обед. Два ряда маленьких столиков, за каждым из которых могли поместиться трое или четверо гостей, были в порядке расставлены по обеим сторонам; правая сторона считалась самой почетной, но римляне откровенно сознавались, что их посадили по левую сторону и что какой-то неизвестный вождь по имени Верик, который, скорее всего, был родом гот, имел первенство над представителями Феодосия и Валентиниана. Варварский монарх принял от своего виночерпия кубок с вином и провозгласил тост за самого знатного из гостей, который встал со своего места и выразил таким же способом свои верноподданнические и почтительные пожелания. Такая же церемония была исполнена в честь каждого из гостей или по меньшей мере в честь самых знатных из

них, и на это, должно быть, потребовалось много времени, так как все это повторялось три раза при каждой перемене кушаний. Но вино оставалось на столе после того, как были унесены мясные блюда, и гунны удовлетворяли свою страсть к спиртным напиткам долго после того, как воздержные и скромные послы двух империй покинули это ночное пиршество. Однако до своего ухода они имели случай видеть, чем развлекаются гунны на своих пирушках. Два скифа подошли к ложу Аттилы и стали декламировать стихи, которые они сочинили для прославления его храбрости и его побед. В зале царствовало глубокое молчание; внимание гостей было поглощено вокальной гармонией, которая освежала и увековечивала в их памяти воспоминание об их собственных подвигах; воинственный пыл блестел в глазах воинов, горевших нетерпением сразиться, а слезы стариков выражали их благородное отчаяние, что они уже не могут участвовать ни в опасностях, ни в славе сражений. За развлечениями, которые можно было считать школой воинских доблестей, следовал фарс, унижительный для человеческого достоинства. Один мавританский и один скифский буфон поочередно смешили грубых зрителей своими уродливыми лицами, странной одеждой, забавным кривляньем, нелепой болтовней и непонятным смешиванием языков латинского, готского и гуннского. Вся зала оглашалась громкими и неудержимыми взрывами хохота. Среди этого гвалта лицо одного Аттилы неизменно сохраняло свое серьезное выражение, пока не вошел в комнату младший из его сыновей по имени Ирнак; он обнял юношу с отцовской нежностью, ласково потрепал его по щеке и обнаружил свою пристрастную к нему привязанность, основанную на уверении прорицателей, что Ирнак будет опорой и его семейства, и его империи. Через два дня после того послы получили вторичное приглашение и на этот раз имели основание восхвалять не только гостеприимство, но и вежливость Аттилы. Царь гуннов вступил в продолжительный и интимный разговор с Максиминим; но его любезности перемешивались с грубыми выражениями и высокомерными упреками, и он с неприличным усердием поддерживал из личных расчетов притязания своего секретаря Констанция. «Император, — говорил Аттила, — давно уже обещал ему богатую жену; Констанций не должен быть обманут в своих ожиданиях, а римский император не должен никому давать права назвать его лгуном». На третий день послов отпустили; вследствие их настоятельных просьб нескольким пленникам была дана свобода за умеренный выкуп, и, помимо царских подарков, им было позволено принять от каждого из скифских вельмож почетный и полезный подарок — коня. Максимин возвратился в Константинополь той же дорогой, по которой приехал, и, хотя между ним и новым послом Аттилы Бериком произошла случайная размолвка, он ласкал себя надеждой, что его тяжелая поездка упорчила мир и союз между двумя нациями.

Заговор римлян против Аттилы. 448 г.

Но римский посол ничего не знал о коварном замысле, который скрывался под личиной официальных переговоров. Удивление и удовольствие, которые испытал Эдекон при виде великолепия Константинополя, дали переводчику Вигилию смелость устроить для него тайное свидание с евнухом Хризафием, который управлял и императором, и империей. После предварительного обмена мыслями и взаимного клятвенного обещания хранить разговор в тайне евнух, не почерпнувший высоких понятий об обязанностях министра ни из своего собственного сердца, ни из опыта, решился заговорить об умерщвлении

Аттилы как о такой важной услуге, за которую Эдекон был бы награжден в значительном размере теми богатствами и роскошью, которыми он так восхищался. Посол гуннов выслушал это соблазнительное предложение и с притворным усердием заявил и о своей способности, и о своей готовности совершить это злодеяние; об этом замысле было сообщено министру двора, и благочестивый Феодосий дал свое согласие на умерщвление его непобедимого врага. Но притворство или раскаяние Эдекона расстроило все дело, и хотя он, быть может, преувеличивал свое отвращение к изменническому предприятию, которое сначала, по-видимому, одобрял, он очень ловко поставил себе в заслугу скорое и добровольное сознание своей вины. Если мы теперь вникнем во все подробности, относящиеся к посольству Максимиана и к поведению Аттилы, мы должны будем похвалить варвара, который уважал законы гостеприимства и великодушно принял и отпустил представителя такого монарха, который готовил покушение на его жизнь. Но опрометчивость Вигилия покажется еще более удивительной, когда мы скажем, что, несмотря на сознание своей виновности и угрожавшей ему опасности, он возвратился в царский лагерь в сопровождении своего сына и привез с собою набитый золотом кошелек, который был дан ему любимым евнухом для того, чтобы удовлетворить требования Эдекона и подкупить телохранителей. Переводчик был тотчас схвачен и приведен перед трибунал Аттилы; там он отстаивал свою невинность с необыкновенной твердостью до тех пор, пока угроза подвергнуть его сына смертной казни не заставила его чистосердечно сознаться в его преступном замысле. Жадный царь гуннов принял под видом выкупа или конфискации двести фунтов золота за помилование изменника, к которому он относился с таким презрением, что даже не считал нужным его казнить. Он направил свое основательное негодование на более знатного виновного. Его послы Эслав и Орест были немедленно отправлены в Константинополь с положительными инструкциями, которые было более безопасно исполнить, чем нарушить. Они смело явились к императору с роковым кошельком, висевшим на шее Ореста, который обратился к стоявшему подле императорского трона евнуху Хризафию с вопросом, узнает ли он это доказательство своего преступного намерения. Но обязанность сделать выговор самому императору была возложена на более высокого по своему рангу Эслава, который обратился к Феодосию со следующими словами: «Феодосий — сын знатного и почтенного отца; Аттила также знатного происхождения и умел поддерживать своим поведением достоинство, унаследованное от его отца Мундзука. Но Феодосий унизил достоинство своих предков и, согласившись на уплату дани, низвел самого себя до положения раба. Поэтому он должен был уважать человека, поставленного выше его и фортуной, и личными достоинствами, а не составлять, как какой-нибудь презренный раб, заговоры против жизни своего повелителя». Сын Аркадия, слух которого привык только к голосу лести, с удивлением выслушал суровый голос истины; он покраснел от стыда, задрожал от страха и не осмелился решительно отказать в казни Хризафия, которой настоятельно требовали Эслав и Орест согласно с данными им инструкциями. Торжественное посольство, снабженное всеми нужными полномочиями и великолепными подарками, было торопливо отправлено к Аттиле для того, чтобы смягчить его гнев, а гордость царя гуннов была польщена выбором двух министров консульского и патрицианского ранга, Номия и Анатолия, из которых один был главным казначеем, а другой главным начальником восточных армий. Он соблаговолил выехать навстречу к этим послам к берегу реки Дренко и, хотя сначала держал себя сурово и высо-

комерно, но его раздражение постепенно стихло благодаря их красноречию и щедрости. Он согласился простить императора, евнуха и переводчика, дал клятвенное обещание исполнять мирные условия, отпустил на волю множество пленников, оставил беглецов и дезертиров на произвол судьбы и отказался от лежавшей на юге от Дуная обширной территории, которая уже была совершенно опустошена гуннами и покинута жителями. Но этот договор был куплен такими денежными пожертвованиями, которых было бы достаточно для ведения энергичной и успешной войны, и подданные Феодосия были обложены за спасение жизни недостойного фаворита обременительными налогами, которые уплачивались бы ими более охотно за его казнь.

Смерть Феодосия Младшего. 450 г.

Император Феодосий не надолго пережил самое позорное происшествие его бесславной жизни. В то время как он ездил верхом или охотился в окрестностях Константинополя, лошадь сбросила его в реку Лик; он повредил при падении спинной хребет и через несколько дней после того умер на пятидесятом году жизни и на сорок третьем году своего царствования. Его сестра Пульхерия, подчинявшаяся и в делах гражданского, и в делах церковного управления пагубному влиянию евнухов, была единодушно провозглашена восточной императрицей, и римляне в первый раз подчинились владычеству женщины. Тотчас после своего вступления на престол Пульхерия удовлетворила и свое собственное, и публичное негодование актом справедливости. Евнух Хризафий был казнен перед городскими воротами без всякого судебного разбирательства, а накопленные этим жадным фаворитом громадные богатства послужили лишь к тому, что ускорили и оправдали его казнь. Среди радостных приветствий духовенства и народа императрица не забыла, какие существуют в обществе предубеждения против лиц ее пола, и благоразумно решила предупредить общий ропот выбором такого товарища, который всегда уважал бы более высокий ранг своей супруги и ее девственное целомудрие. Ее выбор пал на сенатора Маркиана, которому было около шестидесяти лет, и этот номинальный супруг Пульхерии был торжественно облечен в императорскую порфиру. Усердие, с которым Маркиан поддерживал православные верования в том виде, как они были установлены Халкедонским собором, уже само по себе должно было вызывать со стороны католиков признательность и одобрение. Но поведение Маркиана и в частной жизни, и впоследствии в императорском звании дает право думать, что он был способен поддерживать и укрепить империю, почти совершенно развалившуюся от слабодушия двух царствовавших один вслед за другим наследственных монархов. Он родился во Фракии и посвятил себя военной профессии; но в своей молодости Маркиан много терпел от нужды и огорчений, так как все его денежные средства состояли, когда он в первый раз прибыл в Константинополь, из двухсот золотых монет, которые он занял у одного приятеля. Он провел девятнадцать лет на домашней и военной службе при Аспаре и его сыне Ардабурии, сопровождал этих даровитых генералов в войнах персидской и африканской и благодаря их влиянию получил почетное звание трибуна и сенатора. Его мягкий характер и полезные дарования, не возбуждая зависти в его покровителях, доставили ему их уважение и дружеское расположение; он видел и, быть может, испытал на самом себе злоупотребления продажной и притеснительной администрации, и его собственный пример придавал вес и силу тем законам, которые он издал для исправления нравов.

**Вторжение Атиллы в Галлию. — Он отражен
Аэцием и визиготами. — Атила вторгается в Италию
и очищает ее. — Смерть Атиллы, Аэция
и Валентиниана III.
(419–455 гг.)**

Глава 18 (XXXV)

Маркиан держался того мнения, что войн следует избегать, пока есть возможность сохранять надежный мир без унижения своего достоинства, но он вместе с тем был убежден, что мир не может быть ни почетным, ни прочным, если монарх обнаруживает малодушное отвращение к войне. Это сдержанное мужество и внушило ему ответ, данный на требования Атиллы, который нагло торопил его с уплатой дани. Император объявил варварам, что они впредь не должны оскорблять достоинство Рима употреблением слова «дань», что он готов с надлежащей щедростью награждать своих союзников за их преданность, но что, если они позволят себе нарушать общественное спокойствие, они узнают по опыту, что у него есть достаточно и войск, и оружия, и мужества, чтобы отразить их нападения. Таким же языком выражался, даже в лагере гуннов, его посол Аполлоний, смело отказавшийся от выдачи подарков, пока не будет допущен до личного свидания с Атилой, и обнаруживший по этому случаю такое сознание своего достоинства и такое презрение к опасности, каких Атила никак не мог ожидать от выродившихся римлян. Атила грозил, что накажет опрометчивого Феодосиева преемника, но колебался, на которую из двух империй прежде всего направить свои неотразимые удары. В то время как человечество с трепетом ожидало его решения, он отправил ко дворам равеннского и константинопольского послов, которые обратились к двум императорам с одним и тем же высокомерным заявлением: «И мой, и твой повелитель Атила приказывает тебе немедленно приготовить дворец для его приема». Но так как варварский монарх презирал или делал вид, что презирает, восточных римлян, которых так часто побеждал, то он скоро объявил о своей решимости отложить легкое завоевание до тех пор, пока не доведет до конца более блестящего и более важного предприятия. Когда гунны вторгались в Галлию и в Италию, их естественным образом влекли туда богатство и плодородие тех провинций; но мотивы, вызвавшие нашествие Атиллы, можно объяснить лишь тем положением, в котором находилась Западная империя в царствование Валентиниана или, выражаясь с большей точностью, под управлением Аэция.

После смерти своего соперника Бонифация Аэций из предосторожности удалился к гуннам и был обязан им помощью и личной безопасностью, и тем, что власть снова перешла в его руки. Вместо того чтобы выражаться умоляющим тоном преступного изгнанника, он стал просить помилования, став во главе шестидесяти тысяч варваров, а императрица Плацидия доказала слабос-

тью своего сопротивления, что ее снисходительность должна быть приписана не милосердию, а ее бессилию и страху. Она отдала и себя, и своего сына Валентиниана, и всю Западную империю в руки дерзкого подданного и даже не была в состоянии оградить Бонифациева зятя, добродетельного и преданного ей Себастьяна, от неумолимого преследования, которое заставило его переходить из одной провинции в другую до тех пор, пока он не лишился жизни на службе у вандалов. Счастливый Аэций, немедленно вслед за тем возведенный в звание патриция и три раза удостоившийся отличий консульского звания, был назначен главным начальником кавалерии и пехоты и сосредоточил в своих руках всю военную власть; а современные писатели иногда давали ему титул герцога или военачальника западных римлян. Скорее из благоразумия, чем из сознания своего долга, он оставил порфиру на плечах Феодосиева внука, так что Валентиниан мог наслаждаться в Италии спокойствием и роскошью, в то время как патриций выдвигался вперед во всем блеске героя и патриота, в течение почти двадцати лет поддерживавшего развалины Западной империи. Готский историк простодушно утверждает, что Аэций был рожден для спасения Римской республики, а следующий портрет хотя и нарисован самыми привлекательными красками, тем не менее, как кажется, содержит в себе более правды, чем лести. «Его мать была богатая и знатная итальянка, а его отец Гауденций, занимавший выдающееся место в скифской провинции, постепенно возвысился из звания военного слуги до должности начальника кавалерии. Их сын, почти с самого детства зачисленный в гвардию, был отдан в качестве заложника сначала Алариху, а потом гуннам и постепенно достиг при дворе гражданских и военных отличий, на которые ему давали право его высокие личные достоинства. Обладая приятной наружностью, Аэций был небольшого роста, но его сложение вполне отвечало требованиям физической силы, красоты и ловкости, и он отличался особенным искусством в воинских упражнениях — в верховой езде, стрельбе из лука и метании дротика. Он мог терпеливо выносить лишение пищи и сна, и как его ум, так и его тело были одинаково способны к самым напряженным усилиям. Он был одарен тем неподдельным мужеством, которое способно презирать не только опасности, но и обиды, а непоколебимую честность его души нельзя было ни подкупить, ни ввести в заблуждение, ни застрашать». Варвары, поселившиеся в западных провинциях на постоянное жительство, постепенно привыкли уважать добросовестность и мужество патриция Аэция. Он укрощал их страсти, применялся к их предрассудкам, взвешивал их интересы и сдерживал их честолюбие. Своевременно заключенный им с Гензерихом мирный договор предохранил Италию от нашествия вандалов; независимые британцы молили его о помощи и признавали всю цену оказанного им покровительства; в Галлии и в Испании императорская власть была восстановлена, и он заставил побежденных им на поле брани франков и свевов сделаться полезными союзниками республики.

И из личных интересов, и из признательности он старательно поддерживал дружеские отношения с гуннами. В то время как он жил в их палатках в качестве заложника и в качестве изгнанника, он был в близких отношениях с племянником своего благодетеля, самим Атилией; эти два знаменитых антагониста, как кажется, были связаны узами личной дружбы и военного товарищества, которые были впоследствии скреплены обоюдными подарками, частыми посольствами и тем, что сын Аэция Карпилион воспитывался в лагере Атили. Изъявлениями своей признательности и искренней привязанности патриций старался прикрывать опасения, которые внушал ему

скифский завоеватель, угрожавший обеим империям своими бесчисленными армиями. Требования Атилы Аэций или удовлетворял, или устранял под благовидными предложениями. Когда тот заявил свои притязания на добычу завоеванного города, — на какие-то золотые сосуды, захваченные обманном образом, — гражданский и военный губернаторы Норика были немедленно командированы с поручением удовлетворить его желания, а из разговора, происходившего у них в царской деревне с Максимином и Приском, видно, что ни мужество, ни благоразумие Аэция не спасли западных римлян от позорной необходимости уплачивать дань. Впрочем, изворотливая политика Аэция продлила пользование выгодами мира, а многочисленная армия гуннов и аланов, которым он успел внушить личную к себе привязанность, помогала ему в обороне Галлии. Две колонии этих варваров он предусмотрительно поселил на территории Валенсии и Орлеана, а их ловкая кавалерия оберегала важные переправы через Рону и Луару. Правда, эти варварские союзники были не менее страшны для подданных Рима, чем для его врагов. Они расширяли свои первоначальные поселения путем необузданных насилий, а провинции, через которые они проходили, терпели все бедствия неприятельского нашествия. Не имея ничего общего ни с императором, ни с республикой, поселившиеся в Галлии аланы были преданы лишь честолюбивому Аэцию, и, хотя он мог опасаться, что в случае борьбы с самим Атилой они снова станут под знамя своего национального повелителя, патриций старался не разжигать, а сдерживать их ненависть к готам, бургундам и франкам.

Визиготы в Галлии. 419–451 гг.

Королевство, основанное визиготами в южных провинциях Галлии, постепенно окрепло и упрочилось, а поведение этих честолюбивых варваров как в мирное, так и в военное время требовало постоянной бдительности со стороны Аэция. После смерти Валлии готский скипетр перешел к сыну великого Алариха Теодориху, а благополучное, продолжавшееся более тридцати лет царствование Теодориха над буйным народом может быть принято за доказательство того, что его благоразумие опиралось на необычайную энергию, и умственную и физическую. Не довольствуясь тесными пределами своих владений, Теодорих пожелал присоединить к ним богатый центр управления и торговли — Арль, но этот город был спасен благодаря благовременному приближению Аэция; а после того как готский царь был вынужден снять осаду не без потерь и не без позора, его убедили принять приличную субсидию с тем условием, что он направит воинственный пыл своих подданных на войну в Испании. Тем не менее Теодорих выжидал благоприятную минуту для возобновления своей попытки и, лишь только она представилась, немедленно ею воспользовался. Готы осадили Нарбонну, между тем как бельгийские провинции подверглись нападению бургундов, и можно бы было подумать, что враги Рима сговорились одновременно напасть на империю со всех сторон. Но деятельность Аэция и его скифской кавалерии оказала со всех сторон мужественное и успешное сопротивление. Двадцать тысяч бургундов легли на поле сражения, и остатки этой нации смиренно согласились поселиться среди гор Савойи в зависимости от императорского правительства. Стены Нарбонны сильно пострадали от осадных машин, и жители уже были доведены голодом до последней крайности, когда граф Литорий неожиданно подошел к городу и, приказав каждому кавалеристу привязать к седлу по два

мешка муки, пробился сквозь укрепления осаждающих. Готы немедленно сняли осаду и лишились восьми тысяч человек в более решительном сражении, успех которого приписывался личным распоряжениям самого Аэция. Но в отсутствие патриция, торопливо отозванного в Италию какими-то общественными или личными интересами, главное начальство перешло к графу Литорию; его самоуверенность скоро доказала, что для ведения важных военных действий требуются совершенно иные дарования, чем для командования кавалерийским отрядом. Во главе армии гуннов он опрометчиво приблизился к воротам Тулузы с беспечным пренебрежением к такому противнику, который научился в несчастях осмотрительности и находился в таком положении, что был доведен до отчаяния. Предсказания авгуров внушили Литорию нечестивую уверенность, что он с триумфом вступит в столицу готов, а доверие его языческим союзникам побудило его отвергнуть выгодные мирные условия, которые были неоднократно предложены ему епископами от имени Теодориха. Король готов, напротив, выказал в этом бедственном положении христианское благочестие и умеренность и только для того, чтобы готовиться к бою, отложил в сторону свою власяницу и пепел, которым посыпал свою голову. Его солдаты, воодушевившись и воинственным, и религиозным энтузиазмом, напали на лагерь Литория. Борьба была упорна, и потери были значительны с обеих сторон. После полного поражения, которое могло быть приписано только его неспособности и опрометчивости, римский генерал действительно прошел по улицам Тулузы, но не победителем, а побежденным; а бедствия, испытанные им во время продолжительного нахождения в позорном плену, возбуждали сострадание даже в варварах. В стране, давно уже истощившей и свое мужество, и свои финансы, было нелегко загладить такую потерю, и готы, в свою очередь воодушевившиеся честолюбием и жадной мщеньем, водрузили бы свои победоносные знамена на берегах Роны, если бы присутствие Аэция не ободрило римлян и не восстановило среди них дисциплину. Обе армии ожидали сигнала к решительной битве, но каждый из главнокомандующих сознавал силу своего противника и не был уверен в своем собственном превосходстве; поэтому они благоразумно вложили свои мечи в ножны на самом поле сражения, и их примирение было прочным и искренним. Король визиготов Теодорих, как кажется, был достоин любви своих подданных, доверия своих союзников и уважения человеческого рода. Его трон был окружен шестью храбрыми сыновьями, с одинаковым старанием изучавшими и упражнения варварского лагеря, и то, что преподавалось в галльских школах: изучение римской юриспруденции познакомило их, по меньшей мере, с теорией законодательства и отправления правосудия, а чтение гармонических стихов Вергилия смягчило врожденную суровость их нравов. Две дочери готского короля были выданы замуж за старших сыновей тех королей свевов и вандалов, которые царствовали в Испании и в Африке; но эти блестящие браки привели лишь к преступлениям и к раздорам. Королеве свевов пришлось оплакивать смерть мужа, безжалостно убитого ее братом. Вандальская принцесса сделалась жертвой недоверчивого тирана, которого она называла своим отцом. Жестокосердый Гензерих заподозрил жену своего сына в намерении отравить его; за это воображаемое преступление она была наказана тем, что у нее отрезали нос и уши, и несчастная дочь Теодориха была с позором отправлена назад в Тулузу в этом безобразном виде. Этот бесчеловечный поступок, который показался бы неподобающим в цивилизованном веке, вызывал слезы из глаз каждого зрителя;

но Теодорих и как отец, и как царь захотел отомстить за такое непоправимое зло. Императорские министры, всегда радовавшиеся раздорам между варварами, охотно снабдили бы готов оружием, кораблями и деньгами для африканской войны, и жестокосердие Гензериха могло бы оказаться губительным для него самого, если бы хитрый вандал не привлек на свою сторону грозные силы гуннов. Его богатые подарки и настоятельные просьбы разожгли честолюбие Атилы, и вторжение в Галлию помешало Аэцию и Теодориху привести в исполнение их намерения.

Франки в Галлии при Меровингах

Франки, до тех пор еще не успевшие расширить пределов своей монархии далее окрестностей Нижнего Рейна, имели благоразумие упрочить за знатным родом Меровингов наследственное право на престол. Монархов поднимали на щите, который был символом военачальства, а обыкновение носить длинные волосы было отличительным признаком их знатного происхождения и звания. Их тщательно расчесанные белокурые локоны развевались над спиной и плечами, между тем как все их подданные были обязаны в силу или закона, или обычая выбривать свои затылки, зачесывать волосы наперед и довольствоваться ношением небольших усиков. Высокий рост франков и их голубые глаза обнаруживали их германское происхождение; их узкое платье обрисовывало формы их тела; они носили тяжелый меч, висевший на широкой перевязи, и прикрывали себя большим щитом; эти воинственные варвары с ранней молодости учились бегать, прыгать и плавать, учились с удивительной меткостью владеть дротиком или боевой секирой, не колеблясь нападать на более многочисленного неприятеля и, даже умирая, поддерживать воинскую репутацию своих предков. Первый из их длинноволосых королей, Клодион, имя и подвиги которого имеют историческую достоверность, имел постоянное местожительство в Диспаргуме — деревне или крепости, находившейся, по всему вероятно, между Лувеном и Брюсселем. От своих шпионов король франков узнал, что вторая Бельгия при своем беззащитном положении не будет в состоянии отразить самое слабое нападение его храбрых подданных. Он отважно проник сквозь чащу и болота Карбонарийского леса, занял Дорник и Камбрэ — единственные города, существовавшие там в пятом столетии, — и распространил свои завоевания до реки Соммы, над безлюдной местностью, которая только в более позднее время была возделана и населена. В то время как Клодион стоял лагерем на равнинах Артуа и праздновал с тщеславной беззаботностью чье-то бракосочетание, — быть может, бракосочетание своего сына, — свадебное пиршество было прервано неожиданным и неуместным появлением Аэция, перешедшего через Сомму во главе своей легкой кавалерии. Столы, расставленные под прикрытием холма вдоль берегов живописной речки, были опрокинуты; франки были смяты, прежде чем успели взяться за оружие и выстроиться для битвы, и их бесполезная храбрость оказалась губительной лишь для них самих. Следовавший за ними обоз доставил победителю богатую добычу, а случайности войны отдали невесту и окружавших ее девушек в руки новых любовников. Этот успех, достигнутый Аэцием благодаря его искусству и предприимчивости, мог бы набросить некоторую тень на воинскую предусмотрительность Клодиона, но король франков скоро восстановил свои силы и свою репутацию и удержал за собой обладание галльским королевством от берегов Рейна до берегов Соммы. В его царствование, наверное, из-за неусидчивого характера его подданных три сто-

лицы — Майнц, Трир и Кельн — испытали на себе вражеское жестокосердие и алчность. Бедственное положение Кельна продолжалось довольно долго вследствие того, что он оставался под властью тех самых варваров, которые удалились из разрушенного Трира, а Трир, в течение сорока лет подвергшийся четыре раза осаде и разграблению, старался заглушить воспоминание о пережитых бедствиях пустыми развлечениями цирка. После смерти Клодиона, царствовавшего двадцать лет, его королевство сделалось театром раздоров и честолюбия двух его сыновей. Младший из них, Мервей, стал искать покровительства Рима; он был принят при императорском дворе как союзник Валентиниана и как приемный сын патриция Аэция и возвратился на родину с великолепными подарками и с самыми горячими уверениями в дружбе и в готовности оказать ему помощь. Его старший брат в его отсутствие искал с таким же рвением помощи Атилы, и царь гуннов охотно вступил в союз, облегчавший ему переправу через Рейн и доставлявший ему благовидный предлог для вторжения в Галлию.

Когда Атила объявил о своей готовности вступить за своих союзников вандалов и франков, этот варварский монарх, увлекаясь чем-то вроде романтического рыцарства, в то же время выступил в качестве любовника и втиязя принцессы Гонории. Сестра Валентиниана воспитывалась в равеннском дворце, а так как ее вступление в брак могло в некоторой мере грозить опасностью для государства, то ей был дан титул Августы для того, чтобы никто из подданных не осмеливался заявлять притязаний на ее сердце. Но едва успела прекрасная Гонория достигнуть пятнадцати лет, как ей стало невыносимо докучливое величие, навсегда лишавшее ее наслаждений искренней сердечной привязанности; Гонория томилась тоской среди тщеславной и не удовлетворявшей ее роскоши и наконец, отдавшись своим естественным влечениям, бросилась в объятия своего камергера Евгения. Признаки беременности скоро обнаружили тайну ее вины и позора (такова нелепая манера выражаться, усвоенная деспотизмом мужчин); но бесчестье императорского семейства сделалось всем известным вследствие непредусмотрительности императрицы Плацидии, которая подвергла свою дочь строгому и постыдному затворничеству, а затем отправила ее в ссылку в Константинополь. Несчастливая принцесса провела лет двенадцать или четырнадцать в скучном обществе сестер Феодосия и их избранных подруг, не имея никакого права на украшавший их венец целомудрия и неохотно подражая монашескому усердию, с которым они молились, постились и присутствовали на всенощных бдениях. Соскучившись таким продолжительным и безвыходным безбрачием, она решилась на странный и отчаянный поступок. Имя Атилы было всем хорошо знакомо в Константинополе и на всех наводило страх, а часто приезжавшие гуннские послы постоянно поддерживали отношения между его лагерем и императорским двором. Своим любовным влечениям, или, вернее, своей жаждой мщения, дочь Плацидии принесла в жертву и свои обязанности, и свои предубеждения; она предпочла отдаться в руки варвара, который говорил на незнакомом ей языке, у которого была почти нечеловеческая наружность и к религии и нравам которого она питала отвращение. Через одного преданного ей евнуха она переслала Аттиле кольцо в залог своей искренности и настоятельно убеждала его предъявить на нее свои права как на свою законную невесту, с которой он втайне помолвлен. Однако эти непристойные заискивания были приняты холодно и с пренебрежением, и царь гуннов не переставал увеличивать число своих жен до тех пор, пока более сильные страсти —

честолюбие и корыстолюбие — не внушили ему любовного влечения к Гонории. Формальное требование руки принцессы Гонории и полагающейся ей доли из императорских владений предшествовало вторжению в Галлию и послужило для него оправданием. Предшественники Атилы, древние танжу, нередко обращались с такими же высокомерными притязаниями к китайским принцессам, а требования царя гуннов были не менее оскорбительны для римского величия. Его послам был сделан решительный отказ, но в мягкой форме. Хотя в пользу наследственных прав женщин и можно бы было сослаться на недавние примеры Платидии и Пульхерии, эти права были решительно отвергнуты, и на притязания скифского любовника было отвечено, что Гонория уже связана такими узами, которые не могут быть расторгнуты. Когда ее тайные сношения с царем гуннов сделались известны, преступная принцесса была выслана из Константинополя в Италию как такая личность, которая может возбуждать лишь отвращение; ее жизнь пощадил, но после совершения брачного обряда с каким-то незнатным и номинальным супругом она навсегда была заключена в тюрьму, чтобы оплакивать там те преступления и несчастья, которых она избежала бы, если бы не родилась дочерью императора.

Атила вторгается в Галлию. 451 г.

Галльский уроженец и современник этих событий, ученый и красноречивый Сидоний, бывший впоследствии Клермонским епископом, обещал одному из своих друзей написать подробную историю войны, предпринятой Атилой. Если бы скромность Сидония не отняла у него смелости продолжать этот интересный труд, историк описал бы нам с безыскусственной правдивостью те достопамятные события, на которые поэт лишь вкратце намекал в своих неясных и двусмысленных метафорах. Цари и народы Германии и Скифии, от берегов Волги и, быть может, до берегов Дуная, отозвались на воинственный призыв Атилы. Из царской деревни, лежавшей на равнинах Венгрии, его знамя стало передвигаться к западу и, пройдя миль семьсот или восемьсот, он достиг слияния Рейна с Неккаром, где к нему присоединились те франки, которые признавали над собой власть его союзника, старшего из сыновей Клодиона. Легкий отряд варваров, бродя в поисках добычи, мог бы дожидаться зимы, чтобы перейти реку по льду; но для бесчисленной кавалерии гуннов требовалось такое громадное количество фуража и провизии, которое можно было добыть только в более мягком климате; Герцинианский лес доставил материалы для сооружения плавучего моста, и мириады варваров разлились с непреодолимой стремительностью по бельгийским провинциям. Всю Галлию объял ужас, а традиция прикрасила разнообразные бедствия, постигшие ее города, рассказами о мучениках и чудесах. Труа был обязан своим спасением заслугам Св. Лупа; Св. Серваций переселился в другой мир для того, чтобы не быть свидетелем разрушения Тонгерна, а молитвы Св. Женевиевы отклонили наступление Атилы от окрестностей Парижа. Но так как в галльских городах большей частью не было ни святых, ни солдат, то гунны осаждали их и брали приступом, а на примере Меца они доказали, что придерживались своих обычных правил войны. Они убивали без разбора и священников у подножия алтарей, и детей, которых епископ спешил окрестить ввиду приближавшейся опасности; цветущий город был предан пламени, и одинокая капелла в честь Св. Стефана обозначала то место, где он в ту пору находился. От берегов Рейна и Мозеля Атила проник в глубь Галлии,

перешел Сену подле Оксера и после продолжительного и трудного похода раскинул свой лагерь под стенами Орлеана. Он желал обеспечить свои завоевания приобретением выгодной позиции, господствующей над переправой через Луару, и полагался на тайное приглашение короля аланов Сангибана, обещавшего изменой выдать город и перейти под его знамя. Но этот заговор был открыт и не удался; вокруг Орлеана были возведены новые укрепления, и приступы гуннов были с энергией отражены храбрыми солдатами и гражданами, защищавшими город. Пастырское усердие епископа Аниана, отличавшегося первобытной святостью и необыкновенным благоразумием, направило все ухищрения религиозной политики на то, чтобы поддержать в них мужество до прибытия ожидаемой помощи. После упорной осады городские стены стали разрушаться от действия метательных машин; гунны уже заняли предместья, а те из жителей, которые были не способны носить оружие, проводили время в молитвах. Аниан, тревожно считавший дни и часы, отправил на городской вал надежного гонца с приказанием посмотреть, не виднеется ли что-нибудь вдали. Гонец возвращался два раза, не принося никаких известий, которые могли бы внушить надежду или доставить утешение, но в своем третьем донесении он упомянул о небольшом облачке, которое виднелось на краю горизонта. «Это помощь Божья!» — воскликнул епископ тоном благочестивой уверенности, и все присутствовавшие повторили вслед за ним: «Это помощь Божья!». Отдаленный предмет, на который были устремлены все взоры, принимал с каждой минутой более широкие размеры и становился более ясным; зрители стали постепенно различать римские и готские знамена, а благоприятный ветер, отнеся в сторону пыль, раскрыл густые ряды эскадронов Аэция и Теодориха, спешивших на помощь к Орлеану.

Легкость, с которой Атилла проник в глубь Галлии, может быть приписана столько же его вкрадчивой политике, сколько страху, который наводили его военные силы. Свои публичные заявления он искусно смягчал приватными заверениями и попеременно то успокаивал римлян и готов, то грозил им, а дворы, равеннский и тулузский, относившиеся один к другому с недоверием, смотрели с беспечным равнодушием на приближение их общего врага. Аэций был единственным охранителем общественной безопасности; но самые благоразумные из его распоряжений встречали помеху со стороны партии, господствовавшей в императорском дворце со смерти Плацидии; итальянская молодежь трепетала от страха при звуке военных труб, а варвары, склонявшиеся из страха или сочувствия на сторону Атиллы, ожидали исхода войны с сомнительной преданностью, всегда готовой продать себя за деньги. Патриций перешел через Альпы во главе войск, которые по своей силе и по своему числу едва ли заслуживали названия армии. Но когда он прибыл в Арль или в Лион, его смутило известие, что визиготы, отказавшись от участия в обороне Галлии, решились ожидать на своей собственной территории грозного завоевателя, которому они выказывали притворное презрение. Сенатор Авит, удалившийся в свои имения в Оверн после того, как с отличием исполнял обязанности преторианского префекта, согласился взять на себя важную роль посла, которую исполнил с искусством и успехом. Он поставил Теодориху на вид, что стремившийся к всемирному владычеству честолюбивый завоеватель может быть остановлен только при энергичном и единодушном противодействии со стороны тех государей, которых он замышлял низвергнуть. Полное огня красноречие Авита воспламенило готских воинов

описанием оскорблений, вынесенных их предками от гуннов, которые до сих пор с неукротимой яростью преследовали их от берегов Дуная до подножия Пиренеев. Он настоятельно доказывал, что на каждом христианине лежит обязанность охранять церкви Божьи и мощи святых от нечестивых посягательств и что в интересах каждого из поселившихся в Галлии варваров оберегать возделанные ими для своего пользования поля и виноградники от опустошения со стороны скифских пастухов. Теодорих преклонился перед очевидной основательностью этих доводов, принял меры, которые казались ему самыми благоразумными и согласными с его достоинством, и объявил, что в качестве верного союзника Аэция и римлян он готов рисковать и своей жизнью, и своими владениями ради безопасности всей Галлии. Визиготы, находившиеся в ту пору на вершине своей славы и своего могущества, охотно отозвались на первый сигнал к войне, приготовили свое оружие и коней и собрались под знаменем своего престарелого царя, который решился лично стать во главе своих многочисленных и храбрых подданных вместе со своими двумя старшими сыновьями, Торизмундом и Теодорихом. Примеру готов последовали некоторые другие племена или народы, сначала, по-видимому, колебавшиеся в выборе между готами и римлянами. Неутомимая деятельность патриция постепенно собрала под одно знамя воинов галльских и германских, которые когда-то признавали себя подданными или солдатами республики, а теперь требовали награды за добровольную службу и ранга независимых союзников; то были леты, арморикане, беоны, саксы, бургунды, сарматы, или аланы, ринуарии и те из франков, которые признавали Меровея своим законным государем. Таков был разнохарактерный состав армии, которая под предводительством Аэция и Теодориха подвигалась вперед форсированным маршем для выручки Орлеана и для вступления в бой с бесчисленными полчищами Атилы.

Битва при Шалоне

При приближении царь гуннов немедленно снял осаду и подал сигнал к отступлению для того, чтобы отозвать свои передовые войска, грабившие город, в который они уже успели проникнуть. Мужеством Атилы всегда руководило его благоразумие, а так как он предвидел пагубные последствия поражения в самом центре Галлии, то он обратно перешел через Сену и стал ожидать неприятеля на равнинах Шалона, которые, благодаря своей гладкой и плоской поверхности, были удобны для операций его скифской кавалерии. Но во время этого беспорядочного отступления авангард римлян и их союзников постоянно теснил поставленные Атилой в арьергарде войска, а по временам и вступал с ними в борьбу; среди ночной темноты колонны двух противников, вероятно, нечаянно сталкивались одна с другой вследствие сбивчивости дорог, а кровопролитное столкновение между франками и генидами, в котором лишились жизни пятнадцать тысяч варваров, послужило прелюдией для более общего и более решительного сражения. Окружавшие Шалон Каталаунские поля, простиравшиеся, по приблизительному вычислению Иорнанда, на сто пятьдесят миль в длину и на сто миль в ширину, обнимали всю провинцию, носящую в настоящее время название Шампани. Впрочем, на этой обширной равнине встречались местами неровности, и оба военачальника поняли важность одного возвышения, господствовавшего над лагерем Атилы, и оспаривали друг у друга обладание им. Юный и отважный Торизмунд первый занял его; готы уст-

ремились с непреодолимой силой на гуннов, старавшихся взобраться на него с противоположной стороны, и обладание этой выгодной позицией воодушевило и войска, и их вождя уверенностью в победе. Встревоженный Аттила обратился за советом к своим ауспициям. Рассказывают, будто ауспиции, рассмотрев внутренности жертв и оскобив их кости, предсказали ему в таинственных выражениях поражение и смерть его главного противника и что этот варвар, узнавши, какое его ожидает вознаграждение, невольно выразил свое уважение к высоким личным достоинствам Аэция. Но обнаружившийся между гуннами необыкновенный упадок духа заставил Аттилу прибегнуть к столь обычному у древних полководцев средству — к попытке воодушевить свою армию воинственной речью, и он обратился к ней с такими словами, какие были уместны в устах царя, так часто сражавшегося во главе ее и так часто одерживавшего победы. Он напомнил своим воинам об их прежних славных подвигах, об опасностях их настоящего положения и об их надеждах в будущем. Та же самая фортуна, говорил он, которая очистила перед их безоружным мужеством путь к степям и болотам Скифии и заставила столько воинственных народов преклониться перед их могуществом, поберегла радости этого достопамятного дня для довершения их торжества. Осторожные шаги и тесный союз их врагов, равно как занятие выгодных позиций, он выдавал за результат не предусмотрительности, а страха. Одни визиготы составляют настоящую силу неприятельской армии, и гунны могут быть уверены в победе над выродившимися римлянами, которые обнаруживают свой страх, смыкаясь в густые и плотные ряды, и не способны выносить ни опасностей, ни трудностей войны. Царь гуннов старательно проповедовал столь благоприятную для воинских доблестей теорию предопределения, уверяя своих подданных, что воины, которым покровительствуют небеса, остаются невредимыми среди неприятельских стрел, но что непогрешимая судьба поражает своих жертв среди бесславного спокойствия. «Я сам, — продолжал Аттила, — брошу первый дротик, а всякий негодяй, который не захочет подражать примеру своего государя, обречет себя на неизбежную смерть». Присутствие, голос и пример неустрашимого вождя ободрили варваров, и Аттила, уступая их нетерпеливым требованиям, немедленно выстроил их в боевом порядке. Во главе своих храбрых и лично ему преданных гуннов он занял центр боевой линии. Подвластные ему народы — ругии, герулы, тюрингцы, франки и бургунды — разместились по обеим сторонам на обширных Каталаунских полях; правым крылом командовал царь генидов Ардарих, а царствовавшие над остготами три храбрых брата поместились на левом крыле напротив родственного им племени визиготов. Союзники при распределении своих военных сил руководствовались иным принципом. Вероломный царь аланов Сангибан был поставлен в центре, так как там можно было строго следить за всеми его движениями и немедленно наказать его в случае измены. Аэций принял главное начальство над его левым крылом, а Теодорих над правым, между тем как Торизмунд по-прежнему занимал высоты, как кажется, тянувшиеся вдоль фланга скифской армии и, может быть, охватывавшие ее арьергард. Все народы от берегов Волги до Атлантического океана собрались на Шалонской равнине; но многие из этих народов были разъединены духом партий, завоеваниями и переселениями, и внешний вид одинакового оружия и одинаковых знамен у людей, готовых вступить в борьбу, представлял картину междоусобицы.

Военная дисциплина и тактика греков и римлян составляли интересную часть их национальных нравов. Внимательное изучение военных операций Ксенофонта, Цезаря и Фридриха Великого, когда эти операции описаны теми же гениальными людьми, которые их задумали и приводили в исполнение, могло бы способствовать усовершенствованию (если только желательно такое усовершенствование) искусства истреблять человеческий род. Но битва при Шалоне может возбуждать наше любопытство только своим важным значением, так как ее исход был решен смелым натиском варваров, а описывали ее пристрастные писатели, которые по своим профессиям принадлежали к разряду гражданских или церковных должностных лиц и потому вовсе не были знакомы с военным искусством. Впрочем, Кассиодор дружески беседовал со многими из участвовавших в этой достопамятной битве готских воинов; она была, по их словам, «ужасна, долго нерешительна, упорно кровопролитна и вообще такова, что другой подобной не было ни в те времена, ни в прошлые века». Число убитых доходило до ста шестидесяти двух тысяч, а по сведениям из другого источника — до трехсот тысяч; эти неправдоподобные преувеличения, вероятно, были вызваны действительно громадными потерями в людях, оправдывавшими замечание одного историка, что безрассудство царей может стирать с лица земли целые поколения в течение одного часа. После того как обе стороны неоднократно осыпали одна другую метательными снарядами, причем скифские стрелки из лука могли выказать свою необыкновенную ловкость, кавалерия и пехота обеих армий вступили между собой в яростный рукопашный бой. Сражавшиеся на глазах своего царя гунны пробились сквозь слабый и не вполне надежный центр союзников, отрезали их оба крыла одно от другого и, быстро повернув влево, направили все свои силы на визиготов. В то время как Теодорих проезжал вдоль рядов, стараясь воодушевить свои войска, он был поражен насмерть дротиком знатного остгота Андага и свалился с лошади. Раненого царя сдавили со всех сторон среди общего смятения; его собственная кавалерия топтала его ногами своих коней, и смерть этого знатного противника оправдала двусмысленное предсказание ауспициев. Аттила уже ликовал в уверенности, что победа на его стороне, когда храбрый Торизмунд спустился с высот и осуществил остальную часть предсказания. Визиготы, приведенные в расстройство бегством и изменой аланов, постепенно снова выстроились в боевом порядке, и гунны, бесспорно, были побеждены, так как Аттила был вынужден отступить. Он подвергал свою жизнь опасности с опрометчивой отвагой простого солдата; но его неустрашимые войска, занимавшие центр, проникли за пределы боевой линии; их нападение было слабо поддержано; их фланги не были защищены, и завоеватели Скифии и Германии спаслись от полного поражения только благодаря наступлению ночи. Они укрылись позади повозок, служивших укреплениями для их лагеря, и смешавшиеся эскадроны приготовились к такому способу обороны, к которому не были приспособлены ни их оружие, ни их привычки. Исход борьбы был сомнителен, но Аттила поберег для себя последнее и не унижительное для его достоинства средство спасения. Мужественный варвар приказал устроить погребальный костер из богатой конской сбруи и решил — в случае если бы его укрепленный лагерь был взят приступом — броситься в пламя и тем лишить своих врагов той славы, которую они приобрели бы умерщвлением Аттилы или взятием его в плен.

Но его противники провели ночь в таком же беспорядке и в такой же тревоге. Увлечшись своим неосмотрительным мужеством, Торизмунд продол-

жал преследование неприятеля до тех пор, пока не очутился в сопровождении немногих приверженцев посреди скифских повозок. Среди суматохи ночного боя готский принц был сброшен с лошади и погиб бы, подобно своему отцу, если бы не был выведен из этого опасного положения своей юношеской энергией и неустрашимой преданностью своих сотоварищей. Слева от боевой линии сам Аэций, находившийся вдалеке от своих союзников, ничего не зная об одержанной ими победе и тревожившийся об их участи, точно таким же образом натолкнулся на рассеянные по Шалонской равнине неприятельские войска; спасшись от них, он наконец добрался до лагеря готов и постарался укрепить его до рассвета лишь легким валом из сложенных щитов. Императорский главнокомандующий скоро убедился в поражении Атиллы, не выходявшего из-за своих укреплений, а когда он обозрел поле сражения, он с тайным удовольствием заметил, что самые тяжелые потери понесены варварами. Покрытый ранами труп Теодориха был найден под грудой убитых: его подданные оплакивали смерть своего царя и отца; но их слезы перемешивались с песнями и радостными возгласами, а его погребение было совершено на глазах побежденного врага. Готы, бряцая своим оружием, поднимали на щите его старшего сына Торизмунда, которому основательно приписывали честь победы, и новый царь принял на себя обязанность отмщения как священную долю отцовского наследства. Тем не менее сами готы были поражены тем, что их грозный соперник все еще казался бодрым и неустрашимым, а их историк сравнил Атиллу со львом, который, лежа в своей берлоге, готовится с удвоенной яростью напасть на окруживших его охотников. Цари и народы, которые могли бы покинуть его знамена в минуту несчастья, были проникнуты сознанием, что гнев их повелителя был бы для них самой страшной и неизбежной опасностью. Его лагерь непрестанно оглашали воинственные звуки, как будто вызывавшие врагов на бой, а передовые войска Аэция, пытавшиеся взять лагерь приступом, были или остановлены, или истреблены градом стрел, со всех сторон летевших на них из-за укреплений. На военном совете было решено осадить царя гуннов в его лагере, не допустить подвоза провианта и принудить его или заключить постыдный для него мирный договор, или возобновить неравный бой. Но нетерпение варваров было не в состоянии долго подчиняться осторожным медлительным военным операциям, а здравые политические соображения внушили Аэцию опасение, что после совершенного истребления гуннов республике придется страдать от высокомерия и могущества готской нации. Поэтому патриций употребил влияние своего авторитета и своего ума на то, чтобы смягчить гневное раздражение, которое сын Теодориха считал своим долгом; с притворным доброжелательством и с непритворной правдивостью он поставил Торизмунду на вид, как было бы опасно его продолжительное отсутствие, и убедил его разрушить своим быстрым возвращением честолюбивые замыслы своих братьев, которые могли бы овладеть и тулузским тронem, и тулузскими сокровищами. После удаления готов и разъединения союзнической армии Атилла был поражен тишиной, которая воцарилась на Шалонской равнине; подозревая, что неприятель замышляет какую-нибудь военную хитрость, он несколько дней не выходил из-за своих повозок, а его отступление за Рейн было свидетельством последней победы, одержанной от имени западного императора. Меровей и его франки, державшиеся в благоразумном отдалении и старавшиеся внушить преувеличенное мнение о своих силах тем, что каждую ночь зажигали многочисленные огни, не переставали следовать за арьергардом гун-

нов, пока не достигли пределов Тюрингии. Тюрингцы служили в армии Атилы; они и во время наступательного движения, и во время отступления проходили через территорию франков и, может быть, именно в этой войне совершали те жестокости, за которые отомстил им сын Хлодвиг почти через восемьдесят лет после того. Они умерщвляли и заложников и пленников; двести молодых девушек были преданы ими пытке с неумолимым бесчеловечием; их тела были разорваны в куски дикими конями, их кости были искрошены под тяжестью повозок, а оставленные без погребения их члены были разбросаны по большим дорогам на съедение собакам и ястребам. Таковы были те варварские предки, которые в цивилизованные века вызывали похвалы и зависть своими мнимыми добродетелями.

Атила вторгается в Италию. 452 г.

От неудачи галльской экспедиции не ослабели ни мужество, ни военные силы, ни репутация Атилы. В следующую весну он возобновил требование руки принцессы Гонории и ее доли наследства. Это требование было снова отвергнуто или отклонено, и раздраженный любовник немедленно выступил в поход, перешел Альпы, вторгнулся в Италию и осадил Аквилею с бесчисленными сомнищами. Этим варварам не был знаком способ ведения правильной осады, который даже у древних требовал некоторого теоретического или, по меньшей мере, практического знакомства с механическими искусствами. Но руками многих тысяч провинциальных жителей и пленников, жизнь которых не ценилась ни во что, можно было совершать самые трудные и самые опасные работы. Римские знатоки этого дела, быть может, соглашались трудиться из-за денег на погибель своей родины. Стены Аквилеи были окружены множеством таранов, подвижных башен и машин, метавших камень, стрелы и зажигательные снаряды, а царь гуннов то прибегал к обещаниям и запугиваниям, то возбуждал соревнование и затрагивал личные интересы, чтобы сломить единственную преграду, замедлявшую завоевание Италии. Аквилея была в ту пору одним из самых богатых, самых многочисленных и сильно укрепленных городов Адриатического побережья. Готские вспомогательные войска, как кажется, служившие под начальством туземных князей Аларха и Анталы, сообщили свою неустрашимость городским жителям, которые еще не позабыли, какое славное и удачное сопротивление было оказано их предками свирепому и неумолимому варвару, унижавшему величие римских императоров. Три месяца были безуспешно потрачены на осаду Аквилеи, пока недостаток в провiantе и ропот армии не принудили Атилу отказаться от этого предприятия и неохотно сделать распоряжение, чтобы на следующий день утром войска убрали свои палатки и начали отступление. Но, в то время как он объезжал верхом городские стены, погрузившись в задумчивость и скорбя о постигшей его неудаче, он увидел аиста, готовившегося покинуть со своими детенышами гнездо в одной из башен. С прозорливостью находчивого политика он понял, какую пользу можно извлечь из этого ничтожного факта при помощи суеверия, и воскликнул радостным голосом, что такая ручная птица обыкновенно живет в соседстве с людьми и не покинула бы своего старого убежища, если бы эти башни не были обречены на разрушение и безлюдье. Благоприятное предзнаменование внушило уверенность в победе; осада возобновилась и велась с новой энергией; широкая брешь была пробита в той части стены, откуда улетел аист; гунны бросились на приступ с непреодолимой стремительностью, и следующее поколение с трудом могло отыскать развалины Аквилеи. После этого

ужасного отмщения Аттила продолжал свое наступательное движение и мимоходом обратил в груды развалин и пепла города Альтинум, Конкордию и Падую. Лежавшие внутри страны города Винченца, Верона и Бергамо сделались жертвами алчной жестокости гуннов. Милан и Павия подвергались без сопротивления утрате своих богатств и превозносили необычайное милосердие, предохранившее от пожара общественные и частные здания и пощадившее жизнь многочисленных пленников. Есть основание не доверять народным преданиям касательно участи Кома, Турина и Модены, однако эти предания в совокупности с более достоверными свидетельствами могут быть приняты за доказательство того, что Аттила распространил свои опустошения по богатым равнинам Ломбардии, прорезываемым рекой По и окаймляемым Альпами и Апенниннами. Когда он вошел в Миланский императорский дворец, он был поражен и оскорблен при виде одной картины, на которой Цезари были изображены восседающими на троне, а скифские государи распростертыми у их ног. Аттила отомстил за этот памятник римского тщеславия мягким и остроумным способом. Он приказал одному живописцу изобразить фигуры и положения в обратном виде: император был представлен на том же самом полотне приближающимся в позе просителя к трону скифского монарха и выкладывающим из мешка золото в уплату дани. Зрители должны были поневоле знать, что такая перемена вполне основательна и уместна, и, может быть, припоминали по этому случаю хорошо известную басню о споре между львом и человеком.

Основание Венецианской республики

То была вполне подходящая к свирепому высокомерию Аттилы поговорка, что трава переставала расти на том месте, где ступил его конь. Тем не менее этот варварский опустошитель ненамеренно положил основание республики, воскресившей в веке феодализма дух коммерческой предприимчивости. Знаменитое название Венеция, или Венетия, первоначально обозначало обширную и плодородную провинцию, простиравшуюся от пределов Паннонии до реки Аддуи и от берегов реки По до Рецейских и Юлийских Альп. До нашествия варваров пятьдесят венецианских городов процветали в мире и благоденствии; Аквилея занимала между ними самое выдающееся положение; древнее величие Падуи поддерживалось земледелием и промышленностью, и собственность пятисот ее граждан, принадлежавших к сословию всадников, доходила, по самым точным расчетам, до одного миллиона семисот тысяч фунтов стерлингов. Многие семейства из Аквилеи, Падуи и соседних городов, спасаясь от меча гуннов, нашли хотя и скромное, но безопасное убежище на соседних островах. В глубине залива, где Адриатическое море слабо подражает приливам и отливам океана, около сотни небольших островков отделяются от континента неглубокими водами и охраняются от морских волн узкими полосами земли, между которыми есть секретные узкие проходы для кораблей. До середины пятого столетия эта глухая местность оставалась без культуры, без населения и едва ли носила какое-нибудь название. Нравы венецианских изгнанников, их деятельность и форма управления постепенно приняли определенный отпечаток, соответствовавший новым условиям их существования, а одно из посланий Кассиодора, в котором он описывает их положение почти через семьдесят лет после этого, может считаться за первый письменный памятник республики. Министр Теодориха сравнивает их на своем изысканном и напыщенном языке с морскими птицами, свившими свои

гнезда на поверхности волн, и хотя он допускает, что в венецианских провинциях сначала было много знатных семейств, он дает понять, что теперь они уже низведены несчастьями на один общий уровень бедности. Рыба была обычной и почти единственной пищей людей всех званий; их единственное богатство состояло в изобилии соли, которую они добывали из моря, а этот столь необходимый для человеческого питания продукт заменял на соседних рынках ходячую золотую и серебряную монету. Народ, о жилищах которого трудно было положительно сказать, построены ли они на земле или на воде, скоро освоился и со вторым из этих элементов, а вслед за требованиями необходимости возникли и требования корыстолюбия. Островитяне, которые от Градо до Хиозы были связаны между собой самыми тесными узами, проникли внутрь Италии посредством безопасного, хотя и нелегкого плавания по рекам и внутренним каналам. Их суда, постоянно увеличивавшиеся размерами и числом, посещали все гавани залива, и ежегодно празднуемый брак Венеции с Адриатическим морем был заключен ею в ранней молодости. В своем послании к морским трибунам преторианский префект Кассиодор убеждает их мягким начальническим тоном внушать их соотечественникам усердие к общественной пользе, которая требует их содействия для перевозки запасов вина и оливкового масла из Истрии в императорскую столицу Равенну. Двойственность официальных обязанностей этих должностных лиц объясняется преданием, которое гласит, что на двенадцати главных островах ежегодно назначались путем народного избрания двенадцать трибунов или судей. Тот факт, что Венецианская республика существовала в то время, когда Италия находилась под властью готских королей, опирается на достоверное свидетельство того же писателя, который разбивает ее надменные притязания на первобытную и никогда не прекращавшуюся независимость.

Итальянцы, давно уже отказавшиеся от военного ремесла, были поражены после сорокалетнего спокойствия приближением грозного варвара, которого они ненавидели не только как врага республики, но и как врага их религии. Среди общего смятения один Аэций был недоступен чувству страха; но без всякого содействия с чьей-либо стороны он не мог совершить таких военных подвигов, которые были бы достойны его репутации. Защищавшие Галлию варвары отказались идти на помощь к Италии, а подкрепления, обещанные восточным императором, были и далеки и ненадежны. Так как Аэций вел борьбу во главе одних туземных войск, затрудняя и замедляя наступательное движение Атилы, то он никогда еще не был так велик, как в то время, когда невежество и неблагодарность порицали его поведение. Если бы душа Валентиниана была доступна для каких-либо возвышенных чувств, он взял бы такого военачальника за достойный подражания образец и подчинился бы его руководству. Но трусливый внук Феодосия, вместо того чтобы делить с ним опасность войны, избегал боевых тревог, а его торопливый переезд из Равенны в Рим, из неприступной крепости в ничем не защищенную столицу, обнаружил его тайное намерение покинуть Италию, лишь только приближение неприятеля станет грозить его личной безопасности. Впрочем, такое позорное отречение от верховной власти было приостановлено благодаря тем колебаниям и отсрочкам, которые неразлучны с малодушием и даже иногда ослабляют его пагубные влечения. Западный император, с согласия римского сената и народа, принял более полезное решение смягчить гнев Атилы отправкой к нему торжественного посольства с просьбой о пощаде.

Это важное поручение принял на себя Авиен, занимавший между римскими сенаторами первое место по знатности своего происхождения, по своему консульскому званию, по многочисленности своих клиентов и по своим личным дарованиям. Благодаря таким блестящим отличиям и врожденному коварству Авиен был более других способен вести переговоры как о частных интересах, так и об общественных делах; его сотоварищ Тригений был одно время преторианским префектом Италии, а Римский епископ Лев согласился подвергнуть свою жизнь опасности для спасения своей паствы. Гений Льва развился и выказался среди общественных бедствий, и он заслужил звание Великого благодаря успешному усердию, с которым он старался распространять свои убеждения и свое влияние под внушительным названием православной веры и церковного благополучия.

Римские послы были введены в палатку Аттилы в то время как он стоял лагерем там, где медленно извивающийся Минчио теряется в пенящихся волнах озера Бенака, и в то время как он попирали ногами своей скифской кавалерии мызы Катуллы и Вергилия. Варварский монарх выслушал послов с благосклонным и даже почтительным вниманием, и освобождение Италии было куплено громадным выкупом, или приданым, принцессы Гонории. Положение его армии, быть может, облегчило заключение мирного договора и ускорило его отступление. Ее воинственный дух ослабел среди удобств и праздности, к которым она привыкла в теплом климате. Северные пастухи, привыкшие питаться молоком и сырым мясом, с жадностью набросились на хлеб, вино и мясные кушанья, которые приготавливались римскими поварами с разными приправами, и между ними стали развиваться болезни, в некоторой мере отомстившие им за зло, которое они причинили итальянцам. Когда Аттила объявил о своем намерении вести свою победоносную армию на Рим, как его друзья, так и его враги напомнили ему, что Аларих недолго пережил завоевание вечного города. Его душа, недоступная для страха перед действительной опасностью, была поражена воображаемыми ужасами, и он не избежал влияния тех самых суеверий, которые так часто служили орудием для исполнения его замыслов. Красноречивая настойчивость Льва, его величественная наружность и священнические одеяния внушили Аттиле уважение к духовному отцу христиан. Появление двух апостолов, Св. Петра и Св. Павла, грозивших варвару немедленной смертью, если он не исполнит просьбы их преемника, составляет одну из самых благородных легенд церковной традиции. Спасение Рима было достойно заступничества со стороны небесных сил, и мы должны относиться с некоторой снисходительностью к такому вымыслу, который был изображен кистью Рафаэля и резцом Альгарди.

Смерть Аттилы. 453 г.

Прежде чем удалиться из Италии, царь гуннов пригрозил, что возвратится еще более страшным и неумолимым, если его невеста, принцесса Гонория, не будет выдана его послам в установленный договором срок. Однако в ожидании этого события Аттила успокоил свою сердечную тревогу тем, что к списку своих многочисленных жен прибавил прекрасную девушку, которая называлась Ильдику. Бракосочетание было совершено с варварской пышностью и весельем в деревянном дворце, по ту сторону Дуная, и отягощенный винными парами монарх, которого сильно клонило ко сну, удалился поздно ночью с пира в брачную постель. В течение большей части следующего дня его

прислуга опасалась прервать его наслаждения или его отдых, пока необычайная тишина не возбудила в ней опасений и подозрений; несколько раз попытавшись разбудить Аттилу громкими криками, она наконец вломилась в царский апартамент. Ее глазам представилась дрожавшая от страха молодая супруга, которая, сидя у постели и закрывши покрывалом свое лицо, оплакивала и свое собственное опасное положение, и смерть царя, испутившего дух в течение ночи. У него внезапно лопнула одна из артерий, а так как Аттила лежал навзничь, то его задушил поток крови, который вместо того, чтобы найти себе выход носом, залил легкие и желудок. Его труп был положен посреди равнины, под шелковым павильоном, и избранные эскадроны гуннов совершали вокруг него мерным шагом военные эволюции, распевая надгробные песни в честь героя, который был славен во время своей жизни и непобедим даже в смерти, который был отцом своего народа, бичом для своих врагов и предметом ужаса для всего мира. Согласно своим национальным обычаям варвары укоротили свои волосы, обезобразили свои лица искусственными ранами и оплакивали своего отважного вождя так, как он того стоил, проливая над его трупом не женские слезы, а кровь воинов. Смертные останки Аттилы, заключенные в три гроба — один золотой, другой серебряный и третий железный, — были преданы земле ночью; часть захваченной им у побежденных народов добычи была положена в его могилу; пленники, вырывшие могилу, были безжалостно умерщвлены, и те же самые гунны, которые только что предавались такой чрезмерной скорби, закончили свои обряды пиром, на котором они предались необузданному веселью вокруг только что закрывшейся могилы своего царя. В Константинополе рассказывали, что в ту ночь, когда он испустил дух, Маркиан видел во сне, что лук Аттилы переломился пополам, а этот слух может служить доказательством того, как часто образ этого грозного варвара представлялся воображению римских императоров.

Переворот, ниспровергнувший владычество гуннов, упрочил славу Аттилы, который одним своим гением поддерживал это громадное и неплотно сложенное здание. После его смерти самые отважные из варварских вождей заявили свои притязания на царское достоинство; самые могущественные из королей не захотели подчиняться чьей-либо высшей власти, а многочисленные сыновья, прижитые покойным монархом со столькими женами, поделили между собой и стали оспаривать друг у друга, как частное наследство, верховную власть над германскими и скифскими племенами. Отважный Ардарих понял, как был постыден такой дележ, и протестовал против него; а его подданные, воинственные гениды вместе с остготами, предводимыми тремя храбрыми братьями, поощряли своих союзников поддерживать свои права на свободу и на самостоятельность верховной власти. В кровопролитном и решительном сражении, проходившем на берегах реки Нетады в Паннонии, были употреблены в дело, частью для борьбы одного с другим, частью для поддержки одним других, копыта генидов, мечи готов, стрелы гуннов, пехота свевов, легкое вооружение герулов и тяжелые боевые орудия аланов, а победа Ардариха сопровождалась избиением тридцати тысяч его врагов. Старший сын Аттилы Эллак лишился и жизни и престола в достопамятной битве при Нетаде: храбрость, которой он отличался с ранней молодости, уже возвела его на трон акатциров, покоренного им скифского народа, а его отец, всегда умевший ценить высокие личные достоинства, позавидовал бы смерти Эллака. Его брат Денгизих с армией из гуннов, наводивших страх даже после сво-

его бегства и расстройств, держался в течение почти пятнадцати лет на берегах Дуная. Дворец Аттилы и Древняя Дакия, простиравшаяся от Карпатских гор до Эвксинского Понта, сделались центром нового государства, основанного королем гепидов Ардарихом. Земли, завоеванные в Паннонии от Вены до Сирмия, были заняты остготами, а поселения тех племен, которые так мужественно отстаивали свою свободу, были распределены между ними соразмерно с силами каждого из них.

Окруженный и теснимый массами бывших подданных его отца, Денгизих властвовал только над лагерем, окруженным повозками; отчаянная храбрость побудила его вторгнуться в Восточную империю; он пал в битве, а позорная выставка его головы в ипподроме доставила константинопольскому населению приятное зрелище. Аттила ласкал себя приятной или суеверной надеждой, что младший из его сыновей Ирнак поддержит блеск рода. Характер этого принца, старавшегося сдерживать опрометчивость своего брата Денгизиха, был более подходящ к упадку, в который пришло могущество гуннов, и Ирнак удалился вместе с подчиненными ему ордами внутрь Малой Скифии. Эти орды скоро были подавлены потоком новых варваров, продвигавшихся вперед по тому самому пути, который был проложен их предками. Геуги, или авары, жившие, по словам греческих писателей, на берегах океана, увлекли вслед за собой соседние племена; но в конце концов вышедшие из холодных сибирских стран, доставляющих самые дорогие меха, игуры разлились по всей степи до Борисфена и Каспийского моря и окончательно ниспровергли могущество гуннов.

Валентиниан убивает Аэция. 454 г.

Эти события могли способствовать безопасности Восточной империи под управлением такого монарха, который, поддерживая дружеские сношения с варварами, вместе с тем умел внушать им уважение. Но царствовавший на Западе слабый и распутный Валентиниан, достигший тридцати четырех лет и все еще не приобревший ни разума, ни самообладания, воспользовался этим непрочным спокойствием для того, чтобы поколебать основы своего собственного могущества умерщвлением патриция Аэция. Из низкой зависти он возненавидел человека, которого все превозносили за то, что он умел держать в страхе варваров и был опорой республики, а новый фаворит Валентиниана, евнух Гераклий, пробудил императора от его беспечной летаргии, которую можно бы было оправдать при жизни Плацидии сыновней преданностью. Слава Аэция, его богатства и высокое положение, многочисленная и воинственная свита из варварских приверженцев, влиятельные друзья, занимавшие высшие государственные должности, и надежды его сына Гауденция, уже помолвленного с дочерью императора Евдокией, — все это возвышало его над уровнем подданных. Честолюбивые замыслы, в которых его втайне обвиняли, возбуждали в Валентиниане и опасения и досаду. Сам Аэций, полагаясь на свои личные достоинства, на свои заслуги и, быть может, на свою невинность, как кажется, вел себя с высокомерием и без надлежащей сдержанности. Патриций оскорбил своего государя выражением своего неодобрения, усилил эту обиду, заставив его подкрепить торжественной клятвой договор о перемирии и согласии, обнаружив свое недоверие, не позаботился о своей личной безопасности и в неосновательной уверенности, что недруг, которого он презирал, не был способен даже на смелое преступление, имел неосторожность отправиться в римский дворец. В то

время как он — быть может, с чрезмерной горячностью — настаивал на бракосочетании своего сына, Валентиниан обнажил свой меч, до тех пор еще ни разу не выходивший из своих ножен, и вонзил его в грудь полководца, спасшего империю; его царедворцы и евнухи постарались превзойти один другого в подражании своему повелителю, и покрытый множеством ран Аэций испустил дух в присутствии императора. В одно время с ним был убит преторианский префект Боэций, и, прежде чем разнесся об этом слух, самые влиятельные из друзей Аэция были призваны во дворец и перебиты поодиночке. Об этом ужасном злодеянии, прикрытом благовидными названиями справедливости и необходимости, император немедленно сообщил своим солдатам, своим подданным и своим союзникам. Народы, не имевшие никакого дела с Аэцием или считавшие его за своего врага, великодушно сожалели о постигшей героя незаслуженной участи; варвары, состоявшие при нем на службе, скрыли свою скорбь и жажду мщения, а презрение, с которым народ давно уже относился к Валентиниану, внезапно перешло в глубокое и всеобщее отвращение. Такие чувства редко проникают сквозь стены дворцов; однако император был приведен в замешательство честным ответом одного римлянина, от которого он пожелал услышать одобрение своего поступка: «Мне не известно, ваше величество, какие соображения или обиды заставили вас так поступить; я знаю только то, что вы поступили точно так же, как тот человек, который своей левой рукой отрезал себе правую руку».

Царствовавшая в Риме роскошь, как кажется, вызывала Валентиниана на продолжительные и частые посещения столицы, где поэтому его презирали более, чем в какой-либо другой части его владений. Республиканский дух постепенно оживал в сенаторах по мере того, как их влияние и даже их денежная помощь становились необходимыми для поддержания слабой правительственной власти. Величие, с которым держал себя наследственный монарх, было унижительно для их гордости, а удовольствия, которым предавался Валентиниан, нарушали спокойствие и оскорбляли честь знатных семей. Императрица Евдокия была такого же, как и он, знатного происхождения, а ее красота и нежная привязанность были достойны тех любовных ухаживаний, которые ее ветреный супруг расточал на непрочные и незаконные связи. У бывшего два раза консулом богатого сенатора из рода Анициев Петрония Максима была добродетельная и красивая жена; ее упорное сопротивление лишь разожгло желания Валентиниана, и он решился удовлетворить их путем или обмана, или насилия. Большая игра была одним из господствовавших при дворе пороков; император, выигравший у Максима случайно или хитростью значительную сумму, неделикатно потребовал, чтобы тот отдал ему свое кольцо в обеспечение уплаты долга; это кольцо Валентиниан послал с доверенным лицом к жене Максима с приказанием от имени ее мужа немедленно явиться к императрице Евдокии. Ничего не подозревавшая жена Максима отправилась в своих носилках в императорский дворец; эмиссары нетерпеливого влюбленного отнесли ее в отдаленную и уединенную спальню, и Валентиниан, без всякого сострадания, нарушил законы гостеприимства. Когда она возвратилась домой, глубокая скорбь и ее горькие упреки мужу, которого она считала соучастником в нанесенном ей позоре, возбудили в Максиме желание мщения; этому желанию служило поощрением честолюбие, так как он мог основательно надеяться, что свободный выбор сената возведет его на престол всеми ненавиди-

мого и презируемого соперника. Валентиниан, не веривший ни в дружбу, ни в признательность, так как сам не был способен к ним, имел неосторожность принять в число своих телохранителей нескольких слуг и приверженцев Аэция. Двое из них, по происхождению варвары, склонились на убеждение исполнить свой священный и честный долг, наказав смертью того, кто убил их покровителя, а их неустрашимое мужество недолго ожидало благоприятной минуты. В то время как Валентиниан развлекался на Марсовом поле зрелищем военных игр, они внезапно устремились на него с обнаженными мечами, закололи преступного Гераклия и поразили прямо в сердце самого императора без всякого сопротивления со стороны его многочисленной свиты, по-видимому, радовавшейся смерти тирана. Таков был конец Валентиниана III, последнего римского императора из дома Феодосия. Он отличался точно таким же наследственным слабостью, как его двоюродный брат и двое дядей, но он не унаследовал кротости, душевной чистоты и невинности, которые заставляли прощать им отсутствие ума и дарований. Валентиниан не имел таких же прав нанисходительность, так как при своих страстях не имел никаких добродетелей; даже его религия сомнительна, и, хотя он никогда не вовлекался в заблуждения еретиков, он оскорблял благочестивых христиан своей привязанностью к нечестивым занятиям магией и ворожбой.

Еще во времена Цицерона и Варрона римские авгуры держались того мнения, что двенадцать коршунов, которых видел Ромул, обозначали двенадцать столетий, по истечении которых окончится существование основанного ими города. Это предсказание, быть может, остававшееся в пренебрежении в эпоху силы и благосостояния, внушило народу самые мрачные опасения, когда ознаменовавшееся позором и бедствиями двенадцатое столетие приблизилось к концу, и даже потомство должно не без некоторого удивления сознаться, что произвольное истолкование случайного факта вполне оправдалось падением Западной империи. Но это падение предвещало более верные предзнаменования, чем полет коршунов; римское правительство становилось с каждым днем все менее страшным для своих врагов и все более ненавистным и притеснительным для своих подданных. Подати увеличивались вместе с общей нищетой; бережливостью все более и более пренебрегали по мере того, как она становилась более необходимой, а незнакомые с чувством справедливости богачи переложили с самих себя на народ несоразмерное с его силами бремя налогов и обратили в свою пользу все те сложения недоимок, которые могли бы иногда облегчать народу нужду. Строгие расследования, кончавшиеся конфискацией имущества и сопровождавшиеся пыткой обвиняемых, заставляли подданных Валентиниана предпочитать более простодушную тиранию варваров, укрываться среди лесов и гор или вступать в низкое и презренное звание наемных слуг. Они отказывались от внушавшего им отвращение звания римских граждан, которое служило в былое время целью для честолюбия всего человечества. Лига Багаудов привела армориканские провинции Галлии и большую часть Испании в положение анархической независимости, и императорские министры тщетно прибегали к изданию строгих законов и к оружию, чтобы подавить восстание, которое они сами вызвали. Если бы все варварские завоеватели могли быть стерты с лица земли в одно мгновение, то и совершенное их истребление не восстановило бы Западной империи, а если бы Рим пережил это событие, он пережил бы вместе с тем утрату свободы, мужества и чести.

Разграбление Рима царем вандалов Гензерихом. — Его морские разбои. — Последние западные императоры: Максим, Авит, Майориан, Север, Анфимий, Олибрий, Гликерий, Непот, Августул. — Существование Западной империи окончательно прекращается. — Царствование первого варварского короля Италии Одоакра. (430–490 гг.)

Глава 19 (XXXVI)

Морские силы вандалов

Гордость и величие Рима были унижены потерей или разорением провинций от океана до Альп, а его внутреннее благосостояние безвозвратно разрушено отделением Африки. Жадные вандалы конфисковали родовые имения сенаторов и прекратили регулярную доставку припасов, употреблявшихся на облегчение нужд бедных плебеев и на поощрение их праздности. Бедственное положение римлян скоро ухудшилось от неожиданного нападения, и та самая провинция, которая так долго возделывалась для их пользы руками трудолюбивых и послушных подданных, восстала против них по воле честолюбивого варвара. Вандалы и аланы, следовавшие за победоносным знаменем Гензериха, приобрели богатую и плодородную территорию, простиравшуюся вдоль морского побережья от Танжера до Триполи более чем на девяносто дней пути, но узкие пределы этой территории стеснялись с одной стороны песчаной степью, а с другой — Средиземным морем. Отыскание и покорение черных обитателей жаркого пояса не могли возбуждать честолюбие рассудительного Гензериха; но он обратил свое внимание на море, задумал создать морские силы, и этот смелый замысел был приведен в исполнение с непреклонной и неутомимой настойчивостью. Атласские горы доставляли ему неистощимые запасы корабельного леса; его новые подданные были опытны в мореплавании и кораблестроении; он воодушевил своих отважных вандалов мыслью, что этот способ войны сделает доступными для их оружия все приморские страны; мавров и африканцев прельщала надежда грабежа, и после шестисотлетнего упадка флоты, которые стали выходить из карфагенской гавани, снова заявили притязание на владычества над Средиземным морем. Успехи вандалов, завоевание Сицилии, разграбление Палермо и частые высадки на берегах Лукании встревожили мать Валентиниана и сестру Феодосия. Они стали заключать союзы и приступили к дорогим и бесполезным вооружениям для отражения общего врага, приберегавшего свое мужество для борьбы с такими опасностями, которых его политика не была в состоянии ни предотвратить, ни избежать. Этот враг неоднократно расстраивал замыслы римского правительства своими лукавыми требованиями отсрочек, своими двусмысленными обещаниями и притворными уступками, а вмешательство его грозного союзника, царя гуннов, заставило двух императоров отложить в сторону помыслы о завоевании Африки и позабо-

титься о безопасности своих собственных владений. Дворцовые перевороты, оставившие Западную империю без защитника и без законного монарха, рассеяли опасения Гензериха и разожгли его корыстолюбие. Он тотчас снарядил многочисленный флот, взял с собой вандалов и мавров и стал на якоре у устьев Тибра почти через три месяца после смерти Валентиниана и после возведения Максима на императорский престол.

Император Максим. 455 г.

На частную жизнь сенатора Петрония Максима часто ссылались как на редкий пример человеческого благополучия. Он был благородного и знатного происхождения, так как был родом из дома Анициев; он обладал соответствовавшим его знатности наследственным состоянием в землях и в капиталах, а к этим преимуществам присоединялись хорошее образование и благородные манеры, которые служат украшением для неоценимых даров гения и добродетели, а иногда отчасти заменяют их. Роскошь его дворца и стола отличалась и гостеприимством, и изяществом. Всякий раз, как Максим появлялся в публике, его окружала толпа признательных и покорных клиентов, между которыми он, быть может, успел приобрести друзей. За свои личные достоинства он был вознагражден благосклонностью и своего государя, и сената: он три раза занимал должность преторианского префекта Италии, был два раза почтен отличиями консульства и получил звание патриция. Эти гражданские почести не были несовместны с наслаждениями, требующими досуга и спокойствия; все его минуты были аккуратно распределены по указанию водяных часов между удовольствиями и деловыми занятиями, а эта бережливая трата времени может считаться за доказательство того, что Максим вполне сознавал и ценил свое счастье. Нанесенное ему императором Валентинианом оскорбление, по-видимому, вызывало на самое жестокое отмщение. Как философ, он мог бы руководствоваться тем соображением, что если сопротивление его жены было непротивное, то ее целомудрие оставалось ненарушенным; если же она согласилась удовлетворить желание прелюбодея, то это целомудрие уже не могло быть восстановлено. Как патриот, он должен был долго колебаться, прежде чем подвергать и самого себя, и свое отечество тем неизбежным бедствиям, которые должны были произойти от пресечения царственного рода Феодосия. Непредусмотрительный Максим пренебрег этими полезными соображениями; он постарался удовлетворить и свое желание отомстить за себя, и свое честолюбие; он видел лежавший у его ног окровавленный труп Валентиниана и слышал, как единодушные возгласы сената и народа приветствовали его званием императора. Но день его восшествия на престол был последним днем его благополучия. Дворец (по энергичному выражению Сидония) показался ему тюрьмой, а после того как он провел бессонную ночь, он стал сожалеть о том, что достиг исполнения всех желаний, и стал помышлять только о том, чтобы спуститься с того опасного положения, до которого возвысился. Изнемогая под тяжестью диадемы, он сообщил свои тревожные мысли своему другу и квестору Фульгенцию и, вспоминая с бесплодным сожалением о беззаботных удовольствиях своей прежней жизни, воскликнул: «О счастливый Дамокл, твое царствование и началось и кончилось одним и тем же обедом!». Фульгенций впоследствии повторил этот для всякого непонятный намек как поучительное наставление и для монархов, и для подданных.

Царствование Максима продолжалось около трех месяцев. Он уже не мог располагать своим временем, и его беспрестанно тревожили то угрозы со-

вести, то опасения за свою жизнь, а его трон потрясали восстания солдат, народа и варварских союзников. Бракосочетание его сына Палладия со старшей дочерью покойного императора могло бы упрочить за его семейством наследственную передачу императорского достоинства; но насилие, которому была подвергнута императрица Евдокия, могло быть вызвано лишь слепым влечением к похоти или к мщенью. Его жена, бывшая причиной этих трагических событий, очень кстати для него скончалась, а вдова Валентиниана была вынуждена нарушить приличия, налагаемые трауром, и, быть может, заглушить свою непритворную скорбь, чтобы перейти в объятия самоуверенного узурпатора, которого она подозревала в убийстве своего мужа. Максим скоро оправдал эти подозрения неосторожным признанием в своем преступлении и тем навлек на себя ненависть супруги, которая вышла за него замуж против воли и никогда не забывала своего царского происхождения. С Востока Евдокия не могла ожидать никакой надежной помощи; ее отец и ее тетка Пульхерия умерли; ее мать томила в Иерусалиме в опале и в изгнании, а скипетр Константинополя находился в руках незнакомого ей человека. Поэтому она обратила свои взоры на Карфаген, втайне стала призывать к себе на помощь царя вандалов и убедила Гензериха воспользоваться этим удобным случаем, чтобы прикрыть свои корыстолюбивые замыслы под благовидными названиями чести, справедливости и сострадания. Каковы бы ни были дарования, выказанные Максимом на подначальном посту, он оказался неспособным управлять империей, и, хотя он мог бы легко узнать о морских приготовлениях, делавшихся на африканском берегу, он ожидал в беспечном бездействии приближения врага, не делая никаких распоряжений ни для обороны, ни для ведения переговоров, ни для благовременного отступления. Когда вандалы высадились близ устья Тибра, императора внезапно пробудили из его усыпления вопли дрожавшей от страха и поставленной в безвыходное положение народной толпы. Пораженный удивлением, Максим не нашел другого средства спасения, кроме торопливого бегства, и посоветовал сенаторам последовать примеру их государя. Но лишь только Максим показался на улицах, на него посыпался град камней; один римский или бургундский солдат заявил притязание на то, что ему принадлежит честь нанесения первой раны; искалеченный труп императора был с позором брошен в Тибр; жители Рима радовались тому, что подвергли заслуженному наказанию виновника общественных бедствий, а служители Евдокии выказали свое усердие в отмщении за свою госпожу.

На третий день после этой суматохи Гензерих смело выступил из порта Остии и подошел к воротам беззащитного города. Вместо римского юношества, готового вступить в борьбу с неприятелем, из городских ворот вышла безоружная и внушительная процессия, в которой участвовал епископ вместе с подчиненным ему духовенством. Бесстрашие Льва, его авторитет и красноречие еще раз смягчили свирепость варварского завоевателя; царь вандалов обещал, что будет щадить безоружную толпу, что запретит поджигать дома и не позволит подвергать пленников пытке, и хотя эти приказания не были даны вполне серьезно и не исполнялись в точности, все-таки заступничество Льва покрыло его славой и было в некоторой мере полезно для его отечества; тем не менее Рим и его жители сделались жертвами бесчинства вандалов и мавров, которые, удовлетворяя свои страсти, отомстили за старые унижения, вынесенные Карфагеном. Грабеж продолжался четырнадцать дней и ночей, и все, что было ценного в руках общественных учреждений и частных людей, все сокровища как духовенства, так и мирян были тщательно пе-

ренесены на Гензериховы корабли. В числе добычи находились драгоценные украшения двух храмов, или, вернее, двух религий, представлявшие достопамятный пример того, каким превратностям подвергается судьба всего: и человеческого, и божественного. Со времени уничтожения язычества Капитолий утратил свою святость и оставался в пренебрежении, но к статуям богов и героев все еще относились с уважением, и великолепная из позолоченной бронзы крыша уцелела для того, чтобы перейти в хищнические руки Гензериха. Священные орудия еврейского богослужения, золотой стол и золотые с семью рожками подсвечники, которые были сделаны по данному самим Богом указанию и были поставлены в храмовом святилище, были с хвостовством выставлены напоказ во время торжественного въезда Тита в Рим. Они были впоследствии перенесены в храм Мира, а по прошествии четырехсот лет эта вывезенная из Иерусалима добыча была отправлена из Рима в Карфаген по распоряжению варвара, который вел свое происхождение с берегов Балтийского моря. Эти древние памятники могли возбуждать как любопытство, так и любознательность. Но христианские церкви, обогащенные и украшенные преобладавшим в ту пору суеверием, представляли более обильную добычу для святотатства, а благочестивая щедрость папы Льва, расплавившего подаренные Константином шесть серебряных сосудов, в каждом из которых было сто фунтов весу, служит доказательством того, как велики были потери, которые он старался загладить. В течение сорока пяти лет, истекших со времени нашествия готов, в Риме в некоторой мере ожила прежняя пышность и роскошь, и нелегко было обмануть или удовлетворить жадность завоевателя, у которого было достаточно досуга, чтобы обирать столицу, и достаточно кораблей, чтобы увезти награбленную добычу. Украшения императорского дворца, великолепная императорская мебель и гардероб, буфеты, наполненные посудой из цельного золота и серебра, — все это сваливалось в кучу с неразборчивой жадностью; стоимость награбленного золота и серебра доходила до нескольких тысяч талантов; тем не менее варвары с усердием переносили на свои корабли даже медь и бронзу. Сама Евдокия, вышедшая навстречу к своему другу и освободителю, скоро стала оплакивать неблагоразумие своего поведения. У нее грубо отобрали ее драгоценные камни, и несчастная императрица вместе с двумя дочерьми — единственными оставшимися в живых потомками великого Феодосия — была вынуждена следовать в качестве пленницы за надменным вандалом, который немедленно пустился в обратный путь и после благополучного плаванья возвратился в карфагенский порт. Несколько тысяч римлян обоего пола, от которых можно было ожидать какой-нибудь пользы или удовольствия, были против воли увезены на кораблях Гензериха, а их бедственное положение еще ухудшалось от бесчеловечия варваров, которые при распределении пленников разлучали жен с мужьями и детей с родителями. Благотворительность Карфагенского епископа Деограция была их единственным утешением и подспорьем. Он великодушно распродал золотую и серебряную церковную посуду для того, чтобы иных выкупить из плена, иным облегчить их рабское положение и оказать помощь в нуждах и болезнях многочисленных пленников, здоровье которых сильно пострадало от лишений, вынесенных во время переезда из Италии в Африку. По его приказанию две просторные церкви были обращены в госпитали: больные были размещены на удобных постелях и в избытке снабжены пищей и медикаментами, а престарелый епископ посещал их и днем и ночью с таким усердием, которое было выше его физических сил, и с таким деликатным вниманием, которое

еще увеличивало цену его услуг. Пусть сравнят эту сцену с тем, что происходило на поле битвы при Каннах, и пусть делают выбор между Ганнибалом и преемником Св. Киприана.

Император Авит

Смерть Аэция и Валентиниана ослабила узы, державшие галльских варваров в покое и повиновении. Морское побережье стали опустошать саксы; алеманны и франки подвинулись от Рейна к Сене, а честолюбивые готы, по видимому, помышляли о более обширных и более прочных завоеваниях. Император Максим сделал такой благоразумный выбор главнокомандующего, который слагал с него самого бремя забот об этих отдаленных провинциях: оставив без внимания настоятельные увещания своих друзей, он внял голосу молвы и вверил иностранцу главное начальство над военными силами в Галлии. Этот иностранец по имени Авит, так щедро вознагражденный за свои личные достоинства, происходил из богатой и почтенной семьи из Овернского диоцеза. Смуты того времени заставили его брать на себя с одинаковым усердием и гражданские, и военные должности, и неутомимый юноша совмещал занятия литературой и юриспруденцией с упражнениями воина и охотника. Тридцать лет своей жизни он с честью провел на государственной службе; он выказывал свои дарования то на войне, то в ведении мирных переговоров, и после того, как этот солдат Аэция исполнил в качестве посла несколько важных дипломатических поручений, он был возведен в звание преторианского префекта Галлии. Потому ли, что заслуги Авита возбуждали зависть, или потому, что он по скромности характера пожелал насладиться покоем, он удалился в свое имение, находившееся в окрестностях Клермона. Широкий поток, выходявший из гор и круто падавший вниз шумными и пенявшимися каскадами, изливал свои воды в озеро, имевшее около двух миль в длину, а вилла была живописно расположена на краю озера. Бани, портики, летние и зимние апартаменты были приспособлены к требованиям удобства и пользы, а окружающая местность представляла разнообразное зрелище лесов, пастбищ и лугов. В то время как Авит жил в этом уединении, проводя свое время в чтении, в деревенских развлечениях, в земледельческих занятиях и в обществе друзей, он получил императорскую грамоту, назначавшую его главным начальником кавалерии и пехоты в Галлии. Лишь только он вступил в командование армией, варвары прекратили свои опустошения, и, каковы бы ни были средства, к которым он прибегал, каковы бы ни были уступки, которые он нашелся вынужденным сделать, население стало наслаждаться внутренним спокойствием. Но судьба Галлии была в руках визиготов, и римский военачальник, заботившийся не столько о своем личном достоинстве, сколько об общей пользе, не считал унижительным для себя посетить Тулузу в качестве посла. Царь готов Теодорих принял его с любезным гостеприимством; но, в то время как Авит закладывал фундамент для прочного союза с этой могущественной нацией, он был поражен известием, что император Максим убит и что Рим разграблен вандалами. Вакантный престол, на который он мог бы вступить без преступления и без опасности, расшевелил его честолюбие, а визиготы охотно согласились поддерживать его притязания своим могущественным влиянием. Им нравилась личность Авита, они уважали его добродетели и не были равнодушны как к пользе, так и к чести, которую им доставило бы назначение западного императора. Приближалось то время, когда в Арле открывалось собрание представителей от семи провинций; на их совещание, быть может, повлияло присутствие Тео-

дориха и его воинственных братьев, но их выбор естественным образом должен был пасть на самого знатного из их соотечественников. После приличного сопротивления Авит принял императорскую диадему от представителей Галлии, и его избрание было одобрено и варварами, и провинциальными жителями. Восточный император Маркиан дал согласие, о котором его просили, но сенат, Рим и Италия хотя и были унижены в своей гордости недавними бедствиями, однако не без тайного ропота преклонились перед самонадеянностью галльского узурпатора.

Король визиготов Теодорих. 453–466 гг.

Теодорих, которому Авит был обязан императорской порфирой, достиг престола убийством своего старшего брата Торизмунда и оправдывал это ужасное преступление тем, что его предместник намеревался разорвать союз с империей. Такое преступление, быть может, не следует считать несовместным с добродетелями варвара; впрочем, Теодорих был от природы мягкого и человеколюбивого характера, и потомство могло без отвращения смотреть на оригинальный портрет готского царя, которого Сидоний близко изучил в его мирных занятиях и в общежитии. В послании, написанном во время пребывания при Тулузском дворе, оратор удовлетворил любознательность одного из своих друзей следующим рассказом: «Своей величественной осанкой Теодорих внушает уважение даже тем, кто не знаком с его личными достоинствами, и, хотя он родился на ступенях трона, он и в положении частного человека возвышался бы, благодаря этим достоинствам, над общим уровнем. Он среднего роста, скорее полон, чем толст, а при пропорциональном сложении членов его тела развязность мускулов соединяется с силой. Если вы станете рассматривать его наружность, вы найдете высокий лоб, широкие щетинистые брови, орлиный нос, тонкие губы, два ряда ровных белых зубов и хороший цвет лица, который переходил в румянец чаще от скромности, чем от гневного раздражения. Я вкратце опишу его обычное препровождение времени, насколько оно доступно для глаз публики. Перед рассветом он отправляется в сопровождении небольшой свиты в свою дворцовую капеллу, где церковная служба совершается арианским духовенством, но в глазах тех, кому ближе знакомы его тайные помыслы, это благочестивое усердие есть результат привычки и расчета. Остальные утренние часы он посвящает делам управления. Его тронное кресло окружают несколько лиц военного звания, отличающихся приличной наружностью и пристойными манерами; шумная толпа его варварских телохранителей остается в зале, где даются аудиенции, но ей не позволяют проникать за покрывало или за занавес, которые скрывают залу совещаний от глаз проходящих. Послы от различных наций вводятся к нему одни вслед за другим; Теодорих выслушивает их с вниманием, отвечает им в сдержанных и кратких выражениях и, смотря по роду дел, или объявляет им свое окончательное решение, или откладывает его до другого времени. Около восьми часов (то есть второго часа его препровождения времени) он встает со своего трона и отправляется осматривать или свои сокровища, или свои конюшни. Когда он отправляется на охоту или только упражняется в верховой езде, один из состоящих при нем избранных юношей держит его лук; но, когда он увидит издали дичь, он собственноручно натягивает этот лук и редко не попадает в свою цель; как царь он пренебрегает ношением оружия для такой бесславной борьбы, но как солдат он покраснел бы от стыда, если бы принял от других такую военную услугу, которую может оказать себе сам. Его еже-

дневный обед не отличается от обеда частных людей, но каждую субботу почетные гости приглашаются к царскому столу, который в этих случаях отличается изяществом, заимствованным от греков, изобилием, которое в обычае у галлов, порядком и исправностью, которым научились у итальянцев. Золотая и серебряная посуда отличается не столько своим весом, сколько блеском и замечательной отделкой; изящество вкуса удовлетворяется без помощи заимствуемой от иностранцев и дорогостоящей роскоши; размеры и число винных кубков соразмеряются со строгими требованиями воздержания, а господствующее почтительное молчание прерывается только серьезными и поучительными разговорами. После обеда Теодорих иногда впадает в непродолжительный сон; лишь только он проснется, он приказывает принести столы и игральные кости, позволяет своим друзьям позабыть о присутствии монарха и очень доволен, когда они, не стесняясь, выражают душевное волнение, возбуждаемое случайностями игры. В этой забаве, которая ему нравится потому, что напоминает собой войну, он попеременно обнаруживает то свой пыл, то свое терпение, то свой веселый нрав. Когда он проигрывает, он смеется; но он скромен и молчалив, когда выигрывает. Однако, несмотря на это кажущееся равнодушие, его царедворцы выжидают той минуты, когда ему благоприятствует фортуна, чтобы просить у него милостей, и я сам, когда мне приходилось о чем-нибудь просить царя, извлекал некоторую пользу из моих проигрышей. Когда наступает девятый час (три часа пополудни), деловые занятия возобновляются и продолжаются без перерыва до солнечного заката; затем подается сигнал для царского ужина, разгоняющий докучливую толпу просителей и ходатаев. За ужином допускается более свободы и развязности; иногда появляются буфоны и пантомимы для того, чтобы развлекать, а не оскорблять своими забавными остротами, но женское пение и сладкая сладострастная музыка строго запрещаются, так как для слуха Теодориха приятны только те воинственные звуки, которые возбуждают в душе жажду ратных подвигов. Теодорих встает из-за стола, и немедленно вслед за тем расставляются ночные караулы у входов в казнохранилище, во дворец и во внутренние апартаменты».

Поощряя Авита облечься в порфиру, царь визиготов предлагал ему в качестве преданного слуги республики и свое личное содействие, и содействие своей армии. Военные подвиги Теодориха скоро доказали всему миру, что он не утратил воинских доблестей своих предков. После того как готы утвердились в Аквитании, а вандалы отправились в Африку, поселившиеся в Галлии свевы задумали завоевать Испанию, и можно было опасаться, что они уничтожат слабые остатки римского владычества. Пострадавшие от неприятельского нашествия жители провинций Картагенской и Таррагонской обратились к правительству с просьбой защитить их от угрожавших им бедствий. Граф Фронто был командирован от имени императора Авита с выгодными предложениями мира и союза, а Теодорих, вмешавшийся в дело в качестве посредника, объявил, что если его деверь, король свевов, не отступит немедленно, он, Теодорих, будет вынужден вступить с оружием в руках за справедливость и за Рим. «Скажите ему, — возразил высокомерный Рекиарий, — что я презираю и его дружбу, и его военные силы, но что я скоро попытаюсь узнать, осмелится ли он ожидать моего прибытия под стенами Тулузы». Этот дерзкий вызов побудил Теодориха предупредить смелые замыслы врага: он перешел через Пиренеи во главе визиготов; под его знамена стали франки и бургунды, и, хотя он выдавал себя за покорного слугу Авита, он втайне говорил в пользу себя и своих преемников безусловное обладание всеми зем-

лями, которые он завоеует в Испании. Две армии, или, вернее, две нации, сошлись на берегах реки Урбик почти в двенадцати милях от Астории, и решительная победа готов, по-видимому, уничтожила могущество и самое имя свевов. С поля битвы Теодорих направился в главный город провинции, Брагу, еще сохранявший роскошные следы своей прежней торговли и своего величия. Его вступление в завоеванный город не было запятнано кровью, и готы не оскорбляли целомудрия своих пленниц, в особенности тех из них, которые принадлежали к числу девственниц, посвятивших себя служению Богу; но большая часть духовенства и народа была обращена в рабство, и даже церкви и алтари не избежали общего разграбления. Несчастный король свевов, спасаясь от врага, достиг одного приморского порта, но неблагоприятные ветры помешали его бегству; он попал в руки своего неумолимого соперника, и так как он и не просил, и не ожидал пощады, то он с мужественной твердостью претерпел смертную казнь, которой, вероятно, сам подвергнул бы Теодориха, если бы победа была на его стороне. После того как Теодорих принес эту кровавую жертву своей политике или своей ненависти, он проник со своей победоносной армией до главного города Лузитании, Мерида, не встретив никакого другого сопротивления, кроме того, которое оказала ему чудотворная сила Св. Евлалии; но он был вынужден приостановить свое победоносное наступление и покинуть Испанию, не успев упрочить свою власть над завоеванными странами. Во время своего отступления к Пиренеям он выместил свою досаду на той стране, через которую проходил, и при разграблении Палланции и Асторги выказал себя и жестокосердым врагом, и ненадежным союзником. В то время как царь визиготов сражался и побеждал от имени Авита, царствование этого последнего уже кончилось, и как честь, так и материальные интересы Теодориха были глубоко затронуты несчастьем друга, которого он возвел на престол Западной империи.

Настоятельные просьбы сената и народа побудили императора Авита поселиться на постоянное жительство в Риме и принять на следующий год звание консула. В первый день января его зять Сидоний Аполлинарий восхвалял его в панегирике из шестисот стихов; но, хотя он и был награжден за это сочинение медной статуей, оно, как кажется, не отличается ни даровитостью, ни правдивостью. Поэт, — если только нам будет дозволено унижить в этом случае это священное название, — преувеличивал личные достоинства своего государя и тестя, а его предсказание продолжительного и славного царствования было скоро опровергнуто ходом событий. В такое время, когда на долю императоров выпадала лишь главная роль в борьбе с общественными бедствиями и опасностями, Авит предавался наслаждениям итальянской изнеженности; годы не заглушили в нем любовных влечений, и его обвиняли в том, что он оскорблял неосторожными и унижительными насмешками тех мужей, чьи жены не устояли против его ухаживаний или против его насилий. Но римляне вовсе не были расположены ни извинять его пороки, ни ценить его добродетели. Входящие в состав империи разнохарактерные народы с каждым днем все более и более чуждались друг друга, и галльский чужеземец сделался предметом общей ненависти и презрения. Сенат заявил о своем законном праве избирать императоров, а его авторитет, опиравшийся первоначально на старинные государственные учреждения, извлек для себя новые силы из бессилия приходившей в упадок монархической власти. Впрочем, даже эта власть могла бы не поддаваться воле безоружных сенаторов, если бы их недовольство не было поддержано или, быть может, возбуждено графом Рицимером, одним из главных начальников трех варварских

войск, на которых была возложена оборона Италии. Дочь царя визиготов Валии была матерью Рицимера, но с отцовской стороны он происходил от свевов; он был затронут в своей гордости или в своем патриотизме несчастьями своих соотечественников и неохотно повиновался такому императору, избрание которого состоялось без его ведома. Его преданность интересам государства и его важные заслуги в борьбе с общественным врагом еще усилили его громадное влияние, а после того как он уничтожил близ берегов Корсики флот вандалов, состоявший из шестидесяти галер, он с триумфом возвратился в Рим и был прозван Освободителем Италии. Он воспользовался этой минутой, чтобы объявить Авиту, что его царствованию настал конец, и бессильный император, находившийся вдалеке от своих готских союзников, был вынужден отречься от престола после непродолжительного и безуспешного сопротивления. Из милосердия или из презрения Рицимер дозволил ему перейти с престола на более привлекательную должность епископа Плаценции; но этим не удовлетворилась ненависть сенаторов, и они осудили его на смертную казнь. Авит бежал по направлению к Альпам не с целью убедить готов вступить за него, а в скромной надежде, что ему удастся найти и для себя, и для своих сокровищ безопасное убежище в святилище одного из чтимых в Оверне святых — Юлиана. Он погиб в пути от болезни или от руки палача; впрочем, его смертные останки были перевезены с надлежащими почестями в Бриас, или в Бриуду, в ту провинцию, которая была его родиной, и были погребены у ног его святого патрона. После Авита осталась только одна дочь, находившаяся в замужестве за Сидонием Аполлинарием, который наследовал от своего тестя его родовое имение и скорбел о том, что рушились все его ожидания и общественной, и личной пользы. С досады он присоединился к галльским мятежникам или, по меньшей мере, стал их поддерживать; это вовлекло его в такие проступки, за которые ему пришлось уплачивать новую дань лести следующему императору.

Император Майориан. 457 г.

В преемнике Авита мы с удовольствием видим одну из таких благородных и геройских личностей, какие иногда появляются в эпохи упадка для того, чтобы поддержать достоинство человеческого рода. Император Майориан был и для современников, и для потомства предметом заслуженных похвал, а эти похвалы энергично выражены в следующих словах здравомыслящего и беспристрастного историка: «Он был добр для своих подданных и страшен для своих врагов, и в каждой из своих добродетелей превосходил всех тех, кто прежде него царствовали над римлянами». Это свидетельство, по меньшей мере, может служить оправданием для панегирика Сидония, и мы можем с уверенностью полагать, что хотя раболепный оратор стал бы восхвалять с таким же усердием и самого недостойного монарха, но в этом случае необыкновенные достоинства предмета его похвал заставляли его не выходить из пределов правдивости. Дед Майориана с материнской стороны командовал в царствование великого Феодосия войсками на иллирийской границе. Он выдал свою дочь за Майорианова отца, пользовавшегося общим уважением чиновника, который заведовал в Галлии государственными доходами со знанием дела и бескорыстием и благородно предпочитал дружбу Аэция заманчивым предложениям вероломного императорского двора. Его сын, будущий император, посвятив себя военному ремеслу, обнаруживал с ранней молодости неустрашимое мужество, несвойственное его летам благоразумие и безграничную щедрость, несо-

размерную с его небольшим состоянием. Он сражался под начальством Аэция, содействовал его успехам, разделял с ним, а иногда и помрачал его славу и в конце концов возбудил зависть в патриции или, вернее, в его жене, которая и принудила его оставить службу. После смерти Аэция Майориан был снова приглашен на службу и повышен чином, а его дружеская связь с графом Рицимером была той ступенькой, с которой он прямо достиг престола Западной империи. Во время междоусобицы, наступившего вслед за отречением Авита, честолюбивый варвар управлял Италией с титулом патриция, так как его происхождение преграждало ему путь к императорскому званию; он уступил своему другу видный пост главного начальника кавалерии и пехоты, а через несколько месяцев одобрил единодушное желание римлян, расположение которых Майориан приобрел недавней победой над алеманнами. Майориан был облечен в порфиру в Равенне, а послание, с которым он обратился к сенату, лучше всего знакомит нас и с его положением, и с его образом мыслей: «Ваш выбор, отцы сенаторы, и воля самой храброй из всех армий сделали из меня вашего императора. Молю Бога, чтобы он направил и увенчал успехом все мои начинания согласно с вашей пользой и с общим благом! Что касается меня, то я не стремился к престолу, а вступил на него по обязанности, так как я нарушил бы долг гражданина, если бы с постыдной неблагодарностью и себялюбием отказался от бремени тех забот, которые возложила на меня республика. Поэтому помогайте монарху, которого вы избрали; принимайте участие в исполнении обязанностей, которые вы возложили на него, и будем надеяться, что наши совокупные усилия приведут к благосостоянию империи, которую я принял из ваших рук. Будьте уверены, что справедливость снова вступит в свои прежние права и что за добродетель не только не будут преследовать, но будут награждать. Пусть доносы будут страшны только для тех, кто их сочиняет; я не одобрял их как подданный, а как государь буду строго за них наказывать. Наша собственная бдительность и бдительность нашего отца, патриция Рицимера, будут руководить всеми делами военного управления и печься о безопасности римского мира, который мы спасли от его внешних и внутренних врагов. Вам теперь известны принципы моего управления, и вы можете положиться на преданность и искренние уверения такого монарха, который некогда жил с вами одной жизнью, делил с вами опасности, до сих пор гордится званием сенатора и постарается, чтобы вы никогда не раскаивались в решении, поставленном в его пользу». Император, снова заговоривший среди развалин римского мира о законности и свободе в таких выражениях, от которых не отказался бы и Траян, должен был извлекать такие благородные чувства из своего собственного сердца, так как ему не могли внушить их ни обычаи его времени, ни примеры его предшественников.

До нас дошли лишь очень поверхностные сведения о том, как вел себя Майориан в частной и в общественной жизни; но изданные им законы, отличающиеся оригинальностью и мыслей и выражений, верно изображают характер государя, который любил свой народ, скорбел о его бедственном положении, изучал причины упадка империи и был способен употреблять для излечения общественных недугов самые разумные и самые действенные средства (насколько это излечение было возможно). Его постановления по части финансов явно клонились к тому, чтобы устранить или по меньшей мере ослабить то, что лежало самым тяжелым бременем на народе. 1. С первых минут своего царствования он позаботился (я употребляю его собственные выражения) об облегчении положения провинциальных жителей, именина ко-

торых пришли в упадок под совокупным давлением индикций и супериндикций. В этих видах он даровал всеобщую амнистию — окончательное и безусловное освобождение от всех недоимок и долгов, с требованием которых могли бы обратиться к народу сборщики податей. Это благоразумное отречение от устарелых, притеснительных и бесплодных взысканий улучшило и очистило источники государственных доходов, а подданные, выйдя из прежнего отчаянного положения, стали с бодростью и с признательностью трудиться и для своей пользы, и для пользы своего отечества. 2. В распределении и сборении налогов Майориан восстановил обычную юрисдикцию провинциальных должностных лиц и отменил назначение экстраординарных комиссий, действовавших или от имени самого императора, или от имени преторианских префектов. Любимцы, которым раздавались такие чрезвычайные полномочия, были наглы в своем обхождении и самовольны в своих требованиях; они обнаруживали презрение к подначальным трибуналам и были недовольны, если их личные доходы и барыши не превышали той суммы, которую они соблаговолит внести в государственное казначейство. Вот один пример из вымогательств, который показался бы невероятным, если бы его достоверность не была засвидетельствована самим законодателем. Они требовали уплаты всей суммы податей золотом, но не брали ходившей в империи монеты, а принимали только те монеты, на которых были вычеканены имена Фаустины или Антонинов. Те подданные, которые не были в состоянии добыть эти редкие монеты, были принуждены вступать в сделки с корыстолюбивыми сборщиками податей; если же им это удавалось, то размер уплачиваемых ими налогов удваивался соразмерно с весом и ценностью старых денег. 3. «Муниципальные корпорации, — говорит император, — или маленькие сенаты (как их основательно называли в древности), достойны того, чтобы их называли душой городов и мускулами республики, а между тем они в настоящее время низведены несправедливостями должностных лиц и продажностью сборщиков податей до такого положения, что многие из членов искали для себя убежища в отдаленных провинциях, отказавшись и от своего звания, и от своей родины». Он настоятельно убеждает их и даже приказывает им возвратиться в их города; но вместе с тем он устраняет те причины неудовольствия, которые заставили их уклониться от исполнения их муниципальных обязанностей. Майориан возлагает на них прежнюю обязанность собирать подати под руководством провинциальных должностных лиц; но вместо того, чтобы возложить на них ответственность за взнос всей суммы налогов, которыми обложен их округ, требует только правильного отчета о собранных ими деньгах и список лиц, оставшихся в долгу перед государственной казной. 4. Но Майориану было хорошо известно, что эти корпорации были слишком расположены мстить за вынесенные ими несправедливости и угнетения, и потому он восстановил полезную должность городских защитников. Он приглашает городских жителей выбирать на общих и ничем не стесняемых сходах благоразумных и бескорыстных людей, которые стали бы смело отстаивать их привилегии, заявлять о причинах их неудовольствия, охранять бедных от тирании богатых и извещать императора о злоупотреблениях, совершенных под прикрытием его имени и авторитета.

Разрушение Рима

При виде развалин древнего Рима нетрудно впасть в заблуждение и приписать вине готов и вандалов то зло, которого они не имели ни времени, ни силы, ни, быть может, даже намерения совершить. Буря войны

может повалить на землю несколько высоких башен, но разрушение, проникшее до самого фундамента стольких громадных зданий, совершалось медленно и без шума в течение десяти столетий, а те личные интересы, которые впоследствии действовали в том же направлении без всякого стыда и без всякого контроля, были на время сдержаны строгими мерами императора Майориана, благодаря его разборчивому вкусу и его энергии. С упадком города постепенно утрачивали свою цену и публичные здания. Цирк и театры еще существовали, но они редко удовлетворяли влечение народа к публичным зрелищам; храмы, уцелевшие от религиозного усердия христиан, уже не служили местом жительства ни для богов, ни для людей; поредевшие толпы римлян терялись на громадном пространстве, которое занимали бани и портики, а обширные библиотеки и залы судебных заседаний сделались бесполезными для беспечного поколения, редко нарушавшего свой покой учеными или деловыми занятиями. Памятники консульского и императорского величия уже не внушали благоговейного уважения как бессмертные свидетели прошлой славы; они ценились только в качестве неистощимого запаса строительных материалов, более дешевых и более удобных, чем те, которые добывались из отдаленных каменоломен. Римские чиновники снисходительно удовлетворяли беспрестанно поступающие к ним прошения о дозволении брать из разваливавшихся зданий камни и кирпичи; самые красивые произведения архитектуры обезображивались под предлогом ничтожных или мнимых починок, и выродившиеся римляне, стараясь извлекать личную выгоду из воздвигнутых предками зданий, разрушали эти здания своими нечестивыми руками. Майориан, часто со скорбью взиравший на такое опустошение столицы, прибегнул к строгим мерам против беспрестанно возрастающего зла. Он предоставил исключительному усмотрению государя и сената те экстренные случаи, когда можно было допустить разрушение какого-нибудь древнего здания, наложил денежный штраф в пятьдесят фунтов золота (в две тысячи фунт. стерл.) на каждое должностное лицо, которое осмелилось бы выдать такое противозаконное и постыдное разрешение, и грозил, что будет наказывать низших чиновников за преступную снисходительность ударами плети и отсечением обеих рук. Что касается этого последнего постановления, то можно было бы подумать, что законодатель в этом случае упустил из виду соразмерность между преступлением и наказанием; но его рвение истекало из благородного принципа, и Майориан заботился о сбережении памятников тех веков, в которые он желал бы и был достоин жить. Император понимал, что увеличение числа его подданных согласно с его собственными интересами и что на нем лежит обязанность охранять чистоту брачного ложа; но средства, к которым он прибегнул для достижения этих благотворных целей, были сомнительного достоинства и даже едва ли достойны похвалы. Благочестивым девушкам, желавшим посвятить свою девственность Христу, не было дозволено поступать в монашеское звание, пока они не достигнут сорока лет. Еще не достигшие этого возраста вдовы должны были вступать в новый брак в течение пяти лет со смерти первого мужа, иначе у них отбирали половину состояния или в пользу их ближайших родственников, или в пользу государства. Неравные браки запрещались или признавались недействительными. Конфискация и ссылка были признаны столь недостаточными наказаниями за прелюбодеяния, что если виновный возвращался в Италию, то его можно было безнаказанно убить вследствие положительного на то разрешения со стороны Майориана.

В то время как император Майориан усердно заботился о том, чтобы вернуть римлянам и прежнее благосостояние, и прежние добродетели, ему пришлось вступить в борьбу с Гензерихом, который был самым грозным из их врагов и по своему характеру, и по своему положению. Вандалы и мавры высадились у устья реки Лиры, или Гарильяно; но императорские войска напали врасплох на бесчинные толпы варваров, которых обременяла добыча, собранная в Кампании; варвары были прогнаны на свои корабли с большими потерями, и в числе убитых оказался начальствовавший экспедицией деверь готского царя. Такую бдительную заботливость можно было считать за предзнаменование того, каков будет отличительный характер нового царствования; но и самой строгой бдительности, и самых многочисленных военных сил было бы недостаточно для охраны длинного итальянского побережья от опустошений, причиняемых морскими войнами. Общественное мнение налагало на гений Майориана более высокую и более трудную задачу. От него одного Рим ожидал восстановления своего владычества над Африкой, и задуманный им план напасть на вандалов в их новых поселениях был результатом смелой и благоразумной политики. Если бы неустрашимый император мог влить свое собственное мужество в душу итальянской молодежи, если бы он мог воскресить те благородные воинские упражнения на Марсовом поле, в которых он всегда одерживал верх над своими сверстниками, тогда он мог бы выступить против Гензериха во главе римской армии. Такое преобразование национальных нравов могло бы быть предпринято подраставшим поколением, но несчастье государей, старающихся поддержать разваливающуюся монархию, и заключается именно в том, что они находят вынужденным поддерживать и даже умножать самые вредные злоупотребления ради какой-нибудь немедленной пользы или во избежание какой-нибудь неминуемой опасности. Подобно самым слабым из своих предместников, Майориан был вынужден прибегать к постыдной замене своих невоинственных подданных наемными варварами, а свои высокие дарования он мог выказать только в силе и ловкости, с которыми владел этим опасным оружием, столь способным наносить раны той самой руке, которая употребляет его в дело. Кроме союзников, уже состоявших у него на службе, слух о его щедрости и храбрости привлек под его знамена воинов с берегов Дуная, Борисфена и, быть может, Танаиса. Многие тысячи самых отважных подданных Аттилы — генидов, остготов, ругиев, бургундов, свевов, аланов — собрались на равнинах Лигурии, а от опасности, которой могли угрожать их громадные силы, служила охраной их взаимная вражда. Они перешли через Альпы среди суровой зимы. Император шел в полном вооружении впереди, измеряя своей длинной тростью глубину льда или снега и весело ободряя жаловавшихся на невыносимый холод скифов обещанием, что они останутся довольны африканской жарой. Лионские граждане осмелились запереть перед ним городские ворота: они скоро были вынуждены молить Майориана о пощаде и узнали на собственном опыте, как велико его милосердие. Он одержал победу над Теодорихом и затем принял в число своих друзей и союзников царя, которого не считал недостойным того, чтобы лично вступать с ним в борьбу. Благотворное, хотя и непрочное присоединение большей части Галлии и Испании к римским владениям было столько же плодом убеждений, сколько результатом военных действий, а независимые багавды, не испытывавшие на себе тирании предшествовавших царствований или с успехом с ней боровшиеся, изъявили готовность положиться на добродетели Майориана. Его лагерь был наполнен варварскими союзниками; его трон поддерживала ревностная преданность

народа; но император хорошо понимал, что не было возможности предпринять завоевание Африки, не имея флота. В первую Пуническую войну республика выказала такую невероятную предприимчивость, что через шестьдесят дней после того, как раздался в лесу первый удар топора, уже гордо стоял на якоре готовым к выступлению в море флот из ста шестидесяти галер. При менее благоприятных обстоятельствах Майориан не уступил древним римлянам ни в мужестве, ни в настойчивости. Леса Апеннин были срублены; арсеналы и фабричные заведения Равенны и Мисена были приведены в исправность; Италия и Галлия старались превзойти одна другую в щедрых пожертвованиях на общую пользу, и императорский флот, состоявший из трехсот больших галер и соответствующего числа транспортных и мелких судов, собрался в безопасной и обширной картагенской гавани в Испании. Неустрашимость Майориана внушала его войскам уверенность в победе, но его храбрость — если можно полагаться на свидетельство историка Прокопия — иногда увлекала его за пределы благоразумия. Горя нетерпением увидеть собственными глазами, в каком положении находятся вандалы, он, постаравшись скрыть цвет своих волос, посетил Карфаген в качестве своего собственного посла, и Гензерих был очень раздосадован, когда узнал, что принимал у себя и отпустил домой императора римлян. Такой анекдот можно считать за неправдоподобный вымысел, но вымыслы этого рода создаются воображением только в том случае, если речь идет о герое.

Гензериху и без личного свидания были хорошо известны и дарования, и замыслы его противника. Он по своему обыкновению прибег к разным хитростям и проволочкам, но все его старания были безуспешны. Его мирные предложения становились все более и более смиренными и, быть может, все более и более искренними; но непреклонный Майориан придерживался старинного правила, что нельзя считать безопасность Рима обеспеченной, пока Карфаген находится с ним во вражде. Король вандалов не полагался на храбрость своих природных подданных, изнежившихся под влиянием роскоши юга; он не доверял преданности побежденного народа, который ненавидел в нем арианского тирана, а отчаянные меры, с помощью которых он обратил Мавританию в пустыню, не могли служить препятствием для римского императора, который мог выбирать для высадки своих войск любое место на африканском побережье. Но Гензериха спасло от неминуемой гибели предательство некоторых влиятельных Майориановых подданных, завидовавших удачам своего государя или почему-либо опасавшихся последствий этих удач. Руководствуясь их тайными указаниями, Гензерих напал врасплох на беспечно стоявший в карфагенской бухте флот, частью потопил, частью захватил, частью сжег много кораблей и в один день уничтожил приготовления, на которые было потрачено три года. После этого происшествия оба соперника доказали, что они стояли выше всяких случайностей фортуны. Вандал, вместо того чтобы возгордиться от этой случайной победы, немедленно возобновил свои мирные предложения. Западный император, который был одинаково способен и замышлять великие предприятия, и выносить тяжелые разочарования, согласился на заключение мирного договора, или, вернее, на перемирие, в полной уверенности, что, прежде нежели он успеет создать новый флот, найдется немало основательных поводов для возобновления войны. Возвратившись в Италию, Майориан снова принялся за работу, которой требовала общая польза; а так как его совесть была спокойна, то он мог долго ничего не знать о заговоре, который грозил опасностью и его трону, и его жизни. Случившееся в Карфагене несчастье помрачило славу, ослеплявшую глаза

народа своим блеском; почти все гражданские и военные должностные лица были крайне недовольны реформатором, так как все они извлекали личные выгоды из тех злоупотреблений, которые он старался искоренить, а патриций Рицимер старался восстановить варваров против монарха, которого он и уважал и ненавидел. Добродетели Майориана не могли предохранить его от буйного мятежа, вспыхнувшего в лагере близ Тортонь, у подножия Альп. Он был вынужден отречься от престола; через пять дней после отречения он, как рассказывали, умер от кровавого поноса, а воздвигнутая над его смертными останками скромная гробница была освящена уважением и признательностью следующих поколений. В домашней жизни характер Майориана внушал любовь и уважение. Злобная клевета и насмешки возбуждали в нем негодование; если же они были направлены против него самого, он относился к ним с презрением; но он не стеснял свободного выражения мнений, и в те часы, которые он проводил в интимной беседе с друзьями, он предавался своей склонности к шутивным остротам, никогда не унижая величия своего звания.

Рицимер, быть может, не без сожаления принес своего друга в жертву интересам своего честолюбия, но при вторичном выборе императора он решился не отдавать неблагоразумного предпочтения высоким добродетелям и личным достоинствами. По его приказанию раболепный сенат возвел в императорское звание Либия Севера, который даже со вступлением на престол Западной империи не вышел из той неизвестности, в которой жил частным человеком. История едва удостоила своим вниманием его происхождение, возвышение, характер и смерть. Север окончил свое существование, лишь только оно оказалось невыгодным для его патрона, и было бы совершенно бесполезно расследовать продолжительность его номинального царствования в том шестилетнем промежутке времени, который отделяет смерть Майориана от возведения на престол Анфимия. Тем временем управление находилось в руках одного Рицимера, и, хотя этот воздержанный варвар отказывался от королевского титула, он накапливал сокровища, организовал отдельную армию, заключал приватные союзы и управлял Италией с такой же самостоятельной и деспотической властью, какой впоследствии пользовались Одоакр и Теодорих. Но его владения не простирались далее Альп, и два римских генерала, Марцеллин и Эгидий, оставаясь верными республике, с пренебрежением отвергли тот призрак, которому он давал титул императора. Марцеллин исповедовал старую религию, а благочестивые язычники, втайне нарушавшие постановления церкви и светской власти, превозносили его необыкновенные дарования в искусстве ворожбы. Впрочем, он обладал более ценными достоинствами учености, добродетели и мужества; знакомство с латинской литературой развило в нем вкус к изящному, а своими воинскими дарованиями он снискал уважение и доверие великого Аэция, в гибель которого и был вовлечен. Марцеллин спасся бегством от ярости Валентиниана и смело отстаивал свою самостоятельность среди смут, потрясавших Западную империю. За свое добровольное или вынужденное преклонение перед властью Майориана он был награжден званием губернатора Сицилии и начальника армии, расположенной на этом острове для нападения на вандалов или для того, чтобы препятствовать их высадкам; но после смерти императора его варварские наемники были вовлечены в восстание коварной щедростью Рицимера. Во главе отряда верных приверженцев неустрашимый Марцеллин занял Далмацию, присвоил себе титул западного патриция, снискал любовь своих подданных мягким и справедливым управлением, построил

флот, который был в состоянии господствовать на Адриатическом море, и стал угрожать то берегам Италии, то берегам Африки. Главный начальник войск в Галлии Эгидий, ни в чем не уступавший героям Древнего Рима или, по меньшей мере, старавшийся им подражать, объявил, что до конца своей жизни будет мстить убийцам своего возлюбленного повелителя. К его знаменам была привязана храбрая и многочисленная армия, и, хотя происки Рицимера и угрозы визиготов помешали ему двинуться на Рим, он поддержал свое самостоятельное владычество по ту сторону Альп и прославил имя Эгидия как мирными, так и военными подвигами. Франки, наказавшие Хильдериха изгнанием за его юношеские безрассудства, избрали своим королем римского генерала; это странное отличие удовлетворяло не столько его честолюбие, сколько его тщеславие, а по прошествии четырех лет, когда франки раскаялись в оскорблении, нанесенном роду меровингов, он беспрекословно уступил престол законному государю. Владычество Эгидия окончилось только с его жизнью, а огорченные его смертью легковверные галлы были уверены, что он погиб от яда или от тайного насилия по распоряжению Рицимера, характер которого оправдывал такие подозрения.

Под управлением Рицимера королевство италийское (до этого названия была постепенно низведена Западная империя) беспрестанно подвергалось хищническим нашествиям вандалов. Весной каждого года они снаряжали в карфагенской гавани сильный флот, и сам Гензерих, несмотря на свои преклонные лета, принимал личное начальство над самыми важными экспедициями. Его намерения хранились в непроницаемой тайне до самой минуты отплытия. Когда кормчий обращался к нему с вопросом, в какую сторону следует держать путь, он отвечал с благочестивой наглостью: «Предоставьте этот выбор ветрам; они принесут нас к тому преступному берегу, жители которого провинились перед божеским правосудием». Но когда сам Гензерих снисходил до более определенных приказаний, то самое богатое население считалось за самое преступное. Вандалы неоднократно посещали берега Испании, Лигурии, Тосканы, Кампании, Лукании, Бруттия, Апулии, Калабрии, Венеции, Далмации, Эпира, Греции и Сицилии; они попытались завоевать остров Сардинию, занимающий столь выгодное положение в самом центре Средиземного моря, и навели своими опустошениями ужас на всех прибрежных жителей от Геркулесовых Столбов до устьев Нила. Так как они гонялись не столько за славой, сколько за добычей, то они редко нападали на укрепленные города и редко вступали в открытое поле в борьбу с регулярными войсками. Благодаря быстроте своих передвижений они могли почти в одно и то же время угрожать самым отдаленным одна от другой местностям, способным возбуждать в них корыстолюбивые желания; а так как они всегда увозили на своих кораблях достаточное число лошадей, то немедленно вслед за высадкой на берег их легкая кавалерия принималась опустошать обьятую ужасом страну. Однако, несмотря на пример самого короля, коренные вандалы и аланы стали постепенно уклоняться от таких утомительных и опасных военных предприятий; отважное поколение первых завоевателей почти совершенно вымерло, а родившиеся в Африке их сыновья наслаждались банями и садами, которые им доставило мужество их отцов. Их место охотно заняли разнохарактерные толпы мавров и римлян, пленников и ссыльных, а эти отчаянные негодяи, уже понесшие наказание за нарушение законов своего отечества, усерднее всех других совершали те зверские жестокости, которые наложили пятно позора на победы Гензериха. В обхождении со своими несчастными пленниками он иногда руководствовался любостязанием, иногда

искал удовлетворения для своего жестокосердия, а за избиение пятисот знатных граждан Закинфа, или Занте, обезображенные трупы которых он побросал в Ионическое море, общее негодование возлагало ответственность даже на самых отдаленных его потомков.

Никакие обиды не могли служить оправданием для таких преступлений, но война, которую король вандалов вел с Римской империей, была вызвана благовидными и даже основательными мотивами. Валентинианова вдова Евдокия, которую он отправил пленницей из Рима в Карфаген, была единственной представительницей дома Феодосия; ее старшая дочь Евдокия была выдана против воли замуж за старшего Гензерихова сына Гуннериха, и грозный тесть заявил такие законные притязания, которые было нелегко ни отвергнуть, ни удовлетворить: он потребовал приходящейся на ее долю части императорского наследства. Восточный император купил необходимый для него мир уплатой соразмерного или по меньшей мере значительного денежного вознаграждения. Евдокия и ее младшая дочь Платидия возвратились с почетом в Константинополь, и вандалы ограничились свои опустошения пределами западной империи. Итальянцы, за неимением флота, который один только и мог бы охранять их берега, обратились с просьбами о помощи к более счастливым восточным народам, когда-то признававшим над собой верховенство Рима и в мире, и в войне. Но вследствие непрерывного разобщения у каждой из двух империй возникли особые интересы и влечения; просителям отвечали ссылкой на обязанности, налагаемые только что заключенным мирным договором, и нуждавшиеся в войсках и кораблях западные римляне не получили никакой другой помощи, кроме холодного и бесплодного посредничества. Высокомерный Рицимер, так долго боровшийся с трудностями своего положения, наконец нашелся вынужденным обратиться к Константинопольскому двору со смирением подданного, и Италия купила и обеспечила союз с восточным императором тем, что согласилась подчиниться избранному им повелителю. Я не предполагал подробно излагать византийскую историю ни в этой главе, ни даже в этом томе; но краткий очерк царствования и характера императора Льва объяснит нам, каковы были крайние меры, к которым прибегали для спасения развалившейся Западной империи.

Восточный император Лев. 457–474 гг.

После смерти Феодосия Младшего внутреннее спокойствие Константинополя не нарушалось ни внешними войнами, ни междоусобицами. Пульхерия, избрав в мужья скромного и добродетельного Маркиана, вверила ему скипетр Востока; из признательности он относился с уважением к ее высокому званию и девственному целомудрию, а после ее смерти подал своему народу пример религиозного поклонения этой святой императрице. Поглощенный заботами о своих собственных владениях, Маркиан, по-видимому, равнодушно взирал на бедствия Рима, а упорство, с которым этот храбрый и деятельный государь отказывался обнажить свой меч против вандалов, приписывалось тайному обещанию, исторгнутому из него в то время, когда он находился в плену у Гензериха. Смерть Маркиана после семилетнего царствования подвергла бы Восточную империю опасностям, сопряженным с народными выборами, если бы преобладающее влияние одного семейства не было способно склонить весы на сторону того кандидата, которого оно поддерживало. Патриций Аспар мог бы возложить диадему на свою собственную голову, если бы согласился принять Никейский символ веры.

При трех поколениях восточные армии находились под главным начальством то его отца, то его самого, то его сына Ардабурия; его варварские телохранители представляли такую военную силу, которая держала в страхе и дворец и столицу, а благодаря щедрой раздаче своих громадных сокровищ Аспар сделался столько же популярен, сколько он был могуществен. Он предложил в императоры военного трибуна и своего главного дворецкого Льва Фракийского, имя которого не пользовалось никакой известностью. Выбор Льва был единогласно одобрен сенатом, и слуга Аспара принял императорскую корону из рук патриарха, или епископа, которому было дозволено выразить одобрение Божества посредством этой необычайной церемонии. Титул Великого, которым император Лев был отличен от монархов, царствовавших после него под тем же именем, служит доказательством того, что константинопольские императоры внушили грекам очень скромное понятие о том, каких совершенств можно искать в героях или по меньшей мере в императорах. Впрочем, спокойная твердость, с которой Лев противился тирании своего благодетеля, доказывала, что он сознавал и свой долг, и свои права. Аспар был очень удивлен тем, что уже не мог бы повлиять даже на выбор какого-нибудь константинопольского префекта; он осмелился упрекнуть своего государя в нарушении данного слова и, дерзко встряхивая его порфиру, сказал: «Тому, кто носит это одеяние, неприлично навлекать на себя обвинение во лжи». «Также неприлично, — возразил Лев, — чтобы монарх подчинял и свою собственную волю, и общественные интересы воле своего подданного». После этой необыкновенной сцены примирение между императором и патрицием не могло быть искренним или по меньшей мере не могло быть прочным и продолжительным. Армия, втайне набранная из исавров, была введена в Константинополь, а пока Лев подкапывался под авторитет Аспарова семейства и готовил его гибель своим мягким и осторожным обхождением, он удерживал членов этого семейства от опрометчивых и отчаянных попыток, которые могли бы быть губительны или для них самих или для их противников. Этот внутренний переворот отразился на действиях правительства и в том, что касалось его мирной политики, и в том, что касалось вопросов о войне. Пока Аспар унижал своим влиянием достоинство верховной власти, он держал сторону Гензериха и из тайного религиозного сочувствия, и из личных интересов. Когда же Лев сбросил с себя эту позорную зависимость, он стал с сочувствием внимать жалобам итальянцев, вознамерился уничтожить тиранию вандалов и объявил о своем вступлении в союз со своим сотоварищем Анфимием, которого он торжественно облек в диадему и в порфиру западного императора.

Император Анфимий

Добродетели Анфимия, вероятно, были преувеличены, как была преувеличена и знатность его рода, который будто бы происходил от целого ряда императоров, между тем как между его предками не было ни одного императора, кроме узурпатора Прокопия. Но благодаря тому что его ближайшие родственники отличались и личными достоинствами, и почетными званиями, и богатством, Анфимий принадлежал к числу самых знатных подданных Восточной империи. Его отец Прокопий по возвращении из своего посольства в Персию был возведен в звания генерала и патриция, а свое имя Анфимий получил от своего деда с материнской стороны — от того знаменитого префекта, который с таким искусством и успехом управлял империей во время молодчества Феодосия. Внук бывшего префекта возвысился над положени-

ем простого подданного благодаря своей женитьбе на дочери Маркиана Евфимии. Такой блестящий брак, который мог бы восполнить даже недостаток личных достоинств, ускорил последовательное повышение Анфимия в звания графа, главного начальника армии, консула и патриция; а благодаря своим дарованиям или своему счастью Анфимий покрыл себя славой победы, которую одержал над гуннами неподалеку от берегов Дуная. Зять Маркиана нельзя бы было упрекнуть в безрассудном честолюбии за то, что он надеялся наследовать своему тестю; но обманувшийся в своих ожиданиях Анфимий перенес это разочарование с мужеством и с терпением, а когда он был возведен в звание западного императора, все одобряли этот выбор, так как считали его достойным царствовать до той минуты, когда он вступил на престол. Западный император выступил из Константинополя в сопровождении нескольких графов высшего ранга и отряда телохранителей, почти столь же сильного и многочисленного, как целая армия; он совершил торжественный въезд в Рим, и выбор Льва был одобрен сенатом, народом и варварскими союзниками Италии. Вслед за воцарением Анфимия состоялось бракосочетание его дочери с патрицием Рицимером, и это счастливое событие считалось за самую прочную гарантию целостности и благосостояния государства. Богатство двух империй было по этому случаю выставлено напоказ с тщеславным хвастовством, и многие из сенаторов довершили свое разорение чрезмерными усилиями скрыть свою бедность. Все деловые занятия были прекращены во время этого празднества; залы судебных заседаний были закрыты; улицы Рима, театры и места публичных и частных увеселений оглашались свадебными песнями и танцами, а высокая новобрачная, в шелковом платье и с короной на голове, была отвезена во дворец Рицимера, заменившего свой военный костюм одеянием консула и сенатора. Сидоний, так жестоко обманувшийся в своих прежних честолюбивых ожиданиях, выступил в этом достопамятном случае в качестве оратора от Оверна в числе провинциальных депутатов, прибывших для поздравления нового императора или для изложения ему своих жалоб. Наступали январские календы, и продажный поэт, когда-то выражавший свою преданность Авиту и свое уважение к Майориану, согласился, по настоянию своих друзей, воспеть в героических стихах достоинства, счастье, второе консульство и будущие триумфы императора Анфимия. Сидоний произнес с самоуверенностью и с успехом панегирик, который сохранился до сих пор, и каковы бы ни были несовершенства содержания или изложения, услужливый льстец был немедленно награжден должностью римского префекта; это звание ставило его наряду с самыми знатными сановниками империи до тех пор, пока он из благоразумия не предпочел более почтенных отличий епископа и святого.

Греки из честолюбия восхваляют благочестие и католические верования императора, которого они подарили Западной империи; они также не забывают обращать внимание на тот факт, что перед своим отъездом из Константинополя он превратил свой дворец в благотворительное учреждение, устроив там публичные бани, церковь и больницу для стариков. Однако некоторые факты внушают недоверие к чистоте богословских убеждений Анфимия. Из своих бесед с приверженцем македонской секты Филофеем он извлек сочувствие к принципам религиозной терпимости, и римские еретики могли бы безнаказанно устраивать свои сходки, если бы смелое и энергичное неодобрение, высказанное в церкви Св. Петра папой Гиларием, не принудило императора отказаться от такой снисходительности, которая оскорбляла народные верования. Равнодушие или пристрастие Анфимия даже внушало тщетные

надежды немногочисленным и скрывающимся во мраке язычникам, а его странное дружеское расположение к философу Северу, которого он возвел в звание консула, приписывалось тайному намерению восстановить старинное поклонение богам. Эти идолы уже были разбиты вдребезги, а мифология, которая когда-то служила для стольких народов религией, впала в такое общее пренебрежение, что христианские поэты могли пользоваться ею без всякого скандала или, по меньшей мере, не возбуждая никаких подозрений. Однако следы суеверий еще не были совершенно изглажены, а праздник Луперкалий, учреждение которого предшествовало основанию Рима, еще справлялся в царствование Анфимия. Его дикие и безыскусственные обряды соответствовали тому состоянию, в котором находятся человеческие общества до своего знакомства с искусствами и земледелием. Боги, присутствовавшие при работах и увеселениях поселян, Пан, Фавн и состоявшие при них сатиры, были именно таковы, какими их могла создать фантазия пастухов, — веселы, игривы и сладострастны; их власть была ограничена, а их злоба безвредна. Коза была той жертвой, которая всего лучше соответствовала их характеру и атрибутам; ее мясо жарилось на ивовых прутьях, а юноши, стекавшиеся шумными толпами на праздник, бегали голыми по полям с кожаными ремнями в руках и били этими ремнями женщин, воображавших, что они от этого народят много детей. Алтарь Пана был воздвигнут — быть может, аркадийцем Эвандром — подле Палатинского холма, в уединенном месте среди рощи, по которой протекал никогда не высохавший ручей. Предание, гласившее, что в этом самом месте Ромул и Рем были вскормлены волчицей, придавало ему особую святость в глазах римлян, а с течением времени это жилище лесного бога было окружено великолепными зданиями форума. После обращения императорской столицы в христианскую веру, христиане не переставали ежегодно справлять в феврале месяце праздник Луперкалий, которому они приписывали тайное и мистическое влияние на плодородие и животного, и растительного мира. Римские епископы пытались уничтожить нечестивый обычай, столь противный духу христианства; но их религиозное усердие не поддерживалось авторитетом светской власти; укоренившееся злоупотребление существовало до конца пятого столетия, а папа Гелазий, очистивший Капитолий от последних остатков идолопоклонства, нашел нужным произнести специально написанную по этому случаю защитительную речь, чтобы укротить ропот сената и народа.

Во всех своих публичных заявлениях император Лев относился к Анфимию с авторитетом отца и выражал свою привязанность к нему как к сыну, с которым он разделил управление миром. По своему положению, а может быть, и по своему характеру Лев не чувствовал расположения подвергать свою особу трудностям и опасностям африканской войны. Но он с энергией употребил в дело все ресурсы Восточной империи для защиты Италии и Средиземного моря от вандалов, и Гензериху, так долго владычествовавшему на суше и на море, стало со всех сторон грозить страшное нашествие. Кампания открылась смелым и удачным предпринятием префекта Гераклия. Войска, стоявшие в Египте, Фиваде и Ливии, были посажены на суда под его главным начальством, а арабы, запасшиеся лошадьми и верблюдами, прокладывали путь в пустыню. Гераклий высадился близ Триполи, завладел врасплох городами этой провинции и для соединения с императорской армией под стенами Карфагена предпринял такой же трудный переход, какой был уже прежде него совершен Катонам. Известие об этой потере заставило Гензериха прибегнуть к коварным заискиваниям мира, которые оказались безуспешными, но его еще более встре-

вожило примирение Марцеллина с обоими императорами. Пользовавшийся самостоятельной властью патриций согласился признать законные права Анфимия и сопровождал его во время поездки в Рим; далматийскому флоту был открыт доступ в итальянские гавани; предприимчивый и мужественный Марцеллин выгнал вандалов с Сардинии, и вялые усилия Запада в некоторой степени увеличили важность громадных приготовлений, которые были сделаны на Востоке. Расходы на снаряжение морских сил, высланных Львом для войны с вандалами, были вычислены с точностью, а этот интересный и поучительный расчет знакомит нас с денежными средствами приходившей в упадок империи. Из императорских поместий или из личной казны императора было израсходовано семнадцать тысяч фунтов золота; сорок семь тысяч фунтов золота и семьсот тысяч фунтов серебра были собраны в виде налога и внесены в государственное казначейство преторианскими префектами. Но города были доведены до крайней бедности, а тот факт, что денежные пени и конфискации считались за важный источник доходов, не говорит в пользу справедливости и мягкости тогдашней администрации.

Все расходы на африканскую экспедицию, какими бы способами они ни были покрыты, доходили до ста тридцати тысяч фунтов золота, то есть почти до пяти миллионов двухсот тысяч фунтов стерлингов в такое время, когда ценность денег — судя по сравнительной цене зернового хлеба — была несколько выше их теперешней ценности. Флот, отплывший из Константинополя в Карфаген, состоял из тысячи ста тринадцати судов, а число солдат и матросов превышало сто тысяч человек. Главное начальство было поручено брату императрицы Верины Василиску. Находившаяся в супружестве со Львом его сестра преувеличила его прежние подвиги в войне со скифами. Но только в африканской войне вполне обнаружилось его вероломство или полное отсутствие дарований, и, чтобы спасти его воинскую репутацию, его друзья были вынуждены уверять, что он втайне условился с Аспаром щадить Гензериха и разрушить последние надежды Западной империи.

Опыт доказал, что успех нападающего чаще всего зависит от энергии и быстроты его движений. Первые впечатления страха утрачивают свою силу и остроту от медлительности; здоровье и бодрость солдат чахнут в непривычном климате; морские и военные силы, стоившие таких громадных усилий, которые, быть может, уже никогда не повторятся, истрачиваются без всякой пользы, и с каждым часом, проведенным в переговорах, неприятель все более и более приучается спокойно рассматривать и анализировать те ужасы, с которыми он с первого взгляда не считал себя способным бороться. Грозный флот Василиска благополучно совершил переезд из Фракийского Босфора до берегов Африки. Войска высадились близ мыса Боны, или Меркурия, милях в сорока от Карфагена. Армия Гераклия и флот Марцеллина или присоединились к военным силам императорского наместника, или оказывали им содействие, а вандалы, пытавшиеся остановить их наступление, были побеждены и на море, и на суше. Если бы Василиск воспользовался первыми минутами общего смятения и смело направился к столице, Карфаген был бы принужден сдаться, и владычество вандалов было бы уничтожено. Гензерих не упал духом при виде опасности и вернулся от нее со своей обычной ловкостью. Он заявил в самых почтительных выражениях о своей готовности подчинить и самого себя, и свои владения воле императора; но он попросил пятидневного перемирия для того, чтобы сговориться об условиях, на которых готов покориться, а в общественном мнении того времени сложилось убеждение, что тайные подарки способствовали успеху этих перегово-

воров. Вместо того чтобы упорно отказывать в просьбе, на которой так горячо настаивал противник, преступный или легковверный Василиск согласился на роковое перемирие, а своей неблагоразумной беззаботностью как будто хотел доказать, что уже считает Африку завоеванной. В этот короткий промежуток времени ветры приняли направление, благоприятное для замыслов Гензериха. Он посадил самых храбрых мавров и вандалов на самые большие из своих кораблей, привязав к этим последним множество больших лодок, наполненных зажигательными снарядами. Среди ночного мрака ветер понес эти разрушительные лодки на флот беспечных римлян, пробудившихся ото сна только тогда, когда уже нельзя было избежать гибели. Так как римские корабли стояли густыми рядами, то огонь переходил с одного на другой с непреодолимой быстротой и стремительностью, а ужас этого ночного смятения еще увеличивался от ветра, от треска горевших кораблей и от бессвязных криков солдат и матросов, лишенных возможности ни давать, ни исполнять приказания. Между тем как они старались увернуться от зажигательных лодок и спасти хоть часть флота, Гензериховы галеры нападали на них со сдержанным и дисциплинированным мужеством, и многие из римлян, спасшихся от ярости пожара, были убиты или захвачены в плен победоносными вандалами. Среди бедствий этой злополучной ночи один из высших генералов Василиска, Иоанн, спас свое имя от забвения благодаря своей геройской, или, вернее, отчаянной, храбрости. В то время как корабль, на котором он храбро сражался, был почти совершенно объят пламенем, он презрительно отверг предложение сдаться, с которым к нему обратился из уважения и из сострадания Гензерихов сын Гензо; Иоанн бросился в полном вооружении в море и исчез в волнах, воскликнув, что ни за что не отдастся живым в руки этих нечестивых негодяев. А Василиск, занявший такой пост, где ему не могла угрожать никакая опасность, воодушевлялся совершенно иными чувствами; он в самом начале сражения обратился в позорное бегство, возвратился в Константинополь, потеряв более половины своего флота и своей армии, и укрыл свою преступную голову в святилище Св. Софии до тех пор, пока его сестра не вымолила слезами и просьбами его помилование у разгневанного императора. Гераклий совершил свое отступление через песчаную степь; Марцеллин удалился в Сицилию, где был убит одним из подчиненных ему офицеров, быть может, по наущению Рицимера, а царь вандалов выразил и свое удивление, и свое удовольствие по поводу того, что римляне сами отправили на тот свет самого страшного из всех его противников. После неуспеха этой великой экспедиции Гензерих снова сделался полным властелином на морях; берега Италии, Греции и Азии снова сделались жертвами его мстительности и корыстолюбия; Триполи и Сардиния снова подпали под его власть; он присоединил к своим владениям Сицилию, и, прежде чем он окончил свою жизнь в глубокой старости и в блеске славы, он сделался свидетелем окончательного распада Западной империи.

Завоевания визиготов в Испании и Галлии. 462–472 гг.

Во время своего продолжительного и богатого событиями царствования африканский монарх старательно поддерживал дружеские сношения с европейскими варварами, которые оказывали ему полезные услуги своими нападениями то на одну, то на другую из двух империй. После смерти Атилы он снова вступил в союз с жившими в Галлии визиготами, а сыновья старшего Теодориха, царствовавшие один вслед за другим над этой воинственной нацией, согласились из личных интересов позабыть жестокое оскорбление, которое

Гензерих нанес их сестре. Смерть императора Майориана сняла с Теодориха II узы страха и, быть может, узы чести: он нарушил только что заключенный с римлянами договор, а обширная Нарбоннская территория, которую он прочно прикрепил к своим владениям, послужила немедленной наградой за его вероломство. Из себялюбивых расчетов Рицимер убедил его напасть на провинции, находившиеся во владении его соперника Эгидия; но этот деятельный граф спас Галлию обороной Арля и победой над Орлеаном и в течение всей своей жизни препятствовал успехам визиготов. Их честолюбие скоро снова воспламенилось, и план освобождения Галлии и Испании из-под римского владычества был задуман и почти вполне приведен в исполнение в царствование Эврика, который умертвил своего брата Теодориха и с более необузданным нравом соединял выдающиеся дарования полководца и государственного человека. Он перешел через Пиренеи во главе многочисленной армии, завладел городами Сарагоссой и Памиелуной, разбил в сражении воинственное дворянство Арагонской провинции, перенес свое победоносное оружие внутрь Лузитании и позволил сведам владеть Галлисией под верховенством царствовавших в Испании готских монархов. Военные действия Эврика в Галлии были проведены с не меньшей энергией и увенчались не меньшим успехом; на всем пространстве от Пиренеев до Роны и Луары Берри и Оверн были единственными городами или округами, отказавшими ему в покорности. При защите своего столичного города Клермона жители Оверна вынесли с непреклонным мужеством бедствия войны, моровой язвы и голода; вынужденные снять осаду, визиготы отказались на время от этого важного приобретения. Провинциальную молодежь воодушевляла геройская и почти невероятная храбрость сына императора Авита Экдиция, который сделал отчаянную вылазку во главе только восемнадцати всадников, смело напал на готскую армию и после легких схваток с неприятелем возвратился в Клермон, не понеся никаких потерь. Он был столько же благотворителем, сколько храбр: во время неурожая он кормил за свой счет четыре тысячи бедных и благодаря своему личному влиянию собрал армию из бургундов для защиты Оверна. Только от его доблестей могли бы галльские граждане ожидать спасения и свободы, но и этих доблестей было недостаточно для предотвращения гибели их страны, так как они ожидали, чтобы он своим собственным примером указал им, что следует предпочесть — изгнание или рабскую покорность. Правительство утратило всякое доверие; государственная казна была истощена, и жители Галлии имели полное основание думать, что царствовавший в Италии Анфимий не был способен охранять своих заальпийских подданных. Слабый император не мог доставить им никакой другой помощи, кроме двенадцатитысячного отряда британских вспомогательных войск. Один из независимых королей или вождей этого острова по имени Риотам, согласился перевезти свои войска в Галлию; он поднялся вверх по Луаре и избрал для своей главной квартиры Берри, а местное население страдало под гнетом этих союзников до тех пор, пока они не были истреблены или рассеяны визиготами.

Одним из последних актов юрисдикции римского сената над галльскими подданными были суд и приговор над преторианским префектом Арвандом. Сидоний, радовавшийся тому, что жил в такое царствование, когда дозволялось жалеть и защищать государственного преступника, откровенно описал ошибки своего нескромного и несчастного друга. Опасности, которых избежал Арванд, не сделали его осмотнительным, а лишь внушили ему самоуверенность, и таково было постоянное неблагоприятное поведение, что его возвышение должно казаться гораздо более необычайным, чем его падение.

Его вторичное назначение префектом, состоявшееся по прошествии пяти лет, совершенно уничтожило заслуги и популярность его прежнего управления. При нетвердости характера он легко поддавался влиянию льстецов и легко раздражался от всякого противоречия; чтобы удовлетворять своих докучливых кредиторов, он был вынужден обирать вверенную ему провинцию; его причудливые дерзости оскорбляли галльскую знать, и он погиб под бременем всеобщей ненависти. Указ об его увольнении предписывал ему явиться в сенат, чтобы дать отчет о своем поведении; он переехал через Тосканское море с попутным ветром, в котором он ошибочно видел предзнаменование ожидавших его успехов. К его званию префекта соблюдалось должное уважение, и после прибытия в Рим Арванд был отдан не столько под надзор, сколько на гостеприимное попечение жившего в Капитолии графа священ-ных щедрот Флавия Азелла. Его горячо преследовали его обвинители — четыре депутата от Галлии, все отличавшиеся и знатностью своего происхождения, и своим высоким званием, и своим красноречием. От имени обширной провинции и согласно с формами римского судопроизводства они предъявили гражданский иск и возбудили уголовное преследование, требуя взыскания таких сумм, которые вознаградили бы частных людей за понесенные убытки, и постановления такого обвинительного приговора, который удовлетворил бы общественную справедливость. Их обвинения в корыстолюбивых вымогательствах были многочисленны и вески, но они более всего рассчитывали на перехваченное ими письмо, которое было написано под диктовку самого Арванда, по свидетельству его секретаря. Автор этого письма старался отклонить короля готов от заключения мира с греческим императором, возбуждая его к нападению на живших по берегам Луары бретонцев, и советовал ему разделить Галлию, согласно с законами всех народов, между визиготами и бургундами. Только ссылками на тщеславие и неблагоразумие Арванда его друг мог оправдывать такие вредные для государства замыслы, которые могли бы послужить поводом для обвинения в государственной измене, а депутаты намеревались не предъявлять самого грозного из своих обвинений, пока не наступит решительная минута. Но усердие Сидония обнаружило этот замысел. Он немедленно известил ничего не подозревавшего преступника об угрожавшей ему опасности и откровенно попрекнул его, без малейшего гнева, за высокомерную самоуверенность, с которой он отвергал благотворные советы своих друзей и даже обижался на них. Не сознававший трудностей своего положения, Арванд показывался в Капитолии в белом одеянии кандидата, принимал неразборчивые приветствия и предложения услуг, рассматривал в лавках шелковые материи и драгоценные камни, иногда с равнодушием простого зрителя, а иногда с вниманием покупателя, и жаловался то на нравы своего времени, то на сенат, то на государя, то на судебные проволочки. Поводы к его жалобам были скоро устранены. Для разбирательства его дела был назначен неотдаленный срок, и Арванд предстал вместе со своими обвинителями перед многочисленным собранием римских сенаторов. Траурное одеяние, в которое облеклись эти обвинители, возбуждало сострадание в судьях, находивших совершенно неуместными блеск и роскошь, с которыми был одет Арванд, а когда бывшему префекту вместе с главным из галльских депутатов было предложено занять места на сенаторских скамьях, в их манере себя держать обнаружился такой же контраст гордости со скромностью. На этом достопамятном судебном разбирательстве, живо напоминавшем старинные республиканские обычаи, галлы изложили с энергией и с полной свободой жалобы своей провинции, а лишь только умы сена-

торов были достаточно возбуждены, они прочли роковое послание. Упорство Арванда было основано на странном предположении, что подданного нельзя обвинить в государственной измене, если он не составлял заговора с целью возложить на себя императорскую корону. Когда его письмо было прочитано, он неоднократно во всеуслышание признавался, что оно было продиктовано им самим, и он был столько же удивлен, сколько огорчен, когда сенат единогласно признал его виновным в государственной измене. В силу сенатского декрета он был разжалован из звания префекта в низкое звание плебея и был с позором препровожден под надзором рабов в публичную тюрьму. По прошествии двух недель сенат снова собрался для постановления смертного приговора; но в то время как Арванд ожидал на острове Эскулании истечения той тридцатидневной отсрочки, которая была дарована одним старинным законом даже самым низким преступникам, его друзья стали ходатайствовать за него, император Анфимий смягчился, и галльский префект был приговорен к более мягкому наказанию ссылкой и конфискацией. Заблуждения Арванда еще могли внушать некоторое сострадание, но безнаказанность Сероната была позором для римского правосудия до тех пор, пока он не был осужден и казнен вследствие жалоб населения Оверна. Этот гнусный чиновник, бывший для своего времени и для своего отечества тем же, чем когда-то был Катилина, вел тайные сношения с визиготами с целью предать в их руки провинцию, которую он угнетал; его деятельность была постоянно направлена на придумывание новых налогов и на открытие давнишних недоборов, а его сумасбродные пороки заслужили бы презрения, если бы не возбуждали страха и отвращения.

Такие преступники не были недостижимы для правосудия; но каковы бы ни были преступления Рицимера, положение этого могущественного варвара было таково, что он мог по своему произволу вступать и в борьбу, и в переговоры с монархом, с которым он соблаговолил породниться. Мирное и благополучное царствование, обещанное Анфимием Западной империи, скоро омрачилось несчастьями и внутренними раздорами. Из нежелания признавать над собой чью-либо власть или из опасений за свою личную безопасность Рицимер переехал из Рима на постоянное жительство в Милан, откуда можно было с большим удобством и призывать к себе на помощь, и отражать воинственные племена, жившие между Альпами и Дунаем. Италия постепенно оказалась разделенной на два самостоятельных и враждебных одно к другому государства, а лигурийские дворяне, дрожавшие от страха при мысли о неизбежности междоусобной войны, пали к ногам патриция и молили его пощадить их несчастное отечество. «Что касается меня, — отвечал им Рицимер тоном притворной умеренности, — то я готов войти в дружеские сношения с Галатом, но кто же возьмется укротить его ярость или смягчить его гордость, которые только усиливаются от наших изъятий покорности?» Они сказали ему, что павийский епископ Епифаний соединял мудрость змия с невинностью голубя, и выразили ему свою уверенность, что красноречие такого уполномоченного непременно одержит верх над самым энергическим сопротивлением, все равно, будет ли сопротивление внушено личными интересами или страстями. Их предложение было одобрено, и принявший на себя благотворительную роль посредника Епифаний немедленно отправился в Рим, где был принят со всеми почестями, на которые ему давали право и его личные достоинства, и его репутация. Нетрудно догадаться, каково было содержание речи, произнесенной епископом в пользу мира: он доказывал, что при каких бы то ни было обстоятельствах прощение обид есть акт или

милосердия, или великодушия, или благоразумия, и настоятельно убеждал императора избегать борьбы со свирепым варваром, которая может быть гибельна для него самого и непременно будет разорительна для его владений. Анфимий сознавал основательность этих соображений, но со скорбью и с негодованием отзывался о поведении Рицимера, и его раздражение придавало его выражениям особое красноречие и энергичность. «В каких милостях, — воскликнул он с жаром, — отказывал я этому неблагодарному? Каких обид не выносил я от него? Не заботясь о величии императорского дома, я выдал мою дочь за гота; я пожертвовал моей собственной кровью для блага республики. Щедрость, которая должна была бы навсегда упрочить преданность Рицимера, только восстановила его против того, кто делал ему добро. Каких войн не возбуждал он против империи? Сколько раз он возбуждал и поддерживал ожесточение враждебных нам народов? После этого разве я могу принять его коварные предложения дружбы? Разве я могу надеяться, что тот, кто уже нарушил обязанности сына, будет соблюдать обязательства мирного договора?» Но гнев Анфимия испарился в этих гневных восклицаниях; он постепенно согласился на предложения Епифания, и епископ возвратился в свою епархию в приятной уверенности, что он обеспечил спокойствие Италии путем примирения, на искренность и продолжительность которого едва ли можно было полагаться. Император по слабости простил виновного, а Рицимер отложил в сторону свои честолюбивые замыслы до той поры, когда будут втайне приготовлены те средства, с помощью которых он намеревался низвергнуть трон Анфимия. Только тогда он сбросил с себя личину миролюбия и умеренности. Рицимер подкрепил свою армию многочисленными отрядами бургундов и восточных севов, отказался от повиновения греческому императору, прошел от Милана до ворот Рима и стал лагерем на берегах Аниона, с нетерпением поджидая Олибрия, которого он прочил в императоры.

Император Олибрий. 472 г.

Сенатор Олибрий, происходивший от рода Анициев, мог бы считать себя законным наследником престола. Он женился на младшей дочери Валентиниана Плацидии после того, как она была выпущена на свободу Гензерихом, который все еще удерживал ее сестру Евдокию в качестве супруги, или, вернее, пленницы, своего сына. Царь вандалов поддерживал угрозами и просьбами основательные притязания своего римского родственника и указывал как на один из поводов к войне на отказ сената и народа признать его законным государем и на незаслуженное предпочтение, оказанное ими чужеземцу. Дружба с общественным врагом могла только усилить непопулярность Олибрия в Италии; но когда Рицимер задумал низложить императора Анфимия, он попытался соблазнить предложением диадемы такого кандидата на престол, который мог оправдать свое восстание знатностью своего имени и своими родственными связями. Супруг Плацидии, пользовавшийся, подобно большинству своих предков, званием консула, мог бы спокойно наслаждаться своим блестящим положением в своей мирной константинопольской резиденции; к тому же он, как кажется, не был одарен таким гением, который не может найти для себя никакого другого развлечения или занятия, кроме управления империей. Тем не менее Олибрий уступил настояниям своих друзей или, быть может, своей жены; он опрометчиво вовлекся в опасности и бедствия междоусобной войны и, с тайного одобрения императора Льва, принял италийскую корону, которая и давалась, и отнималась по прихоти варвара. Он высадился, не встретив ника-

кого сопротивления (так как Гензерих властвовал на море) или в Равенне, или в порту Остии и немедленно отправился в лагерь Рицимера, где его встретили как повелителя западного мира.

Патриций, занявший своими войсками все пространство от Аниона до Мильвийского моста, уже овладел двумя римскими кварталами, Ватиканом и Яникулом, которые отделяются от остального города Тибром, и есть основание предполагать, что на собрании нескольких сенаторов, перешедших в оппозицию, Олибрий был провозглашен императором с соблюдением всех форм законного избрания. Но большинство сенаторов и население непоколебимо держали сторону Анфимия, а более действенная помощь готской армии дала ему возможность продлить свое царствование и общественные бедствия трехмесячным сопротивлением, которое сопровождалось неизбежными в подобных случаях голодом и моровой язвой. В конце концов Рицимер неистово напал на мост Адриана, или Сан-Анжело, а готы защищали этот узкий проход с такой же отчаянной храбростью, пока не был убит их вождь Гилимер. Тогда победоносные войска Рицимера, преодолев все препятствия, проникли с непреодолимой стремительностью внутрь столицы, и Рим (по выражению тогдашнего папы) сделался жертвой взаимной ненависти Анфимия и Рицимера. Несчастного Анфимия вытащили из места, где он скрывался, и безжалостно умертвили по приказанию его зятя, таким образом прибавившего к числу своих жертв третьего или, быть может, четвертого императора. Солдаты, соединявшие ярость мятежников с дикостью варваров, стали без всяких стеснений удовлетворять свою склонность к грабежу и убийствам; толпы рабов и плебеев, относившихся равнодушно к исходу борьбы, находили свою выгоду в возможности грабить всех без разбора, и внешний вид того, что делалось в городе, представлял странный контраст между непреклонным жестокосердием и разнузданной неводержанностью. Через сорок дней после этого бедственного происшествия, в котором преступления не оставили ни малейшего места для славы, тяжелая болезнь избавила Италию от тирана Рицимера, завещавшего главное начальство над армией своему племяннику Гундобальду — одному из бургундских князей. В том же году сошли со сцены все главные действующие лица, участвовавшие в этом важном перевороте, а все царствование Олибрия, смерть которого не носит на себе никаких признаков насилия, вмещается в семимесячном промежутке времени. После него осталась дочь, прижитая от брака с Пладицией, и пересаженный с испанской на константинопольскую почву род великого Феодосия не прекращался в женской линии до восьмого поколения.

В то время как итальянский престол был предоставлен на произвол бесчинных варваров, император Лев серьезно обсуждал вопрос об избрании нового соправителя. Императрица Верина, усердно заботившаяся о величии своих родственников, выдала одну из своих племянниц за Юлия Непота, который владел доставшейся ему по наследству от его дяди Марцеллина Далмацией; это была более прочная власть, чем та, которую он приобрел, согласившись принять титул западного императора. Но меры, принятые Византийским двором, были так вялы и нерешительны, что прошло много месяцев после смерти Анфимия и даже после смерти Олибрия, прежде нежели их преемник получил возможность показаться своим итальянским подданным во главе сколько-нибудь значительных военных сил. В этот промежуток времени Гундобальд возвел в звание императора одного из своих незнатных приверженцев, по имени Гликерий; но бургундский князь не был в состоянии или не

желал поддерживать это назначение междоусобной войной; его личное честолюбие заставило его удалиться за Альпы, а его клиенту было дозволено променять римский скипетр на митру Салонского епископа.

Император Непот

Когда этот соперник был устранен, Непота признали императором и сенат, и жители Италии, и галльские провинции; тогда его нравственные достоинства и воинские дарования сделались предметом громких похвал, а те, кому его возвышение доставляло какие-либо личные выгоды, стали пророческим тоном предсказывать восстановление общего благоденствия. Их надежды (если только они действительно существовали) были разрушены в течение одного года, и мирный договор, уступавший визиготам Оверн, был единственным событием этого непродолжительного и бесславного царствования. В интересах своей личной безопасности итальянский император жертвовал интересами самых преданных ему галльских подданных, но его спокойствие было скоро нарушено неистовым мятежом варварских союзников, которые двинулись из Рима к Равенне под предводительством своего генерала Ореста. Испуганный Непот, вместо того чтобы положиться на неприступность Равенны, торопливо перебрался на свои корабли и переехал в свои далматийские владения, на противоположный берег Адриатического моря. Благодаря этому постыдному отречению он влачил свою жизнь около пяти лет в двусмысленном положении не то императора, не то изгнанника, пока не был умерщвлен в Салоне неблагодарным Гликерием, который — быть может, в награду за совершенное им злодеяние — был перемещен на должность миланского архиепископа.

Последний император Августул

Народы, отстаивавшие свою независимость после смерти Атиллы, занимали, по праву владения или по праву завоевания, обширные страны к северу от Дуная или жили в римских провинциях между этой рекой и Альпами. Но самые храбрые из их молодых людей вступали в армию союзников, которая и защищала Италию, и наводила на нее ужас, а в этом разнохарактерном сборище, как кажется, преобладали имена герулов, скирров, аланов, турцилингов и ругиев. Примеру этих воинов подражал Орест, сын Татулла и отец последнего западного императора из римлян. Орест, о котором мы уже имели случай упоминать ранее, никогда не отделял своих интересов от интересов своей родины. По своему происхождению и по своей блестящей карьере он был одним из самых знатных подданных Паннонии. Когда эта провинция была уступлена гуннам, он поступил на службу к своему законному государю Атилле, был назначен его секретарем и неоднократно был послан в Константинополь в качестве представителя своего надменного повелителя для передачи его приказаний. Смерть этого завоевателя возвратила Оресту свободу, и он мог без нарушения правил чести отказаться следовать за сыновьями Атиллы в глубь скифских степей и отказаться от повиновения остготам, захватившим в свои руки Паннонию. Он предпочел службу при итальянских монархах, царствовавших после Валентиниана; а так как он отличался и мужеством, и активностью, и опытностью, то он подвигался быстрыми шагами вперед в военной профессии и, наконец, благодаря милостивому расположению Непота, был возведен в звание патриция и главного начальника войск. Эти войска издавна привыкли уважать личность и авторитет Ореста, который подделывался под их нравы, разговаривал с ними на их собственном языке и долго жил с их вождями в дружеской интимности. По его на-

стоянию они восстали с оружием в руках против ничем не прославившегося грека, который заявлял притязания на их покорность, а когда Орест из каких-то тайных мотивов отказался от императорского звания, они так же охотно согласились признать западным императором его сына Августула. С отречением Непота Орест достиг осуществления всех своих честолюбивых надежд; но не прошло и года, как он убедился, что бунтовщик, вынужденный поучать клятвопреступлению и неблагодарности, точит оружие на самого себя и что непрочному властелину Италии приходится выбирать одно из двух — или быть рабом своих варварских наемников, или сделаться их жертвой. Опасный союз с этими чужеземцами уничтожил последние остатки и римской свободы, и римского величия. При каждом перевороте их жалованье и привилегии увеличивались, но их наглость этим не довольствовалась и выходила из всяких границ; они завидовали счастью своих соотечественников, которым удалось приобрести силой оружия независимые и наследственные владения в Галлии, Испании и Африке, и наконец предъявили решительное требование, чтобы третья часть италийской территории была немедленно разделена между ними в собственность. Орест предпочел вступить в борьбу с расшвиравшимися варварами, чем согласиться на разорение невинного населения, и выказал в этом случае такое мужество, которое дало бы ему право на наше уважение, если бы его собственное положение не было плодом незаконного захвата власти. Он отверг дерзкое требование, а его отказ был на руку честолюбивому Одоакру — отважному варвару, уверявшему своих ратных товарищей, что, если они соединятся под его начальством, они добудут силой то удовлетворение, которого им не дали на их почтительную просьбу. Увлеченные таким же недовольством и такими же надеждами, варварские союзники стали стекаться из всех лагерей и гарнизонов Италии под знамя этого популярного вождя, а подавленный силой этого потока несчастный патриций торопливо укрылся за укреплениями города Павии, служившего епископской резиденцией для Св. Епифания. Павия была немедленно осаждена, ее укрепления были взяты приступом, и город был разграблен, хотя епископ с большим усердием и не без успеха старался спасти церковную собственность и целомудрие попавших в плен женщин; однако только казнь Ореста могла прекратить мятеж. Его брат Павел был убит в одном сражении подле Равенны, и беспомощный Августул, не будучи в состоянии внушить Одоакру уважение, был вынужден прибегнуть к его милосердию.

Этот победоносный варвар был сыном того Эдекона, который был помощником самого Ореста в некоторых важных дипломатических поручениях, о которых подробно говорилось в одной из предыдущих глав. Почетное звание посла должно было бы устранять всякое подозрение в измене, а Эдекон согласился участвовать в заговоре против жизни своего государя. Но он загладил это преступное увлечение своими заслугами или раскаянием; он занимал высокое и видное положение и пользовался милостивым расположением Атилы, а войска, которые в свою очередь охраняли под его начальством царскую деревню, состояли из скирров — его наследственных подданных. После смерти Атилы, когда подвластные ему племена возвратились к прежней независимости, скирры оставались под властью гуннов, а с лишком через двенадцать лет после того имя Эдекона занимало почетное место в истории их неравной борьбы с остготами, окончившейся после двух кровопролитных сражений поражением скирров, которые после того рассеялись в разные стороны. Их храбрый вождь, не переживший этого национального бедствия, оставил двух сыновей, Онульфа и Одоакра, которым пришлось бороться с раз-

ными невзгодами и содержать в изгнании своих верных приверженцев, как могли и умели — то грабежом, то службой в качестве наемников. Онульф отправился в Константинополь, где запятнал славу своих военных подвигов умерщвлением своего благодетеля. Его брат Одоакр вел скитальческую жизнь между варварами Норика и как по своему характеру, так и по своему положению был готов на самые отчаянные предприятия; а лишь только избрал определенную цель, он из благочестия отправился в келью популярного местного святого по имени Северин, чтобы испросить его одобрения и благословения. Дверь в келью была низка, и отличавшийся высоким ростом Одоакр должен был нагнуться, чтобы войти в нее; но, несмотря на эту смиренную позу, святой усмотрел предзнаменования его будущего величия и, обращаясь к нему пророческим тоном, сказал: «Преследуйте вашу цель; отправляйтесь в Италию; вы скоро сбросите с себя эту грубую кожаную одежду, и ваше счастливая судьба будет соответствовать величию вашей души». Варвар, одаренный такой отвагой, что был способен поверить этому предсказанию и оправдать его на деле, поступил на службу Западной империи и скоро занял почетную должность между телохранителями. Его манеры постепенно сделались приличными, его воинские способности развились, а союзники Италии не выбрали бы его своим начальником, если бы военные подвиги Одоакра не внушали высокого мнения о его мужестве и дарованиях. Они провозгласили его королем; но в течение всего своего царствования он воздерживался от употребления порфиры и диадемы из опасения возбудить зависть в тех князьях, чьи подданные образовали путем случайного соединения сильную армию, которая при хорошем управлении могла с течением времени превратиться в великую нацию.

Разрушение Западной империи

Варвары уже давно свыклись с королевским достоинством, а смиренное население Италии было готово безропотно подчиниться власти, которую Одоакр соблаговолил взять на себя в качестве наместника западного императора. Одоакр решился упразднить бесполезное и дорого стоившее императорское звание, а сила старых предрассудков еще была так велика, что нужна была некоторая смелость и прозорливость, чтобы взяться за столь легкое предприятие. Несчастному Августула сделали орудием его собственного падения; он заявил сенату о своем отречении от престола, а это собрание — в своем последнем акте повиновения римскому монарху — все еще делало вид, как будто руководствуется принципами свободы и придерживается форм конституции. В силу единогласного решения оно обратилось с посланием к зятю и преемнику Льва Зенону, только что снова вступившему на византийский престол после непродолжительного восстания. Сенаторы формально заявили, что они не находят нужным и не желают сохранять в Италии преемственный ряд императоров, так как, по их мнению, величия одного монарха достаточно для того, чтобы озарять своим блеском и охранять в одно и то же время и Восток и Запад. От своего собственного имени и от имени населения они соглашались на то, чтобы столица всемирной империи была перенесена из Рима в Константинополь, и отказывались от права выбирать своего повелителя — от этого единственного остатка той власти, которая когда-то предписывала законы всему миру. «Республика (они не краснели, все еще произнося это слово) может с уверенностью положиться на гражданские и военные доблести Одоакра, и они униженно просят императора возвести его в звание патриция и поручить ему управление италийским диоцезом».

Депутаты от сената были приняты в Константинополе с изъявлениями недовольства и негодования, а когда они были допущены на аудиенцию к Зенону, он грубо упрекнул их за то, как они обошлись с императорами Анфимием и Непотом, которых Восточная империя дала Италии по ее же просьбе. «Первого из них, — продолжал Зенон, — вы умертвили, а второго вы изгнали; но этот последний еще жив, а пока он жив, он ваш законный государь». Но осторожный Зенон скоро перестал вступаться за своего низложенного соправителя. Его тщеславие было польщено титулом единственного императора и статуями, которые были воздвигнуты в его честь в нескольких римских кварталах; он вступил в дружеские, хотя и двусмысленные сношения с патрицием Одоакром и с удовольствием принял внешние отличия императорского звания и священные украшения трона и дворца, которые варвар был очень рад удалить от глаз народа.

В течение двадцати лет, прошедших со смерти Валентиниана, девять императоров один вслед за другим исчезли со сцены, а юный сын Ореста, отличавшийся только своей красотой, имел бы менее всех других права на память потомства, если бы его царствование, ознаменовавшееся окончательным уничтожением римского владычества на Западе, не заканчивало достопамятной эры в истории человеческого рода. Патриций Орест был женат на дочери графа Ромула, который был родом из Петовио, в Норике; имя Августа часто давалось в Аквилее как очень обыкновенное прозвище, несмотря на то, что это очень не нравилось императорам; таким образом имена великих основателей города и монархии случайно соединились в лице последнего из их преемников. Сын Ореста усвоил и опозорил имена Ромула и Августа, но первое из этих имен было извращено греками в Ромила, а второе изменено латинами в презрительное уменьшительное Августул. Одоакр из великодушного сострадания пощадил жизнь этого безобидного юноши, выпроводил его вместе со всем его семейством из императорского дворца, приказал выдавать ему ежегодное содержание в шесть тысяч золотых монет и назначил местом его ссылки или уединенной жизни замок Лукулла, в Кампании.

Лишь только римляне перевели дух после тяжелых усилий, вызванных войнами с Карфагеном, они увлеклись красотами и наслаждениями Кампании, а загородный дом старшего Сципиона в Литерне долгое время представлял образчик их деревенской простоты. Прелестные берега Неапольского залива покрылись виллами, и Сулла хвалил мастерский выбор своего соперника, поселившегося на возвышенном Мисенском мысу, откуда открывался вид на сушу и на море, окаймлявшийся горизонтом. Лукулл купил по прошествии нескольких лет виллу, цена которой возросла с двух тысяч пятисот фунтов стерлингов более чем до восьмидесяти тысяч. Новый владелец украсил ее произведениями греческого искусства и вывезенными из Азии сокровищами; тогда дома и сады Лукулла заняли выдающееся место в списке императорских дворцов. Когда вандалы стали наводить страх на прибрежных жителей, расположенная на Мисенском мысу Лукуллова вилла постепенно приняла внешний вид и название укрепленного замка и, наконец, послужила убежищем для последнего западного императора. Лет через двадцать после этого великого переворота она была превращена в церковь и монастырь, и там были сложены смертные останки Св. Северина. Среди полуразрушившихся трофеев, напоминавших победы над кимврами и армянами, они покоились там до начала десятого столетия, когда укрепления были скрыты неапольским населением из опасения, чтобы они не послужили убежищем для сарацинов.

Одоакр был первый варвар, царствовавший в Италии над народом, перед которым когда-то преклонялся весь человеческий род. Унижение, до которого дошли римляне, до сих пор возбуждает в нас почтительное сострадание, и мы были бы готовы сочувствовать скорби и негодованию их выродившихся потомков, если бы в душе этих последних действительно возникали такие чувства. Но пережитые Италией общественные бедствия заглушили гордое сознание свободы и величия. В века римской доблести провинции подчинялись оружию республики, а граждане ее законам до той поры, когда эти законы были ниспровергнуты внутренними раздорами, а город и провинция сделались раболопной собственностью тирана. Конституционные формы, смягчавшие или прикрывавшие их гнусное рабство, были уничтожены временем и насилием; итальянцы сетовали то на присутствие, то на отсутствие монархов, которых они или ненавидели, или презирали, и в течение пяти столетий пережили все бедствия, порождаемые своеволием армии, прихотями деспотизма и тщательно выработанной системой угнетения. В тот же самый период времени варвары вышли из своей неизвестности и из своего ничтожества; германские и скифские воины были допущены внутрь римских провинций сначала как слуги, потом как союзники и, наконец, как повелители римлян, которых они то оскорбляли, то охраняли. Ненависть народа сдерживалась страхом; он уважал за мужество и за блестящие подвиги воинственных вождей, на которых возлагались высшие должности империи, и судьба Рима долго зависела от меча этих страшных пришельцев. Грозный Рицимер, попиравший своими ногами остатки прежнего величия, пользовался властью короля, не присваивая себе соответствующего титула, и терпеливые римляне были постепенно подготовлены к признанию королевской власти Одоакра и его варварских преемников.

Король Италии не был недостойн того высокого положения, до которого его возвысили мужество и счастье; грубость его манер сгладилась от привычки к общественной жизни, и, несмотря на то, что он был завоевателем и варваром, он относился с уважением к учреждениям своих подданных и даже к их предразсудкам. После семилетнего перерыва Одоакр восстановил должность западного консула. Из скромности или из гордости он отклонил от себя почетное звание, от которого еще не отказывались восточные императоры; но курульные кресла были заняты одним вслед за другим одиннадцатью самыми знатными сенаторами, а этот список имен украшен почтенным именем Василия, снискавшего своими добродетелями дружбу и признательные похвалы своего клиента Сидония. Изданные императорами законы строго исполнялись, а гражданское управление было вверено преторианскому префекту и подчиненным ему чиновникам. Одоакр возложил на римских должностных лиц ненавистную и притеснительную обязанность собирать государственные доходы, но он удерживал за собой право облегчать по своему усмотрению тяжесть налогов и приобретать этим путем популярность. Подобно всем другим варварам, он был воспитан в арианской ереси, но он относился с уважением к лицам монашеского и епископского звания, а молчание католиков свидетельствует о религиозной терпимости, которой они пользовались под его управлением. Его префект Василий вмешивался в избрание римского первосвященника только для того, чтобы охранять внутреннее спокойствие столицы, а декрет, запрещающий духовенству отчуждать свои земли, имел в виду пользу народа, благочестие которого было бы обложено сборами на покрытие церковных расходов. Италию охраняло оружие ее завоевателя, а так долго издевавшиеся над малодушными потомками Феодосия галльские и германские варвары не осмеливались переступить ее границ. Одоакр пересек Адриатическое море для того, чтобы наказать убийц импе-

ратора Непота и приобрести приморскую провинцию Далмацию. Он перешел через Альпы для того, чтобы вырвать остальную часть Норика из рук короля ругиев Фавы, или Фелефея, жившего по ту сторону Дуная. Этот король был разбит в сражении и отведен в плен; Одоакр переселил в Италию многочисленную колонию из пленников и вольных людей, и Рим после длинного ряда поражений и унижений мог присваивать себе триумф своего варварского повелителя.

Несмотря на благоразумие и успехи Одоакра, его королевство представляло печальное зрелище нищеты и разорения. Со времен Тиберия слышались основательные жалобы на упадок земледелия в Италии и на то, что жизнь римского населения зависела от случайного направления ветров и от бушевания морских волн. С тех пор как империя разделилась и стала приходить в упадок, Рим лишился подати, которая взыскивалась с Египта и с Африки зерновым хлебом; вместе с уменьшением средств пропитания стало уменьшаться число его жителей, и страна истощилась от невознаградимых потерь, причиненных ей войнами, голодом и заразными болезнями. Св. Амвросий оплакивал разорение многолюдного округа, для которого когда-то служили украшением цветущие города Болонья, Модена, Регий и Плаценция. Папа Гелазий, принадлежавший к числу подданных Одоакра, утверждает, — впадая в сильное преувеличение, — что в Эмилии, Тоскане и соседних провинциях население почти совершенно вымерло. Римские плебеи, получавшие свое пропитание от своего повелителя, погибли или исчезли, лишь только прекратились его щедрые подаяния; упадок искусств довел трудолюбивых граждан до праздности и нищеты, а сенаторы, которые были способны равнодушно взирать на разорение отечества, оплакивали утрату личных богатств и роскошной обстановки. Из их обширных имений, когда-то считавшихся причиной разорения Италии, третья часть была отобрана в пользу завоевателей. К материальным убыткам присоединялись личные оскорбления; сознание настоящих зол становилось еще более горьким из опасения еще более страшных несчастий; а так как правительство не переставало отводить земли для приходивших толпами новых варваров, то каждый из сенаторов имел основание опасаться, чтобы руководившиеся личным произволом межевщики не приблизились к его любимой вилле или к самой доходной из его ферм. Всех менее несчастливы были те, кто безропотно преклонялся перед властью, с которой не были в состоянии бороться. Так как они желали жить, то они должны были относиться с некоторой признательностью к тирану, который щадил их жизнь, а так как этот тиран был полным хозяином их собственности, то они должны были принимать оставленную в их руках часть этой собственности за настоящий и добровольный дар. Бедственное положение Италии было облегчено благоразумием и человеколюбием Одоакра, обязавшегося в вознаграждение за свое возвышение удовлетворять требования бесчинных и буйных шаек. Варварские короли нередко встречали сопротивление со стороны своих туземных подданных, которые иногда низвергали их с престола, иногда убивали, а отряды италийских наемников, собиравшиеся под знаменем избранного ими военачальника, требовали для себя более широкого права бесчинствовать и грабить. Монархия, у которой не было ни национального единства, ни наследственного перехода власти, приближалась быстрыми шагами к своему падению. После четырнадцатилетнего царствования Одоакр должен был преклониться перед более высоким гением короля остготов Теодориха — такого героя, который соединял с дарованиями полководца мудрость правителя, который восстановил внутреннее спокойствие и благоденствие и имя которого до сих пор справедливо оказывает на себе внимание человечества.



Происхождение, развитие и последствия монашеской жизни. — Обращение варваров в христианство и в арианство. — Гонения, возбужденные вандалами в Африке. Уничтожение арианства между варварами. (305–712 гг.)

Глава 20 (XXXVII)

Неразрывная связь между делами мирскими и церковными уже заставила меня рассказать, как распространялось христианство, каким оно подвергалось гонениям, как оно упрочилось, какие происходили в его среде раздоры, как оно окончательно восторжествовало и, наконец, как его характер стал постепенно извращаться. Но я намеренно откладывал описание двух религиозных событий, представляющих большой интерес при изучении человеческой природы и игравших важную роль в упадке и разрушении Римской империи: 1) введения монашества и 2) обращения северных варваров в христианство.

Введение монашества

Среди благоденствия и внутреннего спокойствия возникло различие между обыкновенными христианами и христианами-отшельниками. Неточное и неполное исполнение требований религии удовлетворяло совесть большинства. Монарх и чиновник, воин и купец согласовали свое религиозное рвение и свою слепую веру с требованиями своей профессии, с погоней за своими личными выгодами и с удовлетворением своих страстей; но аскеты, руководствовавшиеся и злоупотреблявшие суровыми евангельскими правилами, вдохновлялись тем диким энтузиазмом, который выдает людей за преступников, а Бога за тирана. Они совершенно отказывались от деловых занятий и светских удовольствий, не употребляли ни вина, ни мяса, не вступали в браки, мучили свое тело, заглушали всякое чувство привязанности к другим людям и обрекали себя на нищенское существование в надежде, что купят этой ценой вечное блаженство. В царствование Константина аскеты, чтобы не иметь никакого дела с этим миром, полным нечестия и разврата, или жили в постоянном одиночестве, или вступали в религиозные общества. Подобно первым иерусалимским христианам, они отказывались от пользования или от обладания своими мирскими богатствами, основывали правильно организованные общины из лиц одного пола и одинаковых наклонностей и принимали названия пустынников, монахов и отшельников, обозначавшие их удаление в естественную или искусственно созданную пустыню. Они скоро снискали уважение того мира, который презирали, и самые горячие похвалы стали сыпаться на эту божественную философию, превзошедшую без помощи учености и разума все добытые с та-

ким трудом правила нравственности, которым поучали в греческих школах. Действительно, монахи могли бы состязаться со стойками в презрении к богатствам, к физическим страданиям и смерти; молчаливая покорность пифагорейцев снова ожила в правилах их рабской дисциплины, и они так же решительно, как циники, пренебрегали общественными обычаями и приличиями. Но приверженцы этой божественной философии старались подражать более чистому и более совершенному образцу. Они шли по стопам пророков, удалявшихся в пустыню, и стали жить такой же благочестивой и созерцательной жизнью, какой жили эссениане в Палестине и в Египте. При философском складе своего ума Плиний был поражен, когда узнал о существовании отшельников, которые жили среди пальмовых деревьев подле Черного моря, обходились без денег, размножались без жен и которым отвлечение к жизни и дела покаяния постоянно доставляли новых добровольных пришельцев.

Монахи в Египте

Плодовитый прародитель суеверий — Египет представил первый пример монашеской жизни. Уроженец Нижней Фивиады, совершенно необразованный юноша Антоний, разделил свое наследственное имение между бедными, покинул свое семейство и родительский дом и подверг себя монашескому покаянию с оригинальным и неустрашимым фанатизмом. После продолжительного и мучительного искуса среди гробниц и развалин одной башни он смело проник в глубь степи на три дня пути к востоку от Нила, выбрал уединенное место, представлявшее те выгоды, что там можно было находить и тень, и воду, и окончательно поселился на горе Колзиме неподалеку от Черного моря, где был впоследствии основан монастырь, который до сих пор носит имя и увековечивает славу святого. Любознательное благочестие христиан не оставило его и в пустыне, а когда он был вынужден показаться в Александрии, он поддержал свою репутацию со скромностью и с достоинством. Он пользовался дружбой Афанасия, учение которого одобрял, и, несмотря на то что был простой египетский крестьянин, почтительно отклонил приглашение императора Константина. Этот почтенный патриарх (Антоний дожил до ста пяти лет) мог собственными глазами видеть в своей старости как многочисленно потомство, вскормленное его личным примером и его наставлениями. Плодовитые колонии монахов быстро размножались в песчаных степях Ливии, на утесах Фиваиды и в городах, лежавших неподалеку от Нила. К югу от Александрии, на горе Нитрия и в прилегавшей к ней пустыне, жили пять тысяч отшельников, и до сих пор еще путешественник может видеть развалины пятидесяти монастырей, которые были основаны на этой бесплодной почве последователями Антония. В Верхней Фиваиде необитаемый остров Табенн был занят Пахомием и тысячью четырьмястами монахами. Этот святой настоятель основал один вслед за другим девять мужских монастырей и один женский, а в праздник Пасхи там иногда собиралось до пятидесяти тысяч благочестивых посетителей, которые подчинялись установленным им ангельским правилам церковного благочиния. Великолепный и многолюдный город Окспринх, бывший центром христианской ортодоксии, посвятил свои храмы, публичные здания и даже городские стены на благочестивые и благотворительные цели, а местный епископ, имевший в своем распоряжении двенадцать церквей, насчитывал десять тысяч женщин и двадцать тысяч мужчин, посвятивших себя монашеской профессии. Гордившиеся этим чудесным переворотом египтяне надеялись и были готовы верить,

что число монахов равнялось числу остального населения, а их потомство могло повторять поговорку, которая первоначально относилась к священным животным той же страны, что в Египте менее трудно встретить бога, чем встретить человека.

Распространение монашества

Афанасий познакомил Рим с монашеской жизнью и в теории, и на практике, и последователи Антония, сопровождавшие своего первосвященника до священного порога Ватикана, открыли там преподавание этой новой философии. Странная и дикая наружность этих египтян сначала внушала отвращение и презрение, а в конце концов вызвала сочувствие и усердное подражание. Сенаторы и в особенности матроны стали превращать свои дворцы и виллы в священные обители, а монастыри, построенные на развалинах древних языческих храмов и посреди римского форума, совершенно затмили скромное учреждение шести весталок. Увлеченный примером Антония, сирийский юноша Иларион избрал для своего мрачного уединения песчаную отмель промеж моря и болота, милях в семи от Газы. Суровая епитимья, которой он подчинял себя в течение сорока восьми лет, доставила ему множество восторженных приверженцев, и всякий раз, как этот святой человек посещал многочисленные палестинские монастыри, его сопровождала свита из двух или трех тысяч отшельников. Св. Василий сделал свое имя бессмертным в истории восточного монашества. Будучи одарен умом, который был знаком с афинской ученостью и афинским красноречием, и отличаясь таким честолюбием, которого не могла удовлетворять должность кесарийского архиепископа, Св. Василий удалился в одну из диких пустынь Понта и соблаговолил в течение некоторого времени руководить колониями набожных людей, которые он рассеял в значительном числе вдоль берегов Черного моря. На Западе Мартин Турский — солдат, пустынный, епископ и святой — основал галльские монастыри; его тело сопровождали до могилы две тысячи последователей, а красноречивый автор его жизнеописания утверждает, что степи Фиваиды, несмотря на более благоприятные климатические условия, никогда не видели столь доблестного поборника христианства. Размножение монахов было не менее быстро и повсеместно, чем размножение христиан. В каждой провинции и с течением времени в каждом городе Римской империи появлялись они толпами, постоянно увеличивавшимися числом; эти пустынные избрали местом своей добровольной ссылки мрачные и бесплодные островки Тосканского моря, начиная с Леринских и кончая Липарскими. Удобные и постоянные морские и сухопутные сообщения поддерживали связь между римскими провинциями, и на жизни Илариона видно, с какой легкостью бедный палестинский отшельник мог перебраться через Египет, отплыть в Сицилию, спастись бегством в Эпир и, наконец, поселиться на острове Кипр. Латинские христиане заимствовали от Рима свои религиозные учреждения. Посещавшие Иерусалим пилигримы строго придерживались в самых отдаленных странах образца монашеской жизни. Последователи Антония проникли за тропики во все части Эфиопии, где исповедовалось христианство. Банхорский монастырь во Флинтшире, служивший приютом почти для двух тысяч монахов, выслал многочисленных поселенцев к ирландским варварам, а один из Гебридских островов, Иона, расчищенный под пашню ирландскими монахами, озарил северные страны смешанными лучами знания и суеверия.

Эти отрекшиеся от общественной жизни несчастные действовали под влиянием мрачного и неукротимого духа суеверий. Их настойчивость поддерживалась примером миллионов людей обоего пола, всех возрастов и всякого звания, и каждый из вступающих в монашество новообращенных был убежден, что он вступает на тот трудный тернистый путь, который ведет к вечному блаженству. Но влияние этих религиозных побуждений видоизменялось сообразно с характером и положением верующих; иногда оно подчинялось голосу рассудка, иногда совершенно заглушалось страстями; легче всего оно овладевало слабыми умами детей и женщин; оно усиливалось от тайных угрызений совести и случайных несчастий и находило некоторое содействие в мирских расчетах, внушаемых тщеславием и личными интересами. Было весьма естественно предполагать, что благочестивые и смиренные монахи, отказавшиеся от мирской суеты для спасения своей души, более всякого другого способны быть духовными руководителями христиан. Отшельников стали насильно отрывать от их келий и возводить в епископское звание при громких одобрительных возгласах народной толпы; монастыри египетские, галльские и восточные сделались постоянными рассадниками святых и епископов, и честолюбцы скоро поняли, что это был самый верный путь к богатствам и почестям. Популярные монахи, сознавая, что их собственное влияние зависит от репутации и успехов их сословия, усердно старались умножать число своих сотоварищей — затворников. Они втирались в знатные и богатые семьи и употребляли в дело лесть и разные приманки, чтобы приобретать таких новообращенных, которые вносили в монашескую профессию богатство и знатность. Отец с негодованием оплакивал утрату своего единственного сына; увлеченная тщеславием, легковверная девушка нарушала законы природы, а стремившаяся к воображаемому совершенству матрона отказывалась от добродетелей семейной жизни. Павла, увлекшись убедительным красноречием Иеронима и нечестивым титулом Божией тещи, посвятила Богу девственность своей дочери Евстохии. По совету и в сопровождении своего духовного руководителя Павла покинула Рим и своего малолетнего сына, удалилась в священную Вифлеемскую деревню, основала госпиталь и четыре монастыря и приобрела своими подаяниями и своим покаянием высокое и видное положение в Католической Церкви. Такие редкие и знатные кающиеся выдавались за украшение той эпохи и за достойные подражания образцы; но монастыри были наполнены незнатными и презренными плебеями, приобретающими в затворничестве гораздо более того, чем они жертвовали, отрекаясь от мирских благ. Крестьяне, рабы и ремесленники меняли бедность и общее презрение на покойную и почетную профессию, в которой им приходилось выносить кажущиеся лишения, смягчавшиеся обычаями, всеобщим одобрением и тайным ослаблением дисциплины. Римские подданные, которым приходилось отвечать своей личностью и состоянием за невзнос неравномерно распределенных и обременительных налогов, уклонялись этим путем от притеснений императорского правительства, а малодушное юношество предпочитало монастырское покаяние опасностям военной службы. Бежавшие при приближении варваров провинциальные жители находили там приют и пропитание; целые легионы были погребены в этих священных убежищах, и то, что служило для отдельных лиц облегчением в их страданиях, истощало силы и ресурсы империи.

В древности поступление в монашеское звание было добровольным актом благочестия. Изменившему свои намерения фанатику грозили вечным

мщением того Бога, которого он покидал; но двери монастыря оставались отворенными перед кающимися. Те монахи, которым удавалось заглушить угрызения совести при помощи рассудка или страстей, могли беспрепятственно снова поступать в разряд обыкновенных людей и граждан, и даже Христовы невесты могли законно переходить в объятия простых смертных. Несколько скандальных происшествий и усиливавшиеся суеверия внушили убеждение в необходимости более строгих стеснений. После достаточного испытания покорность новообращенного была обеспечена торжественной клятвой, связывавшей его на всю жизнь; а принятое им на себя пожизненное обязательство было признано неотменяемым и в силу церковных, и в силу государственных законов. Провинившегося беглеца преследовали, задерживали и возвращали в его вечную тюрьму, а вследствие вмешательства светского чиновника уничтожалась заслуга добровольной покорности, в некоторой степени смягчавшая унижительное раболепие монастырской дисциплины. Во всех своих действиях, во всех своих словах и даже во всех помыслах монахи обязаны были сообразовываться с установленными неизменными правилами или с прихотями своего настоятеля; за самый легкий проступок его наказывали позором или тюремным заключением, чрезвычайным постом или жестоким бичеванием; неповиновение, ропот и медлительность в исполнении приказаний относились к разряду самых ужасных прегрешений. Слепое подчинение воле настоятеля, как бы она ни была сумасбродна или даже преступна, было руководящим принципом и главной добродетелью египетских монахов, а их терпеливость нередко подвергалась самым странным испытаниям. Им приказывали сдвинуть с места громадный камень, аккуратно поливать воткнутую в землю сухую палку, так чтобы через три года она пустила ростки и расцвела, как настоящее дерево, приказывали влезать в затопленную печь или бросать своих детей в наполненную водой глубокую яму, и многие святые или сумасшедшие обессмертили себя в истории монашества своим тупым и бесстрашным послушанием. Умственная свобода — этот источник всех благородных и разумных стремлений — была подавлена привычкой к легковерию и к повиновению, и заразившийся рабскими пороками монах всей душой предавался верованиям и страстям своего духовного тирана. Спокойствие восточной церкви нарушалось толпами фанатиков, не знакомых ни с чувством страха, ни со здравым смыслом, ни с человеколюбием, а императорские войска со стыдом сознавались, что им казалась менее страшной борьба с самыми свирепыми варварами.

Фантастическая одежда монахов нередко придумывалась и освящалась суеверием, но ее кажущаяся оригинальность иногда происходила от желания монахов придерживаться простого и первобытного образца, который сделался смешным вследствие перемен, происшедших в манере одеваться. Основатель ордена бенедиктинцев решительно отвергал всякую мысль о выборе или предпочтении и благоразумно советовал своим последователям держаться грубой и простой манеры одеваться, какая была в обычаях той страны, где им приходилось жить. В древности монахи меняли свои одежды сообразно с климатом и с образом жизни и были совершенно равнодушны к тому, что надеть — овчину ли египетского крестьянина или плащ греческого философа. В Египте они позволяли себе носить белье, которое было дешевым продуктом местного производства, но на западе они отказывались от такого дорогого предмета чужеземной роскоши. Монахи имели обыкновение обрезать или сбривать волосы на голове; они закрывали лицо капюшоном для того, чтобы их глаза не увлекали их в соблазн, только в сильный зимний холод

носили обувь и при своей медленной, нерешительной походке всегда опирались на длинную палку. Вид настоящего отшельника внушал отвращение и омерзение: все, что возбуждало в людях неприятное ощущение, считалось приятным для Бога, а ангельский Табеннский устав осуждал благотворное обыкновение обмывать тело водой и мазать его маслом. Самые суровые монахи спали на земле, на грубой рогоже или на жесткой постели, и одна и та же связка пальмовых листьев служила для них днем скамьей, а ночью подушкой. Их кельями были сначала низенькие и тесные лачуги из самых непрочных материалов; благодаря тому что они строились в одну линию, из них составлялись улицы и большие селения, заключавшие в своих стенах церковь, госпиталь, иногда библиотеку, необходимые службы, сад и родник или резервуар со свежей водой. От тридцати до сорока монахов составляли семью, жившую по своим особым правилам дисциплины и воздержания, а большие египетские монастыри состояли из тридцати или сорока таких семей.

Удовольствие и преступление были синонимами на языке монахов, и они убедились на собственном опыте, что строгие посты и воздержание всего лучше предохраняют от грязных плотских похотей. Установленные ими правила воздержания не были неизменными и не всегда исполнялись на практике: радостному празднованию Троицына дня служили противовесом чрезвычайные лишения, которым монахи подвергали себя во время Великого поста; в новых монастырях усердие постепенно ослабевало, а прожорливые галлы не были в состоянии подражать выносливости и воздержности египтян. Последователи Антония и Пахомия довольствовались ежедневно двенадцатью унциями хлеба, или, вернее, сухарей, которые они разделяли на два раза — на обед и на ужин. Считалось похвальным и почти обязательным воздерживаться от вареных овощей, которые подавались в монастырской столовой; но снисходительный настоятель иногда позволял им есть сыр, фрукты, салат и мелкую рыбу, которую добывали в Ниле и сушили. Постепенно было допущено употребление в пищу морской и речной рыбы; но употребление в пищу мяса долго позволялось лишь больным и путешественникам, а когда оно было введено в менее взыскательных европейских монастырях, вместе с тем было установлено странное различие, что дикая и домашняя птица менее нечестива, чем живущие в полях более крупные животные. Вода была чистым и невинным напитком первых монахов, и основатель Бенедиктинского ордена сожалел о том, что невоздержание его времени заставило его разрешить каждому монаху полпинты вина в день. Такую скромную порцию легко доставляли итальянские виноградники, а когда его победоносные последователи перешли за Альпы, Рейн и Балтийское море, они потребовали взамен вина соразмерного количества крепкого пива или меда.

Люди, желавшие жить по евангельскому образцу нищеты, отвергали при самом вступлении в общину понятие и даже название всякой отдельной или исключительной собственности. Монахи жили трудом своих рук; на них возлагали обязанность работать, потому что считали труд за исполнение епитимьи, за полезное физическое упражнение и вместе с тем за самый похвальный способ добывать свое ежедневное пропитание. Их руками тщательно возделывались сады и поля, расчищенные ими из-под лесов и болот. Они без отвращения исполняли низкие обязанности рабов и слуг, а в больших монастырях занимались различными ремеслами, необходимыми для снабжения их одеждой и домашней утварью и для устройства их жилищ. Ученые занятия монахов большей частью клонились к тому, чтобы сгущать мрак суеверия,

а не к тому, чтобы его разгонять. Тем не менее некоторые из образованных жителей пустыни изучали из любознательности не только церковные науки, но даже светские, и потомство должно с признательностью сознаться, что благодаря их неутомимому трудолюбию многие из памятников греческой и римской литературы дошли до нас в многочисленных копиях. Но более скромная предприимчивость монахов, в особенности тех, которые жили в Египте, довольствовалась молчаливыми сидячими занятиями, заключавшимися в том, что они выделывали деревянные сандалии или плели из пальмовых листьев циновки и корзинки. Излишек шел в продажу для удовлетворения различных нужд общины; суда, отправлявшиеся из Табена и из других монастырей Фиваиды, спускались по Нилу до Александрии, а святость работников, быть может, увеличивала на христианских рынках действительную стоимость их изделий.

Но физический труд сделался с течением времени ненужным. Послушник склонялся на убеждения передать все свое достояние тем святым людям в среде которых он решил провести остаток своей жизни, а пагубная снисходительность законодательства позволяла ему передавать в пользу этих святых людей все, что могло ему достаться по завещанию или по наследству после его поступления в монастырь. Мелания отдала им свою столовую посуду (в которой было триста фунтов серебра), а Павла сделала огромный долг для того, чтобы помочь своим любимым монахам, великодушно разделявшим с богатой и щедрой грешницей те духовные блага, которые они приобретали молитвами и покаянием. Разбросанная по селениям и городам недвижимая собственность популярных монастырей непрерывно увеличивалась с течением времени, но редко уменьшалась от каких-нибудь несчастных случайностей, а в первом веке их существования язычник Зосим злорадно заметил, что для пользы бедняков христианские монахи довели большую часть человеческого рода до нищенства. Пока в них не угасало первоначальное религиозное рвение, они были честными и милостивыми раздавателями тех щедрот, которые вверялись их попечению. Но их дисциплина ослабела от материального благосостояния; они стали гордиться своими богатствами и, наконец, стали расходовать эти богатства. Их траты на общую пользу можно было оправдывать их желанием придать особый блеск богослужению и тем благовидным предлогом, что для такого учреждения, которое должно существовать вечно, нужны и прочные здания. Но во все века церковной истории обнаруживалась нравственная распущенность выродившихся монахов, совершенно позабывших о первоначальной цели своего существования, предававшихся чувственным мирским наслаждениям, от которых они отреклись, и позорно употреблявших во зло богатства, которые были приобретены суровыми добродетелями основателей монастырей. Их естественный переход от таких тягостных и вредных для здоровья добродетелей к свойственным всему человечеству порокам едва ли способен возбуждать в душе философа чувство скорби или негодования.

Жизнь первобытных монахов проходила в покаянии и в уединении, не прерывавшихся теми разнообразными занятиями, которые наполняют время и развивают способности людей рассудительных, деятельных и привыкших жить в обществе себе подобных. Всякий раз, как им дозволялось переступить за порог монастыря, они выходили не иначе, как вдвоем, наблюдали друг за другом и доносили друг на друга, а по возвращении домой должны были позабывать или, по меньшей мере, молчать о том, что видели и слышали вне монастырских стен. Исповедовавшие православную веру

чужеземцы находили гостеприимный приют в особых комнатах, но вступать с ними в опасную беседу могли только избранные престарелые монахи, отличавшиеся испытанной скромностью и преданностью. Иначе как в присутствии этих последних не мог принимать своих друзей или родственников тот добровольный невольник, который запирался в монастыре, и считалось в высшей степени достойным похвалы, если он огорчал нежно любящую сестру или престарелого отца упорным отказом говорить с ними и видеть их. Сами монахи проводили свою жизнь без всяких личных привязанностей в обществе людей, которых свела случайность и которых удерживала в одной и той же тюрьме неволя или предрассудок. У отрекшихся от мира фанатиков не много было таких мыслей или чувств, которые они желали бы разделить с другими; особыми разрешениями настоятеля определялись время и продолжительность их взаимных посещений, а за трапезой они сидели молча, закутавшись в свои капюшоны, недоступные и почти неузнаваемые друг для друга. Умственная работа служит главным ресурсом для тех, кто живет в уединении; но ремесленники и крестьяне, которыми наполнялись монастыри, не были подготовлены своим воспитанием к каким-либо ученым занятиям. Они могли бы заниматься каким-нибудь ремеслом, но тщеславная уверенность в своем нравственном совершенстве заставляла их относиться с пренебрежением к ручному труду; да и не может ремесленник быть деятельным и предприимчивым, если он не находит поощрения в личной выгоде.

Время, которое монахи проводили в своих кельях, проходило в изустных или в мысленных молитвах, смотря по вере и по усердию каждого; они собирались по вечерам и вставали по ночам для публичного богослужения в монастыре. Их созывали по указанию звезд, которые редко застилаются тучами на безоблачном египетском небе, и простой рог или труба, подававшие сигнал к делам благочестия, ежедневно дважды нарушали тишину обширной пустыни. Даже сон — это последнее убежище несчастных — разрешался им в строго определенном размере; часы досуга монах проводил без занятий и без развлечений, и прежде чем кончался день, он не раз жалел о медленном движении солнца. При таком безотрадном положении суеверие не переставало преследовать и терзать своих жалких приверженцев. Покой, которого они искали в затворничестве, нарушался запоздалыми угрызениями совести, нечестивыми сомнениями и преступными желаниями, и так как они считали всякое естественное влечение непростительным грехом, то они постоянно трепетали при мысли, что стоят на краю пылающей и бездонной пропасти. От тягостной борьбы со страданиями и с отчаянием эти несчастные избавлялись смертью, а иногда и умопомешательством, и в шестом столетии был основан в Иерусалиме госпиталь для небольшого числа кающихся, которые лишились рассудка. Призраки, посещавшие их перед тем, как они дошли до такого крайнего и явного безумия, служили обильным материалом для рассказов о сверхъестественных событиях. Они были твердо убеждены, что воздух, которым они дышали, был населен невидимыми врагами, бесчисленными демонами, которые принимали различные внешние формы и пользовались всяким удобным случаем, чтобы запугивать их и, главным образом, чтобы вводить их в соблазн. Их воображение и даже их рассудок делались жертвами иллюзий, порождаемых крайним фанатизмом, и, когда читавший свои ночные молитвы отшельник невольно впадал в усыпление, он легко мог подумать, что видел наяву те страшные или привлекательные призраки, которые представлялись ему в сновидениях.

Монахи разделялись на два разряда, на обительных, подчинявшихся общим правилам дисциплины, и на отшельников, живших в одиночестве и дававших полную волю своему фанатизму. Между ними самые благочестивые или самые честолюбивые отказывались от монастырей точно так же, как они отказались от света. Самые усердные к вере монастыри — египетские, палестинские и сирийские — были окружены Лаврой, то есть уединенными кельями, расположенными в некотором отдалении от них в форме круга, а одобрение и соревнование служили отшельникам стимулом для сумасбродных подвигов покаяния. Они изнемогали под тяжестью крестов и цепей и сковывали свои исхудалые члены кольцами, запястьями, рукавицами и ножными латами из массивного железа. Они презрительно отвергали заботу об одежде, а некоторые дикие святые обоего пола славились тем, что нагота их тела была прикрыта только их длинными волосами. Они старались снизойти до того грубого и жалкого положения, в котором человеческая тварь едва ли чем-либо отличается от других животных, а одна многочисленная секта отшельников вела свое название от того, что паслась на полях Месопотамии вместе со скотом. Они нередко селились в логовище какого-нибудь дикого зверя, которому старались подражать, или заживо погребали себя в какой-нибудь мрачной пещере, продолбленной в утесе человеческими руками или руками самой природы, а мраморные каменоломни Фиваиды до сих пор сохранили на себе надписи, свидетельствующие об их благочестивых подвигах. Высшее достоинство пустынников заключалось в том, чтобы провести несколько дней без пищи, несколько ночей без сна или несколько лет, не сказавши ни слова, и особенную славу приобретал тот человек (если будет дозволено так злоупотреблять этим именем), которому удавалось построить такую келью или создать такое место жительства, что ему приходилось держать себя в самой неудобной позе и выносить все перемены погоды.

Симеон Столпник. 395–451 гг.

Между этими героями монашества имя и гений Симеона Столпника приобрели бессмертие благодаря оригинальной выдумке совершать покаяние в воздушном пространстве. Когда этому сирийцу было тринадцать лет, он отказался от профессии пастуха и поступил в один из тех монастырей, где соблюдалась самая суровая дисциплина. После продолжительного и тягостного искуса, во время которого Симеон неоднократно покушался из благочестия на самоубийство, он поселился на горе в тридцати или сорока милях к востоку от Антиохии. При помощи одной *mandra*, или груды камней, к которой он прикрепил себя тяжелой цепью, он взобрался на столб и с десяти футов постепенно достиг вышины в шестьдесят футов. На этой высоте сирийский отшельник выдерживал в течение тридцати лет и летнюю жару, и зимний холод. Привычка и упражнение научили его держаться на этом опасном посту без опасения свалиться и без головокружения и попеременно становиться в различные благочестивые позы. Иногда он молился с руками, сложенными крестом, но всего чаще он сгибал свой тощий скелет так, что голова почти касалась ног, а любознательный зритель, насчитавший тысяча двести сорок четыре таких поклона, отказывался от счета, которому не предвиделось конца. Язва, образовавшаяся на бедре, сократила его жизнь, но не прекращала его святых подвигов, и терпеливый отшельник испустил дух, не сходя со своего столба. Монарх, который вздумал бы кого-нибудь осудить на такую пытку, прослыл бы за тирана, но и власть тирана не была бы в состоянии при-

нудить жертву своей жестокости долго вести такую ужасную жизнь. Это добровольное мученичество должно было постепенно довести и душу и тело до бесчувственности, и нет возможности допустить, чтобы фанатик, терзавший самого себя, мог питать сострадание к другим. Жестокосердная бесчувственность была отличительной чертой монахов во все века и во всех странах; их суровое бессердечие, редко смягчавшееся под влиянием личной дружбы, усиливалось от религиозной ненависти, а учреждение инквизиционного суда доставило им случай выказать все их беспощадное усердие.

Монашеская святость, возбуждающая в философе лишь презрение и сожаление, служила предметом глубокого уважения и едва ли не обожания для монархов и народов. Толпы пилигримов, приходившие из Галлии и из Индии, преклонялись перед божественным столбом Симеона; племена сарацинов с оружием в руках оспаривали одно у другого честь его благословения; царицы Персии и Аравии с признательностью отдавали должную дань его сверхъестественным добродетелям, а младший Феодосий обращался к святому отшельнику за советами в самых важных церковных и государственных делах. Его смертные останки были перенесены с торжественной процессией патриархом, главным начальником восточных армий, шестью епископами, двадцатью одним графом и трибуном и шестью тысячами солдат с горы Телениссы в Антиохию, которая считала его мощи за самое почетное из своих украшений и за самый надежный оплот своей безопасности. Слава апостолов и мучеников стала постепенно меркнуть перед славой этих новых и популярных отшельников; весь христианский мир стал падать ниц перед их руками, а чудеса, которые приписывались их мощам, превзошли, — по меньшей мере, числом и долговечностью — те духовные подвиги, которые были совершены ими при жизни. Но блестящие легенды об их жизни были разукрашены коварством и легковерием их заинтересованных собратьев, а в века веры нетрудно было заставить думать, что было достаточно малейшего каприза какого-нибудь египетского или сирийского монаха, чтобы прервать действие неизменных законов Вселенной. Эти любимцы небес имели обыкновение излечивать застарелые болезни одним прикосновением, одним словом или пересылкой своего благословения отсутствующим страждущим; они изгоняли самых упорных демонов из той души и из того тела, в которых те засели; они могли безопасно подходить к жившим в пустыне львам и змеям и повелительно давать им приказания; они сообщали растительную силу высохшим пням, заставляли железо держаться на поверхности воды, переезжали через Нил на спине крокодилов и освежались в растопленной печи. Эти нелепые рассказы, носившие на себе отпечаток поэтической фантазии, но не поэтического гения, очень вредно повлияли и на разум, и на верования, и на нравственность христиан. Своим легковерием христиане унижали и извращали свои умственные способности; они заражали фальшью свидетельства истории и постепенно затмили своими суевериями свет философии и знаний. Все виды религиозного поклонения, бывшие в употреблении между святыми, все таинственные догматы, в которые они верили, опирались на санкцию божественного откровения, и все благородные доблести были подавлены унижительным господством монахов. Если бы мы могли измерить расстояние между философскими произведениями Цицерона и священной легендой Теодорета, между характером Катона и характером Симеона, мы получили бы верное понятие о достопамятном перевороте, совершившемся в Римской империи в пятисотлетний период времени.

Успехи христианства ознаменовались двумя блестящими и решительными победами: одна из них была одержана над образованными и изнеженными римскими гражданами, а другая над воинственными варварами Скифии и Германии, ниспровергнувшими империю и принявшими римскую религию. Готы занимали первое место между этими дикими новообращенными и были обязаны своим переходом в христианство одному из своих соотечественников или, по меньшей мере, одному из своих подданных, достойному стать наряду с теми изобретателями полезных искусств, имя которых произносится с благодарностью потомством. Шайки готов, опустошавшие Азию во времена Галлиена, увели с собой в рабство множество римских провинциальных жителей, между которыми было много христиан и несколько лиц духовного звания. Эти невольные миссионеры, рассеянные в качестве рабов по селениям Дакии, стали заботиться о спасении души своих повелителей. Посеянные ими семена евангельского учения стали постепенно пускать ростки, и прежде конца столетия это благочестивое предприятие было доведено до конца усилиями Ульфилы, предки которого переселились за Дунай из одного небольшого каппадокийского городка.

Епископ и апостол готов Ульфила снискал любовь и уважение своих соотечественников безупречной жизнью и неутомимым усердием, и они со слепым доверием усвоили теории истины и добродетели, которые он проповедовал и применял на практике. Он исполнил трудную задачу перевода Св. Писания на их родной язык, который был одним из диалектов языка германского, или тевтонского; но он благоразумно исключил четыре Книги Царств из опасения, чтобы они не усилили свирепость и кровожадность варваров. Грубое и бедное наречие солдат и пастухов, вовсе негодное для выражения религиозных идей, было усовершенствовано и модулировано его гением, а прежде чем приступить к переводу, Ульфила оказался вынужденным составить новую азбуку из двадцати четырех букв, из которых четыре были им придуманы для выражения особых звуков, не встречающихся ни в греческом, ни в латинском произношении. Но благоденствие готской церкви было скоро нарушено войной и внутренними раздорами, а готские вожди, в былое время ссорившиеся между собой только из-за личных интересов, стали ссориться и из-за религии. Живший в дружбе с римлянами Фритигерн был обращен Ульфилой в христианство, между тем как высокомерный Атанарих не хотел стать ни под ярмо империи, ни под ярмо Евангелия. Возбужденные им преследования подвергли преданность новообращенных тяжелым испытаниям. По его приказанию возили с торжественной процессией по улицам лагеря уродливое изображение Тора или, быть может, Водена, а те мятежники, которые отказывались поклоняться Богу своих предков, немедленно предавались сожжению вместе со своими палатками и со своими семействами. Своими личными достоинствами Ульфила снискал уважение восточного двора, при котором дважды появлялся в качестве мирного посредника; он ходатайствовал за готов, в то время как несчастья заставили их прибегнуть к покровительству Валента, и прозвание Моисея было дано духовному вождю, который провел свой народ через глубокие воды Дуная в Обетованную землю. Преданный ему и всегда готовый исполнять его волю пастушеский народ охотно поселился у подножия Мизийских гор в такой местности, которая была богата лесами и пастбищами и доставляла им средства для приобретения покупкой зернового хлеба и вина из соседних провинций. Эти безвредные варвары спокойно размножились в неизвестности, исповедуя христианскую веру.

Их более гордые соотечественники, грозные визиготы, усвоили религию римлян, с которыми их беспрестанно приводили в соприкосновение то войны, то союзы, то завоевания. Во время своего продолжительного и победоносного передвижения от берегов Дуная к берегам Атлантического океана они обращали в христианство своих союзников и воспитывали новое поколение, а благочестие, господствовавшее в лагере Алариха и при тулузском дворе, могло бы послужить примером или укором для дворов римского и константинопольского. В тот же период времени христианская вера была принята почти всеми варварами, основавшими независимые государства на развалинах Западной империи, — бургундами в Галлии, свевами в Испании, вандалами в Африке, остготами в Паннонии, равно как разнохарактерными отрядами наемников, возведших Одоакра на итальянский престол. Франки и саксы еще придерживались языческих заблуждений, но франки достигли владычества над Галлией благодаря тому, что последовали примеру Хлодвиг, а завоевавшие Британию саксы отучались от своих варварских суеверий под влиянием римских миссионеров. Эти новообращенные варвары выказали пылкое и успешное усердие в деле распространения христианства. Короли из рода Меровингов и их преемники Карл Великий и Отгоны расширили своими законами и завоеваниями владычество креста. Англия дала Германии ее апостола, и свет Евангелия постепенно озарил все страны от берегов Рейна до берегов Эльбы, Вислы и Балтийского моря.

Нелегко с точностью указать разнообразные мотивы, повлиявшие на раскусок или на страсти новообращенных варваров. Такими мотивами, нередко возникавшими из прихоти или от случайности, были: сон, предзнаменование, рассказ о чуде, пример какого-нибудь духовного лица или какого-нибудь героя, прелести благочестивой супруги, а главным образом, успех молитвы или обета, с которыми они обратились в минуту опасности к Богу христиан. Предрассудки, внушенные с детства воспитанием, незаметным образом сглаживались от привычки подчиняться влиянию господствующих идей; нравственные принципы Евангелия находили для себя опору в сумасбродных добродетелях монахов, а богословские догматы поддерживались чудотворной силой мощей и пышностью богослужения. Но миссионеры, трудившиеся над обращением неверующих, вероятно, иногда прибегали и к тому остроумному способу убеждать, который был указан одному популярному святому саксонским епископом. «Допускайте, — говорит этот прозорливый полемизатор, — все, что они будут вам рассказывать о баснословном плотском происхождении своих богов и богинь, расплотившихся один от другого. Из этого положения делайте вывод, что натура таких богов так же несовершенна и брэнна, как натура человеческая, что если они родились, то, вероятно, когда-нибудь и умрут. Когда именно, каким способом и по какой причине появились на свет самые древние из их богов или богинь? Продолжают ли они размножаться или перестали? Если перестали, то потребуйте от вашего антагониста, чтобы он объяснил вам причину такой странной перемены. Если не переставали, то число богов должно увеличиваться до бесконечности, и разве в этом случае мы не подвергались бы опасности прогневить одного из высших богов тем, что по неосмотрительности стали бы поклоняться какому-нибудь из подчиненных ему низших божеств? Видимые небеса, и Земля, и вся система Вселенной, насколько она доступна для человеческого понимания, были ли созданы или существовали вечно? Если они были созданы, то как и где могли существовать сами боги до создания Вселенной? Если они существовали вечно, то каким образом боги могли приобрести власть над ми-

ром, который существовал до них и независимо от них? Развивайте эти аргументы с хладнокровием и умеренностью, при случае указывайте на истину и красоту христианского откровения и старайтесь стыдить неверующих, но не раздражать их». Это метафизическое рассуждение, быть может, было слишком утонченно для германских варваров, но оно находило более грубую подпору в авторитете власти и в общем одобрении. Мирские выгоды уже были не на стороне язычества и перешли на сторону христианства. Даже римляне — эта самая могущественная и самая образованная из всех наций земного шара — отказались от своих старинных суеверий, и хотя упадок их могущества, по-видимому, не говорил в пользу новой религии, это несчастье уже было заглажено обращением в христианство победоносных готов. Храбрые и счастливые в своих предприятиях варвары, завоевавшие западные провинции, сначала увлеклись этим назидательным примером, а потом стали оправдывать его на самих себе. Еще до времен Карла Великого христианские народы Европы могли похвастаться тем, что в их исключительном обладании находились все страны с умеренным климатом и все плодородные земли, производящие хлеб, вино и оливковое масло, между тем как дикие язычники вместе со своими беспомощными идолами должны были довольствоваться оконечностями земного шара — мрачными и холодными северными странами.

Христианство, растворив перед варварами врата небесные, вместе с тем произвело важную перемену в нравственных и политических условиях их существования. Они приобрели вместе с христианством знакомство с письменностью, столь необходимой для изучения религии, догматы которой содержатся в священных книгах, а в то время как они знакомились с божественными истинами, их ум незаметным образом расширялся, знакомясь с историей, с природой, с искусствами и с обществом. Способствовавший их обращению в христианство перевод Св. Писания на их родной язык должен был возбуждать в их духовенстве желание прочесть оригинальный текст, понять содержание литургии и проследить в писаниях отцов церкви связь церковных традиций. Эти духовные сокровища хранились в греческом и латинском изложении, то есть на тех самых языках, знание которых могло познакомить с неоцененными памятниками древней учености. Бессмертные произведения Вергилия, Цицерона и Ливия, сделавшись доступными для перешедших в христианство варваров, установили умственную связь между поколениями, жившими в промежуток времени от царствования Августа до времен Хлодвиг и Карла Великого. Воспоминания о более совершенном состоянии общества поощряли к соревнованию, и священный огонь знания незаметным образом поддерживался для того, чтобы согреть и осветить западный мир в его зрелом возрасте. Как бы ни был извращен настоящий дух христианства, варвары могли научиться справедливости из законов и человеколюбию из Евангелия, и, хотя знание своих обязанностей не было достаточным для того, чтобы руководить их действиями или обуздывать их страсти, их нередко сдерживали угрызения совести и нередко мучило раскаяние. Впрочем, непосредственное влияние религии не было так благотворно, как священные узы, связывавшие их с их христианскими собратьями духовным единением. Влияние этих чувств удерживало их от нарушения долга, в то время как они состояли на службе у римлян или в союзе с ними; оно смягчало ужасы войны, сдерживало наглость завоевателей и в эпоху упадка империи постоянно поддерживало уважение к имени и к учреждениям Рима. В века язычества галльские и германские жрецы властвовали над народом

и контролировали действия светской власти, а ревностные к вере новообращенные стали относиться с такой же или еще с большей покорностью к христианским священнослужителям. Священному характеру епископов придавали особый авторитет их мирские богатства; они занимали почетные места в законодательных собраниях, состоявших из воинов и свободных граждан и как из личных интересов, так и по долгу смягчали своими миролюбивыми советами свирепость варваров. Постоянные сношения между членами латинского духовенства, частые странствования богомольцев в Рим и в Иерусалим и возрастающее влияние пап скрепляли единство христианской республики и постепенно создали однообразие в нравах и в юриспруденции, которым отличаются от остального человеческого рода независимые и даже враждебные одна другой нации современной нам Европы.

Но действие этих причин приостановилось и замедлилось от одной несчастной случайности, влившей смертельный яд в чашу спасения. Каковы бы ни были первоначальные влечения Ульфилы, его сношения с империей и с церковью завязывались во время господства арианских верований. Апостол готов принял символ веры, установленный на соборе в Римини; он не стеснялся и, быть может, с искренним убеждением проповедовал, что Сын не равен или не единосущен с Отцом, передал эти заблуждения духовенству и народу и заразил весь варварский мир ересью, которую Феодосий Великий осудил и искоренил между римлянами. Ни по характеру, ни по умственному развитию новообращенные не были способны заниматься такими метафизическими тонкостями, но они упорно держались за то, что с благочестием приняли за чистое и подлинное христианское учение. Успехам проповеднической деятельности Ульфилы и его преемников содействовало то преимущество, что они могли проповедовать и объяснить Св. Писание на тевтонском языке, и они посвятили в звание епископов и пресвитеров достаточное число людей, способных распространять христианские истины между другими родственными племенами. Те из остготов, бургундов, свевов и вандалов, которые имели случай слышать красноречивые поучения латинского духовенства, предпочитали более доступные для их ума поучения своих домашних наставников, и арианство сделалось национальной религией воинственных новообращенных, водворившихся на развалинах Западной империи. Это непримиримое религиозное разномыслие сделалось постоянным источником взаимного недоверия и ненависти, а укорищенное название «варвары» сделалось еще более оскорбительным от присовокупления к нему отвратительного прозвища «еретики». Северные герои, неохотно поверившие тому, что все их предки попали в ад, были поражены удивлением и скорбью, когда узнали, что и сами они лишь изменили способ обрекать себя на вечные мучения. Вместо ластивых одобрений, к которым приучили христианских королей преданные им прелаты, арианские монархи стали встречать со стороны православных епископов и их духовенства постоянное противодействие, которое нередко доходило до преступлений и в некоторых случаях могло сделаться опасным. Церковная кафедра — это безопасное и священное орудие мятежа — оглашалась именами Фараона и Олоферна; неудовольствие народа разжигалось надеждой или обещаниями славного избавления, а мятежные святые вовлекались в такие поступки, которые могли способствовать осуществлению их собственных предсказаний. Несмотря на эти поводы к раздражению, и в Галлии, и в Испании, и в Италии католики пользовались под владычеством ариан свободным и спокойным исповедованием своей религии. Их высокомерные повелители уважали религиозное усердие многочис-

ленного населения, готового умереть у подножия своих алтарей, а пример такой благочестивой твердости вызывал со стороны самих варваров удивление и подражание. Однако из опасения вызвать оскорбительный упрек в трусливости завоеватели приписывали свою веротерпимость мотивам, основанным на требованиях рассудка и человеколюбия, а в то время, как они старались говорить языком истинного христианства, они постепенно проникались и его духом.

Внутреннее спокойствие церкви по временам нарушалось. Католики были несдержанны, а варвары были нетерпеливы; но некоторые отдельные акты строгости или справедливости, совершавшиеся по совету арианского духовенства, были преувеличены православными писателями. В религиозных гонениях можно обвинять короля визиготов Эврика, который запретил духовенству или по меньшей мере епископам исполнять их обязанности и наказал популярных аквитанских епископов тюремным заключением, ссылкой и конфискацией. Но жестокосердное и безрассудное намерение насиловать убеждения целого народа было задумано одними вандалами. Сам Гензерих отказался с ранней молодости от православного вероисповедания, а в качестве вероотступника он не был способен миловать других и не мог ожидать для себя помилования. Он был раздражен тем, что бежавшие от него с поля битвы африканцы осмеливались оказывать ему неповиновение на соборах и в церквях, а по своей врожденной свирепости он не был доступен ни для страха, ни для сострадания. Его католические подданные подверглись притеснительным требованиям и произвольным наказаниям. Гензерих выражался гневно и грозно; его намерения, которых он ни от кого не скрывал, могли служить оправданием для самого неблагоприятного истолкования его поступков, и ариан стали считать виновниками частых казней, позоривших и дворец, и владения тирана. Впрочем, господствующими страстями этого властелина морей были война и честолюбие. Но его бесславный сын Гуннерих, по-видимому унаследовавший от отца лишь одни пороки, преследовал католиков с той же непреклонной яростью, которая была гибельна для его брата, для его племянников, для друзей и любимцев его отца и даже для арианского патриарха, который был безжалостно сожжен живым посреди Карфагена. Притворное перемирие предшествовало религиозной войне и подготовило ее; религиозные гонения сделались серьезным и главным занятием вандальского двора, а отвратительная болезнь, ускорившая смерть Гуннериха, отомстила за нанесенные им церкви оскорбления, несколько не облегчив ее положения. Африканский трон был занят одним вслед за другим двумя племянниками Гуннериха — Гундамундом, который царствовал около двенадцати лет, и Траземундом, который стоял во главе нации в течение более двадцати семи лет. Под их управлением православная партия подвергалась постоянным притеснениям. Гундамунд как будто хотел подражать жестокосердию своего дяди и даже превзойти его, и хотя в конце концов он раскаялся, возвратил епископов из ссылки и дозволил приверженцам Св. Афанасия исповедовать их религию, его преждевременная смерть уничтожила все плоды его запоздалой снисходительности. Его брат Траземунд был самым великим и самым добродетельным из всех вандальских царей, которых он превосходил и красотой, и благоразумием, и величием своей души. Но эти благородные черты характера были запятнаны его религиозной нетерпимостью и притворной снисходительностью. Вместо угроз и пыток он употреблял в дело более мягкие, но более целесообразные средства обольщения. Богатства, почести и царские милости служили наградой за вероотступничество; провинившие-

ся в нарушении законов католики могли покупать свое помилование отречением от своих верований, а всякий раз, как Траземунд замышлял какие-нибудь строгие мероприятия, он терпеливо выжидал, чтобы неводержанность его противников доставила ему благовидный предлог. Ханжеством было то чувство, которое заговорило в нем перед самой смертью, и он потребовал от своего преемника торжественной клятвы никогда не давать воли последователям Св. Афанасия. Но его преемник, кроткий сын свирепого Гуннериха, Хильдерих предпочел долг человеколюбия и справедливости тем обязанностям, которые налагала на него нечестивая клятва, и его вступление на престол ознаменовалось восстановлением общего спокойствия и свободы. Троном этого добродетельного, но слабохарактерного государя противозаконно овладел его двоюродный брат Гелимер, который был ревностным приверженцем арианского учения; но, прежде чем он успел воспользоваться или злоупотребить своей властью, его монархия была ниспровергнута оружием Велисария, и православная партия отомстила за вынесенные ею обиды.

Религиозные гонения в Африке

Страстные декламации католиков, которые были единственными историками этого гонения, не представляют последовательного описания причин и событий или сколько-нибудь беспристрастной оценки характеров действующих лиц и руководивших ими мотивов; но самые выдающиеся из тех фактов, которые заслуживают нашего доверия или внимания, могут быть подведены под следующие рубрики. 1. В дошедшем до нас законе Гуннерих положительно утверждает, что он с точностью переписал постановления и кары императорских эдиктов, направленные против уклонявшихся от установленной религии еретических конгрегаций духовенства и населения. Если бы совесть имела в этом деле право голоса, то католики должны были бы или осудить свое прежнее поведение, или одобрить строгость, с которой их преследовали. Но они по-прежнему не признавали за другими тех прав, которых требовали для самих себя. В то самое время как они трепетали от страха под плетью гонителей, они превозносили похвальную строгость самого Гуннериха, предавшего сожжению или отправившего в ссылку множество манихеев, и с отвращением отвергали постыдное предложение признать за последователями Ария и Св. Афанасия одинаковое право на веротерпимость во владениях римлян и вандалов. 2. Введенное католиками обыкновение созывать соборы для осуждения и наказания их упорных противников было обращено в оружие против них самих. По приказанию Гуннериха в Карфаген съехались четыреста шестьдесят шесть православных епископов; но, когда они пришли в залу заседаний, они были глубоко оскорблены при виде воссевшего на патриаршеском престоле арианина Кирилла. Противников разлучили после того, как они обменялись обычными взаимными упреками за неуместный шум и за упорное молчание, за излишнюю медлительность и за несвоевременную торопливость, за искание поддержки у вооруженной силы и у народных сходок. Между католическими епископами были выбраны один мученик и один исповедник; двадцать восемь спаслись бегством, а восемьдесят восемь — отречением от прежних верований; сорок шесть были отправлены на остров Корсику, чтобы рубить там лес для царского флота, а триста два были размещены по различным африканским провинциям, где ничто не ограждало их от оскорблений врагов и где они были лишены всех мирских и духовных благ. Страдания, вынесенные в течение десятилетней ссылки, должны были сократить их число, и если бы они исполняли закон Траземун-

да, запрещавший им посвящать других в епископское звание, то существование Православной Церкви в Африке окончилось бы вместе с жизнью ее членов. Но они не подчинились этому закону и за свое непослушание были наказаны вторичной ссылкой двухсот двадцати епископов в Сардинию, где эти несчастные томились пятнадцать лет до вступления на престол кроткого Хильдериха. Злоба их арианских тиранов была удовлетворена выбором для ссылки Корсики и Сардинии; жалкое положение первого из этих островов оплакивал по собственному опыту и преувеличивал Сенека, а плодородие второго находило противовес в нездоровом климате. 3. Религиозное рвение, побуждавшее Гензериха и его преемников заботиться об обращении католиков в арианство, должно было сделать их еще более заботливыми о сохранении арианского учения во всей его чистоте. Было запрещено показываться на улицах в одежде варваров, прежде нежели будут заперты церкви, а того, кто осмеливался нарушить это царское приказание, тащили за его длинные волосы домой. Служивших в царских войсках офицеров с позором лишали почетных отличий и должностей, если они не хотели исповедовать религию своего государя; их ссылали в Сардинию и в Сицилию или же осуждали на низкие работы на полях Утики вместе с крестьянами и рабами. В тех округах, которые были предоставлены вандалам в исключительную собственность, отправленное католического богослужения было еще более строго воспрещено, и как миссионеров, так и совращенных ими с истинного пути подвергали жестоким наказаниям. Благодаря этим средствам верования варваров сохранялись неизменными, а их усердие к религии воспламенялось; они с благочестивой яростью исполняли обязанности шпионов, доносчиков и палачей, а всякий раз, как их кавалерия выступала в поход, ее любимое развлечение заключалось в том, что она оскверняла церкви и оскорбляла духовенство противной партии. 4. Воспитанных в римской роскоши граждан отдавали с изысканной жестокостью в руки живших в пустыне мавров. Неизвестно, за какое преступление Гуннерих приказал удалить из их родины множество епископов, пресвитеров и дьяконов вместе с четырьмя тысячами девяносто шестью лицами, принадлежавшими к их пастве. Ночью их держали взаперти, как стадо рогатого скота, посреди их собственных испражнений; днем их заставляли идти пешком по жгучему степному песку, если же они падали в обморок от жары и усталости, их подгоняли или тащили силой, пока они не выпускали дух под руками своих мучителей. Достигнув мавританских хижин, эти несчастные изгнанники могли возбуждать сострадание народа, в котором врожденное человеколюбие еще не было ни усилено рассудком, ни извращено фанатизмом; но если им удавалось избежать опасностей, встречающихся в жизни среди дикарей, им приходилось выносить все лишения этой жизни. 5. Виновник религиозных гонений должен предварительно обдумать, намерен ли он поддерживать их до последней крайности. Гонитель раздувает то самое пламя, которое желал бы потушить, и скоро бывает вынужден наказывать виновного не только за ослушание, но и за упорство. Неспособность или нежелание преступника уплатить денежный штраф налагает ответственность на его личность, а его пренебрежение к легким взысканиям вызывает более строгие уголовные наказания. Сквозь туман вымыслов и декламации мы ясно видим, что католиков подвергали самым жестоким и самым позорным наказаниям, в особенности в царствование Гуннериха. Почтенных граждан, знатных матрон и посвященных Богу девственниц раздевали догола и подымали на воздух на блоках, привязавши к их ногам какую-нибудь тяжесть. В то время как они находились в этом мучительном положении, их обнаженные те-

ла разрывали на клочки ударами плети или жгли самые нежные части раскаленным железом. Ариане отрезали у католиков уши, нос, язык и правую руку, и хотя нет возможности с точностью определить число пострадавших, однако, не подлежит сомнению, что право на венец мученичества приобрели очень многие, и в том числе один епископ и один проконсул. Такой же чести удостоился граф Себастьян за то, что держался Никейского символа веры с непоколебимой твердостью; а Гензерих, быть может, был рад случаю преследовать за ересь храброго и честолюбивого изгнанника, которого считал за опасного соперника. 6. Для обращения еретиков в истинную веру арианское духовенство придумало новое средство, с помощью которого можно было подавлять сопротивление людей малодушных и наводить страх на трусливых. Оно стало крестить католиков в арианскую веру путем обмана или насилия и стало наказывать их за вероотступничество, если они не подчинялись последствиям так гнусно и святотатственно совершенного обряда, нарушавшего свободу воли и единство таинства крещения. Уже прежде того каждая из враждовавших сект формально признала законную силу крещения, совершенного ее противниками, а это нововведение, за которое так упорно держались вандалы, может быть приписано лишь примеру и советам донатистов. 7. Арианское духовенство превосходило в религиозном жестокосердии и самого царя, и его вандалов; но оно не было способно возделывать духовный вертоград, которым так желало завладеть. Можно было посадить арианина на карфагенский патриарший престол, можно было заместить в нескольких главных городах епископские должности арианами, но по своей немногочисленности и по незнанию латинского языка варвары не были способны управлять обширной церковью, и когда африканцы лишились своих православных пастырей, они вместе с тем лишились возможности публично исповедовать христианство. 8. Императоры были естественными покровителями приверженцев Номооузиона, а преданные им жители Африки и в качестве римлян, и в качестве католиков, предпочитали их законную власть узурпации варварских еретиков. В промежуток мира и дружеских отношений Гуннерих реставрировал карфагенский собор по ходатайству Зенона, который царствовал на Востоке, и Платидии, которая была дочерью одного императора, вдовой другого и сестрой царицы вандалов. Но такая деликатная снисходительность была непродолжительна, и высокомерный тиран обнаружил свое презрение к господствовавшей в империи религии тем, что старательно выставил кровавые свидетельства гонений на главных улицах, по которым должен был проезжать римский посол на пути ко дворцу. От собравшихся в Карфагене епископов он потребовал клятвы, что они признают его преемником его сына Хильдериха и что они не будут поддерживать никаких внешних или заморских отношений. Хотя такое обязательство, по-видимому, не противоречило нравственным и религиозным обязанностям духовенства, самые прозорливые из собравшихся епископов не захотели принять его на себя. Их отказ, слегка прикрашенный тем предлогом, что христианину не дозволяется клясться, должен был возбудить подозрения в неверии в тиране.

Угнетаемые царской властью и военной силой католики далеко превосходили своих противников и своим числом, и своим образованием. Тем же самым оружием, которое отцы греческой и латинской церкви употребляли в борьбе с арианами, они неоднократно заставляли молчать гордых и необразованных преемников Ульфины. Сознание собственного превосходства должно бы было внушать им пренебрежение к уловкам и страстным увлече-

ниям религиозной борьбы. Однако вместо того, чтобы проникнуться таким благородным чувством гордости, православные богословы, увлекшись уверенностью в безнаказанности, стали изобретать вымыслы, которые следует заклеить названиями мошенничеств и подлогов. Они стали приписывать свои собственные полемические сочинения самым почтенным именам христианской древности; Вигилий и его последователи стали неловко подражать Афанасию и Августину, и есть основание полагать, что именно от этой африканской школы ведет свое начало знаменитое учение, так ясно излагающее мистерии Троицы и Воплощения. Даже содержание Св. Писания было извращено их опрометчивыми и святотатственными руками. Знаменитый текст, удостоверяющий единство Троицы, свидетельствующее на небесах, осужден общим молчанием и православных отцов церкви, и древних переводов, и подлинных рукописей. На него впервые сослались католические епископы, созванные Гуннерихом на совещании в Карфаген. Аллегорическое объяснение проникло в текст латинский библий, переписывавшихся и исправлявшихся в тысячелетний период мрака. После изобретения книгопечатания издатели Нового Завета на греческом языке увлеклись своими собственными предрассудками или предрассудками своего времени, и благочестивый подлог, с одинаковым рвением усвоенный и в Риме, и в Женеве, размножился до бесконечности во всех странах и на всех языках новейшей Европы.

Чудеса

Этот подлог, естественно, должен возбуждать в нас недоверие, и мы поступим более благоразумно, если припишем не явному покровительству Небес, а рвению африканских католиков те мнимые чудеса, при помощи которых они отстаивали истину своих верований. Тем не менее историк, рассматривающий эту религиозную борьбу без всякого пристрастия к той или к другой стороне, может снизойти до того, чтобы упомянуть только об одном сверхъестественном событии, которое послужит назиданием для людей благочестивых и возбудит удивление в неверующих. Приморская колония Мавритании Типаза, основанная в шестнадцати милях к востоку от Кесарии, отличалась во все века рвением своих жителей к православию. Они не боялись ярости донатистов и не преклонялись перед тиранией ариан или умели уклониться от нее. С приездом еретического епископа город опустел; большинство жителей, добыв морские суда, переехало на испанский берег, а оставшиеся в городе несчастные, отказавшиеся от всяких сношений с узурпатором, осмелились по-прежнему собираться на свои благочестивые, но запрещенные законом сборища. Их непослушание вывело жестокосердого Гуннериха из терпения. Из Карфагена был командирован в Типазу военный граф: он собрал католиков на форуме и на глазах всей провинции приказал отрезать у каждого из виновных правую руку и язык. Но святые мученики не перестали говорить и после того, как лишились языка, об этом чуде свидетельствует африканский епископ Виктор, написавший историю этого гонения в течение двух лет, которые непосредственно следовали за описываемыми событиями. «Если бы, — говорит Виктор, — кто-либо усомнился в истине этого происшествия, пусть он отправляется в Константинополь и послушает, как ясно и отчетливо говорит один из этих славных мучеников подьякон Реститут, живущий теперь во дворце императора Зенона и пользующийся уважением благочестивой императрицы». К нашему удивлению, мы находим в Константинополе хладнокровного ученого и безукоризненного свидетеля, который не руководствовался в том, что писал, ни личными интересами,

ни страстями. Философ Платоновской школы Эней из Газы подробно описал свои собственные наблюдения над африканскими мучениками: «Я видел их собственными глазами; я слышал их разговор; я старательно доискивался, каким способом можно издавать такие членораздельные звуки голоса без помощи языка; я старался проверить моими глазами то, что слышал ушами; я открывал их рты и видел, что языки были вырезаны у них до самого корня; это такая операция, которую все доктора признают смертельной». Свидетельство Энея из Газы в избытке подкрепляется вечным эдиктом Юстиниана, хроникой того времени, написанной графом Марцеллином, и папой Григорием I, жившим в ту пору в Константинополе в качестве представителя римского первосвященника. Все они жили в том веке, когда случилось это необыкновенное происшествие; все они ссылались в удостоверение чуда или на то, что сами видели, или на то, что всеми признавалось за истину; это чудо повторялось неоднократно; оно совершалось на самой обширной сцене, какая только была в мире, и в течение многих лет подвергалось хладнокровной проверке при помощи чувственных органов. Эта сверхъестественная способность африканских мучеников говорить, не имея языка, не вызовет протеста со стороны тех, и только тех, кто верит, что они выражались чистым языком православия. Но упорный ум неверующего охраняется от заблуждений скрытной и неизлечимой подозрительностью, и ни арианин, ни социнианин, сознательно отвергнувшие учение о Троице, не поколеблются в своих убеждениях, несмотря на самые благовидные свидетельства в пользу чудес, совершавшихся последователями Афанасия.

Вандалы и остготы исповедовали арианскую веру до окончательного падения царств, основанных ими в Африке и в Италии. Жившие в Галлии варвары подпали под владычество православных франков, а Испания снова вступила в лоно Католической Церкви вследствие добровольного обращения визиготов в католическую веру.

Этому благотворному перевороту содействовал пример царственного мученика, который при более беспристрастной оценке его образа действий мог бы быть назван неблагодарным мятежником. Царствовавший в Испании над готами Леовигильд снискал уважение своих врагов и любовь своих подданных; католики пользовались самой широкой веротерпимостью, а его арианские соборы пытались без большого успеха примирить обе партии путем отмены непопулярного обряда вторичного крещения. Его старший сын Герменегильд, получивший от отца королевскую диадему вместе с прекрасным Бетическим княжеством, вступил в брак с православной меровингской принцессой, дочерью короля Австразии Зигеберта и знаменитой Брунегильды. Прекрасная Ингунда, которой было только тринадцать лет, была радушно принята при арианском дворе в Толедо, сумела снискать общее расположение, но подверглась гонениям за свои верования; ей пришлось отстаивать свои религиозные убеждения и против ласковых настояний, и против насильий готской королевы Гоисвинты, злоупотреблявшей двойными правами материнской власти. Раздраженная сопротивлением католической принцессы, Гоисвинта схватила ее за ее длинные волосы, повалила ее на пол, избивала до крови и, наконец, приказала раздеть ее и бросить в пруд или в садок. И любовь, и честь должны были внушить Герменегильду желание отомстить за оскорбление, нанесенное его невесте, и он постепенно пришел к убеждению, что Ингунда пострадала за божественную истину. Ее трогательные жалобы и веские аргументы севильского архиепископа Леандера довершили его обращение в католицизм, и наследник готской монархии был посвящен в Никей-

ский символ веры путем торжественных обрядов конфирмации. Опрометчивый юноша, увлекшийся религиозным рвением и, быть может, честолюбием, нарушил обязанности и сына, и подданного, а испанские католики, хотя не имевшие никакого основания жаловаться на притеснения, одобрили его благочестивый мятеж против еретического отца. Междоусобная война затянулась вследствие упорного и продолжительного сопротивления Мерида, Кордовы и Севильи, горячо принявших сторону Герменегильда. Он стал приглашать православных варваров, свевов и франков, к нашествию на его родину; он стал искать опасного содействия римлян, владевших Африкой и частью испанских берегов, а его благочестивый посол архиепископ Леандер лично и с успехом вел переговоры с византийским двором. Но надежды католиков были разрушены деятельным монархом, в распоряжении которого находились войска и сокровища Испании, и преступный Герменегильд, тщетно пытавшийся сопротивляться или спастись бегством, был вынужден отдаться в руки разгневанного отца. Леовигильд, еще не забывший, что преступник был его родной сын, лишил его королевского звания, но позволил ему исповедовать католическую веру в приличном изгнании. Но неоднократные и неуспешные изменнические попытки Герменегильда в конце концов вывели из терпения готского короля, который, по-видимому, неохотно подписал смертный приговор и приказал тайне привести его в исполнение в севильской цитадели. Непреклонная твердость, с которой Св. Герменегильд отказывался спасти свою жизнь переходом в арианство, может служить оправданием тех почестей, которые воздавались его памяти. Его жена и малолетний сын были подвергнуты римлянами позорному тюремному заключению, а это семейное несчастье, омрачившее славу Леовигильда, отравило последние минуты его жизни.

Его сын и преемник Рекаред, который был первым католическим королем Испании, усвоил веру своего несчастного брата, но поддерживал ее с большим благоразумием и успехом. Вместо того чтобы бунтовать против отца, Рекаред терпеливо выжидал его смерти. Вместо того чтобы осуждать его память, он из благочестия распустил ложный слух, что Леовигильд отрекся перед смертью от арианских заблуждений, посоветовал сыну позаботиться об обращении готов в католическую веру. Для достижения этой благотворной цели Рекаред созвал арианское духовенство и дворянство, объявил себя католиком и пригласил их последовать примеру государя. Тщательное объяснение сомнительных текстов и любознательная проверка метафизических аргументов возбудили бы бесконечные споры, и монарх благоразумно предложил своим необразованным слушателям принять в соображение два существенных и для всякого понятных аргумента — свидетельство Земли и свидетельство Небес. Земля преклонила перед постановлением Никейского собора, и римляне, и варвары, и жители Испании единодушно исповедовали одну и ту же православную веру, и только одни визиготы не разделяли убеждений всего христианского мира. Век суеверий был достаточно подготовлен к тому, чтобы почтительно принимать за свидетельство Небес и сверхъестественные исцеления, которые совершались искусством или святостью католического духовенства, и купель в Оссете, в Бетике, которая ежегодно сама собой наполнялась водой накануне Пасхи, и чудотворную раку Св. Мартина Турского, которая уже обратила в католичество короля свевов и жителей Галисии. Католический король встретил некоторые затруднения при этой перемене национальной религии. Против его жизни был составлен заговор по подстрекательству вдовствующей королевы, и два графа возбудили опасное восстание

в Нарбоннской Галлии. Но Рекаред расстроил замыслы заговорщиков, разбил мятежников, подверг виновных строгим наказаниям и тем доставил арианам повод в свою очередь обвинять его в религиозном гонении. Восемь епископов, имена которых обнаруживают их варварское происхождение, отреклись от своих заблуждений, и все книги арианского богословия были обращены в пепел вместе с домом, в котором они были собраны для этой цели. Все визиготы и свевы вступили в лоно Католической Церкви или по убеждению, или по неволе, но вера нового поколения была горяча и искренна, и благочестивая щедрость варваров обогатила испанские церкви и монастыри. Семьдесят епископов, собравшихся на соборе в Толедо, приняли от своих победителей изъявления покорности, а религиозное усердие испанцев усовершенствовало Никейский символ веры, установив происхождение Св. Духа как от Отца, так и от Сына, — весьма важный догмат, вызвавший много времени спустя после того разрыв между церквями греческой и латинской. Царственный новообращенный тотчас обратился с приветствиями и с изъявлениями покорности к папе Григорию, прозванному Великим, — ученому и благочестивому прелату, царствование которого ознаменовалось обращением еретиков и неверующих. Послы Рекареда почтительно поднесли ему на священном пороге Ватикана богатые подарки из золота и драгоценных камней и считали за выгодный обмен полученные ими волосы св. Иоанна Крестителя, крест, в котором был вделан небольшой кусочек Креста Господня, и ключ, в котором было несколько железных опилок от цепей св. Петра.

Тот же самый Григорий, обратив в христианство Британию, поощрял благочестивую королеву лангобардов Теоделинду распространять Никейский символ веры среди победоносных дикарей, которые запятнали свое недавнее обращение в христианство арианскими еретическими верованиями. Ее благочестивые усилия, однако, оставили достаточно места для предприимчивости и для успешных подвигов будущих миссионеров, и во многих городах Италии еще не прекращалась борьба между епископами враждующих партий. Но дело ариан постепенно ггло под тяжестью истины, личных интересов и примера высокопоставленных лиц, и распря, возникшая в Египте из Платонова учения, прекратилась после трехсотлетней борьбы, вместе с окончательным обращением в католицизм живших в Италии лангобардов.

Первые миссионеры, проповедовавшие между варварами, ссылались на свидетельство рассудка и требовали для себя веротерпимости. Но лишь только успели утвердить свое владычество над умами, они принудили христианских монархов искоренять без всякого милосердия остатки римских или варварских суеверий. Преемники Хлодвиги назначили сто ударов плети в наказание крестьян, отказывавшихся от уничтожения своих идолов; приношение жертвы демону было подвергнуто англосаксонскими законами еще более тяжелым наказаниям тюрьмой и конфискацией, и даже мудрый Альфред счел своим неизбежным долгом придерживаться чрезмерной строгости Моисеевых законов. Но и наказания, и преступления постепенно прекратились среди обратившегося в христианство населения; богословским спорам не давало никакой пищи невежество, а религиозная нетерпимость, из-за невозможности отыскать ни язычников, ни еретиков, была вынуждена довольствоваться преследованием евреев. Эта нация изгнанников основала несколько синагог в галльских городах, а в Испании она развела со времен Адриана множество колоний. Богатства, накопленные ими торговлей и искусными финансовыми операциями, возбудили жадность в их повелителях, а притеснять

их можно было безопасно, так как они утратили и способность владеть оружием, и даже все, что могло бы напоминать им о военном ремесле. Царствовавший в начале седьмого столетия готский король Зизебут прямо приступил к самым строгим мерам. Девяносто тысяч евреев были вынуждены принять таинство крещения; у упорствовавших неверующих отбирали собственность, подвергали их пыткам, и еще остается нерешенным, было ли им дозволено покидать родину. Даже испанское духовенство старалось сдерживать чрезмерное рвение католического короля и торжественно постановило следующее несообразное со здравым смыслом правило: нельзя насильно заставлять принимать таинства, но ради достоинства церкви следует заставлять уже окрестившихся евреев исполнять внешние обряды религии, в которую они не верили и которая была им противна. Частые уклонения от этого правила побудили одного из преемников Зизебута изгнать всю нацию из своих владений, а Толедский собор создал декрет, обязывавший всех готских королей приносить клятву, что они никогда не отменят этого благотворного распоряжения. Но тиранам не хотелось выпускать из своих рук несчастных, которых им так нравилось пытать, — не хотелось лишить самих себя трудолюбивых рабов, которых они могли угнетать с денежными для себя выгодами. Поэтому евреи не покидали Испании и жили в ней под гнетом тех самых гражданских и церковных законов, которые были в той же самой стране целиком перенесены в кодекс инквизиции. Готские короли и епископы в конце концов поняли, что угнетения порождают ненависть и что последняя рано или поздно найдет случай для отмщения. Народ, питавший тайную или явную вражду к христианам, не переставал размножаться в рабстве и в страданиях, а интриги евреев содействовали быстрому успеху арабских завоевателей.

Заключение

Лишь только варвары перестали оказывать непопулярной арианской ереси свое могущественное покровительство, она впала в презрение и в забвение. Но греки все еще сохраняли свою склонность к философским отвлеченностям и к болтливости; всякое вновь возникавшее учение возбуждало новые вопросы и новые споры, и всякий честолюбивый прелат или фанатический монах был в состоянии нарушить внутреннее спокойствие церкви и даже империи. Историк может оставить без внимания эти споры, не проникавшие за пороги школ и соборов. Манихеи, старавшиеся согласовать религию Христа с религией Зороастра, тайно проникли внутрь провинций; но эти чужеземные сектанты были вовлечены в гибель, постигшую гностиков, и изданные против них императорские декреты приводились в исполнение всеобщей к ним ненавистью. Рациональные теории последователей Пелагия проникли из Британии в Рим, в Африку и в Палестину и незаметным образом исчезли в веке суеверий. Но спокойствие Востока было нарушено спорами последователей Нестория и Евтихия, пытавшимися объяснить тайну воплощения и ускоривших падение христианства в той самой стране, где оно зародилось. Эти споры впервые возникли в царствование Феодосия Младшего, но их важные последствия заходят далеко за пределы того, что должно служить содержанием этого тома. Нить метафизических аргументов, распри честолюбивого духовенства и их политическое влияние на упадок Византийской империи могли бы служить интересным и поучительным сюжетом для истории, обнимающей период времени от созвания вселенских соборов Эфесского и Халкедонского до завоевания Востока преемниками Магомета.



Глава 21 (XXXVIII)

Когда Греция была обращена в римскую провинцию, греки приписывали победы Рима не достоинствам республики, а ее фортуне. Непостоянная богиня, так неразборчиво расточающая и отбирающая назад свои милости, наконец решилась (как выражалась завистливая лесь) поджечь свои крылья, спуститься со своего глобуса и навсегда утвердить свой трон на берегах Тибра. Более прозорливый грек, писавший, с точки зрения философа, замечательную историю своего собственного времени, уничтожил это самообольщение своих соотечественников, объяснив им, в чем заключались прочные основы римского величия. Честность граждан в их отношениях друг к другу и их преданность государству укреплялись привычками воспитания и религиозными предрассудками. Честь и добродетель были принципами республики, честолюбивые граждане старались заслужить торжественные почести триумфа, а рвение римских юношей воспламенялось до деятельного соревнования всякий раз, как они обращали взоры на изображения своих предков. Умеренная борьба между патрициями и плебеями окончилась тем, что упрочила неизменное и справедливое равновесие государственных учреждений, при котором свобода народных собраний уживалась с авторитетом и мудростью сената и с исполнительной властью верховного сановника. Когда консул развешивал знамя республики, каждый гражданин обязывался под присягой сражаться за свою родину, пока не освободится от этой священной обязанности десятилетней военной службой. Благодаря этому мудрому постановлению под знамена постоянно стекались представители подрастающего поколения граждан и солдат, к которым присоединялось воинственное и многочисленное население тех италийских провинций, которые после мужественного сопротивления были завоеваны римлянами и сделались их союзницами. Прозорливый историк, который возбуждал бодрость в младшем Сципионе и созерцал развалины Карфагена, подробно описал их военную систему, их рекрутские наборы, оружие, упражнения, субординацию, походы, лагерные стоянки и непобедимый легион, превосходивший в изворотливости и в стойкости македонскую фалангу Филиппа и Александра. Этим мирным и военным учреждениям Полибий приписывал мужество и могущество народа, которому не было доступно чувство страха и который тяготился покоем. Честолюбивое влечение к завоеваниям, которое могло бы быть сдержано своевременным соглашением между побежденными народами, было удовлетворено вполне, а постоянное нарушение справедливости находило опо-

ру в политических добродетелях, в благоразумии и мужестве. Армии республики, иногда терпевшие неудачу на поле битвы, но всегда оканчивавшие войну с успехом, достигли быстрыми шагами берегов Евфрата, Дуная, Рейна и океана, а золотые, серебряные и медные изображения, которые могли бы служить олицетворением наций и их королей, были одно вслед за другим раздроблены железным владычеством Рима.

Судьба города, который постепенно разросся в империю, так необычайна, что останавливает на себе внимание философа. Но упадок Рима был естественным и неизбежным последствием чрезмерного величия. Среди благоденствия зрел принцип упадка; причины разрушения размножались вместе с расширявшимся объемом завоеваний, и, лишь только время или случайность устранили искусственные подпорки, громадное здание развалилось от своей собственной тяжести. История его падения проста и понятна, и, вместо того чтобы задаваться вопросом, почему Римская империя распалась, мы должны были бы удивляться тому, что она существовала так долго. Победоносные легионы, усвоившие во время далеких походов пороки чужеземцев и наемников, сначала подавили свободу республики, а затем стали унижать величие императорского звания. Заботы о личной безопасности и об общественном спокойствии заставляли императоров прибегать к унижительным уловкам и, подрывая дисциплину, делать армию столько же страшной для ее государя, сколько она была страшна для врагов; прочность военной организации была поколеблена, а затем и окончательно уничтожена нововведениями Константина, и римский мир был поглощен потоком варваров.

Упадок Рима нередко приписывали перемещению центра верховной власти; но мы уже видели из его истории, что правительственная власть скорее разделилась, чем переместилась. Константинопольский трон был воздвигнут на Востоке, а Запад все еще оставался во власти императоров, которые имели свое местопребывание в Италии и заявляли притязание на одинаковую с восточными императорами наследственную власть над легионами и провинциями. Это опасное нововведение ослабило силы и умножило недостатки раздвоившейся правительственной власти, орудия угнетения и произвола размножились, и между выродившимися преемниками Феодосия возникло тщеславное соперничество не в личных достоинствах, а в роскоши. Крайняя опасность вызывает вольный народ на дружную борьбу с общим врагом, а в разрушающейся монархии она лишь разжигает борьбу партий. Взаимная вражда любимцев Аркадия и Гонория предавала республику в руки ее врагов, и византийский двор равнодушно и, быть может, даже с удовольствием взирал на унижение Рима, на бедствия, постигшие Италию, и на потерю западных провинций. При следующих императорах союз между двумя империями был восстановлен, но помощь восточных римлян была медлительна, нерешительна и бесплодна, а национальная рознь между греками и латинами постоянно усиливалась вследствие различия нравов, интересов и даже религии. Впрочем, выбор Константина в некоторой мере оправдывался проистекшими из него полезными последствиями. В течение продолжительного периода упадка его неприступная столица отражала победоносные армии варваров, охраняла богатые азиатские провинции и как в мирное, так и в военное время господствовала над важными проливами, соединяющими Эвксинский Понт со Средиземным морем. Основание Константинополя не столько содействовало гибели Запада, сколько предохраняло от гибели Восток.

Так как главная цель религии — счастье в будущей жизни, то мы, конечно, не возбудим ни удивления, ни скандала, если скажем, что введение, или, по

меньшей мере, употребление во зло, христианства имело некоторое влияние на упадок и разрушение Римской империи. Духовенство с успехом проповедовало теорию терпения и малодушия; добродетели, основанные на предприимчивости, считались бесполезными, и последние остатки воинственного духа были похоронены в монастырях; значительная часть общественного и частного достояния издерживалась на удовлетворение благовидных требований милосердия, а деньги, которые должны были идти на жалованье солдатам, тратились на нужды праздной толпы из лиц обоего пола, у которой не было никаких достоинств, кроме воздержанности и целомудрия. Вера, рвение, любознательность и более мирские страсти — зложелательство и честолюбие — разожгли пламя богословских распрей; не только церковь, но даже государство вовлекалось в религиозные раздоры, которые доходили до борьбы, нередко кровопролитной и всегда непримиримой; внимание императоров отвлеклось от лагерей и сосредоточилось на соборах; римский мир подвергся тирании нового рода, и гонимые сектанты сделались тайными врагами своего отечества. Впрочем, дух партий, как бы он ни был вреден и безрассуден, способствует столько же единению людей, сколько их разъединению. Епископы с тысячи восьмисот церковных кафедр поучали обязанности беспрекословно повиноваться законному и православному государю; их частые съезды и постоянная переписка поддерживали связь с отдаленными церквями, а религиозное единомыслие католиков усиливало благотворное влияние Евангелия, хотя вместе с тем ограничивало его узкими рамками. Благочестивая праздность монахов нашла многочисленных подражателей в эпоху раболепия и изнеженности; но если бы суеверие и не доставило недостойным римлянам такого приличного пристанища, их порочные наклонности все-таки заставили бы их покинуть знамя республики по каким-нибудь другим, более низким мотивам. Требования религии охотно исполняются теми, кто находит в них удовлетворение и освящение своих естественных влечений, но чистый и подлинный дух христианства обнаружился в том благотворном, хотя и неполном влиянии, которое он имел на новообращенных северных варваров. Если падение Римской империи и было ускорено обращением Константина в христианство, то торжество его религии ослабило стремительность этого падения и смягчило свирепые нравы варваров.

Этот страшный переворот может служить поучительным примером для нашего времени. Конечно, на всяком патриоте лежит обязанность предпочитать и отстаивать исключительную пользу и славу своей родины, но философу может быть дозволено расширить свой кругозор и смотреть на Европу как на огромную республику, разнообразные обитатели которой достигли почти одинакового уровня благовоспитанности и умственного развития. Перевес будет на стороне то одной, то другой державы, благосостояние нашего или соседнего государства может то увеличиваться, то уменьшаться, но эти частные перемены не в состоянии нарушить нашего общего благосостояния, не в состоянии уничтожить тех искусств, законов и нравов, которые так возвышают европейцев и их колонии над остальным человечеством. Варварские народы — общие враги всякого цивилизованного общества, и мы не без тревожного любопытства задаемся вопросом, не могут ли обрушиться на Европу такие же бедствия, какие ниспровергли и военное могущество Рима, и его учреждения. Вызываемые этим вопросом размышления, быть может, выяснят нам и причины разрушения этой могущественной империи, и причины нашей теперешней безопасности.

I. Римляне не имели ясного понятия ни о том, как была велика угрожавшая им опасность, ни о том, как было велико число их врагов. По ту сторону Рейна и Дуная северные страны Европы и Азии были населены бесчисленны-

ми племенами охотников и пастухов — бедных, жадных, отважных на войне и нетерпеливо ожидавших случая присвоить себе плоды чужого трудолюбия. Влечение к военным предприятиям волновало весь варварский мир, и спокойствие Галлии и Италии было нарушено переворотами, происшедшими на далеких окраинах Китая. Бежавшие от победоносного врага гунны направились к западу, и этот поток разрастался от беспрестанно присоединявшихся к нему пленников и союзников. Племена, спасавшиеся от гуннов бегством, в свою очередь воодушевлялись жадной завоеваний; бесконечные толпы варваров обрушивались на Римскую империю с постоянно возрастающей тяжестью, а если самые передовые из них были уничтожены, то вакантное место немедленно замещалось новыми хищниками. Наплыв таких грозных переселенцев с севера уже не может повториться, а продолжительное спокойствие, которое иные приписывали уменьшению народонаселения, есть благодатное последствие успехов в искусствах и в земледелии. Вместо бедных деревушек, кое-где разбросанных среди гор и болот, Германия имеет теперь две тысячи триста городов, обнесенных стенами; постепенно возникли христианские государства, датское, шведское и польское, а ганзейские купцы вместе с тевтонскими рыцарями распространили свои колонии вдоль берегов Балтийского моря до Финского залива. На пространстве между Финским заливом и Восточным океаном Россия принимает форму могущественной и цивилизованной империи. Плуг, ткацкий станок и наковальня введены в употребление на берегах Волги, Оби и Лены, и самые свирепые татарские орды научились дрожать от страха и повиноваться. Господство независимого варварства ограничено в настоящее время узкими пределами, а остатки калмыков или узбеков, силы которых так незначительны, что их можно определить почти с положительной точностью, не могут возбуждать серьезных опасений в великой европейской республике. Однако, несмотря на эти внешние признаки безопасности, мы не должны забывать, что какое-нибудь ничтожное племя, занимающее едва заметное место на географических картах, может создать новых для нас врагов и подвергнуть нас неожиданным опасностям. Ведь арабы или сарацины, распространившие свои завоевания от Индии до Испании, жили в бедности и ничтожестве, пока Магомет не воодушевил этих дикарей религиозным фанатизмом.

II. Римская империя имела прочную опору в необычайном и полном объединении всех составных ее частей. Покоренные народы, отказывавшиеся от всякой надежды и даже от желания сделаться независимыми, старались усвоить себе все, что отличало римских граждан, а западные провинции неохотно подчинились варварам, оторвавшим их от общего отечества. Но это единение было куплено утратой национальной свободы и воинственного духа, и лишенные жизни и движения рабские провинции ожидали своего спасения от наемных войск и от губернаторов, исполнявших приказания отдаленного императорского двора. Благосостояние сотни миллионов подданных зависело от личных свойств одного или двух человек, а иногда одного или двух детей, умы которых были развращены воспитанием, роскошью и деспотической властью. Самые глубокие раны были нанесены империи во время малолетства сыновей и внуков Феодосия, а когда эти неспособные императоры, по-видимому, достигли возмужалости, они отдали церковь в руки епископов, государство в руки евнухов, а провинции — в руки варваров. В настоящее время Европа разделена на двенадцать могущественных, хотя и неравных монархий, три почтенные республики и множество мелких независимых государств; по крайней мере, с увеличением числа ее правителей увеличились шансы на то, что среди этих правителей появятся даровитые короли и министры и что новый Юли-

ан или новая Семирамида будут царствовать на севере и в то время, как на престолах южных государств будут снова дремать Аркадий и Гонорий. Злоупотребления тирании сдерживаются взаимным влиянием страха и стыда; республики ввели у себя внутренний порядок и приобрели прочность; монархии усвоили принципы свободы или, по меньшей мере, умеренность, и нравы нашего времени внесли некоторое чувство чести и справедливости в самые неудовлетворительные государственные учреждения. В мирное время успехи наук и промышленности ускоряются от соревнования стольких деятельных соперников; в военное время европейские армии ограничиваются сдержанной и нерешительной борьбой. Если бы из степей Тартарии вышел какой-нибудь варварский завоеватель, ему пришлось бы одолеть сильных русских крестьян, многочисленные германские армии, храбрых французских дворян и неустрашимых британских граждан, которые, быть может, все взялись бы за оружие для отражения общего врага. Если бы победоносные варвары внесли рабство и разорение во все страны до самых берегов Атлантического океана, то десять тысяч кораблей спасли бы остатки цивилизованного общества от их преследования, и Европа ожила бы и расцвела в Америке, в которой уже так много ее колоний и ее учреждений.

III. Холод, бедность и привычка к опасностям и к утомительным трудам укрепляют физические силы и мужество варваров. Во все века они угнетали более образованных и миролюбивых жителей Китая, Индии и Персии, которые никогда не старались и до сих пор не стараются восполнить недостаток этих природных сил ресурсами военного искусства. Древние воинственные государства — Греция, Македония и Рим — воспитывали воинов, развивали их физические способности, подчиняли их храбрость требованиям дисциплины, умножали их военные силы правильными военными эволюциями и превращали находившееся в их распоряжении железо в могущественное и удобное оборонительное оружие. Но эти превосходства постепенно исчезали по мере того, как портились законы и нравы, а малодушная политика Константина и его преемников научила варварских наемников, на гибель империи, владеть оружием и подчинять свою дикую храбрость требованиям дисциплины. Военное искусство совершенно изменилось с изобретением пороха, который дает человеку возможность подчинять своей воле две самые могущественные силы природы — воздух и огонь. К способу ведения войн были применены открытия, сделанные в математике, химии, механике и архитектуре, и борющиеся стороны стали противопоставлять одна другой самые сложные способы нападения и обороны. Историк может с негодованием заметить, что приготовления, которых требует осада, были бы достаточны для основания и поддержания цветущей колонии, тем не менее нельзя быть недовольным тем, что взятие города есть дело и дорогостоящее и трудное, или тем, что деятельный народ находит для себя охрану в таких искусствах, которые переживают утрату воинских доблестей и восполняют их отсутствием. Пушки и укрепления составляют в настоящее время непреодолимую преграду для татарской конницы, и Европа может не опасаться нового нашествия варваров, поскольку чтобы победить, им пришлось бы перестать быть варварами. Их успехи в военном искусстве непременно сопровождались бы, — как это видно на примере России, — соответствующими улучшениями в мирных занятиях и в делах гражданского управления, а тогда они сами сделались бы достойными занимать место наряду с теми образованными народами, которых они подчинили бы своей власти.

Если бы эти соображения показались сомнительными или ошибочными, то у нас все-таки остался бы более скромный источник утешения и надежд. От-

крытия, сделанные древними и новейшими мореплавателями, равно, как внутренняя история или традиция самых образованных народов, представляют дикого человека с умом таким же голым, как голо его тело, и лишенным законов, искусств, идей и почти умения говорить. Из этого низкого положения, которое, вероятно, было первобытным положением всего человечества, дикарь постепенно возвысился до того, что подчинил своей власти животных, стал возделывать землю, пересекать океан и измерять небесные пространства. Его успехи в развитии и применении умственных и физических способностей были и беспорядочны, и не везде одинаковы; вначале они были чрезвычайно медленны, а затем увеличивались с постоянно усиливавшейся быстротой; за веками успешных усилий следовали минуты быстрого упадка, и почти каждая из стран земного шара попеременно то озарялась светом просвещения, то погружалась во мрак. Тем не менее опыт четырех тысяч лет должен укреплять в нас надежду и уменьшать наши опасения; мы не в состоянии решить, какой высоты может достигнуть человечество в своем стремлении к совершенствованию, но можно основательно предполагать, что если внешний вид природы не изменится, то ни один народ не возвратится в свое первобытное варварство. На общественные улучшения можно смотреть с трех точек зрения. 1. Поэт или философ озаряет свой век и свою страну своим личным гением; но эти высшие способности ума или фантазии принадлежат к явлениям редким и случайным; гениальные дарования Гомера, Цицерона и Ньютона возбуждали бы в нас менее удивления, если бы их могли создавать приказания монарха или уроки воспитателя. 2. Выгоды, доставляемые законами и хорошей системой государственного управления, торговлей и промышленностью, искусствами и науками, более существенны и более прочны, и есть немало таких личностей, которые по своему образованию и воспитанию способны трудиться на общую пользу в различных сферах своей деятельности. Но такой порядок вещей есть результат искусства и труда, и вся эта сложная машина может с течением времени испортиться или пострадать от внешнего насилия. 3. К счастью для человеческого рода, самые полезные или, по меньшей мере, самые необходимые искусства не требуют ни высших дарований, ни общей субординации, ни гениальных дарований одного человека, ни совокупных усилий многих людей. Каждая деревня, каждое семейство, каждое отдельное лицо обладает и способностью и желанием поддерживать употребление огня и металлов, размножение и употребление в дело домашних животных, умение охотиться и ловить рыбу, основные приемы мореплавания, разведение зерновых хлебов или других питательных растений и безыскусственное применение механических ремесел. И личная гениальность, и общественная предприимчивость могут исчезнуть, но эти полные жизни семена переживают всякую бурю и пускают вечные корни в самой неблагоприятной почве. Туман невежества омрачил блестящие дни Августа и Траяна, а варвары ниспровергли и римские законы, и римские дворцы. Но коса — это изобретение или эмблематическое изображение Сатурна — не переставала ежегодно косить жатву в Италии, а на берегах Кампании уже никогда не возобновлялись пиры, на которых лестригоны питались человеческим мясом.

После того как были впервые изобретены механические искусства, эти неопенимые дары были распространены между дикарями Старого и Нового Света при помощи войн, торговли и религиозного усердия, затем они постоянно все более и более распространялись и не могут быть никогда утрачены. Поэтому мы можем прийти к тому приятному заключению, что с каждым веком увеличивались и до сих пор увеличиваются материальные богатства, благосостояние, знания и, быть может, добродетели человеческого рода.

ОЧЕРК ЖИЗНИ И ХАРАКТЕРА ЭДУАРДА ГИББОНА, написанный знаменитым французским историком и общественным деятелем XIX века Франсуа Гизо

Не для одного только удовлетворения пустого любопытства интересно собирать подробные сведения о характере людей, прославившихся своей общественной деятельностью или своими сочинениями: такие подробности влияют на наши суждения об их образе действий и их произведениях. Знаменитые люди почти всегда возбуждают нечто вроде тревожного недоверия, заставляющего нас повсюду искать их задушевные мысли и заранее объяснять все, что их касается, тем предвзятым понятием, которое мы себе составили о мотивах их действий. Поэтому желательно, чтобы этим мотивам была сделана справедливая оценка; если же нет возможности уничтожить в умах людей такое расположение к предубеждениям, по-видимому, корнящееся в их натуре, то, по меньшей мере, следует постараться дать ему солидные и разумные основы.

Впрочем, нельзя отрицать того, что есть такие произведения, о которых мы составляем себе понятие не иначе, как под влиянием того впечатления, которое производит на нас личность их автора. Историк едва ли не более всяких других писателей обязан отдавать публике отчет о своей личности; он ручается за достоверность тех фактов, которые он нам рассказывает; нам нужно знать, какую цену имеет это ручательство, а опорой для такой необходимой гарантии служат не только нравственный характер историка и доверие, возбуждаемое его правдивостью, но также обычный склад его ума, мнения, на сторону которых он всего охотнее склоняется, и чувства, которыми он всего легче увлекается, так как из этого-то и складывается та атмосфера, которая окружает его и которая окрашивает в его глазах описываемые им факты. «Я всегда доискивался истины, — сказал Гиббон в одном из своих сочинений, предшествовавших его историческим трудам, хотя я до сих пор находил лишь правдоподобие». Среди этих-то правдоподобных фактов историк и должен отыскать и, так сказать, восстановить истину, которую рука времени уже отчасти стерла; его труд заключается в оценке степени их достоверности, а нам принадлежит право оценить произнесенный им приговор на основании того понятия, которое мы себе составили о самом судье.

Если справедливо, что необходимое для историка беспристрастие обуславливается отсутствием страстей, скромностью вкусов и средним состоянием, которое ослабляет честолюбие, предохраняя и от лишений, и от чрезмерных притязаний, то нет человека, который находился бы в этом отношении в более благоприятном положении, чем Гиббон. Он происходил от древнего рода, Впрочем, не отличавшегося особенным блеском, и хотя в своих «Мемуарах» он с удовольствием говорит о родственных связях и отличиях своих предков, однако он сам сознается, что ему не досталось от этих предков ни славы, ни позора (*neither glory nor shame*); в том, что касается родственных связей его рода, всего замечательнее его довольно близкое родство с кавалером Актоном, прославившимся в Европе в качестве министра при короле Неаполитанском. Его дед разбогател от торговых предприятий, которые он вел с успехом, подчиняя, по выражению его внука, свои мнения своим денежным интересам и одевая во

Фландрии войска короля Вильгельма, тогда как он охотнее взял бы на себя подряд для короля Иакова, но, как прибавляет историк, едва ли по более дешевой цене. Отец нашего историка, не разделяя наклонности своего родителя регулировать свои вкусы по своим средствам, растратил часть состояния, которое досталось ему слишком легко, чтобы он мог знать ему цену; поэтому он оставил в наследство сыну необходимость улучшить свое положение каким-нибудь удачным предприятием и направить к какой-нибудь серьезной цели деятельность ума, который при его невзыскательном воображении и при его душевном спокойствии, может быть, остался бы без всякого определенного практического применения, если бы денежное положение было более благоприятно. Эта деятельность ума обнаружилась в нем с самого детства в те промежутки времени, когда он не страдал по причине очень слабого здоровья и почти непрерывавшихся недугов, от которых он не мог отделаться до пятнадцатилетнего возраста: в эту эпоху его жизни его здоровье внезапно укрепилось и впоследствии он страдал только от подагры и от одной болезни, которая, быть может, была излечима, но вследствие продолжительного к ней невнимания сделалась в конце концов причиной его смерти. Вялость, столь не свойственная ни детскому, ни юношескому возрасту, смягчает в эти лета пылкость воображения и потому способствует наклонности к занятиям, с которыми легче уживается физическая слабость, чем резвость; но так как плохое здоровье юного Гиббона служило для его беспечного отца и для взявшей его на свое попечение снисходительной тетки предлогом для того, чтобы не беспокоить себя его образованием, то вся деятельность его ума выразилась в любви к чтению. Это занятие, не требующее никакой усидчивой и систематической работы, обыкновенно развивает в уме и лень, и любознательность; но для юного Гиббона благодаря его хорошей памяти оно послужило началом тех обширных познаний, которые он приобрел впоследствии. История была его первым любимым чтением и сделалась затем его преобладающей наклонностью; он уже в ту пору вносил в эти занятия тот дух критики и скептицизма, который в дальнейшем сделался отличительной особенностью его манеры относиться к историческим событиям и описывать их. Когда ему было пятнадцать лет, он задумал описать век Сезостриса, и не с той целью, как этого следовало бы ожидать от мальчика его лет, — чтобы нарисовать великолепную картину царствования такого завоевателя, а для того, чтобы определить приблизительно время его существования. Система, которой он придерживался, относила царствование Сезостриса почти к тому же времени, когда царствовал Соломон; его приводило в замешательство только одно возражение, а способ, которым он устранил это затруднение и который, по его собственным словам, был остроумен для молодого человека его лет, интересен для нас потому, что он был предвестником тех дарований, которые создали историческое произведение, служащее пьедесталом для его славы. Вот что говорится по этому поводу в его «Мемуарах»: «В тексте священных книг первосвященник Манефон считает за одно и то же лицо Сетозиса, или Сезостриса, и старшего брата Даная, высадившегося в Греции, как гласят паросские мраморы за 1510 лет до н. э.; но, по моему предположению, первосвященник с намерением говорил неправду. Желание льстить порождает ложь; написанная Манефоном история Египта посвящена Птолемею Филадельфу, который вымышленно ли производил свой род от королей македонских, происходивших от Геркулеса. Данай был один из потомков Геркулеса, а так как старшая линия пресеклась, то его потомки Птолемеи делали единственными представителями королевского рода и могли заявлять наследственное право на престол, который достался им путем завоевания». И так льстец надеялся прислужиться тем, что говорил о предке

Птолемеев Данае как о брате египетских королей; а всякий раз, как ложь могла быть для кого-нибудь полезной, в Гиббоне зарождалось недоверие. «Век Сезостриса» не был закончен и через несколько лет после того был брошен в огонь, а Гиббон совершенно отказался от намерения согласовать между собой древние сказания еврейские, египетские и греческие, теряющиеся, как он выразился, в отдаленных облаках. Тем не менее рассказанный им факт показался мне интересным потому, что я уже узнаю в нем будущего историка крушения Римской империи и утверждения христианства, — узнаю в нем того критика, который, будучи всегда вооружен сомнением и вероятием, и постоянно отыскивая в страстях или в интересах цитируемых им писателей мотивы для того, чтобы опровергнуть их показания, не оставил почти ничего положительного и цельного ни в тех пороках, ни в тех добродетелях, которые он описывал.

Когда такой пытливый ум может свободно предаваться течению своих мыслей, он не должен оставлять без проверки ни одного предмета, достойного его внимания; та же любознательность, которая внушила ему склонность к полемике касательно исторических фактов, заставила его пуститься в полемику и касательно религиозных вопросов; эта самостоятельность взгляда, располагающая к протесту против господства всеми принятых мнений, может быть, и была той причиной, которая побудила его одно время отказаться от религии его отечества, его родных и его наставников. Увлекаясь горделивым предположением, что он в состоянии сам собой доискаться истины, Гиббон в шестнадцать лет перешел в католическую веру. Его побуждали к этому различные причины, а сочинение Боссюэта «L'Histoire des Variations des Eglises protestantes» заставило его принять окончательное решение; по крайней мере, сказал он, «я пал от руки благородного противника». Только этот один раз в своей жизни он увлекся порывом энтузиазма, результаты которого, может быть, и внушили ему навсегда отвращение к порывам этого рода. Он отрекся от протестантизма в Лондоне перед католическим священником в то время, как ему было шестнадцать лет с одним месяцем и двенадцатью днями (он родился 27 апреля 1737г.). Это отречение совершилось втайне, во время одной поездки, которую он предпринял благодаря небрежности надзора за ним в Оксфордском университете, куда его поместили. Однако он счел своим долгом уведомить об этом своего отца, который в первых порывах гнева разгласил роковую тайну. Молодой Гиббон был исключен из Оксфордского университета и вскоре вслед за тем удален от родных, которые отправили его в Лозанну; они надеялись, что несколько лет такой ссылки и наставления протестантского пастора Павильяра, попечению которого он был вверен, заставят его возвратиться на тот путь, от которого он отклонился.

Родственники Гиббона удачно выбрали именно тот род наказания, который должен был произвести желаемое впечатление на характер виновного. Он страшно скучал вследствие незнания французского языка, на котором говорили в Лозанне; небольшое жалованье, назначенное ему разгневанным отцом, ставило его в стесненное положение, и сверх всего ему приходилось еще выносить всякого рода лишения вследствие скупости супруги пастора, г-жи Павильяр, заставлявшей его страдать от голода и холода; в нем, наконец, стал ослабевать благородный пыл, с которым он намеревался пожертвовать собой для того дела, которому стал служить, и вот он начал чистосердечно приискивать какой-нибудь разумный повод для возвращения к вере, не требующей столь тяжелого самопожертвования. А когда желание найти разумный повод очень сильно, он всегда найдется. Пастор Павильяр был очень доволен своим успешным влиянием на ум своего ученика, который помогал ему своими размышлениями, и сам рассказал нам, в какой он пришел восторг, когда ему удалось соб-

ственным рассудком отыскать какой-то аргумент против догмата пресуществования. Благодаря этому аргументу он снова перешел в протестантство и сделал это на Рождество 1754 г. с такой же непринужденностью и искренностью, с какой за полтора года перед тем перешел в католическую веру. В человеке более зрелых лет такие перемены могли бы считаться признаком легкомыслия и необдуманности, но в Гиббоне, которому было в ту пору семнадцать с половиной лет, они свидетельствовали лишь о живости его воображения и о том, что его жаждавший истины ум, может быть, слишком рано сбросил с себя иго предрассудков, служащих охраной для того возраста, когда наши принципы еще не могут быть основаны на рассудке. «Тогда,— говорит Гиббон, вспоминая об этом происшествии,— я прекратил мои богословские исследования и подчинился со слепым доверием тем догматам и таинствам, которые приняты единогласно и католиками и протестантами». Такой быстрый переход от одной веры к другой, как видно, уже успел поколебать его доверие и к той и к другой. После того как он проверил на опыте те аргументы, которые он сначала принял с полным убеждением, а затем опровергнул, в нем должна была развиться склонность не доверять даже таким аргументам, которые казались ему самому самыми неопровержимыми, и главной причиной его скептицизма относительно каких бы то ни было религиозных верований, вероятно, был тот религиозный энтузиазм, который заставил его еще в юности отказаться от той веры, в которой он был воспитан. Как бы то ни было, но Гиббон, как кажется, считал одним из самых счастливых событий своей жизни тот факт, что он пробудил внимание своих родных и заставил их потребовать от него со всей строгостью их авторитета, чтобы он подчинился, — хотя, по правде сказать, немного поздно, — систематическому плану воспитания и серьезных занятий. Пастор Павильяр как человек умный и образованный не ограничился одними заботами о религиозных верованиях своего ученика; он скоро приобрел большое влияние на податливый ум молодого Гиббона и воспользовался этим влиянием для того, чтобы руководить деятельной любознательностью своего ученика, нуждавшейся только в том, чтобы ее направили к истинным источникам знания; но наставник был в состоянии только указать на эти источники, а затем предоставил своему ученику подвигаться его собственными силами вперед по той дороге, на которой он не был способен следовать за ним; с тех пор склонный от природы к последовательным и методическим занятиям ум молодого Гиббона принял и в научных исследованиях, и в суждениях то систематическое направление, которое так часто приводило его к истине и которое могло бы постоянно предохранять его от всяких от нее отклонений, если бы его не вовлекали по временам в заблуждения чрезмерная требовательность и опасная склонность составлять себе предвзятое мнение о предмете, прежде чем изучить его и обдумать.

После его смерти были изданы его «*Extraits raisonnées de mes Lectures*»; первые из них относятся почти к той самой эпохе, когда он начал придерживаться плана занятий, указанного ему пастором Павильяром. Пробегая их, нельзя не быть пораженным прозорливостью, точностью и проницательностью этого спокойного и пытливого ума, никогда не уклоняющегося в сторону от намеченного пути. «Мы должны читать только для того, чтобы быть в состоянии мыслить», говорит он в предисловии к своим «Извлечениям», будто желая этим сказать, что он предназначает их для печати. Действительно, нетрудно заметить, что его чтения служат, так сказать, канвой для его мыслей; но он придерживается этой канвы с большой точностью; он занимается идеями какого-нибудь автора только в той мере, в какой они пробуждают новые идеи в нем самом, но его собственные идеи никогда не отвлекают его от идей этого автора; он подвигается вперед с твердостью и уверенностью, но шаг за шагом и никог-

да не делая скачков; течение его мыслей не увлекает его за пределы того предмета, из которого они зародились, и не возбуждает в нем того брожения великих идей, которое почти всегда возникает в сильных, плодovitых и обширных умах от научных занятий; но вместе с тем из всех извлечений, которые он делает из какого-либо сочинения, ничто не пропадает даром; все, что он читает, приносит ему полезные плоды и все предвещает в нем будущего историка, который сумеет извлекать из фактов все, что достоверные их подробности могут доставить его природной прозорливости, но не будем пытаться дополнять их или восстанавливать в тех покрытых мраком неизвестности подробностях, которые можно только угадывать воображением.

После того как совершилось его обращение в протестантство, Гиббон стал находить жизнь в Лозанне более приятной, чем мог того ожидать по первым впечатлениям. Скромное жалованье, назначенное ему отцом, не позволяло ему принимать участие в удовольствиях и увлечениях его молодых соотечественников, которые разносят по всей Европе свои идеи и свои привычки и взамен того привозят домой разные моды и нелепости. Это стесненное положение укрепило в нем природную склонность к занятиям, направило его самолюбие на более блестящие и более достойные цели, чем те, которые достигаются одним богатством, и заставило его искать знакомств преимущественно в менее требовательных и более полезных для него местных кружках. Благодаря бросавшимся в глаза его личным достоинствам он повсюду находил любезный прием, а благодаря его любви к занятиям он сошелся с несколькими учеными, которые оказывали ему лестное для его лет уважение, всегда служившее для него главным источником радостей. Однако его душевное спокойствие не могло совершенно предохранить его от юношеских увлечений: в Лозанне он влюбился в девицу Кюршо, которая впоследствии была замужем за Неккером, а в ту пору славилась своими достоинствами и красотой; это была привязанность честного молодого человека к честной девушке, и Гиббон, вероятно, никогда более не испытывавший подобной привязанности, с некоторой гордостью поздравляет себя в своих «Мемуарах» с тем, что он хоть раз в своей жизни был способен испытать такое возвышенное и такое чистое чувство. Родители девицы Кюршо смотрели благосклонно на его намерения; сама она (в ту пору еще не впавшая в бедность, в которой она находилась после смерти своего отца), по-видимому, была рада его посещениям; но молодой Гиббон, будучи отозван в Англию после пятилетнего пребывания в Лозанне, скоро убедился, что его отец ни за что не согласится на этот брак. «После тяжелой борьбы, — говорит он, — я покорился моей участи; я вздыхал как влюбленный и повиновался как сын»; эта остроумная антитеза доказывает, что в то время, когда он писал свои «Мемуары», ему уже не причиняла большой боли эта рана, которую мало-помалу залечили время, разлука и привычки новой жизни.* Эти привычки, свойственные лондонской светской молодежи и менее романтические, чем те, которые мог бы иметь молодой студент, живущий среди швейцарских гор, превратили в простую забаву довольно долго сохранившуюся у Гиббона склонность к женщинам; но ни одна из них не внушила ему таких же чувств, какие он сначала питал к девице Кюршо; в ее обществе он на-

* Письмо, в котором Гиббон уведомлял девицу Кюршо о несогласии его отца на их брак, сохранилось в рукописи. Первые страницы нежны и грустны, как и следует ожидать от несчастного влюбленного, но последние становятся спокойными, рассудительными, и письмо кончается следующими словами: «Вот почему, милостивая государыня, я имею честь быть вашим нижайшим и покорнейшим слугой Эдуардом Гиббоном». Он действительно любил девицу Кюршо, но всякий любит по-своему, а Гиббон не признавал, что можно было приходить в отчаяние от любви.

ходил во все эпохи своей жизни ту приятную интимность, которая была последствием нежной и честной привязанности, уступившей голосу необходимости и рассудка, не давая ни той, ни другой стороне повода к упрекам или к злопамятству. Он снова встретился с нею в 1765 г. в Париже в то время, как она была женой Неккера и пользовалась тем уважением, на которое ей давали право и ее личные достоинства, и ее богатство; в своих письмах к Гольеру он игриво рассказывает, как она приняла его: «Она была очень приветлива ко мне, а ее муж был особенно вежлив. Можно ли было так жестоко оскорбить меня? Приглашать меня каждый вечер на ужин, уходить спать и оставлять меня наедине с его женой, — разве это не значит ставить ни во что старого любовника». Гиббон был не такой человек, чтобы оставленные им воспоминания могли тревожить мужей; он мог нравиться своим умом и возбуждать сочувствие к себе благодаря мягкости своего характера и своей честности, но он не мог произвести сильного впечатления на воображение молодой девушки: его наружность, никогда не имевшая никакой привлекательности, сделалась уродливой от чрезмерной тучности; в чертах его лица отражался ум, но в них не было ни выразительности, ни благородства, а вся его фигура всегда отличалась несоразмерностью своих частей. В одном из своих примечаний к «Мемуарам» Гиббона лорд Шеффилд говорит, что пастор Павильяр рассказывал ему, как он был удивлен, когда увидел перед собой маленькую хилую фигуру Гиббона с толстой головой, из которой лились самые основательные аргументы в пользу папизма, какие когда-либо приходилось ему слышать. Вследствие ли болезненного состояния, в котором он провел почти все свое детство, или привычек, которые были следствием такого состояния, он отличался неловкостью, о которой он беспрестанно упоминает в своих письмах и которая с годами усилилась из-за его чрезвычайной тучности, а в его молодости не позволяла ему ни совершенствоваться в телесных упражнениях, ни находить в них удовольствие. Что же касается его нравственных свойств, то читателю, вероятно, будет интересно знать, что сам он о них думал, когда ему было двадцать пять лет. Вот какие размышления по этому предмету он вписал в свой журнал в тот день, когда ему минуло двадцать пять лет. «По наблюдениям, которые я делал над самим собой, я нахожу, что склонен к добродетели, не способен ни на какое бесчестное дело и расположен к великодушным поступкам, но я надменен, дерзок и неприятен в обществе. У меня нет остроумия (*wit I have none*); юное воображение скорее сильно, чем приятно; у меня обширная и счастливая память; самые выдающиеся достоинства моего ума заключаются в обширности и проницательности, но мне недостает быстроты взгляда и точности». Только по сочинениям Гиббона можно проверить правильность мнения, высказанного им о самом себе; из этого мнения можно вывести такое заключение о его нравственных свойствах: когда он, так сказать, исповедуясь перед самим собой, признает себя добродетельным, он, конечно, может ошибаться на счет объема, который он придает обязанностям добродетельного человека, но он, по меньшей мере, доказывает этим, что он сознает в себе готовность исполнять эти обязанности во всем объеме, какой он им придает; это, бесспорно, честный человек, который и всегда будет честным, так как он находился в этом удовольствие. Что касается до надменности и заносчивости, в которых он сам себя обвиняет, то все знавшие его впоследствии никогда не замечали в нем этих недостатков потому ли, что вследствие его желания отделаться от них они представлялись ему в более ярком свете, чем посторонним людям, потому ли, что рассудок преодолел их, или же потому, что привычка иметь во всем успех сгладила их. Наконец, что касается манеры держать себя в обществе, то, конечно, любезность Гиббона не могла заключаться ни в

той угодливости, которая всегда уступает и сторонится, ни в той скромности, которая доходит до самозабвения; но его самолюбие никогда не выражалось в неприятной форме; желая иметь успех и нравиться, он старался привлекать к себе внимание и успевал в этом без труда благодаря своей оживленной, остроумной и полной интереса беседе; если в его тоне и было что-нибудь резкое, то в этом сказывалось не столько оскорбительное для других желание повелевать, сколько уверенность в самом себе, находившая для себя оправдание в достоинствах его ума и в его успехах. Однако эта уверенность никогда не увлекала его слишком далеко, а в его разговорах был тот недостаток, что он заботился о тщательной отделке выражений, никогда не позволявшей ему сказать что-либо такое, чего не стоило слушать. Этот недостаток можно бы было объяснить трудностью вести разговор на иностранном языке, если бы его друг лорд Шеффилд, стараясь защитить его от подозрения в подготовке своих выражений во время устной беседы, не признался, что даже прежде, чем написать «какую-нибудь заметку или письмо, он приводил в своем уме в порядок то, что имел намерение высказать». И это, как кажется, была его всегдашняя манера писать. В своих «Письмах о литературе» доктор Грегори говорит, что «Гиббон сочинял, прохаживаясь по своей комнате, и что он никогда не писал ни одной фразы, пока она не была вполне составлена и приведена в порядок в его уме». Впрочем, он владел французским языком почти так же хорошо, как английским; во время его продолжительного пребывания в Лозанне, где иначе не говорили, как по-французски, он привык постоянно выражаться на этом языке; даже можно бы было подумать, что это его родной язык, не будь у него слишком сильного акцента, какого-то судорожного подергивания и некоторых пронзительных звуков, которые оскорбляли слух, привыкший с детства к более мягким модуляциям голоса, и тем уменьшали привлекательность его беседы.

Через три года после своего возвращения в Англию, он издал на французском языке первое свое сочинение «*Essai sur l'etude de la Litterature*», очень хорошо написанное и полное очень дельных критических заметок. Но в Англии оно мало читалось, а во Франции оно могло интересовать только литераторов, потому что разоблачало в авторе талант, способный на более широкие предприятия; светских же людей оно не могло удовлетворять, потому что они редко бывают довольны таким произведением, из которого могут извлечь только один положительный вывод, — что автор очень умный человек. Однако именно в свете Гиббон желал добиться успеха; общество всегда имело в его глазах большую привлекательность; впрочем, все люди, не имеющие привязанностей и не способные глубоко чувствовать, любят общество, так как для того, чтобы оживить их существование, достаточно салонного обмена импульсов и идей, который совершается с такой живостью, что не дает им времени почувствовать отсутствие доверия и искренности. Гиббон хорошо понимал, что для успеха в свете необходимо сделаться светским человеком, и он непременно хотел, чтобы его считали за такового; он, как кажется, даже иногда доходил в этом желании до пустого чванства. Из его заметок касательно приема, оказанного ему герцогом Нивернуа, мы узнаем, что по вине доктора Мати, написавшего рекомендательное письмо не так, как следовало, герцог хотя и принял его вежливо, но обошелся с ним «скорее как с литератором, нежели как со светским человеком» (*man of fashion*).

В 1763 г., т. е. через два года после выхода в свет его «*Essai sur l'etude de la Litterature*», он снова покинул Англию для того, чтобы путешествовать, но уже при совершенно других условиях, чем те, при которых он покидал ее за десять лет перед тем. Он прибыл в Париж, предшествуемый зарождавшейся славой.

Для человека с его характером тогдашний Париж должен был казаться самым приятным местом пребывания; он провел там три месяца, посещая такое общество, которое было всего более ему по вкусу, и сожалел, что это время прошло слишком скоро. «Если бы я был богат и независим, — сказал он, — я продлил бы мое пребывание в Париже, а может быть, и переселился бы туда окончательно». Но его ожидала Италия; после того как он долго перебирал в своем уме различные планы сочинений, поочередно останавливаясь на каждом из них и затем откладывая его в сторону, там ему впервые пришла та мысль, которой он обязан своей славой и на осуществление которой он употребил большую часть своей жизни. «15 октября 1764 г., — говорит он, — я сидел, погружившись в мечты, среди развалин Капитолия, в то время как босоногие монахи служили вечерню в храме Юпитера; тогда мне впервые пришла мысль написать историю упадка и разрушения этого города; но в мой первоначальный план входило преимущественно падение города, а не империи, и хотя с тех пор я и в моих чтениях, и в моих размышлениях стал обращать главное внимание на этот предмет, я все-таки иногда отвлекался от него другими занятиями и только по прошествии нескольких лет серьезно принялся за эту трудную работу». Действительно, Гиббон не терял из виду, но и не приступал к разработке этого сюжета, на который, по его собственному выражению, он смотрел в «почтительном отдалении», а тем временем он даже задумывал и начинал приводить в исполнение планы некоторых других исторических сочинений; однако единственными сочинениями, законченными им и изданными в этот промежуток времени, были некоторые статьи критического содержания или написанные по какому-нибудь случайному поводу: его взоры оставались постоянно устремленными на ту цель, которая должна была впоследствии сосредоточить на себе его усилия и к которой он медленно приближался; во всяком случае не подлежит сомнению, что первоначальная мысль о ней глубоко запечатлелась в его уме.

Читая его описание Римской империи при Августе и первых его преемниках, невольно чувствуешь, что Гиббона вдохновил вид Рима — вид вечного города, в который он вступил, по собственному его признанию, с таким волнением, от которого не мог заснуть в течение целой ночи. Может быть, также нетрудно будет отыскать одну из причин нерасположения Гиббона к христианству в том впечатлении, из которого зародилась первоначальная мысль сочинения; эта мысль едва ли могла возникнуть сама собой в его уме, так как она не согласовалась ни с его всегдашним нерасположением подчиняться духу партий, ни с умеренностью его идей и чувств, всегда заставлявшей его отмечать наряду с дурными сторонами предмета и его хорошие стороны. Но так как он постоянно находился под сильным влиянием этого первого впечатления, то, излагая историю упадка империи, он видел в христианстве лишь такое учреждение, которое заменило вечернями, босоногими монахами и разными процессиями великолепные церемонии в честь Юпитера и торжественные въезды триумфаторов в Капитолий.*

Наконец, отложив в сторону все другие планы и остановившись окончательно на «Истории упадка империи», он занялся чтением и исследованиями, которые открыли перед ним более широкий горизонт и незаметно расширили

* Это остроумное предположение г-на Гизо едва ли подтверждается тем, что говорил сам Гиббон в своих «Мемуарах». «Так как я думал и до сих пор думаю, что распространение Евангелия и торжество церкви неразрывно связаны с падением римской монархии, то я взвешивал причины и последствия этого переворота и сравнивал рассказы и апологии самих христиан с беспристрастными или враждебными отзывами язычников о возникавших сектах». Такой взгляд на предмет заходит гораздо далее простой перемены внешних форм. (*Прим. ред.*)

в его глазах первоначально задуманный план. Хлопоты по случаю смерти его отца, приключившейся именно в этот промежуток времени, расстройство, в котором покойный оставил дела, занятия в качестве члена парламента, в который он вступил в ту пору, наконец, развлечения лондонской жизни не помешали ему непрерывно продолжать работу, но замедлили ее ход, так что лишь в 1766 г. вышла в свет первая часть, которая была плодом этой работы. Успех ее был громадный; два или три издания быстро разошлись и упрочили славу автора прежде, нежели критика начала возвышать свой голос. Она, наконец, возвысила его, и вся религиозная партия, которая была очень многочисленна и очень уважаема в Англии, восстала против двух последних глав этой части (пятнадцатой и шестнадцатой), в которых излагается история утверждения христианства. Протесты были горячи и многочисленны; Гиббон не ожидал их и, как он сам признается, сначала был ими испуган. «Если бы я знал, — говорит он в своих «Мемуарах», — что большинство английских читателей питает такую нежную привязанность к названию и сени христианства, если бы я мог предвидеть, что люди набожные, робкие или осторожные будут искренно или притворно считать себя глубоко оскорбленными в своих убеждениях, я, может быть, смягчил бы эти две ненавистные им главы, которые создадут мне много врагов, но доставят мало друзей». Это удивление, как кажется, свидетельствует о том, что он до такой степени увлекся своими собственными идеями, что совершенно упускал из виду идеи других; но хотя такое увлечение несомненно служит доказательством его искренности, оно вместе с тем возбуждает подозрение, что в своих суждениях он мог легко впадать в предубеждения и неточности. Повсюду, где господствует предубеждение, добросовестность не может внушать полного к себе доверия: даже не желая обманывать других, писатель начинает с того, что обманывает самого себя; чтобы доказать то, что он считает за истину, он впадает в неточности, которых сам не сознает или которые кажутся ему незначительными, а его страсти заглушают его сомнения, преувеличивая в его глазах пользу победы. Таким, без сомнения, путем и Гиббон дошел до того, что видел в истории христианства только то, что подкрепляло мнения, которые он составил себе прежде тщательного изучения фактов. Неточность некоторых цитат, происходившая или оттого, что он их намеренно урезал, или оттого, что он не потрудился прочесть их до конца, доставила его противникам основательные мотивы для нападений, так как дала им повод усомниться в его добросовестности. Все духовенство восстало против него; кто нападал на него, тот получал отличия и милости, и он сам иронически хвастался тем, что доставил Давису королевскую пенсию, а доктору Аптгорпу — архиепископское содержание (an archiepiscopal living). Можно полагать, что удовольствие, которое он доставлял себе подобными насмешками над противниками, отличавшимися не столько основательностью, сколько ожесточением своих нападок, служило для него вознаграждением за причиненные ему неприятности, а, может быть, также мешало ему сознаться в тех заблуждениях, в которых он действительно был виновен.

Впрочем, и Юм, и Робертсон осыпали нового историка самыми лестными для него выражениями своего уважения: оба они, как кажется, опасались, что упомянутые две главы повредят успеху его произведения, но оба они отозвались о его дарованиях так хорошо, что Гиббон, высказывая в своих «Мемуарах» удовольствие по поводу полученного им от Юма письма, счел себя вправе сделать следующее скромное замечание: «Впрочем, я никогда не имел в виду получить место в триумвирате английских историков». В особенности Юм очень восхищался сочинением Гиббона, мнения которого во многом сходились с его собственными и который со своей стороны предпочитал талант

Юма таланту Робертсона. Что бы мы ни думали об этих отзывах, мы во всяком случае едва ли можем вполне согласиться с мнением Юма, который в письме к Гиббону хвалит благородство его слога. Я не нахожу, чтобы у Гиббона благородство было отличительным свойством слога, который вообще был эпиграмматический и производил впечатление скорее своей меткостью, чем возвышенностью. Я, скорее, соглашусь с мнением Робертсона, который, воздав должную похвалу обширным познаниям Гиббона, его исследованиям и его точности, хвалит ясность и занимательность его рассказа, изящество и силу его слога и некоторые чрезвычайно удачные обороты речи, но находит, что его манера выражаться местами слишком обработана и местами слишком изысканна. Этот недостаток легко объясняется манерой Гиббона работать, препятствиями, которые ему приходилось обходить, и образцами, которые он принял себе в руководство. В самом начале он работал с большой усидчивостью; он сам сообщает нам, что три раза переделывал первую главу, два раза вторую и третью и что ему трудно было попасть в средний тон между бесцветной хроникой (a dull chronicle) и риторической декламацией. В другом месте он говорит, что, когда он стал писать по-французски историю Швейцарии, он нашел, что его слог выше прозы и ниже поэзии и что он переходит в многоречивую и напыщенную декламацию; он приписывал это неблагоприятному выбору иностранного языка; однако в другом месте своих «Мемуаров» он сам признается, что ежегодно перечитывал французское произведение «Les lettres Provinciales» и научился оттуда, как направлять стрелы внушительной и мягкой иронии. В своем «Essai sur l'etude de la Litterature» он к этому прибавляет, что из желания подражать Монтескье он нередко подвергался опасности сделаться неясным, выражая самые обыкновенные мысли с лаконической краткостью оракула (sententious and oracular brevity). Итак, Паскаль и Монтескье были те писатели, к помощи которых он постоянно обращался для того, чтобы умерять природную напыщенность еще не совсем сформировавшегося слога. Нетрудно заметить, какие напряженные усилия он должен был делать для того, чтобы низвести эту напыщенность до одного уровня с его любимыми образцами; они всего более бросаются в глаза в первых главах, когда он не успел еще совершенно свыкнуться с тем слогом, который он сам для себя избрал. Но так как эти усилия сделались вследствие привычки менее трудными для него, то они вместе с тем сделались и менее напряженными. В своих «Мемуарах» и в предисловии, помещенном во главе последних частей его сочинения, Гиббон радуется приобретенной им легкости. Иные, быть может, найдут, что в последних частях своего сочинения он ради этой легкости иногда жертвовал правильностью. Он стал менее внимательно следить за теми недостатками, с которыми вначале усиленно боролся, но к которым вследствие привычки стал относиться с меньшей осмотрительностью, а оттого и впадал местами в ту декламацию, которая заключается в употреблении неопределенных и звучных эпитетов взамен точных выражений и сжатых оборотов речи, придающих мысли особенную энергию. Обороты и выражения этого рода тем легче заметны в первых частях сочинения, что Гиббон старается выставить их рельефно посредством контрастов, цель которых слишком ясно видна, но которые тем не менее производят желаемое впечатление; что же касается следующих частей, то иногда приходится сожалеть, что усилия, которые делает автор, хотя и всегда успешны, но недостаточно скрыты от глаз читателя.

В начале своих занятий Гиббон, как я уже заметил выше, был избран в члены парламента. Он всегда затруднялся в приискании для своих мыслей надлежащей формы выражения, а потому не мог сделаться хорошим оратором; а сознание этого недостатка и неловкость его манер внушали ему робость,

которой он никогда не мог преодолеть. В течение восьми следовавших одна за другой парламентских сессий он не раскрывал рта. Не будучи связан ни с какой политической партией ни узами самолюбия, ни узами какого-либо публично высказанного мнения, он мог беспрепятственно принять на себя в 1779 г. заведование торговлей и колониями (Lord-Commissioner of Trade and Plantations); эту должность доставила ему дружба лорда Лофборо, носившего в ту пору имя Веддербёрна; согласие Гиббона принять ее навлекло на него много укоров, и вообще он вел себя в политических делах как человек слабохарактерный и не имеющий никаких твердых убеждений; но, может быть, это было отчасти извинительно со стороны человека, получившего такое воспитание, что ему были совершенно чужды идеи его родины. Он сам признается, что после пятилетнего пребывания в Лозанне, он перестал быть англичанином. «В моем юношеском возрасте, — говорит он, — и мои мнения, и мои привычки, и мои чувства были пересажены на иностранную почву; слабые и отдаленные воспоминания об Англии почти совершенно изгладились, и я стал отвыкать от моего родного языка». В ту пору, когда он выехал из Швейцарии, ему стоило некоторого труда написать по-английски письмо. Даже в конце своей жизни он употреблял в своих письмах галлицизмы и из опасения, что их смысл будет не понят, прибавлял к ним французское выражение, от которого они были заимствованы. После его первого возвращения в Англию, его отец изъявил желание, чтобы он баллотировался в члены парламента; но молодому Гиббону было бы более приятно, если бы расходы, неизбежные при выборах, были вместо того употреблены на путешествия, которые он считал более полезными и для своего таланта, и для своей репутации; по этому поводу он написал отцу письмо, которое дошло до нас; приведя резоны, основанные на его неспособности публично произносить речи, он объявлял отцу, что у него даже нет национальных и партийных предрассудков, без которых нет возможности ни иметь успех в этой карьере, ни приносить какую-либо пользу. Хотя после смерти своего отца он и соблазнился представлявшимся ему удобным случаем вступить в парламент, но он много раз признавался, что он вступил туда без патриотизма и даже без честолюбия, и впоследствии он никогда не простирали своих замыслов далее покойного и почетного звания *lord of trade*. Может быть, и можно бы было пожелать, чтобы человек, одаренный большим талантом, признавался с меньшей откровенностью в такой скромности, которая ограничивается желанием денежного достатка, приобретаемого без всякого труда. Но Гиббон выражал это желание так же непритворно, как непритворно чувствовал его; только из опыта он узнал, что избранное им положение имеет свои неприятные стороны. Из некоторых выражений, встречающихся в его письмах, можно заключить, что он глубоко сознавал весь позор зависимости, в которую он был поставлен, и что он очень сожалел о том, что поставил себя в положение, недостойное его характера. Впрочем, в то время как он таким образом выражался, он уже лишился своего места.

Оно было отнято у него в 1782 г. вследствие перемены министерства. Он, как кажется, не очень сожалел об этой неудаче, возвращавшей ему свободу, так как он искренно отказался от всяких честолюбивых замыслов, не увлекся надеждой снова получить потерянное место при новой перемене министерства, и решился покинуть Англию, где при своих скромных денежных средствах он не мог бы пользоваться теми удобствами, к которым привык, когда состоял при должности; его привлекала к себе Лозанна, которая была свидетельницей его первых горестей и первых радостей и которую он и впоследствии посещал всегда с новым чувством удовольствия и привязанности. Его тридцатилетний приятель Дейвердён предложил ему поселиться в его доме на таких условиях,

которые были выгодны и для Гиббона, и для этого очень небогатого приятеля: таким образом Гиббону представлялась возможность жить в обществе, которое соответствовало его вкусам домоседа, и вместе с тем пользоваться спокойствием, необходимым при его занятиях. В 1783 г. он привел в исполнение этот план и впоследствии всегда был очень этим доволен.

В Лозанне он окончил свое капитальное сочинение об упадке и крушении Римской империи. «Я позволил себе, — говорит он в своих «Мемуарах», — отметить момент зарождения этого труда, а теперь я хочу отметить момент его окончания. Это было в день или, скорее, в ночь 27 июля 1787 г.; между одиннадцатую и двенадцатую часами вечера я написал в павильоне моего сада последнюю строку моей последней страницы. Отложив в сторону перо, я несколько раз прошелся взад и вперед внутри беседки, или крытой аллеи из акаций, откуда видны были поля, озеро и горы. Воздух был мягок, небо было ясно; серебристая луна отражалась в водах озера, и вся природа была погружена в молчание. Не могу скрыть, что в первую минуту я был вне себя от радости, что наконец настал тот момент, который возвращал мне мою свободу и, может быть, окончательно упрочивал мою славу; но чувство гордости смирилось во мне, и моей душой овладели чувства более меланхолические, когда я подумал, что расстаюсь со старым и приятным товарищем и что как бы ни была долговечна написанная мною история, жизнь самого историка будет и непродолжительна, и ничем не обеспечена». Впрочем, такие мысли не могли долго тревожить человека, в котором сознание здоровья и спокойствие воображения поддерживали уверенность, что ему суждено еще долго жить, и который даже в последние минуты своего существования рассчитывал, сколько лет он имеет еще впереди. В том же году он переехал в Англию, чтобы насладиться плодами своих трудов и приступить к печатанию последних частей своей истории. Его пребывание там заставило его еще более прежнего полюбить Швейцарию. При Георге I и Георге II литература и талант уже не находили при дворе прежнего поощрения. Когда Гиббон явился при дворе в один из приемных дней герцога Кумберландского, этот последний обратился к нему с восклицанием: «Ну что же, г-н Гиббон! Вы все еще пописываете! (What m-r Gibbon, still scribble, scribble!)». Понятно, что по прошествии одного года он без сожалений покинул свое отечество и возвратился в Лозанну, где жизнь была по нем и где его любили. И его не могли не любить те, которые, живя вместе с ним, могли оценить достоинства его характера, чрезвычайно уживчивого, потому что сам он был вполне счастлив. Так как он никогда не заходил в своих желаниях за пределы того, что одобрял рассудок, то ни люди, ни окружавшая его жизнь не возбуждали в нем неудовольствия. Он не раз взвешивал условия своего существования с таким чувством удовольствия, которое можно объяснить только скромностью его требований. Один оптимист сказал:

«...Je suis Francais, Tourangeau, gentilhomme;
Je pouvais naître Turc, Limousin, paysan».

Нечто в том же роде пишет Гиббон в своих «Мемуарах»: «На мою долю могла бы выпасть судьба невольника, дикаря или крестьянина, и я не могу не ценить благости природы, которая произвела меня на свет в свободной и цивилизованной стране, в век наук и философии и в семействе с почтенным общественным положением и с достаточными дарами фортуны». В другом месте он радуется умеренности этой фортуны, поставившей его в самые благоприятные условия для приобретения с помощью труда почтенной известности, «потому что, — говорит он, — бедность и презрительное со мной обращение отняли бы у меня всякую энергию, а пользование всеми удобствами, которое дается большим состоянием, могло бы ослабить во мне предприимчи-

вость». Он очень доволен своим здоровьем, которое было постоянно хорошо, с тех пор как он пережил опасные годы своего детства, но которое никогда не давало ему чрезмерного избытка сил (the madness of a superfluous health). Он вполне наслаждался счастьем, которое доставляли ему занятия в течение двадцати лет, и потом находил не менее наслаждения в той славе, которая была плодом этих занятий. А так как человек, который доволен своим положением, во всем видит новое приращение своего благополучия, то и Гиббон, с терпением выносивший неприятности своего официального положения в должности lord of trade, выражает, приехав в Лозанну, свою радость по поводу того, что он избавился от оков рабства.

Его «Мемуары» и служащие для них продолжением письма, большей частью адресованные лорду Шеффилду, интересны именно потому, что в них отражается добродушие, всегда неразлучное с душевным спокойствием и невзыскательностью, и чувство привязанности, если не очень нежное, то, по меньшей мере, очень искреннее по отношению к тем, с кем он был связан узами родства или дружбы: эта привязанность высказывается без особенного жара, но непринужденно и искренне. Продолжительная и тесная дружба, связавшая его с лордом Шеффилдом и с Дейвердённом, служит доказательством того, к какой сильной привязанности он был способен и какую сильную привязанность он мог внушать другим; впрочем, и нетрудно понять, что можно было привязаться к такому человеку, который изливал в обществе своих друзей всю чувствительность своего сердца, никогда не знавшего страстей, который делился с этими друзьями неопценными сокровищами своего ума и у которого была честная и скромная душа, хотя и не придававшая большой пылкости его уму, но зато и никогда почти не омрачавшая его яркого сияния.

Однако в последние годы жизни Гиббона его душевное спокойствие было нарушено тем направлением, которое приняла французская революция. Когда он убедился, что обманулся в том, чего ожидал от нее, он стал не одобрять ее с такой горячностью, какой не отличались даже французские эмигранты, с которыми он видался в Лозанне. Он был некоторое время в ссоре с Неккером; но так как он был хорошо знаком с характером и намерениями этого достойного человека, и сожалел об его несчастьях, и разделял его скорбь по поводу постигших Францию бедствий, то между ними скоро восстановились старые дружеские отношения. Революция произвела на него такое же впечатление, какое она производила на многих людей, которые хотя и были людьми просвещенными, но писали более то, что им приходило на ум, нежели то, что мог бы поведать им опыт, которого у них не было: она заставила его придавать еще более значения тем мнениям, которых он давно придерживался. По поводу этой революции он говорит в своих «Мемуарах»: «Мне несколько раз приходила мысль написать разговор мертвых, в котором Вольтер, Эразм и Лукиан признались бы друг перед другом, что крайне опасно предавать старинные суеверия поруганиям слепой и фанатической толпы». Конечно, только потому, что Гиббон был живой человек, он не принял бы участия в этих признаниях в качестве четвертого собеседника. Он в ту пору утверждал, что нападал на христианство только потому, что христиане уничтожали политеизм, который был древней религией империи. В одном из своих писем к лорду Шеффилду он говорил: «Первоначальная церковь, о которой я отзывался с некоторым неуважением, была нововведением, а я был привязан к старым языческим порядкам». Он так любил высказывать свое уважение к старинным учреждениям, что иногда в шутку забавлялся тем, что вступался за инквизицию.

В 1791 г. лорд Шеффилд вместе со своим семейством посетил его в Лозанне; он обещал в скором времени отдать этот визит в Англии, но был вы-

нужден откладывать это тяжелое путешествие с одного месяца на другой по причине постоянно усиливавшихся во Франции революционных смут, по причине войны, грозившей путешественникам серьезными опасностями и, наконец, по причине своей чрезвычайной тучности и некоторых недугов, к которым он долго относился с небрежением, но которые с каждым днем все более и более затрудняли его движения; наконец, получив в 1793 г. известие о смерти леди Шеффилд, которую он очень любил и называл своей сестрой, он отправился в ноябре этого года утешать своего друга. Месяцев через шесть после его прибытия в Англию, его недуги, зародившиеся более чем за тридцать лет перед тем, до такой степени усилились, что принудили его согласиться на операцию, которая возобновлялась несколько раз и не отнимала у него надежды на выздоровление до 16 января 1794 г. В этот день он кончил жизнь и без волнений, и без скорби.

Гиббон оставил после себя память, которая дорога всем, кто его знал, а его имя стало известно всей Европе. В его «Истории упадка и крушения Римской империи», может быть, найдутся некоторые менее тщательно обработанные части, которые обнаруживают усталость, неизбежную при такой громадной работе: можно было бы пожелать, чтобы в них было побольше той живости воображения, которая переносит читателя в самую среду описываемых ему сцен, и побольше той теплоты чувств, которая, так сказать, заставляет его участвовать в этих сценах и вносить в них свои собственные страсти и личные интересы; там, может быть, найдутся такие суждения о добродетелях и пороках, которые заходят в своем беспристрастии слишком далеко, и читателю приходится иногда пожалеть, что остроумная проницательность автора, умеющая так хорошо различать и разлагать составные части явлений, нечасто уступает место тому поистине философскому уму, который, напротив того, соединяя их в одно целое, придает более реальности и жизни предметам, изображаемым в их совокупности. Тем не менее всякий будет поражен отчетливостью этой громадной картины, объяснительными к ней рассуждениями, почти всегда верными, а иногда и глубокомысленными, а также ясностью этих объяснений, которые останавливают ваше внимание, не утомляя его, и в которых нет неопределенности, раздражающей воображение и приводящей его в замешательство; не менее поразительна и та редкая обширность ума, которая, пробегая громадную арену исторических событий, заглядывает в самые сокровенные ее уголки, обрисовывает ее со всех точек зрения, какие только возможны, и, заставляя читателя, так сказать, осмотреть события и людей со всех сторон, доказывает ему, что неполнота взгляда всегда ведет к заблуждению и что в той сфере, где все связывается между собою и согласовывается, необходимо знать все для того, чтобы иметь право судить о малейшей подробности. При чтении «Истории упадка и крушения Римской империи» интерес рассказа никогда не ослабевает благодаря проницательности историка, благодаря той удивительной прозорливости, которая постоянно раскрывает перед вами постепенность хода событий, выясняя их самые отдаленные причины; по моему мнению, нет такого уважения и таких похвал, которых не заслуживали бы и это громадное разнообразие познаний и идей, и то мужество, с которым автор решился применить их к делу, и та настойчивость, с которой он довел это предприятие до конца, и, наконец, та умственная свобода, которая не стесняется ни существующими учреждениями, ни данными условиями времени и без которой нет ни великих историков, ни настоящей истории. Мне остается сказать еще одно только слово в похвалу Гиббону: до него не было написано подобного сочинения, а после него, — какие бы ни потребовались в некоторых частях его «Истории ...» исправления и улучшения, — нет более надобности его писать.

ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Августин Аврелий. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского / Пер. М. Е. Сергеевко. — М., 1991; 1993.

Августин Аврелий. О граде Божием // Творения Блаженного Августина. — Киев, 1901–1912.

Авзоний Децим Магн. Стихотворения / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров. — М., 1993.

Авиан. Басни / Пер. М. Л. Гаспарова // Памятники поздней античной поэзии и прозы. — М., 1964.

Аммиан Марцеллин. История / Пер. Ю. А. Кулаковского и А. Сонни. — Вып. 1–3. — Киев, 1906–1908.

Ампелий. Памятная книжица / Пер. А. И. Немировского // Вестник древней истории. — 1989. — № 1–2.

Аполлодор. Мифологическая библиотека / Пер. Б. Г. Боруховича. — Л., 1972; 1993.

Аппиан. Гражданские войны / Пер. под ред. С. А. Жебелева. — Л., 1935.

Аппиан. Иберийско-римские войны // Вестник древней истории. — 1939. — № 2.

Аппиан. Митридатовы войны. Сирийские дела / Пер. С. П. Кондратьева // Вестник древней истории. — 1946. — № 4.

Апулей. Апология. Метаморфозы, или Золотой осел. Флориды / Пер. С. П. Маркиша. — М., 1959.

Афиней. Пир софистов. Фрагменты / Пер. С. Ошерова // Поздняя греческая проза. — М., 1960; см. также: Пирующие софисты / Пер. Т. А. Миллер, М. Л. Гаспаров // Памятники

поздней античной научно-художественной прозы. — М., 1964.

Бозций. «Утешение философией» и другие трактаты / Пер. Т. Ю. Бородай, Г. Г. Майорова, В. И. Уколовой, М. Н. Цейтлина. — М., 1990.

Вегеций Флавий Ренат. Краткое изложение военного дела / Пер. С. П. Кондратьева // Вестник древней истории. — 1940. — № 1.

Веллей Патеркул. Римская история / Пер. А. И. Немировского, М. Ф. Дашковой // Немировский А. И., Дашкова М. Ф. «Римская история» Веллея Патеркула. — Воронеж, 1985.

Вергилий Марон, Публий. Буколики. Георгики. Энеида / Пер. С. Шервинского, С. Ошерова. — М., 1971.

Виктор Аврелий Секст. История Рима / Пер. В. С. Соколова // Вестник древней истории. — 1963. — № 4; 1964. — № 1.

Витрувий Поллион, Марк. Об архитектуре / Пер. Ф. А. Петровского. — М., 1936.

Гелиодор. Эфиопика / Пер. под ред. А. Егунова. — М.; Л., 1932; 1965.

Геллий, Авл. Аттические ночи / Пер. с древнегреч. — Томск, 1993.

Геродиан. История императорской власти после Марка / Пер. А. И. Доватура, Н. М. Ботвинник, А. К. Гаврилова, В. С. Дурова, М. В. Скрижинской, Н. В. Шебалина // Вестник древней истории. — 1972. — № 1; 1973. — № 1.

Гораций Флакк, Квинт. Оды. Эподы. Сатиры. Послания / Пер. с лат. — М., 1970.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова. — М., 1979.

Евсевий Памфил. Церковная история / Пер. с древнегреч. — М., 1993.

Евтропий. Сокращение римской истории до времен кесарей Валента и Валентиниана / Пер. С. Воронцова. — М., 1879.

Иосиф Флавий. О древности иудейского народа. Против Апиона / Пер. Я. И. Израэльсона и Г. Г. Генкеля. — СПб., 1895.

Иосиф Флавий. Иудейские древности. / Пер. с греч. Г. Г. Генкеля. — Т. 1–2. — СПб., 1900.

Иосиф Флавий. Иудейская война / Пер. Я. Л. Чертка. — СПб., 1900; Минск, 1991.

Катулл. Книга стихотворений / Изд. подг. С. В. Шервинский, М. Л. Гаспаров. — М., 1986.

Квинтилиан. Двенадцать книг риторических наставлений / Пер. А. Никитского. — СПб., 1834.

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского / Пер. с лат. под ред. В. С. Соколова. — М., 1963; 1993.

Либаний. Речи / Пер. С. Шестакова. — Т. 1–2. — М., 1914–1916.

Лонг. Дафнис и Хлоя / Пер. С. Кондратьева. — М., 1964.

Лукиан. Избранное / Пер. И. Нахова. — М., 1962; 1991.

Марк Аврелий Антонин. Размышления / Изд. подгот. А. И. Доватур. — Л., 1986.

Тит Ливий. История Рима от основания города / Пер. В. М. Смирин, Н. А. Поздняковой, Г. Ч. Гусейнова, С. А. Ивановой, Н. Н. Казанского, Н. В. Брагинской, Ф. Ф. Зелинского, М. Е. Сергеенко под общ. ред. М. Л. Гаспарова, Г. С. Кнабе, В. М. Смирин. — Т. 1–3. — М., 1989–1993.

Марк Манилий. Астрономика: Наука о гороскопах / Пер. Е. М. Штаерман. — М., 1993.

Марциал. Эпиграммы / Пер. Ф. Петровского. — М., 1967.

Николай Дамасский. О своей жизни и своем воспитании. История жизни Цезаря. Собрание замечательных обычаев / Пер. под ред. Е. Б. Веселаго // Вестник древней истории. — 1960. — № 3–4.

Овидий. Метаморфозы / Пер. С. Шервинского. — М., 1977.

Овидий. Скорбные элегии. Письма с Понта / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров. — М., 1978.

Овидий. Элегии и малые поэмы / Пер. С. Шервинского, С. Ошерова, М. Гаспарова, Ф. Петровского, А. Ларина. — М., 1973.

Ориген. О началах / Пер. с древнегреч. — М., 1993.

Петроний Арбитр. Сатирикон / Пер. Б. Н. Ярхо. — М., 1924; М., 1990.

Писатели истории Августов. Биографии императоров от Адриана до Диоклетиана / Пер. С. П. Кондратьева под ред. А. И. Доватура // Вестник древней истории. См. также: Властелины Рима. — М., 1992.

[Содержание: Адриан, Элий, Антонин Пий, Марк Антонин, Вер, Авидий Кассий, Коммод Антонин, Гельвий Пертинакс, Дидий Юлиан, Север, Песценний Нигер, Клодий Альбин, Антонин Каракалла, Антонин Гета, Опилий Макрий, Диадумениан Антонин, Антонин Гелиогабал, Александр Север, Максимины, Гордианы, Максим и Бальбин, Валерианы, Галлиены, Тридцать тиранов, Божественный Клавдий, Божественный Аврелиан, Тацит, Проб, Фирм, Сатурнин, Прокул и Боноз, т. е. Четверка тиранов, Кар, Карин и Нумериан.]

Плиний Младший. Письма / Пер. М. Е. Сергеенко, А. И. Доватура. — М., 1982.

Плутарх. Застольные беседы / Пер. Я. М. Боровского. — Л., 1990.

Плутарх. Избранные жизнеописания / Пер. с греч. — Т. 1–2. — М., 1982.

Полибий. Всеобщая история / Пер. Ф. Г. Мищенко. — Т. 1–3. — М., 1893.

Прокопий Кесарийский. Война с готами / Пер. С. П. Кондратьева. — М., 1950.

Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / Пер. А. А. Чекаловой. — М., 1993.

Саллюстий Крисп, Гай. Сочинения / Пер. В. О. Горенштейна. — М., 1982.

Светоний Транквилл, Гай. Жизнь двенадцати цезарей / Пер. М. Л. Гаспарова. Любое изд.

Сенека, Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию / Пер. С. А. Ошерова. — М., 1977.

Сенека, Луций Анней. Трагедии / Пер. С. А. Ошерова. — М., 1983.

Сенека, Луций Анней. Утешение к Полибию / Пер. Н. Х. Керасиди // Вестник древней истории. — 1991. — № 4.

Скилак Кариандский. Перипл обитаемого моря / Пер. Ф. В. Шелова-Коведяева // Вестник древней истории. — 1988. — № 1–2.

Стаций, Публий Папиний. Фиваида / Пер. Ю. А. Шичалина. — М., 1991.

Татиан. Слово к эллинам // Вестник древней истории. — 1993. — № 1–2.

Тацит, Публий Корнелий. Сочинения / Пер. А. С. Бобовича, Я. М. Воровского, М. Б. Сергеевко. — Т. 1–2. — М., 1969; 1993.

Ульпиан, Домиций. Фрагменты юридических трудов / Пер. Е. М. Штаерман // Вестник древней истории. — 1971. — № 2.

Федр, Бабрий. Басни / Пер. М. Л. Гаспарова. — М., 1962.

Филострат [Старший и Младший]. Картины / Пер. С. П. Кондратьева. — М., 1936.

Филострат Старший. Жизнь Аполлония Тианского: В 8 кн. / Пер. Е. Г. Рабинович. — М., 1985.

Флор, Луций Анней. Две книги эпитом римской истории обо всех войнах за 700 лет / Пер. А. И. Немировского, М. Ф. Дашковой. — Воронеж, 1977.

Фронтин. Стратегемы [Военные хитрости] // Вестник древней истории. — 1946. — № 1.

Цезарь, Гай Юлий. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о галльской войне, о гражданской войне, об александрийской войне, об африканской войне / Пер. М. М. Покровского. — М.; Л., 1948.

Цензорин. Книга о дне рождения / Пер. В. Л. Цымбурского // Вестник древней истории. — 1986. — № 2–3.

Цицерон, Марк Туллий. Диалоги: О государстве. О законах / Пер. В. О. Горенштейна. — М., 1966.

Цицерон, Марк Туллий. О старости. О дружбе. Об обязанностях / Пер. В. О. Горенштейна. — М., 1975.

Цицерон, Марк Туллий. Речи / Пер. В. О. Горенштейна, М. Е. Грабарь-Пассек. — Т. 1–2. — М., 1962.

Цицерон, Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве / Пер. Ф. А. Петровского, И. М. Стрельниковой, М. Л. Гаспарова, — М., 1972.

Цицерон, Марк Туллий. Философские трактаты / Пер. М. И. Рижского. — М., 1985.

Эзоп. Басни / Пер. М. Гаспарова // Античная басня. — М.; Л., 1991; М., 1993.

Эзоп. Басни / Пер. Л. Н. Толстого. Авт. предисл., сост. Э. Т. Бабаев. — Тула, 1985.

Элиан. Пестрые рассказы / Пер. С. В. Поляковой. — М.; Л., 1963.

Эмпирик Секст. Сочинения в двух томах / Пер. А. Ф. Лосева. — Т. 1–2. — М., 1975; 1976.

Эней Тактик. О перенесении осады / Пер. В. Ф. Беляева // Вестник древней истории. — 1965. — № 1–2.

Эпиктет. Беседы Эпиктета / Пер. Г. А. Тароняна // Вестник древней истории. — 1975. — № 2–4.

Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну / Пер. Е. М. Штаерман // Вестник древней истории. — 1971. — № 1–2.

Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historia Philippicae». Всеобщая история / Пер. А. Деконского, М. Рижского // Вестник древней истории. — 1951. — № 2.

СБОРНИКИ

Античная лирика / Пер. с древнегреч. и лат.; Сост. С. Апт. — М., 1968. [Греческие поэты римской и византийской эпох. Неизвестные поэты разных эпох. Поэты Рима I в. до н. э. — I в. н. э. Римские поэты II–VI вв. Поэты латинской антологии. Неизвестные поэты разных веков].

Античный роман. — М., 1969. [Содержание: Ахилл Татий. Лонг. Петроний. Апулей].

Греческая эпиграмма / Пер. с греч. под ред. Ф. Петровского. — М., 1960.

Идеи эстетического воспитания. Антология: В 2 т. — Т. 1. Античность, средние века / Сост. С. С. Аверинцев. — М., 1973. [Содержание: Гораций «Наука поэзии». Квинтилиан «О подготовке оратора». Дион Хрисостом «Переписка Фронтон и М. Аврелия». Либаний «К тем, кто не хочет выступать с речами». Евмений «О восстановлении школы ораторского искусства в Августодуне». Эпиктет «К тем, кто выступает с публичными чтениями». Плутарх «Как юношам слушать поэтов». Элий Аристид «О том, что комедии не следует ставить на сцене»].

Историки Рима / Пер. под ред. С. Апта, М. Грабарь-Пассек и др. — М., 1969. [Содержание: Саллюстий. Тит Ливий. Тацит. Светоний. Аммиан Марцеллин].

История эстетики. — М., 1962. — (Памятники мировой эстетической мысли Т. 1.). [Содержание: Сенека, Марк Аврелий, Лукреций. Скептики: Пиррон, Секст Эмпирик, Дионисий Галикарнасский, Деметрий Псевдофалерский, Гермоген, Цицерон, Гораций, Витрувий, Плутарх, Лукиан, Филострат, Плотин].

Ораторы Греции / Сост. М. Л. Гаспаров. — М., 1985. [Содержание: Дион Хрисостом, Элий Аристид, Либаний, Фемистий].

Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства II—V вв. — М., 1964. [Содержание: Греческое ораторское искусство:

Дион Хрисостом, Элий Аристид, Юлиан, Либаний, Фемистий, Гимерий. Римское ораторское искусство: Апулей, Евмений. Греческое эпистолярное искусство: Алкифрон, Филострат, Элиан, Юлиан, Либаний. Римское эпистолярное искусство: Фронтон, Симмах].

Памятники поздней античной научно-художественной литературы II—V вв. — М., 1964. [Содержание: Греческие историки, географы, мифографы, философы и энциклопедисты: Плутарх, Арриан, Аппиан, Павсаний, Дионисий Периэгет, Марк Аврелий, Дион Кассий, Геродиан, Диоген Лаэртский, Филострат, Афиней, Аполлодор, Антонин Либерал, Артемидор. Римские историки и энциклопедисты: Светоний, Флор, Авл Геллий. Писатели истории императоров: Элий Лампридий, Аммиан Марцеллин, Евтропий, Секст Руф, Макробий].

Памятники поздней античной поэзии и прозы II—V вв. / Под ред. М. Е. Грабарь-Пассек. — М., 1964. [Содержание: Греческая поэзия: Нонн, Бабрий. Греческая эпиграмма: Дионисий Родосский, Диоген Лаэртский, Юлиан, Оракул Аполлона, Павел Силенциарий. Греческая повествовательная проза: Лукиан, Филострат, Гелиодор, Ахилл Татий, Клавдий Элиан. Римская повествовательная проза: Апулей, Диктис Критский].

Поздняя греческая проза / Пер. с греч. под ред. М. Е. Грабарь-Пассек. — М., 1960. [Содержание: Иосиф Флавий, Дион Хрисостом, Плутарх, Аппиан, Арриан, Ямвлих, Павсаний, Лукиан, Марк Аврелий, Ахилл Таций, Афиней, Дион Кассий, Элиан, Диоген Лаэртский, Гелиодор, Юлиан].

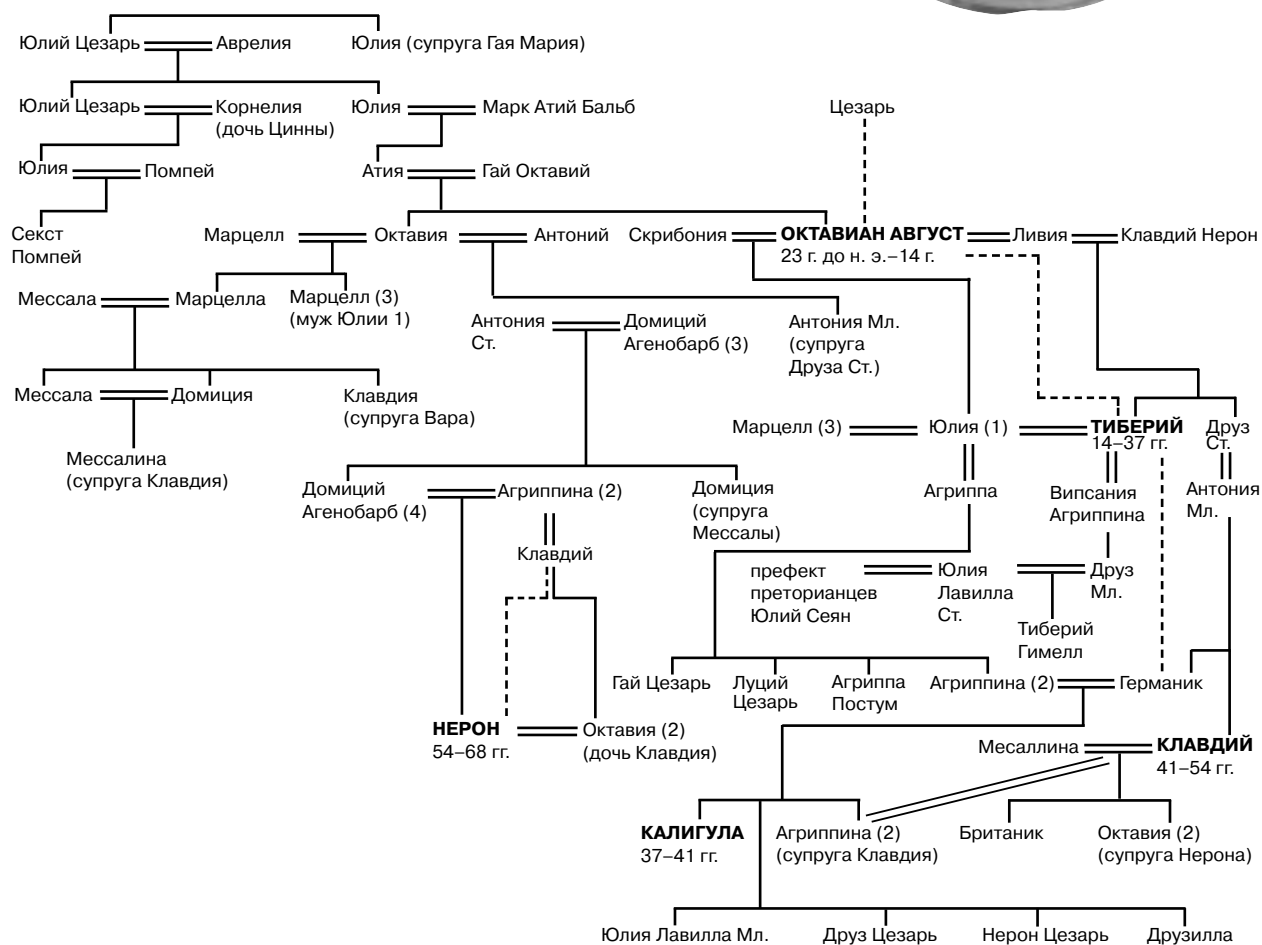
«Судьба города, который постепенно разросся в империю, так необычайна, что останавливает на себе внимание философа. Но упадок Рима был естественным и неизбежным последствием чрезмерного величия. Среди благоденствия зрел принцип упадка; причины разрушения размножались вместе с расширявшимся объемом завоеваний... громадное здание развалилось от своей собственной тяжести...

Победоносные легионы, усвоившие во время далеких походов пороки чужеземцев и наемников, сначала подавили свободу Республики, а затем стали унижать величие императорского звания. Заботы о личной безопасности и об общественном спокойствии заставляли императоров прибегать к унижительным уловкам и, подрывая дисциплину, делать армию столько же страшной для ее государя, сколько она была страшна для врагов; прочность военной организации была поколеблена, а затем и окончательно уничтожена... и римский мир был поглощен потоком варваров».

Эдуард Гиббон



ДИНАСТИЯ ЮЛИЕВ-КЛАВДИЕВ. 23 г. до н. э. – 68 г.





Род Юлиев-Клавдиев. Рельеф Алтаря Благочестия (Ara Pietatis Augustae). Около 40–43 гг. Рим, Национальный Римский музей.

Август. Камень (сардоникс). I в. Лондон, Британский музей.

Фрагмент колоссальной статуи Августа. Найдена среди руин театра в Арле (римская Арелата). Мрамор. I в. Арль, Музей Арльских древностей.

Портрет Ливии, жены Августа. Мрамор. 2-я четверть I в. СПб., Эрмитаж.

Жрецы-фламины, Агриппа, мальчик — сын варварского вождя (?), Юлия (?) (на втором плане), Ливия (?), Тиберий (?). Рельеф фриза Алтаря Мира Августа. Мрамор. 13–9 гг. до. н. э. Рим, Немецкий Археологический институт.



АЛТАРЬ МИРА АВГУСТА



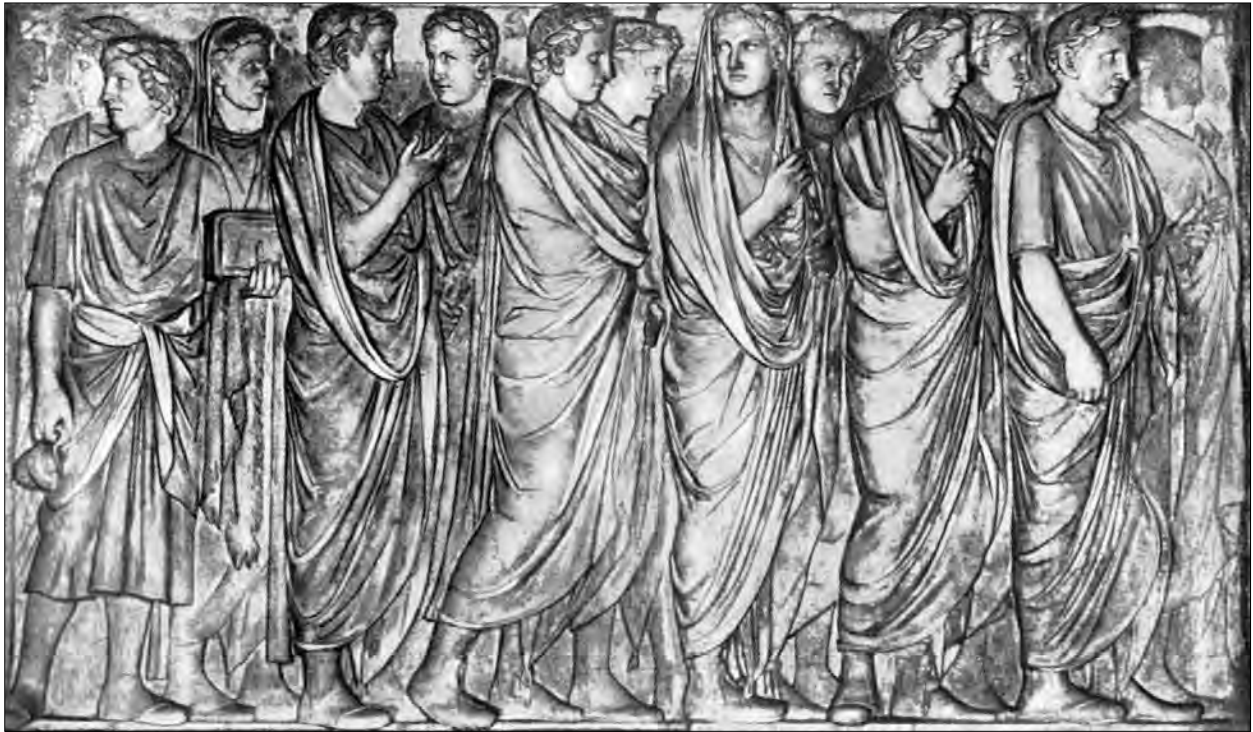
Алтарь Мира Августа (Ara Pacis Augustae). Построен Августом как символ процветания, умиротворения и единства Римского государства в его правление. Высота — 5 м. Мрамор. 13–9 гг. до н. э. Рим, Немецкий Археологический институт.

Фриз Алтаря Мира с орнаментом из аканфа.

Шествие сенаторов. Фрагмент фриза Алтаря Мира. Деталь.

Теллус (Земля) или Италия с Миром и Плодородием. Рельеф Алтаря Мира.





ДИНАСТИЯ ЮЛИЕВ-КЛАВДИЕВ. 23 г. до н. э. – 68 г.



Портрет императора Тиберия (14–37 гг.). Мрамор. Копенгаген, Глиптотека Новый Карлсберг.



Портрет императора Калигулы (37–41 гг.). Мрамор. Около 40 г. Копенгаген, Глиптотека Новый Карлсберг.



Юный Август (или сын Августа) (23 г. до н. э. – 14 г.). I в. Арль, Музей Арльских древностей.

«Тиберий управлял государством с великой беспечностью, тягостной жестокостью, преступной алчностью и непристойной похотью... Он умер в Кампании на 23 году правления в возрасте 78 [лет] к великой и всеобщей радости».

«Наследовал ему Гай Цезарь, по прозвищу Калигула, ...запятнавший себя такими преступлениями и осквернивший себя таким кровопролитием, что бесчинства Тиберия казались невинными. Он предпринял войну против германцев и, вступив в Свению, не совершил никаких решительных действий. Так как [он] неистовствовал против всех с великой алчностью, похотью и жестокостью, то он был убит на Палатине в возрасте 29 лет на третьем году, десятом месяце и восьмом дне правления».

«После него был Клавдий, дядя Калигулы, сын Друза... Он правил посредственно, многое совершая миролюбиво и умеренно, а кое-что жестоко и неумело. Он пошел войной на Британию, до которой никто из римлян после Цезаря не доходил... После смерти он был провозглашен богом и причислен к богам» (Евтропий).



Император Клавдий (41–54 гг.) в образе Юпитера. 50-е гг. Мрамор. Рим, Ватиканские музеи.

ВОЙНА 68–70 гг. ЗА ИМПЕРАТОРСКУЮ ВЛАСТЬ



*Император Нерон (54–68 гг.).
Мрамор. 50-е гг.*



*Император Гальба (?)
(9.06.68–15.01.69).
Мрамор. Париж, Лувр.*



*Император Отон (15.01–25.04.69).
Мрамор. Париж, Лувр.*



*Император Вителлий
(2.01.69–20.12.70). Копенгаген,
Глиптотека Новый Карлсберг.*

*«[Нерон] унизил и разрушил Римское государство...
на нем иссяк весь род Августа».*

«Ему наследовал Сервий Гальба, сенатор из древнейшего рода, который на 73-м году жизни был выбран императором испанскими и галльскими [легионами] и в скором времени охотно признан всем войском. Его правление было кратким и оказалось бы по сути хорошим, если бы не обнаружилась в нем склонность к жестокости. Однако он был убит из-за козней Отона..., зарезанный на Римском форуме».

«Отон..., убив Гальбу, захватил власть. В частной жизни он отличался распущенностью, являлся близким другом Нерона... Когда Отон убил Гальбу, в то же самое время германскими войсками императором был выбран Вителлий, и против Отона была начата война; когда ... в легком сражении [Отон] был побежден, он добровольно себя убил. Когда солдаты просили его не терять так быстро надежду..., Отон ответил, что он не такой великий человек, чтобы из-за него началась гражданская война».

«После власть захватил Вителлий из семьи более уважаемой, чем знатной... Своим управлением навлек на себя великий позор и прославился главным образом редкостной жестокостью, а также необычайной прожорливостью и ненасытностью... Желая быть похожим на Нерона, ...[он] почтил останки Нерона, которые были захоронены очень скромно. Был убит полководцами Веспасиана за то, что прежде он убил в Городе брата императора Веспасиана...» (Евтропий).



**Голова Нерона. Мрамор. 50-е гг.
Рим, Национальный Римский музей.**



**Портрет Агриппины Младшей, матери Нерона.
Камея (сардоникс). I в. СПб., Эрмитаж.**



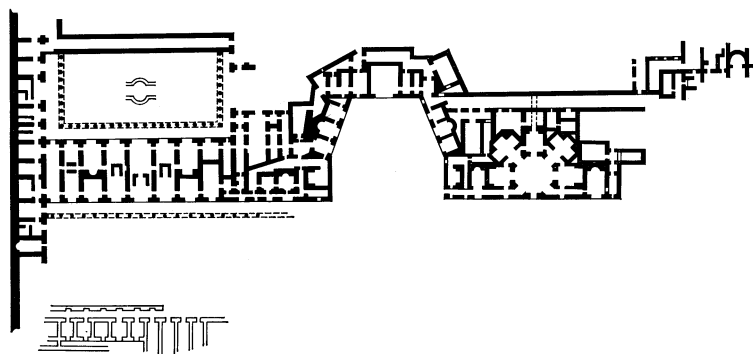
**Поппея Сабина, жена Нерона. Мрамор.
Середина I в. Рим, Национальный Римский музей.**

**Агриппина Младшая увенчивает Нерона
императорским венцом. Из Афродисия
(Малая Азия). Мрамор. Середина I в.**

«...Нерон, дядя Калигулы по матери..., который унизил и разрушил Римское государство; он был необычайно изнежен и расточителен, так что по примеру Калигулы омывался горячими и холодными благовониями, ловил рыбу золотыми сетями, которые вытаскивал пурпурными веревками. Он перебил неисчислимое количество сенаторов и всем добрым [людям] был врагом. И, наконец, он опозорил себя таким бесчестием, что и плясал, и пел на сцене... Он расправился со многими близкими родственниками, убив брата, жену, мать. Он поджег город Рим, чтобы увидеть зрелище, подобное виду пожара некогда захваченной Трои. В военных делах действуя нерешительно, чуть было не потерял Британию... Парфяне отняли Армению и провели римские легионы под ярмом... Вследствие этого, проклятый в римском мире, он был сразу всеми оставлен и объявлен врагом [по постановлению] сената; когда же его разыскивали для наказания... он бежал с Палатина и в загородном поместье своего вольноотпущенника... убил себя. Он построил в Риме термы... Он умер в возрасте 32 лет на 14-м году правления, и на нем иссяк весь род Августа» (Евтропий).



Династия Юлиев-Клавдиев. ИМПЕРАТОР НЕРОН. 54–68 гг.

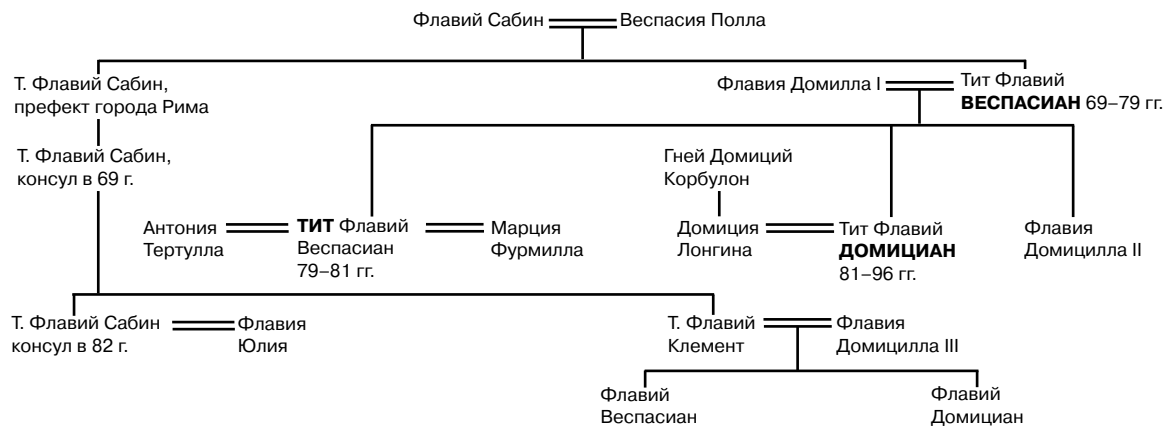


Бюст Нерона. Мрамор. Середина I в.

Золотой дом Нерона в Риме. 64–68 гг. План. Октагональный зал.



Династия Флавиев. ИМПЕРАТОР ВЕСПАСИАН. 69–79 гг.





«[Вителлию] наследовал Веспасиан, выбранный императором в Палестине, — принцепс хоть и темного происхождения, но достойный сравнения с лучшими; ...знаменитый тем, что посланный с Клавдием в Германию, а потом в Британию, 32 раза сталкивался с врагом... 20 городов, остров Вектис, ближайший к Британии, присоединил к Римскому государству. В Риме во время своего правления вел себя весьма умеренно. Однако он был жаден до денег... Обид и вражды [Веспасиан] не помнил, упреки судейских чиновников и философов в свой адрес переносил легко, однако воинскую дисциплину поддерживал с усердием. Вместе с сыном Титом он отпраздновал триумф над Иерусалимом. Когда же он стал благодаря этому мил и приятен сенату, народу и вообще всем, он умер... в собственном поместье» (Евтропий).

**Император Веспасиан. Мрамор. I в.
Копенгаген, Глиптотека Новый Карлсберг.**

**Портрет молодой женщины из дома Флавиев.
Из Эмпорий (близ современной Барселоны, Испании).
Бронза. I в. Барселона, Археологический музей.**

Колизей (Амфитеатр Флавиев) в Риме. 75–80 гг.



ДИНАСТИЯ ФЛАВИЕВ. ИМПЕРАТОР ТИТ. 79–81 гг.



«Тит, которого самого звали Веспасиан, муж настолько прославленный всякого рода добродетелями, что он назван был любовью и отрадой рода человеческого, красноречивейший, доблестнейший на войне и умереннейший. Судебные дела вел он на латинском языке, поэмы и трагедии сочинял на греческом. При штурме Иерусалима, воюя под руководством своего отца, он сразил двенадцать защитников двенадцатью стрелами. В Риме во время своего правления он был настолько обходителен, что вообще никого не наказывал, изобличенных в заговорах против него прощал и оставлял в той же близости к себе, что и ранее... Он построил амфитеатр в Риме, и при его освящении было убито пять тысяч диких зверей. За все это необыкновенно любимый, Тит умер от болезни, что и его отец... И такова была скорбь народа, когда он умер, что все горевали, будто осиротевшие. Сенат, уведомленный о его кончине ближе к вечеру, собрался ночью в курии и осыпал его такими восхвалениями и словами благодарности... Он был причислен к богам» (Евтропий).



Портрет Тита. Мрамор. Неаполь, Археологический музей.

Тит в тоге. Мрамор. 70-е гг. Рим, Капитолийские музеи.

Юлия, дочь Тита. Камея. I в. Париж, Национальная библиотека.

Тит (второй слева) на триумфальной квадриге. Рельеф Арки Тита в Риме. 80–81 гг. Деталь.

Арка Тита в Риме, возведенная в честь завоевания Иудеи. 80–81 гг.

Династия Флавиев. ИМПЕРАТОР ДОМИЦИАН. 81–96 гг.



Император Домициан, сын Веспасиана и брат Тита. Мрамор. 81–96 гг. Рим, Дворец Консерваторов.

«Истоцив казну издержками на постройки, на зрелища, на повышенное жалование воинам... без раздумья он бросился обогащаться любыми средствами. Имущества живых и мертвых захватывал он повсюду с помощью каких угодно обвинений и обвинителей» (Светоний).

«Домициан был устрашающего вида: высокомерие на челе, гнев во взоре, женоподобная слабость в теле, в лице бесстыдство... Никто не осмеливался подойти к нему, заговорить с ним, так как он всегда искал уединения в укромных местах и никогда не выходил из своего одиночества» (Плиний Младший).

«К его убийству народ остался безучастным, но войско вознегодовало: воины пытались тотчас провозгласить его божественным и готовы были мстить за него, но у них не нашлось вожаков» (Светоний).



Портрет императрицы Домиции Лонгиллы (умерла в 140 г.), жены Домициана. Мрамор. Конец I в. СПб., Эрмитаж.

Она «готова была хвастаться любым своим распутством». После развода с Домицией по причине ее пороков Домициан «разлуки с нею не вытерпел и, спустя недолгое время, якобы по требованию народа, снова взял ее к себе» (Светоний).

*«Флавиев род, как тебя обесчестил твой третий наследник!
Из-за него не бывать лучше б и первым двоим».*

Марциал

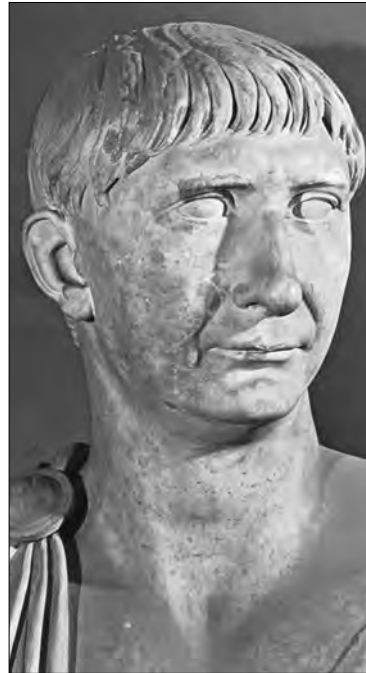


«Он первым повелел себя именовать господином и богом. Он разрешил ставить в свою честь только золотые и серебряные статуи на Капитолии. Он убил своих двоюродных братьев. Он предпринял четыре военных похода: первый — против сарматов, второй — против хаттов, два — против даков... В Риме же он возвел много строений, среди которых — Капитолий и Проходной Форум, портик Богов, храм Исиды и Сераписа и Стадион. Но когда злодеяниями своими стал он всем ненавистен, его убили на Палатине... Труп его был похоронен без всякой торжественности» (Евтропий).

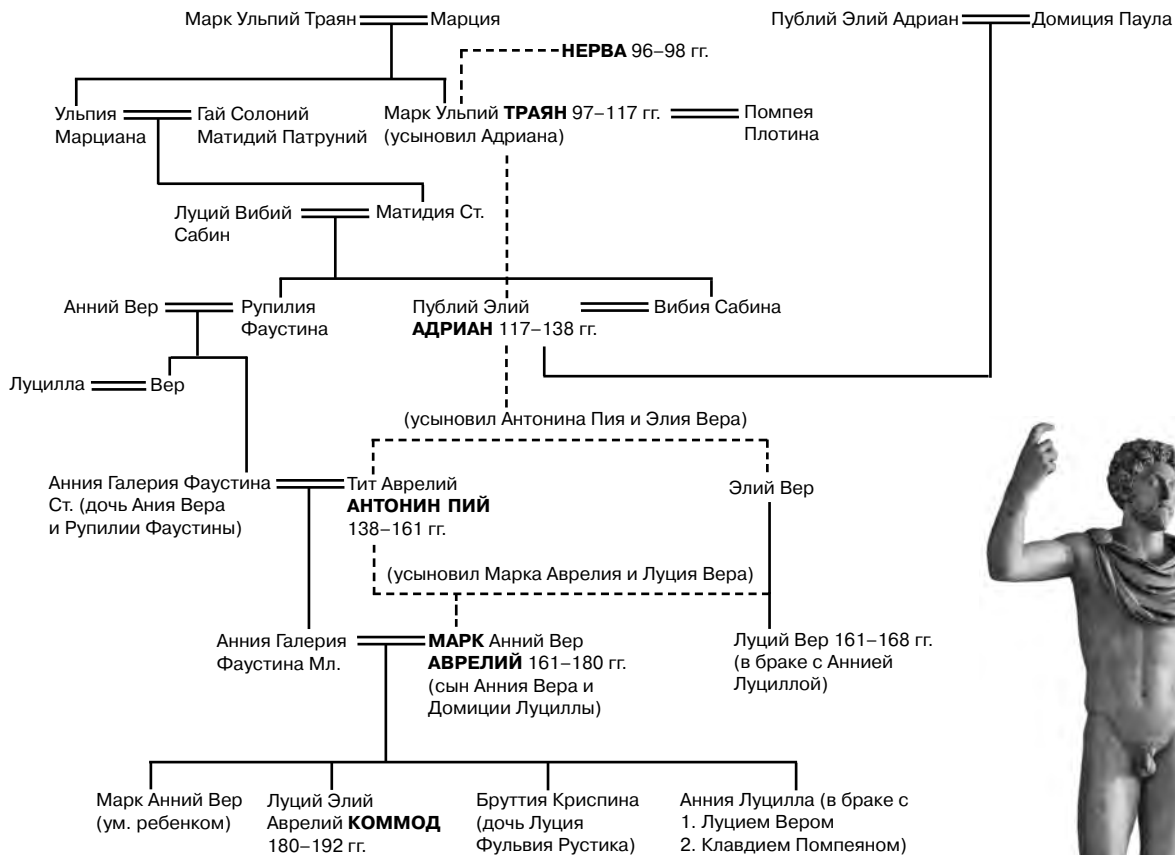
**Монета императора Домициана.
81–96 гг.**

**Портрет Домициана в цветке лотоса.
Бронза. I в. Рим, Капитолийские музеи.**

**Домициан и Веспасиан.
Рельеф алтаря.
I в. Рим, Капитолийские музеи.**



ДИНАСТИЯ АНТОНИНОВ. 96–192 гг.



Император Нерва (96–98 гг.) в образе Юпитера. Мрамор. Рим, Капитолийские музеи.

*Император Траян (98–117 гг.) (усыновлен Нервой).
Мрамор. Конец I в.*

Император Адриан (117–138 гг.) (усыновлен Траяном). Мрамор. 120-е гг. Рим, Национальный Римский музей.

*Элий Вер (усыновлен Адрианом в 136 г., умер в 137 г.).
Мрамор. 160-е гг. СПб., Эрмитаж.*

Император Антонин Пий (138–161 гг.) (усыновлен Адрианом). Мрамор. 140–150 гг. Рим, Капитолийские музеи.

Император Марк Аврелий (161–180 гг.) (усыновлен Антонином). Мрамор. 160-е гг. СПб., Эрмитаж.



*Император Траян. Мрамор.
Начало II в. Остия, Музей.*

*Голова Траяна. Мрамор. 120 г.
Остия, Музей.*

*Бюст Траяна. Мрамор.
Около 108 г. Рим,
Ватиканские музеи.*

*Плотина, жена Траяна.
Мрамор. 110-е гг.
Рим, Капитолийские музеи.*



Династия Антонинов. ИМПЕРАТОР ТРАЯН. 97–117 гг.



«Ульпий Криний Траян... [был] родом из Италики в Испании, из фамилии скорее древней, чем знатной. Государством он управлял так, что всех принцев превзошел заслугами, а также необычайной учтивостью и храбростью. Границы Римской империи... он расширил по всем направлениям. Он восстановил города за Рейном в Германии. Дакию, победив Децибала, он покорил, создав провинцию за Дунаем...»

«Однако военную славу его превзошла учтивость и умеренность. В Риме и в провинциях он держал себя со всеми, как с равными... Почти как бог, он ничего, кроме почтения, во всем мире не заслужил и при жизни, и после смерти».

«Единственный из всех [принцев], он был похоронен в Городе. Кости его, собранные в золотую урну, были помещены на Форуме, который он построил, под колонну, которая была высотой 144 шага. И такая память осталась о нем, что вплоть до нашего времени в сенате приветствуют принцев не иначе как „[Будь] счастливее Августа и лучше Траяна“» (Евтропий).



Бюст Траяна. Бронза.
Около 117 г. Анкара,
Археологический музей.

Колонна Траяна на Форуме
Траяна в Риме.
Прах императора покоился
в урне в основании Колонны.
110–113 гг.

Пленных даков подводят
к Траяну. Рельеф Колонны
Траяна. 110–113 гг.

Римский легионер с отрубленной
головой дака. Рельеф с Колонны
императора Траяна на Форуме
Траяна в Риме. Начало II в.

ФОРУМ ИМПЕРАТОРА ТРАЯНА В РИМЕ



Форум Траяна. Макет-реконструкция.

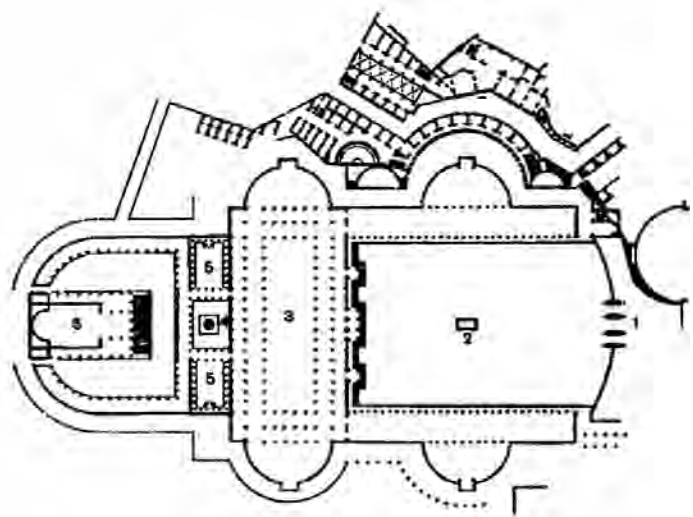
Портик Базилики Ульпия на Форуме Траяна. Порттик венчают три колесницы. Изображение на монете времени Траяна. 113–117 гг.

*Вид Форума с рынком Траяна (на втором плане).
Макет-реконструкция.*

*Арка Траяна на Форуме Траяна.
Изображение на монете времени Траяна. 113–117 гг.*

*Форум Траяна. Архитектор Аполлодор Дамасский. План:
1. Триумфальная арка; 2. Конная статуя Траяна;
3. Базилика Ульпия; 4. Колонна Траяна; 5. Греческая и
Латинская библиотеки; 6. Храм Траяна.*





Династия Антонинов. ИМПЕРАТОР АДРИАН. 117–138 гг.



«Достигнув власти, Адриан немедленно стал следовать древнему образу действия и направил свои усилия к тому, чтобы установить мир по всему кругу земель. Ведь не только отпали те народы, которые покорил Траян, но и производили нападения мавры, шли войной сарматы, нельзя было удержать под римской властью британцев, был охвачен мятежами Египет, наконец — проявляли непокорный дух Ливия и Палестина».

«Всех лучших людей из сената он привлек в общество собеседников императорского величества. От цирковых игр, кроме назначенных в его честь в день его рождения, он отказался. И на сходках, и в сенате он часто говорил, что будет вести государственные дела, не забывая о том, что это — дела народа, а не его собственные».

«В то же время он прекрасно владел оружием и был очень сведущ в военном деле; он упражнялся даже с гладиаторским оружием. Он бывал строгим и веселым, приветливым и грозным, необузданным и осмотрительным, скупым и щедрым, простодушным и притворщиком, жестоким и милостивым; всегда во всех проявлениях он был переменчивым» (Элий Спартиан).





«Умирая, он, говорят, написал такие стихи:

*Душа моя, скиталица,
И тела гостя, спутница,
В какой теперь уходишь ты,
Унылый, мрачный, голый край,
Забыв веселость прежнюю».*

«Предзнаменования его смерти были следующие: когда он в последний раз праздновал день своего рождения и молился за Антонина, его претекста сама соскользнула с его головы и открыла ее. Перстень, на котором было вырезано его изображение, сам собой упал с пальца. Перед днем его рождения кто-то вошел в сенат с воплями: это взволновало Адриана так, как будто тот говорил о его смерти, хотя слов никто разобрать не мог. Когда Адриан хотел сказать в сенате: „После смерти моего сына“, — он сказал: „После моей смерти“. Кроме того, он видел во сне, будто он получил от отца снотворное питье. Он видел также во сне, будто его задушил лев» (Элий Спартиан).

Портрет императора Адриана. Бронза. 120-е гг. Париж, Лувр.

Портрет Сабины, жены Адриана. Мрамор. 120-е гг. Рим, Национальный Римский музей.

Адриан и Сабина в образе Марса и Венеры. Мрамор. 120-е гг. Париж, Лувр.

Портрет Сабины. Мрамор. 120-е гг. Рим, Капитолийские музеи.

Бюст молодого Адриана. Мрамор. 110–120 гг. Рим, Ватиканские музеи.

Статуя Антиноя. Мрамор. Около 130–138 гг. Неаполь, Археологический музей.





«Когда он плыл по Нилу, он потерял своего Антиноя, которого оплакал как женщина. Об Антиное идет разная молва: одни утверждают, что он обрек себя ради Адриана, другие выдвигают в качестве объяснения то, о чем говорит его красота и чрезмерная страсть Адриана. Греки, по воле Адриана, обожествили Антиноя и утверждали, что через него даются предсказания, — Адриан хвалился, что сам сочинял их» (Элий Спартиан).



Династия Антонинов. ИМПЕРАТОР АДРИАН. 117–138 гг.



*Антиной в образе Диониса. Мрамор.
120–130 гг. Рим, Ватиканские музеи.*

*Антиной. Мрамор. Между 117 и 138 гг.
Неаполь, Археологический музей.*

*Базальтовый бюст Адриана. 120-е гг.
Берлин, Государственные музеи.*

*Антиной в образе божества. Мрамор.
130-е гг. Париж, Лувр.*

*Антиной. Мрамор. 120–130 гг. СПб.,
Эрмитаж.*

ПОСТРОЙКИ АДРИАНА

Портрет архитектора Аполлодора Дамасского, работавшего для императоров Траяна и Адриана. Мрамор. II в. Мюнхен, Глиптотека.

Арка Адриана в Афинах на границе старого и римского города. Надписи с обеих сторон: «Это город Тесея», «Это город не Тесея, а Адриана». 120–130 гг.

Руины храма Венеры и Рому в Риме. Архитектор император Адриан. 136–137 гг.



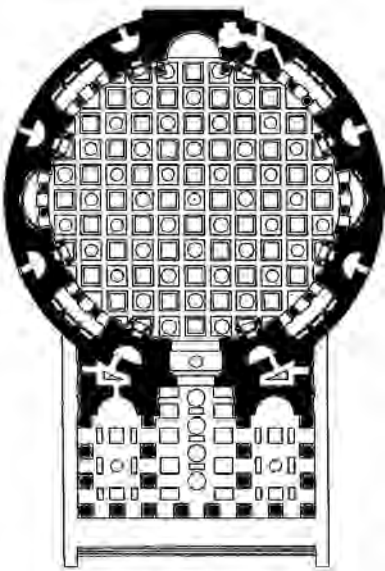
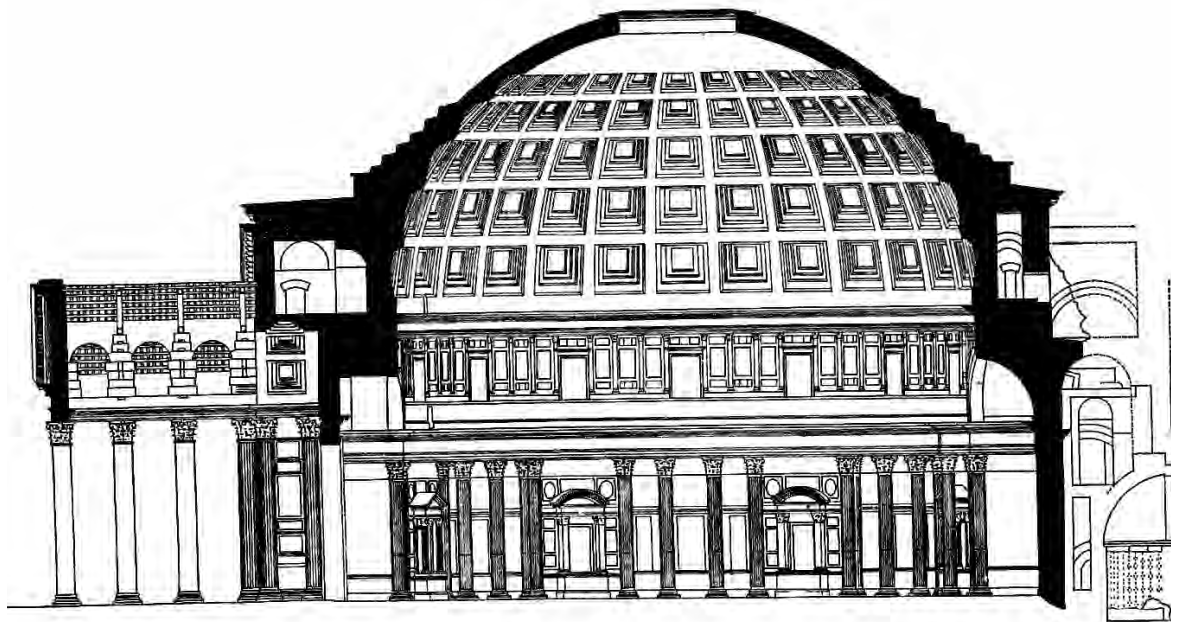


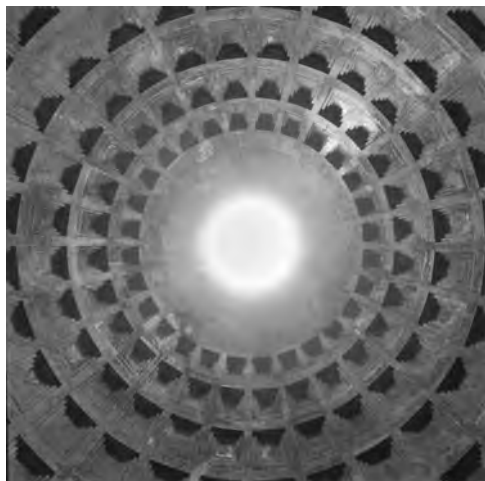
*Пантеон Агриппы
(Храм всех богов)
в Риме. Около 125 г.*

*Мавзолей императора
Адриана
(в Средние века —
укрепленный замок
римских пап — Кастель
Сант Анджело).
130-е гг. Рим.*



ПАНТЕОН





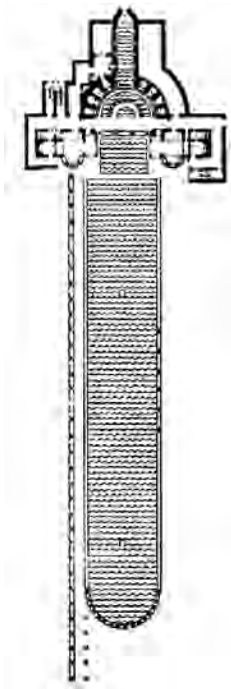
*Пантеон (Храм всех богов) в Риме.
Около 125 г.
Разрез. План. Макет-реконструкция.
Купол. Общий вид.*

*Интерьер Пантеона. Вид из портика.
Гравюра А. Санти. XVIII в.*



ВИЛЛА ИМПЕРАТОРА АДРИАНА В ТИБУРЕ (125–135 ГГ.)

«Свою Тибуртинскую виллу он отстроил удивительным образом: отдельным ее частям он дал наиболее славные названия провинций и местностей, например, Ликей, Академия, Пританей, Канон, Расписная галерея, Темнейшая долина. И чтобы ничего не пропустить, он сделал там даже подземное царство» (Элий Спартиан).



Голуби, пьющие из чаши.
Мозаика. Сейчас — Рим, Капитолийские музеи.

Канон — повторение египетского канала Канона.
План Канона.

Нападение тигра на семью кентавров. Мозаика.
Повторение эллинистического оригинала.
Сейчас — Берлин, Государственные музеи.

«Морской театр» — рукотворный остров на вилле,
с двориком и фантаном в центре, место для уединенных
размышлений императора.



Династия Антонинов. ИМПЕРАТОР АНТОНИН ПИЙ. 138–161 гг.

«Антонин Пий выделялся своей наружностью, славился своими добрыми нравами, отличался благородным милосердием, имел спокойное выражение лица, обладал необыкновенными дарованиями, блестящим красноречием, превосходно знал литературу, был трезв, прилежно занимался возделыванием полей, был мягким, щедрым, не посягал на чужое, — при всем этом у него было большое чувство меры и отсутствие всякого тщеславия».

«Он управлял подчиненными ему народами с большой заботливостью, опекая всех и все, словно это была его собственность. Во время его правления все провинции процветали. Ябедники исчезли. Конфискация имущества происходила реже, чем когда бы то ни было».

«Высокий рост придавал ему представительность. А так как он был старым, стан его согнулся, и он, чтобы ходить прямо, привязывал себе на грудь липовые дощечки» (Юлий Капитолий).



Статуя Антонина Пия. Мрамор. Дрезден, Музей Альбертинум.

Статуя императора Антонина Пия в тоге. 3-я четверть II в.

Апофеоз Антонина Пия и Фаустины. Рельеф цоколя колонны Антонина Пия в Риме. Мрамор. Около 165 г. Рим, Ватиканские музеи.

Парад римских войск. Рельеф цоколя колонны Антонина Пия в Риме. Мрамор. Около 165 г. Рим, Ватиканские музеи.



Династия Антонинов. ИМПЕРАТОР МАРК АВРЕЛИЙ. 161–180 гг.



«Будучи еще мальчиком, он усиленно занимался философией. Когда ему пошел двенадцатый год, он стал одеваться как философ, и соблюдать правила воздержания: занимался в греческом плаще, спал на земле, и мать с трудом могла уговорить его ложиться на кровать, покрытую шкурами».

«В бытность свою салием он получил знамение ожидавшей его императорской власти: когда все они по обычаю бросали на подушку венки, то последние падали на разные места, а его венок попал на голову Марса, словно его надела какая-то невидимая рука».

«К народу он обращался так, как это было принято в свободном государстве. Он проявлял исключительный такт во всех случаях, когда нужно было либо удержать людей от зла, либо побуждать к добру, богато наградить одних, оправдать — выказав снисходительность — других. Он делал дурных людей хорошими, а хороших превосходными, спокойно переносил даже насмешки некоторых. Он оберегал государственные доходы и положил предел клевете ябедников, наложив пятно бесчестия на ложных доносчиков. Он презирал доносы, от которых могла бы обогащаться императорская казна».

«Сам Марк отличался таким спокойствием духа, что выражение его лица никогда не менялось ни от горя, ни от радости: он был последователем стоической философии, которую он перенял от превосходных преподавателей и сам усваивал из различных источников» (Юлий Капитолин).

«Вер отличался красивым телосложением, ласковым выражением лица, отпустил бороду почти так же, как это делают варвары, был высок, а наморщенный лоб придавал ему почтенный вид. Говорят, что он так заботился о своих золотистых волосах, что посыпал голову золотыми блестками, чтобы волосы у него еще больше отливали золотом. Речь у него была затрудненная. Он страстно любил игру в кости».

«Рассказывают, что [Луций Вер] ночи напролет играл в кости, ...шатался ночью по кабакам и лупанарам, закрыв голову обыкновенным капюшоном, какой носят в дороге, и пировал с разными проходимцами; затевал драки, скрывая от людей, кто он такой, и часто возвращался домой избитый, с синяками на лице и узнанный в кабаках, несмотря на свои старания остаться неизвестным. ...Он очень часто устраивал во время своих пиров гладиаторские бои, затягивая такие пиры на всю ночь и засыпая на пиришественном ложе, так что его поднимали вместе с подстилками и переносили в спальню».

*«Марк, зная о нем все, делал вид, что ничего не знает, стыдясь упрекать брата»
(Юлий Капитолин).*



***Бюст императора Марка Аврелия. 2-я половина II в.
Рим, Капитолийские музеи.***

***Голова Анния Вера (около 162–169 гг.) сына Марка Аврелия
и Фаустины Младшей. Мрамор. Около 169 г. Париж, Лувр.***

***Марк Аврелий совершает жертвоприношение. Рядом —
римские легионеры со штандартами своих отрядов. Мрамор.
Около 180 г. С Арки императора Константина Великого в Риме.***

***Портрет Луциллы (149–182 гг.), дочери Марка Аврелия,
жены Луция Севера. Рим, Национальный Римский музей.***

***Луций Вер, соправитель Марка Аврелия (161–169 гг.). Мрамор.
СПб., Эрмитаж.***



«Время человеческой жизни — миг; ее сущность — вечное течение; ощущение смутно, строение всего тела бrenно; душа неустойчива, судьба загадочна; слава недостоверна. Все относящееся к телу подобно потоку, относящееся к душе — сновидению и дыму. Жизнь — борьба и странствие на чужбине. Но что может вывести на путь? Ничто, кроме философии. Философствовать же — значит оберегать внутреннего гения от поношения и изъяна, добиваться, чтобы он стоял выше наслаждения и страданий...»
(Марк Аврелий. «Размышления»).

Бюст Марка Аврелия.
Мрамор. 170-е гг. Рим,
Национальный Римский музей.

Арка Марка Аврелия
на Капитолии в Риме.
Изображение на монете. 179 г.

Марк Аврелий в жреческом
одеянии перед богиней Минервой.
Мрамор. Около 180 г.
С Арки императора
Константина Великого в Риме.

Конная статуя Марка Аврелия
на Капитолии в Риме.
Бронза. 170-е гг.



Династия Антонинов. ИМПЕРАТОР МАРК АВРЕЛИЙ. 161–180 гг.



«Много знатных лиц погибло во время Германской, или Маркоманской, войны, вернее — войны с множеством племен... Поэтому друзья часто советовали ему [Марку Аврелию] удалиться от военных действий и вернуться в Рим. Но он презрел их советы и продолжал оставаться; ушел он не раньше, чем закончил все войны» (Юлий Капитолин).

Династия Антонинов. ИМПЕРАТОР КОММОД. 180–192 гг.



«Еще мальчиком Коммод был прожорлив и бесстыден. Юношей он поносил всех, кто окружал его, и все поносили его. Тех, кто над ним смеялся, он приказывал бросать диким зверям».

«В то время как он вел такой образ жизни, в его правление римскими легатами были побеждены мавры, побеждены даки, усмирены Паннония и Британия, причем в Германии и Дакии провинциалы отказывались подчиняться его власти; все это было приведено в порядок его полководцами. Сам Коммод ленился писать заключения и был так небрежен, что на многих прошениях писал одно и то же заключение. В очень многих случаях он писал в письмах только „будь здоров“. Все делалось другими, которые, как говорят, обращали в свою пользу даже деньги, взимавшиеся в виде штрафа» (Элий Лампридий).



Коммод в юности. Мрамор. 180-е гг. Рим, Ватиканские музеи.

Коммод в образе Геркулеса. Мрамор. Около 185 г. Рим, Дворец Консерваторов.

Бюст юного Коммода. Мрамор. Около 170 г. Рим, Капитолийские музеи.

Криспина, жена Коммода. Мрамор. 180-е гг. Рим, Национальный Римский музей.

Портрет Коммода. Камея (сардоникс). 180-е гг. СПб., Эрмитаж.

Коммод и Криспина в образе Венеры и Марса. Мрамор. 170-е гг. Неаполь, Археологический музей.

«...[Заговорщики] испугались, как бы Коммод, извергнув весь яд, не протрезвился и им всем не пришлось погибнуть, и убеждают некоего юношу по имени Нарцисс ...войти к Коммоду и задушить его... Ворвавшись, он, схватив за горло ослабевшего от яда и опьянения Коммода, убивает его. Таков был конец жизни Коммода, который процарствовал тринадцать лет после смерти отца, превосходил благородством происхождения государей, своих предшественников, красотой и стройностью тела больше всех выделялся среди людей своего времени, ...никому не уступал в меткости и ловкости рук. Если бы только он не запятнал этих прекрасных качеств позорными занятиями...!» (Геродиан).

РИМСКИЙ ПОРТРЕТ I и II вв.



Голова статуи Луция (или Гая) Цезаря, сына дочери Августа, Юлии Старшей, и Агриппы. Мрамор. До 2 г. Коринф, Музей.



Голова Агриппины Младшей, матери Нерона. Мрамор. Середина I в. Копенгаген, Глиптотека Новый Карлсберг.



Портрет римлянки («Сириянка»). Мрамор. 160–170 гг. СПб., Эрмитаж.

Портрет Матидии Старшей, сестры Траяна. Мрамор. Конец I в. Рим, Капитолийские музеи.

Портрет женщины. Из Фаро (Португалия). Мрамор. 117–125 гг. Лиссабон, Музей Археологии и Этнологии.



Голова Мемнона, ученика философа Герода Аттика. Мрамор. 150–160 гг. Берлин, Государственные музеи.

Портрет молодой римлянки эпохи Флавиев. Мрамор. 80–90 гг. Рим, Капитолийские музеи.



*Голова юноши. Из Мелитополя. Мрамор.
160-е гг. Берлин, Государственные музеи.*

*Портрет молодого императора Адриана.
Мрамор. 110-е гг. Остия, Музей.*

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОВИНЦИИ РИМА

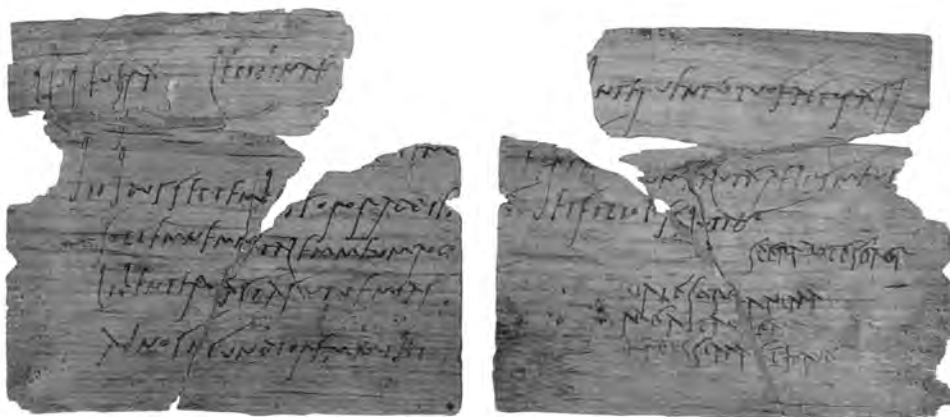


*Голова кельтского вождя. Бронза. I в.
Берн, Исторический музей.*

*Римские воины представляют
императору Траяну свои трофеи —
отрубленные головы даков.
Рельеф Колонны Траяна в Риме.
Начало II в.*



*Приглашение на день рождения
одной жене военачальника от другой,
написанное на коре дерева.
Найдено в Виндоланде (Англия).*





Римская дорога по Уилдейл-Мур в Северном Йоркшире (Англия). 120-е гг.

Вал императора Адриана, отмечающий северную границу римских владений в Британии (сейчас — на территории Шотландии). 122–123 гг.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОВИНЦИИ РИМА





Мемориальная гробница Гая и Луция Цезарей и Триумфальная арка близ Гланума (сейчас Сен-Реми, Франция). 30–20 гг. до н. э.

Акведук Клавдия в Риме. I в.

Двухколесная повозка на римской дороге у одной из мильевых вех, которые были расставлены по всем дорогам Империи. Рельеф надгробия. I в.

Сцена в школе. Рельеф галло-римского саркофага. Мрамор. III в. Турин, Музей.

Римский амфитеатр в Ниме (Южная Франция). Конец I в.

Варвары-военнопленные у римского трофея. Рельеф римской Триумфальной арки в Карпентрасе (Франция). Известняк. 9 г. до н. э.

РИМСКАЯ АФРИКА в I—III вв.



*Римский амфитеатр в Тиндре
(Эль-Джем, Тунис). III в.*

*Сценический фасад театра в Сабрате
(Ливия). Около 180 г.*

*Триумфальная арка в Тимгаде (Алжир).
Конец II в.*

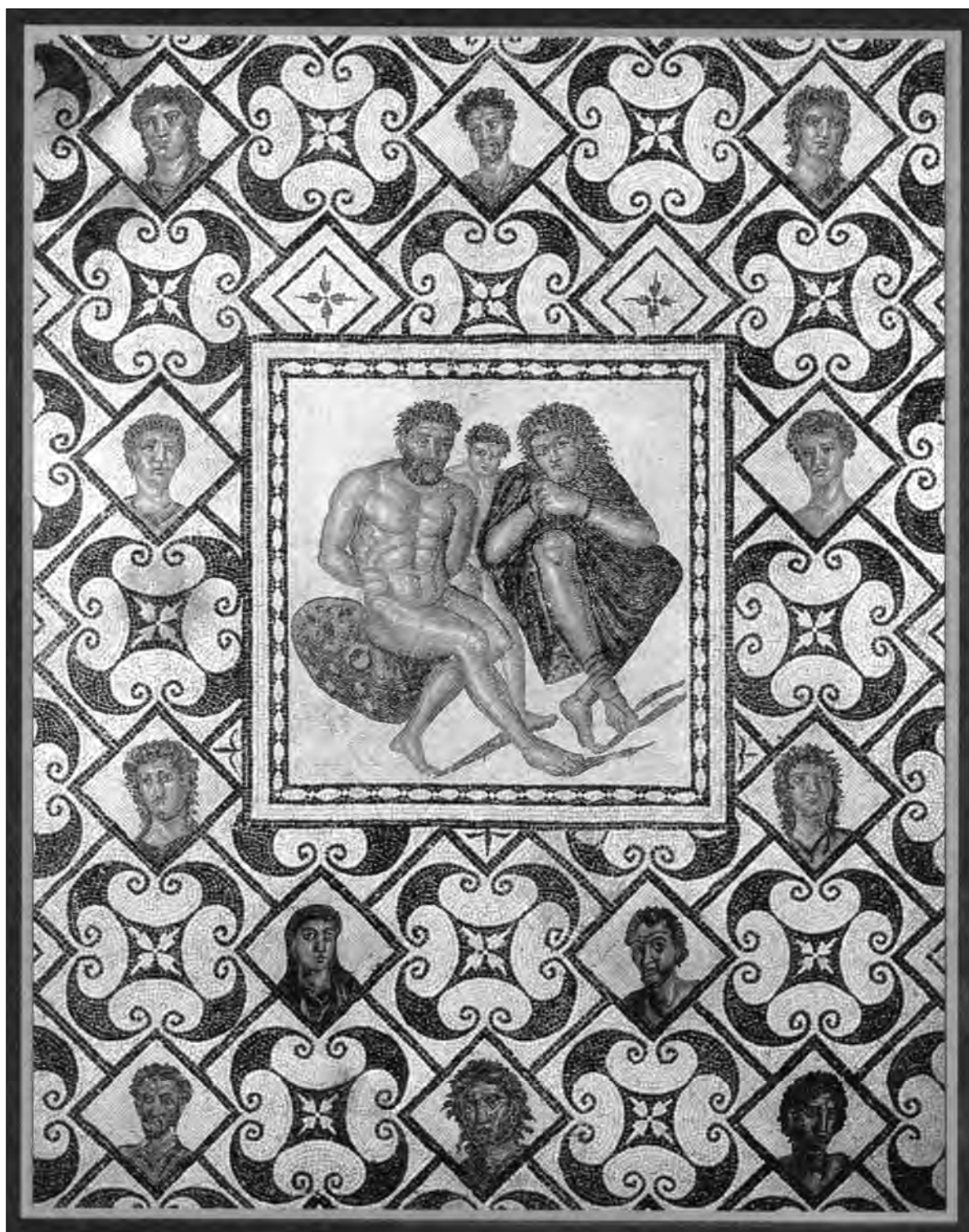
*Римский преторий в Ламбезисе
(Алжир). 1-я половина II в.*

Рынок в Лептис Магна (Ливия). I в.





РИМСКАЯ АФРИКА в I—III вв.



*Ливийцы-невольники.
Мозаика из Типасы. II в.
Типаса, Музей.*

*Римская усадьба в Африке.
Мозаика из Табарки. IV в. Тунис,
Музей Бардо.*

*Руины терм Антонина Пия
в Карфагене (при Адриане
переименован в Адрианополь).
Середина II в.*



*Золотая монета, выпущенная в ознаменование
посещения императором Адрианом Африки.
Изображена женская фигура — олицетворение
Африки, в головном уборе из слоновых бивней
и фигурой льва рядом. 120-е гг.*

РИМСКАЯ СИРИЯ И МАЛАЯ АЗИЯ

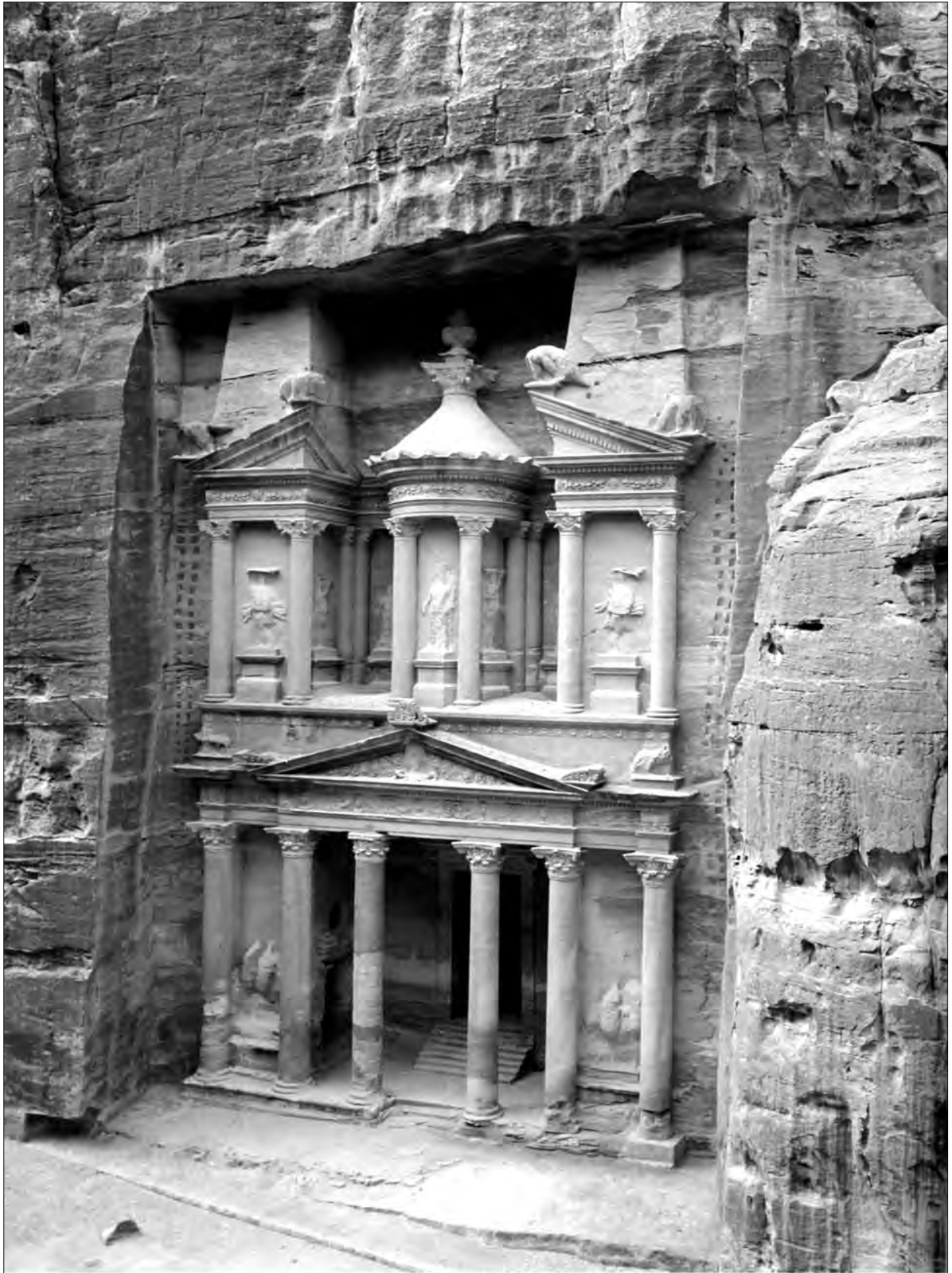


Театр в Аспендосе (Малая Азия). 2-я половина I в.

Монета императора Адриана, выпущенная в память посещения им Малой Азии. 120-е гг.

Фасад библиотеки римского времени в Эфесе. II в.

Мавзолей Эль-Хазнэ в Петре. II в.



ЕГИПЕТ В РИМСКУЮ ЭПОХУ



*Портрет двух братьев. Из Фаюма.
Энкаустика. II в.
Каир, Египетский музей.*

*Золотая монета времени посещения
Египта императором Адрианом.
Изображена женская фигура,
олицетворяющая Египет,
с систром Исиды в руках. II в.*

*Приближенный императора Адриана,
Антиний, в образе египетского
фараона. Красный порфир. 120–130 гг.*





Сцена мумификации. Рельеф саркофага римского времени. Египет. I в. Александрия, Музей.

Крышка саркофага Артемидора с его портретом. Из Фаюма. Энкаустика. II в. Лондон, Британский музей.

Египетский бог Анубис в образе римского legionera. Конец I в. Александрия, катакомбы Ком-эш-Шукафа.



ФАЮМСКИЙ ПОРТРЕТ



Фаюмские портреты — древнеегипетские заупокойные живописные портреты, найденные в 1887 г. в оазисе Эль-Фаюм в Египте. Писались на доске цветными восковыми красками (техника энкаустики). Большая часть портретов относится ко II–III вв.

Портрет юноши. II в. Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Портрет девушки. Начало III в. Берлин, Государственные музеи.

Портрет мужчины. II в.

Женский портрет. II в. Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Мужской портрет. Начало II в.

ФАЮМСКИЙ ПОРТРЕТ





*Юноша в золотом венке. II в.
Москва, ГМИИ
имени А. С. Пушкина.*

*Мужской портрет. II в.
Москва, ГМИИ
имени А. С. Пушкина.*

*Женский портрет. II в.
Лондон, Британский музей.*

Мужской портрет. II в.

*Мужской портрет. II в.
Париж, Лувр.*

ВОЙНА 193–197 гг. ЗА ИМПЕРАТОРСКУЮ ВЛАСТЬ



«[После убийства Коммода] сейчас же передали власть префекту города — Публию Гельвию Пертинаксу. [Пертинакс] был целиком погружен в науку и придерживался древних нравов, он же был не в меру бережлив... Солдаты, которым всего казалось мало, после того как все в мире было уже исчерпано и истрачено, позорно убили его на 80-й день власти, подбитые на это Дидием».

«Род его [Дидия Юлиана] был очень знатен, и сам он отличался глубокими знаниями городского права... И он недолго обладал желанной властью. Ибо Септимий Север... как только стало известно о происшедшем в Риме, сейчас же провозглашен был императором и разбил в сражении Юлиана близ Мульвиева моста. Посланные вслед за убегающим зарубили его в Риме близ Палатина».

«[Север] принудил к смерти Песценния Нигера у Кизика и Клавдия Альбина у Лугдуна, нанеся им поражение. Первый, захватив Египет, начал там войну в надежде на власть; другой был зачинщиком убийства Пертинакса... он, находясь еще в Галлии, захватил власть» (**Аврелий Виктор**).

«После того, как был убит Дидий Юлиан, императорскую власть получил Север, который был родом из Африки. Место его рождения — город Лептис; отец его назывался Гетой, предки были римскими всадниками».

Император Пертинакс (1 января — 28 марта 193 г.). Мрамор. Конец II в. Рим, Ватиканские музеи.

Портрет Дидия Юлиана (28 марта — 1 июня 193 г.). Мрамор. Конец II в. Рим, Капитолийские музеи.

Клодий (Клавдий) Альбин. Монета времени его правления (193–197 гг.).

Клодий (Клавдий) Альбин (узурпатор 193–197 гг.). Мрамор. Рим, Ватиканские музеи.

Песценний Нигер (узурпатор 193–194 гг.). Монета времени его правления.

Септимий Север. Монета времени его правления. 190-е гг.

Семья Северов: Септимий Север, Юлия Домна, Гета. Живопись на доске. Берлин, Государственные музеи.

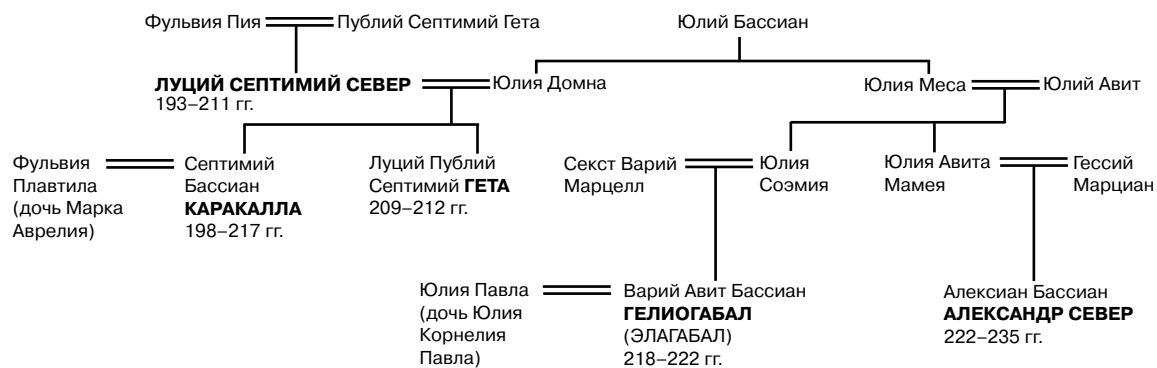
Колоссальная голова Септимия Севера в образе бога Сераписа. Из храма Северов в Джемиле. Мрамор. Начало III в. Джемиля, Музей.

Септимий Север — «родом ливиец, проявлявший силу и энергию в управлении, привыкший к суровой и грубой жизни, очень легко переносивший трудности, быстрый в своих замыслах и скорый в исполнении задуманного».

«Все в нем вызывало удивление, больше всего присутствие ума, стойкость, твердая уверенность, смелость в дерзновениях».

«Всех видных сенаторов и людей, выдающихся в провинциях происхождением или богатством, он беспощадно убивал, гневаясь... на врагов, а на самом деле из-за своей ненасытной алчности» (Геродиан).

ДИНАСТИЯ СЕВЕРОВ. 193–235 гг.





Император Септимий Север.
Мрамор. Начало III в. СПб., Эрмитаж.

«Вот император, действительно оправдывающий свои имена — действительно упорный (лат. Пертинакс), действительно жестокий (лат. Север)».

«Довольно много времени он отдавал занятиям философией и отличался необыкновенным рвением к наукам» (Элий Спартиан).

«Он был достаточно обучен латинскому языку, хорошо владел греческой речью, но лучше всего усвоил пуническое красноречие» (Аврелий Виктор).

Юлия Домна, жена Септимия Севера, мать императоров Геты и Каракаллы. Мрамор. 1-я четверть III в. Рим, Национальный Римский музей.

«Когда он [Септимий Север], овдовев, решил жениться во второй раз, он стал разузнавать гороскопы невест... Когда он узнал, что в Сирии есть одна девушка, гороскоп которой гласит, что она выйдет замуж за царя, он приложил все старания к тому, чтобы жениться на ней...» (Элий Спартиан).

Арка императора Септимия Севера, возведенная на Римском Форуме в 203 г. в честь победы над Парфией и завоевания Северной Месопотамии (199 г.).

Династия Северов. ИМПЕРАТОР СЕПТИМИЙ СЕВЕР. 193–208 гг.



**Монета Геты (изображен справа)
и Каракаллы. 208–212 гг.**



**Юлия Домна, жена Септимия Севера.
Мрамор. Около 200 г. Мюнхен, Глиптотека.**

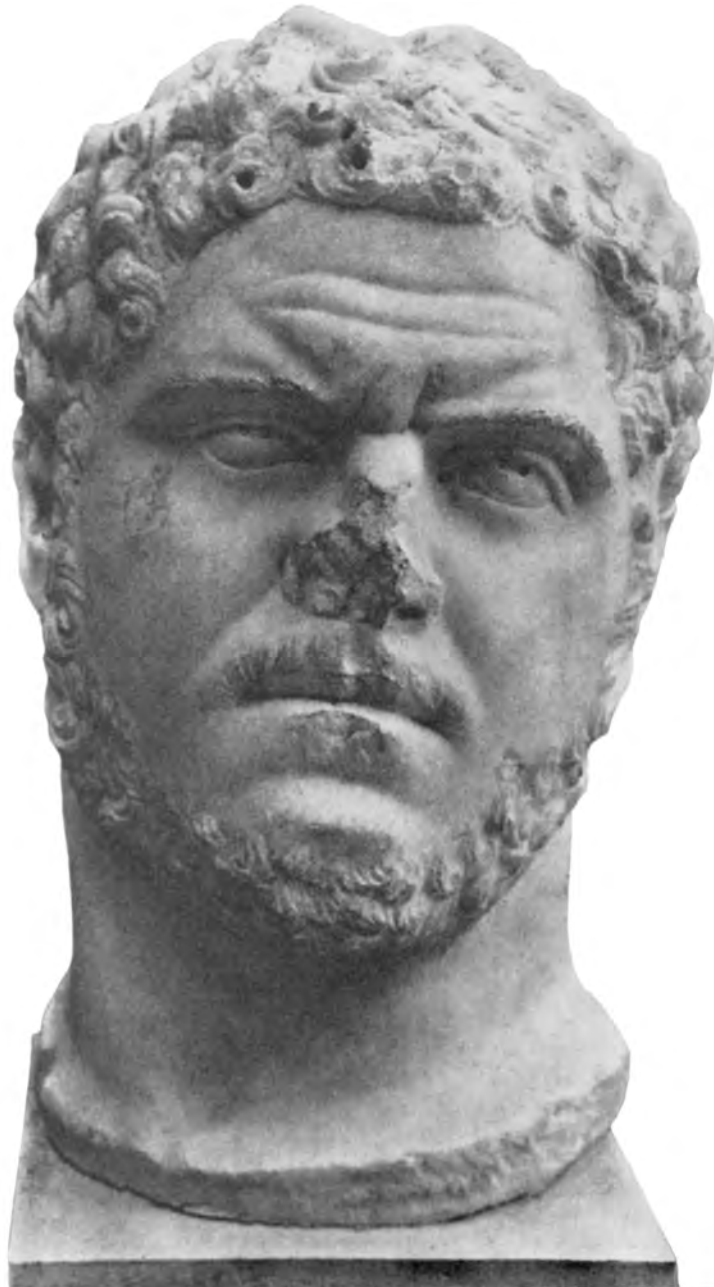
**Юлия Домна. Каменя (сардоникс).
Конец II в. Рим. СПб., Эрмитаж.**

Сын Септимия Севера и Юлии Домны, «Гета был красивым юношей с крутым нравом, но не бессовестный; он был скуп, занимался выяснением значения слов, был лакомкой, любил поест и имел пристрастие к вину с приправами» (Геродиан).

«Он получил прозвище [Каракалла] от названия спускающегося до пят одеяния, которое он раздавал народу... В детстве Каракалла отличался мягкостью нрава и приветливостью. Но выйдя из детского возраста, он стал замкнутым, угрюмым и высокомерным».

После смерти Септимия Севера «его сыновья, взрослые молодые люди, поспешили в Рим, ссорясь друг с другом уже в пути... Вместе они не оставались и за одним столом не ели — слишком сильно было подозрение, что один брат успеет тайком отравить ядом еду другого брата... Юлия Домна была бессильна помирить их... Каракалла не выдержал: подстрекаемый жаждой единовластия, он решил действовать мечом и убийством. ...Смертельно раненный Гета, облив кровью грудь матери, расстался с жизнью. Каракалла причислил его к богам...» (Геродиан).

Династия Северов. ИМПЕРАТОР КАРАКАЛЛА. 211–217 гг.



«Всех германцев он расположил к себе и вступил с ними в дружбу. Часто, скинув римский плащ, он менял его на германскую одежду... Он накладывал себе светлые волосы и причесывал их по-германски. Варвары радовались, глядя на все это, и любили его чрезвычайно...»

«В походах он чаще всего шел пешком, редко садился в повозку или на коня; свое оружие он носил сам...»

«Вечно подозревая во всех заговорщиков, он непрестанно вопрошал оракулы, посылал повсюду за магами, звездочетами, гадателями...» (Геродиан).

Император Каракалла, сын Септимия Севера. Мрамор. III в. Гуэльма (Северная Африка). Музей.

Портрет Каракаллы. Камень (сардоникс). Начало III в. СПб., Эрмитаж.

Апофеоз Каракаллы. Камень. Около 217 г. Нанси, Муниципальная библиотека.

Бюст Каракаллы. Мрамор. Берлин, Государственные музеи.



ДИНАСТИЯ СЕВЕРОВ. 193–235 гг.



«[После убийства Каракаллы] для прекращения волнения среди воинов Макрин немедленно выплатил им жалованье свыше обычного, как это и естественно для человека, желающего загладить преступное убийство императора». «После прочтения письма [о смерти Каракаллы] долго продолжалось молчание, так как решительно никто не поверил в смерть Каракаллы». «Макрин, взяв на себя ведение войны против парфян, отправился в поход, стремясь смыть величием победы позор своего происхождения и бесславие своей прежней жизни. Но после столкновения с парфянами он был покинут легионами, которые перешли на сторону Гелиогабала, и был убит». «Римляне жили в большой безопасности, и в подобии свободы тот единственный год, когда императором был Макрин» (Элий Лампридий).



«Он [Гелиогабал] был юн возрастом, в делах несведущ и необразован» (Геродиан).

«Он добивался того, чтобы в Риме почитался только один бог Гелиогабал».

«[Став императором] Гелиогабал, ...[сразу] предался неистовству и, справляя родной ему культ бога солнца, с упоением плясал, одеваясь в самые пышные наряды... Ко всякой римской и греческой одежде он испытывал презрение».

«Гелиогабал приносил и человеческие жертвы, выбирая для этой цели по всей Италии знатных и красивых мальчиков».

«Хотя и казалось, что император посвящает все свое время пляскам и священнодействиям, он все же казнил большое число знатных и богатых людей, на которых ему донесли, что они не одобряют его и смеются над его поведением».



Бюст Каракаллы (211–217 гг.). Мрамор. Берлин, Государственные музеи.

Статуя Макрина (217–218 гг.) (не принадлежал к Северам). Мрамор. Рим, Ватиканские музеи.

Монета Диадумениана, сына и соправителя Макрина (218 г.) (не принадлежал к Северам).

Гелиогабал на колеснице, которую тянут две женщины. Камея (белая яшма). Прорисовка.

Юлия Сэмия, мать Гелиогабала. Убита вместе с сыном в 222 г. Изображение на монете.

Юлия Павла (около 195–222 гг.), жена Гелиогабала. Рим, Дворец Консерваторов.

Император Александр Север (222–235 гг.). Халцедон. СПб., Эрмитаж.

Император Гелиогабал. (218–222 гг.). Мрамор. III в. Рим, Капитолийские музеи.

«Часто он запирали своих пьяных друзей и ночью внезапно впускал к ним прирученных львов, леопардов, медведей, так что, пробудившись на рассвете или, что было еще страшнее, ночью, они находили в той же комнате львов, медведей, леопардов; многие от этого испускали дух».

«Но войны, и главным образом преторианцы — потому ли, что они знали, какую беду готовит Александру Гелиогабал... сговорились между собой и составили заговор с целью освободить государство. Прежде всего были умерщвлены различными способами соучастники его разврата, одних убили, отрубив им необходимые для жизни органы, другим пронзили нижнюю часть тела, чтобы их смерть соответствовала образу их жизни... После этого бросились на Гелиогабала и убили его в отхожем месте, куда он бежал»
(Элий Лампридий).

Династия Северов. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР СЕВЕР. 222–235 гг.



Император Александр Север. Бронза. 222–235 гг. Фессалоники, Археологический музей.

Александр Север, двоюродный брат императора Гелиогабала, «ввел очень большое число разумных законов, ...занимался геометрией, изумительно рисовал, замечательно пел. Он играл на лире, на флейте, на органе, на трубе, но став императором, перестал заниматься этим. Борцом он был первоклассным. Он отличался в военном деле, так что много воевал, и притом со славой».

«Александр относился с презрением к смерти».

«Император Александр сказал: „Я понимаю, отцы сенаторы, что я получил то, чего желал, и я принимаю это с удовлетворением, выражая вам и чувствуя великую благодарность. Я приложу все усилия к тому, чтобы и то имя, которое я принес с собой, вступая во власть, стало таким, чтобы и другие пожелали носить его и чтобы вы в ваших удобных богам постановлениях предлагали его хорошим императорам“».

«Он совершал по утрам священнодействие в своем помещении для ларов, где у него стояли изображения и обожествленных государей, только самых лучших, избранных, и некоторых особенно праведных людей, среди которых был и Аполлоний Тианский, а также, как рассказывает историк его времени, — Христос, Авраам, Орфей и другие подобные им, а равно и изображения предков» (Элий Лампридий).

Александр Север. Мрамор. 230-е гг. Париж, Лувр.

Юлия Мамея (185–235 гг.), мать Александра Севера. Мрамор. 230-е гг. Рим, Капитолийские музеи.

«Мать имела над ним [Александром Севером] чрезмерную власть, а он был покорен всем ее приказам» (Геродиан).

Александр Север. Мрамор. III в. СПб., Эрмитаж.

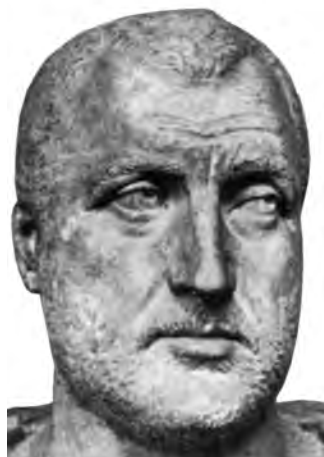




СОЛДАТСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ. 235–284 гг.



**Максими́н Фраки́ец (235–238 гг.).
Мрамор. Рим, Ватиканские музеи.**



**Горди́ан II. Мрамор. Рим,
Дворец Консерваторов.**



**Горди́ан I (238 г.). Мрамор.
Англия, собрание Хоуард.**

«Максими́н был родом из фракийского селения... В раннем детстве он был пастухом. Он выделялся своим огромным ростом, ...славился храбростью, отличался мужественной красотой, неукротимым нравом, был суров, высокомерен, презрителен в обращении, но часто ...проявлял справедливость».

«Максими́н хотел, чтобы везде царил военная дисциплина; сообразуясь с ней, он желал исправлять также и гражданские порядки, а это не к лицу императору, который хочет, чтобы его любили. Он был убежден в том, что власть нельзя удержать иначе как жестокостью. Вместе с тем он опасался, как бы вследствие его низкого, варварского происхождения его не стала презирать знать».

«Смерть их [Максими́на с сыном] вызвала огромную радость у провинциалов и тяжкую скорбь у варваров» .

«Добрые нравы, однако, не принесли [Горди́ану I] никакой пользы. При таком почтенном образе жизни, постоянно читавший Платона, Аристотеля, Цицерона, Вергилия и других древних писателей, он закончил свою жизнь не так, как заслужил».

«Против обоих Горди́анов выступил в Африке некий Капелиан... Горди́ан послал против Капелиана своего сына Горди́ана II; произошла битва, в которой младший Горди́ан был убит. Когда старый Горди́ан узнал об этом, он, не имея в Африке никакой защиты, страшась Максими́на, ...удрученный горем и упавший духом, окончил жизнь, удавившись в петле».

Горди́ан погиб в бою с Капелианом, сторонником Максими́на, «ибо не был сведущ в военном искусстве, так как его отвлекали от военного дела жизненные блага, которыми обычно наслаждается знать»
(Юлий Капитолин).



Путиен (238 г.). Мрамор. Рим, Капитолийские музеи.



Бальбин (238 г.). Мрамор. СПб., Эрмитаж.



Гордиан III (238–244 гг.). Мрамор. III в. Рим, Национальный Римский музей.

«Когда это стало известно в Риме, сенат, опасаясь природной, а теперь уже и неизбежной жестокости Максимиана, избрал после смерти обоих Гордианов императором Максима, бывшего префекта Рима, который отличился, занимая много высоких должностей, человека родом не знатного, но прославившегося своими доблестными деяниями, и Клодия Бальбина, известного своим изнеженным нравом».

[Бальбин] «столь славен своим высоким происхождением, что является человеком, необходимым государству ввиду мягкости своего характера и безупречности своей жизни, которая с детских его лет вся прошла в занятиях науками и литературой».

«Воины были недовольны тем, что потеряли императора, которого выбрали сами, а имеют теперь таких императоров, которых избрал сенат. Нет возможности держать в узде воинов, если души их полны ...ненависти. Все более и более стали они озлобляться против новых императоров и изо дня в день думать о том, кого бы им самим объявить императором».

Гордиан III, сын дочери Гордиана II, либо его сын, ставший императором в 12 лет., «был жизнерадостным, красивым, обходительным человеком, всем он нравился, в жизни был приятен, отличался образованностью — словом, он обладал всеми данными, чтобы быть императором — кроме возраста» (Юлий Капитолин).

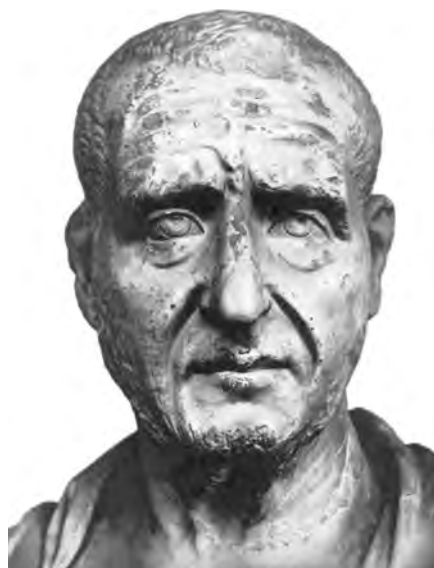
СОЛДАТСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ. 235–284 гг.



**Филипп Аравитянин (244–249 гг.).
Мрамор. СПб., Эрмитаж.**



**Филипп Младший, сын
и соправитель Филиппа
(244–249 гг.). Мрамор.**



**Деций (248–251 гг.). Мрамор.
Рим, Дворец Консерваторов.**

«Гордиан III однажды поднялся на трибуну и стал жаловаться военачальникам и легионерам в надежде добиться отнятия власти у Филиппа. Но он ничего не достиг этой своей жалобой, обвиняя Филиппа... Наконец, Гордиан III, видя, что его ставят ниже Филиппа, стал просить, чтобы ...власть была разделена между ними на началах равенства, но не добился и этого. Потом он просил, чтобы его считали не августом, а только цезарем, но не получил и этого. Он даже просил, чтобы его назначили префектом у Филиппа, но и в этом ему было отказано. Последняя просьба Гордиана III заключалась в том, чтобы Филипп взял его к себе в военачальники и сохранил ему жизнь. ...Однако Филипп ...отдал приказ увести юного императора и, не обращая внимания на его крики, снять с него все и убить» (Юлий Капитолин).



*Гостилиан (250–251 гг.).
Монета времени его правления.*



*Сражение Валериана (253–259 гг.) и персидского
шаха Шапура. Камень. Иран, III в. Париж, Лувр.*



*Требониан Галл (251–253 гг.).
Бронза. Нью-Йорк, Метрополитен
Музей.*

ИМПЕРАТОР ГАЛЛИЕН. 253–268 гг.

Император Галлиен, сын и с 253 г. соправитель Валериана. Мрамор. III в. СПб., Эрмитаж.

Салонина, жена Галлиена, в образе Венеры Прародительницы. Мрамор. III в. СПб., Эрмитаж.

Император Валериан. (253–260 гг.). Мрамор. 250-е гг. Копенгаген, Глиптотека Новый Карлсберг.

Портрет Галлиена. Из Дома весталок в Риме. Мрамор. 260-е гг. Рим, Национальный Римский Музей.

Арка Галлиена и Салонины в Риме. 262 г.

«Саркофаг философа Плотина». 270-е гг. Рим, Ватиканские музеи.



«После того, как был взят в плен Валериан..., в то время, когда состояние государства стало шатким, когда Оденат захватил власть на Востоке, а Галлиен, узнав о гибели отца, радовался, — войска бродяжничали, роптали...»

«Пил он всегда из золотых бокалов и не признавал стеклянных, говоря, что нет ничего более пошлого. Он всегда менял вина и никогда не пил на одном пире двух бокалов одного и того же вина».

«В то время как судьба свирепствовала — в разных частях государства моровая язва опустошала римский мир, Валериан был в плену, большая часть Галлии была захвачена, пошел войной Оденат, теснил Авреол... когда Эмилиан занял Египет, часть готов... захватив Фракию, опустошили Македонию, осадили Фессалонику, и нигде не было видно ни малейшего успокоения».

«Он часто шутил в то время, как со всех сторон терял власть над кругом земель» (Требеллий Поллион).



«...к Римскому государству он относился чуть ли не с презрением. Галлиен — чего нельзя отрицать — славился как оратор, как поэт и отличался во всех искусствах. Ему принадлежит тот эпиграммический [свадебная песнь], который оказался лучшим среди произведений ста поэтов. Когда он женил сыновей своих братьев... он, держа руки новобрачных..., сказал так:

„Дети, не медлите вы! Растворитесь в любовной усадле, Слейтесь, воркуйте нежнее голубок, сомкните объятия Ваши теснее плюща, целуйтесь раковин крепче!“

Но в императоре нужны одни качества, а от оратора или поэта требуются другие» (Требеллий Поллион).





Клавдий II Готский
(268–270 гг.). Бронза.
III в. Брешия, Музей.



Аврелиан (270–275 гг.).
Монета времени
его правления.



Тацит (275–276 гг.).
Монета времени
его правления.



Флориан (276 г.). Мрамор.
III в. Копенгаген, Глипотека
Новый Карлсберг.



Проб (276–282 гг.).
Мрамор. III в. Рим,
Капитолийские музеи.



Кар (282–283 гг.).
Монета времени
его правления.



Карин (283–285 гг.).
Мрамор. III в. Рим,
Дворец Консерваторов.



Нумериан (283–284 гг.).
Мрамор. III в. Бостон,
Музей изящных искусств.

«Чем только не был велик этот великий муж [Клавдий II]? Он любил родителей — что в этом удивительного? Но он любил и братьев — это уже может считаться достойным изумления. Он любил своих близких — в наши времена это можно приравнять к чуду; он никому не завидовал, преследовал дурных» (**Требеллий Поллион**).

«Точно так же германцы были вытеснены из Галлии, а легионы Тетрика... были разбиты вследствие предательства самого вождя».

«После такого столь удачного начала своего правления [Аврелиан] заложил в Риме великолепный храм Богу-Солнцу, украсив его богатыми дарами, а чтобы никогда больше не произошло того, что было при Галлиене, он окружил город новыми крепчайшими стенами более широкого охвата... Он безжалостно преследовал алчность ростовщиков и ограбление провинций вопреки традиции военачальников, из числа которых был сам. По этой причине он и погиб близ Кенофрурия из-за предательства слуги...» (**Аврелий Виктор**).

ИМПЕРАТОРЫ ОТ ГАЛЛИЕНА ДО ДИОКЛЕТИАНА

«Наконец, сенат ...после гибели Аврелиана избрал императором из числа консуляров Тацита, человека мягкого характера... Тацит умер в Тиане на двухсотый день своего правления, успев только жестоко казнить виновников убийства Аврелиана... Флориан же, брат Тацита, захватил власть без какого-либо решения сената или солдат».

«Продержавшись у власти один или два месяца, Флориан был убит своими же солдатами... После него они признали императором Проба. Он обладал большими знаниями военного дела и был прямо вторым Ганнибалом по умению закалять юношество и давать различные упражнения солдатам... их руками он засадил Галлию, Паннонию и холмы Мезии виноградниками ...[и] они в конце концов убили его на исходе шестого года правления».

«После этого сила военицины снова возросла, и у сената было отобрано право избирать принцепсов... Кар, чувствуя свою силу как префект претория, облекся в одежду августи и сделал детей своих, Карина и Нумериана цезарями... Когда, рассеяв врагов, он... вступил в знаменитый город парфян Ктесифонт, он был там поражен молнией и сгорел».

«А Нумериан, подумав, что со смертью отца окончилась и война, повел свое войско обратно, но погиб от козней своего тестя, префекта претория Апра» (**Аврелий Виктор**).

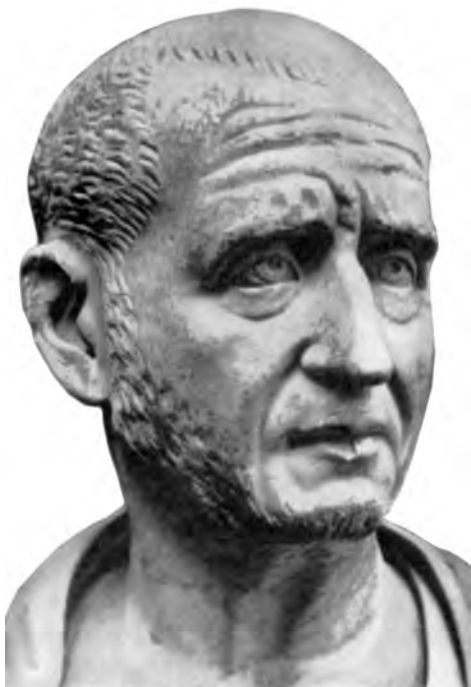


*Рим благодарит
Аврелиана за постройку
стен города.
Глиняный рельеф.
Рим, Национальный
Римский музей.*

*Стены, построенные
Аврелианом в Риме
в 271–272 гг.*



РИМСКИЙ ПОРТРЕТ III в.



*Император Деций. Мрамор. 248–251 гг.
Рим, Капитолийские музеи.*

*Портрет мальчика (Галлиен II ?). Мрамор.
260-е гг. СПб., Эрмитаж.*

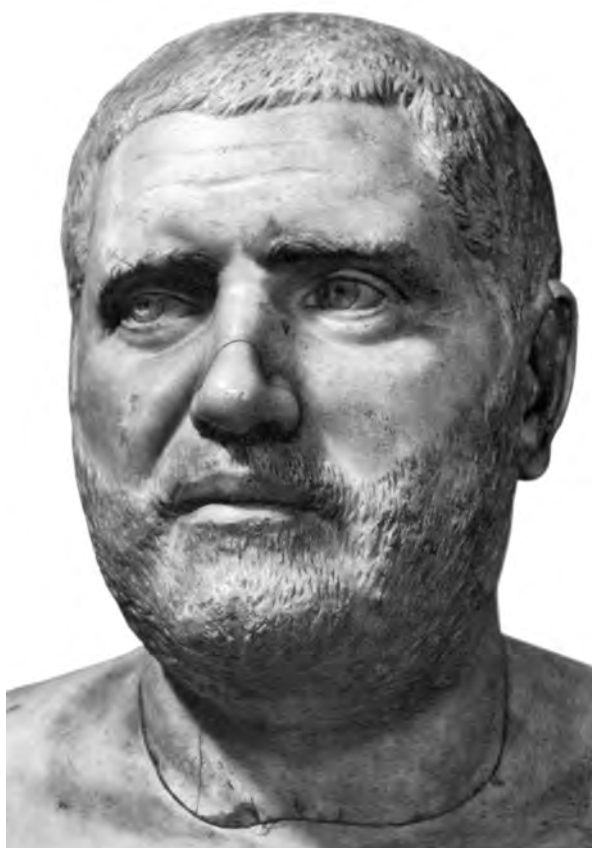
*Портрет императора Гордиана III (?).
Мрамор. 230-е гг. Москва,
ГМИИ имени А. С. Пушкина.*

*Портрет пожилой женщины. Мрамор.
2-я половина III в. Копенгаген, Глиптотека
Новый Карлсберг.*

*Портрет пожилой женщины. Последняя
треть III в. Рим, Капитолийские музеи.*

*Портрет римлянина. Фрагмент рельефа
саркофага. Мрамор. Около середины III в.
Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина.*

*Портрет императора Бальбина.
2-я четверть III в. СПб., Эрмитаж.*



ПОЗДНЕРИМСКИЕ САРКОФАГИ





Битва римлян с варварами. Рельеф «Саркофага Людовизи». Мрамор. III в. Рим, Национальный Римский музей.

Саркофаг с дионисийской сценой. Мрамор. II в. Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Саркофаг с историей мифа о Федре и Ипполите. Мрамор. II в. Арль, Музей Арльских древностей.

Саркофаг со сценой мифа об Оресте. Мрамор. 1-я половина II в. Рим, Ватиканские музеи.

Саркофаг с историей мифа о Мееде. Мрамор. Середина II в. Рим.



«...Аврелиан послал Зенобии такое письмо: „Аврелиан, император Римского государства, отвоевавший Восток, Зенобии и всем тем, кто воюет сообща с ней. Вы должны были бы сами сделать то, чего я требую от вас теперь в моем письме. Я повелеваю вам сдаться и обещаю сохранить неприкосновенной вашу жизнь, причем ты, Зенобия, будешь жить вместе со своими близкими там, куда я помещу тебя согласно решению блистательного сената. Драгоценные камни, золото, серебро, шелк, коней, верблюдов вы должны передать в римское государственное казначейство. Пальмирцам будут оставлены их права“».

«Зенобия, царица Востока, Аврелиану Августу: „Никто, кроме тебя, до сих пор не просил в письме того, чего требуешь ты. На войне все решает доблесть. Ты предлагаешь мне сдаться, как будто не знаешь, что царица Клеопатра предпочла умереть, но не жить в безразлично каком почете. Персы не отказываются прислать мне на помощь войска, и мы уже ждем их; за нас стоят сарацины, за нас — армяне... Если соберутся все вооруженные силы, которые мы ждем со всех сторон, тебе придется отказаться от той надменности, с какой ты повелеваешь мне теперь сдаться, как будто ты в полной мере победитель“».

«Триумф Аврелиана был очень пышным. Ехало три царских колесницы; из них одна — колесница Одената, отделанная и разукрашенная серебром, золотом и драгоценными камнями...; третья — которую заказала для себя Зенобия, надеясь въехать на ней в город Рим. И в этом она не ошиблась: вместе со своей колесницей вошла она, побежденная, в Рим в чужом триумфе...; или уцелевшие знатнейшие люди города Пальмиры и египтяне — в наказание за поднятое ими восстание... Шла и Зенобия в украшениях из драгоценных камней и в золотых цепях, которые поддерживали люди, шедшие рядом» (Флавий Вопписк).

Пальмира — процветающий в древности город на караванном пути в Сирийской пустыне (ныне арабская деревня Тадмор). Пальмира («Город пальм») — греческое и латинское наименование города. Адриан восстановил многие ее сооружения, а Септимий Север (193–211 гг.) дал ей статус римской колонии. В правление Одената и царицы Зенобии Пальмира стала столицей самостоятельного государства, включавшего Сирию, Малую Азию и Египет. Война Зенобии с Римом завершилась в 272 г. триумфом императора Аврелиана. В VII в. город был захвачен арабами и превращен в мусульманскую крепость; землетрясение и разграбление превратили его в развалины.



ПАЛЬМИРА



Зенобия (266–272 гг.). Монета времени ее правления.

Вабаллат, сын Зенобии и Одената. Монета времени его правления. (267–272 гг.).

Мужской портрет из Пальмиры. Известняк. II в. Париж, Лувр.

Женский портрет из Пальмиры. Известняк. II в. Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Большая колоннада и Арка в Пальмире. II в.

Башни-усыпальницы некрополя Пальмиры. II в.

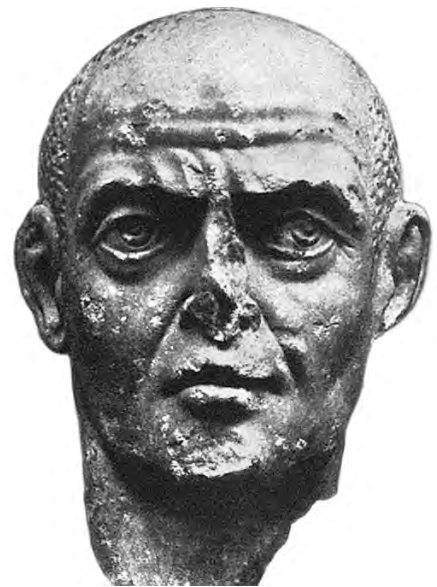
ИМПЕРАТОР ДИОКЛЕТИАН. 284–305 гг.



*Диоклетиан (?). Мрамор. Конец III в.
Копенгаген, Глипотека Новый Карлсберг.*

*Диоклетиан. Мрамор. Конец III в. Рим,
Галерея Дориа-Памфили.*

*Монета императора Диоклетиана.
284–305 гг.*



«Диокл [первое имя Диоклетиана] на первой же сходке солдат, обнажив меч и повернувшись к Солнцу, поклялся, что не знал о смерти Нумериана и что не стремился к власти и тут же зарубил стоявшего поблизости Апра [убийцу Нумериана]... Остальным дано было прощение, и почти все враги были оставлены на своих должностях. Это обстоятельство было, насколько люди помнят, новым и неожиданным, ибо в смуте ни у кого не было отнято ни имущества, ни славы» (Аврелий Виктор).



Четыре Тетрарха (Диоклетиан и Максимиан Геркулий, Галерий и Констанций I Хлор). Египетский порфир. Около 300 г. Рим, Ватиканские музеи.

Четыре тетрарха. Египетский порфир. Конец III в. Венеция, Собор Сан Марко.

Едва придя к власти, Диоклетиан принял неожиданное для правителя решение — разделить трон с избранным им соправителем. В 286 г. управление Западной частью империи было передано Максимиану, продвинувшемуся на высокие должности в армии сыну крестьянина из окрестностей Сирмия. Местом пребывания ему был назначен Медиолан (Милан), откуда удобнее было отражать набеги германцев. Сам Диоклетиан обосновался в Никомедии вблизи границы с Персией, с которой велись постоянные войны. Через шесть лет, в 293 г., после того, как Диоклетиан принял титул августа, удостоив им и Максимиана, он добавил еще двух соправителей: одним был бывший пастух Галерий, другим — Констанций I Хлор. Оба новых правителя-цезаря присоединились к августам: Констанций (с резиденцией в Трире) — к Максимиану, а Галерий (с резиденцией в Сирмии) — к Диоклетиану.

ПЕРВАЯ ТЕТРАРХИЯ



Император Максимиан Геркулий, соправитель Диоклетиана (285–305 гг.). Бронза. Каир, Частное собрание.

«Аврелий Максимиан, по прозвищу Геркулий, был нрава необузданного, пылал сластолюбием, был тугодум; происходил он из сельской местности в Паннонии. Еще и теперь [в IV в.] недалеко от Сирмия возвышается холм, на вершине которого находится дворец, где родители его работали поденщиками»
(Аврелий Виктор).

«Геркулий не скрывал природной своей жестокости, был груб и на ужасном лице его отражалась свирепость» **(Евтропий).**

Император Констанций I Хлор (с 293 г. — цезарь, в 305–306 гг. — август). Мрамор. Рим, Ватиканские музеи.

«Констанций был человек мягкий, учтивый, жил очень скромно, подданные радовались ему, будучи избавленными как от притворного благоразумия Диоклетиана, так и от кровавого безрассудства Максимiana» **(Евтропий).**



Император Галерий (с 293 г. — цезарь, в 305–311 гг. — август). Копенгаген, Глиптотека Новый Карлсберг.





**Император Максимин Даза (или Дайа)
(с 305 г. — цезарь, в 313 г. — август). Мрамор.
Кьети, Музей.**

«Даза, недавно извлеченный из стад и лесов, быстро ставший щитоносцем, потом сразу телохранителем, а вскоре военным трибуном и в конце концов цезарем, получил Восток, чтобы топтать его и терзать, потому что он не был знаком ни с военным делом, ни с управлением государством, теперь уже сделавшись пастырем не скота, а воинов» (Лактанций).

**Император Галерий приносит жертвы на алтаре.
Рельеф Триумфальной арки Галерия в Фессалонике.
298–303 гг.**

Галерий. Монета времени его правления. 305–311 гг.

«Галерий был хоть и грубоват, но попросту справедлив и заслуживал похвалы; его родители были сельские жители, и сам он прежде пас рогатый скот...; он родился на берегу Дуная в Дакии, там же и погребен» (Аврелий Виктор).

«Он был высок ростом и чрезвычайно тучен. Наконец, голосом, жестами и всем своим видом он всех повергал в страх и ужас. Тесть [Диоклетиан] боялся его непомерно».

«Галерий после отречения Диоклетиана и Максимиана Геркулия делал, что хотел, и считал себя единственным повелителем всего мира, ведь он презирал другого августа, Констанция Хлора, ...потому что тот был мягкосердечен и слаб здоровьем» (Лактанций).

В 305 г. новыми августами были объявлены Галерий и Констанций I Хлор, цезарями — Флавий Север II и Максимин Даза, племянник Галерия (Вторая тетрархия). Однако уже в 307 г. в Римской империи оказалось пять августов одновременно: на Востоке — Галерий, на Западе — Флавий Север II, узурпатор Максенций, его отец Максимин Геркулес, вернувшийся к власти, и сын Констанция — Константин.

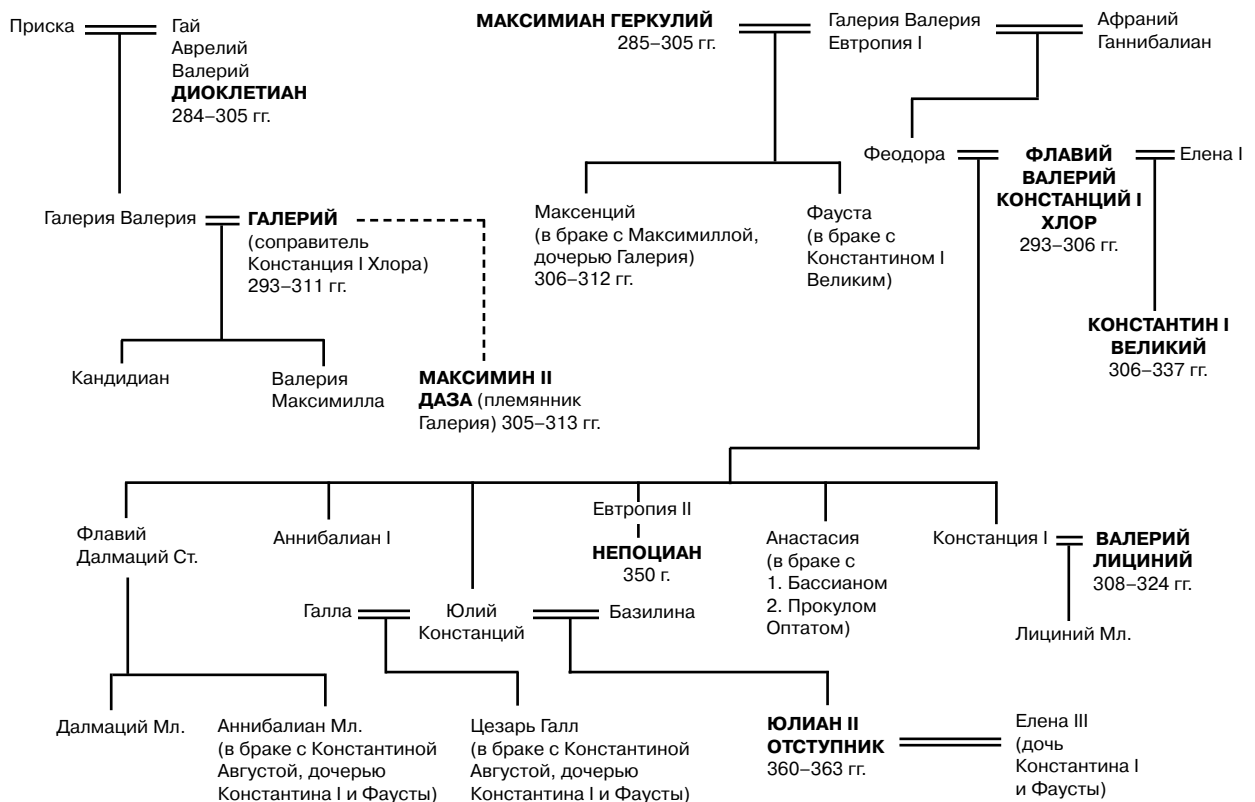


Констанций I Хлор (с 293 г. — цезарь, в 305–306 гг. — август). Монета времени его правления.



Император Галерий (с 293 г. — цезарь, в 305–311 гг. — август). Мрамор. Начало IV в. Афины, Собрание Канелопулоса.

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ТЕТРАРХИИ



ВТОРАЯ ТЕТРАРХИЯ



Флавий Север II (с 305 г. — цезарь, в 306–307 гг. — август).
По происхождению иллириец, стал цезарем, когда августами были Галерий и Констанций I Хлор. Покончил жизнь самоубийством в апреле 307 г. по требованию Максимиана Геркулия. Мрамор. Рим, Музей Торлония.



Император Максенций (с 306 г. — цезарь, в 307–312 гг. — август), сын Максимиана Геркулия и Максимиллы, дочери Галерия. Мрамор. Начало IV в. Остия, Музей.



Император Лициний (308–324 гг.).
Рельеф триумфальной арки Константина в Риме. 315 г.

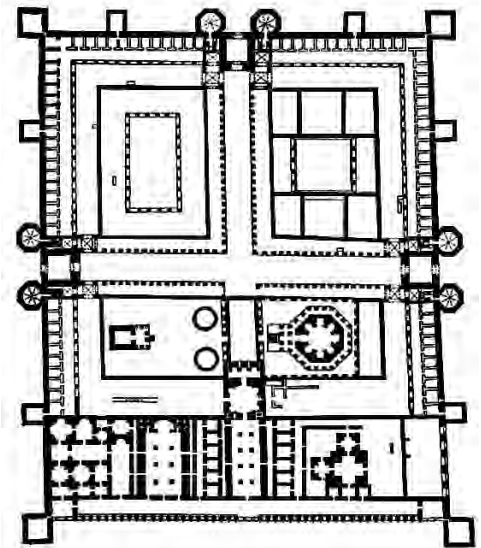
«В Фессалониках окончил свою жизнь Лициний, достигнув почти шестидесяти лет от роду. Своей алчностью до денег он превзошел всех, не чуждался он излишеств и во властолюбии, был очень суров и раздражителен, враждебно относился к наукам, которые он по своему безмерному невежеству называл ядом и чумой для общества, особенно — ораторское искусство. Как человек, родившийся и воспитанный в деревне, он был полезен земледельцам и вообще сельским жителям, а стоя на страже военного дела, он строжайше придерживался старинной дисциплины»
(Аврелий Виктор).



Портрет молодого Константина (с 306 г. — цезарь, в 307–337 гг. — август). Мрамор. Рим, Капитолийские музеи.

«Войско Константина берется за оружие... Обе армии начинают сражение и бьются с одинаковой силой, никто не отступает. В городе возникает волнение и начинают порицать Максенция... Внезапно весь народ, находившийся в цирке, где Максенций давал игры в честь дня своего рождения, единодушно восклицает, что невозможно победить Константина. Максенций, приведенный этим в смятение, бросается к себе во дворец и, призвав нескольких сенаторов, приказывает заглянуть в Сивиллины книги, в которых обнаруживают предсказание, якобы в этот день погибнет враг римлян. Обнадеженный этим пророчеством, Максенций покидает дворец и появляется на поле боя. Мост за его спиной разрушается... Войском Максенция овладевает страх; сам он, обратившись в бегство, спешит к мосту, который разрушен, и, сдвинутый толпой бегущих, низвергается в Тибр» (Лактанций).

ДВОРЕЦ ДИОКЛЕТИАНА В САЛОНЕ (СПЛИТЕ)



Дворец Диоклетиана в Салоне (Сплит, Хорватия) на берегу Адриатического моря. Макет и план дворца. Начало IV в.

Император Диоклетиан(?) на охоте. Мозаика с Виллы Максимиана Геркулия в Пьяцца Армерине (Сицилия). 300–330 гг.

Внутренний вид мавзолея во дворце Диоклетиана в Салоне. Начало IV в. Гравюра XVIII в.

Дворец Диоклетиана в Салоне. Перистиль — двор для императорских выходов. Начало IV в.

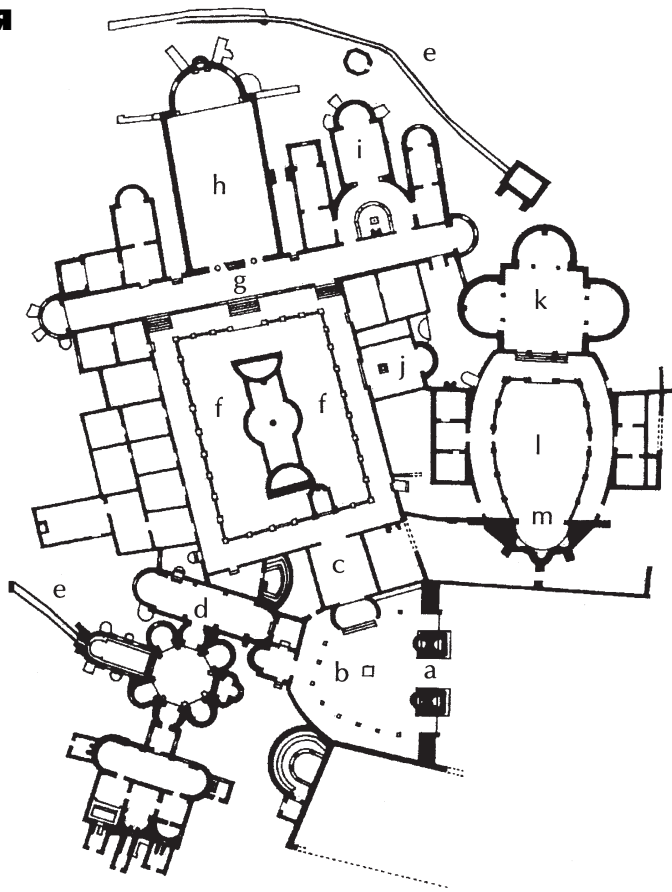


ВИЛЛА МАКСИМИАНА ГЕРКУЛИЯ

Вилла императора Максимиана Геркулия (284–305 гг.) в Пьяцца Армерине (Сицилия). До настоящего времени сохранились около 50 помещений виллы и около 37,2 кв. м мозаических полов, выполненных мастерами из Северной Африки. 300–350 гг. План:

- a* – арочный въезд на виллу;
- в* – входной двор виллы;
- с* – вестибюль;
- d* – термы;
- e* – акведуки;
- f* – главный перистиль и двор с фонтаном;
- g* – большой коридор;
- h* – базилика;
- i* – «малая базилика»;
- j* – комната Орфея (святилище?);
- k* – триконх;
- l* – перистиль;
- m* – нимфей.

Царица Аравии в окружении чудес и богатств Аравийской земли. Напольная мозаика в коридоре Большой охоты на вилле Максимиана Геркулия в Пьяцца Армерине (Сицилия). 300–330 гг.





*Напольные мозаики в коридоре Большой охоты (вверху)
и в комнате Малой охоты (внизу) на вилле Максимиана Геркулия
в Пьяцца Армерине (Сицилия), 300–330 гг.*

РАННИЕ ХРИСТИАНЕ

«Появляется около этого времени Иисус, человек мудрый, если его можно назвать человеком. Он творил чудеса, учил тех, кто с радостью приемлет истину, и увлек за собой многих иудеев и многих из эллинов. Это был Христос. И после того, как Пилат по доносу старейшин нашего народа присудил его к распятию, те, которые вначале его полюбили, не перестали его чтить, ибо он им явился на третий день снова живым, согласно предсказаниям божественных пророков, предвестивших как это, так и многое другое относительно него, достойное удивления. Еще и поныне не прекратилась секта христиан, названных так по его имени»
(Фрагмент из «Иудейских древностей» еврейского историка I в. Иосифа Флавия).



Образ Христа. Коптский Египет. VI или VII вв. Берлин, Государственные музеи.

Сцена мученичества. II в. Мозаика из Эль-Джема (Тунис). Эль-Джем, Музей римского искусства.

Евхаристическая трапеза — преломление хлеба. Роспись Греческой капеллы в катакомбах Присциллы в Риме. 1-я половина III в.

Катакомбы Домициллы в Риме. III в.





Христианские катакомбы (подземные гробницы) известны в окрестностях Рима, в Неаполе, на островах Сардиния и Сицилия, в Александрии, на Мальте, в Передней и Малой Азии, на Балканах. В Риме известно более 40 катакомб.

Протяженность галерей в римских катакомбах составляет от 100 до 150 км, возможно, даже превышает 500 км. В галереях и многочисленных соединенных с ними отдельных погребальных камерах насчитывается от 600 000 до 800 000 захоронений, вырубленных в пористом вулканическом туфе.

Стены катакомб покрыты тысячами фресковых изображений на сюжеты Ветхого и Нового Заветов. Самые ранние гробницы, судя по сохранившимся на них именам, располагались на территории частных кладбищ состоятельных римских семей. Самые древние — катакомбы Домициллы и Присциллы (II в.). Римские катакомбы не служили христианам убежищем в эпохи гонений, т. к. были известны римским властям, и не были местами богослужений. Семьи посещали могилы родственников в годовщину их смерти. Стремительнее катакомбы разрастались в IV в., после того как Константин Великий положил конец гонениям на христиан.

РАННИЕ ХРИСТИАНЕ



«Христиане не отличаются от других людей ни местом проживания, ни наречием, ни одеждой. Они не живут в особых городах, не пользуются особым языком, не ведут только им одним присущий образ жизни. Их учение — не плод беспокойного ума исследователей и они не разделяют, как некоторые, взглядов каких-либо философов. Они живут в городах греков или варваров, как кому положит судьба и, усвоив обычаи той или иной страны в том, что касается одежды, пищи и всего остального, связанного с повседневным существованием, показывают пример удивительной общественной жизни, имеющей по общему признанию много невероятного. Христиане живут на своей родине, но как чужой народ. Они исполняют все обязанности граждан и, при этом, испытывают тяготы как иностранцы. Чужая земля для них родина, а родина — чужая земля. Они женятся как и все прочие и рожают детей, но не подкидывают новорожденных. Имеют общую трапезу, но не ложе. Живут во плоти, но не по плоти. Их жизненный путь проходит по земле, но они — граждане неба. Подчиняясь установленным законам, они своим образом жизни превосходят их. Одним словом, христиане в мире суть то же, что душа в теле» (Из письма неизвестного христианина к язычнику по имени Диогнет. II в.).



Апостолы Петр и Павел. Рельеф из Аквилеи (Италия). IV–V вв. Аквилея, Музей.

Христос-Учитель среди апостолов. Около 400 г. Мрамор. Арль, Музей Арльских древностей.

Раннехристианский саркофаг с изображением апостолов. IV в. Хаен, Провинциальный музей.

Фрагмент стенки саркофага с изображением «Истории пророка Ионы». III в. Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Фрагмент стенки саркофага с изображением сцены «поклонение волхвов». III в. Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина.

«Пища эта у нас называется Евхаристией [благодарением], и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставление грехов и в возрождение, и живет так, как передал Христос... Пища эта, над которой совершенно благодарение через молитву слова Его, и от которой через уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть — как мы научены — плоть и кровь того воплотившегося Иисуса. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, передали, что им было так заповедано. Иисус взял хлеб и благодарил и сказал: „Это делайте в Мое воспоминание, это есть Тело Мое“. Подобным образом он взял чашу и благодарил и сказал: „Это есть кровь Моя“...

С того времени мы между собою всегда делаем воспоминание об этом... В так называемый день солнца... читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление... Когда же окончим молитву, тогда... приносится хлеб, и вино, и вода... и бывает раздаяние каждому и приобщение Даров, над коими совершенно благодарение, а к небывшим они посылаются через дьяконов... В день же солнца мы все вообще делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивши мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых» (Иустин. «Апология». II в.).

РАННИЕ ХРИСТИАНЕ

«Но ни помощь, оказанная людьми, ни щедроты самого Кесаря [Нерона], ни религиозные церемонии не смогли остановить позорных [для Нерона] слухов о том, что пожар возник по его приказанию, и вот, чтобы рассеять эти слухи, Нерон объявил виновниками пожара так называемых христиан, возбуждавших своими пороками всеобщую ненависть, и предал их изысканным казням. Тот, от которого произошло это название, — Христос был при императоре Тиберии предан смерти. Временно подавленное пагубное суеверие стало снова распространяться, и не только в Иудее, где оно возникло, но и в Риме... Итак, сначала были схвачены те, которые сами сознавались [в принадлежности к секте], а потом по их указаниям — огромное множество. Все они были обличены не столько в поджоге города, сколько в ненависти к человеческому роду. Казнь их сопровождалась издевательствами: одних, покрытых шкурами диких зверей, отдавали на растерзание псам, других распинали на крестах, третьих, обреченных на сожжение, обращали при наступлении темноты в горящие ночные факелы. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады и давал представления в цирке... Поэтому эти люди, хотя и преступные... возбуждали чувство жалости, как гибнущие не ради общественной пользы, а для удовлетворения дикой прихоти одного человека» (Тацит. «Анналы». I в.).





Хризма (первые буквы имени Христа — греческие «хи» и «ро») с «альфой» и «омегой» (первой и последней буквами греческого алфавита), символами начала и конца бытия. Глиняный рельеф. Барселона, Каталонский музей.

Портрет папы Каллиста (около 217–222 гг.). Живопись золотом на дне стеклянной чаши. III в. Париж, Национальная библиотека.

Надгробная плита еврея-христианина Иуды. Семисвечники по сторонам от имени свидетельствуют о связи раннего христианства с иудаизмом.

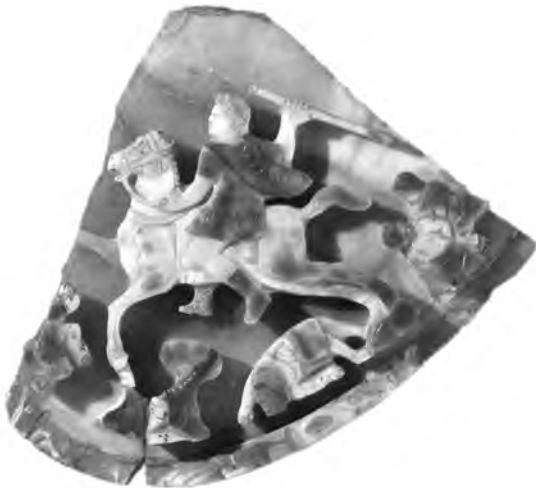
Апостолы Петр и Павел. Живопись золотом на дне стеклянной чаши. IV в.

Рыбы и хлеба, которыми Христос чудесно накормил 4000 человек, — один из важнейших символов христианства. Хлеб символизирует плоть Христову; греческое слово «ИХТЮС» («рыба») читалось и как: Иисус Христос Бога Сын Спаситель. Мозаика из церкви в Эль-Табхе (Израиль). II–III вв.

Рельеф саркофага из Аттики. Виноград символизировал кровь Христову, виноградные кущи с павлинами — рай. Мрамор. Начало III в. Рим, Сан Лоренцо фуори ле муре. Деталь.

ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ. 306–337 гг.





*Голова императора Константина Великого.
Бронза. 330-е гг. Рим, Капитолийские музеи.*

*Константин Великий. Из Наисса (Ниш). Бронза.
320-е гг. Ниш (Сербия), Музей.*

Константин (?) на коне. Камень (сердолик). IV в.

*Апофеоз Константина Великого. Камень (белая
яшма). После 337 г.*

*Богиня Тиха венчает Константина короной.
Камень (сердолик). 320-е гг. СПб., Эрмитаж.*

*Вознесение Константина на небеса. Монета.
Бронза. 337 г.*



РИМ В ЭПОХУ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО

Колоссальная голова Константина. 312–315 гг. Рим, Капитолий.

Арка-квадрифронс (четырёхсторонняя) бога Януса на Бычьем форуме в Риме. Около 312 г.

Арка императора Константина в Риме, возведенная в честь победы над Максенцием. После 315 г.



*«Императору Цезарю
Флавию Константину
Величайшему,
Благочестивому,
Счастливному Августу
сенат и народ римский
посвятили замечательную
арку в честь его триумфа
за то, что он со своим
войском по внушению свыше
и благодаря величию своего
ума с помощью
справедливого оружия
освободил государство
одновременно и от тирана
и от всей его клики»
(Надпись на Арке
Константина в Риме).*



*Христос передает закон Моисею (или ключи апостолу Петру).
Мозаика в мавзолее Констанции (церкви Санта Костанца) в Риме. 330–340 гг., переделки XVI в.*

*Бюст Константина (?) среди виноградных лоз (слева). Декоративная роспись (справа).
Мозаики мавзолея Констанции (церкви Санта Костанца) в Риме. 330–350 гг.*

ДИНАСТИЯ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО. 306–361/363 гг.

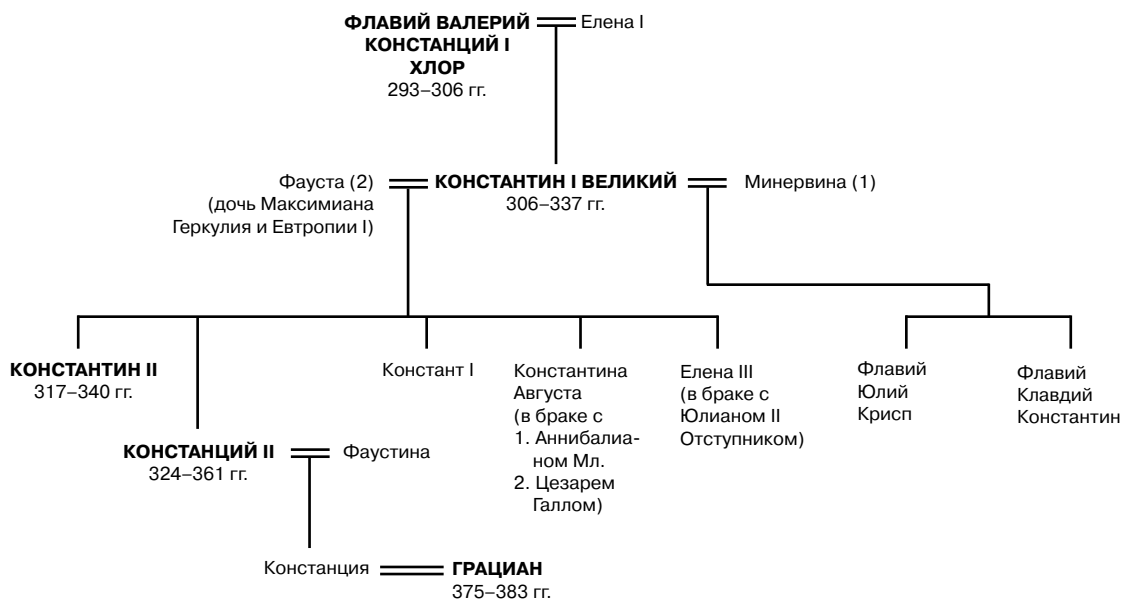


Золотой солид императора Константина Великого. 320-е гг.

Елена, мать Константина. Мрамор. Рим, Капитолийские музеи.

Констанций I Хлор, отец Константина. Мрамор. Рим, Ватиканские музеи.

Анастасия. Мрамор. 330-е гг. Копенгаген, Глиптотека Новый Карлсберг.





«Наследниками Константин оставил трех сыновей и одного племянника. Но цезарь Далмаций, по природе своей удачливый и весьма похожий на своего дядю, немного позже был уничтожен мятежными воинами и Констанцием, своим двоюродным братом. В дальнейшем Константина, устремившегося войной на брата... убили полководцы Константа. Таким образом, государство перешло к двум августам [Константу и Констанцию II]» (Евтропий).

Константин II (317–340 гг.). Мрамор. Берлин, Государственные музеи.

Констант (333–350 гг.). Мрамор. Париж, Лувр.

Крисп (убит в 326 г.). Мрамор. Остия, Музей.

Фауста. Мрамор. Париж, Лувр.

Говорили, что Фауста хотела обольстить Криспа, но он отверг ее, и тогда она оклеветала его перед Константином, якобы он покушался на ее честь. Но Елена, мать Константина, сумела отомстить Фаусте за гибель своего любимого внука: Константину стало известно, что якобы Фауста имеет любовника — императорского раба, состоящего при конюшне. Тогда Константин в ярости расправился с Фаустой: по одной версии — он толкнул ее в бане в бассейн с горячей водой, по другой — приказал растопить баню так сильно, что Фауста задохнулась в ней. Однако древние авторы рассказывают об этом страшном событии столь разноречиво, что неизвестно, действительно ли Фауста погибла; некоторые пишут, что она благополучно пережила Константина...

ДИНАСТИЯ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО. 306–361/363 гг.



«После убийства Константа, когда Магненций овладел Италией, Африкой и Галлией, мятеж произошёл даже в Иллирии, где с согласия [воинов] императором выбрали Ветраниона. [Ветранион] был избран принцем, будучи уже престарелым и всеми любимым за длительную и успешную военную службу по охране Иллирии, мужем скромным, старых нравов и большой учтивости, но во всех свободных искусствах несведущим настолько, что лишь в преклонном возрасте и уже в качестве императора познакомился с азбукой.

Но у Ветраниона власть была отнята Констанцием [II], который ради мщения за убийство брата развязал гражданскую войну; ...заставил [Ветраниона] сложить императорские знаки отличия» (**Евтропий**).

«Он [Ветранион] был прост до глупости» (**Аврелий Виктор**).

«В Риме также произошёл бунт; ибо Непоциан, сын сестры Константина, с помощью гладиаторов присвоил себе власть, ...на 28-й день, схваченный полководцами Магненция, он понес кару. Голову его на копье носили по всему Городу... Немного спустя Магненций был сокрушен в бою у Мурсы... В этом сражении были растрачены столь грандиозные силы Римской империи, что их хватило бы для любых внешних войн, которые могли бы принести множество триумфов и обеспечить безопасность границ и государства» (**Евтропий**).





«В скором времени Констанций назначил цезарем Востока своего двоюродного брата Галла, а Магненций, побежденный в различных сражениях, покончил с собой на третьем году и восьмом месяце своего правления... Тем временем Констанций за совершение многих поступков убил Цезаря Галла, мужа по природе своей дикого и ставшего бы тираном, если бы ему позволили править по собственному произволу. Также и Сильван, устроивший переворот в Галлии, был убит на 28-й день своего правления, и с этого времени Констанций остался единственным принцем и августом в Римской империи» (Евтропий).



«Христианскую религию, которую отличает цельность и простота, Констанций [II] сочетал с бабьим суеверием...»

«Констанций решил посетить Рим, чтобы после гибели Магненция справить триумф над римской кровью. Самолично он не победил на войне никакого народа, не получил также вести о поражении какого-либо народа благодаря доблести своих полководцев, не прибавил новых земель к римской державе, никогда не видели его на поле боя первым или в первых рядах. Но он хотел показать блистательную процессию, сверкающие золотом знамена, великолепную свиту мирному народу, не имевшему надежды увидеть когда-либо что-нибудь подобное и даже не мечтавшему об этом» (Аммиан Марцеллин).

Монета Константина Великого. После 315 г.

Портрет Констанции I (?), сестры Константина. Мрамор. СПб., Эрмитаж.

«Саркофаг Елены». Красный египетский порфир. Около 320 г. Рим, Ватиканские музеи.

Император Констанций II (324–361 гг.). Мрамор. Рим, Национальный Римский музей.

Галл (убит в 354 г.), старший сын Юлия Констанция, сводного брата Константина, муж Констанции II. Мрамор. Рим, Национальный Римский музей.

Ветранион (350 г.) (не принадлежал к династии Константина). Монета времени его правления.

Магненций (350–353 гг.) (не принадлежал к династии Константина). Мрамор. Вьенн, Музей-лапидарий.



«Юлиан родился в Константинополе. В самом раннем детстве он остался сиротой, так как его отца Констанция сгубили вместе со многими другими после смерти брата его Константина интриги наследников верховной власти. Рано потерял он также и мать свою Базилину, происходившую из старого знатного рода».

«Внешность его была такова: он был среднего роста, волосы гладкие, тонкие и мягкие, густая, подстриженная клином борода, очень приятные глаза, полные огня, в которых светился тонкий ум, брови красивого изгиба, нос прямой, рот несколько крупный с массивной нижней губой; крутой и мощный затылок; широкие сильные плечи и пропорциональное телосложение. Глаза у него были ласковые и в то же время властные».

«Он явился на поле брани из тенистых аллей Академии и, поправ Германию, умиротворив течение холодного Рейна, пролил кровь и заковал в кандалы руки царей, дышавших убийством».

«В быту Юлиан держал себя скромно и просто, чем заслужил любовь и преданность воинов»
(Аммиан Марцеллин).



ИМПЕРАТОР ЮЛИАН II ОТСТУПНИК. 361–363 гг.



Юлиан II Отступник. Мрамор. Париж, Лувр.

*Аполлон в окружении олимпийских богов.
Рельеф серебряного ларца (Ларец из Корбриджа).
Время правления Юлиана II Отступника. Около 363 г.
Лондон, Британский музей.*

*Юлиан II Отступник. Монета времени его правления.
361–363 гг.*

Монета императора Иовиана. 363 г.

Бюст Юлиана II Отступника. Халцедон. СПб., Эрмитаж.

*Апофеоз императора (возможно, Юлиана II
Отступника). Рим, около 404 г. Лондон, Британский
музей.*

«Казалось, некая счастливая звезда сопровождала этого молодого человека от его благородной колыбели до последнего его дыхания. Быстрыми успехами в гражданских и военных делах он так отличился, что за мудрость его почитали вторым Титом, славою военных деяний он уподобился Траяну, милосерден был, как Антонин Пий, углубленностью в истинную философию был сходен с Марком Аврелием, дела и нравственный облик которого он почитал своим идеалом» (Аммиан Марцеллин).



ДИНАСТИЯ ВАЛЕНТИНИАНА I



«Тем временем [в правление Валентиниана I и Валента II] на границах всего римского мира... поднялись самые свирепые народы и бросились на римские владения: алеманны грабили Галлию и Рецию, сарматы и квады тревожили обе Паннии, пикты, саксы, скотты и аттакоты непрерывно терзали Британию, австорианы и другие племена мавров сильнее обычного беспокоили Африку, разбойничьи шайки готов грабили Фракию, персидский царь стал пытаться наложить свою длань на Армению».

«Славу правления [Валентиниана I] составляет та сдержанность, с какой он относился к религиозным раздорам; никого он не задевал, не издавал повелений почитать то или другое и не заставлял своих подданных по строгому принуждению склоняться перед тем, во что верил сам; эти дела он оставил в том состоянии, в каком их застал».

«Хотя Валентиниан подчас надевал на себя личину кротости, но по вспыльчивости своей натуры он был более склонен к суровости... Он сгорал до глубины души завистью... Он ненавидел людей хорошо одетых, высокообразованных, богатых, знатных и унижал храбрых, чтобы казалось, что он один выделяется среди всех» (Аммиан Марцеллин).



Серебряный миссориум с изображением Валентиниана I в окружении своих воинов.

Голова Грациана (?). Мрамор. Берн, коллекция Дж. Ортица.

Валентиниан II, император Запада. Монета времени его правления (383–392 гг.).

Грациан, император Запада. Монета времени его правления (367–383 гг.).

Валентиниан I, император Запада. Монета времени его правления (364–375 гг.).

Валент II, император Востока. Монета времени его правления (364–378 гг.).



Валент II «...был верен в дружбе, строго карал честолюбивые происки, сурово поддерживал военную и гражданскую дисциплину, добросовестнейшим образом охранял провинции, с особенным старанием смягчал тяжесть податей, не допускал увеличения никаких налогов, был снисходителен во взыскании недоимок и являлся жестоким и озлобленным врагом проворовавшихся и уличенных в казнокрадстве правителей провинций. Восток не помнит лучшего в этом отношении времени ни при каком другом императоре» (**Аммиан Марцеллин**).

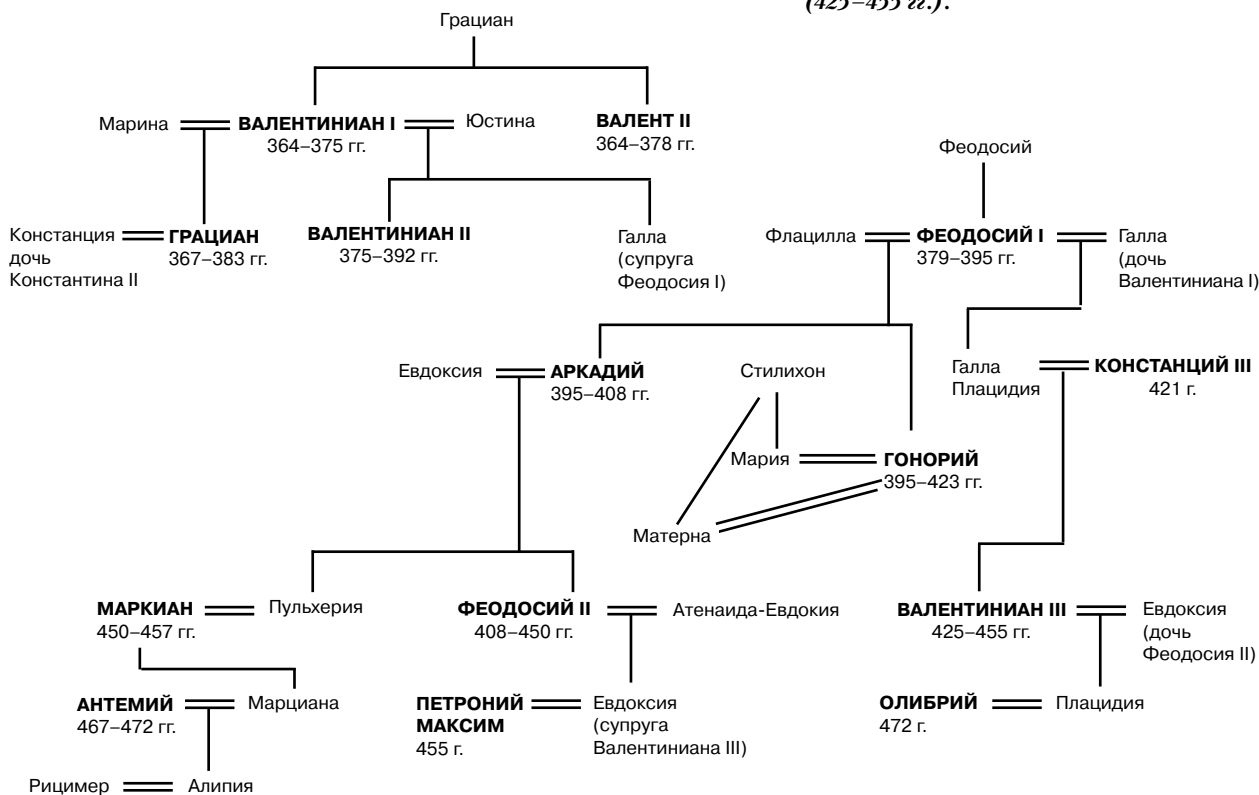
Грациан «...был молодой человек широко одаренный, красноречивый, сдержанный, воинственный и вместе с тем мягкий, и он мог пойти по стопам лучших императоров прошлого, если бы не его склонность к забавам, которая под развращающим влиянием ближайших к нему лиц обратила его к пустому времяпрепровождению... Грациан с восторгом убивал стрелами зубастых зверей в загонах, огороженных загородками. Многим серьезным делам Грациан не придавал значения...» (**Аммиан Марцеллин**).

«Грациан был образованным выше среднего уровня человеком, слагал стихи, красиво говорил, умел разбираться в controversiis по правилам риторики» (**Аврелий Виктор**).

Валент II. Мрамор. Флоренция, Уффици.

Золотой солид Валентиниана III, императора Западной Римской империи (425–455 гг.).

ДИНАСТИЯ ВАЛЕНТИНИАНА I И ФЕОДОСИЯ I ВЕЛИКОГО



ИМПЕРАТОР ФЕОДОСИЙ I ВЕЛИКИЙ. 379–395 гг.



Серебряный миссориум Феодосия I Великого. По сторонам от императора — его сыновья цезари Аркадий и Гонорий. Внизу — аллегория Земли и Плодородия. 387–388 гг. Мадрид, Академия Истории.

Золотой солид императора Феодосия I. 379–395 гг.

Галла Плацидия (?) с детьми. Живопись золотом по стеклу. Начало V в. Брешия, Музей.

Рельеф базы Египетского обелиска Феодосия I на Константинопольском ипподроме. По сторонам от императора — его сыновья цезари Аркадий и Гонорий. Внизу — подвластные Империи народы. 390-е гг.

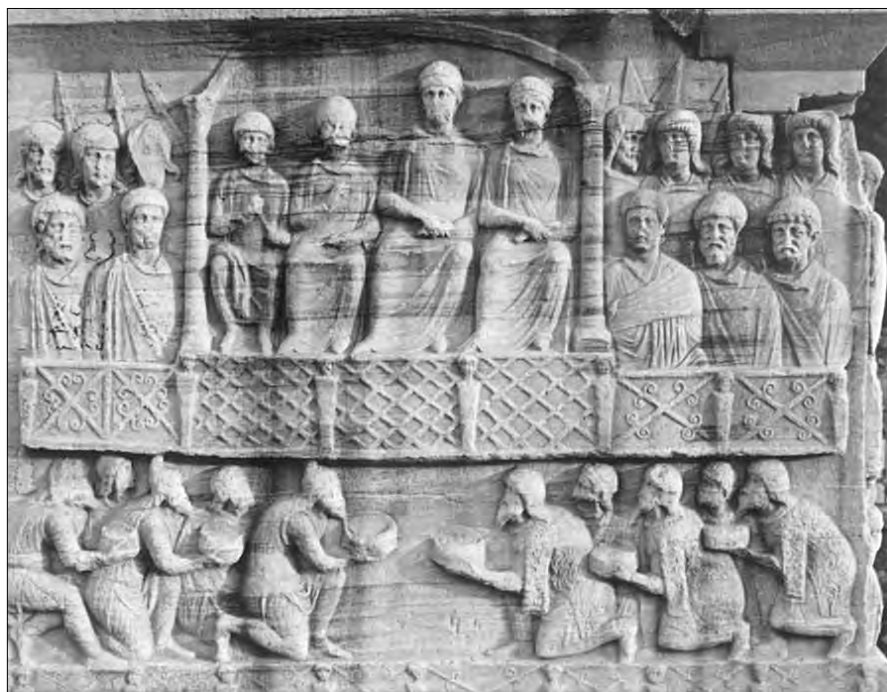
Монета императора Феодосия Великого. 390-е гг.

Монета узурпатора Магна Максима. 383–388 гг.

Монета узурпатора Евгения. 392–394 гг.



«Феодосий был спокоен, милостив, общителен; он считал, что отличается от прочих людей только своим одеянием. Он был благожелателен ко всем, особенно же — к хорошим людям. Он в такой же мере любил людей простых, как и восхищался учеными, но притом честными, был щедр и великодушен. В отношении наук, если сравнивать его с учеными людьми, его образование было посредственным, но он был весьма проницателен и очень любил узнавать о деяниях предков. Он упражнялся физически, но не увлекаясь и не переутомляясь»
(Аврелий Виктор).





*Голова императора Аркадия (395–408 гг.).
Мрамор. Конец IV в. Берлин,
Государственные музеи.*

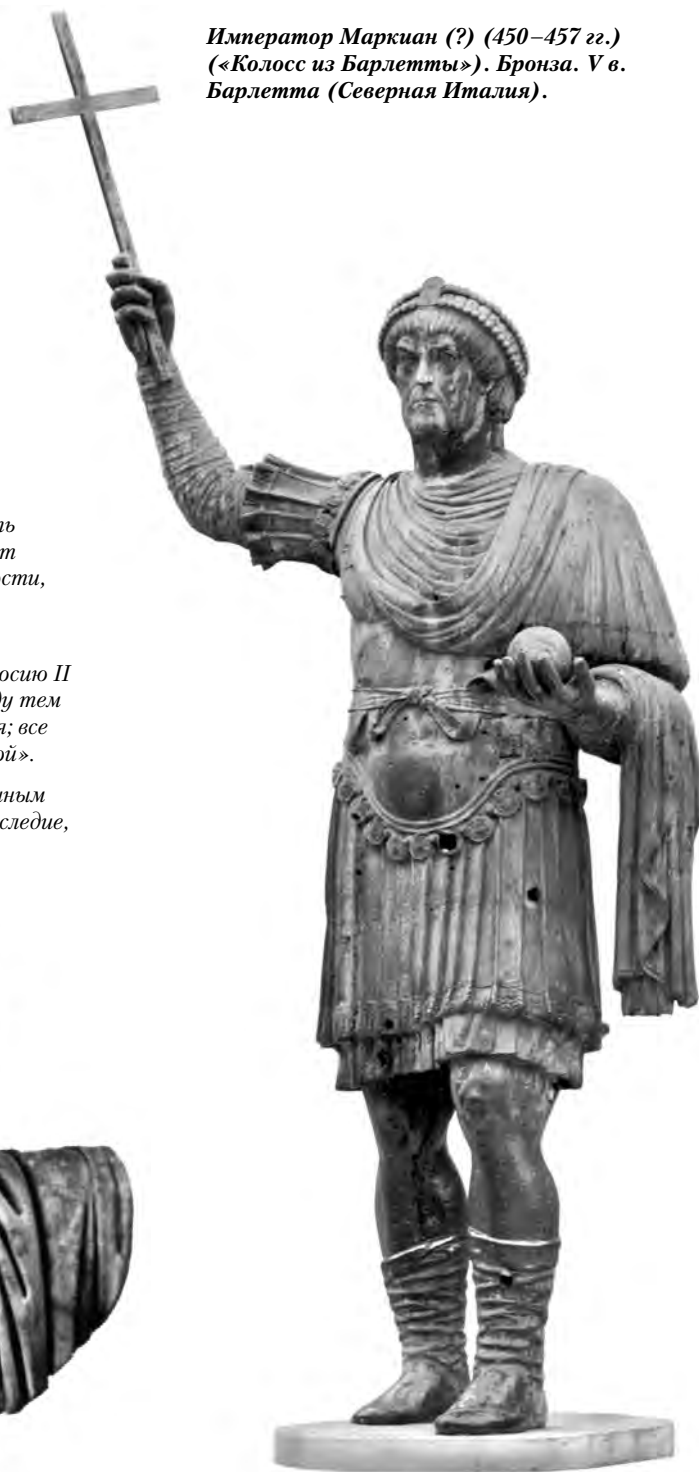
*Император Феодосий II (408–450 гг.), сын
Аркадия. Мрамор. 430–440 гг. Париж, Лувр.*

*Император Маркиан (?) (450–457 гг.)
(«Колосс из Барлетты»). Бронза. V в.
Барлетта (Северная Италия).*

*«Или пусть варвары возделывают землю, или пусть
уходят тем же путем, что пришли, и пусть заявят
живущим..., что у римлян нет более прежней мягкости,
и что над ними царствует благородный юноша
[Аркадий]».*

*«За это благочестие Бог явно показывал им [Феодосию II
и его семье] свою милость и хранил их дом. А между тем
с возрастом императора возрастала и империя; все
козни и войны против него прекращались сами собой».*

*«Маркиан был перед богом благочестив, и к подданным
справедлив... по сему и власть получил он не как наследие,
а как награду за добродетель».*



ВОСТОЧНАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ



Голова императрицы из династии Льва I (?). V или VI вв.

Императрица Ариадна. Слоновая кость. Конец V в.

Золотой солид императора Льва I (457–474 гг.).

Золотой солид императора Зенона (474–491 гг.), зятя Льва I.

Золотой солид императора Анастасия I (491–518 гг.).

«Римский царь Лев был счастливейшим из бывших до него царей. Он был грозен как подвластным, так и самим варварам, до которых дошел слух о нем».

«Зенон не имел от природы той жестокости, которая была у Льва I... К корысти не был падок как Лев... однако же, и он не был выше этой страсти. Он был честолобив, действовал только из-за славы... Он не был опытен в делах, не имел тех познаний, при которых можно управлять царством».

ЗАПАДНАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

Император Гонорий (395–423 гг.) и Мария. Камень (сердолик). Около 400 г. Париж, Лувр.

Двойной портрет императора Гонория. Слоновая кость. Начало V в. Париж, Лувр.

Бюст Валентиниана III (425–455 гг.). Мрамор. Париж, Лувр.

Галла Плацидия. Монета времени ее регентства. 425–450 гг.

Галла Плацидия(?), сестра Гонория и мать Валентиниана III, правительница Западной Римской империи в 425–450 гг.

Деталь медальона с портретом Галлы и ее детей. Живопись золотом по стеклу. 420-е гг. Брешиа, Музей.



Валентиниан III. Монета времени его правления.



Император Антемий (467–472 гг.). Монета времени его правления.

Император Майориан (457–461 гг.). Монета времени его правления.

Серена, двоюродная сестра Гонория и жена полководца варвара Стилихона, фактически правившего империей при Гонории. Серена была христианкой и в 394 г. активно участвовала в сокрушении язычества в Риме. Жрица Весты проклала Серену и ее потомство за осквернение святилища богини и ее очага. Резьба по слоновой кости (так назыв. Диптих Стилихона). Около 400 г. Монца, Музей Собора.

Монеты времени правления Констанция III (421 г.); справа — монета с его портретом.



Ромул Августул (внизу слева), последний император Западной Римской империи (475–476 гг.). Золотая монета времени его правления.

Одоакр (внизу справа), первый варварский король Италии. Монета времени его правления (после 476 г.).



РИМСКИЙ ПОРТРЕТ IV и V вв.



*Голова Констанции (?), сестры
Константина Великого. Мрамор.
330-е гг. СПб., Эрмитаж.*

*Голова императора Аркадия.
Мрамор. Конец IV в. Стамбул,
Археологический музей.*

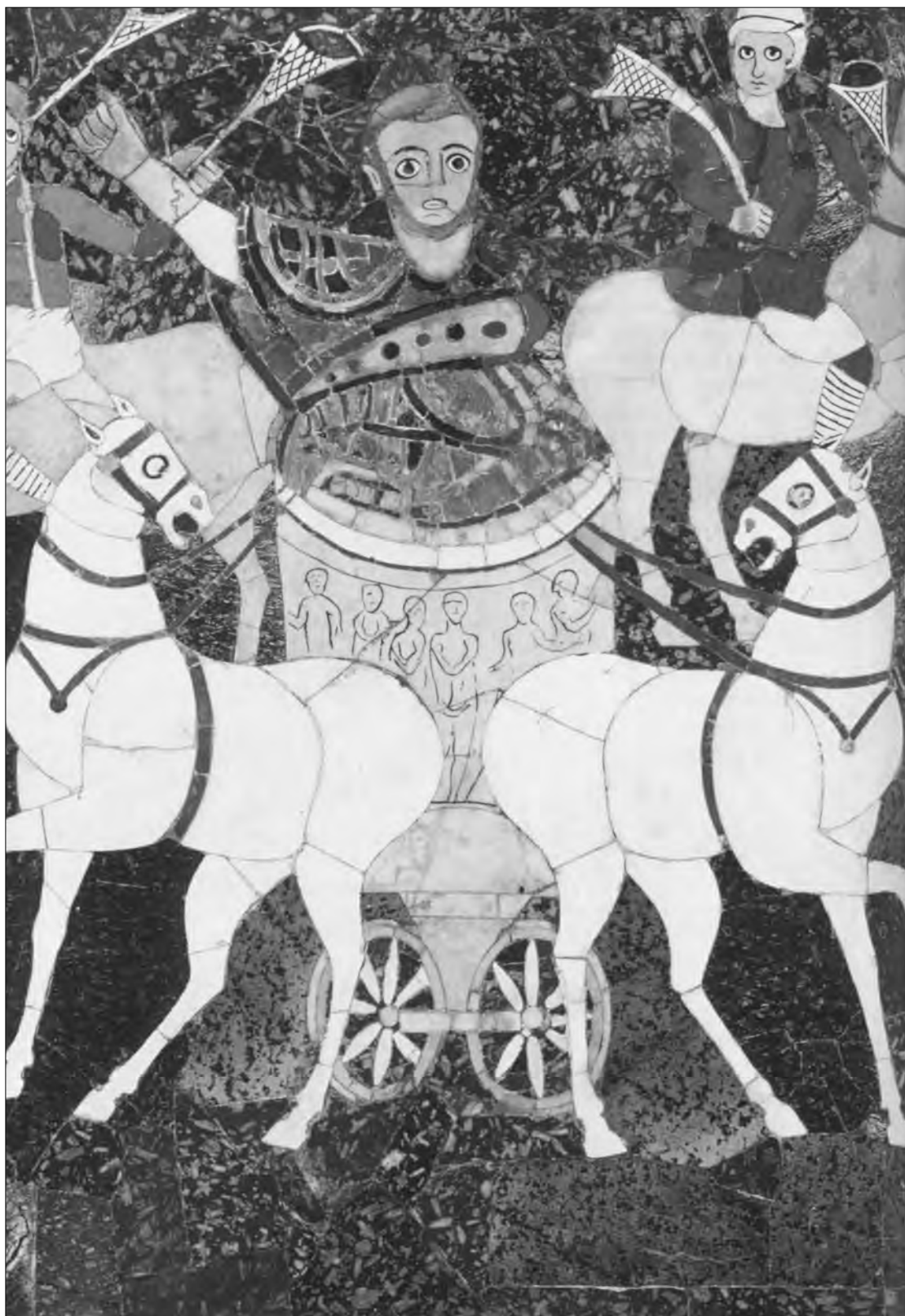
*Голова женщины из династии
Валентиниана. Из Афин. Мрамор.
370-е гг. Чикаго, Художественный
музей.*

*Максимиан Даза (Галерий ?).
Египетский порфир.
305–311 гг. Каир, Египетский музей.*

*Голова магистрата из Эфеса.
Мрамор. V в. Вена,
Художественно-исторический музей.*



ЖИВОПИСЬ ПОЗДНЕГО РИМА





Консул на колеснице открывает игры в цирке. Мозаика из Базилики Юниуса Бассуса в Риме. 330–350 гг. Флоренция, Палаццо Веккьо.

«Мегалопсихия» («Великодушие»).
Мозаика из Антиохии. IV–V вв. Антиохия, Музей.

Портрет супругов из катакомб Памфила в Риме. Стекло, роспись золотом. Около 300 г. Рим, Ватиканские музеи.

Арион на дельфине. Мозаика в Комнате императрицы на Вилле Максимиана Геркулия в Пьяцца Армерине. 300–330 гг.

ЯЗЫЧЕСКИЙ РИМ



Голова Юпитера в пиниевом венке. Бронза. I в. Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Гемма с изображением апофеоза (обожествления) Августа. Вверху — боги принимают Августа в свой сонм. Внизу — римские воины устанавливают трофеи на границах Империи. Около 12 г. до н. э. Вена, Художественно-исторический музей.

Капитолий и Храм Юпитера Капитолийского — средоточие религиозной жизни Рима. Макет-реконструкция.

Капитолийская волчица, вскормившая Ромула и Рема. Фигурки младенцев добавлены в эпоху Возрождения. Работа этрусского мастера. Бронза. Ранний V в. до н. э. Рим, Дворец консерваторов.

Статуя императора Августа в одеянии великого понтифика — верховного жреца Рима и главы всех греческих коллегий. Мрамор. Начало I в. Рим, Национальный Римский музей.

Жертвоприношение Энея (в жреческом одеянии). Рельеф западной стороны Алтаря Мира Августа. 13–9 гг. до н. э. Рим, Немецкий Археологический институт.



КУЛЬТЫ ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

*Божество вечности Хронос Митра. Мрамор.
II в. Мерида, Национальный музей
римского искусства.*

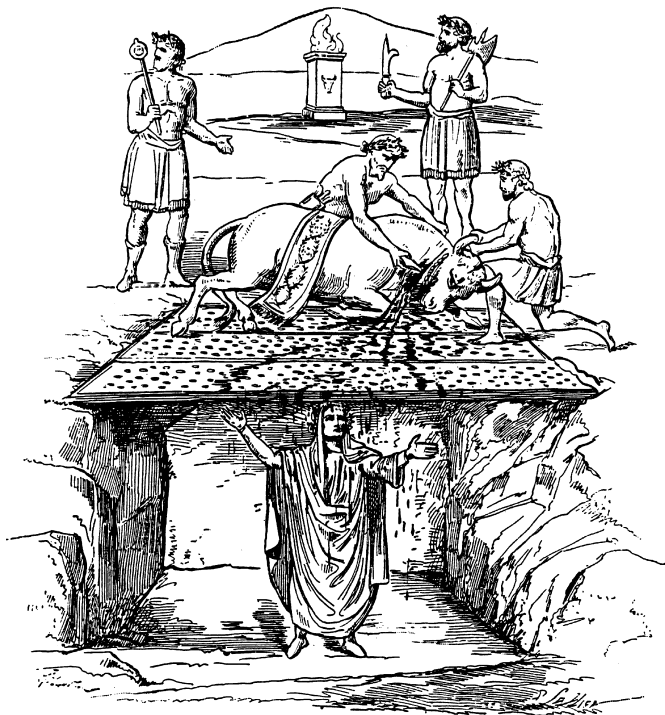
*Тавроболии (жертвоприношения Кибеле). Приносящий
жертву стоит в яме, у него над головой убивают быка.
При этом человек орошаемый кровью, очищается
от грехов и рождается заново.*

*Конторниат с портретом Аполлония Тианского (3–97 гг.),
почитавшегося как чудотворец, способный воскрешать
мертвых, изгонять демонов, таинственно исчезать
и появляться. Он был дружен с императорами Веспасианом,
Титом, Нервой, после смерти был обожествлен. Каракалла
считал его богом; Александр Север учредил его культ.
Его сравнивали с Христом, а его биография, написанная
Филостратом по заказу Юлии Домны, должна была стать
священной книгой его почитателей IV в.*

*Египетская богиня Исида с младенцем Гором
на руках. Культ этой богини получил широкое
распространение в Римской империи. Фреска из Караниса.
Келси, Археологический музей.*

*Предметы еврейского культа. Роспись золотом на дне
стеклянной чаши. Рим. III–IV вв. Лондон, Британский музей.*

*Митра, иранское божество солнца, культ которого
в позднем Риме соперничал с христианством по числу
приверженцев. Мрамор. III в. Рельеф.*





РИМСКИЙ ГОРОД





Гавань в Остии. 180–190 гг. Мраморный рельеф. Рим, Музей Торлония.

Роспись из гробницы в Остии, римского города-порта, с изображением погрузки зерна на корабль «Двоевидная Исида». У руля — капитан Фарнак, рядом с ним стоит некто Абасхант — скорее всего, владелец судна. Слово «Fesi» («Сделал»), написанное на мешке у одного из грузчиков, означает, что тот выполнил свою работу.

Внутренний вид кабачка Азеллины в Помпеях. I в.

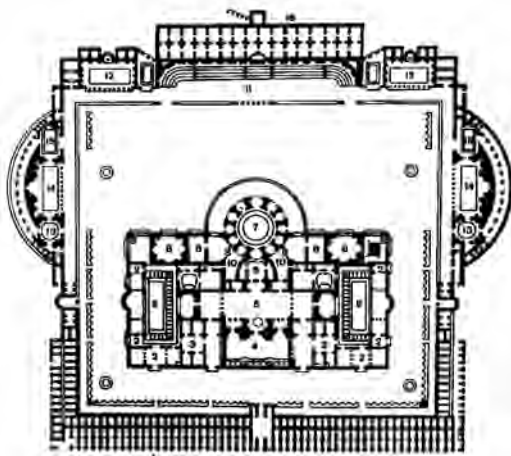
Инсула (многоквартирный дом) Дианы в Остии. Реконструкция.

Форум в Помпеях. I в. Аэрофотосъемка.

Строительство храма. Изображен подъемный кран, с помощью которого поднимались тяжелые блоки. Рельеф саркофага Гатериев. Конец I — начало II вв. Рим, Ватиканские музеи.

Термы Каракаллы в Риме. 211–217 гг. План.

Тепидарий (бассейн с теплой водой) терм в Помпеях. I в.



РИМСКИЙ ГОРОД

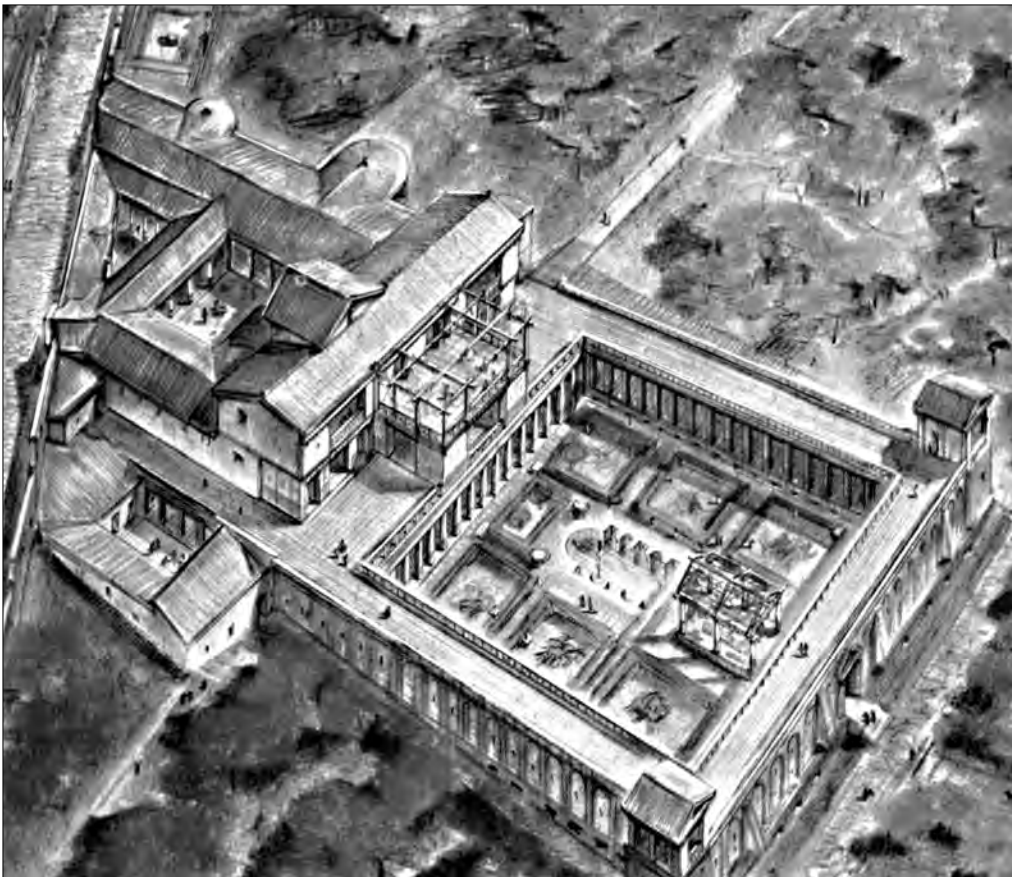
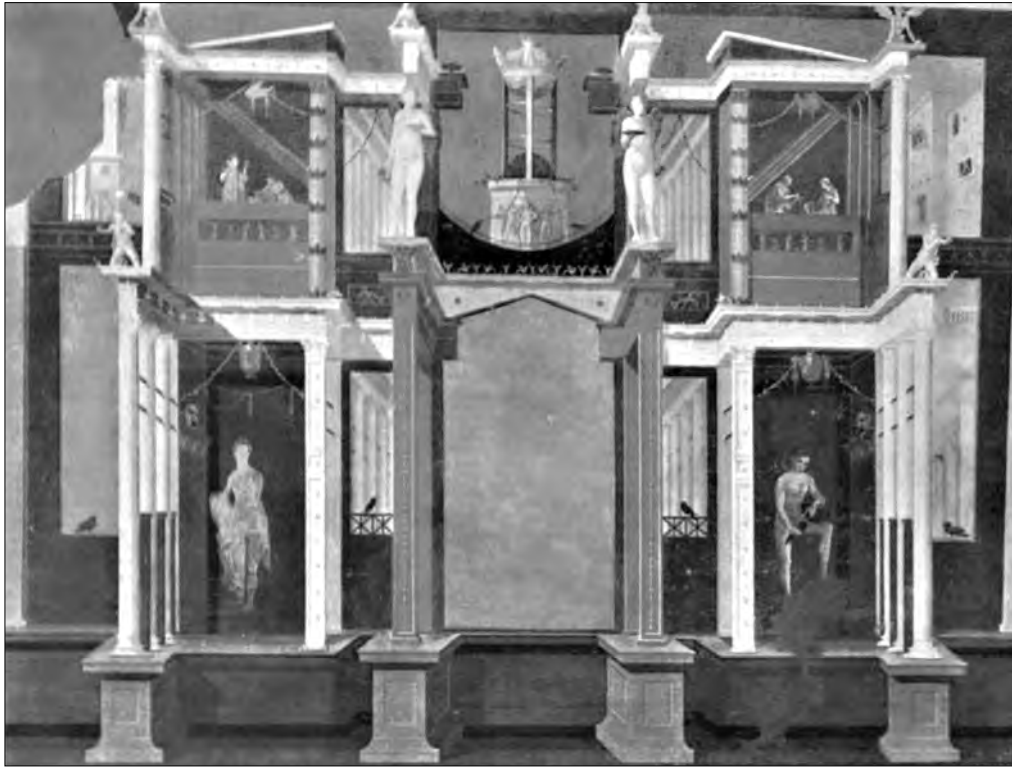
*Нимфей из дома Большого фонтана в Помпеях.
Воспроизведение. Музей Гетти
в Малибу, Калифорния (США).*

*Утварь из римского дома: чаша, светильник,
набор посуды. I в.*

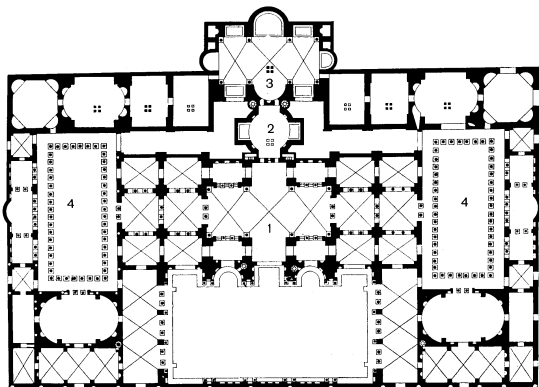
*Стенная роспись из «Дома Гомера» в Помпеях.
I в. до н. э. Неаполь, Археологический музей.*

*Вилла Диомеда в Помпеях. I в.
Рисунок-реконструкция.*





РИМСКИЕ ТЕРМЫ

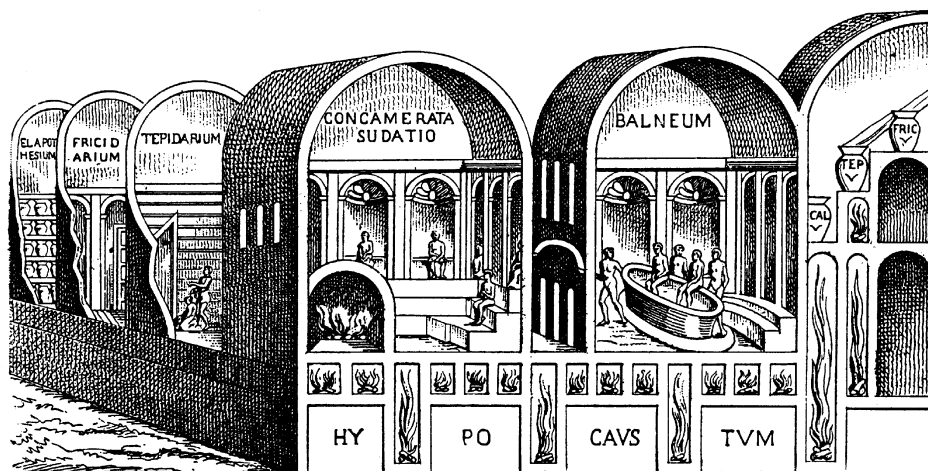
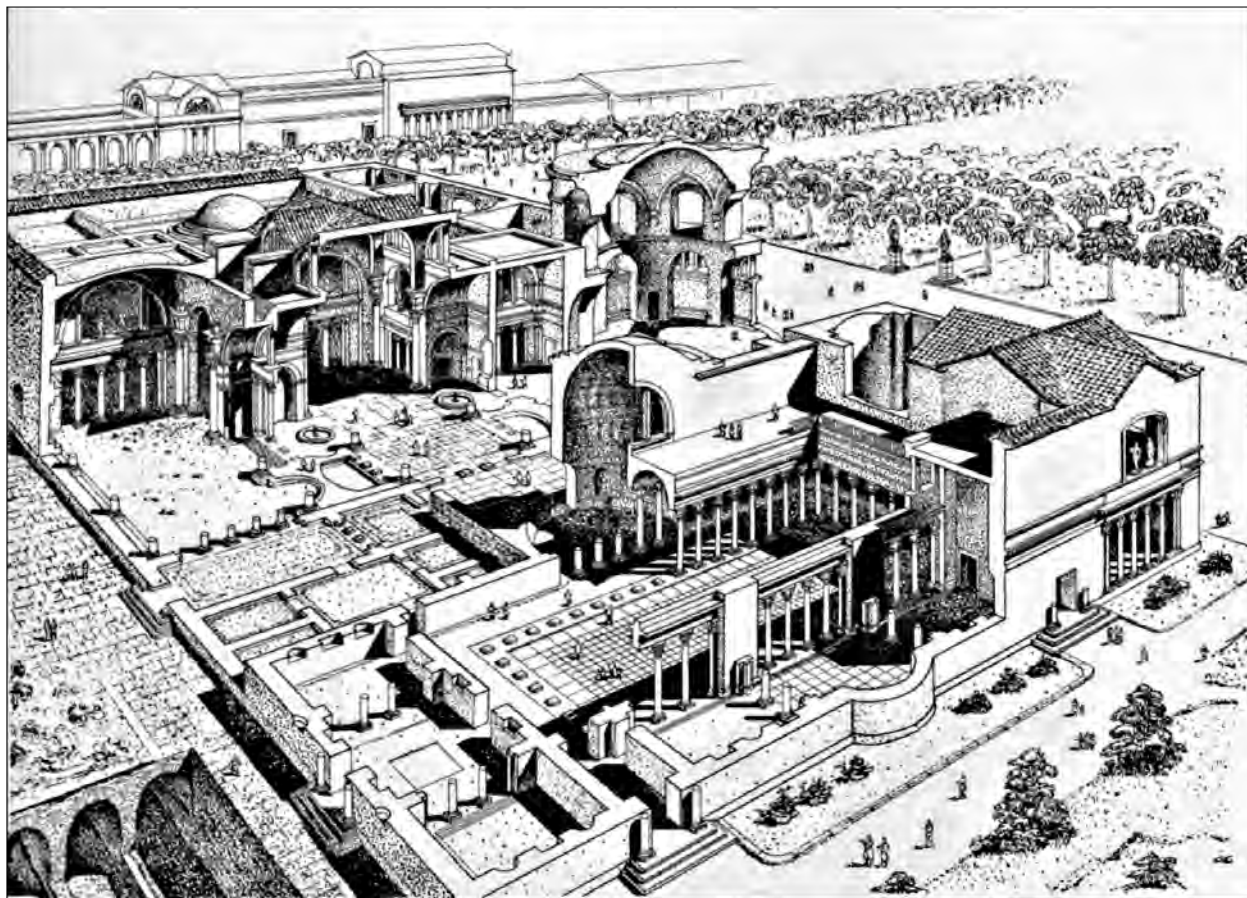


*Термы Диоклетиана в Риме. 298–306 гг.
Внутренний вид боковых помещений (ныне зал
христианских саркофагов Национального
Римского музея, или Музея Терм).*

*План центральной части
терм Диоклетиана в Риме:
1 – фригидарий; 2 – тепидарий;
3 – кальдарий; 4 – палестры.*

Руины терм Каракаллы в Риме. 211–217 гг.





Реконструкция терм Каракаллы в Риме. 211–217 гг.

Римские термы. Рисунок эпохи Возрождения.

ЗРЕЛИЩА В ДРЕВНЕМ РИМЕ

Пуццоланы Большого амфитеатра в Риме. На первом и втором этаже видны выходы из клеток с дикими зверями.

Гладиатор сражается с дикими зверями. Мраморный рельеф. Рим, I в.

Конные ристания в Большом Цирке в Риме. Мраморный рельеф. III в.

Колизей (Амфитеатр Флавиев) в Риме. 75–80 гг. Макет-реконструкция.

Большой Цирк (Циркус Максимус) в Риме. Макет-реконструкция.





ХРИСТИАНСКИЙ РИМ



Статуя Доброго пастыря (Христос-Добрый Пастырь). Мрамор. 2-я половина III – начало IV вв. Рим, Ватиканские музеи.

Саркофаг Юниуса Бассуса со сценами из Ветхого и Нового Заветов. Мрамор. Около 360 г. Рим, Ватиканские музеи.

Христос-Учитель среди апостолов, на фоне Небесного Града. Мозаика из церкви Санта Пуденциана в Риме. Время понтификата папы Сириция (384–399 гг.) и Иннокентия I (401–417 гг.).





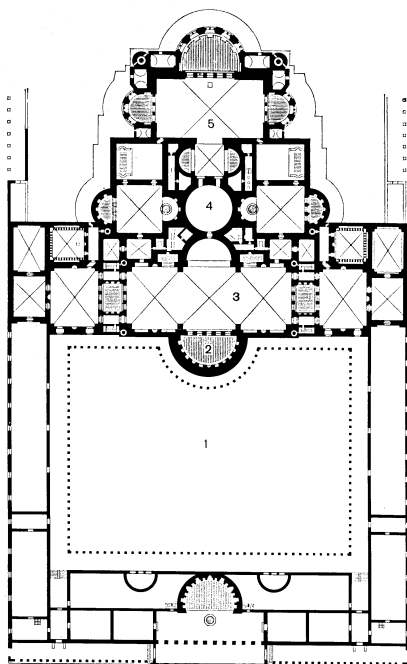


Дама с зеркалом (возможно Фауста, жена императора Константина I). Фреска в Доме Фаусты в Трире. Начало IV в.

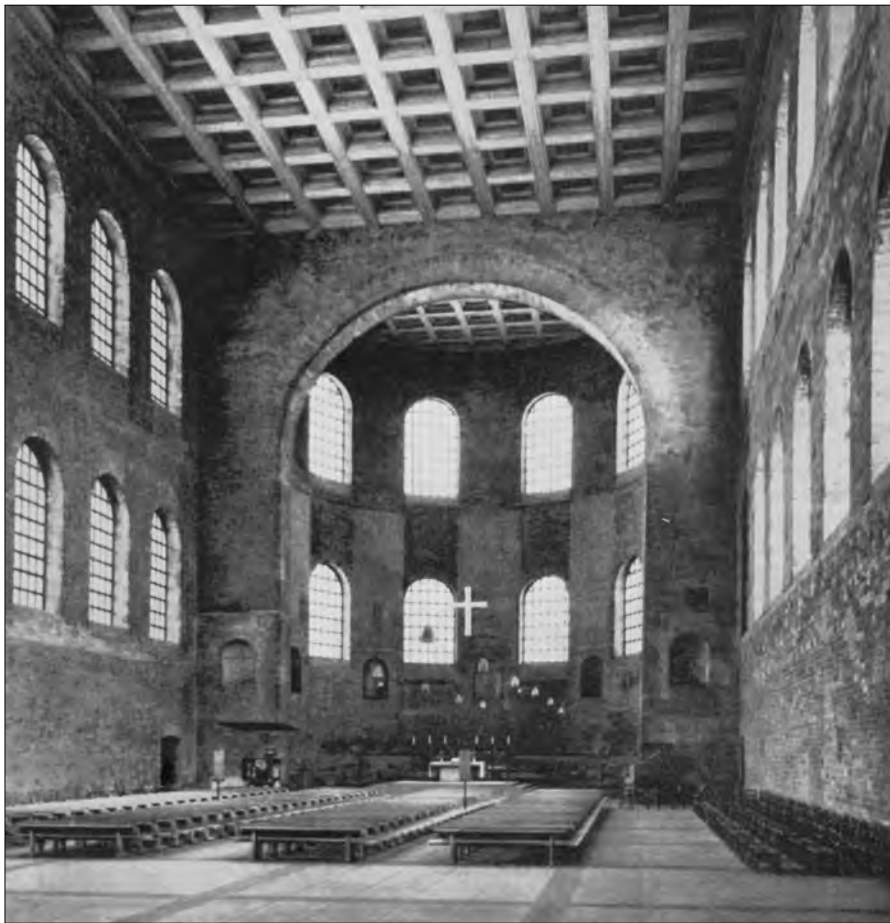


Эроты с императорской пурпурной мантией в руках. Фреска в Доме Фаусты в Трире. Начало IV в.

*Римские термы в Трире. Начало IV в. План:
1 – палестра; 2 – piscina (бассейн); 3 – фригидарий;
4 – тепидарий; 5 – кальдарий.*



ТРИР (АВГУСТА ТРЕВЕРОВ) В РИМСКУЮ ЭПОХУ



*Дворцовый зал (базилика)
в Трире (впоследствии
обращена в церковь).
Около 310 г. Внутренний вид
(вверху).
Вид на апсиду (внизу).*

*Порта Нигра в Трире.
Конец III — начало IV в.*





Решение перенести столицу из языческого Рима в совершенно новый город, Константин принял, одержав победу над Лицинием (18 сентября 324 г.). Избрав местом для новой столицы Византий, Константин обнес его новыми стенами, в 4–5 раз длиннее прежних. На украшение Нового Рима пошли кровли, двери и статуи из языческих святилищ; император даже приказал убрать установленную византийцами языческую статую Фортуны. Он украсил город великолепными дворцами для наиболее почтенных римских родов и переправил в Константинополь часть Сената, желая сделать этот город настоящей христианской столицей Империи.

Золотой солид императора Константина Великого. 330-е гг. Лондон, Британский музей.

Фасад Большого императорского дворца в Константинополе.

Прославление Константинополя (аллегория города изображена в короне с зубцами городских стен). Слоновая кость. V в.



КОНСТАНТИНОПОЛЬ



Аллегии Рима (в воинских доспехах) и Константинополя (в венце в виде городской стены). Слоновая кость. V в.

*Константин Великий с нимбом вокруг головы. 330-е гг.
Монета времени его правления.*



*Консул Лампадий с сыновьями на конных ристаниях на Константинопольском ипподроме.
В центре ипподрома — обелиск египетского фараона Тутмоса III, привезенный в Константинополь в конце IV в. Слоновая кость. Около 530 г. Брешия, Музей.*



Травля диких зверей. В Константинополе гладиаторские бои проходили на специальной арене — Кинегии. В V в. травлю диких зверей сменили конные ристания. Конец IV в. СПб., Эрмитаж.

ФЕССАЛОНИКА

Мавзолей (?) императора Галерия (сейчас — Ротонда Св. Георгия) в Фессалонике (Греция). Начало IV в. Обращена в христианскую церковь и украшена мозаиками в конце IV — начале V вв.

Христос-Эммануил на сфере. Мозаика в апсиде церкви Осиев Давид в Фессалонике. 470-е гг.

Св. мученик Димитрий — небесный покровитель Фессалоники. Мозаика в Базилике Св. Димитрия в Фессалонике. Середина VII в.





*Св. мученик Приск. Мозаика в куполе Ротонды
Св. Георгия в Фессалонике. Конец IV — начало V вв.*

*Св. мученик Анания. Мозаика в куполе Ротонды
Св. Георгия в Фессалонике. Конец IV — начало V вв.*

*Св. мученик Евкартион. Мозаика в куполе Ротонды
Св. Георгия в Фессалонике.
Конец IV — начало V вв.*

*Св. мученик Порфирий. Мозаика в куполе Ротонды
Св. Георгия в Фессалонике.
Конец IV — начало V вв.*

РАВЕННА

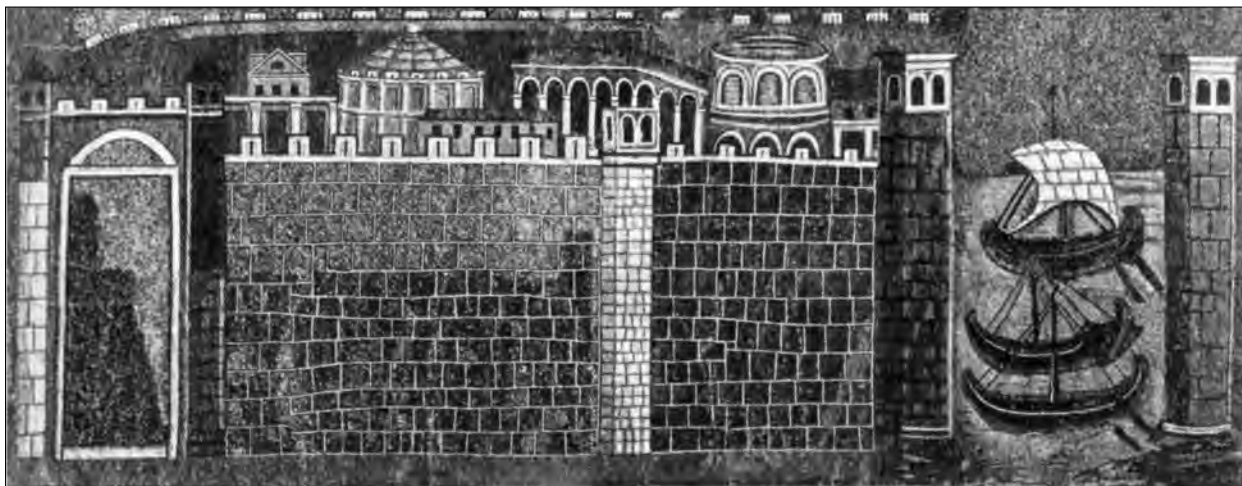
«Либо здесь родился свет, либо, плененный, он царит здесь свободно» (Поэт Венанций Фортунат о мозаиках равеннских церквей. VI в.).

В 402 г. Равенна стала столицей Западной Римской империи. В год завоевания Рима и падения Западной Римской империи (476 г.) варварский король Одоакр, завоеватель Италии, провозгласил Равенну своей резиденцией. В 493 г. она перешла в руки остгота Теодориха; в Равенне он правил около 30 лет. В 540 г. Равенну завоевал Велисарий, полководец византийского императора Юстиниана, и до середины VIII в. город прочно входил в состав Империи: здесь от имени императора правили его личные ставленники — экзархи.

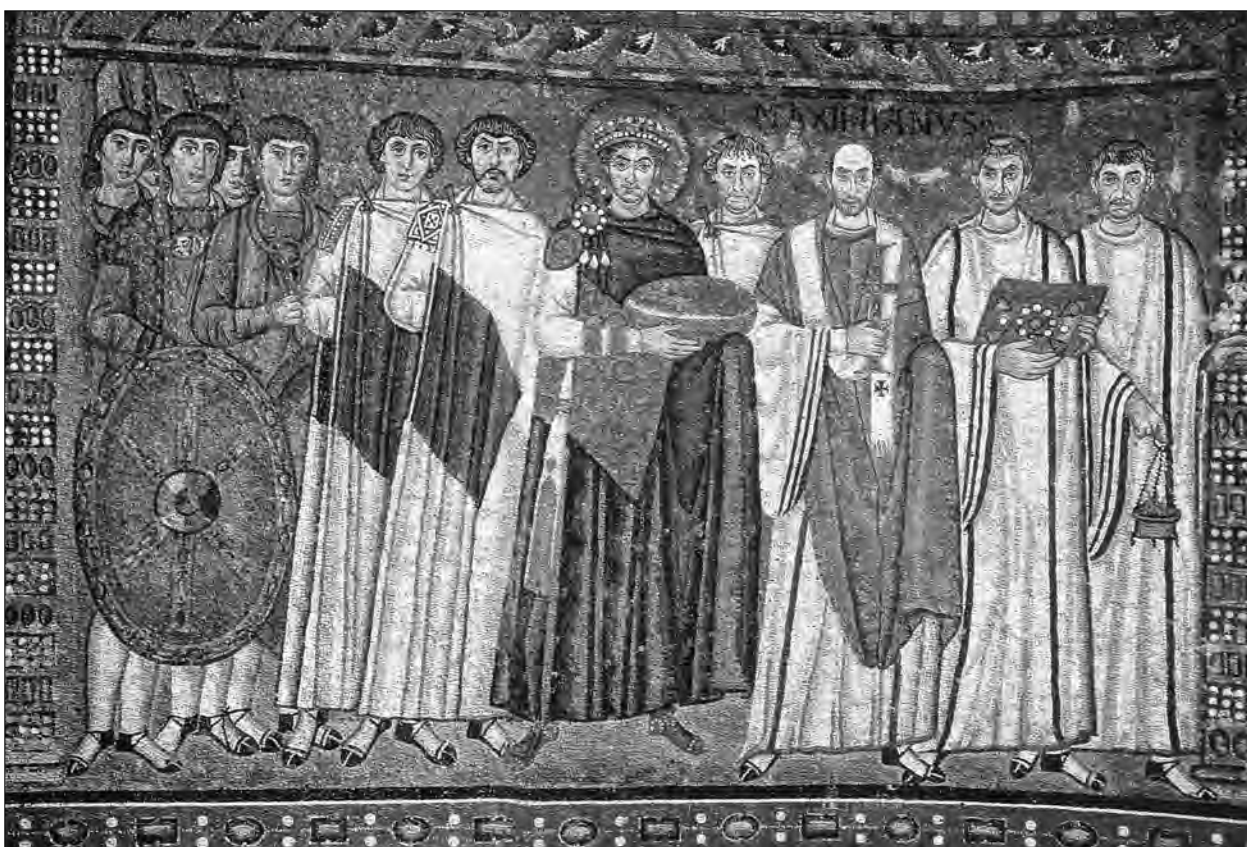
Христос-Добрый Пастырь. Мозаика из мавзолея Галлы Пладиции, дочери Феодосия I и матери западноримского императора Валентиниана III, (правила в 425–450 гг.) в Равенне.

Гавань Равенны. Мозаика из церкви Сант Аполлинаре Нуово в Равенне. Около 530 г.

Интерьер мавзолея Галлы Пладиции. Мозаика в люнете изображает Св. Лаврентия, идущего на костер. 425–450 гг.







Мозаики из церкви Сан Витале
в Равенне. 540-е гг.

РАВЕННА

Императрица Феодора, жена Юстиниана.

Император Юстиниан со свитой.

Император, вероятно, еще не вошел в храм, так как еще не снял с головы царскую стемму. Обряд встречи, по церемониалу входа императора в храм, когда священник кадил царя, уже совершен, и потому кадило в руках дьякона, а не архиепископа Максимиана, изображенного рядом с царем. Процессия уже движется по направлению к храму, в руках Юстиниана — золотая чаша, его дар церкви. Император изображен в царском парадном платье: на короткий белый хитон, подпоясанный красным поясом и с золотой нашивкой на подоле, накинута пурпурная хламида. Справа от Юстиниана стоят полководец Велисарий, завоеватель Равенны, и препосит двора.



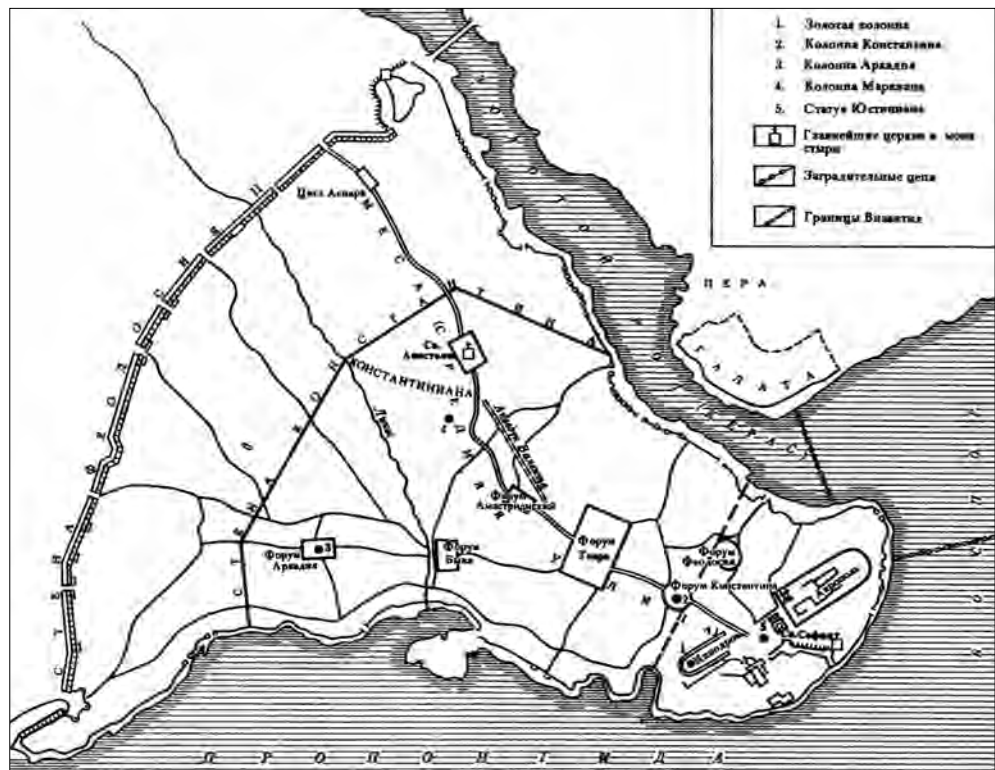
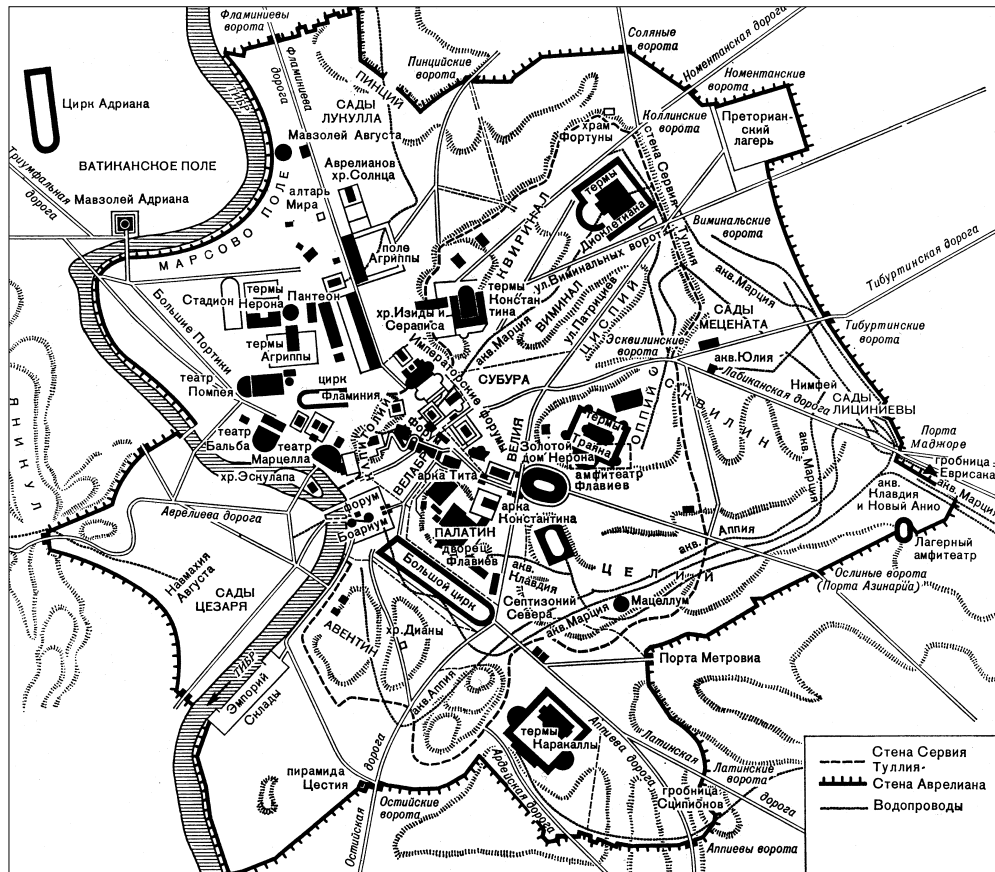
Св. Троица.

Св. апостол Павел.

Св. апостол Петр.







Римская империя
в IV-V вв.

План Рима
в императорскую
эпоху.

План
Константинополя
в IV-VI вв.

РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ

Династия Юлиев-Клавдиев

АВГУСТ (Октавиан Август). 23 г. до н. э.–19.08.14 г.
ТИБЕРИЙ. 14 г. –16.03.37 гг.
КАЛИГУЛА. 37–24.01.41 гг.
КЛАВДИЙ I. 41–13.10.54 гг.
НЕРОН. 54–9.06.68 гг.

Война 68–69 гг. за императорскую власть

ГАЛЬБА. 9.06.68–15.01.69 гг.
ОТОН. 15.01.69–25.04.69 гг.
ВИТЕЛЛИЙ. 2.01.69–20.12.70 гг.

Династия Флавиев

ВЕСПАСИАН. 69–23.06.79 гг.
ТИТ. 71–13.09.81 гг.
ДОМИЦИАН I. 81–18.09.96 гг.

Династия Антонинов

НЕРВА. 96–25.01.98 гг.
ТРАЯН. 97–август 117 гг.
АДРИАН. 117–10.07.138 гг.
АНТОНИН ПИЙ. 138–7.03.161 гг.
МАРК АВРЕЛИЙ. 161–17.03.180 гг.
ЛУЦИЙ ВЕР,
соправитель Марка Аврелия. 161–зима 169 гг.
КОММОД. 176–31.12.192 гг.

Война 193–197 гг. за императорскую власть

ПЕРТИНАКС. 1.01.–28.03.193 г.
ДИДИЙ ЮЛИАН. 28.03.–1.06.193 гг.

Династия Северов

СЕПТИМИЙ СЕВЕР. 193–14.02.211 гг.
КЛОДИЙ АЛЬБИН. 193–197 гг.
ПЕСЦЕННИЙ НИГЕР. 193–194 гг.
КАРАКАЛЛА. 198–8.04.217 гг.
ГЕТА. 209–февраль 212 гг.
МАКРИН. 217–8.06.218 гг.

ДИАДУМЕНИАН,
сын и соправитель Макрина. 217–218 гг.
ГЕЛИОГАБАЛ (Элагабал). 218–11.03.222 гг.
АЛЕКСАНДР СЕВЕР. 222–235 гг.

Солдатские императоры

МАКСИМИН ФРАКИЕЦ. 235–май-июнь 238 гг.
ГОРДИАН I. 238 г. (правил 20 дней).
ГОРДИАН II. 238 г.
БАЛЬБИН, совместно с Пупиеном. 238 г.
ПУПИЕН. 238 г.
ГОРДИАН III. 238–1-я пол. 244 гг.
ФИЛИПП I АРАВИТЯНИН.
244–между 29.08.–10.10.249 гг.
ФИЛИПП II МЛАДШИЙ,
соправитель Филиппа I. 244–249 гг.
УРАНИЙ. 248–253 гг.
МАРИН ПАКАЦИАН. 248 г.
ИОТАПИАН. 249 г.
ДЕЦИЙ I. 248–ноябрь 251 гг.
ДЕЦИЙ II МЛАДШИЙ. 250–ноябрь 251 гг.
ГОСТИЛИАН, соправитель Деция II. 250–декабрь 251 гг.
ТРЕБОНИАН ГАЛЛ. 251–сентябрь 253 гг.
ВОЛУСИАН, соправитель Требониана Галла. 251–253 гг.
ЭМИЛИАН. 253 г.
ВАЛЕРИАН. 253–259 гг.
ГАЛЛИЕН. 253–март 268 гг.
ПОСТУМ, император Галлии. 258–декабрь 268 гг.
МАКРИАН. 260 г.
РЕГАЛИАН. 261 г.
АВРЕОЛ. 267–268 гг.
ЛЕЛИАН. 268 г.
МАРИЙ. 268 г. (правил три дня).
ВИКТОРИН. 268–270 гг.
КЛАВДИЙ II ГОТСКИЙ.
268–между 24.03. и 29.08.270 гг.
ТЕТРИК, император Галлии. 270–273 гг.
КВИНТИЛЛ. 270 г. (правил около месяца).
АВРЕЛИАН. 270–август-сентябрь 275 гг.

ДОМИЦИАН II. Время Аврелиана.

ВАБАЛЛАТ, император Востока. 270–271 гг.

ТАЦИТ. 275–начало 276 гг.

ФЛОРИАН. 276 г.

ПРОБ. 276–сентябрь 282 гг.

САТУРНИН. 280 г.

КАР. 282–декабрь 283 гг.

ЮЛИАН I. 283 г.

КАРИН I. 283–начало 285 гг.

НУМЕРИАН. 283–сентябрь 284 гг.

Доминат. Первая и Вторая тетрархии

ДИОКЛЕТИАН. 284–май 305 гг.

МАКСИМИАН ГЕРКУЛИЙ. 285–май 305 гг.

КОНСТАНЦИЙ I ХЛОР. 293–25.07.306 гг.

ГАЛЕРИЙ. 293–май 311 гг.

КАРАУЗИЙ. 287–293 гг.

АЛЛЕКТ. 293–296 гг.

АХИЛЛ. 296 г.

ФЛАВИЙ СЕВЕР II. 305–апрель 307 гг.

МАКСИМИН ДАЗА (Дайа). 305–август 313 гг.

МАКСЕНЦИЙ. 306–28.10.312 гг.

АЛЕКСАНДР. 308–311 гг.

ЛИЦИНИЙ. 308–18.09.324 гг.

Династия Константина

КОНСТАНТИН I ВЕЛИКИЙ. 306–22.05.337 гг.

ВАЛЕНТ I. 314 г.

КОНСТАНТИН II. 317–340 гг.

МАРТИНИАН. 323 г.

КОНСТАНТ. 333–18.01.350 гг.

КОНСТАНЦИЙ II. 324–3.11.361 гг.

НЕПОЦИАН. 350 г.

ВЕТРАНИОН. 350 г.

МАГНЕНЦИЙ. 350–11.08.353 гг.

СИЛЬВАН. 355 г. (правил 28 дней).

ЮЛИАН II ОТСТУПНИК. 355–27.06.363 гг.

ИОВИАН. 363–16.02.364 гг.

Династия Валентиниана I (Валентиниана-Феодосия)

ВАЛЕНТИНИАН I. 364–17.11.375 гг.

ВАЛЕНТ II. 364–9.08.378 гг.

ГРАЦИАН. 367–25.08.383 гг.

ВАЛЕНТИНИАН II. 375–15.05.392 гг.

МАГН МАКСИМ. 383–28.07.388 гг.

ФЛАВИЙ ВИКТОР. 384–388 гг.

ЕВГЕНИЙ. 392–6.09.394 гг.

ФЕОДОСИЙ I ВЕЛИКИЙ. 379–17.01.395 гг.

Императоры Западной Римской империи

ГОНОРИЙ. 395–423 гг.

ПРИСК АТТАЛ. 409–410 гг.

КОНСТАНЦИЙ III. 421 г.

ИОАНН. 423–425 гг.

ВАЛЕНТИНИАН III. 425–455 гг.

ПЕТРОНИЙ МАКСИМ. 455 г.

АВИТ. 455–456 гг.

МАЙОРИАН. 457–461 гг.

ЛИБИЙ СЕВЕР. 461–465 гг.

ПРОКОПИЙ АНТЕМИЙ. 467–472 гг.

ОЛИБРИЙ. 472 г.

ГЛИКЕРИЙ. 473–474 гг.

НЕПОТ. 474–475 гг.

РОМУЛ АВГУСТУЛ. 475–476 гг.

Императоры Восточной Римской империи

АРКАДИЙ. 395–408 гг.

ФЕОДОСИЙ II. 408–450 гг.

МАРКИАН. 450–457 гг.

ЛЕВ I. 457–474 гг.

ЛЕВ II. 474 г.

ЗЕНОН. 474–491 гг.

ВАСИЛИСК. 475–476 гг.

ЛЕОНТИЙ. 484–488 гг.

АНАСТАСИЙ I. 491–518 гг.

ЮСТИН I. 518–527 гг.

ЮСТИНИАН I. 527–565 гг.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Предисловие автора	8
Глава 1 (I–VII, X)	Введение. — Мировлюбивая система Антонинов. — Военная система. — Общее благосостояние. — Новые принципы управления. — Преторианская гвардия, ее бесчинства. — Тридцать тиранов. — Начало упадка империи	10
Глава 2 (XII)	Поведение армии и сената после смерти Аврелиана. — Царствование Тацита, Проба, Кара и его сыновей. (275–285 гг.)	24
Глава 3 (XIII)	Царствование Диоклетиана и его трех сотоварищей, Максимиана, Галерия и Констанция. — Восстановление всеобщего порядка и спокойствия. — Персидская война, победа и триумф. — Новая форма управления. — Отречение и удаление Диоклетиана и Максимиана. (285–313 гг.)	44
Глава 4 (XIV)	Смуты после отречения Диоклетиана. — Смерть Констанция. — Возведение на престол Константина и Максенция. — Шесть императоров в одно и то же время. — Смерть Максимиана и Галерия. — Победы Константина над Максенцием и Лицинием. Соединение империи под властью Константина. (305–324 гг.)	70
Глава 5 (XV)	Распространение христианской религии. — Чувства, нравы, число и положение первых христиан	98
Глава 6 (XVI)	Образ действий римского правительства по отношению к христианам, с царствования Нерона до царствования Константина	138
Глава 7 (XVII)	Основание Константинополя. — Политическая система Константина и его преемников. — Военная дисциплина. — Дворец. — Финансы. (300–500 гг.)	174
Глава 8 (XVIII–XX)	Характер Константина. — Его преемники. — Мотивы и последствия обращения Константина в христианство. — Устройство христианской или Католической Церкви. (306–408 гг.)	204
Глава 9 (XXII)	Галльские легионы провозглашают Юлиана императором. — Его поход и успехи. — Смерть Констанция. — Гражданское управление Юлиана. (360–361 гг.)	236
Глава 10 (XXIII)	Религия Юлиана. — Всеобщая веротерпимость. — Он пытается восстановить и преобразовать языческое богослужение. — Он хочет вновь построить Иерусалимский храм. — Коварство, с которым он преследует христиан. — Фанатизм и несправедливость обеих партий. (351–363 гг.)	256
Глава 11 (XXIV–XXV)	Восточный поход Юлиана. — Он смертельно ранен. — Кончина Юлиана. — Размышления по поводу его смерти и погребения. — Управление и кончина Иовиана. — Избрание Валентиниана. — Он берет в соправители брата Валента и отделяет Восточную империю от Западной. — Восстание Прокопия. — Светское и церковное управление. — Смерть Валентиниана. — Его два сына, Грациан и Валентиниан II, получают в наследство Западную империю. (314–390 гг.)	282

Глава 12 (XXVI–XXVII)	Грациан возводит Феодосия в звание восточного императора. — Происхождение и характер Феодосия. — Смерть Грациана. — Св. Амвросий. — Первая междоусобная война с Максимом. — Характер, управление и покаяние Феодосия. — Смерть Валентиниана II. — Вторая междоусобная война с Евгением. — Смерть Феодосия. (340–397 гг.) 320
Глава 13 (XXVIII)	Окончательное уничтожение язычества. — Христиане вводят у себя поклонение святым и мощам. (378–420 гг.) 352
Глава 14 (XXIX)	Окончательное разделение Римской империи между сыновьями Феодосия. — Царствование Аркадия и Гонория. — Управление Руфина и Стилихона. — Восстание и поражение Гильдона в Африке. (395–398 гг.) 368
Глава 15 (XXXI)	Вторжение Алариха в Италию. — Нравы римского сената и народа. — Рим осажден три раза и наконец разграблен готами. — Смерть Алариха. — Готы удаляются из Италии. — Падение Константина. — Варвары занимают Галлию и Испанию. — Независимость Британии. (408–449 гг.) 382
Глава 16 (XXXII)	Смерть Гонория. — Западный император Валентиниан III. — Управление его матери Плацидии. — Аэций и Бонифаций. — Завоевание Африки вандалами. (423–455 гг.) 422
Глава 17 (XXXIV)	Характер, завоевания и двор царя гуннов Атилы. — Смерть Феодосия Младшего. — Возведение Маркиана в звание восточного императора. (376–453 гг.) 434
Глава 18 (XXXV)	Вторжение Атилы в Галлию. — Он отражен Аэцием и визиготами. — Атила вторгается в Италию и очищает ее. — Смерть Атилы, Аэция и Валентиниана III. (419–455 гг.) 452
Глава 19 (XXXVI)	Разграбление Рима царем вандалов Гензерихом. — Его морские разбои. — Последние западные императоры: Максим, Авит, Майориан, Север, Анфимий, Олибрий, Гликерий, Непот, Августул. — Существование Западной империи окончательно прекращается. — Царствование первого варварского короля Италии Одоакра. (430–490 гг.) 472
Глава 20 (XXXVII)	Происхождение, развитие и последствия монашеской жизни. — Обращение варваров в христианство и в арианство. — Гонения, возбужденные вандалами в Африке. — Уничтожение арианства между варварами. (305–712 гг.) 506
Глава 21 (XXXVIII)	Общие замечания касательно упадка римского владычества на Западе 530
	Очерк жизни и характера Эдуарда Гиббона 536
	Библиография 550
	Альбом иллюстраций 555
	Римские императоры (хронология правления) 700

ГИББОН ЭДУАРД

ИСТОРИЯ УПАДКА И КРУШЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

На 7 с. портрет Э. Гиббона работы Х. Уолтона

Заведующий справочно-энциклопедическим отделом *В. Бутромеев*

Ведущий редактор *О. Арбузова*

Научный редактор *В. Сусленков*

Художественный редактор *З. Губская*

Компьютерная группа: руководитель *Р. Самохин*,

сканирование и обработка иллюстраций *Д. Акимов*,

верстальщики: *Е. Акимова, О. Зайцева, А. Кочулаев, О. Соловова*

Корректоры *И. Самсонова, Н. Шевердинская*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 9530000 — книги, брошюры

Лицензия ЛР № 070099 от 03.09.96

Подписано в печать 12.07.01. Формат 84x108 ¹/₁₆.

Бумага офсетная. Гарнитура «Петербург»

Печать офсетная. Усл. печ. л. 73,92 Тираж 5000 экз.

Изд. № 01-3036 Заказ №

Издательство «ОЛМА-ПРЕСС»
129075 Москва, Звездный бульвар, 23

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в полиграфической фирме «Красный пролетарий»
103473 Москва, ул. Краснопролетарская, 16